

В. В. Розанов

На фундаменте прошлого

Статьи и очерки 1913–1915 гг.



В. В. Розанов

**Собрание
сочинений**

В. В. Розанов

На фундаменте прошлого

Статьи и очерки
1913 –1915 гг.

Собрание сочинений
под общей редакцией
А. Н. Николюкина

Москва
Издательство «Республика»

Санкт-Петербург
Издательство «Росток»
2007

УДК I
ББК 87.3
Р64

Российская академия наук
Институт научной информации
по общественным наукам

Составление и подготовка текста
П. П. Апрышко, В. Н. Дядичева, А. Н. Николюкина

Комментарии *В. Н. Дядичева*

Проверка библиографии *В. Г. Сукача*

Указатель имен *В. М. Персонова*

Розанов В. В.

Р64 Собрание сочинений. На фундаменте прошлого (Статьи и очерки 1913–1915 гг.) / Под общ. ред. А. Н. Николюкина; Сост. П. П. Апрышко, В. Н. Дядичева, А. Н. Николюкина. – М.: Республика; СПб.: Росток, 2007. – 638 с.
ISBN 978-5-94668-053-0

Настоящий том Собрания сочинений В. В. Розанова включает его статьи и очерки 1913–1915 годов, впервые собранные в отдельную книгу из газет и журналов. Это был последний период мирного исторического развития России и начало Первой мировой войны. Розанов дает живую и своеобразную характеристику событий этих лет и недавнего прошлого (убийство премьер-министра П. А. Столыпина, наследие Л. Н. Толстого, К. Н. Леонтьева, Н. Н. Страхова, Е. Н. Трубецкого, творчество художников, артистов и др.). Большое внимание уделено проблемам государственности, церкви, образования, национальному и семейному вопросам – тому *духовному фундаменту*, на котором строилась и существовала Российская империя.

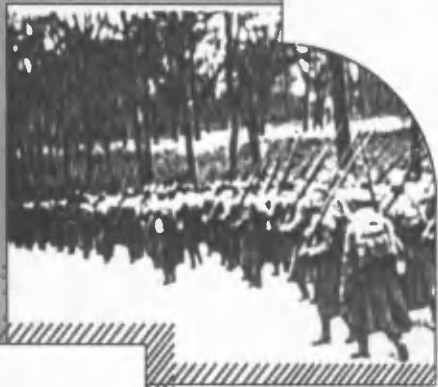
Для всех, кто интересуется русской литературой, философией и культурой.

ББК 87.3



ISBN 978-5-94668-053-0

© А. Н. Николюкин. Составление, 2007
© Издательство «Республика», 2007
© Издательство «Росток», 2007



1913 год

К СЪЕЗДУ ПО СЕМЕЙНОМУ ВОСПИТАНИЮ

Есть ли и возможно ли «семейное воспитание» в настоящее время, которому посвящен специальный съезд, собравшийся сейчас в Петербурге?

Как городской житель ест ту пищу, которую ему предлагает рынок, и живет в такой квартире, которую «планирует» ему хозяин дома и планируют вообще для «теоретического жильца» хозяева всех домов города, так точно и в *воспитании*. Семья, «мы» – страшно ограничены и сужены в воздействии на детей теми железными условиями, какие семье диктует школа. «Семейное воспитание», могущественное еще полвека назад, могущественное во все века нашей, да и всеобщей истории, давно остановилось в своем *творчестве* и даже потеряло свою *самостоятельность*. Только безумец и только неряха, рискующий всем будущим своих детей, всю судьбу их, тем, что материально и житейски именуется «карьерой», «службою», «положением», – может решиться отказать школе в ее безусловных требованиях, может решиться даже на какую-нибудь критику этих требований *вслух*, дабы не расстраивать *единства воли и мысли* у своих детей, которые, конечно, являются первым каноном всякого нормального воспитания.

Педагогам, съехавшимся для обсуждения вопросов «семейного воспитания», семья может сказать:

– Мы ничего не можем и ничего не смеем. У нас все взято вами. Мы только приспосабливаемся к вам, принаравливаемся, желаем как можно точнее исполнить все ваши предположения, пожелания; ваши не только приказания, но и «веяния»...

Семье оставлено только *выкармливание* детей, а на годы учения – *помещение* детей, квартира и стол. Родители и дом их мало-помалу и незаметно превращены в «пансион» для детей школьного возраста, и родители видят только спины своих детей, согнутых над учебными столиками, – да усталые и нервные, куда-то вечно торопящиеся лица во время обеда и двух чаепитий, утреннего и вечернего.

Худо ли это?

Не приходится говорить. Все *усложнилось* в цивилизации, все сделалось *трудным*; и, принаравливаясь к этой сложности цивилизации, стало

трудно, сложно и мудрено и самое воспитание и обучение; или, вернее, одно *обучение*, с кое-какими остатками воспитания, которое собственно заменено просто *дисциплиной*, т. е. шаблоном поведения, общим для всех, который делал бы возможным и удобным обучение. *Обучение* – это *все*; *воспитание* – это *ничего*; или почти – ничего.

...Приличьем стянутая маска,

как выразился Лермонтов в своем «1-м января». Все наши дети, все гимнастики и гимнастки – *замаскированы*; и против этого *как факта* не только нельзя возражать, нельзя даже об этом смущаться, об этом тосковать, как против петербургской погоды и против того, что в декабре здесь вообще нет солнца. «Нет», и что вы поделаете! Само собою разумеется, начальство гимназии и 15–20 учителей не могут же «воспитывать» 500 разнокалиберных детей, из всех сословий, из всех наций, всех вер; они могут «дать» и «приказать» только шаблоны поведения, и за это – *спасибо*. С другой стороны, семья, только видящая *спины* детей, а не лицо их и трепещущая за то, «все ли *там* благополучно», не воспитывает.

Семья тоже только готовится к «шаблону», к шаблону учебного заведения.

Собственно вся атмосфера вокруг ученика и ученицы довольно тревожна, и тревожен он сам. Все сведено к тому, «что впереди». А «впереди» – окончание, и условие его – «программа». «Программой» наполнен и ученик, и родители, да и, в сущности, наполнена сама школа. «Воспитание», которому торжественно посвящен съезд в Петербурге, едва ли есть что-либо реальное; это скорей «беллетристика» и дома, и в школе, о которой все знают, что это «сказки» и «миф», и все-таки несколько занимаются ею для какой-то прикрасы чего-то и по какой-то традиции для чего-то.

«Такая установилась погода» вокруг детей, и изменить ее никто не может.

Педагоги, учителя и начальство, конечно, взяли на себя безмерно ценную и благородную роль: *заменить родителей около детей*, заменить их на тот возраст огромного обучения, которое сами родители решительно не в силах выполнить. Об этом и говорить нечего, что все это вполне нормально и вполне необходимо, потому что все связано с цивилизацией, которая никому и ничему не уступает из своих прерогатив и из своих требований. Но нужно это твердо сознать. Нужно твердо сознать, что *самой темы* «*Съезда по семейному воспитанию*» вообще нет; нет такого предмета, нет такого объекта. И нет его уже 50 лет. Съезд этот в высшей степени археологический и несколько фальшивый.

Последнее уже не дело. Ведь съехавшиеся на него отлично знают, что «*семейного воспитания*» нет и быть не может, как, конечно, нельзя говорить о воспитании в «*семейном пансионе*» где-нибудь в Интерлакене или Люцерне, в пансионе с «*правилами*», «*режимом*» и т. д.

Замечательно, что и на съезде поднимающиеся вопросы и темы прочитываемых рефератов – все в духе Интерлакена: 1) о туберкулезных детях и куда их помещать, 2) об алкоголизме у детей и в семье. Конечно, в Интерлакене не пустят в пансион пьяниц, а туберкулезных посоветуют отвезти южнее. Но, конечно, пансиону в Интерлакене нет дела до 1) твердости *воли* пансионеров, 2) развития у них сердца, 3) об образе человеческом у них в идеальном смысле, 4) о том, *русские* ли это или *французы*. И на съезде по семейному воспитанию, – как бы там ни было, но все-таки о воспитании у нас, у русских, – эти вопросы тоже не поднимаются и даже чувствуется все неудобство и вся неловкость поднять их.

«В Интерлакене так в Интерлакене». Понятно, не будет же там, «как в России»!

Нужно принять это как факт и принять это как *норму*, т. е. как единственно возможное теперь, а следовательно, и *желаемое* теперь, что к воспитанию и обучению подошли *специалисты дела*, отодвинув совершенно семью с ее «воспитанием» даже не на второй, а на одиннадцатый план.

Но раз они «взяли все дело», то, естественно, они и подлежат очень сильной критике; и критике именно той «семьи», у которой взяли это дело. Вот съезд по семейному воспитанию очень мог бы взяться за эту тему: констатируя, что «семейного воспитания» нет и оно, естественно, разрушилось, как отсталое и археологическое, задаться вопросом, как водворяет или как сохраняет «человеческий образ» у воспитываемых школа? «Человеческий образ», «русский образ», «образ благородного человека», «образ православного человека», «образ верующего христианина», «образ человека с волею, который умеет сказать свое *да* и свое *нет*».

Что угодно: между Гектором Троянским ну и, положим, христианским мучеником или между Андромахой, тоже Троянской, и между Татьяной Пушкина лежит *неисчерпаемое* множество прекрасных человеческих образов, на все вкусы, на все цивилизации, в области всех вер и всех степеней развития, с одним определением: «они – *прекрасны*, с ними было бы *легко жить людям*»... Техники воспитания и образования, взявшие в руки свои все это «мудрое дело», конечно, имеют же перед собою какой-то общий «прекрасный человеческий образ», т. е. «общий» не в смысле *отвлеченном* и потому *тусклый, безличный*, – а «общий» в смысле всеобщего признания его «прекрасным» от всего человечества, но совершенно определенный, но совершенно яркий, но глубоко индивидуальный.

Я думаю, Интерлакен при этом вопросе беспокойно зашевелился; я думаю, Интерлакен мучительно спросит себя: «А вдруг мы только содержатели международных пансионеров, хорошие кухмистеры, хорошие гимнастеры, говорящие на всех языках, аккуратные в счете денег, не алкоголики и не туберкулезные: но, увы, только и только!! всего – только!!! И – без всякого призвания к воспитанию и обучению, самая идея которого у нас в высшей степени запутанна и неясна!!!»

ПРИОСТАНОВКА ИЗДАНИЯ «СОЧИНЕНИЙ К. ЛЕОНТЬЕВА»

Тот черный *fatum*, который всю жизнь угнетал последнего из великих славянофилов, К. Н. Леонтьева, не оставляет его и в могиле. Все было хорошо подготовлено к изданию его «Полного собрания сочинений», и самое издание началось богатою московскою издательскою фирмою Саблина и доведено уже более чем до половины. Друзья радовались, недруги бессильно сердились. В связи с этим изданием «Московское религиозно-философское общество в память Владимира Соловьева» посвятило месяца три назад специальное заседание Константину Леонтьеву, и здесь был заслушан реферат молодого философа-публициста Грифцова, посвященный памяти Леонтьева и оценке его мировоззрения. Как мне писали в свое время из Москвы, заседание это привлекло множество посетителей, а во время прений, следовавших за рефератом Грифцова, известный «средне-левый» кадет Струве громогласно признал, что идеи Леонтьева несравненно ценнее и оригинальнее морально-политических идей Толстого и таковых же Влад. Соловьева. Это уже признание из враждебного лагеря. Вообще литературный и философско-публицистический талант Леонтьева стал пробивать брешь в косной стене непонимания, вражды и «прохождения мимо», что ему приходилось испытывать всю жизнь и долго после смерти. Стала теперь цениться любителями всякая строка Леонтьева, всякая его даже мимолетная заметка. Фирма, издававшая его сочинения, обратила на себя внимание серьезною культурно-просветительною службою обществу и литературе. Нужно заметить, что вопрос об издании «Сочинений Константина Леонтьева» поднимался два года назад в Академии Наук, и тогда же было предложено включить К. Леонтьева в серию русских классических писателей, издающихся Академиею. За это включение высказался такой знаток истории русской литературы, как академик и профессор Н. А. Котляревский, – тоже писатель либерально-прогрессивного направления. Все это – многозначаше. Леонтьева, как *ценную величину*, стали признавать внимательные умы *всех лагерей*, он начал получать *общерусское признание*. И вдруг что-то случилось с его изданием. Томы Леонтьева, из коих вышло уже восемь из одиннадцати, – перестали появляться, а затем пришло из Москвы и печальное сообщение, что оно вовсе приостановлено вследствие того, что издательские права будто бы переданы фирмою Саблина «кому-то другому» и этот «кто-то другой» будет или не будет продолжать и заканчивать издание – это еще никому не известно. Источниками этого сообщения являются писатели С. Н. Булгаков и П. П. Перцов, лица достаточно серьезные, чтобы к их сообщению не отнестись серьезно. Да и приостановка печатания дальнейших томов издания, когда весь материал печатаемый уже готов, сама за себя говорит. Все это вызывает величайшее беспокойство среди многочисленных уже теперь друзей и почитателей Леонтьева, и было бы желательно, чтобы лица, в руках коих находится дело, и ближайшим образом сама издающая Леонтьева фир-

ма – дали в печати надлежащие разъяснения. Такое издание – всецело идейное дело. А к идейным делам мы не должны быть равнодушны.

Нельзя не сделать и практической заметки, что все лица, уже приобретшие изданные восемь томов и потратившиеся на это, остаются в весьма странном положении. Нам думается, что прервать издание «сочинений», обещанных *при начале издания в полном виде*, близко к тому, как прервать издание журнала на середине года. *План издания «Сочинений К. Леонтьева»* был напечатан в предисловии к первому тому, и начиная с первого тома все покупали не порознь отдельный каждый том, а покупали *цельное издание* по мере выхода его частей. Явно, что здесь покупатели обижены в чисто денежном отношении: ибо купили в некотором отношении дом без крыши и без верхнего этажа. Правда, за верхний этаж они не заплатили: но и один *уже оплаченный этаж* имеет такую-то цену в целом доме и гораздо меньшую цену в доме, вообще недостроенном. Покупка обесценилась, потому что обесмыслилась; и «обещавшая» (в 1-м томе) фирма Саблина явно обидела своих доверчивых покупателей. Вопрос интересный даже в тонко юридическом и тонко экономическом смысле, не говоря о практическом.

ОБНОВЛЯЕМЫЙ «МОРСКОЙ СБОРНИК»

В «Морском сборнике», который когда-то, при великом князе Константине Николаевиче, цвел и сыграл всероссийскую роль, а затем захирел и превратился в узко технический и служебно-бюрократический орган морского министерства, по-видимому, решено ввести более свежую и молодую струю. В январской книжке журнала помещена предуведомительная заметка «От редакции», где выражено желание служить родине и флоту не формой и «отпиской», а делом и настоящим рвением; и припоминается славная тень Константина Николаевича. В добрый час, – и русское общество, конечно, готово приветствовать таковое движение и таковую традицию. Но оно предпочтет пока сдержанное отношение, желая видеть *осуществление* на месте *надежд*. В книжке помещена большая статья о великом князе Константине Николаевиче, «Этюды по стратегии» г. Н. Кладо и особенно очень интересные «Отрывки из биографии Степана Осиповича Макарова» – барона Ф. Врангеля. Вообще «Неофициальный отдел», занимающий $\frac{4}{5}$ книжки, составлен интересно. Замечательны слова бар. Врангеля о «колпаке» на тараны броневых судов, придуманные Макаровым: «Они всем нравились, никто против них не возражал, польза от них для целости судов во время учебных маневров была очевидна, но никто их не вводил». Вот – бюрократия: она думает, пишет, планирует, собирает комиссии, проверяет. Но точно она вся воздушная и не может коснуться земли: от слова и мысли *к деланию* перейти для нее почти невозможно. И «комиссии»-то бесчисленные она оттого и придумывает, что комиссии оттягивают несносный момент – «сесть на землю». Земля, реальность – это какие-то «рифмы» для корабля с бумагами, который напоминает собою все петербургские и всероссийские канцелярии.

РУССКИЙ СВЯЩЕННИК НА ВОЙНЕ

Религиозная сторона имеет огромное значение в воспитании русского воинства, в развитии крепкого и могучего духа русской армии.

«Служение священника на войне»

Война – суд Божий.

«К рекрутскому набору». Свящ. Г. И. Шавельского

Толстой, сойдя с почвы исторического православия, дал какое-то напудренное, накрахмаленное христианство, чтобы оно нигде не нажало на своего «почитателя», нигде не оцарапнуло, чтобы людям «носить его» было сладко и мягко, и все существование людей превратилось под действием этого религиозного крахмала в трясущуюся кисельную массу, где-нибудь с молоком поблизости. Это характерно аристократическое и дворянское представление о религии находится в полной противоположности с историческим. История – это великая работа. Часто – вдохновение, иногда – гений; но *постоянно-то* именно работа и работа, труд и труд, терпение и терпение. По этому *трудовому характеру* своему история и религию себе выработала трудовую; выработала ее как помощницу в работе, как друга забот своих, как друга скорбей своих. Она вовсе не надеется на «кисель и молоко» и не думает, что когда-нибудь вообще «скорби пройдут». Если бы и прошли моральные и политические, то, прежде всего, останется та истина, что «всякий человек рождается в скорби» и что прежде, нежели увидеть новорожденное дитя, всякой матери – аристократке, дворянке, княгине, царице, суфражистке и какой-нибудь изучавшей минералы и дифференциалы деве – придется два-три, а то пять-шесть часов промучиться в кровати со всей той невероятной болью, какую испытывает баба в деревне. Поэтому, чем придумывать, «как бы прожить вовсе без скорбей» и изобретать для этого «бесскорбную религию» (толстовство), гораздо практичнее и мудрее заготовить в себе сил для перенесения скорбей, а самую религию приспособить тоже к встрече скорбей, к встрече болей, нужд, бедности, болезни, наконец, – к встрече порока и преступления. Вот христианство, ко всему этому исторически приспособленное, – христианство царей, воинов, судей «и всей палаты», как говорится на ектении, – и есть «церковь». «Церковь» не есть «восстановление ада», как написал Толстой в своей известной брошюре «Разрушение и восстановление ада», по коей выходит, что будто бы Христос «ад разрушил», а Церковь «ад восстановила»; совсем – другое... Уж если взять тему Толстого и согласиться с тем, что христианство «И. Христа» и христианство «Церкви» *не одно и то же*, то эту тему, согласясь с главным тезисом Толстого о несходстве двух христианств, пришлось бы выразить так: Церковь свела евангельское учение с неба на землю; она сделала Евангелие приложимым, применимым к земле, – и именно приложила и применила его в избах, в

дворцах, в казарме, у вельможи, у богача, у царя, не ломая всех этих состояний, не испепеляя земли и несчастных скорбных людей, которым «до Царствия Небесного» все-таки надо как-то «жить на земле», жить каждому свои 60–70 лет. Вот ее дела – раздробления, размельчения; причем она нигде, решительно нигде, не «изменяла евангельскому духу» (мысль у Толстого в «Восстановлении ада»), но сколько возможно его сберегала, предоставляя каждому, предоставляя и царям «отречься от всего», «оставить все», но никого к этому не принуждая грубо и крикливо («выкрики» Толстого), а оставляя всякому свободу следовать и – не следовать, брать «часть», когда невозможно взять «всего», и с этой «частью» также надеяться спасения, да и воистину также спасаясь... Что это *частичное исполнение* вполне совпадает с мыслью Христа, видно из коренных образов, осветивших *все* Его учение: о блудном сыне, о мытаре и фарисее, – видно из прощения Его блудницы, видно из обещания Царства Небесного доброму разбойнику. Церковь даже еще недостаточно разработала это «широкое устье невода» для забирания всего в себя, всех грешников, всех «последних», – и, напр., дивный образ блудницы, помазующей ноги Спасителя перед смертью, который есть уже сам по себе картина и великолепие, образ и умиление, она не разработала в определенный ритуал, в определенную церемонию, наподобие, напр., «омоления ног священникам», через каковую (т. е. не существующую пока) церемонию бедные мерзнувшие по тротуарам ночные девицы тоже входили бы в нашу теплую церковь, обласкивались служащим клиром, устрелялись бы и удружались бы всем остальным верующим. Таким образом, Толстому следовало бы говорить вот об этом еще большем расширении «улова Христова», еще о большем введении и распространении христианства в «мелочи жизни», к «кой-каким людишкам», к «последним остаточкам» их: а он заговорил, что «исполнили закон Христов» только вегетарианцы, трезвенники и переменяющие белье по крайней мере раз в неделю.

Земля – земля и есть: «на трех китах» стоит; со «всячинкой»; с «требухой». – «Ты спаси вот *этакую*, а не то, чтобы воображаемую кисельную планету, каковой – просто *нет*».

Церковь и взяла вот эту необъятную работу в руки; она была – *работником*; а Толстой – барином.

«Рабочая» Церковь пошла и на войну. Война – *есть*. И не метафизируя, как метафизик в яме, «какое вервие есть война», она пошла, т. е. священники церкви пошли, с солдатами. Солдат несет ранец, а священник – крест. Солдат оражается; а священник «молится за него и победу его, просветляет его, вдохновляет русского воина», как говорит священник, ныне протопресвитер армии и флота, Г. И. Шавельский.

Проработав всю русско-японскую войну в диких и неизвестных полях Маньчжурии, утешая раненых что-то в 13 или 14 битвах (мелькнуло где-то при чтении книжки), он так осязательно и убедительно узнал абсолютную нужду религии в походе и в сражении, что «соприсутствие церкви на войне» для него не есть ни вопрос, ни колебание. Да вот – страничка. В октябре

1904 года, перед боем при Шахэ и вслед за ним, вследствие непрерывных передвижений полка, рассказчику-священнику не пришлось совершать некоторое время праздничных и воскресных служб; сперва было невозможно, а затем, как автор чистосердечно рассказывает, присоединился и грех – он просто заленился; раз – нельзя, два – нельзя, в третий только *почти* нельзя, а при старательности и настойчивости и можно бы: но уже он отвык от регулярности и не настаивал на службе. Дело, что называется, засорилось. «Не без влияния этой привычки, я и 24-го не стал служить, воспользовавшись тем предлогом, что полк еще не устроился (около деревни Хуаньшаня) и утром несколько рот ушли на работу. Вместо того, чтобы служить, я отправился по какому-то делу в главную квартиру командующего армией, стоявшую в самой деревне Хуаньшань. Когда я подходил к деревне, до меня с другой стороны деревни донеслись звуки Херувимской песни: на горке, около деревни, служили литургию. Трудно словами передать, что я переживал в это время! Вспомнилась мне и родина, и моя родная там церковь, в которой я служил. На душе приятно-приятно разлились звуки священной песни; мысль оторвалась от всего окружающего и унеслась в другой, чистый мир. Я остановился и долго слушал, находя в простых, незатейливых мелодиях «Верую» и «Милость мира» и т. д. все новые и новые оттенки высокого чувства; новые и новые мысли навевались звуками: в словах богослужебных песней, которые я ранее слушал и сам воспевал тысячи раз, теперь мне открылись совершенно новые глубины богословской мысли и религиозного чувства: теперь они какой-то особой теплотой согрели мою душу. Кончилась служба... Смолкли звуки... Я пришел в себя. Точно молотом ударило меня по голове: «Что я делал? Как мог я оставить службу? Ведь и на многих других богослужение может произвести такое же действие, какое произвело на меня. И многие другие также могут обновиться от него душой и телом». И он передает, что, вернувшись в полк, точно виновный, глядел в глаза солдат и офицеров, беспризорно ходивших туда и сюда.

В чем же секрет? Что это за действие? Без священника и церковных служб, *с детства привычных русскому на родине*, солдаты и офицеры и воинство теряются, расстраиваются. Священник воистину «пасет» воинов, и «пасет» их на войне еще более, чем в мирное время и у себя дома. Как? Почему? Да «у себя дома» солдат и пасется вот этим «дома», пасется – всем, пасется – видом города, пасется – прохожими обывателями, пасется – правительственными учреждениями. Но в Маньчжурии?! Среди чудовищных плоских лиц с маленькими носиками? Раскосых глаз, непонятного дикого говора? Неизреченных их «сопок» (что такое?!) и неизреченного «гаоляна», который ни – трава, ни – дерево, ни – куст, а черт знает что такое... Русский человек потерян, обескуражен, не чувствует почвы под ногами, не знает, «куда» он и «зачем» попал...

И вдруг наша привычная, тульская, рязанская литургия. «Господи помилуй» и «рцы», «рцем» и прочие непонятности, как 20 лет слушало ухо.

Вдруг родина вся воскресает перед солдатом; нет, — она вся *собирается* вокруг солдата, и он в детском воображении видит опять колокола, деревенский звон своего села, видит точно своего же сельского батюшку, ибо и этот «военный батюшка» в такие же точь-в-точь ризы одет и такие же точь-в-точь слова речет. И слова те — большие, важные, торжественные, главные на Руси... Речет по большой книге большим голосом... И так твердо, будто, кроме Руси, и ничего нет, будто протодиакону «стоять до скончания мира на солее».

Солдат вдруг — *утверждается*.

Среди колебания, битв, сражений, сомнительного — *утверждается*.

Война *по сути своей* — сомнение. И «Господи помилуй» певчих, такое несомнительное, как «всегда в Рязани», выносит его — в победу.

«Солдат на литургии» есть уже потенциально победитель: но не пьяный и опьяневший в диком натиске битвы, а победитель — спокойный, твердый, достойный «гражданин в победе», пришедший, например, в дикую Монголию, чтобы и ее привести к благообразию «Господи помилуй», или пришедший в Турцию, «дабы едиными устами все хвалили Господа», и вообще пришедший куда бы то ни было, чтобы «утвердить Русь».

Утверждение —

вот великий смысл литургии на войне, священника в полку: священник-то и есть главное лицо в воинстве, — все это воинство связывающее в единство и организм высоким смыслом, высокой мыслью, страшно торжественною. Видом своим, без всяких *личных и преходящих* слов, он объясняет солдату, за что тот борется, откуда он пришел, для чего он умрет. И солдат, умирая, — умрет с великим сознанием мысли своей, *вот в этого солдата вложенной*, не как несчастное безымянное «пушечное мясо», а как «воин Христов» на страже «христианского царства». Не сменяющиеся полководцы, не убиваемые офицеры, а вот этот неубиваемый и вечно «все тот же» служитель алтаря перед глазами и есть невещественное знамя, объясняющее солдату всю войну, весь смысл его страдания, наконец, всю далекую тысячелетнюю историю перед ним.

Без священника солдат — потерянный.

Со священником — нашедший себя.

Вот — и все. И — никаких разговоров.

* * *

В прекрасной книжке «Служение священника на войне. Из наблюдений участника русско-японской войны», только что отпечатанной, протопресвитер Г. И. Шавельский подает множество *практических советов* молодому и неопытному священнику, каковым был он сам, отправляясь на Восток в 1904 году, касательно нужного для священника в походе и во время битв. Он как бы «собирает в путь» священника, указывая, что ему с собою брать, чего в особенности на театре (как-то дико выговаривать «театр» в отношении войны) войны он не найдет и без чего обойтись ему будет невозможно. Тут и

одежда, белье; тут – непременно обильное заготовление заранее «запасных даров» для причащения, каковые готовить на месте войны невозможно или очень трудно. В особенности меня в книжке заняли страницы, посвященные деятельности священника вне битв, вне совершения треб над умирающими и ранеными. Нам представляется дело священника на войне именно как сплошное требоисправление, напутствие умирающих; что-то сухослужебное, механическое и формальное если не по существу, каковым, конечно, не может быть исповедание раненого воина, то *по времени* этого «исповедания», которое ограничено часами и немногими днями после всякого сражения. Впервые из книжки отца Шавельского я узнаю, что труд священника в армии совершенно непрерывен и в высшей степени благотворен. Мы, которые знаем о войне «по телеграммам», естественно, думаем, что в армии ничего не происходит, пока «телеграмм нет». Между тем сердце солдата постоянно копошится около завтрашнего дня, около следующей недели, и он ходит перед смертью не в канун битвы, а целый год, два года. Это страшное напряжение души. «Постоянные опасности, близость смерти переносят мысль воина к вопросам вечности; душа воина на войне жаждет молитвы, чутко прислушивается к слову о вечном, просится к Богу. А отсутствие повседневных забот, развлечений, однообразие жизни только побуждают воина в это время тянуться к церкви и богослужению. Тут и слабоверующие, и неверующие притекают к ней». К удивлению, узнаем, что множество воинских частей, около половины всего, не имели вовсе своих священников: 1) почти все артиллерийские бригады, 2) войска пограничной стражи, 3) казачьи полки, 4) саперные и железнодорожные батальоны, 5) все дивизионные обозы (автор говорит: «и лазареты», но это представляется чем-то невероятным и несбыточным?!), 6) телеграфные роты, 7) понтонные батальоны, «словом, добрая половина действующей армии не имела своих священников» (стр. 17–18). Из них только артиллеристы, располагаясь вблизи пехотных полков, где священник и богослужение постоянно есть, были удовлетворяемы в религиозных нуждах, приходя в полк к богослужению; прочие же, находясь вдали от полков и средоточия их, были, так сказать, оголены от религии. В особенности «положение казачьих частей, всегда находившихся или впереди армии, или на далеких флангах, было ужасно: чины умирали без напутствия, погребались без священнического благословения; по месяцам не видели священника и не слышали богослужения. В дивизионные обозы заглядывал только нарочито командированный священник, но о таких командировках догадывались редко» (стр. 18). Иногда даже целые отряды не имели своего священника, и тогда «из своих средств» солдаты и офицеры нанимали «какого случится священника» и почти «якобы священника». Так было с наймом «какого-то безграмотного иеромонаха Иосифа, в отряде полковника Мадритова, на крайнем левом фланге». Как «безграмотный», едва ли вероятно, чтобы он был посвящен в священники; но зато и жалованье, ему выговоренное, почти не платили; потом «штабы долго разбирали это дело», рассказывает автор-священник, ныне протопресвитер (примечание

на стр. 19). Явно, все это дело было плохо устроено; и, может быть, этим частью объясняется, что так хорошо была организована пропаганда и рассыпание «прокламаций» в армии на Востоке нашей всюду шныряющей социал-демократией, ищущей «покорить под ножи» своих еврейских вождей «врага и супостата», т. е. русский беспризорный люд.

В русско-японскую войну битвы происходили на больших расстояниях времени. И вот как говорит об этом времени о. Г. Шавельский: «Идет бой — люди изнемогают от труда, напряжения сил и лишений. Настает затишье — люди не знают, куда девать время. Дела, занятий мало, а здоровых развлечений нет. На родине мирное время можно скоротать книжкой, газетой; но на войне ничего этого нет». На этой-то пустоте и ждут война расслабляющие, убивающие пороки. «Безделье и отсутствие добрых развлечений — самые страшные враги человека, перед которыми и сильные сдаются. Война страшна этой стороной своей... Слабовольные и неосторожные гибнут в затишье от того врага, который не переставая бродит по русской земле, — от губительного вина. Другие ищут развлечения в картежной игре, принося этому Молоху в жертву и свое, и своих семейств благополучие, а иногда и жизнь свою. И вино, и картежная игра немало унесли жертв в минувшую войну. Бороться с тем и другим злом ох как трудно — так как тут приходится бороться не с пороками только, а с обстановкой, с бездельем, напряженностью нервов, и все же священники бороться обязаны». Около офицера, перед этими пороками, священник стеснен в совете страхом задеть самолюбие; и все, что прот. Шавельский может посоветовать, это подходить к офицеру, с дружбою, с тайным советом, а в минуту уныния успокоить и поддержать нервы. «Не поборая зла, на что невозможно рассчитывать, священник может здесь ослабить зло». Конечно, священник может здесь дать тот совет, какой обычно дают офицерам товарищи-офицеры; а ведь большая разница, есть ли в компании «развлекающихся» офицеров хотя бы один рассудительный или ни одного рассудительного. Если «ни одного», то компания очень может вся «закружиться» и дойти Бог знает до чего; если же хоть всего «один» офицер рассудительный и трезвый, то от *больших* бед он один может спасти компанию. Сколько мне приходилось знать (в провинции) полковых священников, они — в большой и светлой дружбе с офицерством, увы, за зеленым столом. Но что же тут поделаешь. Игра, конечно, «по маленькой», и, ей-ей, партнер-священник от больших бед может уберечь зарывающегося офицера-партнера. Я не оспариваю, что священнику «играть» грех; но по очень маленькой — все играют, прикрыв ставни в священнических квартирах; что уж греха таить... Но священники сдержанны в игре, да и вообще имеют меньше страстей и азарта, чем офицеры. И «в быту» вообще они могут поправить и даже предупредить маленьким грешком большой грех. Едва ли это они могут сделать, устранившись вовсе от «компаний» офицерской.

Гораздо успешнее, по понятным причинам, деятельность священника между солдат. «По опыту скажу, — пишет прот. Г. Шавельский, — никто не

может так поддержать, ободрить, наставить и направить на войне нашего солдата, как это может сделать священник» (стр. 22). В противоположность мирной России, в противоположность «у себя дома», – на войне священник постоянно среди солдат, и стоит ему, отойдя от своей палатки, заговорить на ходу с солдатом, как сейчас подойдут другие солдаты и слушают. Жатва – готова, почва всегда голодна и жадно поглощает всякую каплю поучения. «Учи, поддерживай веру и бодрость духа, верность долгу, царю и родине, разбирай все вопросы, какие выдвинула полковая жизнь и боевое время, подготавливай свою часть к бою, к победе, чтобы бой встретила она без страха».

Пособником священника здесь могла бы быть книжка: дело это опять было совершенно пренебрежено в минувшую войну; и только присылка маленьких библиотечек из Петербурга, распорядительностью известного о. Ф. Орнатского, председателя «Общества распространения религиозно-нравственного просвещения в духе православия», восполнила этот недостаток. Всех таких библиотек было выслано 20, по 10 р. за библиотеку, и каждая библиотечка состояла из 173 названий книг и брошюр религиозно-нравственного и патриотическо-исторического содержания. «Перед войной, – говорит автор, – о книжке забыли. В списке вещей, какими должна быть снабжена воинская часть, даже такая крупная, как полк, о библиотеке нет помину. Библиотеками и не запасались ни части, ни священники, отправлявшиеся на войну. Предполагалось, что библиотека будет лишним грузом, стесняющим передвижение части, у которой все должно быть взвешено и размерено. О библиотеке вспомнили на войне, когда люди в промежутки между боями томились от скуки и безделья и с жадностью голодного набрасывались на каждую печатную строку»... Автор настаивает, что обоз, везущий несколько тысяч пудов полковых вещей, не вправе отказаться от 2–3 пудов книжек, и библиотечками должны быть снабжены в будущем все воинские части.

Самая незначительная материальная помощь священника солдату, ласковое его слово или слово строгое, если солдат обидел местного жителя, – все делается моментально и широко известно по армии, говорит автор, хотя бы и было сделано укромно или втайне. Армия, по тесноте единения и обилию в ней движения, сама есть говорящая газета, живая почта и моментальный телеграф. И если у священника есть положительные добрые качества, если он сколько-нибудь активен, он быстро получает любовь, влияние и авторитет. Здесь, на войне, все воспринимается, как воспринимаются с особенною силою лекарственные травы *in statu nascendi**, т. е. в момент цветения. Все – в работе, в напряжении: и душа хватает всякое услышанное слово и всякий увиденный поступок с невероятною жадностью. Вот отчего здесь так легко рождается – подвиг и паника, смерть за отечество и бунт, моментальная дезорганизация и величайшая дисциплина. И священник должен пользоваться этою раскаленной атмосферой «войска в движении».

* в состоянии зарождения (лат.).

Книжки о Шавельского – как эта, так и еще другая – «К рекрутскому набору», написаны очень кстати, написаны очень хорошо; а всюду рассеянные в них практические указания, без сомнения, будут приняты во внимание и помогут устранению кое-каких вопиющих недочетов в деле организации церковного духа армии.

ОСТАНОВИТЕ ЭТОТ ПОЗОР

Всякое *служебное дело*, конечно, представляет собою некоторую *технику* этого *дела*, но затем представляет и некоторую *мудрость* этого *дела*, так сказать, умственную и нравственную *развитость* в нем. Можно быть *техником преподавания* – и оставаться *бездушным преподавателем*; можно носить эполеты и звякать шпорами – и бежать с поля битвы или даже до битвы сказать больным. Наконец, можно отлично знать *формы судопроизводства*, надевать цепь, соответственную председателю суда, и произносить судебное *résumé*; далее – задавать «клоняющиеся к обвинению» вопросы, и это будут, конечно, вопросы «прокурора», произносить блестящие речи с разными *mois** – и это будут, конечно, речи адвоката: и *в общем*, однако, явить собою не суд, а мелкоумную уездную сплетницу, судачащую о соседях, подслушивающую у дверей, рассказывающую и размазывающую сальные анекдоты, и, наконец, явить собою даже безобразника, раздевающего догола не только живых, но даже и мертвых!! Невольно рвется крик: «Как вы смеете!» Этот крик «как вы смеете» рвется по адресу московского суда, судящего не убийцу жены своей, г-на Прасолова, а вздумавшего начать производить обнажение трупа несчастной, – может быть и дурной, но во всяком случае несчастной, убитой женщины, Зинаиды Прасоловой, у которой есть родные, у которой есть сестры девушки, раздевать ее и сплетничать о ней, к подлейшему хохоту городской и всероссийской улицы. Зрелище это до того позорно, что остается только изумляться возможности таких процессов. Прокурор спрашивает:

– Как жила покойная, как обставлена была ее квартира?

На этот вопрос свидетель, с чувством выпивающего у буфета в кафешантане, отвечал:

– Обстановка не соответствовала такой красивой женщине.

Чудовища, – да ведь она *мертвая*!! А мертвые не «красивы», а только мертвы!! Вы суд заменяете кафешантаном.

На следующий вопрос прокурора, «*увлечен ли был свидетель покойной*», Окснер ответил:

– Я вообще *любитель красивых женщин*; люблю проводить время в их обществе.

И дальше свидетель пояснил:

– Почему не доставить за лишний рубль для себя развлечения вне дома.

* я (фр.).

Прокурор не удовлетворяется и спрашивает:

– Ну, а имела ли она право (!!) на бриллианты, на роскошь?

Позвольте – да *всякий* имеет «право на бриллианты и роскошь», неужели прокурор этого не понимает, что от Семирамиды до его скромных, вероятно, знакомых всякая женщина имеет право «на бриллианты и роскошь», потому что это не змеи, не фальшивые векселя, не бомбы, а просто вещи, покупаемые в магазине и на покупку которых ни у какого правительства и ни в каком министерстве «прав» не выправляется, не берется. Да он не понимает, этот прокурор, что такое «право»!!!

Окснер отвечает:

– Если бы я был свободным человеком, то, конечно, для...

«В публике смех. Председатель прерывает (увы, слишком поздно, *допустив* уже все эти глупости) свидетеля, говоря, что дальнейшие объяснения не нужны».

После показания г. Окснера допрошенной накануне прислуге Прасоловых Елисеевой задается защитой вопрос:

– Кто же бывал в гостях у Зинаиды Ивановны (убитой), кроме Аренсона?

Елисеева ответила:

– Кроленблех, Окснер, Шифферсон.

«При следующем передопросе Елисеева прибавит, конечно, еще *пятирх*» (заметка репортера «Утра России»).

Пропустив несколько, читаем:

«На вопросы прокурора и гражданских истцов, какое же чувство, по мнению свидетеля, влекло Прасолова (еще жениха, и потом влюбленного, и потом мужа) к покойной, Шестов ответил:

– Прасолов очень чувственный человек. Он мне всегда говорил, что не встречал женщины, подобной (покойной) Зинаиде Ивановне. Он опьянялся ароматом ее тела. Зинаида Ивановна была извращенной женщиной, и это сильно манило к ней Прасолова».

Этот обыватель-вивер на *обывательские* расспросы прокурора мог, сплетничая, интимно ответить ему:

– Как вам сказать, господин прокурор... Вам любопытно узнать, что влекло Прасолова к убитой им жене? Все то же, что вообще влечет нас, грешных. Одних влекут формы и зрелище, а есть такие, что манит больше всего ароматичность женского тела. Прасолов сказывал, что покойница влекла его ароматичностью. А вас, господин прокурор, чем привлекают женщины?

Да не сочтет кто-нибудь моих слов криминальными. Убитая – нам всем, христианам, сестра. *Честь* ее нам дорога всем, у нас есть жены, сестры, дочери. Я совершенно оскорблен, лично я, Розанов, *оскорблен* таким неслыханным вопросом прокурора, и, чтобы объяснить этому слепому чиновнику, до какой степени он *делает больно нам всем этими расспросами о покойнице*, – делает чудовищную боль и наносит безвинную обиду *ее сестрам-гимназисткам* и, если есть они (неужели есть?!), и родителям ее, для

ясности всего этого чиновнику-прокурору – я готов соединить с именем не убитой, которой прокурор не чувствует, и ее ему не жалко, а с лицом, близким прокурору и чувствуемым им.

Безобразные вопросы, безобразное зрелище.

Зачем оно?

Прокурор не понимает, что такое суд. Министерство юстиции, от лица коего он так развязно действует, не понимает, что такое суд.

Смотрите, какую мысль он внушает присутствующим на суде, присяжным и всем читающим о процессе: он расспрашивает о «числе посетителей-друзей» явно для чего-то, *относящегося до вины убийства*; т. е. уже в предлагаемых им вопросах сквозит аксиома, принадлежащая этому прокурору, но отнюдь никому, кроме него, не принадлежащая, что 1) об *одном* любовнике – нельзя убить, а 2) о *пятерых* любовниках – убить можно. Иначе, для *чего* же вопросы? Для *чего* же о *числе*?! Или – для *срама и единственно посрамления покойной*, на что никакого права не имеет прокурор, ибо никто его к нравственным суждениям не призывал, на это есть – священники, на это есть – родители, на это есть – общество. Или – для юридического обвинения убитой, т. е. *vice-versa**, для указания, что убивший ее муж не так виновен.

Но, господин прокурор, *проститутки* – и тех запрещено убивать законом! А вы призваны – к охранению закона.

О «запальчивости мужа», о раздражении, о том, что он убил в ревности, – не может быть и речи. Он ее не любил, с нею не жил, жил давно с другими женщинами. Так как он женился почти на гимназистке и был гораздо ее старше, то явно, что не он у нее «шел на поводу» по всей этой жизни, а она шла и пришла сюда, едва сойдя с ученической скамьи, – ведомая, как под уздцы лошадь, муженьком-убийцей. Он ее ввел, судя по соотношению лет и зрелости, в весь этот омут; ему было лишь «щекотливо, неприятно», когда в зале ресторана, где он обедал «с дамами», иногда и случайно появлялась и она «с кавалерами». Не *мужнино* это чувство, ибо образ ее поведения не был скрыт от него, да и он вообще с нею уже не жил, он жил с другими, и она была на другой квартире, а было задето чувство «человека из общества». Он убил ее как клубист-экс-супруг, а не как муж. Т. е. как в простонародье убивает на улице хулиган.

Он виновен не только в смерти ее. Он виновен в поведении ее. Выясняя это (и убежден в этом), чтобы хоть немного облегчить положение и безвинную муку сестер-гимназисток убитой. Всегда муж, как *старший по годам, по положению и по образованию*, – виновен в поведении жены, ибо он прекрасною жизнью и прекрасною своею личностью мог бы воспитать ее, как, с другой стороны, муж всегда может развращенностью и извращенностью – развратить жену, а общим «клубным» и «шатающимся, прогульным образом жизни» – может неодолимо ввести жену в утар этой же жизни.

* наоборот (лат.).

Где муж – там и жена.

Каков муж – такова жена.

Законы природы осуществляются везде. Женщина везде – пассивна, подражательна. Входит в чужой пафос, имитирует мужу. Муженек, искавший в девушке-невесте не нравственных качеств, не души, не привязанности к дому, а «ароматичности ее тела», явно был лишь по форме мужем, а на самом деле он был Дон-Жуаном-совратителем, лишь формально принявшим «рамки» мужа, «рамки» супружества, а на самом деле и в супружестве оставшийся Дон-Жуаном из «Обжорного ряда» Москвы (есть такой там «ряд» лавок и торговли).

Сестры убитой да не убиваются в отчаянии. Пусть никто не думает, что «эта семья – худая» (председатель допустил подобные суждения на суде!). Сестра их была просто несчастная, которую сперва «закружил в чад» муженек, а потом убил. Довольно «обыкновенная история», особенно становящаяся «обыкновенною» при благосклонном споспешествовании русско-го суда.

Какая позорная юриспруденция!

ОПРАВДАНИЕ ПРАСОЛОВА

Суд, водевильно разыгранный в Москве, окончился водевильным исходом. Женоубийца оправдан. Присяжные, очевидно, входили мало-помалу во вкус московского анекдота, московского времяпрепровождения, московского халата и калача, где все сладко, гладко и где если оказывается неожиданно труп, то о нем произносят только: «Выволоките вон». Конечно, *вся Россия*, которая есть тоже до некоторой степени «присяжный заседатель» в открытом и гласном русском суде, никак не согласится *нравственно* с приговором 12 московских господ, постепенно подведенных под гипноз балагурства около трупа, – и назовет их *приговор безнравственным*. Собственно, безнравственно было все *ведение суда*, весь *тон* его, совершенно неприличный около такого страшного дела; все эти странные допущенные вопросы и совершенно дикие по разухабистости ответы на них. Решение присяжных гласит, будто убийство произведено в «умоисступлении». Поистине это первое попавшееся слово; поистине, это то «шило», которое высовывается из дырявого мешка нашего суда: ибо о каком же «умоисступлении» можно говорить, когда «револьвер не кладется в брюки, чтобы не испортить их фасона», и из этого самого револьвера убивается жена? Явно, брюки были ценнее женой жизни.

Эти оправдываемые женоубийцы и оправдываемые отцеубийцы, или отдаваемые на «испытание» в больницу, все они являются прецедентами, все они являются поощрением. Наконец, все они являются этапами той вообще моральной разрухи, которая темным облаком надвигается на Россию. Надвигается, да уже и надвинулась. Суд в опасности, это явно. Из него «вы-

скакивают», как и «падают в петлю», в зависимости от минуты, настроения, от тона, в каком повелся процесс, в зависимости от удачного mot* адвоката. Это не есть серьезный суд. Положение грозное. Вспоминается в общем поговорка: «Кто сеет ветер, пожнет бурю»; а в индивидуальных случаях, которые и ложатся особенною болью на душу, скажем, что куда-то пропало знаменитое сострадание русских людей, куда-то пропала их жалость – и не жалеют они ни застреленной молодой жизни, ни проломанного черепа стариков и старух. Какой-то дикий, жестокий кутеж стоит кругом, с припевом песенки:

Мертвый в гробе мирно спи,
Жизнью пользуйся живущий.

Это из «Торжества победителей» Шиллера. Но поэт пел о благородных воинах, победителях под Илионом; мы скорбно повторяем его стих, чтобы применить к какому-то торжествующему свиному стаду на Руси.

КОСТРОМСКАЯ СТАРИНА

Благодеещие «Старые годы», доставляющие неописуемую пользу и удовольствие всей образованной России, – посвятили значительную часть январской книжки художественным памятникам города Костромы. Нынешний год из всех городов русских – Кострома именинница. Все сюда смотрят, все в Костроме выискивают красивое, выискивают памятное, выискивают почтенное. Все сюда кланяются, все несут Костроме подарки, одни знанием, другие любованием. Скромная, древняя, с языческим именем («Кострома» – собственное имя языческой богини одного из чудских племен, обитавших по Верхней Волге), заросшая сосновыми и еловыми лесами и засыпанная мелким морозящим дождем, но зато грибная, ягодная и медвежья Костромская губерния – сегодня вся в солнышке, нарядна и весела.

Она дала Руси, или, вернее, она сберегла для Руси, Царя-Родоначальника. Ипатьевский монастырь – ее религиозный и исторический центр.

Превосходный подарок принес ей г. Георгий Лукомский в январской книжке «Старых годов» – «Барокко и классицизм в архитектуре Костромы». Не пугайтесь заморских слов, как «барокко» и проч. Костромичи впервые узнают, что таким иностранным словом именуется, напр., их привычный старый Гостиный двор, в местном говоре просто «Ряды» (т. е. ряды *лавок*), и церковь там же «Спаса в Рядах», постройки 1776 года, присматриваясь к каковым в великолепном воспроизведении «Старых годов», точно видишь и убеждаешься, что в сущности ведь это построено в греческом классическом стиле. Местным жителям не приходит в голову та-

* слово (*фр.*).

кое знаменитое родство потому, что все эти колонны и арки, конечно, давно замазаны, имеют грязный вид: а на рисунке-фотографии замазанность и потускнелость исчезает, а видимы одни линии, одни формы: и они действительно оказываются *классическими и прекрасными*. Посмотрите, напр., «часовня в Селище» (стр. 22) – да это совершенно римский Пантеон, построенный благочестивым другом Августа, Агриппою, – но отнюдь не копия, а только в его «веяниях», в его «стиле», – в его *основных*, и не более, формах. Но чему нельзя достаточно удивиться и чему нельзя достаточно посмеяться, это тому, что «Гауптвахта» (стр. 34) построена в стиле афинского Парфенона, что, вероятно, доставляло полное удовольствие сажаемым туда под арест офицерам николаевских времен. Но лучшее в «античном роде» – это шестиколонный портал, в дорическом стиле, к церкви Рождества Христова (стр. 36). Как и в статье говорится, здесь пропорции «удачно схвачены»: ведь от этих «удач» и зависит впечатление: портал до такой степени прост, ясен и спокоен, что не хочется оторвать глаза. Это – та простота, которая никогда не утомляет, никогда не надоедает. Вот уж можно сказать не «нервное искусство», это классическое искусство... Право, клиники и *убранство палат* для нервных больных я запрещал бы устраивать в каком бы то ни было ином стиле, нежели в греческом, только именно – в дорическом. Он весь выполз из волшебного жезла Асклепия-Исцелителя.

И названия церквей в Костроме прелестны, как в старой Москве: «Воскресения Христова *что на площадке*», «Богоотцов» (Иоакима и Анны), «Спаса в Рядах». Г-н Лукомский говорит, что сами костромичи не доверяют, что в их маленьком, тусклом городке есть что-нибудь замечательное по части искусства. Напрасно. Воспроизведенные в превосходных снимках «Старых годов», они – прелестны. Истинная культура каждого городка заключается не в торопливом, «на американский лад», воздвижении кучи учебных заведений с бестолковыми программами, не в зазывании к себе блестящих лекторов из столицы, не в издании даже местной газеты, которая будет вторить столичной печати, а в знаящем и любящем отношении к своей старине и истории, в памяти этой старины, в гордости этого стариною.

Кстати напомнить здесь и об одном практическом деле. В Петербурге проживает, как я слышал, до 60 000 костромичей (т. е. из Костромской губернии), пришедших сюда на «отхожий промысел». Многим из них случается попасть в несчастье, беду, нужду, болезнь. Есть здесь и «Общество вспомоществования выходцам из Костромской губернии», в своем роде гражданское землячество. Председателем его или деятельным членом состоит почтенный отец протоиерей Д. В. Целиков, один из священнослужителей Вознесенской церкви, что на Вознесенском проспекте. Адрес и телефон его – в соответственных книжках. Членский взнос – 5 руб. Может быть, кто-нибудь захочет приложить свои лепты к этому прекрасному делу.

ЛЮБОВЬ ВОЗВРАЩАЕТСЯ. РОМАН Н. Н. РУСОВА

Г-н Н. Русов, автор романа «Озеро» и полуфантастических очерков «Отчий дом», напечатал новый роман – «Любовь возвращается». Уже в «Отчем доме», маленькой фантазии на блуждающие темы, сказалось здоровое чувство автора: поворот юного духа от декадентских вывертов и от разбойно-сутенерских ухваток и вкусов господ «в косоворотках» к провинции и к старине. В двух ослепительно ярких сценках он нарисовал здесь зал заседаний «Религиозно-философского общества в Петербурге», при электрическом освещении, и – полуосвещенную комнату своей старой няни, где он подслушал ее простую, верующую, старую молитву. В двух этих сценках сказался весь автор теперешнего романа – «Любовь возвращается». Роман посвящен жизни глухой провинции, с ее деревянными заборами, крепкими кладовыми, долгими чаепитиями, медлительными нравами, где эти «нравы» хорошо выстаиваются и чисто кристаллизуются. Любовь, собственно, не «возвращается», как неверно надписал автор свой роман: любовь всегда жила здесь, никогда не уходила. Любовь все здесь освещала и все согревала. Чистые юноши должны ехать в «уезд» и «губернии» искать идеалисток-девушек, не с идеалистическими «словами», а прежде всего с девственно-чистой натурой, спокойно созревшей в спокойной тиши; и то же можно сказать об утомившихся и обманутых жизнью столичных девушках, – где они могут найти верность, дружбу и вообще «судьбу вдвоем». Всякий, кто подолгу жывал в провинции и слушал чутким ухом молодую жизнь там, – знает, что, конечно, провинция сохранила чистый идеализм любви и *доверие* к этому высочайшему проявлению человеческой личности. Отырываясь на минуту от темы, но отчасти и комментируя ее, передам крошечный диалог, который мне привелось подслушать – *terrible dictu** – у буфета крошечного елецкого театра.

Налив чего-то сладкого, двое молодых людей купеческого вида чокались. Один и говорит другому:

- Видел пару гнедых у подъезда?
- Как же! – И называет собственника их.
- Помнишь бал прошлой осенью?

Называет фамилию сестры моего ученика, милого Коли Г. Что же оказывается (из разговора): проходя по залу, она уронила цветок и не заметила. Его поднял незаметно кавалер, увы, из купчиков. Другой, «простой купец», у которого родитель имел «лавку красного товара», подошел и говорит приятно: «Уступи мне цветок». Тот отвечает: «Ладно, если ты уступишь мне пару новых своих гнедых». И купчик отдал пару восхищавших его гнедых, чтобы получить цветок, который держала в руках любимая девушка, и жизни ему – один день. Да, но цветок он мог хранить в книге всю жизнь.

* страшно сказать (*лат.*).

Это – слышанное (не выдумываю). А сколько *видел* и *знаю* чудеснейших романов в провинции, и почему-то именно в *уезде*, а не в губернии. Должно быть, теснее жизнь, близко все знают друг друга.

Вот еще эпизод. Умирает инспектор студентов в Петербурге, старый холостяк. Он уже прошел много «любвей», но помнит эту старую, провинциальную. Говорит жене брата, которая будет хоронить его: «Достаньте (вот оттуда-то) лайковую перчатку». Она достала. Ветхая, пожелтевшая перчатка, девичья. «Когда я умру, потихоньку положите ее мне в гроб... Это – тридцать лет назад». Так что, господа, любовь *существует*. Только вы не знаете, *где* ее искать.

Г. Русов очень правильно рассмотрел, *где* искать. Чистый и деликатный его роман не имеет особенно выдающихся достоинств, но он, как небольшое суденышко, имеющее крепкий парус и верный руль, не обманет читателя и не отравит часов чтения. Превосходное знание уездного быта, средней полосы России, сказывается в каждой странице. Ничего – экзотического, ничего – нервного. Нигде «ведьма не едет на помеле» и «черт не толчет в ступе», как в любовных историях новейшего времени, в сущности, зародившихся непременно на Невском и оканчивающихся непременно в «гостинице для приезжающих», хотя бы автор писал об Англии или об Америке, о Тамбове или об Одессе, о князьях, о духовенстве или о поэтах. В сущности, ведь всегда автор пишет о *себе самом*, а бедным «новым авторам», очевидно, не дается на зубок другая рыба, как с Невского, и он все *ее* одну наряжает во все наряды и помещает во все места. История происхождения этих типов и этих историй довольно простая... Г. Русов, несомненно провинциал, «оправдывает любовь» просто тем, что изображает ее верно, и изображает у людей, изображает «в нашей России», а не у собак со специфически купринско-арцыбашевско-каменской «псарни».

Ну, Господь с ними. Роман прочтется всей Россией с удовольствием. Советуем автору не спешить; советуем *настоятельно* пореже выпускать романы. Творчество вовсе у него не «бьет ключом». Оно «кап-кап», и чем дольше рукопись полежит в столе у автора, тем читателям его будет лучше.

ВЗГЛЯД ОДНОГО ПОПЕЧИТЕЛЯ ОКРУГА НА МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ

Говорить горькое – не отрадно; а говорить горькое много лет, и все в одном направлении и в одном тоне, – представляет невыразимую тяжесть и в житейском, и в литературном отношении. Перетираются, наконец, нервы и истощается душа, а к этому прибавляется еще возможное недоверие слушателя или читателя к таким однотонным и однообразным мыслям. Мне, начиная с 1893 года, т. е. в течение двадцати лет, приходилось писать столько отрицательного о наших гимназиях, университетах, о первоначальной школе, об *основных принципах* образования и воспитания во всех этих ярусах

просвещения, что я рад возможности несколько помолчать и дать слово другому лицу, компетентному в области обучения и воспитания, и притом признанному талантливым человеком здесь со стороны самого министерства просвещения. Это – *попечитель учебного округа*, окончивший Московский университет в 1882 году, с которым, как с товарищем по университетскому учению, мне пришлось столкнуться этой зимой, т. е. перекинуться несколькими письмами, не выдавшись лично. За отсутствием личного знакомства, не может быть и речи о *личном влиянии* с одной или с другой стороны; что лицо данное является *талантом* в своей сфере, можно судить по тому, что от смиренной должности *учителя гимназии* оно дошло до должности *попечителя учебного округа*. Заинтересовавшись его суждениями, я позволил себе, чтобы ориентироваться в этих суждениях, спросить нечто о его «роде-племени», так как с этой стороны его совершенно не знал, знал лишь «студентом в Москве», – и больше ничего. Сообщение крайне удовлетворительно:

«Родился в *родовом имении* С-ского уезда Смоленской губернии. Отец служил в военной службе; юнкером участвовал в Венгерской кампании, офицером был в числе защитников Севастополя. Это был большой русский патриот. Иногда он говаривал, что мог бы переселиться за границу, но только вместе с отцом Гавриилом, нашим приходским батюшкой, и с черновскими мужиками (соседняя деревня). Мать приходилась племянницей синопскому и севастопольскому герою и была женщина очень религиозная, с чисто русским складом ума. Семья была большая – 14 человек детей. Росли в деревне, купаясь в народной стихии. Образование получил в вяземской гимназии и Московском университете. Службу начал учителем в р-ской гимназии».

Конечно, факты *рода и воспитания* иногда не совпадают с личным воззрением; яблоко иногда далеко откатывается от родившей его яблоньки. Но в данном случае в самом *тоне* беглого накидывания биографических сведений слышится крепкое *да* в отношении этих условий рода и воспитания. «Мы были русские и воевали за Россию; мамаша хорошо родила детей, а отец-дворянин больше всего был привязан к своим крестьянам, да к приходскому батюшке и предпочитал их всякой загранице». Прочитав, можно только сказать: «Слава Богу».

И вот этот *стильный русский человек*, крепкого, исторического и бытового закала, входит в службу министерства просвещения, причем *всю ее узнает*, узнает *без пропусков*, как 1) гимназист, 2) студент, 3) учитель гимназии, 4) инспектор гимназии, 5) окружной инспектор учебного округа, 6) попечитель учебного округа (все это исчислено в его письме).

Как человеку с положением, могущему иметь влияние на практические дела, я написал ему в письме о том, о чем многократно высказывался и в печати, а именно что до странности обеспокоено и выхолощено *историческое воспитание* в наших гимназиях, историческое и *русское*, как в смысле программы, так и принятых министерством *учебников*, так, наконец, и *внеклассного чтения*. Я ему передал свою давнишнюю скорбь, еще скорбь

гимназиста 70-х годов минувшего века, но не утихающую и до сих пор, что ведь в *ученические библиотечки* не выписываются *обычно*, а может быть, и *не дозволены к выписке*, а в награду за «успехи и прилежание» ученикам решительно никогда не даются книги таких классиков русского мировоззрения и русского вдохновения, как славянофилы, начиная от Киреевского, или классическая «Жизнь и труды Погодина» Барсукова. Что вообще *русское чтение* дико и безобразно находится в загоне в *русских гимназиях*, замененное чтением разных мнимо философских западных премудростей, начиная от Дрэпера. Он мне отвечал на эту *общую* жалобу письмом *общего* же содержания, которое я считаю историческим документом и приведу его для удовольствия читателей:

«Ваша *тема* разработана мною ровно 25 лет назад. Будучи еще учителем р-ской гимназии и библиотекарем, я обратил внимание на то, что читают наши гимназисты, и пришел от этого в ужас. В библиотеке – пустыня Аравийская, а на стороне – всякая мерзость. Тогда я составил по этому вопросу докладную записку министру просвещения Делянову и приложил к записке «Опыт каталога ученических библиотек». Конечно, сюда вошли все исчисленные вами (я перечислил писателей 6–8) писатели. Два года министерство «рассматривало» эту докладную записку и изуродовало мой «Опыт», внося туда массу «безвредного» и выкинув немало серьезного; наконец, издало его в 1889 году и долго, кажется, не пополняло.

Конечно, никто из директоров Аксакова и Хомякова в библиотеки не выписал. Летом 1904 года на съезде попечителей учебных округов я опять поднимал вопрос об ученических библиотеках и между прочим просил обратить внимание на историческое чтение учеников. Но... «этот номер не прошел».

Лица, ныне стоящие во главе министерства народного просвещения, правда, выказывают много твердости и энергии, много у них рвения и добрых намерений в области просвещения, но я не надеюсь, чтобы они были в силах достигнуть ценных результатов. Слишком уже школа наша, снизу доверху, расшатана и испорчена. Недаром французы говорят, что легче проделать три революции, нежели раз перестроить школу. И это, заметьте, в стране, где просвещение ценится само по себе. У нас же ценят главным образом дипломы. Тут уже вступает в действие общий политико-экономический закон стремления получить возможно большую выгоду (т. е. диплом) при наименьшей затрате сил (на ученье). Несомненно, этот закон проявляет и будет проявлять свое действие в Г. Думе. Серьезное учение никогда не может быть легко, и вот этого-то никогда у нас не дозволит и не допустит распушенное и ленивое общество.

Нет, эту стену не прошибешь. Наше министерство просвещения исторически и глубоко испорчено. И не поддается усилиям даже энергичнейших благонамеренных людей, вроде теперешнего министра. Приходит иногда на ум отчаянная мысль, что есть одно средство ис-

править это ведомство – скрыть весь дом у Чернышева моста, разобрать фундамент, затем произвести дезинфекцию *lege artis** и в конце концов позвать «батюшку», чтобы он с «пением» окропил почву святой водой. Тогда надо выстроить новое здание для министерства на том же месте, а еще лучше совсем на другом, подальше от старого... Если это и преувеличение, то вы поймете горькие чувства, из каких оно исходит».

Таким образом, смущенный взгляд на состояние наших школ не есть что-либо личное и злоупотребительное, не есть что-либо болтливое и только печатное. Нет, это – *дело*, и хорошо понимаемое деловыми людьми. *Всеми* ли? Нет, не понимаемое людьми «Интерлакена», выражаясь аллегорически; людьми межеумочными, – так сказать, *между-культурными*, как есть «международные», «интернациональные» понятия, вкусы и мысли. Школа наша *между-культурна* в том смысле, что она зашемилась где-то *между* несколькими культурами, борющимися между собой: культурой античной, культурой христианской, культурой позитивной, культурой русской, культурой европейской. Школа же не принадлежит *ни к которой из этих культур*, не лежит ни на единой из них; ибо каждая из названных культур исключительна и не совместима ни с одною и другою. Как нельзя быть одновременно позитивистом и мистиком, быть реалистом и восхищаться Платоном, так точно... нельзя, в сущности, быть удовлетворительным «гимназистом», слепленным в каждом часе своих занятий и во всяком учебном дне из камешков, откатившихся от трех противоположных культур, находящихся между собою в страстном антагонизме.

И человеку «стиля» это понятно. Понятно «русскому человеку», учен он или не учен; понятно «верующему», будет он мирянин, архиерей, протестант, православный или католик. Но *это* же самое совершенно непонятно человеку без «стиля», каковым естественно быть чиновнику или быть савновнику. Потому что, конечно, странно говорить о «стиле» чиновника и даже министра; суть-то их и заключается в снятии с себя всех стилей, с отречением от всех вер, с освобождением даже от всех патриотизмов. Каковы вещи, каковы девизы, каковы идеалы заменены для него: 1) мундиром; 2) начальством и 3) повышением.

Вот отчего вздохи *России*, что «нет школы», никогда не будут постигнуты министерством, которое, оглядываясь, отвечает изумленно:

– Помилуйте, Россия *полна школ*!!

– Учатся везде, учатся много, учатся разнообразно.

– Да, и везде мозги расстраиваются, сердца дезорганизуются. И *целая жизнь* – опускается от учащихся людей, а не поднимается учащими-ся людьми.

* по всем правилам искусства (*фр.*).

ВПЕЧАТЛЕНИЯ МИРЯНИНА

«Торжество Православия» в служении Антиохийского Патриарха

Уй, как страшна «анафема», – тоскливая, печальная... Церковь всегда благословляет, все 364 дня в году благословляет: но один день, 365-й, она проклинает. И это проклятие такое страшное.

Его произносит протоиерей: «Анафема!» – как выковырнул ломом булыжник из мостовой. И повторяет трижды хор, причем два первые повторения – тягучие и страшные, «с какой-то тоской в сердце», а третье повторение уже в обычных церковных тонах и как будто говорит «ничего». Иерархи же молчат. Но ведь и протоиерей и хор – второстепенные чины богослужения. Я же угадал анафему, вложив ее сперва – в первой линии – в уста детей, отроков, мальчиков и, затем, перенося в уста иерархов церкви, старцев, стоящих тут же, лицом к лицу, в два ряда. Это пение иерархов, старое и некрасивое, всегда в богослужении производит неизгладимое впечатление. И понятно – это главное: это глагол Церкви.

Я взял у студента «Чин службы Православия» и заглянул: «Отметающим бессмертные души – *анафема!*» Как?! Это так *нужно нам*, старым, слабым, больным: но мы не смеем надеяться, нет веры, знания, доводов. Ничего нет, душа истрепана. Вдруг, можно сказать, «перед всем правительством» и вообще столь официально, торжественно, этим заставляющим дребезжать стекла в окнах голосом протоиерея – Церковь проклинает каждого, кто усомнился бы... в чем?

О чем мы только шепчем нерешительно и молим Бога и Судьбу в грезах... Неужели Церковь так твердо знает, что душа не умрет? Что моя мама и сестра Верочка не умерли, что А. С. Суворин – не умер и все только «перенеслись куда-то». «Перенеслись» и «исчезли» – совсем разница: одно – нет! птичка убита! А другое – просто птичка улетела, и ничего страшного не содержит в себе.

«Нет, я не верю этому»... – *Анафема!* – выворачивает протоиерей.

Платон тут клевал кое-что в «Федоне», но такие длинные доводы, что даже и не поймешь скоро. И «куда птичка улетела»? Если – «к Богу», то ведь вот Куприн и Арцыбашев говорят, что «и Бога вовсе нет»...

– *Отвергающим бытие Божие – анафема!* – раскатывается по всему Исаакию Далматинскому.

Ах!!... Да что же это такое? Так перед всеми чиновниками, перед «зрителями», каков и я, грешный, можно сказать, перед публикой и народом, собравшимся с Невского и из департаментов, Церковь «отрекает» и «проклинает» всех, кто дерзает колебать вслух или даже лично для себя сомневаться... в чем?

Что... мне всего дороже, нужнее, за что я не усомнился бы «самую жизнь отдать», если бы эта «отдача жизни», – жертва очень маленькая и никому

не нужная, – могла сколько-нибудь пособить. Но ничего не «пособит», – если я и умру за эту идею, – «существованию *теперь*» нашей дочки Надюши, скончавшейся почти двадцать лет назад...

– Анафема!!

Выходит что-то странное, как будто Церковь «уже умерла» за эту идею, – боролась, вынесла битые, и победила «за эту идею», и вынесла победу в мир, и вот теперь мне, в уголку Исаакия, шепчет, что наша Надюша – не умерла, что моя мать – не умерла, что друзья мои – не умерли, и все живы, и живы вечно!!

Шепот души... моя личная тайная мечта; да и не мечта, – куда! – а ужас, что «невозможно» и «нет».

И протодиаконский рев (простите!), кричащий победу, – именно победу в самом голосе: «есть», «живы», «вечны».

Что же такое и где я присутствую? Дым ладана, горящие свечи, колонны, простор, великолепие. Все-таки я учил учебнички, и, мне кажется, – я опять в Парфеноне, около которого Платон «клевал» о бессмертии души, но далеко не так твердо, как этот демонский протодиакон... Да и один ли Парфенон: встает «первый на земле» Египет, начала которого никто не видел и не знает и который первый из людей «выдумал Бога», и сегодняшняя «анафема» «сомневающимся в *бытии Божием*» защищает уже не одного Платона и Парфенон, но защищает и этот Египет, с его пирамидами, загадками и вечностью... на все «наше легкомыслие», которое мутит около вечных оснований всемирной цивилизации, – не христианской только и даже не только европейской, а как она росла из Египта через Грецию, Сирию, Афины и Рим к нам.

Я отдал «Чин» студенту и, посмотрев, шепнул с улыбкой: «Слышали – *отвергающим бессмертие души*: т. е. всем университетам, ибо кто же из научившихся в университете, и все профессора их, не *отвергают* бессмертия души?»

Он улыбнулся и кивнул головой. А я подумал:

– Какая пустельга все это. Ну, что такое «наши университеты» против одного вот этого богослужения 2 марта у Исаакия: где мне шепнули в уголок души обещание, что *все живы и никогда не умрем*? Кто же из профессоров это знает и кто выговорит с уверенностью? У них, бедных, тоже дети умирают, и они, бедные, *сами себе не смеют сказать утешения*. Церковь же говорит не себе и не шепотом про себя. Всему человечеству, на всю планету она гремит победные истины, которые одна держит в руках и не выронила, держит от пирамид и от Платона до нас: и не только их защищает, эту драгоценную мечту всякого, это счастье души всякого, это утешение в скорби каждому: но поднимает дреколье и хочет бить каждого, кто посягнул бы на утешения рода человеческого.

Да, «дреколье»: ибо протодиаконский голос именно как «дреколье».

Одна – осмелилась!

Одна – знает!

Одна верит!

Одна устояла против волн суеты, легкомыслия и не «заигрывала с Вольтером».

Была серьезна.

Была трагична.

Не помутила.

Не улыбнулась.

И не уронила фиал с вином от Самого Христа, Сына Божия.

И сердце мечтало: анафема! анафема!

РОССИЯ И ПАПСТВО

Ю. Колемин. Римский духовный цезаризм перед лицом Соборной Православной церкви. Ответ православного христианина итальянскому августинцу Аврелию Пальмиери на его полемический труд «Theologia dogmatica orthodoxa (Ecclesiae graeco-russicae) ad lumen catholicae doctrinae examinata et discussa. Florentiae. 1911 г.». С.-Петербург. Издание И. Л. Тузова, 1912 г.

Католицизм бросает свои штурмы на Россию, и бросает их на нее так же, как на Индию, Китай, Японию, с этим же высокомерием к низменному умственному уровню покоряемых духовно стран, их населения, их жителей... Штурмы идут именно *на Россию*, а не на *церковь нашу*, которая могла бы им дать отпор и дала уже отпор (в лице Хомякова главным образом). Они обходят армию покоряемой или воображаемо покоряемой страны, прокрадываются в сельское население, пробираются к блуждающим женщинам, у которых много парусов и ни одного руля, вкрадываются к «гонимым», сектантам, торопливо и охажкой «одобряя» все их мнения и особенности, но без всякого серьезного внимания к этим особенностям, т. е. опять же без внимания к лицу и достоинству человеческому...

И везде католицизм идет, *презирая тех, к кому идет*.

И везде он тащит одинокую, слабую, отставшую, отделившуюся от стада овцу, которая блеет, — *не зная, куда повернуть голову*.

Тут он храбр, в потемках, в закуте, в нашептывании на ухо мужику или женщине.

И удивительно как труслив на площади, где при дневном свете идут в облачения архиереи и иереи крестным ходом, и гремит октава протодиакона, и заливаются наши милые хоры, и народ без шапок истово крестится, и образа наших «Богородиц» в золоте и жемчуге, и славный, *добрый* православный звон (вслушайтесь в колокола, какие они у нас *добрые*)... И «хоругвеносцы», шатающиеся под тяжестью хоругвей, в их золотых бахрамах...

Идет крестный ход... И около него братаые ученые, тоже кое-что знающие и кое-что читывавшие, мурлыкают под нос:

– Добре! Добре! Ни у кого, как у нас!! Ни у кого вот этой славной доброй веры, веры *дневной*, веры *ясной*, веры без ночных колдований и околдовываний души человеческой, без тьмы и мрака, без ворожбы и черно-книжничества...

Тут все добро. Что тут не добро? Недостатки человеческие? Так они у всех! Недоделанность многого? Так ведь на то и история «в будущее», что Господь хочет вечного сотворения, на каждый год велит быть новому урожаю. Но решительно, решительно во всем православии, ни в едином самом неосвященном уголке его, ни у единого самого худого попа его, нет ни одной *заранее решенной лжи* перед людьми, перед толпою, миром, и нет же ни единого *тоже заранее решенного* худого замысла против этого мира людей. Фактических ошибок и фактических грехов – сколько угодно! *Принципиального*, «по сознанию» – ни одного!

И вот отчего так громки голоса в крестном ходе. И большие ноги в больших сапожищах твердо ступают по грязи и по камням. И все глаза ясны, а голоса все чисты.

Чистая совесть!

Спокойная душа!

Высшее счастье человека на земле, – оно дано, оно *есть* в православии; в этой воистине «детской вере», о которой Спаситель сказал, поставив дитя среди премудрых книжников и фарисеев:

«Истинно, истинно говорю вам: если не *умалитесь* и не станете, *как это дитя*, не внидите в Царство Небесное».

Вот отчего можно всю жизнь «немножко воевать с православием», ворчать всю жизнь около него, казалось бы, на все в нем сердиться и раздражаться, а как «возьмет за ребро», т. е. если кто скажет: «Ну, так переходи же *в другую веру*», то при таком зове для *понимающего* почувствуется такой ужас, с каким не сравнится ни казнь и никакое *личное несчастье*. Человек при «переходе из православия» (я говорю об умных и глубоких душах, не о «балаболках») почувствует, что он впадает во что-то неизмеримо горшее всякого *личного бедствия*, выйдя из мирового, и притом единственного, оставшегося на земле, света и вступив или, вернее, «оступившись» в мировую бездну, провал, гибель и ужас. «Где есть плач и скрежет зубовный и неугасимый огонь».

Да что толковать, дело ясно.

«Ад» Данте – высшая поэма католичества.

«Потерянный рай» Мильтона – высшая поэзия протестантства.

«Выше» не было; да ни у кого и не брежжится в уме, чтобы когда-нибудь, хоть через тысячи лет, католичество *сказалось* возвышеннее, глубже, всеобъемлюще, чем в «Аде».

И протестантство – чем в «Потерянном рае».

Но «скрежет зубовой» – и здесь и там! Великий *плач души*! Несчастье!! Обе поэмы говорят о каком-то страшном несчастье, именно о «провале», «ужасе» и «темноте». Что такое??!

Православному это даже непостижимо!

Под «Богородицами»-то? Около Иверской и Почаевской? За широкими спинами наших иереев и архиереев?!

«У нас ничего не провалилось».

Что у нас «ничего не провалилось» – это такое же «дважды два» в душе русского, такой же «дневной свет» перед его глазами, такой же «свет совести» у человека попивающего, но не изменившего жене, не обокравшего отца, не предавшего своего товарища, как... у католиков и протестантов *налично* присутствие, что, при полной трезвости и даже вегетарианском столе, они как-то странно и непостижимо изменили «всему дому», «поругали честь дома», не то «сестру выдали за богатого старика», не то «подделали духовное завещание батюшки», не то занимаются и практикуют «тайное вытравление плода»... Мы говорим примерами, аналогиями. Что-то худое и страшное, чему нет имени, чего существа нельзя уловить, что везде и нигде, – случилось в западных исповеданиях; что носится в них как запад и дух, хотя и не имеет для себя уличающего документа.

«Документ» – в поэмах, в поэзии! Вот что не обманывает, что не умеет лукавить. Именно потому, что *поэзия* – это есть *правда*!

И «правда» – *потерянная невинность* у протестантов (Мильтон).

Ад и «скрежет зубовой» у католиков! (Данте)

* * *

Оттого у нас «смазные сапоги хорошо скрипят» и ничьих душ в тиши и ночи мы не стараемся «выкрасть». «Мы дети честных родителей и воровскими делами не занимаемся», – вот наш ответ на самый *тон* католической и разной баптистической пропаганды, всегда с запахом какого-то поразительного пройдохства, прямо неприличного в порядочном доме.

«Порядочные люди» и «дети хороших родителей» прямо *такими делами не занимаются*. Украл ли хоть одно японское дитя епископ Николай? Он весь *прямо*, он весь – *дневной*. Ну, а католики в Москве и Петербурге, около старообрядцев и с вывеской над моленной иезуитского ксендза: «Православно-кафолический храм»?

Господа, вы покорили весь мир, но у вас *крапленые карты*.

Милые друзья, у вас Гумбольдт и Либих, но вы как-то ужасно *нехорошо выдали сестру замуж*, и, рассказывают, бедная удавилась. Говорю аналогиями.

А у нас колокола звонят, что сестра наша в добром замужестве, что родителей мы почитаем, за ученьем детей строго досматриваем, живем «на свои средства» и домик у нас ладненький, ну, хоть и не без «историй» в этом доме, когда или хозяин «не в разуме», или детишки «завели какую-то кутерьму».

Господа католики и протестанты, — идите в честный бой! Не смейте у нас шастать по далеким заборам, по задним дворам, ходить «с черного хода»... Прямой вам ход на парадное крылечко, снимите галоши в передней, входите в зал и раскладывайте ваши книги: перед вами Хомяков, Гиляров-Платонов, Константин Аксаков, двое Киреевских. Вот, пожалуйста, *опрокиньте их*, эту нашу защиту и крепость, и уж тогда можете проходить и дальше и захватывать в невод хоть всю челядь, и «женщин», и детей, и староверов, и белорусов... Пока же вами этого не сделано, все плоды вашего прозелитизма не могут быть рассматриваемы на Востоке иначе, как *кража* человеческих душ и отнюдь никакая не *победа*. А крадут от *бессилия*; крадут от *неправды*: и самый способ ваших успехов говорит о каком-то извечном вашем поражении, безнадежном в собственных ваших сердцах.

* * *

Смелым языком написанная, книга г. Ю. Колемина* против Пальмьери оттого именно и смела, и открыта, что автор — энтузиаст Хомякова, а нам приходилось неоднократно наблюдать, что всякий, вошедший в мышление Хомякова и дополнительно Гилярова-Платонова, становится навсегда неуязвимым для какой бы то ни было полемики католической или протестантской... «В мыслях папистов, — пишет автор на стр. 276, — царствует бедственная немощь, они не способны понимать ни что такое церковь, ни что такое вера, ни что такое человеческая совесть, ни что такое церковное паство, ни что такое церковная администрация». И такой тон чего-то *верхнего*, какого-то *высшего яруса мышления*, господствует во всей его смелой книге, направленной против первого теперь ученого авторитета в католической церкви, который с благословения папы еще Льва XIII предпринял обширный труд — изложение *православной* догматики «сквозь наш (католический) свет», коего пока появился первый том, плод десятилетней работы. И когда вдумываешься в этот укор Колемина, не находишь его ни резким, ни слишком расширенным. Действительно (и это первый Хомяков разяснил) католики утратили самый *нюх*, самое *осязание* всех решительно составных элементов церкви и религии вообще, впадши давно в извращение (по одному указанию автора — еще в V веке!) самого *духа* и самой сути христианства. Ну, вот немного, ну, кое-что:

1) Христос есть единый и вечный и никем не заменимый Глава церкви; это учит Восток.

Нет, глава церкви есть папа, избираемый конклавом кардиналов, — в коем желания австрийской дипломатии до известного предела и в точно оговоренных нормах имеют велящее или запрещающее значение. Таково мнение католиков, не одного, а *всех*!!

* Автор книжки, написанной на испанском языке и изданной в Мадриде: «Luz de Oriente. Khomiakoff». Madrid, 1912, — чиновник министерства иностранных дел, служивший 11 лет в Мадриде при русском посольстве.

Для русского просто дико колебаться в выборе мнения, т. е. которое, наше или католическое, истиннее!

Термин *vicarius Christi*, «викарий Христа» (на земле), появляется уже с V века в римских писаниях, формулах, претензиях и с V века до ватиканского собора, объявившего папу «непогрешимым» «*ex cathedra*»* возрастет неодолимо, все охватывая, все себе подчиняя.

Для нас это просто *дико*, и дико без всяких рассуждений, – спор папы с Христом, претензия его сесть на престол Христов! Папою (в X веке) была даже баба! Папами бывали даже атеисты, притом об атеизме своим заявлявшие («Мы надеемся достаточно насладиться нашим понтификатом»), – возгласил один избранный папа, снимая кардинальскую шляпу и надевая папскую тиару)... Папами были прелюбодеи (Борджиа)... Папами бывали убийцы (отравления врагов)... Пап бывало одновременно по несколько, и притом все наличные взаимно проклинали друг друга и отлучали от церкви... Таковы факты истории. Между тем «непогрешимость», провозглашенная на наших глазах, имеет смысл вовсе не «на будущие времена», т. е. не тот смысл, что после «нашего определения и *впредь* папы будут непогрешимы»; всякий новый догмат предполагается скрыто уже лежавшим в прежних догматах и *теперь* лишь «выясняемым», и потому вовсе не «папы» только будущие нарекаются «непогрешимыми», а нарекается «непогрешимым» само *папство*, самая эта *должность и сан*, «вот тут у нас, в Риме»; и, конечно, объявлены «непогрешимыми» все папы от апостола Петра (лжепредположенного первого епископа в Риме) до Пия IX!!

«Непогрешимость» и явный, доказанный, очевидный «грех»!!! Это возмущает не только престарелого богослова, но и самого зеленого нигилиста. Просто это – вне совести и здравого смысла!

Продолжим дальше сравнения.

2) Пасение пастырями овец, иерархами душ человеческих, должно покоем на любви, опираться на любовь, быть проникнутым любовью. Этому учит Восток.

– Нет: должно покоиться на *авторитете*, учат католики, и должно со стороны пасомых выражаться в немом повиновении, в слепой покорности, в нерассуждающем исполнении приказанного!

Опять для русского нет колебания, что избрать, где истина.

3) Религия – от души, из души, для души. *Душевность* веры – *все* в ней. «Душевность», – т. е. целый собранный мир человека, без разделения его на разум и сердце, на совесть и рассуждение. «Как говорит душа», «что велит душа»: вот закон, метод, путь, посох; вот и порох, и компас в вере.

– Нет, говорят католики: «решение» всякого вопроса есть «умозаключение» о нем: и в вере, как и в ведении, последняя инстанция и высший судия есть Разум.

Для русского опять это дико: и дико не после долгих рассуждений, а *сейчас! прямо!* «по усмотрению»!

* с кафедры, с амвона (*лат.*).

4) «Где же истина на земле? церковная истина?»

Католики отвечают: – «У кардинала, провозглашенного конклавом и одобренного австрийским министром иностранных дел в «папы».

Русские просто отвечают на это добрым смехом и говорят формулу, неизмеримо более сложную и мудрую:

– Истина, как ее *сейчас сказать бы словом*, не ясна еще, не ощутима; ее нельзя взять рукой, указать пальцем, выговорить по-русски, по-болгарски, по-гречески, по-римски и немецки. Все это «выговариваемое» – приблизительно и неполно. Но истина *есть*, и ею *живет человечество*, без нее бы сгибло. *Где же она? Везде и нигде*, рассеяна в самой жизни, оставаясь в ней неуловимой, как неуловима и неопределима сама жизнь. К истине «прилежит» всякий человек, – папа больше мирянина, но и мирянин, однако, тоже «прилежит», а *иной* папа вовсе не «прилежит»... Все – не *по форме*, все – по существу. Вот эта «сама жизнь» и содержит полную истину, и ею светится, ею кормится, ею напояется и поддерживается... А папы, епископы, иерархи, суть только «свидетели истины»; в *церковной* жизни и *верующем* народе они суть «свидетели веры», ее зрители и выговариватели, с ролью пассивной, с обязанностью к осторожности.

Иерарху – первое мнение, первый голос: не только – *пока он не «отступает»*. Иерархи на Флорентинском соборе «отступили»: но не повлекли *вслед себе истины*, а истина *сейчас же сбросила их с иерархического престола*.

«Человек – все», – учение папистов. «Человек, у которого все, – и есть «папа», с одобрения австрийской дипломатии».

«У одного Бога – все: а мы, люди, и папа, и все, – несовершенны, грешны, слабы. Вся наша сила – в смирении, правда – в признании, что все – кривы. И в вытекающей отсюда *личной* потребности для каждого – быть осторожным, несколько нерешительным, не рваться вперед, не порываться выше всех».

«Осторожнее, осторожнее!» – кричат русские, кричит все православие!

«Вперед! Вперед! Ведущий – все знает!! Он – папа! Он уже одобрен министром иностранных дел в Вене»*.

* * *

Вот положение, и спор, и колебание, взглянув на которое скажешь с г. Колеминым: «У папистов – все *темно*».

Колемин так и ведет полемику в этом духе, что католицизм есть некоторая *анти-вера*, что самое представление о «церкви» в Риме уже очень рано утратилось и что на месте светской империи Августов, Траянов и Антони-

* По правилу конклава – папою не может быть избрано лицо, о котором со стороны апостолического престола (Австрия) было предварительно заявлено определенное неодобрение. Это – «привилегия в католической церкви», данная за вековые перед папством услуги австрийскому государю, т. е. вообще – австрийскому правительству.

нов там возникла *духовная империя*, со всеми качествами и дерзновениями языческой империи, но поставя над собою крест, начав ссылаться не на *Corpus juris civilis*, а на Евангелие и перерядив римских преторов и легатов в священническое облачение... Но *духа всего этого* не изменив!! И вышел «папа» – задрапированный император, с его «авторитетом», «всемирностью» и проч. и проч.; с его аппетитом «округлить земельки» (Папской области), насажать всюду «своих людей» и родственников (непотизм, – история семьи Борджиев), побольше увеличить фиск, выдумать еще «обложение» народов, какую-нибудь еще 11-ю «лепту вдовицы» и 2-й «динарий Петра», хорошо принять послов, пышно отправить своих послов и, главное, главное! (суть *императорства*) не допустить где-нибудь на земле 2-й духовной империи, задушить всякого претендента, всякого соперника и расти все во власть, *власть, власть!!!*

– «Власти!!!»

А где же Христос, униженный, поруганный, распятый?

Оглядывается мир:

– Нет Христа!

Ужас проходит по миру: «Как нет Христа?»

– Есть *vicarius Christi*... «вице-Христос!!».

«С нами крестная сила», – крестится православный мир, напуганный и трясаясь, как в лихорадке. Да ведь Христос пришел именно унижить всякую земную власть, всякую земную претензию... Всякую человеческую гордость он смирил... И, напр., в России, Царь прямо «боится Бога», и даже счастлив «бояться Бога», ставит в гордость себе «бояться Бога...»

Все «боятся Бога...».

Да. Но вот *папа, очевидно, не боится Бога...*

Не «боится ли?» Неужели??!!

Действительно не боится: и в этом – все догматы, весь дух, вся суть католичества.

Человек «не боящийся Бога», которому бояться Его запрещено, и в этом суть его сана: и он – распорядитель всего миропорядка, «до религии относящегося»...

Вице-Бог...

А в сущности – император.

Император, «как Бог на Земле»...

Императорствующий в таинствах...

Императорски «прощающий грехи»...

Императорски «благословляющий на войну»...

Императорски «овладевший ключом Петра»; и отныне впускающий со штампом своей «империи» в Царство Небесное, ко Христу и Богу...

– Если не «император» и его «да», – к Богу не пройдешь: вера всего католического мира.

«Император» причащает...

«Император» исповедует...

«Император» служит обедни... Ходит в крестном ходе: нет, *его* несут в крестном ходе! Как *икону*, и больше даже всякой иконы!

Мир склоняется! Короли склоняются! Короли бывали изгнаны из царств за сопротивление этому императору...

Калигула? Гелиогобал? Что за процессия? Что за безумие?

– Нет, – папа! История же их есть и «История Церкви».

Как церкви??!! Христовой? «Изгнанных правды ради», «нищих», «миротворцев»...

Нет. *Параллельной* «Христовой Церкви»...

Это – церковь славных...

Это – церковь богатых...

Это – церковь сильных...

Властвующих...

Греющих...

– Которых ведет всех Христос?

– Вице-Христос, *vicarius Christi*, с V века.

Как же? А обиженные? Униженные? «Изгнанные правды ради» и в тысячный раз драгоценные – «миротворцы»? *Кто* же с ними?

– Никого.

Никого у всего бедного, скорбного, болящего, отвергнутого.

– Никого. Это безрелигиозное царство. Это одна эмпирия. Факт без головы. История без смысла. Просто это экономические рабы богатого и славимого царства, которые живут, и умрут, и еще народят деток, и детки тоже умрут, т. е. сперва поработают на «царство Христово» или «вице-Христово» и умрут или издохнут... Все равно... Бессловесные, и о них нет слова.

О, какая темь! О, какое отчаяние! Так вот *откуда* «Ад» Данте, и «*Потерянный рай*» Мильтона, и циничный яростный бунт отброшенных рабов, сбрасываемых в могилу рабов, некрещеных и безблагодатных, каковое восстание и бунт именуется – «революцией» и рядом «революция»... Теперь-то все изъяснилось, когда мы видим, что на *месте* «Царства Христова» стало царство... *вице-Христово*...

Да уж не имеем ли мы «вице-религию»?..

Она! Она!

* * *

И вот отчего весело скрипят сапоги на Востоке. Весело звенят наши колокола. Пушкин пел прозрачные песни...

Весело на Руси.

Церкви наши раскрашены. Как Христово яичко раскрашивает и разрисовывает мальчик деревенский.

У нас «Царь боится Бога»...

И иерархи церковные «боятся Бога»; а чтобы «еще меньше о себе думали» – дан им обер-прокурор. Если он даже и «римский воин», то ведь и Христа вел и сторожил «римский воин». Уж назвался «груздем» – полезай

«в кузов». В Христовой «иерархии» славы и не полагается, *не будет*. «Все всех меньше», и «все всех бояться»...

Что делать. Мальчик с Христовым яичком поднимает голову, крестится и говорит пугливо: «Как бы Боженька не убил».

И все этого бояться. И пока этого бояться и сидят один смирнее другого, – у нас «церковь Христова», а не вице-Христова.

Скучно снаружи, а на душе весело. Но ведь Христос и основал церковь скудных, церковь для «скудных»... Так и поживаем. И наше «кой-какое царство веры» зато никогда не рассыплется...

П. Я. ЧАЛЕНКО. НЕЗАВИСИМОСТЬ ХРИСТИАНСКОГО УЧЕНИЯ О НРАВСТВЕННОСТИ ОТ ЭТИКИ АНТИЧНЫХ ФИЛОСОФОВ

В связи с религиозно-метафизическими основаниями христианского учения, с одной стороны, и учения греческих и римских философов – с другой. Часть I. Исторический обзор литературы предмета. Полтава, 1912. Стр. XVIII + 609. То же. Часть II. Стр. 1190.

Поистине колоссальный труд г. Чаленко, вращающийся в необозримой литературе как древних классиков, греческих и римских, так и новых ученых, но преимущественно германских, будет оценен и разобран в специальных богословских и церковных журналах и ни малейше не может подлежать «разбору» в краткой заметке, как настоящая. Но у труда этого есть сторона, на которую должно быть обращено внимание и в общей печати. Это – трудолюбие и необозримая начитанность в ученых литературах человека, живущего в провинциальной глуши, где нет ни университета, ни духовной академии, а есть только, вероятно, очень богатая, ибо очень старая, – библиотека в Полтавской семинарии; и есть близость Киева, города с книжными сокровищами университета и духовной академии. Но при железных дорогах «все вообще столицы» близки «к нам», т. е. к каждому. Подлежит указанию, и настойчивому указанию, полная возможность и оплакиваемой «глухой провинции» к вмещению в себе настоящих тружеников науки, с серьезными результатами их работы. Это – первое. А второе указание тоже очень ценно: «губернские города» наши, довольно серенькие и тусклые, довольно бездельные и умственно – непроизводительные, на самом деле могут выйти из этого бедного существования или из этого прозябания, нисколько не дожидаясь основания в них непременно «университета», *через основание велико-лепной ученой библиотеки*, умно подобранной и систематической. Вот об этих-то «губернских библиотеках» хочется поговорить, ибо каждый город может о них подумать, не дожидаясь «заботы из Петербурга» и «циркуляра

от министерства». *Библиотека* в сущности и есть *книжный университет*. Есть библиотека – и *совершенно могут быть местные ученые*. А «местные ученые» есть уже совершенный свет и просвещение «на местах», который всей России бесконечно нужен, который заразит собою и начнет перерабатывать окружающую среду, подобно как благородный «червячок» перерабатывает почву и из бесплодной делает ее плодотворною. Ученые сами не знают этого благородного своего действия; а оно есть и целебно! Каждый проникается лучшею завистью, каждый тоскует за картами или «вином и женщинами», видя монаха ученого среди книг и редко-редко услышав его речь, так не похожую на речь «пижонов», «ловеласов» и тому подобной провинциальной зоологии. Сами ученые этого не замечают (по рассеянности), но этих ученых видит задумчивый гимназистик, при нем попридержит свои «речи» наехавший из столицы студент, – и, в общем, получится толк. Получится нравственный результат. Я помню превосходную воспитательную работу «Карамзинской библиотеки» в Симбирске, откуда *все жители города* брали на дом *бесплатно книги*, внося только 3 рубля или 5 рублей залога, затем возвращаемого. Бесплатное для всех чтение, для кого угодно! Да это «образует» и «научает» город не меньше гимназии, и я *воочию видел, ежедневно и еженедельно*, как «учила» всех превосходная «Карамзинская библиотека». Вот такую-то «Ломоносовскую библиотеку» следовало бы завести архангельцам в Архангельске, «Кольцовскую библиотеку» в Воронеже, «Мининскую библиотеку» в Нижнем, «Буслаевскую библиотеку» в Пензе. Пошевеливайтесь-ка, города русские, пошевеливайся «боголюбивое купечество» и «благородное всероссийское дворянство»! Куда, куда девались *изумительные библиотеки* старых дворянских имений, с книжками в таких переплетах и с такими старыми гравюрками, что «взгляни и умри». Вот Смоленску следовало бы купить «за что угодно» драгоценную Татевскую библиотеку (Татев – имение Сычевского уезда) С. А. Рачинского, в несколько десятков тысяч томов, для положения там начала «Кутузовской библиотеке». Шевелитесь, господа, благородным шевелением: будет раскрывать кошельки только для «водочки» и для «барышни», раскройте портмоне «для книжки», для библиотечки! Итак, *настоящая ученая библиотека* работает в городе не меньше гимназии, а ассигнуется на гимназию около 30 000 рублей в год. Дабы не подпасть библиотеке «нашествию Вербицкой и Рубакина», во главе ее надо поставить ученого человека, т. е. естественнее бы всего, по закрутленности общего образования и по родству с книжным миром, магистра или доктора русской истории. Ему 3000 жалованья; да отопление и вообще содержание в «опрятности» библиотеки тысячи три. Всего шесть тысяч. На приобретение новых книг ежегодно *четыре тысячи*. Через десять лет – 40 000 руб.! На них уже можно иметь 20 000 книг! Если исключить макулатуру «Вербицкой» и подобных, то есть если это будет 20 000 *серьезных книг*, то это уже прекраснейшая библиотека. Теперь – дом! Дом?? Господа купечество, неужели за домом постоите? В складчину? С выкупом у банка, заложенный? Это – десять тысяч, каменный! Неужели 10 000 не найдет-

ся «с миру по нитке»? А смотрите-ка результат: настоящий «храм науки» в Пензе, в Вологде, во всех богомольных русских городках, с 2–3, может, с 3–10 учеными, копающимися в фолиантах, на которых со спины смотрит завистливо гимназист. Да это, можно сказать, вспоминая масленицу, сам блин в рот лезет, и купцу остается только его проглотить, ну, разумеется, предварительно пораспоясав кошель. Эх, господа, деньги – бедность. Деньги золотом становятся только тогда, когда на них покупается вещь, а лучшая в мире вещь – это книга. Кстати, было бы желательно издание и *широкое распространение* списка таких *достойных* библиотек, как вот «Карамзинская» в Симбирске: и тогда такие достойные ученые люди, как вот г. Чаленко или как виленский историк г. Жиркевич, издавший это лето ученийший и *практически* нужный труд: «Пасынки военной службы», станут высылать *за полцены* в эти библиотечки-храмы свои благочестивые увражи...

ГОЛОС СВЯЩЕННИКА

Свящ. С. Щукин. Около церкви. Сборник статей. Книгоиздательство «Путь». Москва, 1913.

Я долго не хотел читать книжку, горячо рекомендованную мне из Москвы одним писателем выдающегося вкуса и образования, – думая, что это «обыкновенное ихнее» и «зачем я стану тратить время» на девятую «хрию» на общеизвестные темы... Когда, открыв ее «на сон грядущий», вдруг прочел слова об *обряде* церковном:

...«Обряд долгое время вел за представителей церкви почти все их дело, и делал его хорошо. В то время как мы (т. е. духовенство), не согретые огнем веры, малодушно или равнодушно молчали, обряд *говорил за нас*. Только всматриваясь в обряд, только вслушиваясь в то, во что в нем было можно вслушиваться, только вдумываясь в него, – часто лишь этим путем человек доходил до учения Христа и согревал им свою душу. Он любил обряд, ибо чувствовал за ним дух, создавший его и его оживляющий; подвижников чувствовал за ним, вдохновенных служителей Бога. Обряд был «святым местом», где человек достигает Бога, где Бог касается человека. И человек видел, что бьется и *горит около обряда, внутри его, правдивое сердце святых*, что оживляет его высокая мысль их, что в нем чувствуется воля, направленная к утверждению добра на земле. И видел он, что тут Бог отвечает на стремление, на призыв человека; отвечает на вздох молитвы, на глубокое чувство, прозвучавшее в церковной мелодии, на слова поэта, сказанные в церковной песне, на святые мечты, на образы художника, которые он запечатлел в иконе. Обряд учил миропониманию и учил *правдивости*; он проповедывал, обличал, утешал, смягчал озлобленных, укреплял смиренных».

Кто думал это? Нет, «думали»-то, пожалуй, – все; все это смутно чувствовали, и на этом-то и основана необыкновенная, вовсе не бессмысленная, а полная ясного *сознания* привязанность народа к обряду. Но вот *кто* это *сказал*? Так выразил? Так формулировал? Никто до священника С. Щукина, – по крайней мере мне нигде не приходилось этих слов читать, ни в толстых духовных книгах, ни в светской литературе, между тем как последние лет 30 много около этой темы наговорено и много возле нее копий сломано. И между тем, все это, т. е. сказанное Щукиным, само собою разумеется – *так*! Откуда же он взял это? Из самого течения речи мы видим, что это – не вычитанное, не теория: что «батюшка» взял это из своего ежедневного опыта, из священнической службы своей, где он много лет наблюдал людей и тысячи их, толпы их; наблюдал внимательно, любяще, – и размышлял о виденном. Я позволю себе эту тему, довольно жгучую для современности, продолжить, – и все словами священника, которые просятся в хрестоматию, и в хрестоматию вовсе не по специальному предмету «Закона Божия», а в общелитературную, где они открыли бы гимназисту и гимназистке вещи, гораздо более близкие и нужные, чем «как разделяются рыбы?» – «Рыбы разделяются на костистые и хрящевые» (гимназическая наука).

«Долгое время русский человек был неразделен душой со своими церквами. Крест, сиявший на церкви, был лучшей, наиболее высокой и чтимой его красотой. Был он, как свеча, зажженная под небом в честь идеального, к которому стремилась душа человека, в честь правды, которой на земле он видел так мало, в честь той жалости, той ласки жизни, в которой ему нередко отказывали здесь, но по которой тосковал, которому страстно искал он на небе. *Весь он был овеян поэзией небольших церквей своих*, думал мыслями, которые шли отсюда, мечтал под напевы песен церковных; со Христом страдал он, волнуясь тихой, весенней печалью Страстной недели, и с Ним воскресал, радуясь светлому, ясному торжеству пасхальной ночи. – И очень многое из того, перед чем умиляется наша душа, о чем жалеет, тревожась, сердце, видя, как это уходит в область невозвратно минувшего, – *тихое, кроткое, ласковое, наивное, доверчивое*, – *многое из этого вышло от обряда церкви* и уходит вместе с падением веры в него. Святая Русь, которая идет навстречу Христу в картине Нестерова, – Русь, о которой Тютчев писал, что «ее исходил, благословляя, Сам Господь», – та Русь, которая дала так много высоких по своей нравственной красоте людей, – *она, несомненно, в значительной мере вышла из обряда церкви*. И, конечно, это глубокое недоразумение, какая-то большая ошибка в жизни в том, что Толстой – как все мы читали – считает себя счастливым умереть с верой в эту святую Русь, не замечая, что никто другой не нанес ей столько сильных и разрушительных ударов, как он, жестоко нападавший на церковь и обряды ее».

Как полно. Как ясна немощь Толстого; и даже как объясняются смутные мотивы, почему люди религиозные были так возмущены против Толстого, сама церковь так поднялась на него и почему «встречные в санях

мужики вдруг раз осыпали его бранью» (рассказ, со слезами, самого Толстого). Да народ поднялся «за свою школу», за свое «училище благочестия», говорившее ему в обряде и которое всему человеческому его научило. Так понятно негодование, озлобление! – «Я не хочу идти в кабак», – сказала «ругань» мужицкая. Кто как умеет, тот так и говорит. Но послушайте дальше благоразумного священника Щукина:

«Но чем больше мы признаем пользу и важность обряда, тем сильнее должны сказать, что *необходимо оторвать от обряда пристально устремленный на него взгляд наш*. Не обряд, но вот этот неотступный, этот упорный, неотрывающийся взгляд на него *приносит нам зло*. Мы *повернулись к обряду всем лицом*, на него только смотрим, и *оставляем в тени площадь гораздо большего объема, более важного значения, чем обряд*. Сила обряда имеет и свои границы: он дал сколько мог и даст еще много, но он не может дать сверх сил. Идя старым путем, упорно продолжая надеяться на обряд, мы обессилим его: в нем перестанут видеть то, чего не видеть нельзя; доведем до того, как уже и довели, что обряд будет ненавистен для многих. И, жалея, оберегая его, мы должны сказать: не убивайте обряда усиленной охраной, чрезмерной о нем заботой, *не налагайте на него бремена, которых он нести не в силах*» (стр. 121–124).

Читатель осторожным глазом усмотрит, как полна мысль священника, – полна и не чрезмерно полна, – нигде не переходит «через край» и течет воистину *в меру самого предмета*. Это «в меру самого предмета» есть метод и дух всей книжки, поистине соделывающий ее мудрою и советодательною. Отдавая себе отчет, откуда это, по крайней мере я прихожу к заключению, что все это оттого, что книжка собственно есть «домашние заметки приходского священника», плод его наблюдений над жизнью мирян, – и только.

Никаких «закруглений» в статьях, никаких «предисловий» и «последствий». Речь течет из сердца и из дела. Чем открывается книга? Сразу я не понял, – и оттого не хотел читать книжку:

«Их (кого «их», – кричит раздраженно читатель, – кричал и я, и бросил было книжку)... их приносят сюда совсем крошечными. Иногда они нарядны в красивых кружевах, но чаще просто завернуты в теплые ватные одеяла. Откроешь и посмотришь: зашевелится сморщенное, красное, а иногда и теперь уже славное, крепкое личико, зачмокают губы, лениво откроются и невольно закроются глаза. Старушка-бабушка хлопотливо освобождает их от пеленок; кум часто хочет помочь, но, иногда выпивший, почти всегда мешает; помогает кума. Маленьким людям холодно, когда я погружаю их в воду: они кричат, плачут и сопротивляются. Крещу, читаю молитвы; детей уносят к отцу, к матери. А как часто приносят безродных, «незаконных». «Женщина, когда рождает, терпит скорбь, потому что пришел час ее; но когда родит младенца, уже не помнит скорби от радости, потому что родился человек в

мир» (Евангелие от Иоанна, глава XVI, стих 21). Так должно быть. Родился человек в мир – на радость, на счастье; чтобы видеть солнце, цветы; чтобы трепетать любовью, дружкой, лаской, чтобы понимать и любить Бога. Но мать часто лежит где-нибудь в грязи, в стыде, в холоде; на кухне, где ее после «этого», наверное, погонят, как только она встанет; в приюте, откуда после установленных девяти дней ей надо уйти. Откуда-то приносят, куда-то уносят»...

И он, в таких же кинутых на бумагу, «неприбранных» строках описывает, как через несколько лет к нему в церковь входят крещенные им дети – уже мальчиками и девочками. «Вот в хорошее весеннее утро идет служба. *Молодой и веселый луч солнца* (какое выражение у священника!) блесит на иконах, на позолоте царских врат, на облачении священника... Стоит с матерью хорошенькая девочка в белом». Девочка вдруг, забывшись, погналась за большой мухой и чуть не вбежала в алтарь. «Жизнь прекрасна и широка пред ними. И молятся они усердно, беззлобно, горячо, как святые».

Выросли. Уже – парни и девушки. «Одни уже совсем не приходят к нам, другие приходят, но как многое в них изменилось. Уже тень земли легла на очень многих тяжело и устойчиво. В глазах видна печаль и, может быть, грех. Исчез нежный румянец щек. И грустны молитвы; и слова молитвы не бодры, а полны сомнений. Усталость от жизни слышится в них»...

И все кончается – смертью, гробом. «Опять их вносят в церковь, но уже молчаливых. Теперь они не кричат (как крещаемые), а молчат». Так в широкой панораме свящ. Шукин накидывает жизнь человека, как она течет перед ним неудержимым, неостанавливающимся каскадом, – и вся протекает «в обряде», который совершает священник над любовью (венчанье) и смертью, над новорожденным и напутствуя в гроб, от ложек матери до земли могильной. Как велико, как страшно! О, вот где философия, – не книжная, а великолепная философия жизни. Поистине, всякий священник «через обряды свои» естественно и неодолимо становится философом, не может не стать философом, безотчетно даже и против воли: но философия его касается не кантовских «пространства и времени» и «категорий разума», а гораздо жизненнейших и важных вещей, вещей более торжественных, более страшных: гроба, рождения, земли, Неба, судьбы человека, этой страшной и всем загадочной судьбы нашей, – греха, совести, покаяния, рождения.

И скажешь с дьяконом:

– Премудрость! Вонмем!

Или, кому нравится, может сказать с Пушкиным:

Там русский дух... там Русью пахнет!

И там я был, и мед я пил;

У моря видел дуб зеленый.

Под ним сидел. И кот ученый

Свои мне сказки говорил...

В народном так называемом «двоеверии», над которым так недалеко-видно подсмеивается хрестоматия Галахова и все учебные хрестоматии, *отложены* и до сих пор сохраняются *живыми* древнейшие части поэтического и религиозного воззрения народа на природу, на мир, на себя, на Бога. Церковь их не столько отвергла, сколько преобразовала, указала другое им место, дала новые имена. Словом, все «окрестила», но окрещаемый-то человек все-таки *тот же*, что и до крещения, и вышел из лона матери-природы. В молитвословиях и в обряде церковном поистине живет все христианство и все язычество, и вот отчего окруженный этим молитвословием «простой русский люд», — *он-то именно и есть один настоящий преемник* ряда всемирных цивилизаций, с позолотою на себе от всех их; а образованный класс «сам себя родил», предков «раньше Бокля» не знает и является пришельцем и дичком в истории, — шалящим по ночам хулиганом. «Суеверия простого народа» так интересны, живописны, глубоки, философичны, они сказаны таким великолепным языком, что их, замирая, слушает Пушкин, собирают и записывают первоклассные ученые, издают академии наук. Нуте-ка, запишите «суеверия» нашего клуба, или «суеверия» газеты «Речь», или «новейшие петербургские предрассудки». Нет ничего. Не выйдет ничего. «Плоско и глупо», — скажет всякий послушавший.

Но я отвлекся от той мысли, что, конечно, *самым делом жизни* священник есть последний на земле философ, объемлющий «в церковных обрядах» альфу и омегу этой жизни, объемлющий «*смысл мира*», т. е. вечную тему всех *настоящих* философов, от которых решительно ничего не взяли себе «в наследство» преподаватели философии в университетах... И не они, а «попы», даже и плохонькие из них, суть наследователи древних цивилизаций и древней философии; как и народные наставники — они же...

* * *

Из других мыслей свящ. Щукина — в высшей степени знаменательны мысли о германской реформации, сказанные в параллель и «в урок» стремлениям нашей церкви, наших духовных и светских людей, «к церковным реформам»... Вот это рассуждение, которое просится в хрестоматию по новой истории, открывшейся Колумбом и Лютером:

«Много раз за время существования христианской церкви в разных ее исповеданиях возникали разговоры о церковных реформах, и много раз проводились самые реформы. Бывало так: когда результаты накопившихся нестроений в церковной жизни обнаруживались особенно ясно, — люди, желая уничтожения их, требовали реформ. Они думали, что тогда оживится церковная жизнь и оживятся человеческие души. Но когда, в некоторых случаях после трудной и долгой борьбы, реформы осуществлялись, оказывалось нередко, что собственно *в религии и в церкви* изменилось *очень немного и несущественное*. Оживлялась церковная жизнь, но *ненадолго*... Вера в Бога и умножение любви между людьми — это достигалось реформами мало и *в сущности всегда шло*

помимо их. После реформ Бог не делался ближе к человеческой душе; нравственность мало повышалась; религиозное одушевление не увеличивалось. И так нередко от реформ получается впечатление кропотливой, но нежизненной, хлопотливой и неглубокой работы около большого жизненного дела. Возьмем наиболее известную реформу церкви – в протестантстве. Совершилась громадная реформа, произошли громадные изменения. Очень многое из того, что в католичестве не отвечало запросам людей, пробудившихся после средних веков, было отброшено в новой церкви, и что назрело в умах новых людей – то внесено, но веры и нравственности в протестантстве не стало больше, чем в католичестве. Жалобы одинаковой силы об упадке их несутся с той и другой стороны. Совершилась реформа: но в *духе* протестантских таинств не стало более действительной силы, чем в *семи* католических; в том, что совершают пасторы, Божья сила не присутствует более ясно, чем в том, что совершают патеры и ксендзы. Не прибавилось знания о Боге. Бог не почувствовался теснее сердцем, не стало понятнее небо; святой радости не прибавилось истинно религиозным душам. И жизнь неудержимо *там* и *тут* – идет мимо церкви. Люди смелой мысли уходят так же от протестантства, как прежде уходили от католичества. Так в протестантстве, – но так, в сущности, было и везде. Результаты попыток реформировать церковь, руководясь временными нуждами, почти всегда бывали неглубоки, узки и печальны».

Поразительно верно. Радости не принесет реформа, «богатства сокровищ церковных» не увеличит, но правдоподобно – их растеряет. Смотрите на новых людей и новые стили: они не могут построить такой *душевно-теплой церкви*, как какая-нибудь ветхая московская церковка, безвестно построенная, – и построенная на гроши сравнительно с отпускаемыми теперь щедро миллионами. Возьмите церковные песни «Взбранной воеводе», «Волною морскою», «Свете Тихий святые славы», – все они сочинены безвестно кем в V–VI веках нашей эры: а все теперешнее художество и вся поэзия не умеют дать чего-нибудь равного этим и простым и торжественным песням. Лучший храм христианства – София цареградская – был построен 16 веков назад, и с тех пор все силы зодчества не могут совершить ничего подобного. Да, «средств» много, техники много, учености всякой достаточно: но не выходит «венца» всему этому, не выходит молитвы, религии. Да кто был Давид, давший человечеству псалмы? Пастух и царь. Этого довольно, чтобы навсегда почувствовать себя *новому человеку* и *новой образованности*, которые неизбежно «от себя» будут давать все церковной реформе или реформации, – весьма скромными перед всякою вообще *религиозной задачей*.

Книжка свящ. С. Щукина – одна из лучших, изданных московским «Путем» книжек. Страницы бегут под глазами, легко написанные; а ум не утомляется, потому что в *мыслях* книжки нет ничего шаблонного, заношенного, общеизвестного. Многие страницы, как об обряде и о реформации, просят-

ся в *историческую* хрестоматию. Так они правильны и так много объясняют. Но, пожалуй, еще свежее страницы, данные наблюдением автора. Вот образчик:

«Помню двух блудниц, – и как они обе были не похожи на тех блудниц, о которых пишут в книгах. Одна жила на самом краю города, в убогой лачуге; у нее было трое детей. Муж затерялся где-то в Одессе, а она стала блудницей и часто служила молебны. Все вымоет и вычитит перед молебном. Старуху мать усадит на подушки в белых наволочках, детей оденет в чистые платья и позовет соседок. А во время молебна усиленно хлопочет около матери, ходит важно, говорит намеренно благородными словами и изредка сверкает глазами на соседок. И какое-то гордое и безумное выражение мелькает в ее взгляде. И умирала она от злой чахотки, с сердцем надорванным и страшно взволнованным, с гордыми словами: «Умираю, людям прощаю, детей оставляю на Бога».

Действительно, поразительно! Вот найдешь ли этот *тон* отношения, да и этот *наблюдающий взгляд* у Куприна, Арцыбашева и других, живописующих эти сюжеты. И не оправдываются ли слова, что, конечно, *священник* есть философ наших дней, окидывающий панораму жизни философским взглядом.

Особенно хотелось бы увидеть эту книжку в руках той *ценнейшей части* молодежи, мужской и женской, которая ищет в религии ответов на мучительные запросы личного существования. Книжка вообще должна быть прочитана всем образованным обществом.

«ORIENTALIA» МАРИЭТТЫ ШАГИНЯН

В русскую литературу влилась и вливается пока еще тоненькая струйка армянского ума и сердца, – которую нельзя не приветствовать особенно потому, что она умиряет и сглаживает рознь, какую вводит политика. Припоминая же лекции Буслаева, заметим к ним, что поэзия *мудрее* всякой политики и даже мудрее истории (буквальные слова Буслаева), и вообще поэты суть естественные мудрецы, а в стихах, как и в цветах, содержится *эссенция мира*. Оставим, однако, общие рассуждения и обратимся к маленькой книжке, лежащей перед нами, г-жи Мариэтты Шагинян, предисловие к которой помещено городом Нахичеванью, а самая книжка посвящена московскому образованному деятелю С. В. Рахманинову, имеет эпиграфом отрывок из стихотворения Тютчева, а ряд стихотворений посвящен «А. М. и Ж. Е. Кожеботкиным», тоже книжным москвичам, Е. П. Вельяшевой, П. Шилтову и т. д. Посему, посвящая автору тоже стих:

Кто б ни был ты, мой друг случайный, –

скажу, что попросту, как рецензент, вижу его протянувшим руки к русским, и, конечно, русские тоже ответно протянут к нему руки, да эти руки, очевидно, уже и протянулись, иначе не появились бы самые посвящения. «В добрый час, – скажет мудрая поэзия. – Везде хорошо, где есть любовь и дружба, и везде отвратительно, где люди ссорятся и злобствуют».

Стихи очень хороши, очень изящны, очень литературны. И видно, что черная головка юной армянки прилежно и не без таланта склонялась над «арифметиками», «законами божиими» и прочими премудростями где-нибудь в Нахичеванской или Таганрогской женской гимназии и, вероятно, в Москве – на «женских курсах Герье». «Все наши знакомые палестины»... Сердце автора, однако, не успокоено и раздирается между новыми, сладкомучительными впечатлениями и детскими воспоминаниями о родине. В стихотворении «К Армении» Мариэтта Шагинян говорит грустно:

С какой отрадой неустанной,
Молясь, припоминаю я
Твоих церквей напев гортанный,
Отчизна дальняя моя!
Припоминаю в боли жгучей,
Как очерк милого лица, –
Твои поля, ручьи, и кручи,
И сладкий запах чебреца...
Веленью тайному послушный,
Мой слух доныне не отвык
Любить твой грустно-простодушный,
Всегда торжественный язык.
И в час тоски невыразимой,
Приют последний обретя,
Твое несчастное дитя
Идет прилечь к тебе, к родимой...
Я знаю, мудрый зверь лесной
Ползет домой, когда он ранен.
Ту боль, что дал мне северянин, –
О, залечи мне, край родной!

Как свободно и хорошо легли эти строки; а в самом строении сердца автора мы ясно видим, что оно полно художественных образов, сравнений, живых и вместе верных. А знает ли автор, что у русских есть одна хорошая *лечебная* пословица на те настроения и мотивы, что ею владеют: «*Не только света – что в окошке*». Росит роса поутру; взойдет солнышко и все обсушит, а к вечеру выпадет новая роса. Словом, – нет печали, в которой не было бы и обещания. После «К Армении» хочется привести стихотворение «Славянам-освободителям», где видно, что юная интеллигентка пылает вообще всем, чем пылает широкая и добрая Русь:

Костра балканского багрянец,
И эта радость братских встреч!..
Зачем, зачем ремневый ранец
Не для бессильных женских плеч?
Война священная! Когда бы
В твой круг могла вступить и я!
Но эти руки слишком слабы
Для смертоносного ружья.
И лишь слежу с бессильной страстью
За тайной тех далеких мест,
Где снова божескою властью
Соединились кровь и крест.
И лишь молюсь: Спаситель мира!
Да вспашет твой победный меч
Ту ниву скорбную для мира,
Где не дано мне грудью лечь...

Скажем автору простое «спасибо» за этот милый и родной нам стих, где она уродилась не одним русским, но уже всему славянству, – что гораздо труднее для всякого инородца. Скажем, впрочем, что нельзя «предаться» русским, не предавшись в то же время и всему славянству, всему славянскому; как – и обратно.

Большинство стихотворений, однако, – чисто восточные, и в четырех строках «К читателю» Маризетта Шагинян говорит: «Ориентализм собранных здесь стихов – не предумышлен; он объясняется и оправдывается расовой осознанностью автора». Таковы три стихотворения – «Чеченка», «Киликиец и нумидийская принцесса», цикл стихотворений «Женщина», «Гость», «Жены султана», «Братоубийца»... Вот пример этих «Orientalia»:

Кто бы ты ни был, – заходи, прохожий.
Смутен вечер, сладок запах нарда...
Для тебя давно покрыто ложе
Золотистой шкурой леопарда.
Для тебя давно таят кувшины
Драгоценный сок, желтей топаза,
Что добыт из солнечной долины,
Из садов горячего Шираза.
Розовеют тусклые гранаты,
Ломти дыни ароматно-вялы;
Нежный персик, смуглый и усатый,
Притаился в вазе, запоздалый;
Я ремни спустила у сандалий,
Я лениво расстегнула пояс...
Ах, давно глаза читать устали,

Лжет Коран, лукавит Аверроэс!
Поспеш... круглится лик Селены;
Кто б ты ни был – будешь господином.
Жарок рот мой, грудь белее пены,
Пахнут руки чебрецом и тмином.
Днем чебрец на солнце я сушила,
Тмин сбирала, в час поднявшись ранний...
В эту ночь – от Каспия до Нила –
Девы нет меня благоуханней!..

Что это за канальственный «чебрец» растет на Кавказе, от которого не только девы, но и стихи их становятся так душисты, что не в марте бы месяце их читать...

ПСИХИАТРЫ, СУДЬИ И «СУДЕБНЫЕ ФАВОРИТЫ»

(К «психиатрическому исследованию»
убийц г-жи Тиме)

Когда человек, не имеющий ничего научного в голове своей, пытается представиться ученым, то получается... русский судья. Это «влечение, род друга» к «науке» наших председателей окружных судов и судебных палат, наших «членов» сих же судебных инстанций, выражается в удивительной и постоянной страсти призывать перед лицо свое ученых психиатров, отнимать у них нужное для *действительных больных время* и занимать их совершенно глупыми вопросами, каких не может выслушать без смеха ни один смертный:

- 1) *Дед* подсудимого был алкоголик: что из сего следует?
- 2) *Тетка* его умерла от прогрессивного паралича: что из сего следует?
- 3) *Мать* была «в нервах», а *отец* иногда колотил ее: что из сего следует? И не являются ли побои, а также и «нервы» признаком какой-нибудь тяжелой мозговой болезни?

Все эти вопросы совершенно дики потому, что под ними подразумевается лежащим факт, который вовсе под ними не лежит:

- 1) Если *отец* был алкоголик, то *сын не может не убить*...
- 2) Если мать была в прогрессивном параличе, то *сын должен был непременно зарезать и ограбить*.

«Вопросы» и даже «подозрение» судей совершенно идиотичны, потому что ведь:

- 1) Только *один* сын убил и ограбил, а вовсе не все пять сынов и три дочери убивали, резали и грабили.
- 2) Следовательно, этот «один» и есть «один», который именуется «преступником», с *личною своею* ответственностью за совершенное злодеяние.

Потому что *от тех же родителей* рожденные и имевшие *тех же теток и бабушек* – преступлений отнюдь не совершали, а были обыкновенными людьми, обыкновенными обывателями.

Полная неспособность наших судей к какой бы то ни было науке свидетельствуется их неспособностью построить этот простой, краткий силлогизм, который предупредил бы вызовы всяких экспертов.

1) Или – *все потомство преступно*,

2) или – *этот преступник один из «потомства» совершил злодеяние*, и тогда он есть *личный преступник*, один, solo, с полной ответственностью за злодеяние и, конечно, вменяемостью за него, *что единственно суду нужно знать по своим обязанностям*, а не по интересу поговорить с учеными психиатрами.

Один из виднейших психиатров Петербурга, особенно тревожимый судом, говорил мне год назад:

– Хоть бы кто-нибудь обратил внимание в печати на то, до чего суд злоупотребляет нашими силами и временем. Вызывают в суд «в качестве эксперта» к *такому-то часу*, и чувствуешь, конечно, обязанным себя явиться «к такому часу». Но тут какое-то неглижерство к нам или халатность в распорядке своего времени у судей: «к такому часу» никогда не начинается заседание, на которое специально ты вызван, и приходится дежурить в суде часа четыре, часов пять, пока начнется рассмотрением «то самое дело, к которому ты позван». Четыре часа пустого хождения из угла в угол. Это я успел бы осмотреть *восемь пациентов*, действительно нуждающихся в твоей помощи... Наконец начинается «твое дело», со всею его церемонностью и торжественностью. И опять ждешь, ждешь... когда наступят те 20 минут, когда ты говоришь, и говорить приходится по отвратительно глупому делу о глупом мерзавце, пырнувшем ножом свою сожительницу, не был ли он «в нервах» и не имеет ли какого-нибудь ученого названия это его «в нервах»? Если ученое название есть, судьи расцветают удовольствием и выносят мерзавцу оправдательный приговор. Весь день убит... с разговорами на суде, с судовождением – целый день: приходишь домой усталый и измочаленный главным образом тем, что день выкинут из твоей жизни и пошел на какую-то ерунду.

Это почти буквальные слова психиатра, которого знает весь Петербург, полчаса диагноза которого могут спасти больного и притом драгоценного члена общества.

Да. Но зато судьи поговорили «с интересным человеком» и в некоторой степени «приобшились к науке».

...После того, как в университете они почти не занимались наукой. Студенты всех трех факультетов – историко-филологического, физико-математического и медицинского знают хорошо тип розового и цветущего «студента-юриста», с беззаботным и симпатичным лицом, курящего дорогие папиросы, который вообще «науками себя не обременяет». Это всегда было, и это навсегда осталось. Юридический факультет – самый беззаботный

факультет. И вдруг этим господам – служба, цепь на шею, и «государство чего-то от них ожидает». Растерявшись и изумленные, естественно, они зовут «психиатров», из разговора с которыми публика должна уразуметь, что они, судьи, – тоже наука, «как и прочие три факультета». И только тут немножко надо разобраться, что судьи хватаются за психиатров, как утопающий «за соломинку», ибо без «психиатров» и не умея сложить простого силлогизма в голове, чем же показались бы наши судьи.

1) У него тетка пила.

2) А следовательно, он должен был зарезать.

Это комическое рассуждение, на которое капля в каплю похожи все судебные рассуждения, конечно, привело бы в смех всю Россию, если бы не «психиатр». «Психиатр» все затушевывает. «Психиатр» – наука, все умолкают и с видом серьезности слушают «прения сторон» и «судоговорение» и ждут чиновников с цепями, не подозревая нисколько, что перед ним совершается комическая пантомима в великолепной обстановке.

* * *

Поистине мы переживаем времена старческого младенчества. Не младенчество ли это или не старость ли, с другой стороны, выжившая из ума, что:

1) Судья, судящий, страж закона...

– ну, решительно не подозревает, не верит, чтобы на свете водился такой *mauvais sujet*^{*}, как

2) преступник, злодей.

«Нет преступников» – это аксиома русского суда. Ничего не поделаешь – «нет». И если кто-нибудь зарезал, то

3) должно быть, оттого, что пила тетушка.

И тогда:

4) позвать психиатра.

Фазисы русского суда.

Глубокий комизм русского суда как-то неожиданно стал совершенно въяве после того, как этот суд «отличился» несколько раз подряд такими решениями, что только «шапку снять – и перекреститься». «С нами крестная сила»...

В особенности «фаворитами суда» можно назвать, как называют на бегах: 1) плещущих кислотой в лицо, 2) отцеубийц, 3) женоубийц и мужеубийц. У нас есть прозвище – «уголовные дамы». Не очень симпатичные существа. «Но, рыба ищет, где глубже»: «уголовные дамы» оттого и сбегаются в суд, что знают, что тут-то им и «болотце». «Рыбак рыбака видит издалека», и если «уголовная дама» издалека видит «симпатичного судью», то это оттого, что судья в свою очередь есть немножко «дама».

Но в самом деле, без шуток: есть что-то преувеличенно *женственное* в нашем суде: и это отсутствие логики или «женская логика», и это – «похо-

^{*} шалопай, негодяй (*фр.*).

жеё бы на науку», и «поговорить с интересным психиатром», и особенно склонность и сентиментальный интерес к роману, к «романтичным подкладкам», к «любви с кровью» этих «ужасных мужчин», которые, конечно, «невинны» и «не могут же быть злодеями». Все наши судьи немножечко романтически влюблены «в злодеев», и если стариков-убийц они закатывают в каторгу «без психиатра», то при виде юношей-злодеев, будь он отцеубийцей или женоубийцей, у наших судей колена подгибаются, в сердце – сладкая истома, и они никак не могут выговорить «злодей», а колеблются, не могут и наконец говорят изнеможенно: «Позвать психиатра». «Не можем поверить, чтобы такой красивый шатен был злодей». Это – дама. Это – судит дама, это – кричит дама.

Да.

Нет настоящего, сурового, мужского суда. Посмотрите на некоторых «судебных знаменитостей», до чего в них выражена эта женственная природа. Кони... да он прямо просится под кринолин. «Не судья, а одно удовольствие».

Но скучно все это... Флирт, даже очень приятный, в конце концов надоест. И решительно надоел этот «судебный флирт» чиновников с «интересными злодеями»...

* * *

Все это я пишу, прочтя изумленно, как, конечно, прочла с изумлением и вся Россия, – что дело об убийстве г-жи Тиме «направлено в VIII отделение окружного суда для *нового освидетельствования умственных способностей обвиняемых Долматова и барона Гейсмара*».

Гуляли. Кутили. Убили. «Обыкновенная история»?.. Ах, для кого «обыкновенная»... Но не таков «женский глазок»...

Говорят, судьи будут «интересничать» с убийцами в конце мая и не позже начала июня. Бедные психиатры: приготовляйтесь к мучениям. И ты, убитая, трепещи своего «раздевания догола». Можно представить, что чувствует ее муж.

ЧААДАЕВ И кн. ОДОЕВСКИЙ

«Губы! Губы! Пока не удались губы, я считаю портрет *не начатым*» – так однажды сказал Репин в разговоре со мною...

И вот я смотрю на «губы» Чаадаева и князя Одоевского в двух великолепных изданиях московского «Пути» (книгоиздательство М. К. Морозовой): в *первом полном* издании «Сочинений и писем П. Я. Чаадаева под редакцией М. Гершензона» и «Князь В. Ф. Одоевский. Русские ночи» в редакции С. А. Цветкова.

«Наконец Россия достигла состояния говорить с европейцами европейским языком: и этот первый говорящий – я», – говорят губы Чаадаева, этот маленький, сухой, сжатый рот, который даже на улыбку матери, наверное,

не ответил бы чем-нибудь соответствующим. Впрочем, как-то и невозможно представить себе «мать Чаадаева», «отца Чаадаева» и его «танцующих сестриц»: он вообще – *без родства*, solo, один, только с «знакомыми» в петербургском и европейском свете и «друзьями», беседующими с ним в кабинете, но причем не он их слушает, а они его слушают. И говорит он по-французски, как по-французски написал главный свой труд – знаменитые «Философические письма», напечатанные Надеждиным в «Телескопе»: как бы русская речь была ему не совсем послушна и, может быть, несколько безразлична...

Лоб умеренный, – и вся масса головы как бы сплывает в лицо, в массив щек и подбородка, которые будто говорят: «Вот – я *первый* у русских получил *лицо*: доселе были морды, по которым били (разумелось – «правительство»). Но я получил *лицо*, которого никто не посмеет ударить. И оно говорит только *папе*, и говорит оно только о предметах всемирной значительности, которые едва ли могут быть поняты по сю сторону Вержболова. Почему я и разговариваю по-французски». «Оттого рот у меня и маленький; я скажу немного слов, только папе и о всемирной истории: но ни одно слово о *пустяках*, к числу которых я причисляю, извините, и Россию, не вырвется из этого рта»...

Он говорил собственно папе; но как папе в то время было «некогда», то он и обратился с «Философическим письмом» к избранной петербургской даме, начав его: «Adveniat regnum tuum. Madame c'est votre candeur, c'est votre franchise, que j'aime, que j'estime le plus en vous». Т. е. по-русски, по бедному: «Да придет Царствие Твое. Мадам, чистосердечие и прямоты ваши – вот то, что я более всего в вас люблю и почитаю». И т. д.

В «Письмах» он развивал ту мысль, что стержнем всемирной истории служит религия; что в христианстве – этим стержнем служит церковь; что «все из рук Христа и апостолов» получили папы, отчего двинутая собственно папами Европа и достигла на всех поприщах великих успехов, великой гражданственности, великого искусства, великих наук и философии. Тогда как Россия и Восток... остаются *деревней*, не слушая католической мессы и не слушая красноречивых итальянских и французских проповедников, таких же бритых, как сам Чаадаев, и тоже с мясистым, грузным подбородком, говорящим о силе, уверенности и напоре воли...

По северным и петербургским обстоятельствам «Письма», как известно, попали не к папе и даже не к «мадам», а в скверную нашу цензуру, к сухому и почтителюму «к началству» Бенкендорфу... «Пошла писать губерния», Надеждин был сослан в Вологду, а к Чаадаеву должен был ежедневно ездить врач, свидетельствовать его умственные способности и, может быть, прописывать ему что-нибудь «успокоительное». Русские и тогда отличались великой сострадательностью: сострада страждущему Чаадаеву, они в вознаграждение нарекли его гением, «угнетенным гением», и имя его и достоинство его пронесли до наших дней, до Гершензона, который издает его труды, письма и записочки очень кстати, потому что «Филосо-

фических писем» его, по правде сказать, никто не читает и не читал, а так, вообще, знают, что «гений» и «претерпел».

На его мраморное, холодное, католическое лицо, даже на его плечо, не сядет ни мотылек, ни муха, ни комар; не всползет во время сна козявка или червячок. И вообще ничто живое к нему не прикоснется. И не посмеет, и «не захочется»...

«Я говорю, мадам...» И мадам его слушает.

* * *

Ему совершенно противоположно лицо Одоевского. Как он не сделался давно «беззаветным любимцем» русского читателя, русской девушки, русского студента, русского учителя *где-нибудь* в провинции – вполне удивительно; он, – предшественник всех «разговаривающих лиц» у Тургенева, его Лежнева, и других, – предшественник философических диалогов у Достоевского и до известной степени родоначальник вообще «интеллигентности» на Руси и интеллигентов, – но в благородном смысле, до «употребления их Боборыкиным». Массивный лоб его неизмерим с чаадаевским, в сущности очень бедным лбом; мудрые глаза; и этот большой, русский, «распустившийся» рот, какого вы не найдете ни одного во всем католичестве. В лице Одоевского масса *природы*, и точно оно все заткано паутинкой лесов, солнца, лесных речек, ну и, конечно, «дриада лесных»... Он знал явные и тайные «истории сердца», а в поместье его, верно, многие крестьянские девушки «помнили доброго барина»... Но он ушел от них в Петербург, где стал заниматься «химией», в то время только что вышедшей из алхимии; стал читать «Адама Смита», которого почитывал и современник его, Евгений Онегин... И у Грибоедова, и у Пушкина рассыпано много строчек, которые без риска мы можем принять за относящиеся *лично к князю Одоевскому*:

Там упражняются в расколах и безверьи
Профессора! У них учился наш родня,
И вышел, – хоть сейчас в аптеку, в подмастерья!
От женщин бегают и даже от меня!
Чинов не хочет знать! Он химик, он ботаник –
Князь Федор, мой племянник.

Посмотрите, между тем: его рассуждения понятны, интересны и новы через 80 лет!

«Скажите, почему ты и мы – все любим *полунощничать*? Отчего ночью внимание постоянное, мысли живее, душа разговорчивее?»

Разительно – и для нас! Это, конечно, *так*, и современность ровно ничего не знает о том, почему это «так».

Один из собеседников «Ночей» пытается объяснить это тем, что «*ночью* общая тишина располагает человека к размышлению». Спросивший возражает:

«— Общая тишина? У нас? Да настоящее движение в городе начинается лишь в десять часов вечера. И какое тут размышление? Просто, людей что-то тянет быть вместе; оттого все сборища, беседы, балы бывают ночью; как бы невольно человек отлагает до ночи свое соединение с другими; отчего так?»

Мы не будем следить дальнейших рассуждений: пусть читатель сам перечтет их в «Ночах» Одоевского (стр. 181 и следующие). Но этот пример и отрывок хорошо характеризует его философскую натуру и сущность его «Ночей». В то время, как весь Чаадаев есть продукт прочитанных им книг и «не литературного» в нем вообще ничего нет, князь Одоевский везде «поднимает с земли» какой-нибудь остановивший на себе его внимание факт, листок, песчинку, воспоминание о музыкальном вечере, о великом и несчастном музыканте, — или вот, например, о «ночи» и «что она такое», или, напр. ...о картах!! И умом глубоким и проницательным обдумывает это «поднятое с земли» явление... Таковы все его «Ночи»... Рассуждение, напр. о *картах*, до такой степени *тоном* своим напоминает некоторые страницы «Дневника писателя» Достоевского, что нельзя не поразиться.

«Ночью, — объясняет Одоевский, — люди собираются, чтобы защититься от мелких и злобных духов тьмы, враждебных человеку, враждебных его здравому смыслу, враждебных его добродетели и даже обыкновенной порядочности».

Ибо... растения, выделяющие днем целебный кислород, напротив, ночью выделяют удушливую углекислоту; к ночи больной чувствует себя хуже; ночью же совершается большинство преступлений. И лишь с восходом солнца «духи тьмы» рассеиваются, и не только больные, но и здоровые засыпают «здоровым утренняя сном»... Действительно, ряд однородных и пробуждающих любопытство наблюдений. Наконец, «ночью люди сажаются в карты». И вот, посмотрите, как это аналогично и шальной, и серьезной речи Достоевского «О чрезвычайной хитрости чертей, если только это черти» в главе, посвященной спиритизму и «проверочным опытам над ним» Д. И. Менделеева:

«У враждебной человеку силы, которая действует ночью, есть две глубокие и хитрые мысли. Во-первых, она старается всеми силами уверить человека, что она не существует, и потому внушает человеку все возможные средства забыть о ней; а вторая — сравнять людей между собою как можно ближе, так сплотить их, чтобы не могла выставиться ни одна голова, ни одно сердце. Карты есть одно из тех средств, которые враждебная сила употребляет для достижения этой двойной цели; ибо, во-первых, за картами нельзя ни о чем другом думать, кроме карт, и, во-вторых, главное, за картами все равны: и начальник, и подчиненный, и красавец, и урод, и ученый, и невежда, и гений, и нуль, и умный человек, и глупец; нет никакого различия: последний глупец может обыграть первого философа в мире, и маленький чиновник большого

вельможу. Представьте себе наслаждение какого-нибудь нуля, когда он может обыграть Ньютона или сказать Лейбницу: «Да вы, сударь, не умеете играть; вы, г. Лейбниц, не умеете карт в руки взять». Это якобы-низм в полной красоте своей. А между тем, и то выгодно для враждебной силы, что за картами, под видом невинного препровождения времени, поддерживаются потихоньку почти все порочные чувства человека: зависть, злоба, корыстолюбие, мщение, коварство, обман, – все в маленьком виде; но не менее того, все-таки душа знакомится с ними, а это для враждебной силы очень, очень выгодно...»

Браво, браво, Одоевский! Никогда не думали мы, что содержится столько философии в нашем преферансе. Теперь барыни, садясь «по маленькой», будут поджимать ноги под столом и ту же обтягиваться юбками, пугаясь вершковых «чертей», копошащихся около них со всякими кознями, проказами и щекотаньями...

Но ведь это в самом деле любопытно: *ночь* и ее времяпрепровождение! Тогда люди молятся (всенощная, утренняя), тогда люди сочиняют стихи; шепчут любовь друг другу возлюбленные. И ей-ей кое-что очень хорошее творится и ночью. Именно *ночью* цветы начинают особенно сильно благоухать; а некоторые, как табак, раскрывают цветы свои. Нет, в объяснениях «ночи» я не согласен с Одоевским: но не великолепно ли, что в 20-х и 30-х годах прошлого века князь задумался о том, чего люди и до сих пор не понимают, не постигли, а между тем это, очевидно, есть великодушная тема философии!!

Не забудем, что кн. Одоевский задумывал свои «Русские ночи», когда Карамзин оканчивал «Историю государства Российского». Какая разница в строе мышления, как (через Одоевского) понятен *Пушкин* с его универсализмом *сейчас после Карамзина!!* Посмотрите, как ново было для тех времен и свежо даже для нас рассуждение Одоевского о том, что теперь зовется «экономическим материализмом», «классовую борьбою» и т. д. Зрение Одоевского простиралось *на целый век вперед!* Тогда только что прошумел Адам Смит с его «Народным богатством» и выступали Рикардо и Бентам. Посмотрите же, что пишет или, вернее, как предсказывает кн. Одоевский в «Пятой ночи», имеющей характерный подзаголовок – «Город без имени» (т. е. *всякий город, вся цивилизация*):

Иеремия Бентам, английский мыслитель*, отверг бытие нравственности как *самостоятельного* начала человеческой души и жизни, сказав, что вся нравственность есть «хорошо растолкованная *польза*». И вот кн. Одоевский начерчивает судьбу колонии «бентамитов», которые устроили свою жизнь по этому новому началу. Конечно, они преуспевают материально, торгово, всячески. Разорили договорами и войнами своих соседей; скупили у них земли, подорвали у них промыслы и торговлю и все положили в

* Перевод капитального труда его – «Введение в основания нравственности и законодательства» был сделан Ю. Жуковским в семидесятых годах XIX столетия!

свой карман, «хорошо растолкованный»... Но вот что вышло в результате хорошо рассчитанных усилий и кипучей деятельности.

«При так называемом благородном соревновании (принцип Ад. Смита) стало между отдельными городами происходить то, что между враждебными частями государства; для одного города нужен тут канал, а для другого – железная дорога; для одного – в одном направлении, для другого – в другом. Между тем банкирские операции продолжались, но, сжатые в тесном пространстве, они необходимо, *по естественному ходу вещей* (иронически подчеркнут Одоевским главный принцип «Народного богатства» Смита), должны были обратиться уже не на соседей, а на самих бентамитов; и торговцы, следуя высокому началу своего общего учителя, – *пользе*, – принялись спокойно наживаться банкротствами, благоразумно задерживать предметы, на *которые было требование («спрос и предложение» А. Смита)*, чтоб потом продавать их дорогой ценой; с основательностью заниматься биржевою игрою; под видом неограниченной, так называемой священной, свободы торговли (принцип А. Смита) учреждать монополию (*тенерешние* наши синдикаты). Одни – разбогатели, другие – разорились».

Но не только «отощал», по крайней мере с одной стороны, «золотой телец»; выпад нравственной стороны жизни из состава человеческих побуждений имел еще более печальные внутренние последствия.

«Общим чувством сделалось общее уныние. Никто не хотел ничего предпринимать для будущего, т. е. предпринимать мечтательно. Все чувства, все мысли, все побуждения человека ограничились настоящей минутой. Отец семейства возвращался домой скучный, печальный. Его не тешили ни ласки жены, ни умственное развитие детей. Воспитание казалось излишним. Одно считалось нужным – правдою или неправдою *добыть* себе несколько вещественных выгод... Юный бентамит с ранних лет, из древних преданий, из рассказов матери, научался одной науке: избегать законов божеских и человеческих и смотреть на них лишь как на одно из средств извлекать себе какую-нибудь выгоду. Нечему было оживить борьбу человека; нечему было утешить его в скорби. Божественный, одушевляющий язык поэзии был недоступен бентамиту. Мать не умела завести песни над колыбелью младенца. Естественная, поэтическая стихия издавна была умерщвлена корыстными расчетами пользы. Смерть этой стихии заразила все другие стихии человеческой природы; все отвлеченные, общие мысли, связывающие людей между собою, показались бредом; книги, знания, законы нравственности – бесполезной роскошью. От прежних, славных времен осталось одно только слово – *польза*; но и то получило смысл неопределенный: его всякий толковал по-своему».

Бентам был переведен на русский язык только через 50–40 лет после того, как в начинающейся русской философской литературе было дано это изящное, легкое и полное опровержение его теорий. И «Ночей» князя Одо-

евского совершенно не существовало в продаже, *не было и в библиотеках*, когда студенты и даже гимназисты зачитывались им и Д. С. Миллем, увлекались вообще утилитаризмом. И на почве же теорий Бентама была построена вся «передовая» журналистика 60-х годов, с «Современником» и «Русским Словом» во главе. Чернышевский все рекомендовал «умные иностранные книжки», не прочитав *сам* одной замечательно умной русской книжки, ознакомясь с которой он сложил бы крылья и положил перо. Поистине, дивны судьбы книг в истории; но в русской словесности «судьбы книг» не дивны только, но потрясающи.

* * *

Пронесли века в жизни унылых «бентамитов», все заковавших в броню «пользы», и вот выступает на место один другого – *классы*. «Первый приз» взяли биржевики, капиталисты, торговцы, фабриканты. Но слушайте Одоевского:

«Пришли *ремесленники* и объявили: «Зачем нам этих людей, которые пользуются нашими трудами и, спокойно сидя в конторе и банке, наживаются? *Мы работаем в поте лица; мы знаем труд*; без нас они не могли бы существовать. *Мы* именно приносим существенную пользу стране, и *мы должны быть правителями*».

Социальный вопрос, «рабочий вопрос», когда Карамзин не кончил еще свою историю! Рабочий вопрос под пером князя-поэта, князя-многодума. На «Русские ночи» мы можем смотреть как *на общий*, еще до разделений, исток, откуда пошли все русские умственные течения. И эта книга была 50 лет под спудом, нечитаема и очень мало известна!

«И все, в ком таилось хоть какое-либо *общее понятие о предметах* (т. е. образованные классы), были изгнаны; ремесленники сделались правителями, и правление обратилось в мастерскую».

Да это – «пролетарии всех стран, объединяйтесь!..»

«Ремесленные произведения наполнили рынки; не было центров сбыта (в самом деле, кому же продавать сапоги, если каждый делает сапоги); пути сообщения пресеклись от невежества правителей; искусство оборачивать капиталы утратилось; деньги сделались редкостью. Общие страдания умножились».

Наступил «рай» трудовой группы первой Государственной Думы. Но еще не пришли толстовцы-пахари. Оказывается, Одоевский и их предвидел:

«За ремесленниками пришли землепашцы. «Зачем, – кричали они, – нам этих людей, – которые занимаются безделками – и, сидя под теплою кровлею, съедают хлеб, который мы вырабатываем в поте лица, ночью и днем, в холоде и в зное? Что бы они стали делать, если бы мы не кормили их своими трудами? Мы одни приносим существенную пользу; мы знаем первые, необходимые нужды страны, и *мы должны быть прави-*

телями». Так кричали они, – и все, кто только имел руку, непривычную к грубой земляной работе, – все были выгнаны вон из города».

Это «крестьянский союз» Тана-Богораза, и «иллюминация из горящих помещичьих усадеб» Герценштейна, и, наконец, это «сам Толстой», идущий за плугом... Все *предсказал* кн. Одоевский, в сжатой мысли пушкинской эпохи, – той мысли, которая не усащала каждый свой тезис несколькими подстрочными цитатами из немецких ученых, которая не печатала томов и глав, с делениями и подразделениями, – а умела говорить в «кnochных беседах» нескольких друзей, в форме столь же простой и краткой, какую запечатлены все рассуждения Пушкина.

В Пушкине – разгадка князя Одоевского. Это – тот же язык, тот же строй мысли, то же соединение поэзии и «нужд сегодняшнего дня». «Русские ночи» – столь же поэзия и философия, как и политическая экономия, как и трактаты о музыке, – в которой Одоевский был глубоким знатоком. В двух интереснейших отрывках, найденных С. А. Цветковым в Императорской публичной библиотеке и теперь впервые опубликованных («Предисловие» к предположенному, но не осуществленному кн. Одоевским «Полному собранию сочинений» своих и «Примечание к «Русским ночам»), содержится следующая заметка о Вагнере: «К числу доказательств гениальности Вагнера я причисляю падение его «Тангейзера» в Париже, где процветает «Плоермель» Мейербергера и даже так называемые оперы Верди, которые в музыке занимают то же место, что в живописи китайские картины, шитые шелком и мишурой». Таким образом, Одоевский был самым ранним у нас «вагнеристом», когда Вагнер только осмеивался в самой Европе... Но это – частность, хоть и знаменательная. Одоевский везде шел впереди своего времени, впереди на несколько десятилетий. И мы, которые по непростительной запущенности нашего книжного рынка не имели столько десятилетий его своим другом, с глубоким «прости нас» возьмем теперь его ведущую и благородную руку, столь твердую и вместе братски-нежную...

Ну, это «нежную» я перекидываю от сложения его рта, в котором, по Репину, «весь человек». Рот Чаадаева и рот кн. Одоевского – это целая опера «Верди» в одном случае и Вагнера – в другом. Чаадаев только и умеет поучать, но это до того все «из книг» и из чужих напевов, что не хочется не только учиться, но даже слушать. Что после *писем* Гильдебрандта, Григория Великого, после страниц Бл. Августина мог сказать нам маленький петербургский католик:

Скука, холод и гранит...

Одоевский – просто *друг* нам – и ничему не хочет учить. Оттого и форма его – не речь, «*Моя речь*», как у Чаадаева, и даже не статья или книга, а *диалог*: «беседа друзей ночью», где никто ничего не проповедует, не навязывает; а точно они берут из рук друг друга микроскоп и поочередно рассматривают под ним «мелочь жизни», в которой именно прилежанием внимания и зренья открывают миры...

Большие и нежные его губы, характерно изогнутые, выражают все лицо, весь дух его. В «русской портретной галерее» я не знаю лица, более исполненного мысли. Это – не «позитивная мысль», не «бревно» Спенсера, Бентама или Огюста Конта: это мысль каких-то утонченных цветов, с чудным запахом, попадающих в лесной глуши, где тень чередуется с солнцем, сырость со зноем, где все неопределенно и неожиданно, ново и свежо... И как это прекрасно в его «ночах», что собеседники то рассуждают, то просто *рассказывают*. И в книге столько же простой новеллы, сколько и философии.

Спасибо издателю (г. Цветкову), спасибо и книгоиздательству. «Варварство наше еще неокончательное», не вовсе затоптали нас Бокли и Спенсеры, – и Одоевский запестреет во всех больших и маленьких библиотеках. Он издан очень стильно, без замусоривающих «ученых примечаний», копировально с рукописей и с соблюдением шрифтов, бумаги и заглавного листа тех «времен Одоевского и Пушкина». Спасибо, – и будем читать.

ВОСКРЕСЕНИЕ ХРИСТА – ВОСКРЕСЕНИЕ НАРОДОВ...

Для христиан всей земли сегодняшний день есть *годовой день*, но для славянского мира, для православного мира – сегодня *вековой день*! Ибо с «воскресшим Христом» сегодня будут на всем Востоке, на языках сербском, болгарском и эллинском, поздравлять люди, *сами воскреснувшие*!.. Это чувство *воскресения* прокатится сегодня таким могучим валом, такую высокою волною по равнинам русским, по низовьям дунайским, по предгорьям балканским и карпатским, охватывая и языческие горы Пелион, Оссу, Олимп, Тайгет, – как этого не было в прошлом и не будет в будущем году, как это было еще только раз в светлую Пасху 1877 года, – когда было первое *поднятие* усопшего Лазаря в гробу. Ныне же Лазарь не «поднялся» только, увитый пеленами, в гробу своем, а *вышел вон из пещеры*.

Вот разница. Прошло 36 лет, треть века; и, можно сказать, «судьба совершилась»; сказать это можно в том же *полном и определившемся виде*, как мы говорим это о «вышедшей замуж девушке» и о «поступившем на должность» молодом человеке. До этого было что-то такое, чего нельзя назвать *бытом, жизнью, судьбою*; было ужасающее *зависимое состояние*, и каждый понимает лично, что это такое в отношении личности, одного человека или единичной семьи. Люди *связаны* – в движениях, в думах, в вере. Все смотри «из рук другого», все зависит «от расположения другого»: счастлив и милостив он – будет *хорошо и тебе*, а если ему худо или просто он худо себя чувствует, худо себя сознает – то прежде всего худо тебе, ибо он на тебя *перелагает все свои несчастья* и даже на тебе *отражает свое настроение*. Что же это такое? Всякое движение есть собственно полудвижение, и всякое дыхание есть полудыхание. Это – в собственном смысле бо-

лезнь: и славяне и греки Балканского полуострова были *больные* по политическому положению своему. Сравнение с «воскресением Лазаря» их судьбы за последнюю треть века есть не аллегория, а действительность. Были больны, были мертвы; стали оживать и вот воскресли!!

* * *

Без всякой гордости, но с истинным восторгом Россия может оглянуться на «этот пройденный ею этап». Кому в Европе нужна была судьба славян и православных? Никому не нужна и всем враждебна. Никакому не подлежит сомнению, что ни одна страна в Европе не пошевелила бы пальцем для освобождения христиан Балканского полуострова, и оставаться вечно «райено» под турецким игом, а затем в случае разложения Турции быть поглощенной Австрией – такова была естественная и неодолимая судьба их. Самое разложение Турции едва ли совершилось бы, если бы не хроника войн с нею России. Владея не только Балканским полуостровом, но и теперешнею южной Россиею, владея Крымом и Кавказом, Турция являла бы собою консолидированную мусульманскую державу, единую, неразделенную, слитую одним бытом, одним фанатизмом, одною религиею. И скорее она грозила бы Европе, как это было все время, все века до начала XVIII века, нежели сколько бы то ни было быть угрожаемою и потрясемою со стороны Европы и христианства. И только связь «христианской и православной райи» Балканского полуострова с начавшим вырастать колоссом севера подточила силы Турции. Она подточила их самым *бытием этой связи*, самым существованием этого *племенного единства и религиозного единства*. Был один язык и одна церковь, те же посты и то же богослужение у раба забитого и заколоченного, почти возле самых стен Константинополя, и у русских царей в Кремле и потом на реке Неве. Раб стал обращать свои вздохи к северу; северный колосс стал зорче присматриваться к «турецким делам». И осторожно стал ходатайствовать, просить за «райю», а затем стал вмешиваться «в положение турецких своих единоверцев» и наконец повел войны. От Петра Великого и до Александра II ведется ряд непрерывных войн, и, в сущности, это была лишь одна война с перерывами, одна борьба с временными «замирениями» на протяжении двухсот лет, плодом которой и явилось теперешнее освобождение Балканского полуострова.

Турция разложилась. Славянский и греческий юг воскрес.

Собственно ни одно европейское государство – ни Англия, ни Германия, ни Франция или Италия не «сделали такой политики», как Россия, с результатом освобождения целого мира народностей, целого ряда молодых народов, оживления и преобразования целого огромного полуострова, стран древнейшей, еще дохристианской культуры и затем стран первоначальнейшего христианства. Это можно назвать истинно аристократическою политикою, истинно историческою политикою. Вся западная политика отличалась неизмеримо более мелочным характером; мелочным или торговым или узкоэгоистическим. Вспомним знаменитые войны «за испанское наслед-

ство», «за австрийское наследство». Они тянулись долгие годы и поглотили жизни не менее, чем наши освободительные войны против Турции. Вспомним также династическую войну «Алой и Белой Розы». Затем, – западные войны были *расширительные*, – «в свою пользу». И наконец, последняя группа войн – религиозная, между исповедниками разных церквей, с тяжелым фанатизмом. Сюда присоединяется еще самая кровавая группа войн – это войны политических честолюбцев, «лично для себя». Таковы были нелепые войны Карла XII и безумные войны Наполеона. На первый же взгляд, при первом обширном и обобщающем взгляде очевидно, насколько войны России были благороднее, содержательнее, великодушнее, человечнее, идейнее.

Русское общество лишь по общечеловеческой слабости «не ценит своего», и мы косным языком повторяем косную фразу: «*У нас все хуже*». Напротив, на Западе и не было других войн, чем какая велась у нас Елизаветой Петровной с Фридрихом Великим или – в колоссальном масштабе – чем какая у нас ведется между Скворцовым и его миссионерами и нашими старообрядцами и сектантами. «Освободительная политика России» на Балканском полуострове поистине есть тот «пророк, который не слушается в отечестве своем», – если принять во внимание плоское, враждебное и глумливое отношение части нашего образованного общества к славянам, к православию и к русской исторической политике.

* * *

Но для православных Востока этот год был годом не только физического, но и *нравственного воскресения*. *Вывосвобождение* может прийти с разных сторон, освободиться можно *разными способами*... Вся Европа пришла в восторг от героической войны южных союзников против Турецкого Владыки, – войны воистину благородной и по возвышенной цели ее, и по братскому чувству южных народов, которые, кидаясь на штурм старой твердыни, помнили не «каждый свое», а только «одно общее у всех». Война южных народов за свое освобождение воистину беспримерна в новой истории по ее энтузиазму, по героизму, по множеству единичных подвигов самоотвержения. Новая Европа, давно и незаметно для себя погрязнувшая в мелочных меркантильных расчетах, привыкшая вести даже войны по соображениям торгового и промышленного соперничества, – удивлена была и до известной степени обновилась духом, увидя в борьбе южных народов присутствие того старого идеализма, каким когда-то и сама толкалась в борьбу и сражения. Все смотрели на эту войну с чувством *нравственного освежения*. Это в высшей степени важно. Важно, когда народ *рождается благородно*. Аристократическое рождение накладывает печать и дух свой на всю последующую судьбу рожденного. Но «родиться благородно» для нации, для государства и политической системы – это именно родиться «с оружием в руках», смело и прямо, мужественно и честно, не держа «камней за пазухой» и не произнося лживых слов... Большинство-то политических рождений бывает именно таково; и жизнь одного, воскресение одного обычно сопровождается убие-

нием братьев своих, соседей или слабейших народностей вокруг. Так вся Германия родилась на костях полабских и других славян, Австрия – на развалинах Богемии, на захвате южных славян... Совершенно не то мы видим на Балканском полуострове. Турки пришли и залили только сверху небольшим господствующим слоем массу славянских и греческого народов; но народы эти, благодаря именно присутствию на севере единоверного и единоплеменного колосса и «надёжи», – не умерли в отчаянии до конца. «Конца» не было и «смерти» тоже не было, пока *была* Россия, – просто только *была, жила*. Народы замерли, но не умерли. В ряде войн Россия начала «отваливать камень» от гроба. И только обмерший, но не умерший Лазарь в этот вечно памятный 1913 год сбросил камень окончательно, и вместо «смертных пелен» все увидели его в пасхальной одежде... Ризы – белые, и струи красного текут, не марая, но оживляя, по ним.

Что делать. Все живое рождается в крови. Это какая-то тайна и загадка мира.

«Смертию смерть искупив»... с каким чувством эти слова пасхальной песни прослушаются везде этот год на Востоке!!! О, погибшие на штурмах и в сражениях братья: как вы драгоценны останетесь на все века потомству вашему, всей Болгарии, всей Греции, всей Сербии, всем южным славянам и всем грекам, без разделения. Поистине, вы «приложились к Спасителю», повторив в земном и малом виде его великое и мировое искупление: и вы «смертию своею искупили братьев своих», детей своих, все потомство свое, целые народы и цивилизацию.

«Вечная вам память!» «Вечный покой», – труженики и страдальцы! Имя ваше и судьба никогда не изгладятся из сердца живых и из сердца будущих рожденных соотечичей и единоверцев ваших, которым всем вы дали – *воскресение*.

«Христос Воскресе!» – «Воскресе славянство!» – сегодня будем здороваться этим двойным возгласом. Христос Воскресе, читатель, и весь русский народ!

К ПОМОЩИ В ДОБРОМ ДЕЛЕ

Ко мне обратился внук нашего великого живописца Боровиковского с просьбой помочь ему советом и указанием в добром намерении – передать усадьбу и немного земли около нее для устройства пансионата, санатории или вообще «отдыха» для престарелых и нуждающихся художников. Так как он прекрасно и обстоятельно изложил все дело в письме своем, то наилучшее будет привести это письмо:

«...Дело вот в чем. Я имею в Полтавской губернии крохотное имение, всего 44 десятины, а главное всего – с усадьбою, некогда принадлежавшею моему деду, знаменитому художнику-самоучке Владимиру Лукичу Боровиковскому. Сам я не имею никаких после себя на-

следников (т. е., вероятно, *прямых*. — В. Р.), мне 63 года от роду, т. е. приближаюсь уже к известному и неизбежному пределу, — хотелось бы сохранить усадьбу эту в роду своем, дабы она всегда именовалась, как и теперь именуется, *Боровиковщиной*. А для этого хотелось бы в усадьбе этой (с 44 десятинами в придаток) устроить приют имени Владимира Лукича для престарелых и больных художников — членов Академии Художеств, или что-либо в этом роде, написать для сего духовное завещание, составить устав и т. д. Но я решительно не знаю, как все это проделать или с кем посоветоваться об этом... Читая же в «Нов. Вр.» статьи ваши, я как-то пришел к убеждению, что именно вы, милостивый государь, смогли бы помочь мне (т. е. советом. — В. Р.) устроить это дело — наилучшим образом, помогли бы составить завещание, устав и проч.».

В составлении деловых бумаг я, к сожалению, так же неопытен, как и корреспондент мой; но ведь это — форма, которую вообще найти нетрудно. Нельзя не отнестись с полным сочувствием к мысли (по подписи в письме) Василия Ивановича Боровиковского, отставного военного, который вовсе еще не дряхл, но вполне своевременно озабочен мыслью — принести пользу нуждающимся, а главное (с моей точки зрения), за именем своего деда, имя которого бессмертно в истории русской живописи, закрепить тот кусочек земли, где он жил и писал свои великие картины, украсившие наряду с литературными произведениями и с научными трудами царствование Александра Первого. Такие кусочки, такие уголки мы должны беречь, Россия должна беречь; хранить именно их *имя*, прежде всего; и никак не допускать, чтобы эти *в утилитарном смысле*, малоценные вещи, но *в историческом отношении* высокоценные, так сказать, поступали за «вымороченностью», в общий российский скарб, в торгово-промышленный оборот вообще «русских имуществ», обезличиваясь, теряя имя и связанные с вещью и местом воспоминания. Это нехорошо. Внуки не поблагодарят нас. Таких мест и уголков вовсе не много, и «культурный вид страны», если уж нужно говорить современным, не совсем приятным языком, решительно становится красивее, украшеннее, цветочнее, чем больше там и здесь, по всем губерниям, разбросано таких сохраненных старых уголков. Ей-ей, тут есть что-то общее с задачами «Общества охранения исторических памятников и памятников искусства»; не только такая-то *красивая* церковь XVIII века есть «исторический памятник», но и родина Боровиковского, давшего кистью свою Россию столько памятников, столько созданий искусства. Меня посетила супруга В. И. Боровиковского, которая пылает тем же желанием, как и муж ее. «Если бы удалось вернуть захваченный захватным способом соседним мужиком домик, где *жил* сам Владимир Лукич, тут же, возле, то тогда для приюта престарелых художников было бы два домика. Но это — вне того, что сейчас может поступить в завещание. 44 десятины и наш домик — это уже бесспорное, со всеми документами» и проч. В захваченном крестьянином домике, по словам ее, было много картин В. Л. Боровиковского,

которыми закрывали кадушки с квашеной капустой, и множество писем. Это уже все погибло. Таким образом, вопрос и затруднение – в *совете*, в *форме*. Боровиковские, бездетные муж и жена, живут пока здесь, в Петербурге, Казачий пер., д. № 11, и им в высшей степени хотелось бы как можно скорее оформить и окончить это дело, ибо «в жизни, в смерти – Бог волен, можно попасть и под трамвай». Поэтому, до выезда на лето «к себе домой», т. е. в деревню, они хотят увидеть завещание сделанным. На чье имя? Я колебался, указывая на Академию Художеств или на министерство просвещения; к сожалению, оно у нас не именуется и не имеет двояких функций, как во Франции соответственное «министерство просвещения и изящных искусств». Я сам не понимаю, как это делается, на чье имя писать завещание («Устав» можно написать и позднее), кого просить «принять дар» и т. д. Может быть, кто-нибудь из радетелей Руси и радетелей старины в ней, кто-нибудь, наконец, из присяжных поверенных подумает, найдется и тогда посетит добрых старичков или пригласит их к себе и устроит это, в сущности, немудреное дело. Оно так хорошо, что наверно найдутся много людей, которые захотят быть «доброхотными помощниками», как говорили в старину. Имена и адреса все они найдут здесь, в моем сообщении.

В добрый час, и надо спешить.

УГОЛОК БЕССАРАБИИ

I

– Ну вот и река «Днестр, широкая до того, что птица не перелетит через него», по выражению фантаста Гоголя, и через который преспокойно переправляются на дощатом пароме-самодельщине. Но его крутые берега – точь-в-точь такие, по каким скакал Бульба, убегая от ляхов, да выронил люльку (трубку).

– Стой, чертов конь! Не хочу, чтобы и люлька доставалась проклятым ляхам!! – И он нагнулся, чтобы поднять с земли трубку. Тут на него и напали гнавшиеся по пятам поляки и схватили.

Днестр течет из Карпат и после усиленных жаров всегда разливается. Это – подтаивают снега на Карпатах. «Карпаты» же – это опять напоминает Гоголя, именно – того страшного всадника, стоявшего на одной из вершин их, который столько лет ждал колдуна-брatоубийцу, чтобы сбросить его в пропасть. Помните «Страшную месть», читая которую мы, бывало, дрожали гимназистами.

Так, с воспоминаниями о Гоголе, казаках и войнах, я взлез на паром, который пересек Днестр, – и из Подольской губернии, лежащей на левом берегу его, перевез в Бессарабскую, тянущуюся по правому его берегу. Совсем край Руси!

– Здесь все самочувствие другое, чем в России, – говорили мне тамошние старожилы. – Что такое Бессарабия? Ведь она всего десятки лет ото-

шла от Румынии и перешла к России. Кто же мы? От Румынии отошли, а к России еще не приросли. *Сейчас-то* мы приросли: но я помню родительский дом и всю судьбу мою, выросшую из этого дома. То была дичь, какую невозможно себе представить. И не то чтобы было дико образование, – этого не было, потому что у нас семья была образованная. Но дичь именно *положения*. Тянет – к Румынии, тянет – к России: и мы остановились между этими двумя притяжениями, как лодка, застрявшая среди камышей на реке. Ни назад двинуться, ни вперед продвинуться, *ничего не можем*; и не по своему бессилию, а потому, что все вокруг бессильно, смутно, темно, не утверждено, не решено. В зависимости от случайного и нерешенного положения страны складывалась нелепо и случайно судьба семей.

Никогда этого на ум не приходило. Мы живем внутри России «как у Христа за пазухой», по народному говору, – и для нас «уже при Ярославе Мудром» было все «решено и ясно», – даже до отвращения. *О колеблющейся психологии* окраинного жителя вообще на ум никогда не приходит. А она – *факт*, и, очевидно, это есть господствующий факт Прибалтийского края, Финляндии, Кавказа. Очень интересно.

Из села (и железнодорожной станции) Рыбница, где, очевидно, еще Россия, Россия в самом звуке имени, паром перетащил нас минут в 10 в село Сахарну, где столь же очевидно присутствие «чего-то *не нашего*», и тоже в звуке самого имени. Сахарна? Никогда не слыхивал. Будем смотреть Сахарну, куда я приехал выжаривать на солнце мокрые петербургские грехи, что накопились за зиму.

Две жидовки, старая и молодая, проводили паром, – и какой-то жид встретил его на другом берегу. Лошади взяли и сильно повезли на крутой берег.

– Это еврейский паром?

– Все еврейское, – угрюмо сказал возничий. – И паром еврейский.

Въехали в красивую Сахарну. И на душе расцвело. Эти домики, мазанные глиной, одна сторона белая, другая темно-желтая, третья синяя и без *единого пятнышка* на стене, являли необыкновенно веселый вид именно тем, что владелец, очевидно, до того влюблен в свое жилище, что разукрасил его так, как только мать украшает дочь-невесту. Во мне заговорило чувство собственности. Видеть *настоящую привязанность* человека к *своей вещи* так же приятно, как смотреть вообще на все настоящее, созревшее «до полноты»... По той очевидной радости, какую доставляло это имущество человеку, я не мог не назвать его «святым имуществом». Почему, в самом деле, «привязанность к своему дому» мы поставим ниже привязанности человека к живописи, к книгам, ниже привязанности его к наукам. У меня «дома нет», но мне совершенно очевидно, что «владеть домом» и так проводить кисточкой тоненькие узорчики около рам – такая же поэзия и ум, как писать статьи и книги; столь же вдохновенно, глубокомысленно и священно.

Было очень рано, часов семь утра, – и на одном дворе доигрывала музыка.

– Вчера была свадьба, пир шел всю ночь, и музыка с последними гостями затянулась до утра.

После я узнал необыкновенную множественность здешних праздников. Празднуют почему-то сверх воскресенья девять четвергов после Пасхи, которые называют «русалочками», да какого-то «хромого Кирика», да еще «Фоку», который почему-то есть в то же время «огонь», да «зеленую травку» – специальный праздник замужних женщин, после Троицына дня первый понедельник. «И боже избави не отпраздновать зеленую траву: весь год будут несчастья из-за травы или с травой». Я ничего не понял. Видно только, что, воспользовавшись переходом от Молдавии к России, стали праздновать все русские праздники и все молдавanske праздники. Как-то по вечерней заре я вышел послушать песни возвращавшихся рабочих, парней и девушек (с полевых работ). С высокого нагорного берега неслись красивые, протяжные звуки:

– Святый Боже! Святый крепкий! Помилуй нас! – Чистая речь.

Ушам не верю. Это же похоронное пение! Зачем рабочим? здесь? парням и девушкам?!

– А это они из церкви... Просто *нравится*.

Действительно, другая ватага молдаван тянула совсем другую песню, – другого мотива, тона, очень гармоничную. Молдавanskий говор вообще красив, приятен, и народ, очевидно, музыкален. В православной церкви села Сахарны, как я узнал после расспросов, половина пения и чтения – по-славянски и половина – по-молдавanskи. И действительно, лучшее пение, похоронное, они взяли без всякого отношения к его смыслу – в музыку себе и обратили в полевое, гулевоe, рабочее пение.

Въехали в какую-то черную часть села.

– Жиды, – сказал возникший... Он молдаванин, но говорит по-русски, что здесь встречается лишь у молодежи, побывавшей в училище.

– Ничего не растет. А вот синагоги. Три подряд.

Три почти разломанных домишка являли во всех крошечных окнах ряды тоненьких восковых свечей, вытянутых по бордюру рамы... Очевидно, что-то «богослужебное», «религиозное». – «Конечно, синагоги!»

– Зачем *три*?

– У *каждого сословия* – своя синагога. Бедные не молятся с богатыми, а богатые не молятся с бедными. Оттого *три*.

– Отчего же «ничего не растет»? – переспросил я удивленно, заметив выражение возникшего.

– А вот, глядите. Сейчас поедем мимо дома: перед ним три посохшие деревья. Отчего они посохли? Нигде в Сахарне нет высохших деревьев, все зелено, кусты, деревья, на дворах и на улице – трава. Здесь же, в еврейской части, ни травы, ни листочка, ни дерева. Одна черная грязь, залитая во дворах помоями. Вот, взгляните, – эти сухие деревья.

Действительно, было жутко смотреть: три большие деревья, как у нас бывают перед старообрядческими домами березки, – совсем выросшие,

сформировавшиеся, зрелые и, стало быть, сильные в росте, необъяснимо почему-то высохли и не являли ни единого зеленого листа. С тем вместе они были стройны в стволе и в ветвях и не имели тех изможенных от старости, опускающихся по сторонам сучьев, по которым мы узнаем старость растения. Три молодых сильных дерева, как трое юношей или «молодых людей», являли собою «остов», «костяк», «мертвое тело», черные прутья торчали кверху. Я смотрел со страхом, не понимая, что такое и отчего, — и мысленно шептал, что ведь «Мертвое море» и как *имя*, и как *явление* существует единственно во всей географии *только в Палестине*.

Склонный к символизму и мистицизму, я затревожился.

— А я-то все ищу у евреев «Ваалов» и «Астарт», плодородия и вечного зачатия. Вот тебе и «плодородие»... Оно дальше «своей постели» не идет: и чем «своя постель» плодороднее, тем более умерщвляют они все вокруг... У них плодородие — не пантеистическое, «размножиться бы луне», «размножиться бы всем звездам», — коровам, и дереву, и хохлу, и русскому, и немцу. А только «самому», и никому больше! Их плодородие — скопческое! *Ни у кого* оно не скопческое, но у них — скопческое.

Я трепетал. «Не понимаю, непостижимо». Какое-то совмещение «да» и «нет», противоречие в принципе. «Мне — все; но я даже этим всем пожертвую, только чтобы у остальных не было уже *решиительно ничего!*» Ужасно.

Позднее я узнал: это черное место Сахарны самое богатое. «Они живут в изломанных домишках, потому что еврею вообще крепкий дом не нужен, так как он квартирант в Сахарне, в Бессарабии, да и вообще *везде* — только *квартирант*, меняющий дом, соседей и даже меняющий образ жизни и ремесло в зависимости и в направлении, *где глубже*, по поговорке: «Рыба ищет, *где глубже*, а человек — *где лучше*». Еврею нужно «лучше»; «лучше» *ему самому*, и только *ему*; ему и *им*, евреям. А каково *всем вокруг* их, это не входит ни в какой расчет еврея и ни в какое соображение. Он берет, чтобы *уйти*, а не берет, чтобы *расти здесь*. И он мнет траву вокруг, перерубит корни у дерева, если для чего-нибудь нужно, нужно для мелочи, потому что *под этим деревом не сидеть его сыну* и не сидеть ему самому *под старость*. Ему вообще ничего кругом не нужно, и он страшно *антикультурная* сила в каждой местности, где живет. Сила его всегда больше силы окружающего населения, хотя бы евреев была горсточка и даже всего пять-шесть семей, ибо эти пять-шесть семей имеют родственные, общественные, торговые, денежные связи с Бердичевом и с Варшавой, да и с Венгрией, с Австрией, в сущности, со всем светом. И этот «весь еврейский свет» поддерживает каждого Шмуля из Сахарны, и «Шмуль в Сахарне» забирает всю Сахарну в свои руки, уже для пользы не своей, а всего совокупного еврейства, ибо, укрепившись здесь, он немедленно призывает сюда родственников, родичей, единоверцев в помощь себе, в компанию с собою, в сущности, за один обеденный стол с собою, где они кушают темную молдавскую Сахарну, кушают ее посевы, ее птицу, ее скот, все это скупая за бесценку через моментально образуемые в

каждом местечке синдикаты и не подпуская никакого чужого покупателя ни к какому продукту, сырью, свежине. Сахарна пашет, работает, потеет, а евреи ее пот обращают в золото и кладут в карман. Они имеют «у своих» бесконечно растяжимый кредит, кредит под свои способности, под свою живость, под свою оборотливость. Какая же с ними конкуренция, когда в каждой точке они – «все», а всякий русский, хохол, валах – «один». «Все» и съедают «одного», и Сахарна в руках их, как в их руках на другой стороне Днестра – Резина и Рыбница, в их руках Бессарабия и вся вообще эта «черта оседлости», отданная им на уничтожение. «Черта оседлости», может быть, и сохраняет что-то для самой России, но для самой «черты оседлости», и именно для всего *русского здесь*, для всего *местного*, для этих темных валахов, для хохлов, для поляков, она ужасна. Здесь все съедено, разорено евреями, все извращено и погублено.

– Извращено? Почему?

– По привитию к населению самых подлых вкусов, самых подлых привычек, самых подлых мод. Войдите в черную разломанную избенку еврея, по-видимому держащего только паром через Днестр: паром – одно покрывало, одна видимость. Сюда заходит наивная девушка, и ей за десять копеек продают отвратительных белил, еще за десять – гнусных духов и румян, а за два целковых продают секрет вытравить у себя плод. У соседа этого паромщика за пять целковых паренек получает часы с фокусом, но которые будут идти всего два месяца; и напротив в лавчонке молдаванка покупает «варшавские моды», какую-нибудь блестящую дешевку, которая блестит, звенит и привлекает ее как дикарку, но которая во сто крат хуже и безобразнее ее простого, изящного, гордого народного костюма. Все *местные* одежды, комнатная утварь, наряды, эти изящные «деревенские вышивки», выработывавшиеся веками и полные вкуса, – все выбито и убито «варшавскою дешевкою», которая на самом деле есть еврейская дешевка, а сами евреи взяли и занесли ее сюда с пошлого всемирного рынка, где не видно никакой народности, никакого лица. *Обезличивающее действие* евреев на народ ужасно...

Я слушал, и это мне казалось чем-то совершенно новым, о чем я никогда не слыхал. Передаю все в том «сыром материале», как взял с земли, не прибавляя ни размышления, ни даже «да» или «нет», для коего я некомпетентен.

* * *

Мне кажется, «грехи» свои я выпарю в Бессарабии. Воздух удивительно легкий. Его не чувствуешь, грудь не утомляется, тогда как в Петербурге и в мокрой Финляндии вечно дышишь холодом, туманом и дымом и после десяти дыханий одиннадцатый раз непременно кашлянешь. Угораздил же Бог русских выбрать «центром» и «головой» Империи местность, где нельзя не кашлять, не сердиться, не ипохондничать, не уходить душою «в подполье», как назвал Достоевский мрачайший из своих рассказов. И весь Петербург,

и все «петербургское» отсюда, между благословенным Днестром и дальним Киевом, представляется каким-то временным «подпольем», через которое суждено проташиться русскому духу для каких-то углублений, но проташиться именно *временно*, чтобы выйти в свет, ясность и лучшую одушевленность.

II

Кое-что новое видишь, слышишь:

– Земля *меня* кормит, как же я *уйду* от земли?

Так говорила помещица, лет 50, в именин которой я живу, которую я видал в Петербурге в 1903–1904 годах на Религиозно-философских собраниях и в кружках живописцев, писателей и просто обывателей.

– И я решила *отсюда* не уезжать, из Сахарны, даже на зиму. Покинуть землю для владельца – все равно что женщине покинуть мужа. Это просто дурно.

Таким решительным голосом, прижав палец к груди.

– И я счастлива. Вокруг меня все растет, тучнеет. Встаю в шесть часов утра, пью воды и иду в хозяйство. Мечта моя, чтобы школа *стояла среди самого поля*, а не в селе, как теперь; и чтобы мальчики жили среди работ и сами работали; чтобы учились на работе и через работу, а не отвлеченно, по книжкам, Бог знает каким сведениям и Бог знает для чего им нужным. Но программа министерства... и ничего нельзя сделать. Как этот *врачебный пункт*: я хочу, чтобы он был *здесь*, около леса и виноградников, а не в еврейской черной и грязной дыре, которая всех заражает, которая сама есть уже болезнь. Но нельзя: далеко *врачу* привозить провизию; и оттого, что врачу удобнее жить в черной дыре ради провизии, и больные должны лежать там же и дышать зараженным воздухом.

Приходится везде уступать: все в деятельности *лица* зависит теперь, вследствие сложности и перепутанности цивилизации, от учреждений местных и центральных. «Программу» устанавливает до мелочей министерство, одно или другое; учителя присылает, и за ним наблюдает, и, наконец, ему предписывает училищный совет, с депутатами: 1) от земства; 2) от дворянства; 3) от духовенства. Может быть, я путаю, от кого и как: только впечатление – «много», «много всего и всех». И когда мне пытаются объяснить связи и затруднения, я зажимаю уши и говорю: «Ничего не понимаю». Нельзя понять: каждый от всех зависит, и никто ничего не может сделать.

Я как мужчина бросил бы все и уехал в Петербург, где мне никто не мешает «на Коломенской» и я живу в квартире свободно, как Скупой рыцарь Пушкина в своем погребке с золотом. Столица страшно освобождает, провинция безумно связывает. Не от этого ли все неспособные к борьбе и ленивые бегут в столицу, и тротуары Петербурга так усердно топчутся стадами людей, тоскливо выжидающих, какой департамент их позовет сочинять «бумаги».

Но где мужчина не устоит, баба уцепится. Легко, мягко и властительно 50-летняя умница отстраняет препятствия с дороги или выжидает, пока «сами пройдут».

Впервые, «куда-то забредя» и открыв случайно какую-то дверь, увидел бочки чудовищной величины (точно маленький дом) для вина: осенью они наполнятся вином, теперь пусты. В бочку входит, как я узнал, 600 ведер вина, а в каждом ведре 16 бутылок. Сколько же бутылок в бочке и сколько их в тех 5–6 бочках, которые я видел в погребе, куда «непредвиденно» попал! Все крестьяне пьют это сахарное вино, вероятно дешевое. Потому что то вино с этикеткою «Сахарна», которое я однажды пил в Петербурге, мне показалось вкуснее всякого, какое я когда-либо пил.

– Сбыт? – спросил я тогда.

– Никакого. Только сами пьем. Это *чистое вино*, русские приучены уже к подделкам и примесям.

Я и тогда, как теперь многого, ничего не понял. Покачал головой с недоумением и некоторым сомнением.

Чуден лист виноградный, обрызганный медным купоросом (тут же разводится, в яме): точно шкура красивейшей зеленой ящерицы. Это – от филоксеры, вероятно, в предупреждение.

Крестьяне пьют дешевое виноградное вино своей выделки и своих виноградарников. Справляются с тем и с другим.

В имении – «земская» школа виноградарства и виноделия с опытной фермой и завод черепицы (для крыш). Слово «земская» ставлю в кавычки: бездетная вдова, моя хозяйка, определила все вообще свои земли, с виноградарниками и прочим, в дар земству, и потому школа заранее именуется «земскою». Но земство приплачивает на содержание что-то пяти или семи учеников из 30 или 25. В виноградарстве я не понимаю: но *черепица* мне представляется истинным благодеянием для местности. Уже проезжая Рыбницу и Резину, я почти не видел этих воистину *ужасных* русских соломенных крыш, которые, собственно, давно должны бы быть всюду *правительствами запрещены к употреблению*, как запрещено держание в домах пороха, перевозка в багаже пороха и целлулоидных вещей, как вообще нечто угрожающее общественной безопасности и целости соседнего имущества. Что такое горящая соломенная крыша среди соломенных крыш соседних домов? Да огонь среди соломенного пороха. Деревня не может *вся не сгореть*, раз загорелась одна изба. Это же «постройки, угрожающие общественной безопасности», и как таковые недопустимы при благоустройстве. Крестьяне, как только *первая* черепичная крыша сохранила дом от последнего пожара и *не пустила огонь дальше*, начали энергично переходить на черепицу. Соломенные крыши еще попадают, но как чрезвычайная редкость, и в таком разреженном виде среди черепицы, что не угрожают ничему, кроме «себе». «Сами» сгорят, как ворох бересты, и «дальше» бедствие не пойдет.

Но «безопасность» не все. Главная и лучшая роль завода – экономическая, и ради этой его роли сделаны все усилия, чтобы его поддерживать,

даже в годы, когда он не дает прибыли или даже дает небольшой убыток. А это бывает. Пока дела у крестьян хороши, завод малоошутителен для них, кроме выработки полезного продукта. Но вот засуха выжгла хлеб *малолетним*, или дожди сгноили сено и рожь: все бросаются на завод, и он спасает население от отчаяния. Экономия («все хозяйство») если не богатая, то состоятельная заготавливает черепицу впрок, на будущее, расширяет производство, мужики возят глину и на самом заводе получают работу выделки. Все обходится без эксплуатации, так как бездетная помещица вообще задумала «все добро» по смерти определить в «добро *тут, тутошним*». В первый раз на этой мелочи я понял разницу между «проходящим, странствующим» элементом немцев (колонисты) или евреев и между «русским местным помещиком», «русским дворянином». Конечно, когда он бежит от земли, когда земля дает ему только барыши для жуирования в Петербурге или Москве, он для своего места не лучше еврея или немца. Но в то время как немец или еврей непременно только «странствуют», некоторый процент дворян и помещиков все-таки *сидят на месте*. И *сидящие на месте*, при средствах, при широком горизонте зрения, какой дается образованием, решительно становятся *закрепою* местной жизни, тем гвоздем, за который все цепляется и которым все поддерживается. Отсюда знаменитый лозунг восемь лет назад – «Жгите дворянские усадьбы», «Громите помещичьи владения», – который подсказывали темной сельской массе Герценштейн и Тан-Богораз (организация «крестьянского союза»), подспудно имел ужасный смысл: «*Вас* мы съесть всегда сумеем (какое же сопротивление массы, не умеющей считать до двухсот?). Но *вас* съесть можно только тогда, когда среди вас не будет единоплеменного и единоверного разума, защиты, поддержки и широкого горизонта. Вот *их*-то и надо вырвать, и вы, темные, передуете своими руками сперва сознательных среди вас!» И Богораз, и Герценштейн были из «странствующего племени»: один якобы только радикальный журналист, а другой – деятель еврейского банка, *бравшего в залог имения*, и, конечно, условия залога должны были сделаться тем тяжелее для закладывающего и стать тем выгоднее для банка, берущего земли в залог, чем существованию имений большее угрожало, чем больше трепетали и бежали от земли своей помещики. Поразительно, что «умная» русская печать приветствовала обоих чужеродных странствователей, скупщиков и, кажется, стихотворца (Богораз). Вообще русские всегда за кем-нибудь «носят зонтик».

Оставивший лично свою землю помещик и дворянин есть уже полупомещик и полудворянин. Это всегда тающий *снег*, ни зима, ни лето. Он неопределенен, он пропадает. Но всякий вообще *отреченец*, отрекающийся от дела и от функций своих человек, есть что-то *полу-живое*, и он являет отвратительность всякого начинающегося труп, всякого умирания. Но тут необходим анализ, различие. Отвратительное и принадлежит *смерти*, но что же оно говорит о *живом*? Да то, что оно *нужно*, что оно *прекрасно*. Чем гаже труп, тем священнее человек! Ничего нет ненавистнее «*трупа отца*», «*трупа своего ребенка*», потому что они-то как *живые всего дороже*! Вооб-

ще, чем несноснее труп, «хуже пахнет», тем больше надо бежать от него и охранять *жизнь живому*, любить его, приветствовать его, его оберегать. Мы исторически и особенно литературно делали и продолжаем делать величайшую ошибку, смешав трупное дворянство, трупное помещичество, гуляющее по столицам, по заграницам и т. д., словом, *бросившее свою землю* арендаторам или на «управляющих», с помещичеством здоровым, с «дворянством здоровым», *сидящим на земле и делающим местное дело*. Последнее нечем заменить. Самый лучший крестьянин и множество крестьян, целая, положим, деревня их, целое село не могут заменить такого «местного дворянина», если он просто *нормален, здоров*, если он не допускает эгоизму перейти в хищничество, энергии перейти в насилие и эксплуатацию. Но против таковых инстинктов всегда есть отпор в самозащите крестьянства, и крестьяне давным-давно перестали быть «стригомыми овцами», «кроткими овцами». Этого нет, и это все знают. «Нормальный помещик» совершенно не заменим никем и ничем, потому что он есть *однородная с крестьянством духовная сила*, озирающаяся *назад*, озирающаяся *вокруг*, к чему крестьянин вовсе не способен по необразованию или по очень маленькому образованию, по слишком сосредоточенному эгоизму «только *своей избы*». Ну а нужен ли *дух* телу, об этом напрасны споры. Дворянство нормальное, *рабочее на месте*, и есть дух крестьянства, духовная сторона крестьянства как необходимо протяженного тела. Таково и было поистине гениальное *в роли своей славянофильство*, собиравшее и сохранившее как зеницу ока крестьянские песни, сохранившее в своем быту крестьянский же быт, крестьянский узор жизни, крестьянскую тонкость и глубину сердца, но в виде развитом, обширном, *усложненном*. Нужно только твердо держать в уме – *мы судим о нормальном* – и не переносим на «нормальное» трупных определений, трупных качеств, трупной вони. *Нормально* именно самому крестьянству, необходимо и полезно дворянство, как *его* же, этого *крестьянства*, завершение, одухотворение, осмысливание и, в случае опасности и тревог, смерти и несчастий, голода и пожаров, мора и болезней, предводительство, указание, защита, охрана. Не знаю, нужны ли «предводители дворянства» (скорее нужны *попечители* странствующего дворянства, *падающих* его частей), но вот «предводители крестьянства» безусловно нужны, иначе «в предводители» сейчас навяжется тайный недруг его, который завтра оберет его и уже сегодня имеет план обобрать, но пока притворяется благодетелем, лечит, учит, нашептывает, поднимает в «движении», убегает, когда «движение» не удалось, а если удалось, то располагается в положении инструктора, направляющего и тоже управляющего, но уже управляющего иной породы, иного духа, иной исторической связи... Иное дело *своя болезнь*; худой помещик – *своя русская болезнь*. И иное дело чужой тать, поджог чужою рукою, беда *со стороны*. От «своей болезни» есть лечение, но «чужая рука» раздавит, задушит и выбросит, обобрав.

Сам я не дворянин, никогда им не собирался быть; но в Смоленской губернии, в Татеве, где *двадцать лет* учил крестьянских ребят вышедший

в отставку профессор Московского университета С. А. Рачинский, а имени-ем управляла его сестра Варвара Александровна, – и вот теперь во второй раз в Бессарабии среди деятельного и благородного собственно *хозяйства* я наблюдаю явление, которое представляется правильным и нормальным с *первого взгляда*, уже по *теоретическому* воззрению и которое если имеет исключения, то лишь патологические, насколько все вообще подлежит умиранию и болезни. И «образованность» имеет свои болезни; даже имеет дефекты сила, здоровье, наконец, богатство. Есть «недостатки» в книгах и книжности. И однако, *все это* суть благо. Едино-родное и едино-верное дворянство есть такой естественный и необходимый член национальной организации, народного строя, земского устройства, член именно защищающий, охраняющий и предводительствующий, который может оспариваться только тем, кто ненавидит *самую страну, самую землю и самый народ*.

Крестьянство, дворянство и духовенство если живут у нас «не в ладу» или *если они где* живут «не в ладу», то лишь как «не в ладу» бывают между собой сербы, болгары, греки, румыны. Это – несчастье и случай, это – минута, но никак не «естественное положение вещей». Чего-то недостает; но во всяком случае недостает подробностей; и это совсем не то, что неодолимый антагонизм. Дворянство у нас два века уже – «французского образования», вместо того чтобы быть православно-русского; духовенство часто, увы, совершенно необразованно и *не воспитано сердечно*. Крестьянство вообще темно. Кроме того, всем трем не было никогда сказано какого-то *целебного слова*, которое тоже есть и, возможно, которое может тайной волшебного действия связать несвязанные части и одушевлять омертвевшие члены. Духовенство мелочно завидовало дворянству и грубо отправляло формальные службы около крестьянства; дворянство ушло или уходило в шик, тщеславие, мелкие светские пороки, в жизнь порочную, блестящую и разорительную, вместо того чтобы работать на земле и быть стражем-хранителем крестьянских интересов и нужд. Крестьянство менее всего виновно, потому что при темноте все *вины* суть уже *не вины*. В последнем анализе, конечно, именно *крестьянство*, именно *толща народная* есть та драгоценность, та «жемчужина», которую должны все сохранять, все оправлять в лучшую оправу, согревать, просвещать. В конце концов и дворянства и духовенства роль – *жертвенная*. Но в самой этой жертве ввиду огромности ее и величия того, кому жертва приносится, должно быть великое счастье. Тосклива должна быть, горька, скучна и самоубийственна и жизнь дворянства, и жизнь духовенства, если она есть *эгоистически сословная жизнь*. Дворянство, живущее «в пузо дворянству», неодолимо и непременно будет вымирать; вымирать как скука и вымирать как грех, и духовенство тоже, если оно начнет жить «в пузо себе» или «во славу канонов своих», *безотносительно* к народу, лишится всего и не только не сохранит канонов, но, пожалуй, убьет и самую церковь, и церковность в народе. Народ же, при темноте своей, уже по тому одному, что он *неизмерим массою*, «довлеет себе», носит цель и задачу свою в себе самом, а не в постороннем, не в

третьем, и выполнил еле на земле назначение, если *просто* только *сам* счастлив, хорош, чист, не загнил, не зачервился в пороках, ранах и болезнях. Народ – лес: стоит и шумит. А дворяне и духовные – мудрая охрана его, мудрое сбережение его.

Нормально – так это и есть. И вовсе не так редко это *действительно* бывает. Нельзя «по анекдотам» писать историю; но мы, русские, вообще склонны мысленно понимать свою историю именно по анекдотам. «Случилось» то-то, «рассказана история» о том-то; и мы рушим мысленно целый строй, в сущности, «по анекдоту» и по «рассказанной истории». Это беллетристическое отношение к родной истории, это художественное к ней отношение в высшей степени нам присуще, – и мы забываем, что нет действительности без «анекдота» и что самый совершенный социальный строй предполагает за фасадом своим уголовную тюрьму. «Порочного человека» мы всегда выводим из «порочного строя», тогда как «порочный человек» есть только показатель, что строй *жив* и, как все *живое*, подлежит *заболеванию и лечению*. «Высыпала корь», и мы «режем больного»: вот наша воображаемая, мысленная, мечтательная политика. «Зарезать» строй, «разрушить» строй: потому что в нем то-то «случилось», потому что о нем рассказан такой-то анекдот. По этой схеме у нас построено 0,9 литературы и печати: «вырезать горло» скарлатинному, «вырезать легкие» чахоточному – вот наша вечная политическая хирургия, основанная на полном невежестве в анатомии, физиологии и патологии.

Ну, будет рассуждать...

– Взгляните на уголок старой Молдавии!

– Где?

– Здесь, внизу.

И хозяйка свела меня в низ своего дома. По узкой железной винтовой лестнице мы сошли в нижний этаж, едва заметный через небольшие окна, когда подъезжаешь к дому. Я даже не догадывался вовсе, что дом *не* одноэтажный. Но оказался там ряд просторных комнат, во всем повторяющих хозяйственное жилище, но только с более низкими потолками.

Я и в Петербурге, посещая хозяйку, бывал удивлен, что вся мебель и часть стен завешаны какими-то сельскими работами из полотна и деревянными штучками, не весьма понятными. Теперь я увидел источник этого: в Петербурге воспроизводилась *часть* того, что я увидел вокруг. Это был, в сущности, *уже собранный* этнографический музей, но расположенный *не музейно, а жилищно*. Вот столы грубой ручной работы, за которыми крестьяне обедают, вот кровати, где спят, своеобразные детские люльки, прелестные *самопрялки* (лен прядут), весьма не похожие на наши, легкие, переносные, с которыми «можно идти по полю и продолжать прясть», огромные трубки, кальяны и множество хотя грубой, но, в сущности, красивой посуды из глины. И «наверху» я заметил, что вместо «европейских подсвечников» расставлены и употребляются везде, в сущности, очень красивые, но неизмеримо более удобные глиняные подсвечники, состоящие из

огромной, как бы полоскательной чашки, из середины которой поднимается самый подсвечник, т. е. цилиндр, в который вставлена свеча, и верхушка этого цилиндра соединена огромною ручкою с краем полоскательной чашки. Все вымазано блеклой зеленой краской. Такой можно взять и барышне, ибо, в сущности, он элегантен, и можно взять мужику «лапищей», тогда как наш подсвечник по миниатюрности можно взять «пальчиками», а не рукой. И затем в полоскательную чашку можно навалить сколько угодно окурков и даже налить туда воды, чтобы «сразу все тухло». Подсвечники так мне понравились, что я захвачу хоть один в Петербург: для трубокура и ночного читальщика нет удобнее. Можно поместить целое хозяйство, а в воде даже утопить неприятного автора.

— А вот и печь!

Опять «русская печь для печения хлебов» немного не такая, как в Велikorоссии. Хотя элементы те. Особенность — необыкновенная фигурность во всем и элементарный, повсюду понапиханный узор каких-то нелепых и очень милых лилий, синих, красных, оранжевых, кружочками, завитушками и дрожащей «змейкою» линий.

— Вот как живут наши мужики.

— Хорошо живут.

Рубахи мужские почти не отличаются от женских, с незакрытым воротом (жара).

— Так и женщины ходят? ведь не закрыты груди?

— Ну что же: и на севере бабы кормят ребят на виду всех.

Мы стали подниматься. Милая хозяйка остановилась на полулестнице и, глядя вниз на свои сокровища, сказала:

— Вы не чувствуете, что здесь детьми пахнет?

— Где?

Сама она бездетная, вдова. Сын, безумно любимый, умер четырех лет. Прелестный грустный мальчик (по портретам).

— В моем домашнем музее. Вы же видите, что деревья нигде не видно, все покрыто коврами, полотнищами, диванчики низенькие, и все таково, что можно в каком угодно месте положить ребенка. Каждая комнатка просит женщину и ребенка.

— Это великолепно. Пока вы не сказали, я не чувствовал, хотя чувствовал в обстановке какую-то нежность и мягкость. Но как вы сказали, и я чувствую, что сюда недостает детей.

— Не правда ли, — сказала она с восторгом. — Я покажу вам наших молдаван. Это прелестный народ, полный воображения и черт знает каких выдумок, которым смеешься, смеешься, а потом и задумаешься. Живая мифология, творящаяся сейчас. В чем-нибудь *действительном*, реальном их трудно убедить: это кажется им неинтересным, и они не верят. Но если вы расскажете им что-нибудь совершенно невероятное, они моментально в это уверуют как в несомненное — и сами постоянно рассказывают небылицы, «на той неделе бывшие в соседнем селе», слушая которые вы помираете со

смеху... Да вот вам: раз приходят и жалуются, что в учебнике для ребят написано (о первом марта 1881 года):

– Скажите, барыня, разве это может быть?

Молчу.

– Царь не может умереть, а тут сказано даже, что его...

Молчу. Не понимаю. Потом догадываюсь из их слов, что, по их мысли, *цари вовсе не переменяются*, что в России *постоянно царствует один царь*, который бессмертен.

Хозяйка взяла руки в боки и громко весело расхохоталась.

– Ведь *видят, знают!* Вот в *книжке учебной напечатано*: но параллельно этому у них живет упорная какая-то своя мысль, и они тверже верят ей, этой своей вере, нежели тому, что им говорят и даже о чем напечатано. Ночью как-то вылетела из-под крыши огромная черная птица и бесшумно полетела. Должно быть, сова. Я взглянула на горничную, стоявшую возле. Она стояла бледная.

– Это, барыня, Полночь.

– Это сова!

– Нет, барыня, вы не знаете. Это не птица, а Полночь пролетела.

– Что я с ними стану делать. Их невозможно выучить, но нельзя их не любить. И все в фантазиях...

Смеющаяся толстушка мне так понравилась своей гармонией с крестьянством, что я невольно поцеловал ей руку.

III

Оказывается, богослужение здесь действительно на двух языках, молдаванском и русском... Под Вознесенье поехал в один монастырь, с настоятелем отцом Иннокентием, и совсем недавно, ранним утром, в другой – с отцом Варсонофием. Направлений уже не помню. Только помню, один раз ехали «туда», а другой – «сюда». Все – в горах, и направлений не видно, и дороги не очень понимаешь. Тут, оказывается, «отроги Карпатов», и видно небо и самое коротенькое расстояние вокруг.

«С отцом Иннокентием» монастырь лежит в глубокой балке. «Балка» – это рассеявшаяся, как бы зигзагообразно треснувшая почва. Я не верю, чтобы «балки» образовались от ручьев, текущих тонкою ниточкою на дне их. Мало ли таких тоненьких ручейков у нас на севере; почти около каждого города своя «Черная речка», но балок – нет. Течет ручей или речка в плоских берегах, и больше ничего. Откуда же эти колоссальные трещины-балки? Похоже на то, как будто бы всю местность кто-то выгибал вниз, «на колене», – гнул-гнул, и вот она в местах сгиба не выдержала и треснула, в одном месте, в другом почти параллельно, дав этот излом и остроту углов. Ничего – лоцинного, сложенного, ничего – прямолинейного.

В одной из красивейших складок, на уступе трещины, и приютился монастырь «с отцом Иннокентием». Раньше я его видел сверху, ехав на ос-

мотр хлебных полей Сахарны. Тогда он кажется совсем в пропасти и чрезвычайно красив. Окрест, по «морщинкам балки», раскиданы огороды; гряды роют несколько иначе, чем у нас на севере. На севере гряда длинная-предлинная, все гряды – рядышком, и борозда между ними очень узенькая. Здесь очень много земли уходит на борозды. Они так же почти широки, как гряды; в них можно бы спокойно спать, даже раскинувшись. Это, очевидно, неутилитарно, и мне непонятно, зачем – при тесноте в балке – столько места потрачено непроизводительно. Земля возделана тщательно, «бархатно». Особенно был хорош огород одного глухонемого монаха. Вообще все огороды сделаны руками монахов. Монастыри, как и у нас на севере, крестьянско-монашеские. Вошли.

Все наше. Вот и Серафим Саровский. Его невольно ищешь теперь почему-то, входя в православную церковь на чужбине или несколько на чужбине. «Проверка, по-русски ли». Образ большой, в эпитрахили, в несколько склоненном виде, – и с этой белизной лица и волос, какая присуща всему великорусскому. Но кроме его лика лики остальных святых и многочисленных, в богатых окладах, богородиц – все уже темного, молдаванского отлива. Это какая-то темная бронза. Не смуглость и чернота, как на иконах греческой церкви, на Лиговке, в Петербурге, а своя, особенная. Цвет скорее всего недоспелой сливы.

Богослужение торжественное и очень длинное, монастырское. Меня поразила нарядность риз; в них меньше золота и серебра, чем у нас, и нет повсюдных крестиков по полю ризы или в значащих ее местах. Место этого заняли огромные и чрезвычайно яркие цветы, чашечки цветов, «шапки» цветов, пунцовые, голубые, зеленые. Кажется, самое поле ризы – светло-зеленое, и по нему эти большие «головки цветов». Все имело вид «макового поля», и это маковое поле на старых или пожилых иеромонахах, частью громадного роста, было своеобразно.

Настоятель – молдаванин и с сильным молдаванским акцентом читал Евангелие и произносил возгласы. Правый хор – русский, с безукоризненным русским пением (почему-то «акцент» в пении теряется), т. е. с пением славянским, к какому мы привыкли. Левый хор – молдаванский. В том, конечно, я ничего не понимал. Но почему-то, когда пел правый хор (по-русски), по поклонам и усердию, в особенно патетических местах, я видел, что богомольцы, сплошь одни крестьяне, и в большинстве старухи и старики, – все, очевидно, понимают. Вообще совершенно было ясно, что богослужение на двух языках не затрудняет и не неприятно народу; все точно чувствуют, да и практически знают, в службах у хозяев, на заводах, садясь в вагон железной дороги, что не знать русского языка – значит попадать в затруднения. И рады случаю где-нибудь услышать русский говор.

Вообще это нормально и до того «само собою разумеется», что нужно вмешательство Мехелина, русского патриота Милюкова и Чарторыйского, чтобы возбудить думать иначе. «Океанские течения» истории, которые не остановишь «своим пальцем».

Всей службы не мог выстоять. Слишком продолжительно. Потихоньку вышел и просил показать монастырь, и особенно одну «дальнюю келейку» – для пустынника. Она высечена в камне. В одном месте попались старинные церковные книги. Я думал – молдаванские. Но, открыв, увидел нашу славянскую вязь. Кажется, мелькнули и славянские слова, т. е. *по звуку*. Только позднее, рассматривая у хозяйки-помещицы ученые издания археологических обществ в Бухаресте*, я увидел, что все надписи на иконных изображениях древних молдаванских «господарей» сделаны тоже славянского вязью, как надписи на всех *русских иконах*, тогда как самый текст журналов, текст ученых статей в них, напечатан на румынском языке и буквами *латинскими* или *французскими*. «Господи, что же это такое? Теперь они говорят и пишут по-французски, т. е., очевидно, по-молдаванско-французски, когда, очевидно, прежде, в святую древнюю эпоху, говорили и писали по-славяно-молдавански?!!»

Объяснение некоторое нахожу в словах своей умной хозяйки-помещицы:

– В Румынии все теперь тянет к связям с Западною Европою, но это я нахожу ошибочным. В Бухаресте есть историческое общество, оно производит раскопки, находит римские надписи и, указывая на них, говорит: «Вот видите – мы римляне, мы – кусочек Италии, закинутый сюда; мы – Европа и нисколько не славянство, но Восток». Это – ошибочная тенденция, потому что воспоминание *не живое* есть уже и не воспоминание, а какое-то шевеление чужих гробов. Народу это непонятно и чуждо. У народа были «господари» и «воеводы», и портретные изображения вы можете найти в этом же «Журнале Археологии», а народ видит эти изображения на западной (задней) стене своих церквей. Вот бородатый, в короне, отец, – и безбородый сын его, – поддерживают руками построенную ими церковь, т. е. ее план и копию, ее рисунок, – совсем как у нас в Москве и Великороссии. И внизу, между двумя большими их фигурами, ряд маленьких: это – последующие ктитеры, или «старосты» церковные. Портреты, таким образом, светских лиц, лиц политических и общественных, отнюдь не «святых», – внесены внутрь церквей, и, может быть, темный народ на них иногда и помолится. Большой беды от ошибки нет: он молится «храмостроителям» своим. Что же эти старые и древние храмостроители, в огромных кафтанах с широкими рукавами, с квадратными бородами, – имеют общего с римлянами времени императора Адриана, когда, по-видимому, выведена была на низовьях Дуная римская колония и был построен город Адрианополь? Да это русские бояре и русские архиереи на портретах и на иконах: вот Николай Чудотворец, и подпись по-славянски: «Св. Никола». Связи – с Болгарией, больше и теснее всего потому, что из Болгарии пришли в Румынию первые святые, первые архиереи, первые монахи, первые священники, – и отсюда же принесли они это церковное, т. е. церковнославянское, письмо вязью. Затем – горячие живые связи, но страдальческие, с Турциею; и довольно

* Buletinul comisiunii monumentelor istorice. Bucuresti. 1912–1913 гг.

уже отдаленно и отвлеченно связи с Византиєю, с Царьградом и Афоном. Церковь – единственно живая, *ежедневно перед глазами текущая история*, и она ни одного не имеет воспоминания о Риме, Италии, о Франции или Европе, а вся связана с *тутошними делами* на Балканском полуострове. Но даже и не в этом, не в церкви главное, а в народе: я нахожу, что добрый, в высшей степени ласковый и приветливый молдаванский народ, доверчивый, прямой и наивный, сам собою сливается совершенно с таким же русским населением, и хоть они не понимают или с трудом понимают ваш говор, но вы по улыбкам, по жестам, по походке мужика на улице, по сниманию шапок при встрече с прохожим, – видите, что между *вами* и *им* нет никакой психологической разницы, нет раздора и даже непонимания, а, напротив, есть полное интимное понимание, только без слов, как есть такое понимание между матерью и ребенком в люльке, где тоже речей нет, а есть связывающая обоих улыбка. Что же между этим «валахом» и «молдаванином» общего с французом, с ксендзом, с австрийком или венгерцем? с католическою мессою и всем подстриженным и выбритым бытом Европы вообще?! Ничего. Но «валах» и русский «увалень» даже по звуку похоже, и, естественно, им жить вместе. Собственно, никакой «Румынии» нет, это есть дипломатический и политический термин, созданный преднамеренно, чтобы отделить страну от России; есть «валахи» около Дуная и «молдаване» севернее, и есть «Молдо-Валахия». И французская азбука им дана в целях того же гражданского, школьного, книжного отделения от России. Но *вид* церквей, таких же, в Яссах и Бухаресте, как в Ярославле и в Москве, как в Киеве, – говорит *народу* о другом и тянет к связям совсем в другую сторону... Румынская история испорчена и за этот век, но, Бог даст, поправится.

Я несколько распространяю смысл слов моей хозяйки, но он этот, и своей тенденции я не вкладываю. Как-то в праздник, во время обеда (*час дня*, – ибо хозяйка встает в *шесть* утра), я услышал громкое пенье, которое принял за пение проходящих мимо дома девушек... Но что-то очень громко и близко; любопытный, я, извинившись, вышел из-за стола, чтобы посмотреть в окно рядом со столовою находящейся «конторы» (просто – комната с хозяйственными книгами): голоса – совсем в ухо! Отворив дверь рядом, где висит на гвозде одинокая сумка для писем, я увидел 6 или 8 девушек, зашедших сюда «ни ради чего» и начавших петь на своем молдаванском языке... Я долго не мог свести с них глаз, а они, немного поулыбавшись, продолжали «вовсю...». Голоса едва ли не в большинстве – контральто. Нельзя было не улыбаться на них и им встречно не улыбаться: это было что-то до того дикое и первобытное, до того «ни до какой Германии» не доскачешь, что как будто я попал не на границу России, а что ни на есть в самую Симбирскую губернию, откуда вообще ни в какую сторону до края России не дотянуться. Я был как загипнотизирован их глубоко счастливыми лицами, «отчаянными и отважными», и невольно думал:

– Боже, Боже! куда девалась *политика*... Да это совсем «каменные бабы», каменного периода, – какие-то деревянные статуи, состоящие из живота,

орущих горл, полного блаженства сегодняшней погодой и единственно нуждающиеся в мамалыге (еда из кукурузы, во всех формах, хлеба, каши и похлебки) и в муже. И – ничего еще... «Была мамка, и будут детки» – вот и вся история. Быт, экономика?

– Сотня – два рубля (черепица)... Так отпусти мне *две* сотни... Мне надо больше немного, но как же считать... Две сотни...

Ничего среднего между *сто* и *единицей* уже не вмещается в голову. Все промежуточное – уже неуловимо, и даже он думает, что этого никто не сумеет сосчитать. Так передавала хозяйка один свой торг, добавляя:

– Как же их не обманывать, – и вы понимаете, что делают с этим народом евреи...

Все это отразилось на поющих девушках. Они пели от хорошего воздуха и хорошей погоды. «Боже мой, куда им тяготеть, – к Румынии, Австрии, к России...» *Вопросов этих никогда для них не существовало* и не может существовать. Они живут совершенно до истории и вне истории, для них «царь, конечно, бессмертен», царь, сказки, песни, мифы, виноградники и вино. Это та жизнь, которой отражения мы имеем в «Илиаде» Гомера, в наших былинах и сказках, финны имеют ее в «Калевале»... И, ей-ей, я никогда не разрушал бы этой жизни, блюдя только, чтобы она была трудолюбива и трезва...

Но разные «системы политик» уже, кажется, ходят около деревни, и как не припомнить церковного слова: «Бродит лев, рыкая и иский кого поглотить...»

IV

Другой монастырь, «с отцом Варсонофием», лежит на дальнем берегу Днестра. Как и предыдущий, он называется «Сахарнянский», по имени местности, и без специального своего имени «во имя угодника» или «во имя праздника» (как наша «Введенская пустынь» и проч.). Ехать пришлось очень долго, по берегу над обрывом. Впервые увидел здесь (южных) аистов, чего-то ищущих около воды и шагающих там по берегу.

Доехали. Оставили лошадей на берегу и стали взбираться на необыкновенную кручу. Идем, идем, идем... И спины, и ноги ноют. «Святые трудились, и мы потрудимся...» И вот – кресты, иконы и все благочестие...

Лесенка вырублена в камне, и самый монастырь, т. е. кельи его и церковь, врублен в стену. То есть они все выдолблены в массиве горы, и «фасад монастыря» есть в то же время просто каменная первозданная стена. Монастырь на середине подъема, и лесенка, также вырубленная в камне, вьется дальше еще столько же. Таким образом, монастырь висит в воздухе, как орлиное гнездо, – и даже буквальный – это как «ласточкино гнездо» у нас по высокому берегу Оки, являющее просто дырку в песчаном грунте откоса. Куда же «идти», куда «спасаться из этого монастыря» или как из него «уходить в мир»...

Село на другом берегу Днестра – наискось и далеко. Вблизи вообще *ничего нет*. Притом село, очевидно, не древнее, а монастырю – несколько веков, он раньше самой Сахарны. И значит, раньше монахи жили прямо как ласточки, на совершенно диком, пустынном берегу в степях и горах бегущей реки. Одиночество, уединение было выражено разительно.

– Эй, *кто* тут? Кто *жив* и есть? – закричал мой спутник.

– Никого нет, – вышла баба с ответом. Смотрит сверху, облокотившись на камень «вместо перил».

Я ахнул от изумления. Мужской монастырь и одна баба.

Просто стою и не произношу слова от изумления. Что-то символическое. Смех разбирает «от пупика». – «Нет, это вечно попадаются Розанову такие истории. 15 верст ехал, чтобы увидеть мужской монастырь. Пустыня, в горе. Полный Афон. Вошел: одна баба».

Не стара. Лет 40–35.

– Да что ты тут делаешь?

– А прибираюсь. Полы мою.

Естественно. Не монахам же судомойничать.

– А где же отцы?

– Наверх ушли. К обедне (ранней). А после обедни задержались.

Дело в том, что совсем на горе, на «равнине страны», – как пишется в географиях, вот над этим обрывом-берегом, построен лет шесть уже полный и настоящий монастырь (потом мы посетили его), с каменным благообразным корпусом для келий монахов, и к корпусу приделан домик, где в трех комнатах – необыкновенно чистых и приветливых – помещается отец Варсонофий, игумен. Он «совсем наш», русский. Поил жидким чаем. Скатерть (чтобы не замочить ее и не запачкать) покрыта раскрытым листом «Вечерние Биржевые Ведомости». Подивился. Все чудно. Афон. «Биржовка», благообразный, очень разумный старец и внизу баба.

Попросил покрепче наливать чаю. Сумели. А то приносили просто желтоватой кипяченой воды. Очевидно, культуры «чаепития» нет, и этот парад заведен только для больших праздников или для гостей.

Возвращаясь, доскажу, что на твердо нами выраженное намерение осмотреть кельи в горе баба ушла, и минут через пять, приглаживая волосы, вышел послушник, – вообще в «стихарчике» кто-то, весь масляный и молодой, пригожий и смуглый, который на «службу не пошел» наверх, – и показал нам и церковь здесь, и старую келью отца игумена (*теперь* она перенесена наверх), с окошечком прямо в алтаре церкви, через которое отец игумен века слушал службу церковную, молился и надзирал за благоговейностью монахов на службе. «Все по порядку и в полноте».

Место это важно потому, что сложилось и жило еще за века до присоединения Бессарабии к России, что *оно-то* помнит и гайдаматчину, и запорожье, и времена Тараса и Остапа.

Вышел я и, опершись на камень-перильца, долго смотрел на необыкновенной красоты панораму, открывшуюся передо мной.

За спиной – крест, церковь и каменная стена с выдолбленными кельями. Отсюда века 5–6, 8–10, 15–20 монахов и в вечерний тихий час, и в утреннем солнце смотрели, как я же, вниз и питались тем видом, каким наслаждался я сейчас. Внизу, на страшной глубине, вьется широкий Днестр; все-таки очень широкий. По той стороне степь, где ныне раскинулось веселое и суетное село. В старые века и его не было; одна безлюдная степь.

В очерках византийского монашества Вл. А. Кожевникова («Религиозная библиотека» М. А. Новоселова, один из выпусков) я прочел, что в старой Византии, веке в VI, VII и позднее, монастырей было до того много, что это, наконец, стесняло жителей и города. Монастыри возникали буквально как растут грибы: везде, постоянно, возле каждого села, на каждой горе; сегодня – есть, завтра – нет; соберется 2–3 старца, построят кельи в лесу – и вот «монастырь»; умерли – и нет монастыря. Зато он вырос «в том краю леса», и просто оттого, что туда пришел «старец» и хочет спастись в одиночестве. Никто этих «монастырей» не записывал, никто их не считал, никто за ними не наблюдал, не «надзирал»; «производить ревизии» и в голову не приходило.

«Что же это было за явление? – думал я. – Есть ли «теперь» монастырь то самое, чем был он «тогда»?

Вот сюда залезли, в такую кручу, в такую неприступность, 6–8 человек. Зачем?»

Да просто – в одиночество, в уединение. Великая жажда *уединения и молчания* так же велика в человеке и вечна в нем, как потребность общения и разговор. «Монастырь» такой же столп цивилизации, как город. В городе человек рассеивается, в монастыре человек сосредоточивается. Там он «тратится», здесь он «собирается». Это не только природа человека, но и природа географии. Море испаряется, собирается в облака и рассеивается через *дожди*; а они собираются в ручьи, реки и впадают опять в море. Пропорционально тому, как люди шумят, общаются, торгуют в одних местах, они *где-нибудь* должны рассеяться, разъединиться, побыть «с собою» наедине. Я сам *здоровее и свежее* себя чувствую, потому что передо мною океан воздуха и я не слышу ни единого *голоса человеческого*.

Беззвучность, молчание – да это рай духовный. Леса, пустыня, океан чистого воздуха, восход солнца – да это исцеление души! В это «исцеление души» люди и уходили, – уходили древние люди древней Византии, той *утонченной* Византии, которая в 5–6 лет воздвигла Софийский собор в Царьграде, которого ни понять (в тайнах архитектуры), ни воспроизвести не могут современные ученые-архитекторы; и ни в какие потом века не могли такого же построить. Наконец, та *утонченная* Византия, которая без университетов и академий дала столь совершенный кодекс законов («Corpus juris civilis» – Юстиниана Великого), какого тоже не могут создать наши «цивилизованные» государства. По этим крупнейшим, фундаментальным фактам, по умению дать ответ на вопросы, «где молиться» и «как судиться», – мы можем заключить, что варвары и неучи – мы, а цивилизованны были – они. И

вот, на третью великую потребность – «усталой души» они тоже изобрели великое исцеление: одиночество, природа, *монастырь*. Монастырь был просто откинутаю в сторону жизнью, без запретов, отчетов, ревизий, решительно без всякого «экзамена поступления в монастырь» и без всякого «устава». «Устав» явился уже потом, и он не мог явиться ни ранее, ни одновременно с тем, «*для чего устав*», «*кому устав*». Сперва – люди, избранное ими состояние; и потом – «устав» состояния. «Сперва – город, а потом – полицеймейстер». Как же неправильно мы понимаем, когда думаем, что сперва полицеймейстер, а потом «вокруг полицеймейстера и для исполнения его распоряжений вырос город». Это чрезвычайно важно и освещает одну из запутанных особенностей богословия наших дней. Когда пришел «устав», и пришел совсем «потом», то он захлестнул в «правила» свои *обыкновенный вид* этих одиноких «спасающихся людей», – именно *бессемейность их*, безженость, безбабность. И так как вокруг этого пункта по понятным причинам закипел внутренний молчаливый спор и душевная распря, то захлестнул это правило упрямо, крепко, как «первый параграф». Вырос знаменитый аскетизм, заволокший все небо церкви; вырос из «первого параграфа монастырского устава». Между тем это было именно «обыкновенное зрелище», но никак не «сказанное мною себе условие». Отдохнуть и исцелиться душою, воскреснуть в природе, помолчать и пожить в беззвучности, – именно я пойду *один*, совсем один, без *детей и семьи*. Но это не выражает моей вражды к *детям*, к *семье*. Вражда – вообще грех, а уж к *детям*, *семье* – что-то чудовищное. Если принять концепцию, о какой я думаю, то эта чудовищность, не вмещающаяся ни в какую религию, не совместная ни с какой любовью к Богу, – возникла чисто случайно и ненароком, произойдя описанным способом. «Случайное» потом было записано «в форму», к этой форме приставили «канцелярию», надели на нее «мундир»: и все так «запечаталось», что печати этой теперь и отодрать невозможно.

Но *вне канцелярии, в самых монастырях*, безотчетно живет традиция древнейшего духа, живет древнейшее *понимание* монастыря как именно только одиночества и «удаления от мира», без «прочего». Таким образом, *сам-то монастырь* в поэзии своей и в глубине своей не враждебен нисколько ни одной заповеди Божией и не производил никакого «водоворота» в богословии, водоворота между Ветхим и Новым Заветом. Отсюда его душевный мир, ясность жизни и мирозерцания, какие очевидны каждому, кто переступает его порог. «Монахи» не то что приставленная к ним канцелярия.

– Мы живем тихо, никому не мешаем. Не мешайте и нам.

«Зачем им мешают», – думал и я, смотря на Днестр. «Господь благословен в утре и вечере, в ночи и в дне, в городе и одиноком ските». И благословляли бы друг друга, и никто бы ни к кому не прицеплялся.

И я мысленно проклял Боккачио с его анекдотами («Декамерон»). «Боккачио ничего не понимал». «Боккачио – просто канцелярия и в помощь канцелярии». «Боккачио поэтическим пером помогал и усиливал то, что писали канцелярские перья». Целая полоса литературы, самая остроумная, померкла для меня в своем смысле.

Монашек хотел поцеловать у меня руку за данный ему рубль (помолиться о «здравии»). Я отнял руку и поцеловал его в голову: «Оставайтесь с миром и помолитесь о рабе Божиим Василии» (и *присных* его). Стали спускаться к лошадям. Это было гораздо легче, чем подниматься, и грудь дышала легко.

Возле хлебов

Ранним утром не гудел обычный гудок – и как-то скучнее всталось к кофе. Гудок-два, и ко второму, в 8 час. утра, «готов» барский дом ко всем домашним работам и исполнению своих обязанностей, ко всему «общему» и «не личному». Не «личное» и «особенное» – время до 8 утра. – «Что же гудок не гудел? Без него скучно!» – «Остановлены и завод (черепичный), и мельница паровая, – все рабочие и работницы потребованы «наверх» (в поле, над высоким берегом Днестра) убирать хлеб. Дожди и частью ливни, перепадавшие последние недели три, держали под испугом весь господский дом: приближалось время жатвы, хлеб доспевал, и если не совпадет «день уборки» и «ясный день», – беда. Меня поднял «подъем дома», и я попросился в поле. Передам кое-какие словечки заведующего работами. Весь волнуясь и рассеяв воздух рукою, он выкрикивал, пока мы подымались на лошадях в кручу:

– *Сегодня нет завтра*, сегодня есть только *сегодня*!! И годовая работа ста человек, и талант земли поставлены на карту одного-двух-трех дней. К счастью, хлеба вызревают в постепенности, но вызревание завтрашнего хлеба гонит жатву сегодняшнего, и нельзя замедлить не то что двух дней, а двух часов. Что у писателя «сгорела рукопись готовой книги» и нельзя ее восстановить, потому что не сохраняется черновиков, – то этот неповторяющийся срок в хозяйстве, который, если пропущен или если не дано в нем солнца, – пропало все. Какой же может быть вопрос об усталости, о сне, о недостатке рабочих людей. Люди *должны быть*, выплывшие *после*. Уборка хлеба – в одном слове – «хватай». Готово богатство, тысячи, много тысяч, – на что будет имение жить год, на что будут кормиться ученики школы, будут оплачиваться рабочие завода, сами будем есть хлеб. Но богатство это – как кредитные бумажки на ветру, которые сейчас разнесет: «Хватай и прячь в карман» – вот одна мысль. Вчера и ночью убрали пшеницу (и вчера гудков не было), сегодня убираем ячмень. Всех – 6 номеров. Сегодня же 1 ¹/₂ «схватить», если нельзя двух.

«Номер» – это площадь однородного хлеба, десятины в 30–40–50, сплошь и «гладкая», где машины работают без перерыва и помехи в бутре или в ручье, в канаве. Вообще, – «часть», «номер газеты», «глава книги», пространственно и хлебно выраженная. Половина имения «отдыхает», половина разбита на шесть таких «номеров».

Верхами – на далеких расстояниях – ездили ученики школы виноградарства и виноделия, надсматривая, поправляя «задержки» (жатвенная машина стала и не едет), помогая распоряжением. Они тоже, – как и вся почти домовая прислуга, подняты «наверх» (в поле, в работы). Другие таскают

снопы, иной правит «сноповязалкой». Эта машина разом: 1) жнет; 2) колося складывает в сноп и 3) перевязывает сноп бечевкой – самым тугим и превосходным образом. Жнет, т. е. стрижет колоссальными ножницами, правый бок машины, а с левой стороны ее уже выпадают перевязанные снопы. Все – прямо премудрость. Машину тащат четыре лошади, и все рычаги, винты и прочее, огромные лопасти, подгибающие колосья в зев ножниц, и (самое хитрое) связывание их бичевой совершается через движение самой машины, в зависимости (должно быть) от вертящихся колес и каких-нибудь прицепов к ним. Таких машин шло четыре, друг за другом, – и они снимали разом широченную ленту хлеба. На «поворотах» колосков оставалось. «Это уж нельзя иначе», – чуть поджинают косою и вообще «вручную».

– Ах, проклятые социалистишки, – шептал я, глядя на удивлявшую меня машину. – Хоть бы вы выдумали «улучшение» сноповязальной машины, которая захватывала бы и эти вот «колоски на повороте». Американцы выдумали машину, а «русские социалисты», например Плеханов и Мякотин, вот бы прибавили к ней «свое русское улучшение», и получилась бы «гармония России с западною цивилизациею» и настоящий «прогресс»... Но *нет* – самый ум не направлен сюда, не ищет ничего здесь, не ищет хлеба, не ищет еды, не ищет «как бы лучше», а ищет только как бы «злее». Волчья наука, волчья и отчасти жидовская, весь этот «социализм», завершивший политическую экономию, поднявшуюся с почвы народного хозяйства. Какие же «хозяева» евреи, они – счетчики. Нельзя представить и нельзя нарисовать еврея, «идущего за плугом», или еврея, «сеющего зерно», а можно только нарисовать еврея со «счетами» в руках или обрезающего червонец. И как только из рук англичан, французов и немцев политическая экономия перешла в еврейские руки, к еврейским теоретикам и ученым (а она вся перешла к ним), так она и переменила тон хлебного хозяйственного дела на тон дела: 1) счетного, 2) потом обирательного и теперь (социализм) – 3) «разорить бы все» (революция). Она потеряла мысль и перешла в шум, в зубы и когти чуждой Европе, враждебной Европе нации. «Рабочие» и «бедняки» – только штурмующие колонны в распоряжении евреев, которые имеют «предмет» в штурмуемой крепости, – европейской цивилизации, – а отнюдь не в этих «колоннах» блузников. Отроду еще я не видел, да и никто, вероятно, не видел, чтобы социалист чему-нибудь практически полезному подучил «пропагандируемого простолудина», подучил бы мастерству, подучил бы делу и довел до *художества*, а через это и до *прибыльности* в деле. Он его злит и «уськает на другого», рабочий для социалиста – всегда собака, а не человек.

Гуськом бы я их впряг в плуг, вместо «высылки в места отдаленные», и работал бы через мускульный труд гг. чернильных людей и солдатский хлеб. Давно бы пора создать «казенные рабочие батальоны», à la фаланстеры Фурье, и умирять души не наказанием, а нужною отечеству работою.

Но это – раздражение мое, – может быть, тоже излишне теоретическое. Перейду к впечатлениям, которых было много, и, главное, они были очень сложны и новы для горожанина.

Я старался безмолвствовать и не мешать моему спутнику распоряжаться. Кое-что лишь в минуты отдыха он мне объяснял. Но понимать-то понималось в минуты разъяснения, однако все теряло «ответственную определенность» через 1/2 часа, через час... У меня осталось впечатление, что это – сложнейшая наука, столь же практическая, как теоретическая, и полная интереса, вовсе не денежного только, а какого-то воздушного, одушевляющего.

– Вот у меня и был интерес: захватить этот осот (сорная, крупная с цветами трава в хлебе), пока он не выронил зерен. Он цветет, но не созрел. Хлеб должен быть сжат в момент, когда он сам *дозрел*, а сорные травы – *не дозрели*. К счастью, это не совпадает или *может* не совпасть, и тогда этим надо пользоваться. Травы эти отлично ест лошадь, машины их (при молотбе хлеба, что ли) отбросят, а земля останется хотя с корнями этой дряни, но не получив в себя зерен их...

– Вот на этом номере (сжатая вчера пшеница) совсем не было трав. Ни е-ди-ной!! Мужики дивились, ходили. – «У этого барина совсем нет травы в хлебе». Но это удалось только в этом «номере», и для этого надо было нумеровать одним годом.

И тут он объяснил мне механизм «подготовки поля», который мне казался наукою:

1) Нужно, чтобы микроорганизмы (или черви?), подготавливающие землю для плодородия, – могли жить, и потому *воздух должен проходить глубоко в почву*. Для этого она должна быть так-то вспахана, так-то повернута.

2) Надо, чтобы земля не сохла: для этого *поверхность соприкосновения ее с воздухом должна быть наименьшею*. Поэтому поле должно быть гладкой простыней, без ямок, углублений, без косых плоскостей, горизонтальное в каждой четверти.

3) И потом еще во внимание приняты сорные травы, осот, – борьба с которыми тоже целая наука. Тут их корни, тут их семена; тут – время обсыпания семени.

– Крестьяне не понимают, что *пустое, сжатое* поле не есть *неработающее поле*; и выгнать им свой скот в чужое поле, с вывезенным с него хлебом, кажется «ничего». А между тем *примять землю* – значит испортить поле для будущего года. Он думает, что я скуплюсь: «Барин такой скупой – не позволяет выгнать коров на *сжатую полосу*»... Вот вы и объясните ему...

Что же «я ему буду объяснять», – подумал я: я ничего не понимаю сам. Мне тоже кажется, т. е. всегда казалось, что «не дать попасть скоту на пустом поле» – одна скупость и одно злодейство. Но *кто* мог бы, и гениально мог бы, объяснить это мужикам, да объяснить на всю Россию, – это гр. Л. Н. Толстой. Не хочется поминать печально великого старца, но, чем срисовываться и в тысячах снимков передавать себя «идущим за плугом», что интересно только для безработных студентов, или чем складывать печь вдове Лукерье, – было бы плодотворнее для всей России взять *свое* мастерство в руки, – мастерство дивного, простого, всем понятного слова – и на-

писать вместо морализующих христианских рассказов – книжку, и даже ряд книжек: 1) как надо ходить за землей; 2) как надо ухаживать за скотиной и чем ее лечить (в простейших случаях); 3) как надо держать дом и детей, с маленькою тоже наукой чистоты и порядка. Может быть, пропущен был в нашей литературе и даже вообще в русской культуре единственный случай сочетания человека, жившего и имевшего влечение жить крестьянским трудом и крестьянскою жизнью и имевшего дар *такого дивного изложения*, понятного мужику, бабе, – ребенку понятного, – какой может никогда *еще* не повториться. Толстой мог написать *деревенскую книгу*, какой никто бы не написал, какой нет во всемирной литературе. А он занялся «вегетарианством»... Упущенное время, в своем роде осыпавшийся хлеб... Мне, видевшему хлеб только в виде «булки от Филиппова», объяснения моего спутника были темны, так как самый предмет, самый материал всего этого чужд, чужда «сия природа вещей»; но крестьянину, конечно, все это усвоимее, он хватал бы все с полунамека, зная, что к чему относится...

На меня пахнуло только одно:

Мудрость и добродетель.

Все это «дело околу земли» мне представляется именно в силу его великой сложности, многообъемлемости – какою-то мудрою книгою. Тут работает и *червяк*, пропуская землю через кишечный аппарат свой и обогащая ее какими-то кислотами этого кишечника, «нужными хлебу», – и солнышко, самый Большой Барин в деревне, и хозяин земли – человек, и прибыток его, и талант руководить массою (рабочих), приласкать, угрозить, приказать. Тут «абсолютное веленье» летом, исполнить которое нельзя замедлить ни на минуту, подготавливается «заботой о твоей нужде» (крестьянской, служилого люда), о «твоей боли» – всю зиму. Тут такая масса отношений, психологичности, что – опять же повторю слово моего спутника:

– Это – целая губерния! Он говорит полевым, не комнатным языком, и вся речь не очень понятна, но главное слово всегда выбежит четко вперед. Что они там (в канцеляриях) пишут. Вот *управься с этими землями и с этим народом*, – не обижая, не упуская, принося пользу всем и не допуская никакого себе вреда. Это – королевство, как немецкие маленькие княжества, по сложности интересов, предметов и людских отношений.

Сказал он это с глубочайшей, проникновенной верой. А я, как бывший учитель истории, подумал:

«Ба! Да ведь тут есть *историческое объяснение*. Все государства выросли из *земельных угодий*, из «своей усадьбы», которая доросла до княжества, до королевства... Не так ли росла, сложилась, крепла Москва, «поместье Калиты» и рода его... Но это было не в *одной* Москве, но везде...»

Мысль моя уносилась. На земле, где я гощу, много работается, и как-то мелькнул даже афоризм, удивительный в устах помещицы: «Следовало бы ревизовать дворянские имения, и кто *отдает в аренду свою землю*, – у того ее отнимать». Ну, это, положим, – слишком. Она даже сказала резче: «Есть турецкая поговорка: *конь* – того, кто на нем ездит, *меч* – того, кто им сража-

ется, а *девица* – того, кто с нею наедине, – и, рассмеявшись, прибавила: А *земля* – того, кто ее работает». Это нельзя сказать, потому что прежде всего потребуется сделать исключение для малолетних, исключение для больных, – при каковых «владельцах», естественно, земля не может не быть сдана в аренду. Ну а раз нашлись исключения, придется сделать «оговорки» и в других случаях. Нет: подобно тому как в «торговле» основные деньги есть, конечно, «золото», но допускаются, и даже невольно, и «кредитки», а, наконец, ходит наравне с деньгами и «вексель», «заемное письмо» и прочее, – так точно и в земле хотя основной владелец есть работающее землю лицо, но от него правомочными *наследниками* являются его дети... Слова моей хозяйки можно принять и следует запомнить как некоторый моральный зов, как отдаленную угрозу и как самый общий, отдаленный принцип... Мысль моя обратилась к другому. Я припомнил миленькое герценштейновское (служил в еврейском *земельном* банке – Полякова в Москве): «Земля – Божья», т. е. разумелось: «ничья». И еще дальше подразумевалось: «Забирай ее» от помещиков и, конечно, в следующем поколении «передавай евреям»... Мне же кажется, что не *жалованье*, не писательский *гонорар* (в эпоху революции не испытывавший «потрясения»), не «учет» в банках и банковские же «взыскания по векселям» являются прототипом и криком *собственности*, а именно мною *обработанная земля, с положенным в нее зерном, с положенным в обработку ее трудом, искусством и мудростью*. Таким образом, именно помещичьи-то земли, а не «гонорары», не «рабочая плата» – и непотрясаемы по существу идеи справедливости. Земля действительно «Божья» – пока она «пустырь»: а как по ней прошел плуг и положено зерно – так она его «хозяина», крестьянина или помещика, имя тут ни при чем. Сравнивали с «воздухом», с «реками», с «морями». Ну, все это жидовские сравнения, сравнения политической экономии и банка: воздух и реку никто не «работал», и «зерна в них никто не клал». *Обработанная земля* есть начало всех собственности, – особенно начало, так сказать, по богатой беременности своей, по «чреватости *будущим*». В противоположность «гонорарам», «жалованьям» и «заработным платам» – вещи слишком подвижной и сегодняшней – «земля земледельца» по содержащемуся в ней зерну есть *годовая собственность*, а по обработке ее есть *вековая собственность*, вековое «мое», «мое и детское», «мое и *рода моего*»... Из «гонораров» никогда королевства не вырастет, а из «землевладения» выросли королевства, и из них пошла история. Это – вещь. Именно, пришедшие в Европу «безземельные евреи», с характерною неспособностью к обработке ее, с неспособностью «пойти за плугом» и вместе тоже чуждые и построения *истории* европейской, с ее «королевскими домами», с ее «домом Калить» и проч., накинулись на землю и ее *прикрепление к человеку*, из чего растет все, на чем зиждется все... Им хотелось бы и землю пустить в тот «финансовый оборот», в тот «бумажный водоворот», с его мечтою остаться единственным «дворянством на земле», дворянством «золотым» и «учетным». Не нужно «дома Капетингов», ни «дома Калиты», –

не нужно уже для того, чтобы очистить место «дому Ротшильда», «дому Полякова» и его верного прислужника Герценштейна. Но «счет на золото» не всегда надежен, и особенно он не окончателен. На «все мое, – сказало золото» – есть ответ, который все помнят.

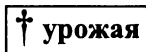
Но я все рассуждаю, когда мне хотелось бы наблюдать. Спутник мой рассказывал:

– Можно всех распустить и можно всех воодушевить. Я посетил одно имение молодого талантливом помещика, который преждевременно скончался. И говорит мне его мельник: «Барин наш, Василий Иванович, *то-то* задумывает, *это-то* хотел устроить. Теперь нет никого, все нападает, запущенно». Мне это восклицание мельника показалось самым интересным из всего, что я видел в имении. Я посмотрел на него сбоку: у него была печаль. Что ему барское имение? Чужая вещь. Он только нанят. Но у него есть душа, и он «не только нанят». Когда барин работает, – это всех подымает. Пусть работает новое, пусть затевает больше: все ему кинутся в помощь, потому что мужик вовсе не животное, а человек с душою. Ему интересно, когда барин *интересуется*, – пусть своим интересуется, но он – соучаствует, не кошельком, а какой-то неуловимой поэзией в душе. А когда барин «повис», и все виснет, – когда барин в Петербурге – из человека с душой рабочий превращается в хулигана, который думает, где бы утащить себе из этого вообще пустого места.

Я слушал с удивлением и подумал:

«Да, хозяйства умирают, как и человек. Хозяйство имеет душу в себе. Это вовсе не «экономия», как кажется. Это у американцев она «экономия», потому что сам американец без души, а только кошелек и доллар. Но русские не даром имеют песни и сказки. «Земля» у русского есть продолжение его песни и требует песню в себя, – требует именно *мудрости и поэзии* и без этого умирает. А с этим дает «сам-сот урожая».

Вообще, понюхав земли, чувствуешь, что она родит не один хлеб, но и душу. Сколько мыслей лезет в голову!..



От 20 до 28 июля точно все стало «вверх ногами», все «шиворот-навыорот», будто природа «нарядилась в кого-то другого» и обманывает землю и людей, показывая с небес какую-то гримасу. Что такое «22–28 июля»? По Волге, бывало, гимназисты задыхаются от пёкла и сидят целый день в воде, вылезая на берег лишь отдохнуть. Улицы, поля дышат зноем, от которого некуда спрятаться, и забиваешься в лес, чтобы как-нибудь передохнуть. Люди, стада, мальчишки, бабы, мужики толпятся, вздыхают, обливаются потом, ругаются, хандрят от этого «солнца, от которого некуда спрятаться», и не прячет его, не ослабляет ни единое облачко. Небо белесовато-голубое, «хоть ты тресни».

С нами крестная сила: что же это делается, когда те же дни в Бессарабии, в 60–70 верстах от Черного моря, уже в 4 часа утра идет дождь, а когда в 8 час. утра высовываешь голову в окно, то видишь, что проходящие мальчишки и мужики «месят грязь ногами», и везде мокро, мокро, – ветви каштанов висят, все вообще висит, птицы не поют и не летают, – ветер, суровость, ставни хлопают «с размаха», точно пушки, и все говорят кругом: «Это Порт-Артур берут...»

Безнадежность.

– Каждый день срезает десять процентов урожая, – говорит печально хозяйка, отвечая на вопросы, «поправимо ли», «может ли поправиться *потом*»?

Даже *утром*, «после зари», нет солнца. Вообще – нет зари, только есть час ее. Все вообще переменялось и извратилось. Такая погода в июле есть, конечно, *извращение*; и «неурожай» есть извращение хозяйства, экономии, природы, земли, неба. Всего.

А еще недавно так весело «теребили горох». Я поднялся «наверх», в поле. Был праздник, «нерабочий день» (только не воскресенье), и собрали народ на работу музыкой. У нас в Великороссии это называется «помощь», у хохлов – «толока», у молдаван – «клака». Нанимают музыкантов, – приходят «скрипка», «альт», флейта, труба какая-то с большими изгибами и турецкий (здесь называют – «военный») барабан. Оркестр стоит в стороне и играет музыку, песни, танцы, в то время как парни, бабы и девицы энергично (действительно – энергично! я видел) «убирают поле». Так это продолжается некоторое время, когда работающие дают себе передышку: они сбегаются, музыка переменяет песню на танец, и все начинают танцевать. Отдохнув, опять начинают работу.

Работа действительно идет как не работа, а как игра, хотя она совершенно серьезна и «поле убирается». Моя хозяйка обобщила эту мысль в замечательном выражении:

– Не нужно *креста* в работе, т. е. чтобы она чувствовалась как *крест* и *страдание* человеком. Нужна *радость* в работе, чтобы человек чувствовал ее как удовольствие, как необходимость для сильного тела и живого ума.

Присматриваясь (вечерело), я увидел, что как будто одна баба, с опущенным почти до носу платком на голове, явно уже не молодая, вся согнувшись, неистово теребит горох, а ноги ее топают. «Танцует?» Недоумевая, я перешел край поля и приблизился.

Выпрямилась и подняла с глаз платок. Старая не старая, а совсем пожилая.

– Что же ты, баба, так танцуешь?

Молдаванка. Мотает головой. Не понимает. Опять опустилась. Музыка играет, и она в каком-то увлечении опять не только топает ногами, но буквально совершает полный «тур танца», только не вокруг кавалера, а вокруг захваченной в обе руки копны вялого, повислого, блеклого, зрелого и перезрелого гороха, – уже почти повалившегося на землю (оттого и надо было торопиться убирать).

– Не баба, а король. – И все весело смотрели на нее. Даже молодежь завидовала. А когда поле убрали, все перешли на двор «полевой конторы», и до глубокой ночи гремела музыка, и человек 60 всевозможное «отплясывали».

– Где они учились? – спросил я одного русского или, кажется, молдаванина, говорившего по-русски.

– Нигде! – сделал он большие глаза. – От отцов идет.

Даже дети танцевали, мальчики с мальчиками и девочки с девочками. «Машерка с машеркой», как у нас на танцевальных вечеринках в гимназиях младшие классы. Спросил я о танцах потому, что это как будто наши «образованные танцы», парами и прочее, – отнюдь не хоровод, не присядка и вообще не «полная деревня». Очевидно, «наши танцы» когда-то, еще дедом, были усвоены в деревне, переменились, огрубели, «заросли», но передаются от поколения к поколению как веселость и удовольствие.

* * *

Полный урожай стоял в поле. Часть пшеницы была уже снята. Ржи и других посевов тоже. Показывая прелестные янтарные зерна на ладони, хозяйка радостно говорила:

– Вот *лучше* этой пшеницы уже не бывает.

Действительно, это какое-то благородное зерно, все прозрачное, с золотистым, желтоватым отливом; тогда как зерна других хлебов мутны, не прозрачны.

Все было в радости. «Земля родит», как «женщина родит». Все готово, все радуются. Все торопятся, страшно устают, ночи не спят: но эти 10–15 дней уборки хлеба и *обмолачивания* его до того нужны, великолепно, обогащают хозяина каждый час, каждый день, что, несмотря на гигантскую работу, никто не чувствует изнеможения, никто на «величину труда» не жалуется, а все «величине труда» радуются... «Сбор хлебов» имеет в себе что-то опьяняющее, торжественное; тут «земля венчается с человеком», – «земля-кормилица» дает хозяину-человеку «дитя свое», «урожай свой», который он будет весь год есть, сыт от него будет, торговать им будет, богать им будет.

Венчание... И вдруг оно расстраивается.

Дожди. Опозорена земля. Небо строит «рожу», показывает «рога».

Дожди.

Сегодня дождь.

Завтра дождь.

Нет солнышка.

Люди едва удерживают слезы. Каждый день их разоряет. То же, что у сочинителя «горят книги» или «цензура арестовала и уничтожила сочинение».

Но сочинитель жалуется, проклиная, винит. Деревня имеет свое величие, свое религиозное величие. Задолго до дождей хозяйка как-то обмолвилась:

– Удивительна деревня, крестьянство. Случается, выпадает неурожай. Хлеб весь погиб. Барин обойдется, но для мужика это голод.

Лицо ее приняло одушевленное, прекрасное выражение.

– И ни е-ди-но-й жалобы вы ни от кого не услышите в деревне, ни в одной избе. Жаловаться на неурожай, они считают, – значит роптать на Бога, упрекать Бога. Они это считают страшным грехом. И молчат. Т. е. не то чтобы не говорят гнева, не говорят вслух, но и в сокровении души они не допускают самого *огорчения*. Потому что нельзя огорчаться на Бога. Они говорят: урожай дал Бог, а когда он не вышел, напр. его смочили дожди, то Бог *взял только свое*, а не *отнял что-нибудь у человека*.

«Урожай» они рассматривают как «милость». Человек просил «Христа ради». Но не во всяком окне подают. Под некоторыми окошками рама не поднимается, рука не протянется с хлебом, и нищий отходит к другому окну, не жалуясь на это, а иногда даже проговаривая и «неподавшему» доброе слово: «Господь вас сохрани» и проч. Так не каждый год и с неба «Господь подает хлебушко», и тогда мужик проходит ровно, спокойно этот год, терпя. И не допуская ни единой хулы в душу.

Я был изумлен. Потом подумал:

«А в самом деле, допусти мужик *хулу за неурожай*, – хулу на кого? На Бога? на судьбу? – и... он бы помешался, сошел с ума и, *в общем*, перестал бы работать, бросил бы землю, «урожай» и «неурожай» и погиб бы сам. Таким образом, он глубоким инстинктом, прямо мировым инстинктом, космическим инстинктом не допускает даже простого и обыкновенного *огорчения* на неурожай, останавливаясь на черте его как на черте гибели своей, и только этой могучей удержкой перед психологической пропастью удерживает в душе ровный ясный свет, на всю жизнь свет. В городе «без Бога» можно, но в деревне «без Бога» совершенно нельзя. Нельзя быть. Помешаются все люди. «Неурожай»? – Что такое? Случай. Как можно, чтобы «случай» доводил до голода, до смерти. Значит, «случай» Бог? Тогда пиши с большой буквы «Случай» и поклоняйся *ему*, и, естественно, Случаю лучше поклоняться за картами, в трактире, на большой дороге с ножом: ситуации жизни, в которых «случай» выносит. Но что такое поклоняться «Случаю» в деревне, признать «случай» в хлебопашестве? Нет здесь «случая», не может его быть, ибо все это есть дело порядковое, законное; земледельство есть «закон» и «законное царство», где есть Господин и Господь, Который дает милость, и всегда почти дает милость, но иногда приходится пройтись и у закрытого окошечка».

– Значит, не заслужили.

– Значит, грешны.

– Значит, зло в нас.

– Гневаемся.

– Сердимся.

– Надо исправиться. Не роптать. Терпеть. Молиться.

Душа не развлялилась. Тело не обвисло. И на следующий год «как бы ничего не бывало», «неурожая не было», – мужик пашет вновь землю с надеждой, с верой, с крепкой душой.

Вот что значит «наша церковная вера в деревне», без которой один неурожай, два неурожая кряду обратили бы деревню в сумасшедший дом, в кровавый дом, в мошеннический дом, полный ужасов и *сейчас же гибели* всего крестьянства.

Никогда не приходило на ум. Никогда так очевидно и связно.

И хозяйка говорит в другом ярусе философии, но несколько сходно с мужиками:

– Бог хочет жертвы. Что вы сделаете, – и все идеальное, прекрасное требует себе жертв. Разве терпит один хозяин, земледелец? Разве художники, ученые, разве все родители, рождая детей, не приносят жертвы, старея сами с каждым родом и теряя красоту? Ученые заветным целям своим приносят в жертву досуг, отказываются от богатства, комфорта. Не мы одни несем жертвы «в неурожай». Какое же мы имеем право роптать более, чем другие?

И, помолчав, продолжала:

– И когда мы *сами* не догадываемся или не хотим «принести жертвы», Бог берет *Сам* эту жертву у людей, у земли. Был урожай, было богатство: только бы собрать.

Сделав жест рукой:

– Вот – взять в пригоршню и положить в вагон. Получить деньги и на них жить год. И все отнято. Дожди – как в здоровье *болезни*. Откуда они приходят? Не всегда ясно. Не всегда оттого, что не «поберегся» и «простудился». Но человек всегда чувствовал потребность и долг за собою «приносить жертву». Может быть, мы чего-нибудь не доделали в жизни, сами не совершили «жертвы» лучшему, что сами признаем. И «жертва», которой мы не сделали, у нас «взята», не спрашивая нас. Переменим разговор и не станем об этом думать.

* * *

Ветер, дожди. Снятый хлеб «прорастает». Что такое?!! Если б его обмолотить и сложить в сухие амбары, – он был бы «жив», как оказалась «живою», «одушевленной» пшеница, найденная в фараоновых гробницах. В сухом, подготовленном помещении (вероятно, – в элеваторах) пшеница и всякий хлеб может сохраняться *без малейшего повреждения века*. Но для этого всякий хлеб надо немедленно обмолотить. Но мокрый, намоченный хлеб молотить нельзя. Тогда он начинает «прорастать». Необпеленный младенец собирается родить. Зерно «растет дальше», после полной «зрелости». Куда же растет? Оно хочет, по законам нормальной природы, «до человека» и «без человека» – упасть в землю, прикрыться ее пушком и «прорасти», т. е. пустить из себя корешок, дабы на следующий год дать новый из себя колос. «Обыкновенный кругооборот вселенной».

– Я отрицаю человека, не хочу его, – говорит зерно – и «прорастает» на новый год, в следующий из себя колос.

– Что же я буду есть? – восклицает человек. – Тысячную часть вас, зерен, я оставляю в рост на будущий год, а 999 из тысячи зерен буду есть год.

– Нечего «есть», – говорят зерна. – Мы хотим все в землю. Хотим умереть сегодня, умереть эти дни, под дождичками, – для того, чтобы вырасти пышным золотым полем на будущий год. «Неурожай», – причем ядуший человек остается голодным и даже может умереть, если *не сберег от прежних лет запаса*, – есть «бунт природы в свою пользу», без обращения внимания на человека. То же явление, когда курица «перестает давать яйца человеку» и сама садится на них, чтобы произвести потомство. В «неурожае» природа «берет все свое назад», не уделяя человеку никаких «остатков от себя», «даров своих»: земля отдыхает полным отдохновением, зерно или вовсе не рождается, или полным составом хочет уйти опять в землю. Таким образом, то, что нам, малодушным и младенчествуящим, представляется «рожей» с неба, «рогами» с неба, – есть какая-то необходимость в кругообороте вселенной. И, очевидно, этот «случай», что июль иногда похож на сентябрь, есть вовсе на самом деле не случай, а такое же явление, как пчелы и бабочки, вмешивающиеся своим перелетом в оплодотворение цветов. Как будто приходит явление «со стороны» и «неведомо откуда взявшись». Ведь бабочки абсолютно чужды цветам, нимало плодородию их не хотят помогать, даже нимало не знают, что своими перелетами с цветка на цветок они опыляют их все, оплодотворяют их все. Да, *бабочки* не знают. Но кто-то за бабочек знает и привел в гармонию, в сочетание, в согласование бабочку и цветок, – с душами и с лучом жизни, столь далекими и несходными. Это не «кто-то», но очевидный разум, заставивший сказать о себе человека: «Бог». Когда «льют дожди» в июле, то окажется это «сумасшествием природы», а на самом деле «кто-то» отстраняет ядущего, незаботливого и самонадеянного человека от лона рождающей земли и говорит:

– Подожди. Ныне она не даст тебе ничего. Ты должен был быть молитвен, заботлив, благоразумен и сберечь все нужное себе от предыдущих лет, чрезмерно обильных. Но ты поленился это сделать или даже прогулял излишек. Будешь ты голоден или совсем умрешь (а возможность не умереть была дана тебе в излишке предшествующих лет), – все равно. Ныне ты ничего не получишь, т. е. я не допущу тебя ничего взять, сколько бы ты ни усиливался, как бы ни изощрялся. Я берегу тебя, но берегу и землю. Будь на ней не хищником, выбирающим «последнее» и «безостановочно», а земледельцем и мудрецом. Я любил тебя, жалел тебя год, два, три, девять лет. Ныне – десятый год. Урожай этого года – «десятина Богу», и ее Он оставляет Себе и земле.

Вот смысл неурожая, полный смысл. Земля не дает человеку, земля сдерживает в себе. «Веселая свадьбка» земли и человека расстроена; земля отказала жениху своему, и ему остается постоять у дверей до будущего года, не клеветца, не злобствуя, а вспоминая грехи свои.

Из монастыря домой

Я ехал из С-ского монастыря с инженером-мечтателем... По званию он, собственно, инженер-технолог, но больше любит цветы, землю, любит «обещающих учеников» в школе; музыки не понимает, но очень любит живопись, и в картинах, и в жизни, в книге, в убранстве и расположении комнат. Говорит плохо, залпом, сразу сто слов. Постоянно волнуется и часто бывает раздражен.

Он только со мной поехал в монастырь, а вообще в церкви никогда не бывает – по причине неудачных встреч со священниками (черствы к крестьянам). И говорю ему:

– Бросьте! Бросьте вражду к церкви. Не то... Вы сами художник, народник и, отвращаясь от церкви, – невольно, неодолимо, фатально отвращаетесь от всего мирового художества и вместе от мирового фокуса народа. Я тоже не умею говорить, но вы поймете с полунамеска. Отчего бредут эти черные головы все в храм и храм?..

Навстречу по двое, по трое шли, точно пробираясь, загорелые, лохматые люди, очевидно направляясь в монастырь, откуда мы только что выехали... По этой дороге больше некуда было идти.

– Ездя в Саровскую пустынь, я по дороге заехал в Понетаевский женский монастырь; и, подъезжая, до чего был поражен, увидя сельскую церковь почти возле монастырской стены, только по сю сторону стены, вне его, для мужиков и свою мужицкую. Она была новенькая. Ведь это тысяча десять стоит...

– Нельзя на десять тысяч построить церковь, – сказал он как инженер.

– Вот. Построили «свою», нимало в ней не нуждаясь, ибо монастырские большие и малые храмы, во всем богатстве и великолепии, всего в двух шагах. В старых городках наших, как я видал в Костроме, в Нижнем, в Арзамасе, в Ельце, церкви прямо «на носу друг у друга» сидят, «наискось одна против другой»; и явно большинство их строилось вне какой бы то ни было нужды, где помолиться... «Где» молиться, – было чрезмерно, до преизбыточества, до явной чепухи. Откуда же этот пыл, страсть, готовность, прямо счастье какое-то «строить и строить», – прямо, уж извините за сравнение, точно у любовника шептать грезы возлюбленной. «Ромео в постройке церквей» – народ русский. Сравнение очень неподходящее по форме и как будто оскорбляет предмет, но по существу «горения души» очень подходит и указывает страшную высоту и жизненность предмета. Откуда же это? В христианстве и богословии народ, ничему не ученый, так мало разумеет, литургия тоже для него не очень и не везде вразумительна. Да уж если хотите знать всю откровенность, то народ, стоящий в храме, не очень и по крайней мере не весь сплошь внимательно слушает службу... Так, «иное слово» скорее, чем «все». Он смотрит, глядит. Тут великое «qui pro quo»*. Литургия, конечно, имеет свое устремление, вне этого глазенья народа; и

* «одно вместо другого» (лат.).

литургии, собственно, «до этой толпы» и дела нет: служат «заутреню», когда в церкви бывает 1–2 нищих. Служба служится для службы, это – мировое «в самом себе». Но это «мировое в самом себе» и народное, о чем я говорю, встречается в *одной точке*. Теперь пока я говорю о малом, о меньшом. Знаете, чего народ любит храм Божий и храмосиждительство? В нем он *коронует самого себя*. Вот отчего мысль каждого села – иметь свой храм, непременно свой и непременно отдельный и самостоятельный. Хотя у нас «нет прихода» и все прочее, но народ считает себя собственником храма. «Мой храм», «наш храм», «наш сельский» или «у нас на Никитской улице». И вот он входит в «свое место», «свое владение» и «свое упование», где говорят самые дорогие ему слова.

Молятся о Царе и Царице.

Молятся о всем воинстве и, значит, «о моем угнанном в солдатики сыночке».

О всей, смутно чаемой, «палате», т. е. больших генералах.

О покойниках и «моих родителях».

О будущей моей кончине.

О Страшном суде.

«Чаю воскресения мертвых».

Мужик содрогается. «До чего все – мое!.. Чаю, чаю, здесь – жду, здесь – несчастен. Но чаю, чаю, – другое будет. Бог будет, Бога на кончине узрю...»

Все в «нашем-то селе»... таком навозном, грязном, с тасканием за волосы друг друга, с охальными девками и непокорными сыновьями... Пришел вот батюшка и говорит все эти слова... Прислан сюда, к нам...

– Тут – бух! – земной поклон за Царя...

«Не кто как Царь» прислал ученого, из семинарии; он все знает, творения святых отец читает, табаком не балуется, с матушкой живет в благочестии и нам кажет путь...

И в церкви мужик чувствует себя не забытым «всею палатою», чувствует в составе великого царства, неизмеримых пространств как сознательный член их; и, – позволю сказать, – гордый член. «Что барин, – дурак. В церковь не ходит. Табак курит. С любовницей живет. Наших девок трогает. Слепыш богатый, – совсем неученый и без разума. Живет как трава и пропадает как трава».

В храме, за службой, мужик приобщается вечному, и чувствует это, и приобщается всемирному – и тоже чувствует это. Таким образом, это что-то больше, чем «коронование мужика». Скорей это открытие ему души его, именно как мы понимаем или, вернее, тоже «чаем» в мечтах и надеждах своих: придет время, и всякий человек будет Человек. Помните у Некрасова:

Кто меня назвал...

Хоть бы раз Иван Мосеч.

В церкви, и *только в ней одной*, все века, все тысячелетие не произносилось повсюдного, мирового, площадного «Ванька», «Машка». Никто *так* называть не смеет, и – не смеет в одной церкви!! Большого боярина и его

«Ивана Малых» поп перед причастием и на исповеди произносит *ровно, одинаково*:

– Иоанн.

Как монумент, как металл. Без отчества, без преувеличения и – без уничижения, уменьшения. Металл.

Но «царь прислал больше». «Он» и «святые отцы» утвердили фимиам, ладан, золото на алтарь. Большой бас диакона, тихий благородный тон священника. И золото... золото... и лики святых, которые «за нас Бога молят».

Таким образом, «человеческое самосознание крестьянства» совершается только на богослужении, в единственном месте храма, и через таинства, «требы», молебны, крещение, похороны, свадьбу, исповедь. Народ хватается за храм и строит, строит его – как человек с надвигающимся безумием держится «линии здравого смысла», как разоренный бережет «последний остаток имущества» или больной прибегает к «последнему, и притом *наверному, лекарству*». О «наверном лекарстве» потом – это «церковь в самой себе». Но вы видите, что отнять у народа церковь, как-нибудь ее затронуть, посеять в народе сомнение к ней – значит лишить народ решительно всего его смысла, самостоятельного и собственного его смысла, – отнять у него всякую радость, всякое достоинство. Народ *убьет такого*, и, знаете: я с ним согласен, и тоже попросту стал бы убивать обухом, поленом, чем попало всякого, кто осмелился бы пальцем дотронуться хоть до одного кирпича (говорю в идейном смысле) в этом «храмовом народе», в «народной церковности»...

Государи наши бесконечно мудро поступают, что не решаются и *сами* единого слова «поперек» здесь молвить. Не вмешиваются. Не позволяют себе думать об этом.

Слова очень огромны:

«Со страхом и трепетом миром Господу помолимся».

Кто такое скажет? выдумает? У самого Пушкина ни мыслей таких, ни слова такого нет.

Одним словом, – «паникадила». Стой и молись. А не то – вон. Убьем. Разорвем. Ибо всякий, сюда подкрадывающийся, несет нам гибель. Сравнительно с которой холера, чума – ничто.

* * *

– Теперь, мой возлюбленный, – продолжал я, – взглянем с другой стороны. И, знаете, я даже рад, что вы инженер, математик и в церковь никогда не ходите. Ибо для понимания моей мысли не надобно быть христианином, не надо даже принадлежать к какой-нибудь религии, не надо даже в Бога верить.

А надо быть только человеком.

– Вы вот любите ходить по выставкам – и из своего жалованья, тысячи четыре в год, всегда что-нибудь купите, и потому, что «понравилось», и еще для того, как раз мельком сказали, что «вам жаль бедных молодых на-

чинающих художников и никто-то из глядящих на их, конечно, несовершенные произведения не поддержит их самой реальной поддержкой – купить картину, или гипс, или что». Все глупые и ленивые «стипендии». «Отмахнулись», «заткнули глотку голодному», а для художника ничего не сделали. То же вы рассказывали об одном банковском служащем, который годовое жалованье убухал на покупку скрипки Страдивариуса; и, играя на ней зиму, – на лето кладет ее в железный ящик банка. Ну, так вот – вы меня поймете.

Планета наша вообще сжимается, как старичок, которому «стукнуло 70 лет». Поэзия вообще увядает, и не лично увядает, а вот планетно увядает. Вообще планета стара: и, знаете, социализм, сведший все к экономике...

Собеседник мой вздрогнул.

– Знаю, что вы почитывали. Но социализм характерно выражает это старческое вырождение всей планеты, упорно и сумасшедше сводя «жизнь», – сводя голубое небо, и запах фиалки, и любовь дорогой женщины к «экономическому расчету»...

Он опять вздрогнул. Я знал, что он любит и фиалку, и небо, и женщину.

– Обратите внимание на то, что ландшафта стало ужасно мало, т. е. в жизни, в людях, в быте. «Барышня у телефона» – это одна картина. Вы скажете: «Ее нарисовать нельзя, потому что бедно и мало». Тогда я возьму такую роскошь и всемогущество, как всемирная парижская выставка: ни Рембрандт, ни Ван-Дейк решительно не найдут тут сюжета. Это очень замечательно. Жизнь стала несрисовываема и невоспеваема. О, я знаю – вы певец в душе и оттого и не умеете говорить или «сразу 100 слов». Во что же вы оцените и как вы отнесетесь к тому факту, что жизнь вообще стала невоспеваема... Вообще невоспеваема!.. У меня кружится голова, и я готов взять кирпич и разбить голову социалисту, на что-то «надеющемуся». Он не смеет надеяться, он не смеет говорить по тому одному, что у него есть глотка и ни грамма мозга... Эти «глоточные» люди, орущие, говорящие, пишущие, – тоже из прозы наших дней; и вы ведь хорошо понимаете, что их тоже нельзя «нарисовать», хоть они и «рисуются»... Убогое племя.

Теперь, когда реки мелеют и океан высыхает, неужели вы станете искусственными машинами испарять последнюю воду, которая осталась на планете в котловинах, в прудах, в особо глубоких озерах и кой-где в особо бездонных местах когда-то «Великого Океана». Знаете, – пирамиды, в сущности, «бесполезны». И стены Московского Кремля ни от какого врага ее купцов не защищают. Вообще все это глубоко не нужно. Я перебрасываюсь к религии: разумеется, – человек, больной раком или чахоткою, умрет, исповедует его священник или не исповедует. И Иоанн Кронштадтский не исцелил стольких, сколько вылечил Захарьин. Итак, я позитивную сторону всю ущемлю. Все умрем. Все мы болеем. Все страдаем. И «религия решительно ни от чего не избавляет». Но, знаете, можно умереть вошью и можно умереть человеком. Можно погибнуть «так», а можно погибнуть «иначе». Вот смертельно раненный в поле битвы не так умрет, услышав о «победе»,

как услышав о «поражении». Помните Эпаминонда: «Не вынимайте из груди стрелы, пока воины сражаются». Воины бились иначе, зная, что их любимый вождь ждет. И победили. Тогда он сказал: «Выньте стрелу». И истек кровью. И умер.

Вот.

Судьба человека может быть различна в зависимости от того, живет ли он и ощущает себя как «вошь», как «турист на всемирной выставке» и «только телефонистка», или он сознает себя... почти как Бог, близким Богу, «другом Бога» (так назван в беседе Спасителя, предсмертной), «сыном Божиим»... Ощущения, о которых и вы скажете, что это – остатки когда-то «Великого Океана», уже теперь непонятного и незримого... Тех времен остатки, когда строился Кремль и пирамиды... А телефонистка-то *оттого* несчастна, что она только телефонистка, и ей оттого грустно – о, бесконечно грустно – умирать, что всю жизнь она только телефонила и к ней относились всю жизнь лишь настолько, насколько она может «мне потелефонить»: «Чудовище! Все – тебе!! А я?» – «Вашего «я», барышня, нет. Вы телефонистка». Тогда, знаете, можно не только телефон порвать, а всю планету разбить... И, знаете, я подозреваю, что планета стала особенно быстро подсыхать, когда Бог увидел, что не стоит этих гадов поить водой, что если они «позитивизм» выдумали, то и пусть издыхают от «рационального пересыхания морей». Словом, Бог вступился за телефонистку и решил ее пожертвовать планетой. Бог выбирает и спасает «лучшее», а не «многое». Телефонистка от чахотки умирала бы совсем иначе, если бы она видела, что весь мир чувствует ее «ты», что она телефонистка-то телефонистка, но это – лишь башмаками и карманом, а всем существом своим, поднимаясь от «щиколотки», от «колен», от божественных «бедр», неизъяснимых «персей», и шеи, и царственной головы, – уходит в бесконечные дали, в бесконечные выси, к звездам, к небу, к Богу...

– Я *царица* и раба...

Позитивизм говорит:

– Ты *только* раба...

«Да, свободная работница. По телефону. Как другие – по текстильному производству и по железодельному», – мурлыкает социалист.

– О проклятые, – кричит несчастная умирающая девушка. – И ничего лучшего, ничего большего вы, мудрецы, поэты, художники...

– Ничего подобного, барышня. У вас нервы. Примите валерьянки. Вот и г. доктор...

– О проклятые, о проклятые! Убийцы, убийцы... Убийцы души моей, родителей моих, потомства моего... Я *один раз* сошла в мир, и вы говорите, что сошла только для того, чтобы телефонить цены на рожь и еще телефонить поздравления с именинами...

Подходит монах, быть может склонный к винопитию и недалекий. Ставлю эти определения, вовсе не такие уж частые, потому что вы, собственно, на них споткнулись в своем отрицательном фактическом отношении к церк-

ви, как спотыкаются об эту же сторону и очень многие. Конечно, она – важна, но, собственно, как грусть и печаль при встречах, – грустна *лично мне* или *лично вам*. Но эта сторона дела, т. е. качества священников, решительно ничего, абсолютно ничего не решает относительно церкви, – как бытие плохой гимназии не опровергает величия и истины математики. Итак, к девушке подходит монах вышереченных качеств и гудит баском:

– Успокойтесь, барышня. Валерьянки не надо. Пришел последний час. Не верьте им, блудословам. Они сами не знают, что рекут. Как ваше святое имя?..

– Катерина. «Катькой» звали. Да «Катюшей»...

– В память св. Екатерины-мученицы, града Лаодикии, в провинции римской «Асии». Также же и еще больше мучилась, чем вы... чем *ты*... Отпускаются грехи твои многие, вольные и невольные... И аз *недостойный иерей*...

Девушка совсем умирает. «Те трезвые и ученые. Этот нетрезвый и явно глупый» (думает). Да он так и говорит, что иерей «недостойный». Без хвастовства и попросту. Как и я ведь звалась «Катькой», а была девушкой...

Она заплакала. Вспомнила ласку матери. Неприятно пахло от монаха... Она отвернулась к стене... Но руку протянула к нему и проговорила:

– Спасибо, батюшка. Вы точно мне что от родимой матери принесли. Покойницы. И говорите, я увижу ее *там*?..

– Увидите, да! да! Она тоже страдала и теперь выше цариц, и вы страдали, и ждет вас *там* Вечный Жених, уготовивший вечерю брачную всем *любящим* Его... Любите ли вы Его?

– Люблю.

– Надеетесь ли на Него?

– Надеюсь...

– По вере твоей дастся тебе, раба Божия Екатерина. Ныне. И присно. И во веки веков. Аминь.

* * *

Вот это-то – «царственная жизнь» всякому, и «царский венец» всякому, и «снова воды в Океане» – и содержит Церковь. А что случается попы бывают «пьяны», то ведь «по вере нашей будет нам» и когда-нибудь проспят же и нетрезвые среди них.

И скажут золотые слова от древних времен, – те великие и особенные истины, каких выдумать наше время совершенно не может, и даже лишь очень немногое и лишь в патетические минуты своей жизни способны выслушать, почувствовать и понять эти слова, – скажут их чистыми и достойными устами. Любите Церковь: она не только самая великая, но и последняя красота на земле. В религиях и в пришествиях их на землю есть действительно что-то астральное... Теперь самой короткой молитвы выдумать не могут, а тогда они лились пуками, лились непрерывно, из уст самых темных людей. Другое сердце было. Другой ум. Мы перешли, планета наша

перешла в плохие созвездия... Все серо, тускло, люди стали малы. Как же мы не будем слушать то, что нам осталось от иных, счастливых веков планеты, когда человек чувствовал себя золотым, чувствовал святым себя, близким звездам и Богу. Слава Богу, что слова эти сохранены, записаны...

ИВАН ФЕДОРОВИЧ РОМАНОВ («РЦЫ»)

(Некролог)

Умер неожиданно и скоропостижно *Иван Федорович Романов*, 56 лет от роду, – один из последних славянофилов, писавший в разных журналах под псевдонимом – *Рцы*, *Гатчинский Отшельник* и *Заточников*. Это был высокообразованный человек, владевший несколькими языками, – но не эти внешние качества определяют его значение. Он отличался необыкновенно сильным и проницательным умом, обширной начитанностью в литературе, истории и богословии, но эти качества, которые могли бы выдвинуть его в первые ряды публицистической литературы, сопровождались слишком капризной и оригинальной формой выражения, формой письма, которая была очень хороша «на любителя», но сыграла роковую роль в признании его вообще читающим обществом. Он был известен очень немногим, но эти немногие любили его и высоко ценили его талант и ум. Вообще он был «отмечен», но «не замечен». Был «на замечании» у читательского и у критического «начальства», как что-то неблагонамеренное, своевольное, в высшей степени угрожающее скандалом (литературным): а «что такое» и «в чем дело», никто не хотел разобрать в наш торопящийся, мятущийся век. С трагедией в душе, он вечно шутил; он хотел рассказать анекдот среди крови и гробов, сам истекая в сердце кровью. «Рцы» и «шутка» неотделимы: тогда как мало было умов среди современников его, которые были бы так преданы самым высоким темам бытия, религии и истории. Это несоответствие формы и содержания, – то, что он никогда не говорил на «ó», как наши духовные писатели, а все-таки был, однако, с большою примесью «ó», все это помешало ему поместиться среди видных духовных писателей. Он вообще был «писатель без места», и жизнь его, весьма скорбная и странническая, была или проходила тоже до некоторой степени «без места», что передавалось мучением на его истомившуюся душу. Он вообще был истомленная душа, измученная душа. И только крепкая, самоотверженная, деятельная помощь ближайше стоявших около него лиц (семьи его) спасала его от конечного отчаяния. Все ему не удалось, – труды, жизнь, служба, литература. Литература мешала жизни и службе, а служба и тягости жизни расстраивали литературу. «Ни в тех, ни в сех», «ни на мели, ни – в воде». Ни – земноводное, ни рыба, ни зверек, ни птица, что такое была эта «химера», этот «Рцы»? И он прошел *странностью* по литературе и жизни, с пучком остроумия в руках, слезами в сердце, проклятиями на языке; неизменно «с Апостолом Павлом» в кожаном старинном перепле-

те и с памятью, «как пел Мазини» в лучшую пору голоса. Мазини, и Тамберлик, и Морио, – как и около апостола Павла, он не забывал Иоанна Богослова и «Шестоднев» Василия Великого.

Станный... странность!.. Таков он был весь, сплетенный из разных лоскутков, из разных цветов, непоколебимо *един в себе*, неизъяснимо *разнообразен для окружающих*. И вообще никто его хорошенько не знал, никто его хорошенько не понимал.

– «Поймем! Успеем!» – говорили, думали. Но он умер. Теперь уже нечего разговаривать, и теперь ему не нужно никакого успеха.

Его мысли о вечности, о смерти, о Боге – замечательны. Все его *представление жизни* было трагично и глубоко. Ну, хорошо. Вечный ему покой. Но вот о чем нужно позаботиться живым: он жил на Петербургской Стороне, Большая Зеленина улица, дом 7, квартира 2. Непременно кто-нибудь из деятельных и сильных людей, из благородных русских людей, – со связями или со средствами, – должен поехать туда, разузнать, расспросить и непременно так или иначе помочь вывести на дорогу, на путь, довести «до станции». Большая семья его сейчас – как заблудившиеся зимой в лесу дети и женщины. Не безлюдна же Русь, не без Бога же мы. И нужно спешить, нужно «сейчас». Две старшие дочери его имеют крошечную службу; но кроме этого – ничего, а между тем еще дочери в поре учения, т. е. с необходимостью платы за учение; да и – хлеба, квартиры. Пишу все это попросту, потому что тут не до роз. Спешите, добрые люди: нигде ваша помощь не окажется наилучше приложенною.

Он любил Гамлета (все около ап. Павла): и как около «не стало нашего «Рцы», не скажешь: «Бедный Иорик – он умер! А еще так недавно он заставлял смеяться и плакать около себя».

Бедный и милый Рцы: *кое-кто* вечно не забудет его.

Ни его «Летописца», с картинками, пустяками и глупостями, – главное «сокровища» его литературного сердца». Он издавал его, почти секретно от всех, и печатал что-то в семидесяти экземплярах, за недостатком подписчиков, читателей и денег. Скорбел, нуждался – и все-таки печатал.

Да: после ап. Павла и Мазини он более всего увлекался Рембрандтом. Все его вкусы были прекрасны. Он изучал жизнь Рембрандта, и долго, годы, размышлял над смыслом его картин. Отрывки о нем он печатал в «Летописце», «Русском Труде» (Шарапова), «Гражданине», «России» и «С.-Петербургских Ведомостях», немного в «Новом Времени».

Бедный Иорик!

Ты везде работал!

Но не золото блестело у тебя под заступом: и через 20 лет труда ты только накопил столько земли, чтобы покрыть твое тело в могиле.

Сахарна, Бессарабия.

Удивительно, как иногда *частный* глаз, *единоличный* и *в стороне стоящий* ум видит, и *сразу* видит то, на что глаза соответственного «ведомства» смотрят целый век и все-таки ничего не замечают.

Как известно, проектированные и проектируемые новые уставы семинарий и духовных академий выдвинули вперед всего заботу о том, чтобы получить и образовать хорошего «священника», хорошего совершителя «церковной службы». Этой задаче были подчинены или, точнее, этою задачею были отодвинуты в сторону и заслонены все чисто научные задачи, например, духовных академий. Не вдаваясь в рассмотрение этого взгляда на духовное образование, обратимся к тому, *как он выполнен, проведен?* Увы, «наука»-то отодвинута и заслонена, а «хороший священник» и хорошая «церковная служба» нисколько не подвинулись дальше и вперед, сравнительно с тем, как все это стояло и стоит. Ну, вот *голос?* Простое чтение Евангелия, *молитвы* и делание *возгласов?* Простые четыре слова над склоненной до полу толпою молящихся: «*Свет Христов просвещает всех*», – можно произнести: 1) и скороговоркою, так что никто не разберет, а разобрать, ничего не почувствует, 2) можно произнести «перебитым голосом» (особый термин об «износившемся» голосе священника), причем вообще никто ничего разобрать не может у произносящего, 3) «отхватить» без всякого выражения, 4) и произнести с глубоким благоговением к произносимому слову, с сознанием его величия и всеобъемлемости, наконец голосом, так сказать, технически звонким, отчетливым и пр. В одном и том же городе Ельце мне приходилось слышать удивительное по выразительности и «четкости» (слышно в далеких уголках церкви) произношение акафистов о. Острогорским (ныне покойный) и выслушивать целые литургии в таком словопроизношении священника, что *совершенно ни одного слова разобрать невозможно было*, и обедня проходила как бы *в молчании*: никто ничего не понимал и не слышал. Об этом-то священнике, очень ученом, мне и объяснили, что у него «давно уже *перебитый голос*», каковой термин я услышал в первый раз. Также не могу забыть двадцать лет назад слушавшуюся службу в соборной церкви города Белого, Смоленской губернии. Священник был сравнительно молодой еще и совершенно безбородый (при пышных волосах): ничего не росло на месте бороды и усов; особенность его службы, при значительной музыкальности голоса, отличалась (едва ли сознательно для самого служащего) необыкновенным одушевлением, какого я потом никогда не встречал. Происходило оно как будто от уторопленности, но без всякой торопливости на самом деле: он *начинал* «возглас», когда хор еще допевал *последнее* слово молитвы... как бы *вмешиваясь* своим особым и заметным голосом (говор) в звуки пения. Как бы «подхватывал» те тянущиеся звуки и, *кончив* «говор», опять как бы *бросал* хор в пение... И в самом говоре он, как бы резко заноса звуки под потолок (свод храма), последние слова иногда длинного «возгласа» произносил *быстрее*

первых, с нажимом ускорения, во-первых, и подъема, во-вторых. Что же получалось: служба точно летела, было что-то вообразительное и мечтательное в ней, зовущее и ведущее. Все превращалось в великолепную лирику богослужения.

А слово? Слово умирающему? Слово венчающимся? Слово на исповеди? Здесь море *действий* священника необозреваемо. И, увы, наши священники почти еще не пустились «в плавание» по этому необозримому морю. Да и не знают, как пуститься; и наша семинария, да и академия среди своих «гомилетик» и «алгебр» решительно не говорят ни одного слова «будущему священнику» в наставление и в руководство на этом именно пути... Такой *практический и жизненный путь!*

Все эти мысли, конечно, давно каждому известные, вспыхнули вторичным светом в моей душе, когда я прочел в «Церковном Вестнике», органе Петербургской духовной академии, о духовном завещании орловского дворянина А. А. Ефремовского, пожелавшего на оставленный им капитал в 70 000 рублей основать новую кафедру при академии. Это – «кафедра экспромта и дикции». Совершенно неслыханная!!! Это – не кафедра, таким образом, *науки*, каковыми напичканы академии, а кафедра искусства или мастерства, без которого поистине «должность священника» теряет все свои краски и не достигает своего смысла. В частном дополнении к завещанию покойный ныне Ефремовский так хорошо объяснил и так жизненно мотивировал свою мысль, что ее нельзя лучше пересказать; к тому же мысль эта – весьма полезное «наставление» духовенству вообще и большой «урок» целому ведомству, которому одному только не пришла на ум эта мысль и забота, занимающая всю Россию.

«Назначив, – пишет завещатель, – в собственность С.-петербургской духовной академии двести двадцать акций Соединенного банка, для учреждения, по усмотрению ее кафедры или доцентуры *экспромта и дикции*, я хочу объяснить повод, вызвавший мое завещательное распоряжение.

Понятие об экспромте может быть двоякое: одно – исключительная способность, при остаточной эрудиции, *быстро соображать и отвечать содержательно и связно*; на такой *ex improvisis* могут быть способными немногие, получившие особый дар Божий. Другое, приготовившись к предмету, *говорить без тетрадки*. Только это последнее я и имею в виду.

Да, эти проповеди «по тетрадке» священников истомили душу. Это ведь – «чтение домашних сочинений» священников, к сочинительству, отнюдь, в большинстве не приспособленных! Поразительно, что само духовное ведомство поддерживает этот «проповеднический ужас», не доверяя устным проповедям, боясь в них «ереси» или бестактностей (увы, во всяком живом деле неизбежных иногда!) и требуя – «непреренно по тетрадке», и чтобы тетрадка была «предварительно представлена» на рассмотрение благочинного...

Общеизвестно, что наши церковнослужители, не только псаломщики, но и священники, особенно деревенские, за немногими исключениями, конечно, *плохо читают*. Прожив более 70 лет и бывая в церкви, я *редко слышал явственно прочитанную молитву*, или акафист. Форма заменила и затопила сущность, – везде, все и во всем. Предполагается, что читают для находящихся в церкви, слушающих, – но если бы этих слушающих спросить о прочтенном, то не могли бы ответить 9 из 10. Застывшие и омертвелые формы, останавливающие и замыкающие религиозные душевные движения, – их не может не видеть, не может не знать академическая профессура и не может не ожидать, рано или поздно, реформы, – может быть нежелательной, но неизбежной. Этот недостаток, конечно, будет устранен. Но всем тем, которым церковная служба кажется монотонною, утомительною, – всем им я желаю, чтобы и теперь они уносили из церкви хотя бы одно зерно благодатной и благоговейной мысли к Отцу Вселенной. Величайшая признательность чтецу ли, проповеднику ли за то, что они удерживают душу посетителя 5–10 минут в возбужденной совести и напряженной мысли о милосердии Божиим.

По условиям моей службы и деятельности мне нужно было часто бывать в Киеве. В один из моих приездов – начало ноября 1881 г. – я прочитал в местных газетах, что митрополит Платон будет служить, пред своим отъездом в Петербург, последний раз в Софийском соборе. Пошел. Церковь не вмещала запоздавших. Во время причастного стиха вышел очередной священник, вынул тетрадку и, не отводя глаз, прочитал безупречно грамматически правильно составленную проповедь. Но еще прежде прочтения ее, при самом появлении его, идущего на кафедру, половина народа двинулась к выходу. Явление, в последнее время обычное, рядовое и понятное: риторика сухая, напыщенная, сверх меры грозная, без милосердия...

Служба кончилась. Преосвященный митрополит, благословляя, прошел к южным воротам, у которых стоял экипаж, переступил порог, готовый уехать, но в это время какая-то простолоудинка сказала: «Прощай, батюшка, счастливый тебе путь». Преосвящ. Платон повернулся и, не сходя с порога, отвечал: «Прощайте, прощайте, да живите без меня, не забывая Бога». Затем несколько слов о милосердии Божиим: о том, что Он дает и жизнь, и здоровье, и счастье, что дурные поступки имеют и конец худой; что «от осины нельзя ждать ни яблоков, ни винограда». Таков, в общем, был ответ. Все это время – тишина, впечатление – сильное. Конечно, и внимание, и впечатление объясняются прежде всего тем, что говорил митрополит, но несомненно также и то, что простые слова свободно доходили до ума и сердца. Этим, и только этим вызваны сосредоточенные и довольные лица выходивших из храма... Только простое, устное, живое, одухотворенное слово способно двигать умом и душою слушающего.

Цель назначения особой кафедры или доцентуры та, чтобы священник, особенно деревенский, умел сказать умирающему, душа кото-

рого в это время особенно восприимчива, утешение; умел, пред венчанием, объяснить таинство брака: обязанности мужа к жене и обратно; умел объяснить те законы, которые установлены Отцом Вселенной, которые мы самонадеянно и неразумно называем естественными, — и те, которые, находясь за пределами человеческого разумения, называются сверхъестественными; умел дать или укрепить ослабленную веру, без которой человек — несчастное существо, приблизившееся к животному; умел приблизить душу к Создателю ее; умел сказать, что человек окружен тайною, что он не может и не должен быть уверен в завтрашнем дне, что возможен случай, который внезапно прекратит жизнь, и проч. Прошу извинить мне, 80-летнему старику, не совсем ясное изложение и неопрятную перепись».

Так кончается «дополнительная приписка» к духовному завещанию. О, как хотелось бы, чтобы эти дивные, простые и вразумительные слова 80-летнего старца разнеслись по нашей России! Сколькие увидят в них надежду на лучшее будущее! Как вообще весь этот поступок прекрасен: т. е. жертва деньгами, и на такое дело! *Кто* он по профессии, по должности? Хотелось бы знать; академический орган не потрудился об этом сообщить читателям, вероятно не находя это любопытным. А это очень любопытно. Еще «Церковн. Вестн.» пишет, что «академическая комиссия из профессоров С. М. Зарина, И. Е. Евсеева, Г. В. Прохорова и Н. А. Коновалова займется вопросом о разделении капитала, в количестве свыше 70 000 руб., между церковью на помин душ родственников завещателя и вновь учрежденную при академии кафедру или доцентуру экспромта и дикции, согласно частному дополнению к духовному завещанию А. А. Ефремовского, утвержденному определением орловского окружного суда от 17 сентября 1912 года».

Нам слышится здесь что-то сухое и формальное, — в этой комиссии и в этих профессорах. Неужели «помин души» не мог бы быть *радостно* принят от такого исключительного радельца о церкви бесплатно?! «Даром получили — даром и давайте», — вот слова апостола в наставление Петербургской духовной академии. Как можно с такого человека брать деньги за помин души при академической церкви? Протянутая рука задрожит, протянутая рука опустится. На энтузиазм нужно отвечать энтузиазмом. Вместо взятия «на помин души», можно бы учредить хоть в Московской духовной академии еще *такую же* кафедру; ибо капитал дает в процентах сумму, достаточную для двух доцентов; уж немного недостающее Св. Синод мог бы добавить из своих специальных сумм. Да, Синоду вообще следовало бы озаботиться учреждением *таких именно кафедр*, экспромта и дикции, во всех 4-х академиях!! Это с его собственной точки зрения, — что задача духовного образования главнее всего состоит в приготовлении пастырей церкви, священно- и церковнослужителей, — совершенно необходимая и даже неизбежная последовательность. Ефремовский своей частной инициативой только *подсказал* то, что духовное ведомство давно должно бы *само* сказать себе...

— Он испортил мне все школы!..

Я оглянулся на говорившего. Это был средних лет господин, в тужурке ведомства министерства просвещения... Светлые пуговицы и что-то около воротника нашито. Неопределенного цвета волосы, неопределенного цвета борода, лицо не глупое и не умное; скорее, впрочем, умное или скорее чем-то озабоченное. Но все являло тот «обыкновенный вид», к которому как-то не зацепишься ни умом, ни пальцем; который не возбуждает вопроса и не оставляет недоумения. «На что бы он был похож?» — спросил я себя мысленно и мысленно же ответил, что он похож на зачерствевшую просфору, которую не скушали после обедни, а положили к образам, и через неделю она обратилась во что-то, чего нельзя ни скушать, ни разломить и даже нельзя размочить ее в чае и скушать в чае, приходится оставлять «так, как есть», Бог знает для чего и Бог знает на сколько времени. Я сообразил, что вообще такой вид имеют почти все чиновники низших и средних ярусов служб.

— Отчего же он испортил ваши школы? и кто это испортивший? и о каких школах вы говорите, что они «ваши школы»?..

— «Мои школы» — это те, которые я ревизую по обязанности инспектора народных училищ нашего уезда. Они открыты министерством народного просвещения, суть «министерские». А испортил их этот член земской управы, Н. Н. Он, видите ли, «любитель народного просвещения» и, приезжая в школу, ласково говорит с учительницею, ласково говорит с учениками и этим нарушает субординацию и вообще правила службы и страх ответственности... Я приезжаю на экзамен, замечаю какое-то «близкое и доверчивое» к себе отношение, в котором несколько не нуждаюсь, а когда задал диктант, то... оказалось тогда даже пишут «е» в дательном падеже, «мне» вместо «мнѣ», — а в общем имеют самое нетвердое представление о размещении букв е и ѣ...

Он помолчал.

— И этот член земской управы, и помещик, в поместье которого я ревизовал на этих днях школу, оба говорят: «Нельзя удержать ребятишек в школе, когда начинаются *полевые работы*, и также нельзя загнать в школу, пока хлеб еще не убран и фрукты не собраны. Таким образом, на классные занятия остается шесть или семь месяцев, а пять месяцев — они в поле и работают около отцов!! В таком случае понятно, что они не умеют размещать букв е и ѣ и даже не умеют перечислить порядок ветхозаветных пророков и также царей порознь Израильского царства и порознь Иудейского царства. Я буду вынужден написать самый печальный отчет о *своем уезде* директору народных училищ, — что же касается учеников, то кроме 3—4, получивших «3», я всем остальным поставил *двойки и единицы* на экзамене и оставил всех в *том же классе на другой год*.

Голос был так сух, а вид и мундир так формален, что я не решился возражать. Скажу более: я сам почувствовал некоторую оторопь и даже ка-

кую-то и в чем-то вину свою перед этим строгим ревизором; может быть, вину за свои «распущенные мысли», которые втайне питал. Воображаю, если чувствовал себя «смущенным» я, независимый человек, то как должны были чувствовать себя вполне зависимые в службе и в поведении, в карьере и в... жалование – учительница и ученики. У учеников он распоряжался «льготой по отбыванию воинской повинности», т. е. сроком солдатской службы, а учительницу мог и вовсе «уволить»...

Одно меня задевало и мучило: это – «*мои школы*»... И это – «испортил»... И буква «*ть*». Я знаю, что писать надо правильно, – но это мне, писателю... Я замечал, что в мелочных, овощных и табачных лавочках «мальчишки» за прилавком, от 12 до 16 лет, очень миловидные в личике и до того необходимые в лавке, что без них и «торговля бы не шла», пишут не только без буквы *ть*, но и вообще пишут совершенно невообразимо, ни для какого экзамена не годно, – и, однако... живут, трудятся, полезны в своем деле!

– Ах, вот *это* сказать бы инспектору школ! Забыл в смущении. Ведь какой аргумент: в торговлю нельзя взять вовсе безграмотного, ибо он должен написать (в яичной лавке): «яца 5 десятков рупь», – а между тем *ть* вовсе от него не требуется. Безграмотный – он куда не нужен, ничего не получает и есть хулиган на улице или нищий на улице; но с возможностью написать: «яц на рупь» – он нужен, глазенки сияют, умыт, одет от хозяина и еще в дом родителям приносит три или два рубля в месяц своего жалования. Он есть *важная единица социального строя* и вполне уважаемый член городского общества.

...Да что «мальчик в лавке»: Ярослав Мудрый написал *Русскую Правду*, но написал, тоже не зная употребления буквы «*ть*», и не выдержал бы экзамена у этого строгого инспектора, и не получил бы льготы по воинской повинности... А он есть *мудрость и честь и украшение* русской истории, чем этот инспектор не имеет никакой надежды сделаться. Мне кажется, инспектор чего-то не понимает... Именно он не понимает русской истории и всей русской жизни. Например, эта неудержимость ребят к полевым работам *в мае и в августе*, даже *в апреле* и *в сентябре*, т. е. в месяцы, которые министерство просвещения потребовало для училищных занятий в деревне и в селе *уравнительно* с тем, как эти месяцы оно взяло *для гимназий и в городах*... Ведь между городом и селом, детьми чиновника и детьми крестьянина никакого нет «уравнительно», и дети явно поступают хорошо, что *убегают к работе! к полю!!* Крестьянские дети, учась зиму в школе, на все *рабочее время, полевое и садовое* (в местности было много садов, – у крестьян), становятся в ряды с крестьянством, смешиваются с ним... И слава Богу: *крестьянский строй не разбивается школою*, что было бы безмерно жаль, что вредительствовало бы всей России, как червь вредительствует яблоне...

Разве можно же, через школы, выбирать, как щипчиками, из деревни всю молодежь, все отрочество, – и переносить его...

– Куда?

Инспектор не знает. Не интересуется. «Не мое дело, – мое дело – школа». Позвольте: но ведь школа – в России, а не на крыше страсбургского собора, не в отвлечении, не в мозгу германского педагога, с его гордою глупостью: «Я победил Францию». Конечно, для поощрения учеников это было можно сказать и это было искусно сказано... Но в общем мы едва ли «еще раз отразим Европу» или «дадим отпор желтокожим», если наша деревня расштатается через то, что ученики *решительно всех министерских школ*, т. е. школ уже *в каждом селе*, будут:

1) разучиваться мужицкому делу, – мужицкой работе, мужицкому хозяйству;

2) но – знать букву «ъ» и у себя записывать без ошибки: «цена папирос «Зефир» 10 копеек и за модную шляпку *ей* 6 рублей».

* * *

Бэкон (в «Великом восстановлении наук»), исчисляя специфические ошибки и иллюзии, присущие уму человеческому, не назвал одной, потому что, пожалуй, в то время ее и не было, – по неразвитости государственной и социальной жизни. Это – ошибки и слепота «своей профессии», – иллюзионность вообще специализации. Специалист видит *глубоко*, вернее, *подробно*, но только узенькое поле своей работы, и не видит, так сказать, географического и исторического положения этой работы в общей ткани народного организма. С этою общеою тканью он обычно не сообразуется. Он *ширит* «свое дело», прободая, перерывая соседние ткани. Получается социальная болезнь, напоминающая историю и сущность рака. Рак, как известно, представляет собой неудержимый рост («опухоль») эпителиальной клетки, – того крошечного «щитка», из каковых состоит наша кожа, особенно когда ее рассматривать в увеличительное стекло. В отдельности и «росте» вполне нормально, – и эпителиальная клетка *сама по себе* есть вполне нормальный, здоровый, законный элемент человеческого тела. «Злокачественность» и потом смерть получается оттого, что эта «законная часть» разрастается на «незаконном месте», вторгаясь *туда*, куда ей вторгаться не следует... И в этом *одном* заключается существо рака, именуемого поэтому «а-типическим новообразованием».

Смертельная болезнь, неизлечимая... *Ею*-то и страдают во множестве государственные учреждения, рвущиеся в каждом месте «перерасти себя», выйти «за естественные *свои* границы»... Как в раке помогает только хирургический нож, так эти перерастающие самих себя учреждения, ведомства, министерства нуждаются в энергичном «стопе» *со стороны*; в останавливающем голосе, в останавливающем приказании... *какового сами себе они никогда не смогут сказать* по специализации своей и потому, что не видят «всего»...

Пример. Инженеры строят железные дороги. Превосходно строят. Существо дела в том, чтобы «хорошо построить» и чтобы самых дорог было все «больше и больше». Вдруг они начали проводить железные дороги,

оканчивающиеся не у русских гаваней, а у германских гаваней (Кенигсберг); проводить дороги не *через* большие города, а *мимо* – верст на пять, на семь – большого города. И – проводить дороги по таким бестоварным местам, что в сумме своей они начали давать *убыток*. Извозчик на лошадях зарабатывает чистого барыша два рубля в сутки, а железные дороги, все в России, давали отечеству миллионов 70 убытку в год. Это – «рак железнодорожного хозяйства», его «а-типическое развитие».

«Развитие»-то все-таки есть; но оно «вредно всему государству».

Пришлось во главе ведомства поставить человека *со стороны*; не инженера, а *юриста* (г. Рухлов).

Исторически обер-прокуроры Синода суть «люди со стороны» около духовенства, которое явно начало врываться не в свое дело (Никон), получило а-типическое, «раковое» развитие. Они должны приводить людей к Богу, научать их молитве, а вместо этого начали требовать «власти себе», вмешиваться в «государственные дела» (он же), требовать «власти под обществом»; теперь – власти над семьей, браком, семейной жизнью.

* * *

Школьный мир, учебный мир, – не только в России, но и всюду, – давно принял это «а-типическое», «злокачественное» развитие и течение, не сообразуясь в росте своем и в устройении своем (программы и дух преподавания) – 1) с *местностью*, 2) классом и сословием, 3) с физическими силами, физическим состоянием, физическим здоровьем и 4) даже с нравственным строем, нравственно устойчивостью той среды, где педагоги или где чиновники министерства просвещения: а) множат *свои* школы, б) удлинняют свои программы, в) дробят число предметов – все это как бы действуя в каком-то безвоздушном пространстве или планируя на чистом листе бумаги и не только *не зная*, но и *не интересуясь*, *не спрашивая*, нужно ли все это тем *определенным* семьям и тем *определенным* ученикам, над которыми они производят свои манипуляции. Инспектор народных училищ, сказавший, что кто-то «портит *его* школы», когда он сам «портит *ту деревню*», в которой стоит его школа, – типичный образчик этого «рокового», «злокачественного» хода педагогики; и будьте уверены, что он только очень удачно сказал свою формулу, а в сущности формула эта совершенно применима к деятельности учебного ведомства на всем его протяжении, во всех его разветвлениях. В бытность учителем гимназий и прогимназий в уездных городах Орловской и Смоленской губерний, я бывал всякий раз поражен тем, что такое делают эти гимназии в этих городах. Они везде росли по типу «рака», разрушая ткань города, жизнь города, смысл города, – который *был* и в своем очерке *был прекрасен и нужен*. Нет ведь города, самого маленького, – нет местности, уезда, в которых не было бы своего «излюбленного дела», вытекающего из особенностей края и отчасти из сложения души местных жителей. Но гимназия даже не знает всего этого; она высокомернейшим образом «ничем на своем месте не интересуется», – и учит отнюдь не «жителей этого

города», а учит «вообще человека» например американца, а еще вернее, «общечеловека из Жан-Жака Руссо» или «благородного немецкого мальчика из Киссингена», которому случится о ту пору и в тамошних местах называться «Васей Красновым». Она даже не пытается преобразовать «Васю Краснова» во «Фридриха Шиллера», а прямо учит «Фридриха Шиллера», готовит его к написанию «Колокола» и «Маркиза Позы» и чтобы он в «Маркизе Позе» расставил везде, где следует, букву «ъ». «Маркизу Позе» мы учили в Бельском уезде и «Маркизу Позе» учили в Елецком уезде, и еще ничему, кроме «Маркиза Позы», не учили. Т. е. говоря аллегорически и переносно, говоря в смысле уподобления, но *уподобления полного*. В начале учительства, когда я был еще очень неопытен и не понимал смешного дела, которое мы все учителя делали возле учеников, я был поражен замечанием старого доктора, прожившего всю жизнь в городе Брянске, где была наша четырехклассная прогимназия. У нас был очень важничавший, торжественный учитель чистописания, молодой. Он очень старался, а в учительском совете жаловался, что ученики недостаточно у него «пишут», т. е. не ставят красиво буквы. Мы, учителя греческого языка, учителя латинского, французского и немецкого языков, учителя алгебры, пелопоннесских войн и американских рек, над ним посмеивались потихоньку, – и этот тихий смех я передал и лысому доктору. Но он закашлялся и сказал: «Учитель чистописания прав в своей строгости и требованиях... Ведь большинство ваших учеников размещается по разным службам в уезде, – в конторы, в канцелярии, на почту, в лавки. И им все предметы не будет случая припомнить и ими воспользоваться, а окажется нужным и крайне полезным одно чистописание».

Как обухом в голову ударило! Никогда не приходило на ум! Только лет через 50 можно надеяться, что эта *очевидность для уездного врача, эта наглядность*, которую он видел все годы своей практики в пятнадцатитысячном (число жителей) Брянске, с колоссальным рельсопрокатным заводом возле него, что эта истина понята министерством просвещения, как первейшая необходимая для него истина, и оно перестанет «формально печь булки», формально 1) для Петербурга и в Сибири на реке Амуре, 2) в Москве и в Туркестане, 3) на Кавказе и в городах Архангельской губернии – основывать *одно-типные, одно-образные, одно-программные* гимназии, прогимназии, городские училища, сельские школы первого и второго разряда; *одни* – для чиновников, дворян, купцов, мещан, ремесленников, крестьян...

Жизнь – *разно-образна*, школа – *одно-образна*: и школа, которая всемогуща, потому что она обязательна, потому что она с привилегиями по службе, потому что без нее «неприлично всем», входит через это *однообразие и однотипность* свою как рак в страну и *съедает страну, съедает жизнь ее*. Не говорите: «есть школы земледельческие», «есть школы ремесленные», «всякие» есть, и сколько школ перевидал и сколько перевидал учащихся мальчиков, девочек: *ни одного и ни одной* не видел учащимися какому-нибудь ремеслу или земледелию; ученики – *везде* отвлеченно, алгебраично,

«Маркизу Позе», т. е. до «практической школы» – нужно ехать Бог знает куда, отыскивать ее Бог знает где: а везде «тут», по всем городам министерство насовало совершенно отвлеченные свои школы, можно сказать, предательски их подсулоло темным жителям уездов и далеких губерний, которые втемную и бессильно отдают и приводят детей своих в *ту* школу, какая «возле нас поближе». Ибо они (родители), кроме своего городка и уезда, вообще ничего не знают, – не знают, «как люди живут», «какие есть люди» и «чему на свете учатся»...

* * *

Только нечто, *вне* учебного ведомства стоящее, – стоящее *выше* его по точке зрения на страну, *объединеннее* и *обобщеннее* его видящее Россию, может «хирургически прекратить» дальнейшее продирание и разрушение *русской исторической и бытовой ткани* ведомственного школоу. Кстати, почему «школа», а не «училище»? Почему латинская «schola» или немецкая «Schule»? В этом неумении, или пренебрежении, или нехотении назвать родное явление родным именем, народное обучение народным словом – уже сказывается все...

«Высший глаз» для России – это всегда глаз Государя. Он *один* видит Россию от Рюрика до нас и от Петербурга до Охотского моря. Можно сказать, что из всех обитателей Петербурга, гипнозу коего подчинены и министры, только у Государя *не* петербургский и не «ведомственный», а ум, и вкус, и глаз вообще «земли Русской». И вот отчего именно от него мы можем надеяться и ожидать отсеканий раковых «расползаний» рачных ведомств.

Так это и случилось недавно. С 80-х годов прошлого столетия, т. е. тридцать и более лет назад, министерству просвещения настойчиво указывалось, что физическое здоровье подрастающего поколения подсекается, подсушается непомерным разрастанием его программ, – прибавкою 8-го класса в гимназиях к бывшим дотоле 7-ми классам, занятием весенних месяцев, когда распускается и расцветает вся природа и воздух наиболее живителен, – самыми интенсивными занятиями (экзамены) и т. д., и проч. и проч. Министерство оставалось непробудно к этому. Его задача – «просвещение». «Здоровье» вовсе и не есть его задача; отнюдь не значится в предметах и задачах, так сказать, самого «*учреждения министерства*»...

С чувством великого удовлетворения, поэтому, русские люди всех классов, всех сословий, всех ярусов социального положения отнесутся к распоряжению Государя от 7 июня, в котором Государь придает особое значение правильной постановке делу *физического развития подрастающего поколения*, и в частности преподавания гимнастики и военного строя в мужских учебных заведениях *всяких наименований и всех ведомств* и признает необходимым ввести должное объединение в деятельность частных учреждений и обществ, преследующих цели *физического развития населения*.

Таким образом, вместо «кой-чего» в этом роде и даже только «кой-какой игры» около великой задачи поддержания на должном уровне физичес-

кого здоровья населения, что с явным нерасположением, как «уступку», делали учебные заведения, – им придется покорно склониться перед волею Государя и впустить в себя широкие воды освежающих упражнений. Нужно *не упустить из виду и частных учебных заведений*, которых теперь развелось так же почти много, как и заведений казенных. Наконец, в высшей степени важно, чтобы, впуская воды обильной физической жизни в себя, учебные заведения, – т. е. министерства, в ведении коих они находятся, – для освобождения досуга и времени на эти физические упражнения приступили к немедленному же освобождению своих программ от лишнего ученого балласта, который всегда чувствовался в этих программах как своеобразный продукт педагогического тщеславия и взаимного друг перед другом учебных заведений хвастовства. Все эти теории чисел (так называемая «теоретическая арифметика»), все эти подробности немецких географий и немецких историй должны быть беспощадно выгнаны из плана *общеобразовательных* учебных заведений, так как ничего «общеобразовательного» здесь нет, а есть только отсутствие всякого педагогического такта и всякого понимания, что такое «общее образование», «общее развитие». Это просто – балласт непонятных ученикам слов, есть просто энциклопедический мусор, без всего в себе развивающего. Мы в высшей степени опасаемся, что желание Государя будет «обойдено», что *самая главная цель* – сохранение физического здоровья учеников – будет не только не достигнута, но, так сказать, подвергнется еще большему сжиганию, дети будут подвергаться еще большему изнурению: именно гимнастика будет лишь *механически впущена в учебные заведения*, но прочие все требования останутся *в том же объеме*, а ученики «пусть справляются с этим, как знают». Вообще, тут «беда ходит около дверей», и «да будут бодрствовать консулы», роль коих принадлежит в данном случае родителям.

П. СОКОЛОВ. ИСТОРИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ СИСТЕМ

С.-Петербург. Издание О. В. Богдановой.
1913 г. IV + 506 стр.

Одна из больших и ясных задач русской научной литературы настоящего времени заключается в том, чтобы дать по возможности *полные* изложения для родных читателей всевозможных отделов науки в разных направлениях, в разных разветвлениях. Сюда относится *история педагогики*, история педагогических систем и педагогических идей, и мы не можем не приветствовать с большой радостью громадный труд (506 страниц большого формата) г. Соколова, предназначенный для «самообразования воспитателей и учителей, настоящих и будущих» (предисловие). Книга обнимает только западноевропейские педагогические идеи, – не касаясь русских, которые после Ушин-

ского, Пирогова, Стоюнина, конечно, *есть*. Бог даст, может быть, он даст и второй том своего труда, дополнив западную половину его – восточноевропейскою.

Автор богато обставляет главы своего труда философским элементом, говоря, что когда ему приходилось читать лекции по истории педагогики на саратовских земских курсах, то слушатели – учителя народных школ слушали с особенным вниманием и интересом те почти самостоятельно им сделанные очерки философских систем, которые (напр., у Фихте и у Спенсера) послужили, так сказать, гнездом, в котором зародились особливые и новые педагогические идеи, высказанные этими философами. Вообще педагогика очень родственна философии, – так что почти нет великого философа, который не повлиял бы на педагогику, на устройство и особенно *на дух школ* в родной стране. Это продолжалось от Платона до Фихте, и нельзя не заметить, что теперешнее разьединение педагогики от философии, обращение педагогики в самодовлеющее и самодовольное ремесло «быстрой и универсальной выучки детей чему попало» отражается если не на «педагогических системах» и самих педагогах, то на детях, на учениках довольно печально.

Да... создать «лучшего человека», создать «идеального человека», – возрастить, полить и дать солнца тем «залагам-зернам, какие лежат в душе» мальчика и девочки, приводимых в школу, эта мечта великих философов от Платона до Песталотти... *где она? куда девалась?* Вот во втором часу ночи, когда родители уже спят, шестнадцатилетняя девушка, вся недоразвитая и худенькая, согнулась над логарифмами, гоня сон и преодолевая головную боль... Вот весна, белые яблоньки в цвету, сидят в саду те же старые родители и любуются на них: 15-летний сын их зубуривает героев французской революции и о том, как сперва рубили головы революционеры, а потом рубили головы революционерам и «что из сего вышло». Но «что из революции вышло», – не ясно, а родителям ясно, что выходит из их мальчика и девочки: самолюбивая школа и дюжина специалистов по «технике преподавания» втеснила наконец в маленькие головы те сведения, владея которыми «созревший гражданин» свободно читает газету «Речь» и даже может туда настрочить статейку, везде поставив в ней где следует букву «ѣ». Сумеет разругать правительство, назвав министров «идиотами», и заказать ужин в «Аквариуме», где продолжит речь о политике и несколько о литературе. Неблагодарная мамаша, вышедшая из «девочки с логарифмами», смеется теперь над учительницами и учителями своими, называя их «отсталыми», и требует в «радикальном кружке», чтобы в программу ввели сверх логарифмов еще что-нибудь из дифференциалов, а сверх французской революции проходили бы «ее детям» и русскую революцию. Количество фраз в отечестве возросло, количество лентяев в отечестве не уменьшилось, но не дали ничего «специалисты педагогического дела», обремененные непосильным ежедневным трудом, выправляющие букву «ѣ», просматривающие кипы тетрадок с алгебраическими задачами. И не видя-

щие, что, сколько они ни наливают воды в бочку, она никак не может наполниться, потому что у нее вообще не достает *дна*.

Бедная наша школа. Бедные наши дети. Бедная философия педагогики. Едва ли и она не обратилась в «зазубриваемый предмет»; и так сказать, сапожник с шилом прокрался к философу и проколол ему череп своим техническим шилом.

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ОЛЕОГРАФИИ

«Призраки» Вл. Войтинского.

«Русское Богатство». Июль.

Читаю Войтинского – «Призраки» в «Русском Богатстве» и невольно вспоминаю «Громвал» Каменева, поэму конца XVIII века, которую мальчиком еще до гимназии списывал себе в тетрадку любимых стихотворений. В «списывании» было столько же интереса, сколько в поэме. Почему я ее списывал, трудясь и потев целую неделю? Я ее вовсе не понимал, эту поэму; не понимал, *кто* такой Громвал и *что* именно определенным образом он делает? Да, он, впрочем, и не «делал», и не мог «делать»: он – «совершал». В детском же воображении моем представлялось, что только ничтожные люди что-нибудь «делают», вот мы все бедные в нашем неинтересном доме, моя мать, и братья, и сестры, наши соседи, и я, ничтожный, учащий к экзамену «Помилуй мя, Боже»... Скучные люди и скучная жизнь, изо дня в день, из года в год. Но есть другая жизнь, – о, *есть* она!! Об этом-то и говорила поэма «Громвал», а я оттого-то и списывал ее без устали, закрывая ладонью списанное, чтобы старшие не увидали и, сохрани Боже, в своей омерзительной угольной черноте, в своей пошлой ежедневности не сказали о «Громвале»: «Глупости». О, конечно, они говорят «глупости» обо всем, что не похоже на их интересные похлебки, на их гречневые каши с маслом, на пошлый их «чай» с «сахаром», который они все пьют с таким омерзительным удовольствием и даже осмеливаются говорить мне такую гадость: «Ты, Вася, выпил две чашки, и довольно». «Две чашки и довольно»: хорош язык и понятия! Но я вовсе не хотел бы пить их «чайку с сахаром»... а взял бы я стрелы и лук, копьё и щит, заткнул бы за пояс нож, т. е. кинжал, и пошел бы вслед за моим Громвалом...

Куда?

В поэме было неясно. Сколько я ни усиливался разъяснить себе, что именно «совершал» Громвал, не мог этого. Из слов и названий я видел, что дело происходит в «замке» или вокруг «замка», т. е. такого древнего и прекрасного места, где «чайков» уж, конечно, не распивают, а постоянно сражаются; где люди находятся в непрерывной смертельной опасности и почти что убивают их, но путем невероятного героизма и страшного развития мускулов они остаются живы и потом «отходят», т. е. выздоравливают. Борь-

ба идет между добрыми и злыми или так как «добро» и «зло» мне не представлялось чем-то ясным, то между «благородными» и «низкими». Суть «низости» заключалась в постоянном злоумышлении и особенно в хитрости, коварстве, любви к деньгам, немилосердии к людям, в притеснениях бедных людей, особенно, например, молодых девушек и юношей; к «низким» принадлежали по преимуществу все старые или пожилые люди. Напротив, «благородство» все было сосредоточено у молодых: из них девушки – страдали, а юноши сражались за них. Кто-то этих девушек и юношей притеснял; хотел даже их убить. Был какой-то «Черный Колдун», владелец «Враждебного замка», который тайным образом намеревался всех девушек и юношей запереть в мрачное подземелье, пытать их там всеми муками, издеваться над ними и наконец уморить их голодом.

Да, но это вообще так представлялось или ожидалось и отчасти хотелось; многое в списанном и прочитанном и подтверждало это: юноши вообще страдали, а «старые колдуны» ввергали в темницы. Но, переходя определенным образом к описываемому «Громвалу», я все-таки не понимал, что такое там делается. Все стихии природы только страшно ревели. Стены «замка» непрерывно тряслись, и не от одних выстрелов, а и от того, что выстрелам вторили ужасные раскаты грома... Свеч не было, да и не надо было: молнии не сходили с неба, и в замке было светло от них. Однако свет этот перемежался с ужасною тьмою, и строки стихотворения, где говорилось о «наступившей тьме», были еще страшнее для моего воображения, нежели те строки, где говорилось о молниях.

Но, однако, что же это такое? Я не понимал. А рука писала и писала. Нужно заметить, что, «достав книжку» украдкой и ненадолго, я не прочитывал стихотворения предварительно, а торопливо начинал сейчас же списывать его себе. А «стоит» ли, т. е. «интересно» ли, умозаключал по заглавию: само собою разумеется – «Громвала» следовало списать. «Гром» и что-то «валится», «разрушается».

Это мое потенье и списыванье «Громвала» в высшей степени напоминает как чтение, так и писание, т. е. сочинение, большинства социал-демократической и вместе тюремной литературы в наших радикальных и даже просто либеральных журналах. «Что такое?» – ничего не понимаю. Только вижу, что действительно люди делятся на злых и добрых, на черных и голубых: что черные властвуют миром и усаживают всех голубых в тюрьмы, а почему усаживают – Бог их ведает. Врожденно. Мне кажется, все голубые происходят от Ангела Света, а все черные были рождены Сатаною, от коего произошел грех на земле. Или так как библейской генеалогии не приходится верить, или радикалы ей не верят, а у нас есть своя русская генеалогия, то все голубые составляют потомство Громвала и его меча, а все черные порождены Колдуном и Низостью.

Вот читаю «Призраки» Войтинского в июльской книжке «Русского Богатства». «Вещь» прочитана все-таки самим редактором, Короленко, и одобрена, как что-то натуральное и действительное. Читаю и все думаю: нет ли

хотя на одном заключенном в темницу веснушки? Нет. Хоть бы у него нос немножко «подгулял»? Нет. Можно сказать, даже мухи не позволяют себе сесть на лицо заключенного по политическому обвинению: и все они друг около друга до того голубые, хрустальные и чистые, как этого в жизни вообще никто никогда не видит, а видим мы только в рассуждениях Елизаветы Кусковой, в «Призраках» Войтинского и в стихотворении «Громвал» Каменева.

...«Вот встали передо мною картины смерти, страдания и муки, — начинается «Громвал» социал-демократов, — всего того, что дало мне веру в человека и в красоту жизни».

«Из погибших на виселице вспоминаю я одного. Всех ближе был мне он, всего больше любил я его. Звали его Павлом: лицо его при первом же взгляде поразило меня. Бледное, грустное лицо с ласково улыбающимся ртом, обрамленным мягкой бородой, — глаза прямые, смелые и вместе кроткие, как у ребенка, длинные, слегка волнистые волосы, сбегающие по обеим сторонам белого лба. Светлым пятном выделялось это лицо на фоне тюрьмы. И голос у Павла был негромкий и нежный, с нотками задушевной грусти. И когда я ближе узнал Павла, то почувствовал, что иным голосом он и не мог бы говорить — столько мягкости и любви к людям сквозило в каждом его слове. Вместе с тем это был человек железной силы воли и беззаветной смелости, истинный рыцарь без страха и упрека во всех встречах с врагами и друзьями. Но не мужество и прямота больше всего поражали меня в нем, — эти качества обыкновенно встречаются в нашем кругу, — поражал меня тот бесконечно красивый, неумирающий образ, который воплотил он в себе, — образ влекомого на казнь за безмерную любовь к людям-братьям» (стр. 25).

Громвал и Громвал!.. Нет, вы мне скажите, добрые читатели, где вы видели человека, на котором одним было бы навешено столько добродетелей и который бы не задохся под тягостью этих моральных и физических преуспеваний. Конечно, со времен «Клариссы и Грандисона» Ричардсона мы не имели подобного описания «молодого человека». И те тоже «красивые, нежные девушки», к которым постоянно взывает из «Русских Ведомостей» г-жа Елизавета Кускова, должны прямо изумляться, до какой степени красивых людей «Правительство» или «Сатана и Низость» позволяют себе сажать в тюрьму.

Этого нежного человека, который был до того полон любви к людям, что раз, гуляя по Невскому проспекту, вдруг расплакался, правительство, заметив, что он так красив и плачет, схватило и отвело в тюрьму. Человек мог бы спокойно выйти вон, сославшись, что он ничего не делал: но ко всем качествам его примешалось то, без чего и красота не красит, — гордость. Невыносимая гордость и презрение ко всем. Войтинский это передает так, немного затушевывая подробности, но сохраняя сущность дела: «Павла ждала виселица за дело, в котором он не участвовал. Но, считая суд ложью и злом, он молчал на допросах, не пытался разбить обвинение».

Странно: ведь он же вводит молчанием в заблуждение судей и делает их убийцами против воли. Они говорят: «Мы не хотим убивать». Но кроткий протягивает им шею и говорит: «Рубите! Все-таки рубите! Во всяком случае рубите. Чтобы я мог назвать вас убийцами». Удивительное желание обругаться.

Дальше следует оговорка автора, не очень ясная, в которой следует разобраться: «Впрочем, если б против него и не было этого ложного оговора, если б его судили за действительно совершенные им дела, *его все равно повесили бы*».

Но он притом и ничего злого не делает. Его «влекут на казнь за безмерную любовь к людям-братьям». Итак, за какие же «дела» его «все равно повесили бы»? Не за дурные? Но как я, точно следуя мысли автора, перефразировал и упростил дело: стоял Павел на Невском проспекте и, смотря с безмерною любовью на людей-братьев, проходивших мимо в котелках и шляпах, плакал: видя, что он так красив и плачет красивыми слезами, чудовище-правительство кинулось на него, накинуло на шею петлю и удавило.

Но он всех любит. Я говорю о Павле. Его вешают, а он любит; вешают напрасно, и он все-таки любит. «Ненависть к врагам, ненависть к угнетателям совершенно отсутствовала в этом кротком, бесконечно добром человеке. Чувство ненависти заменялось в нем чувством любви, мучительной любви к страждущим и угнетенным»... Дальше опять неясно. Автору, т. е. Войтинскому, надо объяснить, как же вообще-то появился «замок» с чертами и ангелами, с борьбою в нем и вокруг него; как вообще произошел «Громвал» с молниями и громами. Любовь, любовь и любовь... Любовь, сложенная с любовью... Любовь, помноженная на любовь. Подставляет шею и говорит: «Руби». Тогда как же «борьба» и откуда она взялась? И автор подкрадывается, — опять в словах, почти не замечаемых читателем:

«Только любовь толкала Павла на борьбу. И он шел, куда любовь звала его, весь содрогааясь от ужаса и муки, что ему приходится идти через кровь...»

Многоточие — у автора. Слова почти не заметны читателю: но под тремя точками, под недоговоренностью автора скрыто, что возлюбленный и любящий Павел кого-то, однако, убил. Но тогда его не «все равно повесили бы» и он не «гордо не хотел оправдываться», а оправдаться ему было невозможно, потому что он действительно убил, и его не «вешают», захватив на месте слез и любви, а наказывают за злодеяние. «Замок» совсем обыкновенный, — обыкновенный замок, где борются правосудие и преступление, — и никакого «Громвала» нет, нет чертей и ангелов. Да, но тогда не было бы «Призраков» Войтинского и «Русскому Богатству» было бы нечего печатать. Но печатать нужно, Войтинскому нужно агитировать молодежь поступать в ряды «ангелов», т. е. незаметно «сквозь слезы» идти туда же, куда пошел «Павел», и для этого повторяется феерия о замке, где не правосудие и преступление, а одни ангелы, рыцари, без веснушки даже на носу и, с другой стороны, — черные, как в угле, дьяволы, хватающие чистых девушек и юношей, где бы они ни попались, и немедленно их вешающие.

«Он нередко говорил с друзьями об этой своей муке. Но о любви к людям не говорил он никогда, как не говорят о том, что слишком хорошо всем известно и что само собою подразумевается. Охотнее говорил он о чести. «Свобода нам дороже жизни, а честь – дороже свободы» – так определял Павел свой взгляд на честь и на жизнь. Когда я его встретил, его ждала виселица. И спокойно шел он навстречу смерти, не пытаясь защищаться. Перед судом приехал на свидание к Павлу его отец, старик-еврей, бедный ремесленник из какого-то захолустного местечка в черте оседлости».

Ах, вот в чем дело... Русским читателям, «симпатичной молодежи», в 97 процентах наполняющей русские университеты и русские технические заведения, показан образ идеального еврея, умирающего в России за русских, за свободные русские идеалы, за благоденствие и счастье России, кем-то угнетаемой. «Мрачный замок» есть собственно Россия, в которой бьются ангелы и дьяволы, но во главе ангелов и в пример умирающих идут более всего умирающие, храбрее всех сражающиеся и, наконец, ставящие честь выше свободы, а свободу выше жизни – бердичевские рыцари и герои... Читателю даже кажется, сквозь туман и недоговоренность «Призраков», наконец вследствие того, что автор так субъективно раскрывает сердце «Павла» и излагает все его *сокровенные* мысли, т. е. очевидно *свои* мысли, что это сам Войтинский умирает... У читателя и читательницы навертываются слезы («о Войтинском»), и он не замечает, не в силах заметить, что Войтинский пишет повесть в «Русском Богатстве», что он не умер, никем не повешен и, вообще, со стороны автора все благополучно, и только некоторое неблагоприятие грозит увлеченному читателю. Но об этом потом...

Следует письмо к отцу и матери. В противоположность русским, у которых «отцы и дети» рассорились и «отцы» пошли по черной дороге, живя в распутстве, обмане и эксплуатации низших и окружающих людей, вообще все суть «деспоты», черные люди и дьяволы, – у евреев и «отцы» все белы, ангелообразны, и вообще те между собою «не ссорятся». Оказывается, «Павла» отец и родил и воспитал не для имения себе потомства, как весь чадородный Израиль, а именно родил, воспитал и благословил для русской виселицы. «Милый отец! – пишет Павел. – Меня действительно приговорят к смертной казни. Но, конечно, я не участвовал в том несправедливом деле, за которое меня судят. Но я решил, что не нужно опровергать эту ложь. Все равно. Я спокоен и счастлив. Передай же матери, что ты видел меня спокойным и счастливым. Да и ты будь спокоен и счастлив за меня. Отец! С малых лет ты учил меня правде и добру. И когда я ушел от тебя и этим огорчил и тебя и мать, я шел делать то, чему от тебя научился. Я не сворачивал с прямого пути. Разве лучше было бы, если бы я свернул с дороги, которую ты мне указал, и остался бы жить? Нет! Ты сам скажешь, что – нет! Моя последняя мысль, отец, глубокая благодарность тебе за то, чему ты меня научил».

Известно, что у чадородных и добродушных евреев всегда рождаются кроме сыновей и дочери. И Павел пишет о сестрах:

«У тебя, отец, остаются дочери. Пусть и они не горюют обо мне. Объясни и расскажи им все. И как учил ты меня, так и их учи правде... Передай им и матери мой поцелуй... Конец уже близок... Прощай же, отец! Благодарю тебя за то, что ты дал мне жизнь и указал путь. Целую тебя».

Так среди поцелуев умирает любвеобильный Павел, и читателю дается понятие или дается ожидание, что сестры его не будут сидеть около кассы в аптекарском магазине, а тоже пойдут страдать за русскую свободу.

* * *

А вот – девушка, в озарении всех красок природы и героической борьбы. «На мрачном фоне тюрьмы с особенной яркостью сверкала в лучах летнего солнца цветущая красота женщины с ребенком. Золотистые волосы, лучистые ясные глаза и печать сдержанной грусти на нежных устах... В ее грусти, в глазах, во всем ее облике светилась сильная и смелая душа. Ее ребенок беззаботно играл на земле у решетки с котенком. А мать, измученная ожиданием, стояла неподвижная и прямая, как статуя, слегка опираясь рукою о железную перекладину ворот».

Просто – рисуй. И, главное, ни одной веснушки на лице. Откуда такая красота берется, и все сплошь?

«Если бы я не знал этой женщины, – восторгается г. Войтинский, – все равно я не мог бы пройти мимо нее, не остановившись, – так прекрасна была она, и так много говорила ее печальная неподвижная фигура рядом с беспечным ребенком в воротах угрюмой тюрьмы».

«Но я знал ее, как знал и того, к кому на свидание приезжала она в тюрьму. *Ego* (это не «Павел», а другой: «Павел», как помнит читатель, приговорен к смертной казни), – *ego* я знал как человека рыцарски-благородного и смелого, детски доверчивого и правдивого. Еще долгие, долгие годы предстояло ему томиться в каторге, и надежды живым и сильным выйти на волю у него не было. Печать обреченности лежала на нем. И не только физическая хрупкость и слабость его создавала это впечатление. В духовном облике его было что-то чистое и хрупкое, что делало его неспособным вынести лишения и гнет тюрьмы. Где могли уцелеть другие, более грубые, менее чистые, чем он, там он должен был погибнуть. Обреченность была написана на его глазах. Тюрьма должна была стать его могилой».

Он еще не умер, но Войтинского это не задерживает. «Все равно». И он дописывает: «И к этой могиле осуждена бесконечные годы (!!!) приходиться его жена и мать его ребенка».

Кто любит *что есть* – любит его *таким, каково* он есть. Для любящего представится чем-то кощунственным переиначивать действительность, прибавлять, украшать. Как *переменить* дорогой образ? Страшно. Значит, отказаться от любви. Нет любви. Смотрите, как много *некрасивых* лиц в «Войне и мире», некрасивых и физически, и даже душевно: не очень умных, не всегда храбрых. Кутузов – лжив, половина генералов не очень остроумна: и на фоне их мы верим как *достоверному* портрету Багратиона или

портрету простеца-капитана Тушина. И то же у Толстого в «Очерках Севастополя». По этому присутствию обыкновенной живописи или, вернее, — обыкновенных лиц мы и черпаем дивную в *правде* своей живопись Толстого и всемерную любовь его к двум военным нашим эпопеям, севастопольской и 12-го года. «Не смей переменять правды» — это как «не порти образ Божий» — иконописцу. И дееписатель, будь он историк или повествователь, хорош, когда рисует с «подлинника», когда он строгий «иконописец».

Поэтому, есть что-то *безжалостное* у Войтинского (без сомнения, — еврей: он пописывает статейки в мелких южнорусских еврейских газетах, «Одесских Новостях» и «Киевской Мысли»), когда он заполняет все полотно своих «Призраков» сплошь красавцами и красавицами, ставя их в интересные позы, то «опирающиеся на решетку тюрьмы», то о «перекладину в воротах тюрьмы». А если это существо женского пола, то непременно «ребенок у ног» и для полноты идиллии «играет с котенком». Откуда и котенок взялся? Но у олеографии всегда найдется «где взять».

Безжалостная олеография. Ибо в тюрьме-то все-таки трудно. Нет, я нарисовал бы их некрасивыми, хмурыми, раздраженными, которым не до «разговоров в присутствии Войтинского», не до «опирания на решетку» тюрьмы и уж во всяком случае не до «котенка».

Безжалостный г. Войтинский. Безжалостное «Русское Богатство».

Тот Каменев, коего стихотворную поэму «Громвал» я списывал мальчиком 11 лет с такою верою, любовью и надеждою, хотя и не понимал ничего в ней, — был на самом деле действительным статским советником, носил на шее орден и через плечо ленту, никаких ровно «зámков» не видал и совершенно никакими рыцарями не интересовался. От этого-то именно равнодушия к самому делу и проистекла невыносимая ерунда в его «повести в стихах», до полной невозможности разобраться, кто на кого нападал и отчего произошло самое сражение. Каменеву легко было нагородить, что «гром гремит» и стояла вечно почему-то «тьма», ибо это вещи — бездушные. Но как только он переходил к человеческому лицу, так не мог вообще ничего написать, кроме как: «сражались *черные и белые*», «*дьяволы и ангелы*».

Мы видели у г. Войтинского белых; посмотрим черных. Они, как и у Каменева, — стучат мертвыми костями. Буквально на странице 22 его «Призраков» напечатано: «И вдруг впивается в мозг уродливая мысль: это стучат мертвые кости, *кости покойников*, кости погибших, *замученных здесь*, в этих стенах...» Между тем дело очень просто: никто никого не мучит, но утром в служебный час помощник начальника тюрьмы и «усатый фельдфебель с *жестоким*, вздрагивающим лицом, производят по спискам проверку арестантам, — отпущенным, оставшимся, переведенным в больницу и т. п. «А помощник звонко и ловко щелкает на счетах; и, как *чьи-то зубы*, четко и мрачно стучат и лязгают костяшки на проволоках».

Что же, г. Войтинский хочет уверить нас, что не было вовсе ничего того, о чем читала вся Россия, читала и читает непрерывно уже сорок лет и чем наконец «в других отделах» подобной журналистики, в отделах политическом и публицистическом, а не беллетристическом довольно откровенно даже хвастают: что все трепещет перед взрывами, выстрелами и пр. и пр. этих людей, которые в числе немногих десятков или сотен лиц навели ужас («террор») на все правительство и государство. Г. Войтинский представляет все дело вовсе не так: паук похватал «нежных и хрупких» юношей и девушек, «с ребенком и котенком», которые решительно ничего не совершали, «а оправдываться презирали», — и мучит их.

Вот эти мучения невинных.

«Заставляют разуться, опуститься на пол и протянуть обнаженную до колена ногу на холодную, липкую наковальню».

Это заковывают. И сейчас: «Вот начинает *сочиться кровь* из-под железных скоб, и красные капли медленно стекают на пол... В этих *впивающихся в тело* железных цепях есть что-то чудовищно-унизительное, бесчеловечное. Мы, закованные, — больше не люди».

Но г. Войтинский — не только человек, но и фельетонист.

«Вспоминаю тюремные прогулки. Как *звери в клетке*, кружились мы в тесной проволочной загородке у тюремной стены, а с четырех сторон были часовые».

Когда после выпуска на свободу из Шлиссельбурга крепость позволено было осматривать и я посетил места заключения знаменитых ветеранов революции, то видел между прочим и маленькие огородики с грядками, где им разрешено было заводить свое хозяйство; специально видел грядку Веры Фигнер; видел горшки из-под цветов, теперь за уходом хозяев брошенные в сарай. Помещения или тюрьмы, конечно, печальны тем, что в них человек отделен от всего света: но ведь на это, а не на меньшее, они и шли, к этому предназначили себя. «Выбор» и «решение» во всяком случае не был неизвестен. Но самые «одиночки» представляли собою нечто более культурное, чем где живет большая часть русского народа, т. е. чем крестьянские избы. А как выражение очевидной *мягкости* отношения к заключенным и *заботы* (настаиваю на душевной о них *заботе*) — служила последняя комната, уже не тюрьма. Здесь была сложена на полу библиотека их: книги занимали всю комнату, не очень большую, но и не малую, приблизительно на аршин от пола высоты, т. е. здесь было более тысячи книг. Было множество по механике, технике, ботанике, вообще по «физико-математическому факультету». Я прошел дальше, всмотрелся в книги. Кой-какие были развернуты, вообще книги были «в свалке», но очень благообразной. Много было журналов: и я положительно поразился, увидев открытую книжку «Русского Богатства», открытую как раз на статье Михайловского. Уверяю честию, что я ни слова не выдумываю. Таким образом, Карпович, студентик, убивший Боголепова, мог читать, вероятно, любимого своего писателя. Бесспорно, русское правительство, как везде и во всем, с одной стороны, довольно

распущенное, зато, с другой стороны, в отношении политических врагов своих, и притом таких кровавых и жестоких («террор»), является благодушным, прощающим (относительно) обиды и – заботящимся.

Г-н Войтинский, конечно, все это знает еще гораздо лучше моего. Но «Каменев» не был бы «Каменевым», если бы не сочинил «Громвала», а ложноклассические и ложнореволюционные писатели не были бы таковыми, если бы одни и другие не сочиняли вещей, ничего общего не имеющих с реальной действительностью. «Принцесса» не просто сидит под замком, а «меланхолически томится», и непременно заперта она «злым волшебником»; политические преступники, кого-нибудь убившие или во всяком случае покушавшиеся и порывавшиеся убить и убивать, не просто и позитивно «заперты в комнату», т. е. многолетний или пожизненный карцер, уединяющий их от общества, в котором и сами они не хотят жить, но 1) ничего другого, кроме прогулки по Невскому проспекту, не совершали и 2) мучимы, кусаемы и испускают кровь под укусами тарантулов, скорпионов, змей и чудовищ, имеющих только ложный человеческий вид.

«Парами, длинной, бесконечной (!?) вереницей, как то особенно медленно ходили они внутри своей загородки. При каждом шаге *бряцали цепи* у них на ногах. И на руках у них тоже *висели цепи*, и потому руки у них, – у всех одинаково, – были бессильно и *безжизненно опущены* к земле... Все фигуры казались понурыми, хилыми, будто жестокий приговор придавил каждого к земле... Бледные, серые лица, *потухшие глаза*, неуверенный, короткий шаг, *опущенные головы*, неподвижно повисшие руки, согнутые плечи и спины... Будто *мертвецы* вышли из гробов и обходят двор тюрьмы, обходят место своей прежней муки, совершая *таинственный обряд проклятия* (!!!)... И это называлось прогулкой» (стр. 24).

Ужасно скучно – да! Чертовски скучно – да! да! да! Это – *есть*. Но собственно единственно *скукою* и наказывает новое государство своих врагов, притом врагов смертельных и кровавых, если они не присоединили к политической вражде определенного уголовного преступления, *убийства* или *разбоя* (вооруженная экспроприация). «Одиночное заключение» адекватно «смертельной скуке» и ничего еще кусающего не включает в себя. «Враги общества» лишены этого «общества» – и только. Но ведь нельзя не сказать, что к «лишению общества», к «разрыву с обществом» сводится весь смысл их борьбы, все тезисы их теорий. И они получают просто «свою *цель* в чистом виде». Иное дело, если в самой тюрьме они ведут себя, как герои и господа положения, как победители: их просто усмиряют. Они порываются и *там* – убить, сломать, убежать. Все это – физические вещи, и им показывают, что физическая сила не на их стороне. Но все это доведено до *максимума* рационализма, позитивизма и даже (я убежден) гуманизма, сверх которого следующим шагом был бы просто отказ от борьбы, ненаказывание преступлений, отмена вообще суда. «Делайте что хотите», «убивайте и грабьте», «отменяйте Россию», уже в сущности отмененную, и основывайте на ней «классале-бебелевский строй»... Только ведь известно, что, когда «увод лошадей» почти не наказуется начальством или

слегка наказуется, тогда мужики употребляют «свои средства». Дальнейшая или полная отмена наказаний за борьбу «против государственного строя» может вызвать именно обращение населения к «своим средствам», картина которых едва ли бы походила на теперешнее «наказание скукою».

Ну, а очень скужающий человек действительно имеет «опущенный вид». Вот это одно и видел г. Войтинский. Чего же он кричит ложно-классически:

«Вижу вампира, высасывающего каплю за каплей кровь из своих жертв»... (стр. 29).

«Вижу плесень тюремных стен»... (там же)... Бог с вами, Войтинский: они все имеют амосовское отопление, сухи и вообще «по последнему слову науки».

Помощник начальника тюрьмы рассортировывает письма заключенным. Можно бы спасибо сказать, да и порадоваться вообще, как люди радуются «пришедшей почте». Но не таковы риторы римские, греческие и жидовские:

«Мелькали в его руках конверты белые, цветные, большие и маленькие, с адресами тонким бисерным почерком или мужицкими каракулями (все заметил позитивист, или ничем не пренебрег ритор: «Сострадают нам женщины и простой народ»). И вдруг мне показалось, — это льются через руки *вампира* слезы людские, слезы матерей, жен и невест, тоскующих там, за тюремными стенами... И я все думал одно: это льются с воли в тюрьму бессильные слезы в ответ на невыносимые жалобы, невыплаканные слезы, заглушенные, скрытые в стенах тюрьмы».

«Ложноклассический стиль» всей нашей революционной литературы давно замечен всеми, но стоит над ним задуматься. Откуда он? Что такое? Кто они такие, взывающие, плачущие и стонущие столь холодными и холодными словами, слезами и воплями? Отчего так мало человеческого и всюду этот медный звон пустого колокола или турецкого барабана?

Попробую всмотреться в детали. Прежде всего, кто он, «г. Вл. Войтинский», что вздумал повторять над своим произведением заглавие тургеневских «Призраков»? Тогда другому революционеру-писателю ничего не будет стоить написать от себя глупость и подписать ее: «Корделия», «Король Лир». Что вообще за переодевания? Так революционеры Бог знает до чего дойдут, и где тут плагиат, и где глупость — нельзя разобраться. Но всмотримся же еще и еще.

Больше всего расписывает Войтинский самого себя. «До того я был благороден, что просто сам себе удивляюсь», — сочится из каждой страницы его «Призраков».

«Когда я входил в тюрьму, то в *первые годы неволи* (это прошу заметить читателей для последующего) мне казалось, что в моей холодной решимости, в *готовности умереть* (тоже заметьте), в этом гордом одиночестве, в этой свободе — моя сила, мое счастье»... «Меня не могут унижить»... «Я готов был презирать того, кто мучится в тюрьме» (стр. 31)... Просто не человек, а английский боевой петух. «Я готов был отказаться от своей гордой силы и идти навстречу всем мукам, какие только несет человеку лю-

бовь» (непонятно)... «Обступили меня бледные тени людей, которых я готов был презирать за их слабость и муку. И нет уже в сердце презрения к ним» (кто и что – непонятно).

Мрак сменяется нежностью:

«Образ женской любви, превратившейся в подвиг и муку. Нежный цветок, смятый грубым насилием жизни. Чистое сердце, полное любви и пронзенное ржавым железом решетки!»...

Все без сказуемых. Просто – задыхается человек. И так как тут все прыгает перед автором «цветок любви», кажется оставшийся временно без мужа, то приходит на ум стих Некрасова, предостерегающий порывы молодости:

Хорошо поет, собака,
Упоительно поет...
Только это – против брака.
Не нажить бы нам хлопот.

Перелистываю листы... Всматриваюсь в мелочи, подробности, пытаюсь зацепить что-нибудь фактическое. Нужно заметить, Войтинский *сразу* рядится во все костюмы, и это-то и есть, конечно, признак «ложноклассического стиля», где сразу все на всех приходится, ибо ни под чем нет натуры. Войтинский то нежный Ромео, то мстительный Отелло, то величав, как Лир, или честолюбив, как Макбет. Вот здесь он Макбет, и почти леди Макбет:

«Товарищ, приговоренный к казни, попросил меня уступить ему *яд, который я берег для себя*. Я колебался. Затем сделал опыт: выломал кусок стекла из окна и глубоко разрезал себе тело рядом с артерией. Убедился, что стекло входит в тело так же легко, как сталь, что и без ножа легко вскрыть себе жилы, что и без яду я сохраняю власть над своею жизнью. Только тогда я *расстался с ядом, который хранил для себя*» (стр. 31).

Вовсе не «глубоко разрезал себе тело» г-н Войтинский. Очень не глубоко. Это «варшавский разрез», как есть замечательные варшавские часы в 12 руб., с «вечным ходом», а на самом деле идущие не более двух месяцев. Дело в том, что на странице 24 Войтинский говорит:

«Две загородки были сделаны во дворе, у противоположных стен тюремной ограды. *Мы, краткосрочники*, гуляли у западной стены, а одновременно с нами, у восточной стены, ходили вечники».

Вот в чем дело!! Друг мой, зачем ты кричишь: «Подайте кинжал, я захочу зарезаться», когда тебе нужна только оловянная пуговица для панталон, чтобы прилично выйти и прилично показаться людям. «Нэкаких кинжалов! Нэкаких стекол! Нэкаких ядов!» – как сказал бы армянин. Варшавская подделка, как и вся наша революция. Отсюда, в сущности, бодрый тон «Призраков». Это Тургенев мог грустить, а Войтинский потирает руки:

«Сколько бы виселиц ни воздвигали люди, все же не умрет красота жизни! Все же прекрасна жизнь... Не победят смерть и насилие никогда, ибо гасители света и жизни над жизнью не властны. В их силах лишь снова, и снова, и в тысячный раз повторить Голгофу...»

Как это у Крылова говорится:

В зобу дыхание сперло...

«К жизни, к борьбе, к бодрой вере и радости зовет меня образ добровольной Голгофы. К вере и к радости зовут меня и те вечные нити, которые в муке спасают жизнь мира».

Вспоминает барышню:

«И тот образ чистейшей красоты и любви, который всего ярче горит в моем мире грез и видений» (стр. 34).

Еврея не поймает. Еврея никак не поймает, особенно варшавского. Говорит о яде, кинжале и стекле, но в то время, как публика убивается о несчастном, он спокойно сидит в партере с барышней и сам смотрит на свою эквилибристику. Кричит о себе: «Он пропал! вампир высосал из него кровь», а на самом деле приносит Короленке и соотечественнику Горнфельду «этиод под Тургенева», который оплачивается, как и всякий хороший этиод. Это наивные русские, выросшие в отвратительных семьях с жестокими «отцами» («Отцы и дети»), попадают в «вечники», исполнив по поручению какого-нибудь Гершуни, Гоца или Азефа что-нибудь «в самом деле», но благородные дети благородных еврейских «отцов» уклоняются в «краткосрочники» и затем всю жизнь уже благополучествуют, имея репутацию и кое-как владея пером. Такому «краткосрочнику» из «прикосновенных к делу такому-то» уже редактор газеты или журнала не решится отказать в приеме рукописи. И он всю жизнь будет строчить о своих «переживаниях», о тюремных «впечатлениях», имея промысел, хлеб, положение в обществе и кой-какую известность. «Промысел готов». «Войтинский готов». Через двадцать пять лет будет даже праздноваться его юбилей, и тогда все еще раз повторят, что он «страдал». У страдальца к тому времени отрастет брюшко, он весь вообще округлится и обмаслится. Революционные «милые образы» пройдут и, может быть, останутся в обычном женском «несчастье», а сам он устроится положительным образом с положительной Сарою и будет рассуждать с нею:

«Знаешь, русские вообще и даже их правительство не так дурны, надо уметь только с ними обходиться. Разумеется, правительство хватает, кого ему подсовываешь, но кто если не очень суется, все обходится гладко. Нужно уметь делать дела: но, голубчик мой Сара, где же можно обойтись без умения делать дело? В Германии и Англии гораздо хуже, т. е. гораздо тяжелее. Там с нами вежливее, но нас сторонятся, вообще, стараются с нами не завязывать дел, не впускать в свои дела нас. Там еврею очень тяжело живется, даже в числе нескольких сотен тысяч людей. А в России нас восемь миллионов, т. е. почти вся масса, главная масса. Только проклятая черта оседлости мешает. Но поверь мне: без черты оседлости, т. е. допусти Россия расселиться по ней всем восьми миллионам, в Россию перекочевали бы все евреи из Германии, Англии, Италии и Франции. Среди очень культурных и осторожных рас нам трудно. Дел нет, гельда нет, чести нет. Русские народ хотя и грубый и, как среди всяких дикарей, нам иногда приходится круто среди них, но это воз-

награждается с избытком потом. Разоряются и европейские концессии в Китае, — и все-таки в Китай европейцы едут и будут ехать. Дела есть, гелдь есть. Нигде в мире евреи не делают таких богатых, успешных и славных дел, как в России. Адвокатура, медицина, больничное дело, аптекарское дело, наконец, даже газетное дело, книгопечатное дело и, наконец, необъятные и исстари русские дела, как хлебное и лесное, перешли к нам более чем в составе пятидесяти процентов. И, тетелз, ведь мы направляем и мнение страны... Посмотри: русское правительство, русская школа никак не умели справиться с «русским мнением», — никакими усилиями, строгостью и суровостью. Но вот прошло едва ли двадцать пять лет, как появилось в России «еврейское мнение»; и никто не решается его оспаривать, никто не дерзает восставать против нас. Мы приласкали этих неукротимых, и они стали у нас шелковыми. Медведь более не ревет, а лижет ручки, как комнатная собачка. Мы их объявили самыми талантливыми, великодушными и справедливыми, и теперь они готовы за отмену черты оседлости хоть распяться. Мы сказали, что эти увальни и лентяи были бы первым в мире по богатству народом, если бы их не обижало правительство: и они его ненавидят, как индусы англичан. Мы сострадаем им, как райе в Турции, как быдлу в панской Польше: и теперь просто каждый русский гимназист готов броситься с ножом на исправника или полицеймейстера. И бросаются, тетелз, бросаются и погибают за нас, — это действительно великодушный народ. Ты же, Сарушка, знаешь, что Бог дал нам великий инстинкт господ, а русским дал замечательный инстинкт рабов. Мы им отлично разработали христианскую идею и всех воодушевили мыслью о политической Голгофе... Ха! ха! ха! И предложили лезть на Голгофу... Помнишь и мои молодые «Призраки»... Лезть, лезть: и надевать терновый венец... Ну, а уж мы постараемся о трости около этого христианского раба, когда придет время... Оно придет, Сарушка! Придет если не для детей наших, то для внуков... Кажется, ведь мы с тобой мечтаем и о внуках, потому что детям нашим уже пришло время тоже множиться».

И Сарушка стыдливо потупит уже немолодые глазки.

Так, или приблизительно так, говорят и думают Войтинские, Изгоевы, Горнфельды, Кранихфельды и бесчисленные «зоны» и «соны» в русской литературе, в русской «общественности» и в многочисленных аптекарских магазинах...

Но, господа: «человек считает, а Бог располагает». Не спешите, не топитесь и не упадите.

ЛЕВИН ИЗ «РЕЧИ» О ЖЕСТОКОСТЯХ РУССКОГО СУДА

В том и разница между революцією и обыкновенным «порядком вещей», который включает в себя и государственность, и быт, и церковь, в их сложном и почти неуловимом сцеплении, — что «в обыкновенном порядке» всегда было, есть и навсегда останется самосознание в себе дурного, печаль о

своих ошибках, громкое исповедание «дурных людей» в составе своих слушающих и «дурных поступков» в своей истории, а революция и революционеры чужды на протяжении всей истории, уже не коротенькой, какого бы то ни было сознания тоже «греха» в себе, например жестокости, например пошлости, например тщеславия, например хвастовства. И проистекает это, как кажется, именно от бедности входящего в революцию материала, от *однотонности* и *единосоставности* революции на всем ее протяжении. «Всего одна мыслишка», от которой ни вправо, ни влево нêкуда повернуться. Революция исчахла, как бедный и больной человек. Все «народ страдает», «человечество страдает», и надо «что-то ниспровергнуть», а конкретнее – «кого-то убить», чтобы страдания не было. Гаршин в болезненной мечте о «красном цветке», в котором сосредоточено все страдание мира и который безумный больной человек силится и протягивается сорвать, выразил душу и идею революции с такою глубиной и всеобщностью, которую можно принять за предел точности и полноты. Но и он сказал: «Это – больной, это – маньяк». В сущности – и Гаршин говорит, как многие теперь догадываются: «Это – сумасшедший».

Достоевский, заговоривший о «бесах», вселившихся «в человека», т. е., в сущности, тоже о сумасшествии, говорит не иное что, как и Гаршин. Только он добавил: «Берегитесь – это *грязные бесы*». Разоблачения Бурцева и вся деятельность Азефа, – бесспорно *настоящего революционера*, революционера по психике своей, революционера по нигилизму своему, революционера по космополитизму своему, – показали, что действительно не все так «безумно красиво», как представилось болезненному уму Гаршина; а все именно «бесовщина, пороки и грязь». Но оставим эту моральную сторону и перейдем к *сложности состава*.

Левин из «Речи», вслед за Пешехоновым из «Русского Богатства», обширно цитирует, «изобличая», известную и прекрасную книгу *генерала и военного судьи* А. В. Жиркевича: «Пасынки военной службы. Материалы к истории мест заключения военного ведомства», – совершенно не замечая в узком революционном уме своем, до чего их ссылка на эту книгу и цитаты из нее говорят против революции и против них. Книга исполнена *фактического раскрытия* и *морального негодования* ветерана старого строя на все то, что в качестве военного судьи ему приходилось наблюдать, видеть жестокого, измывающегося, грубого в судьях и в судебных заседаниях, как над обыкновенными уголовными преступниками военного строя, так, между прочим, и над политическими преступниками. Полным ртом, громко и с крыши, *генерал-майор* рапортует строго и деловито всей России, всему читающему люду, самому военному ведомству и, наконец, братьям по военному суду о тех жестоких и иногда сладострастно-жестоких офицерах-судьях, генералах-судьях, с какими его сталкивала служба. Что же, поднялся ли вой негодования в старом строе? Сорвали ли с него эполеты, как с военного и генерала? Закричали ли: «Клевета! Ничего подобного не могло быть и не было», «он передался революционерам!», «он – изменник!» Нет,

и даже поразительное нет; генерал *бесконечно верит* в доблесть и благородство своего отечества, ни на минуту не допускает мысли, что отечество никогда не измывается и *не хочет* измываться над виновными, даже над этими исключительными врагами своими; и что передаваемые им случаи *злоупотребления лиц*, а не принцип правительства!! В полной этой вере он подносит свою книгу Государю Императору и получает от Государя Императора благодарность за нее. Он не ползет, не мяукает, не ищет щели, куда спрятаться. Он – военный.

А революция или, скорее, революцишка вся в щелях и мяукает, как побитая кошка, бросаясь в бешенстве на этот военный строй военного государства и, конечно, отскакивая от него или разбиваясь об него, как мелкое злое животное о стену высокой человеческой постройке... Да, да, да! «Обыкновенный порядок вещей», включая в себя не только военный строй, но и церковь, включая себя и нас, «простых обывателей», с грешками и удовольствиями, слабых и *сознающих себя* слабыми, порочными, увлекающимися и т. д., и т. д., этот неизъяснимо сложный строй, конечно, неизмеримо человечнее, мягче, благороднее революции. И от одного того, что он не так сух и горд, как она, не так «от рождения праведен»... Укажите мне в революции генерала Жиркевича, т. е. укажите мне высокопоставленного революционера, вроде Плеханова, князя Кропоткина, вроде Веры Фигнер или Веры Засулич, которые, не переставая насколько быть революционерами и не меняя убеждений, рассказали бы громко вслух всей России и Европе о дурных ничтожных личностях в составе действующей революции и в актах самого действования, в актах именно революционных, именно покусительных. Между тем Савенков-Ропшин ведь обмолвился в «Коне бледном» о «мастерах красного (т. е. кровавого) цеха», подвизающихся в революции, но рассказал не как генерал Жиркович, с негодованием, а, напротив, рассказал с полным одобрением, с защитой этого красного цеха. Т. е. как бы генерал Жиркевич, рассказывая о случаях жестоких и измывающихся над подсудимыми судьей, сопровождал все это таким тоном: «Вот они, наши молодцы, – никакой жалости к осужденным не испытывали, а говорили в себе: что ты там ни болтай в последней речи и как ни ругай правительство, тебя, однако же, повесят». Так ведь согласитесь сами, что есть же разница *говорить в себе* и передавать свои холодные и жестокие чувства в разговоре с товарищем по ведению заседания (т. е. генералу Жиркевичу) и – совершать дела красного цеха, т. е. убивать, взрывать бомбами, вонзать кинжал. Степняк-Кравчинский передает в своей «Подпольной России», что он всю жизнь хранил и любовался на тот кинжал, которым убил генерала Мезенцева, – и передает, что чуть не заплакал, когда он случайно сломался и его пришлось бросить. А как Новодворский с товарищем убивали ломачи Судейкина? Они убивали его именно, как собаку или как живучую кошку. Раз удар – не убили; два – удар, по голове – не добились. Тот заперся и держал дверь отхожего места: они оттянули дверь и раз по голове, раз по голове! Зверство этого боя ни с чем не сравнимо и неопишимо, – и я даже в

преступлениях Уальд-Чепеля, в «Шерлок-Холмсе», т. е. в злодеяниях самых ужасных преступников Лондона, последнего там отребья воров, убийц и мерзавцев, не читал о равном по жестокости убийству Судейкина, которого ведь можно было сразу застрелить или сразу пронзить ему сердце кинжалом. Но «сразу»-то и не входило в мысли мастеров красного цеха: надо было час убивать (борьба и длилась с час), все ломом (что за орудие!), все по голове, да по плечам, да в спину. «Подохни, собака, особой, собачьей смертью». С риском, что он может вырваться в дверь, выскочить в окно, что могут войти (час времени около 4 часов дня). А попытки взорвать поезд, с массой гибнущих невинных? А взрыв бомбы в Севастополе, кажется, именно Савенковым, с разможенными детскими головками? А «какой-то мальчишка-разносчик, корчившийся в крови» на Екатерининском канале, где эти волки растерзали старого Государя.

Нет, конечно, все эти жестокости и измывания, в сущности исключительно психологического характера (кроме ошибок), о которых рассказывает генерал Жиркевич в своей книге, – только тюлевый роман около действительной, страшной плахи, на которой палач-революция казнила и казнит... «нашу обыкновенную действительность». Это она, революция, – в красной рубахе и с топором... И какое могучее «тише» около нее, какое «не смей критиковать и сознаваться! Не смей каяться и сожалеть врагов»... Что на эти мои *справедливые слова* могла бы ответить Вера Фигнер? Почему она никогда не сказала: «Господа, мы были, бывали жестоки». «Господа – и у нас не без греха». «Господа, мы чересчур». Да. Она не скажет. А ведь она участвовала в подкопе около Москвы, когда хотели свалить целый поезд.

Тогда семь-то целковых, с запиской уплатить молочнице за молоко, они оставили на столе, чтобы показать Европе свою «честность в семи рублях». О, подавитесь вы своими семью рублями, – волки, волки и волки!! В такую минуту, когда будут кости трещать (они были уверены, что взрыв произойдет), они холодно и люто рассчитали, что вся Россия и Европа содрогнется от восторга, что они не забыли уплатить бедной молочнице 7 рублей. Бедной молочнице 7 рублей – в этом вся революция, с ее крошечным мозгом, с ее напыженным тщеславием, с ее сердцем Плюшкина... И когда, когда еще был случай, чтобы они забыли похвастаться. Убийство Судейкина, кажется, раз семь было рассказано в «Былом». «А мы его ломом по голове»...

Нет! Они не считают костей и голов. У нас есть генерал Жиркевич, который сказал: «Дурно». Он – обыкновенный генерал, как «все». «Служака старого строя». И золотого сердца, как у этого старого генерала, *военного судьи*, – нет у героини революции, все-таки, казалось бы, женщин.

И это решает все:

Да, да, да, – при всех ошибках, глупостях и *личных*, никогда *принципиальных* жестокостях, наш строй добрее революции.

Революция – зла, даже в героях, ее «святых» и в ее женщинах.

Возьмите же вы свои 7 целковых назад. Не нужно их русской молочнице. Съешьте на них конфетку в Париже и оставьте Россию в покое.

К ОТКРЫТИЮ ПАМЯТНИКА П. А. СТОЛЫПИНУ

Сегодня открывается в Киеве памятник Петру Аркадьевичу Столыпину, воздвигнутый любовью и уважением народным первому нашему министру-гражданину и вместе мученику русской национальной идеи, русского национального пробуждения и движения. Увы, это роковая сторона истории, роковая сторона души человеческой и ее слабой памяти, безвпечатлительной памяти, – что благородный образ «служилого человека» только тогда крепко входит в людское воспоминание, когда он закапан кровью, когда он запечатлел служение долгу и своим убеждениям смертью. «Помните Финляндию», – говорил он незадолго до смерти. Но мы «помним» не одну Финляндию, а и Польшу, рьяно поднявшуюся против выделения Холмщины в отдельную губернию, т. е. попросту поднявшуюся против освобождения православного населения этого края из-под католического и польского угнетения; «помним» и евреев, тревожно закричавших стоустой печатью, когда покойник стал делать первые шаги к национализации государственного кредита, к освобождению основных предметов русской торговли из цепких еврейских рук. У России столько врагов, и притом кроваво-злых врагов, что глава правительства, положивший ближе всего к сердцу русские интересы и русское достоинство вообще, не может надеяться долго прожить и «мирно окончить живот свой». И П. А. Столыпин не не знал об угрозах себе, – не не знал о том, что его правдоподобно ожидает. Имена и адреса темны, и темен час постигающего несчастья, но самый смысл несчастья совершенно ясен человеку, который в такой мере, как покойный Столыпин, шел прямым шагом к твердой цели. Но он шел и не останавливался, потому что в груди его горел идеал, совершенно закрывавший сче́ты о себе, о своей жизни, о своей безопасности и удобствах. «Вам нужны, – говорил он в памятной речи в Г. Думе, – великие потрясения, а нам нужна *великая Россия*». Этот-то идеал «великой России» горел в его душе; и на носителя этого идеала кинулось ровно столько людей, скольким «великая Россия» противна, ненавистна, отвратительна и несносна и по эгоистической мелкой природе их, и по тому, что Россия вообще для них является и, по их мнению, должна являться лишь ареною личного хищничества, личных приключений, личного разгула. По взгляду таких людей, Россия есть только условие и обстоятельство «личной жизни», без права представлять какую-то самостоятельную свою ценность, самостоятельный ум и волю. Несмотря на постоянные разглагольствования в нашей печати и в нашем обществе о «гражданине» и о «гражданстве», на самом деле у нас всего этого даже не зарождалось: ибо что же такое «русский гражданин», если из него выкинуть слово «русский»? Между тем с откидывания от себя слова «русский» начинаются все наши дебаты и разговоры о недостатке в России «гражданского сознания», «гражданского достоинства» и «гражданской свободы». Можно подумать, что все бедные русские, начавшие историю свою с Юрия, находятся в смятении, что им недостает

чего-то бердичевского, что они недостаточно пропахли запахом *juif errant**... В это легкомыслие и поистине гражданскую невоспитанность Столыпин вошел своею смелою фигурою, — вошел как не первенствующий, но благородный дворянин старой крови, — и около него сейчас же начало перекристаллизовываться русское самочувствие. В гибкой, талантливой, во всем разубедившейся и ни в чем не убежденной России, окрестившейся или, лучше сказать, раскрестившейся в «нигилизм», — Столыпин сыграл огромную роль никогда не поддающегося человека, слово которого всегда было твердо и веско, а действия не знали уклонов, колебания и вилянья. И вместе он не был нисколько упрям и своенравен. Он представлял собою чрезвычайно редкий у нас экземпляр человека твердого, спокойного и уравновешенного. Сильные характеры у нас разворачиваются в самодурство, в вознесение своего «я» над всем и в ломку окружающего. С другой стороны, тихое и благородное уж слишком тихо и наивно, все только жалуется, и бессильно жалуется, или уходит в беспредметную лирику... Столыпин был в этом отношении редким исключением. В нем было что-то древнестроительное, потому что в старину русские умели строить, потому что это лишь в «беспочвенную» эпоху после Петра Великого русские стали выражать свои идеальные черты в бессильной жалобе и лирическом слове. И эти качества его души и характера мы не можем не отнести, как к своей причине, к тому, что он был провинциал, урожденный «земец» по месту первоначального и долголетнего труда своего, службы своей, своего воспитания (Московский университет). Вообще в Петербурге он был пришелец; но и Петербург скоро оценил и почувствовал эту провинциальную силу. Около его речей, его действий, не резких, не вызывающих, но твердых и устойчивых, стало собираться все, в чем были начатки национальных чувств, в чем бродила антипатия или утомление к космополитическому характеру русской политики и русской исторической жизни. Поэтому-то к нему и идет имя «министра-гражданина». Будучи главою административной машины, он всего менее являлся только мастером своей машины, всего менее он был отвлеченным механиком. Общество в лучших гражданских и русских частях своих чувствовало в нем «своего человека». Он был не по форме и закону, а по духу «конституционный министр», ибо масса русского общества и люда чувствовала в нем своего «уполномоченного». И это чувство, передаваясь министру-гражданину, укрепляло его ноги. Как «уполномоченный» нравственным доверием страны, он шел без колебания по этапам национальной политики.

Укрепление землевладения и укрепление конституции, через выборный закон 3 июня, останутся навсегда памятными в нашей истории и всегда будут связываться с именем Столыпина. В сущности, Россия пережила не столько революцию, сколько анархическое движение. И это анархическое движение питалось корнем землевладельческой расслабленности, землевладельческой расшатанности, которая с отмены крепостного права властно

* вечный жид (*фр.*).

водрузилась в «общинной деревне»; а с другой стороны, она питалась через неосторожный, можно сказать, «пробный» выборный закон, управлявший выборами в Государственную Думу, по которому «представителями страны» в законодательные учреждения два раза проходили люди, вообще со страной не имевшие ничего общего, кроме местожительства, и которым претил вообще всякий «закон». Законо-положительное учреждение Г. Думы стало переходить в законо-отрицательное учреждение той же Думы. Надо было выбирать между сохранением Думы или сохранением закона о выборах в нее. Для всякого политика не могло быть сомнения, надо ли хранить сущность или форму, главное или придаточное. Разъяренные анархические течения нашего общества яростно бросились на имя, честь и самую жизнь министра, когда он наложил на них эту свою твердую гражданскую узду. Общество наше, понятия не имеющее о «гражданине» и «гражданстве», оплакивало погибшую свободу, кричало о «потерянном документе» 17 октября, – когда поубавилось в Г. Думе число красных депутатов с Кавказа, которым вообще не было никакого дела до России, которые видели интерес в разрушении России, а не в ее созидании; и, с другой стороны, кричали о насаждении деревенского пролетариата в России, хотя все до этого кричали, что деревня в России есть один сплошной пролетариат, из которого теперь стали вытаскивать ноги по крайней мере здоровые и сильные элементы деревни, – здоровые дворяне, здоровые семьи и работники.

Вся эта работа Столыпина была в высшей степени укрепляющая. Нет сомнения, что и как государство, и как население в обширных своих сословиях, и как общество в здравомысленном сложении ума и сердца своего Россия чрезвычайно укрепилась за время его управления и сейчас же после смерти его, так глубоко и горячо всеми воспринятой. Трагический конец министра увенчал его дело. Этот трагический конец, как не могло бы ничто другое, воспламенил и слил в железную массу то национальное чувство и национальное самосознание, на которое он опирался. Когда еще тело его не успели предать земле, или в ближайшие после этого дни, было заявлено с высоты официальной власти, что поднявшаяся волна национальных чувств так высока, что идти против нее никто не решится, не решится «объединенное правительство», так как она смоет всякое сопротивление. Здесь жалость и сострадание к человеку, восхищение вообще героическою личностью министра, крепкого воина, крепкого борца, – слились с здравым политическим движением. Государство исходит из народа и опирается на народ. «Безнародное» правительство – совершенная нелепость и бессилие. Только глубокая мечтательность русских и то же знаменитое русское «долготерпение» мирились и выносили, что у нас иногда на долгие десятилетия водружалось безнациональное, космополитическое правительство; что бюрократия высшая и средняя действовала в России и чувствовала себя в России, как культурные германские инструкторы в Турции... Это прошло, и, кажется, это оскорбительное отношение «русского чиновника» к «Русской земле» никогда не вернется. Русский чиновник, который был смышлен всегда

или по крайней мере обязан к смысленности, — понял и почувствовал, что он может двигаться только русскими парами, может единственно ими работать; что без этого русского пара в себе он испаряется сам, становится невидим и никому и ничему не нужен. Все повернуло к «русскому», к почве. В этом повороте П. А. Столыпин сыграл огромную роль, хотя он не сотворил его, а совпал с ним и усилил его.

Поворот этот далеко не завершен, не окончен; но уже зоркие русские глаза в каждом уголке России блюдут его, сторожат его. Пожелание национализации государственного кредита, более «русской работы» нашего Государственного банка стоит на первом месте. Но не будем говорить о подробностях. Скажем последнее слово о целом.

Вся Россия приветно улыбнется открытию памятника дорогому ей человеку, монументальная и всякому знакомая фигура которого уже сама была «монументом». Это — памятник обширному государственному уму, с вековыми заслугами перед историей. Но сердце, но народ ищет не пользы, а обаятельности. Мужественная и героическая личность П. А. Столыпина, запечатлевшего кровью верность своим взглядам и убеждениям, слитым воедино с «пользами» народными и государственными, отвечает в высшей степени представлению о «народно-любимом человеке». Вечная ему память, — память в бронзе, память в сердцах народных, память, наконец, в слезах: потому что его страшная смерть потрясла русские души и он был многими и *оплакан*. И не будем никогда забывать эту чисто человеческую жемчужину около его государственного служения и около государственной о нем памяти.

«ЦВЕТOK НА ГРОБ МОЕГО АГАТОНА»

Вчерашний номер «Русских Ведомостей» поздравлял сам себя с юбилеем. Он хвалил себя за то, что 50 лет стоял на одном и том же месте. Хвалил и за то, что решительно не понимает, по какой причине стал на это именно место. Но что иногда самому неясно, то видно со стороны. Чиновнику средних рангов естественно ненавидеть чиновников, выше его поставленных по службе, по понятной человеческой слабости; и средние чиновники министерства просвещения, удел коих достался профессорам, собравшись однажды «издавать собственную газету», стали в оппозицию к петербургскому правительству. Они стали в эту оппозицию не как выразители московского духа с его долгой самобытной традицией, с особыми московскими литературными веяниями, что было бы очень понятно и желательно после Киреевских, Аксаковых, Хомякова, после Гилярова-Платонова: нет, они образовали специфическую профессорскую оппозицию правительству, без других мотивов и почвы, кроме того, что они суть магистры и доктора, суть приват-доценты... Эта приват-доцентская оппозиция для мирного зрителя со стороны представлялась тихим и легальным бунтом коллежских советников против

тайных советников: кавалеров ордена Белого Орла и Александра Невского. Во всякой менее литературной, чем Россия, стране это не вызвало бы никакого события, ограничившись разговорами и «критикой» в салонах и кабинетах, но в многопечатной России это привело к возникновению «своей газеты».

...Которая за 50 лет не сказала какого-нибудь всем памятного слова. Скажите, какое?

Которая за 50 лет не провела ни одной новой, свежей, оригинальной мысли. Скажите, какую?

Но 50 лет печаталась.

Только печаталась!!! Машины шумели, свинцовые буквы поворачивались. Наборщиков тошнило от скуки набирать все те же, все одинаковые слова в разных комбинациях.

Свинцовая работа. Не литературная работа.

«Русские Ведомости» замечательны тем, что они повторяли одни и те же слова, — отнюдь даже не одни и те же мысли. Мысли развиваются, в мыслях рождается страсть, мысли в бурной голове человека могут путаться, спорить одна с другою, соглашаться, расходиться, противоречить друг другу. Голова — работает. Но слова и бедный человеческий язык, естественно, не работают: и оттого слова «Русских Ведомостей» никогда не менялись, а были всегда одними и теми же, «оппозиционными в отношении всякого, кто имел орден Белого Орла».

«Они люди худые и совершают худые дела», — жаловался вечный титулярный советник...

«Русские Ведомости» за 50 лет своего «служения» выяснили одну истину, для них неожиданную: до какой степени университет русский, — увы, не представляющий русского сердца и русского ума, а являющий лишь разные формы компиляции европейской науки, — до какой степени этот университет, отказывающийся смеситься кровью и соком с родной землею, — с тем вместе и теряет всякое достоинство и всякую ценность общечеловеческого характера... До какой степени он является «коллежским регистратором» философии, политики и гражданства.

За 50 лет ни одного яркого дня...

Ни одной высокой минуты, на которую оглянулась бы вся Россия...

Ни одного *своего шага*, шага именно «Русских Ведомостей», вдруг разошедшихся со всею страною, со всею печатью; *иначе* что-нибудь понявших, *иначе* на что-нибудь взглянувших...

Удивительно. Вот уж ученые, которые «ходят все в старых калошах»... А ведь их целая армада, большое множество.

Ничего. И нельзя им дать ни «золотого оружия» за битвы, ни лаврового венка за мудрость, а можно бы дать российский орден Владимира 4-й степени за прилежное несение 50-летней службы.

Бедный коллежский регистратор «общих мнений». Таких мнений, «которых никто не убоятся». Которые вообще «везде и всем известны». 50 лет

ты их складывал на свои столбцы. И когда будущий историк захочет узнать, как «вообще думали в России самые обыкновенные головы на самые обыкновенные темы», – он в Публичной библиотеке раскроет громадные томы «Русских Ведомостей», – «50 лет» и «прочее, и прочее, и прочее...». «Прочее» все прописано в телеграммах и письмах редакторам в юбилейном торжественном номере. Они-то, – все телеграммы сообща, – и складывают этот «венок на гробе Агатона». «Он был добродетельный человек, этот мой друг, и никогда ничего не украл». ...«Вот и Линева-Далин приветствует»; «вот и кто-то вспомнил сотрудника Иоллоса»... «И пьет за здоровье приват-доцент Коган». И галки на крыше соседнего дома дивуются, отчего собралось так много народа.

В ПОЛУСВЕТЕ УЧЕНЫХ КАФЕДР

I

Если бы я сказал, что юбилейные «Русские Ведомости» – *некультурная* газета, то многие бы удивились. Между тем это так же просто, как о человеке, не знающем «материков земного шара», – очевидно, что он не знает «географии».

«Культура» – не газетное понятие и не понятие наших последних лет и десятилетий. Наши года и десятилетия, как и совокупность газет, вправе «по-своему» распоряжаться, «по-своему» определять, «по-своему» начинать содержанием такие новые и современные им слова, таких «сверстников» по рождению, как «граммофон», «телефон», как «электроны», «рентгеновские лучи» и прочие новейшие открытия и изобретения; или – чтобы перейти в область духовных явлений – такие понятия, как «декадентство», «теософия» и проч. «При нас» возникли, мы их и «определяем», «толкуем». Мы – современники всему этому, мы – братья, «сродственники», как говорят крестьяне. Тут – все наши права, права нашего ума, учености и даже прихоти.

Но никакая ученость, ни даже десятков профессоров, ютящихся в «Русских Ведомостях», не может начать «по-своему» понимать географию, потому что географию начали греки, а все продолжавшие заниматься «географией» и употреблять это название уже были *связаны тем именно представлением и понятием*, какое греки имели о задачах этой науки. «Греки» определили, Страбон назвал свое описание стран и народов земного шара «Географией», – и Риттер или Реклю, хотя они гораздо учнее Страбона и больше его знают в этой науке, – не вправе ничего прибавить к *пониманию, к понятию, к определению* «географии».

«Культура» и «культурный» сделались словами, пошедшими по улице; и ничего нет обыкновеннее теперь, как увидеть компанийку безграмотных евреев, с примесью не столь безграмотного, но глуповатого русского, кото-

рые печатают возмутительную мерзость, мошеннические и идиотические книжонки и ставят под ним фирму (боюсь, нет ли такой, и тогда извиняюсь: я пишу для примера): «Книгоиздательство *культура*». Причем, по полной безграмотности и не зная даже слова «Страбон», они совершенно чисто-сердечно, совершенно искренно считают себя «культурными людьми» на Руси, «культурными деятелями» в «нашей несчастной и темной родине». Я совсем подбираюсь к «Русским Ведомостям», да и читатель, вероятно, догадался, как просто и ясно дело. Слова «культура» и «культурный» запылились и загрязнились на улице. Они печально и страшно охулиганились. И охулиганили их люди и лица, которые, не имея понятия о *культуре*, стали начинать это имя своими личными мерзостями, своими личными глупостями, своею личною необразованностью, – но придавая всему этому «личному» и «своему» внешнюю технику и шаблоны «культуры».

1) Байрон – печатался.

2) Оль д'Ор тоже печатается.

3) Следовательно, Оль д'Ор продолжает дальше дело Байрона. А так как Оль д'Ор еврей, то может сказать: «Я продолжаю гешефтмахерство Байрона, и еврейский приват-доцент Коган поместит меня в «Историю всемирной литературы».

Что вы тут сделаете и как опровергнете Оль д'Ора и Когана? Они люди грамотные, а Коган даже ученый. Они будут настаивать на сходстве имен («литератор»), на предмете деятельности, – разумеется, с разницей таланта. Но ведь и «маршалы» Наполеона входят в «наполеоновскую эпоху», и даже «ветерана старой гвардии», простого солдата, барабанщика – нельзя исключить из «наполеоновской эпопеи». Оль д'Ор и считает себя «старым ветераном байроновской и пушкинской эпохи».

Ничего не поделаешь. Формально прав.

Но внутренне, но субъективно, но всеми силами сердца мы чувствуем, что совершилось какое-то великое святотатство около имен Наполеона, Байрона и Пушкина; что произошло хулиганство в великой традиции; что пришел какой-то переодевальщик-актер, намазал все физиономии гримом, всех остриг и надел на всех парики из мертвых волос. И теперь в этой общей беде никого узнать нельзя, «родного папашу не различишь».

1) Культурный человек был Буслаев и делал культуру.

2) Но также и еврей Маркинзон, издающий «Советы молодым юношам, предающимся порокам», называет себя «культурным деятелем» и продолжающим традиции общечеловеческой «культуры».

Маски смешались. Люди смешались. Понятия, книги смешались. Пришла беда, ужасная беда. Собственно, Маркинзоном, Оль д'Ором и Коганом культура подсекается в корень, она вся задымилась, затянулась болотом, гнилью...

Бес пришел. Актер пришел.

Среди этого остается только крикнуть:

– Да как понимал «географию» *Страбон*? Как с культурой *все дело «началось»*? И какое с этим именем соединялось понятие *тогда и все вре-*

мена «до нас»? «Мы» потерялись, заблудились, – и вернемся к «древнему», «первоначальному».

Другого пути и спасения нет.

Что же такое «культура»?

Возделывание. «Культурные» растения суть «возделанные» растения в отличие от диких, растущих в лесу.

Агрикультура – возделывание земли, обработка полей.

Кем? На что? Что такое «культура» как кругооборот, очевидно, обширно-го мира явлений, – где «агрикультура», очевидно, только часть и «культурные растения» лишь цветная полоска в необозримой ткани. Откуда *слово*? И что оно *выражает*? Где «география» и как к ее идее пришел Страбон?

«Agros colo» – обрабатываю поля. Отсюда – «агрикультура» как возделывание полей.

Центр понятия – «colo», слово древнего Лациума, времен Ромула и Нумы Помпилия, когда Европа только рождалась и «нас» совсем не было. Ничего мы к смыслу этого слова не можем прибавить, и не смеют отступить от него Оль д'Ор, Коган, Маркинзон и «Русские Ведомости».

А слово это имеет физическую сторону, от которого потекла «агрикультура».

И имеет духовную сторону, от которого потекли религиозные «культы». Гимназисты заучивают слово в четырех основных грамматических формах, из которых третья есть уже имя всемирного явления: colo, colui, *cultum*, colere. Беру старого Кронеберга и выписываю из лексикона *все* значения слова, дабы обнялись в мысли читателя все понятия древнего Лациума:

«Colo, lui, *cultum*, colere – пахать, возделывать землю. Почитать, чтить, иногда – любить. Жить, жительствова^ть, обитать. Стараться о чем, украшать себя, убираться. Почитать Бога, обрабатывать поле, жительствова^ть, жить, торжествовать, праздновать; почитать подарками, жить по обыкновению предков; colere inter se – любить друг друга; colere studia – предаться наукам» (стр. 95 изд. 1870 года).

Когда вы прочтете эти строки хладнокровного словаря, то на вас повеет каким-то *теплом*. Удивительно в словаре!! Это тепло принес в слово древний Лациум, когда еще в России бродил пещерный медведь и зубр был самое «образованное животное». Ничего не было. Пустынна Европа. И вот народ великих задатков в себе и всемирного предназначения создает слово сложных оттенков и интонаций, которые, стараясь выразить по-русски, русский немец употребляет все самые благородные и прекрасные слова, с каким-то веянием тепла около них, души около них. Colo – это именно *душа* человеческая, в практической и идеальной ее двойственности, в грустной заботе ее работать и работать, «иначе нечего есть», но и – отдохнуть, украсить и помолиться. Прямо – великое слово, в уровень библейским строкам, где тоже говорится о человеке, что ему удел – «в поте труда возделывать землю» и «в праздник украсить^ся» и «помолиться Богу».

Просто.

Велико.

И – все.

«Сомкнута» культура; «круг» завершился. Ничто не выйдет из этого «круга»: ни географ Страбон с заботою обозреть и оставить потомкам память о землях и племенах, какие он видел или о которых слух до него донесся; ни Колумб с заботою открыть земли «внизу земного шара»; ни учредители римских «Fastes» (праздничные дни); ни наш Троицын день, с березками, с молитвами; ни подвиг Сусанина, с заботой «сохранить царя Руси»; ни Аввакум, со страхом его и тоскою, что разрушают «древнюю храмину» веры и «культу» (церковных форм).

Великое, величайшее слово! Оно объемлет все *теплое на земле*, всю *любовь человеческую* к вещам, к предметам, от гребня в волосах крестьянки Лациума («solo – украшаю») до нашего православного богослужения («solo – почитаю Бога»)... Все, *где человек любил, все, к чему он приложил руку, о чем подумал, о чем позаботился*, – и непременно *любовно положительно*, – объемлется этим великим словом. Но перечтем еще *все значения*: и мы увидим, что в них не защемлен хотя бы крупинкою оттенок вражды, раздора, ненависти.

Ничего.

Ни одного темного чувства.

В «культуру» входит один свет, благородный, чистый свет.

– Читатели! – кричу на весь свет. – Да где же тут «Русские Ведомости», и Коган, и Оль д’Ор!..

* * *

Читатель до того напуган приближением сюда «Русских Ведомостей», что уже не может произнести слова, а только машет руками:

– Вон! Вон! Вон!

Он проникся, этот «обыкновенный русский читатель» («solo» – живу, жительствоваю, очевидно, – по соседству других слов – «*обывательствую*»), – проникся духом римских слов, где говорится о всем милом и дорогом человеку и человечеству, поистине – «труждающемуся и обремененному» человечеству, – которое в ответ на скорбь земную, на жалкий и грустный удел человеческий, подъяло в согласии, подъяло в гармонии («colere inter se – любить друг друга») бесчисленные труды, заботы, от гребеночки до поля («агрикультура»), от богов Лациума до Троице-Сергиева Посада, с воплем, обращенным ко всем будущим поколениям:

– Не станем ссориться! «Богов» много, и который «Бог» настоящий – не дано знать ограниченному разуму человеческому. Но соединимся вот на чем: *почтим* («solo – почитаю, чту») все на земле и во всяком человеке и времени, на чем лежит след *почитания* человеческого («cultus – почитание, богослужение»)... *Почтим* это *самое почтение, почтительное отношение, благочестие* людей, *благородствование* людей, где бы они ни жили,

как бы ни назывались, к чему бы благочестиво и благородно ни отнеслись, к «гребню» ли в волосах женщины, к «статue» ли бога и богов, у каждого своих, – к полю, к посаженному дереву, к овце, корове, яблоне, к судье, чиновнику, царю, рабу... *Соединиться* на предметах мы не можем, «каждый любит свое», и мы избираем новый лозунг всемирного соединения – не «предметы», а эту *нить из сердца нашего к предметам*:

1) *белая она* («solo – люблю») – это культура; и пусть во все времена соединенные «почитанием» к вещам, людям, богам и чиновникам люди именуются «культурными». Это – завет Рима на все времена;

2) а если *черная* эта нить, если люди богохульствуют, разрушают святыни, ничего не почитают, если все им враждебно и чуждо...

Рим недоговорил, а Русь досказывает, «испытанная во временах»:

3) это – хулиганы.

Где же место, среди культурных людей или среди хулиганов, «Русских Ведомостей», если в 50 лет ни разу они не сказали, не оглянулись, не подслушали и не передали своим читателям простого зрительного впечатления:

1) «Вчера зажглись священные огни и московский люд в Кремле встретил свое Воскресение Христово».

2) «Один из профессоров побывал у Троице-Сергия и вот передал впечатления» (следует «рассказ» или «очерк»).

Хоть бы приблизительно что подобное! И конечно, все о «Русских Ведомостях» знают то, что седобородые старцы Лациума передали бы на своем латинском языке:

«Barbari sunt. Deos non habent. Mores eorum saevi et primitivi sunt. Homines infini et in fensi».

По-русски:

«Это дикие люди. Богов у них нет. Нравы у них первобытные. Племя ко всему неприязненное и низкое».

Они ответят, едва ли оспаривая эту характеристику, возражением «с другой стороны»:

– Но мы, однако, любим граммофон, – и знаем, как он устроен.

И поздравлявшие их с юбилеем подтвердят:

– Да. Они любят граммофон и социалистов.

Я отвечаю, что это – «современное нам» и переоценивать культуру не может. Газета и сотрудники и могут взять себе какое-нибудь другое имя: «граммофонные люди», «техники новейших изобретений», «рекомендательная контора новейших усовершенствований» и т. д. и т. д.; общее и очень верно: «люди, гоняющиеся за всем новым и новеньким». Но *старого* слова «культура», в его, так сказать, «страбоновском смысле» и под покровом которого выросла вся Европа, они брать себе не могут... Особенно с социализмом, который есть сумма отрицательных отношений ко всей сумме явлений старой культуры... «Старой», я оговорился. Но кроме «старой» – и нет другой «культуры» в Европе, по существу и смыслу ее происхождения из любви, почитания, уважения, благородствования около предметов, людей и челове-

ческих отношений. Культура глубочайше есть *историческое явление*; она вся в «прежде», в корнях, во «вчерашнем», в «древнем»... «Культура» и «это новенькое» – несовместимы. «Старая культура», веками накопленная, лишь *припускает* к себе новое, по строжайшей в нем оценке *лучшего*; не «своей», «партийной» оценке, а всемирной и общечеловеческой оценке. Но даже великие новые вещи, вроде новых методов лечения в медицине, она «припускает», при всей их удивительности и благодати, как «кое-что», без торопливости и особого восторга и уж решительно без всякого перед ними «преклонения», ибо собственные ее сокровища, включающие и Рим и христианство, Капитолий и Ватикан, и наши троице-сергиевские березки, и географические открытия, включительно с Колумбом, до такой степени велики, необходимы человечеству вечною необходимостью, что, напр., весь Пастёр около этого – то же, что холмик в Альпах. И сам Пастёр (религиозный человек) это знал. Вот почему почти первый признак «дикости», «необразованности» и «некультурности», первый и самый безошибочный, – есть «радостная встреча» новенькому, вечный шум и реклама и нервы перед «последней новостью», литературы ли, философии ли, техники ли: то самое, с охалкой чего вечно бегут Оль д'Ор, Коган и «Русские Ведомости». «Русские Ведомости» в самом деле, и совершенно просто, и очень точно, – необразованная газета. Ученая – да. Все новинки знает – да. «Последнее слово науки» знает – да, да и да! Но все это и отдаленно не слагает «образованности», – тоже древнего и утонченного слова, культурного и одухотворенного слова. Слово это, тоже как и «культура», идет из традиции и корней, из древнего и «вчера», чего по принципу не переносят *semper saevi** «Русские Ведомости». Помилуйте:

1) Граммофон признают, церковь отвергают.

2) Оскара Уайльда чтут, Библию читать не советуют.

Полная дикость и необразованность. Полные «примитивы». Возьмем еще область тысячелетнего любящего созидания, – нашу *местную, русскую*. Если бы у «Ведомостей» было чувство и сознание «отечества», они усилия употребили бы хоть что-нибудь дорогое и милое найти и показать в нем, – ну, вот «Святую Ночь», на которую полюбовался же Чехов (рассказ его), или что-нибудь в прошлом, в прошлых царствованиях, в прошлых веках... Нашли бы, если бы *любили* («*solo* – люблю»). Находят же даже в Вавилоне, даже в раскопках, даже у скифов... Но в России нет «Святой Ночи» для «Русских Ведомостей». Для них в России, в своем отечестве, есть только «Темная ночь», чего даже в Скифии *сплошь* не было. И это ничего другого не значит, ничего иного не показывает, как что бедные профессора, издающие «Русские Ведомости», сидят в такой «ночи» невежества, что даже уж глазки их не различают, какое смешное зрелище представляют «профессора без отечества».

– Да. Мы чиновники министерства просвещения, но мы отечества не имеем. Потому что мы образованные.

Это только на ярмарке показывать.

* всегда злые (*лат.*).

По самому отсутствию желания что-нибудь найти, увидеть, вынюхать, – как вот добрая собака «нюхом чувствует», что «хозяин в дом вернулся», – в христианстве, в церкви, в отечестве своем, по всему этому явно, что «примитивы» «Русских Ведомостей» вовсе недовольны не *состоянием* отечества, не *состоянием* христианства или церкви, не дурными людьми *теперь* в них, а что им противно самое *существо* христианства, самое *существо* церкви, самое *существо* отечества...

Т. е. именно те колоссальные тысячелетние отложения любви и уважения («solo» – отсюда «культура»), куда благородный человек слагал из души своей все лучшее, как птица-мать из груди выщипывает перышки и кладет их в гнездо, чтобы было мягче птенцам, будущим поколениям. Да, вот определение «культуры», пожалуй, охватывающее все оттенки римского понятия: великое *гнездо человечества*, и главным образом – гнездо для детей, для будущего, для умягчения жизни человеческой и охранения ее от всего дикого, грубого и жестокого. Трудно было; вся жизнь страдальческая: и бедный ограниченный человек истощался и истощался в силах, чтобы «потом было лучше». Чтобы было легче; чтобы было нежнее (solo – украшаю); чтобы было слаще (наряды, нарядный быт). Это «всемирное гнездо» устлано пушинками в самых разнообразных направлениях, самого разнообразного состава, – практическими и духовными, физическими и идеальными, от ожерелья и танца до богослужения и молитвы. Но главные пласты всемирных отложений любви и уважения – конечно, именно духовные: они именуются – церковь, религия, сумма благоговений к прошлому, отечеству...

– А, «отечество», т. е. государство, это «наше-то правительство», – кричат социалист, граммофон и «Русские Ведомости»: что вы о нем скажете?

– Да очень простую вещь, что государство от полицейского офицера, стоящего на углу Литейного и Невского и говорящего извозчикам: «Заворачивай направо», до казначея, выдающего жалованье даже «отрицающему его профессору», и т. д., «до Коковцова», который мне может быть несимпатичен, да он, вероятно, этим и не интересуется, а я беру его «в идее», как «министра-председателя», как «ректора правительственного университета», – это *государство*, – говорю я, т. е. отечество *in concreto*, конечно же, есть сумма материальных благ, есть сумма физических потребностей, без коих жизнь каждого была бы невозможна, ибо завтра же без него меня кто-нибудь бы зарезал и уж всенепременно ограбил... Конечно, «государство» и «правительство», от основания и до вершины, все сплошь, по замыслу, по идее, по намерению, по пафосу – идеально; оно есть вековая практическая разработка одной идеи – «добра», с полным устранением и изгнанием идеи зла. И государи наши, еще от Михаила Феодоровича, да и раньше – еще от князей, от Владимира Мономаха и Ярослава Мудрого до «теперь», думали

ли о законах, думали ли об управлении, о том, «какого куда воеводу поставить», воевали ли, заключали ли мир: о *чем*, скажите, кроме *общего блага* и *улучшения всех вещей*, они заботились и могли заботиться? Скажите *по правде*, неужели кто-нибудь из социалистов и граммофонов вообще выражает хотя бы внутри души, будто чтобы Государь когда-нибудь задумывал: «А ну-ка я пошлю *туда злого воеводу, взяточника и лихоимца*», «а ну-ка я поведу войско, да пусть меня литовцы *разобьют*», «а ну-ка я народ поморю *голодом*», «а ну-ка я им *подсыплю чумы*»... Даже медный социал-граммофон такого не споет в медной утробе своей... Следовательно, о чем же может быть речь? О *несчастье*, а не о присутствии *зла*; о том, что и государи многого *не могут*, а не о том, чтобы они чего-нибудь *злого пожелали*. И «правительство» или «государство» есть именно сплошь и повсюду *одно добро*, – и лишь на этой уверенности всех и зиждется любящее повиновение всех государству и готовность приносить ему жертвы и даже самую жизнь (война, войско)... О, поверьте, – в «отечестве» содержится гораздо больше любящего электричества, чем во всех ваших «политических партиях» и «социалистических подразделениях», клюющих друг друга носами; оно молчит, и люди отечества – молчат, но когда придет час – они сделают. Просто – молча «умрут за отечество», вот и все. Не социалистишкам, не журналистам и не гг. профессорам оспаривать величие и честь отечества. Итак – сплошное добро (по идее, по замыслу). И «зло» приходит сюда не как *собственная его идея*, а как *чуждая и враждебная ему идея*, как болезнь, как рак, как нефрит входит в организм... Было гнездо, и пошел дождь: размочил, разорил. Ветер сорвал гнездо. Кукушка положила в гнездо чужие яйца (социализм)... Мало ли несчастий! Так *несчастий*, а не *зла!!!* И поезда крушатся: нельзя же из-за этого отрицать железные дороги и «негодовать на правительство, почему оно не снимает рельсы, так как на них бывают катастрофы». Профессора скажут: «Мы не так глупы, чтобы велеть снимать рельсы». В отношении железной дороги, где все уж слишком ясно, вы – действительно «не так глупы», но в отношении более сложном, именно вот «отечества», где и концов мотка не разберешь, вы... именно так «примитивны», чтобы не сказать грубого слова. – «Мы за социализм» и «непрерывно докладываем о всех съездах этой партии в нашей газете, как и о всякой с темпераментом речи выдающегося социалиста»: разве это не входит в дух и содержание «Русских Ведомостей» да и все ее, этой газеты, радостные «встречи» и грустные «разочарования»... Но что же такое «социализм», как не «снимай вообще государственные рельсы». Для рабочего это, может быть, не глупо: он видит в «государстве» и «культуре» лишь уголок, до него относящийся, – уголок жизни величиной с воробьиный нос. Но для профессоров, знающих «христианство», «церковь», «душу», «Грецию» и «Рим», такое общекультурное «снимай рельсы» – невообразимо глупо.

Кроме оговорки («убежище» от опасности «попасть в глупые»):

– Да, может быть, они не знают Рима, Греции, души, христианства, церкви? «Снимай рельсы», и «социалисты» не оттого, что глупы, а оттого, что не понимают ничего в человеческой культуре?

Вот это правда.

Тут и секрет.

Они все взяли «памятью», все уроки выучили «на память» и граммофонят на лекциях «об экономической борьбе пролетариев» в Риме, «о классовой розни в средние века», «о состоянии крестьянства перед началом реформации» (частые рубрики лекций, вечные темы занятий профессоров и их диссертаций), но

1) они не понимают, что такое реформация, так как и понять этого нельзя, если *сам не религиозен*;

2) соборы готические принимают за «игру природы», как-то появившуюся, потому-то и представить себе не могут таких идиотов, которые стали бы строить вообще дом молитвы, да еще с такими инкрустациями и узорами, как готика.

– Глупо!

– Вся история до граммофона и прихода социалистов была глупа.

Вот что профессора думают и *единственно могут думать* о предмете своем, истории...

Или, вернее, *предмет*-то они признают: 1) как свои лекции, 2) как германскую ученую литературу о нем и проч. Но реальный предмет этого книжного предмета, *самую жизнь*, они считают, и вправе единственно считать:

– Глупую!

И просто потому, что они «с социальным оттенком».

Да и еще основательнее по следующему: молитвы – не надо, христианство – призрак, религия – не действительность.

Т. е. не действительность – *самая душа истории*.

И тогда история, конечно, – *пуф*.

Так это и есть, – и мы сейчас почувствуем поворот к «Русским Ведомостям». Считая, что самой *души* в истории нет, естественно, они, т. е. профессора с таким уровнем умственного развития, скучали преподавать «бесплодные» (без *зерна* в себе) науки в университетах, науки «о пустом месте», науки «о человеческих предрассудках», и, позевывая в аудиториях, позевывая перед студентами, – решились «отличаться перед читателями», и напр. «бороться с Коковцовым». Или вообще с представителями: 1) государства, 2) церкви, 3) христианства, 4) религии. «Опровергать предрассудки»... В сие море, нигде не кончающееся, и всплыли бедные «Русские Ведомости», и все плывут, и все плывут... никогда не приплывают... нигде конца не видно...

Где же тут «конец увидеть»...

Просто это глупо (и именно *профессору* «бороться с предрассудками»)... Но «конец глупости увидеть» может только мудрый.

П. А. ПРОКОШЕВ. DIDASCALIA
APOSTOLORUM И ПЕРВЫЕ ШЕСТЬ КНИГ
«АПОСТОЛЬСКИХ ПОСТАНОВЛЕНИЙ»

Историко-критическое исследование из области источников церковного права. XVII + 162 стр. Приложение: Дидаскалия, т. е. католическое учение двенадцати апостолов и святых учеников нашего Спасителя. 195 стр. Томск, 1913.

Ну, вот и из сибирских далей, где, бывало, только медведь боролся с каторжником в темной тайге да промысловые люди рыскали по кручам гор и дольных речек, ищущи золота, — стали приходить в Петербург, Москву и всю Россию увесистые волкомы ученых исследователей. И как не сказать: благословение Томскому университету! Вот такими трудами, за которыми усматриваются тысячи ночей, проведенных над хартиями, над книгами, над всякою греческою, латинскою, немецкою, английскою и французскою ученостью, — лучше доказывалась польза и необходимость или, вернее, польза и приятность дальних университетов, нежели шаблонною шумихою в газетах с подспудною политической тенденциею. Ни малейшей нет возможности дать здесь понятие о громадном ученом труде проф. П. А. Прокошева, вращающегося в памятниках христианской письменности третьего и ближайших после Р. Х. веков. Тема — церковное право. И мы только пользуемся случаем, как бы воззвать из глубины темной ямы на свет Божий: а когда же появятся не *филологические только изыскания* в области церковного права, а курс *критического* церковного права, умиротворяющий сомнения христианина о самой возможности и фундаментальности *всего* пространства церковного права?.. Сомнения о том, не есть ли это здание, «построемое на *песце*», ибо ведь самая суть перехода от ветхозаветного «подзаконного» человечества к новозаветному «благодатному» заключалась именно в борьбе против *юридического*, так сказать, строя души и жизни, царившего от времен Моисея до Иисуса Христа и Иисусом Христом явно отвергнутого... И еще сомнение: если уж возвращаться вообще к *закону*, то надо бы явно — не к *римскому* закону, сложившемуся под сенью Капитолия и Юпитера, а к ветхозаветному, т. е. опять и снова к иудейскому, к Моисееву закону. Между тем все «пространство церковного права» смешано явно из римских веяний, тенденций, иногда прямо и ограниченно — из римских *норм и определений*, с изречениями евангельскими и апостольскими, которые собственно только плавают сверху, как масло, — «украшают», а не «производят» суд и дело. Откуда римский претор в одеянии христианском? Откуда епископский суд, с преторскими прерогативами и функциями? Впрочем, мы не очень твердо упираемся в свои слова, которые привели скорее для примера. Наша мысль — указать на необходимость *критического церковного права*, попросить ученых-законоведов исполнить эту лежащую на них обязанность, без чего совесть христианская и ум христианский не могут вполне успокоиться.

ВЕЛИКИЙ НАСТАВНИК ЮНОШЕСТВА

Проф. В. В. Болотов. Лекции по истории древней церкви. Т. I. 1907 г. Том II. 1910 г. Том III. 1913 г.

А. Бриллиантов. Профессор Василий Васильевич Болотов. Биографический очерк.

А. Бриллиантов. К характеристике ученой деятельности проф. В. В. Болотова.

Читаешь что-нибудь, крупное ли, мелкое ли, из семинарской и духовно-академической жизни, и точно вводишь душу свою в тихую заводь, куда поистине не плещет житейское море... Не плещет ни гнев, ни ярость, ни разодранное сердца. Тихо шелестят листы старинных огромных, огромнейших книг! У В. В. Болотова сделалась даже какая-то болезнь левого колена или бедра, не то припухлость, не то рана, ибо обыкновенно цитируемый – конечно, громаднейший – том он имел привычку все 20 лет ставить на это левое колено. Но договорим общую мысль: не ходят киты и большие рыбы в этой тихой заводи. А живут здесь тихие и благородные русские карпы, русские караси и какая еще ей полагается русская мирная рыба. И лесок кругом заводи. И чистое небо в нее смотрится. И весь этот край благословенный. Да так это и должно быть: ведь из него выходит благословение и благодать на всю Русь...

Такое впечатление я пережил, читая у трудолюбивого и талантливого ученика и преемника по кафедре в Спб. духовной академии В. В. Болотова – А. И. Бриллиантова – его «Характеристику ученой деятельности В. В. Болотова как церковного историка» и «Профессор В. В. Болотов. Биографический очерк» и просматривая три тома собранных по рукописям и изданных теперь «Лекций по истории древней церкви В. В. Болотова» (посмертное издание под редакцией А. Бриллиантова). Имя Болотова как лучшего ученого последней четверти XIX века известно: между тем вся его жизнь и личность до того скромны, что проникаешься каким-то нежным уважением ко всему его духовному облику. Этому отвечает и его внешность, – до того духовно-семинарская, что кажется символической и вечной для сословия и образования! Что-то упрямое, упорное, смелое, полное бесконечной внутренней инициативы и непрестанной работы мысли, лицо вместе с тем говорит: «Ни на вершок вправо или влево, а только – по железным рельсам, на которые вместо мягкой подушки родила меня родная матушка; и я с тех пор только и умею ходить по железным рельсам, никуда не сворачивая и ими ограничиваясь, по воле матушки, по воле Святых Отцов и нашего епархиального начальства». Европейский ученый, с удивительным даром, страстью и вкусом: 1) к лингвистике, 2) хронологии и географии, 3) к церковно-богословской догматике, 4) к чистой математике, – он все это соединил, слил в себе как 5) в церковном историке. Собственно, по этому разнообразию, казалось бы, вовсе несовместимых даров и страстей (он высшую математику любил *со страстью*) он был вполне феномен, и с ним не могут

сравниться даже такие светила науки, как историк С. М. Соловьев, философ Владимир Соловьев, В. О. Ключевский и даже творцы новых открытий – Менделеев и Бутлеров. И что же: живя много лет сперва в одной комнатке, потом в квартире из двух комнат, не читая вовсе газет, а из журналов только два-три духовных, он никуда не выходил, кроме как к церковной службе и в свою духовную академию, и вместе явился...

Полным обворожительности «службистом»...

Он точно «забыл себя» в родном доме, у матушки, в четыре окна, в селе Кравотыни (на берегу озера Селигера в двенадцати верстах от уездного города Осташкова). Любя чрезвычайно астрономию и геодезию, он точно вычислил географическое положение своей любимой Кравотыни (широту и долготу):

$$\varphi = +57^{\circ} 16' 50''$$

$$\lambda = 33^{\circ} 8' 20'' \text{ Greenwich}$$

и разыскал древнейшие известия по летописям о Кравотыни, орфографию его имени (Кровотынь или Кравотынь), равно как и историю клира, т. е. имена священников, диаконов и дьячков родной Введенской церкви, где его отец был дьячком. Все эти, казалось бы, мелочи не так пусты: мы читаем в них прелестнейшее направление ума, который не убегает от родины, не спешит «в заграницы», рыская там и ищущи себе славы, а оборачивается назад, к рождению и родине, и сберегает, и обдумывает каждое перышко родного гнезда, которое его когда-то грело. Отец его еще до рождения первого ребенка несчастным образом погиб, загоняя гусей с полынью: лед проломился, и больше его никто не видел. Но не растерялась молодая дьячиха, Марья Ивановна, урожденная Вишнякова: «в таком положении» она вернулась из Осташкова (где муж ее был дьячком) к родной матери в Кравотынь, родила здесь сынка и вся отдалась его воспитанию. Об ее прекрасном уравновешенном уме и неустанном трудолюбии много рассказывал впоследствии знаменитый сын. Подготовив дома, она свезла его на санках «вручную» в духовное училище... Но и из Петербурга, уже ученый профессор, он на лето всегда возвращался к матери: ветхий домик их с четырех окошечек «заключал пространство всего в 9х8 квадратных *аршин*» (! – прямо невероятно, но так сказано у точнейшего А. И. Бриллиантова), – с более чем скромным убранством, которое всегда оставалось одно и то же. Время его и здесь проходило главным образом в научных занятиях с книгами, привезенными из Петербурга, в содействии матери в ее хлопотах по хозяйству, частью в прогулках и беседах с каким-либо гостем. Он сам ставил самовар, даже готовил обед, а в 1898 году ему пришлось ухаживать за больною матерью, которая прожила до глубокой старости и скончалась за десять месяцев до кончины своего сына. Перед возвращением на службу в Петербург он, не оставляя еще ученического своего правила, совершал паломничество с матерью пешком в близлежащую пустынь преподобного Нила Столбенского для поклонения мощам угодника. Здесь после богослужения он заходил к настоятелю архимандриту Арсению (1871 – 1898) и до вечера проводил время в беседе с ним.

Так уставно, не меняясь, благочестиво протекла его жизнь, в сущности, – счастливейшим образом. В то время, как все кругом его, вся русская жизнь кругом почитала себя несчастною, томилась в театрах, тошнилась в опере и оперетке, задыхалась от скуки в публичных чтениях и на балах, – один Василий Васильевич Болотов (ударение на втором «о», как он доискался) цвел благополучием – жалел, зачем в сутках не более 24 часов, ибо ему времени вечно не хватало, – и быстро поспешал повсюду, никуда не выходя из своей комнаты. Только в полном счастье и полном удовлетворении лежит разгадка его личности и всех успехов в науке: не томимый ничем, не томимый черными грехами завидования и ревности ученой, он без помехи только учился, только учился, только работал, только работал. И так как феноменальная память его никогда ничего не забывала, так как он имел рвение и вкус по трем направлениям – истории, лингвистики и математики, – то немудрено, что он с каждым годом пух ученым образом и еще в средних годах возраста вез в себе и за собою такой огромный воз всяких сведений, какой не под силу нескольким профессорам.

И все его любили и уважали; все «почитали». Трогательно читать, как митрополит (Антоний) и Вл. К. Саблер заботились о его здоровье и посещали его больного в клинике. И это вовсе не пустяки, как показалось бы с «высокоумных точек зрения»: он видел и здесь себя счастливым самого простою и самую выразительную формою счастья, – что всем полезен, нужен, необходим, и все это чувствуют и берут у него, как крестьяне черпают бадьею чистую воду из местного колодца, не рассуждая и благодаря. Всю жизнь поить окружающих и чувствовать неистощимость вод – конечно, это высший удел человека на земле. Громадные его способности и сознание, что вода из его колодца – чистейшая, конечно, давали высшую форму духовного удовлетворения.

Отсюда-то и вытекли подробности его жизни, – что он в одном «я» совместил Александра Македонского и Диогена. По существу, он был Диоген, ни в чем не нуждавшийся. Ведь и всякий ученый в задаче своей – Диоген. Но громада его дарований, так сказать, всосала «Персию и Индию» в его бочку. Все страны «наук и ведений», если можно так выразиться, вползли сами к нему в бочку, ища поместиться в его драгоценной голове. Лицо его на портрете, постановка плеч и шеи и несколько наивные глаза – дают идеальное представление ошашковского семинариста; но поразительно благородное строение лба, – и оно говорит о чем-то европейском, о лучшем европейском. Так и слились в его «я» Ошашков и Европа, Диоген и царь Александр.

А вот и сюртучок новый (на портрете), аккуратно застегнут. И манишка, и галстук. Все удалось профессору. Его не только митрополит и обер-прокурор любят и ценят, но и особо уважает «Василия Васильевича» портной и шьет сюртук с особым усердием. Все удастся. Все хорошо. Все ладно. Поэтому хотя его призвание было написать для России великолепную и первую у нас «Историю христианской церкви», которая бы не уступила ни

одной европейской и украсила бы родную науку и литературу, – но он, «забыв себя в селе», так и не исполнил этого...

И здесь, – пообещав безграничное, не дал ничего. Кто очень счастлив в жизни, – и уходит весь «в жизнь», оставляя «по ту сторону гроба» очень малое или ничтожное (сравнительно).

Но это почти хорошо в нем и идет к нему. Прибавься бы огромный труд, «украшающий отечество», могло бы быть место подозрениям в славолюбии, в честолюбии. Демон завистлив и всегда чернит человека, – если не делом, то клеветой. Василий Васильевич не дал ничего демону и стоит совершенно чист перед Богом, как сущий праведник:

– Я совершенно счастлив и без «Истории церкви»...

Думалось:

– Да, ты совершенно счастлив как *воплощение церкви*, – и, пожалуй, это действительно лучше, чем «История церкви», – лучше, реже и труднее. Молился ты с детства Нилу Столбенскому, – и святой угодник дал тебе мантию свою, и в XIX веке ты сам явил Нила Столбенского, явил в науке, в антураже всей цивилизации, твердя, как и тот: «*Quieta non movere*»*.

Это «*quieta non movere*» он повторил по вопросу о перемене календаря. «Реформа» была уже готова, все ее желали и на нее были согласны; но он остановил ее. Явившись в комиссию из астрономов, чиновников и проч., «от духовной академии и по поручению Св. Синода», – он всех поразил своими знаниями, даже и в астрономии и математике, и спросил язвительно: «Зачем же *собственно и деловым образом* вам реформа?»... «Не говоря уже о слиянии России с реформой календаря папы Григория (*григорианский календарь*), о чем не может быть речи, так как эта католическая реформа сама не только не имеет оправдания, но и извинения, – принятие даже более верных поправок астрономов XIX века не обещает никаких существенных выгод, при несомненных опасностях для религиозного сознания народа, в смысле его покоя». В самом деле, при *абсолютной* поправке календаря мы все равно разойдемся с Западной Европой; а между тем единство с нею в счете чисел месяцев есть главный мотив реформы. Если же мы последуем этому главному мотиву и приняли бы григорианскую реформу, то получим календарь неверный, который пришлось бы со временем менять. Гораздо удобнее поэтому остаться при старом юлианском календаре.

Василий Васильевич Болотов (лишь в Петербурге его стали звать «Болотовым», на дворянский лад) явил собою самый незамутненный образ тихого православия, которое – хорошо это или нет – уже неотделимо от представления села, сельской церкви, народной гурьбы и умеряющего все вечернего колокола, зовущего к вечерней службе. Все уставно, тихо, коротко и счастливо. «Все обстоит благополучно». Русские Вольтеры извят эту формулу, а, между тем, куда от нее уйдешь, если «благополучно» не только в докладе, на словах или бумаге, а и в самом деле – «благополучно». Для

* «Не трогать того, что покоится» (*лат.*).

«благополучно» велись все войны; для «благополучно» заключались мирные трактаты и союзы; для «благополучно» звались великие цари. «Благополучно» – в самом деле конец и начало земного жития человека, который возлагает сложное и премудрое на Бога, полагая, что здесь он бессилен, что здесь царствует какой-то Рок и Судьба, – ему же, маленькому и ограниченному, оставлено только «быть благополучным». Эта, казалось бы, коротенькая формула – на самом деле есть кантовское решение вопроса о жизни. «Ноумены» бытия и равно «ноумены» деятельности и движения от нас сокрыты и в распоряжение нам не даны; и у нас остаются одни «феномены», т. е. «критика практического разума». А она сводится к «благополучию», но лишь не фальшивому. Но воистину благородный и прекрасный В. В. Болотов сознавал ясно, что в его «благополучии» и в благополучии всех их, академистов, – а наконец, и православной церкви вообще – нет фальши, а лишь недоделки, недосмотры, неудобства, неладности, которые исправятся, если всякий будет превосходно делать свое дело, у одного маленькое, у других великое.

Профессору духовной академии не дано великого дела, великой задачи, великого права, великого долга.

И отсюда второе разрешение им жизненной проблемы:

Он весь ушел в академическую жизнь, и тоже – весело и счастливо, «веря, надеясь и любя»: и в этой области явил образец, которому, по всему вероятию, не суждено когда-нибудь превзойтись. На всякой «чреде жизни», большой, маленькой, средней, – должно быть некоторое «окончание», некоторый «предел» и «лучшее»: и вот *такое* не то чтобы в маленькой, но в средней деятельности профессора академии он и дал. Читая у А. И. Бриллиантова воспоминания о наставнике и, вероятно, друге, – просто не веришь словам, которые читаешь: оказывается, Болотов не только составлял некоторые протоколы разных комиссий, но своей рукой и переписывал их набело! Почерк же у него (автограф под портретом) был превосходный, четкий, крупный, «как раз для чтения митрополитов» и вообще знатных особ, которые уже и стары, и в чинах, и им куда вообще «мелочь разбирать». И трудился наш Василий Васильевич, трудился и не жаловался. Трудился в комиссии по поводу введения нового календаря, трудился и был главным «делопроизводителем» по старокатолическому вопросу, – трудился над семинарскою программой по поручению и просьбе обер-прокурора Св. Синода. Трудился, – но и отдохнул же душою, – по воссоединении с нами сиро-халдейских несториан, каковое дело принадлежит ему движением и осуществлением главным образом. Это было ему великою наградою: так как несколько тысяч людей он ввел в ему милое православие. Нужно заметить, он не был пассивен во всех делах, – не был «покорен» и «исполнен». О, нет: ясный, какою-то острою стрелою летящий вперед ум, ум прямой, смелый, решительный в движении и в формуле – его особенность. В том-то и заключается его особенность и его удивительное, что с таким умом в нем сочеталась скромность и готовность всего себя, по Спасителю, отдать «дню сему» («довлеет дневи злоба его»).

«Зачем нам думать о неделе, когда есть четверг». И он каждый «четверг» наполнял до пресыщения заботой, трудом...

Участвовал в комиссии по ревизии академической библиотеки и подал в совет, а потом в Св. Синод заявление – что ее надо пополнить, особенно по таким-то отделам, и что для этого надо увеличить штатную сумму денег на этот предмет. Совет и Синод «признали основательным и исполнили».

Ему поручались задавания тем для кандидатов академических. Он работал над этим: и проф. Бриллиантов приводит длинный список специальных тем, на которые потом появились замечательные труды и украсили нашу богословскую и историческую науку.

Ему поручались разборы диссертаций на степени магистра и доктора: и он так уходил в этот предмет, что его «разбор сочинения на ученую степень» иногда разрастался сам в целую специальную диссертацию.

Министерству иностранных дел нужно было вести переговоры и вообще что-то «писать» и в ответ «получать бумаги» от абиссинцев и коптов: их языка в Петербурге никто не знал, кроме Болотова (и теперь – проф. Тураева), и он сделался посредником этих сношений.

«Позвать Болотова».

«Спросить у Болотова».

«Посоветоваться с Болотовым».

И он как солнышко всюду светил своим добрым православным светом, и великим разумом, и всеобъемлющею ученостью, и чеканным языком.

Он, говорят, превосходно читал лекции, был великолепным лектором; читая же его лекции, собранные и напечатанные А. И. Бриллиантовым, – удивляешься великолепному стилю их, точному, яркому, выразительному, легкому. Никакой «каши и мути» мысли или языка; никакой сентиментальности суждений; никакой риторичности суждений и вообще неприятного привкуса ученых книг. Он страстно входит в детали: но и вообще течение истории церкви, это величавое громадное течение веков, он держит на острие своего внимания и судит его спокойно, величественно и очень критически в отношении лиц и явлений. Замечательно, что он имел ум положительно гордый; и эту гордость давало ему (как можно догадываться) громадное личное благочестие, при котором он получал «дух» судить очень решительно, даже пред лицом великих Отцов церкви. Так, в одном месте мне попала у него строка: «Мы это можем думать, несмотря на всяких вальсамонов» (иронически с маленькой буквы). Между тем Вальсамон написал толкования на «Апостольские правила», – и эти древнейшие толкования теперь приемлются (по косности) «непреерекаемо».

Он, несмотря на годы если не молодые, то и не старые, «сел» и был посажен «старцем» возле церкви. Так само собою вышло, – и именно ради его благочестия. Как он ничего себе не искал, был лишен инстинктов власти и славолюбия, то к нему, как к «простому смертному», легко было пойти за советом и величественному митрополиту, и чиновному обер-прокурору, и просто «студенту с диссертациею». И все шли. Из этого «все шли к нему» и сложилось «сиденье великого старца»: и, кажется, необходимо подобрать все

крупницы его мыслей, его советов, его указаний, его решений. Нужно заметить, что все у него было чеканная работа. Несколько лет назад припоминался его взгляд на обязательность в *наше время* древнего канонического права. «Канонично все то, что направлено к пользам *теперешней* церкви», – ответил этот благочестивый человек. За истечением многих лет я привожу его ответ на вопрос не буквально: у него сказалоcь это как-то великолепнее и чеканнее, сказалоcь как вечная формула, вечная истина. Я был поражен именно благочестием суждения, скрытым в истине суждения. Судя по этому-то вот ответу, я и думаю, что нужно подобрать «крупницы», и может быть, этим займется, окончив «Курс лекций», тот же Александр Иванович Бриллиантов.

– «Как прекрасны предсмертные минуты!» – «Иду ко кресту!» – «Христос идет!» – «Бог идет» – и слова «на каких-то восточных языках» слышны были, когда он умирал в Крестовоздвиженской общине (Бриллиантов, стр. 55). «Там» ждала умирающего его матушка, старая и чистая поповна и (по мужу) дьячиха. «Вот и ты пришел: как хорошо, что я свезла тебя тогда на салазках в наше училище», – сказала старушка. И он сказал ей:

– Хорошо, матушка. С большой моей работой притекли в православие десятки тысяч, которые уже сорок лет просили о воссоединении их, да не было им ответа: не могли внятно они сказать, да и их некому было разумеючи выслушать. Да и все лень было всем. А я поторопился, понатужился – и приняли.

– Да откуда это?

– Из Месопотамии, древнего «Рая» на земле...

И дивно старушке, что сын ее потрудился над таким великим делом, над таким далеким делом. Так, и из уезда ихнего маленьким ручьем беретcя Волга, – а течет великими водами в далекие края...

Русское общество не может не быть благодарно великою благодарностью А. И. Бриллиантову, – без рачительности которого лекции В. В. Болотова, может быть, и затерялись бы вовсе. Пожелаем, чтобы каждый филолог университетских женских курсов имел этот академический «Курс лекций по истории древней церкви» у себя настольною книгою.

ЛЮДИ БЕЗ ЛИЦА В СЕБЕ

– Смирись, гордый человек! Потрудиcь, праздный человек.

Пушкинская речь Достоевского

Мертвые срама не имут.

Изречение князя Святослава

Эти слова, когда-то с таким пафосом сказанные Достоевским, я, напротив, произношу с чувством неудержимого смеха, – в совсем других обстоятельствах и перед другими лицами. Несколько заиндевевших от скуки библиографов (ибо они здесь трудятся без призвания) и один плоский фельетонист задумали издавать журнал «Заветы», т. е. заветы *шестидесятых годов*, заве-

ты Чернышевского и Добролюбова... А печатают их и пишут в них свои «сочинения» Рубакин, Венгеров, Иванов-Разумник и заграничный протодиакон Амфитеатров. Все это – плоско, скучно, бездарно, как всякое повторение, и в сущности неискренно, как не могут быть «искренними» конвульсии в лице у искусственно оживляемого мертвеца. Но, по отсутствию какого-нибудь остроумия у этих библиографов и у этого фельетон-протодиакона, они не замечают комического своего положения. Так как *по форме* они возобновляют «великие заветы», то они приписывают себе необыкновенную важность, говорят все четыре господина басом, а главное, стараются браниться точь-в-точь так, как когда-то ругались их «великие предшественники», Николай Гаврилович и особенно Михаил Евграфович. Так называют благоговейно в своем кругу Чернышевского и Щедрина.

Не замечая, тоже по неостроумию, что это всего только – комическая труппа странствующих актеров, – люди, всего только щеголяющие в чужом и изношенном платье, даже в саване с мертвецов, – Философов в жалобном «Письме в редакцию» газеты «Речь» распростирается перед ними во прах, несмотря на то что именно в «Заветах» и именно один из этих библиографов выбрал и его, и находящееся под председательством его Религиозно-философское общество, и выбрал с крайним поношением, назвав сие общество обществом каких-то идейных жуликов и пустозвонов. Как ни мало вероятен этот жаргон, он прописан *en toutes lettres** в великих «Заветах» и даже нисколько не пугает, так как повторителен и подражателен, напр. в отношении великого «завещателя», Зайцева. Он называет участников, руководителей и гостей Религиозно-философского общества «клопиными шкурками», – и это наименование по крайней мере сотни образованных людей, в числе коих находятся Философов, Мережковский, проф. Карташев и проч. люди с именем, положением и призванием за ними, взял в заглавие своей пошлой, клеветнической, а главное – совершенно неразумной статьи. Но и в 60-е годы не «разбирали», а ругались, и в том состоит подерживаемый сейчас «завет».

Иванов-Разумник, – ибо сей библиограф есть *он*, – не ограничился «клопиными шкурками» по адресу сотни человек; он о *всем* Религиозно-философском обществе, быв на нем, по собственному признанию, только один раз, выражается, что там ученые и литераторы «занимаются религиозным блудом», «религиозным развратом», что члены этого общества суть «сухие и злобные мертвецы»... Ну, а чтобы понять всю эту канонаду и понять, откуда она сыплется, кто ее произносит, достаточно привести заключительные слова Иванова-Разумника: «Христианство – *не удалось*, да и все мировые религии *кончились*, а посему и попытки Философова и Мережковского возродить христианство – обречены на провал».

Каждому сколько-нибудь умственно и нравственно-воспитанному человеку ясно, что за фигура произносит эти слова. Достаточно назвать *огромные*

* в тех же самых словах, выражениях; буквально (*фр.*).

труды этих последних лет, посвященные апостолу Павлу (проф. Н. Н. Глубовского), бл. Августина (проф. В. Герье), Амвросию Медиоланскому (Г. В. Прохорова), религиозному мыслителю Влад. Соловьеву (кн. Евг. Н. Трубецкого и Э. Л. Радлова), достаточно вспомнить великую, *святую* деятельность епископа Николая, в Японии, – на могилу коего ходят молиться *язычники*-японцы, видевшие высокую красоту его лица и его жизни, и что в праздник Троицы стар и млад, мужчины и женщины, родители и дети, *все, все* идут в церкви, на долгое и утомительное стояние, между прочим на очень долгое стояние на *коленях*, идут по миновании *тысячи пятисот* лет после того, как «все это началось делаться», чтобы понять, оценить и признать, что «христианство окончилось» собственно в голове библиографа, по великой его умственной неразвитости, что оно «окончилось» между Мойкой и Фонтанкой в Петербурге, у господ уторопленных литераторов, погибших в корректурах, рукописях, многописании и скорописании, погибших в журнальных и газетных сплетнях, – но что все сие маленькое событие на петербургской мостовой и в редакционных кулуарах вообще не представляет никакого значения – даже никого не может заинтересовать. У усталого человека голова наливается свинцом, в глазах – туман, и «все религии кончились», потому что, в сущности, он сам «кончился», задохся и погиб в усталости, чернилах и бумаге. Таков библиограф без призвания, – не как любящий свое дело Соловьев, Петров, бар. Врангель («Библиофил» и «Старые годы»), а, напротив, как скучающий своим делом Иванов-Разумник (дал же Господь ему такое насмешливое имя).

Философову бы так и ответить – ведь он все это, что я говорю, видит, знает и об этом не сомневается. Но, увы, Философов уже давно не есть Философов; Философов из руководителей «Мира искусства» попал в сотрудники, притом второстепенные, еврейской газеты «Речь»... и, и...

«Смирился» гордый человек! Боже, каким он тоном разговаривал, бывало, со Стасовым, да и с самими Михайловским и Влад. Соловьевым, со страниц «Мира искусства»! Он был тогда «в себе», «сам»... Ах, ужасные вещи делаются, когда человек теряет лицо свое. Человек без лица? – Ничто! В это бедное «ничто» превратились все они, отошедшие от «Мира искусства», от «Нового Пути» и «Вопросов Жизни», Философов и Мережковский, и пошедшие работать на евреев и ухаживать за «русским социально-рабочим движением» (не имея с ним ничего общего)...

Казалось бы, после приведенных бессмысленно-злых слов Разумника можно обидеться и за себя, а главное – за *честь* Религиозно-философского общества, коего он был одним из основателей. Куда! «Обижаться» может человек с лицом. Но что делать бедному Философову без лица? Да говорить те унижительные слова, тем унижительным шепотом, который больше похож на целованье ручки у барина, чем на какую-нибудь вообще литературу.

«Если бы г. Иванов-Разумник пожелал сделать доклад в Религиозно-философском обществе, то его доклад был бы охотно принят, при условии (!!еще бы!!!) свободы в его обсуждении и оценке»... «Руководители Рели-

гиозно-философского общества всегда охотно дают слово своим врагам даже и отнюдь не замыкаются в кружковщину. В Обществе высказывались с кафедры и представители официальной церкви, и сектанты, и позитивисты-интеллигенты, и всяческие модернисты» («от коих первый есмь аз», мог бы добавить Философов). Но «Иванов-Разумник стоит во главе журнала «Заветы», к которому я отношусь с величайшим уважением, а потому мне приходится допустить мысль, что заблуждение г. Иванова-Разумника добросовестно». А посему «он говорит искренно, в силу своей действенной любви, считая их подлецами и мертвецами».

Так – напечатано... Этим когда-то гордым Философовым! Куда девались перья у павлина? Отчего он выглядит такой общипанной вороной? Нельзя не заметить, что Иванов-Разумник совершенно молоденький писатель, гораздо моложе Философова. Откуда же такая почтительность, такое «стояние босиком в Каноссе» Д. В. Философова?

А что же ему делать, когда он без лица? «Без лица» человека всегда бьют, и «без лица» человек вообще извиняется, кланяется и старается «ухватить ручку благодетеля». «Благодетели» же его – евреи из «Речи», и уже в «Заветах» если только упомянут его фамилию, даже с ругательствами, то он на несколько дней счастлив. До него снисходит Амфитеатров! Его упомянул, «выругав меня и друзей моих подлецами», Иванов-Разумник!! Боже мой, какая честь... Такие-то ужасные радикалы... Которых боится вся Россия... И кажется, знамена склоняются перед Ивановым-Разумником и гремят бубны и литавры.

Да кто ж? Почему?

В Академии наук
Заседает князь Дундук.
Отчего он заседает?
Оттого, что *что-то* есть...

А Иванов-Разумник «отчего в заседателях»? У него заслуг больше, чем у князя Дундука. Он, видите ли, «покончил все религии» и сказал, что «христианство – изжилось».

И вдруг перед *таким-то*, перед *таким* председатель и основатель *Религиозно-философского общества*... бух в ноги...

Этим «Письмом в редакцию» Философов, не замечая сам того, подтвердил все страшные обвинения Иванова... Но обвинения эти нимало не касаются *настоящего* Религиозно-философского общества, основанного в 1903 году, когда и Философов и Мережковский еще не снимали с себя лица своего, когда они были «сами»...

А «маски»?.. Их вообще «бьют», когда они забредают не в свое место, попадают в веселые дома и т. п., где вообще «правов» не полагается. С «маской» не церемонятся, ибо она «сделана» и «чужая». В том *насильственном переломе*, который произвели в Религиозно-философском обществе гг. Мережковский и Философов, вернувшиеся из Парижа лет пять тому назад, –

после чего другие основатели этого Общества покинули его, – уже содержались *implicite** все теперешние тягостные события в Обществе. Тогда его не посещали радикалы, но и не топтал ногами никто. Теперь, по красноречивому заявлению Философова, «нас ругают подлецами». Это бы еще ничего. За брань отвечает, кто говорит ее. Но он продолжает: «А мы их за это – в ручку».

Это решительно гадко. Жалкие судьбы общества и, поистине, недостойные его «руководители» (сам о себе Философов).

Но что поделаешь. Нет лица, без «лица» – и без *глаз*. Такой человек не видит. И они в полной слепоте потащили веру человеческую, молитву человеческую, утешение скорбящих и болеющих, – к сытым и распоясанным богатеям кабака («заправили общественного и литературного мнения»), где им причинили все, что там обычно всем причиняют.

Но вот вопрос, какой-то больной и странный: да *от чьего имени* и *по чьему разрешению* они эти страдальческие молитвы человечества втолкнули на обсуждение гнусных господ из «Заветов»?

Кто им дал право?

И не отреклись ли самым движением сюда, с «целованием ручек», они от религии, от Христа, от христианства. «Или с Велиаром, *или* с Богом»...

Но никогда эти неразумные и сильные не поймут того. Нет, воистину, *им самим только кажется* (искренно и ложно), что они «с Богом» и «для Бога» работают. Воистину, они – с пустотой.

И пустотой оканчивается все. В пустоту все рассеивается.

ПАМЯТИ ИЛАРИОНА ВАСИЛЬЕВИЧА КРИВЕНКО

Он как-то вспыхнул, прогорел недолго и угас. Глядя на него со стороны, казалось, что он весь состоит из болезней, недомоганий, – и это физическое изнеможение удивительно оттенялось в нем почти не сходявшей с лица его и с языка его шуткой, тихой забавой, сарказмом, иронией, никогда, однако, не злыми и не желчными. У него был постоянный запас *умственного остроумия* при замечательно добром и великодушном сердце. Никогда невозможно было даже предположить в нем, чтобы он захотел кого-нибудь обидеть, огорчить, внести в чужую душу какую-нибудь смуту... Все течение его души, все направление его души было противоположно этому... И его ирония, смех или, вернее, улыбка – были невольной данью или, вернее, невольным отражением его превосходных умственных способностей и общей даровитости.

Он любил слово, столько же устное, сколько написанное или напечатанное, и вошел в «словесность» как в свою естественную сферу, для которой был рожден. Даже нельзя себе представить, чем он мог бы быть, если

* в скрытом виде, неявно (*лат.*).

не литератором. Мир *слова* – был его мир. Причем замечательным оттенком было то, что в эту его «словесность» не пало ни одной капли «промозлого ремесла», ни одной капли «газетного труженичества». Он во все входил вольно, свободно, своею охотою. Порывался туда, сюда; вечно больной или полубольной, спешил туда-то поехать, чтобы *видеть своим глазом* и об увиденном сказать свое непосредственное слово, которое не имело в себе никакой тени шаблона. Не то чтобы он «старался быть свежим»: но он был всегда свеж и остроумен, потому что такова была его природа.

И он – или лежал больной дома.

Или – куда-то спешил.

И – ничего третьего.

В звавшем его лично оставалось, однако, впечатление постоянной задумчивости. «Ты о чем-то задумался, Иларион Васильевич». Это продолжалось минуту или полминуты: он поднимал взор, и во взоре был смех или улыбка. Это ему (в минуту задумчивости) пришла в голову параллель, сравнение, острота: и, подняв глаза, – он говорил ее. Но всегда было это впечатление, что словесное и письменное остроумие льется у него через эту задумчивость, т. е. что внутренняя работа мысли в нем совершается постоянно, и собственно эта-то жизнь души и составляет поэзию его существования.

Ничего большего он не задумывал и не собирался задумывать. Он не любил этого – «соорудить труд» и не интересовался этим. Жизнь и поэзия его души заключались в сплетении непосредственно текущей перед его глазами действительности со словом. И все, по-видимому, обещало в нем прекрасного и интересного газетного сотрудника, полного отражений сегодняшнего дня через его правдивую душу.

Но он почти только пообещал и умер, – слишком рано! Станет скучнее в нашей среде без него, гораздо скучнее. – Где же Кривенко? – Оглянемся. А его уже нет и никогда не будет.

ВАЖНЫЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ ТРУД

Проф. Н. Ф. Каптерев. Характер отношений России к православному Востоку в XVI и XVII столетиях. Издание второе. Сергиев Посад. Издание книжного магазина М. С. Елова. 1914. Стр. IV + 567.

В конце концов все расслаивается и группируется по своим историческим корням. В то время, как в «Граде Св. Петра» (написание «С.-Петербурга» на выходном листе многих книг XVIII века) естественно сосредоточилось, в его духовной академии, изучение общечеловеческих корней христианства, в Москве и около Москвы, возле раки св. Сергия Радонежского, в тамошней духовной академии, естественно сосредоточилось изучение собственно рус-

ской церкви и ее истории. В трудах Вас. Вас. Болотова, Ник. Никанор. Глубоковского («Бл. Феодорит» и «Благовестие ап. Павла») и Ал. И. Бриллиантова, а также других многих мы имеем блестящее выражение интереса к истории христианской церкви, так сказать «нераздельной и единой», а в великих трудах Голубинского и вот теперь проф. Н. Ф. Каптерева имеем столь же фундаментальные работы в том подразделении и ответвлении христианства, которое образовала собою Русская Церковь.

«Изучая в течение нескольких лет, – говорит автор, – в большом московском архиве министерства иностранных дел так называемые *греческие дела, греческие статейные списки, турецкие дела, турецкие статейные списки*, у меня невольно составилось такое убеждение, что русские, присматриваясь к грекам, когда в Москву с XVI века стали приезжать за милостынею греческие патриархи, митрополиты, архиепископы, епископы, архимандриты и проч., имели, со своей точки зрения, основания подозрительно относиться к тогдашнему греческому благочестию и отчасти даже к тогдашнему греческому правоверию. На основании именно специального изучения сношений Москвы с православным Востоком, особенно за XVII век, я пришел к тому заключению, что патриарху Никону не следовало слишком доверчиво относиться к приезжавшим в Москву грекам и по их указаниям исправлять наши древние церковные чины и книги. Но что особенно важно, в архиве мне удалось найти подлинное следственное дело об известном книжном справщике при Никоне – об Арсении Греке, который был сослан нашим правительством под строгое начало «для исправления его православной веры» в Соловецкий монастырь. Но Никон, как известно, взял Арсения из Соловецкого монастыря, привез его в Москву и здесь поручил ему исправление русских церковных книг. Противники Никоновой реформы постоянно заявляли, что Арсений Грек – воспитанник иезуитов и латынник и что такому сомнительному человеку никак не следует поручать исправление наших церковных книг, так как он может только испортить их, а не исправить. Все эти обвинения и нападки на книжного справщика Арсения Грека считались доселе несправедливыми, порожденными слепотою ненавистью невежественных противников церковной реформы Никона, которые образованного и православного Грека, выдвинутого Никоном, тенденциозно ославили еретиком. Но найденное мною в архиве подлинное следственное дело об Арсении Греке неожиданно вполне подтвердило справедливость старообрядческих обвинений против Арсения. Из следственного дела оказывается, что Арсений, по его собственному сознанию на следствии, действительно был учеником иезуитов и, отказавшись от православия, принял латинство, а по возвращении в Константинополь был обращен в мусульманство, почему московское правительство и сослало его в заточение в Соловецкий монастырь. Понятно, что со стороны Никона было очень нетактично брать и приближать к себе такого крайне сомнительного в глазах русского общества человека, а тем более было крайнею неосторожностью поручать Арсению исправление русских церковных книг. Ввиду ука-

занных фактов, я и высказал в своем исследовании ту мысль, что церковная реформа Никона нуждается в пересмотре и проверке и что на некоторые, по крайней мере, заявления ее противников нельзя смотреть как на продукт только невежества и клеветы».

Московский митрополит Иоанникий, которому был представлен духовным цензором на просмотр в *этих главах* труд проф. Каптерева, одобрил его «печатать», сказав, что «как ни печально это, но автор прав, так как основывается на подлинных архивных документах, против которых спорить нельзя». Что же, однако, вышло? Автор получил от академии степень доктора церковной истории, и Св. Синод, в лице иерархов, утвердил было эту степень за автором. Но поднялся К. П. Победоносцев и не позволил утвердить за ним эту степень «ввиду непочтительного отзыва проф. Каптерева о *матери* русской церкви – о церкви греческой». Труд (теперь являющийся в *полном виде*) перепечатан был в соответствующих главах, археологические открытия проф. Каптерева были похерены, выброшены вон, как «ненужные и вредные», и тогда он получил искомую ученую степень. Что это?!! Сам Победоносцев был образованный и утонченный человек и не страдал никаким пристрастием к греческой церкви. При нем с «греческой церковью» не было даже почти простых сношений вежливости, не говоря о «братской любви». Как же понять поступок Победоносцева? Тут нужно вспомнить древнего философа Платона и разделение им людей на «философов» и «политиков». Победоносцев, по его «задушевному», был, в сущности, «философом», притом довольно ленивым. И тем свободнее он выпускал «борзых собак» политики, что совершенно знал их злость, их неумеренность, их слепоту, грубость: ибо философия есть дело мудрых и немногих, а политика существует как демократическое удовлетворение требований и ожиданий толпы, множества, человеческой массы. Человеческая масса не может жить и действовать, твердо жить и твердо действовать, без счастливой уверенности, что «у нас все хорошо, праведно и основательно» и что «прошлое наше было счастливо и прекрасно». Посему «достопамятные люди» должны быть облечены «в виссон и пурпур», и вся история вообще должна являться «в ризах». Отнимите у человечества эту веру в «благолепие» прошлого и в «хорошее» сейчас, – и ради чего это человечество будет терпеть, будет выносить немалые свои тягости, – будет выносить жизнь тусклую, неинтересную, какова у большинства людей своя личная жизнь?! И вот народу, массе дается иллюзия счастья и справедливости, когда на самом деле их нет и когда никакой мудрец и «философ» (Платонов подразделение) не в силах дать настоящего и непризрачного счастья и радости людям. Что значит «открытие в архивах проф. Каптерева» перед этой великой задачей социального строительства, перед которою стоит политик? То все – «прошлое». Просто – «прошлое». И патриарх Никон «прошел», и его недостойный любимец «прошел». Мы живем в великом «теперь». Есть великое «*praesens*», которое не уступает своих прав ни прошлому, ни будущему. В этом «теперь» мудрецы могут переговариваться о своих

«истинах» и «открытиях», – но шепотом, как о некотором блаженстве своей души. Однако нужно «блаженство» и народу. Его «блаженство» состоит в полной вере, что «все хорошо»; что все «проверено» большими людьми, вождями истории, и было всегда все «справедливо». Как иначе православному «верить, любить и надеяться», – «верить в свою церковь»? Поэтому люди такого типа и такой утонченности, как Победоносцев, смело говорят: «Не надо Баура, не надо Ренана, даже Каптерева не надо, а надо – хорошая, верующая в слово истины литургия *сейчас*»... Вот. Либеральный Амфитеатров, выпустивший брошюрку – «Инквизитор Победоносцев», не догадывается, что Победоносцев знает все то, что знает и Амфитеатров или знаменитый Григ. Спиридонович Петров, но у Победоносцева «язык на привязи» ради уважения к народу, ради братства и единства с народом, ради, наконец, *пощады* народу... А у этих мелких самолюбцев и тщеславцев, без «щаря в голове», в сущности, нет никакой «демократии», а только одно желание «прославиться» и «обратить на себя внимание»... Так, я думаю, слагаются дела между «философом» и «политиком», – причем «философ» тем больше и шире уступает «политику», чем он вообще мудрее и великодушнее, чем в нем более отречения от эгоистического и тщеславного «я». «Я имею утешение в истине и в своих открытиях: но не должен забывать меньших своих братьев, которые должны жить и действовать, *твердо* жить и твердо действовать, и для этого никакими своими открытиями я не вправе лишать их уверенности, что они живут в царстве определенного добра и определенной истины... Абсолютное же знает один Бог... И может быть, я со своими истинами прохожу тоже только круг *относительности*»...

Это маленькое приглашение к скромности нашим Амфитеатовым и Петровым, – число же им «легион». Посидите, господа, и помолчите; помолчать иногда очень хорошо.

ИДЕЙНЫЕ СПОРЫ Л. Н. ТОЛСТОГО И Н. Н. СТРАХОВА

I

Печатающаяся в «Современном Мире» переписка между гр. Л. Н. Толстым и Страховым полна местами несравненного интереса. Толстой все творил и творил; выкидывал из себя целые каскады новых мыслей, новых пожеланий, новых оценок. Тихо шел за ним или около него Страхов, – ослепленный или, вернее, очарованный этим творчеством, хорошо понимая, что *выше творчества* в писателе и мыслителе ничего нет; но и понимая одновременно, что *сама-то история человечества* есть тоже великое сотворение, гениальное сотворение, и что поэтому относиться к нему отрицательно или разрушительно невозможно. Толстой, в каскаде «своих мыслей», почти не заметил и прошел мимо этих нежных ему укоров друга; скажем прямо – он

просто их не понял, так как в нем говорил или из него кричал «дух пророчества» и вот этого сотворения «все вновь и вновь»; Страхов же ясно видел неверность путей, на которые вступает Толстой, потому именно, что Страхов лишен был «творчества из я» и ум его был прикреплен к созерцанию вековых устоев истории, вечных, так сказать, «стран горизонта», с которыми и Толстой должен бы сообразовать свое «плавание», но не сообразовал его, и потому именно, что прямо *не видел* горизонта *дальнего*. Страхов был компас, но только компас; Толстой был паровик, но только паровик. Увы, «дружба» их не вылилась в гармонию «паровика и компаса»; и теперь, когда много времени прошло, видишь, оглядываясь назад, что «новаторство» Толстого было по существу продолжением того «нигилизма», против которого всю жизнь боролся Страхов; а Страхов был несколько обманут той религиозною оболочкою, в которую был завернут нигилизм Толстого. Страхов с величайшим энтузиазмом приветствовал поворот Толстого к религии и религиозности, — уверенный, что это подействует на наш «старый нигилизм», свернет его с путей голого отрицания. Но время прошло, и в действительности-то оказалось, что «старый нигилизм» был крепче и выжил, а Толстой, в сущности, покорился ему в самой религиозности своей, в самых своих исканиях, «где *лучшее*» религии.

Спор начался с «Писем о нигилизме», напечатанных Страховым в аксаковской «Руси». Письма эти не удовлетворили Толстого и даже раздражили его. И виден пункт разницы между Толстым и Страховым. Страхов судит нигилизм как *историческое явление*; судит его под впечатлением 1 марта. Толстой совсем не видит истории и даже не интересуется ею, а судит скорее не «нигилизм», а «нигилистов», — с точки зрения на «запросы *души их*», этих нигилистов, говоря, что они правы, отрицая всю теперешнюю действительность, этот мир форм и мундиров, мир внешности и официальности. Таким образом, спор между «друзьями» происходил в совершенно разной плоскости, и они никак не могли понять друг друга и сговориться. Здесь крайне характерно и высоко ценно письмо Страхова к Толстому от 25 мая 1881 года:

«Я думал, бесценный Лев Николаевич, что после напечатания моего третьего или четвертого «Письма о нигилизме» вы скажете мне хоть в нескольких словах ваше мнение... Но стал я вспоминать наши разговоры прошлым летом, когда мы *не соглашались*... Написал я, конечно, очень дурно, потому что не выразил и сотой доли того, что хотел, а то, что выразил, сказал в сто раз холоднее, чем думал. Не хватило и, может быть, никогда уже не хватит прежней силы. Но тема меня увлекла. *Этот мир я знаю давно, с 1845 года*, когда стал ходить в университет. *Петербургский люд с его складом ума и сердца* и семинарский дух, подаривший нам Чернышевского, Антоновича, Добролюбова, Благосветлова, Елисеева и пр. — главных проповедников нигилизма, — все это я *близко знаю, видел их развитие*, следил за литературным движением, сам пускался на эту арену и прочее. *Тридцать шесть лет я иду в этих людях*, в этом обществе, в этом движении мыслей и литературы —

ищу настоящей мысли, настоящего чувства, настоящего дела – и не нахожу, и мое отвращение все усиливается, и меня берет скорбь и ужас, когда вижу, что в эти тридцать шесть лет *только это растет*, тридцать шесть лет *только это может надеяться на будущность*, а все *другое гложет и чахнет*. Вы помните, какой отрадой были для меня вы, в какой восторг меня привела «Война и мир». Но общий поток прошел мимо и вас, и вашей «Войны и мира» – и все возрастал и усиливался. Если бы вы знали, что я чувствую тут, слушая нынешние речи и рассуждения, следя за чувствами и поведением милых моих петербуржцев! Одна уже привычка к болтовне, принимаемой за дело, одни уже непрерывные умничанья, не содержащие капли ума, могут привести в неистовство самого серьезного человека. А если у человека шевельнулось и серьезное чувство, то он готов будет и *возненавидеть этих болтунов*, говорящих с простодушнейшим видом *самые отвратительные вещи*. Конечно, хорошие, настоящие нигилисты в тысячу раз выше этого общества, но, к несчастью, *они его плод*, они приняли всерьез его *бездушные и пустомельство* и исполняют его программу. Я не могу равнодушно думать о той истории, которая совершается перед нами, об этом *извращении сил и бесплодной гибели*. Это похоже на то, как если бы человек сам себя резал ножом в куски или бился головой об стену, воображая, что творит какой-то подвиг, который принесет и всем и ему и славу и благополучие» (курсивы везде мои. – В. Р.).

Тут центральную мысль, центральное наблюдение «за 36 лет жизни» составляют слова Страхова, что даже «наилучше настроенные нигилисты» тем не менее продолжают бездушные болтающего, пустомельного общества, – переводят только это «пустомельство» его в серьезную программу и гибнут за осуществление этой программы. В самом деле, «террор» и «террористы», конечно, осуществили в «1-м марте» программу старого «Современника», старых «Отечественных Записок» и «Дела», *не прибавив*, да и *не желая прибавлять*, ни одной своей и новой мысли к атеистической и нигилистической болтовне этих корифеев русской журналистики, по существу совершенно невежественной и только чрезвычайно волевой и напряженной. В *воле*, а не в знании и образовании лежит корень русского и, точнее, семинарского нигилизма. Вообразать, что Добролюбов и Чернышевский были какими-то философами или политико-экономами, – могут только их совершенно неразвитые ученики и последователи. Самый страх их перед серьезной мыслью и почти полувековой журнальный «террор» над спокойно мыслящими людьми вроде Б. Н. Чичерина и самого Н. Н. Страхова – объясняется из испуга, как бы ученики не посмотрели куда-нибудь «дальше учителя», как бы они не увидели чего-нибудь «в стороне» от философа Михайловского и от политико-эконома Чернышевского; как бы они не вздумали «уклониться» от Дарвина, Гёксли, от Бюхнера и Молешотта. «Не дальше нас» – вот ферула всех этих воистину учителей нигилистической бурсы, которая была темна, сыра, промозгла и вонюча, как бурса Помяловского.

Толстой возражал против этого: «Но они – идеалисты *по душе*», по помыслу, по мечте. Однако самая *мечта*-то не шла дальше Бюхнера и Молешотта, т. е. это была просто философская галиматья, галиматья в *зерне* своем, в способе своего *зарождения*. Просто это было «яйцо-болтун», из которого цыпленок не может родиться, – а выходит из такого яйца какая-то кровавая и затхлая мерзость. В *миросозерцании* нигилистов, при наилучших их «волевых намерениях», содержалось, однако, именно *разрушение* и только *разрушение* стройных идейных миров, прежде всего *мира религиозного* и потом *мира политического*. К спору-то об этих мирах и переходит далее Страхов, нападая, хотя в высшей степени кротко и деликатно, на учение самого Толстого.

II

Спокойствие не есть равнодушие, а есть мудрость. Вот этой мудрости *воздержания*, мудрости *самоограничения* в самом творчестве – недоставало Толстому. Можно «распуститься», можно «забыться», например даже шествуя по такой идеальной стезе, как «личное самоусовершенствование». Как ни странно сказать, но, «лично совершенствуясь», можно дойти до сплошного хулиганства. Страшно выговорить, но ведь это очевидность для всей России, что Толстой, уйдя в «чревосмотрение» личного совершенства, внутренних добродетелей, – дошел до раскидывания как какой-то «ненужной поленицы дров» всей старой цивилизации – церкви, государства, искусства, науки. Может быть, поленица-то и полуразвалилась, но все люди *пока* берут из нее дрова и топят свои маленькие печи. И без этих дров человечество замерзнет. Сюда входит и личный спор его с Софией Андреевной, которая решительно была права с *семьей* и со своими *попечениями о семье*. Пусть это «язычество», но – совершенно необходимое, эти заботы «о себе» и «о ближайших». София Андреевна только раньше всей России, как ближе всех стоявшая к Толстому, почувствовала «невозможность Толстого» и «непереносимость толстовства». Но она почувствовала то самое, что потом почувствовала и вся Россия. Толстой против всего восстал, все стал раскидывать в стороны. Что это? Да просто – нигилизм, но не позитивный, не материалистический, а мистический и страстный, но, однако, именно нигилизм. Толстой именно «забылся», «распустился», стал величайшим эгоистом своего *творческого «я»*, – противопоставив его всему миру, всей истории. Но он забыл, что он человек и что никакому человеку не дано божеских сил нового создания. Он не хотел творить рядом с другими, творить около Гёте, творить около Шекспира, творить около скромной науки с ее «шаг за шагом». Он хотел творить – *один*. Здесь-то его и «роковое»: в нем не было маленькой и совершенно необходимой для каждого черты – скромности. Да, – за Сютаяевым он шел, потому что Сютаяев был «мужичок» тех же нравственных требований, как «я». Но поразительно в Толстом уже молодых лет, еще великих художественных и, казалось бы, безупречных созданий: постоянное сопер-

ничество, не лишенное завидования, в отношении всех *больших лиц*, больших авторитетов, больших значительностей; соперничество и ревнование к «властям предержащим», говоря словом церковной эктении, перекидывая «власти предержащие» в «идейный мир».

«Власти предержащие» в искусстве – это Шекспир и Гёте. Вспомним толстовское: «ничего нет скучнее Гёте», «пьесы Шекспира – это сумбур». Это – «писаревщина».

«Власть предержащая» – это наши попы. Ну, да: деревенская литургия. «Слушай!» – орет она на весь мир. Толстой ответил: «Не хочу слушать». Это – Чернышевский.

«Власть предержащая» – это судебный следователь своего уезда; «суд», какой он ни на есть, ну, там – «кустарный суд». И – «г. губернатор». Знаю, знаю – полны несовершенства. Но ведь и я несовершенен, и Толстой все-таки имел грехи. И *скромность* указывала бы ему «все осуждать», «все критиковать», но, однако, *на сегодня* – «повиноваться всему», всем этим, в сущности, «властям предержащим», от Шекспира до господина исправника. Что делать, не ангелы живут на земле. Вот этого смирения, к которому обязаны все, от царя до последнего подданного, не было вовсе у Толстого. И нельзя не заметить, что здесь, в сердцевине, лежало черное я, лежал моральный *эгоизм*, страстно патетический и, однако, безумно грешный. «Сютаевым» или «Платоном Каратаевым» Толстой был за чайным столом, за обедом, вообще дома и в домашнем быту: ну, а в делах своих и большой судьбы, в больших шагах своей биографии, он был тот хищный и властный Долохов, который безжалостно ремизит Николая Ростова. «Что же, ты в любви счастлив, потерпи в картах».

Но слаще и *мудрее* было бы нам увидеть Платона Каратаева не за кусочком сахара, который он смиренно обгрызает и остаточек кладет на дно опрокинутой чашки, – а увидеть в критике христианства и государства.

Страхов пытался стать на толстовские пути «личного усовершенствования», – но несколько *лениво*... И в том было его спасение: он не ковырнулся через голову в близлежащую яму. «Ваши упреки, – пишет Страхов Толстому, – смущают меня перед вами и тревожат мою совесть постоянно. Почему я понимаю ваши чувства, но не разделяю их? (Курсив Стр-ва.) Буду говорить, как на исповеди. Потому что у меня нет такой силы чувств, как у вас; *не хочу я насиловать себя или прикидываться*, а где же я возьму ту беззаветность, ту горячность, с которою вы чувствуете, которою озарено ваше сердце?»

Тут не совсем точен Страхов в отношении самого себя. «Старый нигилизм», известный ему с 1845 года по личным впечатлениям, и петербургских болтающих людей – он ненавидел достаточно «горячо». Но он чувствовал себя как-то пассивным в отношении моральных требований Толстого «воздерживаться от пороков»... «Пороки Страхова» могут вызвать только улыбку: всю жизнь учился, читал, изучал книги по биологии, по философии, по критике и эстетике и всю жизнь был беден и скромнен, тих и

застенчив. Врожденный «Платон Каратаев» науки, он просто *ничего не чувствовал* перед лицом требований Сютяева или Толстого, которые могли поразить только и вызвать бурю борьбы с собою у страстного и хищного «Долохова»...

«Будьте снисходительны ко мне, – молит кроткий Страхов, – не отталкивайте меня из-за разницы. Ваше отвращение к *миру*, – я его знаю, потому что сам испытывал его и испытываю, но *испытываю в той легкой степени, в которой оно не душит и не мучит* (курс. мой); но и привязанности к миру у меня никакой нет, если же есть какая, то я стараюсь теперь уничтожить ее, оборвать последние ниточки. *Не имея положительных качеств, я решил заботиться об отрицательных.* Постоянно я думаю об этом и, мне кажется, сделал некоторые успехи – не буду вам рассказывать, так они еще малы, а может быть, и те обманчивы. *На усилия, на крутые повороты я не способен* (мой курс. – В. Р.), но знаю, что постоянно держась одной мысли, одного пути, могу дойти до чего-нибудь хорошего. Я стал несравненно спокойнее, чем был, и все благодаря вам и чтению монашеских книг» (мой курс. – В. Р.).

Страхов деликатно и кратко упомянул о «чтении монашеских книг», не давая настойчиво понять «творцу новых мыслей», что, в сущности, указываемый Толстым «новый путь личного самоусовершенствования» – есть старый церковный путь, давно и издревле разрабатываемый в монастырях и для коего там есть не одни «слова, слова и слова», как у Толстого, но и помогающая практическая дисциплина. Страхов как питомец духовной школы, которую он очень уважал, знал это; Толстой как человек барского, графского воспитания, думал, что «творит все новое», начиная со своей «Исповеди» и «Крейцеровой сонаты». Но Страхов-то помнил, и осязательно помнил, что кроме «Исповеди» Толстого и так увлекшей Толстого «Исповеди» Ж.-Ж. Руссо, – есть и «Исповедь» блаженного Августина. Вообще, в теме «борьбы со страстями и пороками» Страхов был неизмеримо образованнее и начитаннее Толстого, коему казались «новинками», чуть ли не им «открытыми», и Эпиктет, и Марк Аврелий, и «Дневник» Амьеля, и разные изречения китайских и индийских мудрецов. Страхов в немногих словах о «старой науке монахов» как бы прошептал про себя и едва слышно другу: «Знаю. Старо. Испытано. И не всегда действует; но – попытаюсь».

Замечательно, что «проповедь» Толстого всего более подействовала на неимущих студентов и таковых же курсисток, вообще на молодежь, которой Бог весть от чего было «отречься», – от каких «пламенных страстей» и «роскошеств жизни». И вот потянулись неимущие студенты в аскетические «толстовские колонии», выплеснули за окно последний стакан тощего пива и отказались от булочки к чаю, а стали «с черным хлебцем». Учитель их все погонял, и они все уменьшали порцию. Все это было какое-то не «дело», а разговоры и кипение воды в пустом пространстве. России нужна была положительная работа молодежи, усилия и усилия, еще усилия и опять усилия, – каторжный труд, забота, энергия, борьба...

Толстой вдруг сказал: «Не надо» (его «неделание»), «назад», «углубимся в себя»... Да, «Долоховым» и отчасти «Нехлюдовым» (его «Юность» и «Воскресенье») – следовало «на себя оглянуться». Но что же было «на себя оглянуться». Страхову, который жил нищим, как студент, и что было «оглядываться на себя студентам и курсисткам с «уроками»? – «Но вы выпиваете лишнюю кружку пива 12 января, в Татьянин день» (Толстой об университетском празднике). Нельзя не заметить, что во всей этой проповеди утонул «комар фарисеев»: «Вы отцеживаете комара и поглощаете верблюда».

5 февраля 1892 года Страхов пишет Толстому:

«Вопрос об искусстве и науке не выходит у меня из головы. Вы, Лев Николаевич, по натуре больше новатор, а я по натуре больше консерватор. Буду защищать искусство и науку из всех сил против вас, Соловьева и против Николая Федоровича (Федоров – библиотекарь-философ в Москве). Эта область – *мне родная, область мысли*, а не дела; никто из вас, стремящихся к деятельности, не может понять, какое различие между деятельностью и совершенным отсутствием вызовов к ней, чистым созерцанием. Тут у меня весь центр тяжести».

Что же, в самом деле, было делать в «толстовских колониях», если – кроме песенки и гармонии, – отказаться еще и от мысли, от науки, философии?

III

Я не позволил бы себе утомлять внимание читателей идейными спорами Толстого и Страхова, если бы споры эти характеризовали только переписывающихся лиц и имели отношение лишь к ним самим. Нет, эта сторона вовсе не важна. Но Толстому и Страхову пришлось коснуться самых центральных, самых стержневых частей *русского исторического развития*, да даже и *устройства цивилизации вообще*, и слова, ими произнесенные, имеют величайший интерес и значение для нашего понимания *теперь*, для моего читателя *сейчас*. И, читая пожелтевшие старые письма их, читатель пробегает «самую интересную новость сегодня». Она его *наставит*, она ему укажет *путь*.

«Все это движение, – пишет Страхов Толстому от 31 марта 1882 г. о русском умственном развитии и о западном умственном и политическом движении, коего олицетворителем можно, например, назвать Герцена или журналистику 60-х годов, – это движение, которое наполняет собою последний период истории, – либеральное, революционное, социалистическое, нигилистическое, – всегда имело в моих глазах *отрицательный* характер, и, отрицая его, – я *отрицал отрицание*. Часто я задумывался над этим и был изумлен, видя, что *свобода, равенство*, эти идолы многих, эти знамена битв и революций, в сущности, не содержат в себе ни малейшей привлекательности, никакого положительного содержания, которое могло бы дать им настоящую цену,

сделать положительными целями. Начиная с Реформации и раньше, и до последнего времени все, что *«люди делают»*, не есть только вздор», как выражаетесь вы, а есть постепенное разрушение некоторых положительных форм, сложившихся в средние века. Четыре столетия идет это расшатывание и должно кончиться полным падением. Все эти четыре века *положительного ничего не явилось*, да и теперь нет нигде в целой Европе. Самое новое – в Америке, и состоит в том, что голоса продаются, места покупаются и т. п. Общество держится старыми элементами, остатками веры, патриотизма, нравственности, мало-помалу теряющими свои основания. Но так как эти начала были воспитаны христианством до неслыханной силы, то человечество неизгладимо носит их в себе, и их еще долго хватит для его поддержания. Но живет оно не ими, а *против них* или *помимо их*. Все новые принципы – прямое признание мирской земной жизни, и вот отчего так пышно нынче развилась жизнь. Есть простор для всего, для каждого рода деятельности, и для науки и искусства, и для служения Марсу, Венере и Меркурию».

«В таком странном положении живут люди. Нынешняя жизнь носит противоречие внутри себя. Она возможна только потому, что человек вообще может жить, не имея внутреннего согласия и останавливаясь на какой-нибудь одной мысли, например *свободы, национальности, обязательного обучения* и т. п.

И вот я отрицаю самые крайние из отрицаний и говорю, что если люди в них живут и действуют, то только в силу каких-нибудь положительных начал, обманывая сами себя, принимая призраки за действительность, любя и злобствуя, но без настоящего предмета для любви и злобы. Я давно смотрю и вглядываюсь, но не вижу ясного идеала».

Вот изложение дела, которое случайным образом удалось Страхову в частном письме лучше, чем в каком-либо из напечатанных сочинений. Это бывает... Гений «случая» («*Bonus Eventus*»), которому римляне молились как «богу», управляет битвами и иногда управляет пером писателей. Вдруг скажется слово, напишется страница, где литературное положение и личность автора засияет так ясно и так читаемо, как она не читается в томах им напечатанных книг, – зрелых, обдуманых. Вовсе не «с Западом» боролся Страхов, как он выразился в заголовке трехтомного труда своего, а он *боролся или «отрицал» то отрицание*, то разрушение положительных твердых истории и цивилизации европейской, какие были заложены И. Христом, заложены греческою философией и римскою гражданственностью и которые в течение *четырех веков новой истории* подвергаются всестороннему подтачиванию, критике, ненавидению и разрушению.

Рушение светлых миров в безнадежную бездну Хаоса.

Вот что ненавидел Страхов всеми силами души, как благожелательный старец, как просто порядочный человек, – не говоря о высших определениях, вытекавших из его литературных и философских способностей и из его занятий. Нет, эти способности и занятия он подчинил простейшему в себе

идеалу, доступному и каждому человеку... «Я живу, чтобы *создавать*, а не живу, чтобы *разрушать* и портить»... «И если целая эпоха занимается, в сущности, разрушением, то я *складываю руки* и не принимаю никакого участия в ее работе и жизни, в ее надеждах и пафосе». Эта простая мысль Страхова объясняет историческое положение всей так называемой «консервативной» партии в литературе и в жизни, которая вовсе не есть партия застоя и недвижности, не есть партия приверженцев каких-либо лиц, сословий, общественных групп, а есть целый стан людей, целый лагерь людей, не выдающих «последнюю икону на поругание». Суть в «иконе», а не в людях, не в лицах, не в интересах. «Вы не молитесь, никто не молится, — но мы хотим молиться». «Вы — без литургии, а только с кабачком и удобствами: а мы испытываем потребность молиться и не даем вам ни заглушить свои хоры, ни загасить свои свечи». Консерваторы — люди Последнего Огня, последней звездочки. Вот. Это не черствые, не бессердечные, не глупые и тупые, как по ним хлестала и хлещет сатира. Не те, которые крадут казенный сундук и целуют у высокопоставленных особ ручку, как утверждают стихи и проза. На них мечутся эти стихи и проза. Кипит вокруг них горячая злоба, о которой они спокойно говорят: «Это не вулкан, а грязная сопка азиатского происхождения, монгольского происхождения, которая кипит грязью и выкидывает из себя грязь». Этой горячей грязью усиливаются залить: «якобы» наука — подлинную, с древности идущую, науку и философию, «якобы» поэзия вычур, злобы и извращения — подлинную поэзию; подземные партии, kloкочущие завистью к богатству и власти, к авторитету и силе, пытаются опрокинуть подлинные и совершенно необходимые человечеству авторитеты правильной государственности и подлинной церкви. С бледным лицом, с зелеными глазами уторелой кошки «подпольное неистовство» кидается на все эти авторитеты, — нисколько не ложные, ибо они идут от Христа, от Рима и от Греции, крича, что из какой-нибудь полоумной головы Бакунина они построят нечто лучшее Капитолия, Акрополя и Голгофы. Не все знают, что, когда Бакунин устроил маленькую революцию в Дрездене и королевские войска осадили город, он, — распоряжаясь в нем, — потребовал вывесить на стены города картины Дрезденской галереи, т. е. подставить под ядра Мурильо, Веласкеса, Рембрандта и Рафаэля, — дабы, расстреляв сотни три полотен, — остановились разрушать тысячи. Почему должны были «остановиться» грубые солдаты, когда «не остановился» образованный Бакунин, — непонятно. Страхов и шептал про себя, да и нашептывал читателям: «Это — не Атилла, а просто помещик Ноздрев, естественное и единственное отношение к которому — связать и выбросить его *вон*. И — ни малейше не писать о сей знаменитости историю». Теперь (продолжим неконченный факт до полной его мысли) — Страхов ли, охранявший Дрезденскую галерею, или Бакунин — требовавший ее расстрела ради необузданной своей мысли, ради «Кит Китыч *так* хочет» — кто из них двух, «консерватор» или «революционер», был за культуру, был за прогресс, был за добро, был за благополучие человеческое? Спокойным

и мудрым глазом Страхов рассмотрел старые «мертвые души» под всеми своими звонкими одеяниями, под всеми этими звонкими выкриками, под всею этою феерическою обстановкою. Суть Страхова, мне кажется, лежит в глубоком личном *бескорыстии*. «Мне самому ничего не нужно, кроме книг: но в книгах этих, которые я всю жизнь читаю, мне открылось столько красоты и смысла, столько вечной истины, без которой человеку страшно и невозможно жить, что я старою и бессильною рукой выковырну из мостовой булыжник и буду этим булыжником защищать сокровищницу человечества, – Чашу Даров Св. Духа, – от всех этих славных и знаменитых Бакуниных, Герценов, Прудонов, Лассалей, Робеспьеров, суть коих – гениальная злоба или могучая волевая бессмыслица»...

Страхов не мог не видеть, что Толстой, который начал было с отрицания безрелигиозности общества, – незаметно более и более вовлекается в ту же самую борьбу с положительными идеалами человечества, на защиту которых сам Страхов положил всю свою жизнь.

ЖЕНЩИНА-ПЫЛЕСОС И ЕЕ ЛЕКЦИЯ В ЗАЛЕ ТЕНИШЕВСКОГО УЧИЛИЩА

Это все г-жа Нордман отличается, которая 1) ест одну траву, 2) здороваается с кухарками за руку и теперь, оказывается, 3) всех венчает... И как что сделает у себя в дому, так непременно об этом прочитает лекцию... Так что 1) сколько лекций, 2) столько новшеств в личном существовании уважаемой Натальи Борисовны Нордман. Поистине – блистающее существование.

Господи, чего она не насоветовала выходящим замуж девушкам! Они если до замужества имели службу, заработок или ремесло, то, выходя замуж, должны брать с жениха письменное обязательство уплачивать жене столько «карманных» и «на булавки», сколько восхитительные «оне» получали от заработка до замужества. Потому что с какой стати девушка будет что-нибудь терять. Это – во-первых. Во-вторых, та же рассудительная и, вероятно, очень черствая девица должна оговорить в письменном условии с женихом, что за каждые роды муж должен выдавать жене по 1000 руб. (не забудьте в условии, в котором могут оказаться со временем подчистки, прописать прописью: «*тысячу рублей*»). И, наконец, если муж окажется неверным жене, она его оставляет, а он ей опять выплачивает «столько-то». Вообще, г-жа Нордман очень точно считает, и это у ней, очевидно, прирожденный талант. Для уличения будущего мужа в «пошлостях с боннами и прислугой» г-жа Нордман советует в каждой комнате квартиры заводить «граммофон» с гладкими пластинками, который бы записывал разговоры мужа. «Мужья, вообще, все неверны и все очень грязны», – это звучало припевом и нотой в лекции г-жи Нордман. Печальное мнение или печальный опыт... Неужели так-таки «все»?!! Дайте пощады, г-жа Нордман!

Позвольте, но кто же будет на такой кислотине «с договором» жениться? Г-жа Нордман отнимает всякий вкус у мужчин, воображая, что мужчины так-таки и кидаются толпами к ногам барышень, умоляя их выйти за них замуж, а те совсем «отказываются» и говорят: «Ни за что!». Вместо этого «ни за что» г-жа Нордман и говорит: «Не будьте так жестоки, барышни, и, пожалуй, соглашайтесь выходить замуж, но только вот с этим письменным условием, которое обеспечит ваше будущее на все случаи». До сих пор думалось, что это обоюдно. Что в браке замешано неведомое, очевидно, г-же Нордман чувство, коему имя – *любовь*. Что в браке обе стороны чем-то жертвуют, чем-то поступаются, что-то драгоценное обе стороны получают себе; и что, наконец, брак заключается на основании глубокого и даже восторженного уважения обеих сторон друг к другу и полного их взаимного доверия.

Г-же Нордман это неизвестно? Печально. Ей вообще, очевидно, многое неизвестно. Например, указывая, что женщины должны рожать детей «не менее как за тыщу», говоря по-купчески, г-жа Нордман, очевидно, не чувствует и не подозревает собственного инстинкта и собственного глубочайшего влечения женщин иметь детей, возиться с детьми, кормить детей, одевать их, водить в школу и в церковь.

Станные «мамаши г-жи Нордман» – точно заводные медные куклы. Не знаю, как они будут рожать «по тысяче за каждого ребенка». Я думаю, они не будут вовсе рожать, а главное – никакой мужчина, уважающий себя и возможных детей от себя, не захочет их рожать с такими «заводными куклами».

В зале Тенишева, где г-жа Нордман читала (в четверг, 5 декабря) свою лекцию, были и протесты довольно громко, а главное – много подавленного смеха. Мужчины, очевидно, внутренне говорили: «Не хотим, не хотим!» То есть «не хотим» таких мертвых и бездушных кукол, с «письменным условием» и без сердца. Нельзя скрыть, что к восторженным почитательницам планов г-жи Нордман, обильно ей аплодировавшим и занимавшим первые ряды зала, принадлежало несколько таких мегер, что они и без договора, и по договору «свернут какому угодно мужу шею». Вообще, можно было бы ожидать вторую лекцию: «Защита от девообразных фурий бедных мужей в браке». Есть ведь женушки ой-ой... И по части «рогов» тоже отличаются не одни «жестокые мужчины», а кой-что известно и об измученном поле.

Ну, теперь будем ждать «в-четвертых», т. е. что еще нового и блистательного придумает «в-четвертых» Наталья Борисовна Нордман, которой лавры, успехи и книжная промышленность г-жи Вербицкой не дают спать. Две счастливые женщины в Петербурге.

Они утопают в розах. Книжки Вербицкой расхватываются, а лекции г-жи Нордман всегда полны публики.

* * *

А на шипах лежит бедный профессор Тураев. *Три слушателя* у него в аудитории Петербургского университета, два немца и один русский, – как мне привелось услышать от «третьего» из этих слушателей. Он читает о древ-

нем Египте, изящнейшей стране в истории цивилизации. И никого слушателей, учеников!! *Почти* никого, – в составе *десяти тысяч* студентов Петербургского университета, которые поистине «числятся» или поистине «топчутся» там... Бедный Петербург! О, не Тураев – бедный. Он богат со своим энтузиазмом, со своей ученостью – богат тем счастьем внутренним, которое дается сознанием: «Я кое-что сделал для отечества».

Он многое сделал. Он зачернил ту черную, грязную дыру, которая именуется: «полное неведение русских о Древнем Востоке». В самом деле, мы кичимся, что «Россия есть столько же страна Востока, как и Запада», что мы не «европейцы», а «азиато-европейцы» и т. д., и т. д., – следуют «пункты» нашей национальной гордости: и палец о палец не ударили, чтобы что-нибудь сделать для проникновения и для освещения этого Востока, и именно – Древнего Востока, т. е. единственно представляющего культурную ценность и высокий исторический интерес. Тураев, автор диссертации «Египетский бог *Тот*», посвятил всю свою жизнь этому Древнему Востоку, и именно – интереснейшему его пункту, Египту; и года два назад вышло первое издание его двухтомной «Истории Древнего Востока», а теперь, только что вот только, отпечатана первая часть, *впервые с рисунками*, этой же «Истории»... Очевидно, за вторым изданием последует и еще несколько, и нельзя предупредительно не заметить, что у проф. Тураева есть все средства *бесконечно* совершенствовать и обогащать пока *первое* у нас изложение этого занимательнейшего отдела всемирной истории.

Судя по рисунку на странице 310, проф. Тураев склонен дать кой-что «из Египта», что прошло удивительным образом мимо внимания даже таких специалистов этой страны, как Масперо (разумею большую его историю на французском языке). На рисунке изображено вечернее солнце, бросающее почти горизонтальные лучи на город, храмы, на царское семейство (большие фигуры) и народные толпы, трудящиеся и жертвоприносящие (миниатюрные фигурки). К сожалению, рисунок, который мог бы быть хоть в величину целой страницы, очень уменьшен и не дает зрителю заметить главной его особенности, до чего трогательной!! – Именно, солнечные лучи, представленные в виде длиннейших линий, «от солнца до людей», оканчиваются крошечными *кистями рук*! В подлинном снимке с памятников, в больших заграничных атласах, каждый луч изображен не в виде одной линии, а через две близкие друг к другу параллельные линии, и получается иллюзия, что солнце *простирает к людям руки*!! Солнце – «животворящее». Солнце было «бог» в древности: и вот оно не только протягивает руки к людям, но и как бы ласкает и благословляет их головы («кисть руки» почти касается головы). Что может быть выразительнее, что может быть религиозно-интимнее... И как нам, русским, не вспомнить свое церковное: «*Свете тихий святые славы Бессмертного Отца Небесного... Видевше Свет Вечерний поем Отцу, Сыну и Святому Духу*»...

И еще несколько (немного) рисунков есть у проф. Тураева, опущенных необъяснимо у западных историков, – и как раз передающих всю негу и изящество египетской жизни и египетских религиозных представлений.

В предисловии проф. Тураев очень мудро объясняет особые обязанности России и русских в смысле «должности изучения» по отношению к Востоку. «Наше отечество, – говорит он, – находится с древними странами Азии и Африки в более близких связях, нежели Западная Европа. Так, наши меры объема и веса и наш *алфавит* ближе к своему (вавилонскому и финикийскому) первоисточнику. Влияние византийской культуры на нашу сделало нас духовными братьями других восточных христиан, потомков великих древневосточных предков, да и сама *Византия покоится не на одной Греции и даже не на одном эллинизме. Восточная империя переварила в себе богатое культурное наследство, полученное из разных источников и от разных народов, вошедших в его состав*, – и уже в таком виде передавала его дальше подчинившимся ее культуре народам. Вот почему одни и те же литературные памятники оказываются и в славянском, и в коптском, эфиопском, армянском, сирийском облике, вот почему *церковную живопись коптов* (прямых потомков древних египтян) *можно принять по ошибке за старые русские иконы, а произведения песнопевцев греческой и русской церкви по манере, стилю и тону напоминают не Гомера и Пиндара, а древнеавилонские и египетские гимны*... На Кавказе попадаются туземные произведения, выдающие несомненное ассирийское влияние. Самые центры ассииро-вавилонской культуры, Ниневия и даже Вавилон, находятся в ничтожном расстоянии от нашей границы, – и тем самым напоминают нам, что интерес к изучению Востока должен быть у нас гораздо более живой, чем в Западной Европе»...

Боже мой, как занимательно все... В следующий «4-й раз», когда соберутся петербуржцы послушать г-жу Нордман о здоровающихся с нею «за руку» кухарках, не скажет ли она своим слушателям и слушательницам: «Господа граждане! Чем слушать вам мои глупости, не пойти ли нам лучше всем и послушать одинокого, никем, кроме троих студентов, не слушаемого профессора Б. А. Тураева».

НОВЫЕ ТРУДЫ ПО ИСТОРИИ ВИЗАНТИИ

Шумит газетный и журнальный мир, – шумит, волнуется и заволакивает целое небо; и кто смотрит со стороны, тому покажется, что это «город горит» или «город валится». Но да не опасается зритель: сие «бумажное небо» – по выражению Апокалипсиса – «свивается, как свиток»; и хотя назавтра вылетает из типографий «новое небо» бумаги, но суть в том, что «вчерашнего неба» никто не видит, не чувствует и кое-что помнит из него только «для специальной надобности». Кто, однако, любит «труды и дни» человека и человечества, может любить и может даже влюбиться в этот мир бе-

зумного бега, безумной торопливости, безумного возбуждения страстей, воображений и воли.

– Ах, черт возьми: эта печь *хорошо топится!*

И каким-то тихим тлением представляется возле него рост книги. Ах, интересно говорить с библиографами о судьбе, о характере, об «истории» книг... Ведь всякая из них имеет свою метрику, послужной список и заключительную страницу расчета с похоронным бюро. Книги – люди. Книга дышала, жила. Думала, заботилась. Что-то было «на лбу» у нее; что-то было «в сердце»...

И вот «умерла». Не будем об этом говорить.

Но пока она «живет», т. е. нужна, с нею справляются, над нею думают, – этот «путь книги» в обществе и в литературе ужасно интересен. «Докуда книжка дойдет?» «Дойдет ли до второго поколения?» – «Будет жить вечно?!!!» – Ну, это только Пушкин и Лермонтов живут так. «Сего адаманта никакой сталью не перережешь». Вечная поэзия. Только поэзия вечна. Поэзия – вечные молитвы человечества, вечный хлеб человечества. Прозаические книги живут одно поколение и изредка два поколения. До третьего не доживает почти никто: другие мысли, другие люди, другое «все». Другие, следовательно, и «книги», которые читаются, с которыми справляются, которые нужны. Я не говорю о библиотеках, где «сложено все». Библиотека – музей книг, кладбище книг. Конечно, там «все есть», но все уже не «дышит». Ужасное существование, т. е. в библиотеке.

Правда, – она как «царство небесное», т. е. вечно и безболезненно. «Иде же несть болезнь и въздыхание, но жизнь бесконечная»... Да, но там не кушают, не пьют и не «посягают». А пока живет человек, все ему хочется чего-нибудь покушать и куда-нибудь «посягнуть». Нет, Господь с ним, с Элизем: я предпочитаю базар...

Этот год «на базар» выкинуто очень много интересных книг. Прежде всего расцвела Византия, этот интереснейший мир, пройденный западной наукой без внимания. «*Vas Empiré*»*, т. е. какая-то низшая, как бы в подлом состоянии, в рабском состоянии и виде, родившаяся империя: этот простой титул, простое наименование Византии западными учеными сыграло роковую роль и для них самих, и для нас. Сравнительно с «интересной Италией» и с «великим папством» все византийское кажется *пошлостью*... А кто же *станет* изучать пошлость?.. Но, воистину, интерес истории открывается под пером историка. Византия не имела своего Маколя, своего Тьери, своего Прескотта... Русские не дали ей соответственного Карамзина... Последуя «примеру Запада», русские, кроме редкостных исключений, не касались «*Vas Empire*»... Все мерцали у нас в глазах и снились нам в снах «прелестная Италия» и «великие папы» или шум и гром революции. Ничто так не действует на выбор историка, как воображение, и Византия не действовала на воображение.

* «Империя времен упадка» (фр.).

«Пошлость», «Bas Empire», низкая империя, страна и люди.

Между тем там зажглись тихие лампадки. В св. Петре, в Риме, кроме *единственной* лампы, в углублении пола перед гробницей апостола Петра, – нет лампад, и от *этой одной причины* весь громадный собор представляется чем-то вроде нашего Пассажа, т. е. светлым, холодным помещением для ниш, статуй, колонн, где ходишь, гуляешь, рассматриваешь, а *помолиться* – просто не придет в голову. Ощущение холода, этой озяблости души, так велико, что хочется надеть перчатки. Это храм «для погляденья», а не «для усердия». Византия, т. е. Bas Empire, «в своей пошлости», сказала: «Стройте, люди, церкви *какие-нибудь*, а только *теплите в них лампы да ставьте свечи*». Люди послушались. И вдруг стало в церкви тепло.

А «какие-нибудь» церкви чуть не ежедневно горят. Даже «нельзя построить очень хорошую, потому что непременно сгорит».

И церкви были и остались «кое-какие», а молитва в них теплая. Как устроилось, кто придумал, кто начал?

И побрела сюда темнота народная и теснота народная. Удивительное дело: в Западной Европе, в Италии, как и в Германии, я не видал ни одного младенца, ребенка, и даже не посещают церквей мальчики и девочки, подростки. Одни *взрослые* граждане!! Хорошо, – то пусть «системы богословия» у них и лучше. Есть Фаррар, Гарнак, Штраус и обольстительный Ренан: но возместит ли это книжное великолепие тот наглядный, ежедневный и повсеместный факт, что дети вовсе не приходят и не приводятся ко Христу, к святым, к ангелам и вообще в храм?

Кто же научил приводить «и детей?» – Bas Empire.

Ибо «Христос *один*» и «христианство *одно*»: оно одно и то же везде.

Решительно явно, поэтому, что и о *лампадках*, и о *свечках*, и о *приводе детей* выучила все народы Византия. «Приняли христианство *от Византии*», – и делают: зажигают свечи, деревянное масло, «прут все в церковь». Разумеется, подстилая генеральшам «коврики». Но мы на это не смотрим, потому что от другого хорошо на душе. «И попу надо получить к празднику красенькую» (10 р.). Знаем. Слабости. Попы так же слабы, *как и мы*. Из этой и таких же множества слабостей вдруг получился великий результат: кроме *часа богослужения* – попы и поповство уравнились нам, мирянам, и есть или возможно единство и братство мирян и духовенства. Ибо «в общей слабости»... Там же, на Западе, и вообще везде, кроме православия, образовался «клерикализм» как пышущая вражда между клиром и между паствою... С «великими папами», с Фомою Бекетом, с Савонаролой, Гусом, Виклефом и Лютером.

Конечно, тут «очень много истории», но ведь все сплошной скандал. В *церковном* смысле, в *религиозном* смысле реформация, т. е. «разлом», «разрыв», «уличение прежних в *недобродетели и лжи*», – есть, конечно, и только один скандал. Дом строился сначала по *такому плану*, «дом затем строится по *другому плану*»... Что? Почему? «Так, – *забраковали*». Конечно, это «неприятная история»...

А на Востоке росли все «в один дом», в одну «постройку», в ту же кучу, – без разрыва и разлома. Один ствол рос и растет. «А все оттого, что барыням коврики подстилали»... Не верите? А на что божественное слово: «Сила Божия (один ствол) *в немощах наших сказывается*» (коврик, маленькая лесть и 10 руб. к празднику). Посмеешься в первую минуту, оглянешься во вторую минуту и задумаешься в третью минуту.

– Один Господь велик, а мы все ма-ле-нь-кие...

Результат решительно огромен.

Об этой-то Византии, полной всяческих чудес, и моральных, и метафизических, трое лиц дали или, точнее, начали этот год и немного ранее огромные соприу́сы, т. е. *систематические общие обзоры*, – на которые хочется, по крайней мере, указать «доброхотному читателю», как писалось в старину. Раньше других профессор университета св. Владимира, г. Юлиан Кулаковский, начал (в 1910 г.) «Историю Византии», посвящая по одному большому тому – веку. В двух доселе вышедших томах он обозревает историю Византии от 395 года до 602 года, – т. е. начиная ее с кончины императора Феодосия Великого и правления императора Аркадия, которому достался Восток или «Византийская империя», которая потом уже никогда не сливалась с западною половиною дотоле единой Римской империей. Но этот признак, «отсутствие слияний потом», слишком внешен и механичен: конечно, по *существованию*, началом Византийской, почти Константинопольской (по столице) империи является перенесение центра империи с Запада на Восток, т. е. с Константина Великого. Никейский собор, бывший при нем, составивший Символ веры православной, конечно, не может быть выведен за границы Византийской империи, великая и главная историческая роль которой и заключается в созидании, утверждении и распространении православия. Изложение истории у г. Юлиана Кулаковского – обычное ученое, без особенных подробностей, без особенного блеска и значительности.

В 1912 году начал обширнейший труд граф Ив. Ив. Толстой, бывший министр народного просвещения и теперь петербургский городской голова: «Византийские монеты. *Monnaies Byzantines*», – начиная их с монет также Аркадия и доведя их в выпуске четвертом до монет Юстина II, сына Юстиниана Великого, включительно. Описанию монет каждого императора предпослано довольно обширное изложение внешних и внутренних событий его царствования, и это изложение таково, что оно вообще читается связно, легко и обстоятельно, как бы было не приложением к истории монет, но самостоятельную историю (цена каждому выпуску 4 руб.). К книге приложены атласы фототипического воспроизведения *всех* монет, из них множества – собранных гр. Ив. Ив. Толстым, и проставлена торговая цена каждой монеты. Все нумизматы, конечно, пожалеют, что граф Толстой исхитил время свое, драгоценное для науки, для довольно обыкновенных сравнительно забот и трудов «*prefecti Petropolitani*»...

Оба эти труда, и особенно первый, совершенно затмеваются книгою, которую нельзя читать и даже нельзя держать в руках за ее громадную величиною и непомерной тяжестью, – не менее десяти фунтов. Ее можно только разгibtать, как напрестольное Евангелие, но где же взять диакона, который бы держал перед ученым чтением сей труд? Это – «История Византийской империи» глубокоуважаемого Ф. И. Успенского, директора русского археологического института в Константинополе. Книга рассчитана на три тома, и всякий, конечно, пожелает, чтобы как можно скорее раскупилось это несносно тяжелое издание (фирмы «Брокгауз и Ефрон») и было приступлено ко второму обыкновенному изданию. А первое пусть сплошь ложится на полки библиотек. Такою книгою можно убить человека и даже при силе можно убить тельца; о ней можно ушибиться самому (она продается в переплете). Но читать ее, за невозможностью держать в руках... не решишься.

В предисловии автор интересно говорит, что *многолетняя жизнь* в Константинополе, *среди греческого населения*, и близкое ознакомление с духом константинопольского патриархата, сыгравшего колоссальную роль в истории греческой империи, были ему весьма полезны для понимания и для освещения многих отделов этой истории. Он именно благодарит судьбу, что она *осязательно и наглядно* познакомила его с людьми и предметами, далекое и книжное представление которых несовершенно и искажено. Конечно, конечно... Гибкости византийской истории были сложнее, чем только «подстилания ковриков», по части чего грешила Русь. Не высказываясь прямо, Ф. И. Успенский косвенно говорит о вечной тенденции патриархата подавлять самостоятельность и подавлять жизнь, наконец – давить самое просвещение и книжность, у славян Балканского полуострова. Ах, история Византии мудра и лукава, свята и хитра...

Но ведь это тем интереснее, т. е. такая сложность. Не составляет ли, однако, некоторого недостатка, что все три ученые – специалисты-археологи. Археология и «быть археологом», конечно, великая вещь. Но не подавляет ли это некоторого духа *панорамы*, без которого тоже историку невозможно обойтись, – и именно историку *общего* обзора? Есть исторический анализ, и есть исторический синтез. «Господь ведет народы», «судьба кует историю»: эти почти народные изречения содержат некую мысль, коей нельзя отказать ни в реальной правоте, ни в высоком интересе. Читая страницы, особенно у проф. Юл. Кулаковского, чувствуешь незаметную скуку, которая наконец становится и заметна. Изложение походов императоров и полководцев должно или отличаться реализмом и сочностью личного интереса к лицу и судьбе тех древних фигур, или же ответить на вопрос: «для чего это было» и «что из этого вышло»? Или свет философии, или свет художества. Без этого «история» грозит обратиться в календарь «с учеными раскопками», т. е. в хронику происшествий, излагая которые автор отвлекается по временам в сторону какой-нибудь частности археологии...

М. К. Любавский. Московский университет в 1812 году. Издание общества и древностей российских при Московском университете. 1913 г.

I

Маститый историк Великого Княжества Литовского, давший два огромных труда по его прошлому («Областное деление и местное управление Литовско-русского государства ко времени введения первого литовского статута» и «Литовско-русский сейм»), теперешний ректор Московского университета, собрал к юбилейному году Отечественной войны, так сказать, «древности» своей Almae Matris, ее извод, крещение и пеленки. И все это с рисунками, с планами отдельных этажей университета и со снимками-гравюрами тех зданий, в каких временно пребывал университет до теперешнего своего помещения, наконец, с характеристикой первых его наставников и всего в нем учения и воспитания – издал отдельною книгою. Труд собирания в особенности старинных гравюр, планов и разыскание купчих крепостей на отдельные земельки и угодья, откуда он делает выписки, – все это задержало издание его труда, и он появился на год позднее, чем следовало бы. Но старики-питомцы Московского университета, которых по России рассеяно везде множество, благоговейно прочтут его книжку. Оказывается, Московский университет вначале стоял вовсе не там, где теперь, не на углу Моховой и Никитской улиц. Место его занято сейчас Историческим музеем. Он помещался рядом с Иверской часовней, у Воскресенских ворот, на земле, принадлежавшей Главной Аптеке. Там была пришедшая в ветхость «австерия», т. е. попросту – трактир. Его велено было разобрать, а на его месте построить, с «приличными украшениями», университетский зал. И вот здесь-то и был совершен «молебен на открытие его» 26 апреля 1755 года, на другой день после празднования коронации императрицы Елисаветы Петровны. Университет пока состоял из одного зала, где можно было пропеть молебен, но нельзя было учиться...

И вот начинается история географии Московского университета, – ответившая на самый важный и неперенный вопрос: «Где же нам жить?..» Он был официально и торжественно открыт, а буднично и реально его вовсе не было. И вот подобно как Иван Калита «скупал земельки», буквально точь-в-точь так Московский университет начинает «собирать себя», покупая кусочек за кусочком земли, старые здания, дворы, закоулки. М. К. Любавский, к сожалению, не называет *денежного источника* покупок. Он везде говорит: «Университет купил угодье», – и остается только думать, что шла какая-то «штатная сумма на содержание университета», которую некуда было тратить за неимением учителей, учеников, самого учения и, наконец, даже какого-нибудь *помещения*, – и вот ее-то «начальство» уни-

верситета и расходовало на покупку. Через два года, в 1757 г., был куплен двор князя Петра Ивановича Репнина, с каменным домом и деревянными строениями, на углу Моховой и Никитской улиц. В 1773 г. университет купил соседнее дворовое место у некоего Ивашкина; следующие покупки «мест» были у княгини Волконской, и еще через три года – огромный двор генерал-поручика князя А. Ив. Барятинского. Все это «тут поблизости», возле угла Моховой и Никитской улиц; и таким образом составилось огромное одно место в ведении кураторов Московского университета, которое они и застраивали разнородными зданиями, для самого университета, для состоявших при нем пансионеров, для ученых кабинетов, библиотеки, музеев и проч. Покупал университет земельки и вдали: так, он купил в 1805 году место, где теперь расположен московский Ботанический сад, – за Сухаревой башней, на Большой Мещанской ул. Покупал дома и в Газетном переулке, и на Страстном бульваре; – и, словом, имея средоточие на Моховой ул., он раскинулся, как паучок паутиной, или благообразнее, как пчелы сотами и медом, по всей Москве.

Оказывается, в течение первого полувека Московский университет представлял странное смешение форм и деятельности среднего учебного заведения и высшего учебного заведения; и притом – преобладало именно среднее. По мысли своего основателя, Ломоносова, при университете должны были существовать две гимназии: для дворян и для разночинцев. Эти-то первые у нас гимназии и подошли очень к потребности времени, дворянства и тогдашнего населения Москвы, – и быстро наполнились учениками, которых уже в 1787 г. было 1010 учеников, большинство «на казенном коште»; половина на половину дворян и разночинцев. Эта более чем тысяча учеников распределена была в 22 ученических классах, между тем как университетских аудиторий на всех факультетах было всего *десять*. Учащиеся были, замечает М. К. Любавский, «самая зеленая молодежь», среди которой чуть приметны были немногие студенты собственно университета, исполнявшие около подростков роль воспитателей и даже преподавателей младших классов. Студенты тоже жили в пансионах университета, который был почти закрытым учебным заведением или своеобразною светскою бурсою. На 1010 гимназистов в 1787 году приходилось всего 82 студента, из которых дома у родителей жили только 18 человек, а 64 были «на казенном коште». В 1779 г. с покупкою «места» на Тверской улице был открыт «Вольный благородный пансион», и это была уже третья гимназия при университете. В том же 1787 году всех профессоров было 16: 11 ординарных и 5 экстраординарных, тогда как гимназических преподавателей было 49. Состав гимназического преподавания отчасти отражал в себе зависимость этого первого у нас светского и общего образования от церковно-духовного, в частности – от *Almae Matris* самого Ломоносова, Заиконоспасского училища (впоследствии Славяно-греко-латинской академии), отчасти он отражал связь именно с университетом и его высшими науками. Так, в гимназии проходились: мифология, римские древности, языки еврейский, хал-

дейский (?) и татарский, военная и гражданская теоретическая архитектура, геодезия, основание политических наук, статистика, геральдика, нумизматика, древняя география, естественная история, умственная и нравственная философия, энциклопедическое обозрение всех предметов и т. д. Но предметы эти не носили той обязательности, как теперь «курс гимназии». Вообще, присматриваясь к тому даровитому и еще не «уставному времени» (гимназического устава вовсе не было), где люди делали и создавали «по-нужному», а не «по-приказанному», видишь кое-что хорошее, чего нет сейчас и чему сейчас невозможно было бы развиваться. Университет в своих гимназических ступенях *предлагал* преподавание таких-то и таких-то наук; но из них родители учеников, смотря по предполагаемой будущей службе и деятельности детей, *выбирали*, что им нужно. И самые предметы пространством своего курса разделялись на классы: первый класс естественной истории, второй класс естественной истории и т. д. Таким образом, вот в какую раннюю пору возникло естественное *предметное преподавание* вместо позднейшего классного и курсового, где ученики проходят «первый» и «второй классы» с определенной их программой, а не проходят *предметы* собственно; и, «оставаясь на второй год» по одному предмету, переучивают вторично уже выученные 7–8 предметов, теряя бесплодно бездну времени. Ученики тогда переходили из класса в класс по каждому предмету особо и могли быть по «математике в четвертом классе», а по словесности «во втором классе». Никаких переучиваний известного не приходилось делать. Переходить из гимназических классов в университетские аудитории находилось очень мало желающих: во второй половине XVIII века не сложилось еще самого духа научного теоретизма, который и есть собственно сфера университета. И не будет ошибкою сказать, что Московский университет во внутреннем содержании своем, так сказать в огне своего жертвенника, возник только в XIX веке, около времен Карамзина, Жуковского, Батюшкова, Грибоедова.

До этого же времени решительно вся Россия и все русское общество жило и вдохновлялось «державными трудами» самодержцев своих, и многу или помалу – им «соработали», т. е. попросту служили в воинских и в гражданских службах. «Куратором» Московского университета, между прочим, был Херасков – творец «Россиады». Все «службы» умещались в эту «Россиаду», в ее смысл и пафос. Но этой «Россиаде» было очень мало дела до наук, как и наукам до нее. Соответственно этому общему положению университет главнейше и подготовлял своих питомцев к разным службам. А так как военная служба преобладала над всеми, то университет своеохотно обучал гимназистов и студентов даже военным экзерцициям. С понедельника Фоминой недели желающие ученики гимназии и пансионов записывались рядовыми к ротным командирам, студентам, которые в вечерние свободные часы обучали их сначала выправке и маршировке, а потом ружейным приемам, для чего выдавались казенные ружья. Те ученики, которые оставались в университете и на летнее время, продолжали воен-

ные эзерциации. В сентябре, в праздничный день производился университетскому потешному батальону смотр, на который приглашался кто-либо из генералов, напр. московский комендант либо шеф полков, стоявших в столице. Военное обучение носило серьезный характер, с применением всех правил военной дисциплины. Так продолжалось до первых лет XIX века.

Так, в странной смеси гимназических и университетских элементов, гражданских, военных и педагогических, росло первое «ученое юношество» Москвы. И нельзя не сказать, что оно росло удачно и талантливо! Была какая-то «удача» в основании Московского университета, – от Ломоносова ли пошедшая или от чего другого – трудно сказать. И «пеленки», и «служба» других русских университетов – гораздо тусклее, казеннее, официальнее и скучнее. Около университета в Москве сразу сложился быт, – и анархический, и красивый. Анархия произошла от недостатка «устава», но трудились около университета люди серьезные, с глубоким чувством долга – и все вышло красиво. В Москве университет очень скоро стал «первенствующим лицом», чем не удалось сделаться университетам в других городах. Еще о «потешных» в университете и о тамошнем «благородном пансионе»: нельзя не отнести сюда того глубокого гражданского духа, того постоянного памятования «отечества» своего, которое отличает, или по крайней мере долго отличало, питомцев Московского университета и высокие образцы чего дали в своих личностях Карамзин, Жуковский и Погодин, – все, вышедшие из благородного гнезда на углу Моховой и Никитской улиц. В старых его аудиториях, без всяких украшений, с их странными подчас названиями («гербарий», – где не было ни одной травки; «юридическая *внизу*» и т. д.), было что-то наследственно установившееся, что питало в студентах дух обязательной традиции, и этот дух был властительнее души и ума каждого студента. «Здесь, вот в *этой самой комнате* (былой «Благородный пансион»), учился отрок Карамзин» – такая мысль связывала и воспитывала. Традиции были слишком *серьезны*, и каждый чувствовал необходимость быть *лично скромнее...* Это держалось очень долго – и это-то и воспитывало.

На личностях первых наставников университета мы остановимся потом, как и на руководственной роли университета в отношении всех учебных заведений московского района, т. е. вообще *центрально-русских* учебных заведений. И здесь все складывалось как-то непреднамеренно, без планов и тенденций, но в высшей степени благоприятно.

II

Удивительно: когда рассматриваешь портреты лиц эпохи Александра I или конца екатерининского времени, то замечаешь что-то более значительное и интересное, чем слишком знакомые нам «теперешние лица». Это неизменное впечатление за много лет повторяется, когда смотришь и на портреты ученых мужей или «покровителей муз» в книге М. К. Любавского о первом

полувек существования Московского университета. Какие выразительные лица у М. Н. Муравьева, у П. Гр. Демидова, – или у ученых людей, как И. А. Гейм... Жалко, что не дано портретов больше, – и гораздо больше. Портрет есть то, что должно предшествовать всякой биографии; портрет всегда разъясняет биографию и есть собственно ее résumé, отразившееся в глазе живописца-наблюдателя.

На первых порах жизнь университета сложилась уютно и благородно, – и нельзя этого не отнести как к своей причине к тому, что первый «Устав» его 1804 года возник, так сказать, из «чистого разума», на дороге, еще не загрязненной и не избитой опытом и его тяжелыми разочарованиями. Все расположилось очень просто и естественно. В начале царствования Александра I, кроме трех наличных университетов, Московского, Виленского и Дерптского, были предположены к открытию еще три – Петербургский, Казанский и Харьковский. По новому, первому уставу, каждый университет получал свое правление, во главе которого стоял ректор, избиравшийся общим собранием университета и представляемый через министра на утверждение Государя. Избрание профессоров возлагалось также на общее собрание университета, причем попечитель представлял их на утверждение министра. Профессора по роду наук составляли отделения, из которых каждое избирает большинством голосов своего старейшину (декана) на определенное время. Эти старейшины вместе с ректором и составляют правление университета, профессора же всех отделений – общее собрание университета. Предварительные правила предусматривали для университетов библиотеки, открытые в определенное время для посетителей, также собрание естественных и искусственных произведений, типографии и т. п. Университет занимал, по уставу, руководящую роль в учебной жизни своего округа. Но это выражалось не в голом праве, которое всегда рождает аппетит претензий, а как ряд обязанностей, труда и заботы об учебной части округа и о состоянии в нем учебных заведений. Таким образом, это было не право вмешиваться в жизнь округа и контролировать деятельность попечителя округа, а это была задача соработать попечителю и поднимать уровень школ в его ведомстве. Это выразилось прежде всего в том, что на университет возложена была обязанность готовить учителей для гимназий своего округа. Для этого при каждом университете учреждался педагогический институт. Студенты, принимаемые в него, получали звание кандидатов (т. е. кандидатов на *учительские должности*) и состояли почти все на казенном содержании, за что по окончании курса в университете обязывались прослужить в должности учителя шесть лет, по назначению от округа (т. е. в *каком городе служить*). Этим обеспечивались учителя для глухих, захолустных городов, – «в стороне от света и больших дорог». Конечно, не всегда это было легко для окончившего студента, но ведь это не на всю жизнь, а только на шесть лет, после которых много оставалось жить; да и для России поработать нужно, даже кое в чем лично и стеснив-

шись. Зато в пору учения юноша получал даровые науки, даровую комнату, даровой стол. Для бедноты это было «прибежище». Это – одна линия работ и стараний для профессорской коллегии. Вторая линия тех же работ вытекала из первой. Члены университета, т. е. старшие профессора, ежегодно должны были обзирать училища округа и доносить обо всем замеченном общему собранию университета, которое в свою очередь доносило попечителю. Гимназии округа обо всех распоряжениях по учебной и по хозяйственной жизни обязывались доносить ректору университета, а последний – попечителю. Попечитель округа, поставленный в посредники между своим округом, университетом и министром и состоявший в то же время членом главного управления училищ, обязан был всемерно заботиться о преуспевании учебных заведений, о распространении и успехах народного просвещения в его округе.

Нельзя не заметить, что эта живая связь всех частей в учебном округе была лучше, чем теперешнее полное разъединение тех же частей. Студенты «сами по себе», профессора – «сами по себе»; попечитель, завистливо и ревниво сосредоточивший в своих единоличных руках управление училищами, управляет ими совершенно отвлеченно через свою канцелярию, через состоящих при нем чиновников («окружные инспектора»). Худшая сторона здесь в том, что и студенты и профессора живут как-то совсем без «начинки», без переваривающей что-либо «утробы», – только с отвлеченной холодной головой, с логикой мысли и теоретическими европейскими знаниями, без *связи с родиной, землей*, с этими окружающими Москву или Петербург губерниями, городами, населением.

Так постепенно «улучшаемое» (от Петербурга) дело все ухудшалось (в России). Но оставим сетования и обратимся к прошлому.

Первоначально почти все профессора были немцы, большею частью приглашенные из германских университетов, хотя и очень быстро русевшие в своеобразной московской обстановке. Процентное отношение между немцами и русскими, однако, постепенно изменялось в пользу русских. «Не все вдруг...» Нужно сперва перетерпеть порядочное, чтобы перейти к хорошему. М. К. Любавский дает прелестные очерки первых русских лиц, ставших около питомцев университета.

Вот Антон Антонович Прокопович-Антонский, портрет коего, с орденом на шее и звездой на фраке, дан у него. Он был сын дворянина-священника Черниговской губ., учился сначала в Киевской духовной академии и затем, на иждивении «Дружеского ученого общества», во главе коего стоял Н. Н. Новиков, – учился на философском и медицинском факультетах Московского университета. Уже на студенческой скамье он начал заниматься литературною деятельностью и участвовал в издании «Покоящегося трудолюбца». По окончании курса Антонский произведен был в бакалавры учительского института и сделан был репетитором университетских гимназистов, а затем преподавателем Благородного пансиона. Назначенный в 1788 году адъюнктом по кафедре натуральной истории, он сейчас же при-

вел в порядок тогдашний музей натуральной истории и начал издавать «Магазин Натуральной Истории, Физики и Химии»; в течение четырех лет он успел издать 10 томов. Но больше всего сил, внимания и забот Антонский стал уделять Благородному пансиону, инспектором которого он был назначен в 1791 году. Благородный пансион, в котором получили свое образование и воспитание многие крупные в истории русской культуры и общественности имена, был всецело детищем Антонского. Он написал для этого пансиона «Постановление», или устав, издал хорошие учебные пособия, создал весь его учебно-воспитательный строй, подобрал для него лучшие преподавательские силы. Вся будничная жизнь этого учебного заведения протекала под его бдительным надзором и постоянным руководством. Он же был обычно и организатором школьных развлечений и торжеств, т. е. спектаклей, литературных вечеров и т. п. «Антонский, – говорит Любавский, – сумел сделать из Благородного пансиона такой нравственно-уютный, теплый и светлый школьный уголок, что все учившиеся в нем всегда поминали добрым словом и пансион, и его инспектора. Антонский отличался удивительным умением соединять и объединять людей, устраивать разные общества, руководить ими». Сойдя со студенческой скамьи, он уже сделался председателем собрания университетских питомцев. По примеру этого собрания он учредил и при своем Благородном пансионе тоже собрание питомцев, устраивавшее литературные заседания и издавшее сборники: «Детское чтение для сердца и ума», «Утренняя Заря», «Каллиопа». Наконец в 1811 году при его инициативе и хлопотах открылось при Московском университете общество любителей российской словесности, избравшее его своим председателем. Антонский нарочно стал устраивать заседания этого общества у себя в Благородном пансионе, чтобы дать возможность воспитанникам послушать литературные новинки и беседы лучших чтецов и вместе с тем ознакомиться с лучшим московским обществом. На заседания съезжалась избранная публика, которую старшие воспитанники, как хозяева, должны были принимать, рассаживать и занимать разговорами. «Организацию этого общества, равно как и всеми педагогическими трудами, – замечает автор книги, – Антонский, при всей скромности личных научных заслуг, несомненно, стяжал себе почетное имя в истории Московского университета и русского просвещения».

Еще бы... Сколько томов ученых книг нужно положить на чашу весов, чтобы уравновесить все это сделанное Антонским и что вытекло не только из прелести его характера и всей души, но и из ума обширного, ясного и спокойного. И опять, оглянувшись на «теперь», как вздохнешь, что около учащегося юношества не стоит таких «Антонских», которые могли бы насытить жизнь молодежи благородным и живым содержанием. Все пишут новые «уставы», тогда как секрет – в выборе человека и в том, чтобы поставить его на место. И Антонский, конечно, мог бы сгнить в скуке и тоске, попади он в департамент с перепискою бумаг.

Снова в сознании и в чувствах народных рождается Предвечный Младенец, — рождается в вертепе, т. е. в пещере, куда на ночь сирийские пастухи загоняли свой скот, охраняя его от хищных зверей. Снова приходят поклониться Младенцу и Богу сперва пастыри, т. е. пастухи окрестных стад; и затем приносят Ему дары, золото и благовонные смолы «волхвы с Востока», — дары, знаменующие и священническое, и царское служение рожденного Младенца. Так в этих чертах, и простых и народных, говорящих что-то «свое» и «родное» каждой бедной хижине, — и вместе в чертах небесных и религиозных, уже предрекающих будущие звоны христианских церквей, родился наш Христос, научивший людей и народы новой истине, новой правде; родился Тот, Кто возвестил всем новый закон благодатного существования.

«Свое», «родное» говорит каждой хижине Рождество Христово. Никакие царства и никакие власти, никакие обширные и новые законы, требующие от человека повиновения и говорящие ему языком приказаний, — не могли бы внести и не вносят того внутреннего содержания, того сердечного говора, какой принес людям Рожденный Младенец. Здесь разница и разделение религии от царств. И здесь причина, что все царства и власти склоняются перед религиею, ибо даже для *них*-то, для этих *царств*, религия дает больше царственного и законодательного, чем сколько они содержат в себе. Религия дает внутреннее убеждение, собственное влечение человека следовать лучшему, благороднейшему, человеческому. Навстречу закону, суровому и внешнему, с его *тоном* приказаний, — и раньше, чем он умел приказать, — религия вызывает порывы в самом человеке, не только совпадающие с законом, но и дающие «благодатную прибавку». Никаким законом и никакими его строгостями нельзя бы вызвать того сияния подвига и добрых дел, какими бывает наполнена, — и до сих пор часто, не говоря о ранних веках христианства, — жизнь деятельного и порывистого христианина. «Христа ради» — это относится не до одних нищих... «Христа ради» воздвигаются больницы. «Христа ради», через сборы по копейке, воздвигнуты все наши храмы. «Христа ради» льется и льется добро из щедрых рук в руки неимущие, — и этот поток до сих пор, через 1900 лет после рождения Божественного Младенца, так велик, обилен и энергичен, что говорить об «угасании христианства» могут только больные языки, покрытые струпами, и могут только больные изнеможенные совести, задыхающиеся в собственном эгоизме. А говорят многие, и говорят с радостью о «падении религии вообще» и, в частности, об «изношенности и потускнении христианства», — радуясь, что «исчезают предрассудки и суеверия». Но народ им не уступит «своего» и «родного», о чем мы сказали выше. Толща народная хорошо знает, что светская безрелигиозная филантропия оставит их голыми на снегу, что она из тысячи накормит только одного, — не будь народного движения сюда «Христа ради», не будь в самой толще народной порыва делиться с соседом, кормить неимущего, — не ради себя и не ради своей человечности, не ради своего образования и учености, но «ради Христа», Который жертвою за человечество научил и каждого жертвовать для человечества.

И тысяча девятьсот лет не истощился этот поток. Померкли царства и силы, сколько республик пало и монархий разрушилось! – а поток христианских чувств и сила благотворения его не пала; и никто не спрашивает: «Скажите, где же проявление христианского добра?» Оно – *везде*, добрый читатель, – умеи только смотреть; оно в самом тебе, даже если ты отрицаешь христианство, потому что ты уже смотришь совсем новым глазом на человека, на бедняка или больного. И этот новый взгляд или, точнее, этот новый *глаз* рожден в тебе Христом и христианством, воспитан в тебе церковью и молитвою в родительском доме: ибо об этом ничего не говорит тебе алгебра с геометрией, не говорят филология и медицина, не говорили тебе школьные учителя, торопливо занятые совсем другими предметами и иными темами. Но, как сосуд с дорогим миром долго еще сохраняет аромат мира после того, как из него исчерпано или из него выплеснуто на землю миро, и даже черепки разбитого сосуда долго пахнут тем же, так точно отвернувшийся от церкви и христианства безбожник долго еще сам остается христианином, останутся христианами даже его дети, что бы ни говорил их язык. И настоящий холод безбожия появится только в третьем поколении, когда «пройдет уже все»... Но до такого ужаса никогда не допустит народы Младенец, рождение Которого мы сегодня празднуем.

Христианство – теплота, всемирная теплота. Колыбель – тоже теплота. И ясли, и Младенец в них – все теплота. В противоположность холодному, бездушному буддизму, в противоположность формальному Моисееву законодательству с его мстительным «око за око и зуб за зуб» и с фарисейским разделением людей и даже предметов на «чистые» и «нечистые», – Христос принес на землю благодатное царство, где погашена мстительность и где все «нечистое» освящено благодатью и сделалось чистым. «Не греет ли солнце добрых и злых», не «светит ли оно равно добрым и злым», изрек Христос: запас добра и сила добра, которое принес на землю Божественный Младенец, были столь велики и обильны, что Тот, Кто изрек это слово о солнце, замыл даже рану разделения вещей и людей на добрых и злых, на чистых и нечистых. О, не для того, чтобы попустить зло и нечистое: но чтобы самое зло и нечистоту обратить к Богу, повернуть к Богу, повернуть к правде и очищению. Христос именно *победил* кривое и лукавое, нисколько с ним не согласившись и ни в чем ему не уступив. Он *исцелил, исправил*, – а не смежил глаза на существенную разницу между добром и злом. Но Он оставил «огонь неугасимый» последних дней для всего, что и после Его учения и Его образа останется упорным, косным и холодным.

Христианство – защита народная, Христос есть заступник народный. Никогда, никогда народ не отступится от этой защиты своей, никогда он не отойдет в сторону от своего Заступника. Мелкая и неумная школа и некоторые обезумевшие семьи рубят под собою корень, пренебрегая религиозным воспитанием детей, и само пастырство тоже сушит этот корень формальным и внешним исполнением своего благодатного долга и в школе, и в семье. Но 1900 лет держится корень и еще свеж. Немалое время! – и оно

крепит в нас надежды. Пройдут безумные дни, все опамтуются и поймут, что нет воспитания без «закона Божия», нет благодатного роста детей без молитвы, без поставленной в церкви восковой свечи, без всего круга забот и мыслей, нить которых начинается в церкви, а оканчивается на далекой орбите нашей целокупной деятельности гражданской, служебной, всяческой.

Но, забывая об отрицательных и кривых явлениях душевной и общественной жизни, кончим – обращаясь к добрым. Скажем слово тем, кто верен Христу и христианству, верен Церкви. Пусть смело и твердо стоят они на этом камне: не смоем его цивилизация, не подмоют его науки, ибо этот камень сам их утверждает и все на нем держится. На правом камне стоите вы, правые и лучшие люди Руси. Только не забывайте: ведите непременно детей ваших к церкви в этот день, приобщайте их морю народному и морю веры народной. Детские впечатления – на всю жизнь. Это относится к возможному небрежению, так распространенному на Руси: будьте бодры и внимательны эти дни, ибо ничто так не воспитывает детей, как правильно вошедший в их душу смысл праздника. Но затем, оставляя рассудительность в стороне, – *сами* и вольной душой отдайтесь этому празднику; и, помня, что во всем году «Рождество Христово» и связанные с ним «святки» есть главный и единственный *семейный праздник всяя Руси*, – не кидайте драгоценных дней на пустые визиты, светские удовольствия, не спешите в театры и вообще на внешние удовольствия, а старайтесь проводить их лучше дома, делясь душою и мыслью с семьей своей, которой ведь вы по обязанностям службы и всяческого вообще труда – так мало принадлежите, в сущности. Святки – годовой миг воскресенья семьи, или ее оживления, тех счастливых ее дней, когда все «в сборе» и «дома». Вот этим «в сборе» и надо воспользоваться, это «дома» надо разработать, украсить узором игр и забав, чистых, веселых и простодушных. Напомним, что у нас есть (т. е. продается везде) превосходный большой труд – «Святочная хрестоматия» Швидченка, где родители и взрослые дети найдут все, что в праздник нужно, в смысле умного развлечения. Тут и народные всевозможные песенки, и игры, и маленькая пьеска для домашнего спектакля. Книжка и собрана (из поверий всех народов), и написана в целях именно дать русской семье невинное и вместе образованное развлечение на дни Святки!

Ну, с Богом! Здравствуйте все, помните бедных и что-нибудь им уделите в праздник! И сами не забывайте Бога и простодушной русской веселости.

ВЕЧНОЕ ПРЕОБРАЖЕНИЕ

Если б в каком-нибудь катаклизме исчезла русская цивилизация и затем медленно, камень за камнем и черта за чертой, она начала воссоздаваться, находится, «отыскиваться», – то достаточно было бы «отыскивающим» увидеть перед собой какую-нибудь «кисть руки, держащую обломок креста», напр. у «Варвары Великомученицы», или оторванный кусок по-

лотна, где сохранились только губы и подбородок, или только глаза и лоб, или один овал щек, чтобы воскликнуть: «Опять Нестеров», «Нашли еще Нестерова, – увы, в лоскутке холста, ни к чему не годном»... Я говорю о случае, если бы была найдена одна полная картина с подписью «Мих. Нестеров». Т. е. решительно все, что нарисовал Мих. Вас. Нестеров, выражает какой-то один и тот же вечно повторяющийся мотив, и у него нет собственно никакого расширения этого мотива, усложнения этого мотива, вариаций в нем. Буду говорить крупными словами: «столбняк»... Все Михаилом Вас. Нестеровым нарисовано в каком-то столбняке воображения ли, мечты, мысли ли, который у него с детства так и «не прошел», а, по всему вероятно, захватил его «до гроба». Во всей истории нашей живописи не было даже приблизительно художника до такой степени покоренного *одним настроением*, как Нестеров, причем не он является «господином своего настроения», извел его из себя, сотворил из обстоятельств жизни, но, напротив, он является рабом этого настроения, «верным и любящим рабом» мечты, может быть своей, «чего-то» в себе. Почему мы и называем все состояние нашего художника «столбняком», где он сам является совершенно пассивным...

«Раб верный, на *единое* тебя наставляю», – как бы сказал Господь мальчику Нестерову, мальчику лет 12, 15, – я думаю, не старше, и даже очень, может быть, – еще моложе... И мальчик принял «одно виденье» в душу и никогда не изменял ему...

Вот Нестеров – об «одной теме» в «ста повторениях». Сколько бы ни писали о Нестерове со временем, будут, в сущности, всегда писать об этой его одной «теме». Больше писать не о чем.

Все эту тему знают или чувствуют. О ней или присутствии ее никто не спорит. Когда он рисует великих князей, воинов, людей могущественного или предполагаемо могущественного тела, то силой «своей темы» он сгибает их долу, делает «на себя не похожими» – и о его, напр., витязях приходилось слышать иронические замечания: «Этих витязей» или «этих князей надо бы подкормить».

Но «подкормить» их нельзя: они не алкают, не жаждут; они вообще ничего не вкушают. В самом деле Нестеров за всю жизнь свою не рисовал ни одной картины «за едой». Не удивительно ли? Самое обыкновенное. Но этого «самого обыкновенного» Нестеров не только не нарисовал, но мы все разом почувствовали б какую-то чудовищность в мысли предложить Нестерову тему: нарисовать «монахов за едой», нарисовать «Великого князя за трапезой». «Еда» и «Нестеров» – сочетание такое чудовищное даже в предположении.

Да отчего?

Чудовищно ли безобразно вообще сближение «Нестеров» и «действительность»?

Ландшафты его, напр. в «Явлении Христа Народу» («Молящаяся Русь»)... Конечно, они *есть и похожи на русские*. Но никогда это не есть

сочный весенний ландшафт, зеленый летний ландшафт; никогда он не возьмет под кисть августа месяца, когда «деревья отяжелели плодами». «Сочное яблоко» и «Нестеров» – опять чудовищная какофония. «Яблоки бледнеют, когда к ним подходит Нестеров» – это можно, улыбнувшись, сказать. В «ландшафте» Нестерова всегда есть наименее ландшафта, это или зима, или почти зима, а час суток – вечерний. «Природа в полдень» – опять несовместимо с Нестеровым.

Что такое? Он носит в себе явные ограничения, очень многочисленные ограничения. Очень многого он «решительно не в состоянии изобразить», хотя на палитре его есть все краски, какие у прочих художников. «Не могу. Не могу»... «Он не может». Все понимают, что предложить Нестерову нарисовать «Еду», «Полдень» и «Лето» или нарисовать: «Охотник, подстерегающий дичь» или «Победу» – значило бы измучить художника и получить несносную картину. Все его портреты или картины князей и исторических героев явно неудачны, и именно они неудачны по какому-то извращению, внесенному художником в тему.

Его «Два Лада» прелестны, но ведь это – тени, воспоминания, призывы, мифы. Т. е. – *недействительность*.

Действительность, «натура», сырой материал – и Нестерова нет. Что же такое Нестеров?

Где он *начинается*?

С какого-то дрожания... *Подается* мир здешний, все еще нося здешние черты... Подается, изменяет себе и изменяется... «Все уже то прошло... еда, питье, войны, политика... Не едут обозы, попахивая деготьком, не идут солдаты в новых сапогах интендантства, не играют мальчишки на улице, не выпивают и не ссорятся, как выпивает и ссорится вся Русь... Тишина и вечер, ночь и глубь. И «вечер» это – не личный, не наш, не «сегодняшнего дня», а какой-то всеобщий и космический. Все вещи «повечерели», повечерели души человеческие, повечерело существо мира. Износилось, устало и повечерело. Но «износилось»-то не в веках бытия своего, не от продолжительности жизни, а потому, что уже от начала в существо их был вложен этот «вечер» и эта далее следующая «ночь», – вложена была в законах его создания. Нестеров рисует великий поворот мирового колеса, – тот «поворот», при котором побледнеют и ужаснутся вещи, испугаются звери и люди;

И «царства не бы», и «историй не бы»...

«И небо свилось, как свиток»...

«И поколебались основания земли»...

(*Апокалипсис*)

Небо вдруг стало коротеньким, маленьким... Небо, которое всегда «шире всего». Люди задрожали, потому что все *подалось под ними* и нет надеяния ни на кого. Власти малы, как всякий, цари уравнились с подданными. Пастух не пасет стадо, и стадо блеет без него.

Как? Отчего? Что такое?

Не изжилося от старости, а изгибается от боли.

Боль суть Нестерова.

Но не болезнь. Ничего патологического не встречается нигде у Нестерова, и «гроб» и «труп», — так же, пожалуй, непредставимы у него и несвязуемы с ним, как здоровенная натура, шалость, игра и полдень. У Нестерова не умирают, и, пожалуй, можно сказать, что «вечная жизнь» есть то, что он постоянно рисует. Но не вечная жизнь как последствие вечных перерождений — новых и новых усилий и поднятий плоти... Все это полдень и зной, и их не знает Нестеров. Однако его «вечная жизнь» и не потусторонняя, загробная, как можно было бы ожидать в теме религиозной живописи. Его мир — русский. Иностранного — ничего. Он взял центральную точку русского религиозного ощущения — боль души, но не убивающую, а только сгибающую человека долу и вместе приводящую его к Богу.

Но это кратко и слишком формула, чтоб можно было применить ее к нежным произрастаниям художества. «Приводит к Богу» протоиерей, и в жизни человека совершается «что-то», от чего все прежнее становится для него постыло, скучно, ненужно, а «думка» его начинает бродить около теней праведников, около могил мучеников. Он произносит новые имена и начинает искать новых... не биографий, а «житий». «На переходе от биографии к житию» — вот, пожалуй, заголовок всех произведений Нестерова.

Этот переход везде начался, — в одних произведениях его больше, в других произведениях его меньше, но его *присутствие* везде чувствуется, и где его вовсе «нет» — «нет и Нестерова». «Что-то случилось — внешнее событие, потеря ближнего и дорогого человека или чаще — «случилась» незримая, неслышная драма души, и человек «переменяет одежду», светлые на темные или серые, а чаще всего светские на монашеские. Больше: *отрекаются* от имени прежнего вместе с прежним путем жизни. «Великий постриг», но не человека одного, а как бы всей природы, — ландшафтов, времен года, — вот еще тема Нестерова.

Замечательно, что в его «религиозной живописи» исключено духовенство и церковные службы. Все церковно-официальное и церковно-«утвержденное» ему совершенно чуждо, — как «идущая рота солдат в интендантских сапогах» или «торговый обоз» с запахом деготька. Т. е. что это значит? Его мир, мысль, весь интимный, можно сказать, «сокрытый»: «Мой мир — это я», — мог бы он воскликнуть с Кантом, если бы не слишком не любил немцев. «Мой мир — я, и кисть в руках моих служит только тому, что *одно* я чувствую всю жизнь и что сказать миру благословил меня Господь».

Мы не удивляемся оттого только, что слишком привыкли к его картинам и что сам он «пока с нами». Но когда мы с ним разделимся «вечным разделением», мы будем поражены Нестеровым, как единственным художником, в которого не забежала «из мира» ни одна тема; он ничего «отсюда», «от нас» не взял и все время писал только «свой устав», ни с чем не сообра-

зуюсь. Строгий игумен. Этот игумен ни разу не отворил ворот монастыря и никого туда не впустил, молясь один и только, в сущности, для себя.

Преображение, вечное преобразование, но не евангельское, радостное, светлое, успокаивающее душу. До этого положительного «преобразования» далеко. Это что-то уже оформленное, а Нестеров весь ищет и ищет. Он только «поднимается в путь», к тому положительному и все завершающему «преображению», и путь этот длинный и страдальческий, как длинны все «дороженьки» на Руси. «Русский путь» и к «русскому преображению» – вот суть Нестерова.

Придет ли он туда? Придем ли мы туда? – вот о чем можно спросить, потому что в живописи Нестерова есть что-то, что «гадает» о всей Руси и «гадает» за всю Русь. Будучи, в сущности, *одним* моментом в ста повторениях, живопись Нестерова в то же время обширно-коллективна и собирательно-национальна. В ней есть собирательный факт или, лучше сказать, собирательный вопрос. Как же мы на него ответим?

Нет писателя (ибо «кисть» есть «речь») менее сектантского, чем Нестеров. Ибо сектантство всегда есть претензия и в значительной степени личное самодовольство, хотя бы и сквозь трагедию. А около гробов нет «претензий», и в скорби не кичатся. Главный сюжет Нестерова, – непроходящая *душевная боль*, – так лично глубок и так страдателен для своего носителя, что устранил всякие «свои вопросы» у него, подавил личную свою и гордую жизнь; скажем, пожалуй, – подавил *свободную жизнь*. Да – вот, пожалуй, еще определение его художества: это не есть художество свободного человека и свободной души. Разве человек, больной раком, стал бы просить изнести себя из стен темницы? Так и Нестеров. Он никуда не просится из своей *боли* и никуда из нее не рвется, потому что это боль внутренняя и родилась с ним.

Он чувствует безграничную свою *слабость*. Да, вот еще оттенок или определение еще одной сущности его картин. Слабость. Не как безволие, эта обычная русская черта, о нет! И воля Нестерова, и напряжение его желаний чрезмерны. Нестеров весь страстен! Нестеров везде огонь и нигде вода.

У него никакой нет «обыденщины», и он вполне есть исторический писатель, писатель огромных исторических и религиозных панорам, хотя и ишедших лично из его сердца.

Нигде решительно он не рисует «религиозного ландшафта», как бы «для примера». Огромное «я» кричит из всякой его картины, – и это «я» несется гулом по лесам и полям. Как личное свое «я» было мало в Чехове и обессилено тем, что человеку вообще «не для чего жить», он не знает, для чего «живет на белом свете», и, в сущности, сочиняет рассказ, «потому что есть такой талант», – так Нестеров «вопиет и глаголет картинами», ибо он, в сущности, есть огромный исторический человек.

О чем же несется гулом по полям, лесам этот вопль его, этот удар все в *один* колокол? ...Он именно несется об отрицании капризной воли человека, об отрицании бедовой воли человека. «Не надо! Горе, горе человеку».

«Горе ему в самой силе его, потому что сила эта, созидающая успехи, родит внутренние беды, при которых вот *солнце померкает и небо свивается в коротенький свиток!*...» Вся живопись Нестерова есть великая тревога совести. Мы называли, наконец, положительным образом его главный сюжет, определяя до сих пор его побочно и отрицательно. Нестеров есть вполне исторический и огромный человек, потому что он выразил с странной упорной силой главный религиозный мотив Руси, главную душу наших религиозных скитаний и исканий, и притом за всю историю:

Побледневшую Совесть.

Не в колоколах, не в свече дело, – и не в обрядах: не в богатых ризах. Не в этой – да будет прощено грубое слово – «помпе» православия. Пока только *это* есть – еще ничего нет. Не отсюда родятся молитва и вера. Все это принесено было из Византии как великий наряд и убор на свеженький и дикий народец, славян. «Убор» веры был, но не было самой веры. Этот «убор» веры большей частью и рисуется религиозной живописью – или «эскизами», «молитвами кистью» на церковные темы. Все это даже прикоснуться не смеет к Нестерову. Мир его – исключительно мир души. Однако живопись его нисколько не в *противостоянии* этому «убору веры», и здесь его глубокое различие, наприм., с Толстым, который выступил *новатором* в области веры, работая тоже около вопросов совести. Нестеров глубоко скромен и от этого глубоко археологичен. Он поет о старом, о древнем. Вся его живопись, будучи воплем души, одета в одеяния древности, старой Руси, еще Московской и Киевской Руси.

Что это такое?

Да то, что в Русь действительно был принесен застывший убор веры, но он не всегда был застывший, а когда-то был раскаленный.

Нестеров и рисует этот раскаленный убор православия, – в тихих, серых и тусклых одеяниях монахов, послушников, старцев, заброшенных на севере монастырей. Молитвы когда-то *родились*, обряды когда-то кем-то были *выдуманы*, придуманы, сотворены. Когда? Кем? Святыми! В многочисленных вариантах Нестеров и рисует собственно *одного* человека, одно и то же русское лицо, мужское или женское, – *святого*. Не святого «в облачении», как он потом вошел на «икону», а в жизни, в движении; собственно в усилии и «в пути» к святости.

Весь «путь Нестерова» и его призыв и «один колокол» звучит призывом: поднимемся из праха и пойдем к Вечному Свету.

Который просто в Евангелии.

Просто в церкви.

Вот его археология и лозунг: «ничего *нового*». Он верил в «старых богов» Руси и нетерпимо враждебен всем новым. Поле его картин, не переступая граней Московской и Киевской Руси, собственно захватывает те старые и закрытые уголки теперешней действительности, где сохранился тот московский и тот киевский дух. Если чего нельзя вообразить себе, то это Нестерова, рисующего «Петербургскую улицу»... Ничего «петербургско-

го», ничего «после Петра Великого»... Вся эта суета и сор, поналезшая вместе с «делом» в «окно» (в Европу) Петра Великого, – совершенно ему чужда и враждебна, совершенно ему не нужна. И он как будто стучит жесткой монашеской клюкой в это «окно в Европу» и говорит грубо: «Душу забыли! Душу забыли... Где душа?.. а с забытой душой изменят вам ваши пушки, износится мишура...» «Сегодня – красота, и блеск, и *кажущееся* могущество, а завтра небо совется как свиток и поколеблется все в самых основаниях...»

Живопись Нестерова есть жестокий окрик на «нас». Он не только есть прозелит старой веры, но и жестокий воитель против всяких «новшеств». Он определенно говорит Петру Великому: «Не *в том* дело». Говорит как буйный стрелец, как боярыня Морозова, увозимая в заточенье. Но живопись Нестерова убедительнее и криков стрельцов, и неразумных воплей Морозовой. Живопись Нестерова вообще очень убедительна, ее невмочь переспорить даже Петру.

Она говорит очень просто:

«Когда душа погибнет, то не нужно будет и *всего этого...*»

«Всего этого», т. е. цивилизации, лезущей в прорубленное окно Петра Великого. Живопись Нестерова переоценивает «Старым русским судом» новые ценности Европы, все наши новые «культурные приобретения» – и суд этот строг, немилостлив, беспощаден. Беда для нас в том, что он действительно основателен. Петр Великий не разобрал кое-чего ни в старой Руси, ни в новой Европе. Он руководился «нуждой» и «необходимостью», как и подобает государю, т. е. воителю, дипломату и в формальном смысле законодателю. Но это недостаточно. Он был «Преобразователем Руси» не в формальном смысле, а в существенном: он не обновлял военный строй и корабли, а менял «дух страны». Он это не только хотел сделать, но и сделал, достиг. Русь действительно пременялась «духом», и в XVIII веке мы ее видим совсем не тою, какой знаем в XVII. Тут окрик и протест Нестерова совершенно правы. «Дух страны», конечно, проистекает из ее веры, – и Петру, чтобы кончить «реформу» и вместе чтобы настоящим образом укрепить ее, нужно бы собственно переменить веру, отречься от православия, приняв протестантизм, что ли... Этого бы, конечно, ему не удалось, и он погиб бы в волнах народного движения. И он рассудительно этого «народного движения» не вызвал, а паче всячески его укрощал. Что же вышло? *Неполная* реформа, притом не только в его время неполная, но и на веки вековечные неполная. Петр, в сущности, ничего не сделал и ничего не мог сделать, кроме как победил шведов и обезопасил Россию вообще с Запада. Два века «после него» собственно производят великий пересмотр реформы Петра и все более суживают ее значение, сводя ее именно к формальным границам, к созданию «сената и синода», к новым войскам и постройке кораблей, но отнимая у нее дух и смысл «целого». Кажется, что успевает все два века западничество, но на самом деле успевает и в минувшем веке, и в девятнадцатом славянофильство. «Перемены духа» ведь, в сущности,

не произошло, и оттого просто, что не была переменена вера. «Дух» поновился лишь формально: стали больше учиться, переводили постоянно новые книжки, понаоткрывали множество учебных заведений. Но чем «больше учились», — и учились-то все-таки русским умом и русскими приемами, — тем яснее видели, что все-таки все идеальное содержание русской жизни, все ее высокое и нравственное содержание, идет от «киевских пещер» и «Московского Кремля», по «прежней молитве» и «старой вере». Реформа Петра решительно не удалась, потому что все-таки осталась старая молитва и старое «задушевное», старый «нателный крест» и наша «крестильная купель». Не «переменив веры», Петр <...> достиг только *частностей и мелочей*. «Дух страны» тот же, и по простой причине: что — Православие тоже киево-московское. Но «что-то он сделал, колоссальное, огромное, и уже в «духе страны». Именно он его *испортил*, не поколебав. В своих реформах и торопливости он на двадцать лет — и могущественно, царственно, — забыл «святыни», и это забвение продолжалось на весь «его век», XVIII век. Только в XIX веке начинается возврат к «святыням» и определенное сознание, что собственно без духа «старой Руси» не проживешь, да мы, в сущности, все время и жили, и творили исторически этим «старым духом», отнюдь не новым. «Новым» мы творили только технику жизни, разные законодательные мелочи и мелочи управления, да кой-какие несущественные книжки. *Мелкое* шло с Запада — «не по вере нашей». Но решительно, как только дело доходило до *подвига*, до высокого и святого в личной ли жизни, в семейной, в государственной, в правительственной — мы неизменно творили «старым русским духом в себе». И это равно было в переходе Альп Суворовым, в войне 12-го года, в стихотворениях Пушкина, в «Войне и мире» Толстого. Ибо, конечно, мы перешли Альпы не потому, что с нами были «новые пушки», а потому, что по-православному крестились и по-православному терпеливо умирали, и потому же отстояли Отечество в 12-м году, и так пели и рассказывали Толстой и Пушкин. Итак, мелочи с Запада, крупное от Киева и Москвы. Победило именно славянофильство, несмотря на вечный «неуспех» свой: но победило не в мелочах литературы, действительно неудачной, не в журнальных спорах, а *делом и в жизни*. Пришлось вздохнуть.

— А все-таки все серьезное оттого, что мы, как *встарь*, православные и верим «по-своему», а не как немцы и латинцы.

Вот. Стержень души и жизни остался тот же, и никакой «общей реформы» и сотворения «нового мира» из себя, как ожидали и думали в XVIII веке ближайшие сподвижники Петра и его преемники, его апостолы, вроде Ломоносова и Кантемира, — не произошло.

Но, оглядываясь вспять, мы видим, что могучий дух Петра, «пройдясь по Руси», многое в ней потряс, выкорчевал и искоренил. Не было «преобразования Петра», было «потрясение Петра». Он потряс Россию. Задрожали самые корни, но не вырвались. «Многие гробы потряслись, и мертвецы вывалились из них»... Старые идеалы дрогнули: *но нечем было жить помимо их*, — и по этому уже одному они удержались.

Нестеров благоуханно полил эти «старые идеалы» водою. Полил и возделал землю около них или, вернее и правильнее сказать, он укрепил эту землю возле них, укрепил весь этот пласт земли. Своею кистью он показал «старого верующего русского человека», — как такого, с которым нам нечего вздыхать ни о немецких землях, ни о латинских землях. «Старая вера есть подлинно святая», — сказала его благодарная и одухотворенная кисть, сказали его нежные и благородные лики. Подлинно «лики», а не «лица», даже на картинах.

«...Нет, «царства не созидаются *так*, и земли *так* не стоят»...

...Вы увидели в религии один *анекдот* и рассказали о верующем русском человеке только анекдот. Около широкого бытового явления, — около явления, которое повсеместно *есть*, и около него *есть* всякие люди, вольные и подневольные, и не может не быть анекдота, не может не народиться всяческих анекдотов, которых сотни и тысячи не сломят, однако, ни одной *крупницы* истории. Она *есть*, эта наша русская история, на которую вы посмотрели в истину анекдотическим, пошлым, наглым глазом. Посмотрели так и оскорбили ее; посмотрели так и осквернили ее. Народ не чурбак и чурбаком никогда не был. Народ то злился, плакал, бежал за своими *удобниками*, за святыми *Божьими людьми*, иногда юродивыми, и, однако, всегда — за людьми высочайшего душевного света, хотя и не всегда вразумительного слова. Слов не всегда находилось у этих *Божьих людей*, но в возмещение этого всегда у них находился *святой поступок*, святая *правда* жизни, всегда бескорыстный, всегда не самолюбивый, всегда без самолюбования и самовлюбления, как это везде встречается долу, в нижнем этаже ее у нас, художников, у нас, писателей, у нас, ученых... Народ извел из души своей образ *праведного человека* и им просветил землю, и им просветился и наставился сам. Этот образ и тип *народного праведного человека* выше всех типов и образов литератур, т. е. данный литературой в общественное просвещение... Выше он и *героев* собственно политической истории... И дан он, просто *церковью*, о которой вы рассказывали одни анекдоты; церковью в нераздельном слиянии ее с народным духом, где и не различишь, что собственно принадлежит Евангелию и Христу и что принадлежит уже народу, селу, деревне, быту, купцу, дворянину, царю и московскому или киевскому князю, воину и всякого чина русскому человеку... Вот они.

И он живо, кистью конкретно и через это самое «не выдуманно», не ложно и не риторично показал св. Русь в ее молитве...

С тех пор «Св. Русь» и «Нестеров» как-то неотделимы и всегда останутся неотделимы. Пока он «при нас», т. е. пока Мих. Вас. жив, — это еще не так заметно. Пока «ходим на выставки», смотрим «разное», и в этой суете, и в этом соре не отделяется вечное от временного, не выделяется «святое» из современности. Но как только «его не станет» и мы почувствуем, узнаем и увидим, что никогда более, никогда еще не проведется «нестеровскою рукой» этот тонкий профиль, этот заостренный носик, эти сведенные странною, неземною улыбною губы, — все слитое в мольбу о каком-то нежном

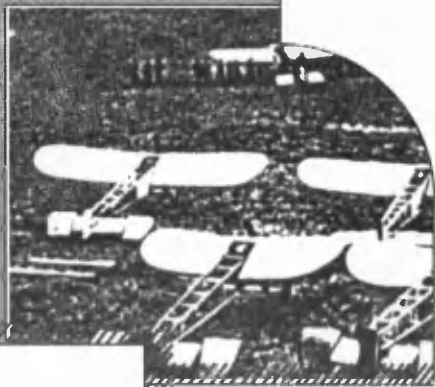
прощении, о какой-то пощаде бедной и страждущей душе человека, – мы узнаем, кого потеряли и что стало неповторяемо и непродолжаемо. Потому что этой тайны «нестеровской черточки» ничто не повторит, – «черточки», в которой и содержится тайна «нестеровского лица» как особого и нового типа в живописи.

«Пощади, Боже! Пощади, Боже! Помоги слабой плоти... О, я и сам ее ненавижу: но пока ношу ее – подвержен законам железного одеяния своего... – Дети, душа моя, дальше, как можно дальше и до конца дальше!!!» Вот и «молитва Нестерова» – вот его один колокол. И гудит он, гудит, – как во времена Грозного и Василия Блаженного большой колокол Кремля... Он зовет нас от действительности, грубой, жестокой, оскорбляющей и часто лживой, – к Вечному Преображению, задаток которого, но только задаток, рождается с рождением всякой души человеческой... Но у всех почти он скоро заснет, засоряется, сламливается, гибнет. Груба и жестока действительность. Лишь у немногих он сохраняется, возрастает пышно. Это – святые.

Как их отличить «во плоти», – как узнать, пока они живы еще и ходят возле нас? Нестеров и ответил нам на это. «Нестеровское лицо» как особый пункт в живописи, особая точка в ее истории – и есть «святое лицо». Оно везде одно, везде повторяется – и в чисто светских, вообще не в церковных сюжетах. Лицо – несущее в себе и отражающее Преображенную Душу...

«То старое земное – все умерло».

«А родилось это – новое – в великую радость».



1914 год

НА ФУНДАМЕНТЕ ПРОШЛОГО

Власть Всероссийского Императора. Очерки действующего русского права. П. Е. Казанского, ординарного профессора, декана юридического факультета Императорского Новороссийского университета. Одесса, 1913 г. XL+960 стр.

– Ничего не поделаешь... Много делали.

– Кто?

– Цари, Цари. Все занимались личными своими делами, они занимались общим делом. Все дремали, они бодрствовали. Раньше всех взялись за общий труд, – не их «романовский труд», не их – «рюриковский труд», а за труд «всей России». Понукали, вели, наказывали. Строго наказывали. Жестоко наказывали. Прощали. И наказан ли *кто*, – говорили: «От Него», и награжден ли бывал кто, – говорили: «Он дал».

Все «Он», «Они». Все одно имя. Куда ни повернись, война ли, мир ли, народный ли голод, всероссийская ли чума, все кто-кто «Один» заботится, хлопочет, молится, – скорбит. И образовалась всероссийская тяга, которая – как только «на Руси неладно», «на Руси опасно», «на Руси гибельно», – обращает взоры всех к одной фигуре, одному человеку, одному имени, который до Петра Великого звался «русским Царем», а после Петра Великого и по его первому примеру и от него наследованию стал называться «всероссийским Императором». Тяга эта уже есть. Тяги этой никто не может взять оттого, что никто *уже*, главное *уже*... не трудился тысячи лет над одним домом, нашим общим домом, где мы все живем, питаемся, думаем, который нас обуславливает, а мы никак не можем его обусловить.

Что делать с «уже»... Как поправить, изменить то, что *было*? Поистине «никто не может вторично войти в утробу матери и родиться вновь».

И если бы мы с безумной торопливостью и неслыханным успехом начали работать, энергичествовать, геройствовать, показали бы себя Геркулами и Ахиллами, – мы все-таки стали бы *прирабатывать* только к России, положим от 1900 года. Победили бы Японию и отняли бы от нее Корею и Сахалин. Но это же ведь меньше Сибири. Отняли бы у Германии

Померанию: но это меньше Прибалтийского края и Финляндии. Победили бы Австрию и приобрели Червонную Русь, – хорошо, прекрасно, – и все-таки эти все победы меньше дел Екатерины и Суворова, Петра и его Меншикова, Долгорукого и Шереметева. Что бы мы ни сделали *потом*, все будет меньше того, что сделано *уже*...

Ужасное «уже», непоправимое для нас и наших потомков...

Непоправимое и непобедимое...

А раз все «наше» будет меньше, чем «их», то и тяга «к нам» будет всегда меньше тяги «к ним». И главное, все это – «уже», чего никак нельзя переменить. Нельзя человеку забыть своей биографии и народу нельзя забыть и перестать чувствовать свою историю.

Это выше нашего «хочу» и «не хочу», «понимаю» и «не понимаю». Это то могущественное «есть», с которым вообще нельзя ничего поделать. Есть, совершилось. Все слушают, все повинуются.

Пирамида «слушаний» и «повиновений» и образует «наше царство», которое лишь, во-вторых, есть материальное и физическое, вещественное, военное, географическое; но, во-первых-то, и прежде всего оно есть духовное царство, идеальное царство, заключающееся в 140-миллионном «нам хочется того, что Царь находит лучшим, и справедливым, и мудрым».

Сказали и забыли все, а уж *он* заботится. Как заботится – мы не знаем и доверяем. Доверяем по 1000 лет своего опыта, когда Царь и Цари не растеряли Русь, сохранили Русь, устроили Русь.

Нам поспать хочется. Полениться хочется. «В свои делишки» уйти хочется. Скверное обстоятельство, – и, конечно, «лучше бы всем пробудиться и делать». Прекрасно, – пробудились и делают. Но они могут только «постараться делать», а не то, чтобы «уже сделали»... Весь секрет истории в этих трех буквах, в этих трех благословенных буквах у, ж, е. За теми, которые попытаются начать делать, не стоит никакого «уже»; и как бы нам ни хотелось доверять их успешности, гению, мы все-таки можем лишь *нудить* себя поверить, а настоящей и полной уверенности у нас быть не может; и потому единственно что нет за новенькими – фатального «уже». С этим «уже» ничего нельзя поделать: оно есть душа всего, одушевляет на все, крепит надежду, веру. «Все верят».

Это если – *он*.

А если *мы*, то является то окаянство, что: никто не верит.

Психология, лежащая фундаментом в основе всего царства.

Исправники верят. Полицеймейстеры верят. Пастухи верят. Судьи верят. Солдаты верят. Даже воры верят, что «может казнить только Он».

Вдруг его казнить хочет Милюков. – Вор со «Дна» Горького отвечает:

– Кто вы и почему вы меня казните?

– Я профессор.

– Не знаю, что такое «профессор».

– «Профессор есть тот, кто читает лекции в университете».

– Не знаю, что такое «университет» и что такое «лекция».

Но всякий даже со «Дна» Горького знает, что такое «Царь», и даже имеет ужасно поражающее знание, какое-то врожденное, переданное ему почти в вековом трепете отцов и дедов, что «Царь может казнить». Знает это и татарин, и барон, и Сатин, и актер, и проститутка.

Коих невозможно объединить, невозможно в *одном* в чем-нибудь убедить, невозможно под них подвести «одного общего знаменателя».

«Царь», – материально и идейно – и есть тот «общий наибольший делитель» или «наименьшее кратное число», что ли, без коего задача всех материальных и всех идейных обстоятельств русской жизни «не решается», а при его наличности – «решается легко». Где-то в темном уголке нашей души, – притом души всякого, даже анархиста, – стоит безмолвная фигура, «Царь», без коего не может думать, действовать и жить даже анархист. Он борется – против «Царя»; мы любим – «Царя». Если бы не было «Царя», если бы как-нибудь угасла его идея, то не только моя психология, но и психология анархиста потеряла бы стержень, около которого она обращается. И естественно перестанет обращаться, т. е. мы оба перестанем духовно жить. Мы станем чем-то невообразимым, – «греком при Перикле», «немцем в эпоху реформации», «французом в пору революции», – т. е. для нас и в наши времена чем-то мифологическим и никому не нужным, как только из нас вынута слово и понятие «Царь». «Царь», таким образом, эта безмолвная фигура в душе каждого, есть то «2», на которое делится «4», «6», «8» и т. д., и т. д., «делится всякая душа русская», уже по природе и от рождения своего, и этого просто невозможно избыть, как «креста» нельзя избыть «христианину»... Мы – *не русские*, насколько мы не понимаем, что такое «Царь». Ибо так родилось все, так устроилось все, и просто это есть «сложение (конструкция) чисел нашей страны».

Я выразил кратко и «по-своему» ту мысль, которая на протяжении *тысячи* страниц – перевиваясь мириадами цитат из ученых книг и из некоторых отмеченных речей в Г. Думе и в некоторых законодательных памятниках – развивается в одушевленном, твердом и смелом труде одесского профессора, г. Казанского. Я был это лето на юге, и мне передавали впечатление от «одесской революции» личные ее зрители, – когда евреи бежали по улицам с наглыми и победными криками: *«Изошло ваше самодержавие»*. И слово это у людей, ничего раньше определенно не думавших о «самодержавии», не думавших за ленью и вообще за «бытовой жизнью», – вызвало ужас и яростный отпор в движении сердца: *«Наш Царь! Наш Царь!»* – мы не хотим ваших еврейских вождей, будь то сам Давид или сам Соломон». Для современников и, главное, для будущего передаю эти буквальные слова, мною слышанные, из кусочка «русской революции в Одессе»; притом слышанные из уст очень образованной (по-моему, гениальной) румынки, но очень «усвоившей себе» все русское. Проф. Казанский, бесспорно родом великорус из средних губерний, тоже, вероятно, пережил *лично* дни одесской революции: и оттого книга его – не бескровный ученый трактат, а одушевленное и «с кровообращением в себе» политическое, историческое и

религиозное исповедание... Для «ученых», для «профессоров», которые вообще являют собой балзаковскую «шагреновую кожу», уже без одушевления и дыхания, — это очень ново... Свои, «ученые», товарищи, — вероятно, «распнут» г. Казанского. Но его труд примет Россия. Его труд не «между-народно-ученый», а русский труд... Давно пора!..

Смысл его в том, что, несмотря на наличность у нас всей конституционной обстановки и на наличность парламента — чего не отрицает и не порицает г. Казанский, — у нас тем не менее в глубине вещей, в глубине всех русских обстоятельств, конституции нет, конституция была бы бедствием, конституция невозможна, и, наконец, она прямо вызвала бы непонимание себя. А если бы ее действительно люди поняли и почувствовали, — то это вызвало бы что-то вроде народного помешательства и яростное отвержение себя, яростную и даже кровавую борьбу против себя народа. Если бывает и бывало, что «народ иногда бунтует», — то это кажущиеся и мнимые «бунтики»; но настоящий и страшный бунт может произойти только за *самодержавие*. Настоящее восстание поднялось бы в единственном случае, если бы народ почувствовал, что у него *отнято самодержавие*, т. е. отнят предмет тысячелетней веры. — «Он, Батюшка, казнит, Он и милует», «Он устраивает, Он все знает», «как Он, Батюшка, — *хочет*, а мы — *за ним*».

Выше всего и прежде всего «Царь есть защитник народный», главное — защитник *слабых и обиженных*; *сирот*. «Безграничность» воли царской прямо вытекла из «*volo*» народного, дабы эта «защита» и «защитимость» были действительно безграничны, неограниченны, нескончаемы, всемогущи. Как только народ увидит «границу» Царю, — границу ли в «барском положении», границу ли во власти духовенства, границу в законах, правилах, привычках, традициях, границу в «народных представителях», в «конституции», так народ растеряется, сироты растеряются и *завопят*: «Кто же во всяком случае и во всяком злом обстоянии нас защитит!!!» — «Подайте нам Его, бесконечного, который бы всякую препону прорвал и всякого человека и людскую массу *одолеет*». Вот. Это — вопль сирот, обиженных, бесправных, не могущих, — в которых пропорционально «*Я не могу*» — каждого лица живет корректив: «Пусть Он *может* все». И этот вопль до того могуществен, неодолим, это есть такой вой океана в бурю, — что он опрокидывает как щепку все, все, что мы умеем вообразить и что мы сумели бы построить. Посему претензия кого-либо сказать:

— Он *не может*... Позвольте-с, в *данных* обстоятельствах и по таким-то условиям — он не может, Царь не может...

Эта претензия вызвала бы такой рев народного урагана, после которого от «претензий» и щепок нельзя было бы найти.

Никакие бумажные «конституции», будь даны они даже «по всей форме», не изменили бы и не изменяют этой «конституции», т. е. сложения, устройства Русской земли... И теперь Государь точь-в-точь так же самодержавен, как Иоанн Грозный... который даже «ушел в монастырь» Богу молиться, «отрекшись от самодержавия» и назначив вместо себя царем Симеона

Бекбулатовича, т. е. «кой-кого». Он «отрекся от царства», а народ по-прежнему его одного считал царем. Пример дан. Факт испытан. Царь вовсе «не на троне в Москве», – а есть у каждого русского в сердце «трон», и на нем сидит «один Царь для всех». И вот этого-то «в сердце Царя» нельзя ничем и никак ограничить. – Есть.

Ну, что вы сделаете с «есть». *Есть, бытие*, – это во главе всего, выше идей, пожелания.

– «Господи, если бы климат в России был, как в Италии».

Но нам принадлежит любить русский климат, потому что он *есть* между 36° и 71° параллелями и от «меридиана Вержболова» до «меридиана Берингова пролива».

Вот почему всякая революция есть могила самой себе.

И она полна червей. И только. А «люди» все поверх могилы в «нашем милом царстве», где «всякая шестерочка делится на два» и где нам Потемкины и Шуваловы, Панины и Воронцовы, наконец, даже Сперанский и Аракчеев ближе, понятнее и интимнее Перикла и Кимона: потому что те – *чужие* и нам *вовсе не понятны*.

Сперанского мы уговорим: как я уговорю Перикла?! Он не поймет, он не станет слушать.

Аракчееву я дам полное повиновение, он успокоится: но как и что я дам Кимону, когда ни я его не понимаю, ни он меня не понимает.

И оттого, что «Сперанский может нас слушать», – через 30 лет пришел прелестный Станкевич.

И оттого, что Аракчееву повиновались, протекли четыре десятка лет и Россия зашумела в «эпоху преобразований».

«А потому, что она Россия и она милая».

И потому, что Царь избирает и доверяет, советуясь с Богом, душой своей и разумом.

Вдруг бы Его ограничить. Господи: в *какой* точке? В *какой* момент? В *каком* состоянии?

«Вот когда он приблизит к себе Жуковского или Станкевича».

Господи: на 1000 лет одни «Станкевичи». Я бы задохнулся, и все бы задохнулись в сахаре, стихах и лекциях Грановского.

И вздохнули бы:

– Господи, хоть бы немного железа, твердости, повелительности и шумной бранной славы.

И действительность, и мечты, и грезы человеческие, народные – бесконечны, неуловимы, неисчерпаемы. Неисчерпаемо *нутро* человеческое...

И этому совершенно соответствует то благое устройство, что есть Некто среди нас Один, коему все возможно... Возможно не только в *мысли*, но в *самой мечте*. И мы счастливы просто *присутствовать* при бесконечном царском творчестве.

Ограничение Царя есть *умаление* всех нас; «ограничение царское», т. е. строгая и *формальная* конституция, – это в своем роде Огюст Конт и его

«позитивизм», т. е. что-то деревянное, ограниченное, искусственное; что-то *машинное* и *бесчеловечное* в центре человеческих дел.

А «неограниченная царская власть» – это философия Платона и Шеллинга, это стихи Пушкина, неизреченность Байрона, задумчивость Шелли. И будет ли он «Анчаром» (критика врагов) – *слава Ему*.

Будет ли благодетелем и защитником сирот и обиженных – *слава Ему*. Не потому что он хорош.

А потому что «Он» – «Он».

Точка. А кто будет спорить, того мы будем колотить. «Потому что мы русские». И потому что спорящий крадет мою душу и убивает меня.

В НАШЕМ УЧЕБНОМ МИРЕ

Подняв голову и держа пальцем непонятное слово, Вася спросил:

– Папа, что такое *благотворительность*?

Я опешил. Прошел всю зоологию не только «позвоночных», но и «червей», «паразиты», «трихины», «овечью болезнь», кажется, даже немножко знает и химию, по крайней мере знает «минералы» и «кристаллы», – и спрашивает, что такое «благотворительность».

По случаю «скарлатины» и «свинки» у них распустили до 7 января, и за вечерним чаем он читает «не из учебника» и наткнулся во внеучебной книге на непонятное слово.

– Эх, Вася, – ответил я, – благотворительность – скучная птица. Едва завелось лишних пять рублей или лишние три рубля и уже обдумываешь тебе «сапожки», как откуда ни возьмись влетает в незапертое окно эта птица и выклеывает из твоих рук синенькую или зелененькую. Она в шелковых перышках, унылого цвета, и никак ей нельзя отказать, потому что это «неприлично». Ты, пожалуй, и слова «неприлично» не понимаешь?

– «Неприлично» – понимаю.

– Ученый малый. Принеси-ка ты мне учебник истории, где в *прошлом году* «проходил» и теперь уже «прошел» 1 марта...

– Я его спрятал, потому что мы «Русскую историю» прошли...

– Отыщи, отыщи!.. Он мне нужен...

Через пять минут серенькая книжка в коленкоровом казенном переплете была принесена, и я прочел вытесненное по переплету заглавие:

«Проф. А. Я. Ефименко. Элементарный учебник русской истории. С.-Петербург. Издание Я. Башмакова и К°. 1912 г.». На переплете вытеснены «Богатыри» Васнецова и вообще все признаки патриотизма, взглянув на кои и не «шестуя далее», вероятно, учебник и был одобрен для младших классов средних учебных заведений седовласыми и звездоносными членами ученого комитета Министерства народного просвещения.

У нас дом полон учащейся молодежи «с самыми симпатичными персидскими убеждениями», и сейчас же заговорили мне с полным знанием дела:

– Ефименко – прекрасный профессор высших женских курсов, на Вас. острове («Бестужевские»). *Женищина*-профессор... Неужели вы собираетесь писать?

– Ну, господа, я не «молодежь» и потому собираюсь написать. Ведь вы все видели и согласились, что наш Вася решительно не дурак, а только растет своим естественным ростом, никуда не торопясь, но зато живо интересуясь всем, что относится до его возраста, понимания и естественных в этот возраст связей и интересов. Вы до своих детей еще не доросли и, естественно, к этому индифферентны, а я «на правах родителя», которые хотя и не уважаются в отечестве, но *существуют*, – буду говорить...

Открыл «Весь Петербург» и в нем справился: «Ефименко, Александра Яковлевна, вдова статского советника. Высшие женские курсы». Открыл «Высшие женские курсы» и среди евреев и немцев – Гревса, Франка, Гельвига, Гибеля, Бодуэн-де-Куртенэ, Вульфiusa, Гримма, Брауна, и, «конечно, Карсеева», и, «конечно, Венгерова» нашел и нашу вождельственную вдову статского советника Александру Яковлевну Ефименко. Очень рад познакомиться, хоть и по «Всему Петербургу». Читает она лекции по русской истории сейчас после Серг. Фед. Платонова и Серг. Мих. Середонина (по исчислению в указателе).

– У вас все прошли, Вася?

– Все.

– Чем же кончили?

– Как убили государя.

– Какого?

Не сразу ответил. После усилий памяти:

– Александра II.

Последнее впечатление в 14 лет. Я открыл и прочел.

Рубрика (на поле страницы) благочестиво: «Кончина Александра II».

Текст:

«1 марта 1881 г. Россия была потрясена *тяжелой вестью*: император Александр II *пал жертвою покушения на его жизнь*. Во время царского проезда по улице под экипаж была брошена бомба. Когда же государь вышел из поврежденной кареты, второй *снаряд* был брошен ему под ноги. В тот же день государь скончался. *Покушение* это было произведено террористом: террористами называются такие люди, которые рассчитывают добиться от правительства тех или иных *желаемых действий* посредством устрашения, террора, правительственных лиц. Русские террористы составляли тайное сообщество, в которое входили люди разных общественных слоев, по преимуществу молодежь. С кончиной императора Александра II ему наследовал его сын Александр III Александрович, отец ныне царствующего Императора Николая II Александровича».

Позвольте вам сказать, – что это не история, а газета, и в учебных заведениях в качестве учебного материала введены не науки, а некоторая доля простых газетных сообщений. «Историю» называются события в

мировой жизни человечества, уже *завершившиеся* и смысл которых стал научно ясен, научно точен. Посему не только «1 марта», но и вообще все события *непрерывно* продолжающейся и *не конченной* еще истории, т. е. весь XIX в. и XVIII в., суть полуполитика, полуистория, и изложение ее есть даже под пером самым талантливым и осторожным – полупублицистика, полуистория. По самому *существованию* своему «история» есть реставрация великолепного и великого, с одной стороны, и есть патологическая анатомия, с другой стороны. Как же вы будете «анатомировать» живого человека или «реставрировать» церковь, в которой идет обедня и собрались молящиеся? Для «теперь» это есть хулиганство и преступление, а для «истории» это есть ошибка, есть некоторое – «неверно». И этот-то «неверный» материал в учебных заведениях введен как «учебный материал». Говоря педагогическим языком, мы «буквы ть» не умеем ставить в педагогике.

Позднее *реформации* ничто решительно из мнимой «истории» не должно быть вводимо в учебный материал *средних* учебных заведений. Ибо «реформация» есть последний «завершившийся цикл» в событиях европейской истории. Все *остальное*, т. е. все *позднейшее*, ученики и ученицы должны просто пополнять чтением, колеблясь между Тэном и Кареевым (по революции), между Гейссером и Карлейлем. *Живая* история, в сущности полупублицистика, и должна усваиваться *колеблясь*; здесь *колебание* есть просто наука, точность, беспристрастие.

Хорошо несет Александра Яковлевна свой шлейф, идя в аудиторию между Платоновым и Середониным. Все величественно и «все так образованно». Ах, «образование» дает свою красоту и свое кокетство. Ученое кокетство может достигнуть величины страсти. В изложение для 14-летних мальчиков Александра Яковлевна внесла немного политики: она говорит государственным языком, приблизительно, как написал бы «сию страницу» г. К. Арсеньев. Ну, почему было, применяясь к детскому возрасту, не изложить так:

«1 марта вся Россия вздрогнула от ужасного злодеяния: на Екатерининском канале, в Петербурге, на месте, где ныне построен храм Воскресения, был умерщвлен добрый государь наш, освободивший крестьян от крепостной зависимости, а городскому населению и образованному обществу даровавший свободу и самоуправление в учреждениях нового суда, земства, городского самоуправления и в освобождении печати от цензурных строгостей прежнего времени. Как ни быстры и обильны были эти преобразования, их опередило воображение молодежи. Увлекаемые надеждой в десять – двадцать лет достигнуть полного счастья народа и справедливости на всей земле, несколько неопытных молодых людей составили заговор. Заговорщики решили умерщвлять правительственных лиц, по их мнению задерживавших Россию в ее росте. Не сознавая, по молодости, как трудно устроить даже свой дом, как трудно устроить маленькую деревню, как трудно достигнуть «успехов *всех учеников* в классе», где есть и неспособные, и

шаловливые ученики, и ученики плохого поведения, – они не измерили трудности и невозможности для *всякого* правительства достигнуть мечтаемого ими райского блаженства для народов и человечества. Умертвив уже несколько государственных людей, они умыслили на дорожную жизнь любимого государя и, не щадя его лет, старости и утомления в делах правления, забыв освобождение им своего народа и южных славян, привели кровавое намерение в исполнение».

По крайней мере, это научно и объективно и могло бы быть сколько-нибудь понятно ученикам 14 лет.

Да, но тогда платье не так красиво сидело бы на Александре Яковлевне – и не так учено-красиво. А теперь она может пожать руку г. К. Арсеньеву и не опустить глаз перед М. М. Ковалевским. «И я *среди вас*», «говорю, как вы», хотя и ученикам еще таким маленьким, что они не понимают слово «благотворительность». Я им объяснила молодежь как государственных людей. Я скрыла, что убийца Рысаков был что-то вроде дворника, совсем темный, испорченный городской парень, 19 лет, что Желябов был недоучившийся в университете крестьянин-самодур и что в этот сброд замешано было и несколько чистых мечтателей (Лизогуб). Разбираться в реальной действительности мне, как женщине, не пристало. Я все взяла книжно и из книг. Так красивее и впечатлительнее. Государственные люди, особо именующиеся «террористами», составляют партию и борются против другой партии – правительственных лиц. Разница между ними, что одни молоды, а другие стары. 1 марта победило молодое поколение. Оно поразило главы тех старых людей. Это – первое марта. И ученики 14 лет поймут без слов все то, что понимают тоже без лишних слов М. М. Ковалевский и мой товарищ по преподаванию – Н. И. Кареев».

Так на туловище моего Васи надевается голова Кареева.

Но я хочу, чтобы мой Вася был «моим Васей». Законное право родителей, чтобы дети росли в родителей. Как это сделать – я не понимаю. Я вопию, и притом всей России. Бью в вечевой колокол. В запутавшейся русской действительности происходит унос детей из домашней, из мирной, из правильной обстановки души и быта и заражение их политикой и газетными сообщениями под наименованием «учебного предмета». И все собственно для такой малой и пустой вещи, как чтобы наставники их (составитель учебника есть наставник для всей России) могли «оказать шик» друг перед другом, как две неумные и, увы, нисколько не «интересные» барыни в «Мертвых душах». Как могли эти «гоголевские типы», умершие вообще в России, сохраниться в одном учебном ведомстве и приносить в жертву своей «политической выставке» души детей, подростков, – нельзя понять, отвратительно понимать. Нужно непременно *пересмотреть учебники* и немедленно же административно исключить те, которые явно негодны.

«Оставьте наших детей в покое насчет политики», – это семья вправе сказать, и сказать сурово.

УГОЛОК КАПИТОЛИЯ У АЛЕКСАНДРА СВИРСКОГО

Хмурится небо, червится земля... Взглянешь под ноги, и захладеет сердце... «Какие надежды? Какая действительность? Но поднимешь лицо на солнышко и скажешь: «Ничего»... «Все оно обсушит и всех сохранит».

Взглянешь на «сегодня»: кажется, погибло все. Оглянешься на век: и увидишь, – все стоит по-прежнему.

Мне случилось эти дни прикоснуться веку. Очень просто случилось: не захотелось дома встречать Новый год, с вином и конфетами. И мы отправились «всем домом» к Александру Свирскому – подворье Олонецкого монастыря, на Николаевской улице. И на другой день, в Новый год, пошел туда же к обедне.

Писатель – человек рассеянный. Мало видит. Мало слышит. В возмещение дан ему пристальный глаз и впечатлительное ухо. И я передам, как мне показалось...

«Встреча Нового года» была трудна. В огромную и какую-то неуклюжую церковь, притом с высокой и крутой лестницей «загибами», набилось столько народу, что молитва решительно была неудобна. Из-за стены (так неуклюже устроена церковь) службы не было видно, – священника, алтаря – ничего не видно. Только пение, иконы и множество свеч... Но решительно устала рука передавать свечи: их подавали пуками – «К празднику!» – «Богородице», – «Спасителю», – «На канун» (за покойников, память). И как-то разом и быстро, без отдыха. Еще такого одушевления «ставить свечи» я никогда не видал. Может, связывается именно с *новым годом*. «Здравствуй, новый год!» или «будем весь девятьсот *четырнадцатый год* ставить так же усердно свечи» (пожелание). Не знаю. Но этот быстрый порыв народный сделал то, что на душе стало как-то весело, и я был очень рад, что не встретил нового года «дома».

«Однако сколько народу набилось! Ведь все могли бы дома встречать, с конфетками, в шутках, остроумии и маленьком ухаживании за прекрасным полом. А пришли сюда – *постоять, помолчать*»...

И – послушать молитвы. Послушать Евангелие.

«Хорошо».

На другой день я вошел в ту же церковь с другого более удобного хода, – и хотя стоял у самых дверей, все «богослужение» было видно. На душе было отраднее. И тут редким «чутким слушанием» стал вслушиваться в молитвы и зорким взглядом взглянул и на молящихся.

Все последние дни я был под печальным впечатлением учительского съезда (съезд *сельских учителей*), – о котором печалится, вероятно, и вся Россия. И вот это тоскливое впечатление просто исчезло. Как «слезу утер» или «смахнул муху».

– «Ничего, – подумал я о съезде. – Просто – ничего. *Не было* ничего и *нет*».

Я увидел великое, даже величайшее явление. И – помня Тита Ливия из гимназии, шептал: «*Romani... Populus romanus*»... «Вот *откуда* берутся Римы... Берется вековое стояние, великое терпение, величаявая сила»...

Нет, я думал лучше этого. Имя «Рима» в точности мелькнуло у меня, но перед глазами стоял великий христианский народ, и все было уже новое, «после Тита Ливия», церковное... Но – как стена, огромное, неповалимое, что перед всеми таранами выстоит, что устояло перед печенегам, татарами, – «и вам, господин Бокль, не уступит»... Меня поразило единство молившихся, единство без телеграфа и почты, без газет и подписки «на ту же газету», вообще единство не условленное и не со вчерашнего дня, а с Отечественной войны и доселе...

И еще: полная радость этого единства, без свар, без споров, без «выяснения истины»... Точно многотысячная толпа, запряженная в одну упряжь, могуче дышала «вперед» и везла какую-то огромную поклажу за собою весело, без труда, единым духом и радостью.

А это, что они везут, – «наша Россия», якобы «развалившаяся» и вся старая.

«Врете, подлецы, – ничего не развалилось. Да и развалиться невозможно, пока есть Александр Свирский» (что за угодник – и не знаю).

Все я плохо выражаю. Все не то. Было лучше. Было ужасно много *положительного* в содержании службы, в богослужении, должно быть, «с оттенками» на Новый год. Вслушиваясь в слова, я все думал: «Какие хлебные, вековые слова! И все – такие добрые, светлые, серьезные и *положительные*. Ни одного *огорчения* в словах нет, никакой *злости*, никакой *досады*. Воистину – никакого *отмщения*. А ведь мы все, на улице, и в том числе я сам, полны отмщений и гневов»...

«Как мы мятемся, а здесь – все спокойно. И напряженно, возвышенно! О, здесь нет ни чуточки пассивности, косности, апатии, равнодушия, безразличия. Все полет, огонь. Но какой-то тихий вековой огонь».

Сзади услышал тихое пение. Оглянулся. Мещаночка. Средних лет. Вслушался: и дивное диво меня взяло. Она пела, не *вторя* словам, не вслед певчим, а в уровень с ними, ибо нередко было и чуть-чуть вперед, ускореннее. Между тем молитвы были не обычные, не «Отче наш». – «Как, неужели она знает *всю литургию* наизусть?» Очевидно, знает. Сомнения не было. А я, учив в гимназии «богослужение», все-таки всего не знаю, да и почти все забыл. И тоже – учив в университете «богословие».

Стал внимательнее вслушиваться в слова, с «педагогической точки зрения». Действительно, все огромные слова, благородные, не низкие, не «с театра», не из водевиля... О, тут не засмеешься, не улыбнешься.

О плечо со мной мещанин сказал барышне:

– Здесь разговаривать нельзя. Разговаривайте дома.

Замолчала. А и сказала-то соседке чуть-чуть два слова. И он сказал, не сержая, а серьезно: «Разговаривать нельзя»... Слава Богу, что «разговаривать нельзя».

– Да почему?

– Слушаем божественные слова.

«Слушаем божественные слова», час-два. Лучше бы – три! Явно, «лучше бы»!! Ах, вот *откуда* долгие службы, за которыми у нас «ноженьки болят», а народу чем дольше, тем лучше. «Кто же *устанет* слушать божественное», и кто устанет – явно и не верит ничему «божескому».

– «Не верит ничему божескому»... – ничего. Пусть он даже называется «Боклем» – он прохвост, татарин.

Такая стена народа стояла и так была жива она и единым духом дышала, что «Бокль» уравнился с «прохвостом», уж извините, – да и все они, «неверующие», уравнились с прохвостами, – уравнились и «газеты без Бога», и «книги без Бога».

Может быть, преувеличиваю, но так дохнуло в меня дыхание народное. Стоят, океан, множество и «все, как *один*».

Шире взглянул я на всю церковь. Ни одного лица несерьезного!.. Ни одного в *сотнях* лиц – рассеянного, скупающего, «зевающего по сторонам» лица.

– О чем они *думают*?

– Да они не думают, а *молятся*.

«Да. Тит Ливий прошел, и настала христианская эпоха. Но – не позднее Константина Великого!» Чудо: в 1913 году я увидел толпу народа эпохи Константина Великого, этих римлян, этих фракийцев, но уже с русскими бородами и в русских одеждах. Но, ей-ей: все было серьезно и величаво, как при Константине Великом.

«Диоклетиан, Домициан, Максимиан, Константин»... А тут – Александр Свирский. И – *одно!!! Там и тут* – одно. «Вот и мешаночка подпевает, наизусть знает службу». Значит, – нравится. Нравится ли? О, да! да! да!

«Что же ей нравится?»

– «Нравится, как *было при* Константине!»... «Нравится, что выбрал разум Константина. Нравятся *слова и напевы*, какие *утвердили* святые греческие, римские, фракийские, русские». – «Вот и Александр Свирский – тоже».

«А нам нравится театр»... «Театр и еще кинематограф»...

На «такое» мешанка и не оглянулась бы. А мещанин сказал бы: «Замолчи».

«Так вот как». И «мне» и «Боклю» замолчать велит. Чуйки и «так, в платочке»... Они почитают себя, – да уверенно, твердо почитают, – «просвещеннее», чем я и чем «История цивилизации в Англии» Бокля.

Просто диву дивлюсь. Не верю. Но ведь явно, что они своих «святых», и «Бога», и «Евангелие» почитают разумнее Бокля и, уж конечно, меня...

Не знаю, куда такую беду деть. Как же не «беда», если «я» – ничего и «мы» – ничего.

Еще оглянул море голов. Светлые, твердые лица. Точно век стояли и «выстоялись». И поднялось сердце во мне:

«Величавый народ!.. Вот он, *величественный* народ», к которому не идет еще никакое определение, никакая квалификация, ни один эпитет. Это – не добродетельный народ, не святой народ, не красивый народ, может быть, даже не здоровый народ. Т. е. в смысле «может быть», а не «отрицаю». Но перед: одним поперхнешься в отрицании. Не скажешь: «Это маленький народ», «это пустой народ», «народ – *ничто*».

Это народ, который создает царства и воистину «держит небесных ко-ней под уздцы».

Что-то царственное пронеслось в душе. «Народ-царь», «народ-царь». Просто, я его «видел», и этого «виденья» ничем не выскребешь из души.

Я пережил до того счастливую минуту, как не могу выразить...

«Капитолий... Нет, у нас есть свой Капитолий, и – крепче римского Капитолия: «Царство Христово» – и за стеной его дивный народ, с таким же лесом копий... и дум, и слова могучего: «хочу».

НА КОНЦЕРТЕ В. В. АНДРЕЕВА

Ну что же тут «говорить об Андрееве»: он давно вышел из стадии нужных рецензий. Труд земледелия кончен, могучие прессы выжали из виноградных кистей сок, вино розлито: и теперь он пьет его и угощает им. Все, конечно, хорошо: балалайки плакали в «Травяте», переливались мелодичным звоном и тихим пением молитв. «В монастыре», замирали в «орус 5» Чайковского... И душа самого требовательного слушателя наслаждалась «нашими» балалайками как бы самым выдержанным оркестром смычковых инструментов.

Все это «конечно» и «говорить нечего»... Труд окончен для В. В. Андреева, и он вошел в пору торжества, – надемся, долгого.

Я сидел так удобно, что видел его *дирижирование*, чего за спиной артиста, в самом зале, не видно. Это удивительно и волшебно. Мастерство дирижирования – труднейшее и волшебное. «Играет» собственно дирижер, а каждый порознь инструмент – только выполняет. И каждый в оркестре видит *свое*, слышит *свое*, занят *своим*: и один дирижер слышит *все* и знает *все*, и это *он* «подает публике музыку». Удивительно. Оркестр – печка, дирижер – повар; «печет» она, но «готовит кушанье» – он...

«В нежности-то и сила, – думалось, глядя на В. В. Андреева с его палочкой, похожей по тонкости на стрелу или хлыст. – Кошка, кошка, играющая с мышью!.. Как бесконечна твоя игра!.. Как утомительна, работна для подчиненных! А тебе, уса́тый кот, только наслаждение»...

Теперь – да! А был и *мой черед* труда, выработки, приспособления... Теперь каждый прыжок мой – легок и, кажется, ничего не стоит: но чтобы дойти до этой легкости, нужно было ползти и не спать ночи и дни...

Так чем-то хищным, кем-то хищным, стоял он над оркестром. И оркестр плакал, звенел, переливался, вздыхал едва слышными вздохами...

«Это наши-то балалайки».

Как и всегда, зал имел что-то в себе не концертное, а бальное. В него собираются не слушать и трудиться, а слушать и наслаждаться.

«На Андреева мы идем не чтобы слушать ученые упражнения на звуковые темы, а чтобы слушать и отдохнуть»...

Где-то я услышал полусшепот за спиной:

– Я приехала сюда совсем больная: а сейчас чувствую себя не только здоровой, но точно и никогда не хворала.

«Поднимало» зал, поднимало – «все»... В самый зал распространилось то одушевление, которое царило в оркестре. Входя «в концерт Андреева», точно идут в какой-то вихрь, чтобы унести, закружиться и забыться. Вот отчего, я думаю, концерты Андреева имеют в себе необъяснимую психологию бала, и в них приходят одетые по-бальному.

ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ СИЛЫ В РОССИИ

(К вопросу об инородчине)

«Инородчиною», конечно без всякого унижения и порицания, я называю все «иные народности» в России, выражая в слове просто факт, этнографию. Но употребляю именно это слово потому, что не выделяю какое-нибудь одно инородное лицо, а говорю о *всех* их, о *всей их массе*. Мне хочется сказать им несколько слов с *русской точки зрения*, которая, может быть, не совсем им ясна. Ибо, естественно, всякий смотрит из центра, «из себя», – «это уже неодолимо вследствие человеческой ограниченности», т. е. греха Адама.

Да. Есть инородческие точки зрения, инородческие интересы, надежды, мечты. Тут и претензии, тут и настоящая боль.

И есть все это – русское. Тоже боль и тоже мечты.

Начнем с *боли* инородческой, которая для каждой семьи выражается просто в *труде для ее детей* начинать изучение первоначальных же предметов, получать первоначальные сведения и первые объяснения – не на материнском и отцовском языках, не на языке домашнем и семейном, а – на чужом, русском, несколько *отдаленном*.

Вторая боль – историческая, отдаленно-общая. «Если мы с элементарной школы потеряем национальный язык и затем в жизни, в службе, в работе естественно будем употреблять все тоже *не наш* язык, то в конце концов он ослабнет, на нем вообще перестанут говорить и писать, будут мало говорить и писать, и, в конце концов, по истечении десятилетий или немногих веков – он исчезнет, пропадет, затеряется, *вымрет*. Мы – *не хотим умирать*». Это мессианизм каждой нации, даже самой маленькой.

Эти две вещи, – простая семейная трудность «с детишками» и отдаленная мечта «своего возрождения», – подпирая друг друга безмолвно, – и об-

разуют «инородческие движения в России», то глухие, то явные. Движения – центробежные, от центра к периферии направленные; и, в последней надежде, имеющие мысль – разорвать «солнечную систему», к которой все членики принадлежат. Оторвавшись от России, – «мы полетели бы *вдаль*», в «новые союзы и комбинации», или, если можно и лучше бы всего, – остались просто «собою».

Так диктует эгоизм, свое «я».

* * *

Исчерпывает ли, однако, «я» и эгоизм историю? История превратилась бы в зоологию; да и то в зоологию одних хищных, если бы она служила отражением одного «я», без внимания к «мы» и «они». Даже и животные живут стадами, собираются в стада: и им просто так *приятнее, лучше*. Не одна безопасность диктует стада, – ибо и в стаде антилопы все-таки бегут от льва, но и неиссякаемый инстинкт просто общности, объединения. – «ἄνθρωπος ζῷον πολιτικὸν ἐστίν», «человек есть общественное животное», определил Аристотель, написавший первую во всемирной письменности «политику». Где же инстинкт этой «общественности»? Не одно удобство. Просто счастье – общиться, единиться, быть именно «в системе», а не лететь «одному» и «вдаль». «Вдаль» хотел уйти Каин, да и тот – *после греха*. «Уйду от всех людей» – это плохое начало истории: а ведь, в сущности, им начинают инородцы, пытаясь оторваться «от России». Ибо если «от России», то, конечно, так же и потому же – «от Германии», «от Швеции», – от *всего* и от *всех*... Куда бы они ни пришли, к кому бы «в союз» ни попросились, везде молча посмотрят на них как на блуждающего Каина, «который уже оставил родину»... Это не всегда будет сказано, но всегда будет почувствовано.

«В Германию ты пришел из России», «к Германии пришел *от* России: и будешь *вероятным предателем* и здесь».

От этой мысли некуда деться. Она – естественная будущность всего отрывающегося.

Конечно, каждый что-то теряет в себе, теряет что-то из своей свободы, – будучи *в стаде*, входя «в систему». Это – и планеты; это – и животные. Не иначе – и человек. Конечно, наша земля сама была бы «солнцем», не будь настоящего притягивающего ее солнца. Но каким? *Темным*, маленьким, неживым, замерзшим.

Что такое были бы латыши между Россией и Германией? Финны между Швецией и Россией? Они просто *погасли* бы, и только. Наивно думать, что у них сейчас явится Шиллер. Шиллер есть плод культуры и веков, и есть нации, у которых даже после веков культуры Шиллера не явилось. Громадные Соединенные Штаты все-таки Шиллера не имеют. Нет, у них ничего не появилось бы, кроме мишьячных кадетов и мишьячных социал-демократов, которых теперь вообще так много, как булыжника в мостовой, и никто этого булыжника не считает. В вечных спорах и, конечно, «борьбе партий», – и латыши и финны погасли бы до такой ужасной никому невид-

ности и ни для кого неинтересности, как об этом страшно подумать даже «за них», т. е. подумать вчуже. Те финны, о которых даже иногда говорят в Европе, те армяне, о которых тоже в Европе говорят, – и коих историю и песни теперь собирают *университетские* ученые, т. е. ученые, каких выбрало и поставило на чреду науки *русское* государство, чужеродная империя, – эти финны, армяне, латыши очень скоро снизошли бы к интересу существования курдов, «персюков», басков в Пиренеях, и проч., и проч. В сущности, они косно *лежали бы* камнем, пока их кто-нибудь не поднял бы с земли и не взял.

Увы, все *малое* и должно принадлежать к системе. Это не «деспоты» выдумали и не деспотические народности. Это «сказал Бог», как передается в истории миротворения.

Шиллера не будет. Будет несколько адвокатов и немного отвратительных врачей. Мамаше, возящейся с детьми, удобнее обратиться к теперешнему русскому доктору, чем к будущему «своему», потому что «свой» вообще ничего не вылечит. Даже, чтобы *лечить хорошо*, нужна трудная и долгая предварительная культура.

И Веллингтона или Кутузова у латышей не будет: будет много воров и разбойников. Ведь чтобы и с ними управиться, нужно хор-прошее правительство, с дисциплинированной армией, с большими окладами жалованья. Откуда маленькой нации их взять?

Дело в том, что уже теперь «все получше», и врачи, и адвокаты, и исправники, и заводы, и порядок по городам, существует у латышей, у армян, у чухон – *благодаря связи с Россией и вследствие этой связи с Россией*, даже если она и враждебна или болезненна. Пусть они ненавидят Россию: но именно вследствие этой ненависти они *объединены, слиты в одно, дышат одним духом* и, хорохорясь против России, – имеют *туземный патриотизм*. Великие блага, полученные от связи с Россией: как только она прекратится и они станут «сами» «солнцами», они возненавидят друг друга, свой пойдет на своего, партия на партию и под-партия на под-партию. И, словом, из патриотического и доблестного *сейчас* превратятся в угольный мусор, в каменный щебень, в такую мелочь и сплетни, что стыдно будет на них посмотреть.

Нет, не это. Не это – их путь, не это – человеческий путь.

Человек сделал *историю*. Вот в чем дело. И историю он сделал не «сам» и не стремясь быть «солнцем», а отрекаясь от себя и служа солнцу, которое светило бы «всем» и *все* – «животворило».

Не эгоизмом соткана история, а великими самоотречениями. Воистину история сотворена смирениями и благородною скромностью.

Разве всегда были «русские»? Были «кривичи», «поляне», «древляне»; была «чудь» и «мордва» по Оке. Но все угасли не угасая, ибо все родились и возродились в Россию. Это только *имя* одно, и воистину инородцы «борются» не против государства, а против филологии и пустого «Словаря русских слов»: *ибо они все зерном войдут в Россию*, войдут в государство наше, вой-

дут в правительство наше, войдут в литературу нашу и в промышленность нашу. «Мы сами» тоже когда-то умерли и тоже теперь ожили «в России»; умерли и ожили «кривичи» по озеру Ильменю и по Волхову, «поляне» по Днепру. Почему же «латыши» умрут, когда станут русскими? Они не умрут, а увеличатся, возрастут, как увеличались «кривичи», торгуя теперь не только по Волхову, но и в Сибири и слушая не только былины свои, но и читая Пушкина. В чем же собственно заключается «смерть поляка» и «смерть латыша», если они сделаются «русскими»? Едва ли самнитяне и этруски умерли в «римлянах», ибо сами римляне суть латины + этруски + самнитяне + греки южной Италии, ее аборигены разноплеменные и ее колонисты. Спор идет о грамматике и языках, а не о *деле*. Никакие «самнитяне» и даже никакие «финикияне» – не умирали и живут по-прежнему и вечно, но лишь в новом имени, однако со своею сущностью. Никогда «латыш не умрет»: но когда-нибудь скажут, как говорят о Лермонтове: «Он от шотландского рода *Лерма*», о другом великом русском поэте, что он – «из латышского рода»...

– Так из латышского, – кричит самолюбие. – И пусть он лучше пишет «по-латышски» и будет «латышским поэтом».

Но не воображайте, что в Запорожской Сечи Гоголь написал бы «Мертвые души». *Ничего* вовсе он не написал бы там, а был бы войсковым писарем, сказочником-бандуристом, и вообще чем-нибудь *этнографическим*, а не *литературным*. *Дух Гоголя* родила Россия, она ему дала *темы*, она ему дала *одушевление*, она ему дала все *горькое* и *сладкое*, все *муки*, и всю *заботу*. Разве не страница *истории русского общества* вся «Переписка с друзьями»? И «будущий латыш-поэт» вовсе будет не поэтом, а хорошим огородником или плохим работником: тогда как, войдя в Россию, он возвеличит *латышский гений на русском языке*. Вот что возможно, и желайте возможного. А не тянитесь к невозможному и к *небывающему*. Оторвавшись от России, от университетов и литературы ее, от связи со всем ее прошлым, инородцы просто полетят в дикость, как яблоня, высаженная из сада в лес. Никакой у них «цивилизации» не будет, ибо это вообще не так легко. Даже Америка, чем бы она была без связи с английским языком и английскою литературою? А инородцы будут именно «американцами» без «английского языка». И эта «латышская цивилизация» будет только сумбур, отвратительный для человечества. Этого просто «не надо», и оттого, что это просто «дурно». «Дурного» вообще «не надо». А ряд инородцев и их центробежные стремления обещают просто ряд «дурного» в смысле ничтожного, смешного, бессильного, призрачного. Просто *нереального*. Суть в том, что в инородцах, всех порознь и вместе, мало *реального существа мира*, и от этого они и втянуты в чужое большое тяготение. Не солнце велико и сильно, а планеты малы и бессильны.

Но, ζῷον πολιτικόν*: возьми же долю свою со счастьем, с радостью, с любовью. «Отвергнуть себя» есть великое счастье: не меньше, чем сухой

* животное политическое (греч.).

эгоизм. Разве самоотверженные не блаженствуют, не сияют? История померкла бы сейчас же как мерзость, если бы она не была сплетена из великих самоотречений. Самоотречается солдат в битве, самоотверглись мученики, самоотверглись святые; да разве величайшие из ученых не самоотвергались ради истины? Вот сколько. И над всеми венцы. Лучше ли их «слава» разбойника, бунтовщика, дезертира, изменника? Обобщенно – «слава» Каина? А инородцы никогда иной «славы» не получают: ибо Россия все-таки теперь есть их *отечество*, и иного пути, чем каинство, вообще для них не лежит. Но все *трудное* для них – сейчас же превратится в сладкое и даже сладостнейшее, едва они станут совсем на иную точку зрения: Россия есть подлинно *наше отечество*, латышское, чухонское, немецкое, польское, армянское, грузинское, татарское... И все, чего мы хотим, – это как можно скорее стать окончательно *русскими*, без всякого *разделения*, без всякой *иной веры даже*, иного *быта даже!*.. Нам противны эти *частности* наши, эти *дробности* наши, – эти не имеющие никакого значения и никакой будущности остатки на нас «лесных дичков», «полевых диких трав», «невозделанных растений», по Дарвину, и «невозделанных животных», по нему же... Все это – долой! *Пока* – больно, неудобно: но *завтра* – мы войдем в великое сияние Единого Солнца, в котором не угаснем, а усилимся всею его силою... И история и человечество возблагодарит нас и запомнит нашу жертву: как она ничего вообще из благородного не забывает».

И жертва Авеля будет принята.

Как путь Каина всегда был проклят и никогда не благословится.

ЕВРЕИ – УЧЕНИКИ НАШИХ ШКОЛ

Есть вещи если и «секретные», то секретные только по какой-то детской неопытности, детской стыдливости канцелярий, причем через свой «секрет» они (канцелярии) наносят общий вред. Сверх сего «секрет» этот, о котором оповещаются две губернии, например, – само собою есть весьма условный и проблематический «секрет», в своем роде «секрет, сказанный через иерихонскую трубу». Я позволю себе приставить к одному такому «секрету на две губернии» еще большую иерихонскую трубу, именно – «общей печати», и предложить на всероссийское обсуждение несколько важных тем.

Мне была передана официальная бумага на четвертушке листа, напечатанная на машинке, но за подписью чернилами фамилий и имен начальствующих лиц. Вот оно:

Г. У. З. и З.

Управление Земледелия и Государственных Имуществ Херсонской и Бессарабской губерний.

Июля 18 дня 1913 г. № 12887.

Секретно. Циркулярно.

Управляющему (такого-то, собственное имя) практической школы виноградарства и виноделия.

«Управление уведомляет Вас для сведения и исполнения, что, согласно сообщению Департамента Земледелия, Мошек Амбрович, – родившийся 8 мая 1894 года, иудейского исповедания, – исключенный из Плоцкой гимназии за вызывающе дерзкую приписку к классному сочинению, заключавшую хулу на русский народ, не может быть принят ни в одно из учебных заведений, подведомственных Департаменту Земледелия». (Две подписи.) Одесса».

Главное Управление Землеустройства и Земледелия (инициалы над бумагою) озаботилось не допускать в среду *русских* учеников этого *19-летнего* еврея; но *все* проходит «секретно», и, может быть, управления других министерств, напр. заведующих коммерческими училищами, техническими училищами, железнодорожными училищами, не будут так щепетильны, станут на точку зрения космополитического характера «коммерции» вообще и «техники» вообще и откажутся сказать своим учебным заведениям то, что сказало Министерство Землеустройства и Земледелия. Наконец, Мошек Амбрович может поехать за границу, кончить там где ему угодно и какое ему угодно учебное заведение, – и приехать, вооруженный всеми дипломами, – «служить» к нам. И «технически» или «коммерчески» его служба может быть совершенно корректна, а соответственному «министерству», довольно космополитического характера, конечно, не будет ровно никакого дела, что он с утроенной порцией яда в душе за исключение из Плоцкой гимназии за поругание русского народа будет все «корректно» разлагать служебную среду, корректно нашептывать ей о непригодности всего русского, о негодяйстве всех русских, и особенно всех «на верху положения», и проч., и проч. Прописывать собственные имена полными буквами – вовсе не нужно. Всякий, знающий русскую действительность, договорит сам те слова, которые я удерживаю про себя, которые в печати неудобны, но которые ухом всякий и везде в России слышит.

* * *

В одной из частных школ, где русских менее половины, а евреев более половины (частные учебные заведения, как известно, процентной норме касательно евреев не подлежат), была устроена «образовательная экскурсия» на юг. «Туда» ехали благополучно, но на пути «оттуда» произошла какая-то история, о которой говорили глухо, отмалчивались и, видимо, старались скрыть, старались об этом русские ученицы. Вообще, как всегда в «школьном товариществе», дети были друг за друга «горой» и «секретов» не выдавали. Рассудительные родители и не настаивали. «Мало ли что бывает», гимназия в общем превосходная, и все было предано забвению, пока вырвавшееся слово: «Нас чуть не столкнули с палубы» (парохода) – не заставило встревоженных родителей несколько настойчивее расспросить детей. И тут было все-таки все скрыто, но, так сказать, в процессе укрывания мелькнули слова, давшие, по крайней мере, понятие о «душе» истории. А «душа», не говоря о прочем, была в высшей степени опасна, именно в физическом от-

ношении. Кончилось все совершенно благополучно, но лишь *случайно*, и столь же случайно могло все окончиться страшною бедой, – т. е. смертью или искалечением множества учениц, вдали от родителей, и без ведома родителей, и таким образом, что «и концов было бы нельзя сыскать», а главное – поздно искать. Суть в том, что экскурсия, – более чем наполовину из евреек, – неосторожно на обратном пути коснулась западных наших губерний, проезжала чрез «черту оседлости» и когда шла пешком к какому-то исторически-достопамятному месту, то прошла и чрез еврейское «местечко». Множество детей-евреев, мальчиков и девочек, высыпало из домишек при виде «нарядной столичной экскурсии», и взрослые уже гимназистки-еврейки увидели своих соотчичей в страшной бедноте и грязном костюме, что поразило их столичный глаз собственно наивным удивлением. И в русских деревнях крестьянские дети ходят тоже «с голым пузом», без штанов, жуя кусок черствого хлеба, и т. д. Но в столице и дети учебного возраста вообще ничего не видели, кроме «исторических достопримечательностей» – издали и «учебно» показываемых. Еврейки же или знали, или им было сказано, что есть какая-то «ужасная черта оседлости», в которой «евреи мрут от голода», и это «русские и русское правительство морят евреев голодом»... «А вот и дети голодные!» – естественно добавили наивные девочки в себе. Как евреи «оставляют умирать с голоду» обобранных ими через долговые обязательства* русских крестьян и, конечно, крестьянских детей, – эти и прочие вопросы бытовой, социальной и коммерческой путаницы, конечно, никогда не были объяснены еврейкам-гимназисткам их попечительными родителями, да эту правовую-русскую сторону «еврейского вопроса» евреи даже и писатели не разрабатывают, как «до них не касающуюся». «Русская сторона есть русская сторона, и ею пусть занимаются русские; а мы, евреи, – знаем еврейскую сторону вопроса, которая заключается в том, что евреям в черте оседлости душно». Т. е. что им «мало корма там», где они «все съели», и – «пустите нас дальше». Оставим общий вопрос и вернемся к изложенному случаю. Горячая южная кровь вспыхнула в ученицах, вид массы «так черно одетых детей» возмущил их, «русское правительство», о коем наговорено было дома, мелькнуло в уме, – и они почти кинулись на русских товаров по классам и во всяком случае осыпали их ругательствами и угрозами, со словами – «вы, русские», «все вы, русские», «все вы таковы», приблизительно как и ваше «подлое покровительство». Вообще «домашнее» вышло «наружу», разговоры и печать «взрослых» естественно передались детям-подросткам – неопытным девушкам. Русские... известно, как они безвольны! Как плохо они умеют защититься! Как ненаходчивы среди еврейских выкриков

* На глазах моих случай. Крестьянин умоляет «не сводить у него *теперь* же лошадь со двора» за долг еврею. Расспросили. Оказывается, он уже *заплатил* долг, но не спросил обратно и не уничтожил вексель. Еврей, имея вексель, «корректно и по закону» требует вторично уплаты. Полиция – на его стороне, суд – на его стороне, ибо на его стороне «форма», и крестьянин даже не протестует, а только умоляет обождать. Только заступничество предводителя дворянства спасло крестьянина.

и перед еврейским натиском!! К тому же девочки-русские, естественно, ничего не понимали и были тоже поражены множеством нищей еврейской детворы. Они, как кажется, и не защищались, отвечая чуть не со слезами, что, ведь, «не я же виновата», «не мы, *гимназистки*, виноваты». Но окончилось руганью, – и все это ничего, если бы в ближайший час не пришлось взойти на паром; начальство и надзиратели для каких-то надобностей (кажется, расчетов за билеты) удалились вниз, в каюту, – и дети *на очень недолгое время* и случайно остались наверху (на палубе) одни. Тут-то и произошла почти беда. Как это часто бывает, спор, было улегшийся, загорелся с новой силой и еще страстнее и (рассказ с неопытным смехом ученицы): «Они до того разъярились и стали наступать на нас, что совсем нас прижали к перилам палубы, и я уже думала, что вот они совсем столкнут нас в воду», и это могло бы случиться. Дети, как дети, – а «непредумышленное убийство», как известно, и не наказуется, да и еврейские адвокаты расписали бы «национальную вражду», которая «вот к чему приводит», с умолчанием о «двойном взыскании с неграмотного крестьянина» по одному и тому же векселю.

* * *

Третий случай: вскоре после убийства Столыпина вижу я с почтеннейшею г-жою Виницкой. И рассказывает она между всеми случаями и историями следующее. У нее есть воспитанница, взятая ребенком из последней нищеты, и теперь уже лет 16-ти девушка, отлично учащаяся в Петербургской консерватории. Как-то Виницкой случилось коснуться убийства Столыпина, но она сказала об этом с негодованием к убийце Богрову. Каково же было ее удивление, когда ее питомица, столь молоденькая девушка, выразилась, что «Столыпина нисколько не жаль», и далее, образно представляя себе событие, допустила цинично употребить фразу: «Как он *отлично задрыгал ногами*», т. е. простреленный.

– Ну, а Богров? – спросила старая дворянка.

– Богров, конечно, герой, – ответила юная демократка. – Что это такое и откуда взялось в 16-летнюю головку? – докончила г-жа Виницкая. «Я стала наблюдать свою Маню, – расспрашивать незаметно о товариществе и узнала, что ближайшей ее подругой, имеющей на нее большое влияние, состоит еврейка, влиянию которой я и приписываю столь необыкновенные понятия моей девочки».

Нужно заметить, «влияние» это очень просто: как южная нация, евреи *созревают* гораздо ранее русских, т. е. ранее приобретают гибкость и силу ума, силу слова и быстрой сообразительности или ловкой аргументации. В 15 лет еврейка и в 17 лет еврей равняются *по фазе развития* 20-летней русской девушке и 25-летнему русскому мужчине, – и естественно таковые одолевают в споре и «политическом развитии» русских сотоварищей по школьной скамье. Одолевает, и влияет, и вкладывает свои «убеждения», как сильная кукушка свои яйца в гнезда мелких и слабейших ее птичек. Пусть на этих 15-ти и 17-ти годах еврейское развитие и останавливается, далее не

идет, кроме усвоения *сведений, фактов*, чрез работу *памяти*. Русские не все знают и догадываются, что в 30-летнем и 40-летнем возрасте еврей и еврейка являются уже отсталыми от однолеток русских, которые продолжают расти и развиваться до 30-ти лет. Но еврей, во всяком случае, раньше «устанавливается», «определяется», входит в настоящую «работу», – и прежде, нежели русский догонит и позднее даже перегонит его, он путем воздействия и «зрелых суждений» уже много русских «яиц из чужого гнезда» вытолкнет на землю и разобьет. К этому подходит случай, который был у меня в семье и характерен для «истории русского воспитания».

* * *

Учебный возраст моего сына 13 лет, весь он предан полю, лесу и рыбной ловле, и я был уверен, что «политика» ему и в голову не приходит, – да и, конечно, не «приходит», но он не может не слышать звона, который несется в воздухе. Учится он в частном мужском учебном заведении в Петербурге, где также более половины учащихся – евреи. И вот как-то утром, в минувшее лето, он встает поутру, натягивает на ногу сапог «третьеклассника» и что-то напевает под нос, – напев чего мне показался знакомым. Я умываюсь, меж тем напев громче, и слышу, мой третьеклассник, до такой степени любящий ловлю шурят (маленькие шуки), отчетливо уже звенит себе под нос:

Вставай, подымайся,
Рабочий народ!!

Просто – ушам не верю. И смешно, и отчасти страшно! Как тут быть? Мужиков и рабочих так любит, на дворе и в деревне, мой мальчуган; бедным и обиженным сочувствовать – так благородно и естественно. Все «педагогические мотивы» за него, и между тем я уже видел на почве этих «песенных припевов» гибель подростков, и мне положительно стало страшно.

– Вот какую ты песенку поешь, В., – говорю.

Сапог он уже надел и теперь приспособлял другой к ноге. Подняв на меня детские глаза (буквально детские по его развитию), он сказал с лукавством и удалью:

– Я и *получше* этой песни знаю.

Я тоже знал «получше» и знал, что за «получше» следует. Погодя и говорю ему:

– Это, В., тебя товарищи в школе выучили, – и как ты особенно дружишь с евреями, то я уверен – и выучили тебя ей и «получше» любимые твои мальчики, – такие-то и такие-то.

– Может быть, они, а может быть, и не они.

– Ты, – говорю, – мальчик смысленный и наблюдательный. Когда ходишь за клеем, кисточками и зубным порошком в аптекарский магазин, то старайся ходить не в один и тот же, а в разные магазины. Ты увидишь там, что торговцев нет ни одного русского. Живем мы в Петербурге, столице русских людей, и завоевана она была нашим царем Петром Великим. Так

не удивительно ли до сих пор, что в столице Русского Царства одна торговля, вот именно аптечная, попала вся и целиком в еврейские руки, и они в этой торговле стали так плотно плечом к плечу, что не пропустили к ней ни одного русского. Ты, маленький, об этом подумай, почему это и как это вышло. А я тебе добавлю только, что аптекарская торговля – самая богатая и самая выгодная, и ты это можешь видеть по тому, как хорошо там торгующие одеты сравнительно с русскими лавочниками в мелочных лавочках. То же и в аптеках – все евреи. Вырастешь и узнаешь, что и в суде все адвокаты – евреи. А где же русские? Песенка твоя отчасти объясняет, «где русские». Тебя они этой песне обучили, но сами громко ее петь не станут. А ты по русской простоте запоешь громко, да громко запоешь и «получше этой» песню. Тебя, конечно, возьмут в острог и пошлют в Сибирь, хотя бы ты мог быть отличным доктором или отличным адвокатом. Место это твое будет «не занято», служить, естественно, кто-нибудь должен, должен защищать в суде и лечить больных. И еврей или евреи, которые песенки пели потихоньку, чтобы переняли у них русские «добрые и милые товарищи», попросятся на это «пустующее место» и займут его тем легче, скорее и тем вернее и тем обеспеченнее, чем больше русских услао в Сибирь и сидят в остроге. Это только одна часть, тебе понятная, очень сложного и большого дела, которого пока тебе не понять. Заключается она в том, что все русские в самой России как-то проваливаются, впадают в нужду и нищету, все ополчаются на Царя и правительство и все уходят в каторгу и Сибирь, а евреи остаются здесь и все как-то выплывают наверх, к богатству и к господствующему положению. Вот и дом, в котором мы живем, громадный и на две улицы выходящий, принадлежит еврею-адвокату, и он теперь, вероятно, поет совсем другие песенки, чем каким обучал своих товарищей в гимназии. Вообще я ничего тебе не запрещаю и ни в чем не останавливаю, только ты думай и оглядывайся.

– В самом деле, папа, – сказал он мне через полгода, – и во всех аптеках, и во всех аптекарских магазинах, и тоже везде в часовых магазинах сидят евреи.

– Русского – *ни одного*, вот в чем горе, – поправил я.

Таких случаев, конечно, бездна, – и по переданным мною *совершенно достоверным фактам* каждый приберет в памяти еще несколько. «Рано зреющие» евреи и еврейки везде входят в русскую среду учащейся детворы, учащегося отрочества, учащегося юношества разлагающим эту среду элементом. Они ее «расщепляют», как топор расщепляет полено, откалывая от него «лучину».

Лучина моя, лучинушка,
Что же ты, лучинушка,
Не весело горишь...

Топор цел, а полена – нет. Полено размельчено в лучину, горит, дымит и погасает. Нужно ли объяснять, что в «умственном друг на друга влиянии» *число* влияющих не играет никакой роли и все принадлежит даже не уму или таланту, а именно только *зрелости* влияющего, – пусть даже преждевремен-

но: зрелости, пусть даже патологической зрелости! Все равно!! «Он знает», «какая у него *железная логика*», «он читал Ницше и говорит, что христианство есть вообще *мораль рабов и вырождения*», он говорит, что «вся экономическая жизнь у христиан сложена по эксплуататорскому типу и нужно поднять великое восстание рабов», – «рабов против угнетателей». Новостей столько, что голова закружится, и все эти «новости» входят «с маслом» в 15-летние и 17-летние головы; с «еврейским маслом», теплым и скользким, которое баюкает и ласкает в глаза, льстит и ласкает около плеча вот «эту Маню» и «того Алешу». Неопытный и доверчивый русский мальчик, неопытная и доверчивая русская девочка и девушка и, наконец, целая толпа их поддаются гипнотическому влиянию «трех процентов» смуглых товарищей, «таких развитых и начитанных», из соотечественников Спинозы и Мендельсона, Левитана, Гоца, Гершуни, Богрова и Азефа... В 15 и 16 лет все эти разнообразные люди были приблизительно одинаковы, – все одинаково юношественны, оживленны, разговорчивы, красноречивы и, главное, «очень ласковы около плеча». И их или подобных будущих «Мендельсонов» и «Богровых» слушают, как меланхолический «полонез Венявского», русские разини тоже 16-ти и 17-ти лет, едва-едва одолевающие пока Писарева и подумать не смеющие «о великом Спинозе». А золотой товарищ читал уже Спинозу.

Там, где наши дети не могут сами позаботиться о себе, – не могут в силу незнания будущей жизни, будущей судьбы, да и всего зора действительности, о них должны позаботиться родители, а голосу этих родителей должно внять государство. Лучшее лечение – гигиеническое, предупреждающее. Если школа наша пытается «лечить», то при своей жесткости и неуклюжести, леча единственно «тумаками», т. е. наказаниями, она вообще не лечит души, не выправляет духовного роста. Но в ее руках есть одно формальное средство, исполнимое потому именно, что оно формально и просто. Тут не требуется никакой мудрости: отделить здоровое и еще не зараженное от того, что уже из дома приносят некоторое национальное раздражение против всего народно-русского, в особенности определенную и всеобщую свою национальную вражду к строго русской государственности и нашего исторического государства. Вероятно, каждый согласится, что еврей *врожденно* не может быть привязан к Москве или Киеву, если не брать «торгового Киева», а брать Киев исторических святых. Вся вообще «рюриковская» и «романовская» Русь еврею не нужна и не интересна; ему «интересен» Спиноза и Маркс. Совершенно определенно нужно сказать, что такие юноши и отроки нашим детям не товарищи. Совершенно определенно Министерство просвещения должно сознать, что заразное, разлагающее, вообще болезнетворное начало, – таковое по натуре своей и от самого рождения, непереносимо в школе в 3-процентной разреженности так же, как и в 50-процентной. А в частных учебных заведениях, «с правами правительственных гимназий», принимаются евреи в величине 50 и 60 процентов. Но их в русских и в христианских гимназиях не нужно *ни в одном проценте*. Девять евреев в составе трех сот русских мальчиков, конечно,

подчинят себе эти триста, в силу объясненного выше и для всех явного раннего у них развития, их ранней зрелости. Евреи достаточно богаты (в их же руках все банки!), чтобы иметь свои гимназии, — частные или даже правительственные, но *исключительно еврейские*. Там они могут применять способ «взаимного обучения» и «товарищеского развивания», так одушевленно привившийся в наших гимназиях, и могут они каждого начинать Марксом, социализмом и антихристианством. Но совершенно дико допускать это в гимназиях. Повторяем, это *врожденно* так, это *неодолимо* для русских в силу их замедленного северного роста и мозгового развития, параллельного половому, тоже позднему, развитию. И эту профилактику, это «предупреждение» Министерство не может отказать ввести.

ОПИСАНИЕ ГОРОДОВ

Петербург. Художественно-исторический очерк и обзор художественных богатств столицы. С 315 иллюстрациями. Составил В. Курбатов. Книжные украшения А. П. Остроумовой-Лебедевой. 1913. Издание общины св. Евгении. Стр. 658.

Кострома. Исторический очерк В. К. Лукомского — и описание памятников художественной старины Г. К. Лукомского. Издание общины св. Евгении Красного Креста. 1913. Стр. 390.

Казань, Нижний Новгород, Кострома. Евгения Белова. Издание Т-ва «Образование». Москва, 1913. Стр. 70. Со множеством рисунков.

Нынешний год счастлив для русских городов: книга за книгой выходят с превосходными историческими и художественными описаниями по преимуществу старых исторических городов наших и с воспроизведением всего сколько-нибудь замечательного в них по архитектуре и по живописи. Нельзя не отметить с благодарностью, что первый толчок к движению сюда дал Дягилевский. «Мир искусства» со всей энергией молодости и с задорным молодым смехом указал своим современникам и посмеялся над ними за то, что они не видят сокровищ искусства, рассыпанных «под носом у себя», почти на каждой улице Петербурга, где-нибудь около Тучкова моста, где-нибудь на Невском... Результатом этих указаний было то, что «обыватель» начал пристальнее и дольше всматриваться в отдельные здания, и для каждого обывателя «открытия следовали за открытиями»... Смеясь и преувеличив несколько, можно сказать, что мы «открыли Петербург», как Шлиман «открыл Трою». Помню хорошо по личному впечатлению, как до «Мира искусства» мне казалась отвратительна Театральная улица и частью даже Александровская Лавра, «образец казенщины, официальности и скучных кан-

целярий», – как я формулировал себе... Проходило время... Не будь толчка, может быть, я и остался бы с этим пушкинским *résumé* о Петербурге:

Скука, холод и гранит...

Но, часто проходя по Театральной улице и иногда бывая в Лавре, я прямо *открыл* для себя изумительные линии этих, по-видимому, монотонных желтых зданий и прямо, любуясь, не налюбуюсь на них. Теперь я не могу прямо без *восторга* проезжать мимо Адмиралтейства или здания Сената... Самый цвет их, нежно-желтый, ложится на душу чем-то умягчающим и восхищающим... Как-то проходя мимо Сената, я подумал: «Мог ли Грибоедов написать свое *беспощадное* «Горе от ума» и Гоголь изобразить Петербург и русскую жизнь как одно сплошное *зловоние*, имея перед глазами своими такие великолепия, как этот Сенат и это Адмиралтейство»... Вообще частичная *ошибка* всей нашей литературы, в ее журнальной, в ее бумажной массе, как-то становится очевидна при взгляде, *где* мы живем и *что* строили наши недавние предки, над которыми так неосторожно посмеялись «дети» решительно под односторонним давлением литературы...

Не все «скудно» у нас...

Имена Гваренги, Росси, Растрелли, Фельтена заслонили от нас ряд русских соиздателей художественного Петербурга: Старова, Воронихина, Баженова, Стасова, Захарова, Щедрина и многого множества других.

Между тем со второй половины XVIII века и до конца первой четверти XIX века шло непрерывное художественное вдохновение у нас, по преимуществу – архитектурное, где были перемешаны имена иностранных выходцев и русских...

Община св. Евгении дала превосходные и вместе в высшей степени удобные «для ношения при себе» описания Петербурга и Костромы, а издательская фирма «Образование» выпустила описание Казани, Нижнего Новгорода и Костромы. Естественно пожелание, чтобы казанцы, нижегородцы и костромичи приобрели и имели «настольно у себя» по крайней мере которое-нибудь из этих изданий. В сторону богатой художественными средствами общины св. Евгении можно заметить, что ей надлежало бы выработать *русский тип* подобных изданий, не следуя мертвенно и слепо хотя и удобной, но все же *не нашей* форме Бедекера и вообще *западных* изданий. Искусство должно быть «свое» включительно до переплета на книгах...

ГОЛОС МАЛОРОССА О НЕОМАЛОРОССАХ

Есть что-то несчастное и жалкое, горькое и в конце концов глупое, бесталанное, в положении и затем в психологии «каинства», которая обнимает у нас некоторую долю «общественных деятелей». Разрыв громадного тяготения к центру не обходится даром: люди летят «к черту» и попросту в сумасшедший дом. В непомерной злобе «на Россию», – от которой, впрочем, Рос-

сии ничего не делается и *никогда не делается*, – то человек набрасывается на Крылова, грубо упрекая его в обжорстве, то приравнивает «цианистому кали» поэзию и личность Тютчева, не замечая, что он, конечно, не Тютчева отталкивает от России, а сам со своими «общественными деятелями» отталкивается от Тютчева и летит куда-то «на 11-ю версту» от Петербурга, где врачи осматривают прискорбно-больных. Для оторвавшихся от России русских, полурусских и инородцев не предлежит вообще никакого пути, кроме вырождения и духовной смерти. Лично извести из себя «цивилизации» они, конечно, не могут, а старая цивилизация не координирует их шаги, и является «шаткая походка», «неверный шаг» целой биографии. Является гибель всей личности. Начавший в своем «я» судьбу Каина, ничего иного не получает, кроме трясения рук и ног, уныния, тоски и пугливого оглядывания, «не гонится ли кто за ним». Но никто за ним не «гонится», а гонит его внутренний грех и остатки своей совести.

Путь Даля и Востокова, – двух немцев и лютеран, которые настолько были преданы России, что переменяли даже фамилию – на русскую (Востоков) и под конец жизни перешли из лютеранства в православие: вот путь и канон душевной жизни инородца в России. Оба, став «русскими» до такой глубины, возвеличили и имя германское, душу германскую, нравственный гений Германии. Они воистину показали всемирную революционную мощь и универсализм старой своей Германии. И не одна Россия держит над их головами венки особенного света, но и Германия осветилась особенным светом своей глубины, «потеряв» этих сынов. *На самом же деле* Германия, конечно, в отрехшихся от нее Дале и Остенеке (прежняя фамилия Востокова) получила в них так много, сколько не имеет в каком-нибудь «Михеле», в каком-нибудь безвестном профессоре или этнографисте. Здесь величие – не в филологии их, а именно в красоте особой преданности и особого национального перерождения.

И можно думать, что «Даль» чувствовал себя радостнее, чем теперешние «общественные деятели», – главная «общественность» которых заключается в том, что они в каждом ресторане подходят к буфету и выпивают рюмку водки «за гибель России». Таких очень много. Такие бегают на лекции и сами читают «рефератры»... Но, воистину, все это к гибели и унынию...

Заговорить об «инородчине» меня заставило не то, что сейчас пишется об этом вопросе в печати, а одно частное письмо... Получено оно было мною от одного малоросса-дворянина, которого я знаю лет 20 в Петербурге, и всегда любовался на то, как он радостно несет свою службу здесь, а ранее нес ее в провинции. Гармоничность всей его личности, с «государственным» оттенком, с высокой мыслью – «я служу Государю и отечеству» (чиновник лесного департамента министерства земледелия), всегда удивляла меня и как-то «подавала лучшие надежды на будущее» среди всеобщего нигилизма и отрицания... Но он любит и свою Малороссию, свою полтавскую усадьбу, – особой местной любовью. Нужно заметить, что *настоящие* любители России суть непременно свои специальные губернские

любители, – вообще «губернские люди»: без этого «губернского чувства» как-то холодно и отвлеченно, риторично и не окрашено и общерусское чувство. Только «симбирец» Карамзин мог стать великим «вообще русским»; только творец «Вечеров на хуторе близ Диканьки» – мог образовать в себе такую великую *общерусскую* тревогу... Без «своего уезда», без своей частной, *индивидуальной* родины – нет вообще *настоящего* русского. Это я давно замечал, – и захудание, захирение «родины *своего детства*», кажется, есть причина и общего «гражданского каинства» в России. Вот отчего так хочется *расцвета* и силы наших уездов, *поярче* – жизни туда, побольше *детской* и *ученической* памяти о первом, раннем своем «гнездышке».

Он пишет мне:

«Простите, что я перейду к другой теме, которая меня тоже больно поразила на сих святочных днях. Это – съезд по народному образованию наших сельских учителей, и ближайшим образом та резолюция съезда об «украинском языке» в народных училищах. Я, как Малоросс (с большой буквы в письме), имею право высказать и свое мнение относительно национализации школы в пределах Малороссии. Не признаю я прав за «украинским» языком в школе, а только за *общерусским* языком должно считаться право преподавания наук в низшей и средней школах в Малороссии. Вся ламентация украинцев о дурном влиянии великорусского языка на малорусских детей есть пустая, заведомо предательская речь. Все выходки украинцев на съезде по поводу общерусского, т. е. великорусского, языка имеют под собою почву исключительно *политическую* (подчеркнуто в письме). И надо было бы украинцам зажать прямо рот, сказав им, что они клеветают на русский язык. Я удивляюсь, как на съезде никто не сумел сразить их замечанием такого рода. Малороссы вообще люди набожные, и все те, кто несколько причастны к грамоте, чрезвычайно любят читать церковные книги, которые, как известно, печатаются у нас на *церковно-славянском языке*. Не читают же они эти книги без разумения, т. е. так, как гоголевский Петрушка читал, – следя лишь за одними буквами. А ведь церковно-славянский язык весьма близок к общерусскому и чисто малорусскому языкам. Читайте-ка: «Отче наш, Иже еси на небесех! да святится Имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя» и т. д. Или же: «От сна встав, благодарю Тя, Пресвятая Троице, яко многия ради Твоея благодати и долготерпения не прогневался на мя лениваго и грешнаго, ниже погубил мя еси со беззакониями моими» и проч. Спрашиваю я вас, какое же из приведенных слов может быть непонятным для малоросса? Все слова для них ясны по смыслу, и в целом каждая молитва.

Итак, украинцы клеветают на общерусский язык; малороссы отлично его понимают, когда говорят с ними о предмете, не выходящем за пределы их понимания. Вот истину должен я сказать все, что хохломаны *выдумали* (курс. в письме) сейчас такой, якобы, малорусский язык, что я, природный малоросс, не могу и 10 строчек прочесть малороссийской газеты «Рада», чтобы «ихний» новый язык не послать к дьяволу. Ничего не могу разоб-

рать, о чем газета толкует. Словом, «украинский» нынешний язык для истинных малороссов непонятен: это не язык Тараса Григорьевича Шевченко, Котляревского и Квитко-Основьяненко, который ясен, понятен и простому мужику, и интеллигенту, а такой, *какого еще никогда не было на свете*. Это язык нарочито придуман, дабы разъединить русских людей, т. е. расколоть их на две половины, и чтобы, таким образом, каждая из них враждовала одна с другой. Для инородцев наших и заграничных, как-то: немцев, поляков, жидов, — ничего нет милее этой «выдумки нового украинского языка». Правительству следует стать на страже и не допускать в школе народной, в пределах Малороссии, пропагандировать этот «уродский» язык. Если же нужно дать детям начало познания грамоты на народном языке, то пусть учителя учат детей грамоте на действительно малорусском наречии и объясняются с детьми языком Шевченко и других *прежних* малорусских авторов. Нынешние же учителя в малорусских школах — это жидовские и австрийско-польские попрыгаи. Я таких учителей презираю и не позволил бы им тереться возле малорусского народа. Дорогой В. В., вступитесь вы за право русского языка в школах на моей родине. Укажите правительству, что хохлы любят церковную грамоту, а раз они понимают ее, то тем более понимают нашу общерусскую речь и грамоту. Новый же украинский язык вон гнать в шею из школы».

Не меняю ни слова в письме. «Мову» он, природный малоросс, и, повторяю, с большим чувством своего детского гнезда, считает выдумкой, и выдумкой на политической, скверной почве. Это все усилия получить себе независимость, республику, «гетманщину» и, так как все настоящие гетманы умерли, то получить в «гетманы» из Петербурга Винавера. Перспектива наиболее правдоподобная, потому что еврей, да еще адвокат, может быть, конечно, и Пушкиным, и гетманом. Евреи уже «окрылены» ко всему подобному... Ну-с, и затем начнется беспримерно пакостное существование, от которого стошнит не одних хохлов. Благородные малороссы, как мы уверены, и благороднейшие латыши, поляки, остзейские немцы, румыны на юге, татары, чухонцы, грузины, армяне равно видят поэзию своего края и личную свою биографическую поэзию в том, чтобы дать России из себя еще Шевченка или Гоголя, дать Багратиона (армянский род) или Лазарева и вообще приложить руки и сердце к созиданию все России и России, *одной* России и *навсегда* России, как огромной неизмеримой этнографической системы, экономической системы, как громадной политической и военной мощи. «Прикладывай руки к тому, *где башня уже строится*», а не начиная *каждый* новую свою башню; выходи и живи в городе, который уже *тысячу лет* стоит, и не начинай *одной своею* избой строить новый город. Вообще, прикладывайся, став между собою и между *другим* «+», а не «-», связываясь, цепляясь: вот социология, культура и цивилизация. Это все евреи внушили нам (незаметно) пакостные чувства; будучи сами «вразброд» и без дара строения царства, они подтачивают наше царство и советуют свое бездарное «вразброд» и нам. Но ведь у них каждого защитит всемирный кагал,

а что и кто защитит хохла с «гетманом Винавером» и латыша с правдоподобным «президентом Марголиным» – трудно сказать. Совет нам разделиться и рассеяться, конечно, очень выгоден евреям, которые *природно* все невидимо соединены. И войдут в «баре» тем легче, чем скорее все инородцы войдут в самостоятельную свободу. Вот уж, поистине как о *женщине*, так и об еврее: «cherchez la femme», «cherchez le Juif»*.

«ТРУДНОСТИ» ДЛЯ ИНОРОДЦЕВ

Очень много получил я писем от инородцев по поводу последних двух моих статей о вопросах, связанных с их судьбою и будущим. Писали латыши, малороссы и поляки. Я рад, что все письма написаны без вражды к русской народности и даже признают неодолимость слияния. Оттенок, который, однако, я хотел бы сохранить за своими статьями, – это указание на *радость* слияния. Я хотел бы, чтоб инородцы шли к нам гордо и как господа, отнюдь не как рабы и принужденные, – однако с мыслью стать *русскими* и только *русскими*. Внутренняя мысль, отнюдь не «пожирательная» (которую я ненавижу), – заключается, однако, в полном и *горячем* слиянии, с «давай *сколько можно больше* русского», – и веру ее, и язык ее, и нравы; и (да! да!) даже слабости и недостатки, с «анекдотами» и проч. Хочется слияния народного, а не чиновного. И русский народ, в неуловимости и беспредельности своей души, в ее беззаветности, в ее грусти, – может принять все это море чужих вод, может дать отзвуки и вариации на все инородческие тоны и звуки.

Но во многих письмах и звучит *это* желание: «Из нас, инородцев, многие любят Россию более, чем сами русские»; «Я латыш, 20 лет живу в России, – и *никогда не вернусь к своим*». И т. д.

Но во всех почти письмах есть жалоба на «грубость мер», на *жесткость* всего дела. И вот, собственно, об этом хочется сказать два слова. «Все пошло бы быстрее, если бы было все *мягче*».

Так. Конечно. А *где взять таких искусных людей?* Мягкость – великое искусство, мудрость. Оно страшно трудно, а ведь «дело идет» рядовыми людьми, чиновниками, солдатами. Тут инородцы должны принять во внимание следующее:

Государство именно от громады своей и чрезмерной мощи (качество не отрицательное) имеет неодолимо это качество *жесткости и грубости* своих приемов, проистекающих не из моральных причин, а из физической массивности. Погружали раз краном на пароход бочку с цементом: и, как говорили матросы, она одного из них *коснулась*. С виду поглядеть – *нежно* коснулась, потому что даже и не качалась в воздухе, не «размахивалась», а едва заметно, как медленнейший маятник, передвигалась по коротенькой дуге. *Матрос был убит*. А «размаха» не было. Напротив, серебряной ло-

* «Ищите женщину», «ищите еврея» (фр.).

жечкой как ни ударь по лбу шаловливое дитя за столом, — оно только почешется. Вот. Таким образом, навсегда должны выкинуть из мысли инородцы, что кто-то их не уважает, кто-то пренебрегает их лицом, душою, психикой, народностью, кто-то и хотя бы сколько-нибудь хочет их *притеснить*. Ничего подобного. Но дело выходит жестко, потому что его делает государство; и государство делает все жестко и «повелительно» в отношении самих русских. Например, ни в одной *своей губернии* оно не позволит хотя бы чуть-чуть пошевелить и приспособить программы школ к данной именно губернии «ввиду ее особенностей». Ничего подобного «не разрешается», и притом «сколько бы губерния ни ругалась». Таким образом, инородцы не терпят ни *капли* более «жесткого», чем самые русские из русских. Это — существо дела.

И это хорошо. Государство всегда есть «повелитель»: и счастье граждан заключается в том, что они знают и сознают, *частицу какой мощи* сами составляют. «Трудно и прекрасно». Так и должно быть. Царства суть царства, а кто хочет мармеладу, — может кушать его у Абрикосова за 50 коп.

Смысл моих статей и заключался в приглашении к трудному, прекрасному и героическому. «Терпи, потому что ты человек», «я терплю, потому что я не животное, которое всегда брыкается, а понимаю — *для чего* терплю». «Бесконечная Россия вдали», бесконечная духовными дарами еще более, чем протяжением, есть достаточно великая цель, чтобы и нам, русским, со многим примириться и чтобы инородцам от многого отказаться.

К РЕЛИГИОЗНО-ФИЛОСОФСКОМУ СОБРАНИЮ 19 ЯНВАРЯ

Я был уверен, что в заседании «Религиозно-философского общества» 19 января вопрос об «исключении Розанова» пройдет гладко, т. е. я буду «гладко исключен» при пассивном несопротивлении членов общества совету общества... Вот подите же: под старость лет любишь даже отрицательные качества родного края. «Исключить?» — «Да, конечно». А почему «конечно», — никто не знает и никто не спрашивает. И вот странно: любишь эту русскую пассивность и «на все согласие». Так я вижу свою тихую и милую страну, раскинувшуюся по всем далям. Шумят «чужие» в ней. Командуют. Повелевают. А русский мужичок сидит и говорит: «Ладно». Но ошибся бы, кто подумал, что в этом «ладно» нет *своей* мысли и тихого упора *своего* желания. Все есть, друзья мои. Но не шумит и не кричит о себе русская душа.

«Наши реки тихие, и души русские спокойные».

Я безгранично благодарен свящ. Н. Р. Антонову (автор большой книги: «Русские светские богословы»), Вяч. Ив. Иванову и С. А. Алексееву (писатель «Аскольдов»), заговоривших в смысле «неладно»; благодарен товарищеским чувством к старым товарищам бывлых собраний 1903–4 годов. Были и еще сочувствия. Звонили по телефону. Всем спасибо. Признаться, и мне

внутренно казалось все дело «неприличным» (Вяч. И. Иванов), и я потому отказался «тихо выйти», чтобы «определенная общественная группа» (не могу без комизма произносить такую формулу) сделала явно ложный шаг. «Они такие праведники, что им не мешает иногда и ошибиться». Собственно, запротестовавшие члены общества предупреждают это неприличие и тем оказывают положительную услугу Совету, охраняют его. Помилуйте:

В 1903–4 гг. я был очень враждебен церкви и, так сказать, самым фундаментам ее. Ну, «и так далее»...

Меня очень любили. Хвалили.

Общество именуется *Религиозно-философским*.

Теперь я стал («Уединенное», «Опавшие листья») несравненно религиознее. Все виднейшие члены совета общества: Мережковский, Карташов (читает лекции по истории церкви на Бестужевских курсах), Философов, – так сказать, не снимают с себя зеркала «христиан». Они даже создали специальную «Христианскую секцию» *при* «Религиозно-философском обществе».

Хорошо. В чем же дело? Вдруг «Розанов *христианин*» почему-то сделался нестерпимо *неприятен* «совету общества». Внутри и про себя я теперь подозреваю, что названные лица уже в 1903–4 годах не были чисто-сердечны, не были *открыты даже ближайшим друзьям своим*; что слова и призывы к «Третьему Завету» имели в виду ослабить и подорвать «Второй Завет» (христианство); что опирание себя на Апокалипсис имело в виду ослабить трех евангелистов и вообще Евангелие. Не *прямо* это сделать, а – отвлечь внимание, интерес, веру, горячность. «*Забудем* это... а там – *посмотрим*»...

Признаюсь, в этой сложной игре я не был участником. Просто, уже в 1903 – 4 годах я не понимал, «где я сижу». При *так поставленном* вопросе я бы испугался. Но тогда до чего понятна тогдашняя непрерывная ласка, меня окружавшая. Они хотели, чтобы я делал *их дело*, а они сами, слегка оспаривая меня, оставались бы «вполне православными».

Не выдаю этого за достоверность. Это только моя догадка. Ею только я могу объяснить все, что потом произошло в обществе и после чего половина участников (и я в их числе) почти перестали посещать собрания.

Пошла «общественность» и «так далее». Хорошо. Но ведь общество-то продолжает именоваться *религиозным и философским*? Я выступил в деле Бейлиса. Суд, юриспруденция; был «ритуал» или «нет»? Все это, т. е. мое выступление здесь, есть решительно *мое частное дело, мое личное дело*; дело сил *моего ума и исторических догадок*. Общества *религиозно-философского* это вовсе не касается, насколько оно *носит свое имя* и насколько оно вообще не пользуется чужим паспортом («чужой вид», маска, обман). Не только совет общества, но и *никто в мире* не может даже быть недовольным моим выступлением в киевском процессе, ибо у всех есть перья, ум, знания, – и *спорь, опровергай* меня, но на что же негодовать?!

«Розанов высказал общественную непорядочность». Я сказал мысленно «ладно». И приготовился к исключению. «Исключение Розанова» я по-

нял как «очередную приветственную телеграмму» тому, в честь коего (сегодня мне сказали по телефону) выбита медаль с его портретом и еврейскою подписью (Бейлису). Я мог только подумать:

– Сидите тихо, русские. Бог с ними. Пусть шумят, увозят за границу, покупают в Америке имение и даже выбивают в честь героя бронзовую медаль (серебряную? золотую?), с которым мало ли, много ли, прямо или косвенно, связаны *три детских смерти*: Андрюши, Жени и Вали. Пройдет мутная волна. Опять море будет ясно. И на ясной глади исторических вод всякий рассмотрит белое и черное.

Посему «исключение Розанова» я совершенно простил (внутренно) Совету («очередная телеграмма Бейлису»), как молодое ребячество. О ребячестве говорили и торжественно-сухие, с «милостивым государем», письма Карташова (были приятелями), где так и зрилось: «пишу бумагу за номером» и «отвечай официально». Все это – детство, конечно не с моей одной точки зрения.

Но и не в этом одном деле. Просто, мы разошлись *возрастами*.

В молодости хочется погулять. Посмотреть чужие страны, веры.

Для берегов *отчизны* дальней

Ты покидала край *родной*...

Все мы ищем «вдали» свою отчизну, строим или относим мысленно «свое гнездо» как можно дальше: и, может быть, это только инстинкт любви и тайные пути «влюбленности», которая всегда ведь приходит «издали», «с края света», часто – «не из своего сословия» и не из «своей веры». Ну, любовь или любопытство ума, а только в молодости мы улетаем и разлетаемся, не оглядываясь на родину. И родина терпеливо нам отпускает это и все молчит. Все молчит отечество. А уж мы-то его поругиваем. Ругал ее Грибоедов, и после двенадцатого года написал: «Это все – *Скалозубы*». Гоголь поправил: «Это – хохочущий и глупый генерал Бетрищев: он пишет «Историю о генералах 1812 года». Родина все молчит. – «Помещики?» – Да кто же они, кроме Хлобуевых, Тентетниковых и проч.? – Разве из *инопорочцев*, – Костанджогло, Штольц». Так и не пахал никто Русь, никто не умел торговать, строить заводов, и Бог весть кто управлял Россией. Послушать писателей, все сто лет один Мережковский был, и как ни пытался обновить Россию – ничего не вышло. «Пустынная и глупая страна». Щедрин подтверждал: «Да. Это головотяпы. Страна головотяпов».

Молчание. Терпит родина.

Упоена литература своими подвигами и отрицаниями.

Нужно было «Розанову прийти в 58 лет» и сказать тихо:

– Господи, до чего все это *глупо*!

– Да не «головотяпы», а – русские, продиктовавшие Далю все им записанные «Говоры русского языка». И не «Костанджогло», а *Мальцев* основал колоссальную промышленность, – целый городок заводов, в Жиздринском уезде; соединивший эти заводы *рельсами*, заменивший государственные

кредитки «квитанциями своей конторы» в целом уезде; кормивший этот уезд, осмысливший этот уезд. И он был *кто?* Генерал николаевской школы, той школы, где по рапорту Шелгунова, Шашкова и Лемке были только «николаевские жандармы», «дранье шпицрутенами», прогонянье «сквозь строй».

– А!.. Севастопольская кампания!! – кричат писатели.

– А, Цусима!! – кричит (кричал несколько раз в Рел. фил. собр.) Мережковский.

– Господа хвастуны. Да из-под Цусимы Мережковский тоже *бежал бы*.

А Философов Севастополя тоже *бы не отстоял*.

«Побежишь, когда все бегут». Испугаешься, когда *все умирают*.

Так это – страшно, а не смешно.

И представилось мне отношение родины и литературы позорным, – но не для России, а – для *литературы*.

Она *малодушествовала*.

Она *была мелочна*.

Она не *подпирала плечом*.

В объеме своем, в содержании своем, в «Тысяче русских писателей» (параллель былым «Ста русским литераторам») она состоит из крючков, придирок.

К выпускам, петличкам, орденочкам.

К мелочам и мелочам, пошlostям и пошlostям, забыв один великий предмет, одну великую тему:

«Россия как-то *стоит*».

«Россия *чем-то* строится».

«Россия – *есть*».

– *Есть!* – И литература решительно прячется со своими, в сущности, «анекдотами», дальше смысла которого она не пошла и выше уровня которого она не поднялась (кроме «Войны и мира» и вообще разных вещей писателей-не-отрицателей).

«Полицейский»-то был не в полиции, а в Щедрина: это он «придирался к публике на улице» и кричал «осади» (перед ним). А смиренный полицейский мерз себе на углу двух улиц и носил в обшлагах шинели «бумаги» из суда к подсудимому. Проклянут меня, но я все-таки скажу: «Да *всякий* полицейский имеет более *достойное человеческое* существование и более полную биографию, насыщенную заботой о ближнем, чем препрославленный сатирик, обозленный на то, что у него служба не вышла».

Но оставим судить лиц и обратимся к «вообще».

«Вообще» было *глухо*, и оттого, что *вообще у всех* было на душе самоупоенно-счастливо. А тетерев, счастливствуя «на току», ничего не видит; и суть литературы в том, что она *просмотрела Россию*.

Да где же она отразила Мальцева? А ведь *таких* было очень много, – десятки, сотни. Может, с тысячу наберется по всем губерниям. Да я, прочитав страничек десять о Чижове в «Истор. Вестнике», был поражен *красо-*

той, умом, разнообразными талантами этого промышленного деятеля (Кострома, железнодорожник, славянофил, мужественный в прямоте гражданин). А ведь я этого мира совсем не знаю, только случайно «клюнул».

Религиозно-философские собрания «критиковали христианство». И были резкие, грубые выходы против духовенства Мережковского, раз приведшие в замешательство И. Л. Янышева. Но он не подумал:

– Где-где в безвестном уголке не умирает человек на Руси: в Сибири, Ташкенте, Вологде, в селишке, в кабацком, так где-нибудь в трущобе или в благочестивой крестьянской избе, – неизменно придет к нему священник, спросит у него о тягости душевной перед смертью и облегчит эту душу.

Какой час!

Всем!!!

Господа, так это чего-нибудь стоит. Стоит ли?

Литература кричит:

– Ничего не стоит перед нашими заслугами!

– Ибо мы осмелили.

– И мы прокляли.

Ну, тут возьмешь крест и калоши и уйдешь вон.

– Оставайтесь, господа, в своем счастье.

Расписался я и тороплюсь кончить. Вот этот «поворот 58-летнего человека» (простое действие *возраста*), который в смысле «критики» видит ничуть не короче их (молодых), но думает, что выше его «критических способностей» стоит страшная масса народа, которой жить *так тяжело*, и в тяжелой, запутанной и часто страшной жизни его «научает» священник, просвещает «святое покаяние» и «святое погребение», и защищает «господин урядник с тесаком» (церковь, государство), – этот-то мой поворот, выраженный Пушкиным в строках:

Но ближе к милому пределу
Мне б все хотелось почивать, –

и выводил давно из себя ребячествующую юность Религиозно-философских собраний. И они почувствовали себя «настоящими литераторами», – поставив торжественно «исключить Розанова». «Тут и Кондурушкин». Вообще «они все». Ну и «ладно». И пора кончить. Остаюсь с попом, дьяконом, мужиком. Уважаю «до земли» ремесленника и рабочего, – если он не развращенный евреями социал-демократ. Вполне уважаю полицейского (пусть проклят). Эмигрантов в Россию не пускать. За литераторами надо присматривать (для их же пользы, а то совсем обгадятся). Ну, вот, –

Таков, Фелица, я развратен.

Сильнее нас всех Русь – вот что нужно сознать. Ну, это не трудно, а вот что тяжело для молодости и личных самолюбий, для эгоизма литературного: что она нас чище и прекраснее. И много в ней смысла. И есть чему в ней послужить. И потому это все, что:

Русь – природа, «от Бога», «с Божьими дарами». И зародилась она с времен, «когда Бог делал планету».

А мы, писатели и общество по клубам, – искусственное. Французские цветы на проволоке, да и то «жид делал». Умрете, господа, поп откажется хоронить, и разнесет вас ветер*.

ВАЛ. АЛЕКС. СЕРОВ НА ПОСМЕРТНОЙ ВЫСТАВКЕ

За разной суетой я едва было не упустил посмотреть посмертную выставку картин безвременно скончавшегося Валентина Александровича Серова – величайшего художника нынешнего царствования. Все – портреты, все – современная история... «Наша жизнь», волнующаяся, переменная, которая под кистью художника закрепилась и теперь передана для суждения в вечность.

Портрет в живописи?.. Он занимает малое поле среди ее необозримых тем, среди неисчерпаемой темы – «изобразить весь мир», но едва ли это место не есть самое центральное. Ведь есть тайна в каждом лице скольконибудь значительного человека; ведь *это именно лицо*, бесспорно, никогда не повторится еще в мире: и живописец, постигая и изображая его, постигает и изображает некоторую «новую натуру» в Божием творении и к передаче ее приспособляется весь сам. Я думаю, самые приготовления живописца «передать *это* вот лицо» полны мук творчества для самого живописца. Он «как бы сотворяет *сам себя вновь*», готовясь к каждому новому портрету; усиливаясь забыть все, что ранее видел, усиливаясь освободиться от впечатлений и от самой *памяти* всех других лиц, им ранее виденных. Параллельно тому, как он «заготавливает полотно и основу» для портрета, девственно-чистую, он тяжелыми усилиями должен «очистить и приготовить» душу свою для свежего, для оригинального, для точного восприятия «этого уroda, которого буду рисовать», «этой красоты, которую буду рисовать», «это среднее, что буду рисовать»...

Нарисуйте-ка вы «средненькое», о чем хорошо знаете и понимаете, что это «никогда не повторится».

И вот в этом «среднем» и «обыкновенном» портретист улавливает и должен уловить вечное, неповторяющееся... Известно, что сделал со «средними людьми» Гоголь: он повалил к подножию своих «средних людей» всех героев, всех ангелов истории человеческой. И «Агамемнон» поистине смертен перед его бессмертным Павлом Ивановичем...

Нет великого Патрокла,
Жив презрительный Терсит...

* Во вчерашней статье «А. С. Суворин и Д. С. Мережковский» – описка: вместо «недостаточного благодетеля» читай – «человека, у которого чего-то искал и не получил».

Ах, жив он, слишком жив, этот Терсит. Мы все умрем, а Терсит останется. Терсит есть тот, кто закопает человечество в землю и похочет над его могилой.

* * *

Итак, я думаю, что «портретная живопись» есть труднейшая и тайнейшая. В особенности я начал это думать, посмотрев, как один – правда, элементарный и первобытный – художник рисовал, пытался рисовать портрет одной «давно знакомой ему и уважаемой им дамы». Она была худенькая. Уже давно он рисовал, и очень удачно, ландшафты, рощи, луга, «старый дуб» и «милую сосенку»; рисовал великолепно собак, кошек и целые стада гусей. Что же вышло с дамой? Она была худенькая, – и он рисовал «сеledку», а не «ее». «Худенькое» выходит, тощее – есть. Но «ее» – нет! Нет и нет!! Решительно ничего – кроме худощавого. Никакого *личного сходства*...

А так давно «знал»...

И все-таки владел «карандашом», «красками».

Тут-то я и понял, что только *с человека* начинается в живописи истинно трудное...

* * *

И вдруг этот демон Серов, заготовив громадное синее полотно, темно-синее, такое некрасивое и грубое... *не* зарисовал его портретом, т. е. оставил синими только одни поля фона, а взял (для зрителя так кажется) мел и этим хрупким, неверным, осыпающимся материалом повел в одну линию, одну элементарнейшую линию, откинутую назад ножку балерины Павловой, коротенькие юбочки, поднятые грациозно кверху обнаженные руки, – и «вполне сделал» только головку...

Голова, воздух, синева и ничего...

«Ничего не сделано»: а идея танца выражена так совершенно, как нельзя более придумать.

Дана иллюзия, световой обман... «Ведь ничего нет». В балерине «вообще ничего нет». Пуф. Мелькает, несется, не «бытие», а «мечта». «Что она говорит?» – Всякий машет руками и кричит: «Не надо! Говорящая балерина – чепуха». Ум? – «Не надо! не надо!» – Сердце? – «Всем и никому. Нет». – «Господи, что же это такое?» Серов и ответил:

– Ничего. Прозрачность. Грубое синее полотно. И вы его видите грубое перед собою, в пять рублей ценою...

Балерины нет.

Кроме хорошенькой головки. А остальное и главное – то, для чего она живет и чем существует, что страстно любит и в чем ее гений...

Серов в ответ повел осыпающимся мелом и дал существенный и вечный ответ о балете и танцовщицах:

– Их вообще *нет*, они только *кажутся* и влекут за собой *мечту* нашу, как бессильного смертного своими бессмертными движениями.

Полно и прекрасно. Из этого способа «взять балерину» видно, до чего Валентин Александрович был страшно умный человек.

...Его автопортрет (в круглом зале, сейчас как войдешь на выставку). Видно, что Серов как великий портретист был прикован к своему лицу и задумывался об его особой тайне. Она была, – поразительно, в чем выраженная. Я помню его постоянно бывавшим в редакции «Мира Искусства»: и вот войдешь в комнату, и всех сейчас же видишь, ярко, выпукло: черный жук завалился в глубокое кресло и молчит, точно воды в рот набрал: это – А. Н. Бенуа. «Верно, умен человек, когда вечно молчит». Вот вечно нежный Бакст, с розовой улыбкой. Расхаживающий «многозначительный» Философов. Лукавый смеющийся С. П. Дягилев. И все шумят:

– Сережа! Сережа!..

– Дима! Дима!..

– Лёва! Лёва!..

Тесная дружба, «одна семья» была прелестнейшим качеством молодой и шумной редакции.

Вы уже со всеми поздоровались, когда замечаете, что не поздоровались с «кем»-то или с «чем»-то одним, прямо против вас сидящим: это – Серов...

Нет возможности заметить. Поистине, от «фамилии» его «суть» его: до того сер и тускл человек, что невозможно заметить. Ничего нет «обыкновеннее». Борода – не большая и не маленькая, нос – не большой и не маленький.

Господи, да что я описываю: нельзя описать. Невозможно. Как вы опишете, выразите «все обыкновенное»?..

Серов «прикусил язык» перед такою темою. Она его кусала и мучила. «Как?! Стольких я нарисовал, а в *себе* – нечего нарисовать».

Тогда, очевидно долго рассматривая себя в зеркало, он выразил себя через поистине великий автопортрет, с сигарою во рту.

Тут же, около *этого* автопортрета, есть несколько других автопортретов, – и, очевидно, «передать себя» – мучило его. Но те все, сделанные и dokonченные, надо выбросить, а оставить только *этот, с виду и для первого взгляда* как бы недоконченный, который до того схож с «живым Серовым», что страшно смотреть.

Он только *кажется недоконченным*, а на самом деле изумительно окончен. Суть лица и фигуры Серова заключается в *тусклом оттиске* природы: похоже, как гравер, сделав портрет, – *слабо его оттиснул*, некрепко прижал прессом. «Лицо» вышло, с драгоценными чертами, но бледно, неясно, без красок, без черни, без теней.

Белый лист бумаги. В своем роде «ничего». Но, присматриваясь, видишь, что тут «тиснуто».

– Как жалко, что «не вышло».

Из этого «не вышло» вдруг слышен голос:

– Это я, Серов; к несчастью. Я «не вышел».

А ум громадный. И полная вера в себя. Это – «сигара во рту»: «Я владею своим мастерством». И взгляд тоскующий и умный: «Да, не вышел! Не удалось!»

Все это он и выразил через страшно-матовый, тусклый тон портрета. Все усилия вы делаете всмотреться. Вам что-то точно мешает видеть. Вы злитесь на художника: «Зачем не кончил?» Но он *кончил*, слишком кончил через великий свой автопортрет...

Точно вуаль на лице... ужасная вуаль, накинутая самую природою еще при рождении... «Кто ты, Серов? Заговори!»

Серов молчит и будто шепчет: «Пусть говорит этот А. Н. Бенуа, этот вечно тараторящий Дягилев, а я не могу, у меня нет языка. Голоса, речи, сказывания – ничего нет. Да и вообще ничего нет. Я хотел родиться, а не родился. Хотел быть, да «не вышло». Так что-то такое. Черты одни, грунт, масса. Во мне четыре пуда веса – это единственно ясное. К несчастью...

И эту тайну себя, до того трудную, неизъяснимую, – выразить! Великий мастер Серов, единственный...

О других портретах я, может быть, еще скажу.

* * *

Выставка картин Вал. Алекс. Серова занимает два обширных зала, направо и налево от круглой парадной комнаты, что прямо против лестницы.

Из портретов в зале «направо» прекрасный портрет Государя Императора, некоторых великих князей и великих княжен, графа С. Ю. Витте и Максима Горького. Это – «целая история», недавно пережитая. Портрет Государя Императора я видел в эскизе, на столе редакции «Мира Искусства» (квартира С. П. Дягилева): он был только начат, в этой самой военной тужурке, облокотившись руками на стол и смотря прямо «на вас» (зрителя), хочется сказать – «в вас». И в эскизе он меня поразил необыкновенной простотой, естественностью и ясностью. Доконченный портрет (на выставке) – собственность Императрицы Александры Феодоровны. Из всей серии, почти необозримой, какая помнится из галерей наших и зарубежных (мюнхенская Пинакотека) с «императорскими портретами», «королевскими портретами», «принцевыми портретами», – портрет ныне царствующего Государя русского наиболее уводит зрителя в глубину частной жизни, личной души, домашнего быта. Решительно ни одной «коронованной особы», у себя и за границей, мне не приводилось и, вероятно, никому не приводилось видеть «в портрете» до такой степени вышедшим из рангов и обстановки своего величия и значительности – просто «в человека». Тут вся «гагаская конференция» и сложная судьба царствования, до такой степени исполненная тягостей и томительного долгого стояния «с ружьем на часах у своего царства». Взгляд необыкновенно тверд, ясен и «смотрит вам в душу». Это – портрет, если вдуматься, – несравненного великолепия. Витте – не в минуту творчества. Он в ленте и орденах, грузно севший в кресло. Ничто не говорит о таланте и энергии. Мне не кажется этот портрет удачным. В

черной блузе и штанах, подпоясанный ремнем, сидит Максим Горький, взявшись правой рукою за грудь. Он взят в момент повертывания. Лицо доброе и деликатное, без малейшего оттенка грубости, – а поворот фигуры, вызывающий боевой взгляд, и это «взялся за грудь» (болезнь, угроза чахотки) заставляют вас прошептать: «Не справишься, – молодой орленок! Ведь ты уже с рождения был ранен. И полетишь невысоко и недалеко, скликай всех криком не столько могучим, сколько надорванным. И подымется за тобой надломленная Русь, – и тоже упадет».

«Горький» – вождь «горьких» учеников... Ну, что за мысль – позвать «Сатина», актера, барона и проститутку на «губернаторское место». Какие же это «губернаторы». Им бы только доползти до «сороковки»...

Нет плана, мысли и понимания. Одна поэзия и порывы. Тут и «без чахотки» надорвешься. Чахотка лежит в самой мысли.

Многие портреты коммерсантов, капиталистов говорят монотонно об одном: как все они неинтересны. На месте «капиталиста» никогда не снимал бы с себя портрета. И куда девался в современном «капитальном мире» старый «господин купец», с складистой бородой, с медалью на шее, храмостроитель и оберегатель «древнего благочестия». В кармане у них прибыло, а в физиономии у них ubyло. Из «капитальных» мне понравилась только мадам фон-Дервиз: в гусклом платье, тускленькая сама, без «вида и образа», она, по-видимому, кормит ребенка: по крайней мере ребенок не сидит, а лежит на руках (горизонтально) и личиком обращен «к маме». Явно – кормит, но это выражено только в позе, в фигурах, в положении их. Личико у матери совершенно юное, почти девичье еще; здоровье – хрупкое, и ребенок явно ее крепит, оздоравливает. Будь я женщиной, матерью и богачом, непременно заставил бы себя нарисовать «в открытую» кормящим грудью ребенка: что за ужимки, манерничанье и ложный стыд. «Рисуй, где я многозначительна и где я – природа, а не эти тряпки и «комнату вокруг». Что значит комната перед ребенком и туалет возле материнства?

Перестаньте, женщины, стыдиться того, что составляет вашу честь и славу. Во всяком случае прелестной фон-Дервиз – благодарность за сюжет и тему.

В левой зале привлек мое внимание миф: «Зевс и Европа» («Зевс и Ио» Геродота): он несет на спине юную Ио, переплывая в Малую Азию через пролив моря. Видна только спина его, морда и высокие рога. Ио поджала ноги, чтобы не замочить в воде. Чудно представлено море: перед зрителем оно стоит горой, – вода от нижней каймы рамы занимает все полотно до верхней каймы рамы. Это дает впечатление массы воды, с трудом одолеваемой богом. Лицо ее какое-то оступенелое, древнее, неразвитое, без тени в себе души, мечты и воображения. «Я захотела»: и дальше этого коротенького – ничего нет. «Я захотела бога, потому что он могущественнее людей». «Я не замочу своих ног», «я перееду в Азию». Фактическая женщина. В ней все – факт, и рассуждение никуда не пускается. «Ну, что же, матушка, когда тебе хочется», – молились древние люди, тоже не рассуждавшие.

Этого мифа дано несколько вариантов у Серова. На выставке они не «выигрышны». Но раньше выставки я видел *один из вариантов* в квартире В. В. Матэ, нашего знаменитого гравера, и не мог оторваться. Мне кажется, все живописные изображения этого мифа (бесчисленные) суть «картинки», суть игривое упражнение христиан-живописцев. У Серова же, в этой оступенелой, статуеобразной Ио, я увидел что-то «настоящее». И мне кажется, в будущем нельзя представлять этого иначе, как сделал Серов. Он дал *канон* сюжету «Похищение Европы».

ЕЖЕГОДНЫЕ 25 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ НА НАРОДНУЮ МУЗЫКУ

В пятницу 7 февраля будет произведено голосование по предмету, пустяковому в денежном отношении и чрезвычайно ценному по внутреннему содержанию. Будет удовлетворено или будет отвергнуто ходатайство известного В. В. Андреева об отпуске ему ежегодного воспособления из средств государственного казначейства в размере 25 тысяч рублей на уплату жалованья состоящим в его «великорусском оркестре» музыкантам, помощникам его и при исполнении пьес, и в деле движения вперед по всей России народной музыки, древней, легко исполнимой по ее элементарности и вместе доведенной до высокой виртуозности его личными 25-летними усилиями, в которые вложены были исключительный талант и призвание.

Дай Бог, чтобы при обсуждении и голосовании этого ходатайства, не испрашивающего больше денег, чем сколько требует захудалая уездная прогимназия «с древними языками», где полтора-два ученика тоскливо исполняют министерскую программу предметов «себе не на утешение» и «родителям и отечеству не на пользу», – дай Бог, чтобы оно разрешилось просто и ясно, в двух словах, и не вызвало ленивых и сонных дебатов на тему: «Позвольте, у нас школ нет», «позвольте, у нас больниц мало» и т. п., и т. п., причем после таких гражданских жалоб мы и школ новых не оснуем, и народную музыку с десятками тысяч учеников-музыкантов по всей России похороним. Дай Бог, чтобы Г. Дума при этом голосовании не обратилась в «бюро похоронных процессий», с факельщиками в белых и чистых кафтанах и во французских шляпах. Нужно сказать просто – «да» на простое и ясное дело. Нужно вполне удивляться и нужно полно использовать случай, что нашелся человек, всецело отдавшийся разработке и поднятию из забвения древних, былинных инструментов – домры, балалайки и гуслей, – из-под затопившей их пьяной и разгульной гармонии, фабричной и трактирной гармонии. Организация при народных школах, при мелких и средних ремесленных заведениях, во всякого рода мелких сообществах, наконец, при полках великорусских оркестров по образцу и по типу оркестра В. В. Андреева, причем он сам страстно спешит всюду указывать, научать и давать советы, выразилась уже огромным движением, о котором

свидетельствует возникновение новой промышленности у нас, выделки балалаек, ежегодно продаваемых на полтора миллиона рублей. Это уже *создано*, и этому нужно придать обширнейший и ускоренный полет. Само собою, *сам* В. В. Андреев и его оркестр не нуждаются в *личном пособии*; успех его концертов покрывает с избытком содержание личного оркестра. Но Андреев заботится не о своем удовольствии, а о том, чтобы, умирая, видеть, что дело его *укрепилось и цветет* в России и смерть «военачальника» не погубит армию молодых балалаечников. Ибо это действительно есть армия, раскинувшаяся по России и перекинувшаяся за границу, в Германию, Англию и Соединенные Штаты. Вот на организацию-то, на заведение вновь и вновь, далее и далее этих крошечных «великорусских оркестров» и нужны ничтожные 25 тысяч. Не чтобы «самому играть в Петербурге», а чтобы «повсюду в России играли» гимназисты, ученики школ, мастеровые, приказчики, по казармам – солдаты. Играли, сыгрывались, разучивали пьески и около всего этого благородно ютились, благородно общились.

И пусть не говорят еще в Г. Думе старого приказного слова: «Зачем не *канцелярия?*» «Мы дали бы субсидию *учреждению*, но не можем дать ее *лицу*». Лицу, которое двадцатью пятью годами деятельности уже оправдало себя, свой труд на благо народное и свой талант, именно и можно дать без опасения, что оно эти деньги «прогуляет» или «убежит с ними», а дать их «канцелярии», «комитету» и «учреждению», очень вероятно, – значит дать эти деньги на перья и на бумагу «со служебной перепиской», где будут великолепным почерком писать, но не будет никто играть на инструментах, – или будут играть «в канцелярии» и «для отчета». Конечно, Андрееву при его организаторских талантах и всесветных связях ничего не стоило бы создать подобное «учреждение», но он не хочет хоронить свое же детище в пыльном гробе канцелярских форм, канцелярской переписки и коллективных обязательных совещаний с «членами совета», ничего в деле не понимающими и к делу равнодушными, но уже с правом «вмешиваться» и «мешать». «Учреждение» ограничивает в произволе бездарное лицо, но «учреждение» мешает и связывает, наконец, – прямо умерщвляет талантливое и живое лицо, привязывая к ноге его мешок с фразами, формами и служебными обязанностями. Неужели Г. Дума скажет: «Мы не верим русскому человеку, а верим только одному чиновнику», ибо обусловливание дела «учреждением» сводится к требованию «надеть мундир и поступать по форме».

Мы боремся, и, кажется, успешно на этот год, с пьянством; поднята борьба с хулиганством; всеобщие и всех усилия подняты на борьбу с порочностью и преступностью в населении городов и сел. Но ведь *чем-то* надо наполнить досуг. Недостаточно «валить пирог», надо подумать о его начинке.

Книга – это *одно*.

Школа – еще *одно*.

Чтение, библиотеки – *да и да!*

Организация певческих хоров, певческих обществ, – все это *превосходно!*
Хоров при церквях – *лучше некуда*.

И под вечерок, в тихий летний вечер, где-нибудь на сельской лужайке – «Вниз по матушке по Волге», «Эй, ухнем» или что-нибудь еще из бесконечных народных напевов в струнном исполнении, когда уже не будет В. В. Андреева в живых – «в память В. В. Андреева».

Будьте, господа, здравомысленны, ясны и рассудительны. Золотое яблочко подкатилось вам под ноги: не оттолкните его.

СТАРЫЙ ПОНОВЛЕННЫЙ СПОР

Мыслей на свете гораздо меньше, чем сколько печатается слов на машинах. Случайно или нет (ни обвинять, ни подозревать не могу) оказалось, что Розанов «исключен был из Религиозно-философского общества» на основании тезисов и мыслей «Розанова» же, развитых им в полемике с Влад. Серг. Соловьевым и потом повторно сказанных в устных спорах касательно «свободы» и «веры», напечатанных в 1914 году в «Литературных изгнанниках», стр. 496–497. Эта-то «мысль Розанова», в третий раз попавшая в заключительную речь г. Карташова, с большим подъемом сказанную, причем он даже стучал кулаком по столу, – и вырвала «согласие большинства членов на мое исключение». Наконец, уже в четвертый раз, Д. В. Философов ее печатает в «Русск. Слове», № 27, как изложение речи Карташова. Судите сами:

В. Розанов в 1895 году; перепечатано в 1914 г. в «Литературных изгнанниках», стр. 496–497:

...«В статье – *Что против принципа творческой свободы нашлись возразить защитники свободы хаотической* – я развил образ исторической жизни, понимаемой как состязание кафедр, где люди произносят друг перед другом речи, нагромождая горы слов. «Но кто же начнет действия? (курсив в книге), – спросил я сам; и ответил: – *Тот, кто, имея более веры, чем все говорящие, первый над ними произведет насилие, создаст факт; и в ответ вызовет насилие же, новый факт*». Страхов говорил мне в ответ: «Вы славянофил или поднялись с почвы славянофильской и потому приносите неизмеримый вред школе, ибо ваши мнения могут быть поставлены насчет школы. Между тем славянофильство всегда было терпимо, никогда оно силы не проповедывало». Но Страхов не замечал, что это была школа существенным образом *словесная* (курсив книги), – школа замечательных теорий, из которых никак не *умел* (курс. книги) родиться факт. Жизнь именно есть вереница фактов и ео ipso* – понуждений; понуждали апостолы, понуждали святые; понуждал Спаситель «выйти торгующих из храма»; понуждали соборы мир, и на самых соборах отцы церкви понуждали отступать иересиархов. Слово есть бич духовный так же, как и питаю-

* вследствие этого, в силу этого (лат.).

щая манна; бич телесный поднимается, когда безумие или порок не внимает никакому слову. Зачем *это* или *то* возводить в правило вечное? Не дан ли человеку разум и совесть, чтобы различать, когда что нужно? Нужен и меч в истории, нужно и слово, прекрасное слово, но необходим бывает и меч. Не будем бояться меча: будем бояться в себе лицемерия, при спрятанной мечте; будем бояться глухоты сердца при гремящих «словесах любви». Будем праведны, будем грубы, будем просты...

А. Карташов и Д. Философов в 1914 г.:

«В основе спора, завязавшегося по поводу исключения из Рел.-фил. общества В. В. Розанова, – лежит трагическое противоречие между насилием и свободой.

Свободу отстаивал В. Иванов. Писатель для него – как бы особое, отличное от всех других людей, существо, одаренное свыше. Возможное его ничтожество в мире искупается духовными дарами. Всякое посягательство на свободу писателя, желание сделать его ответственным за *все* произнесенные им слова – значит посягать на духовные его дары, посягать на свободу творчества. Писателям раз навсегда должна быть дана амнистия. Пусть они заблуждаются, оступаются. Вся эта шелуха отпадет, – останется бессмертное, вечное ядро»...

Доселе – Страхов, в его спорах со мною, изложенных в той же моей статье. Т. е. и Страхов, и Вяч. Иванов выразили общераспространенные мысли касательно свободы слова и философствования, литературы и человеческого любомудрия. Так как это у всех в устах, то о заимствовании *мысли* не может быть и речи: ибо авторам остаются лишь «украшения» этой ходячей истины. Нужно заметить, что в пределах *философии* и *литературы* она и остается вполне истинною, и навеки истинною. Обязательна она и для «Религиозно-философского общества», с его задачами *критики*. Но эта точка зрения теряет истину для *церкви* и *государства*, от имени которых я говорил Соловьеву; ибо церковь и государство есть некоторая *овеществленная* истина; есть состав людей, *решившихся верить* в то, во что они веруют. В возражении моем Страхову и заключалась индивидуальная особенность. «Кто же начнет действие?» – спросил я Страхова. В этом – центр. Это – новая мысль в сфере всемирной темы о свободе. И я не могу не видеть, что и Карташов и Философов повторили мою мысль *в ее индивидуальной оболочке*. Читайте:

«Дух этот очень тлетворный, потому что не всякий его замечает. Человека можно удушить сернистым водородом, но можно удушить и розами. Так, Нерон умертвил своих гостей лепестками роз, которые падали сверху на пирующих. Мысли Вячеслава Иванова напоминают эти розы. Что может быть прекраснее речей о культурной свободе, об амнистии для писателей, о многоцветном вертограде, где писатель изображает собою великолепный сосуд, в котором благоухают розы таланта и гения?»

Далее, Карташов и Философов очертили пустую городскую толпу, бегающую по диспутам и публичным чтениям с прениями.

«Толпа именно таких речей и желает; чем пестрее, путанее, тем ей слаще. Ораторы и лекторы ее ни к чему не обязывают. И, в конце концов, все вопросы культуры, философии, искусства и литературы сводятся к тому, что один любит арбуз, а другой – свиной хрящик. Причем эти арбузы и хрящики воплощаются в лице отдельных ораторов. Не важно, кто из ораторов прав. Важно, кто из них кому нравится».

Это – моя мысль о всемирной истории, и каждом ее миге, т. е. миге текущей общественности – как «о *состязании кафедр*». Не правда ли, это – *то же*?

«Вот такую любовь к культурной свободе, – продолжают Карташов и Философов, – я и называю реакцией. Потому что всякий застой непременно связан с нежеланием *сделать выбор*. А только выбор, т. е. самоограничение, *ведет к движению, к действию*. На месте Пურიшкевичей я бы поощрял подобных ораторов и подобные диспуты. Пусть себе культурно преют, – и пусть не приходят ни к каким выводам, – по крайней мере назначат новый диспут. И так от диспута до диспута течет культурная, даже сверх-культурная жизнь высших слоев интеллигенции. Все сыплется лепестки роз. Они уже дошли до пояса. Уже становится трудно дышать...

И вдруг послышался окрик.

Многоцветный вертоград («многоцветный» – по разнообразию мнений, взглядов, теорий: параллель моему «множеству кафедр») был разметан, – и не варваром, для которого брюква выше лепестков роз, а вдохновенным оратором, который яростно восстал против культурного равнодушия, против дряблого «многобожия», ослабляющего волю; оратора, понимающего высшие ценности и выступившего против душевного и морального паралича, убивающего *всякое действие, всякий выбор*».

Но ведь это – моя мысль! Только она ни малейше не относится к философскому обществу, *естественно-состязательному*, но составляет действительное право государства и церкви сказать в некоторых случаях: *молчи!* Взяв (случайно? но мысль – слишком *индивидуальна!*) мою мысль, оба публициста совершенно не поняли, куда она относится, *где ее можно поместить*. Конечно, всякие «споры» должны иметь *вывод*, но не прежде, чем они *кончились*. Кончились Вселенские соборы, сложилась церковь, «окончательный» вывод принят; и она может каждому сказать: «Замолчи», «споров более *нет*». Но не дико ли переносить это в зал Географического общества, где кой-когда собирается «Религиозно-философское общество» с «лепестками роз», т. е. с речами ораторов на философские и религиозные темы! Неужели там собирается «церковь» и «иерархия»?!!!

Актю начинается с *credo* – вот моя мысль. Мысль, собственно, о том, с чего начинаются государства, царства, правительства, церкви. С чего, в сущности, начинается *деловая, фактическая история*.

Слушайте же, слушайте Философова, который восторгается Карташовым:

«Много ораторов слышал я на своем веку. И не только дома, но во всех Европах. Но речь А. В. Карташова меня поразила. И не меня одного. Именно та публика, которая обожает всяческие диспуты, теоретические споры о том, что будет, когда ничего не будет, которая признает «Величие Красоты», «Высшие задачи Культуры», – вдруг ясно почувствовала, что *есть простые общечеловеческие истины, которые обязательны для всех, что задохнуться от насилия менее опасно, нежели от сыплющихся роз*».

«А. В. Карташов показал, что защитники «слова», запихивая его в свой многоцветный вертоград, обесценивают его, *отрывают его от жизни*, превращают в игру ума... Одурманенные розами слушатели встряхнулись. По залу пронесся вздох облегчения. Точно разбили окна и в комнату ворвался морозный воздух».

«Лепестки завяли, но зато исчез тлетворный дух эстетической, культурной реакции. Все поняли, что настоящая живая роза – с шипами. И что шипы эти ранят».

«Жизнь вся в противоречиях. Противоречиво и понятие свободы. Не обязывая к самоограничению, она превращается в насилие, а писательское слово, если оно безответственно, превращается в звук пустой».

«Очень культурно говорить об амнистии для писателя, в смысле снятия с него всякой общественной (и государственной? религиозной? церковной?! Почему одной «общественной»?!! – В. Р.). Но не звучат ли эти слова фальшиво, когда существует суровая ответственность писателя перед государством и когда государство амнистии не желает?»

«Государство» – у Философова с боку припека. Он, очевидно, чувствовал невозможность апеллировать только к «обществу», о котором на самом деле у него единственно идет речь. Ибо «государство» русское и «суд» заушались им же и его сторонниками за «варварское инсценирование ритуального средневекового процесса».

«Пусть вертоград многоцветен и прекрасен. Но если он *превращается в самодовлеющую цель*, – его нам не нужно. Потому что такой «вертоград» слишком близок к насилию».

Оратор, который фехтует чужими понятиями, не видит их значения и точных границ. «Насилие» здесь, конечно, ни при чем. Какое же «насилие» и над чем ораторов, говорящих с разных кафедр на разные темы?! Сказать так – значит сказать просто пустое слово. Нет, Вячеслав Иванов защищал именно свободу, – но, как я говорил в полемике с Вл. Соловьевым и Л. А. Тихомировым, – свободу «хаотическую» против «творческой». Творчеством я называл дело, поступок, деятельность, проистекающую из какого-нибудь сильного утверждения, из веры, из «сredo» религиозного и политического.

Взяв чужие слова и фехтуя не своими понятиями, Карташов и Философов оба совершенно безотчетно для себя и безотчетно для тех евреев, которые во всей печати подняли шум радости о моем исключении, высказали тот фундамент зиждительства, или вообще «крепкой основы», государственной и церковной, на почве которой я стоял в 1894–1895 гг., и никогда вполне ее не покидал. Дело в том, что ни Философов, ни Карташов, ни еврей-бейлисты не подозревают, что они живут в литературной светелке, которая стоит гнездышком на вершинке монументального дома, именуемого, к их несчастью и огорчению, «Россией». Я все время, уже не первый год, и говорю этим мудрецам от имени России, тогда как они пишат в своей светелочке, и от имени светелочки, и говорят *с правами* или, вернее, *с бесправием* этой светелочки. Когда они в «вечер Бейлиса» поносили Россию, когда Мережковский заунывно говорил, что «не у евреев в доме труп христианского мальчика, но сама Россия лежит трупом в собственном доме и смердит», я с отвращением спрашивал: «Да где же это говорится? Это говорится – в *России, в столице русской, в Риме русском*: и что же понимают и думают эти его равнодушные слушатели, уже действительно умерщвляемые розами красноречия?» Затем вышли ораторы еще ругательнее в отношении России: Керенский, адвокат Соколов, г-жа Калмыкова: и все в отечестве поносили отечество. «*Где же я и что это такое?*» И думал именно о «верующем насилии», т. е. о том, что всех этих господ надо выгнать из этого зала «Русского географического общества», – общества, покровительствуемого государством.

Вот где был «хаос»; вот где были «розы Нерона»; и «многоцветный сад риторов». Замечу, впрочем, что все эти господа не «разгоняются» «Римом», насколько *презираются*, насколько на них никто не обращает внимания, как на ничтожество и бессилие. «Лепестки роз», которых слишком мало, о которых все понимают и «Рим» понимает, что их можно взять в горсть и выбросить за окно.

Так шли дела. Гам радости пронесся об «исключении Розанова», «этой непереносимой личности», «этой аморальной личности», этой, в сущности, «антижидовской личности». То самое, что я всегда говорил: что «неприлично в отечестве ругаться над отечеством», что подобное отношение к России обращает ее в какой-то «проходной двор» для всяких или в «трактир для всяческих». Но это показывает, т. е. показывает это повторение моих со Страховым споров, перепечатанных в книге 1914 года, до такой степени Религиозно-философскому обществу не следовало бы расставаться со мной; они взяли у меня всю философскую аргументацию самой нетерпимости, дабы проявить ее против меня: проявить на той почве философской и литературной, на которой она вовсе неприменима. Как и решительно вся печать, шумевшая о моем исключении, шумела моей мыслью. Не догадываясь, что она «вотирует» собственно *церковный и государственный авторитет*, – а отнюдь не общественный, *естественно-художественный и философский*.

Бедные овцы, как вы попались, в чей огород забрели!

Этот последний лепесток розы я возлагаю на головы Карташова и Философова. Да, около розы всегда есть шип. И пусть Карташов поколется об этот шип моей улыбки: зачем он кулаками-то стучал по столу, якобы в пафосе, когда излагал просто чужую мысль, чужую аргументацию в чужой индивидуальной оболочке, – выдавая ее как свое «открыл Америку». Кулаки у него были свои; но «голову» в тот миг он нес чужую, и «стучать» вовсе было не о чем.

Бедные «изгнавшие», скажу я, – как поистине на этот раз счастливый «изгнанник».

НАЗАД!!

Выразили ли врачи-«гинекологи» и врачи-акушеры, как «господа», так и «госпожи» между ними, как на Пироговском съезде врачей в лето минувшего года, так и теперь, на съезде криминалистов, хотя малейшую тревогу и малейшую заботу о тех несчастных русских роженицах, что разрешаются от бремени на мостовых улиц и на панелях тротуаров, «потому что нет вакантных мест в родовспомогательных заведениях», придумали ли они «ответственность за недостаток *одной* лишней кровати» в подобных критических случаях, которые не столь уж часты, как *частных* ближайших к данному пункту родильных приютов, так и городских и государственных родовспомогательных заведений? Вообще, что они придумали и как позаботились о нормальных матерях-роженицах, о работницах, простолюдинках, мещанках? Ничего! Ровно ничего! Полное молчание, притом бесстыдное молчание, безжалостное, жестокое молчание! Да можно подобрать такие случаи жестокого и тупого отношения врачей к больным, – такую пригоршню «драгоценностей» в этой области, что у читателей «со стороны» волосы на голове дыбом встанут, от страха, от отвращения, от негодования. Всего месяца два назад мне было рассказано о случае (в Москве), когда над интеллигентною женщиною, больною раком желудка, была прочитана слушателям лекция, что «операция уже не может спасти больную», – прочитана *вслух больной*, тут же около лектора лежащей, – и затем у этой больной, которой производилось питание через серебряную трубку, была «вынута серебряная казенная трубка, потому что она стоит шесть рублей», и сама больная, «как безнадежная», была насильственно выписана, т. е. официально выброшена, из означенной, очевидно ученой, больницы, с «профессором-лектором». Этот случай беспримерной жестокости был передан мне членом московской судебной палаты Т. Д. Р., – случай недавний, года два назад, с его личною знакомою, так что передаваемое мною не есть «темный» или «невежественный слух», а реальный и вполне освещенный факт.

Плач и слезы.

И вдруг такое рвение: «аборт!». Пожалуйста, чтобы «он был «безнаказан» для прибегающих к нему женщин» и, конечно, главным образом,

«для врачей». Когда доктор Личкус (действительный статский советник, гинеколог и еврей) на Пироговском съезде читал о необходимости отменить «наказуемость аборта», то аудиторию переполнили *молодые студентки* женского медицинского института, т. е. *будущие* врачи-женщины, из евреек*.

«Лечить» довольно трудно: «распознавай», «всматривайся», «выбирай метод лечения». Аборт ясен: кроме случаев роковой неверности руки, это 5–6 уколов иглой. И – кончено. «Лечение» простое, «ребенка нет», девица или вдова, которой случилось забеременеть, ликует и щедро расплачивается с «помогшей» женщиной-врачом или с любезным ученым-«гинекологом».

Лафа. Море разлитое. «Имей удовольствия», и «никакой расплаты».

Врачи-«гинекологи» (какое ученое, греческое название!!!), бросившиеся с криками – «*ненаказуемость аборта!!!*», не слышат в увлечении густого смеха за спиной своей.

«Это они кинулись за *будущим гешефтом!*» Лечить – трудно, хлопотно, долго. Они хлопочут за выделение из среды врачей целого сословия врачей-абортистов, врачей «похуже», которые и будут практиковать одну эту практику, набивать в ней одной руку, – без затруднения и науки или с наукою самую легкую и ремесленную, шаблонную, – но с обширнейшей практикой и превосходно в каждом случае платую! Они кинулись на богатство, на деньги, через голову науки, через голову какого бы то ни было человеколюбия. «Человеколюбие» у этих господ... Да какой *неимущей матери*, рожающей вот на панели, на мостовой или где-нибудь в «дамской уборной» вокзала, они подали торопливо и не торгуясь помощь?! Где их забота о матерях-роженицах, о законных женах законных мужей, чтобы *организовать в городе так помощь*, дабы ни одна из них и никогда не оставалась без врача около себя, чтобы ни одна не получила отказа в каком бы то ни было родильном доме, не в одном, так в другом, – не в другом, так в третьем, но именно – *сейчас*, не позже как через 60 минут после заявления «городовому на улице», что она «нуждается в помощи в рóдах». Ведь можно *ежедневно* сообщать по полиции о «вакантных кроватях» подобных заведений в Петербурге, Москве и везде; и «списки» давать «за обшлаг» шинели постовым городовым. Да вообще если *я не так* придумываю, – пусть придумают врачи. Ведь они «ученые» и не без всякого же дара организации, придумывания, изобретения. Не только у них «клистирная трубка» в руках, а и наука...

Да, обширнейшая и легкая практика, – и ничего более! Врачи, у которых как у *сословия* – *сословная задача*: охранять здоровье в стране и никак не способствовать его разрушению, – бросились не только к разрушению здоровья, но к *детоубийству у легкомысленных матерей*, у нечаянных матерей, у флиртующих девиц и вдов... Вот и все!! Ссылки на «ученые причины», на «социальные причины» – пусты. Они *растяжимы*, эти причи-

* Пишу по данным статьи М. О. Меншикова: «Подгрызают корни».

ны, — особенно «социальные»-то. В случаях «невозможности нормальных родов» и *теперь* прибегают к хирургической помощи, с гибелью плода, совершенно безнаказанно, — и нет родовспомогательного заведения, где не было бы инструмента для просверливания черепа плоду *в случае невозможных родов* или *родов чрезмерно опасных* (сам осматривал в Мариинском родовспомогательном заведении, где состоит теперь д-р Личкус директором, — этот инструмент; осматривал в директорство д-ра Шмидта, лет 17 назад). Вообще «сострадательные врачи», и особенно будущие «врачихи-женщины» (студентки), кидаются вовсе не на эти страдательные и тяжелые случаи рожениц, *коих всегда будет немного*, — а они, и особенно они, эти будущие повитухи, кидаются на богатство, на обширнейший класс «веселящегося Петербурга», «веселящейся Москвы», «веселящейся провинции», где им предстоит жатва, обширная и широкая. «Денежки! денежки! и веселись сколько угодно!» — вот бесстыдный крик, который подобал бы в Монте-Карло и вдруг раздался... на съезде криминалистов в Петербурге, на съезде врачей в Москве! «Веселитесь, бабеночки: зародыш ваш мы убьем», — «убьем, если будет *безнаказанно*», хотя и теперь, при наказуемости, мы все же потихоньку практикуем эту *прибыльнейшую практику*. Ведь практика-то практикуется уже и теперь, ведь есть специалисты этого, но потаенные, «под страхом уголовной ответственности». Эти-то преступники, в своем роде фальшивомонетчики медицинского мира, хотят выйти въявь, сбросить покров, и хотят этого для *чрезвычайного расширения своей практики*, прежде всего... «В темноте» всегда немного наработаешь; «в темноте» немногие приходят, приходят — тайно. Ну, а «при дневном свете» повалят валом. Да, вот сравнение: «при дневном свете» и охотников печатать кредитные билеты у себя дома и на ручном станке оказалось бы очень много. «И так легко. Все будем богаты». Отличная социология, господа врачи.

Но что отвратительно — это что они хныкают. Что они так «сострада-ют женщинам», «жертвам социальных условий». — «Помилуйте, у нее муж *алкоголик*»; «помилуйте, — мать *бедна, нищая*, не знает чем зарабатывать и на себя». Ах, врачешки, врачешки: да ведь не пойдете вы *к бедной, к нищей*, туда вас и плетью не загонишь. Да и нищая, бедная «побойтиса Бога» по-старому, не очень испугается «незаконных родов» (их почти *половина* всех, бывающих в Петербурге, по статистике) и преспокойно официально разродится «в казенке» (в казенном родовспомогательном заведении). Не эти гроши и пятаки вам нужны, а «радужные» кредитки от барышень, от барынек, от вдовушек, «не желающих себя связывать» одним мужем, постылым постоянным мужем, а предпочитающих «Ялту» и «Кисловодск»... «Пусть будет весело по всей *России*, как теперь бывает весело и приятно только в сезон купаний в Ялте и Кисловодске». Вот куда вы пробираетесь, недостойные ученики Галена и Гиппократы, постыдные современники таких великих и действительно гуманных биологов, как Пастер и Гельмгольц.

Отчаиваться не надо. Надо верить и, понятно, *есть основание* верить, что есть и «святой врач» на Руси, в бедности и невидности лечащий последнюю бедноту. Но не они ораторствуют на съездах. Они – лечат по глухой провинции. Они трудятся, «знаменитого имени» не имеют. И, может быть, лечат «не по-золотому», то есть уж не ахти-превосходно, но все же *стараятся*. В этих скромных и честных врачах крики о «ненаказуемости аборта», конечно, вызывают омерзение, но они по скромности молчат. Как и вообще все скромное и рабочее на Руси – молчаливо. Есть «добродетели профессий» и есть «пороки профессий». На съезде криминалистов, как и минувший год на Пироговском съезде, буйно закричал жадный к золоту порок:

– Шире дорогу! Мы идем!

На что им нельзя не сказать скромно:

– Т...ш...ш... Назад!!! Под сурдинку... «Кредитки домашним способом» всегда наказывались тюрьмой и *будут наказываться*. И от тюрьмы не избавит никого даже ученый диплом и «признанное общественное положение». О христианстве своем не распространяйтесь, о социологии тоже не распространяйтесь и о сострадании к несчастным женщинам не говорите. Хотите повысить – пойдите на паперть церкви, с нищенками и убогими. Там что-нибудь подадут. Но ничего вам «не подадут» ни на съезде криминалистов, ни на Пироговском съезде, кроме казенной квартиры в одном очень строгом здании.

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

<О тенденциозности газеты «Речь»>

М. г. Позвольте через посредство вашей уважаемой газеты заявить о крайней тенденциозности газеты «Речь» даже в деле *объявлений*. Мною был послан через контору объявлений *Метцль* заказ на публикацию о вновь вышедших моих книгах на:

24 февраля в газету «Речь»,

25 февраля в газету «День»,

26 февраля в газету «Русские Ведомости» (Москва).

Заказ был сдан 20 февраля. Но 24 февраля я получил от конторы Метцль, что газета «Речь» отказалась сделать публикацию о выходе моих книг.

«Обонятельное и осязательное отношение евреев к крови». Цена 2 р. 50 к.

«Европа и евреи». Цена 40 коп.

«Ангел Иеговы у евреев. Истоки Израиля». Цена 30 коп.

«В соседстве Содомы. Истоки Израиля». Цена 30 коп.

«Склад в книжных магазинах Т-ва А. С. Суворина «Новое Время».

Как поступят «День» и «Русские Ведомости» – это засвидетельствует об их израильской объективности и об их русском гражданском чувстве.

Прошли тихие, созерцательные дни литературы, и с ними прошла верная и скорая оценка писателей и книг. В той «шумихе», которая все еще продолжает зваться «литературой», хотя в ней, собственно, «литературы» есть едва $\frac{1}{10}$ часть, а $\frac{9}{10}$ – просто «печать», без всякого *лица* в себе, без всякого *смысла* у себя, – в этой «шумихе» все случайно, все беспричинно, все нецелесообразно... Шумно поднимаются имена и фигуры (отнюдь не лица) и быстро погружаются опять в темь небытия, безвестности, забытости. Почему «выдвинулось» имя? Почему оно «забыто»? – Одно так же беспричинно и случайно, как и другое. Иногда «успех» и «внимание» вызвано просто обложкою, – каковая в первое десятилетие XX века решительно сыграла свою роль в судьбах литературы. Из «ничто», которым всегда была обложка, со времени дягилевского «Мира Искусства», обложка книги привлекала к себе внимание иногда даже высоких художников, за которыми потянулся рынок и рыночная мазня. Для «истории обложки», например, любопытно сравнить ранние издания и поздние издания романов г. Мережковского. Ранние издания имеют простую, тусклую, «аскетическую» обложку, которая была просто лоскутком цветной бумаги, на котором «как-нибудь» отпечатано заглавие. Поздние его же издания, со времени участия его в «Мире Искусства» и знакомства с художниками, – положительно заключают в себе, говоря прозаически, целый «огород» символов, знаков, характеристик и «сведений» или – выражаясь поэтически – являют целую «оперу», уносящую «в мир иной» читателя или покупателя в магазине – ранее еще, чем он открыл книжку или разрезал ее. И это создавало успех; точнее, в мире «шумихи» это получило силу создавать успех. Читать некогда, нужно «впечатление». «Размышлять» не всякий имеет силу, но у всякого есть «глаз», который различает путаное от простого и находит, что «путаное» – интереснее. Подобную же роль в «успехе» и «неуспехе» сыграли заглавия. Что такое «Гнев Диониса», где рассматриваются некоторые случаи неестественного отношения полов, случаи из русской действительности, из нашей мутной и сорной жизни, – никому, в сущности, не интересно. Но манило *заглавие*, – манило какой-то неясной тайной в себе, – и роман, совершенно пошлый, выдержал несколько изданий.

Подобная история случилась с Пименом Карповым, довольно напугавшим эту зиму. Он напугал книгою «Пламень». Из жизни и веры «хлебоборов» (земледельцев), где рассказал, по личному опыту, о жизни даже не «хлыстов» в определенном сложившемся виде, как их знает наука и история русского сектантства, но просто – из жизни изуверов-фантазеров, предающихся скорее всего *индивидуальному вымыслу*, индивидуальному религиозному и духовному *бродяжничеству* в те долгие зимние месяцы, когда они не «работают хлеба», а остаются в праздности... Тут «всякое лезет в голову»... Подымаются мутные инстинкты со дна души. Как бы то ни было, о «хлыстах», ведь, многое было писано, – много интересных подлин-

ных сведений у Реутского, у Добротворского. Но ученые достоверные книжки лежат в стороне. Потребовалась... обложка. Вообразите себе огненного, палящего цвета лист, посередине которого нарисован не столько «язык пламени», подымающегося кверху, сколько толстый бычачий язык, толстым концом книзу, от которого идут змеи-лучи, как радиусы. Все это – в черном округлении. А за округлением какой-то продолговатый овал из переплетенных колючек, из терний, из листов, крючков и кочней, где завязли и терзаются нагие фигуры мужчин и женщин. Уже в переданном виде это «занимательно». Но наш век не был бы «нашим веком», если бы не «хватал дальше», во всех допустимых и недопустимых случаях. Переданный рисунок, если взглянуть на него прямо и не искать связи с еще неизвестным покупателю содержанием книги, а просто припоминать, *«где это я видел»* и *«на что это похоже»*, – такому «покупателю-новичку» рисунок просто являет кругообразную путаницу волос, длинный овал и среди его продольное углубление. Юноша говорит «эврика» и скорее покупает. Думаю, эта «простая штука» решила успех. Автор, который был у меня в самые дни выхода книги, с отчаянием говорил: «Напишите, непременно напишите о книге – иначе я *погиб*». Издательство «Союз» (в СПб.) решило еще раз затратить на меня, – но затратить *в последний раз*. Если и эта книга ляжет на полки магазинов, как и моя «Игра зорь», – то я пропащий человек и писатель». Я обещал непременно написать, – но пишу вот теперь впервые. Очень скоро написал, – и писал *не раз, а два раза*, – другой сотрудник в распространяемой газете; а главное – удачно нарисовал обложку художник, – конечно, по заказу издательской фирмы, отнюдь без соучастия самого Пимена Карпова. Книга запестрела или, вернее, покраснела на всех окнах книжных магазинов, – и «пошла».

Сам я не удосужился прочесть «Пламень», хотя «заказал» себе непременно прочесть в свободные минуты. Когда меня просил автор о «Пламени», я говорил ему с истинною болью в душе:

– Боже, какая *судьба* вашего «Говора зорь». Она никем не была отмечена и решительно никем не была прочитана. Сам я несколько раз порывался писать, но был в столь тяжелых личных условиях жизни, что мне было вообще не до книг и не до писания. Теперь же я воспользуюсь «Пламенем», чтобы поговорить именно об «Говоре зорь», книге замечательной, смелой и благородной. Непременно поэтому напишу о «Пламени»...

И вот – исполняю только теперь. «Хлысты» или, вернее, «сумбур» в голове наших мучеников-хлеборобов – вещь слишком частная и специальная, вещь слишком скрываема и сокрытая, чтобы получить широкое распространение или большее значение. Но «Говор зорь. Страницы о народе и интеллигенции» 20-летнего крестьянина, пришедшего в Питер, где-то служившего, который мел улицы в качестве дворника и в то же время по ночам, где-то в дворницкой конуре, набрасывал гневные страницы об интеллигенции, о всем, что «сверху», – замечательны.

Книга, в сущности, *лучше* известных «Вех», выдержавших пять изданий и которыми целый год занималась вся литература. «Вехи», наполовину

написанные интеллигентными евреями или немцами (Гершензон, Изгоев, Струве), в сущности – *не русская* книга. Это – философская, доктринерская книга, в которой много «вервия пустого»... «Покаянные страницы» интеллигенции («Вехи») суть в то же время ломанья, высокомерные страницы, – и очень озабоченные, «что о нас скажут». Хлебобоб Пимен Карпов говорит то же, но ярче, резче, главное – яснее. У него нет «вервия», а есть о том, как «мы, народ, были обмануты» (в дни революции) и «до чего вы, господа, тщеславны». Молодым крестьянским языком, в то же время прекрасным, натуральным русским языком, она говорит истины «не в бровь, а прямо в глаз».

«Эту книгу, – рассказывает он в предисловии к «Говору зорь», – преследовал какой-то злой рок. Любовно заносил я в нее мысли и наблюдения о сектантском движении в народе и о том священном огне, который теплится в нем, но который, с одной стороны, расхищается интеллигентами, а с другой – гасится мракобесами и угнетателями; с негодованием восставал я в ней на защиту духовного богатства русского народа, – богатства, погубленного и обесцененного хищниками; с горечью и болью жаловался на смертоносную отраву ушедшего с земли в каменные футляры народа – городской «культурой» и интеллигентским пониманием жизни. Все это воспроизведено в книге лишь отчасти. Дело в том, что в непрерывных скитаниях я потерял подлинник книги. Собранная по воспоминаниям, она, хотя и неполная, все-таки была приготовлена к печати. Но тут выяснилось, что по крайней мере две трети ее не могут пройти в цензурном отношении, а именно – те, где говорилось об угнетателях и мракобесах. Пришлось ограничиться лишь статьями, приводимыми здесь. В них все, касающееся не интеллигентов, вычеркнуто мной, и книга поневоле носит несколько односторонний характер».

Интересно бы и *исторически важно* заглянуть в эти «зачеркнутые части книги», – как в живое, личное и страстное изображение административных порядков в первые годы нашего столетия; изображение, сделанное не «рукою со стороны», не случайным и минутным заезжим «корреспондентом», – а человеком из народа, имеющим всю «оглядку» вполне развитого книжного человека и вместе никогда не разрывавшим деревенских своих связей.

«Но все-таки книгу я считаю цельной. Хотя весь корень зла и не в одних интеллигентах, – однако народ считает их главными виновниками этого зла. И как это ни неприятно «интеллигенции», – народ чувствует *говор зорь* – голос Бога, правды, красоты и любви, чувствует грядущий расцвет жизни среди степей и лесов, и бодр духом, и полон сил. Город, – так называемая городская культура, – развращает, губит народ; спасется он только в деревне, на земле. Там и интеллигенты переродятся и полюбят все близкое: родную землю, родной язык, родной народ.

Меня, пожалуй, могут упрекнуть, что я усматриваю национализм литературы не только в сказках и былинах, но и в отражении своеобразных черт народной души. Но, ведь, нельзя же сузить искусство до служения тому или иному направлению, — а сказочная литература есть «направление», — искусство должно быть свободно, ясно, величаво, как величав русский народ. Тогда оно будет истинно народным и национальным.

Оправданием моей резкости и даже, может быть, нетерпимости может послужить искренность и беззаветная любовь к народу. Кто искренен, — тому простится многое, но одно я должен сказать: просить прощения следует не мне, не народу, а интеллигентам.

Таково предисловие в небольшой и страстной книжке. Не правда ли, это интереснее, чем «Гнев Диониса»? чем приключения Анны Санжан, где она громко и на всю Россию рассказывает, как девочкою лет восьми подглядывала в дырочку в одеяле за ночными успехами своей матери, простой прачки? Да но если там не было «хлеба», то было много «перцу», — и печатная публика бросилась к перцу. Автора, Пимена Карпова, простого «хлебо-роба», никто не выслушал, и его «вызов» интеллигенции остался без всякого ответа.

А по мне, в тот первый раз, когда он принес мне в шумную редакцию эту свою книжку, — он был тот же, в сущности очень интересный, молодой человек: среднего роста, с чуть-чуть пробивающимися усиками и бородой, лет 19, едва ли больше, плотный, сильный, утрюмый, молчаливый, внутренне приветливый. Едва я взял из его рук книгу и раскрыл, как попал сейчас же на сладкие места. Сразу я оценил боевое и идейное значение книжки. Но бывают же в жизни такие безумные «некогда», что самую трепетную книгу отбросишь в сторону, *велишь* себе «забыть ее», — хотя потом и сосет сердце виною и раскаянием.

Ну, вот теперь с «Пламенем» пошел Карпов, но я как-то уроднился с «Говором зорь» и позволю себе, хоть и не совсем «вовремя», оглянуться на книгу, на речи, которые очень и очень примет во внимание будущая серьезная «История русской литературы».

Книжка, собственно, ничего не *излагает*; этот термин слишком спокоен и квиетичен для страниц Карпова, которые *говорят*... Книжка — это *речи* Карпова к интеллигенции, устные речи, но которые, за отсутствием слушающей толпы, — брошены на бумагу, переброшены через печатный станок. «Современная техника», и ничего больше, придала мыслям и словам Карпова форму «книги»: но в век абсолютного безграмотства и соответственно этому в век большей жизни на улице, на площадях, в полях и на луговинах деревенских — «книги» бы не было вовсе, она бы вовсе не напечаталась, а произошел бы «случай возбужденного молодого человека» где-нибудь в Танагре, на острове Хиосе, в счастливой безграмотной и вместе утонченной Греции, после чего «юношу» понесли бы на плечах, донесли до «большого города», попытались бы взять приступом самый город, — были

бы разбиты его «войсками», тоже безграмотными, после чего «юношу» распяли бы на кресте за «призыв к возмущению», которое не одобряется даже и в безграмотные времена. Вышла бы не «книга», по существу все же дело скучное, – а «красивый эпизод», народное «движение», с коротенькой битвой, яркою казнью, долгою памятью народной, – и заключительной «песенкой-рассказцем» про удалого «разбойничка», про чародея-«говоруна», которому Бог что-то «дал» и чего-то «недодал».

«К земле!»...

«Разбитый сосуд»...

«У плуга»...

«Потревоженная совесть»...

«Святая святых»...

«О русской сокровищнице»...

«Он идет»...

Вот не «главы», а выкрики автора... Это – именно отдельные *речи*, вылившиеся на сосредоточенные темы. Книжка бурлит, кипит, рвется. Автор угрюм (и *личное* от него впечатление), искренен, очень даровит; он собственно *очень развит*, и развитие получил в душевной «дворничкой», где спал около мужиков, как сам и обдумывал этих мужиков, и болел за них... Но «развитость» – это одно, а *знание далеких горизонтов* – это совсем другое, и, увы, она не дается никаким уменьшенным развитием и не дается даже дарованием, а вещь более прозаической, но и более старою – знанием, учением, изучением и *спокойным* размышлением...

Ах, эта «интеллигенция» и «народ», – тема «Вех», славянофильства, тема всей печати и публицистики. Ну, конечно, – *важно*, но – не *все*. В этом «не все» и заключается роковое ограничение самой темы. «Разбойничка Карпова», сего Прометея греческих Танагр, все-таки «распяли бы» в свободолюбивой, первоначальной, невинной Греции, как его, судя по предисловию к книге, по-видимому, «укрошали» и наши становые, урядники, и «господин уездный исправник». – Как? Что такое? Почему такая неправда? Ведь он так искренен, этот Пимен Карпов.

Не «неправда», а поправка. В Танаграх, в VI веке до Р. Х., – не видно было, что некогда должен прийти в Афинах Платон и за ним Аристотель; что должен совершиться «весь круг греческой жизни», с развращением нравов, с софистами, с лжецами, с празднолюбцами: чтобы вошел на площадь Афин мудрый старик Сократ и, останавливая за плащ то одного, то другого юношу, начинал с ними длинные и запутанные беседы, смысл которых не был *сейчас* ясен, но из которых через два-три десятка лет получилась Платонова философия, – получился тот *спиритуализм* и *идеализм*, который питает человечество до сих пор, который оказался нужным и даже необходимым и лангобардам, и остготам, баварцам, саксонцам, германцам, и нам, русским, и Англии, и Франции. Всем!! Когда Греция с бесчисленными «Пименами Карповыми», тоже «хлеборобами», – лежала мертвыми костями в равнинах и горах Пелопоннеса, Аттики, Македонии.

Племя умерло, философия – осталась.

Что мы? Для чего живем? Знает ли это Пимен Карпов и те маленькие танагрские и ветлужские Прометеи (настоящие Прометеи по благородству), которым хочется все возмутить, повернуть историю вспять и оставить на земле только одних «счастливых хлеборобов», которые бы миллион лет пахали все землю, растили бы хлеб, съедали бы хлеб и под вечер пели коротенькие невинные песни. Не один господин исправник хочет «дальше» и чинит несправедливость Пимену Карпову: хотел «дальше» Петр Великий, и тоже гигантским напором энергии, в сущности «бунтом», разрушил, сломал идиллию тихого Алексея Михайловича. Что история, – доска или колесо? Если доска – пусть лежит. А если она колесо? Знает ли это Пимен Карпов и все Прометеи – идиллисты на свете? Вдруг – колесо, *по существу своему* – колесо? Тогда оно должно катиться. И вот оно катится через пропасти, через рытвины, овраги, через леса, реки, – катится через лом, катится через преступления, катится через софистов, – к Сократу, ко Христу...

Чем кончится?..

Никто не знает.

Нам дано – вздыхать и идти.

Потому что «колесо» – просто – колесо, с этим скатом, с этим «овалом», черт его дери, которого устранить у нас нет сил, и вот оно все «в неустойчивом равновесии», и двигаются в нем спицы, и движется оно, и едет телега, в которой мы все сидим...

Куда, – Боже, куда?!!!

Но «Боже» – и знает, а нам Он оставил немного поплакать и кой-где порадоваться.

Так что самая «тема книги» Пимена Карпова по существу неверна, или, точнее, она ограничена. Ему кажется, что, кроме «народа» и «интеллигенции», и нет ничего, тогда как на самом деле они сами «в телеге», и «телега» эта сложнее их гораздо; а уж поле, по которому она едет, – ему и конца нет, и столь болезненный для Карпова вопрос о «русской интеллигенции» решительно даже не замечен в «обстоятельствах истории»: до того она велика, неизмерима, загадочна и даже страшна.

Оговорив, что по существу книга Карпова *неверна*, я, однако, изложу эту действительно превосходную и редкую книгу. Ибо грешно, – грешно для нас, русских, – не выслушать пламенного человека, поднявшегося из села и говорящего к городу, по всем городам Руси и столицам ее, ко «всякого сословия и звания людям...».

«Совість подсказывает теперешним томящимся интеллигентам, – говорит автор, – что интеллигенция, – да простят мне это выражение, но я хочу быть точным, – *огрabiла народ духовно*, и это ужаснее грабежа материального, который совершали над крестьянами и над рабочими другие классы». Однако сказать об этом ясно и во всеуслышание ни

у кого из наших радикальных журналистов не хватает духа: «Ведь надо же заявить, что интеллигенция лишила народ духовного бытия, которое неизмеримо выше всех материальных благ и которое для человека выше счастья; она лишила его полета»...

Снятый со своего корня, народ чахнет; мужик «об интеллигентских идеях», т. е. с идеями материалистического и механического мировоззрения, являет собою убудка, который ни на что не похож и никому не нужен; буквально, – который «не приспособлен к существованию», говоря терминами дарвиновской фразеологии, и погибает, запутавшись между социальными группами и между историческими мировоззрениями. Это – мысль и славянофилов; и Пимен Карпов, энергично проталкивая ее вперед, говорит языком «опростившегося» Толстого:

«Бросайте душные города, идите к земле, пойте вместе с народом гимны Великой Природе!»

«В багряные зори вы увидите, что веру в Высшее Существо в вас убили проклятые каменные коробки, что Бога нельзя себе представить без шума лесов, величавого разлива рек и раздолья полей!»

Уже по чрезвычайной страстности молодой речи видно, что автор лишь *совпадает* местами и с славянофилами, и с Толстым, а в самом деле говорит «свое» и высказывает только «свою крестьянскую душу».

– Создайте деревенскую культуру и сделайте так, чтобы *весь* народ пользовался ею (т. е. культурой), а не одни только избранные.

... Нужно заметить, Пимен Карпов уже «вкусил городской культуры», хотя бы в виде «интересной книжки»... *О чем он сейчас говорит*, о «пользовании *какою именно культурой*»? Если он говорит о «пользовании деревенскою культурой», в виде «гимнов Великой Природе» и «зрения величавых рек», – то народ ею и пользуется; а городские классы, насколько не пользуются, – настолько несчастны, но счастье их Пимен Карпов нисколько не принимает во внимание, как член только своего сословия и своего трудового класса. Нет, явно он говорит о «пользовании культурой» именно городской, *более сложной*, – во всяком случае с «интересными книжками». В сущности, и Толстой, когда предлагал покинуть города и переселиться в деревню, – предлагал тоже переселиться в деревню не с урядниками и сельским попом, не с житейским судебным следователем и амбулаторным приемным покоем, а с философскими разговорами, религиозными исканиями, вообще – в «деревню» платоновскую, в ныне упрощенные «сады Академии» за городом (в Афинах), а отнюдь не в старую, рабочую, скучную и безыдейную русскую деревню... Но дело в том, что в «Платонову Академию» разговоры пришли тоже из Афин, перешли сюда от споров софистов и Сократа на Афинской площади и были «заключением» обширного философского брожения не только в «тутошней Греции», около Афин и Аргоса, но и у италийских греков (Элеатская школа, пифагорейцы) и у малоазийских и даже африканских греков (Киренская школа). В зерне лежит – город. Ни в созерцании Платона, ни в созерцании Толстого, ни в созерцании Пимена Карпова – город неустрашим. Город, – это есть многообразие,

сложность, опыт разнообразных трений; пожалуй, – место гибели единичных душ и роста целого. «Город» – блудный сын, которого не избыло даже и Евангелие. Явно, тут *есть* какой-то ствол, какой-то нужный и неизбежный стержень, около него вращается и движется цивилизация и история. Пимен Карпов, в порывах своих, явно движется к усложнению, но – к «правильному», беспорочному усложнению, вот без городской «пыли», вот без городской «грязи», но с городской книжкой... «М-а-а-ленькая библиотечка» все-таки манит его. Ну, а уж таково свойство вещей, что из «м-а-а-ленькой библиотечки» всегда вырастает в конце концов «Императорская публичная библиотека».

Еще замечание... «Бога нельзя себе представить без шума лесов». *Какого* Бога? Языческий, греческий бог «Пан» жил в шуме лесов, но Христос? – Христос ходил по улицам Иерусалима, а Вселенские соборы собирались в громадных городах, – Никее, Константинополе, Халкедоне. Папство – в Риме: и папы вовсе не все были «такие-сякие», а были среди них и великие, святые. Вообще, с тех пор как над верующими простерся купол нашего православного храма, с его дивными и исключительными молитвами, словами утешения, – «шум леса и величавый разлив рек» не стал необходим для веры. Пимен Карпов именно «член своего сословия», крестьянства; и «свое сословие» заслонило от него человечество. В былинном и сказочном сложении народа, в его песенном и музыкальном сложении, сохранилось много если не слов, то звуков и тонов старого языка, древнего язычества. Оно вошло в слияние с церковью, с православием, с «византийщиною»; но оно не то же с этою византийщиною и церковью. Когда Пимен Карпов говорит: «Нельзя себе представить Бога», то он говорит о греческом «Пане», о началах древнеславянского «Велеса», «скотьего бога», о «Дажбоге», а не о «Христе и Пресвятой Троице». Он, читавший немного книг, этого не различает; но мы, прочитавшие больше его книг, – это ясно видим.

Но мы и не учимся у Пимена Карпова, а наблюдаем его. Пусть он не ведет нас, а на него мы посмотрим со стороны. Его крик: «Интеллигенция – позитивным и безбожным своим учением отняла у народа веру в Бога, религию, – и это хуже, чем отнятие имущества у народа», – многозначителен и попадает в самое сердце интеллигенции. Конечно, конечно!! Ее учение всегда было громовое; проповедуя «последние выводы науки», она несла в народ анархию, безверие, бездушие и в конце концов – разложение и смерть. Она всегда была «разлагающей интеллигенцией», а не «строительницей-интеллигенцией». Не беда бы, что она – «городская»; а беда, что она из северного города, из Питера с его модами и трактирами, с его журнальной философией и газетною политикой. *Неуглубленность* всего дела, – *неуглубленность города*, этой 200-летней колонии Европы в России, с «переметным» колониетским характером, с отсутствием «корней» столицы в «почве» страны, – вот наша старая беда и настоящая угроза новыми бедами...

И еще, – последнее замечание около этих слов. Через книжку автора проходит, с одной стороны, *гордое* соперничество с культурою, соперничество «города» с «деревней»... А с другой стороны, она переполнена какого-

то далекого и мучительного завидования... По отношению к последнему и хочется сказать: *Suum cuique**. С «величавым разливом рек» и с «гимнами Вечной Природе», точнее же и трезвее, – с свежим воздухом, со вставанием поутру с зарею, с ежедневным понятным и необходимым для него лично трудом – крестьянин получает также много блага, но только блага другого вида, других форм, чем едва ли более его счастливый городской чиновник, который $\frac{1}{2}$ дня работает в канцелярии, в банке, в конторе ему лично ненужную и для него вовсе непонятную работу, а вечером занимается книжкой, театром-буффом или собранием в религиозно-философском обществе. Крестьянин – беднее, но «счастье» его уравнено с горожанином. Его «счастье» здоровее, свежее, нравственнее, не разрушает здоровья, не укорачивает жизни. Это всегда надо помнить, что благополучие «демократии» и «аристократии», человека в «сюртуке» и человека в «кармяке», в сущности именно – только по-разному одето, но количественно – это то же...

УВАЖЕНИЕ К ВЕКОВЫМ ПРАВИЛАМ

(По поводу письма Н. С. Таганцева)

С момента зачатия – жизнь ребенка, существо его, судьба его не принадлежит уже матери его, а принадлежит обществу, народу, стране, природе; более же всего принадлежит ему самому. Мать есть только его носительница, его оберегательница; его ангел-хранитель. И не может не *стать* и не казаться всем людям – не ангелом, а демоном его, когда останавливается на самой мысли – вытравить его, убить его. И когда убивает в себе зародыш, вытравляет его, призывает для этого врача и науку, или якобы врача и якобы науку, – потому что и врачи, и наука имеют в себе нравственную сторону, нравственную задачу, то она рассматривается людьми, чувствуется людьми не как «сестра своя», а как враг свой, как некоторое *извращение и отступничество* от законов природы.

Вот простая аксиома, которая живет в народе, вне «медицинских» и вне «криминалистических» определений. Это аксиома древняя, безотчетная, в сущности доисторическая, в сущности – религиозная. И господа криминалисты, и господа врачи, обсуждая свою тему как на Пироговском съезде врачей летом прошлого года, так и на только что закончившемся съезде криминалистов, обязаны были оглянуться на эту вековую и даже тысячелетнюю аксиому.

Мать – ангел-хранитель ребенка, мать – его носительница и ни в каком случае – не распорядительница его жизни. Ребенок есть *субъект*, есть *лицо* уже в чреве матери; есть особый индивидуум, «с правами на жизнь», – большими, чем медицинские права, и большими, чем юридические права. Римляне именовали его *jus divinum*, *jus naturale*, сливая в сем случае очень основательно «естественное право» или естественный порядок вещей – с правом и с миропорядком божественным.

* Каждому свое (лат.).

Вот *его*-то неосторожно и потрясли не только врачи, но и криминалисты, как правильно отметил г. Дейтрих; и это не «его личный вкус и понимание», а *народный и вековой* взгляд на дело, и г. Дейтрих только выступил на его защиту, равно против врачей и *равно против криминалистов*. Глубокоуважаемый председатель съезда криминалистов Н. С. Таганцев, говоря о «личном вкусе» г. Дейтриха, не заметил *народного* заслона, который стоит за этим «вкусом». И, проводя в своем «Письме в редакцию» *разницу* между резолюцией комитета и резолюцией съезда (in pleno), – не весьма уловимую для *массы людей, для матерей*, среди которых ведь не все «с высшим образованием», – может быть, и прав в тонко-юридическом смысле, но бесспорно *не прав в народном смысле*, перед лицом *народа*, к которому *обращена резолюция*, которому *говорит и чему-то научает резолюция*. Резолюция комитета тоже потрясает вековое, прямое, ясное мнение народа:

Искусственное и, так сказать, – приневоливающее изгнание плода – всегда ужасно для законов божеских и человеческих, преступно и наказуемо.

Это – «прямо», это – «прямая дорога». *Народ* знает, «куда идти», видя перед собою эту дорогу. А видя перед собою словесную *путаницу* в резолюции комитета, требующей (?!!) «смягчения наказаний и даже признания безнаказанности тех видов изгнания плода, которое вызывается... вниманием к особо тяжелым социальным и личным условиям», и т. д.

Народ, прочитав это, может только думать: «Э, когда, значит, родительнице тяжело, – она и врач, сговорившись, *могут убить ребенка*».

Все-таки «могут убить» – стоит в его сознании! Да это – и *прописано* в резолюции комитета!! *Куда* это деть? Куда денется с такой резолюцией комитет? Ему нѣкуда уйти от суда народного, хотя и бессильного и безмолвного: «можно *иногда* убивать плод». Народное сознание потрясено, запутано. И в этом, или в тенденции к этому, конечно, виновны не одни врачи, но «и *криминалисты*» (комитет).

В университете-то они учились и университетские учебники помнят; да, конечно, и сами «составляют учебники». Но о народе забыли. А народ – выше учебника; *а век и века* – сильнее 2-го десятилетия XX века, когда была произнесена и написана эта печальная «резолюция»; печальная в устах криминалистов и позорная в устах медиков.

Еще заметка: потрясение абсолюта младенца в утробе матери потрясает и абсолют матери. Кто не щадит ребенка, – будьте уверены, *завтра* не пощадит и матери. И *начавшееся* в истории, в культуре, в религии, в нравах, в законах, в «разговорах» и «резолюциях» падение уважения к «я» младенца – закончится непременно и падением уважения к «ты» матери его, к женщине вообще...

Бедные женщины, – бедные и иногда, в частях своих, безумные... Наслушавшись «мужских разговоров», медицинских разговоров, юридических разговоров, они готовы поступиться *обязанностями материнства*, из коих проистекает фундамент уважения к самой женщине.

Рубят тот сук «древа жизни», на котором сами сидят...

Опомнитесь, женщины, – не слушайте демонов. Сохраните за собою то уважение, то даже благоговение, какое весь свет питает к вам как к хранителям и оберегателям еще утробной младенческой жизни. Из *этого* взгляда на вас вытекает вся та нежность, вся та деликатность, все то умиление, с каким часто незаметно следит каждый за женщиною, и особенно за *беременною женщиною*, где бы ее ни встретил: в дороге, в вагоне, в конке, в нужде, в унижении...

И всегда *весь свет* готов ей помочь; готов помочь *такой* честной труженице в беременности и родах. Это – крест женщины, и это – венец ее. «Она *сестра наша*», – шепчет вслед такой весь мир, часто незаметно для нее. Она – «друг *будущих поколений*»...

Берегите этот шепот около себя. Без него вы погибли, – нравственно и всячески. Увы, его не понимают ни медики, ни, к сожалению, «криминалисты».

Р. С. Я получил от д-ра В. К. Порембского, секретаря на том заседании Пироговского съезда, на котором д-р Личкус произнес речь касательно обстоятельств наказуемости и ненаказуемости искусственного выкидыша, – и печатный отчет с подробным изложением доклада д-ра Личкуса. Вчитавшись в него, я нашел, что д-р Личкус высказался за *ненаказуемость* выкидыша по причинам: 1) стыда беременности; 2) бедности забеременевшей; 3) алкоголичности отца ребенка и проч. И потому не могу взять назад слов своей статьи о д-ре Личкусе, как о том просит меня д-р В. К. Порембский. *Для врача* допустимо и не преступно произвести выкидыш лишь в случае, когда *смерть идет за жизнь*, т. е. когда роды анатомически и физиологически невозможны. Это и *теперь* ненаказуемо, и везде производится законно и открыто. Ни о каких *социальных* и *наследственных* обстоятельствах врач не имеет права рассуждать, ибо здесь его рассуждение – не врачебно, между тем как он прибавляет врачебный авторитет к своему общечеловеческому, обыкновенному суждению. Это вовсе не его область, не его тема, вовсе – *не его компетенция*. Здесь он грабитель чужого права. Господам врачам надо вернуться к логике, к распределению обязанностей, к несмешиванию функций и компетенций.

ЕЩЕ ПОГРЕБЕННЫЙ «СОЦИОЛОГАМИ»

(Из мартиролога русской литературы)

I

Не всегда вовремя успеваешь занести в хронику литературных дней то ценное, что хотелось бы, чтобы оно перешло в вечный клад ее. Но «лучше поздно, чем никогда»... В начале этой зимы в «Русской Мысли» были помещены прекрасные очерки г. Ч. Ветринского: «Г. И. Успенский в 70-е и 80-е годы», с некоторыми выдержками из его писем, о которых хотелось бы, чтобы они

широко прочитались и надолго запомнились. Успенского тянули «волей-неволей» в боевую политику, – но, яркий бытовик и народник, он если и шел туда, то с кислой миной, с некоторым бессильным сопротивлением; бессильным около таких господ, как «социолог» Михайловский, который с душою человеческой вообще не очень считался, а ему надобен был «результат» и «общее дело». Разыгрывалась история, не столь яркая и определенная, как выведенная Достоевским в «Бесах» в эпизоде между «политиком из социалистов» Верховенским-сыном и между кротким идеалистом Кирилловым, который окончил самоубийством, предварительно уже мешаясь в уме. Страницы, где Кириллов произносит героические, пророческие речи, говоря Верховенскому: «Ты, дурак, не поймешь», – а Верховенский все кушает холодную курицу, «так как она самоубийце (сейчас, через четверть часа) уже не нужна», – разительны.

В сущности, этот диалог Кириллова и Петруши Верховенского, «такого умного социолога», – в значительной степени пропитывает собою нашу литературу за последние полвека. Радикалы-идеалисты видят не хуже социологов, что «многое у нас не в порядке», что «нужно нам поправиться», но, во-первых, относят *причины* «худого» и *сущность* «худого» гораздо глубже, чем социологи, которым главным образом «сменить бы лиц»; а, во-вторых, по существу мягкой души своей вообще отказываются идти и «ломать», идти и «рубить»; в последнем анализе – идти и «убивать». Они не хотели становиться «мастерами *красного цеха*», как определенно и недвусмысленно выразился Савенков-Ропшин, совершивший в Москве известное кровавое «действие» и потом, «с аппетитом к холодной курочке», перешедший к писанию «беллетристических вещей» («Конь бледный», «То, чего не было»)... Но люди «красного цеха», люди «красной рубахи», выдавливали у кротких людей, вроде Глеба Успенского, хоть что-нибудь в свою пользу, травили и возбуждали в них всякое негодование, показывали им примеры несправедливости и грубости из действительности и так или иначе жали и жали из них нужные словца, тянули и сосали из них то «признание связи с революцией», которое было похоже на «*кура* революции», вырванное Верховенским у Кириллова в предсмертной записке последнего. «Вы только *напишите*, вам *все равно*, ведь вас сейчас *не будет в живых*», – аргументировал логически и социологически доедавший курицу Верховенский. Не так жёстко, не так ярко, но *в этом роде* разыгралось множество историй и эпизодов в нашей литературе последних 50 лет. И вот тут интересно подслушать «жалобы в сторону», глухие, косвенные слова, – свидетельствующие, как мало было «общего» у этих идеалистов с нажимавшими на них «естественниками и социологами».

В статье г. Ч. Ветринского и приведены эти тихие вздохи, эти глухие несогласия Глеба Успенского с людьми типа Михайловского. «Неудовлетворенность и нескончаемые жалобы на себя и на свои писания становятся особенно часты и несмолкаемы в письмах Успенского начиная, примерно, с 1884 года, – пишет биограф. – Обыкновенно это связывают с его душев-

ным заболеванием. Возможно, что тогда шел уже долгий и затяжной неврастенический период надвигавшегося прогрессивного паралича. Но *едва ли объяснимо одною болезнью* это крайне тяжелое временами нравственное состояние писателя и крайнее недовольство собственными писаниями. Перед нами не просто недовольство взыскательного художества. О художественной законченности и полноте ведь всегда Успенский думал меньше всего». И биограф приводит письмо его к г. А. Иванчину-Писареву, от 17 апреля 1885 года, где – в заключение жалоб на горькую материальную необходимость безустанно, непрерывно писать, – попадает фраза: «А потом ведь пишешь положительно с глубоким сознанием, что *«не так»*, и это уже несколько лет подряд». Г. Ветринский прибавляет от себя: «Эти самообвинения в отсутствии искренности, – признания, что пишется *«не так»*, – легко было бы умножить». Это – горькое сознание, что *пишется не то, что скрыто где-то в глубине сердца*, и самому еще не ясно, а – *по шаблону*. Если считать несколько лет подряд, 1882–1884 годы, то и выходит, что «не так» стал себя Успенский чувствовать с той поры, как на его писаниях начала сказываться народофильская идеология! И чем дальше, тем было больше и хуже «не так». Когда вышел третий том собрания его сочинений, Успенский рассылал его друзьям без обычной надписи, объясняя, что этого тома «*не уважает*» (курсив г. Ветринского). Видимо, в душе Успенского назревал в это время оставшийся неразрешенным сознательно настоящий моральный кризис и перелом от угнетавшей его глубокое «я» народофильской идеологии. Что в его душе жило явно какое-то глубокое раздвоение, это признает, между прочим, – правда, мимоходом, но как бы невольно, и это тем существеннее, – даже г. Аптекман (жид-революционер? – В. Р.) в своей статье «Страница из скорбного листка Г. И. Успенского», в «Русском Богатстве» за 1911 год, видящий во всем пережитом в те годы Успенским только болезнь, а не тяжкую драму. «Литературное творчество Гл. Ив., – говорит он, – остается в 80-е годы на прежней высоте, но свободное его обнаружение все более и более подавляется *сознательным* (курсив г. Аптекмана), нарочитым соображением; юмор его, правда, то и дело вспыхивает, но все реже и реже, покрываясь все более и более глухими аккордами стонущей души... Публицистика, этика, народническая (народофильская? – В. Р.) идеология, сформировавшаяся уже окончательно к тому времени, выступают на первый план, *еще сильнее угнетая стихийное творчество*» («курсив наш», – замечает г. Ветринский).

В эти годы, рассказывает г. Ветринский, вся Россия была взволнована идеями Толстого о «непротивлении злу насиліем», – с которыми, по понятным политическим мотивам, жестоко полемизировал старый волк красного лагеря, Михайловский. Друг его, Глеб Успенский, «умевший сильно ненавидеть» (заметка В-го), был на его стороне, но вместе с тем на него очаровывающе действовал образ Платона Каратаева. Нужно заметить, не только для Глеба Успенского, но и для всех нас, – доктринерство «о непротивлении» довольно противно; но встретиться нам где-нибудь кроткий человек типа

Каратаева – и мы все будем умилены. Что же это? Почему? Да все русские святые были типа приблизительно «Каратаева», но как они все, так и Каратаев, «жили-были», обходили стороною зло, творили сколько можно и где можно – добро и философствовали больше жизнью и примером, нежели поучениями и формулами. Толстой перешел к *формуле*, а формула – *приказывает*, ибо она точна и «исключений» не знает. Поэтому Толстой сам нарушил каратаевский принцип: «жить, а не рассуждать». Он придал «повелительное наклонение» Каратаеву, до известной степени дал «святому» – императорскую фигуру, – и все погубил, погубил главную свою мысль, «зарезал императором Каратаева».

Но, по существу, Успенский принадлежал тоже к кротким людям, и, не разделяя идеологии Толстого касательно «непротивления», он хотел видеть творца Каратаева. Но все смущался поехать в Ясную Поляну, говоря: «Боюсь все... Огромный он... А все-таки соберусь непременно... Вот укреплюсь и поеду поговорить... о многом».

Но так и не собрался. Что-то удерживало. «Но в том, что он писал в эти годы, – говорит г. Ветринский, – кое-где мы находим ряд заявлений в новом и неожиданном для читателей Успенского тоне. В особенности поразило в свое время окончание в «Русских Ведомостях» серии статей под заглавием «Мы». Последние очерки были посвящены поездке в Болгарию, и здесь вспышка горячего «противления», которая сказала в неотправленном письме к Соболевскому, разразилась неожиданною тирадою на тему о том, что *прежний революционный путь изжит и не нужен, что нужна не борьба со злом, в частности, конечно, – политическим, а – прямое утверждение добра*».

Письмо это полно самого обширного интереса с точки зрения «вообще»... Оно пересягает за узкие рамки собственно революции и бросает свет на ход вообще русской истории, на ход вообще всех у нас дел, – на *русский характер*, с его великими недостатками.

II

Возвращаясь к истории между Глебом Успенским и революционерами, – и к той тайной реакции против них, которую он сдерживал в себе из деликатности личного отношения, хотя едва ли, например, Михайловский да и прочие «сотоварищи» сдерживались в громах, язвах и клеветничестве «на наши порядки» из деликатности к мягкому народнику. Под впечатлениями, вынесенными из поездки в Болгарию, Успенский приписывает малость нашего влияния на Болгарию не мелочам политики, не ошибкам дипломатии, не «неверным шагам из Петербурга», как это по схеме и трафарету делали целый век мелкие писатели и мелкие политики «на злобу дня», а приписывает нашему русскому «вообще», недостаткам характера национального, искривлению всей и всякой русской деятельности за XIX век. В русских людях,

указывает он, нет дара к насаждению положительного добра, к устойчивой ежедневной продуктивной работе; нет радости о выросшем дереве, а только есть дикое торжество над срубленным деревом:

«Русская идея в Болгарии оказалась годна только на чисто отрицательное дело: прогнать турок; что, не без феерического блеска, мы и исполнили. Такие блестящие феерии мы вообще мастера разыгрывать: прогнать турок, прогнать французов с дунадесятю языков, даже освободить крестьян с землей от рабской зависимости. Но дальше чистого отрицания зла мы не идем. К созданию добра на очищенном нами месте мы, русские, решительно неспособны, *потому что находимся под игом нас полонившей идеи всеислия зла*».

В последних шести строках жалоба раздваивается и идет как по *белому* адресу, так и по *красному* адресу; а в подчеркнутых словах об идее «всеислия зла» и прямо выражена та несчастная на Руси мысль, которая была рождена как злая мысль еврейским социализмом Лассалья и Маркса. Это – национальная еврейская идея, что «*в Европе все плохо*», – родившаяся неодолимо в головах евреев, потому что в Европе нет ничего вообще для них *родного, своего*. Она была бессознательна, безотчетна для них самих, для Лассалья и Маркса. Что им католичество, что им лютеранство? Что им папы, короли, рыцари? Все – не нужно, все – не нужные. Одно понятное – кошелек, и уже следующая «справедливая» идея: как бы этот «кошелек» поровну поделить и как бы из этого «кошелька» произошло равномерное, без обиды кому-нибудь, благополучие и счастье. Вот сущность «экономического материализма в истории»... «Скупой Рыцарь» у Пушкина полон фантазий, потому что он *европеец* и многое *помнит*, в сущности, – многое *любит*. Но «хорошо причесанный» лапсердак, получив уймы денег в руки, непременно оснует только ссудную кассу и будет всем *ссужать*»... Ни – фантазии и вообще – никакой «начинки» в экономическом пироге. У Фурье, у Сен-Симона, у Герцена, у нашего Бакунина социализм был «с начинкой». Это было «богатство» роскошного и гениального Скупого Рыцаря. У евреев или на этот раз у жидов, у Лассалья и у Маркса социализм явился каким-то демократическим Ротшильдом, который одевает французов, русских, немцев в новые лапсердаки и новые ермолки, «кооперативно» заготовленные по дешевой цене, и без всякого вопроса о том, не нравится ли русскому лучше ходить в лаптях, в опорках и босиком, чем в этих противных еврейских башмаках, взятых из дешевой еврейской лавочки, и с серебряными варшавскими часами в пять рублей ценой. Лассаль и Маркс считали по пальцам, считали арифметически выгоду, упустив, что есть выгода эстетическая и есть выгода нравственная. Мне «нравится» и казаку тоже «нравилось» ходить в опорках и немного изредка попортить прическу евреям. Но Ротшильд, конечно, только «нравится» видеть служащих в своем банке, сидящих уже с девяти часов утра в приличных галстуках за высокими конторками. Лассаль и Маркс *воображали* не лучше, чем Ротшильд,

«мечтали» по типу этого их общего «батюшки». «Да будет у каждого немецкого бауэра фаршированная щука в субботу и сам он да ходит шесть дней недели не в поддевке, а в пиджаке и при галстукe». Куда летит *мечта*, туда ползет и *мысль*. Теории Маркса и Лассалья были такие же противные денежные и только денежные, трудовые и только трудовые теории, с исключением всего третьего, с исключением всего лишнего, с исключением всего роскошного, безумного и гениального, чем *полна и пресыщена* Европа, – как противен нищий факт «ротшильдского банка», который ведь отрицает всякую культуру, всякое разнообразие и есть в сущности «Мертвое море» Палестины, из коего ни один еврей и все евреи вместе никак не умеют выплыть. «Такой им предел положен на земле»: плодиться, молиться и жадничать.

– «Ну их к черту», – говорит свободный консерватор, помнящий *Европу* и любящий *Европу*. Но не таков был не очень много понимавший в Европе Глеб Успенский, которому, такому бессребренику, нашептали друзья, что если не самому ему, то мужику русскому нужны, как и Австрии во время войны, – «деньги, во-первых, деньги – во-вторых, и деньги – в-третьих». Уже умирая, бедный Глеб Успенский бредил и писал планы: «Завести во всех бесконечных деревнях бесконечные посевы трав», «устроить во всех деревнях бесконечные крестьянские банки и бесконечные народные школы», «завести по всем селам и деревням бесконечные столовые для детей, малолетних и престарелых» и т. п. (стр. 52 сентябрьской книжки «Русск. Мысли»). Господи: три фаршированные щуки в одну субботу! И всеми ими трема Глеб Успенский только подавился бы. «Надоело! Противно!» – «Это – все Ротшильд, все – мечта филантропа Ротшильда, осыпающего благодеяниями бедных». Глебу Успенскому *нужно* было другого: *самому* хоть черствый хлеб есть, а *другого* увидеть... не за едой непременно, не за фаршированной щукою, да отъедят у нее мыши хвост, а увидеть других – в *радости*, в счастье, в благополучии, за песенкой, за сказочкой, в веселом удачном мастерстве, за свадебными играми...

Вó-от! Ду-ша!!

III

С *чего* же Глеб Успенский выдумал, что *народу* нужно иное, чем ему, Глебу, по законам его глебовской русской души? Глебу – сказка, гениальный рассказ Толстого в новой книжке журнала, собственный гениальный очерк, если бы удалось. Голодный, он пережил бы счастливейший день жизни в минуту, когда ему «удалась» лучшая литературная вещь. С *чего* же Глеб вставляет «жидовскую душу» в мужика Семена, которому тоже, как и Глебу Успенскому, нужен:

- 1) Хороший батюшка на деревне, который *доброму наставляет всех*.
- 2) Самому спеть хорошо «Херувимскую» на клиросе.
- 3) Иконостас светлый, золоченый; лики чтобы были «умилительные».

И – наконец, вот мужицкое «золото Скупого Рыцаря» (мечта, идеал):

– Вон тамо, тамо, за триста верст, за четыреста, – живет праведник в пещере, в лесу: и, *кто бы ни пришел к нему, и вот я приду к нему*, – он скажет слово, какого у иных народов – не выслушаешь в *иной* век, в целые сто лет – ни от кого не услышишь. И этот праведник – какое счастье! – удался *в мой век*, и я *могу пойти* – и услышу слово редкое, единственное! Услышу, и поплачу, и спасу душу!

А вы «фаршированная шука», а вы – «банк». Над этой бедной, грошовой мыслью погиб Глеб Успенский, – да и гибнет вся революция, гибнут неисчислимые русские молодые люди, почему-то воображающие, что мужику нужно *совсем иное*, чем этим молодым людям, «счастливым в тюрьме за идею». А мужик «сидит в бедности за идею», «в *страдании* – за идею», «терпит *от урядников* – за идею», терпел прежде «от *барина*» – за идею...

Крестовые походы... в них шли дети и мужики вместе с рыцарями. Отчего вы отрицаете «рыцарскую душу» в мужике? – оттого ли, что он не в латах и не в шлеме? Да разве «Влас» (а ведь мы их *видим*) не «рыцарь»? Рыцарь – везде и вездесущ: но у мужика мечтаемая не «Дульцинея Тобосская», а реальный Сергей Радонежский, Серафим Саровский, и он для «них» идет вдаль, за пятьсот, за тысячу верст, и он «за них» и за «веру свою в них» умрет...

Позвольте, если *студент* (лучший, некоторые) мечтает, то мечтает и мужик, и *оба* счастливы в мечте при *всякой обстановке*, под «баринном», под «урядником», едя «один черный хлеб с коростой». Вы отнимаете право на мечту у мужика? Значит, вы отнимаете у него право на человека; значит, вы приставляете ему оловянную голову, – и за такое оскорбление он вас не поблагодарит. Случаются «неприятные истории» между студентами и барышнями, с одной стороны, и мужиками – с другой: потому что мужик оскорблен предположением барчука-студента, что в нем, в мужике, какая-то совсем другая душа, мозглая, гадкая, грубая, только ядущая и пьющая, только в деньге и в мощне нуждающаяся, тогда так в барчуке высокая человеческая душа, поклоняющаяся идеалу. Мужик оскорблен, – и по-своему дает «в рыло» за отрицание в нем «тоже души», «идеала» и способности «понести крест» (муку). «Я крест *раньше тебя* носил, и всю жизнь нес. И за *крест и право креста* – умру». «А ты пришел с презрением ко мне, пришел развратить меня; ты тащишь меня к *корыту*, как *свинью*».

Вот – «свинский идеал» социалистишек, который только глуп, когда он у мальчиков и у девочек, и преступен, жесток – когда у таких «40-летних юбиляров», как многоопытный Михайловский. Но Михайловский был образованнее, учение Успенского и «напел» ему социологию, что вся вообще Россия проклята оттого, что перед каждым мужиком не стоит корыто. Сам-то Михайловский был жертва Маркса (отдаленно и «вообще» – Ротшильда), а Успенский был жертва «ученого»-социолога Михайловского. Но у Михайловского была голова большая, но оловянная, а у Успенского – поменьше, но живая, растущая, человеческая.

«В русской жизни, — говорит он в прерванном цитатою письме, — никогда не было недостатка в людях, открыто и смело выступавших на борьбу со злом; но перед нами, *кроме зла и неправды, есть еще почти нетронутая область добра...* Не убавим ли мы зло, направив все наши силы на подъем в русской жизни всего, что стремится к добру, к свету и правде? Поднимем благосостояние народа, исправим многочисленные ошибки в земельных порядках, устроим народный кредит, распространим грамотность, дадим доступ к науке в таких широких размерах, чтобы у нас все соприкасающиеся с народом учреждения были со временем полны людей высшего образования; *успокоим заблуждающуюся молодежь, возложив на нее множество обязанностей перед ходящим во тьме народом;* высвободим его из рук кулаков и хищников, расточителей его достояния; *облагородим и возвысим наше культурное общество, воскресив из праха забытые им общественные обязанности;* воскресим *святость* этих обязанностей в думах, в земствах, в судах... Словом, станем призывать общество к добру, станем ободрять его добрые стремления, станем всячески поддерживать их, — и, быть может, в нем само угаснет то стремление ко злу, которое стало казаться почти неистребимым и в борьбе с которым преждевременно гибнут крупные силы и гениальные дарования».

Это совсем не то, что призывы инородцев-писателей (г. Венгеров) к русской молодежи «идти вперед и *погеройствовать*», оставив «*лавочки нам*» (евреям).

«Слишком продолжительное *сосредоточение* русской общественной мысли на борьбе со злом, *слишком тщательный анализ только зла, слишком упорное напряжение мысли на искоренении* все того же *зла и зла* — значительно сузило размеры духовной жизни русского человека, *омрачило его мысль;* обеспоадило его сердце (какое слово!! — В. Р.), а ведь из таких элементов мудрено родиться способности привлекать сердца, пробуждать пламенную любовь и покорять людей силой нравственного влияния. Не пора ли *дать русскому омраченному сердцу возможность жить другими его сторонами,* не пора ли ему *отдохнуть в ощущениях добра и доброго дела?* Ведь еще не пробовали узнать, как велико стремление русского человека к добру. Пора попробовать» («Русские Ведомости», 1887 г., № 219, от 11 августа).

Великие слова, великая программа! Вот что значит живая душа у писателя. Что бы к этим словам *прислушаться*, да и разработать их дальше в своем *сложном уме* Н. К. Михайловскому? Вышло бы великое русское дело, великий русский поворот. Но Михайловский, при дарах ума и некоторого философского мышления, был черствая душа. Слушать такие слова, *вслушиваться в муку души под ними* — значило бы для «40-летнего юбиляра» начать скидать с себя «40 лет один и тот же *скруток*» (определение им себя)... Значило — поступиться самолюбием. И Михайловский, когда-то «потерпевший до Любани» (был административно выслан в Любань, бли-

жайшую к Петербургу буфетную станцию Николаевской жел. дороги), предпочел самолюбивый сюргучок и позу вождя красных дружин – благу России, счастьем молодежи, которая всегда, конечно, готова ринуться на положительное созидание, на трату добрых сил души, если б ей не подшептывали, не подсказывали, не травили ее самолюбцы литературы. Русская молодежь чиста: но она бесконечно обманута своими журнальными и газетными вождями...

IV

Биограф Гл. И. Успенского, г. Ветринский, пишет, что цитированная выше статья его в «Русских Ведом.», с заключительным отказом «от борьбы против зла», с призывом «отказаться от чувств ненависти, как бесплодных чувств», произвела большое впечатление в литературных и в подпольно-политических кругах. Она вызвала многочисленные толки и в печати. В «Неделе» П. А. Гайдебурова статья была освещена довольно прозрачно, как *признание несостоятельности способов борьбы партии «Народной Воли»*, отголоском коей было тогда покушение 1 марта на жизнь государя Александра III. В это время Гл. Ив. Успенский сближается с радикальным народником С. Н. Кривенком («Труд, как основа воспитания»), – *письма к которому еще ждут опубликования* (вот важный исторический материал. – В. Р.), и не только указывает ему, что следовало бы печатать в этом тогдашнем примирительном журнале, но и сам дает в «Неделю» несколько рассказов. Эти рассказы и очерки Успенского получают в себя новый тон, новую струю мысли. Теперь, говорит г. Ветринский,

«он жадно ищет в русской и народной жизни «отрадных явлений»; хватается, как уже отмечено, за мечтательные утопии; задается вопросом, куда девался «хороший русский тип» подвижника и учителя добра, какими были в старину люди, признанные позднее церковью святыми (его рассказ – «Родион-радатель»); с редким теплым чувством изображает, например, «слепого певца», утешающего народ исполнением священных песнопений под фисгармонию; в рассказе «На минутку» с увлечением передает, сколько добрых дел внесено в народную жизнь таким случаем, как перенесение образа Богородицы из одного города в другой, когда порыв народной души приютил и накормил тьмы тем несчастного голодного и убогого люда. В поисках отрадного сочиняет свою Анну Петровну, земскую акушерку, которая облагодетельствовала целую округу, вовремя вмешавшись в кулацкую плутню и обличив пред Крестьянским банком кулацкую затею, имевшую в виду закабалить крестьян».

Сюда, объясняет г. Ветринский, принадлежит и не оконченный Успенским отрывок «Сам, да не свой», написанный отчасти под впечатлением волновавшей всех истории с сербской королевой Наталией, у которой мужем ее, при насильственном разводе, был отнят сын. «Сам, да не свой»

указывает вообще на *официальные положения* человека, будет ли то положение урядника, священника, чиновника, почтальона, *королевы*, – которые оскорбительно суживают свободу человека, задавливают личность в нем, помещают ноги его, руки его и часто самую голову в какую-то кашу общественных отношений и связанностей, где все трудно, многое невозможно, где человек не живет, не резвится, а еле движется и постоянно задыхается. Это – наивная идеология, одна и та же со времени Руссо. Она указывает, что государство вообще – *трудно*, что цивилизация вообще – *нелегка*. «Нелегка?» Как справиться с этим? Господа, – ну, а *что же* «легко»? Повернем мысли, повернем душу: «трудное – вот *героическое*! Возьмем его приступом, и возьмем его тем радостнее, чем оно труднее!» Это – то самое, та самая общая мысль, какую недавно я хотел высказать в статьях, обращенных к инородцам: «*Исполните* это», т. е. отречение от партикулярного эгоизма, «потому что это – *трудно*». История вообще трудна; да и каждый из нас, хочет он или не хочет, должен готовиться к *труду* последнего дня своего, который ни для кого не легок...

«Трудно»... А может быть, Руссо «легко» умирал? Все стало «нелегко» со времени изгнания человека из Эдема...

Но «трудное» и «унизительное», что припомнил Гл. Успенский по поводу *королевы* Наталии, должно бы напомнить ему, как оно должно было напомнить Толстому и напомнить «социологам», что «ложе *власти*» вообще не есть «ложе *роз*», а именно – терниев. Урядник «не свободен» несколько в кутеже, в распущенности, в «нравах», – и пропорционально он участвует «*во власти*», входит в состав «властительств»... Это должно бы открыть глаза гимназистам-социологам на природу власти и государства: что таковая власть есть *не сладость*, а скорее – *огорчение*, не «легкая жизнь», а – *труд* и *самоограничение*. Ведь весь взрыв революционных чувств покоится на убеждении, заимствованном из программы уездного училища, что государство заключается в расслоении всех людей на «управляющих» и «управляемых», на «власти» и на «подданных», из коих первые: 1) блаженствуют, 2) ничего не делают, 3) все могут, 4) всех принуждают и, *обобщенно*, – *барствуют*, а вторые, напротив: 1) унижены, 2) страдают, 3) лишены всех прав, 4) бедны и трудятся. Взяв голову в руки, наивные социологи типа Успенского и типа Михайловского могли бы и давно должны бы догадаться, что государство, цивилизация и вообще историческое *строительство* представляют собою пирамиду страданий и умалений воли, умалений «самого себя» в «самом себе» (заглавие очерка Гл. Успенского: «*Сам, да не свой*»), которая все уплотняется и все тяжелеет вверх. И что «почтение», оказываемое «верхам», – есть почтение к «страданию за всех», к «терпению» и «самоограничению» для всех... Я – писатель; казалось бы, – «ничего». Да разве я променяю писательство свое и «все могу» писателя на каторжное положение глупого Юаньшикая, который попал в такую тюрю обстоятельств, что, вероятно, лишился и сна, и аппетита. Господь с ним: я ем свой обед, как ни один король на свете, и сплю, как царь Соломон в легкие дни свои с Суламифью... Даже цари, во всемир-

ной поэзии, воображают счастье свое «не в золоте» и не «на троне», а как... забывшегося в поле пастушка... Да так оно и есть *в действительности*. Вот отчего, при первой попытке заговорить с полицейским на улице, я почтительно подымаю котелок над головой: «он – *мой начальник на улице*, т. е. *за меня и всех нас* что-то необходимое делает на улице», напр. приводит ее в порядок: и как же я ему «не поклонюсь», если он несет на плечах мою тяжесть, мой грех, мое страдание.

Я – «свободен», потому что *он* – «не свободен». Так я думал и почтительно кланялся полицейским в самые дни революции. «Наши русские эфоры» (начальники *рынка, площадей* в древней Спарте). Вот это и есть начало «политической премудрости». Перед тем, как пустить профессоров государственного права читать лекции в университет, я просил бы их «пройтись по улице» и сзади наблюдал бы, «куда» они кланяются и сколько. По мере «уважительностей», я заключал бы, на какой ступени государственного созревания они стоят. «Руки в боки», «никому не кланяются»? Тогда бы я им говорил: «Милые люди и почтенные братья мои: так и *гуляйте*, так и *гуляйте* всю жизнь по Невскому и никуда с Невского не сходите. Тут – все баре, тут все – баре; это – праздник, а не служба. А на службу вам еще раненько»...

Тут я кой-что прибавляю для шутки. Но именно «кой-что», немного. Мысль моя совершенно серьезна: служба есть *труд* и *долг*, власть есть *горечь* и *страдание*. Они – неизбежны. Они есть рок и судьба. И поклонимся им как «судьбе своей»...

V

«Следить за холодным ужасом предсмертной болезни Успенского мы не будем, – рассказывает его биограф, г. Ветринский, – она сначала то обострялась, то ослабевала, и друзьям иногда казалось, что писатель еще вернется к литературе»...

Успенский захворал тяжелой формой душевного недуга и умер в психиатрической лечебнице. Но болезнь его подвигалась и развивалась с страшной медленностью. Он годы провел в лечебнице. Сознание в нем вовсе не исчезло, не померкло, не запуталось; скорей оно выросло и обострилось даже... Оно стало только судорожным и фантастически-большим, как тени предметов становятся фантастически-огромными в вечерний час и пугают нас. Бедный Успенский погибал, но среди безумных психиатрической лечебницы он говорил все то же, все в тех же мотивах, в тех же тонах, в каких прошла вся его литературная деятельность. «Смотрите на мужика, все-таки смотрите на мужика», – говорил он приехавшему к нему в лечебницу Короленку. «Несомненно, – замечает о нем г. Короленко, – что в этом исстрадавшемся чужими страданиями подвижнике литературы (т. е. в Успенском) проснулся обычный тип подвижника, знакомый нашей русской порою жестокой, порою простодушной родной старине». Г. Ветринский пишет:

«В таких заболеваниях, какое сразило Глеба Ивановича, редко так долго и устойчиво держится *основное*, что в личности человека составляет ее *глубокое изначальное ядро*. В течение ряда лет поражала наблюдателей *устойчивость идеального начала* в борьбе против всего низменного (противоположение в бреде «св. Глеба» плотному, свинскому «Иванычу» и пр.). В первых стадиях разложения личности явно держалось также *неразрешенное настроение*, которое владело Г. И. с *половины восьмидесятых годов*, – *стремление к новому мировоззрению*, от угнетавшей его *психику законченной народнической революционной идеологии с противными его натуре элементами злобы и насилия*.

Особенно ценен в этом смысле, безо всякой задней мысли, необычайно художественно и, следовательно, правдиво воспроизведенный, жуткий рассказ Елпатьевского о том, как являлась Успенскому *она*, то «св. Евфросиния», то «вся Россия», то (по рассказу Короленка) «инокиня Маргарита», – «чистейшее существо», воплотившая несколько лиц, боровшихся и пострадавших в политической борьбе.

Каждый вечер в рдеющем белом сумраке декабрьской ночи *она* приходила к нему и, приникши к морозным стеклам, смотрела ему в глаза и *говорила те слова, которые он тем же горестным шепотом коротко и несвязно передавал мне*.

«Она» говорила Глебу Ивановичу, что *он не так писал и не то писал, что нужно России*, – *что он пропустил самое нужное и самонужнейшее и не понял самого важного, самого важнейшего... Что Россия – чистая и пречистая, светлая и благодатная, а он всю жизнь писал про темное, про нечистое, выискивал в ней неладное и нескладное...*

«Ведь теперь, С. Я., все читают... все читают... А я все не так, все не так»... (Ср. цитир. письмо А. И. Иванчину-Писареву.)

Он поднимал голову и пристально смотрел в белеющие стекла и своим странным жестом, вытянутыми двумя пальцами, начинал мерно водить около своей головы, словно следя за чем-то, что вилося около нее, и своим странным полусшепотом-полусвистом говорил что-то бессвязное и непонятное, *и молился он, и кланялся, и давал клятвы*»...

К этому рассказу г. Елпатьевского г. Ветринский основательно прибавляет: «Конечно, это могли быть только *клятвы не в омрачающей душу борьбе со злом, а в прямом деятельном утверждении добра*».

«Судьба была к нему не совсем немилостива – в бреде его посещали счастливые видения. Он грезил, что «все насильники и злодеи устыдятся, а все униженные и оскорбленные воспрянут духом и на земле наступит Царствие Божие» (рассказ Н. Михайловского). В том же бреде он писал блаженно безумные строки: «Я весь глубокая любовь. Не могу выразить того глубочайшего счастья, глубочайшей любви, которые зреют во мне с каждой минутой, с каждым днем и сулят радость жизни в счастье и любви на долгие годы»... «Бог и любовь к Богу – и весь воскрес, каждая капля моего горячего сердца свидетельствовала о величии Бога, и я моментально был потрясен, испытывая глубочай-

шее счастье быть охваченным горячею любовью к Богу. Таким-то воскресшим в Боге, обновленным светом истины и правды, я и явлюсь к тебе, ко всем любящим меня. А обновленный душой, глубокой любовью ко всему свету, начну новую жизнь писателя» (из письма к жене)).

Есть лица (и слава Богу, что они попадают и в литературу), к которым как-то присасывается сердце, «несмотря ни на что», и их не можешь выкинуть из души своей, что бы они ни говорили, ни утверждали, каково бы ни было их действие на людей, на историю. Лица, так сказать, дорогие *в самих себе*... В нашей литературе к таким лицам особенно принадлежат Белинский и Успенский. Что такое «мысли Белинского» *теперь*? Они «все прошли»... Так же точно «политическое положение» Успенского нам или чуждо, или враждебно. О всем этом говоришь в себе: «Не надо». Но остается *личность* за пределами «мыслей»; остается гроб и что-то такое в судьбе, что отделяется и не сливается с политической деятельностью того, кого «звали человеком». Вечное воспоминание как-то привязывается к ним; «вечная память», – как дала формулу церковь.

Это – *теплые люди*. Не разумные, не мудрые, не полезные или вредные, а – *теплые*. Они и в нас будят или пробудили какую-то душевную теплоту, которою поистине живет человек, и ею *одною* живет, как по изначальной судьбе своей «теплокровное животное», что сливается с другим еще признаком зоологии – «живородящего». Люди суть «теплокровные и живородящие животные», и это определение их ценнее и существеннее, чем гордая этикетка – homo sapiens. И вот, кто увеличивает эту сумму человеческой теплоты на земле, особенно дорог нам и никогда не забудется.

И Белинский, и Успенский существенно попали не в свой лагерь; «вошли не в тот вагон», куда ехали изначально по благородному рождению своему и первоначальному в семействе воспитанию. Оба «заблудились», как мальчики в сложном лесу цивилизации, и набрали «не тех грибов», за которыми вышли в лес... В параллель с предсмертными видениями Успенского, слишком ясными в своем смысле, нужно поставить «Бородинскую годовщину» Белинского, которой он потом «так стыдился», когда его «пристыдили друзья» вроде Герцена... «Ну, какой же ты патриот? Ведь ты – социалист», – пробасили ему Герцен и «Мишель» (Бакунин). «Да. Я – социалист», – робко проговорил юноша Белинский, потупив взоры перед гувернерами, которые так явно были учение и образованнее его, наконец, просто старше (что очень важно). Не задавали вопроса в истории литературы: *почему* же, однако, Белинский написал «Бородинскую годовщину», – под толчком какого душевного движения? «Был впечатлителен и увлекался», – скажут десятки его биографов, комментаторов и издателей «с примечаниями» (г. Венгеров сейчас). Хорошо, «увлекался»: но *отчего* же он должен был увлекаться непременно социализмом, а не Россией; почему его должны были «волновать» французские революционеры, а не русское историческое долготерпение? – «Как «отчего»? – отвечают Герцен, Мишель и Венгеров, – оттого, что *мы* увлекаемся революционерами, а Россия нам не нужна».

Вот. Все сводится к «мы»... Не к разуму, не к совести, а к «наш лагерь» или, конкретнее, – «наш вагон»... Бедному Успенскому, «который мыслил образами, а не понятиями», как всякий художник и поэт (в сердцевине таланта – Успенский был *поэт*), – никак не могло прийти на ум, что он попал в лапы и всю жизнь провел в лапах того «плотяного, свиного Иваныча», о котором сам же с таким ужасом писал, лишь в последние годы, в вырывающемся бреде противоположив ему белоснежную, чистую «инокиню Евфросинию»... «Святой Глеб», «свиной Иваныч»... «Россия – она *чистая* вся»... Конечно, «чистая» не в эмпиричности своей, где «свиного» всегда достаточно, – но в *основном* и в *изначальном*, – в той, вот, «Бородинской годовщине» и подобных страстных днях истории, к каким и Белинский рванулся самостоятельным движением души, да «остановили» друзья. «Друг наш, волнующийся и увлекающийся, – ведь ты же социалист. Что тебе Россия и ее Бородинская битва?» Сконфуженный «социалист» сел и замолчал. Нет: сконфузился, извинился и стал писать «напротив». Слабое сердце... Это у Достоевского есть превосходный и трогательный рассказ – «Слабое сердце» об одном не очень умном и добром чиновнике, который мешается в уме от усердия к службе и страха, что он «не исполнил ожидания начальства». Конечно, нужно очень уменьшить сравнение и все-таки сохранить мысль о некотором сходстве этого «слабого сердца» у Достоевского с Белинским около «друзей» и с Гл. Успенским тоже около приятелей»...

Как-то очень давно, говоря о трудности борьбы с «зеленым вином», – я заметил, что трудность этой борьбы увеличивается оттого, что бедной душе простолюдина, живущей без всякой «обстановки», старый «кабак» и его «завсегдатаи», его милая «компания» – давали поэзию, давали мечту, родили в нем воображение. Ах, «Иваныч» очень хитер, и может соблазнить чарами, скрывая под ними скаредное существо свое. Отчего не с «инокиней Евфросинией» были Успенский и Белинский? Она – строга, она – суха. У нее – ни песен, ни сказок, а один подвиг. Что с такою делать «молодому человеку», каковыми, выбирая путь жизни, «сядая в вагон», были и Белинский, и Успенский? Евфросиния – монотонна. Тут подкатил вагон с «хорошей компанией»: гармоника, песни, сказки. Воображение, много воображения. Никакого дела, «обязанности», «службы». Ничего вообще монотонного и тянущего душу.

– Вот и Герцен...

– Вот и Michel...

Профессора, писатели, журналисты...

– Мы будем делать революцию в России. Т. е. мы будем *пока* разрушать, а строить будут потом, уже не наше поколение. А разрушать – это всегда шум, движение, «бревна валяются», «стропила падают», может – ушибить, есть опасность, и вообще это пре-за-ни-ма-тель-но...

Правда, в доме «кто-то живет» и может живущего ушибить, но такие мысли приходят под старость лет, пока же, по благородному Шиллеру:

Жизнью пользуйся живущий,
Спящий в гробе, мирно спи.

Вот и Michel с шампанским, вот и Герцен с миллионом, а там, смотришь, придет и Венгеров «с примечаниями». И бессмертие здесь, и вечная слава – там. Правительство немного преследует, но именно – немного. Жутче жить, слаще жить. «Как на охоте»...

Сорок медведей поддел на рогатину,
На сорок первом пропал,

скандирует Ярославцев-Некрасов, а Михайловский подмигивает: «Так ведь мы не попадем в *сорок-первые* и дальше Любани никуда не поедем»...

А главное – все шумно и полно движения, когда «инокиня Евфросиния» так неподвижна...

– Ну ее, – старуху... – говорит молодой Герцен...

– Ну ее, салоппицу, – иронизирует Мишель...

– Ну ее, постницу, – говорит скрытый вивёр Михайловский...

– Эта-то наша старуха Россия... Мы заведем молодуху себе, у нас будет «молодая Россия», с румянцем, с глянцем, чернобровая и воструха... У ней – и песни, у ней – и сказки, у нее – и пляс, и гармоника... Да-ле-ко у-ка-ти-м!!!..

Белинский и Успенский вошли в вагон... В тот упоительный кабак, который имеет свою «ворожбу» и «чары»: *настоящую* ворожбу и *настоящие* чары.

Ах, господа: пожить всем хочется:

И я там был,
Мед, пиво пил.
По усам текло...

Как не соблазниться, не «войти»... *В самом деле* – движение: несется вагон. Только скверно, что «Иваныч» ухмыляется в бороду...

Вошли...

«Евфросиния» заплакала. Но Евфросиния терпелива, прощающая: и никогда все-таки не забудет, что от нее ушли два мальчика, пылкий Виссарион и золотое сердце – Глеб. Она их помнит именно добрыми, как один рассказ в юности о ее страшном дне, а другой перед могилой вспомнил, что ведь надо было быть «с нею».

– Ну, что же: много детей меня оставило. Но дети забывают мать, а мать не позабудет никогда детей.

Старый ум. Старое правило, – из тех «стропил», которые надо бы «на слом».

Берегите, дети, старый дом: без него унесут вас ветры буйные, засыпят пески сыпучие, заморозят стужи зимние.

«ДОН-КИХОТ» В НАРОДНОМ ДОМЕ

Ф. И. Шаляпин очень хорошо сделал не только в художественном смысле, но и в педагогическом, воспитательном смысле, взяв на себя роль Дон-Кихота в опере Массне и побудив дирекцию театра двинуть на сцену эту оперу. Музыка ее не сложна, всем понятна; опера вообще очень уместна именно в *Народ-*

ном доме... А сам Шаляпин и несравненный Санчо-Панча дали великолепное зрелище благородного и героического. Как жалко, что дороговизна цен не допускает туда *бедноты*, – не допускает студентов, гимназистов, курсисток, гимназисток. Вот бы кому место здесь... Я видел в публице «чету Грузенбергов», как живыми схваченных на портрете В. А. Серова на недавней выставке; видел Н. А. Хомякова, А. И. Гучкова, бар. И. В. Дризена... «Ах, не то, не те», – думалось, глядя на них, «любимцев лени и изящного». – Сюда бы – юнцов, подростков глядеть на старого Дон-Кихота, на забытое рыцарство; выслушать в великолепном пении Шаляпина святые слова, написанные Сервантесом»...

Это, действительно, святые слова, – и Шаляпин дал превосходный образ рыцаря, простого, чистого, немного безумного, ни на одну минуту не смешного и в каждую минуту и во всяком движении только трогательного. Зрелище и слова особенно волнуют *теперешнего зрителя*, так как с утра до ночи и каждую неделю, и каждый месяц он чувствует, как прет в него спешит и сзади мещанинишка, холуй, плоскость и пошлость...

Боже, куда то девалось! Боже, в этом ли состоит «прогресс»?.. Какие-то воды, мистические воды, подмыли и размыли древний материк великих чувств, великих мыслей и вытекших отсюда великих слов! Все – размыто, раздроблено, обращено в куски, обращено в песок. Скажем с Шиллером, рыцарем в поэтах:

Нет великого Патрокла,
Жив презрительный Терсит...

Боже, как потускла фигура человека! И как понятно, что этот «маленький человек» в фигуре не умеет более ни строить великих храмов, ни писать великих картин; и только еще умеет иногда плакать в музыке о смерти и гибели всего благородного... Умер рыцарь: знаете ли, что в нем умер и великий писатель, и великий архитектор; может быть, умер даже великий политик и законодатель... Ибо, ей-ей, нельзя быть и великим законодателем, не имея чего-то рыцарского в груди, не нося своей «Дульцинеи законодательства» в душе...

Умерла мечта, вот в чем дело; умерло мечтательное в душе человеческой... Что такое человек без мечты? «Полено дров» в геенну преисподнюю...

Сидя в опере, я все думал о профессорах истории... Ах, профессора! Ну, вот вы напишете о Дон-Кихоте длинную диссертацию, где деревянным языком соберете все комментарии, напишете сто ученых примечаний и заставите студента, курсистку и гимназиста учить на память ваши «примечания»... Умер последний историк-рыцарь, Карамзин, с великим чувством отечества, с великим чувством истории. Никто не оглянется на тот разительный факт, что ведь теперь историю пишут или, вернее, «составляют» и компилируют люди с тупым пониманием своего предмета, этих рыцарей, этих королей, этих первосвященников, – и всего решительно, что занимало их, волновало, раздирало души их и кидало в борьбу и войны... Что понимает современный историк в святых крестовых походах, в рыцарских и духовных орденах, в тамплиерах, в иоаннитах?.. Ему бы добратся до «по-

душной подати перед французской революцией», до «пауперизма в последней четверти XVIII века» и до милых санкюлотов, которые пошли с кулаками, палками и кочергами рвать картины, разрушать замки и вообще основывать «блузу и пиджак»...

.....
Бедный Дон-Кихот вовремя умер. Он стал «не нужен и непонятен» среди блузников и профессоров...

.....
Вся история, – опять, когда я сидел в театре, – мне представилась возможным безумием, но гениальным и благородным безумием, которое долго не пускало в дверь «истины в пиджаке». Но может быть, «истина» действительно ходит в пиджаке? Может быть, «истина» – соплявая; может быть, «истина» – слюнявая; может быть, она с выпавшими гнилыми зубами, с провалившимся ртом? Может быть, «истина» – именно этот профессор, который мне кажется таким тупым и неинтересным?

«Мне кажется...» Кто такой «я»? Ничто.

А «они» – ученые. Все языки знают и прочее. В самом деле, может быть, санкюлот, профессор и «заработная плата» – венец мудрости?..

Может быть, может быть... Чтобы сказать, надо знать «все языки», а я обладаю одним... Но у меня есть мой бедный вкус, который говорит, что даже горничная Дульцинея, принимаемая за герцогиню Тобосскую, все-таки есть что-то более кровное и более сочное, чем их пыльные диссертации с «истиной». И «роман с горничной» интереснее «разговора с профессором»... В конце концов, или в конце веков, я думаю, и «пролетарии» с этим согласятся.

Когда-нибудь гг. профессоров заколотят в хороший гроб, а пролетарии, горничные, монахи и аббаты, особенно аббатисы и игумены, позовут из гроба умершего рыцаря и скажут:

– Давайте *играть жизнь*... И немного сумасшествствовать... И вечно любить...

– И строить безумные соборы, и предпринимать ненужные походы как самые нужные.

Рациональность – конечно, в разуме. Но мудрость всегда немножко сумасшедшая. Потому-то она должна быть смела, – и потому, что она должна быть прекрасна, и потому, что она должна творить, т. е. видеть, гореть, а не только «продолжать существование», к чему способен даже профессор...

НА ВЫСТАВКЕ КАРТИН А. А. БОРИСОВА

– Капляю...

– Отчего?!!

– Простудился.

– Простудились?!!

– Да. Этот ужасный петербургский климат, не похожий ни на северный, ни на южный и вообще ни на какой в свете климат, делает то, что не знаешь, как здесь

одеваться, – и от этого вечно простужаешься, чего я не испытал ни на Новой Земле, ни в Маточкином Шаре и вообще нигде, где рисовал эти картины...

Таков был разговор с Александром Алексеевичем Борисовым, – примерного здоровья и молодости (около 40 лет), на его выставке во дворце князей Юсуповых, на Литейном проспекте.

Уроженец Вологодской губернии, из крестьянской семьи, он в раннем детстве опасно занемог. Для крестьянина и в лесах вологодских какая медицина? – Только одна: «пообещать что-нибудь трудное» Богу в случае выздоровления. Родители «пообещали» в случае выздоровления послать мальчика в Соловецкий монастырь «в служки», на служебные работы. Мальчик выздоровел. Мальчика послали в Соловки. Здесь его стали посылать ловить рыбу. Это – с утилитарной целью. Но мальчик очень скоро почувствовал поэзию рыбной ловли; поэзию льдов, снегов, «синя-моря» вокруг... Вокруг и потом «дальше»... Господь вложил ему художественный глаз, чуткость к краскам, цветам, их оттенкам...

Потом – в Петербург, учиться...

И, выучившись, – опять вернулся к своей теме, на свой Север. Летом, с трудами, с опасностями, он пробирался как можно дальше на Север, в страны безжизненные, безлюдные, где изредка попадается промысловый самод, – и то один, то в товариществе с одним ученым зоологом, изучавшим фауну тех стран (вод?), – с картой и компасом забирался рисовать... Бывали недели беды, когда они вдвоем, имея ружье и стреляя тюленей или оленей, – питались только сырым мясом и сырой кровью этих животных. Пока было коротенькое лето, равно в коротенькую нерешительную весну и коротенькую нерешительную осень, – он рисовал и рисовал. Затем наступала полярная ночь, – и вот тут «бывало скучно», говорил он. «Отчего же вы не возвращались, – например, в Соловецкий монастырь?» – спросил я. «Нельзя. Еще летом пробраться можно туда, но зимою эти страны отрезаны от всего живого сущего на земле»...

Через такой подвиг прошел Ал. Ал. Борисов, – и принес на полотно нам, да и во всю Европу, целому миру, страны этого вечного льда, этой мертвой холодной пустыни.

Где вообще ничего, кроме света и красок, нет. Обширнейшая в сущности тема для утонченного художника. Льды, море, снег... Воздух и воздух, больше всего воздуха... Предметов – нет. Леса – нет. Травы – нет. Наших рек – нет... Буквально, переливы красок – и только.

И глазом живописца, который дал ему Бог, он влюбился, он впился в эти переливы света, – в эти белые, голубоватые, темно-темно-синие, фиолетовые, огненные цветы...

И воссоздал этот «замороженный мир Божий».

Россия, как мы ее чувствуем, здесь и в Москве, по Двине и Верхней Волге, есть, конечно, страна холода, преимущественно – холода. И до сих пор никто нам не дал в живописи «холодной России», коренной нашей матушки. Следуя и в литературе, и в искусстве той лермонтовской «сосне

Севера», которой мечтается и воображается «пальма Юга», мы и литературно, и живописно, и всячески всегда тянулись к Югу, к степям Малороссии, к красотам Крыма, Кавказа, южных морей. От Севера, от строгого Севера, нас даже отталкивало. Шишкин с его «сосновым бором» был самый северный живописец. Но сосновый бор – не характерен для России. Характерна – зима. Характерны – снега...

И Борисов дал их. Одна комната на его выставке заставлена «деревьями в зиме»: что это за роскошь собственно рисунка. И сколько же живописи, энергии, силы в этой зиме. Солнце, блистающее в снегах, ели в снегах – как все это крепко, здорово, трудолюбиво...

Кстати, «трудится» Русь именно зимою. Зима – «трудовое», «центральное время года» в России, – когда совершаются «все главные в году дела».

Самая «психея» этой ледяной и снежной красавицы – другая... Она без речей – прежде всего. Тогда как Юг – это неумолчный шум лесов, трав, птиц, зверей. Она величава и прекрасна, эта северная психея... Она – страшна, потому что близка к смерти...

Саван, саван, вечный саван... по которому неясными пятнами бродят белые медведи, белесоватые олени...

И «замечтался» на них наш молчаливый художник... Он, действительно, молчалив. «Не заболтаешься» с ним...

Душа его вступила в какое-то «незаконное сожитие» с этой «покойницей в белом»...

– Скажите, а когда вы бываете *на Юге*, вы рисуете? – спросил я.

– Нет, не влечет. Не хочется. Растянуться на травке, полежать, – да, люблю. Но ничего не манит срисовывать...

Явно – любовь к покойнице в снегах. «Незаконная любовь». «Я увековечу эту ледяную красавицу, которая не раз ставила меня на край гибели. От кого больно – того и любишь».

Вечная судьба человека...

К ПОМОЩИ МАТЕРИНСТВУ

(Концерт для увеличения средств
«Капли молока»)

Есть мысли индивидуальные, и есть мысли коллективные, – есть вдохновения личные, и есть вдохновения целых эпох, «времен и сроков», как говорит Апокалипсис, – вдохновения племен и народов. Отвратительно, что вопрос об «аборте», т. е. о принудительном изгнании плода человеческого, перешел из преступного шепота в громкие обсуждения темы и наконец со «звоном и топотом» в целые якобы ученые «резолюции», на которые, конечно, государство никогда не обратит внимания, а церковь и *не дозволит*, и имеет полное *право* и даже все *обязанности* никогда не дозволить введение подобного

закона в состав законодательства православного государства. Ибо это поважнее и попринципиальнее «правил о разводе», в которых она по недоумению так упорна. «Правила» именно суть «правила», т. е. дело *удобства* для жизни; но «ненаказуемость аборта» – это страшный противорелигиозный принцип. Это – «атеизм и безбожие» в действии, это – не книжка атеистическая, а жизнь безбожная; и, с моей точки зрения, жизнь какая-то дьявольская. Нельзя зимой сказать жильцу: «Пошел на улицу!» Вдруг ребенку, недоношенному, безмолвному, бездеятельному, но живущему и начавшему жить, сказать: «Пошел на улицу! Вон из меня! Нет тебе места во мне». И кто же это скажет? – Мать! «Посоветовавшись», вот видите ли, «с доктором»...

Нет, господа, давайте развивать обратное вдохновение. «К детям! Больше детей! Давайте народу», – вот вдохновение здоровой нации, молодой нации. Будет нам, Русским, хиреть и подражать дряхлым нациям. А крик «к молодости», «к детям» непременно будет криком – «к материнству! к помощи матерям!». Из писем, полученных мною по поводу статей об аборте, особенно замечательным, мудрым и благородным я нахожу одно, где мать семейства рассказывает, что она внушила своим двоим сыновьям, когда они достигли 16 и 17 лет, что, «на мой (т. е. *ее*) взгляд, – нет детей незаконных, и если им (т. е. *юношам*) случится по неосторожности или как-нибудь до брака стать *отцами*, то она этих детей будет считать именно *их детьми* и из приходящегося им наследства отделил часть *этим детям*», от кого бы они ни родились, от случайной встречи, мимолетного увлечения, от простолудинки, от прислуги. Вот это – дело! Во-первых, это заставит быть поосторожнее молодых людей и не распускаться, а во-вторых, это и несчастных матерей побудит быть именно «родными матушками» своим детям, а не людоедками-потаскушками! Это ведь обыкновенная история: сегодня – романтическое увлечение; через год – с помощью врача «вытравление» и через два года – девица, ожидающая на панели кавалера.

Сколько гибнут! Сколько гибнут! И в центре всего – аборт. Этот преступный, ужасный «аборт», который по связи греха вслед за смертью ребенка влечет к гибели и его мать.

Давайте развивать общее вдохновение к материнству и работать над подробностями «охраны и *помощи* материнству» на всех его ступенях и во всех его формах. Об одной из таких подробностей я хочу сейчас говорить. Меня посетила одна дама «не первой молодости», а потихоньку сказать – «первой старости», супруга большого чиновника министерства иностранных дел, которая, войдя, произнесла слова, поразившие меня ясностью и логикой:

– Что нам делать, матерям семейств, сыновья которых уже на службе, а дочери – замужем, которые имеют средства, как не отдать остаток жизни и энергии материнству других женщин, не так счастливо поставленных, как мы...

– Да! Да! – сказал я с увлечением. – Конечно!..

– А если «конечно», – прибавила лукавая женщина, – то напишите о нашей «Капле молока»...

Название мне показалось сентиментальным и не очень понравилось, но она поспешила:

– Успокойтесь! Дело не так элементарно, как кажется... Мы *учим быть матерями*, и у нас работают врачи... Русская женщина, из темноты народной, из нищеты народной, родив ребенка, не умеет его ни спеленать, ни, главное, накормить, хотя «своя грудь» у нее и есть... Не умеет! Не умеет!..

Я вспомнил постоянные «перекармливания» ребенка, – желудочные затажные расстройства, и страшную смертность детей именно «от желудочка». Механизм этой гибели ужасен и прост: неосторожно мать уже *через час* (нужно – *через два часа*) покормила ребенка. Не успевши перевариться, молоко, на переварку коего у младенца *не хватило сока* миниатюрной его поджелудочной железы, – свертывается и закисает в желудке. От боли, при этом возникающей (младенец тогда «сучит ножками», т. е. корёжится), – ребенок *кричит*; тогда мать, желая его «успокоить», а отчасти и «заткнуть рот», – опять ему дает грудь; уже – через четверть часа после предыдущего кормления. Ребенок – гибнет! Он совершенно не переваривает масс принятого молока, в желудке у него не пища, а «черт знает что». Он умирает, а мать – ревет или скорее «делает другого», которого так же и этим же путем «спроваживает на тот свет». В нищете, в тьме, в работе и кратких физиологических удовольствиях, «последнем солнышке» у такой бедноты, у которой нет ни опыры, ни даже балалайки В. В. Андреева!

– Вот! Вот! – сказала не столько юная, сколько пожилая моя посетительница. Мы *учим*, а не только раздаем каплю молока, т. е. в сущности большие количества молока двумстам младенцам. Это – дети работниц! Куда же их денут матери, уходя на работу; а остаться с ребенком – значит лишиться работы и средств пропитания. Мы подбираем таких ребят, «оставляемых на хозяйек», а в сущности – ни на кого, на «случай», на «Бог сбережет», и заменяем такому ребенку – мать. Но мы зовем к себе *и мать* и обучаем ее «первому материнству»: кормить, купать, пеленать, давать помощь в легких случаях заболевания... У нас, кроме того, «Ясли»...

Еще что-то такое говорила. Я ничего не понимаю.

– *Напишите!*

– Как я «напишу», когда ничего не понимаю.

– Вы – философ и понимаете, что «400» больше, чем «200», и если у нас удвоятся средства, то мы будем кормить «400» – таких *последних в населении детей*, которые вообще почти все умирают... Большинство умирает... У нас «Ясли», и мы принимаем и детей девушек...

– Конечно!

– Напишите!

– Что же я «напишу»???

– У нас будет «Концерт» («Концерт капли молока!» – воображаю!) с вашим любимым В. В. Андреевым, – и если придет «много» слушателей, а еще лучше – «очень много», то наши средства удвоятся, и мы будем выкармливать... 300, 400 или 500... *Наши средства*, т. е. энергия и желание, –

неистошкими... Но конечно, денежно мы можем пожертвовать только «сверхсметное» бюджета каждого года...

Я понимал: и банки «собираются» не «из своих средств», а через «акции», т. е. через маленькие взносы публики (покупка акций).

— Да покажите мне хоть одного «вскормленного ребенка»?!

Она вынула и показала бутуза, написавшего каракулями на фотографии своей особы какую-то «благодарность маме-кормилице».

— Хорошо. Но куда же вам посылать «средства» и «помощь»?

— Председательнице, Наталье Александровне Хомяковой, С.-Петербург, Пантелеймоновская, дом 5. Это — председательница. Я — ее помощница. Вот — женщина-врач. Еще есть врачи. Вот — «Устав», вот — «Отчет»... Еще тут — записочка, объяснения и карточки наших питомцев...

— Боже мой, но куда же все это «читать» и «смотреть». У меня от «просмотров» глаза ослепли и от «писания» руки онемели. Нет, я философ и «сразу» все понимаю: во-первых, надо рождать, и как можно больше; с радостью рождать можно только при надежде, что дети «выживут»; и «выжить» они могут действительно, если помогут «извне», «посторонние», — вот такие обеспеченные дамы, как г-жа Хомякова, и вы, и многие, прописанные у вас «членами». Дети, детвора — народное богатство. Это — живой приток сил в страну: все равно что приток пара в паровик и в машину или «открытие новых россыпей золота»...

Золото, золото падает с неба...

сказал о дожде на ниву А. Н. Майков. С еще большим правом мы это можем сказать о детях. *Вся* страна должна радоваться этим волнам рождающихся, и, не будь я старик и только философ, а не поэт, — сложил бы гимны «крикунам из чрева матери». Теперь же скажу прозой: «Что вы орете так, едва выключившись на этот свет? Испуганы ли жизнью будущей? Хотите ли борьбы? Или просто требуете грудь матери? Вот вам сейчас даст здорового шлепка мамка или бабка, потому что на сем свете без шлепков не водится и всякий человек, рождаясь, поступает под «начало» и «власть»... Ага, испугались, притихнули. Ничего, — это *потом* наступят сумерки жития, и труд, и экзамены... Пока растите, живите и, пожалуйста, поменьше хвораите. До семи лет от вас ничего не требуется, кроме здоровья и отличного расположения духа».

На «расположение духа» детки вообще склонны. «Экзамен небольшой».

В «Отчетах» и прочее я прочитал аргументы в пользу обильной и здоровой рождаемости: 1) для государства; 2) для воинской повинности, и проч., и проч., это мне не кажется поэтичным, разные «статистики»... Бог наслал на царя Давида моровую язву, когда он вздумал «считать население», т. е. произвести первую перепись населению Иерусалима... «Ты считаешь, а Я твой итог испорчу». «Считать» вообще опасно — людей. Жизнь — это пророчество, это — поэзия; а какая же «поэзия» с расчетом? Рождаемость должна быть именно вдохновенна, здоровье — вдохновенно же, «капля молока» —

вдохновенна и помощь ей – вдохновенна. Ибо во «вдохновении», в отличие от «прозы», есть какая-то радость, есть внутреннее упоение. «Навалим вот разом – и победим». В данном случае – победим смерть, смертность. Со «статистикой» какое же упоение, какой восторг...

Так, господа, и поступайте: «Каплю молока» надо разлить по всей России; в Петербурге непременно надо расплескать ее по всем районам, особенно – рабочим, фабричным, по пригородным... Пусть матери самые бедные и рабочие не тяготеют детьми своими. Я заглянул в некоторые «пожертвования» и вижу, что везде дается то даровая квартира, куда бы собирались матери и приносились дети, то – обстановка для квартиры, кой-какая мебелишка, и для детей – одежонка, матрацы. Взнос единовременно 75 руб. избавляет от последующих ежегодных взносов. Много есть больших пожертвований, до 300 рублей. За разъяснениями, с требованием «Устава» и «Отчета», можно обращаться как к председательнице, г-же Хомяковой, так и к ее помощнице, Надежде Петровне Балас, СПб., Литейный просп., д. 30. Ну, господа, – телега вообще едет, и не дурно едет: но, чтобы колеса не скрипели и не будили годовалых бутузов, – надо их смазывать и смазывать. Всякая помощь здесь каплет каплею действительно в самое нужное и живое дело: накормить и оздоровить почти брошенного младенца, которого родила мать в страхе и тоске: «что она с ним будет делать? куда его денет» – на те часы, когда ее требует к себе работа.

Станем «за мать» около младенца: и Бог нам поможет.

«ГДЕ БЫ ПОМОЛИТЬСЯ?»

Этот вопрос неотступно стоял у меня в голове за обедней в день Благовещения, в церкви Александра Свирского, что на Николаевской улице. Церковь невысокая, без купола: и наступила, уже с середины службы, – очень хорошей, очень уставной, несколько монастырского типа, – такая духота, жара, вспомоществуемая еще давлением на грудь, спину и бока возле стоящих богомольцев, что поистине «обедня» превращалась в «страстное стояние», т. е. трудное, страдальческое. Конечно, «за веру потерпеть хорошо», и, когда нет других подвигов, хорошо потерпеть спиной и ногами. Но решительно, – еще год, два, три, пять пройдет, – и петербуржцам будет некуда вообще протесниться к обедне в большие, любимые, народные праздники. Некуда по геометрической величине площади церковного пола, на который не может встать тот приблизительно миллион богомольцев, который в этот день *непременно* пойдет к обедне. Ведь у нас, в противоположность Западу, ходят «непременно» и дети в церковь. Т. е. детей «носят» в церковь. Вчера было умиительно смотреть: отец впереди «продирается» с ребенком на руках, за ним «супруга» с другим, совсем грудным еще. Что делать, привычка. Кто-то толкнул меня в живот: посмотрел вниз: в таком пару и положительно начинавшей становиться опасною давке девочка, лет девяти, не старше, несет,

как мешок на плече, брата лет четырех. Муравей тащит муравья. Никак нельзя сказать таким: «Незачем». – «Как незачем? – воззрится девчонка. – Благовещение – хотим Бога видеть, божественное слушать». Учеба. Цивилизация.

Тут – не рассуждай, а строй. Т. е. строй, и как можно скорее, новые церкви. В пять лет население Петербурга возрастает приблизительно на тридцать тысяч жителей, и для удовлетворения потребности только *прироста населения* надлежало бы строить каждые два года одну новую огромную церковь, или, правильнее, *ежегодно надо воздвигать по одной новой небольшой церкви*. Господа, для «скорее» и для «обильнее» надо воздвигать деревянные церкви, маленькие и самого простого стиля. Таких в виде «мотивов народного храма» множество нарисовал, накидал карандашом и пером наш народник-архитектор Вл. В. Сулов («Русское зодчество по преданиям народной старины», СПб., 1911 г.). Надо строить самое простое, самое дешевое, не пугаясь, что «испортим деревом столицу». Самая эта мысль «испортить церковью столицу» кощунственна, безбожна и невыносима. Да на Выборгской стороне, в фабричных районах, я помню, и есть одна бревенчатая и досчатая церковь, которую кто-то «начал и недостроил», или «каменная сгорела – и пока на месте ее поставили деревянную». Я сам как-то был в ней, лет десять назад, – и было очень умирительно. Кстати, хоть наскоро: один рабочий, и «сознательный рабочий», обратился ко мне месяца три назад с устной просьбой обратить внимание в печати на следующее: он был у меня, «и с женой», только без детей, – заявил себя чрезвычайно резко «социал-революционером», почему-то сказав, что с социал-демократией это не имеет ничего общего; а просьба его была следующая: «Что же они, господа архиереи, служат все только в одном Казанском соборе?

Ведь сколько их, архиереев, в Петербурге: и викарные, приезжие. И никогда, никогда не служат в приходских церквях. Что же, прошу я вас объяснить, может быть трогательнее архиерейской службы, – когда он выходит с три-свечниками и всех благословляет светом, а народ падает ниц. Что же может сравниться с этим *величием* (он сказал это слово) и с этою красотой нашего богослужения. И вот мы, на Выборгской стороне, *навсегда, навсегда* лишены этого видеть... У нас весь народ социал-революционный, мы социал-демократов (что-то вроде «перервем», сказал он)... но, может, мы и не были бы таковы, сердца многих умягчились бы, если бы мы и тут, даже в богослужении, не видели, что как-то забыты и обойдены по глухим и далеким районам Петербурга господами: духовенством. Пусть служат хоть *по разу в год, по два раза*, – архиереи, но непременно в каждой приходской церкви. Мы хоть и революционеры, но к архиерейской службе пошла бы вся Выборгская сторона... Передаю слова «как есть», – довольно удивительные. В них много разумного и основательного. Народ, лучший *молельщик*, – явно оскорблен, что и в земном «царстве небесном», каковым ему не может не казаться церковное богослужение, есть «знатные» и «незнатные», «избранные и выделенные», а мы – «напоследях». Это – нехорошо, религиозно не хорошо.

Уверен, что это «так только», – «забыли». Что это – случайность, а не принцип. Бог даст, наши добрые архиереи пройдут и на Выборгскую сторону, пойдут по приходам. Чуть ли рабочий этот не сказал мне определеннее: «Что они борются с пропагандой (революционной) не тем, чем надо: пусть будут архиереи *с нами*, служат *для рабочих*, не забывают *народ*, – и никакой пропаганды не будет, т. е. ее не будут слушать». Но я не помню, были ли сказаны эти точные слова: а только *уклон речи и тон* рабочего клонился сюда.

Он был дюжий, слоновый, молодой. И жена – молчаливая, молоденькая, худенькая, маленькая. Это, должно быть, она тащила революционера за рукав к службе. Но, явно: в нем, как и у *многих в русском простонародье*, билась художественная жилка, и вот ею-то он был прикован и зачарован, действительно, великолепною архиерейскою службою. Он так отмечал «величие» и «торжественность»... Ну, господа: а ведь полюбишь в богослужении «торжественность» и «величие», – потянешься к торжественному и великому и в истории... Эх, не «с того конца» наша *политика начата*...

Начали с адвоката, подбавили жидка, едем на земском враче... А надо было с «миром Господу помолимся». В самоуправление и «законодательство» наше не вошел собственно *весь* «столбовой русский народ», народ в его аристократических выражениях... Красоту забыли; *немногое* – Бога и красоту забыли. От того и «Дума», и «партии», и «наши», и «не наши», и собачья свара о всякой выброшенной кости. Все молодые дисканты; а умиротворяющей и объединяющей «социальной» октавы нет. Нет архиерея, нет протодиакона. Нет «орлецов» под ноги. И «свет Христов – *просвещает всех*». Разве можно на шаромыжничестве да на «изловчился» цивилизацию строить. А мы строим ее на «кто ловчее». Пустяки. Дым.

За грехами и изморившись вышел на улицу покурить и вместе с портсигаром вытащил письмо, в свое время (от усталости) даже не прочитанное: прочел теперь на отдыхе, и посудите сами, как оно нужно и к делу:

Милостивый государь, Василий Васильевич! Будьте добры, обратите внимание на бесправное положение прихожан спб. Казанского собора. Начальство собора не хочет понять, что люди, посещающие сей храм, жаждут видеть совершаемое богослужение, а это-то последнее и достигается с большим трудом. Вы лично, войдя в собор, убедитесь в этом, если вы пойдете к решетке главного придела: во время праздничной литургии в лучшей части и самой близкой к клиросу ничего не видать, ибо позаботились ревниво все закрыть от взора любопытных богомольцев с одной стороны великовозрастными певчими в числе восьми человек, плотно стоящими, точно для смотра, а с другой стороны разного рода публикой, попадающей на клирос за мзду сторожам. Середина же, лучшая часть храма, с которой бы был единственный открытый вид в алтарь, отгорожена опять-таки здоровой решеткой, ограждающей ценный ковер. Спрашивается, что же отцы священники никогда не задавали себе мысли и вопроса в логичности сих порядков; обидно за них, учителей

народа, которым Христос вверил паству Свою, а Царь с высоты престола призывает пещись о благе Своего народа, награждая Монаршей милостью его за заслуги. Миссионеры на собраниях толкуют об мечетях, кумирнях и разных сектах, а на непорядки своей родной церкви не обращают никакого внимания; люди идут в храм, и для того чтобы видеть алтарь и престол, должны стать почти у западных дверей, чтобы узреть дивные обряды православной церкви. Митроносный настоятель новый человек, и от него надо было бы ждать устройства, порядка, но все осталось по-старому. Воздействуйте ради Бога словом печатным, других средств нет на сих людей, и откройте нам, грешным, взор на алтарь, а не на спины людей, стоящих высоко на клиросе. Ведь св. отцы, учреждая церковь, не для этого поднимали выше общего уровня церкви клирос, а ковер просто скатать и убрать его в кладовку: не такой же он священный, и надо открыть решетку. Искренно уважающий вас православный, но неграмотный.

Письмо не очень безграмотно, хотя я и поправил «печать» и «воздействуйте». Не будем иметь хулу в уме и подумаем, что и здесь только «неделано» и «недостроено», и Бог даст доделается и достроится. Вся жизнь «не кончена», – и увы: будь-ка она «кончена», пришлось бы только умереть. Будем радоваться самим «недоделкам», как энергичный рабочий радуется, когда приплывает много работы.

От. Л. Ф. Орнатский, новый настоятель Казанского собора, не такой человек, чтобы «недоделать» и «забыть». Очевидно, это минутное и временное.

«СТУПЕНИ» ВЕРЫ РУДИЧ

Изд. 2-е. СПб., 1914 г.

... Никак не могу окончить своих «социологов» и Гл. Успенского. Все прерывают впечатления. Попалась на прилавке магазина книга г-жи Веры Рудич: «Ступени». Читается – два часа, и, прочитав ее «на сон грядущий», утром я захотел непременно сказать несколько слов об этом сыром материале даже не наблюдений, а сообщений автора... Книжка так поразительно обнажена, так поразительно невинна, она оставляет в душе столько смуты и тоски о наших милых девушках, что, написав когда-то «Семейный вопрос в России», я чувствую и обязанность, и горячее движение вернуться к старой теме своих и рассуждений, и забот.

«Я никому не нравилась» – суть и центр всей книги, – зерно, из которого все потом развилось. «Почему не нравилась?» А черт знает почему. В жизни я наблюдал (и внимательно к этому присматривался), что девушки если не поразительной красоты, то красоты все-таки замечательной, образованные, воспитанные – «никому не нравятся», а влекут к себе дурнушки, и изредка находят мужей и семью девушки явного, разительного безобра-

зия. Мне однажды привелось знать двух сестер, Катю и Мотю (полного имени «Моти» я не знаю и называю ее так, как все называли). Катя была недуренькая лицом, – и прелестного, тихого, скромного поведения. В ней было что-то «от Лизы Калитиной», из «Дворянского гнезда»; что-то врожденно монастырское, сосредоточенное в себе, серьезное и прекрасное. Увы, она «никому не понравилась». «Мотю» же всегда переиначишь в себе в «Мотьку». Черная, в прыщах, потная или сальная и глуповата. Вечно молчит, потому что «и слова сказать не умеет». Что же вы думаете: вышла в 19 лет замуж, и муж на нее бывало «глядит не наглядится», – и она быстро взяла над ним власть и взяла его под отчет... Живут согласно и счастливо. Через пять месяцев «в таком положении». Это – в простонародье. В более высшем классе мне привелось лет двадцать назад знать девушек такого... не безобразия, а отвратительности лицом и фигурой, что, я знаю, другие барышни *от отвращения* избегали быть в одной комнате с ними или пройти с ними рядом по улице. Прыщавые, красные, потные. И что же: обе вышли замуж, а овдовев, получили вторичное предложение.

Так что «я никому не нравлюсь» не выражает ни наружности, ни души девушки, а скорее – какую-то судьбу, таинственную судьбу...

С этою «судьбою» вышла в жизнь «Лида» г-жи Веры Рудич: и она показывает ее «В семнадцать лет», «В двадцать лет», «В двадцать пять лет», «В тридцать лет», «В тридцать пять лет», «В сорок лет». Таковы заглавия мимолетных очерков г-жи Веры Рудич. Она почти не рассказывает. «Романа» и «повести» не дает г-жа Рудич. Если бы была счастливая любовь – вышел бы роман, сперва в жизни и затем в литературе. Но когда «я никому не нравлюсь», – что же выйдет? Выйдет то одно, что и получилось под пером г-жи Рудич.

С большим запасом любви, готовности к любви, выходит Лида «в 17 лет» в жизнь... Она остается одна дома, в большом, видимо «со средствами», помещицьем имении, – когда остальная семья и «гости» шумно уезжают «куда-то», на удовольствие, на прогулку, в монастырь или что... Она остается дома именно для наслаждения «побыть одной», отдохнуть от шума большой семьи и предаться мечтам. Едва они отъехали, как она переменяет коричневое учебное платье на белое кисейное с розовым, выходит в сад, смотрится в зеркало... и счастлива *одна*, и день, и вечер, среди яблонь и лунного вечера, – отдаваясь грезам, как встретит «его», «кого-то...».

Кого?

У нее есть только готовность любви, без имени, без образа.

В «22 года» она любит безнадежно, робко, униженно своего двоюродного брата Валерьяна, сильного, с могучим сложением офицера, которому сама «не нравится...».

Что же может «выйти» из такого положения? С замиранием сердца, как нищая, она дожидается, не скажет ли он хоть слово участия к душе ее, к жизни ее... Она ждет хоть ниточки, хоть паутинки душевного сближения. Она вся – раба его. А он – богач. Украдкой она целует его руку. Физиологи-

ческое господство его над нею выражается разительно. Она проходит каждый вечер по улице, «где он живет», и жадно стремится подбежать к окну и не пропустить минуту, когда он едет «к своей любовнице», 40-летней не красивой женщине. Пройдясь по улице, она заходит в пустую церковь и молится, чтобы Бог сохранил ее «чистоту», уберег ее «от скверны...».

Ну, а что же он? Болван. Теленок, бык. Он ничего не понимает, и любимое его слово – «пожалуйста, без сцен». Вся робкая, испуганная, вся трепетно любящая, она глотает слезы внутри и не делает никаких «сцен». Посещая дом бабушки, в котором она живет, он, после небольшой музыки, уводит ее на правах кузена в темную комнату с топящимся камином, где, говоря громко (для бабушки) слова, относящиеся до службы и спорта, начинает грубо и оскорбительно заигрывать с нею. Сцены эти разительны и, кажется, в литературе никогда не были изображены. Они совершенно новы и разительно правдивы. «Да. Так бывает». Где? В грубейших сценах простонародных отношений. Острой иголкой колет читателя ее прислушивание: она все ожидает, как нищая на паперти церкви, не скажет ли он хоть одно слово, где выразилась бы занятость его ее душою, ее занятиями, ее внутренним миром?

Ничего.

Болван.

Да, послушайте, и что же выйдет, если «она ему не нравится», а сама его любит безмерно, глубоко этою подчиненною любовью физиологически более слабого существа? Она пьет свою любовь как здоровье, – а он и ведет себя, как бык на траве. Эти физиологически-господствующие и физиологически-подчиненные формы любви бывают самые страшные, роковые... В них именно входит «судьба», – своеобразный «гороскоп древности»... Мне приходилось иногда выслушивать рассказы об этой форме любви, самые грустные и самые удивительные. Тип чего-то «мадоннистого» в ней или чего-то поэтического и философского «в нем» – оказывается в такой глубокой зависимости, в таком рабском и богомольном подчинении – у самой грубой физиологии. Это простирает свою объясняющую силу и на историю. Антонин Пий, благочестивый император римский, один из лучших государей всех эпох и народов, до того боготворил свою супругу Фаустину, что по смерти «обожестил» ее и построил ей храм; между тем она дошла «в силе физиологии своей» до того, что не только отдавалась знатым людям своего времени, но и искала объятий грубых атлетов цирка. По изображениям – это была царственная, великолепная женщина; «он» – мечтательный философ-царь. О «богомольной» любви русских мадоннянок (особый тип женщины) к грубым, пьющим и грубо ругающимся офицерам у нас – я слышал.

Но вернемся к «Лиде»... Что же ей вообще оставалось, когда ее никто не любил? Очень мало. Тряпочки чего-то около любви, но не самая любовь. И она их брала и набожно целовала, даже когда они были очень грязны. Так она пошла «по ступеням» все ниже и ниже... Почему не остановилась? Потому, что была физиологически-зависимым существом. Ее душа была со-

вершенно растоптана, и она только выплакивала ее в церкви. Молитва все время берегла ее и (по-видимому) – сберегла. Она осталась чистой и прекрасною даже в унижениях. Тут нужно заметить о следующем. Ну, – «ничего не дают». Никакой души. Никакого участия к ее душе, и она лениво, пассивно и покорно, *без всякого угара в голове и в крови*, сходит по ступенькам ниже и ниже... в какую-то грязь. У нее вырывается признание: «Побыв с ним, я точно *выкупалась в помойном ведре*». Это ужасно. Но это именно *так бывает*. «Ниже и ниже» спускаются не в вихре страстей, – и это *бывает*, но это – *другое*: спускаются и доходят до невозможного от безволия. Именно *слабость* бывает источником таких же падений, как сила. Особенная слабость, как и особенная сила. В Лиде мы имеем пример особенной слабости.

Рассказ г-жи Веры Рудич очень легок, осторожен, не вульгарен. Нежными ручками она рисует узор, но, по-видимому, преднамеренно (и *для дела*) не захотела ничего скрыть, и самого грубого, и внимательный читатель шепчет: «Бедная Лида, бедная Лида! – как бы унес я тебя отсюда в лазуревые эфиры любви, о которых с 17 лет ты всегда мечтала и, в сущности, к ним одним влеклась и в 40 лет».

Но «ничего не дано»... Действительно, несносные мужчины! Действительно, грубые и глупые мужчины. Хоть и «свое сословие», а скажешь о них это. В конце концов Лида формулирует все дело в ценическом и горьком рассуждении, вывод из которого: необходимо физиологическое торжество, физиологическая наполненность. Хочется «всего». Хочется стихов и философии, когда за спиной лежит уверенная, твердая, хорошая семья. Без «этого» же не хочется ни стихов, ни философии. Древние явно сознавали это и не только оправдывали, но ставили на высоту. «Новые люди», наши грубые «современники», – поместили все это в помойное ведро, т. е. дали помойную обстановку существенно великой вещи. Бедная Лида... Бедная Лида... Она не совсем заблуждалась. Она, и падая, как-то не падала. Она заблудилась в темных, грязных коридорах нашей цивилизации. Но вела-то ее правдивая звездочка, древняя звездочка.

Ах, ничто в мире не понимается теперь так мало, как любовь! Та любовь, о которой написано столько книг, и стихами и прозой.

ЕЩЕ О НЕОТЛОЖНОЙ НУЖДЕ СТРОИТЬ В ПЕТЕРБУРГЕ ХРАМЫ

(Письмо в редакцию)

Передав личные впечатления о тесноте в некоторых петербургских храмах, я и не думал, что попаду в точку острой нужды петербуржцев. Но, оказывается, в дни, как *Пасха*, для некоторых и, кажется, для многих молящихся вовсе не находится в церквах *никакого места*!! Нельзя поверить, а между тем – действительность.

Вот что мне пишет одна религиозная женщина по поводу моей заметки: «Где бы помолиться»:

«Большое вам русское спасибо за статью *«Где бы помолиться»*. Это такой важный и вопиющий вопрос, который, к сожалению, почти никогда не затрагивается печатью. А ведь действительно помолиться нигде: все храмы переполнены не только в торжественные праздники, но и всегда. В особенности душно в так называемых домовых церквях, при которых всегда есть приюты. Вот почему задолго до праздников становится грустно от сознания, что в церковь не попасть. А душа в эти дни в особенности рвется ко Христу, чтобы сказать Ему о своих житейских невзгодах и просить Его помощи. Если даже очень рано забраться в церковь, до начала богослужения, когда еще никого нет, то и это не поможет. Церковь быстро наполняется, через полчаса уже дышать нечем, пропадает все молитвенное настроение, и только думаешь о том, как бы уйти: но и это не так легко сделать: даже иногда и невозможно, не по силам пробраться через густую толпу молящихся. Вот почему и не дерзаешь входить в самый храм, даже когда приходишь туда очень рано; остановишься у выхода, чтобы возможно было сколько-нибудь сносно дышать. Постройка новых церквей, конечно, очень желательна; но ведь это не может быть сделано скоро, так как для этого нужны деньги и время. А помочь общему горю можно бы и сейчас устройством в церквях хороших вентиляторов.

Прошу простить мне мое дерзновенное обращение к вам, глубокоуважаемый Василий Васильевич. Я приношу вам сердечную благодарность от себя и от многих женщин. Мы все усердно просим вас затрагивать как можно чаще религиозный вопрос в ваших статьях. Большое, бесконечное вам спасибо и за все то, о чем вы уже писали.

Б. III.»

* * *

Не поразительно ли? Скромные нужды скромных людей не доходят до редакционных кабинетов, а, если и западут туда, — бросаются равнодушно в корзину. Ведь это не претензия на оппозиционной или революционной подкладке, о которой непременно будет печать шуметь неделю и собирать в мощну золото, а для имени славу. Кому нужны скромные люди?

Но ведь скромные люди и построили скромную Русь. И держится Русь вся на плечах и на сердце скромных и тихих людей. Не пора ли нужду молчаливой массы выдвинуть вперед крикливых требований «социальных групп»? Нам кажется, что строительство новых церквей в Петербурге должно стать настойчивою, упорною хроникой дней, недель и лет, и на строительство «очередного храма» могла бы быть предназначена *одна из многочисленных кружек во всех петербургских церквях.*

Об этом явно возлежит забота и на петербургском митрополите, и на Св. Синоде, и на общем одушевлении петербургского духовенства.

Нигде во всем свете не встречается Светлый День Христова Воскресения так просто и от души, как у русских: весь народ, стар и млад, спешит к заутрене, в 12 часов ночи, и наполняет древние храмы, где молились и отцы и деды наши, ликующими сонмами... Удивительно сложение этой службы. Вот минута борьбы между смертью и воскресением, отчаянием и надеждою, мраком и светом: куда-то *выносят* плащаницу и хоругви, уходят с нею, – и оставшиеся в храме люди точно остаются «без Бога», в каком-то пустом месте, ненужные себе и никому... Радостнее те, кто ушел с плащаницею и теперь идет за нею вокруг храма, в некотором внешнем и темном месте, но с зажженными свечами и светильниками. Немногие минуты службы символизируют собою века. Остающиеся в храме люди символизируют собою грешное, страдавшее и умиравшее язычество, тоскующее по «Боге, который воскреснет»... Минуты прошли, – и у входа в храм какая-то борьба. Слышны голоса *оттуда* и *отсюда*; поют, возглашают... Что-то рвется *сюда*, что-то не пускает *отсюда*. «Воскресший Господь наш» входит в мир: но мир, холодный и озлобленный, унылый и грешный, не понимает этого, не понимает величайшей религиозной тайны, что есть *жизнь*, и именно – *Вечная Жизнь*, а смерти – вовсе нет, а только есть пугающие ее тени и призраки и угрозы. И вот разверзаются двери: с шумом весны, как бы взламывая зимний лед, – входит ликующая толпа и под сводом храма раздается первое в году: «Христос Воскресе»...

– Христос Воскресе, – говорит священник.

– Воистину Воскресе, – возглашает народ.

– Христос Воскресе! Христос Воскресе! Христос Воскресе! – повторяет он раз за разом, непрерывно, проходя через расступающуюся народную толпу... И она, весело расступаясь и весело смотря в глаза «своему батюшке», отвечает ему радостно, всей грудью: «Воистину Воскресе! Воистину Воскресе! Воистину Воскресе!»

За весь год – это самая радостная минута для священника: ведь он точно переживает вершину служения своего и весь полон тем, что принес людям. Так все осязательно, так выпукло, так убедительно: самый бедный священник, «и не знакомый ни с кем», сидящий дома со своей «матушкой» и детьми, в эту единственную минуту сознает единственное служение свое на земле. Он, этот бедный и не знакомый никому с внешних и мирских оценок человек, вносит в толпу народную, несет не *одному* кому-нибудь, а *всем людям*, – такой гостинец, такую радость, которая лично каждого из нас обогащает и радует, как не может обрадовать человека ни богач, ни вельможа, ни царь, ни мудрец, ни поэт. Он говорит нам твердо и властно, что мы не умрем никогда, «понеже веруем в Христа», а только переживем образ и призрак смерти; и что родители наши, дети наши, братья, сестры, у вдов – мужья и у вдовцов – жены, не умерли, а продолжают жить, в свете и радости неизреченной. Кто не верует – пусть не верует: тот и не поймет

ничего в этом, тот не поймет самого праздника Светлого Христова Воскресения, — и только внешним образом, в пище и питии, переживет ему непонятную «пасхальную неделю». Тайна эта постижима только верующим: и тайну эту сохранил в веках и вынес народу и ежегодно выносит — один священник.

Он и никто.

От этого, кто чуток — заметит, у священников в пасхальную ночь бывает особенное выражение лица и особый торжествующий и победный, необыкновенно твердый голос. Не как в другие праздники, не как даже в Рождество Христово. Там — факт, здесь — тайна; там — история, здесь — мистерия. «Христово Воскресение» есть не религия в теле своем, в обстановке и цепи исторических событий, нет: это есть самая душа религии, сказанная человеку тайна о нем самом, о всякой душе человеческой, какой ни из каких исторических обстоятельств он не вывел бы и не извлек.

И опять кто чуток — заметит особое отношение молящихся к священнику: священник — победитель, а молящиеся точно цепляются за белые ризы его. В пасхальную заутреню проходит совершенно особенная, не замечающаяся в другие праздники, в том числе и в Рождество Христово, — связь паствы с пастырем; связь — страшной зависимости молящихся от священника, без которого «они бы пропали». Связь какого-то бессилия одних и страшной силы другого. «Ты наш *начальник* веры, — как бы говорят слабые сильному, — и мы тебе *повинуемся* в вере и пугаемся не повиноваться». Да: кто переживает Пасху и Страстную седмицу душою, а не телом одним, знает страх в седмицу и радость в Воскресение. Священник как бы изводит всех от испуга, — и миряне радостно бегут за ним, потому что куда же деваться?

«Куда же бы мы все пошли без Пасхи»...

* * *

И вот не день, а семь дней весело, «по-нашему» звонят колокола во всех церквах, а народ наполняет улицы, и все, знакомые и незнакомые, целуются... Во исполнение церковного слова: «Да друг друга обнимем». Уличное лобзание, когда, в сущности, целуется вся страна, «не разбирая, с кем», есть драгоценная черта нашего быта, и надо бережно сберечь этот утвердившийся обычай. «Все ссоры — до Пасхи», — как бы говорим мы, говорит целый народ в обычае этом. Конечно, «после Пасхи — опять поссоримся», но опять — тоже до Пасхи. Ссора есть часть смерти души: а Пасха говорит, что смерти — нет, и в связи с этим мы пасхальным целованием «кладем крест» и изничтоживаем свары, завидования и всякую душевную печаль.

Отсюда и вообще всем смыслом своим Пасха возрождает в нас силы. Она есть призыв сил, — и народу земледельческому, крестьянскому, это так необходимо для лета и для весны, когда начинается его земледельческая работа. Может быть, от этого, от господствующего крестьянского сложения русского народа, именно в России Пасха и празднуется как нигде.

«Воскресение Христово» чувствуется глубже и ярче в близости к земле и к самому благословенному человеческому труду – земледелию. Скоро воскреснут травы; воскресли уже воды, реки, ручьи, озера. Но в сердцевине всего этого воскресла душа человеческая. «Христос Воскресе!» – для человека и для всего мира.

И нет смерти, холода и зимы. Нет оконечения – природы и человека. «Всякий грех – до Пасхи»: и бежит в нас обновленная кровь, в которую вошло частицею Тело и Кровь Спасителя, по прекрасному обычаю всех русских непременно «поговорить перед Пасхой», исповедовать грехи священнику и принять Святое Причащение.

«Христос Воскресе», наши добрые читатели! Ликуйте и веселитесь, как вся природа и весь православный люд. Уныние – вчера. Сегодня – только радость.

ВЕЧНЫЕ ПАМЯТКИ

(Ал. Ал-на Веницкая и Н. Г. Граммати)

Тихо и безгласно отошла в вечность писательница *Александра Александровна Веницкая*... Последние годы она жила в доме писателей, что на Карповке, построенном на капитал, пожертвованный Голубевым. Она была совершенно одинока в Петербурге, никого родственников у нее не было здесь, – да и вдали были не близкие родственники, которых она потеряла из виду и которые ее потеряли из виду. Здесь была у нее воспитанница, которая ее и хоронила, – девушка лет 20, г-жа З. Со слов ее я узнал, что в Великую субботу Александра Александровна поднялась по обыкновению рано, часов в 7 утра, – заказала принести себе теплой воды для полоскания и стала умываться, а вместе и приготовила керосинку для кофе: но когда прислуга вошла в ее комнату с теплой водой, то увидела, что она лежит на кровати, подложив под щеку руку. На зов – она не ответила. Видя, что что-то «не так», она доложила следующему начальству или следующей прислуге, – стали входить, звать, трогать: 67-летняя старушка не отзывалась. Дали знать по телефону ее воспитаннице, жившей очень далеко, на Троицкой улице. И когда она приехала спешно, – то также нашла свою «тетю» (так она называла ее воспитавшую) лежащую на кровати, с лицом на ладони, без всякого признака смерти и страдания, но только без дыхания и с остановившимся сердцем. Для нее исполнилось – «умереть – уснуть».

Литературная деятельность покойной не была значительной или обильной. Да это ведь и редкая участь пишущих. Но она была в высшей степени исполнена внутреннего движения. О последнем и хочется сказать. В гробу она лежала (на Смоленском кладбище, в Троицкой церкви, – где было отдельное отпевание) гораздо моложе и красивее, чем как давала впечатление последние годы жизни, когда она была уже очень стара. Маленькая, вся белая (седая), худенькая – едва она переступала порог ваш, как уже из при-

хозяей наполняла каким-то приятным шумом всю вашу квартиру. Нужно заметить, она была прекрасно воспитанная дворянка-институтка, и, должно быть, что-то неуловимое отражалось и лилось отсюда. По-видимому, она была вечно раздраженной, негодующей и с кем-то спорящей, кого-то обличающей, за что-то порицающей. «За что?» — об этом надо было век слушать, а потому никак не слушалось и минутой. Но это было именно литературное волнение, благородно-литературное, и оно не омрачало ее душу и не засоряло душу. Вся чистенькая, она входила в комнаты, и сейчас же все ее окружали и влеклись окружить ее, потому что неистощимое остроумие, шутки и веселость лились из нее. Она была очень даровита. И в 67 лет приводила в движение и 50-летних, и тридцатилетних, и даже подростков 16, 14 лет. «Пришла Виницкая» — значит начались (полушутя) танцы; какое-то кружение; тон речей, разговоров — сейчас повышался, свежел. Если сравнить «дом» с «идущим в море житейском кораблем» — то «пришла кудрявая старушка» значило «пришел свежий ветер и зашевелил всеми снастями корабля», а матросы забегали по палубам.

И все — приятно. Потому что все — добро и воспитанно. У писателей речи и поступки задористые, мутные; но у Виницкой явно дворянство господствовало над «писательскою натурой», хотя содержание ее речей и было исключительно писательское, журнальное и газетное... Но воспитанье ли или ее чистое, неомраченное сердце вносило во все литературные речи тон чего-то доброго, славного... И хотя старушка была полна «гневов» — явно было, что она никогда не повредит и комару, который ее кусает. А укус привелось ей перенести и после смерти. «Великая суббота» — и всякому хорошо умереть в такой день, чтобы через 20 часов вместе с Христом воскреснуть в «Вечную Жизнь». Но в «Доме литераторов», очевидно, не хранится народных примет: и приехавшая воспитанница получила в самой безотлагательной форме требование «убрать куда угодно покойницу», потому что это портит настроение праздника и встречу праздника жильцами. Спешно ее вывезли в часовню под колокольной Владимирской церкви, — что близ Невского и Литейной. О злостности и цинизме этого требования, шедшего со стороны «управляющей домом», мне было передано с горькою жалобою и с желанием, чтобы в печати на это откликнулись и оглянулись. «Господа, — с покойниками особенно *по-человеческому*», — хочется дать совет.

Ну, вечно раздражена и вечно жалуется? Но когда в Троицкой церкви подняли крышку, чтобы закрыть окончательно гроб и отделить уже вечным отделением зрак усопшей от живых глаз, — раздались такие безутешные рыдания ее молоденькой воспитанницы, которая и узнала-то ее уже почти большой, лет 10, и продолжались до самого «закапывания в землю», такие же все тоскливые и отчаянные, — почувствовалось, что хоронят настоящего доброго и настоящего чистого человека. Так это и было. Она, человек еще 50-х и 60-х годов, — несла что-то крепкое и хорошее от тех лет, — и вносила их свежее оживление в нашу более сонную, более сорную и более безнадёжную эпоху.

Не могу не прибавить нечто личное: прощай, милый друг и залетная птичка нашего дома. Всегда ты вносила какое-то добро с собою. Это добро – свежая и благородная душа твоя.

Уже на Страстной неделе мне пришлось прочесть некролог о *Н. Г. Граммати*. Я знал его по контрольной службе, где он сидел «через столик» от меня, в 90-х годах прошлого века. Не могу не сказать и о нем как о редко добром и чистом человеке. Он был «бесповоротный либерал», – и вечно спорилось с ним, и вечно досадовало на него. Но через недели две замечалось, что он навесил оловянные бляхи-плакаты на золотое сердце человека; что слова-то его худы или, вернее, уж слишком обыкновенны и неинтересны: а сам он прекрасный и редкий человек, неизмеримо вышший своих разговоров. Там он сидел, в контроле, поблизости тоже к покойным уже О. И. Каблицу («Основы народничества»), Т. П. Соловьеву (философ, – «Теория волевых представлений»); заходили сюда «в уголок Каблицы» и еще литераторы или люди литературного духа и стремлений, которых служило много в контроле... Прошли годы. Открывалась первая Государственная дума: у Таврического дворца шум, движение. Вдруг чье-то лицо мне улыбается. – «Боже! Граммати!» Старичок припелся сюда: «Начало парламента»... Потом разошлись. Потом – некролог. Так и проходит жизнь, похожая на сон.

Ну, вечная память милым усопшим...

ВДОХНОВЛЯЮЩАЯ СТАРИНА

В. А. Верещагин. Памяти прошлого. Статьи и заметки. СПб., 1914. Тип. «Сириус».

Отношение к прошлому становится иногда подобно религии. Это не есть отношение эстетическое – отнюдь; не есть отношение нравоучительное, педагогическое, в каком-либо отношении утилитарное и, вообще, – политическое... Истинное отношение к прошлому, когда без него задыхаешься, когда без него нет солнца, а в нос, глаз, в рот несется только пыль «современности», пыль, сор, грязь, дым, копоть: и начинаешь «без рассуждения» умирать. Тогда забиваешься в уголок и начинаешь грезить...

В такой грезе почтенный В. А. Верещагин написал предисловие к своей книге, в котором поистине дышит религия: «Из таинственной дали, окутанной дымкой поэзии, встает наша старая быль с ее манящими воспоминаниями: «лпобезная искренность» слова и непосредственность мысли, прелесть былого наряда и грация жеста, жеманный реверанс менуэта... И веет от этой неведомой дали прелестью юности и грустью утраты. Заполонило нас прошлое...»

Это – поэзия. И, кто знает, будущий историк не возьмет ли к страницам, повествующим о наших годах, эпитетом эти три слова г. Верещагина: «за-

полонило нас прошлое». Скажем старым слогом: слово, разительное в краткости и картинности своей.

«От современной нам тусклой бездарности, от томительных будней мы словно стремимся уйти в мир иной, где жили полнее и благороднее чувствовали. Беспощадный анализ не усиливал горя, не развенчивал радостей; не звенела струна напряженной психической жизни (как все глубоко! – В. Р.); облекаясь в утонченные формы, казались возвышеннее страсти и помыслы, – жили красивее. И сквозь волшебную призму иллюзии представляется нам этот пройденный путь прекрасным и радостным. Почему же и нам не искать именно в этом пути тех источников чувства и вдохновения, которые в своей исторической были нашли деды и прадеды, и не обновить нашу жизнь, как они, могучим расцветом таланта и разума?»

«Быть может, однако, эта надежда напрасна»...

«В душе человека наступает с годами ослабление энергии. Душа утомленная и сердце усталое перестают отзываться на живые интересы действительности, отставая от поступательного движения мысли. Тогда все чуждое себялюбивым заботам и эгоистическим помыслам утрачивает свое значение. И на смену горячим ключом бывшей жизни устремляются в опустевшее сердце яркие образы всего забытого и прожитого».

«И, кто знает, быть может, наше страстное поклонение прошлому есть только тщетный порыв утасающей в бреде воспоминаний человеческой личности».

Из воспоминаний: студентом, бродя по букинистам (упоительные часы!), я наткнулся на «Московский Меркурий» 1803 года и, открыв переплет, на первой же странице нашел «Костюм Парижской» (sic) – дама в чепце, козынке, с веером и отведя свободную руку в сторону... Дальше, среди стихов, прозы, истории и анекдотов, – опять вставлена фигура девушки, то занятой живописью, то поднимающейся на пригорок... Прелесть невинно сложенного рта и открытые перси сказали мне, чего недоговаривали стихи Батюшкова, эпитафии Димитриева и величественная проза Карамзина. Я как-то *лучше* понял и стихи, и прозу, и такие замыслы, как «История государства Российского», как «Руслан и Людмила» и «Кавказский пленник», через рассматривание «мод» в «Московском Меркурии» 1803 года. Скажу пламеннее: люди, одетые «в моды 1803 года», не могли не победить в 1812 году, как люди, одетые в наше «что-то», должны были естественно «отступать на заготовленные позиции» в Манчжурии...

Существо каждого предмета открывается из его подробностей, и невозможно ни полюбить или возвеличить в душе своей предмета, ни даже возненавидеть его, если он того заслуживает, не всмотревшись в мелкие морщинки, его, как они преломляются в свете лунном и солнечном... Скажите, отчего любовь к отечеству начинается с библиографии? Почему целая «школа» у нас, славянофильство, началась со странствия по монастырским библиотекам? Потому, что это открывает дверь *в подробности*. И в гимназиях, вместо призывов к патриотизму и национальному воспитанию, – было

бы проще и реальнее ввести в предмет «занятий» (дав для того время и досуг) библиографию, книгоописание, знакомство *в натуре* с древними монетами, рассказы о прежних людях, постройках, костюмах, утвари, архитектуре, словом, о «мелочах» и «обстановке» жизни. А то теперь бедные и воистину несчастные гимназисты и гимназистки учат и «достопамятное событие» 1 марта, с знаменитыми Желябовым и Софьей Перовской (это – в 4-м классе гимназий мужских и женских!!!), и вместе с тем не знают, кто и как построил кремль города, в котором гимназист живет, какая была история у этого города, как жила и живет «наша губерния» и даже – *кто и как* построил Василия Блаженного... Кто-то, какой-то глубокий и хитрый нигилист, притворившись усердным чиновником, написал ужасные «уставы» и ужасные «программы» наших гимназий, и дети наши (знаю по опыту своей семьи) долбят до утра, до малокровия в мозгу, все нигилизм и нигилизм, все отрицание и отрицание России, все ненавидение и ненавидение ее истории и всякой действительности. Гимназии наши приготавливают самоубийц и развратников, и ничего другого готовить они не могут, не умеют и не хотят. Идет не «школьная подготовка революции», это слишком много чести, а – школьная подготовка самоубийц. Ибо куда же девать себя мальчику и девочке 19 и 17 лет, из которых «методически» и научным образом выточена религия, молитва, вера, чувство своего народа, чувство своей земли, чувство своей связи с людьми...

Школа выдирает его из семьи, из города, из уезда, из губернии... Корни обнажены. Что же растению остается, как не засохнуть?

Педагогика есть выворачивание детей-растений из почвы. А гербарий таких засушенных людей называется «интеллигенцией». Оставим.

Книга г. Верецагина украшена бесподобно выполненными фототипиями картин, акварелей, портретов. «Русские войска в Париже. Акварель Опица», портреты князя Серг. Фед. Голицына, Варвары Вас. Голицыной, А. А. Голицыной, снимки портретных зал и «столовых» в старых барских имениях, портрет М. Ф. Уваровой, изображения многочисленных вееров с их изумительными рисунками, – все это передает волшебную обстановку жизни первых двух десятилетий XIX века... «Вот бы как издать историю русской литературы»... Только в *бытовой обстановке* тех десятилетий понятны *темы и дух литературы* тех десятилетий...

Месяца два назад я был приглашен на «Выставку русской и иностранной книги», устроенную довольно интимно в квартире редактора «Старых годов»... Там были интересны книги, но, пожалуй, еще интереснее люди: в белых жилетах, прекрасно сшитых сюртуках, с лорнетами в руках, они склонялись над витринами с чудесами старины и археологии, произнося сквозь зубы немногочисленные французские фразы. Их гордый и неподвижный вид предупреждал всякую возможность заговорить... Но, мне кажется, дрожали старые груди под туго накрахмаленными рубашками, взглядывая на будучие книжки и Помпадур, и других маркиз XVIII века... Мельком только я услышал фразу:

— Я прошу купленные книги через заднюю дверь и прячу их в турецкий диван (т. е. в его *пустоту* внутри)...

Разумелось: «от семьи, от жены». Конечно, библиографам (как и нумизматам) нельзя дать распускаться, так как они распродают мебель, кухонную посуду, женины платья и накупят только своих «книг» и «монет». Ибо это о них сказал Пушкин:

Когда бы все так чувствовали силу,
Гармонию! Но нет: тогда б *не мог*
И мир существовать; никто б не стал
Заботиться о нуждах низкой жизни, —
Все предались бы вольному искусству!
Нас мало избранных, счастливых праздных,
Пренебрегающих презренной пользой,
Единого прекрасного жрецов...

Таков археолог! Всякий!.. Дай бы им «управлять миром», и они бы превратили его в развалины. Это — Атиллы за 69 лет, и вечно трепещет в груди их «Бич Божий *на современность*» во имя «Дульцинеи Тобосской — *прошлого*»... Пожмем руку (если допустит) одному из таких бескровных Атилл — г. Верещагину.

НА ПЕЧАЛЬНОМ ОСТАТКЕ ЖИЗНИ

...Оказывается, самое теплое воспоминание Айс. Дункан сохранила из всех ею посещенных стран — о России. И в теперешнем «пути Ниобеи», которым для нее сменился «путь Афродиты» (или Дианы?), когда она вовсе оставила танцы и посвятила себя делам милосердия, она хочет именно из России взять несколько детей-сирот и почти нищенок, для воспитания на ее средства во Франции, под ее надзором и направлением. Обучение будет вовсе не танцам, хотя и без ригористического исключения их, а «вообще», и будет только «добрым делом». Все издержки, содержание и проч. — ее. Выбирать детей придется в Петербург на этих днях ее брат, бывавший в Петербурге вместе с нею. Вероятно, он остановится в отеле «Астория», на Исаакиевской площади, где останавливалась прошлый раз и его сестра. Это воспитание — исключительно филантропия, которую она хотела бы связать с дорогой для нее Россиею. Конечно, все это удастся и будет исполнено с присущей ей добротой и с английской практичностью и настойчивостью.

В настоящее время в Петербург приехала для этой миссии ближайший друг Айс. Дункан, г-жа Франк. Она остановилась в отеле «Астория» и принимает запись детей от 10 ч. утра до 12.

Сказав, однако, о Дункан, нельзя забыть о танцах. В журнале «Femina» она сама накидала на бумагу несколько мыслей о танцах, о которых писали

и говорили и будут еще говорить так много. Это в высшей степени интересно. Послушаем (в приблизительном моем переводе).

«Человек танцует потому, что ликует его душа, ликует с ним и вокруг него вся природа. Да, но в городах, лишенных природы, лишенных солнца и света в хмурые, холодные осенние дни? Может ли человек своей пляской вернуть городу свет и тепло? Если возможно возрождение танца – это возрождение создадут ликующие дети, у которых в душе звенит флейта Великого Пана».

«Звук, свет, энергия передаются волнообразным движением; ритм танца лежит в основе мира; танец лишь передача мировой энергии при помощи тела человека. Идеал движения заключается в возможной легкости восприятия и передаче космической энергии. Бах, Бетховен, Вагнер слили в совершенной гармонии ритм природы и ритм души, и я иду по их стопам не потому, что хочу выразить пластично красоту их творений, но потому, что мое тело поддается их ритму, ритму мира».

«Греческие вазы сумели запечатлеть красоту формы и красоту движения; каждая линия в них, даже в минуты полного покоя, потенциально заключает в себе момент последующего движения».

«Современный танец выдумывает, а не находит; он – простой результат механического вычисления».

«Хор античных трагедий – вот где драма сливалась с пляской; эту глубокую связь понял и передал в своей музыке Глюк; и сквозь мишурные балетных условностей его эпохи – ему мерещились ясные и радостные фигуры античных vaz, которые были ему известны».

«Гимнастика – не цель, но необходимое средство для танца; она подготавливает и формирует тело, – и дух пляски находит в таком подготовленном и развитом теле тонкий инструмент для передачи всех движений души».

«Совершенные *формы* должны помочь создать совершенное *движение*; учениц окружают статуэтки Танагры, греческие вазы, танцующие дети Донателло; – ибо я думаю, что красота создается тогда, когда просыпается воля к ней. И для развития этой воли ученицы каждый день проделывают ряд упражнений, индивидуально выбранных, которые соответствуют их вкусу и наклонностям. Упражнениями предшествует простая гимнастика. Далее следует простой, затем более сложный ритмический шаг, потом бег. Эти простые движения – то же, что нотные знаки, без которых не может обойтись композитор, хотя ясно, что творчество его складывается не из этих знаков и рождается не отсюда. Резвясь, гуляя, играя, девочки учатся движением передавать свою душевную жизнь. Круг наблюдений не ограничен искусством – движение облаков, колебание листьев на дереве, полет птиц – вот великая школа гармонии движения».

В хоровой пляске, подчиняясь общей гармонии, каждая внесет личную манеру в передачу общего чувства – это и будет великим *хором трагедии*, вечною трагической борьбою между свободным человеком и давящим на него роком».

Так пишет она в безыскусственном наброске «Ce que je pense de la danse» («Что я думаю о танце»). Нельзя не сказать, что это просто как день и благотворно для изломанной и искусственной в наши дни Европы – как «обыкновенный дождь». Дункан пришла вовремя, и дело ее не умрет. Едва ли когда-нибудь человек перестанет танцевать, как он никогда не перестанет петь. Больше движения в душе – больше танца. Скучнее в душе, томительнее – танец гаснет. Но когда он рождается или возрождается, пусть он рождается, как вообще все рождается в природе, – из естественного душевного движения.

Радость – вот гений танца. И поменьше философии и науки около этой радости. А то крылышки гения опустятся долу... Мы именно должны прибавлять к танцу *чуть-чуть* мысли, не более... И хорошо, что Дункан не написала трактата.

АЛЕКСАНДР ПЛАТОНОВИЧ БАРСУКОВ

Скончался *Александр Платонович Барсуков*, последний из трех братьев-подвижников русской историографии, автор монументального труда – «Род Шереметевых». Все три брата, Николай, Иван и Александр Платоновичи, представляли собой редкий уже в наши торопливые времена пример тихого и долгого горения историческим энтузиазмом к старине земли своей – литературной, церковной и исторической. Для них история не была «ученым занятием», служебной должностью, профессиональным ремеслом; нет, для них история и старые хартии, старые журналы, записки, мемуары – были тем же, чем для Минина нижегородского – независимость родной земли. И очень странно и неверно было бы назвать Минина «патриотом», он был *больше этого*: так отныне благородный род Барсуковых нельзя назвать только «историками», ибо в занятиях их горела *личность их*, и всю жизнь они сожгли на жертвеннике этой науки, никому и ничему еще не отдав ни йоты ничего из себя. «Историограф» и «Барсуков» – сливались. Вот это слияние со своим делом, таким великим делом – изумительно и трогательно в наши дни, полные всяких и со всех сторон неуважений. Они были преданы истории, как летописец своей летописи. В них воскресло что-то древнее. Воскресло нечто из того величавого отношения к авторитету величия своего отечества, которым и строилось это отечество. Если бы *так* любили и почитали свою землю *все* русские люди, как эти три брата, конечно, мы не увидели бы *ничего* из того горького и ужасного, что пережили и переживаем в последние десятилетия.

Мир праху последнего из братьев, Александра Платоновича Барсукова. Общество русское никогда не перестанет оглядываться на их тени... Никогда не позабудет имена их. Не перестанет никогда перелистывать десятки тысяч страниц, из коих ни одна не оскорбит «ума и чувствований», говоря слогом Карамзина. Дай Бог, чтобы учебное начальство когда-нибудь со-

знало особую воспитательную силу трудов этих ученых, — и особо рекомендовало их в школы, главным образом в гимназические библиотеки.

Труды их в слиянии с личностью — драгоценны. В них есть столько *положительного и прекрасного*, без малейшей примеси отрицания, злобы, сарказма и смеха, чем всем так пересыщено наше время и все, что пишется в наше время, — что поистине они «урочны», т. е. служат выразительным «уроком» для наших людей и времени. Господа, выучим хорошо этот «урок» — «Барсуковы и их пример нам».

ИНТЕРЕСНАЯ КНИГА

Проф. С. Смирнов. Древнерусский духовник. Издание Императорского Общества истории и древностей российских при Московском университете. Москва, 1914. 290+568 стр.

По улице шли два счастливых господина, красивые собой, и вели красивый разговор на тему о том, что в мире не осталось более никакого уголка для «тайны» и «таинственного», что точные науки и трезвое отношение к действительности так же основательно вымели из вселенной «мир таинственного», — как когда-то вымели из внутренней пустоты статуи Сераписа гнезда мышей, где эти мыши шевелились и производили в металле звуки, казавшиеся молящимся «шепотом Бога»... Красивые господа, из которых один был физик, а другой — врач и общественный деятель, были счастливы потому, что была хорошая погода, солнце светило и оба только что получили жалованье.

Но из этих господ один был несколько флегматического сложения, а другой слишком предавался общественной деятельности, и обоим изменили жены — женщины из прекрасно воспитанных семей и целомудренные, но которые не могли вынести в качестве «мужа» двух совершенно деревянных господ. И вот для этих женщин, полных трепета и волнения, гораздо менее ученых, чем их мужья, но гораздо более богатых внутренне, — открылся путь...

В то время как мужья их пошли — один в Академию Наук, а другой — в парламент, жены их вошли в церковь...

Они подошли к «священнику», — имя и название, не уместяющееся ни в какую науку и ни в одну форму общественной деятельности, — и долго о чем-то говорили с ним, каждая отдельно. И в то время как за час назад они входили в церковь, полные сухой горечи, пламенной ненависти к мужьям своим, «до того отвратительным», — и вместе ненависти и собачьей привязанности к новым любовникам, — теперь они выходят из церкви с странно преображенной душой. Свою ужасную тайну они рассказали не мужу, который бы ничего не понял «в мотивах преступления», — не матери, по ужас-

ному стыду сказать, не детям – которым «сказать» – значило бы их «отравить»: а третьему лицу, «иерею», который и выдвинут особым институтом, «церковью», для выслушивания всех подобных тайн со всего мира и для устройства душ расстроенных, душ дисгармоничных – для приведения в гармонию, мир и покой.

Священник им объяснил (хотя вовсе другими словами), что действительно встречаются дураки, которых нельзя любить, что из этого происходит действительно факт, который называется «измена»: и что открыть ее «мужу» – значило бы сейчас уйти от него, бросивши детей в какое-то «растерзание стихий», и что поэтому все нужно оставить «так, как *есть*»: но не позитивно, сказав в себе, что «всякая действительность – священна» и что «подлец – тоже хороший человек»... Ибо тогда получится болото, в котором все задохнется: но так и сознав, что попал ногою в мировую «щель», где эту ногу давит и ломает, – и нет сил и возможности ее вытащить; что обе женщины попали в «излом» событий, где вообще никакой прямой линии – нет; что они заперты в темной комнате без выхода, без окон, без дверей. Но что мир и вообще страшен и печален, что он не только прям, но и крив, что «ложь» и страдание присущи ему от начала, но величие души человеческой заключается в том, чтобы совершенно понимать свое положение, никогда не смешивать мрака с тьмою и всякий подобный излом не принимать «позитивно», как принимает свои лужи позитивно – свинья, а омывать слезами, и кровью, и молитвой эти ужасные «чуланы бытия»...

И обе женщины вышли совсем новые из храма. Они не побороли чувства, ни – ненависти к мужу, ни – собачьей привязанности к любовнику: но страшно в нем изменились. Мужа они простили, как «врожденного дурака», все силы направив к отысканию в них чего-нибудь доброго «в мелочах жизни». «Позитивист-то позитивист, но он не приносит никому вреда, потому что во всем корректен»... Только сух и неинтересен. С другой стороны, бурное пламя к любовнику перешло в совершенно иное отношение – в заботу о его душевном воспитании, в стремление удлинить его мысли и усложнить сердце... Все перешло в мудрую и упорную борьбу с жизнью, без отказа от того, от чего невозможно, нет сил и недостает дыхания отказаться: но взамен «взятого счастья», взятого все-таки преступно и греховно, взятого скрываячи и тайно, – отдав и мужу, и особенно детям уйму неусыпных забот, думу и днем и ночью.

И тащится. Т. е. эта женщина. Не живет, а тащится. Но – не умирает, не гибнет под поездом, под выстрелом, от отравы, окаянно, и – *к разрушению всего дома*. Ибо «сказать мужу» – и мужа нет, детей – нет, будущего – нет. Все погибло. А «сказала священнику» – и можно жить. Жить, и еще строить чужую судьбу, судьбу детей, судьбу мужа, судьбу любовника, *руками чистыми*. Как «чистыми»? Ярятся муж и мужья, граждане и чиновники, законы и правила поведения. Выходит священник и делает знак рукою:

– Молчите! *Все* молчите. Не *так* же ли и *вы все* окаянны, как эта женщина, но «в другом» окаянны, и вот «другое»-то вы себе прощаете, а только

ее гвоздите. Но – молчите! «Аз, недостойный иерей, властью мне данной, прощаю эту женщину», вопреки вам, *вопреки мужу* (тот таращит глаза), вопреки законам, вопреки царствам, вопреки всему...

– «Всему? – оглядываются позитивисты. – Он безумствует!»

– Потому что я – *от Христа*, и творю прощение властью Христа, и по заповеди и уроку мне именно, мне, иерею, – от Него данной... Замолчите все: иначе я уйду, и как я уйду – все ваши царства разрушатся, законов никто не станет исполнять, и вы обратитесь в свиней, и жизнь ваша обратится в свиное болото. Вот я беру эту «изменившую женщину» и ставлю перед вами как лучшую жемчужину: и вы – камень без покаяния, а она – грешница, но человек. И человек – через покаяние. Она *все знает*, вы – *во всем темны*. Она знает, что мир ужасен и глубок, а вы думаете, что в нем только «жалованье» и «общественная деятельность»... Будущность – у *нее*, *спасительница истории* – она. Хотя и «вся в грехах». А вы в своей окаянной «позитивной правде» только творите вокруг себя каменистую пустыню и изводите из себя пустыню и пустыню, камни и камни. *Умерли-то* – вы, а *жива-то* – она. Умерли вы до смерти, а она и в смерти – не умрет. И потому, что – со мною. А я – со Христом. Сия «тайна» и «таинственность» дана миру от Христа, Который и называется посему «Избавитель» и «Спаситель»: т. е. избавитель именно «от греха», не через отрицание его, не через смешение света с тьмою, а через «покаяние в грехе»... «Покаяние» не есть отрицание и отказ: ибо тогда и звалось бы «отказом от греха», и это было бы позитивно и рационально, да только... сил у человека на это нет. Покаяние значит – «хочу лучше, а не могу», «грешу и плачу»; и вот это покаяние грех не зачеркивает, не изничтожает: но, оставляя грех, оставляя змею, – вырывает ядовитые у нее зубы, гасит потомство ее, делает грех «не плодящимся *далее*»... Пришедшая ко мне женщина и покаявшаяся уже не будет «менять любовников», а в этом все... Христос спас не человека только, но спас мир. Ибо от «изменившей жены» – мир не погибнет и не погибал, а «от таких нравов» – погибал... Вот и позитивист, этот ее муж «праведный», обличился: жене он не изменяет, правда, потому что ему и «на ум не приходит», ибо самый «ум»-то у него флегматичный и медленный. Зато он своим вялым мышлением плодит бесчисленно «детей греха», вот эти наши самые «нравы», это легкое вообще отношение к сердцу женщины, почему он собственно и «погубил» даже жену свою, и «ввел ее в грех», взяв такую живую в замужество за свою деревянность, чего она в юности не рассмотрела и не сообразила. В «грехе» жены «виновен» муж – и это всегда: об этом говорит мой старческий опыт и еще более старый опыт церкви, коей служу я. Но эти тайны вам не понятны, а потому молчите и повинуйтесь.

Ах, мир был бы совсем *другой*, жизнь была бы совсем *иная*, самая политика была бы *не та*, если бы «таинство покаяния» обняло мир, как священное пламя обнимает предмет и сжигает всю его ржавчину. Все бы очистилось, обновилось и страшно одухотворилось... Христос хотел именно «мир спасти» и дал или возвестил «покаяние» – всему миру; призвал к нему общества, царства, науки, в наших условиях – университеты. «Университет в по-

каянии?» – странно подумать. Но Христос думал именно мир обжечь пламенем. Из мысли его сохранилось только, что «некоторые приходят к священнику – и каются». Приходят, слава Богу, – многие, и очень многие. Приходит *весь* народ. Это – лучшие. Они знают «тайну Христову» и ею живут.

Об этой «тайне» и всей ее истории в судьбах русского царства и русской церкви проф. С. Смирнов (Московской духовной академии) написал книгу в 845 страниц: из этой книги более $\frac{3}{4}$ представляют «Материалы для истории древнерусской покаянной дисциплины», – «тексты и заметки». Книги давно следовало ожидать. Она сделается, конечно, настольною книгою у всех наших священников и принесет им великую пользу, дав возможность *исторически* и, следовательно, *сознательно* посмотреть на важнейшее дело своей работы среди народа. Дело это – великое. На место «излома» – оно ставит «изгиб», на место «хочу умереть» ставит «могу еще жить»; на место «Каина-братоубийцы» оно поставляет «апостола Петра, отрекшегося от Христа во дворе первосвященника» и омывшего это отречение слезами. Всюду вместо смерти – она ставит жизнь и вместо греха – «что-то» третье, где грех потерял уже свою ядовитую часть. Грех – не уничтожен. Это был бы позитивизм. Но именно «вырвано у него жало»... И мир в вечной борьбе, страданиях и усилиях – очищен и омыт.

Я начал с рассказа о двух позитивистах. Кончу: придя из церкви, жены их сели за стол и слушали как всегда их речи об общественных движениях и о новом изучении радия. Речи эти показались им в высшей степени неинтересны. Потихоньку выйдя, они вошли в спальни детей и перекрестили их на ночь. Затем вернулись к мужьям и обе почувствовали, что им уже не так трудно будет нести «крест свой» около скуки, внешности, грубости и материальности... Им открылся далекий-далекий свет на Востоке, они почувствовали в душе своей «Утешителя душ наших»... И чаще, в часы особой едкой скуки от радия и клуба, шептали обе: «Царю Небесный, Утешителю души нашей, иже *везде сый и вся наполняй*...»

Как будто «все старое»... На самом деле – «все новое»... Я говорю о женщинах, о мужьях их, о детях. Я говорю о всем русском царстве...

Ах, «тайнства с Востока» – совсем не то, что «новые открытия» с Запада...

ИЗ СУДЕБ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И ОБЩЕСТВЕННОСТИ

Проф. Ив. Иванов. Иван Сергеевич Тургенев. Жизнь. – Личность. – Творчество. Нежин, 1914. Стр. 755+XVIII.

Читайте, пожалуйста, эту книгу, – читайте ее все! Она дает читателю огромное наслаждение не только следить за сложным, волнующим и поучительным рисунком жизни великого русского романиста, но и попутно дает критику умудренного опытом человека на все вообще «русские обстоятельства»,

на русскую политику и так называемую нашу «общественность», которую хочется назвать бездельем около дела. Справедливо или несправедливо, но во всяком случае без проигрыша для книги, г. Иванов избрал Тургенева в некоторый «кумир своего сердца», – отдавая ему во всей литературе первенство за разнообразную просвещенность ума и за спокойствие его суждений, его общего мирозерцания... Не входя в оценку этого взгляда, заметим только, что таковое отношение сообщило всей книге патетический тон. Книга – не ученое, холодное, объективное исследование, все равно автору – «какое» и «о чем», лишь бы оно было как можно более «ученое». Эти противные бездушные ученые книги нет сил читать: в них автор пялится перед читателем или скорее перед ученою академиею, показывая, чем и как он «обещан», что на нем «навешано»... Как бедная нищая «манекен», на которую продавщица в магазине готового платья набрасывает попеременно пальто, накидки и всяческие товары магазинного богатства... Магазин богат, человек беден. «Наука высоко стоит», но «ничего не стоят ее представители»...

Тургенев волнует и очаровывает проф. Ив. Иванова, потому что действительно на Тургенева легли благодатные тени в редкой гармонии цветов. Из прошлого – это тень Станкевича, Белинского, Грановского и всей плеяды «40-х годов», со стоящею за нею натурфилософиею Шеллинга и универсальною диалектикою Гегеля; из будущего – тень восходящего позитивизма и реализма. С Востока – лучшие дворянские русские традиции, с их бытом, приветом и милыми «закоулочками»; с «затишьем» и «лишними людьми» захолустных уездов; с ружейной охотой. С Запада – могучая городская культура и шум политических движений. Тургенев попал или скорее сам вошел в самый центр всего этого, в самый узел всего этого. В нем было множество начинающих «нет», и на него легли последние «да» замирающих эпох. Ему невозможно было не стать скептиком: но самый скептицизм его – как тепло он выражен в «Довольно», в «Призраках»! Историк сказал бы: «Уж если отречься от Бога, то – с Тургеневым», уж если «не нужно отечества – то по-тургеновски». Но нельзя не сказать, что обширные отрицания задели все тургеновское существо: отрицания, которые позднее были названы отвратительными. Все-таки слово и понятие «нигилизм» сковалось в душе Тургенева. «Бедный Тургенев!» – прошепчет не одна душа, любящая, и безгранично любящая его.

Как это часто и случается, автор книги любит свой «предмет» по закону контраста. Он любит его боевой любовью, с значительною примесью демократических чувств, но демократических – в связи с государственностью. Это сообщает тонкий и острый вкус книге. С замиранием души мы читаем страницы, впервые сказанные в нашей литературе о Герцене (в характеристике его отношений к Тургеневу):

«Мы видели, какой широкий, благодарный путь открывался влиянию Герцена в начале царствования Александра II. Деятели величайшего преобразования готовы у него учиться. Высшие чиновники щед-

ро снабжают его новостями, с великим усердием читают «Колокол». Государь – один из постоянных читателей. Со всех сторон издатель слышит: «Колокол» – *власть*. И он же губит ее, – превращает «Колокол» в испорченную бумагу. Причину и предсказание гибели он услышал в самом начале рокового пути от уважаемого им простого, умного русского человека, старообрядца Мартьянова. «Так ли, иначе ли, а «Колокол»-то вы порешили, – говорил он Герцену, только что вступившему в союз с польским жондом. – Что вам за дело мешаться в польские дела? Поляки, может, и правы, – но их дело шляхетское, не ваше». Никогда Герцен публично не признавался в этом... Это отношение Герцена к полякам, восставшим на русскую государственность, как равно и огаревский социализм, – заставили русских читателей отшатнуться от «Колокола», а правительство – взглянуть на его издателей как на своих опасных врагов» (стр. 617).

Герцен добровольно, *sua sponte*, уступил свое место «влиятельного человека», влиятельного ума и *советчика* – Каткову, с необозримыми последствиями сей «пересадки» для России... Бедная, великая, терпеливая страна: ты терпишь не только от врагов своих, но и от решительно скверных друзей. Самолюбие, переходящее в мелкое тщеславие, требовало у Герцена, чтобы он был непременно в «оппозиции» правительству, даже когда оно работало над великими реформами. Что реформы? Русскому «оппозиционеру» нужна отставка: и вот если бы «правительство» бросило все дела и превратилось в «лишнего человека», хныкающего над «Дневником» о своей злоключительной «отставке», публицист Герцен был бы на его стороне. Seriously, послушать наших «оппозиционеров» и подвести итог их желаниям, то выйдет именно это: неделание, отставка, с сохранением по-русски «пенсии и мундира». Под этим требованием слышится только безграничная лень, безграничное вековое отлынивание от работы, эпикурейская и фарисейская критика человека и людей, которые сами не способны двинуть пальцем. Все-таки при всех ошибках, при всех недостатках, правительство у нас встает «с зорькой», тогда как общество, и либеральное, и консервативное, «валяется в кровати до 12 дня»...

И право же не ему и не *такому* умничать над «правительством»...

Прелестна в книге и общая характеристика Герцена, характеристика способностей и ума его, – самой *души*. Герцен с необозримыми «сочинениями» своими вообще напоминает Чацкого с его «речами» из «Горя от ума»; а о Чацком мы не должны забыть дальновидного словца Пушкина, что он в сущности «не умен». Герцен сверкает остротой и талантом на каждой своей странице... Все страницы прелестны, но именно как страницы. Как кусочки, как слова, как фразы. *Orega omnia** его решительно вызывает в памяти слова Пушкина о Чацком, и о самой личности его приговор гораздо более скорбен, чем о его блестящих книгах. Так блесит красавица, входя

* Все написанное; полное собрание сочинений (*лат.*).

на бал; но мамаша, оставшаяся дома, одна знает в грустной душе своей, что на ее дочери надеты стразы и нет ни одного настоящего камня.

«Отношения с Тургеневым, – говорит проф. Ив. Иванов, – бросают едва ли не самый яркий свет на личность Герцена. Какая беспомощность мысли в усилиях доказать мессианское значение русского народного быта! Сколько житейского неведения и книжного простодушия в увенчивании крестьянской земельной общины и русской рабочей артели как высшего предела социальных исканий человечества! Какая немощь воли, ослепление ума и опять все то же неведение и непонимание жизненной и исторической правды – в ретивом усердии за Польшу! И сколько, наконец, легкомысленной привередливости (вот слово! – В. Р.), и как мало достоинства и мужества в идейной борьбе даже с испытанным другом и добродушнейшим противником (с Тургеневым)! В основе отнюдь не прирожденная злобность, не нравственная и умственная ограниченность, – а барственно-артистическая самовлюбленность блестящего изобретателя картин, фраз и тешащих воображение явлений прошлого и настоящего, неизлечимая избалованность «русского гения», самоусладительная безудержность широкой – точнее, широко распутившейся – натуры, с молодых лет огражденной счастливым положением от необходимости суровую правду жизни добывать личными усилиями, – вдумчивую, ответственную мысль воспитывать положительной и упорной умственной работой. Никто больше Герцена не любил говорить о своих страданиях и опытах, – и никто меньше его не понимал даже отвлеченно сущности их (вот! вот! – В. Р.), пока не пришли разочарования и марево самообманов не рассеялось пред подлинной правдой. Но поздно было доучиваться и преобразоваться, оставался «скрежет зубовой» позднего раскаяния, без надежд впереди, сколько бы ни восклицал разбитый человек: «Баста ошибаться» – польский вопрос, раскольники и микро-нигилисты проучили» (стр. 625).

Нужно было много мужества, чтобы написать такую страницу о кумире, перед которым толпа молившихся и молящихся еще не разошлась. Герцен – вековой кумир, вековой соблазн. Да и как не соблазниться: он так красив. Взяв «все вообще», нельзя назвать другое имя в русской литературе XIX века, которое бы так разукрасилось, прожило такую красивую жизнь и, нельзя отрицать, оставило если не истинно прекрасные, то истинно изящные создания. Но... хороша постройка, а плох жилец, красив дом, да не красив в нем «домовой». Все рушится около эгоизма. Кажется, П. П. Перцов назвал его, по поводу недавнего юбилея, «первым русским гражданином». Так-то так, но гражданин он был не очень хороший; или, точнее и вернее, Россия нуждается пока в гражданине-солдате и в гражданине-мужике, чтобы защищаться и кормиться. В Герцене ничего решительно не было «от мужика» и ничего решительно не было «от солдата». От их стихий, от их духа. Поэтому самое «гражданство» его, действительно первое в нашей истории, вышло как-то бессодержательно, вышло фразисто. Вздыхаем в гражданине по солдате, взды-

хаем в гражданине по мужике до сих пор. А ведь важно, чтобы во всяком деле и во всякой линии движения удался «первый». Не удался он, пожалуй, не удадутся и средние, и последний. Личные недостатки Герцена решительно сыграли роковую роль в нашей общественности. Все ведь «по примеру его» пошли и отчасти еще идут. И вот следствие, что «по примеру»: у всех как-то отсутствует служилый и смиренный идеал. Все представляется так, что Россия должна им почему-то служить, своим «гражданам» и «оппозиционерам», – лечь им под ножки, а они «ходили» бы по России, вольно и вольготно; не то по-монгольски, не то по-французски. Мало Москвы во всех; мало служилого, рабочего начала. Много гульбы. Шепнем потихоньку – бульвара; и только про себя подумаем – кабачка. Вот где, в какой точке, погибли наши Родичевы, Ковалевские, Милпоковы, – «люди не без таланта». Вот где сложилась судьба наших Г. Дум... Русь серее этого. Но она и мудрее этого. Работа вообще добродетельнее гульбы – на это надо всем оглянуться.

ИНТЕРЕСНОЕ ЗНАКОМСТВО...

Можно ли скрыть истину, которую слышат сто тысяч ушей? И если каждый скажет только десяти человекам, то узнает миллион людей?

Бедный страус, спрятавший голову под крыло. Он видит только что «под крылом»: но на него смотрит вся пустыня.

Куда деваться, когда смотрят все, видят все? Молчать? Жалкое молчание. Вот уж поистине: «Я умираю *при замкнутом рте*»... как эти бедные телята на иудейских скотобойнях.

* * *

Месяца полтора назад председатель петербургского «Общества ориенталистов» был любезен – прислал мне приглашение на чтение в их обществе ученого доклада Э. Л. Беренса касательно географии военных передвижений Александра Македонского в азиатском Туркестане... Передвижения эти, подробное описание которых оставил нам историк Арриан, написавший обширную книгу «О походах Александра Великого», – многократно изданную и подробно комментированную немецкими филологами, – были *перезучены на месте* г. Беренсом, попавшим по делам русской дипломатической службы в *китайскую часть Туркестана*: и *здесь*-то он нашел все те тропы, те «маленькие путики», по каким пробирались македонские небольшие отряды и бытовую обстановку которых передает Арриан на основании бывших в его руках исторических документов. «Взяли с собой запасов *на шесть дней*, так как путь *на шесть дней* лишен всяких средств пропитания» (у Арриана). – «Ровно *шесть дней* и мне пришлось ехать по этой тропинке, не встретив никакой живности *для еды*, – говорил устно г. Беренс. – Самые *расстояния* между сторожевыми башенками, какими разметили эти дороги *китайцы*, имеют, к удивлению, не меру китайскую, а *древнеперсидскую* и по-

ставлены, очевидно, на тех местах, где стояли персидские сторожевые башни. В населении китайском до сих пор сохранился обычай при встрече произносить исковерканное греческое слово «хайре» (здравствуй), запомненное каким-то чудом туземцами и звук которого совершенно не родной им». И т. д. Доклад длился долго. Он, несомненно, совершенно переворачивает наши представления о линии движения Александра Македонского. Председатель общества, произнесший резюмирующую речь после доклада г. Беренса, сказал, что эти *детали* так убедительны, что против них трудно что-нибудь возразить. Счастливый случай привел европейского ученого посетить те самые места, совершенно дикие и куда никогда ученые не заезжали, по которым проходил великий завоеватель Востока, и исправить карту похода, данную нам поздним римским историком, который путался в деталях похода, не имея никакого живого представления о стране, и к тому же не знал туземных языков, почему, напр., и принимал туркестанское слово «река» — за *название*, за *собственное имя реки*, и потому начертил в своем труде реки совершенно фантастические.

Когда окончился доклад и немногие посетители его стали расходиться, я подошел к докладчику, Эдуарду Людвиговичу Беренсу, и рекомендовался. Сказав немного слов об интересе и убедительности доклада, я спросил его: *серьезно* ли он относится к своему письму, месяце три назад попавшему в мои руки и которое я вследствие разрешительной пометки на нем — «*для напечатания*» — опубликовал в своей книге: «Обонятельное и осязательное отношение евреев к крови». «*Тон* мне говорил, что письмо — совершенно серьезно. Да ведь около этих тем и вообще *недопустимо шутить*. Это темы тягостные и страшные»... Так я сказал ему, предупреждая возможность шутки. — «О, нет! Конечно, это — серьезно!» — ответил он мне горячо, узнав, о каком письме идет речь. Тут подошло несколько членов «Общества ориенталистов», русских (Э. Л. Беренс — еврей), — дальнейший разговор происходил в их присутствии и с их соучастием. Я сказал: «Так что, если бы зашло дело *вслух*, то вы не откажетесь от письма своего?» — «О, ни в каком случае!! — смело ответил он. Когда дело идет о *союзе с Иеговою*, что значит смерть мальчика, смерть даже собственного сына?»... Я вздрогнул от этой страшной логики: в самом деле, — жертвуют же *целыми армиями* для завоевания новой провинции. А что значит клочок земли в сравнении с договором с Богом, с которого началась на земле вообще истинная религия?.. У меня голова кружилась; все горизонты закачались. Г. Беренс, темный брюнет, лет сорока, стоял передо мной, как древнее изваяние, признаюсь, — пугавшее меня. Первое в истории, первый случай *во всемирной истории*, что еврей — в летах возмужалости, не дряхлый, не мальчик, — еврей *не темный*, а во всеоружии науки и вместе с тем патетически преданный юдаизму, признает...

Но читайте самое письмо:

«Памяти Андрюши Ющинского.

М. г. Хотя я не православный, даже еврей по самому происхождению своему, — однако считаю долгом своей совести присоединиться к числу жертвователей на памятник над местом умучения хассидами

Андрюши Ющинского в Киеве. Не он первый, не он последний. Поэтому желательно отречься от страстности и, наконец, попытаться с необходимым хладнокровием вникнуть в суть самого таинства причащения – единственного способа общения человека с Богом путем принесения Ему в жертву существа, подобного и Ему Самому, и себе, т. е. величайшего и самого святого из ритуалов. (Ничего общего с ритуальными убийствами наше причащение не имеет! – В. Р.) Ритуал этот существовал в древности повсеместно, на всем лице вселенной; ныне уже почти одни только иудеи еще остаются верными хранителями этой истории, – да и то, конечно, не все, а лишь одни потомки левитов, nasledующие сокровеннейшие традиции истого служения Верховному Созидателю миров от Моисея и его предшественников, духовных вождей исчезнувших наций, цивилизаций и материков.

Интеллигентская чернь современности не поймет, конечно, всей возвышенности души тех, кто, подобно нашему праотцу Аврааму, в Киеве 12 марта 1911 года с сердцем, обливающимся кровью, отдавали Всевышнему жизнь того именно создания, которое для них самих было дорого наравне с собственным дитятею! Ведь те, кто пели гимн Творцу в те минуты, когда вместе с истекавшею кровью Андрюши испарялся к небесам чистый, непорочный дух его, – те люди всею душою и сами истекали скорбью: потому что задолго до принесения ими их великой жертвы они обязательно включить должны были ее в свое сердце; они безусловно любили бедного мальчика отнюдь не менее, чем единственного сына; не менее того, как любил Исаака сам Авраам: ибо лишь в этом единственном случае их жертва была совершенною и великое таинство – совершившимся. И, кто знает, не воссияет ли вскоре милосердная улыбка на лице Бога Израиля над избранным народом в награду за верное служение Ему, за соблюдение таинств путем Ему, Единому, угодным?

Слава мученику Андрюше! Слава мученикам из колена Леви! Слава и труженикам из явных и скрытых израильтян, которым с невероятными трудами удалось не допустить до такого несчастья, как разорвание перед глазами непорочной черни завесы Святая Святых истинной веры; слава Грузенбергу с соратниками!

И презрение черни всего мира, бесноватой, глупой, болтающей вздор о хассидах, о нормальном суде и земной справедливости с ее законами и беззаконием! Шоа-Изроэль! Нет Бога, кроме твоего Бога, и ты пророк Его.

Почетный член Императорского археологического института
Э. Л. Беренс

Я был потрясен. Точно земля закачалась подо мною – «Ваш адрес?» – спросил я. Все оказалось так рационально: «Кирочная, дом 48. Телефон 242–25». Как в оперетке: когда мы стоим перед трагедией «от океана до океана», и миллионы грудей задрожат, когда «завеса Соломонова храма» наконец приподнимается...

Еврей-то *прочитали* уже три месяца назад в моей книге это письмо... И пали ниц, с неммым: «Не видим». Письмо ученого историка-еврея, с патетическим, с восторженным признанием ритуальных убийств, а по существу – *жертвоприношений*, как я и говорил печатно все время процесса Бейлиса, – это письмо *не было процитировано и названо ни в одной газете, ни одним евреем-журналистом*, хотя они исписали стопы бумаги, жалуясь на «кровавый навет»... Полное молчание, – в надежде, что «мы не увидим» и «никто не увидит». Но вот завтра увидят и послезавтра – и через неделю – весь свет.

И он увидит, радостный Ротшильд, принимавший Бейлиса в Палестине: увидит и устыдится, что теперь всем *понятно*, чему он тогда радовался.

И те евреи, между ними «ааронид» (т. е. происходящий из потомства Аарона), г. Гарт, автор *русской* патриотической книги: «Отчего зашаталась Россия?», и еще тот молоденький еврей, сотрудник «Русской Мысли», фамилию коего я забыл, – которые все посещали меня во время процесса Бейлиса, стараясь «разуверить»...

Но розановский нос далеко нюхает: все время я был *убежден*, и неколебимо, что это – «так». Что «за завесою» – именно Молох, требующий детской крови... И что речи тех евреев, приходивших ко мне, хладны и притворны, что они и сами – «знают *тайну*». Тайна эта теперь раскрыта. В кои-то веки нашелся серьезный патетический еврей, не «*устыдившийся*» своего Иеговы» перед лицом людским, как они все, евреи, стыдятся и боятся показать миру лицо своего Бога.

Вот, смотрите: у нас, русских, – все нарисовано, изображено, показано миру. Отчего вы-то не рисуете? Отговариваются: «Боимся оскорбить: материал *не хорош* – бренное дерево, камень, краски». Но ведь и мы, почитая своего Христа, – не боимся Его «оскорбить» красками. Нет, причина у вас другая, не в этих отговорочках, а в ином: что *испугался бы каждый, кто взглянул*.

И везде у вас двоятся язык, и везде вы уходите в тайну. В тайну, в тьму и отговорочки. Но теперь отговорочкам пришел конец.

ПО ПОВОДУ ПИСЬМА Э. Л. БЕРЕНСА

Если бы письмо Э. Л. Беренса, напечатанное мною 4 мая, было помещено в газетах, *как он этого желал*, – одно: *то* ни у какого читателя его письма не возникло бы и не могло возникнуть ни малейшего сомнения о *национальности автора письма*. Писавшим мог быть только еврей, по точному слову его: «Хотя я не православный, даже еврей по самому происхождению своему», – и по произнесению им, горячему и страстному, вероисповедной формулы юдаизма: «Шоа-Изроэль, нет Бога, кроме твоего Бога, и ты пророк Его». Подобные выражения, без сопровождающих оговорок и объяснений, в высшей степени неосторожно допущены им в своем письме; и неосторожность эта отразилась неблагоприятно не только на личности автора, но и

решительно на всех его читателей, в том числе – на мне, которые приняли и должны были принять его письмо за сознание ученого еврея в совершении ритуальных убийств (человеческих жертвоприношений) его нацией. Кому я ни показывал его письмо (евреям и не евреям) ранее напечатания его в моей книге, – ни у кого не было вопроса о том, *кто* его написал. Было очевидно, что его написал – еврей.

В письме от 6 мая эта неосторожность продолжается. Он пишет: «Евреем по происхождению я, конечно, являюсь, *как и все мы*, грешные, происходящие от праотец Адама, *Исаака и Иакова*». Конечно, никто из русских и германцев не считает себя «происходящим от *Исаака и Иакова*», потому что в таком случае он числился бы в одном из 12 колен Израилевых, в потомстве которого-нибудь сына Иакова; что касается Адама, то он, конечно, никогда *евреем* не был.

Что же остается от его письма и что, так сказать, «уходит в дело»? В «Речи» г. Левин уже назвал г. Беренса «евреем-ренегатом, *каких было много*», и, следовательно, еврейство г. Беренса все равно не прошибло бы, как я ожидал, стену упорного запираательства, в которую заперлись евреи и неистово лают из-за этой стены на весь свет. Замечу следующее: самое единство этого запираательства и монотонность тона его говорит о чем-то заранее условленном и решенном, об общей «директиве», однажды и на все века данной главами юдаизма, которым, конечно, принадлежит жертвенное дело. Это аналогично «бойкоту» и «забастовке», где комитет решил, а масса – исполняет. Где нет «комитета» и «забастовки» – есть варианты мнений, есть колебания, есть «мнение одного» и «взгляд другого». Евреи не говорят, а воют: «Нет! – и баста». Все – их смуглые однообразные лица, от океана до океана. Тут именно *условленная ложь*, решенный сверху *обман*, который по команде исполняется всеми. И всякую ложь можно разоблачить как умственное построение, как умственную паутину, – но нет вообще никаких средств разоблачить *волевою ложь*, иначе как сломить упорство. А как вы его сломите, когда евреи жизненно и национально заинтересованы в отрицании ритуала.

1) «Юридических доказательств мы вам не дадим, во всяком единичном случае – устраивая ритуал, предварительно обдумывая его...»

2) «А на *моральные доказательства* мы плюем. А над психологическою обстановкою «всего» – мы хохочем. Мы даже рады, что вы знаете, что «есть ритуал», а «доказать не можете». Вы больше позлитесь, а нам больше веселья». Таков смысл встречи Бейлиса в Палестине Ротшильдом, таков смысл огромной имущественной награды ему и даже выбития медали в честь Бейлиса! «Конечно, конечно, *есть ритуал*, и кровь мальчиков мы точили и будем точить, но *схватить* вы никого не можете и никогда не сможете». Вот довольно явный вой евреев. Бесстыдные люди, для которых «гои» вообще – «ничего»; предмет обмана, предмет жертвы, предмет поедания и разложения. Как они стараются сгноить нас, русских... Паразит растет только на гнилом дереве, и привести в гнилое состояние нацию, пред-

назначенную к съедению, — конечно, «задача момента» теперешнего еврейства в России (их писателишки, их газетишки).

Но иногда, разгорячившись, евреи проговариваются, *хотя косвенно*, в своем патетическом вранье. Давно ли 400 раввинов клялись и заявляли на весь свет, что в «еврейской религии нет никаких тайн»? А вот что пишет г. Левин в «Речи» по поводу письма Беренса:

«Этот серьезный патетический еврей, Беренс, с величайшим пафосом возглаголет «славу» труженикам «из явных и скрытых израильтян». «Грузенбергу с соратниками, которым с неимоверными трудами удалось не допустить до такого несчастья, как разорвание перед непосвященной чернью завесы Святая Святых истинной веры». Но что же он сам-то делает, этот «серьезный патетический еврей» г. Розанова? Ведь он *послал свое письмо «для печати»*, т. е. *сделал все возможное*, чтобы «разорвать завесу Святая Святых истинной веры», которую якобы сам исповедует... Т. е. *он совершает по отношению к этой вере — именно со своей же точки зрения — самое подлое и омерзительное предательство...*»

Это г. Левин написал, еврей, и о своей еврейской вере. Проговорился? Нет? Проговорился сгорая, что «было бы самым подлым и омерзительным предательством» рассказать о сокровенном, что *есть* в их вере, в чем бы это «сокровенное» ни заключалось. Итак, мы, русские и христиане, знаем теперь со слов г. Левина, патриотического еврея и патетического защитника юдаизма, что что-то они «скрывают», чего никому нельзя «знать», и это скрываемое представляет собою ужас.

Стоял камень в Иерусалимском храме, на черте, через которую было запрещено переступать не евреям. На этом камне греческими буквами было написано: «Всякий не еврей не должен переступать за эту черту. Если переступит, пусть пеняет на себя: ибо *последует смерть*». Было что скрывать или — нет, гг. раввины?? Вот о чем проболтался г. Левин.

В одном талмудическом трактате рассказывается: «Когда привели Рабби Ханина бен-Терадиона, то спросили его: «Почему ты занимаешься Торой?» Он ответил: «Потому что (и назвал вслух тайное четырехбуквенное имя Иеговы) мой Бог повелел мне». *Тотчас же решили его сжечь...* Почему постановили над ним приговор сожжением? Потому что он Божественное Название выговорил полными его звуками»...

Вот до чего страшно, вот до чего пугающе... Вот до чего евреям *опасно* вслух выговорить «Святое Святых» своей веры, — и дать кому-нибудь *услышать его...* «Ради Бога, не подслушай меня» и «не подгляди за мною». Что такое??! Не знаем *в точности*; дело еще лежит в тумане, клубится в облаке, но *границы, объем и форма* этой «тайны» уже довольно определились, сузились... Это что-то в высшей степени враждебное и угрожающее остальным людям, не евреям; и что-то в высшей степени нечистоплотное, нечистое, грязное, возмущающее душу и возмущающее воображение. О последнем сужу по неоднократному напоминанию Талмуда: «Если, читая

наши священные книги, ты *дотрагивался* руками до листов книги, – то *вымой* потом руки, ибо *руки твои осквернились*». Ну, ведь мы очень хорошо знаем, после каких «прикосновений» приходится «вымывать руки». Еврей, своим знаменитым талмудическим предписанием, как бы шепчут своим ученикам, своим читателям: «*Главная наша тайна* аналогична *всему самому неприличному в мире*», так что, почитав или послушав «нас», – надо принимать ванну...

В пору процесса Бейлиса мы собственно пережили картину или, лучше сказать, мы видели зрелище этого испуга евреев «показать свое дело»; мы как-то лучше, осязательнее понимаем и надпись на камне в Иерусалимском храме: «Последует *смерть*, если кто *переступит черту*», и – «приговорили *сжечь* того, кто *вслух произнес* тайное Имя Божие». Смотрите: никто *не выдал*; смотрите – потоки ругательств, бешенство, почти побивающие камни на того, кто заговорит о трупике Ющинского в смысле – «дело рук евреев». «Облако», где скрыты еврей, – ограничилось, сузилось:

1) Оно содержит какую-то *кровавую тайну*.

2) Оно содержит какую-то кощунственную *грязную тайну* («*вымой* руки»), которой – ни сказать, ни передать, ни вообразить нельзя; о которой «подумать страшно»... Это что-то вблизи Содома, но гораздо страшнее, потрясающее Содома, о чем еще мы можем хоть шептаться («*сожгите* всякого, кто выговорит вслух и даст *услышать*»)... «Религия евреев» есть отрицание, есть «постановление вверх ногами» всего, что человечество разумеет под «религиею»: т. е. под *сплошь белым, сплошь добрым*...

Р. С. В «Речи» такая радость, точно туда забрел потерявшийся мальчик, вроде Ющинского!

УЧЕНИЦЫ ДУНКАН

11 мая, в воскресенье, в Большом зале консерватории, при полном зале гостей (бесплатно) четыре ученицы Айседоры Дункан дали представление античных: 1) ходьбы, 2) бега, 3) элементов танца, 4) некоторых танцев, – как 1) своих, так и 2) тех крошек, 29 девочек и 2 мальчиков, которых ее школа набрала в Петербурге и уже кое-чему (ходьбе и бегу) научила их. Зал был наполнен зрителями, и впечатление получилось удовлетворительное. Оставляя в стороне впечатление, скажем два слова о школе Дункан.

Две самые главные и нужные черты танца Айседоры Дункан, именно – *простота* и *естественность*, переданы или внушены великой учительницей своим питомцам. В *этом* все дело, отнюдь не в линии танца, не в копировке поз и движений с античных ваз и прочее. Устранен манекен, устранена копия; устранен, скажем обобщая, «чиновник», который в наши времена всюду пробирается и все себе подчиняет. Такого «чиновника танцев» мне пришлось года два назад видеть в одной частной петербургской школе, которая, якобы подражая Дункан, попыталась воспроизвести античные

танцы. Танцы взрослых и хорошо тренированных учениц этой петербургской школы не оставляли ни малейшего впечатления, будучи восковым повторением танцев Дункан, или восковым воспроизведением статуй, барельефов и ваз. Костюмы были античные; позы – все древние; линейно было все очень красиво. Но из-за спины танцовавших девушек точно показывался бич циркового берейтора, делавший трудное (для исполнения) зрелище почти отвратительным. «Не надо! *Не надо* такой древности! Это не греческая древность, а петербургская древность; копии, а не подлинники». Вот сравнивая эту-то петербургскую неудачу с тем, что вчера дали танцы учениц Дункан, и постигаешь всю трудность и все настоящее *дело* Дункан...

Это дело заключалось и заключается в восстановлении, в *оживлении* кусочка древней Эллады, – той узкой и вместе той со всем перевивавшейся полоски ее, которая обозначается шестью буквами: «танец». Вазы, живопись Помпеи и Геркаланума, саркофаги – только средство, только ключ «к двери», а отнюдь не *maestro*. Отперев дверь и до известной степени даже бросив ключ, – надо было войти в древний воздух, под древнее небо и задыхать по-древнему: непременно – свободно! Еще непременно – счастливо!! Из «школы» собственно надо было убрать «школу». Нужно было *вдохнуть* танцы, а не *выучить* танцам (петербургская затея). Зрители вчера это и увидели, – не в такой полноте удачи, как у Дункан, но на *этом* же, *этом самом* пути исполнения! Все, что нужно! Ученицы еще не дошли далеко до цели, они в начале или в середине пути, – но это путь самой Айседоры Дункан. Танец – в сердце, а не в ногах. Эту-то главную *тему* «своего дела» Дункан сумела передать ученицам. И как мы это увидали, то можем думать, что «дело Дункан» не умрет с нею. Могло бы случиться. Можно было ожидать.

«Эх, господа, – будем немного *счастливей*»... Вот главное. Все остальное – средства, путь, «ключ». *Где* же человек был прекрасно счастлив, благородно счастлив? В *углах* Эллады, деревенской или доисторической; отнюдь – не Эллады Афин, отяжеленных политической заботой и философией. Это – слишком тяжеловесно. В мудрых Афинах танец уже умирал. Дункан, отчетливо или бессознательно, взяла дикую, невинную, «былинную» Элладу; Элладу Гомера, Пиндара, где-нибудь в Малой Азии, а еще вернее – на заброшенных в сторону островах. Во всяком случае – деревенскую и сельскую Элладу; которая и перешла на вазы и барельефы, отнюдь не афинского или менее всего афинского происхождения.

Не в самых даже танцах, а в промежуточные и незначачие моменты представления, когда ученицы жили «не на *тему*», и было заметно (как и в самых танцах, конечно!) это сохранение естественности, грации и просто *счастья* «под углом эллинским». Все не так мощно, не так энергично, не так беспредельно свободно и грациозно, как у Дункан, но – в *этой линии*... «Будем счастливы... Опять – лето, мировое лето; сбросим ватные пальто, путаные капоты «с отделкой» и тяжеловесные юбки. Оставим и дадим видеть всю фигуру благородного человека, которая есть только художественная фигура, и притом – величайшее в мироздании художество, исключив

или оставив невидным одну биологию или физиологию, что к зрению нашему и к чувству художества не имеет отношения. И без всяких резких *да*, и без всяких резких *нет*, без спора и полемики в душе или в аудитории, будем просто *жить*, двигаться, говорить, как это вытекает из одной чистой *человечности*, без мутных прибавок последующей и усложненной истории».

Вот – вся Дункан. Просто – *утро* исторического дня. *До* базара, войн, дипломатии и академии. *Кому* это не родное? Всем народам родное. И везде почувствовали Дункан. Везде ей обрадовались. «Танец будущего» называет она свои танцы; и вместе – раннего-раннего, древнего-древнего прошлого.

Крошки от 7 до 11 лет, набранные в Петербурге, забавно, но и *умело* уже ходили, бегали, ставя ручки так и этак, «по-эллинически». Все было забавно, мило, деловито... В высшей степени было не «по-заученному»... И общество энергично приветствовало их. С ними был брат г-жи Дункан, приезжавший в прежние разы с сестрою в Петербург, и ее доверенный друг, г-жа Франк (англичанка). Было и еще несколько англичанок и англичан, из персонала основанной ею школы.

Г. К. ЛУКОМСКИЙ. СТАРИННЫЕ ТЕАТРЫ

Том. I. Античные театры и традиции в истории эволюции театрального здания. СПб., 1914 г. Стр. 496.

Иногда прилежание к делу, любовь к избранному предмету и неустанное трудолюбие подобны таланту: эти дары если и не совершают всего, что нам дает талант, то они зато доделывают работу таланта, прибавляя в ней многие осязаемые необходимости, многие частности и подробности, доставляя ему пособия, помогая ему знаниями, собирая для него материалы. Работа прилежания и путь прилежания переплетаются с работою таланта и путем таланта, без малейшего соперничества, без тени недостойного завидования. – Так не раз хотелось мне сказать в ответ на строгие замечания, какие приходилось выслушивать по поводу книг г. Лукомского, – книг многочисленных, несмотря на молодость автора. В его лице мы имеем музу прилежания, музу трудолюбия: и нет слов, которыми готовы приветствовать ее появление. При лени и косности русских, при великом даре их к «дилетантству», – это самая желаемая муза, самая драгоценная гостья искусств и наук...

К ряду описаний архитектурной старины, вообще архитектурных достоинств, многих русских достопамятных городов, г. Лукомский выпустил – увы! «в ограниченном числе экземпляров», – начало громадной работы под общим заглавием – «Старинные театры», первый том коего носит частное название – «Античные театры и традиции в истории эволюции театрального здания». Понятие о мысли и о вдохновении этого труда лучше всего может дать следующее «предпослание» к нему автора:

«Волею судеб задержанный в Сицилии в летнюю знойную пору, когда городские улицы так пустынные и по раскаленным плитам их бегают лишь веселые ящерицы, а голые дети и козы прячутся в тени, когда так ароматны тенистые сады померанцевых деревьев в долинах и так душисты кусты гелиотропа на античных развалинах, – задумал я основу содержания этой книги».

«Мне так тоскливо стало при мысли: неужели вся эта красота, в которой протекало театральное действие, погибла навсегда? И так трепетно забилося сердце: неужели нельзя восстановить еще хотя бы только одну веру в эту красоту?»

«Заронить в сердца людей эту *тоску по забытому*, но не утерянному еще античному миру – было моей первой, побуждающей и руководящей мечтой».

Автор жил в это время в Таорминах – маленьком городке Сицилии, с великолепными остатками античных руин, снимок с которых дан в главном рисунке книги, – и продолжает:

«Достав в Таормине первые, на редкость удачно снятые фотографии руин, оживленных фигурами юношей в белых тогах, я представил себе уже общую физиономию будущей книги.

В Анакапри (городок и руины на о. Капри, против Неаполя. – В. Р.), где я писал главу четвертую этой книги, о театрах Сицилии, – на заре или лунною ночью, – когда весь мир античный мне казался возрожденным, – я распространил на весь этот мир запавшую мне в душу идею: далее ехал в Оранж, – и по дороге, в каждом итальянском городке, начиная с Помпеи, уже собирал материал для «Античных театров».

В Оранже я видел воодушевление толпы при созерцании драмы в стенах древнего театра – и поверил в возможность не только возрождения в наши дни античного действия, но и убедился в возможности еще и широкой формы античных театров.

Далее, странствуя по благородной Галлии, разнообразной Германии, маленькой Голландии, я стал выискивать *следы античных традиций и в позднейших театрах*. Для этого пришлось еще раз вернуться в Италию, чтобы с нее еще раз начать снова обзор и театров эпохи Ренессанса и барокко.

Виченца и Парма были моими двумя отправными пунктами. Театр Палладио и Театр Фарнезе – два наиболее выпуклых примера блестящего использования античных приемов.

Потом уже не представляло большого труда продолжить намеченную линию и вперед, – чтобы довести историю театров до конца, до XIX века. Таким образом, скопился огромный материал. Не представлялось возможным уместить его весь в одной книге. Пришлось разделить на две, проследив в одной – *традиции античные*, а в другой – дав описание театра эпохи Ренессанса и особенно барокко. Так, «Античные театры» пришлось заменить «Старинными театрами».

Много помог работам автора недавно и благовременно открывшийся в Петербурге «Институт истории искусств» графа В. П. Зубова, – с его замечательнейшей библиотекой (особенно – старинных изданий) по предмету истории искусств.

В бесчисленных рисунках труда г. Лукомского, – в чертежах, планах, в photographиях и т. д., – даны снимки античных руин и «античной традиции» в новых театрах, до Эрмитажного театра, до театральной залы в усадьбе Шереметевых близ Москвы – «Останкино», и т. д. Книга обставлена драгоценными указателями и подробною литературою предмета, – где исчислены не только напечатанные труды, но и сделано указание на готовящиеся в скором времени выйти в печать труды (шеститомная «История русского театра» В. В. Каллаша и труд г. К. Миклашевского).

Просматривая труд г. Лукомского и обдумывая весь тот энтузиазм, который не только виден в книге его, но замечен и «вокруг книги», в ряде лиц, обществ и учреждений «около темы книги», – я думал о бедных друзьях моих, социалистах, и об их литературных усилиях привлечь внимание всех к своей теме. Как известно, они рассчитали свою тему «на века» и – в полной уверенности, что некогда настанет социальное царство, когда все люди будут думать только о заработной плате, о черных рабочих блузах, о русских косоворотках... «Все к нам придут», и «царству нашему не будет конца»... Ах, коротки ваши счета, друзья мои, и не знаете вы лукавой природы человеческого: а вдруг все придут к «хитонам», начнут строить театры «на открытом воздухе»... Замечаются о танцах Дункан. Но, конечно, – «не навеки». Но дело-то в том, что ваши «веки» все-таки будут спутаны... Еще что-нибудь придет, новое, неожиданное... Безгранична натура человеческая, неисчерпаема натура человеческая: вот в *чем* ваше горе и вот *где* ваша граница... Если бы обрубить человеческое воображение? Если бы зажать «в рабочий кулак» всемирное человеческое сердце? «Если бы», «если бы»... Много вам надо накопить «если бы», чтобы осуществилась ваша мечта... И не удастся вам запереть человечество в контору и фабрику...

Потанцовать хочется...

Музыки хочется...

Почитать Пушкина хочется, друзья.

СТОЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ И. Г. ФИХТЕ

Только что вышедшая книжка московского философского журнала «Вопросы Философии и Психологии» вся посвящена великому германскому философу Иоанну-Готлибу Фихте, по поводу исполняющегося в этом году столетия со дня его смерти. «День, который отпразднуется не только германскими университетами и германскою нацією, но и всем культурным миром», – говорится в первой из статей, посвященных Фихте. Статьи эти следующие: «Иоанн-Готлиб Фихте» – Г. Ланца, «Общее мирозерцание Фих-

те» – Л. Лопатина, «Основная идея теоретической философии И. Г. Фихте» – Б. Яковенко, «Философия Фихте как религия совести» – Ив. Ильина, «Фихте в иенский период» – А. Кубицкого, «Бытие и знание в философии Фихте» – Г. Ланца, «Наукоучение И. Г. Фихте» – Б. Яковенко.

Всякому ясно, что этот ряд статей дает полное, закругленное и, конечно, вполне компетентное понятие о великом германском мыслителе, одном из трех светочей так называемого «германского философского идеализма» (Фихте, Шеллинг, Гегель). Кант своим учением о вечно непознаваемых «нуменах», или «вещах в себе», запер было дорогу порывам мысли человеческой в бесконечность; но эти три поистине титанических мыслителя как бы взорвали запертую дверь, сбросили ее с петель «чистого разума» и устремились сами, и толкнули германский дух – в бесконечность. Последствия этого движения были необозримы. Мысль их оживила и оплодотворила все море знания, весь неисчерпаемый мир единичных наук, – главным образом бесконечно углубив и одухотворив естествознание и историю. Если Германия на весь XIX век стала впереди всех европейских народов в деле науки, – то это именно благодаря колоссальной критике Канта, произведенной над человеческим умом, и благодаря усилиям трех названных гениев преодолеть эту несколько печальную по выводам критику. Если можно говорить о Прометеевом огне в человечестве, то этот древний миф не был сказкою только в Германии. Кант, Фихте, Шеллинг и Гегель дали Германии более, чем сколько ей дал политический и военный гений Бисмарка и Мольтке... Тем более что их-то царство уже совершенно неразруσιμο...

Ну, оставим Фихте и немцев и вернемся к «нам»... На книжке «Вопросов Философии и Психологии», посвященной Фихте, стоит пометка: «Год XXV», «Книга 122». И мне хотелось собственно сказать по поводу 25-летия журнала, который дает 122-й том превосходного, высоконаучного, а часто и высокоталантливого философского чтения всему русскому обществу. Вспомнишь невольно –

Науки юношей питают,
Отраду старцам подают...

Здесь, в Петербурге, сколько раз мне приходилось видеть смиренных чиновников, под вечер отдыхающих с книжкой «Вопросов» в руках. И вот от лица-то этих отнюдь не философов, а обывателей, русских служилых людей, мне и захотелось сказать глубокое «спасибо» московским любомудрам, указав, что не «вотще» их труд и что он не есть только «профессиональное свое дело», дело ученой кафедры и подготовленных слушателей, а и дело – всероссийское, общественное, если пока и не народное. Если бы не «Вопросы Философии», масса русского люда, вероятно, вовсе не читала бы ничего по философии; а теперь нить и традиция философских интересов и философских вопросов вот уже 25 лет не угасает в России и если не горит, то постоянно теплится, постоянно глеет. Это – одно, «для общества». Но и другая сторона дела, именно рост философской литературы, фило-

софской книжности, насколько она выразилась в томах журнала, – огромна. Сто двадцать два тома! – Можно с уверенностью сказать, что объемом и ценностью это превосходит собою всю совокупность русской философской производительности за все время «у нас философии»... Сто двадцать два тома! – это горка книг, гораздо более толстая и высокая, чем все, вместе взятые, «диссертации» на докторские и магистерские степени, написанные русскими профессорами и вообще учеными...

Таким образом, журнал составляет и уже составил положительно эпоху в «истории философии в России», обобщеннее сказать – эпоху в истории русского книжного и школьного образования. Пока значение журнала – все-таки учебное, училищное, излагательное; применяя средневековый термин, – схоластическое, *ad usum scholarum*. В журнале трудились превосходные силы: Влад. С. Соловьев, Л. М. Лопатин, Преображенский, кн. С. Н. Трубецкой и Евг. Н. Трубецкой, С. Н. Булгаков, Н. О. Лосский, Эрн и многое множество других. «Своя свечечка» еще не зажглась там; ну – «свечечка» вроде приснопамятного украинского философа Сковороды. Этого, однако, нужно очень желать, об этом надо напомнить; хотя нельзя с грустью не признать, что это «приходит» во благовремении и «само собой», кажется, – с неба. Пока мы имеем перед собою ряд неустанных философских трудолюбцев, но их труд перед родиною и обществом – благороден, прекрасен. Между тем это частный, личный труд; никто их «не обязывал», – и при других университетах, которых у нас девять, этого не началось и не делается. Это показывает, что светоч философского интереса и таланта в Москве ярче горит, нежели где-либо в России, и что самые представители там философии – деятельнее и более «упражняются в должностях человека и гражданина», говоря старым языком, нежели в других университетских центрах. Вот это все, эти немногие слова, мне захотелось сказать добрым москвичам. Насколько труд их, спокойный и величавый, достойнее публицистической шумихи пятидесятилетних «Русских Ведомостей», – тоже профессорского органа. Поистине, философия – мать наук, не старшинством и годами, но вот этою степенностью и зрелостью. Она – со шлейфом, а те – подобрав юбочки.

К ВОПРОСУ О ЕПИСКОПАХ «БЕЛЬЦАХ» И МОНАХАХ

Спор между г. Папковым, с одной стороны, и между епископами Антонием и Никоном, с другой стороны, – о *тоне и цвете* епископской власти и авторитета – очень важен принципиально и исторически; спору этому никогда не пройти, спор этот всегда будет возбуждаться. В истории русской церкви и русской богословской литературы он получил особую остроту в начале 60-х годов, когда тенденция мысли, защищаемая г. Папковым, была высказана с высоты престола. Читателям полемики между г. Папковым и двумя

епископами видно, как многочисленны канонические данные и факты церковной истории, говорящие «за» *белый, монашеский* характер епископской власти. Ввиду их императором Александром II и было выражено недоумение: *отчего* епископами, «надзирающими» (*ἐπισκοπέω* – смотрю, надзираю, блюду) церковь, являются исключительно лица монашеского чина? Обеспокоенный мнением императора, митрополит Филарет поручил всесторонне рассмотреть этот вопрос знаменитому канонисту своего времени, Иоанну, епископу Смоленскому, славившемуся умом, точностью, остротою мысли и дарованием слова. Плодом этого была знаменитая книга епископа Иоанна – «О монашестве епископов». Она является как бы «верстовым столбом» в ведущемся сейчас споре и погасила или успокоила вопрос на много лет. Написанная именно с остротою мысли и слова, книга Иоанна Смоленского, в посмертной статье о нем Никиты Петровича Гилярова-Платонова, известного славянофила и профессора Московской духовной академии, названа «одностороннею и пристрастною». Гиляров-Платонов совершенно так же, как и епископ Иоанн Смоленский, компетентен в вопросе.

Спор не уляжется и не может улежаться по великой муке, скрытой в нем, – муке, которая чувствуется решительно каждым русским священником. «Отчего я или *мой ближний*, священник праведной жизни, высокого ума, большой ревности к церкви, – *за то только одно, что мы семейны*, лишены навсегда права быть благодетелями церкви, – быть епархиальными? И отчего *все мы*, священники и попы, несущие на плечах своих все бремя церковного служения около народа, – бремя и вместе с тем радость, – лишены всею массою, без разбора добродетели и разума, права епископата, т. е. водительства и руководства церковною жизнью народа?» Вот мысль каждого священника, вот горе каждой сельской и городской священнической семьи. Вопрос не в том, что у других есть честь; вопрос в том, за что «мы» лишены чести. Когда происходили вселенские соборы, и между ними шестой собор, на слова которого ссылается епископ Никон в последнем «Письме в редакцию» («Нов. Вр.», № 13728), – не было, не развилось, не обозначилось этого горя, которое сложилось в последующих веках и в целом тысячелетии церковной жизни. Перечтем слова этого собора, как излагает их епископ Никон.

«Шестый вселенский собор, постановляя правило о безбрачии епископов и предусматривая те ссылки на *практику апостольских времен* (значит, она *была!!* – В. Р.), какие теперь делаются при требовании, чтобы епископ был не монах, оговорился: «Сие же глаголем не ко отложению или превращению апостольского законоположения (значит, оно было и *имеется*. – В. Р.), но *прилагая попечение о спасении и о преуспевании людей на лучшее*, и о том, да не *попустим* какого-либо *нарекания на священное звание*. Ибо глаголет божественный апостол (Павел): «*Вся во славу Божию творите: беспреткновенни бывайте иудеям и эллинам и церкви Божией, яко же и аз во всем всем угождаю, не искый своя пользы, но многих, да спасутся*. Подражатели мне бывайте, яко же и аз Христу».

Вот слово, и собора и апостола отдельно, читая которое, как-то навертываются слезы на глаза, и понимаешь, — о, как понимаешь, — чем же именно церковь все победила, всех победила, царей, народы, державства. Понимаешь, отчего перед ее *законами* и «церковными правилами» склонились, и расступились, и преклонили выю все светские законодательства. Читая такие слова, думаешь и поешь в сердце: «Хочу быть только церковником и никем еще». Совлекаешь звания «гражданина», «писателя», «русского», хотя быть «христианином» и «со Христом».

В чем же дело, владыко преосвященный? Неужели не видите, а для меня очевидно. В словах ап. Павла — сперва, а затем в постановлении 6-го собора о *монашестве* епископов прозвучало одно слово — *вселенской любви*... «Вселенской», — что такое «вселенской»?.. Не «моей», не непременно «моей» и «нашей», а — «ваше», а — «ихней», а — «всех». Прозвучал великий глагол самоотречения, дабы всех привести в любовь. «*Не мое! Не мое!* Аз — умираю, дабы жили — вы». Вот чем Христос победил и победило христианство. Тогда все, эллины, иудеи, бросили «свое», побросали «свое», «свои законы», «своих богов», чтобы единого Христа принять и покориться всему «Христову». В чем же дело и как это выразилось? «Беспрекословно бывайте иудеем и эллином и церкви Божией, яко же и аз всем угождаю, не иский своя пользы, но многих, да спасутся». Вот о чем мы плачем, вот какое слово целуем, которое сделало нас «не русскими, не немцами, но христианами». Теперь смотрите, что было дальше: монахи не допускались в епископы до шестого вселенского собора; если монашествующий призывался на епископскую кафедру, то он предварительно должен был снять с себя обеты монашества и одеяние монаха. «Отрекался»?.. Да — *сбрасывал* с себя монашество, и в этом сбрасывании, в этом отречении содержалось как бы некоторое *нарекание на монашество*, хотя по существу такого нареkania не было. Признавалось *несовместимым* «быть монахом» и «быть епископом», по затворническому и молчаливому характеру первого и по деятельному, среди людей, и глаголивому характеру епископской должности. Итак, обиды *не было*, но она *казалась*. Между тем перед шестым собором было твердо апостольское слово: «Епископ должен быть *единый жены муж*». Как же поступил собор? Поистине, он явил себя «апостольским» собором, в лице своего дивного вдохновения. Он, силою *единства духа с апостолом, прорвал форму слова его*. Он *поступил* так, как поступил бы непременно и апостол, видя новые времена вокруг себя; он высказал такое учение, которое *непременно высказал бы* и апостол Павел, видя сонмы величайших иноков, святейшей жизни, которые по тому только одному «не призываются к заботе епископского управления», что они суть монахи. И им, сущим праведникам в монашестве, в котором именно они достигли праведной жизни, и оно, т. е. монашество, очевидно, *помогло* этой праведности жизни, вдруг, по слову апостольскому: «должен быть *единый жены муж*», — предлагают и требуют сбросить иночество с плеч, как что-то *недостойное, кажущееся* «недостойным», ну хотя бы в глазах мира и неопытных, в гла-

зах простецов. Ведь сан-то «епископский» был высший в церкви. Это – высшая ступень церковной жизни и деятельности. Явная «неправда», – *теперь* не правда, в *том веке*, в каком происходил шестой собор. И силой *вселенской любви*, силою *Павловой любви*, собор сбросил Павлово слово и Павлово определение: «должен быть *единыя жены мужем*». «Не надо! Не будем обижать этих прекрасных иноков! Свидетельство прекрасности которых – у нас перед глазами!» «Пусть они остаются иноками, и пусть они будут нашими епископами, мы будем повиноваться им с любовью, потому что мы видим их достойными». Вот! Где неправда? – Никакой! – Чем было бы черствое следование апостольскому слову о неперменной «женатости» епископов? В *этом новом веке* – оно было бы уже *неправдой*. Было бы обидой и огорчением таким мужам, как приснопамятные русские святители Сергей Радонежский и Серафим Саровский.

Что же произошло, однако, далее? Или, поистине, каким-то испытующим нас Промыслом допущено было произойти? Обида и огорчение, монахам незаслуженно чинимая, – стала незаслуженно чиниться всем не монахам. Как бы закрылись очи наши для света... «*Никому обиды*» – вот вселенский глагол, сперва апостола Павла и потом 6-го вселенского собора. «Да не живет никто в *унынии, униженный, отвергнутый*»... Не апостол ли сказал: ...бывайте и еллинами, и иудеями и *церкви Божией*; аз *всем* *угодяю* – да *спасутся все*... Вселенская любовь учит и заповедует со *всем* в человеке примириться, лишь бы этот человек был «с церковью», был «церковен», трепетал преданностью ей.

Указывает примириться даже с «эллинством» и «иудейством», т. е. с остатком язычества и ветхозаветности, – которые, конечно, будут малиться и исчезать, раз уже человек – «с церковью». Какой же может быть вопрос о *семейности* человека, т. е. об естественном и врожденном состоянии, почти всеобщем, – как о «препятствии к епископству»? Поистине, что-то случилось, что вратами Христовыми прошел диавол, – как и предсказал сам Спаситель, что (это) будет во временах грядущих: «Придет сын погибели и всеет ночью плевелы в пшеницу Господню, посеянную днем».

Все превратилось. Все развратилось. «Дозволение и монахам» 6-го вселенского собора превратилось в *последующую практику*: «*никого, кроме монахов*». Читайте мотив у собора, разум, нравственный гений: «прилагая попечение о спасении и о преуспевании людей *на лучшее*», – и потом: «да не попустим какое-либо *нарекание на священное звание*», т. е. на монашеское. *Теперь* дело идет о том же: и собор как бы дает нам в примере своем слово в уста: «Сие же глаголем о допущении иереев к епископству не к превращению соборного постановления, но прилагая попечение о спасении и преуспевании людей *на лучшее*, – и о том, да не попустят какого-либо *нарекания на священный чин*» (иерея, священника). Вот! Так просто, так ясно. Слава и честь монашествующим: да будут епископами, «заботящимися об епархии». Слава и честь иереям: да будут епископами и они. Вот! Берите розгу и гоните бесчестие. Гоните нарекания, обиды, горечь незаслуженные. Про-

тоиерей Мальцев, в Берлине, перевел на немецкий язык все наши богослужебные книги: и, познавась с ними, многие немцы, пораженные глубиной и всеобъемлемостью православного богослужения, приняли нашу веру. Мне рассказывали об одном сыне пастора, близ Дрездена, в Саксонии, который был уже слушателем на богословском факультете местного университета. Ознакомившись с переводами Мальцева, – он не только перешел в православие, но вследствие наступивших неладов с отцом-пастором пришел «почти по способу Ломоносова» в Россию и здесь стал русским православным иереем. Наши власти, наши черствые и заскоруждые власти, вместо того чтобы возрадоваться о нем Христовой радостью, – приняли его равнодушно, формально и, кажется, дали только чуть-чуть место дьякона. «Нас не удивишь»... Померкла евангельская любовь в людях; померкла она в самих властях духовных, – вот где горе! А тексты – целы. Закатывается, закатывается любовь евангельская. Меркнет солнце христианства. Вот о чем слезы. А тексты – все в руках.

Этими-то текстами и оперируют спорщики, утерав из виду маяк все-ленской любви. Они уже не знают, что значит «уступить *свое*» – «дабы *всем спастись*». «Свое», у каждого «свое», – когда у первых христиан было все «общее». И «общее», и «единое» – прежде всего в славе и чести. *Не так ли?* – спросим каждого, кто знает историю церкви. *Где* вознесение одних перед другими, даже апостолов – перед мирянами? Что же видим ныне? Такое лицо, как протоиерей Мальцев, – такое лицо, как протопресвитер армии, от. Гр. Шавельский, столько потрудившийся для священника в армии и сам пронесший труднейшую службу в войсках в Манчжурии, лишены права на епархиальную заботу и попечительство по тому единственному *несчастью и позору*, что они суть семейные. Позор ли это? Или – несчастье? А «нарекание священному чину», против которого так восстал 6-й вселенский собор, явно – *есть*: епископская обширная забота есть явно полезнейшая, нужнейшая для церкви, и сан епископа есть явно высший. «*К высшему меня не пускают, ибо очевидно по состоянию своему я емь низший*». Да в чем «низость»-то? В семье! Тут содержится явно порицание не только «семейному иерею», но самому *началу семьи* и нам всем, *семейным людям*.

Вот опасное положение, которое не кричит на улицах, но грызет сердце сонмов белого духовенства, несущего *весь труд около народа*. Ежедневные службы, несение всех треб: они – крестят, они – исповедуют и причащают, они – венчают, миропомазуют болящих, напутствуют умирающих. Все – они. Все – их труд, забота, рачительность. Отвергнет ли кто из монашествующих, что между священниками есть святые люди, не по «канонизации», а по очевидной всем праведной жизни. Не в наше время это говорить, когда мы видели Иоанна Кронштадтского. А ведь *приближающихся к нему светом лица и правдою жизни* есть если и *немного*, то все-таки – *несколько*. И они все отторгнуты от епархиального надзора и заботы, единственно оттого, что сверх заботы церковной несут и заботу семейную. Не Спаситель

ли сказал, что «одному дан был *один талант*, а другому даны были *два таланта*»? Как же мы ухитрились поставить имеющего «*два таланта*» ниже того, кому врожденно отпущен «один». Что же произошло? К отметению и слов апостола Павла, к отметению и великого принципа шестого вселенского собора, мы точно вколотили клин в духовное сословие, расколов его на два стана, явно враждебные. Ибо для *кого* же тайна, – не тайна это для самих архиереев, не тайна и решительно для всех монахов, что белое духовенство смотрит на него враждебно, чувствует вражду к нему. Это слишком засвидетельствовано записками, мемуарами, воспоминаниями. Напомним «Записку о быте сельского духовенства» священника Беллюстина. Не есть ли это нечто адское? Есть ли это нечто, допустимое в церкви? Может ли мир христианский омрачиться разделением, – и *где* же, в самом *сердце* своем, в служащей иерархии? Поистине скажем: «Христос, взойди и соедини!» Ни на один миг этого нельзя терпеть, если *сознали*. А как не «сознать», когда это есть? Господи, приди и соедини, Господи, – приди и соедини, Господи, приди и соедини! Для этого, прежде всего, не будем отнюдь нарекать монахов, признаем высочайшую святость жизни многих из них и правду общего их состояния и доблести быть епископами: дабы пролил Бог и в сердца их радость «принять в братство себе» иереев-тружеников, иереев-праведников, иереев-народников. Да все будут *одно* и в *одном* – Христос. Не будем утороплять ничего, не станем требовать, не будем даже проситься. Станем ожидать, дабы «свет Христов просветил всех» (слова на литургии). Благое, милостивое, братское движение должно начаться именно в архиерействе нашем; и, может быть, – это «не за горами». Ничего буйного и никакого разделения. Никакой даже простой нескромности. И Бог устроит все.

ДВОЕ БЕСПЯТОВЫХ, КРИТИК И БЕЛЛЕТРИСТ

Очень хорошо пишут левые писатели. Очень симпатично пишут. Георгий Чулков, который уже подарил России три тома «Полного собрания своих сочинений», написал отчасти в параллель и отчасти в противоположение «Бесам» Достоевского роман из жизни тоже революционного движения, но консервативно-революционного, «черносотенного», – и озаглавил его «Сатана». А профессор истории русской литературы в Варшавском университете г. И. Игнатов, предпочитающий скучному изучению Пушкина или Жуковского «откликаться на новейшие течения», поспешил в «Русских Ведомостях» ознакомить русское общество с новейшим произведением молодого беллетриста. Таким образом, мы имеем перед собою два и даже почти три симпатичных явления: 1) симпатичного беллетриста, 2) симпатичного критика и 3) симпатичного профессора. Если прибавить сюда, конечно, в высшей степени симпатичную газету, – то симпатии вообще оказывается так много, что начинаешь чихать.

Уже давно замечено, что симпатичные писатели радикально-политического направления имитируют классиков. Не оттого, конечно, чтобы они не могли «по-своему» писать, но – им некогда. Так, недавно беллетрист Ропшин-Савенков в романе «То, чего не было» имитировал «Войну и мир»; г. И. Игнатов пишет о Георгии Чулкове:

«Читая «Сатану» его, все время вспоминаешь о Достоевском. И нельзя его забыть, потому что о нем помнит сам автор «Сатаны», насколько не скрывая от читателей своих воспоминаний. Еще так недавно другой автор не скрывал от читателей своих воспоминаний о «Войне и мире». Умышленно, – ибо нельзя представить, чтобы это было невольно, – автор повести «То, чего не было», г. Ропшин, напоминал читателю: «Смотри, вот манера Толстого, вот я применяю психологию его героев и теорию непротivления злу насилieм к явлению, где активность и вмешательство отдельного человека в судьбы человечества играют первенствующую роль»... Чулкова интересуют антиподы Ропшина. Его герои – черные революционеры, люди кровавой борьбы с «красной революцией», люди темных сил, темных поступков, темных побуждений. И, приступая к их описанию, автор избирает ту манеру, какую можно найти в «Бесах» и «Братьях Карамазовых». Он также вводит бездеятельное и ненужное лицо, от имени которого ведется рассказ и которое фигурирует лишь для демонстрирования обывательски-благородной точки зрения на то, что недоступно обывательскому пониманию. Г. Чулков как бы не хочет скрыть внешнего сходства с манерой Достоевского; напротив, он как бы умышленно подчеркивает его и, подобно г. Ропшину, говорит читателю: «Смотри, вот я пользуюсь внешними приемами того, кто пытался изобразить бесов революции, и этими приемами изображаю сатану контрреволюции».

Все очень хорошо и очень мило. Серьезные авторы идейных произведений пренебрегают трудиться над формой, ибо «форма» всегда считалась у них мелочью. Они поэтому и берут готовую, чужую, насколько не стесняясь и не скрывая этого.

Прежде, даже слегка заимствуя, имитируя, – скрывались, задрапировывались, дабы избежать неприятностей. «Данное произведение представляет собою плагиат» – такое определение клало «под сукно» всякое печатающееся сочинение, как нечто старое и неинтересное, – как что-то прежде рождения своего уже выдохшееся. Но 60 лет непрерывного успеха в литературе окрылили левых авторов смелостью. Они прямо заимствуют манеру и письмо, психологию и идеи у Толстого или Достоевского, берут самое даже заглавие, – потому что какая же разница между «Бесами» и «Сатаной»? И при таком дневном поступке никак не закричишь: «Он украл!..» – Как можно сказать «украл», когда он «прямо взял», – ну, чужую вещь, положим, – литературную вещь, прием, письмо, идеи, мысли. – «Так, пожалуйста, – скажет он, – я – *взял*, а *украл* – относится к *тайному похищению* и *сокрытию* своего поступка. Я же ничего ровно не скрываю».

И Чулков прав, как Савенков-Ропшин (псевдоним Ропшина давно раскрыт в печати), а Ропшин прав просто как Ропшин. Это – такая значащая величина в революции, что литературные упреки к нему неприменимы. Кто же Наполеона упрекает за то, что у него была бородавка?

Проф. И. Игнатов с методичностью ученого высчитывает, сколько было мошенников в «Бесах» у Достоевского, и, к своему удовольствию, находит только *одного*. Это – Верховенский-сын, Петр Верховенский, под образом которого Достоевский вывел, как известно, Нечаева:

«Как бы смешны и гадки, с точки зрения Достоевского, ни были Липутины, Виргинские, Хромые, – все же они руководятся своими, – нелепыми и смешными, но своими, – соображениями о пользе отечества».

Так пишет профессор о «Бесах» Достоевского, и даже о Петруше Верховенском, убийце Шатова-Иванова (фамилия студента, убитого Нечаевым), г. И. Игнатов оговаривается, что его увлекала некоторая посторонняя его эгоизму идея, именно красивая идея об Иване Царевиче, роль которого он предлагал Ставрогину. Так что один мошенник, да и тот выходит «ничего»:

«Все – остальные – все, что угодно, но не мошенники. Все решительно, кроме капитана Лебядкина, который не имеет никакого отношения к формированию революционных «пятерок», и Лямшина, который в этом деле также не руководится своекорыстными соображениями, – мошенников нет. Остальные все в изображении Достоевского глупы, тупы, смешны, противны своей недалекостью и прямолинейностью, но ни один из них, даже в изображении нелюбящего и смеющегося над ними Достоевского, не руководится своекорыстными побуждениями, желанием извлечь для себя именно какую-то материальную или нематериальную выгоду. Они охвачены нелепой суестью, – и больше ничего. Даже странно как-то к ним применять слово «бесы». Каким «бесом» они одержимы?»

Волынский когда-то своему разбору «Бесов» дал заглавие «Книга *великого гнева*»... Да так все и думали, и еще недавно Максим Горький ужасался возможности представить и посмотреть роман Достоевского в игре артистов Художественного театра. Проф. И. Игнатов этого не понимает, не видит, не находит, – и если бы он написал разбор о «Бесах», то, согласно определению, сделанному в фельетоне «Русских Ведомостей», он мог бы дать своему разбору только такое заглавие: «Книга о суетных людях, любящих свое отечество».

Итак, – на «левом» фланге русской действительности, как ее изобразил Достоевский, – только один мошенник, да и тот сомнительный. Не то мы видим на правом фланге, где борются люди за Россию, как ее нам Бог дал. Но предоставим слово варшавскому профессору:

«Иную картину мы видим у героев черной рамки. Среди действующих лиц «Сатаны» трудно найти неотъявленного мошенника. Сата-

ной называют действующие лица монаха Софрония (очевидно, архимандрит Виталий, Почаевской лавры), производящего неисчислимые нарушения обычного кодекса нравственности вплоть до убийства. Фигура – мрачная, свирепая, непреклонная. Что им властвует? Обдуманная ли идея великого инквизитора, своекорыстие ли, инстинктивная ли тупая, нерассуждающая сила? Неизвестно. Видна решительность, готовность на все, на всякое смелое выступление, на попираание всего, что дозволено и недозволено; для Софрония препон нет, нравственных задержек нет, но во имя чего направляется деятельность – не знает читатель. Это – единственная фигура, в побуждениях которой скрывается нечто сложное, поднимающееся над интересами личной выгоды...»

Итак, по профессору И. Игнатову, – один хороший человек, да и тот уголовный преступник. Ну и партия!

«Все остальное живет своим интересом, ищет выгоды, руководится не целями общего дорогого дела, для которого можно пожертвовать многим; да ни о каких жертвах здесь нет и помышления. Надо добиться успеха, а для этого все можно: обмануть, подделать, угрожать, убить. И когда вы смотрите на героев г. Чулкова, вы не можете не признать, что в его изображении отразилось распространенное воззрение на действия и побуждения той банды, которая в последние годы наполнила своими подвигами Россию».

«Отразилось распространенное»... Но ведь и проф. И. Игнатов только «отражает распространенное», когда пишет свой фельетон в «Русских Ведом.» о «Сатане» Георгия Чулкова. В самом конце фельетона он проговаривается о романе Чулкова: «Он – кристаллизовавшаяся в беллетристическую форму корреспонденция, продукт общераспространенного понятия, не основанного на личном наблюдении и художественной интуиции».

Не правда ли, стоило ли бы о такой вещи что-нибудь писать? Но что такое четыре строчки в конце? Их и не заметит читатель. А фельетон велик – семь столбцов, и там И. Игнатов «науважал» Георгию Чулкову до земли. Что же это такое, обратимся мы к читателю, и повесть, и критика? Да все это – «общераспространенные понятия». Т. е.? Да – что «улица несет». «На улице» говорят так: и собственно «говоры улицы» Георгий Чулков поднял и передал в беллетристической форме. Понятно, что он формы заимствовал у Достоевского. А Иван Игнатов? Да и он старается над «распространенным»: приветствует молодого беллетриста, который нашел сто процентов мошенников у людей, которые выступили на борьбу с «красною революцією»...

Очень интересно. Я говорю – симпатичные люди. У Борнса есть стихотворение о том, как, вспахивая поле (Борнс был крестьянин) – он перерезал гнездо полевой мышки. Та – убежала. И Борнс пишет:

Трусливый маленький зверек,
Как ты испуган и бежишь...

Мне кажется, и Георгий Чулков, и профессор И. Игнатов представляют двух таких испуганных полевых мышек. Чем «испуганных»? Да ужасными «общераспространенными понятиями», от которых нѣкуда деваться, и оба они не знают, куда от них убежать. Известно, еще учили на Законе Божием: «Камо бегу от лица Твоего? На гору ли: Ты – тамо. В воду ли: Ты – и там». Нѣкуда деваться... Задавили обоих «общераспространенные понятия», и один бедный пишет из провинциального университета фельетоны в столичную газету, с изъявлением покорности революции, даже до позорной нечаевщины, а другой перерабатывает в целый роман то, что он в тех же «Русских Ведомостях» читал как корреспонденции о деятельности в 1906–1907 годах Почаевской лавры и архим. Виталия. Георгия Чулкова мы все знаем. Когда-то секретарь «Нового Пути», и тогда он был декадентом с Мережковскими, «искал Бога» и не находил, а может быть, – «нашел» Его. У них «нашел» похоже на «не нашел», а «не нашел» похоже на «нашел». В редакциях все похоже на все. Теперь, что же он пишет о революции? Революцию он видал в Петербурге. Как раз был именно в Петербурге в те дни. Но контрреволюцию, – откуда он узнал ее?

Вот это-то и непонятно. «Все – мошенники», – написал он смело. Но ведь это –

Трусливый маленький зверок...
Куда бежишь? Зачем бежишь?

Извиняюсь перед Борнсом, вторую строчку которого изменил применительно к Георгию Чулкову. Георгий Чулков просто пригнулся до самой земли перед «общераспространенными понятиями». Еще одна цитата из интересного доклада И. Игнатова. Оказывается, Чулков даже действующих лиц расслоил в «братьев», имитируя «Братьев Карамазовых» Достоевского. Эти-то «братья», но не Карамазовы, а Беспятовы, и олицетворяют у него черносотенную душу.

«Фалалей Беспятов, один из главных заправил черной банды, – чистокровный нигилист, у него *ni foi, ni loi**, ему нет дела до торжества каких бы то ни было принципов, до родственных чувств, до любви; это – измелывавший Федор Павлович Карамазов, примазавшийся к политическому движению, сладострастник, плут, пакостник. Рядом – Степан, брат Фалалея, тоже участник темного движения, тоже нигилист, но более сухой, менее раскидистый, чем Фалалей, – Иван Карамазов, успокоившийся в решении нравственных вопросов, не демонстрирующий (? – В. Р.), а всем нутром воспринявший теорию – «все позволено». Рядом – наемные убийцы, простые скандалисты, выведенные под именами Каткевича и Царапина, – все нигилисты, люди не идейного, а органического отрицания. Вот это органическое отрицание и есть тот бес, который делает возможным образование черных «латников», ког-

* ни стыда, ни совести (*фр.*).

да этому благоприятствуют обстоятельства. Конечно, чернота – временное явление; конечно, внешние обстоятельства, поддерживающие ее, могут измениться, и Фалалеи, громко кричащие о своей приверженности известным идеям, будут кричать о любви к другим. Все это верно, все это правда».

Эх, господа... «Ищу рукавицы, а обе – за поясом». Да уж не сидят ли эти «братья Беспятовы» с *ni foi, ni loi* – один в Варшаве, а другой в Петербурге, и один пишет критику в угоду «общераспространенному понятию», а другой надоевшие и однообразные корреспонденции «Русским Ведомостям» перекладывающий в целый роман, напечатанный в сборнике «Жатва», причем так прямо и заявляет, что «это я по Федору Михайловичу Достоевскому»...

– Вот так же, как Ропшин – по отношению к Льву Толстому.

Господа, – ведь это нигилизм. Ив. Игнатов – профессор, да еще в таком университете, как Варшавский, где он представляет русскую науку и должен перед чужой народностью являть все достоинство и некоторую гордость русского народного лица. Другой – беллетрист или с претензией на беллетристику. Оба звания к чему-то обязывают.

Ведь это – не торговать на ярмарке валеными сапогами. Да и там взять, например, «чужие сапоги» и выдать «за свои» – не годится. Не годится, даже если это «общераспространено» на плохой ярмарке. Как же вы, господа, такие вещи делаете: один вместо того, чтобы заниматься Пушкиным, – занимается Георгием Чулковым, по единственной базарной причине, что он «про революцию написал»... Другой же: «Так, пишу под Достоевского, в его манере, с его заглавием, даже – с его *братьями*: как ведь писал же Хлестаков в манере Пушкина и, кроме того, сочинил *Юрия Милославского*»...

Очень расторопно. И очень откровенно. Кроме того, особенно добродетельно.

И Игнатов, и Чулков точно о себе самих пишут, характеризуя черносоптенцев:

«Здесь как раз не предполагается ничего идейного: одно своекорыстное и возможность опереться на могущественную поддержку, избавляющую от последствий за несогласованность поступков с тем, что предусмотрено законами».

«Законы», и притом не одни юридические, а и *нравственные, говорящие совести*, – есть и для профессоров; и художественные законы, эстетические – есть для художников, писателей, берущихся за роман, за повесть. Но «левых» 60 лет все хвалили, все одобряли. На почве такого компактного и продолжительного одобрения не должно ли было развиваться естественное *ni foi, ni loi*? В одобрении «общераспространенных понятий», которым служат два брата Беспятовых, в Варшаве и в Петербурге, они и нашли источник для смелости «не сообразоваться с законами» ни эстетики, ни высокого несения ученой службы на окраине России. «*Ni foi, ni loi*, – мы всегда будем правы, раз мы угождаем толпе».

Стыдно. Ах, господи, как стыдно. Ведь из «черносотенного лагеря», т. е. из сфер, которые вы так именуете и которые просто *сохраняют верность России*, — на вас смотрят глаза людей, не так служивших России: братьев Киреевских, князя Одоевского, Тютчева, Хомякова, Данилевского, Страхова, братьев Аксаковых, Кон. Леонтьева, Каткова. И вы о *таких-то*, или во всяком случае о *близких* им по духу людях, говорите: «Вот продажные люди, готовые перебежать туда, где им заплатят и откуда им дадут безопасность. Сплошь — мошенники, все одни мошенники, — не чета ни Ропшину, ни нам, славным братьям, — Чулкову и Игнатову».

НАБРОСКИ

Общество толстовского музея очень хорошо сделало, выпустив отдельным томом переписку Л. Н. Толстого с Н. Н. Страховым. Письма Толстого совсем неинтересны в этом томе. Они слишком кратки, невнимательны и поверхностны; точно — не кончены, а иногда хочется сказать с досадою — почти и не начаты. Но семья Толстого, и в особенности заботливая Софья Андреевна, сохранила все письма долголетнего и, кажется, лучшего друга своего мужа, а во всяком случае — самого раннего и до сих пор самого компетентного критика, его художественных созданий, главным образом — «Войны и мира». Страхову показалось, что гений Толстого совершит давно жданный и давно необходимый переворот в душевном строе нашего общества, и по преимуществу — молодого, юношеского общества; что он повернет впечатлительные юношеские души от старого нигилистического отрицания к положительному созиданию, положительному строю души. Твердое обещание этого действительно и содержалось в «Войне и мире», — где был показан ряд добрых и простых, добрых и ясных русских душ, — столь противоположных, напр., тургеневским «говорунам», — да и вообще «говорунам» и «говорам» русской словесности, русского теоретизма, русской книжности. Но, увы, Страхов обманулся, — и жестоко. Толстой сам вышел в великие «говоруны», в великие теоретики, — и именно — в теоретики-отрицатели, пойдя по старому нигилистическому руслу... Фразеология его была как будто религиозная, — но уже стали валиться в одну «неразбериху» Будда, Иисус Христос, даже монгольский Конфуций, не говоря о Шопенгауэре... Давно сказано, и твердо сказано, что дар великого художественного воспроизведения жизни никогда не совмещается и не может совместиться с отчетливым, последовательным, методическим мышлением. Толстой, конечно, не разрушил религий, не опроверг православия и католичества, не развенчал Шекспира; но около всего этого он ужасно много «напутал», и этою путаницею своею запутал и спутал бездну слабых русских голов, и преимущественно — молодых, впечатлительных и доверчивых. Он не привел к созиданию, к здоровой работе на русской почве, — а повел вдаль от работы, все к отрицанию и отрицанию, все к разрушению и разрушению.

Между тем, ведь это целые миры созидания... Миры до такой степени обширные и необъятые, до того сложные и глубокие, что, как ни прекрасны и ни велики собственные художественные творения Толстого, его «Война и мир», «Казаки» и «Анна Каренина», – все-таки это жемчужины среди целых мер жемчуга... Это – то же, что лавка ювелира около горного хребта, откуда добывают самоцветные камни. Та «простота и ясность», которая осеняла Толстого во время писания «Войны и мира», покинула его под старость, в пору начинающейся дружбы с Чертковым, в пору начинавшегося обаяния Черткова над Толстым. Чертков, в котором разительно ярко выразилась сектантская натура, страстная потребность отойти непременно «в сторону», не смешаться с «другими», – как-то остро повлиял на Толстого в старости и совершенно отвлек его в сторону от путей «Войны и мира», с тамошним миром, с родною землею, с родною историею, со «всеми», с народом. Насколько в «Войне и мире» Толстой весь есть «наш», настолько в дружбе с Чертковым он начал «уходить от нас». Суть сектантства не в вере, не в догматах, а – в строе души. «Не хочу – со всеми», «хочу быть – один», вот порыв и психология, предшествующая догматическим сектам.

И Толстой ушел... в некоторый вид не только религиозного, но культурного сектантства. «Не нравится не только Бог, но и Шекспир». «Верю не в Иисуса Христа, а в зеленую палочку и в моего друга Владимира Черткова». Что же... Верят же люди в Параскеву Пятницу, отчего не поверить и во Владимира Черткова. Толстой впал в самый мелкий, сорный, личный фетишизм.

Несмотря на глубокую и трогательную любовь к Толстому, Страхов в длинной переписке не подался ни на волос в сторону его отрицаний и, напротив, сколько можно было сделал все усилия, чтобы показать в истинном свете великие сокровища мысли и искусства, на которые тот поднялся... Тут был спор между совершенно неравными людьми. Сила и красота Толстого заключались в необыкновенно творческой душе, которая не уставала каждый год, и, наконец, каждый месяц, и каждую неделю, и всякий день что-нибудь придумывать, поворачивать «так и этак» к себе вещи, всматриваться в них, открывать в них новые стороны. Страхов была тихая душа, созерцательная, вдумчивая. От этого Страхов вечно учился и вечно методично размышлял. Между тем в автобиографических рассказах «Детство, отрочество, юность» Толстой передает, что он, в сущности, вовсе не учился, и серьезно учиться он начал только под старость, думая преобразовать христианство и открыть новые горизонты в политической экономии (в земледелии особенно). Словом, несовместимость вышла огромная в том, что Толстой был, в сущности, страшно необразован или, точнее, был образован грубо, криво и в высшей степени дилетантски. Страхов же был *специалистом* в биологии, философии и в литературной критике. Но необыкновенное *личное творчество*, – потоки новых и новых мыслей, пусть недостаточных, но непрерывных и обильных, скрыли от самого Толстого степень его образования, которую он счел «неважною», думая, что всему можно научиться «у мужичка Сютяева» и во все можно углубиться «с другом Вла-

димиром Чертковым», — тогда как на самом деле это не так. Переписка Толстого со Страховым свидетельствует о полном бессилии его и о вытекающей отсюда неохоте войти в сложные миры мысли, которые все заменялись для него порывами, бурями, бурлением. Вечная взволнованность — полный штиль, температура кипения — температура «для купанья», неисчерпаемая глубина — необозримая ширь: вот «встречу» чего мы наблюдаем в переписке друзей. Переписка эта, не имеющая никакого значения для Толстого или значение — только отрицательное и несколько уничижительное, дает зато несравненный «портрет» Страхова, гораздо полнейший и лучший, чем какой дают его напечатанные сочинения. Страхов еще получит себе со временем «историю». И переписка его с Толстым будет первым и главным камнем в этой истории.

А нигилизм... видно, он справит еще свой столетний юбилей. Что такое нигилизм? Жестокость, грубость души, по временам переходящая в язвы и яд. Увы, для него есть *причины*. Вся действительность наша жестка, груба, «оскорбительна для человека». По временам... Вот где *питание* нигилизма. Черная душа пьет черные воды, и горе — не в душе, а в этих черных водах, которыми мы поим душу, омраченную и проклинающую. Нет «ангела мирна» в душах наших, и оттого отчасти, что нет «утоления печалей»... Все обращаешься невольно к церкви нашей, припоминая там самые меткие и пронзительные слова для уврачевания его. То-то именно церковь особенно ненавидит нигилизм, как человек в «водобоязни» не переносит «воды»... Эта-то «вода» и показывает суть его «страдания».

Вода эта — благодать и ширь, объемлющая и благословляющая все культуры; все «еже на потребу человека». Это — церковь, это — христианство. Учение Того, Кто отверг ветхое «око за око» и «зуб за зуб», в чем содержится вся формула нигилизма.

Н. Н. ГЛУБОКОВСКИЙ. ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕННЫЙ СМАРАГД

Н. Н. Глубоковский, ординарный профессор Императорской С.-Петербургской духовной академии. Высокопреосвященный Смарагд (Крыжановский), архиепископ Орловский и потом Рязанский. †1863. 1.11. Его жизнь и деятельность. С 7 портретами и 3 автографами. С.-Петербург. 1914. Стр. 558.

Как инженер не может не проводить железных дорог, а химик не может не соединять и разъединять «кислот», «щелочей» и «солей», — так наш почти уже маститый ученый Н. Н. Глубоковский не может почти ежегодно не выпускать огромных трудов, которые темами своими точно мечутся в разные и даже во всевозможные углы и уголки церковной жизни, археологической

жизни, учебно-духовной жизни. И, кажется, умирая, он скажет не «дайте мне капель», а «дайте мне чернил и перо». В нем есть какое-то ученое «perpetuum mobile»: «Глубоковский» чтобы «не писал» – этого нельзя себе представить. Если бы какой-нибудь римский Калигула или татарский Тахтамыш отнял и запретил ему все темы, все предметы ученого исследования, – он украдкой начал бы составлять «Опись моего имущества, с пространным объяснением происхождения каждой вещи». Такое впечатление какой-то внутренней нужды работы, какого-то сгорания человека над всевозможными темами, – причем он дотоле только и живет, пока горит, – оставляют его работы, за которыми с изумлением я слежу вот уже много лет. «Устал» – это слово не из словаря Глубоковского. Он вечно свеж, только что встал, умылся и причесался, – и уже рвется к письменному столу и к полкам с старыми фолиантами, рукописями и всякими деловыми бумагами, вплоть до консисторских «отношений». Когда вы всматриваетесь, так сказать, в мелкую сеть его работ, смотрите, если можно так выразиться, «на свет» отдельные страницы его книг и соображаете, сколько должен был сделать он «справок» для каждой страницы, то вы поражаетесь чрезвычайным изумлением. И, наконец, вы придете в последнее удивление, узнав, что всю эту массу работы произвел человек почти постоянно больной...

Всего года три назад он выпустил колоссальную работу, в трех томах и в несколько тысяч страниц: «Благовестие апостола Павла», и вот от географии и истории I века после Рождества Христова, от стран римских, греческих и малоазиатских, от тем всемирной важности, – его точно «паровозом толкнуло» к орловской епархии середины XIX века и к оригинальной, сильной и талантливой личности нашего епископа Смарагда. Заработали поршни, завертелись бесчисленные колеса могучей машины и, словно волшебством каким, потащили «к Глубоковскому» старые пожелтевшие письма и записочки «разных особ» и «благочестивых помещиц» к орловскому и севскому владыке, консисторские бумаги с его «резолуциями» и «пометками» и, наконец, целыми ушатами епархиальные сплетни, мелочь, ссоры, чудачества, неурядицы, прибыли, убыли и благоденствия. «Христианства как не бывало, – одно православие», апостола Павла будто и не рождалось, а от сотворения мира и от потопа даже и до днесь копошились одни дьячки, дьяконы и иподиаконы, да благочинные, да попы и спорили о стихарях, о жалованье, о делении доходов, – и мучили и измучивали своего преосвященного.

В одном случае автор указывает замечательную сторону нашей епархиальной жизни, до сих пор не привлекающую к себе достаточного внимания. Духовенство – наследственное сословие, почти без выездов «на сторону». Все сплошь дети духовенства попадают в духовенство же, на разные его степени и ярусы. Между тем, уже по статистике и нервной психологии известно, что некоторый процент человеческого приплода выходит в «ублюдки», «неуравновешенные», больные, и притом в степенях мало заметных, т. е. неустрашимых от «звания, чина и должности». Такие люди и везде

неудобны, везде – мутят: но что же получается, когда такой «неуравновешенный» узнает в семинарии все великие, божественные случаи страдальчества, вспомнит все великие слова, сюда относящиеся, и, выйдя на линию «иерея», начнет все узнанное в семинарии применять к себе и относить к себе. Для самых к себе и относить к себе. На эти мысли навела история преосвящ. Смарагда со священником Семовым. Даем слово ученому автору:

«Согласно этим и подобным наблюдениям, все дело было тогда не в одном Семове, который страдал больше не из-за самого себя и заслуживает сожаления, что его неуравновешенная энергия получила превратное направление. Судя по проповеди на 26 мая, он фанатически чувствовал в себе особое призвание и с истерическою болезненностью рвался на роль мученика за правду и истину, – способный тут на самые ненормальные крайности. В не сходящихся с его показаниями свидетельствах других лиц о материальном обеспечении причта церкви св. Дамиана, священник Семов усматривал против себя «бунт», а о своем епархиальном начальстве (т. е. об еп. Смарагде) думал и говорил, что оно может приказать «убить его разбойнически» и что «его суд есть суд Каиафы»; 18-го же апреля 1860 года заявлял обер-прокурору Синода и Государю о «буквально публичных истязаниях его преосвященным архиепископом Смарагдом», – «консисторию и гражданско-полицейскую власть». Свои страдания свящ. Семов сравнивал со страданиями Иова и даже прямо писал обер-прокурору Синода: «Истязания на меня восходят до страданий исповедника, не прибитого на распятие гвоздями, а привязанного веревками». – «Угнетенный скорбями за исповедание веры», – Семов, по «живой уверенности в непоколебимости догматов православные веры нашей Российской церкви», решительно свидетельствует Государю: «Все это злополучие, совершившееся надо мною, не страшно для меня и не подвигает меня к мести, имея всегда в памяти пред собою живой пример страдания первого просветителя России христианскою верою апостола Андрея Первозванного, скончавшегося за исповедание веры от привязания веревками ко кресту, – равно живо рисуется передо мною и то обстоятельство московского митрополита Филиппа, который исступленною чернию возился на возиле и в руки которого было дано ими помяло». Свящ. Семов упорно воевал и с полицией, и с гражданской администрацией и во всеподданнейшем прошении 16 июня 1858 года самого губернатора обвинял в неблагонамеренности, приравнивая самого себя к исповедникам-мученикам» (стр. 313–314).

Можно представить себе, что такие громы – из-за доходов причта Дамиановской церкви... Нужно ли оговариваться, что его никто не мучил, – и пальцем до него никто не дотрагивался, а если и «говорили», – то ведь и сам-то он какво «говорил», и каким лицам!.. Бедный иерей не знал, что если его «слушают из Петербурга», то потому единственно, что Петербург давно уже «косо глядел» на независимого епископа, и, действительно, со-

вершенно сумбурные речи Сомова были причиною, что Смарагда перевели из орловской епархии в рязанскую. Но когда Сомов наивно стал продолжать свои «иовлевы жалобы» в Петербург, то его более не слушали.

Том в 556 страниц «заканчивает» (как и все труды проф. и академика Н. Н. Глубоковского на другие темы) личность и биографию властного и умного архиерея Смарагда, давая превосходную картину епархиальной русской жизни половины XIX века, читая которую все-таки скажешь: «Что ты спишь, мужичок, – ведь весна на дворе», и проч. и проч., – что сказал воронежский поэт о русской деревне. Наши «епархии» – что большие села на Руси. С их сном и их прелестью. «Все заросло вишней и аллилуйей».

НЕ ИЗВОЛЬТЕ БЕСПОКОИТЬСЯ, ВАШЕ БЛАГОРОДИЕ

Владимир Пуришкевич. Перед грозою. Правительство и русская народная школа. СПб., 1914. Стр. 140.

Вслед за книгою о *разложении* русского университета заботливый и испуганный В. М. Пуришкевич выпустил книгу, посвященную первоначальной русской школе, которая главным образом внушена памятным съездом народных учителей в Петербурге, зимою этого года. Смысл и содержание обеих книг понятны. Попытаюсь автору ответить.

Так ли все это *опасно*, как он пишет, – озаглавив книгу свою «Перед грозою»?.. *Какая гроза, откуда и, главное, чему она угрожает?* Мы имеем северную погоду, дурную погоду, дождливую погоду, – из каковой именно никогда «гроз» не происходит. «Наша школа нигилистична», «антигосударственна» и «антинациональна». Точка. Этим книги г. Пуришкевича начинаются, этим кончаются. Но когда же, начиная с 60-х годов, русская начальная школа была не нигилистична, а университеты не были в «разложении»? И ничего из этого не вышло, кроме того, что мы как будто вовсе не имели школ в высшем культурном смысле, – в высшем образовательном и историческом смысле, – и тратили миллионы и десятки миллионов государственных средств почти напрасно, безуспешно. Конечно, это создает «отвратительное положение вещей», но не содержит ни малейшей «опасности» в специальном смысле Вл. М. Пуришкевича. Он явно имеет в виду «государственное потрясение» и прочее подобное. Но ничего «подобного» никогда не может выйти из «состояния школ», потому что «строй царства» держат на плечах своих, конечно, не школяры и их наставники, а взрослые люди, и массовые классы, и сословия населения. Школяры и есть школяры, учителя и есть учителя: просто, они скверно делают свое дело и не обещают, чтобы во «взрослых людях» из них вышло что-нибудь добропорядочное. Это есть наибольшее, это есть наихудшее, что нам «угрожает». Но таковая «угроза» может быть называема так лишь в переносном смысле. Все-таки

по-настоящему «грозы», т. е. «потрясения», не содержится и в «скверном взрослом человеке», который просто будет жить несчастно, не будет хорошо и успешно делать своего дела, будет жить нуждаючись и на все ворча, на все брюзжа; но какая же отсюда вытекает или может вытечь «опасность»?

Решительно никакой.

«Климат» же в России всегда был плох или, вернее, всегда был неважный. То очень жарко, то очень холодно. Переменно, дует ветер. А главное – дожди и грязь.

Это всегда в России. В климате и в политике.

И «ничего». Живем. Обсудимся. Наденем галоши и пройдем по грязи. «Терпеть нам не привыкать стать».

Этого-то «терпения русского», конечно, нигилисты никогда не потрясут. Они испортят *себе* жизнь, *личную свою жизнь*, но от этого до «грозы» и «опасности» – далеко.

Чтобы ответить прямее на мысль Вл. М. Пуришкевича, скажем, что «строй царств» держится не на школярах и зависит не от брюзжания, а – на «бранных легионах» и зависит от того, «не отсырел ли порох в пороховницах», как спрашивал Бульба, проезжая перед казацкими рядами.

– Нет, батько: еще не отсырел порох в пороховницах, – отвечали казаки любимому атаману. Вот и все. На этом все и держится. Пока есть крепкий союз и крепкая любовь между Русью и воинством, между воинством и церковью, пока мужик крепко и любовно пашет землю, купец весело торгует, божится на образа и немного лукавит, – «все обстоит благополучно». Ну, а эти наши «ндравы» вырабатывались тысячу лет, – и, ей-ей, надо *ровно столько же* времени, т. е. другую и обратного направления тоже *тысячу лет*, чтобы что-нибудь «потряслось». Ну, а за тысячу лет много «нигилизмов» пройдет и много народится и тоже пройдет новых восторгов и упоений, новых надежд и очарований. Ведь теперешний довольно *специальный* нигилизм, отражающийся и на школе, отраженный в печати и пр., продержится еще лет 50, справит свой «вековой юбилей» и рассыплется, растает. Это-то несомненно, потому что никаких *вековых зерен* в него не положено.

Нет, – «плохое состояние школ» – больше ничего. И великое неискусство нашего министерства просвещения – всего и только. Вот на это неискусство давно надо обратить внимание. В основе нигилиста-учителя, конечно, лежит нищенский, жалкий, напуганный «тысячею начальств» учитель, – бесправный, презираемый, которого гонят вон по первому подозрению, по первому наговору и местного помещика, и ближнего благочинного, и инспектора-чиновника, и т. д., и т. д. Боже, я сам был учителем (еще гимназии, а не сельской школы!) и знаю, что это за ужас в «русском обществе» и у «русской администрации» быть учителем. Для его заброшенного, одинокого положения только и утешения, что вечером почитать «любимого писателя», «любимый журнал» и в конце концов, по нашим временам и особенно в селе, – «жидовскую газетку».... Нигде ничего учителю родного, близкого: все – серчают, начальства – серчают, поп – подозревает, предводитель дворянства смотрит

высокомерно: только и остается ему поплакать на груди виленского жидка, издающего в ближнем городе «Газету-Копейку» и которому он посылает слезные корреспонденции, а жидок ему обещает в газете, что «скоро все переменится, когда Гессен и Милюков будут в силе и славе». Вот громовое и элементарное происхождение «школьного нигилизма»: и поправить его, конечно, всегда было во власти министерства, во власти и в силе его, объяснив «кому следует» это элементарное положение вещей, это положение сельских учителей, как голодных, загнанных и травимых со всех сторон крыс, с содержанием, наполовину меньшим, чем какое получает в городе кухарка, или горничная, или швея, или (простите за сравнение) последняя самая дешевая проститутка. Но уж, поистине увальни-министры просвещения никогда-то, никогда не взяли учителя за руку, и не поставили его к свету, и не поставили его в тепло. Никогда не сказали ему: «Ты поставлен около души народной; свети ей и грей ее, как мы греем тебя». Вот *связь* вещей, в которой все понятно. Конечно, школа наша «потрясена», – хотя из этого «потрясения» Россия никогда не выйдет, – но и здесь, как решительно *везде*, «потрясение» идет не от каприза, не от своеволия, не от «нигилизма» на печатной бумаге, а от действительно горького и от действительно черного житья.

Но сколько же времени об этом говорили министерству просвещения, – и оно даже «глазом не моргнуло». «Нигилизм школьный» у нас есть, но в основе его лежит нигилизм министерский. Второй состоит в раздражении измученного человека, и происходит он от первого: от замучивающего высокомерия, от измучивающего пренебрежения. Пренебрежения не только к человеку, т. е. учителю, но и к самому *делу*, т. е. к руководству учебным делом в стране. Наши министры были – «строгие господа» или иногда «влиятельные господа» и изредка «либеральные господа», но в них не было никогда настоящего русского доброго сердца, русского прямого взгляда на вещи. Посмотрите, как нередко они бывали даже не русскими по роду, по племени... Всего удивительнее, что никогда даже *опыта* не было поставить во главе русского училищного дела человека традиций Киреевских, Хомякова, Аксаковых, Тютчева... Славянофил ни разу не был близко подпущен к русским детям, юношам и девушкам... Да и вообще «нигилизм в школе» – это такое старье, это так понятно, так исторически было неизбежно...

Сажали нигилизм. Удивились, что вырос нигилизм.

«Ну и народ, я вам скажу, – наша администрация».

ПРОФ. КУЗЬМИН-КАРАВАЕВ О СУДЕ НАД ПЕТЕРБУРГСКИМИ АДВОКАТАМИ

Книжки «Вестника Европы» имеют обыкновение давать гражданские «итоги за месяц», – и эти «итоги» даются с претензиями «культурного освещения» предмета с высших политических и с высших исторических точек зрения. Июльская книжка журнала не изменяет себе, – и пером профессора-

юриста В. Д. Кузьмина-Караваева подводит «итог» закончившемуся делу петербургских адвокатов. Статья, конечно, полна тех негодований, и «удивлений», и презрений, которые «по мелочам» мы ежедневно читали, пока продолжался процесс, в левых и по преимуществу еврейских газетах. Разница лишь в тоне, менее раздражительном и крикливом, более солидном и академическом. Статья, так сказать, «докладывает» о чувствах, вызванных этим процессом в среде «широких общественных групп». Но суд всегда есть *состязание* двух сторон, и потому профессору Кузьмину-Караваеву беспристрастно надо взглянуть и на совсем другие чувства, вызванные тем же самым процессом и приговором в тихой, спокойной, *служилой* России.

Начну тоже «академически», т. е. издалека. Кого не поражала и тоже не «удивляла» разница между зрелищем «русского казначейства», – например, в Петербурге хотя бы Главного казначейства, на углу Литейного проспекта и Кирочной улицы, – и между сплошь почти еврейскими банками, вытянувшимися в Петербурге же по Невскому проспекту, Морской и Конюшенной улицам. Главное казначейство, ведущее все *министерские* (не губернские) расчеты русского правительства, конечно, и богаче деньгами, и более, так сказать, наполнено и насыщено работою, чем какой-либо из банков, и даже, может быть, чем все они. Но что это за здание? Какое-то темное, тусклое, во всех отношениях «не интересное», в два этажа и отнюдь не далеко протянутое по фасаду. Войдешь в него: истертые ногами лестницы. Проходишь дальше: и как тоже в банках – за металлическими решетками сидят бесчисленные чиновники, числом в несколько раз превышающие число служащих в каком угодно банке. Все – в вицмундирах, разных возрастов. Но всмотритесь в лица их и приглядитесь, сев на лавочку, к работе их *в подробности*. Вы увидите, что работа эта совершенно не имеет *перерыва, остановки, отдыха*; что это – буквально какая-то каторжная по напряжению работа. И тогда вы не удивляетесь и третьему: как *устали* они все, как *полураздражены*, и только, видимо, *сдерживаются* перед все новыми и новыми приливающими волнами просителей, клиентов, вообще «вошедших сюда с улицы» лиц... И последнее: до чего они *скромны*, в этих не только вицмундирах, но в выражении лиц, в манерах, в речи, всегда сухова-той и деловитой, всегда формально вежливой и изредка даже человеколюбиво-заботливой (если клиент стар, если клиент чего-нибудь не понимает).

Жалованье их? «Об этом горе лучше не спрашивать». Все эти труженики и почти битюги, судя по золотому кольцу на пальце, – люди *семейные* и служат менее ради жалованья и более ради пенсии «вдовам и сиротам», – для «будущего». Жалованья они, конечно, получили бы больше, и гораздо больше, во всяком частном учреждении.

Теперь войдите же в эти «частные учреждения»...

Я все думал: какой это аристократ Рюрикова рода строит себе музей-дворец на Морской улице, в двух шагах от арки Главного штаба? И нимфы на стенах, и какие-то старцы, и дети, – полная греческая мифология. Достроился дом, – проезжаю и ахнул: Азовско-Донской коммерческий банк!

Слышно и ни от кого не скрыто, что банк этот еврейский. «Бедное угнетенное племя!» Теперь оно, а не какие-то там поношенные «бароны», как во времена Пушкина, произносит монологи скупого рыцаря:

Лишь захочу – воздвигнутся чертоги,
В великолепные мои сады
Сбегутся нимфы резвою толпою.
И музы дань свою мне принесут,
И вольный гений мне поработится,
И добродетель, и бессонный труд
Смирненно будут ждать моей награды...

Войдем!.. Да это – лестницы дворца! Куда, *зачем* такая роскошь в торговом, в промышленном заведении, около денег, для денег, – куда приходят только «взять», «попросить и взять», и, с другой стороны, там только «соглашаются» и «дают» или «не соглашаются и отказывают»?.. Да, но когда – лишние деньги, когда золото бьет через край, то почему даже и без надобности не устроить лестницу, как во дворце, просто для удовольствия глаза. Залы, простор, воздух, – и прелестно одетые молодые или среднего возраста люди без утомления делают свою небольшую, неистощающую работу...

И тоже, как в «Главном казначействе», – за решеточками. Но какая разница: здесь – боги, там – чернорабочие!

А денег-то ведь там больше, и все учреждение – солиднее, громаднее, могущественнее. «На всю Россию одно», платит по всем общегосударственным заказам, по армии, по флоту, по железным дорогам. Как бывший чиновник контроля, – я знаю. «Получите в Главном казначействе» (представителям заводов).

Теперь – бросаю занавес и поднимаю другой. Университет, учебные годы. И то памятное крылечко, на которое между лекциями выходили курить студенты разных факультетов... Это была беленная известью комнатка в 2–3 ступени «вниз», где толкалась молодежь, толкуя про выслушанную лекцию профессора, собираясь поехать куда-нибудь «завтра» и вспоминая проведенное «вчера»... Все было беззастенчиво, открыто и ясно.

Между юристами и другими студентами – была пропасть. Естественники, филологи, математики, историки, медики – так и были *студенты*, т. е. юноши, *пока учащиеся* и собирающиеся через 4–3–2–1 год выйти в работу, «взяться за гуж» и везти какой-то «воз». Тут выходила прелестным соединением и забота, сперва учебная и потом работная, и неодолимое проказничество возраста. Все – мешалось и давало впечатление озорства и таланта. Интересы: лекция, наука, театр (опера) и изредка – политика. Филологи и историки политикой, впрочем, вовсе не занимались; это была специальность медиков; медицинский факультет был весь ярко политический, с красным оттенком, прямо – с «красным заревом» на нем. Но политика, как тоже идейность, не противоречила науке: и все три факультета, историко-филологический, физико-математический и медицинский, сливались в одну

шумящую, резвую и, мне кажется, прекрасную юность, к которой совершенно не присоединялись студенты-юристы.

Это были уже жившие полною жизнью молодые люди, – с интересами светской молодой жизни, с какими-то нам непонятными, но явно имеющимися у них «средствами существования» и которые при заказе «вещи в костюм» не интересовались, «дешево ли», а им нужно было, чтобы было «хорошо». Огромная пропасть с остальным студенчеством, – другой дух, другой строй! И это выражалось не только в костюмах, но и в говоре.

Совсем другая речь, – отчетливая, громкая, твердая. Мы были какие-то «шущукающие замухрышки» около юристов: тихо текла мысль – здесь, громко звенели слова – там. Мысль? Почти никогда никакой. Прекрасные слова и прекрасно произнесенные как-то стояли рядом друг возле друга, как столбики, ничем не связанные. Каждый столбик хорош, – но из всех «ничего не выходит». Была ажитация и никогда одушевления. Скользили остроты, – но к чему они? Кто-то осмеян всегда, кто-то унижен всегда, – и торжествовал унизивший и осмеявший. Все было глубоко неодоушевлено и глубоко неинтересно. Общий и взгляд на студентов-юристов, и говор о них был: «Это – *не студенты*, а делающие *свою карьеру* господа». И считалось чем-то постыдным знать их, быть с ними, знакомиться с ними.

И третий занавес – мы «в жизни». Тут удивлению не было конца. Оказалось, что учителя, врачи, – те, что корпели над наукой в университете и в университете были неизмеримо выше поставлены (все, напр., актовые речи вращались около тем *других факультетов*, никогда – юридического), сравнительно с юристами – отгёрты куда-то в темный угол действительности, делают свое серое дело, тусклое дело, тогда как фасад этой же жизни разукрашен говорунами-юристами, и теперь одетыми так же изящно, как в университете, и теперь говорившими так же громко, отчетливо и бессвязно.

– Видный адвокат...

Позвольте, «виден ли» когда-нибудь учитель?

– «Всеми уважаемый врач».

Позвольте: было ли когда-нибудь «всеми уважаемый» приложено к адвокату?

Страшное требование: адвокат, конечно, «болтун». В лучшем случае и редчайше – «остряк»; и в исключительно прекрасном случае: «скверный адвокат, но отличный товарищ»; «забубенная головушка», – «по ресторанам и с цыганками». Но, ей-ей, о таких добрых исключениях, «с цыганками», почти не слышно. Заливающий *тон* адвокатуры, лежащий толстым пластом перед глазами всего общества:

– Сухой человек. Тонкая бестия. Но – иголки не подведешь. Всегда корректен, всегда прав. Из воды сухим выйдет. Провел, и с успехом, – подлейшее дело. И денег – уйма. Свои лошади и коляска.

– «Балалайки», – определял их Щедрин.

– «Адвокат – *купленная совесть*», формулировал Достоевский и в «Дневнике писателя» (о речах Спасовича), и в «Братьях Карамазовых».

Увы, что особенно горестно, «двух мнений» никогда об адвокатах не было ни у народа русского, ни в обществе русском. Было всегда одно, определенное, – тихо произносимое.

Еще одна особенность, – и, пожалуй, она продолжает университетские впечатления. Известно, как «врачебная работа» связалась с «жизнью России», и то же можно сказать об «учебной, училищной работе». И врачи, и учителя как-то «слились с Россией» и входят в «историю России» чем-то фундаментальным, многозначимым.

– Я смотрю за здоровьем русского человека.

– Я обучаю русскую детвору.

Совсем это другое, чем:

– Я вызволяю русского преступника из беды. Он «пойман», но «не вор». И это я «докажу».

Совсем иная тема существования. И учитель, и врач имеют какую-то *строительную в России работу* и, может быть, на ней воспитываются или *довоспитуваются* после университета. Дело адвоката совершенно иное и глубоко *невоспитательно*. «Пойманный» хотя бы и «не вор» – это случайность улицы, это – «происшествие», а не дело. Адвокаты и трудятся около «происшествий» и «случаев», – и на них кормятся. Но как «происшествие» – всегда есть шум, то вся психика адвокатов как-то приспособлена к шуму. «Где шум – там и адвокат», и «адвокаты – шумные люди».

Россия в их мысли, в их созерцании, в душе? – «Никогда в голову не приходило», – может ответить чистосердечно всякий адвокат. Адвокаты имеют связи с «шумами, происходящими в России», – с «происшествиями» и «случаями». «Прилетел на шум», «улетел от шума». В адвокате – что-то подвижное и – узкое. «По сторонам не смотрит», а смотрит в узкую дверь окружного суда, куда он войдет, станет перед столиком, *vis-à-vis* с прокурором, вынет из портфеля бумаги и начнет говорить. «Мне дело – *не до России, а – до клиентов*».

Врач думает об «оздоровляющих условиях города», он посылает «на курорты» больных: везде невольное представление – *России вообще*. Учитель заботится о *подрастающем поколении России* и с этой точки зрения глядит на сидящих перед ним учеников класса. Работа каждого осложняется непременно «мыслью о России». Это – неизбежно, невольно, это – не добродетель, а профессия.

Но именно самую профессию адвокат толкается только к мысли «об этом уголовном деле», «об этой тяжбе по наследству». Интерес абсолютно – суженный, интерес – даже *единичный*. Никаких обобщений, отвлечений. Адвокат весь *in concreto*; тогда как все другие профессии – немножко и *in abstracto*.

И как всякая мысль, культура, литература имеют дело не с *предметами*, а с *обобщениями* касательно предметов, – то отсюда проистекло полное отсутствие обширного сословия адвокатов на поприщах науки, искусства, поэзии, философии. Лицо адвоката, такое лоснящееся и красивое, как-то

выпало из культуры. Хотя, например, «в нашей цивилизации» оно ярко сияет, бросается в глаза и прочее, – но как? Удивительным образом. Адвокат есть какой-то «ущерб» на культуре, – пятно, – на ней вскочивший прыщик, – признак нездоровья или дурного состояния духа. Именно что-то «случайное», – как «случайна» связанная с «происшествиями» их профессия. Адвокаты не *соработают* культуре, а только «пристегнулись» к ней, – ибо не имеют перед собой целой обширной задачи, ничего не строят, не складывают никакой, в переносном смысле, «вавилонской башни». Прошли «случаи» – прошел адвокат; «не настали» случаи – никто не зовет адвоката. «Можно бы без адвоката вовсе обойтись», – если бы не «случаи». Тогда как без мужика, врача, попа, без песни и рассказа, без пословицы и философии – «цивилизации не бывает».

И, наконец, последнее: адвокат сутью своего дела «обходит» закон, «оговаривает» закон, «вывертывается» из-под закона. «Закон» везде для него стоит каким-то «препятствием», которое он должен «преодолеть». Но «закон» всегда суть «законы отечества»: отсюда неодолимо в психику адвоката входит какое-то опасливое и огрызающееся отношение к отечеству, точно отечество его «гонит», а он его, обернувшись, «кусает». «Сорвать клочок шерсти» у закона и отечества – это победа адвоката. Тут-то он сияет, ликует и заказывает хороший обед. Вообще «обедать» мастера адвокаты, – и не дома, с семьей и детьми, вообще не в смысле «мест»; а – «пообедать» в компании, всего лучше – в первоклассном ресторане, ну и, конечно, – с «речами».

– Адвокат, посмотри в микроскоп. – «Не хочу».

– Адвокат, взгляни в телескоп; прохождение Венеры через Солнце – интересное явление. – «Не умею».

– Адвокат, хочешь обедать? – «С удовольствием».

* * *

В. Д. Кузьмину-Караваеву следовало бы оглянуться на это «облачко адвокатуры», из которого «грянул гром», по поводу дела Бейлиса. О, это – *их* язык, *их* дух... И туго накрахмаленные воротнички, и сшитый у лучшего портного фрак, полная «культура с Невского»:

«Общее собрание присяжных поверенных округа спб. судебной палаты считает своим *профессиональным и гражданским долгом* выразить свой протест...»

Можно бы ожидать: «протест против тех шумов, криков, визгов, какие раздались с националистическо-еврейской стороны и набросились на спокойное, отвлеченное, вместе и государственное, и научное, отправленное правосудия в Киеве»... В самом деле: вот бы случай присяжной адвокатуре спб. судебной палаты выступить с государственным словом, с историческим словом, – останавливающим, вразумляющим! Весь бы мир оглянулся. Но когда же адвокат скажет умное слово: он «трещит», он – «трещетка» («Балалайкин», по Щедрину):

«...выразить свой протест против *извращения основ правосудия*, проявившегося в *создании процесса Бейлиса*, против *возведения в судебном порядке на еврейский народ клеветы*, отвергнутой всем культурным человечеством, – и против *возложения на суд несвойственной ему задачи пропаганды расовой и национальной вражды*. Это *надругательство над основами человеческого общежития* унижает и *позорит Россию перед лицом всего мира*, и мы поднимаем свой голос на защиту чести и достоинства России».

Скажите, где тут не наврано? Скажите, где тут не лгун? Нет, печальнее и хуже – где тут не адвокат? Т. е. существо наглое, увертливое, бессовестное и которое никогда не держало серьезной книги в руках?

Резолюция эта была подведена под действие статьи 279, приведенной у г. Кузьмина-Караваева:

«Кто будет изобличен в составлении, подкидывании, выставлении в публичных местах или же *иным, каким бы то ни было, образом*, но *заведомо и с умыслом*, в распространении *ругательных писем*, или *других сочинений и бумаг*, или изображений, *оскорбительных* для высших в государстве мест и лиц, тот приговаривается» и т. д.

Выписав этот текст закона, г. Кузьмин-Караваев, когда-то профессор военно-юридической академии, уверяет:

«Как видно из цитированных мною слов закона, примененного к деянию петербургских адвокатов и который имеет подзаголовок: «об оскорблении и явном неуважении к присутственным местам и чиновникам при отправлении должности», – основным признаком этой 279-й статьи является оскорбительность «ругательных писем или других сочинений и бумаг для высших в государстве мест и лиц». Резолюция же *имеет безличный характер*, т. е. *не заключает в себе никаких указаний ни на определенные «места», ни на «определенные лица»*. И этого одного достаточно для абсолютно бесспорного вывода (?! – В. Р.) о полной невозможности трактовать резолюцию, как деяние, предусмотренное 279-й статьей, ибо для юридического бытия оскорбления необходимо, *чтобы был конкретно известный оскорбленный*. При оскорблении на письме и намерении оскорбить именно данное лицо, кроме текста письма, «сочинения» или бумаги, *может еще, пожалуй, свидетельствовать адрес на конверте*. Но в деле адвокатов и адрес ничего не говорит, так как резолюция была послана ее авторами лишь защитникам Бейлиса».

Ай, стыдно, ай, стыдно, г. профессор! О каких вы мелочах, пустяках, глупостях говорите! «Нет *конверта*, и, следовательно, нет *адреса*»... Т. е. «нельзя *придраться*»?! «Нельзя *придраться*»: и адвокату кажется, что он «победил», тогда как за спиною его хохочет вся страна и указывает конвойным отвести «победителя» в некоторую комнату уединения для 6-месячного размышления о том, в самом ли деле он «победил» или «побежден».

Что же г. Кузьмин-Караваев хочет сказать, что адвокаты не были *обидчиками*, потому что *нет обиженного*? И что их «резолуция» есть безымянная обида? Позвольте: но *кто* же обижает «в воздух», обижает – «никого»? Таких чудес не видано и не слыхано. «Резолуция» выражает:

1) «Протест против *извращения* основ правосудия». Значит, *кто-то* «извратил правосудие». Но *кто*? Да те, *кто* судит и *кто* приказал начать процесс. Судит – киевский судебный персонал, приказало судить – министерство юстиции или министр юстиции.

2) «Извращения, – проявившегося в создании процесса Бейлиса». Так ведь *кто-нибудь* его создал? Есть, значит, «лицо» или «служебное место»?

3) Протест «против *возведения* в судебном порядке на еврейский народ *клеветы*»... *Кто-то* есть «клеветник»? Кто?? Да явно – суд, министерство юстиции, министр юстиции. «Суд» происходит не где-то «в небесах», не где-то «вообще», а – в Российской империи и в министерстве юстиции.

4) «Это надругательство над *основами человеческого общежития* унижает и позорит Россию перед лицом всего мира»...

Кто-то, значит, «надругается»?.. Вся резолюция кричит – «кто», «кто», «кто». Вся «резолуция» есть истеричная злоба каких-то мелких и бессильных людей против какой-то громадной их подавляющей силы, «имени» которой они не смеют назвать, и, думаю, «не смеют» не от одного страха судебного преследования, но и от инстинктивного трепета в душе своей, которая «восстать»-то смогла, «злобу»-то питает, но и внутри себя трепещет выговорить полное имя. Сказать ли это «имя»? Да вот оно: Россия. В «резолуции» изругано не министерство юстиции, – ведь оно как «дробь» русского управления русским царством; изругано это царство *in pleno, in corpore*: и в нем именно сказала «расовая иудейская вражда», выговорившая головами глуповатеньких адвокатов все свои милые и любящие чувства по адресу этого гнетущего их, и давно гнетущего, «русского царства». Это – укусы гадюки в ногу буйвола, неосторожно на нее наступившего. Отсюда тон ее, – столь яростный и самим адвокатам, с их холодным резонерством, вовсе не присущий. Отсюда апелляция «к лицу всего мира», перед которым любят евреи ставить Россию «в униженное и позорное положение». Слова резолюции: «Это надругательство над основами человеческого общежития» и т. д., «унижает и позорит Россию перед лицом всего мира» – есть лишь иудейско-адвокатский прием сказать: «Мы ликуем, что ныне Россия, надругавшаяся над основами человеческого общежития, поднявшая знамя расовой и национальной вражды против евреев, стоит униженная и опозоренная перед всем миром», и (договорим мысль резолюции) – «мы, выпивая бокалы шампанского на радостях этого унижения, выплескиваем остатки вина в лицо этому нашему якобы отечеству».

Вот! Кто же во всей России сомневался и сомневается, что как печатный трезвон и грохотание во время процесса Бейлиса, так и малая частица этого трезвона, «резолуция петербургских адвокатов», переданная по телеграфу защитникам Бейлиса, имела в виду далеко вовсе не «министерство

юстиции», до которого «миру» очень мало дела, не г. Щегловитова, до которого «миру» еще меньше дела, – а говорила все милые слова, все иудейские любящие слова, по адресу *равнозначающего члена этого мира* – России... Но нужно все иудейско-адвокатское бесстыдство, чтобы, так ненавидя Россию и говоря такие слова о ней, принимать еще на себя вид, что они «защищают честь и достоинство России». О, узнаю адвоката... Или не перепарфизировать ли нам известные стихи:

Узнаю коней ретивых
Я по выжженным таврам,
Узнаю жидов крикливых
По фальшивым голосам,
Исключительным носам...

и т. д. Нужно заметить, что хотя «рукою Керенского или Соколова» была написана «резолуция», – хотя «продиктованы были слова ее» кем-нибудь из русских, – но были продиктованы они – «из вторых рук». В «резолуции» нет ни единого русского слова, ни единого вообще самостоятельного и оригинального слова: все это – жалкая труха, непрерывно целый месяц всеми читавшаяся в «Киевской Мысли», в «Речи», у Кутеля, у Бикерманов, у Любошей, у Левиных. Адвокаты не «написали», а «списали», как и полагается сему культурному сословию.

И вот судом – Россия с достоинством ответила. Петербургская судебная палата, при возбуждении дела в дисциплинарном порядке, писала, что «принявшие резолюцию присяжные поверенные *позволили себе бросить государственной власти налое обвинение*». Это – очень точное слово, очень точная формулировка всего дела. Нельзя было России мешаться в мелочи печати, в выкрики, стенания и завывания разных Любошей, и Бикерманов, и вообще «исключительных носов». Она выбрала лиц, вставших в наибольшее неприличие, – так как они принадлежат к судебному же сословию и обязаны защищать честь суда, честь того учреждения, в котором им позволено соучаствовать выяснению судебной правды. Адвокаты не суть «вольные птицы», без гнезда, без родины и только *с отношением к «клиентам»*... Они – носят значок, они составляют «корпорацию»; они суть тоже члены суда, лишь особым образом в нем поставленные. Заметим, что, если бы адвокаты хотя сколько-нибудь сознавали свое государственное значение, они не смеялись бы в лицо вынесенному им приговору, который их *обвинил* все-таки, и не встретили бы его «с улыбкой на лице» (мина презрения), и не приняли бы устроенного на другой день им «банкета». Но объяснять государственный смысл – невозможно людям, которые «не смотрят в микроскоп», а «только в рюмку». Суровыми пальцами конвойных «русское царство» взяло этих фанфаронов за высоко поднятый нос и отвело попросту в кутузку, как единственное место, которое их может научить некоторой философии. Этим оно успокоило и удовлетворило возмущенное сердце трудовой, серьезной России, которая *создает*, – и которая не допускает, чтобы вокруг труда ее раздавались бесстыдные смехи.

ПЕСНИ ПРЕКРАСНОГО МАЛЬЧИКА

Сборник стихотворений И. И. Иванова. Издание кружка товарищей. СПб., 1913 г. Склад изданий кн. магазина «Наша Польза», Б. Сампсониевский.

Есть предметы и явления, о которых столько наговорено людьми, чуждыми этих явлений и предметов, что как-то страшно подойти к ним, коснуться их. – «Э, пусть *договаривают* те, которые уже столько наговорили...» – думаешь про себя и бережно обходишь стороною... Как ни страшно выговорить, к этим заношенным, засаленным темам принадлежит смерть, – и, еще страшнее, самоубийство!.. Да! Да! Не пощадило наше лютное время и загробных тайн: подходит «общественный шулер» к гробу мальчика, девочки и, расталкивая всех плечом, расталкивая родных, расталкивая испуганных товарищей детства его, – начинает произносить «общественную речь» о том, что «этот подававший надежды юноша умер, собственно, оттого, что у кормила власти стоит вовсе не тот министр», которого давно рекомендовал этот шулер. Подобных бесстыдных речей мы слышали много. Подобные бесстыдные речи раздаются при каждой почти молодой насильственной кончине... И ни одного слова собственно о *нем*. «Использовал момент» общественный деятель; воткнул булавку министру – и отошел в сторонку...

Лютное время.

Итак, с большою осторожностью и принеся всякие извинения перед читателем, я все-таки позволю себе говорить о самоубийстве и самоубийце... Мальчика старших классов гимназии я не видал лично, но так много слышал и знаю от его товарищей по училищу, а также и «стороною», что все равно – как бы знаю его лично. Он был в школе совместного обучения обоих полов, и вот его одноклассники и одноклассницы собрали кое-какие деньжонки и издали тетрадку его стихов в зеленоватой обложке с нелепыми цветами... И непременно надо сохранить эту книжку в этой обложке: до того выразилась в ней вся гимназическая наивность неумелых ручонки и неопытных умов, трудившихся около памяти товарища. Мальчика очень любили в школе; не преувеличивая можно сказать, что любили нежно. Учился он так себе. Родители его, люди скорее бедные, но очень заботливые, перевели его в школу более низшего и грубого, практического типа, но не по грубости к нему, а чтобы дать ему необходимый в его состоянии и положении урок, что он живет и рожден для труда. Мать и вотчим – и особенно последний – с чрезвычайной заботой относились к его воспитанию, так как он был в семье один. И вот вскоре по переводе в другую школу он и покончил с собой. В школе, которую он оставил, все были поражены его смертью, – и ученики и ученицы этой-то школы и издали на свои средства «Сборник стихотворений И. И. Иванова. Издание кружка товарищей. СПб., 1913»...

Вот как рассказывают о нем и судьбе его издатели и вместе школьные его товарищи, – в предисловии к сборнику стихов:

«Осенью 1912 года, не прожив и двух десятков лет, застрелился автор этой книги. Почему?.. Вследствие ли какого-нибудь потрясения, непоправимых ошибок или, просто, запутавшись в тяжелых обстоятельствах и не чувствуя в себе силы для выхода из них?.. Нет, ничего этого не было. Жизнь его протекала без внезапных перемен. Но смотрел он на нее через какие-то невеселые стекла. В одном из его последних стихотворений есть грустное признание, начинающееся словами:

Я давно прохожу между смутных и странных селений,
Между бледных людей, заклеянных тревогою дня,
И повсюду толпа утомленных и страждущих теней
Злым кошмаром преследует с тайным укором меня.

В этом уже слышится что-то болезненное. Есть ли где-нибудь такой мир? Нет. В жизни перемешано все, – радость и печаль; но только его измученная долгой, непосильной борьбой душа, в которой, по выражению самого автора, были «потушены все огни» (прочтите стихотворение «Моя душа»), – в которой не было больше света, – перестала воспринимать этот свет и кругом себя и увидела в жизни то, что таила в себе. Автор долго боролся с этим миром («Я от них уходил. Я бродил над рекой за туманами», – говорит он дальше), боролся, – пока не увидел, что все усилия напрасны, оттого, что он сам родился в этих смутных селениях, сам принадлежит к этому непонятному нам, странному миру. Тогда-то он, должно быть, и решил уйти из него, уйти совсем.

Этому решению предшествовала длинная, мучительная борьба между смертью и инстинктивным стремлением жить. В этой борьбе силы приливали и отливали: бывали просветы, трепетные ожидания кого-то, чего-то, мечты... Потом – опять провалы в какую-то безнадежность, пустоту... Мелькал образ смерти, примиряющий, успокаивающий своим нестраданием, редко – страшный и мучительный... Проходило и это, и наступали моменты светлой грусти, неясного томления... И так всегда – вечные колебания и чередования. На это ушло много сил.

Но в минуты этих провалов и просветов открывались глубины, незримые при спокойном, ровном течении жизни.

И, читая его стихи, невольно задаешь себе вопрос: откуда он знает, что зло так же влечет и манит, как и добро (стих. «Старуха»)? Откуда он знает, что тайна вселенной, тайна нашей жизни и нас самих, не будет открыта нам по нашей молитве, не постигнется исканиями нашей мысли, а «силой светящейся прочтется сама» (стих. «Загадка»)? Это знают старики, заканчивающие свой земной путь, а не юноши.

Бороться всегда трудно, но бороться в одиночестве – труднее в бесконечное число раз, а автор часто упоминает об нем. Его одиночество меняло характер в зависимости от минуты. Порой оно превращалось в нежное томление, в ожидание кого-то:

Быть может, и придет далекая подруга,
И, тихо наклонясь к немым моим устам,
Заставит позабыть, что вост злая выюга.

Но, должно быть, тяжелым камнем ложилось оно ему на душу в минуту усталости и изнеможания, – и тогда-то, должно быть, мир казался ему мертвой и страшной пустыней, где вихри, и зной, и пески. Что отделяло его так резко от людей, – что заставляло его, со всеми творческими силами, со всей своей мучительной борьбой, – замкнуться в себе? Быть может, что он везде и всегда был полон тревожными, тяжелыми думами и переживаниями, и что же?.. в душе его не нашлось достаточно сил, в душе своей он увидел ту же пустыню, что и кругом. Прочтите стихотворение «Свет вечерний».

В заключение еще хочется сказать, что в этой трудной борьбе стихи автора постоянно очищались от всего фальшивого, неискреннего. Для поз не было ни места, ни сил, – да и незачем они были, и, перелистывая этот сборник, порой удивляешься той простоте и искренности, которой так мало в современной поэзии».

О бедном погибшем мальчике можно сказать, что он был счастлив в товариществе. Товарищи и подруги по гимназии не только полюбовались на тетрадку найденных его стихов, не только «потолковали и забыли», но приложили немалое старание, *которое, конечно, им было трудно* (неопытность), – напечатать их и, наконец, в приведенных строках сделать прелестную оценку ума, души и самых стихов... Читая эти строки, множество русских с удовольствием заметит, как чиста душа в нашем юношестве, – почти отрочестве; и, в сущности, как было бы интересно и взрослым войти в мир общения с этими своими неизломанными, простыми детьми, которые уже чутким отроческим ухом слушают «тайны вечности и гроба», о которых говорит Пушкин.

Перечитав стихи, я думаю, что в самом деле мальчик родился *поэтом*, – без преувеличения и без прикрасы. И может быть, в этом-то и лежит источник его смерти. Он умер «не почему-то», а потому, что был поэт, и его задавили, а отчасти его и истомили образы, мечты, грезы, вечное преображение реального мира в мир идеальный, с чем всем он по неопытности не сумел справиться. Просто, он слишком рано и слишком быстро вырос, и «перепроизводство души» (простите грубый термин) задавило хрупкое, неотвердевшее тело... Крылья большие, как у взрослой птицы, у настоящего поэта, – а шейка тоненькая, ноги слабые, сердце детское и в нем детский опыт: крылья взмахнули сильным, мужским взмахом – и мальчик погиб, разбился, разорвался на части, не крепко сшитые или еще не окрепшие. Вот судьба. В сущности, то пятистишие, которым начинается книжка, выражает всю ее, выражает самую душу действительно прекрасного безвременно погибшего мальчика:

Как прозрачны те березы,
В них сквозят ночные грезы.
В этих листьях пожелтевших
Видны тени облетевших
Недоконченных мечтаний.

Что это? Мальчик идет парком. Парк как парк, береза как береза. Сто раз проходишь по нему усталый (я знаю этот парк, – о котором он говорит) и ничего не думаешь. Да. Но мальчик переживает детскую мифологию; точнее, мальчик сам выдумал мифологию; мальчик – *действительный поэт*, и те группы деревьев, которые нам, прозаикам, кажутся только деревьями, – для него одушевлены, преображены, наполнены звуками и смыслом.

Вот еще из мира этих преображений:

Бледные нити далекой луны
Ночью неслышно ко мне подползают,
Ночью рождают мне чудные сны,
Новые чувства во мне пробуждают.
Слышу, – неслышно струится поток
Сильного, странного, бледного света.
Чувствую, льется душистый с них ток,
С нитей ползущих ночного завета...
Долго в лугах я хожу... До зари...
Отзвукам ночи всю ночь я внимаю,
Вместе со мною блуждают огни.
После скрываются нити-лучи,
После и я засыпаю.

Все стихотворения Иванова запечатлены глубоко личным характером, – и среди них почти нет общих тем, «общих красот», общих звуков.

Они не бросаются в глаза, и между ними нет таких, которые сразу бы отпечатались в уме незабываемую картину или вечно повторяющимся звуком. Но нет такого, которое не «заняло бы вас чем-то»... Вы непременно вторично перечтете его, – и вот при вторичном и более внимательном прочитывании вы почти всегда поразитесь необыкновенно красивым образом, верною и глубокою мыслью, – или чувством, сказавшимся прекрасно и сильно.

Одно настроение господствует в них – постоянной грусти, ухода от одиночества и, чем далее, тем более, – чувства приближающейся смерти. В прекрасной «Лебединой песни» он оставляет портрет свой, – не думая о том, – и, в сущности, предсказывает свою судьбу:

Над печальным озером, над немymi скалами
Лебедь машет медленно крыльями усталыми.
Жизнь его отравлена вечною тревогою,
Скучными заботами и землею убогою.
Грустно стало лебедю с правдами немилыми.
Для полета смертного он собрался с силами.
Вслед ему заплакали ветры прибережные,
Камыши, и верески, и кувшинки нежные.
Высоко над озером, над немymi скалами,
Широко раскинувши крыльями усталыми,

Песню запевает он чудную, единую,
Первую – последнюю песню лебединую...
И, упившись досыта сладостными звуками,
Дрогнет он, охваченный неземными муками.
И, допев медлительно *песню похоронную,*
Канет мертвым лебедем в озеро бездонное.

Я почти испугался, прочтя неоконченное, недоработанное стихотворение, под заглавием «Старуха»:

Есть седая старуха,
Безобразием своим она влечет
И издали кажется прекрасной,
А вблизи – темной и ужасной
И ко всему людскому глуха.
Людей она зовет.
Стонам, страданиям их не внимлет,
Но люди к ней идут.
Всех она приемлет –
– Все они пропадут!
К ней идет богач
И влачится бедняк,
Хоть и зная, что за ней царит мрак и плач
И что человек перед нею почти червяк!
Они идут, падают, ползут...
Все они пропадут!
Мать к ней ведет дочь...
К ней от отца сын уходит –
Все скроет и снесет ночь!
А старуха стережет и бродит
И к жертвам тянется, ползет:
«Не бойся, все ночь скроет и снесет»...
И люди верят и идут...
И.
Все они пропадут!..

Я сохраняю все многоточия и не выпустил ни одного слова. Стихотворение это – почти только тема! Но как страшно и тяжело она сказала. Как серьезно! Это мысль мальчика о пороке, – пороке, коего почти только *имя* он знает, и – самые общие, неколоритные контуры. Какой испуг – «Все они пропадут»; и как выразительно и глубоко: «Все скроет и *снесет ночь*»... Да: «на что бы ни взглянули глаза», – делается потому именно, что *есть* всеукрывающая ночь и что никогда ничей, *ни даже свой собственный глаз*, не увидит. В свои 17 лет мальчик написал строки, столь же страшные, как *Senilia* (по надписанию автора на манускрипте) Тургенева («Стихотворения в прозе» – переделка заглавия М. М. Стасюлевичем).

Но воображение мальчика везде чисто, и ни одна строка не оскорбит вкуса читателя. Мир представляется ему далеким, чужим и страшным. Во многих стихотворениях говорится о «загадке мира», – с порывами разгадать эту загадку. Но мысль отходит в сторону перед образами, которые собственно наполняют все его существо, – нельзя не сказать – перегруженное существо, усталое существо, подавленное собственной фантазией.

Как погаснут огни одинокие и наступит угрюмая ночь,
Появляется бледная Девочка, моя милая дочь,
Обнимает ручонкой воздушную утомленное солнцем чело,
От ее поцелуев таинственных мне бывает светло.
Шелковисто волнуется-катится ее локонов светящий ряд,
Но тоской безысходной туманится ее любящий глаз.
Ее нежный, безоблачный плачется и туманится взор,
И в душе моей вечно тоскующей оставляет узор...
До зари, до зари... С рассветанием исчезает куда-то она...
Умирает так стонущий колокол, умолкает струна...
Да, с зарей одиноким я делаюсь и в безумье полдневных лучей
Расплетаю узоры неясные и – звеню как ручей.
И все жду, и все жду я полуночи, чтобы снова, – о, снова проник
Мне на сердце тоскующий, любящий моей Девочки лик.

«Девочка» – везде с большой буквы. Кто это? Конкретно и насколько возможно – это подруга по школьной скамье; но мальчик совершенно закружился, все у него превращается в мифологию, и, в сущности, – «Девочка» есть богиня ранних греков, нимфа речная, нимфа гор или долин, дриада кельтов, полубожество, получеловек. Для него же, *отнюдь нигде не перепевающего чужих напевов и не берущего чужих тем*, это – «Девочка, посетительница между вечерней и утреннею зарею». Замечательно, что он роднит ее себе не как невесту (ожидалось бы и бывает обыкновенно), а – как *дочь*.

Форма стихотворения очень несовершенна, хотя она нигде не аляповата, не безвкусна, не скучна и томительна. Она просто недоделана. Он никогда и не предназначал ни этих, ни других стихов к печати; его стихи – его дневник, его заметки. Это – чисто личное и ежедневное: но по *темам*, по *занятости* души и строю души мы судим и вправе судить, что умер поэт. Вот это, например, совсем запись из дневника:

Ржавых камней гнев безмолвный. Зыбь стальной воды.
Ночью бились злые волны. На песке следы.
Это я ходил усталый тяжело по песку
И молил, рыдая, скалы – разогнать тоску.

Несколько последних стихотворений посвящено смерти. Странно сказать – «посвящено»... Что же ей «посвящать»? Возможно ли? Нет, это стихи просто касаются смерти. Вот один из 4–5:

В серый день хорошо умереть.
В серый день ничего мне не жаль,
Но в бесцветном больнее печаль
И больнее рыдать и болеть.
Оттого я хочу умереть

В серый день.

Серой чайкой я вдаль полечу,
Задевая туманы крылом,
Вспоминая о горе былом,
В серый день, умирая, хочу
Верить в то, что я вдаль полечу.
И в последнем рыданье земле
Я отдам мой последний привет.
Жизнь мне крикнет последнее «нет»,
Но уж скроюсь я в сумрачной мгле,
И не станет меня на земле

В серый день.

Той же теме посвящено еще несколько стихотворений.

Я видел смерть вдали. Она прошла безликой.
Так хорошо мне стало умереть.
Поверил я, что дверь сокрытости великой
Она мне даст узреть и отпереть.
Я видел – ключ разгадки сокровенной
Она несла в недвижимой руке.
То мать идет разгадки всех тайн вселенной,
Подумал я... но был я вдалеке.

Стихотворение так и называется – «Вдали». С ним рядом другое – «Вблизи».

Я видел смерть вблизи. Из судорог и боли
Был выткан ледяной ее хитон.

.....

Она прошла жестоко, сильно, но бесстрастно
Она прошла, не подымая век.
В ее стальной деснице холодно и властно,
Во всем величье сжат был человек.

Жизнь хрупнула. Человек умер. И, может быть, немного не хватало, чтобы он жил и цвел? Кто знает, может быть, ему просто не хватало такой прозаической вещи, как хоть знакомства с поэтом, добрым, простым, тоже погруженным в «сны», но который при более зрелых годах помог бы гитлеру VI–VII класса выбраться из запутанности воображения и обманов или самообманов действительности.

ПОМОЩЬ СЕМЕЙСТВАМ ЗАПАСНЫХ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЦЕРКОВНЫХ ПРИХОДОВ

В городе Зарайске, Рязанской губ., священник о. Сергей (Субботин) произнес проповедь, текст которой прислал мне местный член окружного суда, г. П., – обращая мое внимание на некоторые ценные стороны этой проповеди и ее практических последствий, – которые могут быть обобщены, если другие приходские священники последуют доброму примеру сего уездного батюшки. Именно, разъяснив своим прихожанам в простых и вразумительных словах великое и нравственное значение начавшейся войны, – он сейчас же в самой проповеди поименно указал запасных, которые позваны к великому своему долгу, и подробнейшим образом исчислил, кто скольких детей оставляет, кто оставляет старуху-мать или хворую жену и т. д., и что хотя казна дает от себя пособия для пропитания этих оставляемых, но, во-первых, это обеспечивает лишь самое необходимое, обеспечивает почти одно пропитание, и, во-вторых, самая выдача казенного пособия может произойти не сейчас, а лишь по истечении некоторого времени, необходимого для исполнения неизбежных формальностей. Между тем, нужда этих сирот не ждет ни минуты, да и увеличить казенный паек лежит на совести прихожан. Все добрый батюшка объяснил в подробности, как бы войдя в дома и семьи этих «запасных», как он, очевидно, и входил туда со своими требами. Все нуждишки заключались в небольших рублях, – да в сохранении «служб» запасных за их оставленными женами или за подрастающими сыновьями и дочерьми. Нужно заметить, что это сохранение мест за семьями запасных без всякого подкаса как-то сразу было превосходно понято в России и повсеместно, кажется, осуществлено. Но место – местом, а рублишко – рублишком. Сейчас же после проповеди батюшка произвел денежный сбор, «на тарелку», – и при всей бедности прихожан этой Благовещенской церкви, и несмотря на то, что по случаю дождя собравшихся в церковь было немного, было собрано 7 руб. 90 коп., – что уже обеспечивает чай и сахар на месяц всем семьям запасных этого прихода; а повторили бы сбор в воскресенье – обеспечили бы, может, и молоко и булочку детям. Словом, к казенному пайку на запасных *одного* прихода – 7 руб. 90 коп. есть действительно «сумма», на которую улыбнется только не понимающий дела. Господин П. в письме ко мне справедливо указывает, что вопрос о приходе, как-то тоскливо влачащийся в наших духовно-бюрократических сферах, мог бы воспрянуть великой жизнью, если бы священники и старосты церковные начали «приходски» устраивать судьбу и обеспечение семейств запасных. Важен не регламент, а работа, – и при Петре Великом именно в трудах и опасностях войны зародились лучшие его учреждения. Регламент написать недолго, а надо, чтобы был жив дух. Сейчас все кипит мыслью о войне, все спешит на помощь войне. Пусть поспешит сюда и приход, – пусть прихожане впереди и быстрее всяческих филантропических комитетов и обществ, невольно действующих – отвлеченно и обобщенно, придет со своими рублями и иногда с

помощью «натурой» и «службой», хлебом, овощем и одежкой – ближайшим своим прихожанам. Это особенно важно в глухих местах России, в селах, в уездах, – куда «комитет» и не имеет силы заглянуть, и не имеет средства протянуть руку. А «приход» – везде есть; все жители России суть в то же время и «прихожане». Спасибо священнику за превосходный пример; и да не продремлют его другие священники в иных местах. Впрочем, мы уверены, что так уже и поступают многие; но хорошо это – обобщить, хорошо взяться «за гуж» разом и всем. В добрый путь, господа и отцы.

ИЗ ИСТОРИИ «НЕУДАВШИХСЯ ПОРТРЕТОВ»...

Удивительно, как одни биографии, литературные деятельности, литературные «портреты» – удаются, а другие почему-то «не выходят»... Почему «не выходят»? Почему «удаются»? Бог весть. Судьба, Рок, предназначение. Рациональных причин бывает иногда мало для этого; или, по крайней мере, они далеко не все объясняют в разнице между «свечкой зажегшейся» и свечкой «незажегшейся», часто при одном и том же составе в них горючего материала и светильни. «Одну свечку зажег Бог», – и она горела, и люди видели это горение и запомнили его; а другую свечку «не зажег Бог», и она просто стояла. Стояла. Потом сломалась. Потом куда-то ее вынесли. Никто не знает и не помнит.

Мысль эта невольно приходит на ум при сравнении двух очень сходных личностей в нашей науке, литературе и общественности: Софии Ковалевской и Марии Безобразовой. Параллелизм – полный. Состав горючего материала – одинаков. Талант, призвание – равно. Кто не знает Софью Ковалевскую? С тех пор, как я «стал образованным», я знаю это имя, – люблю его, как все, чту его, как все, симпатизирую ее душе и сердцу, как все; жалею об этом сердце – как все, удивляюсь ее учености – как все. Поистине, ее следовало бы «изгнать из отечества за слишком большую известность», как поступили афиняне с Аристидом, которого они изгнали «за то, что им надоело слышать о вечной его справедливости». Переходя к делу и «зерну всего», я нахожу, что Софья Ковалевская была ученым математиком, читала лекции в Стокгольмском университете, никаких особенных открытий в математике не сделала и оставила несколько своих воспоминаний, где жаловалась, что, несмотря на знаменитость, признанность и любимость окружающими людьми, – чувствует себя не совсем удовлетворенной и предпочла бы более незаметное и буржуазное, но более нормальное существование «обыкновенной женщины», с хозяйством, детьми и мужем.

Очень хорошо и в то же время очень обыкновенно. Вполне симпатично, но ничего сверхъестественного. Почему же имя ее так известно и всеми почитаемо в России? «Бог зажег свечку» – один ответ. Все увидели, все

узнали, все очень много говорили, и все запомнили «привлекательную и ученую девушку, которая, впрочем, ничего особенного собою не представляла». Рок и Судьба.

М. В. Безобразова? – Никто не знает. Мне случилось ее видеть однажды в жизни, года два назад, когда она основывала в Петербурге «Этическое общество», с целью возбудить в молодежи свежие, оздоравливающие течения, которые могли бы противоборствовать психозу самоубийств. Не будет нескромным, если я здесь красочно передам то, что она высказала субъективно и лирически в книге «Из одного альбома», носящей характер философского и вместе автобиографического дневника. В книге она говорит много о себе, – о своей судьбе и жалуется на постигший ее под старость недуг – глухоту. Зрительно она, однако, не была стара или – очень стара. Лицо и вся фигура являла еще много свежести и остатки былой незаурядной красоты... Но... как все разбито, – и именно от этой ужасной глухоты, которая в автобиографических заметках скользит одной небрежно пробегаемой строчкой, а при зрительном взгляде закрывает собою все, господствует надо всем и является тем «порогом» в комнату внутреннего обитания человека, на который натыкаешься, падаешь, встаешь, еще раз пытаешься переступить этот ужасный порог, снова падаешь и больше уж не решаешься ступить на него. Интересуясь человеком, заинтересованный ее прекрасной и замечательной книгой, посвященной этическим проблемам, – я засыпал ее вопросами... на которые она ничего не отвечала. Не сразу я понял, что она не слышит. «Не слышу», – невнятно выговорила она. До какого предела не слышит? Насколько нужно поднимать голос? Нужно ли кричать, – чего я не могу, не умею? С внутренними слезами я смотрел на замечательную и даровитую девушку, которая фатальным недугом разобщена со всем миром, – которая может только видеть и читать, когда полна энергии жить и действовать...

В книге «Из одного альбома» меня поразили некоторые строки:

«Напишите на моей могиле: *Здесь похоронен беспокойный человек*».

В другом месте:

«*Мне кажется иногда, что во мне еще целая неисчерпанная жизнь*»...

И еще:

«Умирая, Гёте сказал: *Больше света*. Живя, я нередко говорю: *больше жизни*».

Замечательные строчки; и все – одного тона и наклона. Когда я видел ее, – и мне показалось, что она, в сущности, полна жизни, предприимчивости, но...

Бог не зажег свечи.

«Мне, по крайней мере, закрыты все русские издания; нигде я не могу не только излагать своих мыслей, но даже – возражать. Закрыты *все двери* (курсив автора)».

«И у меня вырывают задуманное: историю философии в России, «Философское общество», а теперь – «Этическое». Гражданской смертью я давно умерла, а живу физически».

«И я негодную как женщина, а не только как человек».

И в заключение:

«Самое ужасное, что может испытать человек, это быть оторванным от деятельности, когда ее страстно любишь».

.....

«Я хожу с зонтиком, потому что с ним меньше чувствую свое одиночество».

Не ужасно ли?.. Не ужасна ли последняя строка?! В пояснение строк ее лирического дневника я замечу, что она не только *задумала* и основала «Этическое общество», из которого (об этом писалось в газетах) ее почему-то немедленно и в высшей степени неделикатно устранили, но и *задумала* «Философское общество», до сих пор здравствующее, обильное собраниями, членами и рефератами, где она тоже не участвует. Может быть, она не догадывается, не умеет догадаться, до какой степени потеря слуха, – именно при энергии, пыле и деятельности ее души, – затрудняет всех окружающих ее «членов», затрудняет в общении с нею, в возражениях ей... Будь она *пассивна* и молчалива, – и ее глухота была бы «не в порок». Но очевидно, она порывается говорить и действовать: и это *мучит* всех, так как разговор с нею, как связь «да» и «нет», тезисов и противотезисов, невозможен (это я испытал). Но здесь можно было бы как-нибудь «обойти дело», смягчить «укор природы»: и, очевидно, этого русские не умеют по грубости своей...

Между тем у М. В. Безобразовой было никак не меньше «материала», чем у С. Ковалевской, чтобы стать около нее плечом к плечу. Высшая математика, которой отдалась Софья Ковалевская, – по самому существу своему не допускает популяризации, и из тысяч русских уст, слагающих хвалу Софье Ковалевской, едва ли хоть одни уста могут сказать что-нибудь об ее открытиях или вообще о чем-нибудь «новом», что она дала математике. Остается чисто внешний факт профессуры. Сверх этого, никто не может отрицать, что сочетание «женщины» и «математики», т. е. дара комбинировать величины, – вообще представляет что-то странное и не очень гармоническое. «Удивляемся», но нельзя сказать, чтобы «привлекательно». Но уже со времен Древней Греции и ее преемницы Александрии встречаются примеры, что даровитые, исключительные девушки отдавались поприщу философии. Как ученицы – нередко, а изредка – и как наставницы. Так, одна из последних философов античного мира была убита грубою александрийскою чернью, когда вздумала открыть курс публичных лекций по философии. Это были вновь обращенные из язычества христиане, – в воззрении которых она профанировала скромный и целомудренный идеал женщины-домоседки. Но и помимо этого, и раньше, и позднее, женщины влеклись к

философии, младшей сестре и помощнице религии. Религия, поэзия и философия – не чужды женственной натуре; и как есть своеобразная прелесть в женских стихах, как есть оттенок в «святых подвигах» женщин, – так, можно верить, женщины положат свою тень когда-нибудь и на философские воззрения. Во всяком случае здесь можно смотреть вдаль, можно ожидать; тогда как математика и женщина?..

Чего же тут ждать!..

М. В. Безобразова имела определенное, сильное призвание к философии; это не было ни баловство, ни – «надумала себе»; не было – «вообразила себя философом – и не удалось...». Ничего подобного; никакой претенциозности, никакой нескромности. Как свою лучшую пору жизни она вспоминает («Из одного альбома») пору своего учительства в жиздринской (Калужской губернии) гимназии, – а уж что же это была за жизнь в уездном глухом городке?.. «Я там была свободна», – мотивирует она свое счастье. По-видимому, ей врождено было рвение к свободе, т. е., как можно понять, – к полной самостоятельности личного существования, – «на свои средства» и занимаясь «по личному призванию». Так как вообще-то, судя по книжке ее воспоминаний – «Розовое и черное в моей жизни», – никто ее дома не теснил, никто ничего ей не запрещал, но ее несколько давил авторитет отца, одного из образованнейших людей царствования Александра II, но – юриста и политико-эконома. У него был фанатизм своей науки, точнее, ее метода, ее духа. Автор, редактор и издатель «Сборника государственных знаний», он не гармонировал душой своею с душою дочери, – а она была слишком самостоятельна и именно даровита и не могла не чувствовать, что что-то в ней пропадает и меркнет в сильных лучах отцовского призвания. Так и в книжке «Из одного альбома» она вспоминает, что не поехала с отцом в Америку, куда он был командирован правительством для разных изучений, – несмотря на жажду видеть Америку и особенно посмотреть океан, из страха столько времени пробыть в обществе и некотором духовном гнете отца. В то же время она хранит о нем самую светлую память, отмечает подробности его доброго отношения к своим крестьянам (помещик-дворянин) и кое-где грустит о нем. Вообще не было никакого разделения «отцов и детей»; но прошло яркое и упорное разграничение юриспруденции и философии. Но я говорю это к тому, что она была скромна и не «сочинила в себе философа». При личном с нею свидании я спросил, отчего она не напишет, – при своем даря ясного и точного изложения, – истории философии в тех небольших размерах, как мы имеем Льюиса, Шwegлера, Фулье и пр. – «Стыдно же, что русские не имеют своей книжки по столь любимому предмету», – мотивировал я. «Это меня *не интересует*», – с живостью ответила она... И назвала несколько *точек* в философии, которые, напротив, ее живо занимали. Между ними есть одна и – историческая. В своих «Философских этюдах» она замечает по поводу одной статьи Дильтея, помещенной в «Archiv für Geschichte der Philosophie»:

«Было бы очень важно обратить внимание на наши русские философские рукописные памятники, *о разбросанности которых мы даже не думаем* (курс. автора) – до того далеки еще мы от их исследования. Приведение в известность рукописного материала могло бы уже само по себе послужить ценным вкладом в историю нашего просвещения, далеко не столь безотрадную, – как это показывают некоторые исследования, опирающиеся на рукописный материал, хотя бы *Творения отцов церкви* Архангельского и *Опыт истории Библии в России* Астафьева. Исследования эти рассеивают тот мрак, которым мы, не имея на то права, любим окружать наше прошлое».

Философии у нас не существовало, или философия наша была греческого – те предвзятые мнения или «идолы», по Бэкону, – от которых бы следовало освободиться, потому что в науке нет места для предвзятых мнений. Насколько Россия принимает теперь участие в развитии общеевропейской науки, настолько же на нас лежит обязанность внести в общую сокровищницу – работу наших предков.

От души желаем мы освобождения еще от одного «идола» – специально-русского, т. е. *от пренебрежения ко всему своему* (курс. автора). Мы ему слишком долго уже поклонялись и поклоняемся».

Суждение и тон его – вполне зрелые. В одном афоризме, помещенном в книге «Из одного альбома», она говорит о зрелище теперешней «философии в России»: «Сколько пережевываний Конта и Канта, – и которых больше, не знаешь». Действительно, университетская наша философия все пережевывает Эм. Канта, журнальная наша философия все пережевывает Ог. Конта, являя в обеих ветвях своих что-то ленивое, тусклое и безнадежное. То и другое по безжизненности, отсутствию оригинальной и своей мысли, по отсутствию всякой связи с родной почвой, со своим племенем, со своей историей напоминает самые мрачные времена схоластики, хотя и гоняется вечно за новым словом и последнею книжкою. Какая-то смесь младенчества и старчества, беспредельной наивности, слитой с беспредельным скептицизмом и отрицанием, – суть всего, тон всего...

В чем же дело и отчего «не вышла судьба»? Отчего некоторая меланхолия Софьи Ковалевской о том, что она «не приняла обычной женской доли», – привлекла сочувствие всей России и отчего никто не оглянулся на жалобы и печаль столь же замечательной девушки, у которой не вышла «философская судьба»?.. Среди «идолов», т. е. суеверий, мешающих обществу воспринять истину, Бэкон называет один, «*idolus theatri*», «идол театра» и театральности, идол зрелища, – который очаровывает и ослепляет толпу и уводит ее в сторону от тихого, от задумчивого. В этих «идолах театра и театральности» лежит разгадка и философской судьбы г-жи Безобразовой. Она не побежала за зрелищем, не приняла участия в общих зрелищах. Она решалась сторониться от них, роптать на них. В афоризмах ее есть один, озаглавленный: «Русское невежество». В нем она говорит:

«По-видимому, в России очень много учатся, но это только «по-видимому». На самом деле у нас царит глубокое невежество и только встречаются исключения из него.

Невежество ученых, врачей, юристов, государственных людей... Не невежество ли эти думские прения, эти оправдания по суду глубоко виновных людей, этот раздор правительства с обществом?... Это все – единое, штрихи все одной и той же картины – глубокого невежества страны».

Казалось бы, возможно ли сочетать слова: «невежество» и... «ученых». Увы, в России все возможно... Пожалуй, она употребила не то слово: уместнее было бы сказать: «неразвитость». «Невежество – ученых» как будто содержит противоречие в себе, ибо ученые явно обладают огромными «сведениями» и, следовательно, уже не суть «невежды». Но очень часто в России «ученые» суть «малоразвитые» люди, – это слишком показывают собою истории между студенчеством и профессурою, где первые, увы, так нередко берут перевес. «Знают много», но знания-то эти какие-то холодные, неживучие, и плавают они, точно льдины в мертвой душе. *Сама душа не жива*, – вот в чем дело; душа – пассивна, холодна, инертна, лишена вкуса к самой науке и «знает, что знает» и никуда дальше не двигается. За двадцать лет жизни в Петербурге мне пришлось узнать двух студентов, одного петербургского и другого из Москвы, – которые не могли «одолеть» и «окончить» университет по непобедимому отращению к «мертвому содержанию их лекций», которых не в силах были «принимать в свою живую душу» – как и формулировал мне дело один из них... Это же разительно, такая жалоба; и хотя их приходилось выслушать два раза за двадцать лет, – однако сколько же *приближений* к этим жалобам, сколько же «вроде этого»... В обоих случаях это были уже ученые юноши, читавшие *книги* на латинском, греческом и немецком языках. У нас очень много жалуются, и жалуется именно профессура, «на гимназии», которые «ничего не дают», «мало учат», «выпускают невежд» и суть только «формальны». Но, –

Чем кумушек считать трудиться,
Не лучше ль на себя, кума, оборотиться, –

может гимназия ответить университету...

Г-жа Безобразова была слишком серьезна, проста и даровита, чтобы иметь успех в обществе, которое и в философии бежит за «идолом театра», по терминологии Бэкона. Она не хотела «еще раз пережевывать Конта и Канта», – и, естественно, ее не звали к себе и даже ее не пускали в свои журналы «пережевывавшие»... Она не имела общего лоска, общего оттенка, – она была «не как все», и с ней случилась в 101-й раз русская история «горе от ума». История – слишком обыкновенная. Вот что, напр., пишет о себе, тоже о *всей судьбе своей*, Н. Н. Страхов к Л. Н. Толстому («Толстовский сборник», том 2, издание «Толстовского музея»):

«Недавно я как-то очень разжалобился над собою. Какая печальная жизнь! Мальчик, совершенно неспособный к ненависти, вражде, борьбе, – приехал из глуши в Петербург. Он усердно занимался наукой, но его потянуло к литературе, к этому *самозванному парламенту*, как выражается Карлзэиль. И начинается чертова комедия. С 1856 года все мечты литературы – разрушение, революция. Начинается брань на всех и на все, не только на самое гадкое, но и на самое дорогое. Вали все, – после разберем! Катков, – и тот восхищается покушением Орени с бомбою (на Наполеона III). Представьте себе, что десять лет я читаю эти выходки. Каждый месяц выходит несколько толстых журнальных книг, и я вижу, что между строками в них написано: *кровь и огонь! огонь! и кровь!* Я все понимаю, даже тоньше и вернее, чем ярые почитатели этих книг. И при всем этом – русское невежество, русское легкомыслие, отчаянное русское недоброжелательство и злоречие – да не скоро переберешь всю эту гадость.

Что же я сделал? Я стал смеяться над ними, стал вступаться за то, за что можно было вступаться, – за логику, за Пушкина, за историю, за философию. Шутки мои едва ли многим были понятны, и только покрыли мое имя позором. Несчастный Тургенев недаром печатно сокрушался: «На мое имя легла тень, и я знаю – она с него не сойдет». И мне пришлось немало обид; не один раз даже добрые знакомые показывали мне презрение и прекращали знакомство со мною. Но я не каюсь и не буду каяться. Разве я был не прав? Что было посеяно, то понемногу взросло и принесло хорошие ягоды. Появились огонь и кровь, которых желала литература. Сперва – пожар (1862 г.), потом выстрел в царя (1866 г.), – после этих первых попыток наступило вдруг затишье, как будто испуг; но потом пошли непрерывно покушения, убийства, взрывы. До сих пор помню, как вечером я глядел в окно, в сторону Зимнего дворца, и думал, что, может быть, и там теперь закладывают динамит; на другой день мне рассказывают, что действительно там произошел страшный взрыв. Наконец, в 1881 г. царь убит на улице, и с ним погиб от своей бомбы сам убийца Гриневецкий. Так и вся партия прихлопнула себя этим ударом, потеряла силу. Но от времени до времени все-таки являються новые попытки.

Что это за жизнь, Боже мой! Здесь я каждый день читаю в газетах, с какою ненавистью говорят о России; из ваших книг они почерпают не уроки любви, а только новую злобу. А социалисты в Цюрихе? – Но, простите меня, я разболтался»...

Вот слова, которые полнее и лучше говорят то, что через тридцать лет повторяет о себе г-жа М. Безобразова, – вышедшая из образованнейшей семьи на прекрасное поприще философии. Да разве то же самое не могли бы повторить о себе глубочайший из наших критиков, Аполлон Григорьев, также Говоруха-Отрок, Константин Леонтьев? Им всем не внимали. Ряд *неуслышанных* в нашей литературе поистине длинен и жесток. «Но я не раскаиваюсь в том, что говорил», – кончает о себе Страхов. И никто из пе-

речисленных «не раскаивается», — конечно, «не раскаивается» и М. Безобразова. Есть удел — современность, и есть удел — будущность. Первый, естественно, ограничен, и очень ограничен, второй — бесконечен. Будет «история образованности», и будет она написана, конечно, не «современниками». «Наше поколение» есть очень ограниченное и очень бессильное поколение. Самая суть *слова* и самая суть *мысли* состоят в том, что они говорят в вечность... И свечка, которая не зажглась при жизни, — если есть в ней «матерьял» и есть светильня, — еще не сломлена отношением современников. Она может еще загореться и будет светить над могилою тех, кто умел страдать и умел быть терпеливым в страдании.

Вот ряд мыслей, который может утешить не одну эту печальную философствовавшую девушку... Пусть она тихо продолжает свою деятельность, — хотя бы «для архивов»...

ПИЙ Х

О почившем папе Пие Х, о котором так мало говорили сравнительно с предшественником его Львом XIII, о котором говорили при жизни слишком много, — мы можем все вздохнуть хорошим религиозным вздохом; может вздохнуть о нем и быть может, действительно вздохнет весь христианский мир. То, что можно было бы назвать «внешнею политикою папства», ему не удалось, или он не был счастлив. При нем произошло отделение государства от церкви во Франции, проведенное Комбом. Т. е. государство только допускает для своих граждан исповедовать католическую веру, наравне с другими верами, но *само* оно не исповедует более никакой религии. Что же? Оно спустилось до плоскости и рациональности обыкновенной торговой компании или обширной промышленной организации. «Ост-Индская компания», покорившая Индию Англии, тоже «не исповедовала никакой религии», ибо задача ее была торговать и воевать. Подобный «светский характер государства» есть только упрощение и понижение его типа, — до уровня специальных обществ, компаний, кружков, организаций. Что касается собственно церкви, то ведь до Константина Великого она вообще ни с каким государством не была связана, и никто не скажет, что она не цвела силами, духом, успехами.

«Политических успехов» при нем папство не имело. Но и не пора ли ему вообще перестать иметь политические успехи и даже стремиться к ним? Не помогает ли здесь история истине, и не припомнить ли нашей необычайной поговорки: «Не быть бы счастьем, да несчастье помогло». Пия Х недруги его называли «сельским попом», ибо вся деятельность его прошла вдали от Рима и папской курии, он был чужд не только истории и планов политики, но и духа, и методов его, и был просто в высшей степени строгим к себе и добрым к окружающим христианином-священником. Об исключительных качествах его души, его личной домашней жизни, его обращения со всеми — говорят единогласно, и говорят с самым теплым сердцем, с самой горячей памятью. Что же, однако? Даже страшно сказать: «Этого

мало». Для священника – это есть все. И о почившем папе хотелось бы сказать самые великие слова, потому что не повернул ли он личностью своею папство именно туда, где ему всегда следовало быть. Церковь, основанная Христом, есть «царство не от мира сего», и все оно заключается во внутреннем просвещении человека, а не во внешних успехах среди людей. Конечно, нужно и «распространять» этот свет, и «утверждать» его, однако первое-то лежит в самом свете и чистоте его, в незамутненности его. Вот это-то первое и не было так ясно, оно и забылось несколько около «хлопот Марфы» о внешнем, об обстановке, доме, о пропитании. Несомненно, что внутренний идеал души «вольно или невольно», а отступил на второй план сравнительно с задачами собственно могущества, власти и всемирности «Апостольского Престола»... Объем папства перерос содержание папства. В обширном доме почувствовался некоторый холод...

Нельзя не думать, что самая приостановка внешних успехов католической церкви вытекла из того, что от сосредоточения внимания на этих успехах стал меркнуть или замутняться свет в центре. Не государства стали отплатываться от церкви, а в государствах умалилось число людей высокого христианского идеала. Европа стала слабою христианскою страной, – и уже отсюда все катаклизмы. Отсюда правительство в случайном составе особенно противорелигиозных людей получило возможность в краткий срок своего правления провести перемены, вроде отказа якобы Франции от связи с католическою церковью. Тут слаб христианин как индивидуум; точнее, таких слабых стало слишком много, а людей горячей веры и высокой религиозной жизни – слишком мало. На умалении личного идеала и выросли международные провалы папства.

Если бы можно было ожидать, что появление такого лица, как Пий X, не было случайностью в истории папства, но что шум и слава «духовных» побед и завоеваний действительно уступили место построению личного идеала, то это можно было бы рассматривать как некоторое веяние Востока, потянувшее на Запад. Русской душе издревле, и теперь особенно, непреносимо видеть церковь, увлеченную идеалом существенно не церковным. Отсюда захватные тенденции римского престола вызывали вражду в России и вражду у русских не потому вовсе, что они чем-нибудь угрожали России (они ей не угрожают и не угрожали), сколько искажением вообще церковности, вообще христианства. Есть собственно один путь так называемого «соединения церквей», о котором столько думают на Западе: это чтобы католичество погрузилось в себя, творило свой внутренний идеал и жизнь и вовсе не помышляло о внешних. Католичество с протянутыми руками – невыносимо для религиозного мирозерцания России. Пусть оно опустит руки: и русские, которые любят странствовать и смотреть чужое, заглянут и углубятся и в западную веру, где есть во что углубляться и всматриваться. До сих пор антипатия к смешению священства и политики до того нервировала русских, что они не сохраняли возможности даже быть справедливыми. Мы не хотели ни признавать той стороны, ни смотреть в ту сторону.

Со страхом ждешь дня открытия винных лавок... Потому что ждешь, что с этого дня пропадет и тот почти мираж, среди которого мы живем с 19 августа. Энергичное и, конечно, многих десятков миллионов стоившее финансовому ведомству это закрытие винных лавок несомненно помогло духовному подъему Руси, с которым она встретила войну, встретила великие слова Государя к народу в Петербурге и Москве и встречала решительно каждый из этих двадцати дней, который порознь всякий был днем историческим. Пережито все в *великой трезвости*, в *полной ясности* ума и сердца. Алкоголь не только мутит душу, но и ослабляет ее; он разжижает и охлаждает кровь, после временного и недолгого жара, который как будто поддает душе и телу. Эти трезвые дни русский народ был положительно *крепче*, чем обыкновенно; и крепким духом все воспринял, и крепким духом на все отозвался.

Справедливо думается, что в последующие дни алкоголь будет лучшим союзником германцев. Вообще, вся эта отрицательная сторона алкоголя так ясна, что о ней нечего говорить. Никто не спорит и нет двух мнений об опиуме в Индии, о морфинизме нервных людей и т. д. О болезнях не рассуждают, а их только лечат. Но как вылечить от алкоголя?

Могучее государственное «запрещено» показало, чего оно стоит. Вообще в эти великолепные дни мы увидели кое-что, чего никогда не видели. И одно из зрелищ — «Государство», как бы севшее на коня, все вооруженное и блистающее, великолепно в быстрых и невообразимых приказах. Мы увидели Повелителя — Царство и замерли завороженные, как влюбленная девушка. Это чувство несомненно прошло по стране, — старое и вековое в человеке очарование. Царством, как величием и силою. Только этим можно объяснить, что такие завзятые «волки революции», как Бурцев или как политические заключенные далеких сибирских острогов, напечатали воззвания, конечно, к «своим», — предлагавшие «всем соединиться около русского правительства» или подавшие на Высочайшее Имя просьбы, где испрашивается разрешение стать в ряды войска против Германии. Показывает это суть дела. Показывает, что мы и даже наши «отрицатели» не столько — плохие патриоты, сколько расслабленные, вялые граждане при вялом, расслабленном, погруженном в *мелочи* правительстве. Едва отечество стало перед нами в величии, как мы все почувствовали себя «соотечественниками», — все кинулись служить этому величию и сознающему себя достоинству. Вот высокая струна, до сих пор звенящая в воздухе. Мы пережили некоторое счастье, которое не переживали ни сами никогда прежде, ни наши отцы. Счастье быть членами, быть частицами — великого и прекрасного целого.

И вот уже 20 дней в России никто не пьет. «Запрещено». Нельзя никак выпить, как бы ни хотелось. Кто знает суть ужасных явлений «запоя», знает, что секрет именно в небольшом промежутке трезвых дней, после которого абсолютно фатально начинается «запой» и «зеленый змий». И кто пере-

годил хоть один срок, кому было «нельзя» в критические, роковые дни, тот наполовину или на четверть, на десятую долю уже исцелился. Таким образом, в эти двадцать дней произошло некоторое, хотя частичное и небольшое, *исцеление народа*.

Но откуда взять денег? Министр финансов и решительно все финансовое ведомство знает об алкоголе все то, что знаем мы; но в то время, как мы являем собою «прогуливающих около вопроса», он стоит у самого источника и горестно видит: «неоткуда взять *столько* денег, сколько поглощает государственное управление, и особенно – военные и морские вооружения, и трикратно – теперешняя война».

– Денег! Денег! Денег! Дайте их! Укажите их! И с завтрашнего же дня алкогольного зла не будет.

Действительно: алкоголь выливается (увы, из казенного ведомства) зеленою отравой в народ. Отравой, никто не спорит, не спорят финансы. И вливается «за него» обратно в государство золотая река. Огромная, не останавливающаяся, «на которую все содержится».

– Торговля.

– Один купил, другой продал.

– Кто купил – прогиб; зато кто продал, строит себе дом.

«Дом» – правительство, управление, государство. Министерство народного просвещения, министерство юстиции. Школы, суды. Дома «ученики учатся» на то, что родители «выпивают». Ужасно, но действительно. «Судья, судящий преступника, содержится на ту водку, какую преступник выпил и через нее дошел до преступления». Все это правда, и, конечно, все это все видят. «Но как обойтись?» «Деньги нужны *до зарезу*».

Когда «до зарезу», тогда не рассуждают, а берут. Финансовое ведомство, на которое было столько нареканий, лежит решительно вне их. Собственно «казенное» устройство всего этого дела уничтожило *частную промышленность*, около этого же «дела», и ничего худого не прибавило, даже, может быть, убрав кое-какую старую кабацкую «нечисть». Так, казна все-таки уничтожила выпивку в «кредит», прием кабатчиком вещей «в заклад», т. е. часто последнего женина и детского одеяния, домашней утвари и пр. Казна никак не *ухудшила всего этого дела*, а все-таки несколько улучшила.

Но «дело» все-таки скверно, ужасно; «в заклад» сюда положена вся будущность народа: здоровье, благочестие, добрые нравы, семейное благополучие.

Собственно, дело в нескольких критических годах, годах в пяти – десяти. Мы все настолько знаем политическую экономину, чтобы знать и утверждать, что золото есть просто *монета*, «денежный знак» расчета при товарообороте, и никакого *богатства* само по себе и отвлеченно не составляет. Уже Пушкин говорил про занятия Онегина Адамом Смитом, откуда он узнал о народе, что

*Не нужно золота ему,
Когда сырой продукт имеет.*

«Сырого продукта» в России так много, как, пожалуй, ни в одной стране мира; но нельзя же министру оплачивать проценты по займам воблой или осетрами. И только ради этого ведомство торгует водкой, за которую ему приносят «чистенькие». Вот и все.

Вопрос в 5–10 годах: уже за 20 дней трезвости почувствовался такой подъем рабочей энергии в народе, всего за три недели дома народные, семьи, так экономически поправились, что, конечно, *богатство народное*, богатство сырыми продуктами и массой труда, *необыкновенно быстро возросло бы*, – и дало *через другие пути*, через торговлю и промышленность, все то, что теперь финансы получают через винную монополию. Но – *не сразу*. А дело заключается именно в «сразу». Ни один учитель, чиновник, судья не может отложить получку жалованья даже *на месяц*; и финансовому ведомству нельзя ждать не то что «годы», не то что «пять лет», а *нельзя ждать* даже и месяца.

– Подай!!!

Тут ничего не поделаешь. Надо дать «чистенькими» (золото, монета). Как?

Подъем энтузиазма к уничтожению водки так велик сейчас, так велика вообще готовность к жертве, – что кажется, все согласились бы на *удвоение всех налогов*, почтового, бандерольного, «гербового сбора» и вообще всех, решительно всех налогов, которые и падают ведь на зажиточный класс людей, и в этом смысле желательны, как шаг к уравниванию налогового бремени. Протестовать бы никто не стал, платя за марку *этот год* вместо 7 коп. – 14 коп. Эту меру можно провести *сейчас*, распорядительным порядком, по 87-й статье основных законов. Затем, конечно, следовало подумать раньше, а теперь придется подумать уже после войны: заменить винную монополию несколькими другими монополиями, начиная, для примера, с табачной, но отнюдь не ограничиваясь ею. Экспорт многих продуктов, находящихся теперь в руках иностранцев, – правительство может взять в свои руки и получить за этот экспорт все то, что теперь получают экспортеры. Сумма не маленькая. Вообще «справа с водкой», свет от которой мы увидели в эти дни, – есть неперемнная задача *сейчас* же после войны. И всего лучше было бы у «зеленого змия» прямо срезать голову. Т. е. «шабаш», «довольно», «больше не получите». Могучее государственное «повелеваю», стоящее в воздухе вот уже 20 дней, показало, что это возможно.

Да это, конечно, и исполнится. Есть что-то благословенное в этом 14-м году, – который поистине таков же, как наш славный «12-й год». Так же он громаден, и величав, и урожаен для великих дел. При смене министра финансов, Государь в памятном рескрипте на имя нового распорядителя казны высказал всю полноту мотивов и всю полноту светлых, радостных надежд, какие в сердце и уме его связываются с победой над вином. Этого решительного слова Царя – довольно. Даже было бы печально нам, русским, если бы победу над страшным и застарелым врагом Руси, над вином, мы получили из чьих-нибудь рук, а не из Царских. Да и никто не в силах его

победить, как только один Царь: все будут полумеры, слова, полурешения, с «обходцами» и «хитростью». Сами все пьем, какие же мы победители вина. Ослабел народ; водка имеет защитника в водке же. Тут нужен колосс воли; не думские прения с послаблениями, с сомнениями, а старое тысячелетнее Царское «хочу», которому всегда бросается навстречу энтузиазм народный. А он в данном случае так необходим. Из рук именно Царя Русь уже получила все исключительные блага, начиная с освобождения крестьян, – и новый суд, и земство, и свободное открытое обсуждение законов, и народный контроль над администрацией и бюджетом (Гос. Дума). Все ожилося и воскресло ныне: поперек всего лежит только «зеленый змий». И ему срубят голову и освободит царство от его власти никто, как Царь. Он – старая, историческая надежда Руси. Нам другой надежды не нужно. За Царем мы все крепки, с Царем мы никого и ничего не боимся. У него – подвиг; св. Русь может и умеет только молиться.

К 100-ЛЕТИЮ МОСКОВСКОЙ ДУХОВНОЙ АКАДЕМИИ

1 октября 1814 г. – 1 октября 1914 г.

Век жизни Московской духовной академии – это колосс духовной, книжной, ученой производительности; это незаметные и в незаметности вечные и страшно важные веяния на питомцев, будущих священников возле народа, духа религии, тихого благочестия, религиозного умиления, веяния, выраженные в незаметном слове учителя, в незаметном жесте, в образе жития, в способе труда. Которое важнее, это незаметное и нечитаемое, но что передается в труд пастыря, или видимое и читаемое, груды и даже горы книг? Бог весть... Академии кажется, что первенствуют в значении громады книг, ученого труда. Нам, мирянам, кажется, что самое важное – именно незаметное. Ведь из него слагается «религия страны», т. е. тот уже реальный колосс, тот «отдел всемирной истории», коему пособием и подножием служит книжность, библиотеки...

День юбилея превосходно отмечен трудом: «У Троицы в Академии 1814–1914. Юбилейный сборник исторических материалов. Издание бывших воспитанников Московской духовной академии» – том в 772 страницы большого формата. Труд этот – не от лица академии, а собран и напечатан по предложению бывшего питомца этой академии, протоиерея о. Н. Добронравова, который сделал предложение о таком сборнике на собрании бывших питомцев академии 17 октября 1913 г., в Москве. Несмотря, однако, на это, а также на чрезвычайную краткость срока, удалось сделать чрезвычайно много: в книге помещены записка Ф. А. Голубинского об обществе, составившемся среди студентов первого академического курса под названием «Ученых бесед», – и, далее, специально для

данного сборника написанная статья – «Студенты-платоники в академии», т. е. те особенные, выделившиеся дарованиями студенты академии, которые, получая специальную стипендию имени митрополита Московского Платона, получали к фамилии своей другую, прибавочную фамилию «Платонова», напр. «Гиляров-Платонов», «Иванцов-Платонов» и т. д. Таковой очерк действительно выдавшихся потом на ученом и на гражданском поприщах «платоников» сделан ввиду того, что в академии теперь предположено восстановить эту действительно прекрасную и интересную подробность Московской академии, очевидно действовавшую на стипендиатов поощрительно и возбuditельно. Затем внимание сборника сосредоточено на знаменитом ректоре ее А. В. Горском, который вместе с Новоструевым составил «Описание рукописей Синодальной библиотеки», – и ученые и воспитательные традиции которого до сих пор живут в академии, и, как говорится в предисловии к «Сборнику», – «Академия настолько цветет или держится в ученом и в учебном отношении, насколько в ней жив и продолжает витать дух А. В. Горского». Редактору и авторам «Сборника» удалось разыскать нигде до сих пор не напечатанную статью-лекцию незабвенного Н. С. Тихонравова, ректора и профессора Московского университета, озаглавленную «А. В. Горский», и также отрывок лекции самого Горского – «О патриаршестве». Все это ценные и не заменимые ничем статьи... Затем идут мемуары, письма, – и все это тепло, живо, хорошо рисует и очень отдаленные годы жизни духовной академии, и к нам ближайшие. Ведь это картина царствований, язык царствований, мысли царствований Александра I, Николая I, Александра II, Александра III и ныне царствующего нашего Государя. Все увенчивается и или оканчивается статьей нашего знаменитого академика Н. Н. Глубоковского – «За тридцать лет (1884–1914 гг.)». В ней этот питомец Московской академии, украшающий учеными трудами ныне две петроградских академии – Академию Наук, как ее член, и академию духовную, как ее профессор, – дает превосходную и обстоятельную картину академической московской жизни, дает художественные портреты ее старых наставников, светил и, увы, последующего сравнительного «захирения» академии. Насколько его суровая речь в первой части патетична, настолько во 2-й половине она саркастична. Автор все приписывает несчастному «Уставу 1884 года». Можем только полусогласиться с ним: неужели люди, у которых у каждого есть *лицо свое*, так зависимы от «Устава», – вещи сравнительно бездушной и неодушевленной. Не законосообразнее ли думать, что есть неуловимые, необъяснимые, совершенно иррациональные «векания времен», может быть «векания с небес», в силу необъяснимого действия которых неожиданно и вдруг, неожиданно и «почему-то» рождаются целые генерации, изумительно даровитые, и другие генерации, «совсем плохонькие». С людьми, как с рожью в поле, – «уродилось», «не уродилось», и не всегда можно проследить, и не всегда можно доказать, «как», «что» и «почему». Откуда родились митрополиты Платон и Филарет? Отчего теперь

нет подобных им? «Бог дал», и «Бог взял», скажем с Иовом и со всяким земледельцем и заключим словом их: «Да будет имя Господне благословенно».

Книга украшена почти сотнею портретов, – и нельзя довольно наразмышляться, рассматривая их. Книга, конечно, станет настольною у множества наших духовных лиц, всем обязанных Московской духовной *almae matris*.

СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ

(Сбор в пользу Польши)

Сегодня денежный и всяческий сбор в Петрограде и по всей России на помощь полякам. Щедро давайте, русские; несите рубли, несите и копейки. Сто копеек – целый рубль: и не стыдись, беднота, давать и копейечку. Это – Христова копеечка, а Христос сказал вечное слово именно о копеечке («Лепта дводвицы»).

Польша разломана, разорена великой идущою там войною – передвижением войск, зверством и тупостью немцев, трусливой жестокостью австрийков и венгров. Не так, как Бельгия, но приблизительно так же разорена половина Польши. Хлеб, картофель, овощ, все съестное вытоптано конем или вырыто себе врагом, предвидящим у себя голод. Многим полякам в ближайшие месяцы нечего будет есть, польским крестьянам, польским мещанам, их детям, женам. Неисчислимым «пани», «паненкам» и «паннам». Теперь такой час: помогайте, русские «бабы», польским «паннам», они нам сестры, родные, славянки же. *Такого* еще дня, как сегодня, не будет. Когда же Русь собирала хлеб для Польши? Смотрели косыми глазами друг на друга. Тут было втайне много немецкого подзадориванья. «Жми их», – нашептывал Берлин Петрограду, навалившись, как пивная бочка на человека, на поляков в Познани.

Господи, какое «слава Богу» в этом освобождении от немца!

* * *

Недели две назад я шел из Эрмитажа с одним директором варшавской гимназии, который в отставке и на пенсии занимается там (в Эрмитаже) монетами Петра Великого. Разговорились о текущих событиях, и я спросил, недоверчиво и подозрительно, прочно ли и, главное, чистосердечно ли хоть сейчас отношение поляков к русским? Подняв голову, старик ответил мне следующими словами:

– Я видел сам теперь, что когда по варшавским улицам проходили русские полки, то из домов выбегали польские женщины и *целовали солдатам руки*.

Еще взглянув на меня:

– Вы понимаете, что это значит?!

Я добавлял себе: «При известной всему свету *гордости* польской женщины».

«Неужели?» – несколько раз переспросил я старика-ученого. И когда он твердо подтвердил слова, какое-то теплое чувство паром наполнило грудь, и я был близок к тому, чтобы чуть-чуть поплакать. Действительно, если *так*, мы мирны.

О том же спросил я Ю. Д. Беляева, только что вернувшегося из Польши. – Да! Да! Все – *забыто!!* (т. е. прежнее). Никакого – *расселения!*

Если *так*, то в самом деле что-то пасхальное. «Да, друг друга *объемем*»...

В литературе и всячески мы отселе будем стараться всячески вникнуть в польский народ. Но, впрочем, главная здесь работа – непосредственное физическое сближение, знакомство, дружба, рукопожатие, «едем из одной миски».

Ну да мы «между собою» разберемся. Не стоял бы между нами немец. Мы постараемся многое у них понять, а полякам придется узнавать Русь почти что «сначала». Кроме иностранного и эмигрантского вранья о нас они едва ли что знают. Например, они не знают, что привольнее Руси нигде не живется. Еще бы! Русь состоит из трех принципов: 1) никаких законов не исполняем, 2) Царь во всем милует, 3) нравы еще не установились. Ширь, какой вас на Западе не «попотчуют-с». Да что: из Руси, из Тверской губернии, вышел самый свободный человек в мире. Это – Michel Бакунин. Его даже теснили «невыразимые», и он и их снял и бегал нагишом по всей Европе. Эмблема русской волюшки.

Это – преувеличено. Бакунина, конечно, не надо. Но «побродить около Бакунина», я думаю, и панам и пани иногда хочется. У нас и поговорка: «Бог всех *милует*».

Несите, русские, копеечки и рубли новым нашим *братьям*. У них все выжжено, потоптано. Им негде жить, им нечего есть. Кстати: из Польши хорошо бы пустить простецов собирать с блюдом и тетрадкой «на погорелое место». Сбирать – для *определенной деревни*. Заимствованием этого доброго обычая много бы сотворилось к делу *мира и любви*.

ВОДКА, ПИВО, ВИНА

«Сразу» и «все вместе» – вот прием героического подъема. «Сразу» и «окончательно» – вот вторая его черта. Так и поднялась Русь против пьянства, – где 1) *никому* нельзя было пить и 2) *ничего* нельзя было пить. Именно эта *полнота решимости* и поддерживала энтузиазм, который прошел волной по России, подобно чуду. Ведь избавление от пьянства равно величайшей религиозной реформе; по объему, по количеству спасенных душ, спасенных состояний, сохраненных в целости биографий – это вполне религиозно-нравственная реформация, не задевшая ни йоты «старого упования», нашей древней православной веры. Всеми это и было принято как социальное чудо. Оглядывались и говорили: «Чудо! Русь не пьет! Россия трезва».

Именно, *полнота*-то чуда и родила энтузиазм... А ведь чтобы охотно и радостно его принять, нужно было большое напряжение энергии. Помилуйте, лишиться «такого удовольствия...». Даже академик Глубоковский называет его «утешением...». Да что там: Владимир св. сказал: «*Не можем без того быть...*»

И вдруг через тысячелетие: «Можем!..»

Чудо! И всего труднее оно было крестьянству: *единственное* утешение... Кабачок, пирушка и водочка. Свадьба, именины, крестины – водочка. Сладкая беседа – водочка.

Хорошо. Но «когда все согласны» – и крестьянство *душевно порешило* с водкой. Я имею письма от крестьян, в пору мобилизации, где они своим умом копаются, как заменить питейный доход другими доходами для казны, – «а водке, чтобы *не быть вовсе...*».

И вдруг энтузиазм пал! Этот-то драгоценный энтузиазм, родник всего. Ибо без радости «не пить» – нельзя «не пить».

Почему же он пал сейчас? Не то дьявол, не то немец помутил хвостом воду. Пошла измена, пошло предательство. Побежали, крадучись, назад «свои...».

– *Народу*, конечно, нельзя пить, но *нам – можно*. Это баре, аристократы говорят. Богатые. Говорят о виноградных винах.

– Водку – запретить, но *пивцом побаловаться можно!* Ведь это *баловство*, а не *вред*.

Можно представить себе, как примет это народ. «Все вместе» – и народ был рад. Но теперь он скажет: «Мы – опять *на последних...*» «Баре у нас отняли, а себе оставили». И он назовет реформу, которая была *святою*, – «окаянною»; а нас самих назовет «окаянными», «чужими», «хитрыми».

Да так оно и есть. Мы себе «утешеньице» оставили.

Хотели ведь именно трезвости, рвались к трезвости! Ведь в этом вопрос, а не в том, *чем быть пьяну*.

Великое Царское решение – «не быть пьянству на Руси» обошли хитрыми оговорочками и обходцами. Обошли ради каких-то (сравнительно с винной монополией) грошей для казны и ради нашего подленького удовольствия.

Скверно.

Скверно стало дело.

Нужно ждать окончательного и безисключительного Царского: «Пове-леваю *вовсе не пить*».

Мы, людишки, схитрим. Только Царь видит прямой и великий путь.

И пожалеет он свой народ.

И не даст зародиться язвящей социальной разнице («одни пьют», «другие не пьют»).

Уже появляются статейки о какой-то пошлой готеборгской системе «не пить» (с урезочками). Когда не понимают, что русский народ никогда «урезочек» не примет, – а ему – «пить» или – «не пить». Когда русская система

или русский случай и вообще «даровал Бог» – вышел превосходнее всего, вышел неслыханно.

И мы обязаны совестью, образованные классы совестью перед крестьянством обязаны умолить Государя Императора дать после двух рескриптов – третий и последний: «Повелеваю вовсе не пить».

Тогда разговоры и хитрости кончатся.

ЕЩЕ О «ПИТИИ»

Удивительный был способ двух мудрых графов, Витте и Коковцова, брать деньги с народа:

- 1) Брать рубль себе и *рубль на ветер*.
- 2) Рубль в казну и *рубль на праздность!*..

Народ не только 800 миллионов уплачивал ежегодно в казну: он еще сверх этого выкидывал вон из кармана тоже 800 миллионов, недополучая их на той работе, какую мог бы сработать, и не работал, потому что *это время был пьян*.

Таким образом, винная монополия была удивительно «системою налога», при которой народ уплачивал *вдвое больше, чем сколько получала казна*. Казне на войско и министерства нужно 800 миллионов. Ну и скажи: «Подай 800 миллионов». – Нет, казна церемонилась, хитрила и говорила: «Я ничего не беру, а только ты имей удовольствие! Погуляй немножечко!» – Нечего делать, народ «гулял». Но при этом не только платил за водку, но и *прогуливал работу!* – Вот этой-то «прогулянной работы» вовсе не нужно было казне! Не нужно было вовсе *лишних 800 миллионов*, которые казне не попадали, а выбрасывались на ветер.

Два графа плакались: «Откуда же мы будем брать деньги на содержание государства, *если народ не станет пить???*» Удивительное рассуждение! Да бери полной горстью из того кармана, в котором за упразднением «пития» сейчас сохраняется *лишних один миллиард шестьсот миллионов чистоганом*. Так и бери прямо двумя горстями деньги, которых *поистине слишком много!!!*

На 1) прибавке работы и 2) отсутствии «пития» (считаю один *налог казне*) народ удерживает каждый день у себя в кармане *4 585 651 рубль!!* А прибавляя сюда и стоимость материала водки и производства водки, народ теперь *ежедневно сохраняет до восьми миллионов рублей в кармане*. Я думал, что от прекращения проклятого «пития» народ начнет *заметно богаче*ть года через 2–3. Но, оказывается, он уже сейчас богатеет, – применительно к крошечному бюджету бедняка! Поистине, Царь «обул и одел» бедноту августовским распоряжением. Мне в *сентябре* пришлось выслушать рассказ «совсем со стороны»:

– У нас, на Путиловском заводе, есть последние рабочие, глупые и ничего не умеющие. Им нельзя ничего умного поручить. Пропорционально

они и получают гроши. Они всегда были пьяны и ходили, как хулиганы, босые и оборванные. Так верите ли: эти-то босяки теперь все и одеты, в сапогах. И так как они питаются Бог знает чем, то говорят смеясь: «Не знаем, куда денег девать!! Не на что тратить».

Не могу передать радости услышать это. Да это всякий поймет. Мы, образованные люди, сразу удесятерились в энергии, ибо воочию стало перед нами спасение народа, – и как же не кинуться в работу, видя таковое! Ведь бывалое зрелище в воскресенье, как люди стоят гуськом на улице, ожидая открытия «монополии», – с понурыми головами, тоскливым взглядом, худыми испитыми лицами, – это зрелище гасило всякую энергию, всякую надежду у образованного человека... Гасило надежду на книгу, на школу, на живое слово... Поистине, мы, образованные люди, были так же несчастны, как сам несчастный пьющий народ. И Русь была не «Святая», а – «пьяная»...

Мы-то, мы, образованные люди, вовсе непьющие, воскресли благодаря прекращению окаянного «пития». Если Бог даст совершенно прекратить «питие», – если Государь прозрит все «оговорочки» и «подтасовочки» и *одолеет* «питие» во всех его даже «поползновениях» (суть героизма) – Царство Его будет благословенно и никогда не умрет в тысячелетней памяти истории как величайшего социального и религиозно-нравственного реформатора. Он облагородит «без рассуждений» свой народ. Он один и единым решением даст ему больше, чем сколько дали все школы и сколько даст вся литература. Положит больше в суму ему, чем все экономические реформы, чем социальные утопии и мечты. Великое историческое, от стен Кремля потекшее – «Быть по сему» *докажет себя. И против* этого доказательства никто не возразит.

Вся наша старая история, – трудного и страдальческого накопления Царской власти – станет в Свете и Силе, в Смысле и Добре. Вдруг все озолотится... И как старым добрым серебром покроются башенки московские. Поистине перекрестятся в усыпальницах все цари «до нас»... «Ну, вот, мы же знали, *для чего* копим власть... Мы это смутно чувствовали, что придет час, когда нужно будет все царство поворотить на «другой румб», и тогда с большой-то силой после нас кто-то поворотит. А без большой силы корабль будет все биться, все шлепаться, и разрушится, и разобьется. Потому что было *некому его поворотить*».

И цари оправдаются в своей суровости. А народ объяснится в своем долготерпении.

Господа, а еще: ведь *время оставшееся* и *энергия накопленная* пойдут на что-то благородное. Ей-ей, мы восстановим турниры или что подобное. Появятся народные певцы, и мы их будем народно слушать. Мы во всем облагородимся. Водка разъедала кровь народную, пиво – еще сквернейшее водки – разжижало ее. Кровь-то в нас соберется, кровь уцелеет. Мы будем благороднее, чище любить. Господь даст – падет и проституция, это хулиганство и помой пола. Больше будет влюбленности в общество, – влюблен-

ность разовьется розовою краской на щеках народных. Право же, если не появятся рыцари, то появится нечто рыцарственное в нравах, в обращении, в приемах говорить и вести себя. Появится старый погибший культ «прекрасной дамы»... Ей-ей, господа: Реймский собор, вещественно разрушенный, невещественно вновь подымется среди нас... И мы услышим и музыку, и молитву.

«ТОЛЬКО НА ВЫНОС»

Советом Министров решено допустить с 1 ноября открытие торговли пивом «только на вынос» и не более как «в одной десятой части существующих заведений», причем эти заведения будут поставлены «каждое под надзор чинов акцизного ведомства». Отеческое попечение о трезвости акцизного ведомства всем и давно известно, и все помнят, как оное ведомство всячески воздерживало народ от питья крепких напитков, отвлекая его в сторону зрелищ, театра и других культурных удовольствий. Но, странным образом, так выходило, что ведомство все отрезвляло и отрезвляло, а население все напивалось и пропивалось. Вчитываясь в мотивировку постановления Совета Министров, мы так и чувствуем в тоне ее что-то извиняющееся и оправдывающееся, — да иным тоном и не приходится говорить ввиду ясно высказанной Высочайшей воли о полном прекращении винной монополии и *после окончания войны*. В телеграмме на имя великого князя Константина Константиновича принцип всероссийского отрезвления высказан так бесповоротно и ясно, озабоченность полною трезвостью населения так очевидна, — что, казалось бы, помощникам и сотрудникам в лице гг. министров оставалось только исполнять и исполнять Высочайшую волю, так обрадовавшую все население, доводить ее «до точки» и закреплять «гвоздочками» мелких и подробных постановлений, мелких и подробных мероприятий поистине великое и поистине государственное решение. Так это и ожидалось... Но «питье», — не очень крепкое, а «с разбавочкой», и всего только «на вынос» — осталось... Главноуправляющие и третьестепенные агенты отеческого ведомства уйти-то ушли, но оставили ма-ле-нь-ку-ю щелочку в двери, даже без видимого просвета, а только в щелочку все-таки «продувает»... И несется через щелочку все-таки винный запах, который будет дурманить весьма ослабевшие нервы населения. Ну, а уж когда населению «очень хочется», то оно хоть ползком, а доползет до двери и еще немного ее приотворит. Время — лукаво, и время терпеливо. Кто-то думает и кто считает и рассчитывает, что фанатизм трезвости с войною пройдет, — послышатся другие слова, другие «приговоры» населения и учреждений, и Русь опять будет «веселие пити»... Русь нетрезвая сопернику не страшна. Ну, а у Руси слишком много соперников, у русского населения слишком много конкурентов на почве промышленности, торговли, всяческого труда и всех ремесл, чтобы не упало сердце у миллионов людей при повороте *русского* народа к трезвости... И иност-

ранцам, и всяким «колонистам» эта трезвость угрожала приостановкой всякого «наступления» и даже грозила необходимостью «отступить». Ну, а кто же в борьбе не пытается удержать «занятых позиций»? В них, по-видимому, и скрыт корень дела. А то почему бы не исполнить волю Государя и не о вине, и не о пиве, а о *трезвости* – вполне и *подробно*.

Ничто так не утешает человеческого существования, как прекрасные рассуждения и высокая добродетель. Не нужно представлять себе министров сухими людьми. «Допущение продажи пива основано на том соображении, – говорится в изложении мотивов не вовсе притворить дверь за собою, – что при полном воспрещении продажи хлебного вина, *считаясь с привычками населения*, приходится предоставить ему возможность потребления наименее вредного из спиртных напитков, – тем более что в противном случае имелись бы основания опасаться, как показывает опыт, усиленного распространения потребления всевозможных вредных для здоровья суррогатов спиртных напитков, вроде денатурированного спирта, эфиров и т. п.».

Рассуждение, можно сказать, совершенно семейного тона и от которого уже не пахнет ни канцелярией, ни департаментом. Между тем писалось-то оно в департаменте и, можно сказать, выражает коллективный вздох министров о «привычках бедного населения». На самом деле если государство будет действовать «по привычкам населения», то оно ничего никогда не сделает, и ему придется растрворить все двери. «Привычки» бывают пакостные, «привычки» бывают болезненные; что ответило бы правительство, если бы призванный из «запаса» сказал: «Я *привык* не воевать – и позвольте мне оставаться вне военной службы»? Все приведенное рассуждение чисто бытового и семейного характера совершенно не вяжется с серьезным и величественным представлением государства, которое знает «добро» и «зло», «правое» и «левое» и вовсе не имеет дела ни с какими «привычками», *в сущности, очень немногих и совершенно выродившихся лиц*, которые, будучи споены «монополией», уже физически погибли, не имеют себе никакого исцеления, и их ожидает тот конец, который ожидает каждого больного. Оставлять *в целой России* пиво ради нескольких лиц, рвущихся к денатурированному спирту, – это и значит в дальнейшем плодить таких же несчастных. Нет, избави нас Бог от такого сердоболія, – и поменьше бы нам слушать из департамента таких семейственных речей. Государство есть государство. Оно – сухо, и спасает народ, и помогает народу деловитым образом, перерабатывая великие мысли в железные учреждения и «неукоснительные» мероприятия.

Совету Министров и предлежало принять ряд спасительных мер, воспользовавшись великим и *всеобщим* энтузиазмом к полному «непитию». С 19 августа и по сей день было выражено столько сочувствия к трезвому виду всей страны, это сочувствие было столь *всеобщим*, оно до того поддерживало Россию в великом труде войны, – что, казалось бы, невозможно не использовать этого великого подъема духа. Ведь *подобного* случая уже никогда не повторится для всеобщего движения к трезвости. Война была

страшно трудна. Все почувствовали потребность собрать все силы. Поистине, «народ перекрестился», – когда грянула война, – этим «отречением от вина». И вдруг Совет Министров как бы парализует этот «святой крест», возлагаемый на себя всем народом. Какая минута! Какое странное решение! Зачем оно?

«Конечно, отнюдь нельзя усматривать в приведенном решении о допущении продажи пива каких-либо фискальных целей, – говорится далее в изложении мотивов. – Ибо с воследованием Высочайших предначертаний *о борьбе с нетрезвостью* – казна навсегда отказалась от спиртных напитков как источника усиления своих ресурсов». Таким образом, Совет Министров сам формулирует предначертания Государя как «борьбу с нетрезвостью», а не специфически борьбу против одного только вина. В таком случае совершенно непостижимо, каким образом Совет Министров предложил со своей стороны «пивную нетрезвость»? Ведь те больные, что тянутся к денатурированному спирту, тянутся именно к *опьянению* себя, чем бы им ни опьяниться. И очевидно, всеми способами и через все лазейки они будут напиваться именно «*допьяна*», – пивом ли, чем ли, дорогим или дешевым пивом, – таща и жалованье, и заработную плату, и последнее женينو платье, лишь бы «добыть влаги, от которой *пьян буду*», – буду пьян *старым русским пьянством*.

Да. Расколодили Русь гг. министры. Был жар – и не стало его.

ИЗ НУЖНЫХ СОВЕТОВ И ПИСЕМ

И мысли, и писания наши должны нынче течь «по-военному», т. е. без предисловий и заключений, а прямо «к делу». Я выслушал чрезвычайно полезный полусовет, полууказание одной живущей по замужеству в Петрограде помещицы Самарской губернии, который передаю, как он был сказан мне:

– К чему эта медлительность, и волокита, и дороговизна, и, наконец, полугодящийся материал в заготовке для армии шерстяных чулок, варежек и шарфов, когда все это *есть уже готовое* или может быть изготовлено *в одну неделю*. Я хорошо знаю, что у нас в Самарской, Саратовской и Астраханской губерниях нет крестьянской избы, где бы не хранилось двух-трех пар всего этого в сундуке. Что значит *любительское* петроградское вязанье, вязанье из дурной шерсти, закупленной в Гостином дворе, и закупленной по тройной цене сравнительно с тем, сколько шерсть стоит в деревнях, сравнительно с крестьянским вековым, привычным, умелым и быстрым вязаньем, – из своей родной, прекрасной и нетрепаной шерсти. Стремление к пожертвованию сильно и в деревнях, как в городах. Крестьянки с радостью отдали бы и даром эти запасы уже изготовленного у них. А если бы прибавить и маленькую цену за эти вещи, то какая была бы это помощь семьям запасных! Ведь вещи-то и вязались для мужей, для сыновей, – но за быстрой мобилизации не были захвачены из дому. Крестьяне будут толь-

ко рады, что вещи и пойдут куда надо, и даже тем именно, для кого они готовились. А если приказать и еще изготовить *по три пары с каждой избы*, — то вся армия будет вмиг одета. И этих крестьянских вещей вы не увидите перепроданными обратно потихоньку в лавки, как сплошь и рядом случается с дамскими вязаньями: потому что крестьянами связанные вещи и носить-то умеют и любят только крестьяне, т. е. те же солдаты. Но только все это надо сделать разом и быстро, — подобно тому как в три дня были уже по всей России, по отдаленнейшим селам, закрыты винные лавки. Нужно сделать быстрым Царским повелением, быстрым правительственным повелением или распоряжением от земского союза русских городов.

Мысль прекрасная, простая, ясная. Она прибавила:

— Я знаю хорошо свою губернию и соседние с нею. Но уверена, что и в других русских губерниях подобные домашние запасы шерстяных вещей есть.

Не исполнить ли это? Не прибегнуть ли к этому? Мне здесь нравится и форма «приказа». — «Не рассуждай и делай». Все должно быть «по-военному» в военное время. И сам народ любит и уважает это быстрое и энергичное распоряжение около себя.

Жалко, что не пришло никому раньше этого на ум. Но и теперь — не опоздало. Ведь «вяжут»... А есть — «связанное». Спросим его, возьмем его, купим по дешевле цене. Денежка эта хорошая — она в деревню пойдет.

* * *

Еще два письма «к *сейчас*». Из Москвы.

«Прошу позволения побеспокоить вас. В настоящее время говорят и пишут о славянстве, о выпавшей на его долю тяжелой борьбе с германизмом. Желая пополнить познания о славянстве, когда-то приобретенные на школьной скамье, — иду в городские библиотеки, — «Грибоедовскую» и «Тургеневскую», — спрашиваю «Всеславянство» Н. П. Аксакова, Флоренского — «Столп и утверждение истины», «Грюнвальденский бой», труды Хрущева, Сокольников, «Греко-славянский мир» Ламанского, «Заветы Скобелева славянам и отзывы его о немцах» Апушкина, маленький томик стихотворений Хомякова (цена 20 к.). Заведующие библиотеками говорят: «У нас нет книг по *славянскому* вопросу», говорят без смущения, как будто так и должно быть. Слишком заражены космополитизмом наши библиотекари, чем и объясняется отсутствие в библиотеках книг по славянскому вопросу. Правда, на днях профессор князь Трубецкой в зале Политехнического музея на собрании Московского религиозно-философского общества предостерегал своих слушателей от космополитизма, — но господа, выдающие книги населению Москвы, фанатично считают себя авторитетнее всех авторитетов. Они находят, что сейчас хорошо прочесть брошюру «Человеческая бойня» Вильгельма Ламспуса, — поэтому пишут заглавие этой брошюры на особой красной бумажке и приклеивают последнюю на видном месте. Чтобы дать понятие вообще о войне и какие войны называются «бойней», на этой

же бумажке имеются заглавия и других книг: «Об отечественной войне 1812 года», «О турецкой войне», «О японской войне», «Четыре дня» Гаршина. По мнению библиотекарей Москвы, прочесть Ламспуса сейчас настоятельно необходимо; прочесть же сочинения Киреевских или «Славянское горе» Амфитеатрова и знать, как пророчески предсказал Скобелев неизбежность борьбы славянства с германизмом, – все это, по мнению московских библиотекарей, – не важно, не нужно, отстало, реакционно. Не найдете ли возможным обратить внимание общества и власти на то, чтобы все библиотеки в России (подчеркнуто в письме. – В. Р.) обзавелись литературой по славянству. С почтительностью Гавриил Ш. Москва, 2-я Мещанская ул., д. Солодовникова».

Да. Темно в наших библиотеках. Боже, как темно. Давно пора поднять занавеску и приоткрыть окно. Не хочется винить бедных библиотекарей: ведь на крошечном жалованье, лишь кое-чему выученные, они только и света видят что в сочинениях своего Д. И. Писарева. Об этом горе, о засорении городских читален только порнографией и только радикализмом, надо подумать городским самоуправлением. Жалоба хороша и важна тем, что она идет, судя по слогу письма, – от обывателя, из толщи городской.

Он упоминает о братьях Киреевских и о двадцатикопеечном томике стихотворений А. С. Хомякова. Именно о последнем я тоже получил третьего дня письмо:

«Напомните читателям творения Хомякова, как будто для сего дня написанные: 1) «Внимайте голос истребления», ода 1832 года; «Суд Божий», 1854 года; «Richtterspruch – Richterspruch»*, 1841 года; «Россия», 1854 г.; «Раскаявшаяся Россия», 1854 года. – Я эти стихотворения давно, с балканской войны 1877 года, читаю и перечитываю, – и удивляюсь, что настоящие писатели не вспомнят нашего славянского поэта».

Пишет образованная женщина, мать четырех сынов, дерущихся на войне. В письме характерная приписка: «Лежу больная; только что окрестила внука, отец которого сейчас в бою под Варшавой, – жду всего худшего».

Да сохранит Бог и жизнь молодого человека, и сердце матери и бабушки. Сколько-то таких сейчас, для которых трепетен всякий час, страшно каждое утро – когда берется в руки газетный лист со списком «раненых и убитых».

Господа, ради их трепета – позволим себе этот год не быть «космополитами». Сегодня наш «мир» есть наше отечество.

ВРАЧ ИЛИ БОЛЬНОЙ?

А водочка все-таки манит, а водочка все-таки помнится. Это – одна линия протестов, возмущения, ярости против радостного движения против водки. Другая линия – «Как же можно лишиться таких доходов! Помилуйте, да тут *народ работает*, – и вы пускаете по миру рабочих!! Рабочих-то, сирот, бедняков: да *кто же* вам позволит их *обижать и лишать*

* «Приговор рыцаря – приговор судьи» (нем.).

насущенного хлеба». Так плачутся толстосумы-богатеи о горестной судьбе мелкого люда. И третья линия возражений самая непонятная и могущая быть объясненной только душевной болезнью, только «расстройством мысли», как есть другие болезни, сопровождающиеся «косой походкой» или выпадением из речи некоторых слов или букв, звуков. Это – «наши ученые» и, к удивлению, – врачи! Мне говорили о целой группе врачей в Петрограде, не решающихся выступить в печати, но которые могущественно и сплоченно агитируют устно «где следует»... Так как их устные речи, где «выпадение букв» не очень заметно за шепелявостью или скороговоркой, может быть, действуют, да, по-видимому, и в самом деле – действуют, – то в высшей степени важно показать всей России, что это за господа. Я поставлен в счастливое положение этой возможности и поделяюсь с читателями радостью прочесть следующие два письма не только врача, но и скоро имеющего занять кафедру по диагностике болезней в петроградской Военно-медицинской академии. Об этой «кафедре» не только он сообщает в конце 2-го письма, но и о нем сообщали мне, что лицо, подписавшееся «врачом-терапевтом» в письме ко мне, – есть кандидат на кафедру, что это человек абсолютно трезвый, прекрасно настроенный христианин, но едва ли не поврежденный некоторым тихим повреждением...

Впрочем, пусть за себя говорят сами письма:

«Г-ну В. Розанову. Преступно курить фимиам злу от невежества. Алкоголь не яд, если пользоваться им благоразумно...»

Если «благоразумно» – то и опиум не яд, и *cannabis indica* не яд, и даже «не вредны» хирургические инструменты. Но пустить все это не в медицинскую продажу, а в народную торговлю, сделать все это свободно-употребительным и народно-употребительным – может предложить только злодей народа.

«Тогда, по вашей логике и подобных вам, следует изъять из фармакологии все яды и, наконец, многие из пищевых продуктов, при известных условиях также ядовитых. Если невежественные, темные кликуши, вроде Челышева, говорят глупости, – и при глупости, поспешности, незнании проходят в дело, то мне кажется, что и для «Нового Времени» зорно было бы печатать ваши вирши. Оно и так уже служит синонимом лакейничанья, подхалимства... Стыдно. Рекомендую прочесть книжку д-ра Конст. Конст. Толстого относительно алкоголя. Последний вовсе не яд, а прекрасное терапевтическое средство. Мне, как врачу, известны случаи излечения многих болезней, особенно на нервной почве, когда методическими приемами водки больные совершенно излечивались. Не говоря о том, что водка и вообще хорошие крепкие напитки – прекрасное питательное вещество и для многих положительно необходимо. Неужели не знаете, что «пить дешевле, чем хорошо питаться»?

...Да, но всего дешевле – повеситься. Не пойти ли всем по этому «дешевому пути»?

«Ведь если определить ежедневную стоимость правильного человеческого питания, то оно выразится 5 – 6 рублей в день».

Я и семья моя довольно правильно «питаемся», и при одиннадцати человеках «питающихся» ежемесячно выходит около 220 рублей, т. е. менее рубля на человека (160 р. мясная и зеленная лавки, 22 р. молоко, 14 р. белый хлеб, остальное – чай, сахар, кофе, фрукты, варенье, мед, конфеты).

«Вас удивляет потому, что замаскированное голодание (дело не в количестве пищи, а в разнообразии) применяется большинством. Привыкли. Можно питаться сеном и овсом, как животные; результаты будут прекрасные!! Недаром Карл Фохт (физиолог) сказал: «Что человек ест, то он и есть». Спрашивается, чего хотите вы?»

– Ни овса, ни сена, ни водки.

«Результаты, впрочем, налицо: все больницы переполнены от болезней вследствие лишения алкоголя. Вспомните людей, ушедших в бой... Едва волочат ноги. Холодно, голодно, а согреться нечем... А рядом (враги) – пьют, едят, веселы. Сегодня услышал от больного солдата (раненого): «Немцы пьют и бьют, а наши не пьют, но зато их здорово, здорово бьют». Прибавлять к этому нечего.

Врач-терапевт».

Я подивился. Письмо было мною получено 18 октября, и я упомянул о нем в печати, несколько не доверяя внутренне подписи под ним. Мне казалось это недопустимым в *размышляющем* враче, в человеке университетского образования, с известными приемами мышления, рассуждения и *доказательства*, не ниже определенного уровня. К удивлению, я получил сообщение от совершенно незнакомого мне лица, что этот «врач-терапевт» есть действительное лицо, с высокими нравственными качествами, с большим весом в медицине, и что около него группируются другие врачи, а сам он вскоре займет кафедру в здешней Военно-медицинской академии. А дня четыре спустя после этого сообщения получил вторичное от него письмо, еще красивее предыдущего. Он придирается к выражению моей статьи, что Россия «не будет царством зеленого змия».

«Г-ну Розанову. Дай Бог, чтобы желание ваше исполнилось. Я так же, как теперь, так и раньше, – страстно желал, чтобы не только Русь, а и весь мир избавились бы от змия. Какого цвета этот змий – не знаю, ибо никогда не случалось видеть его. Если утверждаете авторитетно, что – зеленый, то пусть будет – зеленый. Дело не в цвете. Вы (в собирательном смысле этого слова) привыкли свое зрение исправлять на цвета, и в этих цветах, по вашему (собирательно!!) мнению, заключается вся космогония: – физиология, психология и т. д. Словом, простите за

резкость, вы все, воспитанные на бутафориях, ничего не знаете, да и не хотите знать, хотя у каждого из вас на языке – любовь к истине. Но скажи вам истину (в душе-то все-таки способность к восприятию ее не заглохла), и вы подниметесь на дыбы. Вспомните так вам всем в душе ненавистного – Христа, какую злобу, ненависть вызвал Он у людей, гонявшихся за цветами (колерами). Факты мировые свидетельствуют о жалком, унижительно жалком положении всего человечества. Причина – в поклонении змию-дьяволу, – отцу лжи. А вы лепечете о пиве и водке. Живя в таком омуте с вами (опять собирательно), каждому здравомыслящему человеку становится до такой степени тошно, что поневоле захочется выпить рюмочку водки... «Поневоле запьешь», – говорит почти ваш же Гоголь, – когда видишь кругом свиные рыла». Стало быть, и Гоголю было невозможно жить в ваших зверинцах, в вашей пошлой, мещанской, зараженной ложью и тупоумием среде. Даже вашим кумирам – притворителю вроде паяца Вл. Соловьева и «великому мыслителю земли русской» Л. Н. Толстому становилось тошно. Начудили оба немало... Нельзя без смеху вспомнить обоих забавников-лицедеев. Помните позировавшего перед фотографиями и разными мазилками (тоже ваши «великие»!) Толстого босиком? Не шут ли он гороховый? А эти ваши великие – Шаляпины и проч., кривляющиеся и орущие благим матом на разных подмостках? Все это эксплуататоры человеческой глупости... Я думаю, что некоторые из них (если не все) в душе смеются над вами, презирая. Много лет тому назад мне пришлось беседовать на эту тему с вашим «великим шарманщиком» Рубинштейном. И я вынес это убеждение. Да это вполне естественно. Скажите по совести, как *относитесь вы, г. Розанов*, к читателям (сочувствующим) ваших писаний? «Пишу, – думаете вы, всякую ерунду, прямо-таки бессмыслицу, а они, дураки, разевают рты и платят даже деньги». Ведь так? Ну, довольно. Противно. До боли жалко ничтожных людишек, а помочь не могу. Желал бы торжества разума, а тут ваше приниженное поклонение змию. Да, опутал змий, и не скоро человечество освободится от него. Кто змиепоклонники – решайте себе на здоровье с вашими читателями. Могу сообщить, что в недалеком будущем займу профессорскую кафедру (по диагностике и общей терапии). Клинический материал, проверенный лабораторно, даст, не сомневаюсь, яркую картину, подтверждающую мое наблюдение на случайных больных. (О чем уже сообщал вам.)

Врач-терапевт.

Р. С. Прочтите статью глубокоуважаемого мною К. К. Толстого!»

Прибавлять к письму нечего. Автор может сказать со многими: «*Mon verre est petit, mais je bois dans mon verre*»*.

* Мой бокал невелик, но я пью из моего бокала (фр.).

Ну-ка, матушка Русь, – говори!

«М. Г. Жены своих пьяниц-мужей и все здравомыслящие люди приносят вам сердечную благодарность за статьи о вине».

И как радостно писать в пользу «женам пьяных мужей». Не совсем люблю я печатать, но иногда чувствуешь счастье держать перо в руках.

Нет, господа: ни вино, ни пиво, ни ваши чернильницы нас не одолеют. *Пьянства больше не будет на Руси.*

КРИТИЧЕСКИЕ ЗАМЕТКИ

«Вешние Воды. Научно-литературно-художественный студенческий журнал». Год первый. Петроград, 1914. Выпуск октябрь – ноябрь.

Сотрудники – студенты и курсистки. «Чего это стоит?» – может спросить скептически читатель. На это можно ответить: «А чего стоят *Записки Дьяконовой* («Дневник» ее, за время прохождения петербургских Бестужевских курсов), – вышедшие уже 4-м изданием и составляющие одну из самых свежих русских книг конца XIX века?» Указание на Дьяконову – все разрешает. «Студенческая литература» или «студенческая письменность» может быть глубоко интересной, наконец даже – значительной, если студенты и курсистки не будут повторять, подражать и вообще быть «не я», а упорно и настойчиво «останутся *собой*». Тогда с волнением, с негодованием, а случится – и с затаенною любовью, на них оглянется и «большая зрелая литература».

Студенты и курсистки – это наше «завтра». Кому же это не интересно? Разумеется, – всем интересно. К сожалению, и студенты, и курсистки у нас «захватаны» и отчасти «захвачены», как плохо положенная и никому не принадлежащая вещь. Отношение к ним – чисто бездушное. В них не видят «я», а ищут в них «своего». «Мои мысли», «мои убеждения», «наша партия», – насколько-то вы, молодые люди, все это «принимаете»? И если курсистки и студенты «принимают» это *чужое* и отрекаются от своего «я», – их тоже «принимают», «усаживают» в передних рядах литературного партера и поют – «славу». Но, Боже мой, если они останутся «собой» – их проклянут.

О «Вешних Водах» за первый год их существования можно сказать, что они ничего пока интересного не выявили, но заявили решительное стремление быть «собой», а не «чужою вещью». Вот страница в октябрьско-ноябрьской книжке, «О современном писательстве», которую можно читать как *программу* журнала. Статья написана в виде диалога:

«— Доказывать их убожество (современных писателей) не приходится... Но что всего удивительнее, так это наша публика, наша, с позволения сказать, — *интеллигенция*, которая является главным и единственным потребителем этого хлама... Народ, наш русский народ, тот несоизмеримо более чуток к правде, в широком смысле этого слова, — и одним взглядом своим чутко определяет, что перед его глазами — гниль или — здоровье. Я как-то пробовал давать простолподинам читать книжки современных «писателей», наиболее ярких и «цельных». И что же? Книжки мне возвращались довольно быстро, дня через три-четыре. Возьмут, перелистают первые страницы, пройдутся метким словом насчет замысловатого рисунка на обложке и отложат в сторону. — «Скучно», — говорят. И это — не случайность; даже больше: подобное *пренебрежительное* отношение к современным корифеям пера наблюдается ныне и слою повыше. В некоторых петроградских семьях, где, помню, раньше буквально упивались Лазаревскими, Не-Буквами, Муй-желями, Ценскими, — ныне о них даже не вспоминают. Из архива извлекаются запыленные — Тургенев, Данилевский, Лесков, Достоевский. С горячим увлечением читают этих титанов мысли и слова, — читают и удивляются силе и красоте «Дыма», «Накануне», «Соборян», «Черного года», «Преступления и наказания».

— Пятимся назад?

— Да, если хотите, пятимся назад. Но этот возврат к прошлому не зазорен, не роняет нас ни на йоту, не омрачает наш «образованный горизонт» ни тенью ретроградства или «затхлого консерватизма». Наоборот — данное, чрезвычайно характерное для нашего времени явление служит ярким и весьма красноречивым доказательством того, что мы — *интеллигентная Россия* (курс. статьи. — В. Р.), начинаем нравственно возрождаться, начинаем сбрасывать с себя *так ловко когда-то накинутую на нас пеструю ветوشь слепого преклонения перед всем безличным* (мой курсив. — В. Р.). Канканирующему декадансу, истерическому космополитизму, архипошлейшему модернизму и прочим подосунутым нам со стороны антинациональным «измам» пришел конец. *Все это наносно, все это глубоко чуждо русской душе* (мой курсив). И как ей, поистине многострадальной, ни *прививали* (мой курс.) самооплевание, кошунство, половую разнузданность, — как ей ни *внушали*, что она, во имя мировых принципов равенства и свободы, *должна* (курс. статьи) восхвалять политиканствующее бунтарство, должна проповедовать хулиганскую философию, как ей ни вдалбливали все эти новейшие продукты передовой цивилизации, как ни усиливались привить ей идеологию братоубийцы Каина, — увы, из этого не вышло ничего, почти ничего. Русская душа, широкая, стихийная и вольная, как мысль, — гордая, прекрасная и чистая, как любовь, — одним могучим взмахом своего мятущегося духа свела на нет крохоборов, оскорбителей русского слова и мысли славянской... *Почти* — ничего, — ибо то, что «вышло», ныне без следа утонуло, вместе с субботными слугами, в хаос косноязычия и половых проблем.

– Да, но идти вперед все-таки нужно!..
– И мы пойдем, – только пойдем уже не на помочах.
– Значит, мы, по-вашему, переживаем «писательский кризис»?..
– Пожалуй... Писатели с русской душою, писатели школы Тургенева, Лескова, Достоевского всегда жили, правда в незначительном количестве (курс. статьи), – но их побивали камнями, вокруг их имени сплетали прочные тенета лжи и предубеждения. С каждым днем силуэты их ныне все ярче и ярче вырисовываются на фоне выздоравливающей жизни наших дней. Лучи подлинно русской литературы уже озаряют горизонт, и недолго осталось до того момента, когда *русская красота* (курс. статьи), разливая вокруг себя гармонию правды и любви, вновь ослепительно засверкает и вновь до основания потрясет весь мир, наследницей которого она является... И жизнь будет проще, чище, – жизнь, поверьте, будет красивее!..

– Да, но... с тех пор, как умер ребби Меир, исчезли слагатели притчей, – сокрушенно вздохнет читатель, – с тех пор, как умер Бен-Азай, нет более прилежных...

– Что же делать, что же делать?! Вы все-таки посоветуйтесь с Левиным из «Речи», – он, может быть, утешит вас в этом....»

Для *студенчества* – это совершенно новый тон слова и ход мыслей. Для общей же литературы хотя сказанное и не ново, – но сказано очень хорошо, полно и ярко. Что же, господа, – выгребайтесь!

Дружно гребите во имя Прекрасного
Против течения.

Вам должна помочь и общая литература, и целое русское общество, – заботою, вниманием. Издатели журнала – студент Вяч. Игнатович и курсистка А. Спасовская, адрес редакции – Петроград, 7-я Рождественская улица, д. 4, кв. 13, телефон 67–74. Эпиграфом к журналу поставлены слова Пушкина: «Дорогою свободной – иди, куда влечет тебя свободный ум». Главная задача журнала – «отражать на своих страницах *жизнь, думы и творчество русских студентов*». Цена годовая 4 руб. Это – решительно интересно и – решительно может быть поддержано. Один совет: по переписке, бывавшей у меня с некоторыми студентами и курсистками, я *определенно* знаю, что там бродят мысли очень значительные и сказывающиеся местами с замечательною силою и огнем. На страницах «Вешних Вод» я таких мыслей и слов не нашел. Отчего? Редакторы, явно, недостаточно деятельно ищут и зорко смотрят. Они не смотрят по затененным уголкам студенчества, где сидят молчаливые, не высказывающиеся в печати фигуры. «Писатель» – не всякий, кто пишет; но и не всякий, кто молчит пока, – не писатель. Нужно кой-кого пробудить и вызвать к слову. Нужно широко развить при «Вешних Водах» отдел *писем в редакцию*, – где под скромной формой «письма» могли бы появиться целые статьи, исповеди, развития

своего взгляда на вещи, на события, на лица. «Сложившееся» или «зреющее убеждение» – ценная вещь. Конечно, в студенчестве происходит уже теперь *огромная работа*, – и если бы «Вешние Воды» выявили ее, это была бы ценная заслуга вообще в обществе, вообще в литературе. Ведь *не без причины* почему-то Достоевский *выразителей* своих основных идей, своих гениальных слов брал из студентов, из «подростков». «Молодо» не всегда значит «зелено». Между студентами есть и «желторотые», а из курсисток – «желторотихи». Пусть – поговорят. Все возрождается в эти важные дни; впереди всего – пусть возрождается молодежь, говорит – *от себя*, без «чужих слов». Слов чужих и поддельных – не надо. Между прочим, в октябрьско-ноябрьском номере журнала отведено много места обзору студенческих манифестаций в последнем месяце, – народно-патриотического характера. Сами эти манифестации казались каким-то чудом на студенческом фоне, и не одну седую голову, вероятно, заставили произнести: «Ныне отпускаеши, Владыко, – раба Твоего *с миром*». *Народность* университетов – это величайшая *тема времени*. «Поддай, Господи», – скажем словами певчих в литургии; или, пожалуй, по-военному: «Здорово, ребята!»

«ВСЕ ГОРЕ ВЫЛИЛ НА БУМАГЕ»

(Письмо крестьянина о войне и немцах)

«Поскобли русского – и увидишь татарина», – говорят иностранцы. «Да, если мужика не выучить четырем правилам арифметики, – то не отличишь его от лесного зверюшки», – вторят иностранцам русские, выученные «по-иностранному». И все-то сострадают мужику, то как зверюшке, то как хилему и больному, а во всяком случае – малоумному. Между тем, как естественно-то думать, что «скобли» или не скобли его, учи в училище или не учи, он – сын тысячелетней родины и двутысячелетней церкви, с теми отложенными в душе его впечатлениями, заботами, страхами, гневом, яростями, памятками и умилениями, какие не рассеялись в крестьянине от эпох строения и расстройств царства, от Иоаннов, Петра, от разинщины и пугачевщины, от Екатерины и Александров. Не забывает утенок, что тысяча предков его плавали по воде. Забудет ли человек, чем были заняты и о чем страдали и над чем трудились его предки? Крестьянин – не татарин и не зверюшка, а русский гражданин и сын православной церкви. А в этих словах – уже культура. Безграмотный или почти безграмотный русский крестьянин есть вполне культурный человек, – и не местной еврейской газетке его «впервые просвещать»...

Передо мною лежит совершенно безграмотное письмо крестьянина Киевской губернии, пишущего «нэмец» вместо «немец», «слиозы лютца» вместо «слезы льются», «в Кремянчуге, в Риге и в Одессе» вместо «в Кременчуге, в Риге и в Одессе»... Но каким языком и каким духом оно

написано, какая забота у него о всем пространстве отечества, которое «как маты нас родыло» («как мать – родило нас всех»):

«Я крестьянин, искренно любящий сын великой нашей матери России. Господи, не раз посмотришь на этих искалеченных раненых наших воинов, – и не могу себя удержать от рыдания. Как-то неудобно мужчине, а слезы катятся неудержимо. Боже великий, – да разве мы кого трогали! Сколько сирот, сколько калек, сколько безвременно погибших! Господи, кто утрет слезы этих несчастных матерей, сироток и вдов, – кто воспоет героизм безвременно павших?

Кто разорил Бельгию и Польшу? Кто сравнивал цветущие города и деревни с землею? Кто сделал сотни тысяч семей нищими, обездоленными? Кто попрап ногою разбойника законы божеские и человеческие? Кто разбил и осквернил Божии храмы? Кто насильовал беззащитных женщин? Пишу, а слезы льются ручьем и рука дрожит».

Какая сильная, настоящая литература!

« Кто же виновник этого моря крови, слез и народного горя?

Виновник, говорят, Вильгельм, император немецкий. Если это правда, то нет ему кары и нет ему места на земле. Это изверг рода человеческого без души и сердца.

Но мое мнение, кто виноват, – совсем иное. Не Вильгельм виноват, а виноват весь прусско-немецкий народ. Не Вильгельм десятки лет готовился к войне, а немецкий народ, во главе с Вильгельмом. Это сознательные варвары, коварные и бессердечные».

Действительно, – царствование Вильгельма было активным, а не пассивным. Ни немцы не говорили, ни о них никто не может думать, что они страдальчески переносили правление Вильгельма, что у них выжимали налоги на подготовку чудовищной армии и флота, а не сами они принесли в жертву чудовищу милитаризма и излишки свои, и последний талер.

«Кому немцы обязаны своим могуществом? Немцы в России имели большое доверие, и это великая ошибка. Они этим доверием злоупотребили в пользу Германии, а в ущерб России. Вспомните Сан-Стефанский трактат, а ведь мы им не сделали в 1818 году этого. 1865, и 1866, и 1870, и 1871 года, – вот те годы, в которые возросло немецкое могущество. Но мы не обращали внимания. Не мы, а немцы остзейские руководили тогда страной, – фоны и бароны.

В 1882 г. война была неизбежная благодаря нашему незабвенному великому Скобелеву, – но немцы во главе с Бисмарком увильнули с помощью наших немцев. Немецкая партия в России была и есть очень сильная. Еще покойник Скобелев сказал, что от немецкого господства и интриг только войною мы можем избавиться. Мы думали, что наши враги – поляки; но – нет, мы бы давно с братьями-поляками помирились, но благодаря немецким интригам нас до этого не допускали. Словом, немцы – исконные враги славян, не исключая и тех, которые жи-

вут в России. Они только наживаются в России и смотрят все на свой фатерлянд. Вот вам налицо преданность немецких баронов в остзейских губерниях, которых осудили в арестантские роты; да еще много таких есть изменников. Есть и такие, которые имеют громадные имения в России, а сыновья их служат в немецкой армии. А кто осушил болота около Осовецкой крепости? А как отнеслись херсонские колонисты к войне? А особенно в Царстве Польском как они содействовали немцам? Словом, симпатии русских немцев на стороне наших врагов. Кроме того, немцы нас поработили материальным образом. Им давали большие наделы от 60 десятин до 40 десятин на душу. Вдобавок к тому, немцы скупали самые лучшие земли с помощью тайного государственного немецкого банка, — в Херсонской губернии около миллиона десятин земли в немецких руках, шутка ли, — а в других губерниях! Это в общем наберутся десятки миллионов, — это целое государство! Им покровительствовали больше ста лет, и они богатели. А наш бедный мужик стонал и был батраком немецким у себя дома. И вот слава Богу есть у нас закон относительно немцев, — но только в проекте. И вот против этого закона вся коварная неметчина — русская и заграничная — всколыхнулась. Воображаю, сколько она ему преград и интриг поставила. Еврейские газеты у нас забили тревогу, что с уничтожением немецких имений и колоний погибнет сельскохозяйственная культура. Но евреям неудивительно; нам известны их симпатии.

Но вот кому удивительно. В «Русском Слове» я прочел в № 254 статью под заглавием: «Немецкие колонисты в России». Из нее узнаем, что в Петроград выехала депутация крымских общественных деятелей, в составе членов Государственной Думы С. С. Крыма и В. К. Винберга, председателя таврической губернской земской управы Т. Харченко, губернского предводителя дворянства А. А. Нестерова и председателя днепровской земской управы А. М. Колчанова.

Позволительно будет мне, мужику, спросить вас, высокообразованных и занимающих высокие посты и защищающих поработителей миллионеров немцев: известно ли вам, гг. сердобольные защитники сытых немцев, как в 1886 г. сородичи подзащитных наших немцев во главе с Бисмарком выгнали с насиженных мест, выбросили на улицу и буквально разорили 60 тысяч поляков, этих несчастных тружеников, за то только, что они — поляки. Эти наши многострадальные братья славяне. Они вполне заслужили русской задушевной ласки, и вы, наверно, гг. ратующие за немцев, не обратили ни малейшего внимания на шестидесятитысячный вопль. Я уверен, что вы пальцем не пошевелили хотя бы из человеколюбия! Вы скажете: «Это — иностранцы, какое нам дело, а это — наши русскоподданные». Но, позвольте, ведь они без вас сумеют себя защитить: ведь само за себя говорит-то, что они вас подняли на дыбы и заставили броситься в Петроград. Ведь вы бы за бедняков не стали ратовать; ведь это ваши друзья-приятели; ведь в этой местности известно, какие там тузы немцы-колонисты.

А знаете, какими они поприезжали в Россию!

У нас есть за кого ратовать, — за этих защитников, которые защищают наши очаги от нашествия варваров.

Не дай Господи, чтобы нас варвары победили. Они бы нас сделали своими рабами. И эти, за которых вы ратуете, они бы за вас пальцем не шевельнули, потому что их бы сделали изменниками за это.

Всякому русскому видны немецкие подлости, немецкие интриги. В Одессе собирает немецкое общество на немецкий флот; в Кременчуге — тоже; в Риге — тоже. На всяком шагу одна измена, — а тут вон какие доброжелатели нашлись.

Слава Богу, что у кормила стоят настоящие русские столпы, во главе с нашим великим князем Николаем Николаевичем, дай ему Бог много лет здравствовать. Он нашу армию ведет к победам; с Божией помощью — победим. Я солдат 56 лет; если и меня Государь Император потребует на защиту отечества — с охотой пойду, раз маты родыла (sic).

Я, будучи в Сибири ходоком, — видел немецкие дела. Почти все самые лучшие земли в Омском и в Барнаульском уездах в немецких руках. Эти уезды составляют житницу Западной Сибири, там десятина дает до двухсот пудов пшеницы. Все почти кабинетские земли арендуются немцами, и все — на большие сроки и по баснословно дешевым ценам; старые контракты, которые сделаны лет 10 назад, — от 1 руб. до 2 руб. 25 коп.; дороже за десятину — нету, и вот они богатеют. От самого Петропавловска до самого Новониколаевска сплошные варварские колонии. Вблизи железнодорожной магистрали самые лучшие земли, и за бесценок купленные, от 10 р. до 25 руб. за десятину. Теперь цены поднялись до 200 руб. за десятину. Спрашивается, почему все самые лакомые куски попали в варварские руки, а не в русские?»

Это «почему» бьет в голову и около Петрограда: действительно, «лучшие кусочки» земель, хотя бы дачных с хорошим леском, с озером и рыбными ловлями, — все почему-то не у русских, а у инородцев, и большею частью — у немцев.

«А вот почему, — у нас есть много таких господ, которые мало беспокоятся за русский народ, — вроде этих, которые едут в Петроград ратовать за своих друзей немцев — это раз; а во-вторых, что им покровительствуют Берлин и наша высшая администрация. Вот вам — пример; это — факт. В Келецкой губернии губернатор — немец (и ярый), вице-губернатор — тоже, председатель окружного суда — тоже, прокурор — тоже; и жандармский полковник — тоже ярый нэмец (немец. — В. Р.). Вот вам вся высшая администрация пограничной губернии в руках немцев, — от которых зависит судьба губернии. Да их всех не перепишешь на воловьей шкуре. Вот почему у нас немцам-колонистам и живется хорошо. Потому что, что ни сатрап — то немец».

Глубокая отравленность русской администрации немцем — это действительно великое горе. В Петрограде поговаривают: «Для одоления немца *внутри России* нужен решительный и властный человек». До такой

степени многочисленны и главное *сильны* немецкие явные и тайные покровители.

«А тут еще нашлись сердобольные патриоты, – едут ратовать за немцев. Их большинство надо гнать вон. В этой войне причастна вся немота (т. е. вся немецчина, все немцы. Но как для истории языка важно это прямое слово, вырвавшееся у хохла, – «немота», «немые». – В. Р.). Нужно разбить и разъединить, как они были до 1848 г.: по Рейн должны взять Франция и Бельгия: это – заветная мечта французов. А Россия должна взять по реку Одер, с австрийской Силезией. Это искони славянские земли, наполовину онемеченные, в особенности – Померания; да и по Эльбе жили славяне! Крестьянин села Осетняжки, Чигиринского уезда, Киевской губернии И. С. Добролежа, все горе вылил на бумаге».

«КРЕПКИЕ НАПИТКИ» И ПОЖАРЫ

«Где они, *широкие* горизонты, где они, *далекие* перспективы... Везде видишь чиновника и нигде не видишь *государственного человека*...» – так вздыхалось третьего дня при чтении в газетах сообщения о предполагаемом разрешении торговли вином и крепкими напитками. Ну, к «крепким напиткам» будет прибавляться видимо и невидимо и «лечебный алкоголь». И, словом, народный энтузиазм к *полной трезвости* погашен... С замиранием сердца думается, что денежное ведомство еще «укрепит напитки» в момент окончания нынешней войны, и пойдут опять «пьяные зачатия» будущего поколения, которых волна всегда так поднимается сейчас после войн, по всеобщей статистике роста населения. Разница между трезвыми зачатиями и пьяными зачатиями есть почти центр алкогольного вопроса. «Пьяная ночь сегодня» – искорежит, искалечит целую долгую жизнь несчастно-рожденного юноши, несчастно-рожденного отрока... Будет он, бедный, маяться. Характера нет, воля слаба, ничего в руках не держится, все тянется душа к графинчику с «крепкими напитками», из какового выкушал «родитель» его за ужином лет двадцать назад. В Ельце, Орловской губернии, я спросил торговца, отчего так часто сыновья богатых купцов, иногда фабрикантов, разоряют «богатое и крепкое дело», оставленное им родителями? Торговец, мало помолчав, мне ответил: «В нашем быту беспрерывно надо быть трезвым днем, когда человек на виду и к нему приходят подручные за приказаниями. А ночь ему необязательна. Многие купцы поэтому только днем трезвы и имеют молву о себе, что – непьющие. На самом деле они к ночи напиваются. И сыновей рождают, уже в утробе матери, пьяными. Сын, получив наследство, пропивает родительское достояние и родителями начатое торговое или фабричное дело».

Денежное ведомство, конечно, скажет, что до «зачатий» ему дела нет. Чиновнику важно не будущее поколение, а «теперь»... Но «будущее поколение» важно *наследственному Царю* и *наследственному* тоже народу.

Я позволю себе продолжить отзывы из глухой России о вине, пиве и вообще зельных напитках. Только что мною получено в письме, помеченном 14 ноября, указание на связь, которая сразу не бросается в глаза, между вином и пожарами.

Письмо из уездного города Зарайска, Рязанской губернии:

«Вы приняли на себя миссию бороться против водки, вина и пива. Признавая эту борьбу делом величайшей важности, я обращаю ваше внимание на то, что *со времени запрещения водки мы не видели в Зарайске пожаров, не слыхали о пожарах и в уезде* (мой курсив). А между тем *осень – такое время, когда наша деревянная и соломенная Русь больше всего горит* (мой курсив). Осенью собран урожай, его везут на базар, а на базаре, получив денежки, напиваются пьяны, в пьяном виде ходят с папиросками по гумнам и по задворкам. Отсюда и пожары. А в нынешнем году осенью пожаров не было ни в городе, ни в селениях Зарайского уезда, – по крайней мере *ни я и никто из моих знакомых о пожарах не слыхали* (мой курс.). Если это и в других местах так же, то какой громадный капитал сохраняют страховые общества, а также и население, – потому что убытки от пожара всегда превышают страховую премию namного, а иногда и весьма namного.

Пишут о выселении немцев, а у нас здесь две немецкие фабрики работают по-старому. Одна фабрика «Анонимного общества» принадлежит, кажется, швейцарским немцам, а другая принадлежит *прусско-му подданному Редерсу*, отец и братья которого живут в Германии. *Все лучшие дома в Зарайске принадлежат немцам, и никто из русских не живет так богато, как немцы* (курсив везде мой. – В. Р.). Редерс – хозяин фабрики, остался в Зарайске, потому что за него, как говорят, поручился исправник. Но при всей благонадежности Редерса, он *громадные доходы свои все-таки* пересылает в Германию. А мало ли у нас таких Редерсов».

Вообще вопрос, «почему же мы так бедны», «почему Русь так бедна?» – получает разрешение, когда затронули вопрос о немцах в России. О ней можно повторить то, что говорится об угарном мужике, бывшем на чужом пиру: «По усам текло – *в рот не попало*». В заключение письма – характерные строки, отвечающие на вопрос: «Да что же мы, наконец, – *бездарный народ*, что ли?» Автор письма сообщает только что бывший случай из их уездной жизни: попалась на базаре фальшивая трехрублевка. Полицейские власти стали искать, *откуда вышла, кто* кому дал «и так далее», и вот нашли *источник*. «Полиции удалось разыскать подделывателя. Подделывателем оказался крестьянский мальчик села Сенниц, Зарайского уезда, Александр Семенов Горбачев, тринадцати лет, которого я допрашивал, и он мне объяснил, что рисовать стал с шестилетнего возраста; копирует всякие картины, и вся изба их увешана его рисунками. Очевидно, талант, самородок. Не найдется ли кто помочь не заглохнуть этому самородку».

Откликнись, добрая Русь. За всеми сведениями, а также с возможною помощью для этого саморodka прошу обратиться к уездному члену окружного суда города Зарайска, Рязанской губ., Николаю Павловичу Петерсену. Может быть, из мальчика вышел бы великолепный мастер редкого и драгоценного граверного искусства. Да рисование приложимо почти при всякой технике.

КРЕСТЬЯНСТВО О ВИНЕ И НАЛОГАХ

Как редки в истории минуты *народных* подъемов... На *век* приходится 2 – 3 таких, а иногда – и ни одного; а есть народы, у которых и никогда вообще не совершается «народных подъемов»... Например, у Австрии трудно представить себе и, кажется, не было в истории ни разу «народного подъема»... Потому что кому же там «подниматься»? какой такой есть «австрийский народ»?!! Такого «австрийского народа» не было и нет, а есть там немцы, мадьяры, чехи, поляки, русины, молдаваны, «сшитые» в одну лоскутную «австрийскую монархию» императорами, которые друг за другом все были похожи на служилых чиновников... «Народный подъем» может быть не в бюрократическом государстве нового типа, а – в старых царствах и на древних исторических почвах. Вот почему «народному подъему» нельзя не радоваться между прочим, как показателю народного и исторического здоровья.

С первых же дней полной трезвости именно народ подъял на плечи царское решение и твердо понес его вперед. Не было ни единого ни от кого протеста. Протест стыдливо спрятался. Среди обильного в те дни народного движения (мобилизация) говорили столько же о войне, сколько о повсеместном закрытии винных лавок. Говорили простолюдины, ремесленники, крестьяне. Тогда о больных и умерших от «денатурата» (денатурализованный спирт) сурово говорили, народ говорил:

– Туда и дорога...

– Который напивается чем попало, лишь бы быть пьяну, – все равно уже конченный человек...

Простое соображение, не пришедшее на ум сановникам...

Вот крестьянское письмо, мною полученное в те первые дни крепкого государственного решения.

«Мы, крестьяне, не умеем говорить и не умеем писать, да с нами не хотят говорить. Выручаемые деньги от водки мы с радостью будем платить; пусть обложат нас налогом и назовут его «пьяный налог», пусть наложат на нас, на наших жен, дочерей, кухарок, горничных, швейцаров, дворников и проч. и проч. – и мы дадим миллиард (в письме из почтенья к большой сумме – с большой буквы «Миллиард»), лишь бы этого дьявола не продавали. Мы будем здоровы и богаты, в противном случае Русь погибнет».

Вот поучительные для гг. министров слова *простого крестьянина*: «мы будем здоровы и богаты», «мы дадим миллиард, лишь бы его брали без *придачи водки*».

«Не надо никакой борьбы с пьянством, а просто – не выделять водки, вот и все. Ведь мы, крестьяне, почти никаких податей не платим (! – *В. Р.*) и денег не копим, все пропиваем»...

Вот он, свободный голос Руси, не подкрашенный интеллигенцией...

«Следует обложить всех не ушедших на войну мужчин и женщин, девиц, попов и попадей. Это я строчу не только от себя, но и от множества крестьян. Да и братьям нашим, проливающим кровь за нас на войне, будет полегче, поприятней, если с нас будут брать «пьяный налог», – муж 10, жена 5, дочь 3 р. Поп 20 р., диакон 10 р., псаломщик 5 р., их жены половину. Горничные 3р., кухарки тож. Вот вам и благодать. Вы бы, дорогой Василий Васильевич, написали бы гг. министрам то, чтобы они не гнушались, когда нужно поговорить с крестьянами, чем им спаивать несчастной казенкой. Повторяю, следует сделать поголовный налог на всех свободных от воинской повинности, а военных всех не облагать им. Прошу принять искреннее мое почтение и уважение (фамилия – неразборчиво – Велихов? Велимов?) 17 августа 1914 г.»

Кратко, живительно и весьма разумно. А комиссии??.. Ну, в комиссиях с многоголовой ответственностью естественно думают, что если «на людях и *смерть* красна», то глупость, дряблость и непрактичность «решения» – «на людях» выходит совсем красивой...

«Превосходное – враг порядочного» – есть французская поговорка. Если «вообще обложение», то, конечно, «прогрессивно-подходящее»... Это – лучший вид европейского налога, рекомендованный всеми профессорами. «Поди-ка учти и сосчитай наши доходы», – думает неуловимый биржевой заяц, и не замечает этого рассеянный профессор. Так манят «прогрессивным подходящим налогом», чтобы пока, и очень долго, а может быть, и никогда «не платить никакого налога». Смотрите же, как нравственно и высокогосударственно слово крестьянина: «Возьмите с нас, обложите кухарок и горничных», т. е. «нашу же сестру». Конечно, крестьянин не забыл, что есть бары и чиновники. Отчего он о них *промолчал*, не побоявшись, однако, упрекать министров? Да он «государев человек», «государственный крестьянин», он – полон государственного смысла, ему – Русь дорога. Без войны и противоборства, без лакейской формулы Маркса: «Пролетарии всех стран – соединяйтесь» (и бунтуйте), он говорит с достоинством: «Обложите нас, мы же ничего не платим», ожидая, что и другие – каждый о себе скажет. Вот – строители царства, каких нам Бог дал, да и теперь Бог «не оставляет» такими.

Крепка Русь, молодец Русь.

ЧЕРЕЗ КАКИЕ ЩЕЛИ ПРОСАЧИВАЕТСЯ ВОДКА В НАСЕЛЕНИЕ

Пьяненькие уже давно показались по улицам, – показались раньше, чем были разрешены в продаже неуловимые «крепкие напитки» и совершенно ясное пиво. Дело в том, что спирт, которого заготовлено так много, и желание «спустить хоть что-нибудь», естественно, у «заготовившего», – течет в население по щелочкам, и их непременно надо быстро заткнуть, так как они грозят неопределенно широко раздвинуться. Вот что мне писало лицо, очевидно близко стоящее к этой стороне дела, еще 30 октября.

«Обращаюсь к вам, как к поборнику трезвости, обратить внимание кого следует на одну широкую лазейку в проклятом пьяном вопросе.

Водка не продается, а пьяных все-таки встречается порядочно. Если это рабочий, то, значит, напился политурой, но чем же напивается *средний класс*, который политуры пить не станет, а на красное вино и шампанское не имеет средств?»

Оказывается, что для среднего класса поставщиками водки являются наши столичные *аптеки*.

«Аптек в Петрограде более 200, причем 199 из их числа принадлежат евреям, и 198 из числа 199 широко торгуют спиртом, из которого с примесью воды и кусочка сахара нетрудно приготовить отличную водку.

Все привыкшие к водке, а равно почти все празднования именин и другие семейные празднества, все имеют такую водку.

Из разговоров с фармацевтами выяснилось, что *спирт для аптек отпускается из казенных винных складов* в большом количестве (*до 10 ведер в месяц на аптеку*), и притом *по пониженной цене*, а именно по 19 р. ведро, между тем как существующая цена на спирт 27 руб. ведро.

По закону отпуск спирта из аптек должен производиться только по рецептам врачей, но кто же не знает, что в общегитии врачи наши слишком милые люди, – и не только написание рецепта на спирт, но даже свидетельство о болезни для продления отпуска или для уклонения от явки в суд всегда легко получить от врача.

Кроме того, написать рецепт на спирт может не только любой фельдшер, но и каждый гимназист, умеющий писать по-латыни.

Хотя врачебное управление и требует, чтобы аптеки «по возможности» проверяли рецепты на спирт, но ведь возможность не есть «обязательство», и аптеки никакой проверки не делают, а широко торгуют спиртом, «на законном основании» и с очень большою выгодой».

Нельзя не заметить, что если аптекарская торговля находится вся *не в русских руках*, то и врачебный промысел (кажется, так можно выразиться о почтенных эскулапах ввиду прогремевших на всю Россию плачевных их диагнозах и ошибках) находится *наполовину тоже не в русских руках*. И тут уместно вспомнить поговорку – «рука руку моет» или, политично, –

«врач аптекарю не недруг». Вот как отражается на деле переход сполна или наполовину целых отраслей деятельности, как аптечно-врачебное, в руки *некоренного населения*. Что значит для иного врача или аптекаря поднявшееся в России движение к всеобщему отрезвлению? Ему «быть бы *самому живу*», а до завтрашнего дня России дела нет.

«Меня удивляет страшная слепота в этом деле казенных винных складов, ведущих регистрацию тому количеству спирта, которое они отпускают аптекам, — неужели господа заведующие винными складами не видят, как поразительно возрастает покупка спирта аптеками с того момента, как закрыта продажа водки?»

Неужели нельзя сделать быстрого, моментального распоряжения и по отделению винных складов, и по отделению наблюдения за аптеками о том, что «в 1914 году каждой аптеке может быть отпущено из склада не более спирта, а аптекою может быть продано в частные руки не более его, чем сколько было отпущено и продано в 1913 году. За каждый излишек аптекою уплачивается штраф». Для «льготы» можно увеличить количество отпускаемого спирта на 5 процентов против 1913 года.

«Что же следует сделать для того, чтобы забить и эту лазейку?

Прежде всего нужно не только обратиться к совести врачей и указать им, что их любезность в прописывании спирта не только безразлична, но и преступна.

Затем надлежит проверить, сколько спирта отпущено аптекам в 1913 году, и объявить аптекам, что задача их не тайная продажа спирта, а продажа лекарств и что дальнейшая маскировка в этом деле впредь не будет допустима».

Все это — слишком литературно. Закон должен обрывать преступления, а не «усоветничать» около преступления, как повар «кота Ваську» в известной басне.

«Затем нужно лишить аптеки права получать спирт по удешевленной цене, так как в состав лекарств спирт идет не в большом количестве, следовательно, на стоимости лекарства его цена отразится очень незначительно; притом же все химические товары настолько поднялись в цене, что повышение цены на спирт останется совершенно незаметным.

Кроме того, полезно, время от времени, требовать, чтобы все аптеки представляли детальный отчет в израсходовании спирта окружному медицинскому управлению с приложением рецептов на спирт.

Быть может, выяснились бы таким образом фамилии любезных врачей и тех больных, коим спирт прописывается.

Вообще, если уж стремиться к прекращению пьянства, то делать это сразу и добросовестно, — иначе огонь будет долго тлеть под пеплом, а затем вспыхнет опять.

Полезно, кроме того, взглянуть и на *политурные заводы* и выяснить, насколько *сразу повысилась их* производительность и не делают

ли заводы *специальную политуру* не для мебели, а для *питья*. Это ведь вполне возможно, — стоит только готовить политуру более жидкую, т. е. содержащую меньше смолы и масел и больше спирта.

Да и самую продажу политур и лаков тоже можно урегулировать и стеснить: отпускать из лавок политуру можно только по письменным требованиям владельцев столярных мастерских и в количестве не менее двух фунтов; равным образом при выделке политуры к ней можно прибавлять какую-нибудь противную на вкус примесь.

Словом, если «не дремать» — до всех этих лазеек можно добраться. Средства государственного *надзора* слишком обширны и могущественны, чтобы ими нельзя было предупредить «питейного воровства», как в старомосковские времена звали вообще политическое и гражданское проходимство.

ВЫЗДОРАВЛИВАЮЩАЯ РОССИЯ

Формула «все обстоит благополучно» не была неверна сама по себе, — но она была суха, отвлеченна, и в ней нельзя было ни насладиться, ни огорчиться никакой конкретностью. Посему она была косна и безжизненна. Прочитав об «общем благополучии всех вещей», хотелось заснуть, но нельзя было захотеть что-нибудь сделать.

В подобном положении и вопрос о «крепких напитках», как бы они ни именовались. Общий говор: «Все стало *лучше* с их запрещением» — нуждается в подкреплении определенными картинками: *где лучше? насколько лучше?* *Враг* трезвости хитер и силен, главное — он очень корыстен и эгоистичен и после войны кинется сейчас же к восстановлению картины — «Руси есть веселие пити, *не можем без того быти*». И в видах этой-то будущей упорной борьбы в высшей степени ценны все документальные свидетельства с *мест*. Я сейчас сообщу два таких свидетельства, но предварю их торопливым замечанием: мне рассказали лица, имеющие постоянное общение с действующей армией, что *там* с лихорадочным вниманием следят за ходом «винного» или «трезвого» вопроса в России и связывают до такой степени «должную победу» над врагом с запрещением крепких напитков, что это вылилось в форму какого-то суеверия. В армии, выступившей фронтом против Германии, есть какой-то *суеверный страх* перед вином, потому что тогда «все пойдет несчастно», а если строжайшее запрещение винопития удержится, то мы «непременно победим». Суеверие как суеверие, — «черт его знает, почему существует». Передаю, как слышал. Но замечу, что в такие напряженные минуты, как война, страшно опасно затрагивать «суеверия». Ведь решительно по «суеверному чувству» на поле битвы или «охватывает всех паника», или — люди кидаются на врага и вырывают у него победу.

4 декабря я получил от раненого, лежащего в одном из петроградских госпиталей, письмо с приложением к нему другого письма. Раненый пишет:

«Нахожу такое письмо довольно интересным для публики, которой не так хорошо известно в настоящее время *состояние нашей деревни благодаря отсутствию водки*. ...Должен сказать от себя, что отсутствие водки как теперь, так и впредь для населения провинции — одно спасение от разорения. Я сам жил в деревне и, можно сказать, на себе испытал».

Вот письмо, полученное этим раненым из Екатеринославской губернии.

«...Напрасно вы думаете, Назар Аксентьевич, что я оставил ваше письмо из действующей армии без ответа. Еще 17 октября ответил вам по указанному вами адресу и в то же число послал вам и посылку табаку: 1000 папирос, 5 фунт. махорки и бумаги курительной. Очень жаль, что не получили, но ничего. Может быть, достанется там другим войнам действующей армии.

Вам хочется знать, как живем мы здесь и каковы у нас дела. Живем мы теперь только одними интересами о войне. Помыслы наши, да и всего народа, думаю, прикованы к войне и ходу ее действий. Мы чутко ощущаем жизнь нашей дорогой и доблестной армии, болеем за переживаемые ею тяжелые испытания войны, преклоняемся перед ее самоотверженной и изумительной храбростью и бесконечно верим в нашу победу.

Что же касается промышленного и хозяйственного состояния нашего района, то скажу, что оно неважно. Во-первых, — война, и во-вторых, — неурожай. Недород оказался таким серьезным, что такового непомним на протяжении 20 лет. Особенно пшеница вышла плоха: 15, 20 пуд. с десятины. Причин же недороду было много: не вовремя дожди, вредители в виде червяка различных видов и наименований, затем — головня (спорынья) и, наконец, плохой налив от сильной жары. Но недород в значительной степени скрашивается отсутствием водки. Вот уж доподлинно благо великое для деревни — и узнать ее нельзя. Все так тихо, чинно — просто прелесть! Деревня будто омылась и очистилась от ужаса пьяной неопрятности и грязи и выглядит теперь такой чистой и деловой. Представьте себе, свадьбы как сходят без водки. Бывают при этом и курьезы, но свойства, можно сказать, приятного. Например, в одном случае гости принесли к хозяину свадьбы всяк свой самовар и поднялось страшное... чаепитие! В другом месте гости не нашли другого что делать, как отправиться к хозяину на поле и помочь ему снять кукурузу. Одним словом, здесь твердо верят, что вместе с победой над злым врагом завершится наша победа и над проклятым зеленым змием.

Желая вам выздоровления и благополучия, прошу — напишите, есть ли у вас в чем нужда, и я вам по мере сил постараюсь помочь. Все благодарят вас за память вашу о них, поздравляют вас с отличием (награда Георгием) и желают вам скорейшего выздоровления».

Следующее письмо из города Верного Семиреченской области, писанное 7 ноября:

«Я недавно вернулся из поездки в Пржевальск и Пишпек, уездные города Семиреченской области, — и был поражен видом наших сел, особенно Узун-Агача, Любовинского и Аламединого. Всегда грязные, всегда хулиганские, эти села теперь неузнаваемы, точно кто-то их вымыл, почистил и приодел. А все это сделало отсутствие водки. Мужики очень охотно вступают в беседы и сами надивиться не могут, как быстро произошло обновление деревни. «Наши пьяницы обшились, обулись и даже стали скупыми», — вот общий говор в деревне. Неужели же возможен возврат к прежнему, о чем есть намеки в повременной печати, возврат хотя бы к пиву? Правда, здешние, — да и не только здешние, — Пегасовы и Ивановы (крупные семиреченские и даже туркестанские коммерсанты, содержатели питейных заведений во всех городах не только Семиречья, но и всего Туркестана, имеющие по нескольку винокуренных и пивоваренных заводов) при участии банков, не исключая даже Государственного, возбуждают ряд ходатайств о восстановлении отечественной промышленности, но неужели же на верхах не замечают этого удивительного возрождения народной массы? Об интеллигенции я не говорю, хотя и она изменилась. Но она так либеральна, так прогрессивна и в среде ее столько милых передовых врачей, что и посейчас вы встретите в любом нашем интеллигентном доме и водку, и коньяк, и ликеры, — все выписанное по рецептам врачей, — водка, напр., для ванн, ликеры для приема неприятного лекарства вроде касторки. Но Бог с нею, с интеллигенцией, а в народ водку допускать нельзя».

Вот свидетельства, написанные о местностях, разделенных многими тысячами верст, причем одно письмо писано сельчанином, а другое — членом судебного ведомства; и оба свидетельства совпадают не только в передаче общей картины, но и в отдельных выражениях, словах.

Выздоровливающая Россия... Кто же может и решится задержать это выздоровление?!

НА ЛЕКЦИИ кн. Е. Н. ТРУБЕЦКОГО

Великолепный Александровский зал городской думы полон, и, кажется, весь петроградский умственный beau-monde присутствует. Князь Е. Н. Трубецкой читает лекцию... о Константинополе, о Св. Софии, о проливах и всемирно-историческом значении Цареграда, коим мы могли бы и должны бы завладеть, но не иначе как при соблюдении некоторых культурных условий... Повторить и подчеркнуть их перед Петроградом и приехал князь из Москвы.

Лекция вообще была чрезвычайно мягка, и кн. Е. Н. Трубецкой избегал всех тех «точек над i», которые вызвали против него ожесточенную полемику, напр., в «Утре России» и вообще в газетах хоть сколько-нибудь национального направления. Весьма глухо он проговорил, что мы «должны от-

речься от национализма», яснее сказал о том, что в 1878 г. мы не вошли в Константинополь потому, что Польша еще не была «возрождена», и совсем «анонимно» проговорил о том, что «вердиктом присяжных мы, русские, признали в минувшем году человеческое достоинство»... «в одной нации». В этом чрезвычайно смягченном виде лекция была прилична по содержанию и недурно произнесена.

Почему он не поставил «точек над i»? Кто говорит правду, – говорит ее громко и говорит ее *везде*. Вероятно, и сам кн. Е. Н. Трубецкой не откажется сознаться, что добрый гений в виде «стыда» стоял у него за спиной все время лекции и удержал его от того, чтобы «выложить всю свою программу», обычно излагаемую на столбцах «Русских Ведомостей», перед петроградской публикой.

Что сказать об этой программе, довольно известной всем из публицистической печатной деятельности князя? Ставить «точек над i» и мы здесь не станем, не желая вводить лектора в неудовольствие, и потому еще, что при наличности неоконченной войны вообще неудобны тезисы князя Е. Н. Трубецкого даже как предмет полемики.

Есть народы действительно *частные* и *вековечно* частные, и есть народы действительно *универсальные* и *вековечно* универсальные. Сербия, Черногория, наши «хохлы», сборная «компиляция» – Австрия – вот имена и пункты географические и исторические, об «универсальности» которых никто не помышляет и они сами не помышляют. Но Рим? Но христианство? И, наконец, православие и Россия? Ни о *Риме* древнеязыческом, ни о *христианстве* никто не отвергнет, что они имели какое-то внутреннее право стремиться к *всемирному охвату*. Теперь возьмем Россию и православие... Оставим на минуту второе и сосредоточимся на первой. Уберите термин «Россия» из географии и истории, и мы, конечно, на пространстве между Балтийским морем и Великим океаном имели бы непрерывную войну... хивинцев с бухарцами, киргизов с русскими, новгородцев с псковичами, малороссов с поляками и русскими. *Русское объединение прекратило кровопролитие*. Хорошо ли это? Пусть скажет об этом свое слово пацифист-князь.

Вот возражение на целую половину политических lamentаций, сетований, горечей князя-публициста, где он все плачется: «Зачем Россия так велика?» «Зачем Россия *объединила земли*?» «Зачем она *много*-народна, сжав под одной короной столько племен?»

Да иначе они перебили бы друг друга и вечно кровоиспускались, при этом оставаясь при своем крошечном *частном* лице, о коем ни сами они и никто со стороны никогда не говорили, что это есть *универсальное* лицо.

Вот и все. Им нужен был Отец и Господин. И Бог вывел Россию в Отца и Господина многих.

Есть ли для этого внутренние признаки, *signa*, «знамения»? Есть: поразительное миролюбие русского народа, справедливость ко всем, «необязательность» кого-либо... Это именно «отцовские качества», – коему дороги «все дети»... До восстания 1830 года Польша имела даже *свою отдельную*

армию (чего ей никогда не дала Австрия). Финляндия, лежащая под боком столицы великой империи, имеет невозбранно свое управление, сенат, сейм, свою монету, таможену, свои железные дороги. Миролюбие и кротость России в отношении завоеванных земель не имеют себе параллелей во всемирной истории. Это-то и являет в ней *универсальное лицо*, *signum*, «знамение» подобного лица. Да чего больше: в селах, где половина мусульман и половина православных, мусульмане помогают русским строить церковь, а русские помогают мусульманам строить мечеть. Красивейшее место в Петрограде отдано под мечеть. Красивейшие улицы в Петрограде: Невский, Морская, Конюшенная, – усталились «невозбранно» костелами и кирками. Боже мой: да *терпимости* русских – нет предела. И ее только не видят худые и злые дети России.

В тайне вещей кн. Е. Н. Трубецкой есть худое, недоброе дитя матери, дитя России. Отсюда он вечно порицает, зачем она «велика», зачем она «держит под собою народы». Да «держит» – как курица цыплят, иначе они переключаются или их исхитит ястреб. Народ русский, от деревни и, право же, до дворцов, – до того тихий, безгневный, до того во всем уступчивый, – уступчивый немцам, уступчивый финляндцам, уступчивый полякам, уступчивый евреям, что временами это переходит в какую-то обиду и оскорбление коренному русскому населению, терпеливому и никогда не ропшущему.

Вот. Докажите это *универсальное лицо* у населяющих Россию народностей, – и тогда они пусть занимают место России. Но история есть *уже совершившаяся история*, – и доказать этого нельзя. Русские были полны самоотречения *в первый час своей истории*.

И потому – те вечные дети.

А Россия – всем им Отец.

Молчите. Любите. И повинуйтесь. Повинуйтесь – к собственному благу. Ибо без России вы просто погибнете. Переключаетесь и расклевываетесь инородными.

Эгоизм России, «национализм» России есть универсальное благо. И чем она более «коснеет в своем национализме» – тем лучше для всех. Ибо суть России и упование России: «Да *всем* будет хорошо» (легко, отрадно, уравнительно).

Ах, худые дети России, худые дети России: когда вы поймете свою Мать, эту седую тысячелетнюю Мать?

ЕЩЕ О НЕПОЛУЧЕНИИ ТЕПЛЫХ ВЕЩЕЙ, ПОСЫЛАЕМЫХ В АРМИЮ РОДНЫМИ

Хотя в сотый раз и утомительно, но приходится говорить все о *той же* горе – о *неполучке*, а следовательно, и о *недоставлении посылаемых родственниками теплых вещей в действующую армию*. Меня просит опубликовать следующее письмо супруга священника при одном из подвижных лазаретов при ар-

мии, которую были посланы теплые вещи 5 октября (в первый раз) и затем в течение октября и ноября месяцев посылались такие же вещи еще *три раза*:

«М. Ф. Пользуюсь случаем, посылаю письмо. Теплых вещей от вас еще не получил; не знаю, послали ли. Приходится испытывать страшный холод в поле, а теплой одежды нет, и посему насморк, болит горло, лихорадит, и в таком состоянии всегда приходится ездить и ходить, говорю «ходить», потому что сидеть много невозможно, заковать неешь. От вас никогда уже не получаю никаких известий. Живы ли вы? Что нового? Больше писать некогда, торопят отправить на почту. Будьте веселы и здоровы. Поклон всем домашним, знакомым, сослуживцам и родным. Весь ваш Н. Ласков. 13 ноября 1914 г.»

Посылки были отправлены из Петрограда, с Большой Охты, Георгиевская ул. (д. 48, кв. 4). Что особенно удивительно и для посылавших горько, так это то, что *в то же время получены вещи* его сослуживцем по Петрограду и по лазарету в действующей армии, как мне устно разъяснили.

Странно. И нельзя ли помочь?

СПЕШНО...

Работаешь, работаешь – погружен в подробности работы, подавлен ее необходимостью, – и вдруг протяжный стон или бессильный шепот подле плеча зовет куда-то в сторону и напоминает о совершенно забытых. Такое впечатление я пережил на днях, когда мне было указано на *положение семейств врачей*, убитых на войне, раненных на войне и взятых в плен... Тех, других и третьих очень много. Переданы отрывочные фразы, достаточные, убедительные:

– Теперешние орудия бьют на девять верст. Так как нельзя же заставлять раненных ползти до перевязочного пункта за 4–5 верст, – они истекут кровью и умрут, – то врачи выдвинуты в линию боя и работают сейчас же за передовой цепью стреляющих... Перевязочные пункты находятся *вне линии ружейного огня, но в сфере артиллерийского огня*... Последствия этого ясны.

– В действующей армии находится половина всего врачебного персонала в России...

Были названы и точные цифры, как и цифра «выбывших из строя» врачей, – о каковых цифрах я, по понятным мотивам, умалчиваю.

Было сказано и следующее: о страшном положении врачей и семейств их в тех местностях, которые подверглись военному разгрому, как Капиш, Лодзь и вообще весь этот военный район, «сельский» и всяческий вокруг этих городов «земский район»... *Куда деваться врачу? Кто он, когда лечебницы, пациенты, аптечки и все прочее «слетело с места», как посуда со скатерти, которую сдернули со стола?.. Разруха. И в разрушении – врач. Что ему, его жене и детям есть, когда у отца и кормильца вырвано из рук дело?*

Углубившись в подробности дела и уже отвлекшись от темы «дня» и «заботы этого дня», – молодой и деятельный врач, излагавший мне суть вопроса, прочел «прошение о помощи» женщины-врача, лет за 60 и больного (названы болезни), который 1) проработал всю японскую войну, 2) работал на балканской войне, 3) работал на эпидемиях в России, но который, вследствие именно подвижности и предприимчивости своей, не работал «всю жизнь в одном и том же ведомстве» или, положим, в каком-нибудь «одном определенном земстве», а посему – оказался вне «пенсионного устава» земств и городов и большой государственной казны и лишен не только средств лечения, но и хлеба!! Слушая письмо, я прямо пришел в ужас! Как человек исключительной деятельности и полезной деятельности может быть лишен лечения и хлеба в старости только оттого, что служил и *там*, и *здесь*, везде сам *спеша* служить, и не совпал с правилами о пенсии, имевшими в виду единообразную и спокойную деятельность на одном пункте?

Конечно, помогать семьям погибших или искалеченных на войне врачей есть прежде всего корпоративное дело самих врачей. Они и не бездеятельны. В русско-японскую войну был образован «Всероссийский фонд для оказания помощи врачам и их семьям, потерпевшим на войне». В основу этого фонда был положен «ежемесячный добровольный товарищеский рубль на помощь нуждающемуся товарищу», – но и, кроме того, крупной волной полились сюда пожертвования со стороны частных лиц. Суммы, стекавшиеся в этот фонд, были настолько значительны, что, по удовлетворении нужды, осталась еще сумма около 20 000 рублей, которая со специальным назначением была передана в петроградское врачебное общество взаимной помощи и положила начало «Всероссийскому военному фонду взаимопомощи врачей».

Врачебное общество взаимной помощи сейчас приступает к организации вновь подобного же фонда. Между тем, суммы, находящиеся в его распоряжении, не только недостаточны, но и прямо ничтожны, ибо уже теперь число семейств, коих кормильцы-врачи унесены войной, достигает цифры нескольких сотен, и число это с каждой неделей увеличивается. Тут нельзя бросить кое-что, а необходима постоянная помощь каждой семье. Казалось бы (и, может быть, это *есть*?), семьи погибших на войне врачей имеют право на такую же пенсию со стороны государства, какую получают семьи офицеров. Эта сторона дела мне неизвестна. Если я ошибаюсь и они получают из казны офицерскую пенсию, то мое ошибочное напоминание о долге государства лишь повторит действительность, и здесь «ошибка» не в «фальшь». Но и *тут* все-таки нужна *сейчас* помощь, и таковую помощь могут оказать лишь товарищи-врачи и частные лица из общества; дело в том, что до «выдачи пенсии» всегда протекает некоторое время, месяца два, а стол и квартира требуют *ежедневного расхода*. Этот *ежедневный расход* месяца на два, на три каждой семье убитого врача уже может быть дан только дружескою помощью. Тут всегда – вдова, тут – малолетние дети, иногда это – малютки-дети, и приходится сказать: «Горопитесь!!»

«Всероссийский военный фонд взаимопомощи врачей» имеет во главе своей комиссию, составленную из представителей всех медицинских обществ и врачебных организаций в России. Распорядительные функции лежат на правлении «Петроградского врачебного общества взаимной помощи», а казначейская часть и сбор пожертвований возложены на доктора Александра Васильевича Рутковского (Невский просп., д. 166), – почетного члена общества, который был казначеем всероссийского фонда для оказания таковой же помощи семьям врачей, погибших или раненных во время русско-японской войны.

Все и вся поднялись теперь на подвиг, на помощь. Не забудем же тех, кто прямо под рвущимися в воздухе снарядами поднимает с земли исходящего кровью офицера и солдата и осматривает и останавливает ему кровь, и чистит, перевязывает, лечит рану. Он будет спокойно и твердо работать, если будет знать, что Русь об его жене и детках позаботится.

Придите, господа, сюда со своею помощью!

<С. Н. ТРОЙНИЦКИЙ. ФАРФОРОВЫЕ ТАБАКЕРКИ...>

Среди удивительных людей Руси есть С. Н. Тройницкий. Служа где-то и кем-то, получая жалованье и вообще обходясь совершенно рационально в обыденной жизни, он в часы ночного бдения преобразается в современника и в соучастника жизни каких-то рыцарей, вымерших дворян, бродит по старым замкам, всматривается и вдумывается... *в гербы!!!* Герб... черт знает что такое? Герб... кому он нужен?!! Звезды, львы, лани, «синее поле», «золотое поле», «желтая полоса поперек» – просто умопомрачение!! Господи, – в век телефона и электричества! Когда все бегут в кинематограф!! Но упорный автор не только вытащил на свет Божий и издал с громадными затратами хранившийся где-то в Казани «Гербовик Анисима Титовича Князева», екатерининских времен, но и начал издавать специальный журнал о гербах, «Гербовник»...

Кто читает? Кому нужно? И вот к самому Рождеству он отпечатал еще два великолепных издания: «Фарфоровые табакерки Императорского Эрмитажа», где мы по крайней мере можем любоваться великолепной Елизаветой Петровной (обложка), но и «Гербы лейб-компаний обер- и унтер-офицеров и рядовых», где уже видим только аллегорические «звезды», «полоса поперек», штык, труба, колонна... Черт знает что.

Да. Но любит. Что сделать, если человек любит? Любовник любит любовницу, а гербовед любит гербы. «Но ведь они запыленные, вы глотаете пыль». Молчит и любит. «Все носители гербов перемерли». Молчит и любит. Только выругаешься и отойдешь в сторону...

Но вот из мелочей восстают наши старые годы! Самый конец XIX века и начало XX века ознаменованы важным событием: открытием старой дво-

рянской усадьбы, как зерна, из которого выросла вся русская культура, которая *была*. Все думали и убеждены были, что ее никогда не было, ибо какая же «культура» около Скотининых, Простаковых, около Фамусовых и Скалозубов? Это – *отрицание культуры*, а не культура. Литература великолепием своим, гением и остротой заставила подумать, что «никакой русской культуры не было и нет» и что ее только пытались начать Скабичевский и Шелгунов, но и сим сильным мужам «не удалось». «Россия – вообще дичь», так мы и решили. Пока разные копуны, вроде Тройницкого, вроде Соловьева (журнал «Библиофил»), да журнал «Старые Годы» не показали *в рисунках, в изображениях*, доказательно и очевидно, что мы имели великолепную культуру, в которой *жили*, но которая по случайным поводам не перешла *в книгу*.

Потому собственно, что Скабичевский и Шелгунов ни с кем не были, кроме своей братии, знакомы. А братия эта жила «по мебелирашкам» (меблированные комнаты). И они думали «по мебелирашкам», соображали «по мебелирашкам», описывали всецело и исключительно одни «мебелирашки». И спасали Россию тоже «в меблированных комнатах».

От этого вытекли большие события. Например, 1 марта. Что такое 1 марта? А *vol d'oiseau* – это есть опыт спасения Российской империи меблированными комнатами. И ничего больше!

Так как историки русские тоже были «сродни» или «в свойстве» Шелгунову и Скабичевскому, то мало-помалу забылось и стало совершенно непонятным, как же произошла Россия? Все мирозерцание уперлось в меблированную комнату, и Русь решительно поэтому неоткуда было вывести, кроме как из меблированной комнаты. Но отсюда она явно не выводилась. Тогда стали зачеркивать русскую историю. «Была» и «не была», «есть», но «не должна»... Получилось ужасное положение. Вся русская мысль забрела в тупик, полный грязи, ругани, бессмыслицы и мордобоя. «Это наши партии».

Пока копуны, вроде Тройницкого, не сказали спокойно: «Да меблированные комнаты ровно ничего не построили, а им только дано было *место в России*, под наблюдением полиции. Полиция нажимала на мебелирашки, и жильцам там было тесно, нудно, бедно и скучно. Они сердились, но ничего не могли поделать. Конечно, им надо дать больше филантропии. Но что касается до *объяснения России*, то *вот откуда* она вышла».

И, отдернув полотно, показали... до некоторой степени *настоящий памятник* 1000-летия России. Это – дворянская, старая, княжеская и не княжеская, графская и не графская, но все-таки преимущественно дворянская усадьба. Мы решительно «откапываем» историю России, как Лэярк и Раулинсон откапывали историю Ассирии. До такой степени Скабичевские и Шелгуновы «погребли ее под песком пустыни».

«В век телефонов» и американских «небоскребов» история России и царей русских стала почти непонимаема, непостижима. Тут все непостижимо: цель, основание, характер постройки. Равно непостижимы как тело, так и душа...

И вот все это, *подробность за подробностью*, стали выводить на свет Божий чудачки, вроде Тройницкого. И будущий хроникер нашего времени скажет: «После того, как были откопаны Ассирия и Вавилон, Мемфис и Фивы, приступили к откапыванию нового чудища, незнаемого и не подозреваемого, – Государства Российского».

Вот что наделали «меблирашки»...

И вот что делают «фарфоровые табакерки».

Ну копайтесь, копуны! Бог в помощь...

ЕВГЕНИЙ ИВАНОВ. В ЛЕСУ И ДОМА. РАССКАЗЫ

Рисунки Т. Гиппиус. Библиотека «Тропинки»,
под редакцией П. Соловьевой и Н. Манасеиной.

Первая книжка начинающего автора-сказочника. Она вся сделана чрезвычайно искусно, с тщательностью отделки в каждой строке, не только в каждой странице. Язык очень хорош, – лесной, «с травами», с сыростью. Это большое искусство и высокое искусство. Язык сказки совершенно не может быть такой же, как язык повествования для взрослых. Рассказов – шесть: «Лес», «Таракан», «Пруд», «Касатка», «Черный мельник», «Волхвы с Востока».

Но сюжеты? Их или нет, или очень мало. Они – не «страшные». Ну, а из детства мы помним, что то – не «сказка», когда не дрожишь. Да не только душа замирает, пока слушаешь, а и спрячешься под одеяло, все еще кажется, что «он за ногу тянет»... Кто «он»?.. Ну, не добирайся. Колдун, оборотень, лизун (помню в детстве; «Как спустишься в сырой погреб ночью, он тебя и залижет до смерти» или «до обморока»...)... А мертвецы? О, Господи: какая же сказка без мертвецов. Да, бывало, нужно перебежать через сени: «Подождите, дяденька, рассказывать, я сбегаю». Затворишь двери кухни за собой, и как исчезнет полоска света, темь кругом, то и чувствуешь, что за босые ноги кто-то хватает... «Ой, не могу!!!» – и вскакиваешь обратно в кухню, где безопасно. Вот – дети, вот – сказочник. Если же не только «нужно», но «необходимо», то и перебежишь через сени. Читаешь: «Да воскреснет Бог и расточатся врази Его». Овладеваешь собою, – о, как борешься. Но потом влетишь в кухню совершенно как сумасшедший, и прямо голые ноги *чувствуют*, что их «хватают»...

Вот – сказка. Такую – давай. Такую в старину и рассказывали. Теперешняя сказка пошла литературная. В ней много мастерства, видно, что она трудна автору, потребовала от него много работы и заботы, спросила и вдохновенья (в данных рассказах вдохновенье *есть*); но в ней не принят во внимание мальчик и девочка, в ней забыт *слушатель*. Теперешние сказки читаются, и литературно читаются. Между тем задача ее – быть выслушанною, и «печать» должна если не отсутствовать, то быть незаметною, едва заметною.

Но среди «литературных сказок» данные сказки Евгения Иванова полны мастерства и любви к делу. И вся книжка – главное, рисунки – сделана любовно, с обдумыванием каждой детали. Это не торговое и не коммерческое дело, как и все издания благородной «Тропинки», руководимой почтенными старыми писательницами, Соловьевой-Allegro и Н. И. Манасеиной; это издание вполне чистое, семейное, и давай Бог ему читателя. Но, господа: пострашнее и позанимательнее; побольше – содержания, сюжета, приключений, событий. С чертями не церемоньтесь: тащите их целый мешок. Черти – «свои люди» в детской. Самое «всегда» и самое «нужное»...

«ИНАЧЕ Я ПОСТУПИТЬ НЕ МОГ»

Все пишешь и все грешишь... Но я поступаю так, как «истинный христианин»... По правде-то, о «спорах около имени Белинского» я только очень много слышал, главным образом от приезжих москвичей, и читал г. Иванова-Разумника; что же касается статей и книги г. Айхенвальда, то, будучи националистом, все еще не собрался прочесть его статьи и книги и вот только вчера купил третий том «Силуэтов русских писателей», 2-е издание, где содержится возмутивший проф. Сакулина, г. Ляцкого и Иванова-Разумника «Силуэт Белинского», и книгу – «Спор о Белинском. Ответ критикам». И, прочитав, решительно соглашаюсь с нашими мордоквасами (от «морду расквасил»), что мелодичный, певучий г. Айхенвальд совершил «дурной поступок», – так пишут о нем мордоквасы, – нарисовав черным углем «силуэт Белинского»... «Но, разумеется, *иначе* я поступить не мог, потому что обязан был сказать свою правду, чего бы это ни стоило мне, чего бы это ни стоило другим», – этими словами он начинает ответную книгу. Напротив, именно все *иначе* должен был сказать г. Айхенвальд, – иначе, в другом тоне, в ином масштабе измерения. И нельзя не сказать, что, превосходно *зная* Белинского (г. Айхенвальд – профессор Высших женских курсов в Москве), он вовсе Белинского не понимает. Не понимает до такой степени, как если бы жил совсем на другой планете, чем Белинский. И статья его действительно *нова*, вопреки его словам и словам его критиков; ибо хотя кн. Вяземский, Достоевский и П. Бартенев произнесли сильнейшие ругательства на Белинского, – но в самом тоне их ярости звучит понимание, что они имеют дело с *огромным литературным явлением*; понимание и даже печаль, что они победить это явление бессильны, слабы. В ругательствах их говорит боль русского о *русском опасном* явлении. Г-н же Айхенвальд, «с другой планеты», никакой боли о Белинском и от Белинского не испытывает и проходит в своем «Силуэте» мимо него, давая «на ходу» какой-то небрежный ему щелчок, без тени сомнения, что маленькая фигурка Белинского от этого щелчка рассыплется. Конечно, это полное непонимание дела; конечно, это полное непонимание Белинского.

Мордоквасы совершенно правильно разъярились, *культурно* разъярились (*уважение к прошлому – первый шаг культуры*), читая следующие строки, напоминающие тоном, духом и слогом бездушный нотариальный акт:

«Белинский – это легенда. То представление, которое получаешь о нем из *чужих прославляющих уст*, в значительной степени рушится, *когда подходишь к его книгам непосредственно*. Порою дышит в них трепет искания, горит огонь убежденности, блещет красивая и умная фраза, – но все это беспомощно тонет в водах удручающего многословия, *оскорбительной (?) недодуманности и частых противоречий*. *Белинскому не дорого стоили слова*. Никто из наших писателей не сказал так много праздных речей, как именно он. Никто своими ошибками, в главном и в частности, так не соблазнял малых и не малых сих, как именно он... В самой правде своей он так изменчив и неустойчив, что подрывает даже ее. Белинский ненадежен. У него – шаткий ум и перебои колеблющегося вкуса»...

Автор, так не щадя Белинского, – смотрите, как холит и нежит каждую свою фразу. «Я его режу не ножом, но особым хирургическим инструментом, выписанным из Парижа и за который я уплатил сто рублей. Вот и счет». Все должны смотреть на прелестный ножичек и не думать о Белинском.

«Никогда на его оценку, на его суждение положиться нельзя, – потому что потом вы у него прочтете другое, и нередко противоположное. У него не мирозерцание, а мирозерцания. Он менял их искренне, но от того не легче было его читателям; в высокой мере как раз Белинский повинен в том, что русская культурная традиция не имеет прочности, что бродит и путается она по самым различным дорогам»...

Мне же кажется, напротив, что Белинский основал и *завещал* чрезвычайно устойчивую традицию, и в порядке важнейших, именно моральных, ценностей: *полного чистосердечия и искренности*, хотя бы ценою «уронить свой авторитет». Это есть весьма особливая русская традиция, и пошла она от *колеблющегося* Белинского, – именно от *колебаний* его. Lex rossica: dico ut puto; закон российский: говорить, *как думаешь*. Худо ли это? Это гордость русской литературы.

«Неровный маятник его *легкомысленных (?)* мыслей описывал чудовищные круги; учитель убеждений компрометировал убеждения – тем, что хронически *и без явной трагедии* от них отступался. Только в письмах к друзьям этот Виссарион-Отступник (?) иногда сокрушается о своей изменчивости, о своих «прыжках»...

Вот, уверен, Айхенвальд таких «неосторожных писем» не оставит после себя, – и у него частная корреспонденция и опубликованные сочинения «сойдутся», как цифры в хорошем отчете. «Можно сказать, не живем, а трудимся в правде».

«Желанную благополучность духа, вечное уважение, вечное движение он смешивал с непостоянством и непродуманностью коренных принципов (построение фразы такое, что дает думать читателю, будто Б-ский *рвался к последнему*, что я подчеркнул. – В. Р.). И считаю, в пестром наследии его сочинений, в их диковинной амальгаме, вы можете найти все, что угодно, – и все, что неужодно».

Как щеголевато. Прямо – не режет, а играет ножичком.

«Рассудок не самостоятельный» (?), женственно воспринимающий, *слишком гостеприимный ко всяким теориям*, сплошной объект и медиум влияний, – Белинский слушал и слушался, и у него нечего было влиянием противопоставлять. Он не имел своего а priori; он другим не предпослал себя».

Ах, любовался Айхенвальд на эту фразу: «Я, прежде всего, умен, – я не то, что какой-нибудь Иванов-Разумник».

«Он был *доверчив*, этот критик без критики. Были присущи ему не идеи силы, а *идеи-госты*. Человек без духовной собственности, «нищий-студент», *всегдашняя tabula rasa**, он никогда не был умственно-взрослым; по его натуре, переимчивой (?) и восприимчивой, ему следовало бы только учиться, а он учил, – и в этом состояло *тяжкое недоразумение его судьбы*. Или, лучше сказать, он учился на людях, на глазах у своих учеников; он читал для того, чтобы написать, читал наскоро, и за его страницами не чувствуешь долгой работы и умственной уединенности, часов накопления. Именно потому – он всегда временный, и каждой мысли, каждой драмы – он рыцарь только на час. Он чужд той непосредственной духовной цельности, того *сокровенного мировоззрения*, того инстинкта правды (?), которые уже сами по себе, предупреждая сознательное построение идеалов, оберегают человека от чрезмерно грубых заблуждений и от таких взглядов, какие граничат с нравственной близорукостью. У Белинского подобного Ангела-хранителя не было, *ядро истины в нем не таилось, его бессознательное начало не было лучше его сознательного, его перо не было умнее, чем он сам*, и не однажды впадал он в такие ошибки, которые вызывают не только идейный отпор, но и *моральное негодование*. Увлечением и способностью каждое свое теоретическое верование доводить до последних практических результатов объясняют нестерпимую реакционность его статей о Бородинском сражении; но это нисколько не оправдывает *отсутствия в Белинском того органического либерализма*, тех предчувствий и влюбленных чаяний свободы (хорошо пишет Айхенвальд! – В. Р.), которые так обязательны для высокой души (какой слог! – прямо из Варшавы. – В. Р.). Задолго до упомянутой статьи, при первом же своем серьезном выступлении, в знаменитых «Литературных мечтаниях», после декабристов, в тяжелую и темную пору нашей жизни, когда все передовое в ней действительно изнывало под гнетом грубой вла-

* чистая доска (лат.).

сти, — юноша Белинский, не задумываясь (?), делается рапсодом формулы «православие, самодержавие, народность» и поет умиленные, восторженные гимны русскому правительству, «знаменитым сановникам, сподвижникам царя на трудном поприще народоправления»; и потом эти панегирики самовластию и «просвещенному и благодетельному» правительству не умолкают, а усиливаются и громкими фанфарами звучат на всем протяжении его статей и некоторых писем. Из отношений Николая I к Пушкину Белинский помнит лишь то, что «венценосный Отец народа» в умирающего поэта «Своего» — «пролил отградный елей благодарности, мира и споконствия о судьбе его семьи и сирот»; и в глазах русского критика русскому народу, в его «теперешнем состоянии», гибельна конституция, а нужна еще «нянька», в груди которой билось бы сердце, полное любви к своему питомцу, а в руке которой была бы лоза, готовая наказывать «за шалости». В прославленном письме к Гоголю и кое-где еще в частной переписке все эти мотивы сменяются потом совершенно иными звуками, страстной лирикой трибуна... Но уже после этого письма он опять славит «благодарное» влияние «просвещенного русского правительства»... Цензура помещала бы Белинскому говорить, но она не мешала ему молчать. А он не хранил достойного молчания (!!! — В. Р.), — нет, он сочувственно поддерживал русский шовинизм и официальные каноны»...

Так и блесит, и сверкает на солнце и вкусом, и умом, и «внутренней задумчивостью», по Метерлинку, и выдержанным либерализмом, по Винаверу, и всеми одиннадцатью добродетелями «настоящего русского писателя»... И, я думаю, для блеска она и написана. «Что в Белинском, — смотрите на меня». Хорошо. Посмотрим. Она пуста, эта страница, и поражает своею грубостью, элементарностью и ложью. «Слон есть животное, состоящее из кожи, костей, жил и желудка». Верно это или неверно? Конечно, — верно! Но и, конечно же, — неверно! — потому что *ничего в себе не содержит*. «Кроме того, слон бывает иногда сердит, и тогда обнаруживает дурные поступки»: верно ли? Я скажу — чистейшая клевета, хотя Айхенвальд может привести «примеры». «А так как за дурные поступки сажают в полицию, то слона надо посадить в полицию», — вот résumé критики Айхенвальда, за которое я его самого посадил бы в полицию, ибо он тут бесстыдно налгал. Позвольте: где в этой прописи нотариуса конкретная, особливая, нам превосходно известная физиономия Белинского, его нрав, обычай, повадка и вообще портрет, а не паспорт? Он «характеризует» Белинского (претензия его «Силуэтов»), и ни одной живой, «с мясом», черты нет. Говорит нотариус или Спиноза, но к «характеристике» оба равно не способны. Но сей нотариус — клеветник, лже-нотариус и, можно сказать, «сам без паспорта». Я подчеркнул и сопроводил знаками вопроса строки той неопределенности и неуловимости, того «издали киванья головой», которые доказать осязательно он не может (от этого и «кивает»), но которые он хитро включил в протокол, потому что их никто и опровергнуть тоже не может. Неуловимо. Воздух. И вместе — обвинение. Что такое это «идеи-гости», «каждой мысли рыцарь на час», «слишком госте-

приимный ко всяким теориям», «без à priori в душе», etc., etc.? Это, извините, не критика, а – наущничество. Интимным сладким ртом, захватив в него рахат-лукума, Айхенвальд шепчет в ухо читателя свои подозрения, свои догадки, свое озорство над душой человека, – увы, живого человека, т. е. который *жил*, который имеет имя и отчество, и его помнят и любят на Руси. Да, Белинский нам (т. е. *многим* на Руси) – враг, мне – враг, я его не люблю, потому что во множестве сторон он навредил дорогой мне России: но...

А *сам*-то я не «наврежу кое в чем»? Кому изведаны судьбы? Всякий говорит в полной неизвестности будущего, и его обязанность – только не лукавить перед собою, т. е. по великому им (Белинским) основанному канону – *disco ut rûto*, говорю, ибо думаю. «А завершит все Бог», – вот наша надежда, очень простая. Зачем же Айхенвальд притянул на бечевке, такой двухкопеечной бечевке, великого (все-таки великого!) покойника перед свое критическое сиятельство: и, наведя на него блеск своего ума, погрузив его в лучи своего щегольского, с рахат-лукумом, слога, стал на народе показывать: «Посмотрите, как он глуп! Посмотрите, как он неумен! Посмотрите, как он не замечателен». – «Он не знал часов *удинения*» и «не *накапливал* знаний», как в своем аккуратном кабинете с бронзовыми часами осторожный Айхенвальд. «Он был красивый, когда я желтый». Боже мой: позвольте быть и «красными» людям. Люди на людей не похожи. Один – «в задумчивости», а другой – кричит, и у Бога – все «хорошо». Мне противны медовые губы Айхенвальда, его слог «с иголочки», как мундиры на гвардейцах, и совершенно милы, например, письма Белинского, где я вычитал такой перл: «Что обманулись (о Достоевском) молодежь, Григорович и Некрасов – так это им простительно: а уж обо мне, старом черте (критики), *без палки и говорить не приходится*». Я ночью, просыпаясь, вспоминал изречение, до того оно в сгибе фразы характерно, сильно, могуче, «само играет и бежит». И на раздушенных страницах Айхенвальда мы ни одной подобной строки не встретим, если он даже будет писать еще сто лет. Это – русский говор, это – Погодин с бородой и палкой и народные частушки. Но может ли оригинальное словцо и оригинальное движение души выкатиться из неоригинальной души? Об этом пусть подумает «критик» Айхенвальд. Между тем он представил Белинского как душу блеклую, тусклую, неживую. Увы (в тайне вещей) – как свою душу, уж именно без «à priori», без тайного и могучего говора в себе, какой у Белинского *был* и порою *вырывался*. Много о «добродетелях» наговорил Айхенвальд. Так раз попался мне «на вербах» Феб-Аполлон: потер меж пальцами, краски слезли и крылышки отвалились.

Ах, Айхенвальд...

Красиво звучат «Силуэты русской литературы». Красиво ли? По-моему, – противно. Это *после* простоты-то Пушкина, *после* зрелости-то Пушкина.

Бежит зефир,
Струит эфир.

Айхенвальд «в задумчивости» сидит и, смотря на бронзовый «Указатель вечности» или «сроки времен», пишет письмо к Виктору Гофману с

обещанием включить его в свои «Силуэты»... Это *сам из своего письма*, очевидно сохраненного «для потомства» *в копии*, – г. Айхенвальд взял *эпиграф* для своей же статьи о Викторе Гофмане, где слова нет о деле, а все о каком-то «паже» и «принцессе». Честное слово – не лгу. Справьтесь («Силуэты», т. III, последняя статья) с этой критической невероятностью. Поразительно, что этот рахат-лукум он смел написать о несчастном, покончившем с собою юноше! И смерть его не испугала...

Да, он бездушен, вот в чем штука. Я говорю об Айхенвальде. И это-то и объявляют его «Силуэты», и в частности статья о Белинском. Ему нужен «сам» и вовсе не нужны никакие «русские писатели»...

Какая противоположность с Белинским, который всего, всего, всего себя отдал чужим книгам, часто неинтересным книгам, – и всю жизнь, всю жизнь, всю жизнь проработал над русской литературой от Державина до Тургенева... Какая работа! Какая гора! Сейчас же, сейчас читатель поклонись вместе со мной великому труду человеческому. А от «Силуэтов» отвернись: пустая парижская штучка.

Белинский велик именно *работой* своей, – дьявольской работой многочитанья, многописанья, многохлопотанья. Велик и *благороден* бесценной своей *заботой* о русской литературе, в ее целостном огромном течении, с библиографией и «мелочами». Белинский – первый; тшусь сказать и решаюсь, – что он и последний и единственный наш критик, – ибо около него все остальные сказали лишь «кое-что» и в общем «немного». Так как *таких* колоссальных «обзоров словесности» и *стольких* лет все новой радости о новых книгах – ни у кого решительно еще за спиною не числится... «Послужной его список» – огромен, неисчислим, героичен. Его «поход» – далек, труден, терпелив... Неужели этого Айхенвальд не видит? Неужели нужно это изъяснять? Что же он со своей «задумчивостью» не разжевал себе этой простой мысли. Нет, «задумчивость»-то его в две копейки. Он удачен во фразе, но именно – не умен. В великолепных письмах своих Белинский и хвалится, как *чернорабочий*, не метя, попадает «в Айхенвальды», т. е. в красноречивые читатели красноречивых лекций для барышень, для которых, говоря слогом Айхенвальда, «лекция должна говорить так же сладко, как поцелуй». Ведь его «Силуэты» все поцелуйные. Все это «поцелуйство» весьма дурное дело в литературе. Дурное, и фальшивое, и холодное. Вот сейчас все дело вы увидите, как на ладони: Белинский безмерно любил Россию, он был тоже – хоть и «с книжкой в руках», – из «гнезда Петрова» и, как все корневые русские люди, считал себя, «бездомного студента», гордо в числе сотрудников Петра и линии царей:

Будешь умы уловлять, будешь *помощник царям*, –

как надписал Пушкин в вечный завет всем *настоящим русским писателям*. Отсюда-то непонятные Айхенвальду «государственные тоны» у Белинского, около которых чужой человек (Айх.) только пожимает плечами и «кивает» на них своим курсисткам. Да. Русского царства не понять Айхенвальду, ни – рус-

ской литературы как *части* строительства этого царства, как некое народное и совокупное строительство духа... Вот откуда *практицизм* Белинского (как и у Петра Великого), переход от эстетических оценок – к деловым, «реалистическим», что продолжало дух Петра и дух хоть Кантемира и Феофана Прокоповича, а отнюдь не было параграфом бездушного и старческого позитивизма. Белинский нам всем, русским, дорог, как *старатель*, как *старающийся человек*, и за его безмерное старание мы все ему ошибки «не помним»... Вот. Айхенвальду же Россия вовсе не нужна, истории ее (иначе чем «по-ученому») он не знает и не чувствует, потому что в ней никогда не участвовал и не собирается участвовать. И все, что ему нужно «в России», – это полочка книг в Публичной библиотеке с честолобивыми «Силуэтами». Но уж тут я, «по Рубакину», – непременно бы исключил его «Силуэты», сказав расейскому читателю:

– Не надо. Ложное чтение.

Все дело в том, что Айхенвальд – не ложный только писатель: это – вторичное и вытекло из главного, что он ложный человек. Он вздумал быть интересным писателем, – потому что умен и имеет интересные мысли или «нюансы мыслей» и пишет изящным языком. Это – представление «александрийского периода образованности», а не свежей и *нравственно-крепкой* России, которая имеет совсем другую меру для литературы и писателя. Россия – начинающаяся страна. В Белинском, в его действительно изумительной натуре, она выдвинула или «Бог послал ей выдвинуть» замечательного человека, всемирно-отзывчивого, всемирно-волнующегося, энциклопедического, словарного, «азбучного» во многих отношениях, почти во всех отношениях, которому самим Богом было закрыто «ходить далеко», – но поэтому-то или через это прекрасное и нужное ограничение он и дал «первую *идейную* грамоту» русскому человеку, русскому мальчику, русской девушке, русскому – даже *и до сих пор ниже Белинского стоящему* – обществу. Ибо мы не должны забывать ни об успехах Вербицкой, ни об одолеваящем чтении Нат-Пинкертона и что, может быть, теперешнего русского читателя Белинский «не удивил бы и не захватил». История – ужасающе груба, история ужасающе медлительна. «Азбука» (о Белинском)... Да мы еще азбуки не переступили. Вон Елизавета Кускова года три назад на всю Россию расплакалась, что ее курсистки, вместо социал-демократии, вдруг стали ходить в цирк смотреть атлетическую борьбу, «потому что там линии» (мужской фигуры). Подождите, господа, – еще хуже Вербицкой увидим. И оттого увидим, что над нами не стоит благодетельный гений Белинского, велящий, наказующий, одушевляющий. Наши восемь университетов, в сущности, ничего не работают, – и именно они *не развивают*, а пичкают только знаниями. Кажется, сами профессора насчет развития «не очень-то»... Вот *где* темный секрет. Белинский же не только *сейчас же* всякого развивал, сейчас же волновал, сейчас же раздражал, «учась на глазах учеников» (Айхенвальд): но он ничего *не скрывал* (как профессора с самолюбием) и сейчас о всем кричал. Кричал, что – *ошибался*... Этой штучки вам Айхенвальд не скажет. И до нашего времени Белинский еще остается лучшим юношеским чтением, *должным* другом всякого студента и курсистки. «И студент, который

не читал Белинского, — мертв». Вот канон нашей школы, и да будет он еще долго. Огромная масса общества нашего, многотысячная-то «университетская толпа», — *не доросла* еще до Белинского, далеко не доросла, далеко, далеко, далеко (Вербичская, *студентами* взасос читаемая). А Айхенвальд говорит: «Не надо Белинского, — одни Силуэты, мои утонченные *Силуэты*». Но «Силуэты» вовсе не возбуждающи, не волнующи, не «вопросительны», а везде «окончательны». — «Вот я, Айхенвальд, — какой тонкий ум. Смотрите, поклонитесь и засните». Грусть «Силуэтов» — что они кончаются точкой, а Белинский, *наш честный Белинский*, — везде многоточием. Айхенвальд — не растит мою душу, и он ум каждой курсистки закупоривает. Айхенвальд — смертен, вполне смертен: он этого не замечает только, не подглядел в себе, что являет эстетический остов, без жизни, без движения. Притом, клянусь вам: он литературы не понимает. Он написал 8 страниц о Минском (поэт-декадент) и 4 страницы о Белинском: неужели это не безвкусица? И 16 страниц о Леониде Андрееве, — это в *общем* очерке *всего* хода русской литературы, от Карамзина до «нас». Какую преступную ерунду он написал о Карамзине, — в высокомерных 4 страницах. Но об этом, может быть, потом и в частности. Он не понимает всей великой работы русской литературы, не понимает, что литература помогает и *обязана помогать* строить города в нашей еще первобытной стране, делать водопроводы и даже класть печи (везде по уездным городам *отвратительно* кладут). Он кричит, в свои 35 лет, на 45-летнего Белинского и издевается «для курсисток» над словами его: «Мне нужно *дело* в повести, и когда оно есть — я ее *разбираю*, если она и *не художественна*». Но это — крик молодой страны, где все «не устроено» (тогда-то! тогда-то еще!!), а вовсе не дряхлое требование утилитарной критики. «Он не понял Татьяны с ее великим терпением» (Айхенвальд): и я «не понял бы», «закрыл бы глаза» ввиду развода и упорства консисторий. «Мне нужен закон, а не идеал личности: ибо толпы, народ нуждаются в общих воротах, а не в портретном великолепии». На «образе Татьяны» задушены тысячи чудных, как Татьяна же, девушек, — и, прежде всего, задушена была *после* Татьяны Лиза Калитина («Двор. гнездо»). Как же ему было не кричать. Как же ему было не волноваться? Это Айхенвальду «все равно», а русскому старожилу «не все равно»... «Не надо Татьян, давай закон». Это (по методу) «Петр Великий рубит корабли в Голландии, хотя — *по царской должности* — должен бы сидеть на троне, принимать послов и изображать величие». Так и «критическая должность» в культурной Англии — одна, в Германии — тоже своя, а в России — совсем третья и ни на кого не похожая. Моря русского — не уловил Айхенвальд. Момент русского — не уловил Айхенвальд. Что же он понял?

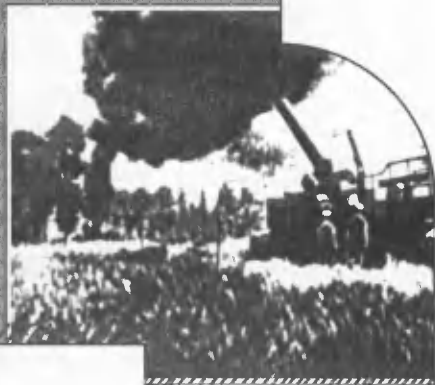
Ничего.

Написал несколько хорошеньких страниц.

Да. Страницы — хорошенькие. Не нужные. Скажите, кому они нужны? Кому нужны эти «штрихи пером» и «моя задумчивость» и что «я похож на Метерлинка». Это нисколько не интересно. Глубокомыслен ли он? Остер. Замечательно, что в каждую свою статью он вкладывает черную каплю, которую «не забудет» поэт (оригинал «силуэта»). Карамзин «не понимал

человека», М. Горький «не только кончился, а и никогда даже не начинался» (скрыв, что это – плагиат из В. П. Буренина). Брюсов имеет музою «трудолюбивого вола», который его везет, а сам он не поэт и проч. И так эффектно в конце: «Ему присуще величие преодоленной бездарности. Но преодоленная бездарность – все же не дар». Просто – не слог, а из Варшавы часы. И только у него Герцен – кумир всех средних людей в России – «всегда блистательный и духовно роскошный, князь эмиграции, властелин, которому недоставало только престола, Александр Великолепный, король в изгнании». Просто за часы с таким ходом не жалко дать сто рублей. Но я подозреваю, что «Великолепный»-то один у нас, это – Айхенвальд. И везде у него – фраза. Точеная, крепкая. Много старания, предварительной выдумки. Засыпает и грезит своими «Силузтами», – и придумывает еще сладкую строчку в ее текст. «Моя любимая книжка, моя прелестная книжка». Дастся же автору такое удовольствие. Не наобнимается со своей книжкой. А судя по письму его к Виктору Гофману (эпиграф к статье о нем), он «иначе и не может», и даже в частной корреспонденции у него строки «журчат, поют, – не разберешь что», – и он все «оглядывается в зеркальце». «Зеркальце» дает внешний очерк и не может открыть ему главной истины о себе, что в нем не содержится вообще никакого живого сердца, а лишь скрыт искусный виола-граммофон. Певучий инструмент, хорошо выверенный, «по нотам» и со штифтиками, каждый на своем месте. Великолепная писательская машина, могущая устроить благоденствие своему обладателю. Напр., он ищет перед «либералами», – обвиняя Белинского в том-то и том-то (все скрупулезно собирает): но ведь общий строй его мыслей, его чистая эстетика и чистая философия, – держат далеко «за горизонтом» политику, и тогда «что ему Гекуба»? Аполлон Григорьев и Страхов, живые люди, и писали – «что нам Гекуба». Но не таков виола-граммофон: он должен пропеть «всякую пластинку» мелодично. Да: Белинский от одного отрекался, к другому рвался. Наоборот, «всесторонняя» виола поет и Плевицкую, поет и Мазини, и то говорит сказку, то читает диссертацию. Из всего получается «закругленный Айхенвальд». Не придерешься. «Во всем умен». И – эстетика, и – политика. Притом не «сперва» и «потом», а «все сразу». Вот пословица говорит: «На весь свет пирога не испечешь». Но Бог смиростивился и испек нам «Айхенвальда».

Держите, господа, – скромную, чистую, трудолюбивую русскую критику. Она вся загнила... Любите просто истину, любите *другого* в критике, а не себя, критикующего. Это – маяк, один и верный. Критика – это бескорыстие; единственный род литературы без отравляющего «я» в себе. Посему-то она на высоте служения – святая область. Где «я умираю» для «другого».



1915 год

В НОВОЛЕТИЕ 1915 ГОДА...

Не тесня фактической истории и не приноравливая ее к определенному дню, мы должны сказать ту правду, какую чувствует вся Россия: что уже с 19 июля мы вступили в какую-то небывало *новую годину* народного государственного и нравственного существования, и весь этот год для нас – поистине одно *1 января*, раздвинувшееся на 180 дней старого 1914 года и приблизительно имеющее раздвинуться на такое же число дней наступающего 1915 года! Мы оживлены, поздравляем друг друга или обмениваемся торопливыми горестями и торопливыми тревогами все это время – как в *Новый год*. *Новизной* полна душа, мысль, общественные и государственные сборы, общественные и государственные готовности и приуготовления. Весь год – «в походе», не физически только, а и духовно. А когда «в походе», кто считает сегодняшний и вчерашний день: всем дойти бы до *цели*, до *конца* и отдыха. И вот об этом приходится погадать нам 1 января 1915 года.

Как все *кончится*? Как *хотелось* бы и *нужно* бы, чтобы все кончилось?..

Все полно страшных физических, военных напряжений... Впереди России дерется ее могучая армия, дерется у границ Германии, дерется у предгорий ветхого в истории Арарата, где, по сказаниям Библии, остановился Ноев ковчег: и сердце как-то радуется, что земля наша, начавшаяся с маленького удела Рюрика, Синеуса и Трувора, ныне необозримо раскинулась на две части света, являлась первым по величине *сплошным* царством под единым скипетром и под единою короною. Велика Русь – и есть за что постоять. Обильна Русь – и есть тут для кого поработать и над чем поработать. Потому-то и дерется смело и умирает героически русский человек, что воистину он защищает великий удел Божий на земле, великую землю и древнюю историю, не без попечения Божия выдвинутую вперед на такое положение среди земных царств. Попечением Божиим росла русская земля, и попечением Божиим она достроится до какой-то своей последней цели, последней мысли...

Мы, наше поколение, – средние пока, промежуточные. Мы чувствуем только уже по физическим размерам царства, ныне превосходящего древнюю Вавилонию и Персию и иные царства, на которых лежал Перст Божий, и которое уже в середине своей истории почти равняется Риму при его завершении и окончании, – мы чувствуем и вправе чувствовать, что это

неизмеримое царство, наше драгоценное Отечество, приуготавливается Богом к чему-то исключительно значительному и объемному. И не будет никакого преувеличения, если мы скажем, что Гогенцоллерн со своей трехсотлетней Пруссией кинулся на Россию, как юнкер-мальчишка – на старого солдата с седым усом, прошедшего на веку много походов... Мальчишеский наскок кончится, как ему и долженствует кончиться. Не столько мудрецы, сколько хитрецы Пруссии не рассчитали, что великие и прочные стены истории складываются медленно, долго, тягуче, терпеливо; а эфемерные в ней постройки, хотя бы головокружительной высоты и эффекта, уже по самой быстроте кладки – недолговечны. И уже теперь как-то брезжится впереди, что царство трех императоров Германии – такой же случай и эфемериды, как империя Наполеонидов.

И культурное властительство, претензии и часто только культурная наглость Германии и немцев более мерещатся нам опасными, нежели есть на деле угрожающе велики. Пока деньги из России высасывала Германия и из русских высасывали некоторые инородцы, Россия, естественно, была бедна, русские, естественно, не были богаты, – ну а при бедности не развернешься на экономическом поприще. Так произошел экономический захват России Германией и инородцами. Миллиону никогда не соперник рубль. Но едва и Государство наше, и русское общество, все вместе и каждый порознь, остановили на этом предмете свое внимание, мы не будем более выпускать *русскую работу из русских рук*, медленно и стойко будем все возвращать в свои руки, начнем *внутреннее собирание Руси*. Мы не то чтобы были *в корне* бедны: но мы все растеривали сами, все разбрасывали сами, – небрежничали около неистощимых богатств своей земли, – и от этого *казались* и *кажемся* бедными. Все это – временно и случайно. Как только поднимутся русские руки к работе – ни немец, никто другой нам не будут страшны.

Великий нравственный и идейный крах Германии в эту войну не может не отразиться крахом и материальным. В вещественном хозяйстве так же нельзя быть циником, как и в душевном своем хозяйстве. Циничного эксплуататора всякий станет остерегаться, – и эта настороженность всех вырастет в грозную стену перед германцами, которая не пропустит «дальше» их успехов... Эти успехи росли на почве нашей бытовой и государственной распущенности и доверчивости. И раз им будет положен конец, немец везде получит могучее «стоп» перед собою.

Но это – важная, однако не первенствующая сторона нашего русского возрождения, о котором хочется и уместно говорить в Новый год. Отодвинув перед глазами своими германский заслон, Россия шире взглянет вокруг себя. Было вековым недостатком, что вместо «Европы» мы все время смотрели и видели перед собою одну «Германию», смешивая ее частную образованность и культуру с мировой европейской образованностью и с христианской культурой. Да и этого мало: мы забывали *себя*. Построя мысленно историю и стараясь угадать ее ход в будущем, мы вечно выкидывали

из счетов и соображений те огромные залогов, которые явно находятся в почве Русской земли, в сокровищах русского народного духа. Это было почти сплошное ошибкою русского XIX века. Мы сплошь приняли и считали $\frac{1}{6}$ часть земной суши, занятую нашим царством, как место только *пересадки* западных произрастаний, западноевропейской растительности.

И вот, думая о «русском возрождении», невольно думается об этом *народном возрождении*, которого хотелось бы пожелать в новолетие, 1 января. Да оно и приходит, оно уже поднимается волной, — и с ним связаны лучшие русские чаяния. Война вызвала огромное молекулярное движение в населении. Как никогда доселе, частицы одних классов, одних сословий и состояний, трутса о частицы других классов и состояний. Происходит масса *нового узнавания*, — в окопах, в лазаретах, в случайностях битв и похода. И видно везде, как именно высшие классы, обеспеченные и образованные, склоняются перед правдой и простотой русского народного духа. Перед его смирением, готовностью к жертвам, перед терпением и мужеством. Ныне вся образованная Россия поступила в некое «народное училище», в «сельскую школу», — и, Бог даст, выйдет из этой сельской школы другою. Вот одно из главных наших пожеланий в Новый год, одна из главных наших надежд в новолетие 1915 года.

Русь — не малый край самой Европы. «Европейское просвещение» вовсе не полно без «русского просвещения». Около этого *русского просвещения*, которое было у нас до монгольского ига и просто лежит в стихии русской души, — мы должны стоять твердою стражею. Понимание этого *русского просвещения* как особой стихии в *европейском просвещении*, — особого в нем *течения* и особого *корня*, — мы читаем в адресе английских писателей, обращенном к русскому обществу и к русской литературе. Оно очень знаменательно, это обращение. В нем впервые прозвучало с западной стороны признание особого света с Востока. Это — свет славянства, славянской стихии, славянской души. В чем же он? В новом совершенно взгляде на человека, на человеческую жизнь, на грех, на совесть, на судьбу. Все *моральное мировоззрение* славянства и православия *совсем другое*, нежели мировоззрение романо-германское, католическое и лютеранское. Оно мягче, человечнее, душевнее, — оно универсальнее, объемнее. Удивительная текущая война все это обнаружила. Она обнаружила эту разницу и в откровенных мотивах своих, и в ужасающих формах течения своего.

Русь становится *на свои ноги*: вот наше главное чувство в Новый год. И пусть она встанет на них *крепко* в этот год, — вот наше пожелание. «С нами Бог», — вот простое и ясное сознание, которое да осенит и это чувство, и это пожелание. Скромно, но и неуклонимо выходит солнышко русское из-за германских туч. Ни Гогенцоллерн, ни его озверевшие легионы этого солнышка не заслонят.

Его уже увидели. «Перекрестимся», православный люд, в этот Новый год. Всем — доброго здоровья и ясного разумения.

(К заседанию в Сорбонне, посвященному латинской культуре)

До христианства все культуры были *единично-племенными*. Египет, Вавилон, Персия, Греция, Рим преемственно принимали на свои плечи миссию – светить миру, освещать мир, окормлять его и духовным и вещественным хлебом. Вне такого народа-светоча лежал варварский мир, грубый мир, которому дано было удивляться и следовать за народом-избранником.

Европейская или христианская цивилизация, в противоположность этому древнему языческому миру, – *многоликая*. Латинский, германский и славянский миры почти в равной мере или равно количественно выражают собою единую христианскую цивилизацию.

Общий стержень, общая мысль и идеал ее – Христос, Евангелие.

Из *много-личия* христианской цивилизации вытекает общий закон ее – *уступчивость*. Все языческие цивилизации были до известной степени *абсолютны* не по качествам, а по претензиям. Они были абсолютны в самонадеянности. И это просто было последствием факта: «Я – один свечу миру». «Мы, эллины, – одни *просвещены*», «Я, Рим, один *объединяю* мир». Даже языческий Китай – и тот именует все племена «белолицыми дьяволами», а себя – «Сыном Неба». То же древние евреи: «Мы – *избранный* народ Божий». Везде абсолют, полагание *себя* в центре всего... Христос указал народам впервые – скромность; указал *смирение* именно тем, кто примет *Его* учение...

И смирение это вытекает просто из конечности, слабости и греха вообще состава человеческого, вообще всякого «я».

Лица – понизились; над ними всеми – бесконечный дух Божий.

Обращаясь к выражению каждого порознь лица: латинского, германского и славянского, мы заметим, что латинская цивилизация более, ярче и настойчивее всего выразила *историческое, религиозное и вообще всяческое* единство рода человеческого. Папский католицизм, папский универсализм – вот ее главное дело, миссия и мысль. В значительной степени это унаследовано от Рима с его могущественным и неповторимым «*volo*», «*хочу*». Здесь, конечно, выражена та мысль Евангелия, что Евангелие «для всех», что Христос пришел «всех заключить в спасение». Но мысль эта выражена в чрезвычайно волевом, повелевающем оттенке. Если мы вспомним из гимназических лет латинскую грамматику и ее своеобразные *герундии* и *супины*, каковых вовсе нет в других языках, то мы почувствуем, что уже в говоре латинских крестьян, патрициев, разбойников и пастухов был заключен этот волевой элемент в несравненном напряжении. Латинский глагол имеет специальные формы, специальные окончания для выражения *движения к цели* и для выражения *долга, должного*.

И прекрасно, и недостаточно. Хорошо всем «вместе быть», но – «насильно мил не будешь». Эту вторую аксиому вечно твердит православие католичеству

в тысячелетней борьбе с папскими притязаниями. Кому нравится столица, а кому – усадьба. Рим и папы сели в некую *столичность* для всего мира, рассматривая страны, города и народы как свое подножие, орудие и средство. Славяне же и раньше их греки выразили исключительно провинциализм истории, господство области над городом. Россия представляет единственную страну до некоторой степени со *странствующей столицей*, – со столицей, передвигаемую по мере нужды: Новгород, Киев, Владимир на Клязьме, Москва, Петербург–Петроград. Даже и *имя* – странствует. Все неустойчиво. Зато устойчива страна, весь, село, народ. Лег на печку, лапти куда-то забросил и дремлет 1000 лет. Но замечательно, что *без средоточия*. Где столица эллинского мира? Ее *не было*, и она *неведома истории*. Тарент, Кротона, Сиракузы, Афины, Спарта, Коринф, Пергам, Эфес, Милет... Это какое-то «кровообращение», а не «мозг». И вот – православие, где «папы и в помине нет», где все – дьячки, отцы-дьяконы и самых небольших размеров попы и где «меняется» или «странствует» самая форма правления и даже наименование этой формы («митрополиты», «единый патриарх», Св. Синод). Ничего «не держится», зато все «живет». Так и сказано или предсказано: «Всякое дыхание да хвалит Господа».

Внешнему объединению через *мощь*, которое выдвинула латинская цивилизация, славянская цивилизация противопоставляет внутреннее – *согласие*. «Противопоставляет»... Но почему не сказать – «дополняет»? Славянская цивилизация относится к латинской, как внутреннее содержание к внешней форме; пожалуй, как *сердце* к *мозгу* во всемирном организме. Все это довольно очевидно из общего очерка судеб этих племен, из океанических течений всемирной истории...

Германия? «Германская цивилизация»? Странно, что приходится ответить о ней:

– *Специализация*.

Германия внесла в мир великий дар *специализации*. «Как специалисты» немцы первые во всем: в науке, в технике, во всем. Немцы не только не дали миру чего-нибудь подобного католицизму и папству, с этим универсальным охватом мысли и воли, но, напр., в строительстве государства они не дали *теоретиков*, подобных Монтескье, Руссо и Токвиллю. Латинский ум всегда направлен к общему, германский всегда направлен к специальному; итальянец или француз, будь он монархист или революционер, верующий или атеист, вечно строит «папу». Таковы были и религиозные утопии, и специальные фантазии людей латинского корня. Немцы же всегда строят исследование о каком-нибудь насекомом, о греческой частице («σν») или составляют специальный «Словарь к Цицерону». Подробность – умопомрачительная, а общей цели – не видно.

Специализация, однако, огромная *сила*; нельзя, однако, не заметить, что сила эта лишена *мысли*.

Ибо она лишена *объединения и конечной цели*.

Многие удивлены, что «первая в науках» Германия и начала теперешнюю войну, и ведет ее как-то бессмысленно. К чему эти зверства, восста-

навливающие все человечество против Германии? И кайзер, и население немецкое таращат безумные глаза и отвечают (это у них *напечатано*): «Чтобы нас боялись! Чтобы нас испугались». Странно: похоже на «китайских драконов». Зверства явно не способствуют победе, ибо обращены на мирное население; а солдат врага, готовых вообще умереть, идущих *в битву*, разве же может испугать жестокость?.. Нелепо, чудовищно и бесцельно.

Но написав два тома «Словаря к Цицерону» (я видел таковой) или о нервной системе у сороконожки – совершенно можно написать третий трактат: «О запугивании неприятеля через повторение на полях битв подвигов баши-бузуков» (пример *турок* в употреблении жестокостей на войне – рекомендовался фон дер Голц-пашою для германской и вообще для всех мировых армий).

Это – специализация. Можно побеждать: 1) тем-то, 2) тем-то... и в 12-х: жестокостью. И теоретик пишет «о жестокости» с прилежанием и терпением, как раньше писал о таракане и его нервах.

И они проводят столь же великолепно и всесторонне «жестокость», как единственно в Германии знают всесторонне и великолепно, как устроено ухо у таракана. Это не столько жестокость, не жажда крови и муки врагу, сколько «деловое рассуждение» ограниченного человека, сколько «последовательное применение» тупой мысли.

При взгляде на немцев «вообще» до того очевидно, что это – тупая нация, что как-то странно спорить об этом. Но она – тупая «с фокусами». А это – другое дело. «Немец обезьяну выдумал». Ни русский, ни француз, ни англичанин обезьяны не выдумает. Хотя нельзя сказать, чтобы это стоило «папы». У немцев – ум хитрый, фокусничающий, комбинирующий, видящий то, чего никто не видит, и придумывающий такое, чего никто не умеет придумать.

Но – без обобщения и вековой цели.

Едва этот ум, характер и душа начал отходить от христианства, а он, конечно, начал отходить от него с триумфами Ницше («Антихрист»), Шопенгауэра (поклонение буддизму), Тюбингенской школы богословов («Христос был человек») и физиологов-материалистов («души нет», «Бога нет»), – как он и возвратился в варварство, в какую-то лесную и степную грубость, хотя и продолжал машинально читать, копаться и компилировать в мириадах томов своей учености по всем специальностям. «Все науки цветут», а «простого ума» нет. Вавилонская башня учености, – естественно недостраиваемая, потому что куда же ей достраиваться. Идея «цели», – философской и универсальной, – вообще чужда германскому уму. Не Бисмарку ли принадлежат слова: «Побежденному мы оставим только глаза, чтобы ему было чем плакать».

Умен ли был человек? О, конечно – первый из немцев. Но расовая ограниченность и на нем сказалась. «Друг мой, зачем же тебе столько слез человеческих?» Как только немца спросить «зачем?», «для чего?» – так он растеривается и беспомощно озирается. «Вы хотите знать, для чего таракан»

ну дано такое ухо? Но я же вам показал, *какое у него ухо*». Здесь кончается германская наука и до известной степени германская цивилизация.

Вся Европа «соединенными усилиями» выражает и истолковывает Христа и Евангелие, прочее – подробности. Германский «гений» и ушел в эти «подробности» с присущей ему специализацией, а о главном забыл. С Ницше, Шопенгауэром, тюрингенцами и физиологами-материалистами – он, конечно, забыл о христианстве. Таким образом, немцы потеряли «европейский смысл» в себе, и вот от чего они со «специальной смелостью» противоположили себя всей Европе. Германия – не Европа, т. е. душевно, внутренне. Она только этнографически – Европа, «индоевропейская нация», по классификации их же ученых. Но самый стержень европейского духовного развития (христианство) выпал из нее. Германия действительно исторически падает, теряя именно тот специальный идеализм, на котором, как на дрожжах, «поднялось» все тесто Европы. Теста много – подняться не может. Людей много – а духа нет. Что особенно страшно, то это то, что немцы со своими «специальными интересами» и «специальным устройством души» и с вечно выдумываемой «обезьяною» и прочими фокусами – никак этого не могут уразуметь, никогда не смогут взглянуть на свою, уже давно не умную и давно бессильную мысль. Просто невольно скажешь – бедные немцы.

«Везде колонии» – и отовсюду гонят.

«Отстроили чудовищный флот» – и спрятали в какой-то щели.

«Самый талантливый и разговорчивый кайзер» – и разрушает все, созданное до него...

«Гороховая колбаса» – и никто ее не ест.

«Первая нация в мире» – и все со смехом указывают:

– «Где у нее *голова*»?

Вот что значит попытаться жить без «обобщений» и без «цели». Бисмарк, Бисмарк, – зачем тебе столько крови? Ты даже не можешь съесть ее? Ты просто ее проливаешь на землю. Но поистине кровь – не вода, и ты и «твой» – вы получите отмщение.

Н. В. СОЛОВЬЕВ. ИСТОРИЯ ОДНОЙ ЖИЗНИ.
А. А. ВОЕЙКОВА – СВЕТЛАНА

В книге I «Русского Библиофила» за 1915 год.

В «Русском Библиофиле», – каждая книжка которого так радует глаз, вкус и любопытство читателя, – начат печатанием архив Воейковой – Светланы. С нее, этой Воейковой по мужу, Протасовой в девичестве, Жуковский взял образ своей «Светланы», и это имя удерживает Н. В. Соловьев в своей статье, предпосланной печатанию «Архива» – «История одной жизни (А. А. Воейкова – Светлана)». В архиве ее находится много не изданных доселе стихотворений В. А. Жуковского, Языкова, Козлова, – и множество прелест-

ных домашних рисунков, каковыми *эта* Светлана и *такие же* «Светланы» начала XIX века украшали свои пожелтевшие сейчас и священные для потомства альбомы. Все это, конечно, будет издано автором статьи и вместе с редактором «Русского Библиофила», Н. В. Соловьевым, с его обычным мастерством и рачительностью, для «пользы и чувствований доброхотного читателя», как выражались в старину. Скажем два слова об издании подобных «бумаг», «альбомов» и прочей пожелтевшей, казалось бы, «дребедени»...

Да это и есть *настоящее начало настоящей истории литературы*, – которая, наконец, освободится от кургузых «характеристик», критического «философствования» и всяческого пошлого о ней «размазывания», встав вся сверкающая перед зеркалом и говоря: «Вот – я». «Зеркало», – именно эти «бумаги», «бумажонки», записочки, письма, дневники, – самих же писателей или ближайше-родственных и ближайше-дружественных к ним лиц и семейств. В предлагаемом к опубликованию архиве живет маститый для нас певец «Светланы» (Саши Протасовой), тогда романтический юноша, дававший сестрам-подросткам уроки, живший у них в имении Муратово и много лет влюбленный в ее старшую сестру Марию, выданную впоследствии замуж за дерптского профессора и врача Мейера. Причина их разлуки и трагедии заключалась в том, что мать невесты не соглашалась на брак поэта с любимым и любившем его девушкой, так как Жуковский был воспитанником от купели ее младшей сестры, этой Саши – «Светланы». Статья украшена превосходно сделанными портретами.

«Архив» принадлежал, был тщательно сохранен и разобран внуком Протасовой – «Светланы», графом Н. А. Бреверн-де-ла-Гарди, и в настоящее время находится в распоряжении редакции «Русского Библиофила». Последний оказывает новую ценную услугу русскому образованному обществу и истории русской литературы. В 1-й же книжке за 1915 год продолжается печатание интереснейших «Записок кн. И. М. Долгорукого», поэта конца XVIII и начала XIX века.

К ОЖИВЛЕНИЮ МЕСТНОЙ СТАРИНЫ

Одна из лучших и наиболее благородных сторон последних годов нашей умственной и книжной жизни – это пробуждение повсеместно в России интереса, знания и уважения к своей губернской и уездной старине, к своей усадебной старине, – вообще ко всему, что «выросло *тут на месте*» и сложилось красиво или к чему прикоснулась рука достопамятного в истории человека. Обобщение – враг истории. Ибо действительная-то история полна сока и крови, а обобщение – всегда бледно, и обычно в нем играют фантазии и самолюбие обобщающего человека. Как *совершилась* история? Да люди просто жили, работали, любили, ссорились, воевали: и от всего этого век за веком падали на матушку-землю паутинки одна за другою, – и образовали на ней налет чего-то седого, старого, душистого, одухотворенного, дорого-

го. Хорошо это или худо, мало или достаточно, но история вообще похожа на образ старого дома, — в отличие от новенького, который еще не пропах воспоминаниями и драгоценными мелочами. Новый дом — всем чужой; вот его отличие от старого дома, который дорог всем его жильцам и потомству этих жильцов. Так и исторические страны и города. Каждый имеет что-то особое, пахучее в себе, ни на кого не похожее; и это «особое пахучее» держится века, — держится в привычках, в образе жизни обитателей, в возникающих и забываемых «частушках» и песнях, в легендах, в «избранных» воспоминаниях, в архитектуре. Еще не так давно этого скорее стыдились и это прятали местные жители. Теперь это собирают, любят и хранят; этим — гордятся.

И самое лучшее и драгоценное, конечно, если за это берутся *местные жители*. Для всякого «тутошнего жителя» высшее и нормальное образование заключается в просвещенном понимании и просвещенном соучастии «тутошной жизни». Вот распространение этих-то местных интересов и составляет драгоценную черту последних годов. Как в XIII веке каждый город заводил свою «летопись», так в XX веке каждый город хочет иметь свое «Описание», с изображением своих церквей, замечательных построек, замечательных усадеб, и все это — с объяснениями историческими и художественными. В этом движении, естественно, историк пошел «в один шаг» с художником, — и иногда они слились в одном лице. Такое счастливое соединение в наши дни нашлось в г. Лукомском, с его деятельным, любопытствующим умом и любующимся глазом, который, «не засиживаясь на одном месте и над одною темою», как бы создан для теперешнего физика местных археологических изучений, и дал уже в длинном ряде книг, книжек и брошюр ряд изящных очерков наших старинных северных, преимущественно поволжских городов, пригородов и пр. Если не ошибаемся, полурусский, полуполяк, житель и питомец Орла и Орловской губернии, он несет в себе любовь и интересы русские и приемы умственной работы — польские: быстрое движение, пыл в замысле, накидывание тем, очерков, вопросов, задач, без длительной и кропотливой разработки каждой темы. Эти приемы выразились и в громадном труде его — «Античные театры и традиции в истории эволюции театрального здания»... Он — быстроходящий; ум его — беглый; привязанность и любовь — не вечная и не одна. Но тем лучше и нужнее все это в предварительной стадии работы, где «засидеться на одном месте» — значит погубить сложное, многоголовое, собирательное дело. Лукомский превосходно возбуждает, обобщает, заинтересовывает и влечет к себе и за собою других.

В прилегающих к Северной Двине и Ледовитому морю городах образовался «Северный кружок любителей изящных искусств», который в 1913 году организовал в богоспасаемой Вологде чтение лекций по истории архитектуры в России, в связи с описанием современного состояния этих памятников. К чтению-то этих лекций и был приглашен Г. К. Лукомский. В силу указанных приемов его работы, счастливо совпавших с талантами и призванием многих местных деятелей названного «Кружка», началось собира-

ние материала для целой книги о вологодской архитектурной и вообще художественной старине. В этом собрании деятельное участие приняли: председательница «Северного кружка» Е. Н. Волкова, дочь местного городского головы, С. С. Перов, И. В. Евдокимов, Н. С. Серов, С. Р. Эрнст, К. И. Беляев, Л. А. Коноплев, Ю. Ф. Лузан, Л. А. Масленников, В. И. Никуличев, Е. К. Саблин. Труды и изыскания их не могли бы и осуществиться без помощи местной духовной власти. К счастью, вологодский владыка, преосвященный Александр, вошел с живым участием в работу этих местных археологов и с таким же участием и интересом отнеслись к ним местные предводитель дворянства и городской голова. Таким образом, все вологжане дружно взялись за воз, и воз – тронулся с места и с богатою кладью докатился до Питера, где изящно издан во «всероссийское удовольствие».

Книга о Вологде, любопытная для всех россиян, знающих, помнящих и любящих этот северный городок, станет настольною для самих вологжан. А вологжане, в лице членов благородного «Северного кружка», дали пример и образец «тутошним жителям» всех бесчисленных российских городов и весей. Работайте, господа, – умно и художественно работайте! И наша прекрасная старая Русь выйдет из мрака и несправедливого забвения, когда на нее зорко и внимательно устремятся глаза местных учителей из-под золотых очков и синие, серые и карие глазки местных патриотов.

МОНОПОЛИЯ АПТЕЧНОГО ДЕЛА И АПТЕКАРСКИХ ТОВАРОВ

При обдумывании, какие именно *монополии* можно было бы ввести для возмещения потери дохода казны от винной монополии, следует быть осторожным с теми видами торговли, которые уже давно исторически сложились, и сложились *хорошо*... Торговля и промышленность – громадные факты и факторы образования, культуры. Хорошая меховая фирма, хорошая кожаная фирма, хорошая хлебная фирма, да это – красота и честь города, села, пригорода, речного района. Да об этом не надо говорить: конечно, «цивилизация» – не одни же книжки, газеты и журналы, не одни клубы и разговоры в клубах. Хорошая лавка, хорошая фабрика, мастерская – та же «страница» текущей, волнующейся «цивилизации», как и разные другие проявления культуры.

Правительство наше это хорошо понимает, и с Петра Великого – «честило» купцов, фабрикантов, заводчиков: и медали, и звания, и все. «Господин купец» – не малая птица в отечестве. Они – храмоздатели, строители богаделен и больниц. Этого тоже нельзя забыть. Хотя, конечно, главное – товарообмен, «вещественное движение», какое они совершают.

Купцы – как мускулы в теле. Ими «бежит» отечество, борется, отражает нападение. Физическая сила отечества – не военная, а мирная сила – для «домашнего употребления» почти вся в купцах и заводчиках.

Но вот «монополия», которая сама мечется, – фармакопоя. Прямо – *испорченное дело*, дело, приведенное через какие-то темные обстоятельства в смешной вид. Оно все – *нерусское*. Впечатление такое, как будто русские *не пущены сюда*, как это бывает с «одобрением учебников», когда некоторые, притом превосходные учебники, «не пускаются на рынок», хотя, казалось бы, каждому «*свободно предоставляется составлять какой ему угодно учебник*». Свобода-то свобода, а с другой стороны – «никак нельзя» или «ничего не выйдет»...

Вот и думается: до такой степени естественно подумать о *государственной монополизации торговли лекарственными веществами*.

Для страны такой неизмеримой, как Россия, давно следовало подумать об основании *Фармакологического института*. Это просто *упущено*, забыто за другими хлопотами, и достаточно на эту область указать, чтобы решительно каждый понял, до какой степени это естественно, необходимо и, наконец, для государства будет *выгодно*. Аптечная торговля приносит до 50% чистого дохода; наряду с аптеками в руки государства должны, конечно, перейти и аптекарские магазины, – причем последние составят, так сказать, первейшую и простейшую ступень к занятию мест и должностей в аптеках. Фармакологический институт должен быть обставлен обширно стипендиями, дабы быстро привлечь туда бедных учеников; и стипендии эти должны даваться представителям коренного населения, – преимущественно. Вообще пора подумать, пора государственно и исторически позаботиться, чтобы русский больной имел у себя на столике с лекарствами – изделия русских рук, своих рук.

Изделия эти, нельзя не заметить, страшно испорчены, недоброкачественны, что не видно в столице, а из глухой провинции не всегда сюда «напишут». Мне приходилось жить два года в маленьком уездном городке Смоленской губернии, Белом, – с единственной в ней аптекою Лунца. И вот, – конечно, не было средств и знания проверить другие лекарства, но *хина г. Лунца не была горька*, а лишь слегка горьковата. Все знали это, все смеялись, – но слава Богу, что не было у смеявшихся и знавших тяжелого больного. Но при тяжелом больном или легком больном, – все равно ничего нельзя было поделаться. И около постели тяжелого больного пришлось бы горько, горько плакать. «Ничего нельзя сделать, – вместо хины, очевидно, продается толченый мел, с слабой примесью, может быть, и хины». Но даже и в Петрограде как только тяжело больной, – врач указывает взять лекарство в трех-четырех избранных аптеках, а отнюдь не «тут поблизости», т. е. не *зауряд в каждой*. Совершенно нельзя спорить и, очевидно, по этому *выбору* самих врачей, что аптечное дело у нас испорчено как в смысле служебного персонала, так и в смысле недоброкачественности или слабокачественности товара, продукта.

Около здоровья всего русского народа!!! Можно ли это *допустить*??? «Предприимчивость» – лучше всего, когда она идет из частных душ... Но и «идет» – мало; а когда она «бежит», «стремится», – вырывается с шумом

и силою. А если она сочтена чуть-чуть?.. Невозможно ждать!.. И если холодный сон несносен у частного человека, с которого и взыскивает за это только своя семья и близкие люди, то кто взыщет за этот холодный сон у государства? А кто-то взыщет и с государства, и взыщет тогда, когда поздно и нечем будет уплатить.

Время петровской «дубинки» прошло; ну а потормозить за шиворот – и до сих пор не мешает. И обыватель вообще нисколько не в претензии, когда его будят и тормозат, и он гораздо нетерпеливее становится, когда правительство, которое должно быть «начеку», выказывает его же обывательскую склонность ко сну. Обыватель хочет «за себя» спать, но требует, чтобы отечество бодрствовало.

ПАМЯТИ ФЕДОРА ЕВГЕНЬЕВИЧА КОРША (1843–1915 гг.)

Стар человек, и все как будто ожидают смерти его: но смерть – всегда необыкновенна, и из всех уст вырывается «ах», несется удивление и жалость, когда виновница небытия нашего скашивает его и делает недвижимым из движущегося, бездумным – думавшего и лишенным всяких украс того, кто был украшен сединой и всякой прелестью человеческой старости. Ибо старость имеет красоту свою, не меньшую, чем юность, и только своеобразную.

Умер Федор Евгеньевич Корш, великий лингвист Московского университета. Уже в 1882 г. о нем говорили, что он знает четырнадцать языков, древних и новых, а с тех пор он, вероятно, узнал и изучил еще и другие языки. Об истории его ученических лет мне пришлось слышать от кого-то из его товарищей по учению и профессуре, чуть ли не от покойного Ив. Влад. Цветаева, что в гимназии или в пансионе, где он проходил среднюю школу, были весьма затруднены дать ему диплом, так как он решительно не усваивал целой группы наук, чуть ли не математических, и лишь натянув все «возможности» и прорвав все «формы» – выдали диплом, необходимый для поступления в университет, – ибо были замечены его необычайные дары к языкознанию. Едва прикоснувшись к университету, он уже «пошел» или, вернее, «полетел» сам, – в сфере любимой, легкой, как бы внутренне понятной и известной ему от рождения. Есть такие априорные предрасположения, вещающие уже в младенчестве гений. Фед. Евг. Корш был действительно гениальным лингвистом, который *вбирал* в себя древние и новые языки, питался ими, поэтизировал и иногда фантазировал в них, как в своей родной стихии, как рыба в воде и птица в воздухе. Посетив для приготовления к профессуре Берлин, – он изучает в тамошней библиотеке манускрипты и другие памятники вымерших теперь славянских племен, населявших когда-то Пруссию. Приехав по делам *ученой* службы в Одессу, он поражается многообразием этого юж-

ного русского города, – и для этого временно переходит профессором в Новороссийский университет. Словом, чужой говор, новый говор поднимал в нем крылья, как воздушный океан поднимает крылья птицы или как военный призыв заставляет вздрагивать и нестись кавалерийскую лошадь. Тут что-то «родное» между природою ученого и стихиею человеческих языков.

Корш – весь москвич. Он родился на Страстном бульваре, в доме университетской типографии, так как отец его был редактором «Московских Ведомостей», которые от него перешли к М. Н. Каткову. Грановский указал его родителям отдать мальчика в пансион Р. И. Киммермана. Семьи Станкевича, Кетчера, Герцена, Чичерина, Рачинских, С. М. Соловьева, этих корифеев 40, 50 и 60-х годов, – были домами, где прошло отрочество и юность Фед. Евг. Корша. И сам он в годы 70, 80 и 90-е, в годы 900-е был или соединительным звеном, или вечерним и ночным «зодиакальным светом» той деятельной и сильной эпохи для поколений новых и, увы, уже не столь университетски ярких...

Московский университет вообще гаснет. И поздний историк его вздохнет: «Где ныне Грановские, Кудрявцевы, Ешевские, Герье, – где Соловьевы, Буслаевы, Тихонравовы, Ключевские, – где у нас лингвисты, подобные Коршу и Фортунатову?»

Корш всегда был окружен студенчеством. Было в нем нечто неизъяснимое и неуловимое, что делало его обаятельным на кафедре и в личной беседе. Чудная простота, юмор и остроумие, бегущая возбужденная мысль, всегдашний запас любопытства и интереса ко множеству тем, вопросов, задач и загадок – все делало его умственным центром всякой умной среды. Он был точно прирожденным вождем и наставником учащихся и наук, книг и библиотек, манускриптов и живых говорков. Ученый и ученик – странно сливались с ним: так и в старости он все учился и учился, хватал и хватал новое. Так он был не только учителем, но и учеником виртуоза лингвистики, Ф. Ф. Фортунатова.

Кроме ученых изысканий, он много переводил: так, он переводил Пушкина на латинский язык стихом Горация, – Тибулла, Катулла, Проперция, Сафо – на русский язык стихом Пушкина или Гейне. В университете он читал и истолковывал греческих и римских поэтов, в Лазаревском институте восточных языков читал персидский язык и истолковывал персидских поэтов. Последней кафедры он не оставлял до конца жизни.

Он был почетным членом большинства русских университетов, почетным членом нашей Академии Наук.

Старое красивое дерево свалилось на Москве. И не скоро вырастет другое такое же. И вздыхает по нем многоязычная Русь. И говорят хвалу ему на бесчисленных языках ученые разных стран Европы. И долго-долго не забудется Федор Евгеньевич Корш, седенький старичок с большими волосами, небольшой бородкой и острым глазком. Ученики его – по всей России.

К СЪЕЗДУ ПОПЕЧИТЕЛЕЙ УЧЕБНЫХ ОКРУГОВ

Съезд попечителей учебных округов... со всей России... Новый министр народного просвещения... Министр, перешедший на новый пост свой из министерства *земледелия и землеустройства* и, как писали в газетах, затруднявшийся принять *министерскую* должность по тому мотиву, что «я, собственно, – хозяин и чувствую призвание к *хозяйству*, а не администратор, и не чувствую призвания к *администрации*». На взгляд, вероятно, очень многих людей – это есть прекраснейшие предсказатели будущего, – «добрые птицы, появляющиеся с *правой стороны*», как резюмировали свои наблюдения гадатели-авгуры у римлян. Если к этому прибавить то наблюдение, и притом главное наблюдение, что на пост министра просвещения был позван все-таки типичный и упрямый сельский хозяин, после этой ссылки на отсутствие у него талантов и призвания собственно к администрации, то обыватель может перекреститься и сказать: «Помилуй Бог, как хорошо».

Это ведь историческое несчастье, что русское училищное дело попало в большие и малые круги высшей администрации, – попало и поистине «завертелось» в них, как в речном омуте малая щепка или утлый челн, – что министерство просвещения и личность министра народного просвещения сделались боевою политической единицею, – почти мачтою, с которой развевается «флаг направления», и по нему гадают, «как вообще обстоят дела там», на вершинах общегосударственного управления. Этот худой симптом выступил на министерстве просвещения со времени приснопамятного управления им графа Дим. Андр. Толстого и с тех пор никак не может исчезнуть. Лозунг «Против нигилизма» был тогда естественною задачею всего государственного управления; «против нигилизма» шел министр-государственник, будущий министр внутренних дел; и «против нигилизма» он двинул школу, гимназии, университет. Но так как нигилизм есть все-таки «дух», хотя и помраченный, то его никак нельзя было «выгнать в двери», ибо он обратно «влетал в окно»... Во время Толстого и после него нигилизм изгонялся отовсюду, а нигилисты повсюду росли и множились, как грибы. Ужасное 1 марта совершилось после расцвета и, главное, после *окончательного утверждения* «классических строгостей» графа Дим. Андр. Толстого. Оно совершилось, можно сказать, в последний день его управления школами, как подводящее всему итог, как до некоторой степени *résumé* этого управления. Да это и фактически, судебно так: вершители 1 марта – все ученики «толстовской школы», с единственною разницею, что одни «успешно проходили курс», а другие «не успевали и были исключены». Учебная, училищная злоба лежала в каждом из цареубийц подпочвою политической злобы, политического негодования, политического презрения. Злоба и – полное незнание России. Школа Толстого была собственно пересадкою к нам прусской школы, прусских училищ, гимназий и учителей. Нужно ли вспоминать преподавателей-чехов с плохим русским говором?

Множество немецких фамилий, запестревших в списке директоров гимназий? И почти переведенные с немецкого уставы и весь режим гимназий, городских школ и университетов.

«Высокие административные способности», которыми вправе был гордиться гр. Д. А. Толстой, примененные не в министерстве внутренних дел, а в министерстве просвещения, привели к ужасному последствию: к нигилистическому перерождению почти всего сплошь учащегося юношества, отрочества, девушек.

— Чему вас учат в школах?

— Многому. Но результат один: все мы нигилисты.

Этот коротенький диалог выразил бы всю суть дела.

Все министры после Толстого, в сущности, только пытались «разделить» это ужасное дело, развинтить «худо завинченный винт». Все министры собственно боролись с «тенью Толстого» в министерстве и не могли ее изгнать. Дело в том, что министр-то был замечателен, деятелен и даровит.

Но... если бы это было *в другой области!* Он начертал уставы для гимназий, университетов, городских и сельских училищ, — «очень образованные», но... как бы их писал высококультурный рижский полицеймейстер. «Трудитесь! Работайте! Бодрствуйте!»... «Блюдите улицу, блюдите родительский дом!»... «Взяток не берите, толпы чтобы нигде не собиравось!.. Дебоша и выкриков — не потерплю».

Да. Для улицы — хорошо.

Но для школы — ничего.

Для Риги — совсем отлично.

Для России — никуда не годится.

Россия — она вся деревянная, сосновая,

С леском, с малыми и большими речонками;

С хорошей рыбкой в водах.

И рыбка — нежная, налим, стерлядь. Куда такую на полицейские крючки ловить? Россия не только не похожа на Ригу, хорошо мощеную, с домами каменными, с порядком везде, — но и *никогда не будет похожа*. Толстой рассчитал все на *терпение и повиновение*, решившись заставить русских мальчиков и девочек проделывать все то, что «могли же и могут сделать» рижские Карлы и литовские Амалии. Получились отвратительные результаты: вкусная стерлядь превратилась в зубастую щуку, бескостный налим сделался ершом, которого «не ухватишь». Нигилисты, везде нигилисты... Где же русский добрый мальчик, русская мягкая девушка, которых, посмотрите, как «по-своему» обрабатывают разные тоже «мягкие» на вид некоторые инородческие народности, «обрабатывают» самые поверхностные грошовые книжонки, самые дешевые и невежественные газеты и журналы.

Отчего мудрому министерству ничего не удастся?

Отчего «развращенному пропагандисту» все удастся?

Да пропагандист шепчет, нашептывает, а не кричит, не приказывает. Вот и разгадка. Министерство просвещения только «кричало» на юноше-

ство, на учителей, на профессоров. И «система приказаний и выкриков», сложная огромная сеть таких выкриков и приказаний, – и составляла суть «министерства просвещения» как «администрации просвещения», о которой новый министр так вдохновенно и провиденциально сказал:

– Я этого *не могу*...

– Не могу и не умею... Я, собственно, – *сельский хозяин*... Поле, лес... И пусть все *растет*; я только смотрю и помогаю. Где – удобрения подложу, где – полью...

О, если бы *так!!!*

Новый министр просвещения принял в управление *труднейшее министерство* собственно в момент, чрезвычайно отвечающий его прирожденным склонностям, как он сам их определил. Текущая война ознаменовывается всюду духом замечательного единства, слиянности, погашения ссор, потери границ между партиями...

Поистине минуты «умирения злых сердец», как читается в акафисте Божией Матери. Дай Бог не пропустить этих минут. Дай Бог умело использовать великий и, может быть, неповторимый исторический момент.

МЕХАНИЧЕСКАЯ РАБОТА

Министерство просвещения, как в самом *главном*, нуждается в *упрощении*.

В сущности задача его – чрезвычайно проста: но вот в простоте-то своей она почти и не заметна. Ее может понять и признать только мудрый человек, спокойный человек. Как только подойдет к школе очень деятельный и гениальный человек, особенно – в летах не очень зрелых, он непременно пройдет *мимо* скромной и естественной своей задачи и начнет «городить огород», конечно «новый», из которого России и ее училищам придется еще труднее выбираться, чем из теперешнего своего положения.

Как в управление Толстого, так и в управление всех его преемников министерство просвещения в целом итоге своем и в каждом порознь единичном деле только механически, объемно увеличивалось, но не росло. Оно пухло, но без беременности. Посмотрите, к чему сводятся все его предприятия, предназначения, планы:

1) Такой-то разряд училищ был трехклассный. Теперь он будет (с «завтра») *четырёхклассный*. Это именуется, положим, «реформой городских училищ».

2) Четырёхклассными они были (положим) до 1900 года, но потом они стали пятиклассными, т. е. были «вновь преобразованы» при таком-то заботливом министре.

3) В таком-то разряде училищ проходило семь предметов, но с такого-то года *прибавили еще физику и химию*. Министр старался, и ученый комитет министерства народного просвещения стоял на высоте положения.

4) Гимназий и прогимназий до такого-то года было 350, а сельских училищ 20 000. С тех пор, «в течение всего пятнадцати лет», гимназий стало 700, а училищ 40 000: министерство «преуспевало, как никогда».

Все это, если бы передавать дело языком училищных ревизий и «отчетов» об этих ревизиях, можно было бы выразить в простой формуле:

«*Прежде*, ревизуя подведомственные мне училища и знание в них русского языка, я задавал ученикам диктант в одну страницу, – *теперь* я задаю диктант в две страницы».

Министерство или попечитель округа, вероятно, спросили бы ревизора:

– А ученики, *как пишут*?

– Скверно, – ответил бы ревизор. – Все те же 10 ошибок на странице. Только теперь выходит 20 на двух страницах, – и самодовольно улыбнулся бы.

Улыбка министерства «от своих успехов» все та же, ибо: 1) «при двух новых предметах», 2) в «преобразованных пятиклассных училищах» и 3) ныне уже в 700 гимназиях «рождаются, плодятся и множатся»: 1) все те же кандидаты на «сходки» и «забастовки» в университете; 2) все те же читатели и читательницы Вербицкой, Каутского и Нат-Пинкертона, – юноши и девицы без дела, без знания и без таланта, и только – 3) с большим запасом ругательства в душе.

– Ругаем, презираем и ненавидим (нигилист).

Министерство просвещения, незаметным образом, находится вот уже полтора десятка лет в положении в сущности хронически увольняемого. «Долго ли продержится» и «скоро ли уйдет» – есть тайный вздох всей страны при каждом новом имени, которому отвечают и недолгие сроки их службы или их жизни. Как-то чувствуется, что фундамента не положено или фундамент вынут. Да в самом деле, если ревизор отвечает, что он «удваивает длину диктанта», не заботясь, что «потом» и что было «прежде», то что же и делать попечителю, как не уволить такого странного ревизора и с таким странным представлением существа ревизий.

Страна и ее мнение, конечно, не играют никакой определенной и учитываемой роли в «сроках» отдельных министерств. Но «что-то несется в воздухе». В сущности факт, почему «ревизор только удваивает диктант», – у всех на глазах, и все о нем шепчутся. В стране и во всеобщем мнении стоит удивление, «для чего такие длинные диктанты», когда в десяти же первых строчках видно, что ученики не умеют правильно писать и не знают грамматики.

Министерство двойит и тройит; складывает и умножает. «К данному числу прибавить две единицы»: в эту задачу укладывается вся его работа. Я сказал, что тучность его без беременности. В самом деле, после светлых имен Пирогова, Ушинского, Стоюнина – сейчас *ни одного педагогического имени!* Механическая и почти только нумерационная деятельность министерства – громадна, но вот уже сорок лет в России не рождается *ни одного роста педагогической мысли*. Педагогика утасла в России. Работает – машина.

«На машине» можно двойить. Есть какие-то «счетные машины», которые даже, кажется, «сами умножают». «Немец обезьяну выдумал», и «по

немцу» устроенное и немцами вдохновленное министерство, естественно, все «одевается в мундиры» и все «двоит» и «троит».

– Ах, хорошо бы сюда сельского хозяина, который сеет, поливает и собирает в житницы, – думала, вероятно, вся Русь давно. «Чиновником испорчено министерство», – это есть истина почти самоочевидная. «Порядка – много, а жизни – никакой...» Ну, а как именно в училище принцип *жизни и жизненности* есть объединительный, все около себя собирающий принцип, – то в результате всех «форм» и «муштровки», «мундиров» и «удвоенных» ныне программ, – завелся и «беспорядок». Хронически «удвоенное министерство» есть в сущности и очевидно «хронически беспорядочное ведомство», – не успокоенное, взволнованное, мятущееся: ибо не для всех ли очевидно, что «училищные беспорядки» есть единственная «постоянная черта» в истории министерства просвещения за полвека.

– Мы вам даем уже *третий устав*...

– Мы устраиваем *четвертую забастовку*.

Странный диалог между учащимися и их начальством. Те все стараются «об уставах», а студенты, гимназисты и, наконец, как показал всероссийский съезд народных учителей в минувшем году, не только не повинуются никакому «уставу», но решительно заняты в мысли и в воображении «преобразованием всей России на основании новых прав». Т. е. вводят «свои уставы». Вводят и даже диктуют.

– Мы букву **ѣ** не знаем, где ставить, и об **ѣ** – не радеем. Но зато если нас позовут преобразовывать отечество, то мы знаем, как это сделать.

Совсем плохой «диктант». Анархия училищная – это зрелище всей страны. Она то подавляется, то служит: но когда она умолкает, все спрашивают шепотом: «*На долго ли?*» Явно, что она постоянно *присутствует*.

В училищах-то?! Где самое естественное, простое дело, самое ожидаемое и неперменное, что мальчики и девочки, юноши и девицы сидят за книжками и беззаветно ушли в них. «Так все занимательно и ново». «От книжки» мальчика, девочку – не оторвешь. Сам видал, да кто же не видал. Собственно то, что творится в наших училищах, есть совершенно неестественное именно для училищ дело. Вот уж скажешь: «Невозможное – *сбылось*».

КАКИМ ТРУДОМ ТРУДЯТСЯ В ГИМНАЗИЯХ

Нужно все *упростить* – вот секрет. Механическими удвоениями и утроениями, все новой и новой работой, все «реформами» и «реформами», которые были «шагом на месте», министерство народного просвещения само испортило русские училища, – уже тем, что не давало им никогда *покоя*. Помилуйте: «программы», «направления», «уставы» меняются каждые десять лет; иногда в одно десятилетие – два, три раза. Это то же, что «полотеры в квартире». В танцевальном зале – да! пусть! Но введите полотеров в классную

комнату, в детскую комнату, — с задачками, с глобусом, с географическими картами, с пухленькими личиками детей; это ужас!

А «полотеры» все «натирали полы» в министерстве просвещения. Можно сказать — классическое место полотеров и сборный их пункт. Полы блестят, «уставы новенькие». Да ученики-то *разбежались*, вот беда. В единичном училище, как и в совокупности их (министерство), учение, образование и воспитание фатально приостанавливаются, если в нее или в него (министерство) вводится *перемена как постоянный элемент*, — в чем бы она ни заключалась, «к лучшему» или «к худшему». Полотер, даже самый лучший, — враждебен ученику. Пусть будет лучше сор, «не убрано». В засоренной и с беспорядком комнате ученик может превосходно заниматься, серьезнейшим образом работать. «Священная тишина» — это так идет к школе, это ее канон. Разумеется, — тишина не мертвая, не «приказанная», не «сверху» данная, как «повеление». А проистекающая из того, что все ушли в работу, в дело, в занятия, и, в сущности, «сора» не замечают, почему он и не вредит их душе, не «развращает» их — как по существу своему должен бы действовать сор и действует во всяком месте, кроме именно школы.

Училищный мир — тихий мир, бесшумный мир, счастливый мир. Это — такой его «канон», его же «не прейдеши». Сейчас я сделаю, с крайним неудовольствием, одну оговорку «в сторону». Но она неизбежна. По моему убеждению, училищный мир действительно есть *счастливый мир*, и когда дети не находят радости и счастья в училище, в которое бегут по утрам, — они бегут «Бог знает куда», а не в училище, — место *просвещения и воспитания*. Просто тогда *школы нет*, а есть кирпичное здание с вывескою на нем: «Школа». Но спросят: «Позвольте, вы говорите о знаменитом *облегчении*, вещи противной и сентиментальной, достаточно всем надоевшей и достаточно всеми осмеянной. Как же вы говорите, что училище должно быть *счастливым для детей*, когда в нем столько *труда* и дети должны трудиться, как и взрослые. Дети те же взрослые, с таким же долгом на себе, но лишь малосильные. Школа должна быть трудна, — увы, трудна! Ну а дети этого еще не понимают, а потому она должна быть строга и взыскательна». Тут идут экзамены, переэкзаменовки, баллы. «Извините-с, страх Божий есть начало премудрости, и в школе ему — полное место. Человек — уже *навшее существо*, он давно выведен и даже изгнан из рая. Нигде, а в том числе и в школе, счастью безмятежному и безоблачному — нет места».

Слишком общеизвестное суждение. Оно принадлежит самым серьезным людям, — *самым заботливым о школе*, — и я не только расположен его слушать, но, можно сказать, — это единственные люди, которых теперь, в текущую эпоху, хочется слушать. Где же моя аксиома: «Школа должна быть *счастлива для детей*». Однако не будь я патетически убежден в этой аксиоме, я за всю жизнь не написал бы ни одной строки о школе. «Не хочу писать о *несчастном месте*». И если школа врожденно и по закону есть несчастное место для детей, — страдальческое и трудное для них, — пусть не будет лучше «педагогики» и пусть чиновники одни и без препятствия делают «сие дело».

О пункте этом, о возражении этом я размышлял многие годы. И мне кажется, совершенно ясно его понял.

Не все люди «клянут» свой труд. Но ученики действительно «клянут свое ученье». Правда, в теперешнее время, к теперешним годам – оно значительно везде улучшено, и министерству тут принадлежит много чести, как много чести принадлежит и частным школам, которые усердно здесь работают, – в улучшении методов преподавания и прочее. Но «клятва» и «проклятие», хотя уменьшились, вдвое, втрое, вчетверо, – но существуют. Все облегчено для усвоения, учителя на уроках много и старательно объясняют, отношение к ученикам везде почти гуманное и мягкое, школьная жизнь и обстановка сделана интересно и полною оживления. *Плюс* есть, – и огромный. Но именно – «плюс» в обстановке. По существу и в зерне своем, от старого «проклятия» все же много осталось. *Свои* годы я помню как «проклятые годы учения», без единого благодатного луча. На детях своих я вижу, что они «со счастьем учатся» – прорезями, кусочками, моментами, предметами, кусочками курса или курсов. Но – именно «прорези», как кусочки синевы на облачном небе. Все же вообще «небо» облачно, свинцово, трудно, «вовсе не для детей». В чем же дело?

Есть «благословенный труд»: это – «мой труд», когда я «сам тружусь», – «для себя», а не «для него». А, – большая разница: труд в семье и на фабрике, труд хозяйки или хозяина дома и «для капиталиста». Увы: «школьный труд» есть весь для «капиталиста», коим является министерство просвещения, задающее «от сих до сих» на всю Россию. «От сих до сих» везде умерло, изгнано и сохранено в одном министерстве с его знаменитыми «программами», от которых «отступить нельзя». Велики же они настолько, что «едва вместишь в восемь лет». Что же происходит, и именно в школе, и единственно в школе? Позвольте, пусть дети и будут *серьезны, как взрослые*. Но ведь хозяин дома, *целый день занятый* около своего хозяйства, – не заболевает ни головной болью, ни неврастением, ни туберкулезом мозга, хотя ему и «поест некогда», до того «работы и заботы много». Почему? Где секрет? Поистине, с гордостью могу сказать, что разрешил секрет и ответил на трудный вопрос «серьезных педагогов», хотя «секрет», можно сказать, лежит под ногами и всякий понимает, да почему-то никто *не выговорит* этого ответа. Вот он:

– Позвольте, господа серьезные педагоги: ни один взрослый человек, ни же вы сами, не вынес бы *повторительно проделать над собою гимназический курс*, т. е. изо дня в день выучивать и вгучивать, по пяти разным предметам на каждый день, кусочками, ежедневно ничем между собою не связанными (алгебра и Закон Божий, напр.), приблизительно около тридцати или сорока книжек, тощих, как коровы голодного сна фараона. Не выучите, – ни один, – ни за что!!! Восемь лет, – господин тайный советник, – работы, вам абсолютно чуждой, «не вашей». А ведь нельзя же, чтобы была «моею» – и работа по алгебре, и работа по Закону Божию, и работа по русской словесности! Которая-то «одна»-моя; ну – две моих: но семь? десять? одиннадцать? Хороший офицер совмещает стрельбу и карты, хороший тайный совмещает

службу и амур, но может ли какой угодно тайный советник служить и работать, и с «усердием работать» (гимназисты): 1) в морском министерстве, 2) в министерстве земледелия, 3) в министерстве Двора, 4) в Святейшем Синоде и еще 5) в гидрографическом отделе, 6) в интендантстве и 7) в театральном ведомстве, читая и оценивая для представления новые пьесы.

Никто. Даже железный Аракчеев не вынес бы. «Устал! Не могу! Нет сил!»

А гимназист – может, а гимназист – должен. *До-л-же-н!!!* И – исполняет. Но только раз в жизни, но 8 лет, вот в эти гибкие и гениальные годы (творческие силы отрочества и юности) он исполняет эту чудовищную «службу во всех министерствах», чтобы потом во всю жизнь испуганно оглядываться: «Что это было тогда со мной». Трудно поверить, но мне, напр., до 50-х годов жизни снились, хоть по разу в год, – наши гимназические экзамены, и о том, как (к счастью) я «не учил уроков», а ухитрился с помощью подсказок «отделываться от них». Только этим я объясняю, что сохранил свежесть ума, впечатлительность и проч., свежесть сердца и совести, и вот тридцать лет *с любовью* и без утомления работаю, ибо в гимназии, «слава Богу, не учился» (отдельвался). Счастливый случай. Но в него почти никто не попадает. «Пройдя гимназию», человек на всю жизнь становится «ни к черту негоден», потому что в «гениальные-то отроческие годы» из него извлекли весь «сахар», как из свекловицы под прессом, – оставив ему «для своего употребления» безвкусные, бессочные, грубые волокна, с которыми он еще может быть «кой-каким адвокатишкой», с общими фразами, с шаблонными суждениями, без интереса прочесть какую-нибудь книжку, кроме Вержбицкой и Каутского, поиграть слегка в карты и слегка поухаживать. И – сон. Тяжелый, без сновидений, сон русского интеллигента, коему из мозга произвели когда-то «педагогические вытяжки».

Так вот, господа, в чем секрет или в чем «открытие Розанова»: что все мы имеем огромный труд и им *не утомляемся*, если это «свой труд», и тогда он непременно *связан* в частях и *един* по составу, по тону, по музыке, в нем скрытой (война – без земледелия и или земледелие без войны), тогда как ученический труд есть типичный арестантский труд, но арестантский в мозге, а не в мускульной работе, – и совершенно действительно непереносим или приводит к *кретинизации*, к психическому *отуплению*, безмозглости, безвпечатлительности, деревянности, – типичные черты русского и европейского образованного общества, где «славный Пушкин не зародится», да даже и «даровитого ученого, вроде Буслаева», не появится, а все будут «наши писатели и ученые», хорошо известные, и тоже «наши врачи», столь ошибающиеся и слепые, и тоже «наши адвокаты», где еще Плевако не покажется. Всеобщая бездарность. Всеобщее понижение психического уровня; зрелище, *одинаковое* в целой Европе, где все «школы и полотеры», «полотеры и школы», с равным старанием «натирающие воском» головы своих гимназистов...

Ну, что же тут «преобразовывать». Довольно мудрено...

Все пело, плакало, смеялось... балалайка, волынка, гусли... песня, вальс, церковное пение...

Кто же это?

В. В. Андреев и его великорусский оркестр.

Все было, как обыкновенно...

Т. е. исключительно, как у него...

«Народный Дом» бесновался...

Я вспомнил Годнева.

50-й (ЮБИЛЕЙНЫЙ) ПАТРИОТИЧЕСКИЙ КОНЦЕРТ М. И. ДОЛИНОЙ

Так же могуче и нежно и глубоко звучал сегодня контральто М. И. Долиной-Горленко, как уже много лет он звучит по городам России и по городам Европы. И это не преувеличение «для юбилея»: действительно – молодо, действительно – свежо. Много дала она в 50 концертах для русского солдата, следовательно, и для русского крестьянина, много вынула ему из души своей, прекрасной, доброй и благородной; но, поистине, много и взаимно дала ей Русь, дала любви и уважения. Сегодня в могучих приветях, не стихая из громады слушателей в цирке Чинизелли, это ясно сказалось. Ее целовали (руки), ей пели (из публики – целый хор каких-то, кажется, учениц приюта), ей играли, кричали. Ну и конечно, истрепали ладоши...

Были прочитаны благодарственные телеграммы от Верховного Главнокомандующего великого князя Николая Николаевича, от великого князя Павла Александровича и от великой княгини Елизаветы Мавриковны.

Все дело ладно, складно, и о всем хочется сказать – «слава Богу».

* * *

Антракт. Все идет, движется. Залюбовался белым казаком: белая папаха, белый бешмет, белые ножны кинжала. Не казак, а невеста: глянул внимательнее на волосы – девичьи, вместо сапогов – ботинки. Барышня! «Ничего не понимаю»... Из Галиции – священник, произносивший ранее речь, не вполне понятную (говор), но с энергичными жестами. Какие-то иностранные физиономии. Сестры милосердия, – все со счастливыми улыбками.

Цветы. Много цветов... Сборы... Портреты. Всем так-то люб портрет Главнокомандующего, – и его хватали... Костыли... Цезарь Кюи, которого вызывали после выполнения его музыки, и он раскланивался из кресел... Руки на перевязях...

Усталый, я хотел уйти по окончании 1-го отделения, в 11½ часа, но – хорошо, что остался. Масса интересного и чудно звучащего. Опять пела М. И. Долина и Н. А. Левченко; «патриотический хор» Долиной и хоры

певчих Гвардейских полков под управлением А. И. Смолина, хор гуслиаров Смоленского. Чудно пропела «Песню казака» Е. В. Слатина, и одетая серым казаком... Бывает, — звучит голос как инструмент; у Слатиной в тембре ее голоса есть что-то несравненно человеческое, несравненно миловидное, если можно применить «миловидный» к звукам голоса. И наконец, г-жа Н. Л. Тираспольская сверх программного «Они идут» прочла экспромтом прекрасное стихотворение, полученное от простого солдата с передовых позиций, и переписку двух немок-подруг, Амалии из Берлина и Каролины из Риги... Письма — полны остроумия и встречались дружными взрывами смеха. «Все у нас прекрасно, только немного недостает хлеба», — пишет подруга из Берлина... «Теперь, к сожалению, нельзя выехать из этой грубой, неотесанной России, — и мое желание повидать тебя не может исполниться. Подожду дней, когда можно будет доехать до Берлина, не выезжая из России. Все говорят, что это будет скоро». И т. д. И наконец, — прелестные насмешливые куплеты пропел совсем крошечный, лет 11, казачок.

Все звучно, картинно, красочно... Труд Долиной громаден. И результат: уже 49 концертов, т. е. не включая вчерашний, дали сбора в пользу всевозможных учреждений для раненых 164 214 руб.!!!

М. И. Долина и по рождению, и по замужеству — военная. И в ее «патриотических концертах в пользу раненых» сердце сердцу весть подало.

КАК БЫЛА ВЫРАБОТАНА ЕВРОПЕЙСКАЯ ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ

Передо мною — повестка от «Родительского кружка гимназии М. Н. С.» — об очередном общем собрании родителей (т. е. родителей учеников или учениц *всех* классов), где пунктом 3-м значится предмет обсуждения: «Об образовании *девятого* класса». Нужно заметить: никто, ни министерство, ни вся Россия, не мечтает о преобразовании 8-классных гимназий в девятиклассные, и родителям одной из петроградских гимназий никак не будет позволено совершить такое преобразование. Знают ли они об этом? Конечно, знают. Но нужно «показать себя». Родительские кружки существуют «для показа себя». У нас, на Руси, редко кто умеет «выступать в собраниях», «говорить публично», т. е. перед малознакомыми и частью даже вовсе незнакомыми людьми. Ну, а уж кто что «умеет» — непременно этого и «захочет». Таким образом, «родительские собрания» сейчас же после возникновения своего превратились в «речи» лиц адвокатского склада и адвокатского духа перед немолствующей публикой — на педагогические темы. Темы — общего и высокого значения, напр. о преобразовании 8-классных гимназий в девятиклассные, чего родителям «сделать» не дано, да и никому из родителей, кроме «ораторствующих», не интересно. Неудивительно, что «немолствующих» очень скоро стало собираться меньше и меньше. И наконец, еще менее удивительно, что министерству пришло на ум все это просто «зачеркнуть».

В родительские кружки родители не вносят «своего домашнего», не приносят своего особенного и личного, к чему школа могла бы и обязана прислушаться, как к некоторой бывающей «нужде»: они вообще в эти «кружки» приходят не как родители, а как «общественные деятели», и приносят сюда те мнения и взгляды, которые вычитали в газетах и журналах и которые вообще всем известны, так как газеты читаются же обществом. Тенденции их? Пожелания? Увы, это обычно «печатная критика» училищного дела, по мотивам «общественности» и «культуры»; это – тайный антагонизм с министерством или с училищным начальством, по тем же мотивам, но при желании в сущности делать *точь-в-точь то самое*, что делает все время министерство, но лишь делать «ускоренно» и «больше». Словом, «почему нет *девятого класса* сверх восьми существующих»? Счетное дело, механическое дело.

Частные учебные заведения и родительские кружки, которые могли бы быть гениальным дополнением и гениальной поправкой к схематической и отвлеченной деятельности министерства просвещения, – на самом деле только *вторят ей* и еще преувеличивают в себе лежащие уже там недостатки. «Ускореннее, больше, интенсивнее»; еще «вытягивай программу», еще прибавь «хоть один класс». Частные учебные заведения имеют программу обыкновенно «*расширенное* министерской»; а частные пожелания идут и «еще дальше». Мотив: учебное соперничество, учебная конкуренция; кичливость, самолюбие. «*Мои* дети знают то, чего не знают прочие дети», «в нашей школе проходят то, чего *не проходят в других школах*». Там и здесь – педагогический *шик*, всегда рассчитанный на количество и измерение. И без вопроса: уместны ли шик и конкуренция в «тихом и счастливом месте школы», как мы назвали и определили училищный мир.

И в биологии есть «перекармливание»... Есть «обжорство», решительно ни к чему не ведущее, кроме болезни и вредного растяжения желудка и кишек. Прибавьте же сюда – «принудительное кормление», с наказанием за «отказ есть»: и вы получите картину решительно всех учебных заведений Европы, столь «интенсивно работающих». «Работа» не идет впрок, потому что ее «чем больше, тем все дело становится хуже». Хуже? Почему? Материал подавляет форму, количество предметов и величина программ подавляют бессильную душу ученика, ученицы. Предмет «забывает» ученика, потому что предмет-то большой, а ученик еще маленький, «не вырос». Что происходит? К чему сводится учение? Чем обширнее «объем учения», тем «я» ученика все малится и малится, тем ученик около предмета становится незаметнее.

– Программы велики. А ученики?

– Крошечные-прекрошечные.

Почему?

– Да в них не развилось их «я», – ни в ком. Программа его задавила, скомкала, сплющила. Помилуйте, – он только «усваивал», все – «ел». Все – памятью. Ни «самому подумать», ни – «заинтересоваться *самому чем-ни-*

будь». Ничего, из «самого его», из «ученика» вытекающего, — не допускалось и не допускается в нем, и это — *все годы, пока он рос*.

— Свой ноги: а ты ходи *на костылях или на ходулях*.

— Свой язык: но ты рассказывай не «по-своему», а как указано в книжке и как учил вас учитель рассказывать.

— Все — «по-чужому».

— Ничего «по себе».

И «сам» умер, «я» умерло. Осталась лишь схема общеинтеллигентного господина, с даром произносить общие фразы и читать всеми читаемые книги и наконец занимать «каждому по плечу» должности.

Вот она — фотография «разом со всех» и шляпа тоже «по мерке всем». Это — Бодуэн-де-Куртенз, изменяющий «Словарь» Даля; это академик и профессор математики Марков, обращающийся в Св. Синод с просьбой — разрешить ему выйти из христианства. Люди — ученые, специалисты — великие, но — совершенно неразвитые.

В чем же дело? Да у них под «ученым» нет «лица», нет вообще своего «я». Оно — умерло, и без сомнения умерло, именно в гимназии, в отрочестве.

Во всей интеллигенции в Европе умерло личное «я», и даже это есть суть интеллигентности и интеллигенции, что она глубоко вся обезличена. Чем? Как? — Да школою, училищем. Поставьте бессильного около страшно сильного, — и он будет *подавлен* им. Поместите в сожительство маленького и взрослого, неразвитого и чрезмерно развитого, необразованного и очень образованного, — словом, «среднего ученика» и виртуоза-педагога с виртуозною программой, — и вы получите везде одно: разрушение слабой личности, притупленность «своего я» в ней.

УПРОЩЕНИЕ ПРОГРАММ

Мне хочется сделать поправку относительно родительских комитетов при гимназиях. Те примеры их, которые мне привелось наблюдать, были чрезвычайно печальны, и, естественно, я сужу по «эмпирическому материалу». Но нужно быть весьма осторожным в этом деле. *Суть* дела заключается ведь в том, что *одни только родители детей* знают, видят и осязают *домашнюю сторону* гимназической работы; они видят то в «гимназии», как в государственном учреждении, как в «институте среднего образования», чего решительно не видит министерство, о чем понятия не имеет попечитель учебного округа и все в совокупности русские попечители учебных округов и чего не знает директор гимназии и весь учительский персонал (насколько они не суть в то же время и «родители»; но «чиновник» и «нормы службы» необыкновенно забивают «родителя» в человеке). Только *единственно родителям* видно, напр., разрушение здоровья учеников и учениц, изнурение физическое, истощение душевное, медленное *в восемь лет* перерабатыва-

ние живого, даровитого и оригинального мальчика и таковой же девочки в общинтelligentную балаболку, без своего взгляда, без своего глаза, с общими фразами... Видят превращение *живой природы – в пошлость. Опошление человека* – вот страшная работа, которую работает восемь лет гимназия над учеником. *Потухший человек, потухшая душа* – вот результат всех программ, всех учебных заведений, всех сонмов учителей и профессоров, довольно «заштампованных»... В течение 30 лет я размышляю над школою; 12 лет был учителем гимназии; и уже размышлял об «учебном деле», как ученик, присматриваясь к товарищам, анализируя себя, 30 лет; а все вместе, т. е., беря ученические годы наблюдения и самоанализа, – получим *сорок лет*... *Сорок лет* наблюдения и размышления человека все-таки не глупого, а главное – *страшно внимательного*; и мне хочется, чтобы кто-нибудь воспользовался же этою массою работы, которая не всегда случится, не всегда будет «под рукою» у министерства и у страны. «Ненавидеть» у меня нет причин, ибо кто же будет ненавидеть счастье и воспитание своих детей: «мстить» у меня тоже нет причин, – ибо все дети учатся недурно, две девочки и один мальчик ни разу «не оставались в том же классе» (одна из них – уже кончила, и «с дополнительным классом», гимназию, две девочки «оставались» по одному разу в том же классе, чему я был «очень рад»). Привожу все эти подробности домашнего обихода для обоснования беспристрастия. Я действительно беспристрастен в этом деле и интереса личного не имею. Но у меня есть пафос общекультурный. В *то же самое время*, как я был педагогом и отцом пятерых учеников и учениц, – я $\frac{1}{3}$ века тружусь пером (и, след., мыслью) над темами общей культуры: философии («О понимании», 737 стр.), истории, религии и литературной критики. Таким образом, случилось счастливое *совпадение центров*, – которое опять же не во всяком времени, не во всяком десятилетии и не у всякого племени случится. Бог привел, что «глаз мой» (умственный глаз) поместился в самой *оси* того колеса, которое именуется всемирною культурою и спицы которого образуют великие отделы этой культуры. Молитва и алгебра, суд с адвокатами и церковь с богомольцами, семейная жизнь, журнальная работа, денежная нужда и фантазии поэта – все это у меня «за пазухой», а не то, чтобы я это вижу «издали», – не то, чтобы я сужу об этом «отвлеченно» и особенно с чужого голоса, как судят «другие», как говорят «в газетах», как говорят «в журналах». И вот мне хотелось бы, когда уже и смерть недалеко (59 лет), чтобы кто-нибудь воспользовался, чтобы воспользовалась наша дорогая Россия тем, что естественно открывается о «движущемся колесе» из его «оси», – что мне случилось увидеть и о чем случилось догадаться, любя приблизительно одинаковою любовью почти все области культуры. Убеждение мое, – самое глубокое, – заключается в том, что *через школы теперешнего типа происходит засыхание души человеческой* и через этот процесс – *засыхание самой культуры человеческой*. Цивилизация гаснет – в гимназиях, в университетах. В деревне, на ярмарке, даже в старом кабаке (с «гармоникой») – она или цветет, или «держится на прежнем уровне». «Ис-

торию продолжает» даже и кабак: да! да! – говорю это я, написавший столько против алкоголизма. В «кабаке» Мармеладов рассказывает страшную историю своей семьи, а Раскольников ее слушает, – чего не случится в торжественном годичном заседании Академии Наук. Цветет еще жизнь в семье и в семейных историях («Война и мир», «Анна Каренина»)… Цветет она в любви (поэзия). Цветет она в окопах, «где наша доблестная армия защищает отечество», в нянях, купцах, в нетрезвом попе – история все-таки движется, не остановилась, не умерла. О, какая безумная любовь к этой живой истории!!! Кто ее не любит, господа? – кто не любит зеленеющего Древа Жизни, поистине «в раю» выросшего и поистине «насажденного» самим Богом… Святые чаяния религии, святые воспоминания человечества. Но есть одно проклятое место, где «Древо Жизни» более не растет: это – школа. Наша школа, на которую… «положено столько усилий». О, – вот где «песенки не запоют», «сказочки не расскажут». Где умирает *русский человек*? – в школе. Он перерабатывается там в «интеллигента» и в «космополита». Где умирает «поэт в зародыше»? – в школе. Где умирает мудрец «еще в зачатке»? – в школе. Да посмотрите на зрелище: так оно и *есть*! Вне «Древа Жизни» – нет и талантов. Все прекрасное, живое, мудрое, поэтичное, героическое – *ex Natura*, из Природы. Угасите ее, брызните мертвой водой на «*яичко жизни*» – и вы сразу погасите всю историю. Погасите солнце. Вот погашением-то солнца и занимается школа, «столь культурно возделанная». Приносят в школу живое яичко. Это – наши детки 9–10 лет: выносят из школы – трупики, «протухшее яйцо». И – ничего еще! Будьте уверены – ничего «третьего». «Как превратить живое яйцо в протухшее» – и есть *задача* школы, идеал ее, пафос ее. «С талантом и усердием выполняемый». Поразительно: *таланты* школы – против *жизни*. Чем «талантливее школа», чем она «лучше организована», «тщательнее обдумана», – тем меньше и меньше остается в ней «прежнего живого человека» – этого сопливого Митьки с остренькими глазами, какого девяти лет привели в нее родители. «Где Митька?!» – «Нет. Теперь это – талантливый адвокат, со своими фразами». – «Да человек-то где в нем?» – «Господи: зачем «адвокату» – «человек»? Адвокат «защищает» и кладет «гонорар» в карман.

Да *так* и везде. Зачем профессору «человек», – теперешнему-то, который пикируется с Кассо? «Человек» нужен был Буслаеву, Менделееву, но теперешнему «ученому» «человек» вовсе не нужен. И вот – история того, как «люди» постепенно превращаются и окончательно превратились в «адвокатов», «профессоров», «публицистов», стихоплетов и т. п. и т. п. Будьте уверены, никакой Диккенс теперь не напишет второго «Давида Копперфильда» и никакой Пушкин не задумается над образами Татьяны, Ленского и Онегина. То есть? Да – Древо Жизни угасло, солнце не светит.

Почему? Как? да *иначе-то* как же? Ведь это – «талантливая школа», «старательная и внимательная к ученику так утонченно, так научно, осторожно, медленно снимала «свое лицо» с того сопливого Митьки», но – с *остреньким глазом* и с бездною живых зачатков в нем, – и как бы кисточкою проводила по лицу его «шаблоны». «Вот мы тебе сделаем *глазки*», «вот

мы тебе сделаем *ротик*», – «будешь паинькой»: не *русский*, а – общечеловек, $\frac{1}{3}$ немца, $\frac{1}{3}$ француза, $\frac{1}{3}$ храброго римлянина, $\frac{1}{3}$ художественного грека, $\frac{1}{3}$ христианского попа». – «Вот – Закон Божий, вот – латынь, вот – алгебра». Тянут сопливого Митьку, тянут по восьми направлениям. «*Не больше $\frac{1}{3}$ попа, не больше $\frac{1}{3}$ римлянина...*» Как *больше* – так беда! *Вон* из гимназии. «Помилуйте: по *другим предметам* не успевает, – зачитался прологов, любит жития святых, жития мучеников христианских». – «Помилуйте: он бредит греками, спит с Гомером; а как же *русская-то словесность??*» – «*Вон*». Как с «*талантом*», – так его «*вон*», как с «*порывом*», – так «*вон*»! Как «*свое лицо*» упорно, не сходит с сопливого, как только он «любит, каналья, древние русские сказки», «любит одного *Виргилия*», «любит только математику» – так «ни к черту не способен, бездарность, туп, по *семи предметам* из 11-ти двойки». И заключительное – «*вон*».

Эта машинка везде действует, это – самая *суть* школы, особенно талантливой и «культурной»: и везде она подстригает «первоначальный древний рай» в человеке, преобразая его в *Unter den Linden* в Берлине, с кокотками, франтами, адвокатами и профессорами. «Позор Германии» весь сидит «в школе». Немцы не понимают, что они делают, и – никогда не поймут, ибо «Рай» в них умер и осталось «*Unter den Linden*». «Мы носим галстук, как все, и рыбы ни за что не станем есть ножом»: вот – *культура*!

Понятно, что эта «культура» стала разрушать Реймский собор и пытаться уронить бомбу в *Notre Dame de Paris*. «Нам всего этого не нужно, нам нужен телефон».

– «К черту Данте и Виргилий: граммофон поет мне песенку из кафешантана».

Ясно ли теперь для читателя, что культура действительно падает, солнце почернело и цивилизация гаснет. «Среди такой учености», – и когда «типографии печатают убогоумное множество книг, журналов и газет».

Лицо погасло. И потому, что его тянули *по 8 направлениям*, «в грека», «в римлянина», «в христианина», «в немецкого патриота», «в директора фабрики», «в инженера», «в адвоката», «в журналиста». – Лопнул человек: раскололся на 8 частиц и стал – *мелочь*.

О, «мелочная душонка», враг Христа, враг Рима, враг Греции, враг самой Германии, ибо ты «урод-немец» и явил собою миру зрелище «изуродованной Германии».

* * *

Движение педагогическое должно быть – к *упрощению*! Возврат к простоте систем, к несложности программ, к недолгим годам занятий в школе... «Освободите мое я», – «спасите я человеческое»: вот лозунг великого освобождения, школьного освобождения, которое решительно нуждается в своем 19 февраля. Пусть будет *велик* ученик, а школа – *маленькая*! Да! да! говорю преступные слова, ужасные «для мира сего» с великою твердостью и доба-

вочным восклицанием: тогда-то у нас появится на кафедре Грановский вместо Бодуэн-де-Куртенэ, вырастет В. О. Ключевский вместо «профессоров русской истории, имена же их Ты, Господи, веши», и вместо многоученого поэта и академика Бальмонта, который знает культуру мексиканскую, культуру египетскую, культуру индейскую – появится простой Пушкин с его русским стихом и русским рассказом.

Господа: да неужели никто не услышит? Русь, неужто ты не хочешь знать своего русского дела!

СЕГОДНЯ МЫ ПОХОРОНИЛИ «ЭЛЬ-ЭСА»

...Так хочется сказать в безмерной журнальной и житейской суете хоть несколько слов о безвременно погибшем сотоварище по перу Леониде Захаровиче Соловьеве – «Эль-Эсе», как я его звал долго и принимал (т. е. «Эль-Эса») за иностранца, никак не подозревая, что это твой «собеседник с красивыми усами, серыми смеющимися глазами», а по имени и отчеству – черт знает как. Всегда бывало на редком ужине или редких именинах постараться есть *vis-à-vis* с ним, – ибо тогда минуты быстро бегут, а всякое невкусное кушанье или неприятное вино становится вкусным «вприкуску» с его умом, изяществом и непрерывным остроумием... Он был превосходное перо. Он был превосходно образованный человек, с всесторонними интересами, пылкостью, жадностью умственного к самым разнообразным темам и предметам... Он умел сказать железное слово: так в пору 1905–6 годов, когда нас хватали за горло грязные «левые руки», он сказал им в лицо слова, которые я вот десять лет не могу забыть... Он сказал им о возможной будущей минуте, когда гидра изовьется в муках, почувствовав у своего горла такие же стальные пальцы Кесаря, которые будут плотью от плоти ее и кровью от крови ее. Слава Богу, обошлось тише и ничего подобного не случилось. Также с глубоким волнением читались его изящные обозрения нашего военного положения или состояния наших морских сил. Везде за строками слышался крепкий и умный человек, равно владеющий словом, пером и саблей. Глядя на него, я всегда внутренне думал: «Ну, люди мундира и светлых пуговиц, о которых распространяют столько сплетен, еще поспорят, поговорят и покажут себя».

Эль-Эс был идейный человек, – глубоко и разнообразно идейный...

И так молод... О нем хочется сказать с Офелией:

Моего ль вы знали друга?
Он был бравый молодец:
В белых перьях статный воин,
Первый Дании боец...

Так мысль о любви, молодости, о каких-то цветах вокруг него сейчас и в близком будущем – соединялась с «Эль-Эсом»...

«Эль-Эс» умер... Не верю, не понимаю. *Не мог умереть!*.. Ведь он весь был как чеканный, и словом он был «победитель», а не «мертвец»... Бог знает... смешались законы природы, и естество пошло куда-то вспять... «Гроб, отдай нам его». Но зев его не раскроется за тем, кому раз открылся и закрылся. И только сможешь еще раз прошептать песенку Офелии.

Печально. Страшно. «Если Эль-Эс помер, значит, я могу рассыпаться в порошок». И не рассыпаюсь, живу. И не он мне говорит надгробное слово, а я ему.

Я уже давно читал «Эль-Эса», любил «Эль-Эса», уважал «Эль-Эса» тогда еще, когда несносная мысль, что это иностранец и сотрудничает откуда-нибудь из Англии, все перепутала. «Вот *он* самый, протягивает руку, чокается и оканчивает остроумную параллель или сравнение»...

Мир его милому и благородному праху.

Прощай, дорогой друг: *вся редакция* горячо оплакивает тебя, *вся* жалеет, *все* жалеют...

И *военные* друзья его, – какого вы товарища потеряли!..

ТРУДЫ М. В. ЛОМОНОСОВА

Ломоносова можно почитать родителем русской литературы и наук, – именем тела первой, т. е. ее форм, и души второй, т. е. идеала, стремлений и метода. Перечислим важнейшие его творения:

I. Лирические произведения. 1) Так называемые «Оды духовные», переложение псалмов (1, 14, 26, 34, 70, 143, 145, 103). 2) «Выбранные места из книги Иова» («О ты, что в горести напрасно на Бога ропщешь, человек»), «Утреннее размышление о Божьем величестве», «Вечернее размышление о Божьем величестве, при случае великого северного сияния». 3) Стихотворения, которые можно назвать государственными ораториями. Это так называемые «похвальные оды» государыням: Анне Иоанновне, Елисавете Петровне, вел. кн. Петру Феодоровичу и Екатерине II; но все эти оды суть менее личные и более государственно-дидактические и государственно-призывные, т. е. или изъясняют смысл и содержание царствования, или незаметно под щитом похвалы влагают в сердце царево жар нового подвига. Это – текущая история в стихах, текущая публицистика в стихах. Между ними «Ода на взятие Хотина», 1739 года, – первое стихотворение в русской литературе, написанное тоническим размером, который с тех пор и до настоящего времени остался законом русского стихосложения, взамен силлабического древнего, по образцу польского, вовсе несвойственного русскому языку. 4) Так называемые «надписи» к статуям и другим изображениям, а также вообще мелкие стихотворения. 5) Далее, стихотворения совершенно обратного характера: сатирические, высмеивающие. Между ними знаменитый «Гимн бороде». Также – эпиграммы. Эти стихотворения можно почесть зародышем русской публицистики и также инициалом манер

литературной полемики, уже в сем зачатке своем когтистой, зубастой и, пожалуй, копытной. 6) Басни и «притчи».

II. Эпические. Поэма «Петр Великий».

III. Драматические. «Полидор», идиллия-разговор музы Калиопы, нимфы днепровской – Левкии и Дафниса, «пастуха тамошнего»; трагедия «Тамира и Селим»; трагедия «Демофонт».

IV. Ораторские. «Похвальные слова» Елисавете Петровне и «Блаженные памяти» Петру Великому.

В особую группу следует отнести сочинения, в которых содержится элемент искания и нахождения нового, – причем эти последние то «для избранных» и строго-учены, то «для всех» и имеют форму и тон популяризации. Однако так как в данном случае перо держал настоящий ученый, то популяризация везде у него есть творение, а не изложение другими найденного. Сюда прежде всего нужно отнести замечательное и превосходное

1) стихотворное послание к Ив. Ив. Шувалову – «Письмо о пользе стекла» (1752 года).

2) «О пользе книг церковных на языке российском». Здесь-то он устанавливает три *тона* для прозаических сочинений «в будущем»: а) «штиль высокий» (торжественный стиль), б) «штиль средний» (теперь сказали бы: «тон журнальных и газетных статей») и в) «штиль низкий» (теперь сказали бы: «желтая пресса», «бульварная печать», – «свистопляска» «Современника» и критические приемы Благосветлова и Зайцева). Это рассуждение, которое *ведь и вообще истинно*, послужило чем-то поучительным и наставительным для всего XVIII века и для начала XIX. Например, Карамзин, когда он после оживленных «Писем русского путешественника» приступил к написанию или «начертанию» «Истории государства Российского», – то «вольно или невольно», «ведением или неведением» последовал указаниям Ломоносова на «высокий штиль». Превосходное это сочинение до сих пор изучается в наших гимназиях.

3) «Письмо о правилах российского стихотворства». Превосходное и исключительное по важности рассуждение это было впервые напечатано в трехтомном издании сочинений Ломоносова 1803 года (С.-Петербург, в типографии Шпора. Стр. LVII и след., т. I, см. примечание к нему), но, очевидно, в тезисах и вообще в мыслях своих, а может быть и в рукописных снимках, было известно во всю вторую половину XVIII века. Препровождено оно было из-за границы молодым Ломоносовым в Императорскую Академию Наук, – как приложение к «Оде Императрице Анне Иоанновне на взятие крепости Хотина» в 1739 г. и как *теоретическое оправдание* совершение нового, дотоле в России неслыханного и не читанного размера (*ямб*):

Восторг внезапный ум пленил,
Ведет на верх горы высокой,
Где ветер в горах шуметь забыл.
В долине тишина глубокой.

Чтобы понять и оценить, что такое эти стихи, сравним их вслед за Ломоносовым с сим примером, взятым из «Славянской грамматики» Смотрицкого («врата моей учености», как называл всегда эту грамматику Ломоносов, – наравне с «арифметикою» Магницкого):

Сарматски новорастные Музы стопу перву.
Тщающую Парнасс во обитель вечну заяти
Христе Царю, приими и благоволи в Тебе с Отцем

и проч. Поразительна ясность ума, – сказавшая в этом «о нашей версификации вообще рассуждений». Он исходит, в *открытии естественного для русского языка стихословия*, из следующих принципов:

«Первое и главнейшее мне кажется быть сие: российские стихи надлежит сочинять по природному нашего языка свойству, – а того, что ему весьма несвойственно, из других языков не вносить.

Второе: чем российский язык изобилен и что в нем к версификации угодно и способно, – того, смотря на скудость другой какой-нибудь речи или на небрежение в оной находящихся стихотворцев, не отнимать, – но как собственно и природное употреблять надлежит.

Третье: понеже наше стихотворство лишь начинается, – того ради, чтобы ничего не удобного не ввести, а хорошего не оставить, надобно смотреть, кому и в чем лучше последовать».

Естественное, простое, удобное – вот дух Ломоносова и тропинка, на которой он находил свои открытия. Прежнее русское стихосложение, «силлабическое», исходило из подражания стихосложению польскому, в котором ударение во всех словах и во всех грамматических формах приходится на *предпоследний слог*, – чему ничего подобного нет в русском языке. И поистине, едва Ломоносов сделал свое указание, как у всех российских стихотворцев, у которых уже давно «чесались руки» и чернила кипели в чернильницах, –

Восторг внезапный ум пленил...

«Слово о пользе химии» (6 сентября 1751 г.).

«Слово о явлениях воздушных, от электрической силы происходящих» (26 ноября 1753 г.).

«Слово о происхождении света, новую теорию о цветах представляющее» (1 июля 1756 г.).

«Слово о рождении металлов от трясения земли» (6 сентября 1757 г.).

«Рассуждение о большей точности морского пути, читанное в публичном собрании Императорской Академии Наук 8 мая 1759 года».

Перечислим главы в этом рассуждении, которое до некоторой степени может почитаться первым русским навигационным руководством: 1) «Об определении времени на меридиане корабля», 2) «О сыскании географической широты, где находится корабль, по сысканному времени», 3) «О показании времени на первом меридиане часами», 4) «О сыскании первого

меридиана по наблюдению звезд». Все исчисленные главы составляют первую часть рассуждения – «О сыскании широты и долготы (на корабле) в ясную погоду». За нею следует вторая часть: «О сыскании широты и долготы в пасмурную погоду», – в коей главы: 1) «О управлении корабля на поверхности моря», 2) «Об измерении скорости корабельного ходу (sic.) на морской поверхности», 3) «О средствах, коими должно исправлять погрешности корабельного пути, происходящие от течения моря», 4) «О средствах, коими познавать и исправлять погрешности, бывающие от разного склонения компаса». Затем третья часть: «О ученом мореплавании»: в ней главы: 1) «О мореплавательской академии», 2) «О составлении истинной магнитной теории». Не можем не отметить, до чего хороши в *методическом* отношении слова, которыми начинается эта глава: «Из наблюдений устанавливать теорию, через теорию исправлять наблюдения есть лучший (sic.) из всех способ к изысканию правды. По сему паче всего в магнитной теории, тончайшей всех материй, что есть в физике, поступать должно» (стр. 432, т. III шпоровского издания Ломоносова). Глава 3) «О сочинении теории морских течений», 4) «О предсказании погод, а особливо ветров». В конце этого рассуждения, которое и до сих пор читается с наслаждением (язык везде прост и правилен), сделано замечательное «присовокупление», – показывающее всю живость и энергию ломоносовского ума: «Между тем как сие рассуждение отпечатывалось, изобретен мною новый инструмент, который хотя не велик, – однако к учинению наблюдений для точного определения времени (.), широты и долготы, по луне на море доволен, с такими преимуществами, что: 1) без всякого разделения квадранта может рассказать время на месте корабля, также широту и долготу (его положения), 2) все помешательства в наблюдениях от мрачного горизонта, 3) от непостоянного лучей преломления происходящие – отвращает». Приложенные к рассуждению чертежи и математические выкладки поистине являются чем-то чудесным для зрителя и читателя, непрерывно во всем XVIII веке видящего лишь оды, басни, любовную лирику и самые неестественные трагедии и поэмы. Когда читаешь Ломоносова – впечатление непрерывного чуда ложится неоодолимо на душу.

«*Meditationes de solido et fluido, – auctore Michaelae Lomonosow*» (без перевода на русский язык). Это его «Рассуждение о твердых и жидких телах» напрашивается быть придвинутым к громадному тому исследований Д. И. Менделеева «О растворах».

«Явление Венеры на солнце, наблюденное в Санкт-Петербургской Академии наук мая 26 дня 1761 года».

Переводный громадный труд:

«Описание в начале 1744 года явившейся кометы купно с некоторыми учиненными о ней рассуждениями через Готфрида Гейниуса, Императорской Академии наук члена, – причем наперед предложено сокращенное рассуждение о состоянии и свойствах всех комет, переведенное из Шамберовой Циклопедии».

«Рассуждение о размножении и сохранении российского народа». В высшей степени трезвое и всеохватывающее рассуждение, – куда вводно вставлены до сих пор верные наблюдения и до сих пор практические меры «против» – 1) «О истреблении праздности у российского народа», «О исправлении нравов и о большом народе просвещении», «О исправлении земледелия», «О исправлении и размножении ремесленных дел и художеств», «О лучших пользах купечества», «О лучшей государственной экономии» и проч. Если там, в рассуждениях о химии и физике, о кометах и проч. Ломоносов как бы подает руку Менделееву и Бредихину, то здесь («О размножении ремесленных дел и художеств») он подает руку коммерческим и техническим школам Витте.

«Российская грамматика» (1755 г.). Здесь расчленен язык русский на все его формы и дан весь тот материал описательный и изъяснительный, какой дается до сих пор в русских грамматиках. Ломоносов в издании нашей грамматики сотворил камни, прочие лишь шлифовали их. Замечательны слова его об языке русском, сказанные в посвящении книги великому князю Павлу Петровичу:

«Повелитель многих языков, язык российский не токмо обширностью мест, где он господствует, но купно и собственным своим пространством и довольствием, велик перед всеми в Европе. Невероятно сие покажется иностранным и некоторым природным россиянам, которые больше к чужим языкам, нежели к своему, трудов прилагали. Но кто неупрежденный великими о других мнениями прострет на него разум, и с прилежанием вникнет, тот со мною согласится. Карл Пятый, римский император, говаривал, что испанским языком с Богом, немецким – с неприятелями, итальянским – с женским полом говорить прилично. Но если бы он российскому языку был искусен, то, конечно, к тому присовокупил бы, что им со всеми оными говорить пристойно. Ибо нашел бы в нем великолепие испанского, живость французского, крепость немецкого, нежность итальянского, сверх того крепость и сильную в изображениях краткость греческого и латинского языка. Меня долговременное в российском слове упражнение о том совершенно уверяет. Сильное красноречие Цицероново, великолепная Virгилиева важность, Овидиево приятное витийство не теряют своего достоинства на российском языке. Тончайшие философские воображения и рассуждения, многообразные естественные свойства и перемены, бывающие в сем видимом строении мира и в человеческих обращениях, имеют у нас пристойные и вещь выражающие речи. И ежели чего точно изобразить не можем: не языку нашему, не недовольному своему в нем искусству приписывать долженствуем. Кто отчасу далее в нем углубляется, употребляя предводителем общее философское понятие о человеческом слове, тот увидит безмерно широкое поле или, лучше сказать, едва пределы имеющее море. Отважась в оное, сколько мог я измерить, сочинил малый сей (однако 210 страниц. – В. Р.) и общий чертеж всей обширности, Российскую грамматику».

Какое течение речи! Как его не заучивают в гимназиях!! Почему для гимназистов не переиздается копировально, с рисуночками и сохранением типа бумаги и шрифта, – эта превосходная грамматика? Почему Кугель и Гессен пишут таким лакейским языком через 15 лет по смерти Ломоносова? Куда мы ушли и где мы вообще сидим после сего исполина мысли, слова и русского достоинства. Плакать хочется.

«Краткое руководство к красноречию. Книга первая, в которой содержится *риторика*, показывающая общие правила обоего красноречия, то есть *оратории* и *поэзии*, сочиненная в пользу любящих словесные науки».

«Краткий Российский Летописец с родословием».

Наконец, долго лежало сохранно и тайно в нашем главном морском архиве и потом было забыто, затем «открыто» и впервые в 1847 году напечатано гидрографическим департаментом морского министерства обширное сочинение Ломоносова, написанное в связи с экспедицией Чичагова к Шпицбергену:

«Краткое описание разных путешествий по северным морям и показания возможного проходу Сибирским океаном в Восточную Индию».

Это был предсмертный, последний труд Ломоносова. Его правительство сохраняло, – пока не забыло, – в глубокой тайне. Мысль его, – и до сих пор возбуждающая деятельных русских людей, – заключается в достижении сношений с Восточною Азиею, с миром Японии и Китая и с Азиею Южною, Индокитаем и Индиею, – минуя тягостный и отдаленный обход кругом Африки, прямо через «Сибирский океан», т. е. через Северный Ледовитый. Рассуждению Ломоносова предшествует обзор полярных экспедиций М. Фробшера, Гудсона, Баренса, – а также путешествий Дежнева и других русских людей. Важнейшие в нем главы – «О возможности плавания Сибирским океаном в Ост-Индию» и «О приготовлении к мореплаванию Сибирским океаном».

* * *

Что же случилось потом, после Ломоносова, и где мы сидим теперь? Только в одной области, в «пиитике» (поэзии), мы вышли с Пушкиным на законно-последомоносовский путь. Крепость и красота стиха все приумножалась и возрастала. Но уже проза с Карамзиным получила какую-то болезненную вдавренность, сантиментальную, слабую, лишенную зимней великолепнои крепости. В *некоторых* сторонах своих язык русский стал *хуже*: принижен, льстив, лукав, хитер. Никогда Ломоносов, великолепный гражданин отечества, не унизился бы до «эзоповского языка», т. е. лгущего и притворяющегося, вице-губернатора Щедрина с его злобой и клеветой бессильного, и именно умственно-бессильного человека. «От Ломоносова до Щедрина» – об этом стоит подумать. Почему Ломоносов так великолепен? Сознавал свою силу, «чуял силушку в жилах». Он был полон самоощущения гения. Вот этого самоощущения решительно всем (кроме Пушкина и Лермонтова) недоставало «потом». «Рабий язык» (словечко Щедрина), естественно, пошел в ход у «рабов»: а *суть* рабства, глубокая и болезненная его *суть*, в бесси-

ли, в неспособности. Почему-то позднее русский человек все стал терять силы. Он не умеет быть ни таким великолепным учеником, ни таким великолепным наставником. Самым ростом стал меньше. Отчего? Как? Что?

* * *

Об одном хочется подумать: *о государственном образовании фонда для ученых изданий, для ученых экспедиций, – вообще не для «учебных целей»* (у нас все одни «стипендии для недостаточных студентов» основывают, что-то тоскливое и что-то далеко не богатырское), – а для целей *возвеличения науки и укрепления науки*. И пусть в память великого человека, – великого в такой мере, что и «оглянуть» нет сил, – будет этому государственному фонду присвоено имя *Ломоносовского фонда*. При трехмиллиардном бюджете и спустя 150 лет по кончине Ломоносова стыдно *в память его* не учредить *вечного и неприкосновенного* (чтобы не «исхитили» другие ведомства и другие задачи) *ежегодного ассигнования в сто тысяч рублей для ученых предприятий*. Казна бы начала, а уж там частные пожертвования польются. Говорю это потому, что знаю, как многие достойнейшие ученые и исследователи, горячайшие русские патриоты не находят какой-нибудь тысячи, каких-нибудь 700–800 рублей на напечатание своего исследования, своего многолетнего изучения, которое, правда, найдет не более 50–60 читателей в России, по редкости и трудности темы: *но ведь так наука и движается...* Все новое, все *первые* – мало кому понятно и «множеству» неинтересно...

И здесь, говоря языком и представлениями Ломоносова, мы должны первым чаением и надеждою иметь «пресветлейшего, державнейшего Государя нашего», – потомка Елизаветы и Екатерины... Царь первый пуд положит, а мы – фунтами и золотниками доложим...

О «ВЫЧЕТАХ ЗА ПОВЫШЕНИЕ» У ВДОВ УБИТЫХ ВОИНОВ

(Явное недоразумение и недосмотр)

Не могу не передать читателям и «кому ведасть надлежит» следующее письмо супруги, ныне покойного, известного русского педагога и ученого историка Николая Николаевича Овсянникова, коего сын и зять погибли на войне. В письме изложены обстоятельства, по всему вероятно не обратившие на себя внимания вовремя и которые, может быть, как-нибудь исправятся и изглядятся. А то очень тоскливо...

Москва, 11 апреля 1915 г.

Многоуважаемый Василий Васильевич!

Вы всегда так горячо отзываетесь на все вопросы общественной жизни, что позволяю себе обратить ваше внимание на факт, который, может быть, остался вам неизвестным. Подразумеваю закон или прави-

ло — не знаю, как лучше назвать, — военного министерства, касающийся обеспечения семейств убитых офицеров. Дочь моя имела несчастье лишиться мужа, убитого 7 декабря прошлого года. В марте ей и ее ребенку была назначена пенсия в размере 90 руб. в месяц, вместе с эмеритурой, но из нее был сделан вычет за мужа, пока не пришло официальное извещение о ней. Таким образом, она получила в марте всего 35 руб., в апреле немного больше. Крайне тяжело и с большими лишениями жилось ей за это время, особенно в великий праздник. Но, слава Богу, перебор покрыт, и она надеялась получить в мае пенсию полностью. Вдруг появляется недавно в «Прав. Вестнике» известие, что покойный зять произведен за *отличие* в подполковники. Мы думали, что это производство улучшит материальное положение дочери, но что же оказалось? Прибавки к пенсии она не получит никакой, будет увеличена эмеритура, но в таком же размере уменьшится пенсия, чтобы общая сумма не составляла более 90 руб. в месяц. Таким образом, содержание останется прежним, но беда в том, что у дочери за этот чин будет сделан вычет от 150 до 200 руб., другими словами, она должна будет крайне бедствовать месяца четыре, так как ни у ней, ни у меня нет никаких средств, кроме пенсии. Говорят, такое производство делается, чтобы «почтить память» пожертвовавшего своей жизнью; за этот «почет» приходится тяжело расплачиваться вдове и сироте. Последнее слово покойного зятя, по показанию солдат его роты, было: «Вперед!», и тело его найдено далеко впереди в австрийских окопах. Он до конца исполнил свой долг, а теперь его малютка-сын, которому нужно бы поправиться от перенесенной тяжелой болезни, должен терпеть всякие лишения.

Сотни женщин находятся в положении, одинаковом с моей дочерью. Замолвите за них свое слово и обратите внимание общества на эту вопиющую несправедливость. Простите, что беспокою вас этим письмом, но в последнее полугодие пришлось пережить столько тяжелого горя, что хочется хотя часть его сообщить глубокоуважаемому и беспристрастному человеку.

Е. Овсянникова

Очень тоскливо об этом думать русскому человеку, очень странно и страшно. Дело требует спешного разъяснения и распоряжения.

О БАПТИСТАХ САРАТОВСКОЙ ГУБ.

Я получил (увы, уже с месяц назад!) письмо от одного офицера, касательно вредного действия баптистов, — с их крадущимися словечками и действиями, — на наших солдат, и, кажется, далеко не одних солдат:

Многоуважаемый Василий Васильевич!

Будучи вашим давним и искренним поклонником, решаюсь обратиться к вам с покорной просьбой.

Я — адъютант (цифру пропускаю, по понятным причинам. — *В. Р.*) батальона, через который проходят многие и многие тысячи солдат. В

нашем же городе (Балашове) расположена баптистская молельня с многочисленными приверженцами и благотворительными учреждениями. Молельня эта (одно из лучших зданий в городе) привлекает к себе обильных посетителей, в том числе и солдат. Их простые деревенские души не в силах разобрать, что за благочестием баптистов кроется ханжество, за самоунижением – лицемерие, за кротостью – антимилитаристические идеи, гораздо более противные, чем самый худший милитаризм. С воздействием всего этого на душу надо бороться, и вот поэтому-то я и решил обратиться к вам. Может быть, вы своими немногими, но яркими и запечатлевающимися словами поможете мне и ротным командирам провести беседы с солдатами в понятном и убедительном духе. Сам я ясно вижу все недостатки баптистской ереси, и в общем, мне кажется, она не может повлиять на веру русских людей (на деле замечается обратное). Баптизм не может понравиться русскому человеку по-моему потому, что в нем совсем нет мистицизма, от него слишком веет реализмом протестантизма. Все их надписи в молельной производят впечатление плакатов, реклам. Они совсем не кажутся святыми, освященными. В православной церкви от всего – даже от язычески-православного – какого-нибудь Христа в платье, шитом деревенскими бабами, даже от нетрезвого, пузатого священника, – так и веет святостью, каждый кусок ризы точно пропитан ею, – а в баптизме, несмотря на все его старания, этого совершенно не чувствуется.

Если вы почему-либо не сочтете возможным написать мне несколько слов о баптизме, то, может быть, вы можете указать труды, направленные на борьбу с ним.

Исполнением просьбы очень обяжете.

Почтенному автору рекомендую обратиться с тем же вопросом и просьбою к Михаилу Александровичу Новоселову, Москва, возле храма Христа Спасителя, дом Ковригина, кв. 12. Он как основатель «религиозно-философской библиотеки» и большой энтузиаст своего дела, к тому же окруженный образованнейшими людьми Москвы, может дать все указания и разъяснения, каких я дать не могу. У автора письма сверкнуло слово, которое достойно быть запомненным навсегда: «В православии от всего... так и веет святостью, каждый кусок ризы точно пропитан ею». Как это мог *офицер* подглядеть?.. Вполне удивительно. В голову не приходило никому, а *между тем* наблюдение совершенно точно. И его все знают, а вот офицер дал формулу и слово. Спасибо ему, и можно прибавить, спасибо от всей Руси.

ДОРОГАЯ КНИЖНАЯ НОВИНКА

...Да беритесь же, русские люди, за умные книги. Будет вам устраивать «общественный прогресс» и требовать у правительства и министров прогресса: устройте прогресс в голове своей. Довольно уравнивать в читальнях спрос на Толстого и Верблицкую (*точная статистика*). Ведь читатель с равным спро-

сом на Толстого и Вербицкую или страна с равным числом читателей Толстого и Вербицкой ни к черту не годятся. Солдат наш умирает за отечество, а полуинтеллигентный читатель чуть ли не готов умереть за мрак, темь и болото.

Ну, –

И погромче нас были витии.

Вышло, вышло наконец «Собрание сочинений Аполлона Григорьева», под редакцией В. Ф. Саводника, т. е. вышло пять выпусков, причем последние два только что появились, а первые три появились всего месяца два назад, и значит, издание появляется крайне энергично. Все образованное, умное, ждущее зорь впереди русское общество должно земно поклониться г. Саводнику, коего хочется переименовать в «Садоводника». Ибо работать работу, как он работает, – значит расчищать сад русской литературы, значит полоть гряды российской критики, заросшие лебедой и всякими отравami и пустомельством. Талантливый, «легкий *на перо*» Белинский решительно должен быть придвинут к его позднему эпигону – Писареву, который писал точь-в-точь таким же летучим, воздушным, но уж очень юношеским и почти отроческим языком, как и «великий критик»... А мысли у Белинского, конечно, лучше и серьезнее, чем у Писарева, однако одни мысли и другие мысли принадлежат к характерной категории, которую можно подвести под заглавие первой же статьи Белинского: «Литературные мечтания». Это все – светелочка, это все – гимназистик и студент, плюющий с высоты своего жилища на улицу, на базар, на торговлю, на собор, на весь город и, наконец, на целую страну и весь народ. Сам таковой студент и гимназист представляют собою прелестный пейзаж в тоне Чехова... Но в общем, литература русская достигла такого уровня зрелости и представляет такой интерес в ходе своем, что эти критические «Плутархи для юношества» должны быть забыты. Пора подумать о Фукидиде. Пора подумать о Таците.

На *самом деле* критика русская была основана Аполлоном Григорьевым; его преемником был Страхов. Превосходными критиками были Тургенев («Гамлет» и «Дон-Кихот») и Толстой (в его заметках, даже в таких, которые написались только его друзьями), Достоевский (в молодых письмах к брату Михаилу и в отдельных главах «Дневника писателя»), а также ученые типа и достоинства Ф. И. Буслаева, Н. С. Тихонравова, В. О. Ключевского (статьи его о пушкинских героинях и о Лермонтове). Цитировать теперь Белинского просто как-то неловко. «Хорошо писал человек», но *дело* не в «хорошо написано», а в том, написано ли дельно, образованно, с всеосвещающим пониманием предмета, с достаточно высоким и широким созерцанием истории... «Светелочка» решительно стала анахронизмом...

Г. Саводник, к сожалению, не выставляет на выпусках своего издания «Издание *второе*». Это – упрек ему. О предшественниках своих нельзя, недостойно забывать, а предшественник его был почтенный Н. Н. Страхов. Хотя издание В. Ф. Саводника *много* полнее страховского.

До сих пор вышли из печати:

Выпуск I. Автобиография Аполлона Григорьева: «Мои литературные и нравственные скитальчества». С биографическим очерком В. Саводника. 158 страниц. 60 коп. Дай Бог, чтобы именно этот выпуск сделался любимейшею книжкою гимназистов: столько в ней молодости и своеобразного хаоса и влекущего русского идеализма. Расшевеливайтесь, гг. гимназисты. Спешите к доброму, идеальному, русскому.

Выпуск III. «Развитие идеи народности в нашей литературе со смерти Пушкина». 146 страниц. Цена 50 коп. Этот выпуск доступен только для студентов старших курсов, и он должен стать настольною книгою для учителей русской словесности в гимназиях.

Выпуск V. «Горе от ума» Грибоедова. 20 страниц. Цена 20 коп.

Выпуск VII. «Лермонтов и его направление». 96 страниц. Цена 35 коп.

Выпуск X. «И. С. Тургенев и его деятельность». 135 страниц. Цена 50 коп.

Превосходно это расположение всего издания по выпускам: оно рассчитано на покупателя, а не на библиотеку... Торопитесь же, юноши, девушки. Знайте, что прогресс *всего отечества* зависит от доброго, от «героического», а не от пошлого выбора вами книг. Солдаты борются, и вы боритесь, девушки, юноши, боритесь с темью просвещения в родной земле. Энергичней думайте, лучшее читайте, говорите смело *свои* мысли, не подслушивая чужих, не прислушиваясь к посторонним. Эх, молодежь, молодежь: правда, в *твоих* руках будущее России, но вымой же ты наконец эти руки, дабы чистенькими ими взять чистое и благородное будущее земли своей. Ибо руки-то у тебя поистине нечисты и голова туманна, дымна... Прочти в биографии г. Саводника, как недавние твои кумиры, Шелгунов и Благодетель, не хуже правительственных цензоров начали «вымарывать» ненавистные им места в статьях Аполлона Григорьева, против чего он не мог не протестовать, и ему пришлось уйти из единственного журнала, в котором он мог печататься. Так похоронена была лучшая критическая сила 60-х годов... Вот какие руки «уловляли» тебя, молодежь, и кому ты в неведении жала руку...

Раскрой глаза.

Издание превосходно с внешней стороны и закончится в 14 выпусках.

ЗАДАЧИ ОРГАНИЗАЦИИ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ

Г. министр народного просвещения нашел отвечающим нужде времени и смыслу средней школы поднять вопрос о пересмотре ее программ, «многолетия» и вообще всего ее организма, для чего образована комиссия из ученых, из педагогических и общественных сил. Дай Бог комиссии, дай Бог вообще нашему времени посмотреть просто и ясно в узел этого застарелого

русского недомогания, – школьного недомогания. Боже, да ведь и школа-то у нас *не русская*: это – германская, это – прусская «гимназия», где русские учителя трудятся над выдавливанием на лбу, на душе русских детей и юношей прусских педагогических клеев, шаблонов, – с небольшою только прибавкой «русского элемента», главным образом по предметам Закона Божия и русской словесности, и очень немного русской истории и географии. Но, увы, ничто, решительно ничто из русского старого ума, от русского острого глаза и древней наблюдательности – не пущено в ход при организации русской «учебы» и даже просто не пущено сюда что-нибудь подсказать... Как будто Россия, «Russland», только-только вот родилась, только-только сформировалась, и где же этому свеженькому и розовому ребеночку взять ума и опыта, как не из Deutschland... Пруссии – 300 лет, России – тысяча лет: и Пруссия учила Россию, как гувернер мальчишку...

Ну, оставим старую и всеобщую русскую тоску. Пока поделюсь с читателем письмом одной родительницы, – а ведь таких писем представляешь в уме сотни, – русские ведь вообще ленивы писать... Прямо страшно думать, чтобы собравшиеся педагоги и ученые не прислушались к подобным звукам материнских голосов:

Милостивый государь, г. Розанов!

Ваша статья «Упрощение программ» (№ 14021 «Нов. Вр.») взволновала меня до глубины души. Наконец-то на столбцах газеты мы прочитали то, что у каждого любящего семьянина давно наболело в душе. Вы взглянули в самую *суть* системы нашей школы. У меня пять человек детей, причем четверо школьного возраста. И вот я вынуждена была силою вещей во имя любви к детям отказаться от личной жизни и приспособить весь уклад жизни к потребностям детей; неустанно, неусыпно, изо дня в день следить за их жизнью, за их внутренним «я», и бережно, осторожно парализовать влияние школы, чтобы именно не дать в ребенке забить его интеллектуальные силы, не дать вытравить (именно *вытравить*) веры, религиозности, чтобы из ребенка вышел «человек», любящий родину, а не «космополит», не «тухлое яйцо»! А если не только отец, но и мать занята добычей «хлеба насущного»? Кто обережет душу ребенка тогда? Вот в чем трагизм «современной семьи»! На родителей покрикивают, их пристраивают, а что из родителей повиднее, то просто не «доверяют». Родители, по мнению педагогов, существуют на то, чтобы «баловать» и «повторять» детям. Не раз приходилось завидовать городским ребятишкам, учащимся в городских школах, где постановка дела не дает «засыхать душе человеческой», где о ней еще помнят!

Наши «программы» забили так время школьников, что читать нет времени, иначе сейчас же явятся «дефекты» в занятиях. Когда наступят каникулы, то дети так утомились умственно, что не в состоянии взяться за книгу.

Чтобы починить часы, надо знать, как разобрать и собрать механизм; чтобы пустить в ход машину, надо знать все устройство ее и ход, а чтобы учить и воспитывать наших детей, этого не нужно.

Садовник, чтобы вырастить яблоньку и получить плод, с нежной, неусыпной заботой годами ухаживает за ней; с какой любовью, уменьем и знанием выращивает садовник цветы, ягоды, овощи!! А наши бедные дети – светлая наша надежда, опора, *соль земли русской*, – их калечат и уродуют неумелыми, грубыми руками!

Часто думаешь: да зачем же правительство тратит так непроизводительно деньги? Для чего?

Пишите чаще, г-н Розанов, пишите кровью, чтобы ваши слова жгли душу, кричите, пока не поздно, и верьте, что тысячи родительских сердец откликнутся и с надеждой будут ждать результатов. *Помните, что сказано в Св. Писании: «по неотступности вашей дано будет вам».*

О, поверьте, Русь хочет знать свое русское дело, да *не может*. Помогите!!

Одна из тысячи родителей А. Д.

29 марта 1915 г.

Москва.

Вот. Не могу не припомнить лет восемь назад полученного мною письма из провинции, которое долго болело у меня в душе и болит до сих пор: отец мальчика просил меня дать ему совет, как поступить с мальчиком *не очень сильных способностей*, т. е. способностей восприятия и памяти, каковые единственно требуются школьным учением, но в общем не глупого, впечатлительного и т. д. Силы его явно надрываются, – писал отец, – явно он не может хорошо успевать, если его морально и всячески не «подгонять», не утороплять, не утомлять. Отец спрашивал, делать ли ему это педагогическое насилие, – увы, *столь ведь не педагогическое по существу*, или этого не делать: и в таком случае отказаться «от чести провести сына через гимназию». Я растерялся. Что ответить? Я ничего не ответил: хотя в душе и стоял крик – «Не надо! Не надо! Не уродуйте сына!» Но как *это скажешь?* Без «окончания курса» его никуда не примут, он никуда не поступит, – не поступит прежде всего на государственную службу, столь у русских обычную и шаблонную. Как я посоветую «лишить мальчика карьеры и положения в обществе». Больные вопросы. А они стоят перед каждым родителем. Между тем столько в гимназических программах не «драгоценного груза», а тяжелого балласта; материала отнюдь не «педагогического», а ученого, сухо-учебного, материала *для одной памяти...* Корабль гимназический решительно и радикально должен быть освобожден от этого «балласта-песку», ввиду именно того, что ведь «без гимназии – *некуда деться*», «без гимназии – *неприлично быть, неприлично жить*», и, следовательно, гимназия должна быть усвояима в 7–8 лет отрочеством и юношеством не просто средних способностей, – но и прямо – *способностей не сильных*, которые, как хорошо известно всем, сочетаются очень часто с прекрасной душой, с прекрасным сердцем, с трудоспособностью. А только вот, напр., «не вышла крепкая память» или «не быстро соображает в решении задач», и т. д. Что-нибудь *второстепенное*, от-

нюдь не абсолютное, чтобы даже иметь право, и хорошее внутреннее право, назваться «развитым и образованным человеком». «Регистр» гимназии слишком велик и широк. Его непременно надо сузить. Мы еще поговорим об этом потом...

К ОРГАНИЗАЦИИ ГИМНАЗИИ

Говорить так много хочется, говорить так о многом нужно, что растериваешься. Посему, сокращая время и строки, я изложу свои мысли о гимназиях, на опыте основанные (был сам учителем гимназии), в виде кратких афоризмов «с доказательствами».

1) Гимназии наши суть «ученые сборники», как бы разных статей, на разные темы, – по мотиву: «ведь это *нужно* знать», «ведь это *интересно* знать». Но это не суть учебные заведения, основанные и выработанные *по педагогическим мотивам*: «отроческая душа так-то *растет* и развивается, и законы ее *роста* требуют таких-то *методов* отношения к ней, таких-то методов усвоения, таких-то предметов и содержания».

Все приноровлено к status quo человека и к тому – вот «каков *должен быть образованный человек*»?

Ничто не приноровлено к его *росту и созреванию*.

Едва я написал этот афоризм, как всякий, взглянув на него, скажет: «Конечно – *так!*» «Забота школы и министерства – дать России *образованного человека*». Скажут это не только все родители, но и само министерство. Последнее прибавит только: «А *как* же? Что же *еще* делать? Как же *иначе* вести дело?»

Не буду отвечать на вопрос (на него *постепенно* ответят мои статьи), а только скажу *вывод*:

– Ага, значит, все согласны, что гимназии наши не суть *педагогические* учреждения, педагогические заведения. Они рядом с *педагогикой* («детовоспитанием», «детоведением») и не стоят даже!!

Поразительное открытие. Совершенно беспорное.

Отсюда – наблюдаемое явление.

В гимназиях наших (т. е. начальством и министерством) забыты и не применяются самые всеобщие, самые древние и самые неоспоримые принципы. Назову два:

а) «Non multa, sed multum». Принципу этому тысяча лет, а простоит он до второго пришествия Христова: до того он вечен и прост. В переводе значит: «*Немного, а – много*». Т. е.: «не *разбрасывайся*», стараясь охватить множество предметов, разнообразные знания, различные отрасли. Пусть не будет перед учеником ничего *пестрого*, ничего *мелькающего*, это – вредно, это – не воспитательно, не учебно. Это не отвечает силам и росту ученика, мальчика».

Пока – отрицание. «Non – multa». А *что* же нужно и *как*?

«Sed – multum», «но – много». Т. е. избрав *одно* что-нибудь или во всяком случае *как можно меньше* предметов (да! да! – вот принцип *педагогика*!!), – старайся, чтобы ученик *углубился* в него, рассмотрел его *со всех сторон*, знал его *основательно*, широко и *глубоко* («multum»).

Едва я изложил этот принцип, как все закричат: – Да, конечно, наши гимназии «беглым шагом марш» (они и не классические, и не реальные, а просто «беглые» и «легкомысленные»), не только не по этому принципу созданы, но они его отрицают и над ним надругаются всем своим существом, во всяком своем часе.

Общество совершенно основательно «хмурится» на гимназии, потому что гимназии-то ведь, действительно, не педагогичны. Общество только не умело попасть «в точку», назвать что нужно, определить свое недовольство и недоумение «по-ученому», т. е. языком истории всемирной педагогики.

Как это могло выйти? Как могло выйти такое чудо и до известной степени чудовищность, что министерство просвещения, взявшееся «учить», учит не педагогично и даже вовсе пренебрегая педагогикой. Ведь учителя называются «педагогами», а учительские советы «педагогическими советами»? Очень просто: учителям дано только «исполнять программы», а не рассуждать, «не делать замечания» о самых программах. Всю организацию и все эти программы вырабатывал «ученый комитет министерства просвещения». Это и есть собственно лаборатория, где все изготвлено. Хорошо, – так «комитет»-то *ученый*, а не *педагогический*. Вот где, по какой-то немецкой поговорке, «зарыта мертвая собака», от которой распространяется злование. И члены ученого комитета не виновны: их «позвали», назначили «на службу» в ученый комитет. Позвали – иди. Служи, получай жалованье, пенсию и ордена. Ну? – из «жалованья» и «орденов» еще не выходит «педагогика»? Не выходит. Зато вышли наши «гимназии». Какие? «Ученые», а не «педагогические».

Странно и дико, а так.

До какой степени «педагогика» забыта в гимназиях и вовсе не приходит на ум самому министерству, можно видеть из следующего доказательства: почти всей массой студенты историко-филологического факультета поступают на службу учителей древних языков, истории и географии, а студенты физико-математического факультета поступают на службу в гимназии учителями математики и физики. Хорошо. Все это – в «кругообращении самого министерства». Университеты – его, гимназии – его. И вот дикая вещь: ни на одном, ни на другом факультете нет кафедры педагогики и нет кафедры истории педагогики.

«В учителя готовятся»...

«В учителя *не* готовятся»...

Я вам говорю – «дважды два – семь». Пусть везде это «четыре», но в министерстве просвещения – «семь». Не дивно ли? «Постранствуй по Руси и ты, друг мой, откроешь множество Америк, совершенно никому не известных и совершенно никому не приходивших на ум».

б) Второй забытый принцип: «*Repetitio est mater studiorum*». То есть «основательное усвоение предмета достигается через частое его повторение», – через возвращение к «задам» его и через частый обзор «всего его содержания», всего его состава и всего течения.

И ученики, и учителя отлично знают, что никаких «повторений» в гимназиях нет. «Поспеть бы к *финишу*», выхватить бы «кончик» программы «к экзамену»: этот метод и «заказ» скакового ипподрома есть несчастный метод наших несчастных гимназий. Воистину несчастных! Ибо что же несчастнее гимназистика, уподобившегося скаковой лошади и которого в гимназии «тренируют», как на ипподроме. Горе, горе, горе... И никто не видит? Видят все, а Бог не дал «формулировать», определить, назвать.

«Ученые» члены ученого комитета и суть «специалисты своего предмета»: каждому из них представляется «невозможным обойтись без его специального предмета» и «интереснейших его подробностей», – о, как интересных, при его-то углубленном отношении к одному предмету!! Ученые – мастера своих наук: о, у них царит «*multum, sed non multa...*» «*Многое в одном*»...

Но членов-то *много*, они суть «многие», и все – без педагогики.

Уже из уважения к «чину», каждому невозбранно было дано начертать «программу» по своему специальному предмету... «Чин чина почитай», «нельзя же (другому члену и им всем) залезать в чужую область».

Члены думали. Работали. Писали. «Недаром получали жалованье». Повышены за работу в чине и к празднику «представлены к ордену».

Хорошо. Даже отлично. А когда придвинули кусочек к кусочку, «программу по физике» к «программе по математике» и обе – к «программе по истории» и еще к «программе по русскому языку и словесности» и еще «к программе по естествоведению» и опять затем к «программе по законоведению в VIII классе», с такими в каждой «интереснейшими подробностями», без которых как же обойтись «образованному человеку», – то и получились точка в точку:

- 1) наши гимназические программы;
- 2) где «*multa, sed non multum*»*;
- 3) никогда нигде – «*repetitio*», т. е. ни в чем «основательного» знания, твердого знания. И в результате:
- 4) «балаболка», а не «образованный человек».

Получился наш «русский говорун», на все темы, – литературная душа, словесная душа, «адвокат с маслом», а не русский спокойный ум, знающий дело свое. «О России же совсем ничто не помню. Кажется, это что-то дикое. Мы учены европейским просвещением».

С этими «сыновьями» России трудно. Это – не «сынки» наших родителей (дома они не таковы были), а «сынки» наших космополитических гимназий, созданных специальными учеными по стольким областям. «Помилуй-

* «многое, но не много» (лат.).

те, тут все науки», и каждый член ученого комитета – «авторитет в своей науке».

Ведь один-то из таких ученых «авторитетов» (член Академии Наук) подал памятное прошение в Св. Синод, с официальным запросом, имеет ли он право отречься от христианства. Ах, как этот пример и случай сыграл свою прекрасную, нужную роль в истории русского просвещения. Ведь просьба-то – случайна, ее могло и не быть. Но подавший просьбу и до нее был человеком, способным подать ее. И почему ему не быть членом ученого комитета? И почему вообще ученому комитету не состоять из таких или приблизительно таких членов?

«СОЛДАТ» ИЛИ «ВОИН»?

Среди множества получаемых писем на тему войны я получил от одного раненого офицера, лежащего в лазарете, письмо-рассуждение, которое мне показалось чрезвычайно верным по мысли. Больной, только-только из боя, он, естественно, полон боевого пыла и спрашивает пылко и негодуя, для чего сохраняется в применении к «нижнему чину» немецкое (по его мнению), или французское, или космополитическое наименование «солдат», – когда есть превосходное и старинное русское наименование «воин» как единица, элемент и живое лицо собирательного «воинства»? И я спрошу – «зачем»? Действительно – не нужно, действительно – рутинная от тех времен, когда солдаты XVIII века носили косы и пудру на волосах. Наконец, унижительное всегда, – это чужестранное наименование основной фигуры Русского Царства и русского народа, – жгуче-оскорбительно сейчас, когда его грудь выставлена вперед и принимает на себя удары немцев и неметчины. Автор письма справедливо мотивирует замену имени «солдат» именем «воин» тем Высочайшим распоряжением, по которому двухсотлетнему «Петербургу» повелено впредь именоваться «Петроградом». Он напоминает также о древнемосковском имени «пушкарь», которое народнее, понятнее и вразумительнее названия «артиллерист».

Все это очень разумно и основательно. Уважим солдата именем «воин». Кстати, – один из любимейших народных святых – «Иван-Воин», скорый помощник в болезнях. Помню, студентом, сказ старухи-прислуги: «Барин, вы захворали – отслужите молебен Ивану-Воину». Я так удивился: раньше не знал его. Теперь же в большой церкви на Вознесенском проспекте еженедельно читается (и всегда читался) акафист Ивану-Воину. Образ его – юный, прекрасный. Может быть, кто-нибудь услышит и поможет онародить в имени и «армию», и «солдата», превратив их в «воина» и «воинство».

Вместе с «войною» (вместо «кампании») это образует круг созвучных слов одного корня, – семейство слов.

Притом со словом «солдат» связаны такие неприятные производные, как «солдатчина». Все эти слова отдают запахом чего-то крепостного, под-

невольного, формального. Переименования, о каких мы говорим, следовало бы сделать при самом введении всеобщей воинской повинности, когда «воинство» слилось с «гражданством» и есть его цвет, есть его вооруженное лицо.

РУССКИЕ МОГИЛЫ В ИНОВЕРНЫХ СТРАНАХ

Великий князь Николай Михайлович. Русский Некрополь в чужих краях. Выпуск I. Париж и его окрестности. Петроград. 1915 г.

Все сыны доблестного великого князя Михаила Николаевича Кавказского отличаются преданностью наукам и украшают поле российской ученой словесности и вообще науки немаловажными трудами: великий князь Георгий Михайлович предпринял колоссальное описание российских монет, начиная от нынешнего времени до начала царствования Петра Великого. Издание имеет исходным пунктом наше время и подвигается «назад», в «старину» — метод довольно основательный, никогда доселе не примененный в исторических изложениях и обзорах. Громадные фолианты этого издания каждый может видеть в нашем Эрмитаже. Александр Михайлович собрал первую в *целом свете* коллекцию монет греческих городов вокруг Азовского и Черного морей, — превосходящую несравненно собрания Лондона, Парижа, Берлина и Вены. Труд этот ожидает описания и рукописно подвигается вперед. Но перед всеми ими первенствуют патриотизмом, разумом и обширною предначертанностью труды великого князя Николая Михайловича, взирая на которые не может не радоваться и не гордиться своим Царствующим Домом сердце каждого русского человека, прилежащее отечеству. Главные из них имеют предметом первую четверть XIX века, — столь же русскую, как и европейскую, — с центральным лицом в этой эпохе, императором Александром I. Но нам, обывателям, еще дороже и трогательнее, что душа великого князя-историка повернулась к сохранению памятков о всех русских людях сплошь, прежде почивших и до сего дня, сколько их хранят драгоценные русские могилы и совершенные над ними надгробия. Эта историческая и ученая «Вечная память», идущая в параллель «Вечной памяти» церкви над живым гробом, окруженным рыданиями, — она до того нужна, благородно-заботлива, в ней вообще содержится столько глубины и сердечной связанности со всем народом, что «Вечная память» самому князю уже уготовлена во всех сердцах, в русских народных сердцах. «Ты, князь, наших отцов и дедов и прадедов не забыл — и наши дети и внуки и правнуки никогда не изменят тебя из памяти своей». Так совершается связь веков, так устанавливается — прочнейшая бронзовой и каменной — сердечная память поколений, сердечная связь «человека» и людского собирательного «множества».

Я упомянул об «обширной предначертанности» исторической, живущей в разуме (и в сердце – относительно «некрополя») великого князя. В этом – все дело, в этом – нерв и огонь дела. «Без него – ничего». Отделив это главное – следует благодарно помнить и бескорыстных и самоотверженных помощников – В. И. Сантова, при описании «русского некрополя» в самой России, т. е. главного и почти всего тела Российской пирамиды, и В. М. Андерсона, который по указаниям, плану и с надлежащими орудиями производства изысканий в виде рекомендательных писем великого князя к соответствующим служебным лицам Франции и Парижа произвел изыскания в Париже и его окрестностях и написал прекрасное предисловие к только что отпечатанной книге великого князя Николая Михайловича: «Русский Некрополь в чужих краях. Выпуск I. Париж и его окрестности. Петроград. 1915 год» (страниц XXIII + 101).

Париж, – конечно, город с наибольшим числом русских «выселков», – и начать обозрение русского некрополя *in partibus infidelium*, «в странах неверных», долженствовало непременно именно с него. Все устремлялось, в XVIII и XIX веках, в сей город, который был «образчиком целой Европы, источником вкуса, мод и имя коего произносилось с благоговением учеными и неучеными, философами и щеголями, художниками и невеждами в Европе и Азии, в Америке и Африке» (Карамзин в «Письмах русского путешественника»).

Но здесь исследователя «подробностей» ждала некоторая беда; и в XVIII и в XIX веках в Париже проживало множество сановных русских бар, так дивно описанных Пушкиным в «Послании к князю Юсупову», – которые, однако, в великолепии Европы теплили свою «русскую лампадку», т. е. память Москвы и память своих поместий: и прах их, если они и умирали в Париже, перевозился на родину, опять же по чувству, изображенному Пушкиным:

Но ближе к милому пределу
Мне все ж хотелось почивать.

Поэтому «русский некрополь» в Париже оказался до изумительности мал, – вне всякого соизмерения с «русской колонией» в Париже.

Это – одна беда для историка, который жадно ищет богатого материала.

Вторая беда, – что в Париже теперешнем не сохранилось кладбищ ранее, как с начала XIX века! Все *старые кладбища*, начиная с галльской Лютеции и потом устраивавшиеся в средние века, и наконец, в новое время – смыты, снесены ураганом Французской революции. Не пощадила она и *эпиграфического* материала, хранившегося в рукописных отделениях знаменитейших парижских библиотек: «Безжалостный конвент постановил 19 июня 1792 года сечь, как «пережиток рабской старины», около шестисот томов генеалогических списков и заодно с этим предал огню множество эпитафий». Таким образом, русский некрополь в Париже ограничивается только одним XIX веком.

В отличие от бедности и исторической незначительности собственно русских могил в Париже (интереснейшие из них – русских иезуитов, напри-

мер кн. Ив. Серг. Гагарина, и партийных работников революции, например Григория Гершуни), – чрезвычайно богат некрополь польский. Три волны польской эмиграции хлынули в Париж, – в 1794 году, после пленения Костюшки, в 1831 и 1863 годах. «Польская колония в Париже проникнута преимущественно переходящим чувством любовного уважения к родным могилам, особенно когда последние обвеяны романтической дымкою «wygnania» (изгнания). Отражение такого пиетета сказалось в прочувствованной строфе поэтессы Конопницкой, часто встречающейся в эпитафиях.

Groby wy nasze, ojczyznie groby,
Wy zycia pelne mogily,
Wy nie oltarzem pro nej zaloby
Lecz twierdza sily *.

«В Париже по наши дни действует достойная всякого внимания польская «Komisja opieki nad grobami», возникшая в 1885 году. Комиссия эта имеет своею целью приведение в должный порядок запущенных польских могил, реставрацию и охрану старых памятников и посильное сооружение новых. Достаточная степень внешнего благообразия польских могил свидетельствует о внимательности комиссии и работе ее сочленов, особенно подчеркивая желательность подобной же организации среди наших парижских сородичей».

Эти слова В. М. Андерсона справедливы не только для Парижа, но и для России. С каким прискорбием смотришь на расплодившиеся всюду у нас «Бюро похоронных процессий», которых значительнейшее число находится не в русских руках, обставлено не русскими мастерами и рабочими, – а и здесь все затянуло инородчиной и иновещиной. Вообще небрежно относимся мы к своим дорогим покойникам. Поплакать – сумеем, а работу сработать для них не умеем.

Д. И. ВВЕДЕНСКИЙ, ПРОФЕССОР ИМПЕРАТОРСКОЙ ДУХОВНОЙ АКАДЕМИИ. ПАТРИАРХ ИОСИФ И ЕГИПЕТ

Опыт соглашения данных Библии и египтологии. С 63 снимками с египетских памятников и с 17 на отдельных таблицах. Сергиев-Посад. 1914 г.

Отпечатание (уже в двух изданиях) «Истории древнего Востока» почтенного петроградского профессора Б. А. Тураева и открытие громадной египетской коллекции, собранной г. Голенищевым, при московском Музее изящных искусств, возбудили интерес русского образованного общества к египетс-

* Могилы вы наши, отеческие могилы, / Вы – жизни полные могилы. / Вы не алтарь грусти по ней, / Но оплот силы. – *Конопницкая М.* На кладбище Монморанси (День Мицкевича) (1890) (польск.).

кой премудрости и чудесам и прелести этой древнейшей культуры. С этой точки зрения интереса к Египту хочется не пропустить без указания и книгу профессора Введенского, в параллель которой печатаются в «Богословском Вестнике», органе Московской духовной академии, интереснейшие очерки г. Качарова «История изучений древнего Египта» (желателен выход этих очерков самостоятельной книгой). Книга г. Введенского (большой том в 437 стр.) особенно должна быть приветствуема за большое количество *новых для русского читателя* египетских изображений. О последних следует сделать особое замечание. Руководства по египетской истории изобилуют материалом, так сказать на общечеловеческие темы, повторяя, например, «фигуру писца», или «сцену жатвы», или полуразрушенную голову древнего фараона, что не представляет ровно ничего интересного и неожиданного для русского, француза или англичанина, и в то же время не передают, чуждаются или не понимают тех особенных и исключительных рисунков, где египтяне выразили весь свой таинственный трепет перед животными, перед растениями и перед Солнцем, побудивший их назвать все это своими «богами»... Гораздо раньше, чем они так «назвали» все это, они почувствовали это и запечатали в рисунках своих, поистине разительных и чудных. Чудо здесь, красота и трогательность, в глубине и горячности египетского чувства природы. Можно сказать, в Греции уже «печь истопилась» и «труба закрывалась», тогда как в Египте «печь пылала», и все кушанья «горячо готовились». Если позволительно так выразиться, «утроба мира» и «кровь мира» нигде так не раскрыта, не разъяснена, не обмыта «богомольно» и «целующись», как у этих младенцев всемирной истории и в то же время древнейших людей нашей планеты. Вот уловить это-то и показать в серии рисунков было бы прекраснейшею задачею ученого нашего времени. Нельзя не упрекнуть проф. Тураева, что он дал слишком мало рисунков в своем прекрасном «курсе». С другой стороны, нельзя не сказать русский и здравомысленный упрек проф. Д. И. Введенскому за то, что он допустил себя подробнейшим образом излагать и подробнейшим образом критиковать гипотезу германских ученых о том, что рассказ Библии о попытке жены Пентефрия соблазнить юношу-раба Иосифа есть перенесение в Библию египетского «Рассказа о двух братьях», где жена старшего брата соблазняется красотой и юностью младшего брата своего мужа, пасшего у него стада... Рассказ египетский до такой степени сложен и уснащен мифологиею, чудесами и превращениями, а рассказ и самый *факт* Библии до такой степени прост и естествен, — естествен во все времена и у всех народов, — что ей-ей легче было ста пожилым женщинам увлечься юношами-рабами, нежели чем сколько надо было положить труда на одно такое «литературное заимствование», на одну такую «литературную переработку»... Эту германскую гипотезу можно назвать только «ученою истерикою», — жаром во что бы то ни стало изобрести, отличиться и удивить... Поистине немцы все темы перепробовали, и когда не осталось ничего еще изобретать, они стали изобретать нелепое и невозможное...

ПРОФ. ВЛ. ИВ. ГЕРЬЕ И ЕГО «ФИЛОСОФИЯ ИСТОРИИ ОТ АВГУСТИНА ДО ГЕГЕЛЯ»

Уже более 50 лет проф. Герье странствует по пажитям всемирной историографии и весь продушился цветами и злаками, которые он съел, которые измял или которые путаются возле его ног. Весь «продушен» историею, историческим философско-историческим, религиозно-историческим, критико-историческим. «Методы», «точки зрения», — сколько всего этого несет он на себе, в себе! Сюда прибавьте живого человека, сердце которого бьется всем «современным»... И наконец, примите во внимание родственные связи с семьею приснопамятного Станкевича, родоначальника московского идеализма 40-х годов, — и вы получите фигуру, так сказать перегруженную содержательностью. Век легкий, колкий, насмешливый, как наш век, решительно не сумел воспринять всей этой содержательности; груз корабля был не по «мелководной речке» нашей современности, один берег которой образуют камни позитивизма и другой берег образует тон декадентства. Герье родился «не в свое время», жил «не в свое время», — и «свое время» его не приняло, не восприняло, — не научилось почти ничему из того, что он нес в себе как драгоценный клад науки. Корабль Герье не разгружен; чемоданы этого ученого-путешественника не развязаны, не расшнурованы, не отперты. Ценность груза от этого не теряет в себе: но, поистине, что есть пища, которая не съедена? Ко времени, когда у общества пробудится аппетит к духовно-ценному, хлебы зачерствеют, плоды потеряют аромат, многие ценности выветрятся. Одно из несчастий истории, над которыми философу истории приходится размышлять!

Но от этого еще более влечется наше сердце к нему. Герье — один из тихих героев нашей истории. Он основал первые в России женские курсы, — и несколько десятилетий мудро и твердо направлял их жизнь и работу. Здесь каждый день был труд, каждая минута была ответственна. Затем он предложил и осуществил в Москве «попечительства о бедных», разделив город на районы и таким образом дав каждому бедному и несчастному Москвы возможность «куда обратиться», «где искать помощи, заработка» и т. д. Таким образом, две вещи — «ищущая света голова» и «домашняя нужда, домашнее горе» — нашли у этого маститого историка приют. Две эти заслуги Герье никогда не умрут, будут вечно помниться в России. Правда, теперь — он не видит за собою идущих масс, толпы, но мы хорошо знаем, фактически знаем, что к нему горят благодарностью, вниманием и сочувствием отдельные и немалочисленные умы и сердца.

И для неимущих, и для учащихся он сделал неизмеримо больше, чем профессионалы около молодежи и профессионалы около житейского горя, — имя же им легион. Но, поистине, эти люди старались для своего имени, натирали мелом пуговицы своего мундира и звали внимание всех к этому мундиру, — а Герье думал и заботился о самом человеке, о бедном в нужде и об учащемся около книги. О себе же в этих заботах он ничего не думал и

от этого сохранял в себе все достоинство и, позволим выразиться, все величие русского гражданина и русского просвещенного человека. Здесь и «ключ» к его неоцененности. Он всегда был горд действительными заслугами перед отечеством и перед обществом и чувствовал силу стоять на своих ногах, ни на кого не опираясь, ни к кому не прислоняясь, ни за кем не следуя и вообще не присоединяясь ни к какому чужому мнению. Он был всегда «в своих мнениях», достаточно вооруженных для самозащиты. «С волками не выл», а «жить» ему приходилось часто и долго «среди волков» (70-е и 80-е годы нашей «общественности»). И конечно, ему это не прощалось людьми такого склада ума и характера, как приснопамятный Ник. К. Михайловский и его многочисленное «окружение»...

Последнее время Влад. Ив. Герье посвятил изучению и изложению предметов, которые можно объединить одною темою: как и какими лицами строился *европейский идеализм*. Идеализм и сердечный (св. Франциск), идеализм и умственный (бл. Августин, Гердер и Гегель), идеализм и деловой (римское папство в золотой его век; французское политическое строительство). Все темы в высшей степени важны.

Герье в значительной степени сам и в своей личности объединяет и подводит итог одной золотой странице русской истории XIX века, — именно кафедре всеобщей истории в Московском университете. После Грановского, Кудрявцева и Ешевского он является каким-то зрелым и естественным «заключением»... Их молодое волшебство слова и речи было слишком афористично и кратко; они не дали обширных трудов, примыкающих к главным темам всемирного идеализма, всемирной старательности, всемирного идеального строительства. Герье построил как бы «общее руководство» к этим разрозненным афоризмам, — как бы соединив валами и рвами отдельные бастионы, дал одну цельную «крепость». Таковы части его исторической трилогии: — «Блаж. Августин», «Западное монашество и папство», «Расцвет папской теократии» (печатается), — объединенные одним общим заглавием: «Зодчие и подвижники Божьего Царства». Такова только что появившаяся книга — «Философия истории от Августина до Гегеля» (Москва, 1915 г.). Такова его обширная и превосходная работа — «Французская революция в освещении Тэна» (1911 г.). Последняя имела, кажется, большое влияние на понижение того болезненного, патологического жара, с каким русская учащаяся молодежь относилась к кумиру новой истории. Сделанная адвокатами, риториками и голодными, эта революция более разрушила, чем создала, — более «порвала кружев», чем сколько их соткала... Лично от Влад. Ив. Герье приходилось слышать, как много пришлось ему перенести упреков за критическое отношение к революции от *старших* своих сверстников и товарищей по кафедре, Чичерина и С. М. Соловьева (в именах могу ошибиться), питавших культ этого «просветительного переворота». Добрая и непреходящая сторона Герье, что он искал Вечного Света, а не просто Света. Он всегда хотел прочного и успокаивающего в истории, а не возбуждательного и чего-то мелькающего. Сказать ли догадку нашу, — что «бедные Москвы», на которых он

положил столько сердца и ежедневной суровой работы, внушили ему безмолвными взглядами и мольбы и благодарности эту мысль, — что «строит *вечно* тот», кто строит покой и утешение человечеству, а не раздражает его и не волнует эффектами, зрелищами, восторгами и разочарованиями.

ИЗ ПИСЕМ С ВОЙНЫ

Тихие, милые письма... Я говорю о солдатских письмах с войны и тоже о многочисленных теперь письмах с родины, из деревни — к лазаретным сестрам милосердия, которых они помнят, любят и «никогда не забудут», как нередко прописывается в конце письма.

Великая связь «образованных» с «необразованными», и дай Бог, чтобы она никогда не порывалась.

Но я хочу отметить оттенки в письмах, которые, может быть, не всеми отмечены. Они без шума, эти письма, — текут среди «поклонов» и «пожеланий», таких домашних, — и хотя кажется в них все «в высшей степени обыкновенным», — но это «обыкновенная хорошая погода», которая вот стала над всей Русью, и кто же ей не порадуется? «Хорошая погода», господа, лучше праздника: ибо праздник кончится с вечером, а хорошая погода во всяком случае — устойчивое, длительное.

Вошла девушка, помогающая у нас в доме около детей и по хозяйству, и, подав пакет, сказала: «Вот вы, В. В., просили что-нибудь из писем с войны». Я прочел:

«...Шлю вам, милые, сердечные, поклон и желаю от Господа Бога доброго здоровья и всего наилучшего. Кланяюсь дорогим вашим детям: Толе (9 лет) и Тамаре (5 лет), — шлю по низкому поклону и желаю от Господа Бога доброго здоровья и всего хорошего. Дорогой Коля (двоюродный брат, к коему адресовано письмо), письмо от 21 апреля я получил 9 мая, за которое чувствительно благодарю, за ваши молитвы и пожелания. Об себе же скажу, что я, слава Богу, нахожусь здоров. Впереди — Бог. Город С. оставили 1 мая, встали на позицию второго, а третьего мая страшно был большой бой. В нашей батарее ранило 9 человек нижних чинов и один из них помер, — и ранило одного офицера и несколько лошадей».

Не «ранили», не «они ранили», а «ранило»: судьба, что угодно, а не жалоба, не ропот.

«Батарея стояла от неприятельских окопов на расстоянии одной версты и нескольких сажень, так что стрельба производилась по видимой цели. Немцы и австрийцы наступали и шли густыми колоннами, и все до одного человека скашивались пулеметным и ружейным и артиллерийским огнем, и это наступление продолжалось с восхода солнца и до самой темноты; и ночью была не одна атака. Все было отбито. Так что день этот был для нас большой победой, а с нашей стороны были совсем ничтожные потери убитыми и ранеными, потому наши были в окопах, а неприятель шел открыто».

Все – дело, и никакого хищничества. Русский сражается, как мужик пашет землю: не торопясь, с расстановкою. «Отдыхаючи». Нигде этого когтя хищника: не сказано жадного «*ни один не ушел*», «*все тут легли*», а – «скашивались». Это зрительное впечатление стрелявшего, передающего – «что я видел», без волевого и страстного напряжения – «уничтожить», «не дать уйти».

«А пятого было для нас уже не так хорошо. Пришлось отступить версты на две назад. Но теперь держим (держимся. – *В.Р.*), пока на одних позициях. Что будет дальше, Коля, не знаю. Сколько гибнет каждые сутки людей на всем фронте. Но пока здесь у нас на фронте дело идет под гору. Были пройдены Карпаты на 50 верст, а теперь на столько отступили. Может быть, переправятся».

Как спокойно! Отступаем ли, наступаем ли, все «как Бог даст». Это тон тысячелетнего пахаря. Ни – «ура», ни – «увы». Именно погода.

«Затем, милые Коля, Катя (жена братнина), Толя, Тамара (дети), будьте здоровы. Остаюсь любящий вас Степан Акундинович Б... 1915 года мая 10 дня».

Как тихо все, как бесшумно! Скажете: «как *однообразно*»? О, господа, – это наши тихие реки, погодушка с прохладцей, это наконец «наш тихий русский Бог», – и чего же, чего же, скажите, вы хотите? Всякая «гордость» пройдет, а «тихое» вечно останется.

Русь вечна, если она сохранится тихою.

ЗАДАЧА ИСТОРИИ

Кто из двух «культурнее», – старец Гомер, слепой и нигде не учившийся, который по памяти воспел Трои и изрек «Илиаду»? Или – германец Вольф, который, вооружась всей филологией и рассмотрев «Илиаду» в микроскоп, доказал в 1795 году в своей книге «*Prolegomena ad Homerum*», что Гомера никогда не было, а были сказки и песни, «собранные потом в одно и приписанные Гомеру».

У одного – вся ученость и никакого таланта.

У другого – душа певучая, светлая, благодарная Богу и людям. И люди его возлюбили, а Бог наградил его чудным даром песен.

Это сравнение хочется кинуть немцам в ответ на слова, в частности относящиеся к русским, которые имели дух выговорить их ученые*.

* Привожу эти слова из книги проф. В. И. Адамовича, изданной в пользу пострадавших на войне народных учителей: «Оправдание представителями германской интеллигенции нынешней войны и способа ее ведения Германией и Австро-Венгрией. Ответ представителей интеллигенции во Франции, Англии и России». *В. Р.*

«Выставляя себя защитниками европейской цивилизации менее всего пристало тем, кто вступил в союз с русскими и сербами и кто устраивает возмутительное зрелище, натравливая на белую расу монголов и негров.

Разнузданная жестокость нам ненавистна. Между тем, на Востоке земля окрашивается от массы искромсанных русскими ордами женщин и детей, а на Западе пули дум-дум разрывают грудь наших воинов.

Не-германцы – ничего не знают об истинной Германии. Мы в нравственном и умственном отношении выше всех, и нам нет равных. Вильгельм II – *deliciae generis humani*, украшение рода человеческого».

(Письмо профессора Берлинского университета Адольфа Лассона.)

«Среди наших врагов – русские все еще находятся на самой низкой ступени цивилизации»... (слова химика Освальда, получившего Нобелевскую премию).

«Вы хотите знать, чего хочет Германия? Германия хочет организовать Европу, потому что Европа до сих пор остается неорганизованной... Она потребует, чтобы немцы пользовались одинаковыми правами с французами во Франции, чтобы им позволили работать там и приобретать имущества и земли на одинаковых условиях с жителями этой страны» (он же; ну, а французы получают ли то же самое в Германии?).

И хочется на это все им кинуть: вы – нация не просвещенная и не освященная, хотя по форме ученая и высокотехническая. Но у вас есть только формальность всего этого, только внешние признаки учения и выучки: сведения, умения. Но нет сердцевины всего этого, которая выражается в человечности, в доброте, деликатности, скромности; в том всем, что ваши старики времен Гердера и Фихте обозначали словом *humanität*. Мы (целая Европа) знаем и в особенности мы постигаем вашу Германию лучше и глубже, чем те ваши профессора, «художники», «библиотекари», «литераторы», «скульпторы» и «дирижеры», которые подписали, – впрочем, в крохотном числе всего 93 человек *со всей Германии!!* – полное лживости и хвастовства «воззвание к цивилизованному миру»... Только 93 человека, – сколько бывает профессоров в одном университете... Что за недоразумение, – когда, судя по некоторым подписям, напр., «Гальбе, литератор в Мюнхене», «Гофман, городской архитектор в Берлине», «Фольмёллер, ученый (?) в Штутгарте», – обращались решительно ко всем, решительно везде!! Ведь «всех», очевидно, несколько тысяч, много тысяч в Германии!! Судя по всему, в самой современной Германии борются *два типа* человека, – два типа души, два типа мышления, два типа отношения к людям. Среди *старых немцев*, добисмарковского склада души, мы верим, и до сих пор есть прекрасные души, на которых лежит отсвет Бетховена, Моцарта, Шеллинга, Фихте, Гёте, Гофмана, Шиллера, Гердера и множества-множества им подобных. Это – Германия по преимуществу провинциальная, Германия тех королевств и небольших княжеств, тех,

наконец, старинных усадеб и тихих городков, на которые наступил и которые раздавил прусский сапог. Но этот тип души и жизни есть побежденный в Германии, вырождающийся и исчезающий в Германии, выколоченный из Германии железною палкою Бисмарка и двух Вильгельмов. Победил молодой тип, здоровый и здоровенный, кровяной и упитанный, сытый и самодовольный.

Тип этот несет на себе и в себе только железистые, грубые частицы цивилизации, а не ее дух. В теле есть «бездружные» кости и нежные ткани нервов и мозга. Вот нервы-то и исчезли, а осталась голая кость Германии, — сильная, крепкая и имеющая еще фигуру человека. Техника, машины — остались; дух, поэзия, философия — угасли; производство — великолепно, производители — омерзительны. На нас лезут, на всю Европу полезли великолепно вооруженные мошенники, которые не понимают даже такой элементарности, что стыдно лгать; не понимают вообще ничего настоящего-человеческого. Германским ученым приходится объяснять из учебников, ими же составленных, но составленных формально, без одушевления, что ведь римляне времен падения были технически совершеннее и книжно учение, чем Рим времен добродетелей, чем Рим крестьянско-патрицианский; и что греки после Александра Македонского были учение греков времен Аристиды и Кимона. То же можно сказать о папах эпохи Возрождения сравнительно с папами средневековыми. Авось эти сравнения будут убедительными для ваших (обращаюсь к немцам) профессоров. И греки и римляне, и папы второго, «ученого» и книжного периода явили собою чудовищное человеческое лицо, — не образ, а образину, — не картину жизни и человека, а карикатуру жизни и человека. Но ужас вашего несчастного положения и нашего несчастного состояния заключается в том, что вы уже ничего этого не можете понять, как порочный ничего не понимает в добродетели, тупой ничего не понимает в развитом, тьма не видит света и не принимает в себя света. Только когда германцы, типа Ницше и духа Ницше («красивое, сильное белокурое животное»), будут укрощены, как дикие звери, и будут недоумевающе озирались по сторонам в железной клетке, — то с горем и унижением в них родится новое сердце, и они начнут что-нибудь понимать.

Укрощение вас (говоря новой молодой Германии), ваших диких ученых орд, есть очередная задача истории, есть абсолютное требование культуры, — есть то, без чего «не будет сделан ее следующий шаг». Предстоит разрушить фантом, которым увлечены вы и в который вслед за собой вы увлекли многих из европейцев: что «ученость» и «книжность» есть будто бы «все, что нужно», — и что «ничего более не требуется для достоинства». Это новый библиотечный и школьный фетиш, — хоронящий Гомера под Вольфом, — хоронящий малограмотную Гретхен («Фауст») под набитым всякою ученою трухою и совершенно глупым Вагнером. Кстати, Германия «прежде» и Германия «теперь» есть Германия, с одной стороны, Фауста, Гретхен и Вертера, таинственная и поучительная, — а с другой стороны, это есть Германия сотен и тысяч Вагнеров. Пример этот тоже может быть убедителен для ваших профессоров. Ваш Моммзен, сказавший, что «тупая славянская башка ничего не понимает, а понимает только удары палкою», —

истинный взгляд рабовладельца! – был не светлой точкою цивилизации, а плачем цивилизации: там, где «муза истории», античная Клио, заплакала об историке, который вздумал быть поганым человеком.

Этот пример тоже все объясняет. Не знаем, как в других странах, а у нас в России ни один профессор не смеет себя поставить выше крестьянина, который трудолюбиво пашет свое поле и кладет на себя крест перед работою. И ни одна ученая русская женщина не посмеет никогда посмотреть сверху вниз на безграмотную деревенскую девушку, трудолюбивую и полную достоинства. У нас нет вашей пошлой арифметической демократии, а есть святое народное чувство, диктующее каждому, что все люди равны, если они одинаковы в совести, правде и трудолюбии. У нас нет высших и низших, – иначе чем в разрядах работы, – и наш Государь, первый из императоров облеченный в форму трудолюбца-солдата, есть символ и выразитель христианского духа, царствующего на Руси. Вам этого никогда не понять. И вы со своим Моммзеном представляете огромную массу тех чугунных голов, в которых мысль пробудится лишь тогда, когда они больно ушибутся. К этому вас и ведет история, – история как Провидение. Не наш суд будет над вами. Но на вас идет Божий Суд, и трепещите! Ваша гордость разобьется о всемирную скромность, – ваша ученость будет унижена, ваши идеалы, которые нам кажутся идеалами всеобщего оподления, будут представлять собою черепки разбитого глиняного горшка. Господь всегда сильнее человека, и Господь идет на вас. Трепещите! Заливайте землю кровью, и все-таки трепещите. Лгите, насильничайте, хвастайтесь: это последний лай собаки, за которым виден опускающийся хвост. И ваше пошлое «Воззвание к *цивилизованному* миру» есть именно такая поза лая и поджатого хвоста...

Нет, не *новая* Германия отстаивает культуру старой Германии, – прежней; напротив, Европа поднялась в защиту и своего старого достоинства против новых прусских выскочек, этой помеси барабанщика, шульмейстера и делового проходимца.

«Умер, умер человек в вас!» – вот крик, с которым идет на вас мир.

ОТЦЫ-ВОСПИТАТЕЛИ РУССКОГО ОБЩЕСТВА*

I

Не главным образом через училища, гимназию и университет росло, зрело, развивалось и воспитывалось русское общество того приблизительного миллионного состава, из которого вышли все идеи и «помышления сердечные» и волевые «направления», какими жила вообще Россия в XIX веке; преимущественно

* Письма И. С. Тургенева к графине Е. Е. Ламберт. С предисловием и примечаниями Г. П. Георгиевского. Москва, 1915 г.

щественно оно воспитывалось через «изящную словесность и, определенное, через тот десяток, два десятка седых голов, которых по их роли и положению можно было бы назвать «отцами-воспитателями»... Между ними – один из первых Тургенев. Изучать во всех подробностях эти личности – и привлекательно, и поучительно, и необходимо. Это какой-то собирательный «Сократ», с его задумчивостью, шутками, рассказами, остроумием, рассуждениями, с философией о всем небесном и обо всем земном, который десятилетие за десятилетием «останавливал за полу» русского человека, задавал ему вопросы о чем-нибудь житейском и современном, – о шумах города, о разговорах в толпе, – и вел через шутки, рассказы и рассуждения все к высшим и высшим ярусам знания, понимания, по крайней мере – внимания. По некоторым своим особенностям русская литература второй половины XIX века – единственная в своем роде. Это (как давались часто заголовки статьям) – действительно «литература и жизнь». Она столько же реальна, как и идеальна, столько же повседневна, как и мечтательна, педагогична, как и свободно-фантастична. В ней все есть! И все – учит, ласкает, воспитывает, навеивает думу, рождает убеждение. Как-то в Наугейме мне пришлось от русских услышать рассказ об американке, приехавшей сюда поправлять сердце. Узнав, что собеседница русская, американка заговорила с нею, как с родным человеком, и именно – о Тургеневе. По Тургеневу, все русские персонажи, русская жизнь, русские особенные понятия – ей сделались «своими», гораздо более понятными и близкими, нежели американские, касающиеся «промышленности и торговли», «церкви и банка». «Свое» к ней не пристало, было ей – по своеобразности личной биографии – не нужно. «Русское» в высшей степени оказалось нужным, поучительным, восполюющим жить.

Да, эта полуреальная, полумечтательная литература вообще дает «посох» в руки – и дает его всякому «путнику». Именно – Сократ, старец, много думавший, испытывавший. Для нас, для общества – это есть как бы «вечный университет», всем открытый и бесплатный. И – «на всю жизнь», днем в трудовые часы мы работаем, делаем дела, – а под вечерок возвращаемся в «свой университет», чтобы послушать в нем и переночевать в нем, отдохнуть и забыться.

Вот отчего, в то время как о Кантемире, Фонвизине, Грибоедове, о лицах, ярко определенных и замкнутых в русские границы, – не манит все вновь и вновь писать, потому что о них «все написано», – о таких писателях, как Гончаров и Тургенев, с безграничным туманом вокруг их и вдаль от них, – все хочется еще что-нибудь услышать, узнать, спросить. И никогда не перестанет это «хочется», потому что вечно останется «что-то не ясно»...

II

В 1889 году в московский Румянцевский и Публичный музей поступили в запечатанном пакете письма Ив. Серг. Тургенева к графине Елизавете Егоровне Ламберт, – дочери знаменитого русского министра финансов Е. Ф. Канкрин. Брат ее мужа был наставником Царства Польского, а муж был близок ко двору Александра II, и как наследника, и как Государя. Письма

эти, перед своею кончиною в 1883 году, графиня Ламберт передала А. Д. Сverbееву, а он передал уже Румянцевскому музею с указанием вскрыть не ранее сентября 1914 года. Все в точности было исполнено, — и теперь они изданы, в соответственной научной обстановке, хранителем рукописного отделения музея, Г. П. Георгиевским. Большой недостаток книги, что к ней не приложено портрета графини Ламберт: как-то тускло и досадно читать письма, написанные с таким ярким интересом и очевидною большою дружною, не взглядывая по временам на лицо, которому говорят все эти ласковые, любящие, почтительные слова. Чувствуется, что адресатка, будучи тех же ярусов образования, как сам Тургенев, была несколько крепче его, убеждений более твердо очерченных, — политических и религиозных, — без особого смягчения всего этого так называемую «женственность». В ней не было преклонения перед Тургеневым, — даже литературного. Но он находил в ней друга, — друга и судьбы своей, и своей личности, друга наконец политического и литературного, с порывами к суду, упреку и даже осуждению, — от которых он защищался или оправдывался, с которым он постоянно спорил, — и столь же постоянно и «верно» оставался ему предан. От этого переписка имеет, так сказать, внутренний упор в себе, и отсюда-то ее интерес и значительность. Так, в 94-м письме, от 3 сентября 1864 г., Тургенев ей пишет: «С вашей точки зрения, за мною — две вины: первая — отсутствие... ортодоксии; вторая — удаление из родины, происходящее от желания эпикурейской жизни, от эгоизма, одним словом. О первом пункте я не буду распространяться, я не христианин в вашем смысле, да, пожалуй, и ни в каком, и потому оставим это в стороне: это может повести только к тяжелым недоразумениям. Что касается до второго пункта, то позвольте прежде всего протестовать против слова «презрение», которое вы мне приписываете; презирают только молодые, горячие люди, а за мной и в молодости этого греха не водилось. Вы говорите: должно служить отечеству, — прекрасно. Но вы согласитесь, что я не могу служить ему ни как военный, ни как чиновник, как агроном или фабрикант; посильную пользу приносить я могу только как писатель, как артист. Я бы мог заметить тут, кстати, что для всякого артиста наступает время и даже право покоя. Я хочу только обратить ваше внимание на тот факт, что нет никакой необходимости писателю непременно жить в своей родине и стараться улавливать видоизменения в ее жизни, во всяком случае нет необходимости делать это постоянно»... От 26 февраля 1865 года, однако, он в сущности признает правоту ее укоров: в конце письма он приписывает: «Я повесил свое перо на гвоздик... Россия мне стала чужда, и я не знаю, что сказать о ней. В таких случаях, как говорится, *le silence est d'or**».

Удаление из России, которому обычно приписывают эту тургеневскую немощь, сказать что-нибудь решительное о России и самому русскому обществу, — едва ли полно объясняет дело, Толстой или Достоевский, посещая они Россию не чаще, нежели Тургенев, все равно писали бы все время

* молчание — золото (*фр.*).

о России, все равно укоряли бы или звали куда-нибудь — только русских, «родных», своих. Разница была в темпераменте, спокойно-художественном у Тургенева (у него и мелькнуло в письме — «артист») и горячо моральном — у двух его современников. В сущности, Тургенев вышел в литературу с одним большим отвращением — к крепостному праву, к дури помещиков дурного типа; и с привязанностью тоже к одному — к той, недавно зародившейся, русской «интеллигенции», которая начала свое золотое детство в кружках Станкевича, Белинского и Герцена. «Золотая книжка», «золотой разговор», «золотая беседа», «золотая любовь», непременно — «первая любовь», девичья, юношеская... Вот что он пел, славил, истинно любил; что он передал, изобразил с несравненным художеством. Все это, именно это, и дало позолоту его творениям. Но Россия в целом, в громаде? Россия историческая? Наконец, Россия православная, церковная?.. Все это было не ясно не только в 60-е или 70-е годы, но и всегда. Как это было по существу чуждо и Белинскому, и Герцену... Тут не было у него ни «да», ни «нет»... — «Ах, эта ортодоксия? Конечно — я не христианин». Такие страшные слова он произносит без всякого смущения; и о всей Церкви, и о целом христианстве он, очевидно, на долгом веку своем продумал меньше, продумал короче и слабее, чем сколько об одной статуе Венеры Милосской, о которой сказал памятные слова. Но, можно сказать, история еще не «приготовила» сюда людей, — еще не раскрыла *сюда двери*... Нужно было все волнение, какое вызвали собою Достоевский и Толстой, отчасти — Лесков, чтобы начать чувствовать тот интерес, ту значительность и серьезность к этим темам, в сторону этих областей, какую стали чувствовать поколения русские, начиная с 80-х годов минувшего века. Тут — не личная вина Тургенева, а более всего лежит вины на том «принудительном безделье», в каком держала русское общество николаевская эпоха, оставившая обществу действительно одни книги и «изысканную словесность». Замечательно, что дочь Канкринна, т. е. дочь серьезного государственного человека, с огромною ответственностью и огромными обязанностями, говорит об «ортодоксии» и «политике» совсем иным тоном, — несколько суровым и требовательным. Тургенев отвечает ей (письмо 90-е, от 27 апреля 1863 года): «Я уже собирался вам писать, милая графиня, — как вдруг явилось ваше большое письмо, и, разумеется, несмотря на свою безжалостную строгость (NB. — В. Р.), ускорило мое намерение. Скажу несколько слов не в оправдание, а в объяснение. Вы меня осуждаете как человека, в смысле политического деятеля, гражданина и — как писателя. В первом отношении вы правы, во втором — нет, как мне кажется. Вы правы, говоря, что я не политический деятель, и утверждая, что правительству нечего меня опасаться. Мои убеждения, с молодых лет, не менялись. Но я никогда не занимался и не буду заниматься политикой: это дело мне чуждое и неинтересное (NB. — В. Р.), и я обращаю на него внимание, насколько это нужно писателю, призванному рисовать картины современного быта (!!! — В. Р.). Но вы не правы, требуя от меня на *литературном* поприще того, что я дать не могу, — плодов, которые не растут на моем

дереве. Я никогда не писал для народа. Я писал для того класса публики (NB. — В. Р.), которому я принадлежу, начиная с «Записок охотника» и кончая «Отцами и детьми». Не знаю, насколько я принес пользы, но знаю, что я неуклонно шел к одной и той же цели и в этом случае не заслуживаю упрека. Вам кажется, что я из одной цели не пишу, как вы говорите, простой и нравственной повести для народа (NB. — В. Р.). Но почему вы знаете, что я двадцать раз не пытался что-нибудь сделать в этом роде и не бросил этого наконец, потому что убедился, что это не по моей части, что этого я не умею. Вот где именно и высказывается слабая сторона самых умных людей не художников: привыкнув всю жизнь свою устраивать сообразно с собственной волей, они никак не могут понять, что художник часто не волен в собственном детище, — и готовы обвинять его в лени, в эпикурействе и т. п. Поверьте, наш брат, да и всякий делает только то, что ему дано делать, а насиловать себя и бесполезно, и бесплодно. Вот отчего я никогда не напишу повести для народа. Тут нужен совсем другой склад ума и характера» (стр. 161–162).

III

Я отметил места, особенно характерные для Тургенева и особенно показательные для его эпохи. Очевидно, раз уже заговорила об этом дочь Канкринна, — то, значит, «носились в воздухе» та нужда, которой ответил позднее Толстой своими «простыми и нравственными рассказами для народа» и Лесков своими «выборками из *Пролога*» («Повесть о богоугодном древоколе», «Прекрасная Аза», «Скоморох Памфалон», «Час воли Божией», «Легенда о совестливом Даниле», «Лев старца Герасима», «Невинный Пруденций», «Сказание о Федоре-христианине и о друге его Абраме-жидовине»). Но самая эпоха, которою рожден был Тургенев (30-е, 40-е годы), была бессильна к этому, да и он лично — еще бессильнее. Замечательно, что «люди 60-х годов», которым в интересах пропаганды так нужно бы «говорить *народу рассказом*», — оказались совершенно бессильными составить хоть один *народный* рассказ, но уже по причине другой: по отсутствию связи и по отсутствию влечения и симпатии к государству и к Церкви. Между тем народ наш вовсе не этнографическая масса, с одной «душевностью» «общечеловеческого характера» (тут-то все и ошибаются!!), а народ величественно-государственный и взыскательно-церковный. В сущности, безграмотное крестьянство неизмеримо политичнее, так сказать страстно-«партийнее», нежели многограмотное дворянство, давшее целый ворох анархистов и нигилистов. Кроткою, не воинственною формою нигилиста был и «артист»-Тургенев. Это его «безволие 40-х годов» много объясняет в известных вспышках, какие неоднократно возникали у него с Толстым. В письме 70-м к графине Ламберт он рассказывает: «Я все эти дни находился в довольно странном положении, а именно — я чуть не подрался на дуэли (пусть это останется между нами) с графом Л. Н. Толстым, писателем. Надобно вам сказать, что между

нами существовала давнишняя антипатия. Я его всячески избегал (NB. — В. Р.), но он, не переставая меня ненавидеть, все меня отыскивал (NB. — В. Р.) и старался сблизиться со мною. Не хочу о нем говорить ничего дурного: во всяком случае, это весьма сложная и самомучающаяся натура. Он сходилась со мною (NB. — В. Р.) как будто для того, чтобы дразнить и бесить меня. По поводу совершенно постороннего разговора (дело шло о филантропии) я, уже внутренне взбешенный, сказал ему грубую дерзость. Я ожидал немедленного вызова, но он сначала был весьма мягок и вежлив, и только когда я уже извинился письменно, досада в нем вспыхнула. Словом, вышла неприятная история, которая тянулась несколько дней, в течение которых я был убежден, что поединок будет неизбежен... Кое-как дело уладилось, но мы теперь раззнакомились навсегда (?! — В. Р.). Я не жалею об этом, потому что сближения между нами никогда быть не могло (NB. — В. Р.). Но я досаду на себя: как мог я до такой степени потерять власть над собою? Оказывается, что никто ни за что ручаться не может, и это, действительно, как говорится перед причастием, «первый грешник есмь аз». Эта глупость помешала мне работать и вообще отравила мне нынешнюю весну, которая здесь расцвела вдруг, и прелестно...» (NB!! — В.Р.).

Может быть и случайно, может быть и не точно, но Толстой сказал мне о Тургеневе: «Я *всегда* любил Тургенева», — сказал вне темы разговора и как обмолвку, т. е. как бы «про себя». Не думаю, чтобы это не было точно, ибо от «точностей» отступают только «для темы». Но я думаю, — и это ясно чувствуется из слов письма его к графине Ламберт, — что Тургеневу постоянно было жестко около Толстого, неудобно, как «на дурно постланной постели». И Тургенев, не весьма психолог, передал это, как «вечную нелюбовь Толстого ко мне». Сам же Тургенев естественно и правдоподобно не любил Толстого, потому что натура его выносила только мягкое. Из слов письма — «Мы раззнакомились навсегда», с оттенком — «и рад больше не встречаться и не говорить», — это слишком очевидно. Картина отношений, с внутренней стороны, ярка до последней степени. Толстой уже по закону контраста, — *les extremités se rencontrent**, — конечно, любил Тургенева, эту его мягкость, эту его доброту, это его «не умею сберечь свое имущество» и «всю жизнь ухаживаю за чужой женою». Кто такого не полюбит, — и не полюбит особенно крепкий, сильный? А Толстой был и сильный, и крепкий. Отсюда сказ Тургенева: «Все меня отыскивал и старался сблизиться со мною». Но прибавляет, наивно и непрониновенно, что Толстой все это делал, «не переставая меня ненавидеть» и «как будто для того, чтобы дразнить и бесить меня» (!!!). Откуда же такое восприятие у Тургенева, — очевидно, описательно точное? Толстой дивным дивом дивился, каким образом первенствующий (в ту эпоху) русский писатель, с таким колоссальным обаянием на общество, в сущности любит и в сущности понимает и даже интересуется только «как расцветает нынешняя весна», — «у них в Спас-

* крайности сходятся (фр.).

ском, в Тульской губернии», — и «как поет Виардо в Париже». Характерный человек 50-х, 60-х и *следующих* годов, — именно с историческим зовом в эти «следующие» года, — ничего не мог понять в характерном человеке 40-х годов, сидящем в вишневом саду, слушающем курских соловьев и совершенно чуждом сознания, *где он и что он*. Он, «русский», — он, живущий «в России». Толстой кусался. Толстой не мог не кусаться. А любил, — необъяснимо тянулся. Но встретится — и раздражен, говорит колкости, говорит насмешки. Тургенев же, как и в письмах к Ламберт, спокойно «парировал» Россию. «Я — не художник». «Я — артист». «Народные рассказы не выходят». — «Господи: да ведь я пишу, — чего еще вам надо». Толстой же в эту пору уже открыл колоссальный бок России — «военщину», «войну», «военный класс России», — о котором до него были только анекдоты и колючие словечки. Что позднее с «купцом» сделал Островский, то раньше с «офицером» сделал Толстой, — но колоссально художественнее, ярче, значительнее... Он открыл душу всего этого, душу целого класса и вместе нерв колоссальной исторической работы этого класса. Конечно, ни «Полтава» Пушкина, ни «Тарас» Гоголя — этого не сделали: это было слишком «вообще», слишком феерично, слишком археологично и только воспоминательно. В «Очерках Севастополя» и потом в «Войне и мире» Толстой показал армию, Россия увидела свою армию. Это после «поручика Пирогова» и «генерала Бетрищева» у Гоголя, после «полковника Скалозуба» у Грибоедова. Но Толстой *был военным*, был гениальным художником-офицером и завалил, задавил все эти игрушечки литературы колоссальным смыслом и поэзией. «Да и вообще Россия!» (Толстой). Тургенев: «Не понимаю» (смысл его письма к гр. Ламберт: «России я не знаю и ничего ей не умею сказать»). Ясно, Тургеневу было жестко, колюче, невыносимо даже — всякое прикосновение к Толстому. «Раззнакомились, — надеюсь, навсегда» (смысл письма к Ламберт). Толстому же около Тургенева было — любяще, тепло, приятно, но только очень удивительно и немного жалко. Все это было глубоко искренно с обеих сторон. Но Толстой, как старший душой, при большей молодости, имел полный взгляд на эти отношения, а Тургенев невольно имел взгляд отрывочный и частичный.

На этих письмах мы еще остановимся. Слишком богат материал их.

IV

Печатая письма авторов, — не удобнее ли печатать их не пачками, — «Письма к П. В. Анненкову», «Письма к Виардо», «К графине Ламберт», «К Я. П. Полонскому» и т. д., — а просто, «Письма Тургенева», — соединяя все письма в одну серию и распределяя их *по дням и по годам* написавшего... В таком случае мы имели бы полную и связную картину: «Как жил и о чем думал Тургенев дома», — и интересную, и нужную, и поучительную. Затем в двух указателях, личном и предметном, — можно бы указать, со ссылками

на №№ писем и страницы, во-первых, — все занимавшие автора *предметы* и, во-вторых, всех *лиц*, с которыми он письменно говорил.

Письма Тургенева движутся перед глазами и в ухе, как не очень бурный горный ручеек, текущий не с большой кручи. И все время любишь и все время немного учишься:

...«Между нами есть, если не ошибаюсь, симпатия чувств и ощущений (NB), — и эта связь прочнее связи, основанной на тождестве мнений»...

...«Я здесь почти никого не буду видеть, исключая одной графини Толстой, сестры литератора, — очень милой женщины, но (NB) с красивыми руками, а для меня это — если не все, то почти все»...

...«Какая глупая вещь — потребность счастья, когда уже веры в счастье нет»...

...«Все это утомонится, и я снова, хоть не вполне, приобрету то особенного рода спокойствие, исполненное внутреннего внимания и тихого движения (NB), которое необходимо писателю, вообще художнику»...

«Около меня тут живут люди тихие и незатейливые, — с ними легко и все-таки я не один».

«Человеческое сердце так устроено, что и незаслуженные похвалы доставляют ему тайную сладость»...

«Люди без твердости в характере любят сочинять себе «судьбу»; это (NB) избавляет их от необходимости иметь собственную волю и от ответственности перед собою».

«В жизни мужчины наступает, как и в жизни женщины, пора, когда более всего дорожишь отношениями тихими и прочными. Светлые осенние дни — самые прекрасные дни в году».

«Нечего думать о цветах, когда пора цветения прошла».

«Должно учиться у природы ее правильному и спокойному ходу, ее смирению... Впрочем, на словах-то мы все мудрецы: а первая попавшаяся глупость пробежи мимо, — так и бросишься за нею в погоню. Как оглянусь я на свою прошедшую жизнь, я, кажется, ничего больше не делал, как гонялся за глупостями. Дон-Кихот, по крайней мере, верил в красоту своей Дульсины, а нашего времени Дон-Кихоты и видят, что их Дульсины — урод, а все бегут за нею. — У нас нет идеала, — вот отчего все это происходит: идеал дается только сильным гражданским бытом. Искусством (или Наукой) и Религией (прописные буквы везде Тургенева. — В. Р.). Но не всякий рождается афинянином или англичанином, художником или ученым, и религия не всякому дается тотчас. Будем ждать и верить и знать, что пока — мы дурачимся. Это сознание все-таки может быть полезным. Но я, кажется, зафилософствовался».

...«Меня бы окружили там приятели, которых бы я увидел с истинною радостью, но которые помешали бы мне уединиться, а без уединения нет работы. — Рим именно такой город, где легче всего быть одному. А захочешь оглянуться — не пустые рассеяния ожидают тебя, а

великие следы великой жизни, которые не подавляют тебя чувством твоей ничтожности перед ними, как бы следовало ожидать, а, напротив, поднимают тебя и дают душе настроение несколько печальное, невысокое и бодрое»... «Пока я наслаждаюсь Римом и его прекрасными окрестностями. Погода стоит чудесная; почти не веришь глазам, встречая в ноябре месяце только что распускающиеся розы. Но не столько поражают меня эти необыкновенности, как вообще весь характер здешней природы. Такая ясная, кроткая и возвышенная красота разлита повсюду»... «Вчера я более часа бродил по развалинам дворца Цезарей – и проникся весь каким-то эпическим чувством. Эта бессмертная красота кругом, и ничтожность всего земного, и в самой ничтожности величие – что-то глубоко грустное и примиряющее, и поднимающее душу... Этого словами передать нельзя, но, раз ощутив, – забыть, смешать с другим чувством – нельзя. Впечатления эти музыкальны и лучше всего могли бы передаваться музыкой»...

«Виши – грязный французский городишко, без тени и без хороших прогулок; только и есть в нем хорошего, что несколько липовых аллей, которые теперь в полном цвету... Этот сладкий запах напоминает мне родину, но нет здесь ее необозримых полей, полины по межам, прудов с ракитами и т. д. Что ни говорите, человек гораздо больше растение, – растение *с корнем* (курс. Т-ва), – чем он сам предполагает».

«Стало быть, есть еще на земле энтузиазм? Люди умеют жертвовать собою, могут радоваться, безумствовать, надеяться? Хоть бы посмотреть на это – как это делается? Но теперь я уже отяжелел, лень вскакивать из проложенной колеи, по которой со скрипом и не без толчков, а все-таки катится «телега жизни». Все, что осталось у меня жару, ушло в сочинительскую способность. Все остальное холодно и неподвижно».

«Я нахожусь теперь в том полувдохновенном, полугрустном настроении, которое всегда находит на меня перед работой!..» «Я теперь занят составлением плана и т. д. для новой повести; это работа довольно утомительная, тем более что она никаких видимых следов не оставляет: лежишь себе на диване или ходишь по комнате, да переворачиваешь в голове какой-нибудь характер или положение, – смотришь, часа три или четыре прошло, а, кажется, немного вперед подвинулся».

«Мой дядька в Спасском, старик 65 лет, тоже умер. Смерть уносит людей, не разбирая. Мы все у ней в долгу, а должники не могут предписывать займодавцу, с кого именно ему начинать»...

«В человеческой жизни есть мгновенья перелома, – мгновенья, в которых прошедшее умирает и зарождается нечто новое. Горе тому, кто не умеет их чувствовать, – и либо упорно придерживается мертвого прошедшего, либо до времени хочет вызвать к жизни то, что еще не созрело. Часто я погрешал то нетерпением, то упрямством; хотелось бы мне быть теперь поумнее»...

(Из первых 16 писем.)

Ряд выдержек длинен... Но разве может быть *длинно* «из Тургенева»? ведь это – новые, только что открывшиеся нам из запечатанного пакета в Румяновском музее кусочки его прелестной единственной прозы. Что мы в ней замечаем? Прежде всего, видя эти закатившиеся из частных писем мелкие жемчужинки его сердца, его мысли, его слова – мы как-то яснее понимаем, что такое и как выросла та единая огромная жемчужина русской словесности, которую мы обозначаем – «Тургенев», «творчество Тургенева». Душа эпическая – прежде всего; эпическая почти древним эпосом, столько же славянским и русским, как и греческим или римским, – всеобщим и всемирным эпосом. Нигде восклицаний. Тургенев естественно кончает речь точкой или многоточием. Везде он заканчивается в молчание и тишину. Имейте мысленно сравнение с Толстым или Достоевским: у тех речь, – все равно, в частных письмах, как и в законченных художественных произведениях, – везде напряжена, усиливается, подымается «в гору»; и хочется сказать: эта речь – героична; у Тургенева, по самому синтаксису, она спускается с горки, в какие-то низины, равнины, ширь и вечность. Те борются, начинают, открывают новое; Тургенев – ох, как стар. Он вечно как будто утомлен, устал. По уму он гораздо менее опытен, проникновенен, аналитичен, нежели Толстой или Достоевский, но сила его – в каком-то старом, седом «синтезе всего». И это – не синтез ума, соображения, а – целостной природы, и он в Тургеневе *есть* нечто врожденное. О смерти ли он говорит, о жизни ли, смотрите, он не ищет в них ничего поправить, передвинуть, изменить; он только видит *все*, но уже видит *до корня вещей*...

Это именно эпос, это именно синтез. «Человек есть в сущности растение с корнем» (его курсив): какое древнее суждение, – почти египетское по древности, когда рисовалось «древо ли жизни» или – что, но только внутри ствола этого древа просвечивала фигура человека (замечательный рисунок, не воспроизведенный нигде в «Историях Египта»). Умрем? – Не нужно и этому противиться. Страшно ли это, горестно ли? Тургенев не говорит, а молчит. Ведь он – без знаков восклицания и острой горести не причастен. Он слишком эпик для лирики. Вообще нигде у Тургенева не встречается острого, – как и нет нигде страстного, волнующегося и волнующего начала... Всего того, чего так много и у Толстого, и у Достоевского. Весь он – без углов, весь выражен в мягких, спускающихся линиях... Природа, жизнь, история – для него *факт*. Вечный и священный *факт*. Он боится его пошевелить, не хочет шевелить. Шевелить – значит разрушать: но нет менее «разрушителя», нежели Тургенев. Руины Рима для него еще живы. Ведь они вечны, – что же тут умерло? Для Толстого – этого «вовсе нет»; для Толстого есть только «теперь», всего прошлого – вовсе и ни в каком смысле для него не существует; и сами «Будда» и «Христос» для него есть только рычаги для современности, и он почти их обращает в публицистов. Для него вовсе нет прелести в «позолоте времен», нет «вечернего заката», нет архе-

ологии и старых стилей, прекрасных «в себе и для себя». Эта «современность» мучит и утомляет у Толстого. «Позвольте, дайте отдохнуть». До 80 лет Толстой все молод и порывается вдаль. Порывается даже без оглядки, — рушит и ломит. «Господи, устали!!» — говорят современники. У Тургенева этого «отдыха» — неисчерпаемый объем...

«Все — суета сует»: это фраза Екклезиаста, но — и Тургенева. А так как он Екклезиаста и вообще Библии никогда не читал, то у него это — так же древне и первоначально, так же «из души вышло и само собою», как у Екклезиаста.

Почему он не религиозен? Это, в сущности, условно. Он родился в такое время и прожил всю жизнь среди таких кругов людей, — для которых религия была или «ничто», или «старый пережиток». Так он формально и отписывается, — между прочим и в цитированном ранее письме к графине Ламберт. Но не так это по существу и в глубине вещей. Если взять «Все сочинения Тургенева» и всю его переписку, — то на темы религии мы, правда, не найдем ни одной *сентенции*, но если взять все поле им сказанных слов, — это выйдет целое широкое поле, целая «нива живых колосьев» души человеческой, — то в этой ниве мы услышим шелест древней, древнейшей на земле религии, мы увидим «во всех словах Тургенева» высвечивание чего-то вешнего, чего-то вечного, чего-то «касающегося между землей и небом». Нет, он не был не религиозен. Он был только не катехизичен. — «Я не христианин» (письмо его). Ну, а —

Когда волнуется желтеющая нива...

Он мог прочесть это стихотворение с чувством — «мое», и если бы удержался произнести его *последнюю строку* («И в небесах я вижу Бога»), — то ведь не все ли равно? — Эта строчка дышит во всем стихотворении, и что нам до «умозаключения», когда есть все его «предпосылки»?

Есть материи: смотришь прямо — черная. Поворачиваешь немного — и отливает «синим». Вот у Тургенева есть «отлив религии»: а «прямо» — он не религиозен.

VI

Кроме мыслей, так сказать универсально-общего характера, интересны мысли Тургенева о России, о русских, — сказанные им как хозяином и помещиком, как дворянином средней полосы России. Тут — его опыт, тут — его глаз. В письме 69-м (стр. 121–122) он пишет графине Е. Е. Ламберт:

«Вы рисуете довольно мрачную картину современного быта России и русского характера вообще. К сожалению, добросовестный человек обязан подписаться почти под каждой из ваших фраз. История ли сделала нас такими, в самой ли нашей натуре находятся залогои всего того, что мы видим вокруг себя, — только мы, действительно, про-

должаем сидеть, ввиду неба и со стремлением к нему, по уши в грязи. Говорят иные астрономы, что кометы становятся планетами, переходя из газообразного состояния в твердое; всеобщая *газообразность* (курс. Т-ва) России меня смущает и заставляет меня думать, что мы еще далеки от *планетарного* состояния. Нигде ничего крепкого, твердого, нигде никакого зерна; не говорю уже о сословиях, — в самом народе этого нет».

Мысль, которая обширнее выразилась у Тургенева в его «Дыме». Конечно, мысль — верная в частях; но она не верна в других частях, и притом — в большем их числе. Разве не «Россия» — Москва и московское царство, с его Василиями и Иоаннами? Странно для определения «России» брать только свою минуту, брать одно-два десятилетия царствования Александра II, эпоху «великих реформ», когда уже по самому заданию истории все шаталось, старые столбы вынимались и новые вкапывались, и все естественно не утвердилось еще, не окрепло. Ни о следующем уже царствовании Александра III, ни о предыдущем, Николая I, нельзя сказать, что они были «газообразны». А строительство московское, с Василиями и Иоаннами, говорит и совсем иное, нежели как казалось дело Тургеневу.

О русском языке суждение Тургенева — знаменито и достопамятно. В письмах к графине Ламберт содержится замечательный вариант его (письмо 33-е):

«А знаете ли вы, что вы отличным русским языком пишете? Маленькие грамматические ошибки, напр. «я бреду» вместо «я брожу», только придают прелести вашей речи. Если вам не тяжело писать на этом языке, — пишите: вы увидите, что, хотя он не имеет *бескостной* (курс. Т-ва) гибкости французского языка, — для выражения многих и *лучших* мыслей (курсив Т-ва), — он зато удивительно хорош по своей честной простоте и свободной силе.

Странное дело! Этих четырех качеств — честности, простоты, свободы и силы — нет в народе, а в языке они есть... Значит, будут и в народе» (стр. 64).

Замечательное суждение: замечательно и сопоставление. Но не было ли узко поле наблюдений и размышлений Тургенева, ограниченное собственно делами и разговорами помещичьего быта, дворовых соприкосновений (дочь Тургенева, Пелагея, была рождена от дворовой девушки его матери) и журнально-литературных собеседований? А история русского старообрядчества? А сурово честное «противление» реформам Петра? Читал ли и вдумывался ли он именно в «язык», а также и в нравы, в описания, замечательнейшей книги, напечатанной около того времени, — «Сказания инока Парфения о странствованиях в Молдавии, Валахии, Буковине» и проч.? Нет, и тут Тургенев явно ошибался, смотря только *слишком близко вокруг себя*.

Печатно о графине Е. Е. Ламберт мало известно. Только в «Литературных воспоминаниях» Анненкова воспроизведено письмо к нему Тургене-

ва, из которого видно, что жестокая критика графиню романа «Накануне» едва не была причиной уничтожения еще в рукописи этого произведения самим автором. Вот что писал Тургенев: «Четверг, вечером. – Любезнейший Павел Васильевич. Со мной сейчас случилось преотвратительное обстоятельство. У меня сейчас была графиня Ламберт с мужем, и она, прочитавши мой роман («Накануне»), так неопровержимо доказала мне, что он никуда не годится, фальшив и ложен от А до Z, что я серьезно думаю – не бросить ли его в огонь? Не смейтесь, пожалуйста, а приходите-ка ко мне часа в три, и я вам покажу ее написанные замечания, а также передам ее доводы. Она, без всякого преувеличения, поселила во мне отвращение к моему продукту, и я, без всяких шуток, только из уважения к вам и веря в ваш вкус, не тот же час уничтожил мою работу. Приходите-ка, мы потолкуем, и, может быть, и вы убедитесь в справедливости ее слов. Лучше теперь уничтожить, чем впоследствии бранить себя. Я все это пишу не без досады, но без всякой желчи, ей-Богу. Жду вас и буду держать огонь в камине».

Случай этот, – как и многообразные сношения Тургенева с сотрудниками «Современника», с Добролюбовым, с Некрасовым, – могли бы ему показать, что не все у нас так мягкотело и рыхло, как это сделалось в его «Спасском» после смерти его матери и как это было в Баден-Бадене и Куртанвиле, где пела Полина Виардо. «Русский мужичок иногда за себя постоит». Если б Тургенев подробнее всмотрелся в эпопею Севастополя и, наконец, если б он дожид до наших дней и всмотрелся в подробности теперешней «всемирной эпопеи», он сказал бы:

«Русский мужичок иногда умеет постоять и за отечество».

Ах, нет, не «газообразен» этот мужичок... Да не «газообразна» и Россия...

ПЕРЕД ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМОЙ

Да будем едины, мирны и любящи – друг друга и наше Отечество, вот чего хочется пожелать собирающейся Государственной Думе. Да с этими пожеланиями, мы не сомневаемся, и собираются сейчас все члены ее. Они придут в Таврический дворец, чтобы высказать и выслушать слово о том, что нет «разных Россией», а есть единая, дорогая наша Земля, которую дети ее будут отстаивать единою грудью, единым дыханием, единою силою.

Ныне великий час и для Думы: настоящая сила и настоящий авторитет учреждений, должностей, санов, избранничества – не даруется, а приобретается. Точнее: он и даруется – Верховною Властью и историею. Но этот первый момент жизни учреждений есть как бы «вперед данный», и данный «в надежде»... И лишь когда «надежда» оправдана, когда «данное вперед» показало себя доблестью и подвигом – все становится *реально*, все наливается соком и кровью, здоровьем и силою и долгоденствием. Наступающий день и есть таковой, когда представители народные будут учреждать долгоденствие народного представительства в России, показав его благо и прав-

ду перед народом своим и воочию всего мира. Сказанное ими и сделанное разнесется по всему миру, и по этому сказанному и сделанному будут умо-заключать о русском народе, — о его силе и правде. И мы не сомневаемся, что русская духовная сила не окажется слабее физической силы, выставленной перед лицом врага на границах; что о ней смутятся враги и порадуются союзники наши.

Дай же Бог, чтобы возрадовались русские сердца о сказанном и совершенном Думою; чтобы Россия почувствовала себя спокойной, зная, что «отцы Отечества своего» не дремлют. Дума собирается как нравственный объединительный авторитет, и если сама она не может, конечно, делать ружей, пулеметов, снарядов и пушек, то может совершенно и вполне сделать так, что все удесятерится в энергии этого делания, что всякий рабочий, мастер и, наконец, художник около машин, выделяющих «пушечное обмундирование», почувствует приток сил в руках и ногах и полную ясность и свежесть в голове. Вот это-то Дума может дать. Важны не одни слова, которые она произнесет: важна интонация слов, важна энергия слов...

Ну, Господь даст — все будет хорошо! Представители народные войдут в Таврический дворец, неся в мысли живые образы тех родных, тех сыновей, братьев и отцов, которые в самый день собрания оглушаются грохотом орудий и выставили грудь свою против орудий. Этот живой образ говорит ярче всяких слов. Да и сколько члены Думы уже несут живые раны в груди о погибших родных. К этому нечего прибавлять слов. Труд и страдальчество войны так велики, что ни у кого не может быть сомнения в том, что сессия Думы, собранная по существу времени в героический момент истории, сама будет *героической сессией*...

Этого и ждет Россия, это нужно ей. Вспомним великую Северную войну, героические напряжения Петра, строившего в самой этой войне столицу своего царства; вспомним, как поснимал он колокола, чтобы налить из меди их пушки; и вспомним также доблестный подвиг слова и думы, какой находил царь в первых своих «сенаторах» и между ними в суровом и благородном Якове Долгоруком.

Вот примеры и заветы истории. Да будет приближающийся к нам день достойным их.

В помощь Государю! Столпитесь около Него, народные представители, как живой символ Его и вашего народа.

ИДЯ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ДУМУ

Беспримерные в истории времена... Беспримерная война, — каких-то совершенно новых, небывалых доселе оттенков и духа... Война жестокая, грубая, воистину бесчеловечная... Что-то «переворачивающее все вверх дном», т. е. что-то воистину апокалиптическое, носится в воздухе, пугает души, наводит тоску на людей и народы. Весь мир в смуте, в тревоге...

В такие дни, в такой день собирается наша Дума. И было бы совершенно необыкновенно и странно, если бы она собралась *обыкновенною* Думою; как было бы странно и до известной степени неприлично, если бы кто-нибудь на похоронах или свадьбе заговорил о базаре или бирже или стал бы выкладывать свои домашние сплетни, стал бы высказывать свои личные, свои автобиографические досады, злобы, содружества или вражды.

Да этого и не будет, мы верим. Да не придет никто сюда со своим «вечерним днем» в этот исключительный и новый день.

Поставлены вопросы о *существовании* целых народов, а не то чтобы о «престиже» правительств их, о «чести» и «достоинстве», о «самолюбии» и прочее. Ни один из *былых мотивов* войн не повторяется в этой войне; и на самом деле, это вовсе не «политическая война», не «государственная война», тут не «правительство одного народа» борется с «правительством другого народа». Всмотревшись внимательнее, мы замечаем, что в этой войне самые «правительства» являются лишь борющеюся *частью*, а отнюдь не *целым*. Происходит *свалка народов*, лишь под предводительством правительств, с соучастием правительств, с разрешения правительств. «Отошли законы в сторону» – и народы кинулись друг на друга. Вот настоящее зрелище, вот полная картина. Отсюда особенные ужасы этой войны, цинизм ее, жестокость: «небывалость» в полном объеме и полной выразительности. «Что нам до международного права, когда вопрос идет о *нашем существовании*», – «о существовании *первенствующей в мире нации*», – заявили немцы устами правительства своего и своих ученых академий.

О России еще можно сказать, что она не борется «за существование» – ибо мы «пересуществуем» всякие беды, но что касается Франции, Англии и Германии, то уже со времен 1871 года, с эпохи Бисмарка, и особенно с восшествием на престол Вильгельма II, – явно идет элементарная зоологическая «борьба за существование», – идет процесс «выживания приспособленнейшего»... Самый низкий животный принцип – в средоточии высших духовных ценностей. Воистину – палач, но поднявший меч не над головою преступника и злодея, а над «регалиями» человечества, доселе бережно хранимыми в покое, тишине и уединении, за золотыми затворами и в золоченой комнате. Вот их вынесли, эти «регалии», корону, скипетр, державу, порфиру, государственный меч, – из некой всемирной и всеобщей Грановитой палаты: и на полях ужасных битв в них «сдают» 12-дюймовыми снарядами, пулей, штыком, миной, шрапнелью... Вот «цивилизация европейская», вдруг «поднятая на штык» чудовищным маневром едва ли не бездушного кесаря («кайзера»).

Ужасно и действительно.

Из-под мудрой головы, – голова как бы всемирного Сократа, – вдруг выглянула голова «борющейся за существование гориллы», с дубиной в чудовищных руках, которая с воем – «я всех сильнее», «Deutschland über Alles»* кинулась преемственно на Данию, на Австрию, на Францию и, нако-

* Германия превыше всего (нем.).

нец, на Англию с Россией, на весь свет. И вот, подите-ка, справьтсь с этой обезьяной. Скольких она изуродует, убьет, – пока ее вернут или «в первобытный лес», или в клетку доучиваться и довоспитываться.

Невероятно и истинно.

С чисто зоологическим нападением Германии «на всех», «über Alles», – у народов, которые чувствуют себя связанными международным правом, которые от цивилизации не отреклсь и помнят о душе и Боге, – настала минута, однако, тоже физического, тоже близкого к зоологии *отпора*. Святой, – или обыкновенный средний человек, и не праведник и не грешник, – получив удар в лицо, – оттолкнет злодея. Это есть физика *положения*, а не *физическое состояние души*, не душа – ниспавшая до простой физики, как у Германии. Бесчеловечная война, далекая от всех мотивов политики, от образа всяческого «политического поведения», вообще рушила в Европе политические шаблоны, политические приемы, «повседневное политическое поведение». Мы наблюдаем, что и Бельгия, и Англия, и Франция за время войны и даже с самого ее начала стали *внутренне перестраиваться*. Так называемые «коалиционные министерства», т. е. составленные из представителей «*всех партий*», на самом деле суть просто «министерства *национальной обороны*», т. е. просто «правительство *народное*», правительство *французское*, правительство *бельгийское*, правительство *английское*. Когда борются за *существование*, очевидно, умалется до нуля интерес к тому, какими *приемами* бороться, либеральными или консервативными, и т. д. *Партии* погасли в значительности, когда поднялся стержневой вопрос: «быть или не быть» *нации*. Теперь все правительства в Европе суть только *национальны*. Ибо именно об этом только идет вопрос, спор, тяжба. На «партии» никто не нападает, и «партия» ни одна не защищается. Но «немец» пошел на «француза», на «бельгийца», на «англичанина» и на «русского». Вот что именуется, борется, действует в Европе. Все прочее «закрыто», как «закрыты» биржи, как отсрочены «уплаты», «взыскания» (мораториум). Этот год – год мораториума. И как не взыскивается уплат денежных – во всей Европе «не взыскивается» и *долгов политических*.

Это есть лозунг, молчаливо понятный каждому.

И никто да не принесет сегодня в Гос. Думу «своего личного счета». Мы – русские. И ни заимодавцев, ни должников среди нас нет.

Распря, разъединение – выигрыш врага. Насторожась, он будет ждать: не даст ли ему молодой русский парламент этого «выигрыша»? Но он получит то, что сказал Наполеону от имени Кутузова наш Крылов, в басне «Волк на псарне»: – «Ты – сер; а я, приятель, – сед». Молодость не обязательно наивна. Молодость – это энергия. А в расчетах на «наивность» враги наши могут и обсчитаться.

Был в Гос. Думе 19 июля... Она не удержалась на той линии спокойствия, беспристрастия и желания «помочь и только помочь» нашей армии, не вдаваясь в критику и в тон партийности, к чему ее призывала вся печать, в том числе и левая, в ее лучших представителях... К счастью, первая речь г. Маркова 2-го положила тот фундамент обсуждений, которого не могли опрокинуть речи последующих ораторов. Он говорил, что хотя наша техническая неподготовленность – плача достойна и в ней, конечно, виновно военное министерство, бывший военный министр Сухомлинов, – но также виновна и сама Гос. Дума, и все общество, в своей былой их уверенности, что войны не будет, что военные кредиты чрезмерно давят на платежные силы народа, и, наконец, вообще в своем излишнем пацифизме. Указал, что та же Гос. Дума, которая теперь, может быть, хотела бы призвать к ответу «за неподготовленность», сама отказом в кредитах создала или имела полную тенденцию издавать эту неподготовленность. Все это слишком ярко, чтобы не кинуться в ум. Речь П.Н. Милокова была очень содержательна и была хорошо сказана, и, конечно, прав тот гнев, который проникал ее: но речи недоставало той народной и правильной теплоты, которая, согрев слова оратора, – придала бы им гораздо большую силу. Критика, происходящая из раздражения и неуважения к лицам или учреждениям, всегда будет носить характер мелочности, придирчивости; у слушающего или читающего эту критику всегда будет мелькать мысль: «Но есть ли вообще *кто-нибудь*, кто был бы не виноват, – небрежением, ленью, распушенностью, невниманием к делу?» В нашей истории, например, есть только *один* Петр, который в этом никогда не грешил, – но потому он и называется «великим». Но уже сподвижники Петра, люди вовсе не маленькие, были в этом виноваты все, отчего все решительно, и даже его любимый «Данилыч» (Меньшиков) отведывали его «дубинки». Я говорю – эта критика мало действительна. Но было бы совсем иное впечатление, если бы – не вина людей в «преступлениях» и «пороках» – встал любящий Отечество человек и просто сказал: «Опять довели *до беды!* Опять *не досмотрели...*», предоставив уже слушателю добавлять к своему плачу и горести порицательные эпитеты.

Но все-таки важнейшие руководители Думы и ее превосходный Председатель вели все суждения в то русло «должного», которое выразилось в прекрасной формуле «перехода к очередным делам».

.....

Кидалось в глаза сравнение между «гражданскими суждениями» о войне и тем видом и отрывочными разговорами, какие слышались – военных в Думе, среди многочисленных ее сегодняшних гостей. Совсем другое дело... «Что вы там ни говорите, – говорите так и говорите *совершенно иначе*, – а мы за Отечество умрем»... «мы Отечество наше *отстоим...*». Да, конечно, – теперь вся сила Руси, – и, между прочим, вся духовная ее сила, – в армии,

на фронте войны. Воин теперь первый человек в России, и вот *что* он думает и *как* думает, – это и есть сердцевина всего. И кажется, думает-то он превосходно. Война – вполне героическая, и вот целый год прошел, можно бы устать, можно бы заныть, пожаловаться этим главным труженикам войны: ничего подобного!! ни крошки!! ни тени!! «Победим», «хотим умереть», «умираем». И никакого другого оттенка в лицах, в речах. Ныне «св. Русь» – с Георгием, на костылях, со следами страшных контузий... Не могу не отметить 26-летнего, с двумя Георгиями, офицера, – Ермолова, внука Ермолова Кавказского: кончил курс Московского университета, по юридическому факультету. Голова его, от контузии «чемоданом», в непрерывном качании «около его шеи», вправо-влево, и так он пьет, курит и закуривает головою-маятником, – которая совершенно и ни на минуту не останавливается в очень быстрых качаниях, как бы не минутного, а почти секундного маятника. «Как *так* жить?» Засыпать он может, только приняв опия. Прямо в Думу он пришел из госпиталя, – без билета, – по любезной доброте коменданта Думы, Остен Сакена, который пропустил «столь раненого». «Зачем же вы пришли?» – спросил я его болезненно. «Особенно мне хотелось увидеть и услышать Пуришкевича. Это чрезвычайно основательный оратор, с бездною эрудиции». Неудивительно ли это услышать от столь молоденького слушателя, когда даже и из дебелых слушателей многие принимают г. Пуришкевича кто за «маньяка», кто за «кривляку», кто за «истеричного»... От этого превосходного офицера, между прочим, я слышал, что здесь, в России, понятия не имеют о подъеме духа в самой армии. И что там – от офицера до солдата нет никакого сомнения о победе. Я спросил: «А снаряды?» «Об этом судить можно только *на месте*. На наш, например, корпус было 5 миллионов артиллерийских снарядов. Это – достаточно». Передаю слова его буквально, не прилагая своей критики.

– Так победим?

Из головы-маятника вылетело отрывистое:

– П-п-обедим.

ВСЕ «ТЕ ЖЕ», ВЕЧНО «ТЕ ЖЕ»...

Русские Записки. Июль 1915 г. Повесть В. И. Дмитриевой – «Разбитые скрижали».

Война... какое горение души у человека, у народов... Какие перевороты уже теперь, – и еще более в близком будущем... Но что такое буря над городом, – ветер, град, дождь, раскаты грома и пугающий блеск молнии для мышинного гнезда в подполье? Ничего. Человек испуган, мышь не испугана. Человека убьет, мышь не убьет. Буря сломает лес, выбьет ниву, – но «мышинное богатство», или мышинные «средства существования», заключенные в затхлом, забытом в погребке сыре, – останутся по-прежнему и все там же. И будет

мышка жива. И, увы! – пока она жива – по качеству устройства своих зубов она будет вечно прогрызать полы, прогрызать стенки и дно у шкафов, у ящиков, у сундуков... портить хозяйское добро.

Военная цензура закрыла главный радикальный журнал Петрограда и России – «Русское Богатство» и этим заставила его переменить обложку, серую на желтую, и взять другое заглавие – «Русские Записки», причем шрифт, формат, бумага, т. е. весь «фабричный заказ» прежнего журнала перешел в новый, а также и «литературное приложение» к этому фабричному заказу: В. Г. Короленко, В. Мякотин, А. Пешехонов, Редько, Русанов, Дионео, – одним словом, все в целом и подробностях, все в саженьях и вершках. И вот в последней польской книжке этого журнала довольно маститая уже писательница В. И. Дмитриева пишет рассказ «Разбитые скрижали», где под «скрижалями» разумеются вообще заветы старой России, уклад ее истории и быта, а под «разбитием»... ну, под разбитием и разумеется разбитие, вещь достаточно выразительная и определенная, раз называется разбиваемый предмет.

– Мы эту нашу Россию треснем об пол, – так что дребезги разлетятся в стороны.

Это в пору-то мировой войны, когда вся Россия молится *об одолении врага* и когда часть нашей русской земли затоплена полчищами германскими... Своевременно!!

– Кто же это «мы»?

Не из тучи гром:

– Я, Валентина Дмитриева, и одобрявшие и печатающие мою повесть шефы «Русского Богатства» или, что то же, «Русских Записок»: Короленко, Мякотин, Пешехонов, Русанов и семитические соглядатаи журнала – Горнфельд и Дионео (лондонский многолетний корреспондент «Русского Богатства» и «Русских Ведомостей» – еврей).

– Может быть, сами разобьетесь?

Мы люди мелкие и живем в глубокой яме: как же нам «разбиться»? Из 12-дюймовой пушки можно гору своротить, но ямы своротить нельзя. Малость наша – наша защита. Нельзя вести «войн» с мухами и комарами. Они все «тут», и «ничего не поделаешь». Наш счет и положен на это «ничего не поделаешь». Мы – жизненны и жизнелюбивы.

«Ничего не поделаешь»... Это свидетельствует и преемство журналов – «Отечественные Записки», желтенькая памятная обложка которых и перешла теперь на «Русские Записки», и далее – «Русское Богатство», и вот совсем недавние и вместе очень древние (по единству традиции) – «Русские Записки». С «комарами» что же делать? Только лениво и беспомощно смотришь, как они сосут руку и все брюшко их надувается кровью...

Вот это «надувающееся кровью» брюшко отечественного комара хочется анализировать, констатировать и показать всем... Я говорю не аллегорически и для картины: дело идет именно об «отечественной крови», как ниже буквально увидит читатель. Да и не «ниже», а сейчас: вот первая встреча героя и героини:

«Ермолаев даже не смотрел на нее. Он вынул из бокового кармана револьвер, осмотрел его и, пристально нацелившись, выстрелил в верхушку молодого дубка. Пуля ударилась в сучок, и он с легким треском свалился на снег. Ермолаев с довольным видом отшвырнул его ногой.

– Еще не разучился, а давно уж не стрелял! Ну а вы, храбрая девушка, умеете стрелять?

– Умею... только я из ружья. Из револьвера никогда не стреляла.

– Так это еще легче! – воскликнул Ермолаев. – А ну, попробуйте... Это браунинг: я вам сейчас объясню, как надо с этой штукой обращаться...

Со своей обычной стремительностью он показал ей, как нужно вкладывать обойму, как ставить на ней feu, и Дуня, вся покрасневшая, со страшно серьезным лицом и нахмуренными бровями, тоже нацелилась в сучок и тоже сбила его с дерева. Ермолаев заставил ее повторить еще и еще раз, и, когда Дуня делала промах, он огорчился, а когда попадала, радовался, как мальчишка, и бегал смотреть, куда засела пуля.

– Великолепно! – восклицал он. – Вы молодчина! И какая чертовски твердая рука! Вам непременно надо практиковаться. Вот погодите, получу жалованье, куплю патронов и будем вместе стрелять».

Дальше следует 12 строчек точек. Точки эти тоже «на feu» (огонь, «спускай курок»), – так если они «подневольные» (военная цензура не пропустила текст), то «приносят жалобу читателю и читательнице», что «в России нет свободы человеческой мысли», – а если они авторские и являются фигурой – «в зобу дыхание сперло», – то, так сказать, наливают волнением того же юного читателя и юную читательницу. Каждый, конечно, понимает, что и повесть, и весь журнал рассчитаны на молоденького читателя, и по преимуществу на читателя сельского фельдшера и учителя сельской школы.

– Нам сомов не надо. Потому что сом редок, и все-таки самый большой сом составляет одного читателя и дает одного подписчика. Нас пусть берет сельдь: рыба незаметная, но всеобщая.

«Но где же кровь? Тут валяются сучки?» – скажет незлобивый россиянин. Подождите, сейчас. За многоточием в 12 строк читаем:

«Они пошли вместе, как добрые товарищи (первая встреча и первый разговор), и на ходу Ермолаев рассказывал Дуне разные случаи из своей жизни. Рассказывал он отрывочно и бессвязно, но в этих разорванных кусочках перед Дуней мелькали такие яркие, иногда смешные, иногда трагические картинки, что она заслушалась, – и то, чего он не досказывал, дополняла собственным воображением. Никогда она еще не встречала человека, который бы так много видел и пережил, – и вдруг у нее мелькнула неожиданная мысль, что ее собственная жизнь стала гораздо интереснее и полнее с тех пор, как на хуторе появился Ермолаев».

Еще бы... мужчина, да еще какой... Стреляет. Это не то, что 18-летней Дуне, но и дебелий Валентине Иовлевне Дмитриевой* было бы «ничего»...

Нужно заметить, повесть ее не только «многоточна», но и символична. «Прямо разве можно говорить такие истины». Это должен иметь в виду читатель, встречая слова о «красотах природы». Тут все «буря», «вихри» и «красноватые оттенки»... За кустом подразумевается «буревестник».

«Солнце село в разметавшиеся волны облачного моря, и на лиловой грани снежных полей кроваво пламенела узкая черта зари. Все было красно-золотое: крыши под снегом, окна домов, оголенные верхушки сада, над которым носились и гамели чем-то озабоченные верхушки... Громко разговаривая и смеясь, двое работников протащили на плечах освежеванного барана; капли еще теплой крови рубинами падали на снег, вытапливая в нем крутло-красные ямки. Дуня, брезгливо морщась, обошла эти кровавые следы.

– Ох, ненавижу праздники!..

– Красивого мало, – согласился Ермолаев, – с странным любопытством всматриваясь в окровавленный снег. – Вот уж не понимаю этого удовольствия в жратве! А что, Авдотья Федоровна, ведь вам здесь очень тяжело, а?

Дуня не ответила. И что тут говорить, когда и так видно?

– Да, скверно у вас тут, – продолжал Ермолаев с грубоватой откровенностью. – Утробой живут люди, а не душой, вам это совсем неподходяще. Давно батько-то пьет?

Дуня вспыхнула, как всегда, когда при ней говорили об отцовских слабостях. Но почему-то нисколько не обиделась на Ермолаева и тихо сказала:

– Да... уж давно».

Обидеться нельзя: герой. Хотя, кажется, немножко и хам: что же тут девушке, которую «пристреливает» глазами и речами, говорить об отце-то, что она сама знает? Нового – ничего, указательного – ничего, и остается «невежливость», на которую при *первом* знакомстве более самостоятельная девушка и более заслуживающая имя «дочери» ответила бы совсем иначе. Но Дуня – вялая, пассивная, чего и не замечает автор. Пассивно жила в дому. Пассивно берет браунинг и стреляет. Пассивно пойдет, куда он ее «поведет». Но пассивна – внутри и в сердцевине, а снаружи как будто активна: недовольна отцом, домом и вообще ей «скучно». Вот эта маленькая хандра и ленивое недовольство – и есть тот тощий навозец быта, на котором вырастает революционная пропаганда.

Если сопоставить «стрельбу из браунинга», в которой упражняет провинциальную Дуню *при первом знакомстве* залетный «герой» Ермолаев, с этим «освежеванным» бараном, которого несут на плечах мужики и из ко-

* Первый ее рассказ появился в 1889 году.

того каплет кровь, на которую с жадным любопытством смотрит герой, – то «музыкальная тема» повести г-жи Дмитриевой становится совершенно отчетлива. Из браунингов четвероногих баранов не стреляют, – но в памятные годы браунинги гремели по двуногим «баранам». И когда с таким вкусом, так сладко и почти с причмокиванием губами (см. выше подробности описания) Ермолаев и Авдотья Федоровна срезают пулей сучки, то каждому понятно, что «меткость стрельбы» приурочивается вовсе не к тонкорунным баранам, а приблизительно к «причесанным по-военному» соотечественникам, которые имеют «несимпатичный образ мыслей».

...Можно задуматься... Кто не помнит, как вся радикальная печать приветствовала Всеволода Гаршина в тех его рассказах, где, так сказать, размагничивалась война, парализовались руки солдата, – и с армии снимался ее красивый мундир... Старое, давнее упражнение радикализма «войны не нужно», «армий не должно быть». Все помнят рассказ Гаршина, кажется озаглавленный – «Часовой». «Часовой» стоит около острога в ночь на Светлое Христово Воскресенье. И вот такое «литературное совпадение»: именно в этот час арестант, – едва ли вор (ибо «бегают» обыкновенно не мелкие воришки), а убийца или фальшивомонетчик, – показывается на заборе, хочет бежать... «Часовой» поднимает ружье... «Часовой» стоит «на часах» не у своего дела, не у своего дома, и тут его *личного* ничего нет. Он несет службу кому-то другому, чему-то другому, «Государева служба» по-старинному, по-новому – «государственный долг». Он должен *не выпустить арестанта*, – да и арестант знает, рискует, когда собирается (дело не моментальное) «бежать»... Сопоставление ясное: «бежишь» – может быть, «застрелять»; а «чтобы не застрелили», – *не надо* бежать. Правда, «свободушки каждому хочется», но она и *была* у арестанта, пока он не убил, не сделал фальшивой монеты, т. е. легкой, не заработанной, а уворованной у всего отечества монеты. Гаршину, чтобы *иметь право нравственное* написать этот рассказ, надо было предпослать ему другие два рассказа, именно: художественно изобразить в «симпатичных чертах», как один человек режет другого в глухом лесу, на проезжей дороге, или дома, застигнув сонным. Пока это «не симпатично» – «не симпатичен» и побег, хотя бы в ночь на Светлое Христово Воскресенье. А второй, то же неизбежный, – как компания фальшивомонетчиков вырабатывает дешевую деньгу. «Всем людям трудно, но нам будет легко», «все люди работают, а мы силу чужую». Художественно это представить то же не удалось бы. Что же написал Гаршин? Да он написал просто «ложь». Так бы ему и озаглавить свой рассказ: «Ложь», «Как я налгал». И ложь какая-то скверная, особенная. Тут «всему» поминается Светлое Христово Воскресенье – человеком, едва ли верующим в праздники, да едва ли верящим и в то, что Христос в самом деле воскрес и искупил грехи. Кто в это верит – больше не лжет и такого рассказа не сочинит. Столь же «всему» привлекается русская народность: что вот «солдату», бывший «крестьянин», вспомнил праздничек, расчувствовался, почувствовал невозможность «стрелять», когда «Христос искупил грехи», а следовательно, «иску-

пил грех» и этого убийцы, и т. д. В «праздник» заключенным в тюрьмах надо подавать милостыню, надо их сводить в церковь, надо их облегчить, дать свидеться с родными, что все широким охватом издревле народно и совершается. Но *больше* этого дать? – тогда незачем судить, заключать в тюрьму и т. д., а оставить все «как есть». «Воруют – пусть воруют», «убивают – пусть убивают», «не работают, а делают фальшивую монету – пусть не работают и делают фальшивую монету». Но тогда убийцам, вора и ту-неядцам будет гораздо хуже: когда никого не будет защищать Царь (олицетворенное государство), тогда каждый будет защищаться «сам», ну а русский человек известно как защищается от конокрадов. Будет наказание не «по степеням» и «многосложное», а единственное и простое, которое страшно назвать. Таким образом, «Царев суд» или наш «государственный суд» на самом деле и по всем линиям есть охрана и защита виновного, есть облегчение преступника, насколько возможно, до какого предела «терпит дело»... Собственно *народный суд* или *естественный* и *натуральный суд* гораздо страшнее, лютее, беспощаднее официального... Он воистину ужасен, этот суд... И «тюрьмы» с «казенными хлебами», в «темной комнате», при «сальной свечке» и в «сыром халате»... Господи, да сколько *ни в чем не повинной* голытьбы не знает этого, лишено этого, мечтает об этом...

Но возвращаясь к повести г-жи Дмитриевой: сопоставляя ее с рассказом Гаршина, так же приветствованном радикальной печатью, как ее рассказец был принят, одобрен и напечатан в радикальной прессе, мы раскрываем радикальную команду:

– Солдаты, опустите ружья!..

– Революционеры, поднимите браунинги!..

И еще внятнее:

– Вы, предназначенные к «освежеванию» «бараны», – молитесь... (рассказ Гаршина).

– А мы, просвещенные политики, будем вам всаживать пули сзади (рассказ Дмитриевой: «двуногим» и из «браунингов» обыкновенно всаживают пули сзади и из-за угла, – никогда «лицом к лицу»).

Очень мило. И главное – вовремя. Идет германо-русская война.

* * *

«Назови мать свою подлою и взбалмошною женщиной и убей ее: тогда никто не назовет тебя матереубийцею и не подумает этого. Напротив, все будет горевать о тебе, как об очень несчастном юноше, который силою своего личного духа преодолел обстоятельства рождения и воспитания и ради правды и истины не остановился перед связью по крови и родству. И ты будешь назван героем, и имя твое будут возносить и славить...»

Вот та предпосылка, которая лежит в основе совершенно неисчислимых романов, повестей и рассказов, отчасти знаменитых, большею же частью безвестных, но из которых каждая положила свою «каплю чернил» на когда-то белую материю: и совокупность этих капель совершенно зачерни-

ла первоначальный, основной цвет материи. Материнство и его сущность? – изначально и издревле и у всех народов оно бело, поэтично, трогательно, нравственно. Тут и мудрость, тут и песня, тут и сказка. Чтобы победить его, и победить успешно, – нужно было родиться «новейшей русской литературе», не в корифеях ее, а в мелочах ее; однако в мелочах столь численных, столь подавляющих, что за голосом и обилием их стали не видны, не слышны самые корифеи... Да и о последних нельзя не сказать, что они представляли «исключения»... Это было огромное, все подавляющее движение литературы, которому противиться имели силы немногие. «Новейшая русская литература» – так назвал Скабичевский один из своих трудов-«очерков», где все славил одну эту тему, возглашал ее, прославлял ее. Книга выдержала много изданий и была «настоющей» у целого поколения. Самая книга эта – одна из многих подобных... Шло именно «движение», – какая-то «сплошь», какое-то «всех»... Читатели, авторы, мелкие стихотворцы – все составило какой-то «гомон», 50 лет не смолкавший, который всех оглушил, который все заглушил.

Повесть Дмитриевой «Разбитые скрижали» – одна из последних (я думаю) в этом роде, в этом духе, с этой темой. Сама г-жа Дмитриева – средняя писательница, или «не из последних», и имя ее даже упоминается, напр., в «Истории русской литературы XIX века» г. Н. Энгельгардта. Именно как писательница только «не из последних», она ничего не прибавляет своего и личного, а берет шаблон и покорно, по-женски исполняет «урок», однако стоявший 50 лет... Вот почему исторически важно и исторически ценно всмотреться и до мелочей анализировать этот шаблон. Чем меньше «личного», тем важнее «произведение»... Ведь мы говорим, конечно, не о «литературном произведении», а говорим об эпохе, – увы! (на наш взгляд) – погибшей эпохе:

«Дуня когда-то жила в Избищах, у молоденькой попадьи Наталии Павловны Кипарисовой, – куда отвез ее отец вскоре после смерти матери, зачахшей от какой-то неизвестной болезни, которой не могли понять ни мудрые старые знахарки, ни избищенский фельдшер Горюнов. Девочка страшно тосковала, а у матушки Наталии тогда еще не было своих детей, и она приняла горячее участие в сиротке. Сначала сама поплакала с ней, потом посоветовалась с мужем и предложила кустинднеевскому приказчику отдать ей девочку в обучение. И вот Дуня переселилась на житье в уютный поповский домик с галерейкой, до самой крыши обвитой диким виноградом и вьюнками. Памятен был ей (Дуне) этот домик; сверху донизу полный молодого веселья, смеха, пения, звона гитары и беготни»...

Утро ясное, – не правда ли? И казалось бы: «благодари Бога». Таких историй с сиротами по нашей сельской Руси, по нашему сельскому поповству, – сколько хочешь, не выберешь. Духовенство плодовито и «сродственно», т. е. у него сильно чувство крови, родства. Сколько-нибудь знакомый с типом духовенства непременно встречал этих «сироток» в духовных до-

мах, которая или который «хлеба много не съест», помаленьку выучится и, Бог даст, «выйдет на дорогу»... Дешевизна «хлебов *натурою*» (опять русское угодье) в селе или в провинциальном городишке опять этому способствует. Обычай привился, разросся и, Бог даст, удержится и в «более дорожное время», и даже «в столичных городах», – да, вероятно, это и *есть*...

Но, во всяком случае, «слава Богу» пока, теперь? Да, если бы не издавались социал-демократические «Русские записки»: с корифеями Короленко, Мякотинным и Пешехоновым, которым «светлое утро на Руси», – что дым глаза ест.

«Милый о. Владимир, милые зимние вечера в тихом поповском домике с полными звуками рояля, волнующим запахом лак-фиоля, неясными девичьими грезами, неясною, но сладкою девичьей тоской! Четыре года прожила там Дуня; они пролетели, как светлый, радостный сон, остались в памяти, как чудесная, недосказанная сказка... Теперь уже не то. Теперь матушка Наталья потолстела и огрубела, забросила музыку, охладела к романам, стала расчетлива и скупа. Ей некогда: у них уже трое детей, всех надо обшить, обмыть, накормить, надо подумать об их будущем. И о. Владимир не тот. Он хохочет не так часто и беззаботно, как прежде, нежные кудри его поредели, на лбу прорезались две глубокие морщины, и, когда он возвращается с требы, у него в кармане звенят деньги, которые он сейчас же пересчитывает с каким-то особенным жадным и внимательным выражением в глазах. Они копят, и Дуне бывает неприятно слышать, как матушка Наталья своим нежным голоском, которым она, бывало, томно выводила: «Ах, зачем эта ночь», – теперь начинает деловито толковать о доходах, процентах и купонах, причем у нее блестят глаза, а в уголках губ вскакивают пузырьки, точно она ест что-нибудь очень вкусное».

Откуда? Да ниоткуда, кроме издательства радикального журнала, которому нужна «капля чернил», и писательница, и женщина усиленно и на заказ вырабатывает ее в своих недрах... Нужно, чтобы день сгас, чтобы погода не портилась... К чему эти художественные черточки, якобы и с натуры: «на углах губ вскакивают пузырьки»... Ни это, ни «блестят глаза» – явно не гармонирует с прежним, явно не вытекает из прежнего: доброты, благодати, готовности поделиться куском с сиротою. Явно и вполне это просто «изругай мать», «очерни мать», – ибо иначе и без этого никак не выйдет «разбитых скрижалей», скрижалям никак нельзя будет «разбиться», а следовательно, и самой повести было бы невозможно «написаться».

Но написаться нужно: тема времени, программа журнала. И вот черною каймою проводятся по одному углу картины, – дабы в читателе выросло негодование, отвращение...

Еще одно слово: своих трое детей да сиротка Дуня: с родителями, еще столь молодыми, «дом» уже из 5-ти человек... Заглядывая в будущее, – и не далекое, – скоро дорастет до десяти... Да еще кто-нибудь из родства осиротевает: мать или отец о. Владимира, мать или отец матушки Натальи. Гим-

назисту или гимназистке, т. е. лицам в *нерабочем возрасте*, естественно, этого на ум не приходит; но столь же естественно, натурально и *хорошо*, что это не только «думается», но это и заботит, тревожит лиц в *рабочем возрасте*, в который «вошли», как только «поженились», Наталья и Владимир. Что тут худого?! Не будет «сработано», не будет «накормлено». А кормятся – уже пятеро, а рабочих – двое. Журнал и Дмитриева рассчитывают в своей беллетристике именно на «учебный возраст», гимназистов, гимназисток, семинаристов, епархиалок, студентов, курсисток и подсказывают этому возрасту, поистине темному и поистине несчастному, что те, которые заботятся о них, – «с пузырьками на губах», «с блеском в глазах», от «вкуса к деньгам»... Да для *кого*? Для *чего*? Да для роста и прокормления «малых сих», которые своим трудом еще не прокормятся, у которых рот есть, а руки слабые, – и им нужна помощь. Гнездо и птенцы, и около птенцов – старшие. Суть «разбитых скрижалей», что лучше разбить этих старших: но тогда куда деваются птенцы и что будет с гнездом? И это – обобщено: ибо не об о. Владимире и Наталье идет речь, а о России, о гнезде – России...

Теперь – отец (Дуни):

«Громко хлопает дверь, скрипят половицы под тяжелыми шагами, отец опять идет к буфету, и булькает водка. Мужики сердито галдят и хохочут за стеной.

– Налил букалы-то спозаранку, вот и храпит, пес хозяйский! – рычит тот же басистый мужик. – Мы, может, с утра не евши, а он до зари и сыт, и пьян, и нос в табаке... Ишь ты, к бороде лезет! Ты к своей Лимпиадке лезь, а моя борода тебе не забава... Ведёр Стаканыч!.. по шерсти и кличка. Уж истинно Стаканыч, небось четверуху-то уж охолостил, да, ни кся ни поля, и норovit в рыло. Это тебе, брат, не прежние времена, гляди, кабы и твоей милости фейеверку не сделали!..

Опять застилает глаза и крепко-крепко бьется сердце. Обидно за отца, а душой Дуня заодно с басистым мужиком».

И сейчас – мечта в пунцовых тонах:

«И в пламени ярко-пунцовых роз Дуне видятся какие-то жуткие картины. Вспоминается, как она девочкой-подростком слышала в повском доме таинственные разговоры о пожарах, погромах и расстрелах. Теперь она знает, что это была революция, но тогда ничего не понимала, и от того времени у нее осталось только одно в памяти: как матушка Наталья и о. Владимир с испуганными лицами шептались о чем-то страшном в темном уголку своей спальни. И ей тоже становилось страшно и по ночам снились красные мужики, которых она ненавидела и боялась».

Т. е. *тогда* боялась, девочкой. Теперь она – девушка, 17–18 лет, когда не «она», а «возраст в ней» ждет жениха... И он – является. Умер конторщик, подручный ее отца, – и он «из города» привозит другого конторщика. Это и есть Ермолай, – которого читатель уже видел, как он научает девицу стре-

лять из браунинга и смотреть с жадностью на кровь, падающую из освеженного барана на снег.

Тон его (ведь Дмитриева – беллетристка) – базаровский, этот жесткий, колючий, насмешливый тон, которым в эпоху расцвета Некрасова заговорил наш нигилизм, и поистине нигилизм проговорит им до могилы, т. е. до исторической могилы целого явления. Его не было, этого тона разговоров и речи, до 60-х годов; а с этих годов он является как душевное выражение всей этой группы людей, резко огорченной и отграниченной от всех классов и слоев народа и общества, с определенными тенденциями – «разбей скрижали». «Говор нигилизма» когда-нибудь изучат филологи и подслушают и отметят в нем тонким ухом своим особливые его тайны, его мелодию и разрешат, чем он так чаровал 50–60 лет девичье ухо, столько действительно иногда нежных и прелестных ушей, и дурманил сердце, и мучил ум... «По закону контраста? Этому общему закону, который «связывает в гармонию противоположное» (Гераклит Темный), – как уже сущность мужского пола и женского пола, – наибольшая между собою *противоположность* связывается в «единство» горячей любви?..

Отец Дуни, этот человек, который только «булькает водку», – однако вместе с новым конторщиком заботливо привозит дочери «Войну и мир» Толстого. Девушка зачитывается, грезит, и вот... ночь, и она смотрит на звезды:

«Все те же звезды, звезды, – все тот же безмолвный сверкающий океан, и все дальше, глубже, выше...

У нее (Дуни) закружилась голова, почудилось, что холодная бездна как будто втягивает уже ее в себя.

– Ой, страшно! – вскрикивает она.

– Ага, и вам страшно? – сказал кто-то около нее.

Дуня вздрогнула и открыла глаза. На крыльце стоял длинный человек и, задрав голову, тоже смотрел на небо.

– Да, чертовская сила! – продолжал он. – Точно в пропасть глядишь: ведь и знаешь, что там смерть, а все-таки тянет.

Голос у него был густой, низкий и в то же время мягкий, с какими-то колокольными переливами. Бывают такие колокола: гудит так, что все дрожит кругом, а слушать приятно. Должно быть, он хорошо пел.

Дуня рванулась было бежать, но человек остановил ее словами:

– А знаете, почему тянет? Так, очень человек любопытен! А ведь смерть тоже штука любопытная... Что там будет и как... Может – ничего, а может – и новенькое что-нибудь. Вы как думаете?

– Я не знаю.

– Ну, а все-таки? Вот ведь смотришь на небо и думаешь: для чего же существует вся эта махина, если меня не будет? Ведь должен же я узнать, зачем оно, для какой надобности и причем тут я? Разве мы только для того и родились, чтобы погулять немножко по свету, а потом превернуться в пыль? Черт возьми, я на это не согласен! А вы?

Дуня молчала. Он опустил голову и посмотрел на нее.

— А чудные мы люди... т. е. русские люди вообще. Любим в небеса устремляться, а что на земле — того не видим. Звездочеты какие-то... Ну, да всех святых не пересчитаешь... давайте лучше познакомимся.

Дуня нерешительно прикоснулась к его большой, костлявой и, как ей показалось, очень горячей руке.

— Меня зовут Дмитрий... Дмитрий Иванович Ермолаев. А вас — Дуня, т. е. Авдотья Федоровна...»

Через несколько строк:

«Они пристально посмотрели друг на друга, точно желая поместиться силами, и только теперь Дуня хорошо рассмотрела нового конторщика. Он был худой, жилистый, весь составленный из каких-то узлов, которые непрерывно двигались у него под одеждой, как кольца ползущей змеи. Лицо странное, ни молодое ни старое, могло быть ему и 25 лет, могло быть и 40, но видно было, что жизнь порядочно-таки потрепала этого человека. На впалых, обветренных щеках прорезались глубокие морщины; тонкие губы неприятно подергивались; в глазах светился беспокойный, лихорадочный блеск... Ермолаев хотя смотрел на нее — но, казалось, ее не видел, занятый какой-то своей тревожной мыслью, которая сжигала ему душу. От этого Дуня смутилась»...

К особому говору всего этого «нигилистического племени» нельзя не добавить и решительно особой физиологии, особой анатомии. Прежние идеи и идеалы мужской красоты, молодой красоты — переменялись на что-то суховатое, жилистое, «угловатое» (тонко замечено г-жей Дмитриевой, женский глазок), но — крепкое, сильное, волевое... Что же: конечно, не энциклопедическая красота покоряет женщину, а покоряет сила, характер, особливость, оригинальность. «Дело прошлое» (я думаю), и, оглянувшись на него, нельзя не заметить, как эти «лешие», «лесовики» с узловатыми мускулами, начали уносить «в лес» и «к себе» хорошеньких неопытных девушек, с испугом выглядывавших впервые из-под отцовского крова «на улицу», «вдаль», в «неизвестное»... Случилась гармония, всемирная гармония (опять *контраст*, т. е. *норма* влюбления) между абсолютным неведением (вот и у Дуня) и некоторой «потертостью», «бывалостью», — с вечным влечением «невидавшего» к тому, что он «может увидеть»... Тут условия так соединились, что «романы» так и посыпались, и, можно сказать, не Лассалем и не Марксом, не браунингами и революцией «брали» жилистые женихи, а все теми же чарами, о которых написано в первом человеческом романе, в тех главах Библии, где «лукавый» завораживает Еву. Все она — «любопытная», как и встарь, и все хочется ей «познать добро и зло» и сделаться «яко бози»...

* * *

Как у «новых людей» свой говор, свои манеры, так и «своя библиотека», в которую вовсе не пускаются старые книги, от Библии до Пушкина, а она вся состоит из «собственных произведений»... Целый разряд наших писателей,

все не очень большого роста, был занят выделыванием этой «литературы для юношества», где фигурировали исключительно студенты или «около того», где если и появлялись взрослые люди и старики, то не иначе как в виде пугал, чудищ, очень мало похожих на человека. Г-жа Дмитриева, со своей маленькой и бездарной повестушкой, тоже делает «литературу для юношества», пополняет библиотеку новым томиком. И знакомство, любовь и т. д. между действующими лицами – всегда возникают на предложении «прочсть книжку» и на полученном от чтения «впечатлении». От этого трафарета не отступает и трафаретная повесть г-жи Дмитриевой.

Разговор между Евою и Змием или, что то же, между Дуней и Ермолаев-ем сперва – о людях, а потом сейчас – о книжках:

«Дуня вспыхнула и возразила гордо:

– Я никого не боюсь!

– Ого-го-го, здорово сказано! – воскликнул Ермолаев. – Что же, стало быть, презираете?

– Нет, я не презираю людей. Я их просто не люблю.

– Свирепо. За что же это вы их не любите, позвольте узнать?

– А за что их любить? – вместо ответа спросила Дуня.

Ермолаев как-то внезапно и отрывисто засмеялся, сверкнув белыми зубами, так же внезапно замолчал и удивленно посмотрел на Дуню своими беспокорными глазами.

– Вот история-то, черт возьми, а ведь я и сам не знаю, за что их любить!

– И все-таки любите?

– И все-таки люблю. Ругаюсь, злюсь, иногда презираю, а люблю.

Чертовщина...»

Разговор вполне удивительный. За что эти люди, девочка и «нацелившийся на нее» мужлан «любят» или «не любят» людей, собираются их «презирать» или уже «презирают» – нельзя понять ни в существе, ни в мотиве. Каких людей? Которых?! За что, за какие недостатки? Неразбериха. Но смотрите внимательным глазом, читатель, – и вы заметите, как в этой беседе оба они становятся на ходули и через это становятся целою головою выше всех, выше окружающих, родных, знакомых, соседей... Ибо никак дело не заходит о «любви» и «уважении», причем взор естественно устремляется снизу вверх, – ведь эти чувства тоже возможны и довольно натуральны в их юном возрасте; но если люди «презирают» и «ненавидят», то, естественно, они смотрят *вниз* на окружающее и через это само собою *поднимаются* над ними, стоят выше их... Это и есть вообще *тон* молодой литературы, литературы «для молодежи», – начитавшись которою несчастное русское юношество совершенно неодолимо приведено было к «верхнему положению», не учившись, не зная ничего, ничего не сделав... Просто – таково чувство! Капните в кого-нибудь «презрением», и он перестанет учиться, вглядываться, оценивать, вдумываться. Ибо для того, чтобы я стал учиться, естественно, я должен хоть на минуту признать *выше себя* того, у кого мне учиться. Так

образовалось самодовольное и невежественное поколение, «всех презиращее», которое совершенно невозможно чему-нибудь выучить. Что это поколение наговорило кучи слов и наделало довольно памятных дел, – это все знают.

«– Сейчас отвяжусь, – кончает разговор Ермолаев. – Хотите книжечку вам дам одну? Занятная.

И прежде чем Дуня успела ответить, Ермолаев торопливо сбежал в контору, – все он делал торопливо! – и принес оттуда зачитанную, затрепанную желтую книжку: «Так говорит Заратустра».

.....
Книжка Дуне не понравилась, она ничего не поняла. Злилась, упорно сидела над каждой строчкой, стараясь вникнуть в ее смысл, и все-таки не понимала».

Интересно... Нет, это подумать только, как у нас девицы по провинциям «развиваются»... Что там «Ермак и покорение Сибири», что там «Как сажать картофель»... Нам подай – «Как говорит Заратустра». И что тебе, Дунюшка, до Заратустры, – и что Заратустре до тебя, Дунюшка. То был перс, страшный, а сочинил его немец, тоже полустрашный, – ты же, краснощекая великоросска, выросла среди васильков и ржи, при отцовской конторе, и кушала пряники, за которые следовало сказать хоть «спасибо».

Дуня не скрыла результата чтения:

«– Вы мне таких книжек не давайте, я их не понимаю. Я ведь простая... необразованная!

– Вот тебе и раз! – воскликнул Ермолаев, рассмеявшись своим внезапным смехом. – А я-то, вы думаете, образованный? Тоже, матушка моя, целина нераспаханная: что ветром нанесло, то возшло, а настоящего посева не было. Три класса реального прошел да бухгалтерские курсы два года слушал, только и всего. А Заратустру все-таки читал».

Умный.

«– И все поняли?

– Нет, не все, – откровенно сознался Ермолаев. – Есть такие места, будто в дремучем лесу бродишь. Ну а то, что понял, – это мне к душе пришлось. Мои мысли он мне разъяснил... вот за что я эту книжку и возлюбил.

– Какие мысли?

– А вот об этих *старых скрижалях-то*, которые *надо разбить...*»

Это и заглавие повести Дмитриевой: «Старые скрижали, которые надо разбить...» Понятно, как это обертывается на русской почве, в русской действительности. Два такие «сюжета», как Дуня и Ермолаев, одна «вовсе без ничего», а другой с тремя классами реального училища – пойдут по спуску ниже и ниже, на последней ступени коего стоит Смердяков, с его заявлением: «Я всю Россию ненавижу», и в то же время воображая, что

они все поднимаются в гору и в гору... Сейчас к этому и переходит дело, – к русской почве, которую возделывали такие люди, как Д. И. Менделеев, как С. М. Соловьев и В. О. Ключевский, – возделывали, любили и надеялись.

« – Скучная книга, совсем неинтересно, – сказала Дуня.

– А что же вам интересно, хотел бы я знать, – спросил Ермолаев.

– Как люди живут, вот что... Вообще жизнь.

– Странно... Людей не любите, а ихняя жизнь вас интересует. Ну, я наоборот: людей люблю, а *как они живут* – до смерти ненавижу... С огромнейшим удовольствием *перевернул бы всю эту труху кверху тор-машками*».

Какой Геркулес! Прямо – Геркулес.

« – Ну, хорошо, а вместо трухи-то что бы вы сделали?

– Что? А вот постойте, я вам другую книжечку дам...

Он опять побежал к себе и принес не одну, а две в кроваво-красных обложках» (sic!!! – П. Ст.).

Дуня просидела над новыми книжками целый вечер и на этот раз поняла... Но и они ей не понравились. При встрече она говорит Ермолаеву:

« – Все людей хотите переделывать!.. Ничего из этого не выйдет, какие были, такие и останутся!

– Так-с! Вы, Авдотья Федоровна, тоже в своем роде Заратустра, – сказала как припечатала.

Дуня вспыхнула. Ей показалось, что он над ней смеется.

– Ничего я не припечатываю, говорю, что думаю. Может, я не понимаю, а только мне кажется – никогда этого не будет, что в ваших книжках написано.

– Почему-с? – возбужденно спросил Ермолаев, и губы у него задергались.

– Не похоже на правду... точно сказка какая-то. На словах все очень хорошо выходит – и свобода, и общий труд, и война прекратится... Ну, а как это сделать?

– Вопрос в самую точку!.. Ну-с, а я вам отвечу: *освободиться* надо, Авдотья Федоровна, прежде всего – *освободиться*!..

– От чего?

– А вот от этих самых *скрижалей*! – с жаром закричал Ермолаев, сам захваченный вихрем беспокойных мыслей, от которых нездоровым гневом горели его глаза. *От всех* (???! – П. Ст.) *старых порядков и законов и всяких страхов*, а пуще всего надо свое собственное нутро перетряхнуть и вышвырнуть оттуда *протухлый хлам*! Вот когда это будет – *все пойдет по-другому*! Новые люди, свободные люди устроят и жизнь новую, свободную! Только *разбейте скрижали*!..»

Совсем как ловелас на Невском пристал: «Разбейте, барышня, скрижалю». В дальнейших главах повестушки дело к этому и свелось: к разбитию *девичьих скрижалей*. Но пока все «около» и еще «не близко».

« – Не будет таких людей, – сказала Дуня. – Откуда они возьмутся? Ермолаев посмотрел на нее воспаленным ненавидящим взглядом и, после короткого взрыва смеха, продолжал:

– Откуда? А если я вам скажу, что они уже есть... Ага? Не верите? А есть! Их покуда еще немного, да ведь и Москва, говорят, от копеечной свечи сгорела! Вот и эти книжечки, которые вы читали, – такая же свечечка. Горит себе потихонечку да полегонечку где-нибудь в темном уголке, а там, глядишь – все дальше да больше, – и загорелось со всех четырех концов!.. Ха-ха-ха! Вот с чего и надо начинать, Авдотья Федоровна, – *запалить этакое грандиозное пожарище*, – а когда *все старье превратится в прах и пепел*, тут-то и строить новые города!..»

Впечатление Дуни:

«Что-то новое открылось ей сегодня в Ермолаеве, точно человек вдруг снял маску и под нею оказалось совсем другое лицо»...

Ой, как страшно... Дуня дрожит, а главное, я думаю, дрожит автор – Дмитриева: дебелая барыня (писательница, выступившая в литературу 25 лет назад), переживает «вторую молодость», и ей, верно, как г-же Гурмыжской в «Лесе» Островского, все мерещатся красные юноши, à la этот Ермолаев. «И больше трех классов реального училища не надо», – шепчет Дмитриева-Гурмыжская. К чему тут «наука»... Одно обременение.

«Больше трех классов реального училища» не надо было и Атилле, и Алариху, которые громили «старую ветошь» Италии и Рима. И вот российские юноши повторяют роль Атилл и Аларихов, только забывая, что теперь полиция уж не та...

Отец говорит Дуне:

«Ну, что, Душатка, видала: новый конторщик-то у меня какой? Чудной парень, а ничего, дело понимает в аккурате и *мужикам полюбился*. Они говорят: «Откуда ты, Степаныч, этакого шигильястого достал? То ли он благой, то ли *кудесник*, – не поймешь, а *душа у него праведная*». Уж и вправду кудесник, это они верно! Водки не пьет, мясного не вкушает; чемоданишко привез, а там у него, окромя книжек, ничего нету. Сроду такого чудака не видал.

Дуня промолчала. Она не привыкла откровенничать с отцом, но если бы хотела и умела с ним говорить, то сказала бы, что новый конторщик не чудака, а *кто-то пострашнее*.

Ну, бравые полицейские не пугаются господ, которые «производят впечатление» на 18-летних и 50-летних девиц и вдов.

Затем следует сцена, уже приведенная мною в самом начале, как Ермолаев учит Дуню стрельбе из браунинга и засматривается на кровь освеженного барана. Девушка становится «на путь»...

«Шапками закидаем» не у одних старожил; и у молодежи «браунинг стреляет дальше пушки», и перед ним так валом и валятся люди...

Следует мазня углем разных рож... Все – скверно, все – скверны. Почему? Как? Что? – не разбирается. Вообще – «скверно», и, значит, нужно все «на слом». Я сказал выше, что предпосылка революции – охаяние всего, оклеветание всего, и чем оно выйдет гуще, тем революция выйдет садче.

О доме отца Ермолаев говорит Дуне:

« – Да, скверно у вас тут. Утробой живут люди, а не душой, вам это совсем неподходяще. Давно батька-то пьет?

– Да... уж давно, – отвечает дочь, сконфузившись».

Заходит речь о том, отчего же героине не стать сельской учительницей. Она отвечает Ермолаеву:

« – Навидалась я этих учительниц, когда у Кипарисовых жила... Приедут из села знающие, жалуются, ругаются... Ребятишки проклятые, и школа проклятая, и жизнь проклятая, – только и слышишь. И одно на уме: поскорее бы замуж выйти... Не хочу я так! Это уж лучше в горничные поступить.

– Так-с... Все это, пожалуй, *верно*»...

Грязная дорога... И свернуть некуда, кроме как в революцию...

Рисуется любовница отца «Лимпиядушка», – грязная любовница грязного отца, – и собутельники его, все соседство и знакомство. Все это на фоне – Рождества Христова:

«Наступили угарные, пьяные праздничные дни. Уже с утра в дом начали являться хуторские служащие, напускали холоду, конфузливо поздравляли хозяев с праздничком Рождества Христова и жадно выпивали по стакану водки, которую собственноручно подносил им отец Дуни Федор Степанович. Уже за обедом и у отца, и у Лимпиядушки побагровели щеки и посоловели глаза. К вечеру приехали всегдашние отцовы собутельники и закадыки: фельдшер Горюнов и землемер Фиккулаев. Последнего Дуня ненавидела всей душой с тех самых пор, как он однажды, когда она была совсем девочкой, поймал ее в темных сенях и стал нашептывать что-то до того стыдное и отвратительное, что она до смерти перепугалась и подняла крик на весь дом. С их приездом дом наполнился шумом, смехом, хриплыми голосами, пьяною суматохой. Звенела и гремела посуда, протащили огромный ведерный самовар, Лимпиядушка с игривыми взвизгиваниями летала по комнатам, запирала и отпирала шкафы, готовила закуску. Вслед ей неслись грязные любезности и приветствия:

– Лимпиядушка, милая усладущка... Как поживаешь, кого прижимаешь, с кем ночку коротаешь?

– Ой, да не балуйте! – кокетливо хихикала Лимпиядушка, шурша новым ситцевым платьем. – Скажу вот Федору Степанычу, он-те руки-то окоротит. Длинные больно отстрастил.

Затренькала гитара:

Ой, чигирики-чики-чигири
Да комарики-мухи-комары!..

В переднюю ввалились новые гости. Были уже пьяны и потому особенно шумны и бесцеремонны.

В эти минуты ненависть Дуни к пьяным мужчинам, к Лимпиядушке, даже к отцу доходила до того, что хотелось сделать что-нибудь ужасное: поджечь дом или выбежать на снег босиком, в одной рубашке, и кричать, выть, кусаться».

На самом деле, это дебелая г-жа Дмитриева подхлестывает своими изобретениями гимназистов и гимназисток начать «кусаться»...

Но сегодня Дуне не было так страшно: за стеной жил человек, Ермолаев, – непохожий на этих разнузданных, бесстыдных животных, которые пили, жрали и плясали на половине отца.

К Дуне в комнату, где она сидит запершись, царапается в дверь один из пьяных гостей.

« – Дунечка, а Дунечка!.. Божество! Дозвольте хоть глазком взглянуть... Хоть пальчик ножки поцеловать... Дунечик?.. Молчит! Цыпочка моя, сердитая какая!..

Почапапался, ушел. Дуня перевела дух. И думала: «Ах, звери, звери! И Ермолаев еще может верить, что когда-нибудь земля превратится в рай, а люди будут, как ангелы»... Она со злостью усмехнулась. «Нет, никогда этого не будет. Вон они... ревут, топают, сквернословят, и ничего им не нужно, кроме водки, еды и разврата. Ох, истребить бы их всех... как Бог истребил Содом и Гоморру, – вот тогда, может быть, и появятся новые люди. Но ведь этого нельзя... и давно молчит на своих небесах грозный, справедливый Бог»... Дуня вздрогнула. «Господи, да ведь это то же самое говорил тогда и Ермолаев! Запалить землю со всех четырех концов и, когда все обратится в прах, строить новые города».

По формуле: «Назови *мать* свою *потаскухой* – и убей ее».

Очень мило. И особенно в устах 50-летней писательницы, у которой, может быть, есть дети...

«Страшный грохот и треск снова прервали Дунины мысли. У пирующих что-то произошло. Падали стулья, со звоном рассыпались по полу осколки посуды. И над всем этим хаосом звуков гремел голос отца:

– Как ты смеешь, лысый черт, мне такие слова говорить? Приехал в мой дом, мою водку пьешь, мой хлеб-соль ешь – и мне же такие подлые слова? Лимпиядка, гони его в шею! А Душатка где? Отцу родному в морду плюют, а она прячется? Позвать сюда Душатку...

У Дуни захолонуло сердце. Вот-вот загремят в дверь кулаки, затрепещат и рассыплются доски и вся эта буйная орава пьяных зверей ворвется к ней... Господи, Господи, да когда же кончится длинная зимняя ночь, когда кончится эта страшная жизнь»...

Но случилось не это. Постучался к ней утешитель Ермолаев. И произнес соответствующие речи. Речи его вообще чередуются с подобными сценами, как ясное небо с черными облаками.

«Оргия продолжалась всю ночь и весь следующий день, а вечером сытые, одуревшие, охрипшие от крику и перепоя гости разместились по саням и розвальням, захватили с собой Федора Степаныча (отца) и уехали. Как только смолкли в снегах бубенцы их лошадей, Дуня отперла дверь своей комнаты и вышла из своего убежища. В комнатах был страшный беспорядок; на раздвинутых ломберных столах валялись измятые, разорванные карты, мелки, объедки; пол был усеян окурками, осколками посуды; в воздухе висел густой, сизый туман и ел глаза. Дуня все прибрала, отворила форточки и постучалась в контору. Ермолаев пригласил ее войти...

– Ну-с? – насмешливо спросил он.

Дуня широкими шагами прошлась по конторе и жадно дышала. Ермолаев, посмеиваясь, взглянул на нее... и смутился. В первый раз за все время жизни на хуторе он почувствовал обаяние ее красоты.

– Эх, какая вы!.. Досадно смотреть. Сильная, здоровая... красавица, а сидит в этой трущобе с пьяными идиотами. Стоило, подумаешь, для этого родиться!»

И скольким, скольким добродетельным феям, сидящим «в родительском кабаке», наваяна была эта мысль: «Вы – и пригожи, вы – и добродетельны, и где и на что ваша жизнь *пропадает?*»... Феи поднимали головы. «В самом деле!»...

На то ль мы родились, чтобы здесь *увядать?*.. –

шепталося в сердцах их, как у трех пальм в стихотворении Лермонтова. Вставала мука *личной души*, погибающей в *окружении Содома*. И вот революция совсем готова. Она сложилась в домах, в девичьих комнатках, в гимназических «классных» раньше, чем выйти на улицу. И «на улице» она была настолько сильна, насколько хорошо, т. е. широко и обильно, подготовлена была в комнатках. И журнал «Русские Записки», и г-жа Дмитриева это хорошо знают. Лубочная живопись ее не ценна, да это и она знает. Но ведь не в этом дело. Рафаэлем не украсишь же все дома, не увешаешь все стены... А нужно именно – *все, везде, повсеместно*... Революция должна идти *густо*, иначе она – ничто. И вот понадобился лубок, именно лубок и только лубок.

* * *

Я занимаюсь так долго разбором сущей литературной пошлости... Но, друг мой читатель, не в царстве ли пошлости мы живем и не пошляки ли суть главные герои нашего времени?

Вот недавно только прозвенели в Госуд. Думе речи Керенского... Обладая я талантом Карлейля, я непременно в параллель его «Жизнь и переписка Оливера Кромвеля», написал бы «Жизнь, переписка и записочки, журнальные статьи и политические речи лидера трудовой группы в Госуд. Думе Керенского». Это также центрально. Как в героическую эпоху первенствующая личность есть естественно герой, так в топкую, болотную пору пер-

венствующая личность есть Керенский, и первенствующие литературные произведения, конечно, заключаются не в Пушкине, Тютчеве, Полонском, Фете, а в «Что делать?» Чернышевского, в «Шаг за шагом (Светлов)» Омулевского и в совсем плохонькой повести Дмитриевой – «Разбитые скрижали». В «совсем плохонькой»... но ведь они все «плохонькие», и в «плохоньком»-то и суть, ибо суть в некоторой мировой обветшалости... Старческий возраст планеты? Старческий фазис истории? Кто знает. Дряхло все, и все разлезается.

Признаюсь, я не очень доверяю теперешнему «возрождению общества» во время войны... Солдатам и деревне нечего было «возродиться», ибо они никогда и не умирали... О «возрождении» можно говорить – *общества*... Но вот именно о нем-то и приходится сомневаться. Когда Керенский вылез со своими речами о пяти сосланных социал-демократах, – вылез в то время, когда Германия всей тяжестью четырехмиллионной армии навалилась на Россию и отняла у нас уже два огромные края, ведь никто его не остановил в Думе, депутаты не заволновались, не закричали... Да он бы и не вылез со своими речами, полупредательскими («Made in Germany»), полудиотическими, если б ожидал *иной встречи*, если бы боялся презрения, негодования. Но он знал, – коротеньким животным знанием, – свою публику и свое собрание «народных представителей»...

Так же точно и журнал «Северные Записки» знает очень хорошо, что делает, печатая повесть, под заголовком которой можно бы написать «Made in Germany». Эти бедовые уродцы, конечно, не берут денег из Германии, но они и даром делают то, за что Германия заплатила бы деньги. Германии это вдвойне выгодно, потому что и деньги остаются «при ней», и дело в ее пользу, однако, «сделано». Но то несомненно, что и в Италии перед войною, и в Румынии, и в Болгарии все время она уплачивала деньги за речи, подобные речам Керенского, и за журналистику, подобную «Северным Запискам». Ну и русские делают хорошее дельце: и «благородство соблюдено», и измена отечеству в трудную минуту все-таки оказана.

Пошлость повести г-жи Дмитриевой такова, что ею положительно давишься. И без этого «подавился» я не стал бы писать разбора. Но уж очень выразился и в этом смысле «классично».

Отец посылает Дуню на рождественскую елку к отцу Владимиру, у которого она воспитывалась. Ермолаев, узнав об этом, говорит ей:

«– Ну, вот и отлично, что едете! Будет вам кваситься-то в этой му-рье, а там встряхнетесь, повидаете всякого народа. *И мне оно кстати*. Если, случаем, повстречаете у попа одного человека, по фамилии Скаф-тымов, зовут Алексей, скажите ему от меня одно слово – «орел»... Больше ничего».

Это – конспиративное условное слово, вроде шифрованной телеграммы. И Дуня это понимает.

– *Перепрыгнуть* собираетесь? – спросила Дуня героя.

– Ах, вы все *об этом*... Может, и перепрыгнуть.

«Перепрыгнуть» – тоже термин, уже установившийся у них в разговорах. Это значит – «решиться», «пойти на риск». А «орел», в соответствие «решетке», означало: «Решился. Действуем. Действуй». Все это прозрачно в повести и оправдывается ее дальнейшим течением, хотя в самой повести точек над «и» и не поставлено. Но уж лучше бы с «точками»; получается трафарет пошлейшей конспирации, пошлейшей таинственности, могущей поманить страхом и ожиданием только самого юного гимназиста и самую сельскую девушку.

Детский праздник у священника кажется тоже углем; «Пока социал-демократическая революция не произойдет, все дети отвратительны и все праздники несносны». Что поделаешь, уж такой вкус у авторов, которым гипнотизируются и читатели.

Все плохо и все плохи, но вот появляется герой № 2-й. Он появляется в толпе ряженных. Встречая и «узнавая» их порознь, о. Владимир произносит:

«– Ну, а это что за *рыцарь печального образа*? Э, да не Алеша ли Скафтымов? Он самый.

Дуня вздрогнула и впиалась в человека, с ног до головы закутанного в *черную хламиду*. «Орел!.. Орел!..» – повторяла она про себя (т. е. посланную через нее «конспирацию»).

Узнанные ряженные со смехом снимали с себя маски... Скафтымов сбросил с себя хламиду и, тихо усмехаясь, сел в уголку у рояля. Дуня исподтишка за ним следила, и первое, что бросилось ей в глаза, была какая-то тихая вкрадчивость, разлитая во всем его облике. Тихое, очень красивое белое лицо, и глаза тихие, ласковые, золотисто-карие, и плавные движения маленькой руки, когда он поправлял свои пышные белокурые волосы, наконец, голос приятный, негромкий, проникающий в душу – вот он был какой, этот человек, которому она должна была сказать таинственное слово «*орел*».

Ну, уж никто так не распишет мужскую красоту, как писательница в 50 лет. И она расписывает ее и прямо, и косвенно, через впечатление на других:

«К нему сейчас же подсели и обе хохлушки, и та, которую о. Владимир назвал «цыганочкой», – хорошенькая Марья Власовна, учительница церковно-приходской школы. Дуня догадалась, что Скафтымов был здесь героем, львом и властителем женских сердец. Ему взглядывали в глаза, с ним откровенно заигрывали; у Марьи Власовны горели и уши, и щеки и на лице светилось немое обожание»...

Я думаю, у самой Дмитриевой «от воображений» сердце млеет. «Так мне этот мальчик все представляется», – говорит Гурмыжская своей приживалке Улите.

Всех победил. Вошел – и победил, показался – и все у его ног. Это и есть настоящий герой.

Ему надо передать сакраментальное слово «орел». Воспользовавшись минутой, когда молодежь высыпала к ужину, а Скафтымов задержался возле рояля, Дуня подошла к нему и «дрожащим от волнения» голосом сказала:

«— Ермолаев... Димитрий Иванович... Он просил меня, если вас увижу... передать вам одно слово... «орел».

Тихое спокойствие на мгновение покинуло Скафтымова. Он покраснел, чуть не выронил из рук ноты, и в красивых глазах его сверкнуло что-то похожее на испуг. Но быстро справился со своим волнением и, всматриваясь в Дунино лицо, сухо спросил:

— Только это и больше ничего?

— Я уж вам сказала!.. Больше я ничего не знаю, — сердито оторвала Дуня.

— Благодарю вас, — вежливо сказал Скафтымов. — А Ермолаеву прошу передать, что *телеграмма послана*.

Второе звено конспирации, — условный и таинственный ответ на условный и таинственный посланный знак.

Вливается очередная полоса пошлости, — конечно, из обывательщины. Показался на пороге о. Владимир и «загоготал»:

— Каков!.. Он уж тут за Дунечкой ухлыстывает! Ах ты, Дон-Жуан Аррагонский! Дунечка, идите лучше пирога есть!

И импровизирует.

В столовой поднимают тосты. Дуня просит позволения поднять бокал, — бросить всем какую-нибудь резкость, которая нарушила бы это сытое довольство и вызвала смущение и тревогу. Встала и громко заявила:

— За людей... разбивающих скрижали!..

Как бомба.

Скафтымов, надев опять хламиду и маску («ряженные едут дальше»), быстро вернулся в комнату, где Дуня была одна (все вышли в прихожую провожать ряженных), и сказал ей тихо:

— Не мечите бисера перед свиньями, — сказал он совсем не таким елейным тоном, каким давеча разговаривал с барышнями. — *Им* это бесполезно, а *вам* не нужно, — зачем же говорить ненужные слова? Запомните лучше хорошенько, что *телеграмма послана*...»

Девочка, всего 18-ти лет, уже введена в конспирацию, она уже член в союзе «трех», совершенно не зная еще, для чего и для каких дел этот союз и кто именно другие два члена. Кто знает историю перед 1905–1906 годами и историю этих годов, тот может припомнить множество аналогичных случаев, когда намеченные жертвы оказывались уже «внутри революции», обнятыми «кольцом ее», без всякого определенного «да» со своей стороны, без всякого твердого своего движения. И все это — через «дружбу»... Ты уже «друг» наш, ты же стоишь «выше этого пошлого мира», который вовсе «не в уровень тебе», вот тебе книжка, вот письмо, дай свой «адрес» для конспиративной переписки... И девушка, только смутная и бродячая, ока-

зывалась «как раз *тут*», возле преступления, возле Петропавловской крепости, возле Шлиссельбурга и эшафота. Почти не понимая и не давая себе отчета, как все случилось. Родители рвали на себе волосы, она кусала кулаки, но уже все было поздно. Вокруг нее юные голоса пели революционный похоронный марш: «Вы жертвою пали борьбы роковой», и издали улыбалось «made in Germany»...

Все «чин-чином»... «По-русски»...

Скафтымов чарует не только женщин, но и мужчин, не только обывателей, но и революционеров. Ермолаев ужасно волнуется, расспрашивая Дуню о выполненном поручении:

«— Нет, постойте... Уж не влюбились ли вы в Скафтымова, а?

Дуня вспыхнула так, что даже слезы на глаза выступили, и от того еще больше разозлилась и на себя, и на Ермолаева.

— И что вы носитесь со своим Скафтымовым? — резко сказал он. — Вот уж нашли в кого влюбиться... кривляка, модник, воображает о себе Бог знает, а сам просто... дрянь — и больше ничего!

— Алеша Скафтымов дрянь? Ну, это вы напрасно... Уж не знаю, что он там из себя корчил, а только скажу: не видали вы настоящего Скафтымова.

Да что, я сам в него влюблен, как баба. И вы влюбитесь, погодите. Непременно влюбитесь».

Если говорить без эстетики и стихов, то Скафтымов — «Лимпиядушка» в брюках. Дмитриева взяла в нем «эстета-революционера», и если вспомнить, что главы первого декадентско-художественного у нас журнала «Мир Искусства» пошли в 1905 г. в революцию (Философов, Минский, Мережковский), а революционеры, хотя и полупонимая, начали обучаться в тот год и в ближайшие — эстетизму, символизму и декадентству, читая, опять же полупонимая, Брюсова, Бальмонта, Андрея Белого, Минского, Мережковского, Федора Сологуба, — то штрих г-жи Дмитриевой исторически верен. Затем, это общеизвестный факт, что если девицы революции не отличались красотой и никого не повергали «к подножию своему», то мужчины революции решительно брали своими мужскими качествами и кружили головы девушкам. История революционного донжуанства решительно имеет свою страницу в общей истории революции, и она будет со временем написана, будут собраны факты. Затем, что касается эстетической влюбленности кавалера в кавалера à la Оскар Уайльд (тоже очень шумевший *в те годы*), то струйку этого платонизма мы можем открыть во всех *личных отношениях*, встречах, свиданиях, прощаниях героев «Подпольной России» Степняка-Кравчинского. Именно, как пишет г-жа Дмитриева: «Я, мужчина, и то был влюблен в него».

«Орел» и «телеграмма послана» разрешились очень просто: была ограблена «мужчинами в масках» казенная винная лавка на три тысячи рублей. Дуню это «основание новых городов» как ошпарило.

«– Вы слышали, Дмитрий Иванович (Ермолаев), что вчера ночью в Избищах винную лавку ограбили? – спросила Дуня.

– Ограбили?? Ха-ха-ха!.. Молодцы ребята! А вам не нравится?

– Не притворяйтесь, теперь я знаю, что значит «орел» и «телеграмма»... Это вы сделали...

– Барышня Дуня... – угрожающе вскрикнул Ермолаев и бросился к двери. Дуня его остановила:

– Там никого нет, дверь заперта на крюк, никто не услышит. А я на вас доложить не пойду.

Ермолаев вернулся, не глядя, нащупал на столе папиросу и закурил. Руки у него заметно дрожали.

– Ну-с? – сказал он слегка охрипшим голосом. – Что еще скажете?

– Больше ничего. Только и хотела вам сказать про Избищи: я знаю, что это *вы* сделали.

– Ну, а если бы и мы? – вызывающе спросил Ермолаев.

– Зачем?

– Так нужно для нашего дела.

– Ах, стало быть, вот это и называется «разбить скрижали»? Надеть маски, прийти в чужой дом и ограбить?

– Барышня Дуня, все повторяете старые, ненужные слова. Что такое грабеж?»*

.....

Нет ничего чужого, все общее – раз! Никто ничего никому не должен – два! И к черту все законы, кроме законов природы, – три! Человек создан для того, чтобы быть свободным и наслаждаться, – вот наш закон!..

Все было бы хорошо и успокоительно, если бы не было группы людей, говорящих: «Наш закон – хватать за шиворот». Увы! Бог или «природа» сотворила волка, но она сотворила и волкодава.

Дошло дело и до Дуни. На то – Скафтымов. После лавки ограбили завод. На двенадцать тысяч. Управляющий завода – очень несимпатичный человек, поляк «Казимирыч». Это смягчает дело. Деньги от «несимпатичных» людей должны переходить к «симпатичным».

Скафтымов воркует около Дуни.

Дуня тает. Мякнет. Скафтымов присасывается. Настоящий девичий сун.

Это было уже после ограбления завода, о котором она предварительно знала и приняла в нем соучастие через то, что открыла им отцовскую избу и схоронила их *перед* экспроприацией и *после* экспроприации. Отец на те дни уехал в губернский город.

* В тексте повести – три с половиной строчки точек. Очень разумно: не переписывать же в повесть политико-экономическую идеологию Прудона («la propriété c'est la vol»), Лассалья, Маркса и российского Бакунина. У последнего – с открытой проповедью «научного грабежа».

«– Ну, а что же теперь? – спросили мы, пытаясь сбросить с себя колдовские чары, которыми опутывал ее этот чужой, непонятный и в то же время такой близкий, желаемый человек.

– Что будет теперь? – ответил Скафтымов. – Почему я знаю! Для меня нет ни вчера, ни завтра... есть только *сейчас*. И эти деньги... Дунечка, смотрите, – вот!!

Одну за другой он вынул из карманов толстые, перевязанные шнурками пачки и бросил перед Дуней на ковер».

Дуня отвертывается с отвращением. Он настаивает:

«– Ну, раздайте их! Ну, сожгите, – что хотите делайте, а мне их не надо!

– Так зачем же вы...

– Грабил? – с беспечной улыбкой договорил за нее Скафтымов. – А просто от скуки! Скучно, Дунечка, жить так, как мы живем. А это интересно, захватывает дух. Все спят, а ты идешь и не знаешь, вернешься живой, али нет... Ну, вот! А деньги? Деньги – прах и тлен... Сожгите их, если хотите!»

Ермолаев не дал. Собрал их, перевязал и спрятал. Скафтымов все жметесь к Дуне. Он пересел к ней поближе и заглянул ей в глаза.

«– Дунечка, милая женщина, зачем вам нужно знать, что будет завтра? – со своей детски беспечной улыбкой сказал он. – Этого не знает никто... и не стоит об этом говорить! Вот сейчас нам хорошо... Тишина такая, и свет, и ваши глаза сияют, как звезды... А что будет завтра – не все ли равно?

Он весь потянулся к ней, и опять она очутилась в его нежных и сладких объятиях, под горячими поцелуями розовых губ.

– А те, другие?... А Марья Власовна? – успела прошептать Дуня, уже не сопротивляясь очарованию ласк, улыбок, вкрадчивых слов.

Скафтымов ничего не ответил и все крепче, все горячее целовал ее в губы, в щеки, в закрытые глаза».

Ай, ай, ай, как нехорошо про вас рассказывает, господа революционеры, г-жа Дмитриева. Фотографию бы снять, – не очень красиво. Что же это за спасение отечества: обокрасть лавку, фабрику и обнимать невинную девушку, отцову дочку, под впечатлением «сейчас» и только «на сей час».

«– Моя милая женщина, моя любовь, моя божественная радость, – задыхается Скафтымов в темной комнатухе при аптеке. Это – 2-е «разбивание девичьих скрижалей».

– Вы и другим так же говорите?... – насмешливо спросила Дуня.

– Дунечка, никаких других я сейчас не знаю. Ты со мной, тебя одну люблю, ты сейчас – моя единственная... А что будет завтра, – не знаю.

Дуня смотрела в затуманенные глаза Скафтымова и думала с отчаянием и тоскою, что никогда не узнает, никогда не поймет этого чело-

века. Но бороться уже не могла и, бледнея, точно шла на смерть, сказала:

– Ну, все равно... знать такая судьба... Ты правду сказал: ненавижу – и люблю до смерти; убила бы, – а жить без тебя не могу... Пропахла я, Алеша!..

Они были, как сумасшедшие. Целовались, говорили какие-то бессвязные, но им понятные слова, глядели друг на друга и не могли наглядеться... Не было времени, не было ничего; казалось, весь мир для них замкнулся в этой убогой комнатке, на чердаке аптеки.

– Ох, какая я безумная... Совсем безумная, совсем забыла... – шепчет Дуня.

– Дунечка! Это хорошо, что безумная, в безумье – счастье...

– А вдруг сюда придут, Алеша? – ведь это смерть, смерть!

Скафтымов подошел к двери, прислушался и вернулся назад.

– Глупая девочка, никого там нет и никто не придет. Клара не пустит, она сторожит. Ты еще не знаешь Клары; она для меня жизни не пожелает.

– Клара... Марья Власовна... сколько их? – прошептала Дуня...

– Дунечка, не хмурь свои брови... Отчего ты никогда не улыбаешься? Неужели даже моя любовь не заставит тебя улыбнуться?

– Любовь!.. Любовь!.. Сегодня одна, завтра другая...»

Да, одна из «скрижалей» – *верная любовь... преданность в любви... «Кто любит – отдал всю душу»...* Но она разбита, эта «скрижаль верности»: каково-то Дуне без этой скрижали? Каково-то всем девушкам, женщинам в революции?

Суть революции действительно в разбивании скрижалей. Но в игре и в треске, пыли и соре разбивания – люди не взглянули внимательно, что они разбивают, на что именно поднята их рука? Она поднята на счастье человеческое, на радость человеческую, на обеспечение человеческое. Мы говорим обо всем этом не в факте, ибо факт всегда отступает от идеала и история была полна и останется полна страдания, несчастья, горя. Но, действительно, «на скрижалях» были иссечены в камне некоторые общие принципы человеческого благоденствия – от «чти Бога и родителей» до «не убий», «не украдь», «не прелюбы сотвори», «не послушествуй на друга твоего свидетельства ложна». Суть революции – действительно разбиение скрижалей... Люди восстали на это «не», как, наоборот, в положительных заповедях – «чти Бога», «чти отца и мать», «чти праздники» они приставили отрицательное «не»... И рванулись... И разбиваются, разбились... Из революции ничего не выходит, кроме гекатомб революции, – и никогда ничего другого не может выйти. Люди будут просто *умирать, исчезать, входя в революцию; будут разрушаться – и только*. Дело в том, что это вовсе не «приказание», эти скрижали; а указание, завет, совет Того, Кто сказал о Себе: «Аз есмь благ». Не рассмотрено, что «скрижали» суть просто благость, притом благость исполняющего, благость самого человека. Это вовсе не «заповеди», приказанные к «исполнению» во «уготождение Богу»: но

человек почувствовал и назвал «Богом» и «Благим» Того, Кто ему внушил их, дал их; ибо действительно это какие-то все обнимающие заветы, которые пока держатся – они обеспечивают человека и человечество от разрушения, от гибели, от смерти. Без этих «скрижалей» невозможно жить вместе, обществом, скопом, множеством. Без этих «скрижалей» любят без верности, – трудятся, но кто-то ворует собственность; без этих «скрижалей» нельзя ни посадить дерева, ибо кто-то другой сорвет с него плоды, нельзя вспахать и засеять поле, ибо прохожий убьет земледельца и снимет его жатву, нельзя родить и воспитывать детей, ибо дети, – «может быть, от Скафтымова», который «всем нравится» и «всех ласкает». Общество – разлезается, общество шатается, в нем – все неверно, как счеты у лукавого хозяина, как переговоры с предающим вас другом, как наем ленивого рабочего, как покупка испорченной лошади или больной коровы. Вы обманываетесь, и вы проваливаетесь в каждом своем шаге, и *так* – всякий человек. Жизнь становится просто невозможной, и она умирает. Умирает естественно, умирает неодолимо.

Но пока бьются стекла и все летит на пол, – этого нельзя рассмотреть, не видно. Отсюда – революция непрестанно шумит и этого шума остановить не может. Ибо это есть samozакрытие смысла революции, ее естественная застенчивость. Как только остановятся на «достигнутых результатах», так увидят, что никаких результатов нет, а есть одна мерзость, в которой все задыхаются и при которой нельзя ничего делать. Не «скрижали» вы, господа, разбиваете, а вы просто убиваете «жизнь». Уничтожаете ее. Вам дана книга жизни. Вы ее закрыли, бросили. Ну, что же... Идите вы в свой путь. А мы останемся на своем пути.

К. ЧУКОВСКИЙ. ПОЭЗИЯ ГРЯДУЩЕЙ ДЕМОКРАТИИ. УОТ УИТМЕН

С предисловием И. Е. Репина. Москва, 1915.

К. И. Чуковский усиленно впикивает в русскую литературу Уот Уитмена, американца, автора книги «Листья травы», – но, как сам сознается, – до сих пор безуспешно... Что говорить – поэт, ум, характер большой силы, яркости, живописности... Чуковский делает свою пропаганду с большим мастерством и написал об Уитмене книжку, которая читается с живою прелестью ощущения. Приложил к книжке несколько его портретов (превосходное, классическое лицо, борода, – «хоть кому на плечи»), дал снимок хижин, где он родился, снимок его почерка и среди своих похвал тонко вплел похвалы знаменитостей своему кумиру:

«Мудростью она выше всего, что доселе создавала Америка. Я счастлив, что читаю ее, ибо великая сила всегда доставляет нам счастье» (Эмерсон).

«Ни Гёте, ни Платон не действовали на меня так, как его книга» (Symondus).

«Вы сказали слово, которое ныне у Самого Господа на устах» (в письме к Уитмену – Эдвард Карпентер, «которого так чтит наш Толстой», заманивает Чуковский).

И ко всему этому прибавляет сам:

«Вдруг и внезапно обнаружилось, что этот – дотоле заурядный сочинитель и едва ли талантливый плотник, – есть гений, пророк, возвеститель нового Евангелия. Но как же это случилось? Где, на каком Фаворе произошло его преображение? И кто возвестил изумленному миру, что явился новый Исайя?» (стр. 12-я).

Но в чем же дело?

Муза, беги из Эллады, покинь Ионию,
Сказки о Трое, об Ахилловом гневе забудь,
О скитаниях Одиссея, Энея.
К Парнасу табличку прибай:
– «За отъездом сдается внаем».

Все это хорошо, – но почему не прийти на ум параллели с Кузьмой Прутковым, который был тоже весьма дерзок и ядовит и авторитетами не стеснялся? Или, пожалуй, почему не припомнить в параллель «Энеиду наизнанку» и «Прекрасную Елену», от которых древности тоже «досталось»?

И такое же повесь объявление
На всех итальянских музеях, на замках испанских, германских
И на Яффских вратах, на Сионской стене и на горе Мориа...

«Не надо ничего»; но уже это твердил нам старик Базаров, от которого по крайней мере русские давно выздоровели. Немножко объясняю этим Чуковскому, почему его пропаганда на Руси вяло прививается...

Что же нужно? Еще раз энергично повторяя себя, Уитмен высказывается:

Прочь эти надоевшие басни...
Прочь эти вымыслы, эти романы, драмы дворов чужестранных,
Эти любовные стансы, облитые патокой рифмы,
Эти интриги и страсти бездельников
Годны лишь для балов, где танцоры кружатся всю ночь, –
Пустая забава, нездоровый досуг ничтожнейшей кучки людей,
С духами, вином и в тепле, при освещении свечек.
Муза! Я тебе принесу наше здесь и наше *сегодня*!
Пар, керосин и газ, великие железные пути!
Трофеи сегодняшних дней: нежный (?! – В.Р.) кабель Атлантики
И Суэцкий канал, и Готтардский туннель, и Бруклинский мост!

Всю землю тебе принесу, как клубок обмотанную рельсами,
Наш вертящийся шар принесу.

(Из «Песни о Выставке».)

Вот в чем дело... Но опять это у нас, у русских, сказано в «Отцах и детях»: «Жизнь есть *не храм, а мастерская*», а балы, замки и красивую жизнь немногих послал «к черту» еще энергичнее наш Максим Горький. Для русских это решительно все – не ново.

Ну, а в универсальном смысле, в смысле «истины в самой себе», неужели не заметим мы как в природе, так и в человеческой жизни – действительно «в особенности прелестных», – прелестнее, нежели соседние с ними уголки, где, так сказать, песенка и сказочка сама собою завивается, поется и поэт, едва взглянув сюда, – мурлычет себе под нос рифмы, звуки, созвучия. Не человек «выдумал поэзию», а поэзия, конечно, была в природе, в жизни – и человек просто ее передал, без ломанья, без натуженного отрицания. Этого-то и не поняли ни Чуковский, ни Уитмен, который поет все *сплошь*:

Лягушка – шедевр, выше которого нет!

И мышь – это чудо, которое может одно пошатнуть шекстиллионы неверных.

Я не зову черепаху негодной только за то, что она черепаха.

Оттого, что ты прыщеват или грязен, или оттого, что ты вор,

Или оттого, что у тебя ревматизм, или что ты – проститутка,

Или что ты – неспособен*, – или неуч, и никогда не встречал свое имя в газетах, –

Ты менее бессмертен, чем другие?

То же и в отношении истории, исторических лиц и событий. Великое или скорее обобщенное, – «*Все равно*»...

Ты слыхал, что хорошо покорить и одолеть?

Говорю тебе, что пасть – это также хорошо,

Это все равно – разбить или быть разбитым!

Я стучу и барабаню, прославляю мертвецов!

Слава тем, кто сдался!

И всем полководцам, проигравшим сражение...

И несметным бесславным героям, как и прославленным – слава!

Ему, временами плотнику, временами наборщику в типографии, это действительно «все равно», – но вовсе не «все равно» народам, воинам, героям, которые все *усиливались* и, значит, усиливались к чему-то. Уитмен отрицает *финальность* истории, цели в ней, вообще – *задачи* человечества... И, стало быть, он отрицает *труд*? Ибо всякий трудится для *чего-нибудь*. Странно для рабочего и демократа. История без целей? История как сплошная современность? Базар, в котором мы умрем, и эта смерть так же слу-

* В подлиннике – более грубое, медицинское слово.

чайна, как и самый базар? Так именно умер Уитмен, — и Чуковский, описывая и восторгаясь его похоронами «от велосипеда», не замечает, как это бесчеловечно и отвратительно.

«На площади для бродячего цирка поставили три павильона: в одном поставили печку и стали жарить баранину, в другом поставили бочки пива, виски, лимонада, воды. А в третьем поставили гроб!.. Многотысячные толпы пришли издалека. Целые горы арбузов привлекли общее внимание. Мудрено ли, что вокруг павильонов шла непрерывная драка и что 50 человек были отведены отсюда прямо в кутузку... Священников не было, а просто один из друзей прочитал над могилой отрывки из разных священных книг: из Библии, Корана, Зенд-Авесты, Конфуция, а также и из книги того великого барда-пророка, которого они так странно хоронили теперь».

Но это просто гадко, и это просто несчастно и в высшей степени одиноко! Кому по существу был дорог и близок Уитмен в этой толпе оборванцев, кутившей у него на похоронах? Да *никому*. Чуковский пишет, — а он в этом «верный как собака» (говорю с похвалой) комментатор Уитмена, — что Уитмен принес новое на земле чувство страшной близости всех существ друг другу, страшного их — равенства и братства...

Я никого не оставил за дверью, я всех пригласил,
Вор, паразит и содержанка — это для всех призыв,
Раб с отвисшей губой приглашен,
И приглашен сифилитик.

Боже мой: но это все — совершенно холодные приглашения. Придут, покутят и разойдутся. Да и к *кому* они пришли? Уитмену они тоже не нужны. Он живет, в сущности, без любви к *кому-нибудь*, ибо никого не выбирает, ни на ком не останавливается надолго, а барабанит о *всех сплошь* поистине отвратительным барабаном. Чуковский страшно, безумно обманут, — можно сказать, гениально обманут гениальным самообманщиком. Т. е. Уитмен чистосердечно и внутри себя обманулся о себе самом, приняв какой-то универсализм проституционности за универсализм демократии и это-то проституционное, совершенно холодное — формальное всеосязание приняв за пантеизм, за всебожие, за человеколюбие!!!

У него все «сплошь», как в проституции, у него все — «друзья», как у проститутки каждый есть «гость»... Фу! Фу! Какая слепота. Уитмен — слепой и глухой, ибо он не *различает* и от этого не *выбирает* ни красок, ни звуков, ни лиц... А *душа* человеческая? — он о ней и понятия не имеет.

Еще я договорю о нем немного слов, «во исцеление» нашего бедного Чуковского.

ЕЩЕ О «ДЕМОКРАТИИ», УИТМЕНЕ И ЧУКОВСКОМ

Демократия, – как можно судить по Уитмену и Чуковскому, – есть убавление длинного взора и глубокого слуха... Демократия – это, увы, поверхностность! Демократия – это книжная народность, газетная народность; это низшие, малообразованные слои интеллигенции. «Интеллигенция» – университетский класс; демократия – это элементарная сельская школа и городские училища; это уличный листок, его читатели и отчасти его авторы. «Демократия» не имеет ничего общего с былинами, сказками, песнями. Наш мужик, новгородец, архангелогородец, туляк, рязанец, – государственный и церковник, человек «строгий и обстоятельный». Тогда как «демократ», вместе с «голытьбой» Максима Горького, человек «перекати-поле», которому церкви не нужно, школ не нужно, «креста» он не носит и не тоскует о нем; ну, и на этом «перекати-поле» вырастают всякие выкрики, лозунги, хвастовство, – которое бедный К. И. Чуковский счел Бог знает за какой анархизм и сатанизм.

Уитмен поет:

Я божество и внутри, и снаружи,
Гляну в зеркало, и передо мною Бог.

Чуковский, – тут же, после цитаты, делая в скобках замечание: «Хотя в зеркале растрепанный мужчина, без галстука, с растрепанным воротом», – тем не менее, продолжает и восторгается:

«Это ли не восстание личности, необузданной, сатанинской, прометеевской! Поэт падает ниц перед зеркалом и, как изображение Бога, целует свое отражение» (стр. 39).

Но это просто глупо. Что же он целует? Можно также сказать, что в Уитмене «Бог поцеловал Бога», как и то, что «червяк поцеловал червяка». Но и это все безумно старо, ибо уже Державин в оде «Человек» определил:

Я – Бог, я червь...

Уитмен пишет:

Я – тоже творю чудеса.
Я – не враг откровений и библий.
Малейший волосок у меня на руке есть откровение и библия.

Но все это – слова, самые отвратительные формальные слова, за которыми мы видим, что Уитмен (и Чуковский за ним?) не чувствует вовсе и Библии и откровения.

Он ко всему прилагает эти свои восторги; но это вовсе не богатство, а бедность. Он скользит по всему, глазом так же, как и душою, ибо душа у него мелкая, пустая и глаз какой-то странно поверхностный, не имеющий ни об одном предмете (ни об одном!!!) «своего», особенно что решительно

есть в каждом Божьем существе. Он не пантеист, а а-теист, не в религиозном, а в страшном космологическом смысле. В противоположность Чуковскому, прыгающему на каждой странице – «лучше Уитмена ничего нет», я скажу свое – «хуже Уитмена ничего нет»: ибо, что же это за ужас – ни в чем, решительно ни в чем не сыскать прелести, «божественного отражения», а сплошь и голо, голо и паскудно питать: «всякая вещь божественна», не отмечая, как она божественна, чем она божественна, под каким своим особым уголком зрения. Борнс, тоже крестьянин, пахал поле и плугом разрезал норку полевой мышки. Та брызнула в сторону, спряталась. Борнс схватил «душу мыши» (это не кошунство сказать, ибо в Библии сказано о сотворении «души животных» и даже растений) и передал ее в известном стихотворении:

Трусливый маленький зверек,
Как ты испуган и бежишь...

Можно ли с этим живым, одушевленным и поэтическим очерком английского крестьянина-поэта сравнить формалистическую чепуху Уитмена:

Лягушка – шедевр...
И мышь – это чудо...

Господи! – Да это просто приставленные друг к другу слова; поставленные одно возле другого. И далее, что это было Уитмену «все равно», он выразил через то, что рядом с «мышь» – поставил совершенно неестественное, совершенно сверхнатуральное сравнение:

И мышь – это чудо, которое может (!!!) одно пошатнуть
Шекстиллионы неверных...

«Пошатнуть», т. е. поколебать, заставить дрогнуть? «неверных» – т. е. кого? врагов? войска? Даже нельзя разобраться, в чем тут чепуха: только это вообще неестественно глупо и совершенно непозитивно.

Так он, значит, не любит и мыши, – такой, действительно, иногда милой? Помню, я мальчиком поймал мышонка и клал его с собой спать: черные глубокие глаза и иссиня-серая шкурка были прелестны. Но Уитмен и над нею не сжалился, прогремев над нею своим барабаном. «Я стучу и барабаню...» – действительно – и только. Боже, как скучен, как однообразно-ровен и плоск мир Уитмена. Во всей вселенной – ничего занимательного. О да, это «сатанизм»: но никогда нельзя было предположить, что «опаленный» и «с крыльями» явится в виде такой воши... Да: люди «Бога» умели кое-что подумать и о Сатане; а «без Бога» – и Сатану увидели вонючим и никому решительно ненужным, неинтересным и нестрашным, кроме разве страха омерзения...

Чуковский о всех стихотворных выкрутасах Уитмена имел несчастье написать:

«В этих великолепных словах Уитмен дает нам вечную, гранитную основу для утверждения демократического равенства: веру в мистическую сущность бессмертного человеческого я, — чтобы демократия вошла и утвердила новую грядущую религию всесвятости и человекобожества»...

Не скорее ли «всесвинства» и «человекоскотства»?

И далее:

«Демократия принесла человечеству новое слово: товарищ. Чувство, что мы рядовые какой-то Великой Армии, которая без Наполеона и маршалов идет от победы к победе, проникло уже в каждого из тех, кто заполняет сейчас площади, театры, банки, университеты, рестораны, кинематографы, трамваи современных многомиллионных городов»...

Также о словах Уитмена, что он приглашает «на пир к себе» — «как равных» — и проститутку, и сифилитика, — Чуковский пишет: «Прежние века и не мечтали о такой безумной широте». И снова роскошествует в цитатах: «Я и краснокожий, и негр, и каждая каста — моя, каждая вера — моя, я фермер, джентльмен, механик, художник, матрос... буян, адвокат, священник и врач» (Уитмен).

Врешь, голубчик, — врешь, наш милый Хлестаков!! Ты — не только не «все» это, но и — никто, ничего «из этого». Ибо ты весь — бездомен, дик несравненно дикостью, ты совершенно бесприютен в мире, и тебе некуда причалить среди всемирного океана твою утлую лодочку — ни к какой на земле церкви, ни к какому царству, городу, закону, сословию, профессии, насколько профессии все суть естественно «столбовые», наследственные, преемственные... В твоём несчастном глазу все смешалось, и в твоём несчастном уме тоже все перемешалось. Ты ото всего «отстал», воображая, что «ко всему пристал»... О, странный человек без родины и истории. «Мистический хулиган», *chuligan mysterieux*...

В этом смысле явление это есть старое-престарое, затасканное и перезатасканное, коим полны книги, газеты, журналы, полна толпа и улица после французской революции; но в Уитмене это все достигло своего предела и завершения, и вот отчего «почти все современные французские поэты находятся под обаянием Уитмена», а в Европе, в других странах, прямо открылась «пропаганда Уитмена»... Так понятно: ибо этот колосс безобразия завершает, заканчивает безобразное явление... Явление мирового *о-бездушивания, о-безличения*, но с дифирамбами, с колокольцами, с бубенчиками и полным счастьем...

Знаете: для великой грусти нужно иметь ум. И великое падет непременно с грустью... Но мелкое и «гаер в себе самом» непременно, и падать-то, и умирать-то будет с бубенцами... Поразительно, что *во всем* Уитмене нет ни одной грустной строчки... Да и ни одной в собственном смысле — размышляющей, думающей. Половина книги Чуковского состоит из переводов. Тут много яркого, поражающего; много формул прекрасного алгебраического закругления. Но нельзя нигде открыть «задумчивого лица Уитмена». Не страшно ли? Мне — страшно.

БИБЛЕЙСКАЯ ФЛОРА. НАГЛЯДНОЕ ПОСОБИЕ ПРИ ЧТЕНИИ И ИЗУЧЕНИИ БИБЛИИ

Составил инспектор народных училищ Д. М. Березкин. 159 рисунков в тексте. С приложением: 12 таблиц растений в красках, 12 видов растительного покрова библейских местностей, 1 флористической карты в красках и 4 указателей. Удостоено полной премии митрополита Макария. Петроград. Издание Я. Башмакова и комп., 1914. Стр. 174 in folio.

ПАРИЖСКИЕ ПИСЬМА ПРОТОИЕРЕЯ ИОСИФА ВАСИЛЬЕВИЧА ВАСИЛЬЕВА

к обер-прокурорам Св. Синода и другим лицам с 1846 по 1867 г., изданные с биографическими сведениями и пояснительными примечаниями Л. К. Бродским. Петроград, 1915. Стр. 322.

Н. Г. ВЫСОЦКИЙ. ПЕРВЫЙ СКОПЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС

Материалы, относящиеся к начальной истории скопческой секты. Москва, 1915. Стр. 346.

Как-то отраднее на душе, когда перед глазами лежит книга по «духовному просвещению» и собираешься указать на нее... Строят вечное. И ты, указывая на книгу, прилагаешься к вечному... В самом деле, все «наше» пройдет, пройдем «мы» и «заботы наши», а церковь – вот кладется камень за камнем 1900 лет, и ничто ее не может остановить, потому что она всем нужна. Это какое-то огромное, колоссальное, всем нужное дело, и в страшной серьезности его основание вечности.

Из указываемых трех книг не знаю, которой отдать предпочтение. «Библейская флора» – роскошна, с атласом «библейских растений» в красках, с трудолюбивым, прекрасным текстом. Будь бы я высокопоставленное лицо, прямо обложился бы такими книгами. Очень красиво. Автор справедливо говорит, что растения всякой местности неодолимо действуют видом (а может быть и «душою»? – ведь в растениях есть душа) на «населенников», т. е. жителей того места, и, стало быть, «библейская флора» неуловимо связывается и с пророчествами, и с «книгами царств», и с Евангелием. Д. М. Березкин – инспектор народных училищ, самая маленькая провинциальная долж-

ность министерства просвещения. Вот, скромные люди, пример вам, как надо и *можно* трудиться и в провинциальных неблагоприятных условиях. Письма знаменитого русского священника за границу, относящиеся к 50-м и 60-м годам прошлого столетия, удивляют, кроме важности тем и интереса исторических подробностей, точностью и достоинством чеканного языка. Хочется сказать: когда духовный писатель хорошо пишет, то он пишет лучше всех. Только «хорошо»-то они пишут, увы, не часто... Особенно поразили (восхитили) меня мысли и слова прот. Васильева об англиканской церкви, об ее строе, духе и самочувствии в связи с историей ее возникновения. Кто сей издатель писем? Второй раз он прилагает руку к жизни, трудам и памяти русских священников. Раньше вышла его огромная книга, посвященная знаменитому подольскому священнику Левицкому, эпохи Александра I. Автора я видел единожды, и мы с ним заговорили об еврействе. Он – еврей, из той ветви киевских Бродских, которая, говоря старинным повелительным языком, «оставила талмудические бредни» и приобщилась «должным истинам православия». Хорошее дело и успех души. Третья книга, Н. Г. Высоцкого, извлечена из архивных дел министерства юстиции, хранящихся в Москве. От «Библейской флоры», от тамошних тамарисков, роз, ливанов и лотосов – какой переход к северному скопчеству!!! Как он мог совершиться? Какой длинный и извилистый, хитрый, кривой путь! Ах, по кривым дорожкам пошли наши сектанты, и хлысты, и выродившиеся из них скопцы. Труд г. Высоцкого, изданный со всеми подробностями почти «палеографической» точности, напоминает о многом недоделанном в этой области. Давно пора издать thesaurus документов нашего сектантства... Труд и тема для нашей Академии Наук...

СБОРНИК ПАМЯТИ АННЫ ПАВЛОВНЫ ФИЛОСОФОВОЙ

Том первый. А. В. Тырнова: «А. П. Философова и ее время». Стр. 488. С 23 рисунками и портретами. – Том второй. Статьи и материалы (воспоминания, письма и описания). Стр. 181. Петроград, 1915 г.

Со всем великолепием, к какому у нас способны были только декаденты, начавшие новую эру в книгоиздании, в книгоукрашении, сам декадент и ныне демократ Д. В. Философов издал в двух огромных томах памятник-мавзоль своей матери Анны Павловны Философовой, урожденной Дягилевой. Обертка книги, два портрета на обложке каждого тома, бумага, шрифт, многочисленные портреты в книге, текст, документы – все манит глаз и ласкает вкус. Анна Павловна «удалась» и «счастлива» после смерти, как и была при жизни. Заслужено ли это? Вполне. Мне случилось знать покойную несколько лет, в старости. И, оставляя ее небольшую, почему-то не очень свет-

лую (обильные шторы?) гостиную, я выходил, неизменно думая: «Какая чистая женщина! В 68 лет она невиннее и сыновей, и дочерей, и многочисленных внуков и внучек».

Суть ее заключалась в беспредельном даре наивности (это дар богов!) и вытекшем отсюда чрезвычайном чистосердечии и непосредственности отношения к событиям и к лицам, с которыми ее сталкивала судьба, в водоворот которых ее вовлекала судьба. Сочетать «обожание» к Александру II и восторг к стихам Некрасова, коего «Рыцаря на час» она не могла читать без слез, – это, конечно, «дар богов» и, конечно, это наивность. Она не то чтобы не заметила, а прошла мимо «музы мести и печали» и, с другой стороны, хорошо видела «поворот назад» в реформах 60-х годов, но ради «обожаемого монарха» опустила скромно глаза книзу на целые годы, вздыхая, молча, но не жалуясь, не негодуя, не браня... Вот эта деликатность радикалки и привязывала к ней...

Ну, ведь она была помещица и дворянка...

Книга, в которую вложено много коллективной работы сверстниц, сотрудниц и потомков, – внимательно и обдуманно дает целый «ковёр узора» 40-х, 50-х, 60-х... и до девятисотых годов, переносит внимание читателя из псковской усадьбы покойной, Богдановское, в Петербург, за границу, в круги высокоадминистративные, в круги ученые, литературные, вплоть до «курилки» студенческого, куда двери не отворяются. Через это книга получает не биографическое, невольно суживающееся, а историческое, столь же невольно расширяющееся. И через это долговечность. Старики будут читать ее, как «хронику наших дней», а более свежие и, наконец, юные поколения, как зрелище того, «против чего мы спорили». Тем и другим будет интересно.

Вздыхнем около этой счастливой биографии о биографиях, что называется разбитых. Мне невольно вспоминается Мария Владимировна Безобразова, со столь счастливым детством, со столь до безобразия обломанной, несчастной судьбой. Вот уж приходит на ум изречение Спасителя: «Кому дано много – еще прибавится, а кому дано мало – и то отнимется». Не понимаем и рыдаем...

Книга об А. П. Философовой напоминает одну истину: что история – великая примирительница и смягчительница. Вот она, наша «общественница», вечно спешила вперед, торопилась и торопила. И этим «завтра» в душе своей как бы затаптывала и гасила «вчера», т. е. как бы заострялась против истории в смысле «почитания предков». Но вдруг что-нибудь, какой-нибудь переворот или «новое веяние в истории» заставило бы нас забыть вовсе шестидесятые годы и, увы, самое ее и всех ее сверстников и сотоварищей. Как затрепетала бы она и они, как захватило бы сердце это волнение: «Мы хотим, чтобы нас *помнили*... Помнили, знали, любили». И добрым сердцем мы хотим, чтобы их, в самом деле, и помнили, и любили. Но не лежит ли в этом основания к требованию, чтобы и никакое время, и никакие люди не были вообще забыты, ни те, о

которых, между прочим, сказал Грибоедов: «Это глупо и отсталое», ни те, о которых еще могущественнее изрек Гоголь: «Это – мертвые души». Нет «мертвых душ» для истории: она все родила и всех родила и все обвеваает материнским сердцем. У нее все живы: хотя сами-то дети ее и ссорятся между собою, и разбегаются по разным дорожкам. Но видит старая бабушка всех, и которые близко, и которые далеко, и которые вправо, и которые влево...

ОКОЛО ВОЙНЫ И ВОЮЮЩИХ

Мое внимание, как некоторого «докладчика обществу», каковым по существу является всякий писатель, обращают на положение лиц, живших на попечении и на средства воинов, сражающихся сейчас за отечество, но которые не приходится этим воинам ни родителями, ни детьми, ни женами. Таковы малолетние или больные братья, сестры, деды, бабки, – изредка дяди и тетки. «Семья» и «дом» в укладе бытовом – шире, чем в юридическом определении и чем стоит в правилах о пайке, денежном и натурою. Между тем явно, что внуки еще беспомощнее детей, что старуха-бабка слабее жены и матери, больная сестра или сестра-калека, слепая, безрукая, малолетняя – не могут же и не должны помирять с голоду, когда их кормилец в 1913 и 1914 годах до июля месяца – с этого месяца борется за отечество и «за освобождение Европы от германского засилья». Между тем не только правительство, т. е. государственное казначейство, не «взирает на сих» последних и слабых, но они оставлены вне ока зрения и земством, и частными благотворительными обществами, и церковно-приходскими попечительствами, учрежденными 20 июля 1914 года. Между тем этот недосмотр существует только у одних православных, – и опять приходится сказать в свою сторону горестное «увы»: и у католиков, и у лютеран таковым сородичам и «домашним» помогают приходы при костелах и при кирках, у татар – общины при мечетях, у евреев – кагалы при синагогах. Только у православных – решительно никто!! Это уже отражается на зрелище быта, крайне печальном: количество нищих именно у православных – всюду возросло по деревням, селам, городам. Лицо, сообщавшее мне это, указывает на крайнюю необходимость поспешить скорейшим введением «прихода» у православных, тем более что Высочайшее повеление о разработке проекта положения о приходе последовало еще в декабре месяце 1907 г.

Не можем не обратить на это внимание как всех вообще лиц и учреждений, до сего предмета относящихся, так и специально нового обер-прокурора Св. Синода. Что же, в самом деле, с приходом и почему сей «воз» специфически и вечно без колес? Не движется ни туда ни сюда? И отговорка есть, что приход у нас, русских, находится в «делопроизводстве», и все-таки налично и в жизни – его нет.

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

<О газете «Жало»>

В газете «Жало», издающейся в Харькове, помещена заметка под заглавием «Неумеренная искренность» следующего содержания.

«Синий Журнал», пользуясь, очевидно, агентурными сведениями о В. Розанове, сообщает:

«Одна известная писательница, К. Л., выдавая замуж дочь свою, пригласила на свадьбу Василия Васильевича Розанова. Тот не мог явиться на брачное торжество, но не преминул отозваться по этому поводу письмом на имя невесты. В своем послании от чистого сердца преподал юной и несведущей невесте такие откровенные советы на предмет сохранения любви мужа своего, что с новобрачной приключилась истерика. Но ни мать, ни жених не сочли возможным потребовать от В. В. «объяснений», потому что знали, что подобные выступления В. В. вполне искренни (!), отвечают его убеждениям (!) и защищаются им в печати уже не первый год».

Газета «Жало», сделав эту выдержку, замечает от себя:

«Если «искренности» (т. е. моей. — В. Р.) достаточно, чтобы застраховать от ответственности за совершенное (т. е. мною. — В. Р.) хулиганство, то за что томятся в «каталажке» даже наиболее «убежденные» и «искренние» ханжисты и денатуратчики?»

Вполне удивляюсь, каким образом газетный народ не понимает газетного языка. Изображение и рассказ в «Синем Журнале» о себе я прочел с неделю тому назад, но не придал ему значения и не связал с обидой для себя, усматривая в нем худую или хорошую «художественную форму», художественный прием пересмеять идеи и темы писателя или оклеветать идеи и темы его, преувеличив или переувра. Все это — в пределах литературы, в границах ее творчества. Все это может быть худо, но всякий следит за своим «худым» сам. Но «К. Л.» я знаю, и Россия знает только одну уважаемую писательницу с этими инициалами — г-жу Клавдию Лукашевич. С нею отдаленно знаком, но ни в доме своем ее не принимал, ни в доме ее не был. Вообще все напечатанное, конечно, измышлено, — и, мне казалось, это поймет всякий читатель. Но раз не поняла даже газета «Жало», я могу предположить ошибку и в читателях, и это заставляет меня написать настоящие строки.

АНАТОЛИЙ ФЕДОРОВИЧ КОНИ

(К 50-летию его общественной
и государственной деятельности)

Анатолий Федорович Кони, 50-летний юбилей служебной, общественной и учено-литературной деятельности которого обширно приветствовался сегодня Петроградом и великим множеством учреждений, обществ, орга-

низаций и частных лиц по всей России, принадлежит к золотым именам нашей истории за последние полвека; хочется и ограничить, и определить это выражение, сказав, что золотым именем он был в общественной работе, в золотом своем слове, – по преимуществу устном, и, наконец, в том всеобщем уважении, признании, до некоторой степени восхищении, которое и хотел, и умел, и имел исключительный дар соединить кругом своего лица и своего имени. Но, весь полный горения 60-х годов, в которые он окончил курс (в Московском университете), – он именно центром своего внимания, сочувствия и обширного ума налег на службу общества и гораздо менее – государства, отчего и произошло то, что хотя он все долгие десятилетия деятельности проходил разные министерские службы и в них занимал высокие должности и имел еще более важные отдельные поручения, однако не взошел на то положение, которое, казалось бы, совершенно соответствовало его редким дарам – заведующего вообще «судебным инструментом» в России. Выполняемые им функции всегда были меньше его роста, его дара, его проницательности, ума и образования. В юридическом мире, в мире министерства юстиции ничье имя не было так ясно, так светло, так всеми видимо, так всеми признано, как Анатолия Федоровича Кони. Спокойным, уверенным, невозбужденным проходил муж и потом старец по тесным и специальным дорожкам этой службы, как-то сумев отстранить от себя все специальное и оставаясь вообще русским человеком, с преимуществами образования и дара, – и сообщив этому специальному ведомству тайной успехов своих и своего личного очарования что-то «общерусское», а не судебное. Можно сказать, Кони «популяризировал» живой суд в России, вообще-то (по идее) – суровый суд, как когда-то Брем популяризировал сухую зоологию. И в этом главном его историческом значении, – которое с ним никто еще не разделяет, – очень помогли ему дары литературные, дары ораторские, дары прекрасной и благородной памяти о других лицах или прошлой нашей истории, или истории недавней и почти современной. Кто хорошо помнит, того самого запомнят; кто окружил любящим словом других, и притом столь многих лиц, тот естественно окружен и сам почтением и любовью. Словом, все это – связано; а талантом «связывать», а не разъединять и не противопоставлять Анатолий Федорович всегда обладал в высокой степени.

Назвав его человеком с пылом 60-х годов, необходимо отметить то огромное значение, то огромное действие и влияние, какое он произвел своим лицом, работою и обаянием в этом специальном пыле нашей общественности. Именно он все смягчил, он закруглил ее острые, отчасти ее рвущие углы. И эта роль принадлежит его обширному, чисто государственному, чисто историческому уму. Он окончил университет в 60-е годы, даже в начале их; итак, и польское восстание, и судебная реформа, и земская и городская реформы, даже освобождение крестьян – были пестунами его юности, были друзьями его молодости, от которых он слышал песни и которым он давал свои песни. Это, несомненно, так, и ни одним словом и никогда он

не выразил, чтобы в чем-нибудь расходился со специфическим духом того замечательнейшего десятилетия. Затем он ни одним словом не дал понять, чтобы сколько-нибудь слился с гневным и наказующим духом 80-х годов. И так, его лицо спокойно, ясно и не переменялось. Но кто мог осудить его? Какой человек или группа людей могла бы назвать его врагом своим? А ведь были гневные противники именно 60-х годов и всех тогдашних великих начинаний. Но Анатолий Федорович умел склонить к земле все копы, а пушки в него не стреляли. Это истинно государственный такт, истинно государственный ум. Другой бы усиливался к этому, и тогда это не было бы удачно, как всякое усилие и напряжение. Но в Кони все «совершилось само собою», и это есть просто отражение его спокойствия, ясности и ума. Порывы он преобразовал в действие, выкрики – в речь, скачки – в ход; почти в служебное шествование. Не теряя заветов и далеких «мет» своих юных годов.

Он был художником своей общественной роли, художником и собственно юриспруденции, – обогатив последнюю специальным русским даром, душевностью, теплом и пронизательной психологичностью. Душевный дар Кони – вообще собирательный. Это не был молот в слове, – и ни в чем вообще он не был «молотом, который и дробит стекло, и кует булат». Дары его совершенно другого порядка, – но не менее замечательны в своем сочетании. Образование, ум, талант, красноречие, дисциплина, свобода – все дало свой росточек в его душу и вырастило поистине прекрасный «общественный цветок», – «отечеству на пользу» и многому множеству людей на радость. Он весь состоял из теней, оттенков и черточек, прекрасно сложившихся. И нельзя, смотря на него, читая его, слушая его, не сказать об особой «удаче» и «покровительстве богов», каким он пользовался и превосходно разработал. Как часто человек портит свою судьбу, свой дар, – иногда замечательный и высокий. Это же некультурность и варварство, это – дикость. Кони есть совершенное и полное отрицание всякой дикости и некультурности. Его даже можно назвать высшим культурным человеком своего времени, – по тому уму и тонкости, с какою он возделал, расширил и изукрасил дар, положенный ему «богинею» при рождении в колыбель. И посему особенно хочется его назвать – *мудрый старец*.

Таков он и есть. И волны любви, уважения, памятования – несутся к нему отовсюду сегодня. И он может, спокойно озяв вокруг, подумать: «Так есть и так *будет*». Мы не договариваем слов, которые, естественно, он скажет в свои годы и которые незачем вслух произносить.

И нет врагов у него. Вся Россия – друг. Не редко ли это? Мы должны не только видеть это, но и удивляться великим удивлением, – в сем море жизни, которое именуется *злым морем*. Его переплыл Кони, и оно никогда не умело взбунтоваться около него.

ГР. АНРИ ДЕ-КАСТРИ. ИСЛАМ И ХРИСТИАНСТВО В ЭПОХУ ЗАВОЕВАНИЙ И ВЛАДЫЧЕСТВА АРАБОВ

Петроград, 1915.

Как-то проезжая на Кавказ и огибая какую-то местность, я попал в пункт особенно большого движения... Не то был базар, не то особый их «неверный» праздник. Дело было лет 15 назад, и потому воспоминания мои смутны. Тут, между прочим, я впервые увидел ламаитов, людей совершенно невероятных по фигуре и костюму. Все пестрело, краснело, зеленело халатами, тюрбанами и черт знает чем. «Ну и *широка* ты, матушка Русь, — бормотал я в душе с гордостью, — чего-чего в тебе нет. И всякого зверюшки. И всякого человека». Вдруг я увидел человека с особенно громадной кривой саблей, изогнутой почти как обруч. И рожища — страх один. Одет великолепно и видно, что знатен.

— Это еще что такое? — спросил я соседа по толпе, человека примерно тутошного.

— Это... — И он назвал слово, сейчас забытое, и растолковал его: выходило, что это нечто вроде нашего «епархиального архиерея» или «благочинного»: лицо *выше* муллы, и гораздо выше, по той же категории и порядка. Ум мой смутился, душа была подавлена... Как, «духовное лицо», «религиозные обязанности», «ближе к Богу» — и вот ради всего этого и как выражение всего этого сабля с оглоблю и готовность «снести вам голову». — «Господи, Господи, — шептал я бессильно, — это какое-то светопредставление, это шиворот-навыворот решительно всему, что мы думаем о «религии» и «духовном лице».

Никогда этого не забуду...

Но я думаю, если всмотреться в *суть* дела, — до такой же ровно степени не похожи на нас, «крепких христиан», — и евреи, с их заветами всемирного торга и всемирной предприимчивости; с их молитвами под покрывалом, с их раскачиваниями во время молитвы. Откуда *résumé*: «Господи, сколько людей, не похожих на нас»; а мы-то ведь вообще думаем, что все люди суть только умаленные или увеличенные христиане и что вообще в «христианине» дан образ человека, от которого бывают лишь отступления...

Нет. Есть нечто совершенно не похожее на христианина, на христианство... Есть — совершенно иного чекана, как бы иного сотворения, и притом от самого создания мира.

— Неужели же у Бога может быть две мысли о человеке?

Странно. Но так.

Два мира, мусульманский и еврейский, должны бы составить почти специальную задачу изучения для русских. Мечом стальным мы покорили их. Мечом духовным почти не прикоснулись к ним. Мы лишь «миссионерствовали» там и здесь; мысленно миссионерствовали даже, когда писали

ученые трактаты. У нас всегда стоял в душе молчаливый вопрос: «Отчего вы – не мы?» Отчего вы другие? Зачем другие? Что у Бога одна мысль о человеке – это была априория, предшествовавшая всем нашим рассуждениям.

Евреев в России около 8 миллионов, – почти все, главная их масса. «Эх, куда забрели...» Мусульман – около 15 миллионов. Наш Кавказ и Средняя Азия, сливающиеся с коренной Россией без всякого разграничения, так сказать, без всякого «забора», – окрашены в преобладающий мусульманский цвет... Кривые сабли, кинжалище за поясом, таинственный «намаз», молитва, сидя на корточках, муэдзин на минарете. И неистовая вражда к фраку, цилиндру, галстуку, «школьному учителю земского типа» и «ухаживанию за женой ближнего своего»; семь заповедей Европы.

Хорошо. Так все-таки это надо понять. Конечно, мы православные и останемся православными, но на некий «ночной час» испросим отпуска у всего «своего» – и осторожно глазком погрузимся во все эти «бесовщины», к этим «худым людям», чтобы им «ни дна ни покрышки»... Все-таки наука. А наука, что делать, «некрещеная»...

Вот, я думаю, общее предисловие и предпосылка ко всем «мусульманским изучениям» и ко всем «еврейским изучениям»... Их надо изучать, страдая и засыпая «к своему» и как бы не учившись никогда ни в гимназии, ни в университете...

– Здравствуйте, господа.

– Да ты кто?

– Человек неведомый. Спал сто лет. Открыл глаза. И хочу посмотреть, что у вас такое и кто вы такие?

Без этого и иначе все будем и в мусульманских черточках и змейках, и в финикийско-ханаанском «квадратном письме» прозревать «старославянскую церковную вязь»... И все будет путаться. Никак не услышишь таинственной и совершенно новой «музыки Востока». А она есть. На своих инструментах. Со своими нотами. Совсем с особой душой...

Только что появившаяся брошюра «Ислам и христианство в эпоху завоеваний и владычества арабов» графа Анри де-Кастри, в переводе Умат-Гирея Мецхала, есть извлечение двух глав из обширного сочинения графа де-Кастри «L' Islam, impressions et études», которое вышло уже четырьмя изданиями в подлиннике. Брошюра эта дает несколько благоуханно-изящных страниц, какие умеют писать только французы на своем законченном языке, – доказывающих тему о *терпимости* мусульманства ко всем религиям, а следовательно, и о способности народов, исповедующих эту веру, к высшей культуре. Тема – «миссионерская», самолюбивая и суетная, которой поверит, кому хочется поверить, и не поверит, кому не хочется ей верить; тема одинаково справедливая и несправедливая... О фанатизме и пылкости ислама говорят его всемирные завоевания; а с другой стороны, набрав в свой гарем жен из всех вер, какой-нибудь паша не отнимал веры ни у одной из своих жен и не теснил ее за веру, не склонял даже ее изменить

вере. Значит, вопрос этот решается и так и этак. Эти общие трюизмы, общие положения растаивают в важности своей и в истине своей перед серьезным исследованием. Странички эти будут прочитаны только в обществе, «едва касающемся перстами» мусульманского вопроса. На русском языке есть фундаментальные книги, исламу посвященные: прежде всего, конечно, «Коран. Законодательная книга махаммеданского вероучения». Перевод и приложения к переводу Гордия Саблукова (Казань, 2-е издание. 1894 г., 2 тома); «Исламизм», П. Цветкова, в трех томах (Асхабад, 1912–1913 гг.); том 1-й – «Мухаммед и Коран», том 2-й – «Вера Ислама», том 3-й – «Ислам и его секты»; ряд обширных исследований Н. П. Остроумова под общим заглавием «Исламоведение» (Ташкент, 1912 г.); и наконец, хочется назвать превосходный труд, напечатанный в «Записках Императорской Академии Наук» в 1897 г., «Музыка и песни уральских мусульман, с очерком их быта», записанные на местных языках с точным переводом на русский С. Г. Рыбакова, истинная сокровищница бытовой поэзии, бытовой прелести и мелочей. Сюда прибавим и обширный труд покойного Влад. Павл. Череванского «Мир ислама и его пробуждение» (СПб., 1901 г., два тома). Пора бы составить «Библиографию мусульманства» на русском языке, – труд, ждущий кропотливых исследователей.

КНИГА ПАМЯТИ КНЯЗЯ ОЛЕГА

Князь Олег. Петроград, 1915.

Как оказывается из воспоминаний воспитателей и воспитательниц князя Олега Константиновича, героически погибшего в начале Германской войны, и особенно из черновых его бумажек, дневников, начатков повестей, стихотворений из одного предприятия относительно творений Пушкина, – личность этого князя есть не только «светлая», как его называли после смерти, – но и в высшей степени интересная, содержательная, а в нравственном отношении не вообще только «светлая», – термин слишком расплывчатый и неопределенный, термин слишком мало благодарный, – но действительно до трогательности прекрасная по доброте, по заботливости, по трудолюбию, по сознанию долга. Погибло прекрасное «обещание» для русской литературы, – это-то уже бесспорно, не преувеличено, и можно и должно это сказать, совершенно не считаясь с великокняжеским лицом. Литературная братия потеряла одного из «своих», и ей совершенно следует помнить о нем, как о «своем».

Кипучее воображение, бегущее впереди вещей и преобразовывающее их в другой мир, – или, если дело идет о событиях, о предприятиях, то зовущее их, ускоряющее их, – вот отличительная черта поэта и деятеля, которая была князю Олегу в высшей степени присуща. Ну, вот этот набросок в черновиках:

... «Я стараюсь представить себе, что случилось бы с окружающими, если бы я теперь умер.

Что стал бы делать мой друг? Наверно, похудел бы, побледнел бы, осунулся... Мне рисуется, как бы он подымался по ступеням катафалка, чтобы со мной попрощаться, и как бы на него смотрела в это время мама.

И вдруг ни с того ни с сего мне становится приятно, что все обо мне так жалеют. Перед моими глазами мелькает номер «Нового Времени», где на первой странице крупными буквами извещается о моей смерти и о панихиде в два часа дня. Также вижу мою фотографию и на минуту останавливаюсь, соображая, какую фотографическую карточку напечатает «Новое Время»? Все это мне приносит большое наслаждение. Но мне становится совсем приятно, когда я думаю, что в «Новом Времени» будет напечатан мой некролог, где будет написано, что я кончил лицей, что я там хорошо учился, получил пушкинскую медаль и что меня там любили. А может быть, сам Радлов напишет воспоминания о своем бывшем ученике. В этот момент я ловлю себя на том, что зашел уже слишком далеко. Мне становится смешно и стыдно себя. Я морщю лоб и стараюсь серьезно разобраться в том, хотел ли бы я теперь умереть. Сознание подсказывает, что, в сущности говоря, теперь мне было бы очень глупо умереть, так много поработав над собой и в конце концов ничего не сделав. Нет, ни за что, ни за что я не хочу умереть без славы, ничего не сделав в жизни. Не хочу умирать с тем, чтобы меня все забыли».

Как это трогательно... Как вещь в отношении ранней кончины, — и «объявления» в газете, и «портрета» в ней... И чудно, юно, свежо — как цветок лилии, вытщенный из воды...

Поразительно по историчности описание 13-летнего князя Олега приема первых депутатов 1-й Государственной Думы в Георгиевском зале Зимнего дворца; интересны эти отражения на отроческую душу князя. Князь трепетал, боялся, восторгался. Не сводил глаз с Государя, — и отметил малейшие оттенки в лице его и тоне голоса. Запись эта важна. А вот запись от 16 февраля того же 1905 года:

«У нас что-то творится. Говорили, что 19-го будет во всей России бунт. Недавно М. И. написал секретную телеграмму в Симферополь. Пришел взвод Крымского дивизиона. Говорят, что на Ай-Николе поймали революционера. Говорят, что хотят взорвать Ливадию. В Петербурге был бунт. В Москве на окраинах города были беспорядки. 4-го убили дядю Сергея. Бедный! Мама пишет ужасные подробности и что мы в нем потеряли истинного друга. Это действовало на нас всех. Дай Бог, чтобы все прошло благополучно. Почти в каждом городе беспорядки. Как это, наверно, действует на мамá. Писем довольно давно не получал».

О Порт-Артуре:

«До чего мы дожили!.. Стессель сдал Порт-Артур. Не было возможности держаться. Кондратенко убит. Он был нашего корпуса. Да, много героев пало под Порт-Артуром. Кто во всем виноват? – Русская халатность. Мы, русские, живем на «авось». Это «авось» нас делает виноватыми. Когда же, наконец, пройдет эта русская халатность? У нас управляют не русские, а немцы... А немцам до нас нет дела. И понятно, – оттого-то русские везде и проигрывают. Они с малолетства не стараются воспитать себя. И выходят ненужные люди для отечества. С малолетства себя воспитывать надо» (стр. 41).

Принимая во внимание тринадцатилетний возраст, нельзя не удивляться не только серьезности и правильности мыслей и забот, но и особенно – совершенной простоте языка изложения, без восклицаний, без излишеств пафоса, без крикливости тона. И вместе, в сложении сердца – полная детскость, замечательно правильно сохраненная ему должно быть удачными наставниками.

Тут же портрет его от 1905 года, в кадетском мундирчике: совершенный ребенок, – даже не мальчик, а ребенок. Множество портретов вообще передают и увековечивают его во всех фазах слишком короткой жизни.

Еще запись из дневника, – о времени несчастья с Порт-Артуром:

«Я сегодня получил письмо от Ивана Михайловича*. Оно было так трогательно, что я хотел заплакать, но удержался. О, как я был глуп, когда был рад войне! Сколько осталось осиротелых семейств! Я хотел идти, вернее сказать, – убежать на войну. Если Господь Бог меня пошлет, во время нашего путешествия в Крым, на войну, я буду так рад!.. Сегодня за завтраком говорили, что в Порт-Артуре осталось только 10 000 войск, что Порт-Артур не выдержит. В 6 часов вечера я заперся в комнате и стал просить Всевышнего о помощи Порт-Артуру. Потом я взял молитвенник, хотел по нему прочитать молитвы и подумал: «Я открою, не ища, молитвы. Какие попадутся, те и прочту. Может быть, будут как раз те, которые на войну, – это воля Бога. Разворачиваю молитвенник, – попадаются молитвы на войну».

Это – запись дневника. Составители книги рассмотрели молитвенник и нашли тут же приписанное на полях стихотворение-молитву маленького князя:

«Господи! воздвигни силу Твою и прииди во еже спасти ны».
Так молится русский народ.
И дай Ты нам помощь,
Одушевление подай Ты войскам.

* Максимова, брата одного из его воспитателей, А. М. Максимова, родом казака.

Не нужно объяснять, сколько прелести и красоты в этих простых словах, — и во всем вообще движении здесь, почти еще ребенка.

Воспитание князя Олега, как и других князей, его братьев, было довольно «насыщено содержанием»: вставали все в 6½ часов и, одевшись и помолившись, шли на прогулку в парк. В 8 часов уже сидели за уроками. Продолжительность каждого урока была 40 минут; за уроком следовала перемена в 20 минут. Ежедневно было 4–5 уроков. В час дня завтракали, от 2 до 4 часов ездили верхом с дядею Димитрием Константиновичем. От 4 до 7 — приготовление уроков к «завтраму». В 7 — обед; затем 40 минут — чтение с одним из преподавателей иностранных языков; затем — рисование, ручной труд и танцы. Нельзя не заметить, смотря на ранний час дня, с которого начиналась деятельность, — что это трудновато и для «буржуазии». Запись в дневнике от 30 августа, перед началом зимних занятий:

«Нам надо учиться, готовиться. Даже, может быть, нам надо готовиться больше, чем нынешним князьям. Приходят трудные времена. К трудным временам надо готовиться. Чем дальше мы уходим от Рождества Христова, тем труднее становится время. Чем труднее становится время, тем больше надо готовиться».

Прямо удивительно... В 12 ½-летнем мальчике! И как просто, ясно и полно. И точно доказывает себе и житейскую, и нравственную теорему.

Лучшее в дневниках, записях и всякой бумажной мелочи — горячее чувство к России, разлитое всюду. В общем виде оно хорошо выразилось в следующем стихотворении:

В моей душе есть чувства благородные,
Порывы добрые, надежды и мечты;
Но есть в ней также помыслы негодные,
Задатки пошлые, ничтожные черты.
Но я их затопчу, и с силой обновленной
Пойду вперед с воскреснувшей душой;
И пользу принесу работой вдохновенною
Моей отчизне милой и родной.

Вот его чувство о России, более конкретно и определенно:

«Теперь я подъезжаю к милой России. Позади меня осталась Франция с вечно ликующим, славным и талантливым народом, с Парижем, Версалем и гробницей Наполеона. Теперь я проезжаю по скучной Германии и должен через час быть в России... Да, через час я буду в России, в том краю, где все хранится еще что-то такое, чего в других странах нет... Там, где по лицу земли рассыпаны церкви и монастыри... Там, где в таинственном полумраке старинных соборов лежат в серебряных раках русские угодники, где строго и печально смотрят на молящихся темные лики святых. В том краю, где сохранились еще и дремучие леса, и необозримые степи, и непроходимые болота. Бывают ми-

нуты в жизни, когда вдруг страстным и сильным порывом поймешь, как любишь родину, как ее ценишь... В эти мгновения так хочется работать, делать что-нибудь, помогать чем-нибудь своей родине»...

Роскошное издание, сейчас лежащее передо мною, в 6 рублей, — останется безвестным в большой публике, т. е. в массе бедноты, и учащейся, и не учащейся, — народной, сельской. Между тем образ князя так светел, вся книга вообще представляет такое занимательное и поучительное чтение, что и хочется, и, возможно, кажется, — дать его дешевое, приблизительно рублевое издание. Хочется ее увидеть в крестьянских избах, в солдатских или унтер-офицерских руках, у сельских священников, диаконов, у городских псаломщиков. Хочется, чтобы она пошла по маленьким читальням, пошла в гимназии, в училища, в военные корпуса. Можно бы уменьшить формат, дать проще и дешевле бумагу, но непременно надо сохранить все портреты и рисунки в красках князя-ученика, — эти снимки дома в любимом его Осташеве. Книга вообще вполне педагогична и широко педагогична, как просто история прекрасного воспитания и роста прекрасного мальчика. Дух его до того ясен и невинен везде, а вместе — так благородно заботлив и умен, что просто удивительно. Пусть бы это было «русским Робинзоном», но выкинутым не на пустынный остров, а в великокняжеский дворец. Ведь умиленность вымысла де-Фое происходит не от «необитаемого острова», а собственно от необыкновенно чистой и невинной души самого юного странствующего. Дело не в приключениях, а в психологии. В Олеге Константиновиче судьба и случай дали России именно такого прекрасного мальчика, который, в самом деле, может быть «в пример» сотням тысяч русских учащихся мальчиков и девочек. В пример радостный, живой, а самое главное — не измышленный, а действительный.

Об этом можно подумать, похлопотать.

Удивительная сторона князя — чувство русской усадьбы. Вообще замечен его вкус к частной жизни, к уединению, родник поэзии и вообще благородства в помыслах. На все официальное и важное, чему он должен был стать свидетелем, зрителем и очевидцем, — он смотрит с трепетом, восторгом и страхом. Но сейчас после этого зарывается в свои бумажки, тетрадки, дневники. В его натуре вообще совершенно отсутствует шумность, официальность и лоск.

Вечная внутренняя забота «быть лучше», — но не монотонная, по правилам и экзамену, а — как усилие *сейчас*, с богатым динамическим, а не статическим запасом, — необыкновенная живость и впечатлительность, горячность каждую секунду — суть князя. Он читает «Юношеские годы Пушкина» Авенариуса и записывает в дневнике: «Я так люблю эту книгу, что мне представляется, что я также в Лицее. *Я не понимаю, как можно перестать читать эту книгу.* В этой книге моя душа. Мне нравится очень друг Пушкина — Пущин». И еще, — через несколько дней пометка: «Пущин сдерживал Пушкина, и не будь его, я думаю, что Пушкину было бы трудно.

Потом Пушкина выручал директор Энгельгардт, которого Пушкин не любил. Энгельгардт был чудный человек, хороший директор, порядочный человек, открытый, прямой, умный. В этой книге рассказано, почему Пушкин невзлюбил Энгельгардта...» (за стихотворение, шаловливо-легкомысленное, о родственнице директора, недавно потерявшей мужа).

Из этих строк дневника видно опять удивительное сочетание в князе пылкости и оглядки на себя и на обстоятельства. Пылает он к Пушкину, но отмечает превосходство души Энгельгардта и правоту его в столкновении со своим кумиром.

Так еще в детстве зародилась в князе любовь к Пушкину и его поэзии, перешедшая потом в поглощающее чувство. Нужно читать его письма к В. И. Саитову, где он благодарит известного библиографа за подарок ему собственноручного автографа Пушкина... Это увлечение Пушкиным побудило князя поступить в Лицей. А к окончанию курса в нем, совпавшему со столетним юбилеем Лицея, князь изготовил в подарок Лицею воспроизведенное факсимиле рукописей Пушкина, хранящихся в лицейском музее имени Пушкина, — именно лицейских его стихотворений. Здесь все — инициатива, работа (совместно с рядом ученых), план — принадлежит князю Олегу. Он составил план издать так, в листах и тетрадах, *все* Пушкина, распределив выпуски издания по музеям и книгохранилищам. Сличение светописы с оригиналами князь принял на себя. И вот заметил он, что некоторые «точки» и «черточки» оригинала до того выпцвели и побледнели, что при разглядывании глазом на свет, поворачивая «так» и «этак» оригинал, они заметны *как следы*, но уже следов этих не уловляет, не воспроизводит фотография. Заметив эту беду, князь на несколько месяцев задержал выход в свет всего издания, восстанавливая эти черточки и точки. Затем он сделал коллективную проверку: работа каждого члена «комиссии» должна была быть пересмотрена и проверена каждым же и, наконец, всеми другими членами. Эта «перекрестная» работа была утомительна, тяжка, но привела к достойному результату. Я был так счастлив, что случайно в библиотеке А. С. Суворина видел это издание, — тогда еще не зная о всем предприятии и вообще не зная, что это такое. Это что-то совершенно изумительное по великолепию... Читаешь прямо «самые рукописи Пушкина», — «вовсю и во всем...». Если бы он кончил свой труд (как задумал) и дал *сoprus* Пушкина в фотографическом воспроизведении, с сохранением цвета и качеств бумаги и водяных в ней знаков, наконец, с воспроизведением всякой маленькой грязи и сора на бумаге, «следа десятилетий», то мы имели бы Пушкина в такой роскоши нового печатного и светописного издательства, какого достигло это мастерство к нашему времени и о каком в годы Пушкина никому не воображалось и не мечталось.

Письмо с войны к отцу, почти из-под Кёнигсберга:

«...Были дни очень тяжелые. Одну ночь мы шли сплошь до утра, напролет. Солдаты засыпали на ходу. Я несколько раз совсем валился на бок, но просыпался, к счастью, всегда во время. Самое неприятное — это дождь. Очень нужны *бурки*, которые греют больше, чем пальто. — Где

Костя (князь Константин Константинович)? Что он? Ничего не знаем. Слыхали или читали у тебя или у Татианы (сестра) в письме, что его товарищ Аккерман ранен около него. Да хранит его Бог! Все за это время сделались гораздо набожнее, чем раньше. К обедне или ко все-нощной ходят все. Церковь полна. – Маленькая подробность: недавно я ходил в одном и том же белье 14 дней!! Обоз был далеко, и все офицеры остались без белья, без кухни, без ничего. Варили гусей чуть не сами. Я сам зарезал однажды на собрание (офицеров) 20 кур. Это, может быть, противно и гадко, но иначе мы были бы голодны. – Никогда в жизни не было у нас такого желания есть, как теперь. Белого хлеба нет. Сахару очень мало. Иногда чай бывает без сахара. На стоянках картина меняется. Там мы получаем вдруг шоколад, даже какао, чай, папиросы и сахар. Все наедаются, а потом ложатся спать. Часто во время похода ложимся на землю, засыпаем минут на пять. Вдруг команда: «К коням!» Ничего не понимаешь, вскарабкиваешься на несчастную лошадь, которая, может быть, уже дня три не ела овса, и катишь дальше...

Самая дорогая черта для нас, русских, в князе Олеге – чувство им быт-овой Руси, усадебной жизни. Кончим очерк его лица и краткой и благород-ной жизни этими строками из неоконченного рассказа – «Ковылин»:

«Мы тронулись дальше.

Это долгое путешествие в санях, ночь, тишина, одиночество, – впечатления, произведенные Ковылиным и рассказами Арсения, – под-вывание волков и вся окружающая обстановка расположили меня к мечтательности. Невольно вспомнились рассказы отца о его собствен-ном детстве и о житье-бытье умерших дедушек и бабушек.

Я невольно перенесся мыслью в далекое прошлое и почувствовал, что делаюсь незаметным свидетелем медленной помещиц-ей жизни в Никольском...

Вот у окна в спаль-ной в лиловом капоте и в кружевном чепчике сидит сама Татиана Борисовна. В доме, кроме нее и старой ключницы Надежды, нет никого... Всеми забытая, совсем одинокая, доживает она здесь свою тихую незамужнюю жизнь...

А вот за этой плывет и другая картина: в соседнем медвежьем углу, в Стрекалове, за круглым столом, на котором шипит самовар, сидит Николай Борисович и рисует трехрублевые бумажки для Варварушки. Она стоит перед ним, делает вид, что не понимает, что бумажки не настоящие, и кланяется и благодарит за подарок.

Чудна ты, Россия! На твоём необъятном пространстве, в разных медвежьих углах, жили и будут жить люди. Исчезли Николаи Борисовичи, Татьяны Борисовны, появились на смену Ковылины, которые сравнивают предшественников с насытившимися комарами. И эти пройдут, и этим дадут какое-нибудь прозвище... А дальше что будет?..»

Написана повесть в Домнихе, усадьбе, где часто проживал князь Олег. По слогу, тихому и без «замечательностей», мы чувствуем, как князь любил нашу «незамечательную» Русь...

И будет она долго его помнить и никогда не забудет.

Наука церковного права понесла тяжелую утрату – скончался в Казани профессор канонического права *Илья Степанович Бердников*, ученик знаменитого А. С. Павлова, который тоже начинал в Казани, но потом перебрался в Москву и здесь, профессором университета, провел всю свою ученую и служебную деятельность. Бердников был сыном бедного сельского дьячка вятской епархии. Кстати, именно эта низшая ступень церковного клира, наши знаменитые «дьячки», которые так смешно одевались и ходили с памятной «косичкою», дали в детях своих такое обилие умов на службу церкви, государству и науке, что их трудно обозреть глазом и объять их работу умом. Почему бы? Есть общее условие: дьячок образован слабым образованием, кончил духовное училище и разве что первые классы семинарии. Природа не утомлена, мозг не утомлен в родителях (дьячок), но уже тронут и возбужден учением. Дети же дьячка растут на воле, около поля, около леса (в селе), около улицы (в городе), т. е. растут близко к природе и близко к бедноте народной. Тут все условия для пышного, самостоятельного и яркого роста. Книжки кое-какие есть, слово наставительное кое-какое есть, но все без гнета и утруждения. И мальчик подает кадило отцу в церкви, вечно слышит дивное наше богослужение и, если даровит, о многом начинает думать. А постоянно видимое и слышимое богослужение, в котором мальчонка принимает и кое-какое участие, ложится на душу детскую величавым историческим впечатлением. Ради-то золотых сынов скорбится как-то о старом звании «дьячков» и мнится, что напрасно их переименовали в «псаломщиков», что якобы чище и глаже звучит: затея едва ли не Владимира Карловича Саблера, который вообще внес некоторые почти неуловимые нюансы своего «отчества» в строй и дух церкви, в быт церковный, как это неприятное электрическое освещение храмов, как обязательные ежесюседельные проповеди «по приказу» и «ради выслуги», церковно-приходские школы и вообще «чин» и «чиновничество», фрак и орден, неуловимое превращение старого «храма» в народную «залу церковного назначения». Кое-что вообще от «штунды» и в духе ее. Не сомневаемся в благожелательности этих намерений, о вреде коих, конечно, нисколько не подозревал сам Владимир Карлович. Бердникову принадлежат огромный труд «Государственное положение религии в римско-византийской империи», много издаваемый «Краткий курс церковного права» и множество специальных работ. Нередко он вызывался в Петроград в разные ученые комиссии при Св. Синоде. Здесь он всегда высказывался в духе высокого стояния церкви, особых и исключительных ее прав и против притязаний государства вмешиваться в церковную жизнь и простирая сюда свою властную руку. Точка зрения старинная, основательная и крепкая, если бы не «таинство брака», естественно принадлежащее церкви, но в коем течет жизнь мирян и жизнь семьи, этой «основной и первоначальной ячейки государства» и человеческого общества и общежития. Именно семья и брак, дело по форме своей церковное, а по содержанию

своему гражданское, дает вечный повод государству «просовывать руку» внутрь церкви, одно запрещая или противодействуя ему, другое или приказывая, или предлагая (консistorский узел, бракоразводный узел). Был другой авторитет церковного права, современный Бердникову, хотя и младший его, и тоже умерший недавно, и тоже из учеников А. С. Павлова, который, напротив, проводил в лекциях мысль, что как в византийско-римском государстве, так и в русском царстве церковное право вырабатывалось при постоянном соучастии, воздействии и указаниях византийских базилиевсов и русских царей и что такое соучастие правомерно и желательно. Хочется указать еще на один возможный и должный момент в строении науки канонического права: отделить, так сказать, вечное и абсолютное в этом праве от временного и случайного. Найти в своем роде *jus naturale* церкви, как такое есть в праве гражданском. Это подводит к мысли о создании *критического церковного права*, дабы не только профаны, но и, например, русское министерство юстиции (хотя бы в бракоразводном процессе) не принимало бы каждую «новеллу» такого-то византийского императора за что-то священное, почти святое, только потому, что она издана в XI или в IX веке, хотя составившие ее византийские чиновники не были старше в чине, чем русские чиновники, о «святости» их говорить было бы все. У нас что «на пергаменте» написано, то и непререкаемо. Но забывается, что в старину «все» писалось на пергаменте. Об этой *критической* истории и даже *критической догме* церковного права живым канонистам следовало бы подумывать. Будем почитать древность. Но не будем безумны перед древностью.

ОДНА ИЗ ДЕРЗКИХ КНИГ

Л. Н. «Этюды» (Метафизические, психологические и критические заметки). Петроград, 1915.

Книга и, пожалуй, книжонка дерзкая, наглая, резкая, но – талантливая. Автор «ни с чем не согласен», а только – с собой. «Но тогда давай на расправу твой ум». Автор – дает. Но этот «ум его» распирает вам горло, не лезет в рот, досадует и рвет ваши нервы... Книжонку можно бы бросить, но я перелистывал страницу за страницей и прочел все 335 стр. «этюдов» как некий свой «дурной и пугающий сон»... Потому что и манит...

Ну, вот эта мысль, попавшаяся мне, во второй половине «Войны и мира» некоторой я и прочитал ее всю: автор утверждает и потом сложно доказывает, и рассуждениями, и анализом некоторых литературных типов, что «события нашей жизни», по-видимому текущие случайно и, во всяком случае, независимо от воли нашей, от желания нашего, – ибо они суть просто «окружающие события», вовсе не нами рожденные, – на самом деле находятся в некотором тесном созвучии, в некоторой тайной гармонии с глубочайшей сущностью нашего «я». Цитата лучше всего покажет мысль авто-

ра: «Если бы, – говорит г. Л. Н., – типографский наборщик во второй половине «Войны и мира» перепутал князя Андрея и Пьера и печатал имя одного вместо имени другого, – и даже ради последовательности и правдоподобия сделал соответствующие изменения и в подробностях рассказа Толстого, – то внимательный читатель, *по роду сопровождающих каждого из этих лиц событий* (мой курсив), наверно, догадался бы о типографской ошибке. Потому что из всей массы разнообразнейших событий *каждый из нас подпадает под те из них, которые ему подобают*» (мой курсив)... «Поэтому-то во все времена, при всех переворотах, есть люди богатые и бедные, довольные и недовольные, здоровые и больные. Ибо, как ни кажется однообразной и, так сказать, сплошной какая-нибудь эпоха, как ни кажется она однотонной, – переживаемые разными людьми события *разнообразны соответственно разнородным индивидуальностям*» (мой курсив)... «Чем обильнее материал, чем полнее охваченные нами события, и через это правильное понят *характер человека*, – тем вернее *могут быть предсказаны грядущие события*» (мой курсив)... И далее, в новой главе: «Вопрос о соответствии событий с характером каждого человека заслуживает величайшего внимания. Обыкновенно предполагается, что никакой связи в данном случае нет и что как характер является продуктом наследственных причин, так и события вытекают, с такою же последовательностью, из предшествующих обстоятельств, – нисколько не обуславливаясь взаимно. Вопрос же, почему из всех внешних событий *на данный характер приходятся только некоторые*, обходится молчанием, или, что то же самое, решается в смысле случайности, что ровно ничего не освещает: ибо объяснить что-нибудь – значит найти причину, случайное же есть все то, что не обусловлено причиной или что может иметь и совершенно иную причину» (стр. 15, 16, 17)... Но ведь это – «гороскоп» средних веков? Хотя автор не называет его и явно не имеет именно *его* в виду. Он просто рассуждает, наблюдает, уловляет незаметное для других, но что в свете его рассуждений становится очевидным. Действительно, со Стивой Облонским и случается то, что должно было случиться со Стивой Облонским, а с Левиным – то, что «приличествует» Левину. Наденьте судьбу одного на другого – и выйдет чепуха. Всякий о такой очевидной чепухе закричит: «*Этого не может быть!*» Но почему же «*не может*», если случайность?!!! Значит – не «случайность», а, как говорит народ – «у каждого своя *судьба*, на *роду написанная*». Значит, «гороскоп»? Значит, древние были правы? И были правы, когда «гадали», и правы мы, когда гадаем?!! Значит, есть «мойры», которых боялись греки? Увы, действительно это как-то очевидно... Ну, не бесенок ли такую мысль придумал? Судьба Стивы только и «подходит к одному Стиве»... Какое слово придумал – «подходит». Он его употребил. Действительно, есть «звук» и «созвучия», есть «предмет» и «тень» около него, – и наша «биография» есть только вдале откинута тень нашего рождения, и вполне «созвучна» с нашею душою. «Душа» наша – вот «судьба» наша.

Книга или книжонка исполнена дерзких мыслей о писателях, и старых и современных. «Давид Копперфильд» скучен, как и его плоский, ограниченный и мещански-добродушный автор. Диккенс должен быть назван автором времен возникновения письменности у первобытных народов. Мировоззрение его крайне ограничено, горизонты узки, мир таков на самом деле, каким он представляется глазу ребенка. Никаких сомнений в душе пока не возникало. Деревья – зеленого цвета, злые люди исполнены злости, добрые охвачены добрыми побуждениями, добродетель вознаграждается, как в Ветхом Завете, деньгами, волами, рабами, а у порока отбирается всякое благополучие. За такие слова хочется автора выдрать за уши, но нельзя с ним не согласиться. Суждения его о Гейне, о Людвиге Берне, о Грибоедове, о Пушкине, Гоголе, о многом множестве западных писателей, философов, мыслителей, музыкантов кратки, яркие, приводят часто в смущение, иногда очень раздражают, но везде любопытны. Через всю книгу проходит пристрастие к музыке, и, кажется, это главное пристрастие автора. Даже отвлеченные темы философии и особенно морали он воспринимает как какую-то мелодию для души. Из писателей наиболее клонит его к себе Толстой, и притом не только как художник, даже не столько как художник, сколько как нравственная фигура, всю жизнь борющаяся против своих же недостатков и против ограниченности человеческого вообще. То, что обыкновенно считается в Толстом малодушием, – именно его жизнь в обеспеченной и знатной семье при внутреннем отрицании всего этого, – г. Л. Н. и считает проявлением величайшего героизма на пути осуществления заповедания о «непротивлении злу». Ибо он тридцать лет нес за это всесветные укоры в лицемерии, в непоследовательности и рискнул всем своим и литературным, и моральным авторитетом. Все рассуждение так просто и убедительно, что нельзя не задуматься о «моральной переоценке» Толстого тем, кто слишком прямо и слишком коротко осуждал его. А таких – легионы, тьмы тем.

Остановимся на некоторых из его характеристик.

«Фридрих Ницше! Он был страстный, резкий, шумливый и, конечно, одаренный человек. Не гений, о, нет! Заслуживает быть отмеченным, что он хорошо знал и любил творения Шопенгауэра, которого последователем он, собственно, и был всю жизнь, что он лично знал и был некогда очарован Вагнером и (что гораздо важнее) был им любим, что он был прекрасный музыкант и высокообразованный человек, что он был страдалец и так печально окончил свою жизнь. Ницше был экспансивный и даже экзальтированный человек... Его «Антихрист» заключает в себе много правильно обоснованных суждений. Иной раз можно подумать, что он был знаком с бессмертным «Исследованием четырех Евангелий» Толстого, если не знать, что основные положения этого труда уже встречаются у Канта, которого, конечно, превосходно знал Ницше».

Следует résumé «Антихриста». Автор продолжает:

«И все это понимает Ницше, хотя и выражает очень шумно, гневно, с резкой жестикულიцией и чрезмерной страстностью. Но тут он идет уверенно, имея за собою Шопенгауэра и Канта»... «Наоборот, когда он рассуждает за свой страх, он говорит так, что ему лучше было бы молчать. Так, он очень сожалеет, что умственная культура и научные завоевания греков и римлян были уничтожены христианством, вследствие чего все пришлось начинать снова и спасение мира было отсрочено»...

Или еще:

«В «Сумерках идолов» Ницше утверждает, что Сократ вульгаризировал разум! Это делали как раз софисты, как продолжают делать в настоящее время все публицисты, журналисты, которым, собственно, нечего сказать, но которые делают вид, что им нечего слышать»... «И Христос совсем не был проповедником лакейской или рабской морали, как это почему-то говорит Ницше, черпая уже это откровение из собственной головы. Поистине, надо быть лакеем, чтобы так думать, ибо тут особенно становится ясно, что нет великого человека для лакея. Для того чтобы понять сущность и смысл мировоззрения Христа, нужна была вся мощь и мудрость Толстого, а великоллепному Оскару Уальду привелось для этого провести целые годы в одиночном заключении. О каком учении Ницше, о какой его философии вообще говорят люди, которые иной раз усматривают строжайшую систему в наборе слов, как умеют подчас видеть в стройной системе один набор слов! Ницше не ведал, что творил, и это продолжают делать все его хвалители и ученики» (стр. 174–176).

Может быть, это резко? Может быть, вообще, – «слишком»? Но это хорошо, как холодная вода на головы тех, которые поистине «разгорячены Ницше», как это было решительно со всем нашим обществом в первое десятилетие XX века и уже года за два, за три до его начала... Если в наши дни не цитируется на всяком шагу Ницше, то это не по разочарованию в его личности и в его философии, а по неприличию подобных цитат во время войны с Германией.

Умом, остроумием и талантом Гейне автор книги очарован. В тексте часто мелькает выражение «чудесный Гейне». Но это так – в подробностях, в страницах Гейне. Автор не ограничивается страницами, а берет дело в целом. И два его résumé, на стр. 95 и 279, убийственны для «целого». По его взгляду, источником гейневского остроумия служила его бессовестность. По мере того как он зрел и старел, для него меньше и меньше оставалось чего-нибудь святого на свете, и именно это-то освобождало его перо для универсального остроумия. «Гейне не понимал, – говорит автор книги, – что значат слова: «Сними обувь, здесь священное место». В такое место и во всякое вообще место он входил в калошах». Приведя изречение о нем Гёте – «он ничего не любит», автор замечает от себя:

«Гейне зол и ехиден. От его остроумия делается больно: мы не хотели бы иметь его своим другом. Гейне замечает в человеке самое святое и это-то и высмеивает». Он смеялся и над Гёте, и над Фихте, и «над безупречным Людвигом Берне». «И смех Гейне, при его редкой проницательности и изумительной меткости, очень опасное оружие, которое – увы! – не всегда оказывает услуги правому делу». Он его сравнивает с человеком, как бы упавшим на землю с луны, которому просто смешны здешние порядки и который ни в какой мере не считает себя в них ответственным и к ним причастным.

Так как смех Гейне сыграл в европейской образованности значительную роль, то он еще в другом месте останавливается на нем с большим вниманием и делает анализ его личности и творчества, против которого трудно возразить. Это так интересно и важно, что читатель извинит меня за длинную цитату.

«Гейне в своих произведениях создает мир, конкурирующий с существующим, и тотчас же с легкостью разрушает его, тем самым наводя нас на мысль о непрочности и существующего мира. Его образы прекрасны, его рисунки жизненны, его действующие лица захватывают нас (достаточно вспомнить его «Стихийные духи», даже «Лукские воды») и в то же время мы видим, что весь гейневский мир держится одним волшебством слова и что автор может каждую минуту сбросить этот мир и ничего от него не останется. Но мир Гейне вытеснил мир существующий: почему же и последнему не быть сброшенным и исчезнуть? Если Матильда, Франческа были только фантомом, то почему бы и нашим подругам не оказаться таковыми? Гейне разрушает созданный им же мир своей иронией, насмешкой и тем вселяет в нас недоверие ко всем его начинаниям и созиданиям. Мы даже начинаем думать, что и Тот, Кто создал наш мир, тоже когда-нибудь исчерпает Свое терпение и опрокинет этот мир, «этот светлый, радостный мир»... Конечно, истинно художественные творения вечны, являясь, как это исчерпывающим образом установлено Шопенгауэром, снимком с вещи в себе, т. е. идей в платоновском смысле. Но образы Гейне не идеи, а явления, и поэтому они стоят рядом с миром явлений. Они опрокидываются в бездну так, как исчезают явления; но автор их возникновения и исчезновения, Гейне, делает свои манипуляции на наших недоумевающих глазах и тем наводит нас на плодотворные размышления. Остроумие же Гейне выказывается в безжалостной резкости перемен декораций. Едва неопытный читатель растроган и умилен, как ему приходится смеяться. Уже настроенный хохотать, читатель натывается на серьезные и печальные мысли. В конце концов читатель настораживается и проникается недоверием к неуловимому и непостижимому автору... Но ведь такова и жизнь явлений и не более уловим и постижим ее Творец. И потому: не ищите смысла и разгадки жизни в калейдоскопе преходящих явлений, ибо здесь ее обман и пустота. Вот что мы выносим из гейневских произведений».

Сам Гейне, наверное, не смотрел так трагически и серьезно на свои шутки, потому что и философию Шопенгауэра, Канта и Платона едва ли он принимал так близко к душе своей. Шутливость Гейне более всего объясняется из его расы в смешении с его образованием. Раса мешала ему смотреть серьезно на это образование, а образование мешало ему смотреть серьезно на эту расу; смотреть серьезно и трагически в обе стороны. Он «не упал с луны» на нашу планету, а он внутренне и неодолимо предавал обе культуры, восточную и западную, к которым – и принадлежал, и не принадлежал. И остался – с талантом и еще – ни с чем. Замечу еще о «явлениях», на которые так меланхолически смотрят и Кант, и Шопенгауэр, и Платон. Да откуда же они? Можно ли утробу матери отделять от дитяти ее? Можно ли проклинать феномен («явление»), благоговея перед ноуменом («идея», «вещь в себе»? Нет, где зеленая травка, там и безвидное зернышко, и кто ценит зерно, – полюби и травку. Все – от Бога; и «суета мира» так же священна, как молитвы, как жертвы и как, напр., лучшие симфонии Бетховена. «Калека на дороге» лучше мне и милее, чем «добродетель в самой себе». Да чуть ли не так учил и Христос и на этой почве разошелся с «книжниками» и с постными молитвенниками-фарисеями. Помните ли, как он трапезничал с «мытарями»? А «мытари» морали и быта – это-то и есть «феномены» истории и философии.

Я кончу о книжке, приведя еще поразительное по законченности и полноте суждение г. Л. Н. о Пушкине:

«По установившемуся мнению, «Капитанская дочка» содержит незатейливую историю незатейливого героя: «один из многих» – вот название этого героя. На самом деле, герой повести – один из единственных, исключительная личность, тот же Парсифаль. Сущность Гриневы – необыкновенная простота и чистота души. Это именно «святой простец», который, по великолепному выражению Толстого, не удостоивается быть умным. Гринев – это тот самый сказочный герой, которого нельзя смутить никакими хитрыми заданиями и который, шутя, убивает дракона, смело бросается в пламя и радостно достигает утеса Брингильды. Гроза эпохи, свирепый Пугачев, в общении с ним являл свою призрачность и даже не пытается перед ним разыгрывать свою страшную роль: маска все время спадает с его лица, и Гриневы так же мало смущает эта маска, как и подлинное лицо Пугачева. Но Гринев не проявляет по отношению к нему и аффектированного негодования. Так, однако, поступают капитан и его верная жена, которые с повышенной горячностью отвергли Пугачева из чувства преданности законно сидевшей на троне Екатерине. Гринев взирает почти с одинаковым спокойствием на властелинов и на претендентов. Поэтому его истинная половина, Марья Ивановна, впоследствии, при встрече с государыней, так же просто вступила с нею в беседу и так же мало обнаружила при этом аффектации и пафоса, как сам Гринев в мирных беседах с воинственным Пугачевым. Достоин внимания, что как Екатерина, так и

Пугачев являются в романе только орудиями для завершения интимных целей Гринева и Маши. Если рассказать историю их любви евангельскими словами, то надо сказать, что в этих простых сердцем героях действующей силой выступает дух Сына Человеческого, повинующийся Отцу Небесному и преодолевающий все трудности, все бедствия с той простотой и легкостью, которые свидетельствуют о призрачности всех помех к истинной любви. «Будьте чисты сердцем и кротки душой – остальное приложится вам». То обстоятельство, что герой Пушкина тих и смирен и что вокруг его головы не сияет свет, что его Маша проста и только любит, – служит подтверждением старого изречения: «*simplex sigillum veri*» и евангельской истины: «что высоко перед Богом, то незаметно и незначительно для людей». – Для невнимательного читателя остается незамеченным прямо изумительное мужество Гринева; Гринев нисколько не боится всесильного и страшного Пугачева, как и Зигфрид чудовищного Фафнера, ибо Гринев не знает страха: он храбр, как истинный сын Бога. – Как легко попадает толпа впро�ак, объясняя снисходительность беспощадного Пугачева к бесстрашному Гриневу услугой, оказанной ему последним в первую встречу. Казалось бы, ничтожный подарок зипуна не мог вызвать такую безмерную признательность со стороны бессовестного бродяги. Призрачность причины вообще тут как будто сама напрашивается. Но толпа скорее удовлетворится этой эфемерной подтасовкой, чем уразумет, что перед ней во всем сиянии дух Божий, который дышит, где хочет, и всемогущество которого не вмещается в категорию причинности».

Следует сопоставление с Гофманом, который, противопоставляя действительному миру мир фантастический, – показывает призрачность и случайность реального, которое, пожалуй, в этом фантастическом находит свою разгадку и объяснение, – и продолжает:

«Пушкин достигает этих же результатов более простым, но и более трудным путем. Он не строит после данного нам мира другой, фантастический, более капризный, подчас вычурный мир, а выдвигает из-за известного нам мира более простой мир, почти лишенный красок, блеска, пышности, но яркий особенным сиянием и волнующий нас внутренней значительностью. Тогда фантастическим и призрачным становится именно известный нам мир, ибо за ним проступает несравненно простейший и в то же время более мощный. – Гринев и его Маша в условиях обычного мира кажутся весьма бледными фигурами, они именно «последние». Но Пушкин обнаруживает перед нами именно бледность Пугачева и даже Екатерины, выступающих в романе в ролях статистов и совершенно бесцветных в сравнении с яркостью главных героев. Тут первые становятся последними, а последние первыми. Но мастерство, с каким обрисованы перед читателем в таком истинном свете герои романа, указывает на такую титаническую мощь Пушкина, которая едва ли так интимно знакома его так называемым почитателям» (стр. 177–179).

Как полно, закончено, закруглено; ни о чем не забыто и обо всем нужном сказано в одной-двух строках. Сколько писано о Пушкине, – его ведь «уясняют» каждому гимназисту, – и кем сказано такое краткое уяснение «всего». Это прочтет с новизною для себя, во всяком случае с чувством прелести, и Лернер, и Гершензон, и бесчисленные издатели Пушкина, – и все сознаются в себе, что они говорили длиннее и слабее.

Но нет медали без оборотной стороны. Книга вся и глубоко индивидуалистична, но поэтому именно она не исторична. В ней не только нет всяких, но и нет понимания истории, сословий, положений, «нашей царской власти», «ихних» прекрасных королевств, нет чувства и понимания народной массы, совершенно нет понимания и оценки церкви... Поэтому он так прилепился к Толстому – это с одной стороны; поэтому же, с другой стороны, у него такое небрежное отношение к арабскому эпосу (сказки «Тысячи и одной ночи»). Мысленно, при чтении книги, я все называл автора «чертенком». Он дует в какую-то длинную и черную трубу, в конце концов, разрушительную. У него нет сбережения истории и коленопреклонения перед историей. Как автор не замечает, что это в конце концов приводит к нигилизму. «Песенка твоя хороша, но *сам* ты – цыган».

М. Б<еренсон>. АНТОНИЙ, МИТРОПОЛИТ С.-ПЕТЕРБУРГСКИЙ И ЛАДОЖСКИЙ

Издание общества распространения религиозно-нравственного просвещения в духе православной церкви.
Стр. 290 + 186 (письма).

Пастырь тихий и в бесцветности своей отразивший бесчисленные цвета своей родины, – ее скромность, ее неяркость, ее терпение и труд, и «о всем возблагодарим Бога» – перед могилой. Таков митрополит Антоний, личность впереди всего глубоко благородная и чистая, сохранившая себя от соблазнов и грехов своего положения и сана, но не оберегавшаяся от шипов и язв и муки этого положения. Взглянув на книгу о нем, с такою любовью написанную, я вспоминаю, как в 1905 или 1906 г. читал мне «Письмо к митрополиту Антонию» один знаменитый в то время священник, уже решивший перейти «в штатское сословие», и, прочитав полные красноречия, полные гражданско-негодования страницы, но одновременно страшно грубые и неделикатные в отношении *лично к митрополиту*, – спросил: «Каково?» – и, не дожидаясь ответа, прибавил: «Митрополит выслушал все это молча. Я смотрел в его холодные серые глаза, но они были тусклы и ничего не выражали»... Почему-то слова эти, кажется ничего не выражающие, ничего не передающие, изваянно стоят в моей памяти. Я их не могу забыть. Недалекий ех-поп не отметил в молчании *главного*: ведь митрополит мог *не принять* его, уже

почти расстриженного; мог попросить положить «бумагу» на стол и по уху-де гостя бросить ее в корзину, зная и предвидя, что там написано; мог прерывать чтение; мог ответно сказать дерзкому подчиненному грозное, гневное слово. Да, я забыл сказать прибавку. Но он дал вылиться всему священнику, всем яростям его (письмо было яростно и высокомерно презрительно), не сказал никакого суда, возражения, а только, когда тот стал прощаться, тихо вымолвил: «Бог видит мою душу и вашу душу и скажет Свой суд об обоих на том свете». И вот этих слов тоже нельзя забыть. И ех-священник вспомнит о них в свой смертный час. В своих глазах и в глазах земных он был победителем. Но ведь он и не был уже священником, в тот час – по форме и по существу – никогда. На самом деле и разбит и уничтожен был именно он сам, но разбит по-священнически, особым духом и особым способом, какой дан священнику Небесным Пастырем и Основателем чина священнического и архиерейского.

Книга *воспоминаний* о митрополите Антонии написана с чувствами, выраженными в предисловии: «Зная святителя двадцать четыре года, мне хотелось благодарно почтить память моего духовного отца и руководителя и собрать любящей рукой все устные предания о нем близких родных, учеников и друзей, а также поделиться выдержками из его глубоко назидательных писем. Книга эта, написанная с чувством глубокого благоговения к памяти почившего архипастыря, имеет целью начертать ясный образ его в назидание и утешение всем, знавшим его светлую личность».

Вся книга написана в этом тоне и с этими намерениями, о каких говорит предисловие. Это и не научный труд, и не история, а некий «вздых» на могилу того, кто был дорог и поучителен. Впрочем, история именно церкви и церковных событий и церковных лиц умещается и сокращается в большинстве случаев до этих рамок, и даже до этой сущности, не без значительной основательности. Что делать!.. Церковь вообще есть область, где человек бессилен, а «Бог помогает»... Тут много рассуждать не приходится. Вдохнешь, помолишься. Помолится с тобой или о твоём деле священник... Ну, а остальное «приложится» и либо «выйдет», либо «не выйдет»... Что делать, что делать, – горьки мы и горько нам. Тут позитивизм не помогает, да и «зрелые рассуждения» не очень помогают, а «ограничиться сухими фактами» невозможно. «История» неуловимо и неодолимо переходит в благодатное повествование, биография в «пролог», и около «факта» нарастает «легенда». Это не ложь и не обман, избави Боже так думать, но вечное человеческое – «что делать», туман бессилия. «Сквозь слезы и не видишь и не слышишь», а «послушаешь – и легче станет».

Важнейшую часть изданной книги составляют письма митрополита Антония к родителям, родным и друзьям.

«Пой песню, да не прерывай!...» Увы, – русские песни поются почти всегда с обрывом на середине, а то даже и в начале...

Не худо это в песне, а худо в деле; худо, наконец, в войне. Маленькое впечатление на глаз: когда, бывало, идешь в редакцию, то огромная зала-«приемная» до того была завалена ящиками с подарками, что приходилось «пробираться» между ними, точно по берегу Невы в том его месте, где выгружаются корабли. И «не пройдешь» и «зашибеешь ногу»... И около них военные шинели «принимали» и заботливые барышни «сдавали». Тут же такое выразительное блюдо с «открытками» из армии, благодарящими за присланное и вообще с «ура»...

Теперь...

Теперь даже страшно: один-два ящика. Точно лес в ноябре – голый, черный. Глухо и никого, ничего нет. «Где же ты, Русь?» Забыла своего солдата и господина офицера, – и папиросками, и чаем, и почтовой бумагой для писем, и сахаром.

– Сами сидим без сахара, – угрюмо бурчит обыватель.

Ах, добрый мой, «сам»-то ты сиди, а солдату все-таки пошли. «Сами» мы все-таки в тепле, в семье, напьемся чаю если не у себя дома, то в гостях. А ему только около «чая» и душу отвести...

Я возвращаюсь к недопетым песням Руси. Скверные это песни, если из-за «недопевания» терпит другой. Обопремся на могучую поговорку народную: «Взялся за гуж – не говори, что не дюж». Взялись мы за могучую войну, и теперь нечего «жалиться», что плечо трет. Плечо трет, – переложим веревочку на другое плечо. Другое не вынесет – зубами возьмем. Русь не допевает песни, зато не отговаривается, не ноет и не отлынивает в «страшную пору», когда «рожь не сжата», «сено не скошено»...

Много, конечно, бродит в тьме малодушных шепотов, и жалоб, и сплетен, и клеветы, но русский народ должен преодолеть это здравым умом, народным умом. Ум народный, как и государственный ум, в великие минуты измеряет вещи и явления не вершками, а верстами... И в способности простого народа к такому «верстовому суждению» и лежит причина, почему так неодолимо росла Русь. Она умела смотреть поверх мелочей и видеть за ними синюю даль. Оттого она не погрязла в мелочах, в домашних сварах, в обвинениях, завистях и злобах, которыми отравились и от которых погибли другие славянские племена, и западные, и южные.

Вспомним солдатский шаг: твердый, массивный. Вот где нет шатанья, нет зыби. Мы, народ за спиной солдата, должны стоять вторым солдатом. Ибо он «вынесет», когда мы «вынесем», а если мы «не вынесем», то и он не может «вынести». А если он «сдаст», то немец всю Русь задавит, оплетет хитрыми оплетениями и обманет лукавыми обманами. Да и прямо, не церемонясь, наступит на горло.

Поднимись, Русь, и стой величаво, как стояла перед всеми бедами тысячу лет. Гогенцоллерн и вся Пруссия – «выскачка» перед тобою, выскачка перед твоими седыми волосами и длинным рядом веков опыта. Это – «новичок», захотевший прыгнуть дальше своей тени. Пруссия и вся теперешняя война именно отвратительная авантюра, рассчитанная на ловкие «приготовления», на технику, на капитал, на слепую покорность немецкого «филистера», а не есть событие и явление, вытекшее из созревания нации, из ее роста и таинственной подземной «судьбы»... Вся эта война – глубоко лична и глубоко временна, в отношении именно Германии – она «случайна» и в точности навязана ей говорливым Вильгельмом...

И неужели мы не одолеем эту историческую пустошь, за которую не чувствуется ни гения, ни судьбы? «Посторонись, история, потому что немецким купцам понадобились новые территории». Тут – ни Бога, ни души, ни совести, а только коммерческая Grossbuch лавочника. И такая-то пошлость и обман лезет на Русь и Англию и Францию с их историческими воспоминаниями, перед которыми «берлинские воспоминания» представляются сплетнею уездной мешанки.

Этот «прилежный немец» рассчитывает на нашу усталость, – и сказать ли еще: на нашу распущенность. «Русский не допевает песни и не довоюет войны, если она затянется на очень долго». «Ему надоест»... Вот счет и комбинация этой отвратительной мешанки. Он считает на нашу психику и худые стороны этой психики. Ведь вовсе не чувствуется на самом деле, чтобы мы устали, – и вообще ничего активно-подавляющего нет. Теперешняя распущенность – наша лень. «Однообразно», «скучно» – вот отвратительный туман, стелющийся по улицам. «Все – война, а в войне – небольшие стычки, напор одних и напор других, без ясного результата». Мы не даем себе отчета, что этот «напор» – то же, что натянутый канат между миллионными армиями, в конце концов, – между Россией и Германией, и в которую сторону его прорвет, туда или сюда, – от этого зависит неизмеримое и неисчислимое...

Эх, и скверное время, темное время, ноябрьское время... Запой, Русь, песню: «Не белы снежки» и допой до конца могучею грудью. Нечего позевывать, чесаться и приготавливаться ко сну. Наши родные – под пулями. И если мы честны – никому не до сна.

Проснись, совесть. Встань, русский человек!

«НЕСИ, РУСЬ, ВСЯК ЧТО МОЖЕТ...»

В доброй Руси сердце отзывчиво. Заметка моя «Не дремли, Русь» вызвала много отзывов, и затем в тот же день в контору «Нового Времени» поступило почти на полутысячу рублей пожертвований – *большую часть семьям убитых воинов*. В связи это или не в связи с моей заметкою – все равно хорошее дело сделано. Но, господа, – надо расшевеливаться. Прежде всего

меня просят со стороны указать, что очень желательно увеличение пожертвований *именно вещами, предметами – в действующую армию*, каковые пересылались через редакцию «Нового Времени», Эртелев пер., д. 6, – 2-й этаж. Если бы читатель видал, как видел я почти ежедневно, ту радостную суматоху около ящиков, смесь солдат и укупорщиков («точно на войне»!), – как это дело все делалось осязательно, «из рук в руки», – уверен, пожертвования бы полились.

Тут нужно видеть. Не видя, нельзя ничего знать.

Но и вот еще.

Я получил от одного книгопродавца с Литейного проспекта письмо, с приглашением написать еще статью под заглавием «Неси, Русь, все, что можешь» и с предложением подарить от себя две высокоценные литографии 1826 года *А. Орловского* (об А. Орловском писал наш знаменитый Верещагин, – ныне редактор «Библиофила») и экземпляр книги «Русский балет в карикатурах» бр. Легат (стоимость 15 руб.). «Чем богат, тем и рад». Письмо книгопродавца (не везде с буквой «ѣ») – весьма добродетельное и патриотическое. Доброкачественное письмо. И мне хочется не только исполнить его, но и поддержать его мысль. А мысль эта ценная. Он пишет, назвав предметы, которые жертвует:

«Итак, думаю, соберется от всех много кой-чего. Устроить бы аукцион в праздничные дни в зале городской думы. Теперь же повесить там полотняную вывеску и указать на ней цель, с контролем от публики. Я не пожалею, если моя жертва будет продана вместо 25 руб. за 10 руб. Купим на вырученные деньги необходимые в армию вещи и отошлем. В случае согласия благоволите сообщить по телефону 113–22. Я перешлю пожертвованное, которое указал. Н. В. Базыкин, Литейный, д. 51».

Газеты могут весьма помочь нашим воинам, поддерживая это дело. Оно просто, ясно и разумно.

В ЛИТЕРАТУРНЫХ ПЕРСПЕКТИВАХ

Я получил из Москвы письмо, описывающее маленький литературный инцидент. Но он так выразителен и в самом письме так хорошо передан и объяснен, что лучше всего, если читатель воспримет его во всей свежести:

«Почему все так печально? Слушайте. От доктора, который меня лечит, я выслушала рассказ об одном скандале. Недавно вышла новая пьеса Л. Андреева, пьеса слабая и туманная. И читалась она в заседании какого-то литературного здесь кружка.

Самодовольный интеллигентный хам Сергей Яблоновский разнес ее в пух и прах. Тогда встал К. Бальмонт и сказал: «Это правда, что у нас нет Пушкиных, но у нас нет и Белинских. У нас – рецензенты, которые пишут критические статьи в промежутки от первого чтения произведения до ночного набора в типографии газеты. Во всяком слу-

чае, недопустимо, чтобы какой-нибудь хам *выстраданное* произведение топтал ногами и плевал». Публика, которой это было сказано не в бровь, а в глаз, зашипела, завизжала: «Вон! Довольно!» Бальмонт заплакал и ушел, и великолепнейшая свинья Сергей Яблоновский восторжествовал. У меня у самой сейчас слезы. Разве все это не возмутительно?

Сколько самодовольного беспросветного хамства на Руси. И эти хамы это – интеллигенция. И они передовые, и они вершители судеб; они, которые за неспособностью выгнаны из четвертого, из пятого класса гимназии, они побежали в хамскую печать и завизжали и запищали, «непризнанные гении»: «Нас не понимают!» Ох, хорошо делают педагоги, что исключают, чуют их сердца правду. Недоноски шипящие и вредные, вон их сперва из России.

И никакая конституция, ни демократия не помогут России, пока будет это хамство».

Я думаю, это *так*. Не помогут нам учреждения и преобразования, если мы не преобразимся душою.

П. Б. СТРУВЕ О «ЗАПИСКАХ» С. М. СОЛОВЬЕВА И О ВРЕМЕНИ АЛЕКСАНДРА III

Интересную, полную достоинства статью написал П. Б. Струве о С. М. Соловьеве по поводу недавно появившегося отдельного издания «Записок» нашего полнотомного историка. Один недостаток: он большею частью называет его «Сергей Соловьев», хотя, очевидно, вся Россия должна знать и помнить отчество человека, который дал ей самое подробное изложение родной истории и во многих отделах блистательное ее объяснение. «Записки» С. М. Соловьева, напечатанные его сыном Всеволодом (вопреки воле братьев и сестры) в журнале, к полному изумлению, 20 лет не печатались отдельным изданием, ибо это книга не только интереснейшая для чтения, но и высоконаставительная. Хотелось бы видеть ее в руках всякого студента, всякой курсистки. Лично я всегда сближал их с «Запискою о древней и новой России» Н. М. Карамзина. И характерно, и достойно для России, что и при начале и при конце XIX века русские историки, на которых лежал глаз современников, – сказали зашатавшемуся обществу свое поучительное слово.

Струве написал о нем очень хорошо.

«Соловьев, – говорит он, – одно из самых замечательных явлений русской культуры XIX века – так мне всегда казалось. Явление замечательное прежде всего тем, что Соловьев непосредственно и в высшей степени выразительно опроверг ходячее мнение о славянской непроизводительности и якобы присущем русским отсутствию выдержки и трудолюбия. Я не знаю в истории научной литературы примера боль-

шей выдержки, большей систематической производительности, чем та, которую явил русский поповский сын Соловьев, с 1851 по 1879 г. каждый год выпускавший по тому «Истории России» и самостоятельно обработавший огромную область, которой до него научная работа коснулась лишь слабо. «История России» С. М. Соловьева есть памятник исключительного значения в истории русской науки».

Пусть читатель сам просмотрит характеристику Соловьева, сделанную точно, правильно, – и по которой видно, как Струве всматривался и следил за мелочами даже в характере и биографии нашего историка. Но это – дробь, в которой усматривается более значительное целое: в статье, как и во многих статьях последних трех лет, видно *бережливое отношение* к «сумме русской действительности», которую мы называем в прошлом «русскою историею» и называем сейчас Россиею, «какую нам дал Бог» (слова Пушкина). Так, он упрекает Соловьева за недооценку славянофильства и самой личности славянофилов и смягченно говорит об отрицательном отношении историка к «эпохе великих реформ». Вот что сказал об этой эпохе Соловьев:

«Преобразования производятся успешно Петрами Великими; но беда, если за них принимаются Людовики XVI и Александры II. Преобразователь, вроде Петра Великого, при самом крутом спуске держит лошадей в сильной руке, – и экипаж безопасен; но преобразователи второго рода пустят лошадей во всю прыть с горы, а силы сдерживать их не имеют, и потому экипажу предстоит гибель».

Струве относил эти слова, по написанию, к 1878–1879 годам и прибавляет от себя:

«Слова эти проливают свет на эпоху Александра III, реакция которого родилась из настроений, *недоумения и испуга*, охвативших *широкие круги русского общества* под впечатлением революционного движения 70-х годов. Этих настроений не был отнюдь чужд и Соловьев-отец. И в этом так же ярко сказалась консервативная стихия его природы, как в беспощадно суровом осуждении царствования и личности Николая I сказалась ее либеральная стихия.

Здесь-то, – замечает Струве, – в этой оценке либерала и западноевропейца, каковым, в общем, несомненно, был С. М. Соловьев, будущий историк *найдет ключ* к психологическому объяснению общественной *подпочвы* политической реакции эпохи Александра III».

Конечно... «Общество» (и отнюдь не аристократическое и не чиновное) шло даже гораздо *правее* правительственной «реакции» восьмидесятых годов. Передаю, как личное впечатление. Соловьев у нас, в Московском университете, читал лекции – уже белым старцем. Мы, студенты, несколько не сомневались, что он далеко «не правительственный», – да и рассказывались в университете, в аудиториях, мелочи из московской хроники, из эпизодов при приезде «особ» в Москву, из коих мы заключали, что

«Соловьев не любим», что он «обижен». При похоронах его это было демонстративно подчеркнуто в речах профессоров над его гробом. Так что и профессора «левили»... Но мы, студенты, по крайней мере филологи, *упорно стояли правее профессоров*, по крайней мере в половине студенчества. Затем – начало учительской службы, провинциальное общество: и я помню живо чувство *удовлетворения и успокоения*, и именно успокоения – не политического, а скорее *морального и бытового*, когда правительство показало, что, во всяком случае, не исключенным «студентам», два с половиной года походившим «в народ» и народа отнюдь не знающим, преобразовывать Россию и ломать тысячелетнюю историю.

Мы, совсем молоденькие учителя по провинции, были *очень рады* этому. Не все, но – в половине, по крайней мере... И поднимали голову упорно и смело.

Да и не мы одни. Чувствовалось «около плеча», что все общество негодует, – говоря теперешним языком и теперешними понятиями, – «на засилье студентов». – «*Не им принадлежит история, а – всем*», и даже «не живущему поколению она принадлежит, а – *всем поколениям*».

Вот формула устойчивости.

Н. МАНАСЕИНА. ЦАРЕВНЫ. ИСТОРИЧЕСКАЯ ПОВЕСТЬ

Петроград, 1915.

Теперь, когда во множестве русские интеллигентные девушки и дамы читают по лазаретам раненым солдатам и порою затрудняются в выборе книг для чтения, хотелось бы им всем рекомендовать историческую повесть «Царевны», написанную тепло и задушевно и с большим знанием русской истории и допетровского русского быта Натальей Ивановной Манасеиной, издательницей детского журнала «Тропинка». Повесть из времени царя Алексея Михайловича, которое тихо и благочестиво заканчивало Московскую Русь и было так грубо, жестоко размётано «погромом» Петра, «камня на камне» не оставившего из старой деревянной храмины, где грелись и прели, ну и немножко ленились его отец и дед, наши русские деды и отцы. Ах, эта встреча энергии и тишины, бури и покоя, в сущности, монастыря и города, мудрости и публицистики. Обое нужны истории и человеку, без обоих – не прожить ему, и тянется несчастный и ни в чем недоконченный человек из монастыря к городу, из города в монастырь. «Где – *отрицаю*, там-то – и *утверждаю*», может сказать сие бедственное существо, раскинув руки в обе стороны и в отчаянии легши пластом на землю и всю ее, дорогую, обнимая.

Вернемся к повести.

Она написана со всею заботою, со всем вниманием. К счастью, к нашему времени история, этнография, археология, палеография, графические

искусства, живопись дали богатейший материал для воссоздания этой эпохи: и оставалось только хотя бы умеренному художественному воображению и вкусу связать все уже известные подробности в одно целое фабулою романтической и вместе исторической.

Особенно богато, – до роскоши богато, – передано в книге все для глаза в быту времени Алексея Михайловича и его приснопамятных бояр, из них же первым был «друг сердечный» царя, Артамон Сергеевич Матвеев. Вот *изразец* печки старой: на нем надпись славяно-русская: «Дух мой будет сладок». Под надписью в цветном горшочке куст земляники с двумя цветками и ягодою. «Сладкий дух», о коем говорит надпись, – дух, запах земляники. Действительно, лучше запаха нет на свете. Вот рассказ, как немецкие «фокусники», разложив на столе монеты (должно быть, с примесью железа?), скрещивали над ними ножи, и тогда монеты «сами подскакивали в воздух и облепляли эти ножи». Они были вызваны ко двору царя Алексея Михайловича. Но сие «автомобильное» скакание монет кверху до того перепугало смотревших царевен и царевичей и самого царя, что, при несомненной уверенности, что все это бес делает, фокусники были спешно высланы из Москвы, как ведающиеся с «темной силой». Я тоже думаю – «темная сила». Что такое «магнетизм»? Выдумали люди новое слово. Приложили слово это к «темному», совсем «загадочному», в полной мере «чудесному» явлению и вообразили, что в слове явление объяснилось. А оно нисколько не объяснилось и остается под новою филологиею таким же немым сфинксом.

Что же такое эта царская Русь? Это – крестьянская Русь, сказавшаяся в апогее своем, в завершении. Царь завершал крестьянина, оставаясь по духу, разуму и просвещению, по вере и домашним навыкам, также крестьянином. И Русь до Петра Великого была одним сплошным крестьянством, самодовлеющим и завершенным, единым и слитным, без всяких разделений и противоборствований. Боярин, окольничий, стрелец, поп – все это по существу и в глубине крестьяне и крестьяне, стоящие на разных лестницах, на разных крылечках, за разными службами, но везде с *одною душою*, с одними понятиями, с одним крестом на себе, с одним вздохом и словом при умирании. Никакой разницы, никакого разделения. И «царство» только украшало «крестьянство», а не давило его. Если бывала все-таки «теснота», обиды, грех, бедствия, то ведь страдают крестьяне и друг от друга, страдает деревня от деревни, страдает тихое село от «лихого» села, страдали и цари, и царство, как крестьянин и крестьянство: и такие явления, как «бунт Стеньки Разина», не указывают в старой Руси специфического давления «шапки Мономаха» на мужицкую соху и борону. Такого давления не было. Русь была единая и нераздельная.

Вот отчего кто любит деревенскую и крестьянскую Русь – органически не может не тянуться, не приветствовать царскую Русь. Это одно и то же. Одна в простоте и рубахе, другая в величии и золотом кафтане. А тело и душа в обеих те же. Единое просвещение, единая вера.

И теперь, именно теперь своевременно ознакомить русский люд с древним величавым изводом его быта и истории. И нельзя не поблагодарить г-жу Манасеину за то, что она исполнила эту работу. Замечательно, что мелочи и подробности Москвы XVII века, как они даны *глазу* в книге, – совершенно совпадают с народным деревянным, с народным льняным и шелковым творчеством, – с прибавкой *великолепия*, – как мы видим в селах, на ярмарках, на выставках кустарных изделий, в великолепном издании министерства земледелия и землеустройства «Русское народное искусство», собранном и отпечатанном по зоркому распоряжению А. В. Кривошеина. Одна душа. И один великий стиль быта.

ТУРКЕСТАНСКИЕ ПРОИЗРАСТАНИЯ

Вы думаете в Ташкенте, Самарканде и проч. живут сарты, зреет хлопок и полиция присматривает как за сартами, так и за хлопком? Как бы не так. Раз туда попали русские, они сейчас же «расположились», начали по обыкновению «чай пить», – и уже за чаем (а по воскресеньям – тоже «за пирогом») начало происходить все то, что обыкновенно происходит с русскими: т. е. они начали мерять небо и землю, – искать, *где* лучше, на небе или на земле, откуда повелось добро и зло и что такое вообще мир? Словом, началась «русская философия» и «русская литература», – которую я извожу вовсе не оттуда, откуда изводят все историки, а от чая и пирога и решительно милого русского характера. Так, я помню, лет 10–12 назад был удивлен присланными мне творениями московского философа Федорова, изданными *впервые в городе Верном* г.г. Кожевниковым и Петерсоном, с обозначением на обложке (т. е. было напечатано на обложке): «*Не для продажи*». Теперь Федоров уже значительно распространен, имя его – утверждено, в «Богословском Вестнике» уже была напечатана целая диссертация об его философии, но все сие получило начало бытия своего из города Верного!!! Еще из Самарканда и тоже из Ташкента я получал очень пространные и очень содержательные письма, решительно свидетельствовавшие, что русские люди там «не дремлют». «Давай Бог!» – думалось всегда с отрадою. О русских людях больше наговорено худого, в смысле «лени», беспорядка и злокозненности; а на самом деле русский человек очень даже деятельный, трудолюбивый и, напротив, страстно ищет во всем красоты, гармонии, правды и «божественного». Не трогайте русского человека: он истинный и благочестивый гражданин своего отечества, и «умозритель» не хуже никакого немца.

Вот разрываю бандероль и передо мною – отпечатанная в Ташкенте, в типографии Г. К. Яковлева, книга «Антихрист. В 4-х частях» А. М. Гаврилова. Страниц – 217 мелкой бисерной печати, похожей на зернышки хлопка или на манную крупу. Текст – огромен. Может быть – скучно? Приведу последние строки:

«Входит центурион, радостный, в волнении.

Центурион. Сенат тебе дарует, цезарь, жизнь...

Эпафродит. Ты опоздал, он умер миг назад...

Центурион (снимает свой плащ и, прикрыв труп Нерона, со слезами склоняется перед ним).

А я спешил к нему скорее с вестью,

Надеясь, что гроза минует эта

И снова цезарем он будет нашим...

Входит радостная и сияющая Актэя.

Актэя.

Я так к нему спешила с вестью доброй.

Что жизнь ему сенат решил оставить...

Но где же он?.. Скажите, где же он?..

Центурион (приподнимает плащ).

Он здесь, но мертвый, и в вестях он наших,

Как видишь, больше не нуждается...

Актэя.

Я опоздала... умер он... Нерон!..

Я так лелеяла мечту, – с тобою.

Как прежде жили в счастье, пожить.

Уехав вглубь Эллады, прочь из Рима...

Но счастье он себе нашел другое...

(Рыдая, падает на труп)».

Это, говоря просто и только сравнительно, несколько не хуже, чем пишут в Петрограде. Но доселе – Рим, где же, однако, Русь? А Русь в этой поэме-трагедии от начала до конца. Прежде всего на обложке, под заглавием: «Антихрист. В 4-х частях», выставлен эпиграф: «Рече безумец в сердце своем: несть Бога» (псалом Давида 13, стих 1-й). Это хорошо и по-православному, хорошо и до пирога и после пирога. Отвернув заглавный лист *первой части*, читаем перечень «действующих лиц»: 1) сатана; 2) Ангел, один из князей ада; 3) князя ада; 4) духи ада; 5) Адам, Ева, – первые люди; 6) Каин. Абель. Ноемия. Лия (дети Адама и Евы); 7) Ной; 8) его жена; 9) Сим, Хам, Иафет, – их сыновья (вероятно, были еще и незаконные дети?); 10) жены сыновей; 11) верховный жрец; 12) астролог; 13) врач; 14) прохожий; 15) его жена; 16) великан; 17) последний человек (???); 18) Иуда-апостол (предатель); 19) Каиафа – иудейский первосвященник; 20) члены синедриона иудейского; 21) слуги; 22) народ. Тут все, кроме «Столпотворения вавилонского», хотя, может быть, и оно скрыто где-то между строк. Но видно, что автор размышляет широко и «сценой действия» не стеснен. А вот и обстановка этого «1-го действия»:

«Ад; стены и потолок кроваво-красного цвета теряются в пространстве, накладывая, однако, свой кроваво-красный оттенок на все: на действующих лиц и на трон сатаны.

Сатана стоит перед троном, вокруг него князья и дальше остальные бесплотные духи. Выражение лиц гордо-надменное, презрительное, с заметным отпечатком глубокого отчаяния и тяжелой нравственной муки».

Все как в Петрограде. Не хуже. Стихи же, по крайней мере по одушевлению, да и по форме, – лучше многих петроградских. «Первая часть» содержит «40 действий», т. е. монологов или крошечных диалогов. Вторая же часть, содержащая «эпоху христианства и время Нерона», содержит 84 действия!! После чего следует горестная прибавка, под чертою внизу:

«За недостатком средств первая часть сокращена».

Как вам все это нравится? Кто хочет – пусть улыбается, а у меня улыбаются только губы, а на душе серьезно и хорошо. Во-первых, мы, русские, остаемся русскими, сколько нас немцы ни пытались переделывать. «Цукали» на нас и прочее; учили нас «по Кюннеру», и это было еще печальнее и мучительнее «цуканья» у правоведов (читали?). Во-вторых, оставаясь «собою», мы вывернемся из-под немцев, ибо нимало не косны, а весьма трудолюбивы, нравственны и ответственны, если только у нас не заведутся лишние деньги. Ну а «лишние», известное дело, – порождают «лишнее», и тут уж не человек, а закон. Но мы – копаемся в глубине, берем все – от древности и доводим – до последних слов. В этом мы ничуть не уступаем немцам, насколько им не подражая. А писать, – стихами и прозой, – решительно пишем лучше их. Но главное для меня – добродетель и божественное. Что сделали немцы в африканском Камеруне? Сдирали кожу с туземцев, секли, насильничали. Русские сейчас же и там устроили «свое милое отечество», завели чай и все праздничное, к Пасхе – куличи и яйца не хуже московских, и в свободную минуту (это «лишнее» – никогда не «лишнее») повели беседы «от сотворения мира» и «о сотворении мира», почему одно – «худо», а другое – «добро», принялись за чтение, изучение и, наконец, – напечатание творений Федорова и, наконец, сами начали и в стихах и в прозе «петь хвалу Богу» и «отделять добро от зла». Ну, как таких человеков не похвалить и с такими человеками не понадеяться на будущее...

Кто захочет получить поэму от автора (едва ли в Петроград она прислана в большом числе, ведь у автора – «средств нет»), сообщаю его адрес: город Ташкент, Куропаткинская улица, дом № 3. А. М. Гаврилову. Стоит поэма его 1 руб. 50 коп.

Обращу внимание: личность Нерона очерчена у автора совершенно иначе, чем было до сих пор принято. Это чрезвычайно оригинально. Он представлен – народным, антиаристократическим, антисенатским, к гонению христиан его склоняет ложью супруга Пoppея, – сам он до наговоров был к ним расположен. В самом деле, это факт исторический, что Нерон простым народом был любим, был горько оплакан и запомнился с доброй памятью. Он был ненавидим только сенатом и попал под перо историка-патриция Тацита. Но пусть в этом разбираются читатель и критики.

Рассказы участника войны. Москва, 1916. Издательство «Наша жизнь».

Морозы в Петрограде такие, что дух захватывает. В эти морозы лучше всего не выходить из дома, а сидеть дома и читать, например, Смольянинова – «Серые шинели. Рассказы участника на войне». Если читатель спросит: «Почему же Смольянинова?» – то я отвечу: «Почему же не Смольянинова?» На холоде ссориться не приходится, потому что ссора по существу своему вещь холодная. Да еще люто холодная. И как я первый начал, то читателю просто надо согласиться со мною, купить за 20 к. довольно большую для такой цены книжку и прочесть ее у теплой печки и попивая горячий чаек.

Реалист и ошутитель по существу, ему Смольянинов расскажет все, что делается там в лютых, страшных окопах, которые, впрочем, страшны всем, за исключением тех, кто в них проводит дни и ночи, лето и зиму, оттепели и морозы. Безыскусственно, без «литературы», он рассказывает то, что *видел*, и в рассказах его больше чувствуется штык, чем перо, и пахнет от книжки его не типографской краской, а литовским холодком, суровым сукном и всем, чем пахнет около обоза и человеческой массы. Ряд – сцен. Вне связи почти. Отдельные фигуры. Боевые «части». Этот «час», эти «сутки». Добрую и нужную сторону книжки составляет знание автором военной техники и труднейшей ее части – артиллерийской. Сердце то боится, сжимается («С немецким обозом»), то высказывает с радостью («Из опасности»). Большинство случаев – «благополучно». Отчего? Неправда? Если бы «неблагополучно» – автор лежал бы в мерзлой земле, а не рассказывал нам эти страшные были. Такова – «Борьба за воздух»: «Туман поднялся, и беловатое облако его далеко расползается вниз. А внизу – почти такое же облако, только мутнее, грязнее по виду, тоже расползается в ширину и идет прямо на наши окопы. – «Газы! ...Вишь, идут...» Все впились в это облако. «Вылезай из окопов и не ложись... Газ низом идет». Искусство, техника и предусмотрительность одолели газы, но вот результат их действия: «Все-таки удачно вышло. – Еще бы: посмотрите-ка вперед, что там делается? – А впереди – все вымерло. Деревья стоят с омертвевшей листвой, ставшей кровавого цвета, хвоя на соснах пожелтела, а трава высохла и почернела, как огонь».

Страшно. Страшная война. Есть что-то в ней апокалипсическое, «не от мира сего»...

Хорошо нам отсюда смотреть на нее... А там?.. Но будем мужествовать, твердо надеяться и молиться «за наши серые шинели», солдатушек-ребятушек.

К ПОМОЩИ СЛЕПЫМ!!!...

Я. Сильд-Сильдинский. В душевном мраке. Рассказ. Издание литературного кружка слепых. Петроград, 1916.

...Все пишут и, наконец, стали писать *слепые* – от нужды, от воображения, от таланта... Если кому быть талантливым – то, конечно, *слепому*: никогда не рассеиваются, вечно одиноки, вечно «один с собою», вечно – ни «с кем». Какое дикое, какое фантастическое существование – «поневоле станешь писателем», как стал поэтом «слепой Гомер», и столько вообще на свете «слепых *певцов*»... Такие до сих пор попадают с бандурами, сидящие при дорогах и поющие прохожим, – в Малороссии. Какое, в самом деле, *непредставимое* для нас, зрячих, существование, грустное, полное мирового недоумения: «Света Божия не видал», – того света, который почему-то все называют «милым». Не видал «милого»? – Поразительно и страшно.

Теперь, когда «помощь» рвут во все стороны, беженцам, раненым, семьям убитых воинов, – слепые брошены или почти брошены «на Бога». Их забыли или полузабыли обычные их помощники, пособники. Между тем ведь слепой есть отроду «раненый» человек и его никак и никогда нельзя забыть. Тогда эти слепые соединились «в литературный кружок», – с целью самопомощи. Оказывается, именно теперь, в «забывшее время» (все отвлечены к *войне*), многие из их братья, не видя («не видя»!!! – для слепого) ниоткуда помощи, стали в отчаянии кончать самоубийством или сходят с ума, – и вот «для спасения своих погибающих братьев слепые сами вступили в тесную организацию и сами начали изыскивать пути к улучшению своего тяжелого быта». Так создался *литературный кружок слепых*, который принял на себя трудную задачу выявить в литературе скорбную фигуру униженного русского слепца... Задачу эту слепые разработали в крупном бытовом романе «Живые мертвецы», который, однако, не может появиться на свет «вследствие полного отсутствия средств у кружка». И пока – выпускается первый рассказ, г. Сильд-Сильдинского.

Литературный труд слепого? – Что же, здравствуй, брат. Рассказ его правилен и изящен, – и хочется скорее упрощения, нежели усложнения или дальнейшей обработки. Сюжет его? Он так мрачен, что лучше не пересказывать: помешательство профессора-психиатра. В начале своей первой галлюцинации он сам говорит себе: «Что за чертовы рожи?! – это начало безумия; скоро одним сумасшедшим будет на свете больше. Всю жизнь лечил других, а теперь сам нуждаюсь в лечении. Врач, – помоги сам себе; помоги, пока не поздно». Он принимает успокоительное и сонные порошки, но они не помогают: сна нет, галлюцинации растут и его самого переводят в палаты душевнобольных.

Признаюсь, сюжет мне не нравится. Есть ли что-нибудь необходимое или невольное «подобные сюжеты» для слепых? Не думаю и даже знаю. Лет 20 назад, на Петроградской стороне, я поднялся «наверх» конки и, сев

и повернув голову, — увидел, что, ощупывая палочкой ступени, за мною поднялся слепой. Пощупав уже руками сиденье, он сел рядом со мной. Никого не было, конка еще не трогалась, и я с ним перекинулся словом.

Он был молодой, лет 24-х, приземистый, некрасивый и самоуверенный. О последнем сужу по ответу, данному мне на вопрос, вытекший из «обозрения» его молодости:

— Вот, ведь *никогда* не женитесь?

— Не женюсь. Потому что не хочу.

Я был изумлен. На мой вопрос о тяжести для *всякой* девушки связать судьбу свою со слепым мужем он, к величайшему моему изумлению, ответил следующее:

— Что же слепота? Жене она не мешает. — Он нехорошо улыбнулся и продолжал: — Даже лучше, слепой не может за женой следить, и его легче обмануть, «на его глазах» (!!!) завести интрижку. Нет. У меня есть крошечные средства, и сколько даже предложений я имел — выйти за меня замуж! Но не хочу сам.

«Боясь обмана?..» Странно, страшно. Ведь, в самом деле, — *так*. Ну, это — с дурною, без сердца. Авось он нашел «с сердцем», которая не будет обманывать? Не правда ли, как странно: слепой «любит», слепой «выбирает». Чем он выбирает. Мы *невест* выбираем глазами. А он? — Очевидно, по слуху. Мой рассказ действителен, и он показывает, как фантастично и неожиданно вообще существование слепого. О, они могут нам рассказать интереснейшие, вполне *новые* вещи...

Вот почему сюжет первого слепого я не считаю удачным. Он не оригинален. Но «литературный кружок слепых» вполне оригинален и нужен. Так как слепые никуда не дойдут, а нужно до них дойти, то сообщая их адрес: Петроград, Петроградская сторона, Малый пр., д. 83, кв. 13. Телефон: 89—56.

Мне кажется, им нужно и позвонить и написать. «Слепые будут читать письма»... Просто нельзя понять существования. «Новостей, господа, — новостей», — хочется им сказать, «и — бодрости. Не унывайте. И вас будут читать. И даже за вас будут выходить замуж» (мой собеседник). А в самом деле, ведь окончательно «разрешить проблему существования слепого» заключается именно в том, чтобы выйти за него замуж. «Слепой и зрячий» интимно любят друг друга и всегда совместные — уже суть два зрячих. Слепоты больше нет. Она (при привычности) почти перестает быть неудобной, и, во всяком случае, она совершенно безопасна.

КНИГА О СТАРОМ И ВЕЧНО НОВОМ

«Теократия», теоретическую сторону которой всю жизнь разрабатывал покойный Владимир Соловьев, а историческую часть ее же разрабатывает проф. В. И. Герье в четырех отдельных сочинениях: «Блаженный Августин», «Западное монашество и папство», «Франциск — апостол нищеты и любви» и

«Иннокентий III»*, – что она такое? Она исполняет, осуществляет слова молитвы Господней: *«Да будет воля Твоя яко же на небеси – и на земли»*... Это – фундамент ее. А зрелище, добровольное и вдохновенное, открывается в древнейших монастырях верхнего Египта, Сирии и Синая и у нас на севере, в холодных пустынях вологодского, онежского и архангельского края. Беллетристически опять-таки оно воспроизведено в знаменитом расколотом описании Андрея Печерского «В лесах», а классическая *по духу* книга на эту тему – «Странствования инока Парфения по Молдавии, Валахии, Угрии» и т. д., изданная в 50-х годах прошлого века. Здесь, в очерках жизни, в этих книгах рассказываемой, и нет решительно никакой воли, кроме Божией, – закон светский и дух светский совершенно отстранен, выброшен, пренебрежен и растоптан. *Хороша ли эта жизнь?* Во всяком случае, – стройна. Она прекрасна своим единством и цельностью. *Счастливы ли в ней люди?* – Да, насколько они не развиваются и не хотят развиваться, насколько идея так называемого «прогресса» в них до корня истреблена. «Теократия» была у нас в пору Алексея Михайловича и дружбы его с Никоном, она есть в каждом сельце и захолустном городке старого, крепкого и благочестивого быта. «Теократию» строил знаменитый Сильвестр в своем «Домострое». Аналогии эти и сущность эта обыкновенно не приходят на ум, когда рассуждают о величественных чертах «римской теократии», «папской теократии», – от блаж. Августина до Григория VII и Иннокентия III. Между тем это – так. И сейчас же мы перейдем к разъяснению секрета: «теократия» осуществима в крошечных, замкнутых мирках, в «микрокосме» историческом, – в «заводах», «застоях» бытовых и культурных. И она «трещит по всем швам», когда ее натягивают на «чуждое» мира, на макрокосм, на Европу от Кастильских гор до («Латинская империя») Константинополя... Народы, подавляемые теократией, принуждаемые к ней, – сжимаются, мучатся, приспосабливаются, подавляют в себе нужды, подавляют воображение, погашают насильственно всякий дух предприимчивости и, наконец, дух просто энергии: но – «невмочь», и дело кончается тем, что они восстают и разрывают «кровавую и голубую» мантию теократии – папства, Франциска, Григориев, Иннокентиев, Никона, попа Сильвестра, – разрывают ее ногтями, разрывают ее зубами, ну (нельзя скрыть) – и топчут отчасти ослиным копытом. «Господи, и ослу хочется жить!» – «Господи, и ослу не Ты ли даровал жизнь?» А что он скотинка недальновидная, то ведь где же разума набраться на все твари! Есть блоха, осел – кроме пальмы, великолепной жирафы и царственного льва. Дело в том, что под бунтом против теократии, «против попов и канонов», в какой-то бездонной глубине содержится «теократия» же, ну – «теократия» того первоначального дня творения, когда Бог «благословил всех животных и человека» – животных, во-первых, и человека, во-вторых...

Французская революция dokonчила в Европе разрушение теократии, Лютер на Вормском сейме впервые «до Аида» потряс ее, – и звонко шелкнул ее бичом Филипп IV Красивый в борьбе с папою Бонифацием VIII.

* Расцвет западной теократии. Иннокентий III. В. Герье. Москва. 1916 г. Часть 2-я, тома II, серии: «Зодчие и подвижники «Божьего царства» (стр. 354).

«Мантия Иннокентиев и Григориев» рвалась в клочки копытами, рогами, – буйволами, львами и гиенами. Были и гиены – Робеспьер, – были и львы (Лютер). Не все сознают, что вовсе не в России одной, не *для* нее только, – но в ситуации целого мира и в целом мировом процессе Петр Великий был величайшим борцом против теократии; может быть – более типичным и характерным, чем сам Лютер и вся французская революция. Он был «папа» наизусть. В его духе, неукротимом, практическом, несколько даже ремесленном, в его духе, предприимчивом и веселящемся («ассамблеи»), лежит какой-то «испод» мечтательного и возвышенного духа теократии. «Дух земли» – если он *существо*, а не *понятие* – никогда еще и нигде еще не задыхался так необоримо, упорно, с снежным холодом в себе, с «петербургским» холодом, как в этом «исполине севера». «Какое тебе к лешему Царство Небесное на земле? – копай Ладожский канал, а нет – заporю!» Великая мечта кончилась, для раскольников и Иннокентия III.

«Ах! Ах! Ах!» – стонет поздний мечтатель, – пока и его по спине не «вытянет» государственный бич. «Неча романы писать – рой канал».

И копаем. Копаем и все-таки почитываем проф. Герье. Кончил он труд свой огромный, многодуманный. Спасибо ему, – наставнику стольких поколений, профессору многого множества теперешних профессоров. Из его внимательных и заботливых о читателе и просвещении страниц выкатим, как со дна моря, хоть одно зернышко:

«Плоды благотворительности Иннокентия III (XIII век) сохранились до нашего времени. В Риме исстари укоренился ужасный обычай повергать в Тибр новорожденных, которых матери не хотели или не могли вскормить. Ежедневно река выбрасывала на берег трупки младенцев, подвергавшиеся там гиению. Однажды, как гласит легенда, Иннокентий, стоя на молитве, услышал голос: «Поди и брось невод в Тибр». Папа исполнил веление. С первым неводом вытянули из воды 87 младенцев, со вторым 340. Смущенный папа тут же на месте приказал выстроить приют для младенцев, названный по соседней церкви для англосаксонских паломников Sancia Maria in Saxia. Приют разросся в громадное благотворительное заведение для всякого рода страждущих. Иннокентий передал его заведование новому ордену Св. Духа, основанному для благотворительных целей незадолго до этого в Монпелье графом Ги и взятому папою под свое покровительство. Основанное Иннокентием учреждение и теперь существует под названием госпиталя Св. Духа. Служащие в нем по распоряжению Иннокентия должны были раз в неделю обходить город, разыскивать больных и доставлять в госпиталь, с которым был связан родильный приют и богадельня для престарелых».

Рассказ звучит как ангельская песнь, пропетая над землею. Было ли это в *выическом* Риме? Случится ли это в *техническом* Риме?

Но воют ветры севера. Смеется скверным смехом Робеспьер. И поздний читатель Герье, закладывая «рука за руку» и обе пряча в оба рукава, приговаривает:

– Ничего не поделаешь. Этакая стужа на дворе.

Спасибо нашему старому Герье. Спасибо ему – за многие и многие труды – всероссийское. Спасибо ему и от учеников и от учениц. Я думаю, это позволят сказать все его ученики и ученицы?

Главы, как 5-я «Иннокентий III. Балканские славяне и армяне», или изложение редчайшего памятника полемической литературы того времени между греками и латынянами «Criminationes adversus Ecclesiam Latinam» (стр. 116–122) читаются почти с чувством современника. Ведь мы сейчас переживаем опять напор Запада на Восток, как было при Иннокентии III с его замыслами распространить авторитет римского епископа и на греков, и на румын, и на болгар... И опять все сосредоточено около Константинополя, как к нему неслись мысли в этом XIII веке, и туда устремлялись одушевленные папою «крестоносцы». Ах, – стары, слишком стары корни теперешней чудовищной войны! Книгу Герье необходимо прочитать теоретикам и философам нынешней борьбы народов, хочется сказать – борьбы чудовищ.

С РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ!

«Праздник *мира*, – где твой покой? Праздник *семейств*, – где твои чада?» – так невольно спрашивается в сердце, так спросят сегодня бесчисленные русские семьи. Страшная, тяжкая година у нас за спиною, ушла в прошлое вечно текущего времени; и какая година перед нами, перед лицом нашим, выдвигается из темного зева будущего, в которое не может с полным знанием заглянуть ни один смертный? Никто не ответит. Как-то истины небесные и земные перемешались, стали на место друг друга. Мира нет в домах, на земле. И хоть это противоречит писанию, – ныне «Христос рождается» в трудах, в страданиях и точно в крови... Странно сказать и невольно говорится.

Христа давно отверг наш враг, – и делом, и помышлением: иначе он и не поднял бы этой лютой войны. Давно подкопано, подорвано Евангелие его учеными-историками, копающимися в мелочах древних манускриптов, в мусорных кучах библиотечных накоплений и не видящими солнца и света, лучи коего льются из каждого слова Спасителя и совершенно вразумительны простому люду. Удивляться ли? Ведь и Христа живого видели и слушали «книжники» Его времени и ничего в словах Его не поняли и распяли Его. А восприняли слово Его темные и малограмотные рыбаки Галилеи и простые сердцем девы и жены тех дней. Что было две тысячи лет назад, повторяется и в наше время. И до сих пор только страдающее и простое сердце принимает Христа, – идут к Нему все «обремененные», и Он «успокаивает» их.

Ну, – ей ее *пути*, нам – наши.

Вздыхнем все-таки в день Рождества Христова. Довольно о войне, о борьбе, о крови. Трудно нам, всем трудно, – и все же дадим семьям своим мир в этот день, соберем малых около себя и зажжем привычную детскую

елочку. Не нарушим праздника скорбью и унынием и проведем его хоть без привычного шума и веселья, однако – в тихой радости.

Вспомним и смысл праздника. Именно эта година, так упрямо потрясающая небо, зовет нас утвердить его.

А утверждение – в смиренных яслях, где между Девой-Матерью и старцем Иосифом родился Предвечный Младенец. Какое смирение, простота и близость к природе. Не указывается ли этим путь всем народам и до известной степени, не суживается ли путь всемирной истории? «Суживается» к благу человека, а не ко злу его, – что и нельзя помыслить в отношении Спасителя и всего дела Боговоплощения. Однако мы не можем не обратить внимания на то, что для этого Боговоплощения, которое по всемогуществу Божию могло произойти во всяком месте и во всякой обстановке, – была избрана не столица мира, Рим, и не обстановка богатства и знатности, а самая глухая и далекая провинция, и жилище даже не человеческое, а домашних стад. Ныне все рвется, наперерыв один перед другим, к «империализму»; ныне и небольшие даже народцы и страны вбивают себя в чахотку усилиями побыть или показаться хоть на минуту «Римом», – чем-то «первым» и «властным». Но, поистине, в этом лежит неразумение Евангелия и того «сужения» путей исторических, какое в нем предугазанно. Рим был один и всемирный, и слава его померкла, – померкла именно в день Рождества Христова, – и никогда вновь в этой же славе не воссияет. Не *главенство*, а *братство* – вот что указал Христос; не «первенство», – а «кто будет *последним* – на Суде окажется *первым*». Всемирная история сужена в смысле соперничества. Не борьба, – а братство; не пошлая и всеудавляющая «конкуренция», а помощь ближнему по всемирной человеческой связанности и по всемирному человеческому единству. Евангелие и Христос впервые открыли всем народам их единство и впервые позвали их всех к судьбе одинаковой и смиренной, позвали к исторической скромности. *Кичливость* исключена Евангелием и совершенно с ним непримирима. Кто рвется к «первенству» – тот уже «не Христов». Это так ясно в Евангелии с первой страницы его.

Борьба эта, окровавившая у нас милое «Рождество Христово», страшная и невольная, но она именно в путях Христовых имеет освободительное предназначение. Как же иначе? Германия рвется к гегемонии, – но у нас и у всех людей, у всех христиан, есть единый «гегемон», т. е. «вождь» и «управитель» и «глава» – Христос на Небе. Мы же под Ним и все – как сироты, слабые и в грехе, слабые и ограниченные. Евангелие в небесной высоте своей именно и открыло всем людям их чрезвычайную ограниченность, бессилие, открыло беспомощность даже «спастись», уже не говоря о «победе», своими силами и без помощи Христа. Вот вечный урок, который мы не можем забыть и который мы повторно выслушиваем на каждом своем богослужении. Какая тут «гегемония», когда ноги сломаны, и мы вечные сироты – «если бы не Христос».

Христианство, слолив гордыню человечества, которая высшей своей точкой достигла в римских кесарях вроде Нерона, Домициана, Диоклетиана, –

открыло единство и родство его «по благодати» и вместе смиренную судьбу, включенную в границы некоторого до известной степени провинциализма. Народы не имеют единого средоточия и единого увенчания. Они образуют как бы «провинции» христианские, объединенные только в понятии «Божьего царства людей». Нашему народу это понятие как-то особенно близко и сразу ясно. Никогда нельзя забыть случаев, когда, в благодарность за помощь в постройке церкви, православные помогают татарам того же села строить мечеть; и что не бывало случая, чтобы, войдя в чужеземную страну, – православные не уважили чужой святыни, иноверного храма. Этого никогда не было, и это по складу русской души немыслимо. Что же это обозначает? Отсутствие самой мысли – всех людей привести к единообразию. Т. е. вечное утверждение «провинциализмов» в истории, без мысли и всякого даже желания, чтобы они кончились, перестали быть, выдвинув над собою какую-нибудь одну «главу». И сам русский народ хочет *быть*, хочет остаться *собою* и *своеобразием* среди других, но себе главенства и первенства не ищет. Вот это-то требование *скромности* как чего-то окончательного и венчающего, как такого, что останется «до конца», – составляет самый стержень русской души и суть нашей истории. И вот почему с таким упорством и как один человек мы поднялись на защиту в сущности всего человечества против германской гегемонии. Эта «гегемония» и мысль ее – есть самое противное и несносное, что русский человек может представить себе.

И мирно вспомним все-таки в этот день «Рождающегося Христа». Он принес нам Свет – и окончательный. Будем помнить, что и на снежных полях Литвы и Балтики мы ведем борьбу защитительную; что наступательного в нас – ничего нет. Что мы в снегах, холодах отстаиваем кровью Того, Кто язвлен был и пролил кровь за нас. Кровью – за кровь. Если мы не победим, – Христос будет побежден; Он Сам – и *дело* Его, христианство. Может ли это быть? Какие колебания?!.. И вот залог, что после великих напряжений – гордыня «германского гегемона» будет сломлена.

Пока Русь в деревянных хижинах и верна своим заветам, связанным с духом евангельским, – она непобедима. Русь первобытная есть вместе с тем и вечно-бытовая. Камень у нас может развалиться, но дерево наше никогда не развалится. Ибо именно первобытной-то и простой Руси и отвечает Дух Христов. Между прочим, оттого этот первобытный наш дух вечен, что никого не теснит и не оскорбляет. Было чистым безумием со стороны Германии накинуться на Россию, которая с удивительным терпением и так долго ей во всем уступала. Уступала, – теснясь, сама внутри себя. Они явно хотят что-то отнять у нас; или в чем-то нас поработить, притом совершенно осязательно. Ибо все прочее, кроме своих территорий и явной зависимости, мы немцам «уступали» по изумительному добродушию, миролюбию и снисхождению. Но немцы рвутся к «гегемонии». Это – уже другое дело. Они ее получают, только переступив через наш труп. Но с верою во Христа Россия трупом никогда не будет.

Германия, конечно, ошибется, и ее чисто языческий путь, который она открыла своею прусскою грубостью, оборвется, прервется. Смело веруйте в это, русские, – с нами Бог.

И будем мирно и тихо, хотя и без родных своих, сидящих сейчас в окопах, встречать милый и родной праздник. С Рождеством Христовым, неисчислимы русские деревеньки, и города, и столица, и все Царство! Проведем его без скорби, – и опять за ружье.

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО К г-же ВЕРЕ ВОСКРЕСЕНСКОЙ

Насколько равнодушно прочиталось письмо *Библиотечной комиссии* Электротехнического института о невысылке следующих книжек журнала в их библиотеку, настолько же больно было прочесть Ваш отказ от сотрудничества. Слышится какой-то другой тон речи, и за ним – «своя душа», а не общая душа. И вот этой «своей душе» хочется что-то сказать.

Причина – евреи. Ну да вы содержание своего письма знаете. И я спрашиваю, – недоумеваю в себе и спрашиваю у вас:

– Да что такое за священное *табу* этот еврейский народ, о котором можно говорить только хорошо и *никогда худо*, о котором нельзя *искать, спрашивать?*

Русская печать коснулась Христа и христианства, критически, смело, иногда дерзко, иногда нагло? Коснулась вообще Бога и бытия Его? Священное Писание большинством «интеллигенции» отвергнуто уже потому, что вслед за Дарвином это большинство признает происхождение человеческого рода от обезьяны. И, наконец, над нами самими, русскими, просвистел бич щедринской сатиры, которая была более казацкой нагайки. Почему же, почему, почему нельзя трогать еврейскую нацию, которая, несомненно же, дала почти всех русских и еврейских банкиров, и ведь это что-нибудь показывает, показывает какие-то специальные инстинкты, специальные таланты и специальные поползновения нации, к которой Вы не допускаете подходить с *анализом?*

Неужели на место старых опрокинутых суеверий вырастает и уже выросло новое суеверие: «Еврейский народ один свят на земле и у него нет грехов».

Обратите внимание, что по уголовной хронике, совершенно объективной и беспристрастной, совершенно фактической, торговля так называемым «живым товаром» ведется главным образом евреями. И *этого* касаться нельзя. Неужели душу вашу, столь юную, не мутит судьба несчастных сестер?

Что это такое? Я говорю о вашем отношении, о вашем мнении. Не сомневаюсь в его чистоте и искренности, в его добром мотиве, сострадании. Но обратите внимание, в каком гипнозе находится ваш ум и сердце: вы уже

сострадаете не живому товару, а торговцу им? Вы сострадаете не тем про-
стакам, которых «стригут» банкиры, а банкирам?

Бедные банкиры, за которых вступается курсистка.

Не кажется ли вам, как я сам давно в этом убежден, что евреи обладают
своеобразным гипнотизмом, может быть бессознательным для них самих,
но все равно действующим на близко к ним стоящих людей, на всю массу
их окружающих людей. И что, пожалуй, в этом гипнотизме (или магнетиз-
ме?) лежит главная суть их роли. Суть их силы. Суть их успехов.

Посмотрите, как им соработает вся печать. А особенно ли много, срав-
нительно, их в печати, — и ни одного таланта. Пожалуй, их и не мало, одна-
ко не больше десяти процентов среди всех пишущих. Почему же и каким
образом десять процентов, и притом бездарно пишущих, поработили и на-
гнали страха на девяносто процентов русских? Потому что ведь можно пе-
речесать по пальцам русских, которые решаются поднять печатный голос
против евреев?

И, заметьте, из русских еще никто не пытался писать о них сатиры,
вроде Щедрина? Но даже и «кое-чего» они не прощают о себе русскому
писателю, поднимая травлю на каждого, кто сказал бы хоть что-нибудь.

Решительно «аристократы» в русской прессе... Решительно новые
«баре» ее...

Что такое?

Не понимаю я, и не понимает никто. Может быть, Вы скажете?

Р. S. Меня поражает, каким образом из самих евреев, в массе которых
есть же *любопытные люди*, не найдется никого (ни единого!), который
взял бы в тему себе всестороннее (многолетнее) обследование «мнений об
евреях», «суеверного к ним страха», — и поискал, на какой собственно *почве*
они возникают теперь и возникали прежде и нет ли *фактов*, которые эти
мнения поддерживают и не дают им рассеяться.

Согласитесь, что «нет дыма без огня». А «дым» все один и тот же, в
Египте, у средневековых французов, у русских, литовцев и белорусов. Много
времени прошло и много миль отделяет Мемфис от Москвы: а и над Мем-
фисом, и над Москвою один и тот же «дым».

Какой-то «огонек» горит под ним. Тысячелетний огонек.

Мне много, в свое время, приходилось говорить об евреях с покойным
А. С. Сувориным, — *защищая их*. Вообще я много лет прожил в глубоком
уважении и к ним как к нации, и к их религии. *Некоторые их стороны*
(строй семьи и инстинкты чадородия) не только не чужды мне, но суть в то
же время и «мои». Но, уже по смерти А. С. Суворина, и особенно вникнув
в их роль в русской революции, в их роль около нашей молодежи («иди
вперед и *гибни*, мы займем в России *твои места*»), их поистине ужасная
роль около Гапона (убит евреем Рутенбергом, см. его собственные воспо-
минания в заграничном издании «За стенами охранного отделения»), — при-
чем странную роль убийства он путем подлого подслушивания и под личи-

ною дружбы к Гапону и к рабочим возложил на наивных рабочих), столь же ужасная роль их в низвержении и замазывании грязью Хрусталева-Носаря, – вообще почти везде роль их «чего-то вроде Азефа», Азефа маленького, Азефа в мелочах и подробностях – ужаснула меня и заставила насторожиться.

Почему Вы не насторожитесь?

Почему вообще русские не насторожатся?

Γνωὶ σεαυτὸν*. Это правило Сократа не помешает и нам.

ПОМОЩЬ СИРОТАМ, ПОСТРАДАВШИМ ПРИ ВЗРЫВЕ НА ОХТЕНСКОМ ЗАВОДЕ

Нет русского сердца, которое не билось бы сейчас тоскливо, негодуяще и героически при мысли о чудовищном взрыве Охтенских пороховых заводов, с гибелью массы русских рабочих сил. Какой-то черный дьявол «ворочит в руку» нашим врагам и какая-то черная ведьма гадит за спиной наших героев-воинов. Не знаем ее имени, не видим ее лица, но чуем ее дух.

Ни один сирота и ни одна вдова погибших при взрыве рабочих не должны остаться без призрения и помощи. Великая княгиня Елисавета Маврикиевна и состоящий в ее ведении Синий Крест приняли на себя заботу об этих сиротах. Пожертвования принимаются в Павловском Дворце, в Конторе Мраморного Дворца и в Канцелярии Синего Креста, Кирочная, 30. Вздыхайте, русские сердца, – и да польются эти жертвования щедрой рукой, – до полного удовлетворения каждой нужды тех жертв, какие погибли при ужасном взрыве.

ПРЕДИСЛОВИЕ К СТУДЕНЧЕСКОМУ СБОРНИКУ

Что ценно в юности? Свежесть, непосредственность, правда. Что всего легче для юности? Свежесть, непосредственность, правда. Она, естественно, не может быть мудрою, ученою, опытною, дальнозоркою, предусмотрительною. Все это для нее «трудно».

Отчего же самое легкое и самое нужное не встречается давно? А оно не встречается или встречается редко.

Печать и общество давно стали «играть на юношу»... Стали играть на ее лучшие и вместе единственные дары, поистине – на «райское древо» в юности...

«Идите к нам»... «Если вы не пойдете к нам, – вы отвратительны». «Только с нами вместе, в единении, вы останетесь честными, чистыми, героичными»... Не станем разбирать, куда звали юношество, и вообще оста-

* Познай самого себя (греч.).

вим совершенно в стороне программу... Дело скучное и неинтересное. Но дело – в *зове, методах* его... Каждый *зов предлагал* выбрать юноше, девушке нечто такое, что было построено разными мудрыми или не мудрыми головами, а, во всяком случае, *не выросло из них самих*. И всякий решительно зов включал молчаливую мысль: «Сами по себе вы не ценны, вы ценны – только *около нас*, как наши помощники». – «*Отрекитесь от себя*»...

Между тем «свежий румянец юности» нужен был часто только полинявшим программам и полинялым старцам, дабы расцветиться перед публикой красками, каких своя душа и свое тело не дает...

Поддурманиваться молодостью кому не хочется... И вот куда пошла физиологическая, возрастная юность. Так кокетки европейских столиц, и не всегда молодые кокетки, одеваются в перья американских, австралийских, бразильских, индийских птичек... И сколько таких птишек идет на *убой*, чтобы поношенная красота двуногих не выглядела такой увядшей...

Гибель молодежи в ее свежести, непосредственности, в правде, в ее свободном, независимом «я», – есть одно из величайших несчастий России, коему возраста – вот уже на моей памяти сорок лет. А всего возраста – я думаю 50, 60 лет. Начинается сладкой кормежкой и кончается раннего хилостью.

Об этом-то вечная *боль*. И если настоящий «Сборник» даст несколько свежего своего румянца молодежи, если хоть несколькими юношам он скажет, с другой стороны, о *чем* в молодежи болят старшие, – он достигнет своей цели...

Впрочем, – прочь и *эти* соображения! Гайда, юность: будь тем, что есть... Пой каждую песенку, какая поется, сказывай всякую сказочку, какая тебе мерцается. В конце концов, я «стираю с доски» и свою тему. Хотелось бы, да некому сказать:

– Играйте, музыканты.

В ИНТЕЛЛИГЕНТНОМ УГАРЕ

Идти ли русскому обществу за универсализмом всей русской литературы, как она выразилась от Жуковского до Толстого, или ему, свернув с этой дороги широкого понимания и широкого сочувствия, перейти «на железнодорожные рельсы» от Маркса до Михайловского, попросту – погрузиться в социал-демократический интерес, в социал-демократические надежды, в социал-демократические законы и всю психологию, – вот практический вопрос, перед нами лежащий, вот вопрос, на который отвечают «Вехи»... «Сборник статей о русской интеллигенции» – таков подзаголовок «Вех», – статей критических, статей, наконец, отрицательных. Возможно ли, однако, *образованным* людям какой-нибудь страны восставать против «образованности» этой страны?... По существу, конечно, невозможно! Невозможно Англии восставать против «английской образованности», Германии – против «герман-

ской образованности» и Франции против «французской образованности». Хотя недостатки и односторонности, конечно, в каждой из названных «образованностей» есть. «Образованность» есть умственный дух страны, умственные наклонности страны, умственные вкусы страны, наконец, это есть умственные предрассудки, предрасположения, суеверия, привычки страны, как они выражаются преимущественно в литературе и искусстве, но также в нравах общества и даже в политике страны. Явно, что против «образованности» своей страны просто нельзя поднять голоса, не в силах поднять его никто почти в силу национально-физиологической своей природы. Как же написаны «Вехи»? Как могло случиться, что они появились? Общее правило о невозможности восстания против «образованности» своей страны имеет исключения. Ренан и Тэн после разгрома Франции Германиею оба заговорили о преимуществах над французскою «образованностью» – образованности германской. О недостатках французской образованности *«века просвещения»* (XVIII век) заговорил ряд французских писателей высокого блеска после 1815 года. С падения Наполеона вдруг изменился характер и дух французской литературы и даже общее – французской образованности. Вольней, Бональд, Жозеф де-Местр – умы совершенно другого порядка, *другого характера*, чем Вольтер или Дидро. Таким образом, критика «образованности» какой-нибудь страны возможна в этой же стране, но только она приходит не иначе как после сильного потрясения, после большого «переживания». Так было везде, случилось это и у нас. Было бы совершенно невероятно, если бы после неслыханных испытаний японской войны и опыта нашей «революции» русская литература, что называется, не дрогнула. «Не дрогнуть» эта самая впечатлительная и тонкая ткань национальной организации могла бы в обществе лишь умирающем, старом, ни на что более не отзывающемся. Успех «Вех» произошел отчасти оттого, что никакая брань на книгу не могла переубедить общество в том, что здесь подали голоса свои самые чуткие, самые впечатлительные люди страны; и что после революции и войны это впервые послышался новый, свежий голос, так сказать, в уровень с пережитыми событиями, по крайней мере, *в связи с пережитыми событиями*. Ибо нельзя же считать духовным отражением пережитых ударов брань на Победоносцева, ропот на закон 3 июня и продолжающиеся надежды на долженствующую обновить мир социал-демократию. Все это – литература до японской войны и до «великой забастовки». Все это литература и «при Сипягине и Плеве», и только. Но пришли новые события: неужели же литература *одна* прошла бы мимо них без всякого *впечатления*?

Таким «медным лбом» не оказалась литература. И появились «Вехи»...

В прекрасно написанном предисловии к сборнику высказана закрутленно мысль его, мотив его, историческое его положение:

«Не для того, чтобы с высоты познанной истины доктринерски судить русскую интеллигенцию, и не с высокомерным презрением к ее прошлому писаны статьи, из которых составилась настоящий сборник, а с болью за это прошлое и в жгучей тревоге за будущее родной стра-

ны. Революция 1905–1906 гг. и последовавшие за нею события явились как бы всенародным испытанием тех ценностей, которые более полувека, как высшую святыню, блюла наша общественная мысль. Отдельные умы уже задолго до революции ясно видели ошибочность этих духовных начал, исходя из априорных соображений; с другой стороны, внешняя неудача общественного движения сама по себе, конечно, еще не свидетельствует о внутренней неверности идей, которыми оно было вызвано. Таким образом, по существу поражения интеллигенции не обнаружило ничего нового. Но оно имело громадное значение в другом смысле: оно, во-первых, глубоко потрясло всю массу интеллигенции и вызвало в ней потребность сознательно проверить самые основы ее традиционного мировоззрения, которые до сих пор принимались слепо на веру; во-вторых, подробности события, т. е. конкретные формы, в каких совершились революция и ее подавление, дали возможность тем, кто, в общем, сознавал ошибочность этого мировоззрения, яснее уразуметь грех прошлого и с большею доказательностью выразить свою мысль. Так возникла предлагаемая книга: ее участники не могли молчать о том, что стало для них осязательной истиной, и вместе с тем ими руководила уверенность, что своей критикой духовных основ интеллигенции они идут навстречу общесознательной потребности в такой проверке».

Таков голос времени, зов времени, на который ответила книга. Ее можно определить настолько же подчеркнуто славянофильской, как и подчеркнуто западнической. В полном слиянии в *личном духе* ее автора славянофильства и западничества лежит лучшая ее черта, главная прелесть. Они примиряют не *идеи* славянофильства и западничества между собой, не строят для этого умственные комбинации за письменным столом, но *сами и лично* они являются столько же русскими, славянами, сколько и западными германцами или кельтами. И. В. Киреевский, первый славянофил у нас, начавший литературную деятельность изданием журнала «Европеец», мог бы быть назван их прототипом и литературным родоначальником. Все грехи нашей личной и общественной жизни, грехи нашей государственности горят перед ними ярко, болят щемящею болью в их душе; но – в их *русской душе, в русском сознании*. Все преимущества западного духовного развития, западной дисциплины, западной школы не вызывают в них никакой зависти, и только боль о том, отчего у нас этого нет. Они суть русские по крови, по духу, по заветам, по воспитанию; и западники – по вкусам или, точнее, по мерилу в них добра и зла, по оценке развития и прогресса.

Авторы «Вех» не вполне солидарны между собою, но солидарны кое в чем общем. В предисловии это так определено:

«Общею платформой соединившихся здесь авторов является признание теоретического и практического первенства духовной жизни над внешними формами общежития в том смысле, что внутренняя жизнь личности есть единственная творческая сила человеческого бытия и

что она, а не *самодовлеющие* начала политического порядка является единственно прочным базисом для всякого общественного строительства. С этой точки зрения идеология русской интеллигенции, всецело покоящаяся на противоположном принципе, – на развитии безусловного примата общественных форм, – представляется участникам книги внутренне-ошибочной, т. е. противоречащей естеству человеческого духа, и практически бесплодной, т. е. неспособной привести к той цели, которую ставила себе сама интеллигенция, – к освобождению народа. В пределах этой общей мысли между участниками сборника «Вехи» нет разногласий».

С симпатичными нам увлечениями и преувеличиваниями всегда хочется согласиться. И так хочется сказать «да» в ответ на этот положительный тезис книги. Но рассудительность и полная истина требуют здесь спора...

Англия или Афины променяли ли бы свою «Великую хартию», свой «*Nabeas corpus*», свой ареопаг и экклезию, своих Периклов, Кимонов, Алкивиадов, своего Питта и Борка на некоторую, позволю выразиться, прелесть сердечную, сказывающуюся слезами, молитвой, постом и аскетическими упражнениями, или на непрерывные споры и рассуждения на темы совести, личного поведения и вообще «небесные», каким, например, предавались в своих «нравственных колониях» толстовцы, предавался сам Толстой в пору разработки идеи о «трех упряжках» (три способа проводить свой день), предаются монахи в монастырях, предаются – у Диккенса – его слезливые, молящиеся, угрюмые и желчные индипендисты, пуритане, пизтисты? Вот вопрос. Это со стороны зрелища истории, факта истории. Но затем и теория. Толстой однажды спросил: «Как нагреть воду в котле, не согревая каждой *частицы воды*», т. е. чтобы получить итог, нужны слагаемые. Конечно! Гоняясь за «слагаемыми» и полагая в них всю сущность, один хитрый немец предлагал русским простакам чудодейственное «средство от клопов», притом «совершенно верно действующее»: нужно клопа изловить, раскрыть ему ротик, положить в ротик крупинку изобретенной им мази (или порошка), «и тогда клоп непременно умрет». «И когда вы, сударыня, – продолжал немец убежденно, – так поступите с каждым единичным клопом в вашем доме, тогда клопы совершенно выведутся и ваше жилище превратится из нечистоплотного русского в аккуратное немецкое». Против очевидности немецкого рассуждения совершенно нельзя спорить. Оно доказано. Но предпочтительнее просто выкуривать клопов серою или омыwać стены и деревянную мебель кипятком – *разом*. Что касается до согревания воды, то опять кто же черпает воду ложечкой, из ложки переливает в наперсточек и, слив в одно, получает такое великолепие, как «котел горячей воды»? Просто наливают воду в котел, такого объема, сколько воды нужно в доме, – и ставят на огонь. Так поступают, кроме философов, все кухарки и, кроме хитрого немца, все русские, да, думается, и заграничные хозяйки. Это – теория. Возвращаясь к истории, к Афинам и Англии, мы заметим, что помимо утилитарных соображений есть что-то неподражаемо

свежее и прекрасное в гармоничном, спокойном и оживленном общественном устройении, есть некоторая художественность в учреждениях: и о том мальчике, который с Марафонского поля прибежал в Афины и, вскричав: «Афиняне, вы победили», — пал мертвым от изнеможения, мы до сих пор учим в школах, хотя какова «польза» этого восклицания и что тут «исторически значительного»? Но поистине, «не о хлебе едином бывает жив человек» — применимо вполне и к политике. Есть что-то красивое, прекрасное и благородное в одних учреждениях, неодолимо-антипатичное в других. И мы ненавидим вторые, даже если бы кто-нибудь нам вполне «доказал» их утилитарность. К черту доказательства! Это просто — *гадко*, вот и все. Гадка страна, проникнутая рабьим страхом, пропитанная лостью, угодничеством, пролазничеством; и хотя бы страна такая «наслаждалась вечным миром», мы ее проклинаям; хотя бы тут «рабы все благоденствовали», например, при господах таких благочестивых, как Чертков или Неплюев, — мы проклинали бы и отвернулись от зрелища, от сущности, от идеи. Дело в том, что в человеке и его *необыкновенно сложной натуре* есть нечто от красоты дикой лани, — и этой дольки дикой и неупорядоченной красоты нельзя уничтожить через учреждения, нельзя подавлять учреждениями, но нужно *принять в учреждения*, вставив так, чтобы красота оставалась красотою и только никому не вредила. Мальчик оттого прибежал в Афины, что он знал, что там есть кому его выслушивать. Суть не в мальчике, а в афинской толпе, которая ждала вести о победе или поражении, как *о своем, этой толпы, поражении или победе!* Если бы известие нужно было только сатрапу провинции и до него относилось бы, — мальчик так не поспешил бы: пришел бы угрюмый раб и с лстивой улыбкой передал бы письмо от победителя-полководца. Совсем другое дело, иное зрелище, — и учителю школы нечего было бы рассказать ученикам. Из таких грустных рассказов складывается некрасивая история; граждане страны с такой историей угрюмо помнят или совсем не помнят прошлого и не интересуются им, и не рассказывают его иностранцам, и рассеянно смотрят по чужим краям, и уезжают в чужие края без тоски и сожаления. Это — страшное дело. Чтобы заработать красивую историю, можно решиться много перестрадать. Итак, вопреки авторам «Вех», есть *самовладеющая* (это я подчеркнул важное у них слово) красота в учреждениях, в общественном сложении или, переходя опять к теории, — в «способе нагревать воду в котле, а не в наперстках и истреблять клопов курением серы, а не через вкладывание в рот мази».

Наконец, по наивности можно не замечать кое-чего, и такое незамечание не будет безнравственно; но когда наивности нет, когда ум сознает некоторые вещи, и это сознание не берется в расчет, и деятельность совершается так, как бы его не было, т. е. притворно-наивно, тогда мы имеем дело с упадком нравственности, с грехом. К числу таких «грешных» вещей относится *в наше время* и равнодушие к политическим и общественным формам жизни, со стороны их утилитарности. Землепользование, обработка земли, ремесла, строй школы (а есть и «строй школы» помимо «хороших

учителей») никак не улучшатся от наших молитв, от нашего *личного* нравственного совершенства, наших вздыханий, покаяний, слез и т. п. На вопрос, кого предпочтительнее иметь губернатором, *лично* ли прекрасного человека, доброго семьянина, благородного *gentilhomme*'а, но совершенно бездеятельного, тусклого, инертного, пассивного и вообще «невинного и наивного» или же «утонувшего в личных пороках», но гениально-деятельного, неусыпного, великую административную творческую силу, *сама губерния* ответила бы:

– По мне уж лучше пей, да дело разумей!

Увы, личная нравственная и общественная неспособность так часто сочетаются! Увы, сочетается и порок с творческим гением. Для *народа, населения*, массы «личные пороки» совершенно незаметны, даже не видны за стенами дома или дворца, и вообще, говоря искренно, просто до этого никому дела нет, никому это неинтересно; но личная *неспособность* к управлению поднимает вой боли в народе, да с нее часто начинается и крушение наций, государств, стран! Бисмарк поддержал бы такую падающую страну, как он поднял из «незначительного существования» Германию; но авторы «Вех» не оспорят, что сто добродетельных Чертковых при пособии всех авторов «Вех» не улучшили бы и уездного городка. Но стать в *лучшее* положение городу, уезду или стране – значит вообще начать испытывать меньше боли, – и всего, что с нею связано. А с нею связано, увы, и много безнравственного: с плохим питанием, обнищанием, голодом связано всеобщее недовольство, злоба, гнев, воровство, насилия, убийства, алкоголизм. Не всей массой они отсюда текут, но некоторой долей текут отсюда. Поэтому в «мировой гармонии» порочный, но даровитый, талантливый управитель «нравственное» добродетельного, но неспособного: при нем пороки уменьшаются, при добродетельном – растут. В итоге страны «добродетель» множит иногда пороки, а порок – увеличивает добродетели. Для того чтобы это увидеть, надо только перестать нагревать воду в наперстке, перестать интересоваться спальнями и будуарами правителей, – а веселым, свежим взглядом окинуть страну, поля, площади, улицы. Пусть все это шумит веселой, здоровой жизнью, хорошо торгует, хорошо танцует; пусть везде шумят разговоры, беседы, споры; ни у кого чтобы не было сонных, апатичных лиц... а куда они пойдут к ночи, – «к куме» или в церковь, право, *истории это неинтересно*. Человек вообще так прекрасен, что многие пойдут в церковь, без поощрения, без подсказывания. Дайте людям немного потанцевать, а помолятся они сами.

Но, затем, к словам авторов «Вех» мы чувствуем все-таки симпатию, даже и видя их односторонность. Ничего нет противнее человека и противнее общества, заглушившего в себе интересом к политике всякую внутреннюю жизнь, психологическую, совестливую, поэтическую, религиозную. В особенности когда эта «политика» есть не творчески созидательная, не спокойно делающая, а критико-злобная и критико-бессильная. Увы, в России только эта и была и только эта почитается, уважается, приветствуется. Если взвесить все то море злобы, человеконенавистия, человекоотвращения, человекогадливости в последнем анализе *человекоубийства*, какое ежедневно и

ежемесячно вливается в общество печатю и затем разливается по стране через мелкий говор на «правительственные темы», то поистине надо еще удивляться, как русский человек живет, существует и что делает, даже на что-то лучшее надеется для своей страны или притворяется, что надеется. Потому что какие же тут «надежды»... Вся жизнь русская, вся мысль русская, все нервы русские разделились на что-то «полицейское» и «антиполицейское», и умерло решительно все, кроме двух желаний: удержаться самим в полиции или выгнать «тех» вон и на месте их сесть самим в полицию. Какой-то «рай», за обладание которым все спорят – кварталные, профессора, гимназисты, дамы. «Кому сесть в полицию, нам или им» – об этом написаны все повести, рассказы, много стихов, толстые печатные рассуждения. Когда я хоть несколько начал призывать к миру и успокоению своими последними политическими статьями, я получил открытое письмо, очень характерное *по тону*: «Кого вы хотите обмануть вашей елейностью? Разве есть в мире общество более загаженное полицией, чем русское? Правительство приложило все старания к тому, чтобы воспитать общество в духе полиции, полицейского сыска и шпионства, дать обществу полицейские нравы и настроение. Разве есть в мире общество более шпионское, умеющее находить *наслаждение в злословии и травле*, способное считать сыщика за человека, предполагать в нем человеческую душу? Полиция, этот заразный и злокачественный придаток, она предписывает правила нравственности, правила поведения, правила воспитания детей и взаимных отношений. Разве мыслимо общество более омерзительное, чем современное русское, у которого образец, идеал – сыщик». Вот больной тон человека, отравившегося политикою. Автор уже не в силах обернуться на себя и заметить, что это *он сам* «находит наслаждение в злословии и травле» и подлежит *сам* убийственным определениям своего письма. Куда же такого деть, как не посылать арестовывать, хватать, казнить? Казнь уже стоит в его душе, как мечта, как идеал. И между тем, вместо того чтобы писать мне это письмо, он лучше прислал бы другое, с цитатой из Пушкина:

...В долгу ночь на ветке дремлет,
Солнце красное взойдет –
Птичка гласу Бога внемлет,
Встреппенется и поет...

Вот лучший спор с политикой и политиками: цитировать Пушкина, читать чаще Пушкина; после прочтения новой книжки «Русского Богатства» взять да и переписать своею рукой что-нибудь из Пушкина. Переходя к серьезному тону, замечу, что если бы эти «полицейские пока без погон», которые думают и чувствуют *в тоне* приведенного письма, которые печатают целые газеты и журналы в этом же самом тоне, победили бы и выгнали из участка «тех полицейских», теперешних, то, конечно, ничего иного они и не в силах были бы принести на их место, сотворить на их месте, как возвести старое и крепчайшее здание подобной же полиции, например социал-демократической полиции. Ну на что Петрищев, Мякотин и Пешехонов способны, кроме как быть кварталными. Только к этому и рвутся, ника-

кого другого пафоса их писания и не имеют. Никогда мне в голову гордиться не приходило, и вообще я смотрю на себя как «среднего человека», не лучше и не хуже «соседей, друзей и знакомых», но всеми фибрами души я сознаю и чувствую, что самый «свободомыслящий» писатель в текущей литературе, самый что ни на есть радикальный, независимый и прогрессивный. И просто оттого, что не повторяю в себе «белку в колесе», утормашенную белку в сумасшедшем колесе, – какую представляет собою решительно вся печать и общество, наглотаившись «последних политических известий».

Поэзия освобождает.

Религия освобождает.

«Нравственная духовная жизнь», о которой говорят авторы «Вех», освобождает, улучшает, подымает личность. Только не надо тут специфически подчеркивать: «нравственная забота над собой»! Просто – Пушкин, лучше и вернее. Маленькая семья, маленькое хозяйство.

И если когда-нибудь мы могли бы надеяться на что-то похожее на «Англию» или «Афины» у себя, то не иначе и не раньше, как пройдя через успокаивающую зону поэзии, искусства, религии, внутренней духовной жизни. Для создания свободных учреждений нужна *освобожденная душа, независимая душа*: возможно ли ее получить в теперешней политике? Мне кажется, наиболее «прогрессивным личным движением» в настоящее время был бы выход из этого всеобщего омута, отстранение себя от него, отстранение его от себя, некоторое *временное* одиночество в целях «собрать что-то целое в себе»... Это и не так мудро, и в пределах сих каждого. Нужно освободить себя от наркоза «последних известий»... Есть голубое небо, есть прекрасно написанная «История Греции» Грота, есть, к сожалению непереулавленная, «L'Histoire de l'humanité» Лорана, бельгийского ученого. Наконец, нам, русским, имеющим такую роскошь литературы в прошлом, лучше в 3-й, в 4-й раз перечитать «Войну и мир», «Анну Каренину», «Капитанскую дочку», «Мцыри», чем еще альманахи «Шиповника» или «Земли», и в них «Францов Венецианов» и «Великих рыцарей Гуаков», т. е. какое-нибудь «В провале», «Крушение» или «Бездна» Айзмана, Миртова, Андреева и проч. и проч. и т. п. и т. п.

КТО И ЗА ЧТО ДЕРЕТСЯ В ТЕПЕРЕШНЕЙ ВОЙНЕ?

(Опять социалы)

Играть с трагическим лицом комическую роль – это производит на постороннего наиболее смешливое впечатление. Такое зрелище непрерывного комизма продолжает давать и во время войны российская социал-демократическая труппа актеров. Вы думаете, почему ведется война против Германии? К удовольствию сотрудников «Русского Богатства», «Современника»

и «Современного Мира», правительства Англии, России и Франции решили сломить извечного врага этих русских журналов: прусское юнкерство, прусских аграриев и империализм Вильгельма II. «А Австрия при чем в прусском юнкерстве?» – спросите вы. Ответа не дается: Австрия – мелочь, которая социалистами не замечается. Но в особенности журналы не допускают, чтобы война была национальной, по крайней мере в русской ее части. Понятие и самое слово «национальный», или в журнальном водоизмерении – «националистический», приводит сотрудников этих журналов в неопишемую ярость. «Национализму не сметь быть», «нациям не сметь быть». Слушаем и повинемся, но почему же началась война? Кроме первой цели – низвергнуть «очередное» императорское правительство – французские, русские и английские «народные массы» ведут войну по причинам «классовых интересов»: это – возвращение себе тех рынков, которые Германия отняла у всего света.

Пусть так, и министр Сазонов более всего озабочен тем, чтобы им осталось довольно московское купечество, – но почему война ведется с успехом на русском фронте? Вопрос особенно волнующий и радующий русского читателя. Боже мой, какой он недогадливый, этот русский читатель!

«Современные военные организация и искусство всецело созданы капиталистическим строем и к нему приспособлены. Они... и к самому солдату предъявляют иные, чем в прежние времена, требования, – требования, совпадающие с требованиями капиталистического производства к рабочей силе. От современного солдата требуется известное общее развитие, сообразительность, инициатива, способность применяться к различной боевой обстановке. Армия есть уже не та тупая, грубая сила, которую гнала прежде вперед палка капрала; теперь она, в сущности, немногим отличается от рабочей армии, в мирное время занятой в каком-либо сложном, опасном для жизни производстве. Можно было бы, например, провести довольно подробно параллель между солдатами, закапывающимися в землю в траншеях, бьющимися против невидимого противника и разряжающими свои ружья согласно указываемым офицерами цифрам прицела, и – рудокопами, с ежеминутным риском для жизни пробивающимися себе путь в горной породе, в особенности в моменты катастроф, когда все силы напрягаются для борьбы с стихийным бедствием.

В каком же положении находится по сравнению с Западом Россия? Здесь, прежде всего, интересен вопрос о личном составе армии. Русский солдат подвергся во второй половине XIX века жестокой критике. Восточная война показала ряд слабых сторон его. При беззаветной храбрости и упорстве в сражениях отмечали его малая индивидуальность, неумение действовать в одиночку и применяться к неожиданным обстоятельствам, стремление смыкаться в густые ряды, наконец, неспособность к наступлению в случаях потери ближайших начальников. Война 1877 года подтвердила наблюдение о слабой индивидуальности и активности русского солдата. Фридрих Энгельс приписывал эту черту нивелирующему влиянию земельной общины, чересчур подчиняющей себе отдельные личности».

Японская война еще усугубила и подчеркнула пассивные качества русской армии. Немецкая военная литература обратила внимание на эти «национальные» свойства русского солдата и построила на них ряд практических положений, — например о слабой способности русских войск к наступлению.

Следует обширная характеристика русского солдата и русской армии, в связи с характеристикой русского народа и культуры русской, по книге баварского полковника Шмидта под заглавием «*Kurzemilitär geographische Beschreibung Ruslands*»*. Баварский полковник, из коего взято несколько страниц цитаты, параллельно характеристике армии делает характеристику русской литературы, которая сплошь выставляет только пассивные типы, — или выставляет непрактических мечтателей, говорунов и теоретиков.

Было бы дело совсем скверно и русская армия в 1914 году обнаружила бы то самое, что в 1903—4 годах, с неизбежным крахом в мировом состязании ее пассивности, если бы «не произошли после 1903—4 годов известные события», которых не учел баварский полковник Шмидт и которые меняют все положение дела. Объяснения здесь автора необыкновенно любопытны:

«Любопытно отметить, что в немецкой военной литературе имеются указания на большие достоинства солдат из пролетариев, обладающих большим развитием, ловкостью и инициативой. Справедливо приводится в этом отношении, как пример, III прусский корпус, вынесший во франко-прусскую войну самые тяжелые бои (Вионвиль, Леманс и др.) и состоявший в значительной степени из берлинцев. Надо полагать, что известие о том, будто Вильгельм, опасаясь своих берлинских социал-демократов, рассовал их в передовые части под расстрел, — неверно: так как это не говорило бы в пользу военной дальновидности императора.

Прилагая высказанные соображения к России, видим, что баварский полковник в своей книге недоучел факта огромного экономического развития нашего за последние годы. У нас необычайно усиленным темпом создалась и крепнет буржуазия, являющаяся серьезной экономической и политической силой (напр., московское купечество), притом силою, весьма умеющею бороться за свои интересы. Армия рабочих увеличивается с каждым годом не только в числе, но еще более в смысле развития, и те черты активности и стремления к борьбе, которыми вызываются частые столкновения рабочих с обычным порядком, установленным в стране, суть именно те черты, которые требуются от солдата для наступательной войны.

Наконец, еще большее изменение произошло в русском крестьянстве. Изменившиеся условия мирового рынка и внутренние причины повели к падению общины и к нарастанию мелкого частновладельческого хозяйства. Крестьянское хозяйство все более втягивается в сферу денежного обмена и капиталистических отношений. И это новое крес-

* «Краткое военно-географическое описание России» (нем.).

тьянство по всей своей психологии резко отличается от старого... В нем, как и в городах, нарождается и народилось уже новое поколение, с иными недостатками и достоинствами, но уже активного свойства... Борьба за землю теряет прежний идеалистический характер и приобретает особенно ожесточенный практический характер, потому что борются уже за определенное экономическое понятие – за владение рентой. Добродушный, инертный, старый крестьянин, стоявший прежде в зависимости от дождя или ведра и пассивно ожидавший того или другого, должен в этой борьбе превратиться в расчетливого энергичного хозяина, связанного с мировыми конъюнктурами и стремящегося воздействовать на них. Недавно еще даже крупные помещики не знали о хлебных ценах ничего далее своего уездного города. Теперь сельскохозяйственные артели, союзы и кооперации следят за ценами на лондонском рынке и учитывают их значение.

Не в добрый для нее час Германия коснулась этих инстинктов; накопившееся в массах боевое настроение обратилось на нее. Врагами оказались для русского капиталиста его более счастливый соперник – немец, для русского рабочего – немецкий мастер или хозяин, для торговца – немецкий булочник и колбасник, для крестьянина – немец-помещик, арендатор, скупщик. Кровавая борьба, в которую мы вступили с Германиею, – борьба экономическая... Могучее стремление Франции к свободе своих и чужих народов создало в конце XVIII века «*furog gallicus*». Немецкая буржуазия на смену ему выдвинула «*furog teutonicus*». Теперь мы присутствуем при борьбе последнего с «*furog slavicus*». Нас могут ждать еще крупные неудачи, но ясно обрисовалась уже давно не виданная в нашей армии от солдата до генерала черта активного движения вперед. И дело, конечно, не в славянской расе, столько столетий бывшей пассивною, а в рождении у нас того общественного строя, который так чудесно совмещает и связывает худшие проявления человеческих инстинктов (вероятно, военную храбрость или «милитаризм»? – В. Р.) с борьбою за достижение светлого будущего, самое сильное порабощение человека (военная дисциплина? – В. Р.) с наиболее полным грядущим освобождением» («Современный Мир», сентябрь).

Да, темна была бы история, останься она в руках Карамзиных, Соловьевых, Костомаровых, Ключевских. Да помогли социалы, которые вдруг все осветили. Теперь понятно: война булочников и колбасников и московского купечества с берлинским. Причем тут Галиция и Червоная Русь? Кому это нужно!!!! Социалам не нужно. Хорошо, господа: но по какой «конъюнктуре» не булочники вцепились в волосы немцам, а лейб-гвардии конный полк бросился на пушки, – и понятно привезли тогда раненых и убитых, двух воеводских и еще многих, славных и поистине святых героев? Своим поведением, который казался беспощадно ненужным, казался излишним в тот страшный день, когда привезли в Петроград их тела, – они, как теперь чувствуется, «дали камертон» всему хору, дали темп и эту бросаемость войне,

после чего все беззаветно пошли в бой, офицеры – с ружьем наперевес *впереди* солдат, когда же по закону они не должны идти впереди, а обязаны идти или сбоку, или даже сзади роты. Те юноши погибшие, юноши первых аристократических семей в Петрограде, неуважительно поднимали руку и указали путь, указали скок... Совпал сюда и Главнокомандующий... Все устремилось вихрем: ведь *готовность умереть*, первое и главное на войне, эта готовность и есть *все*...

Бесстыдные социалы. Бесстыдники вы такие. Как же вы смеете пренебрегать кровь тех чудных юношей, – повторяю, из первых аристократических семей, это очень важно отметить, – бросившихся за Царя, за историю, за Русь, – за угнетенных братьев-славян и за старое достояние Ярослава Мудрого!.. И вы отнимаете у них венок, – поистине венок мученичества, – и надеваете его на своих пролетариев, все приписывая им, все относя к тому озверению, какое вы усердно насаждаете, поднимая и возбуждая классовую борьбу... Бесстыдники, бессовестные. Хоть бы перед телами убитых вы помолчали, народные развратники. Пойте песни своему Жоресу, пойте песни своему Герценштейну, пойте песни своему Иоллосу. Но не смейте касаться русской истории. Она не ваша, эта история, – вы ничего в ней не сделали. У вас нет отечества. Россия не ваше отечество, ваше отечество – Интернационал. Не смейте выходить из его подполья, из его мышинных и крысиных нор. Задыхайтесь там в ненависти. Не смейте выходить на наши ржаные поля, которые нам «уродил Бог», – и примешивать подлое свое имя к нашим битвам, которые ведутся не торговцами, а сынами Родины, на могилах и за могилы священных предков.

РЕЛИГИОЗНОЕ ДВИЖЕНИЕ

(НАША АНКЕТА)

Ответ В. В. Розанова

События последнего десятилетия расслаиваются в их впечатлении на душу, в их воздействии на жизнь, на две группы: оживления общей народной жизни, государственной жизни, множества единичных умов, единичных дум. Нас «встрясло», – вот сущность революции, или, как теперь выражаются пренебрежительно, «псевдореволюции». «Псевдо» или не «псевдо», а только «встрясло» и кое-кто, кому следовало, «получил тумака» в голову и несколько опаматовался... Опаматовался от чванства, самодовольства, от «Навуходоносорова звериного образа», говоря языком гимназических историй Ветхого Завета. Всему этому следовало быть, следовало случиться в нашем «залежавшемся» быту, в нашей обломовщине.

Примем спокойно и стойко, что «тумак» был необходим. Меня манит в нем самый процесс *давания*, т. е. вот то всеобщее оживление, которое мы пережили. Россия, без сомнения, в 1913 году *моложе*, чем она была в решительно старческие годы 1900–1903.

Революция в ее темных движениях произошла от некоторой *пустоты*, лежавшей на том месте, где у всякого человека и всего общества должно было лежать дорогое и святое содержание. Суть догадки о революции и ее крушении, о том, «зачем она была?» и, раз возникнув, «почему она не удалась?», лежит в том, что историею были опустошены некоторые драгоценные кусочки в человеческой груди, без которых дальше нельзя было жить, это с одной стороны, а с другой – без которых невозможно ничего прочного и жизненного создать. От этой-то пустоты, с одной стороны, мы рванулись, и с другой – мы не успели.

Что же это такое?!..

Волнующийся, туманный, неопределенный, безграничный религиозный мир, – не как «исповедание религии», – это слишком грубо и осязательно; не как церковь, – это уже строительство, построенное, конец, – а как безвестный и безграничный питомник всего этого, родник всего этого; как те «два электричества», из которых родятся молнии и электрическое освещение, трамваи и состояние нашего здоровья. Это – просто душа, слушающая не одни медные звуки, глаз, видящий не одни цветные формы, совесть, страдающая не в единственном случае, когда «мне больно» или «мне выгодно». «Религия» не удваивает только человеческое существование: она расширяет его в тысячу раз; человек религиозный – в тысячу раз более богат, более могуществен, более счастлив, хоть он в то же время и в тысячу раз более

несчастен, грустен, нежели «человек нерелигиозный». Вот разница и определение. Эпиктет – шире, могущественнее, счастливее, хоть в то же время и грустнее, чем первый патриций в Риме.

Вся красота и значительность «Дневника» Никитенки происходит от налета религиозности, на нем лежащего, от налета на нем нравственного чувства и внутреннего долга. Отсюда же особенный колорит, лежащий на Новикове. Договорить ли: целебные лекарства, вырабатываемые в истории, недействительны, если в их микстуру не замешана частица этой «соли». Реформа, реакция, революция, бунт, государственность – все не «солоно», всем нельзя жить, ничего нельзя осуществить, если в это шумное и огромное не положена щепотка «соли»... Какой?! Чего?! Просто дико ответить: если ко всему этому не прибавлено безмолвной кой у кого молитвы и не разлито по всему этому деликатности, человечности, нежности, трогательности.

Мы – люди и совершаем человеческую историю: если мы не нежны, мы никогда ничего не сумеем «перевернуть». Раскровяним кулаки, уьем, уьемся, а «переворота» не совершим.

«Переворот» совершит только деликатный; революция – от него. Петр, в сущности, никакого переворота не совершил, и единственно от грубости: какой же это «переворот», когда сейчас же после него пошли Екатерина I, Анна Иоанновна, и так все дальше в том же жестоком, грубом деревянном роде, как и при Петре: пока пришли относительно мягкие Екатерина II и Александр I, и при них «переворот» начался.

Какая разница революции и реформации? Та, что первая протекает в жестких частях человеческого существа и действует на жесткие стороны жизни и жесткими же средствами. И это все не нужно, потому что, прежде всего, неудачно. Какая же «удача» французской революции, когда на нее и на Францию сел верхом Наполеон? Комизм, а не «удача». И оттого, что – грубо. Напротив, пуритане и Кромвель переворот совершили, и на них никто верхом не сел. «Читайте «Отче наш» и осматривайте, сух ли порох в пороховницах». Это совсем не то, что «на вас смотрят сорок веков с этих пирамид». Вот разница Кромвеля и Наполеона, реформации и революции, истории и оперетки.

Мною получено из Москвы письмо, которое я не могу не рассматривать как «первую ласточку»... За эту «ласточку» поднимутся и прилетят такие же: годы 1905–1906, да и все, что с ними связано и за ними последовало, так качнули многие личные существования, многие единичные биографии, что явилась жажда крепко строить и религиозно жить, но вот не в официальном и казенном смысле, а внутреннем. Явилась мысль нового воспитания, явилась мысль новой школы: именно такой, которая взаимодействовала бы с этим нежным могуществом, заложенным в человека, в ребенка еще, и, культивируя эту силу, застраховывала человека и всю его последующую жизнь от подчинения и порабощения грубым стихиям действительности. Но все это гораздо лучше, чем я умею, выражено в письме, из которого я позволю себе привести отрывки: «Я остановилась (пишет женщина) на мысли создать школу, в которой воспитание и обучение велись бы людьми искренно верующими.

Жизнь, ее ужасными толчками, привела меня к полному отрицанию всего существующего направления духа и мысли как в школах, так и в обществе, за их атеизм и бездушие. Непрерывно растущее число самоубийств среди молодежи, однообразно мотивируемое пустотой и отсутствием смысла и цели жизни, нельзя объяснить ничем иным, как полной атрофией религиозного чувства, неизбежно влекущей за собою упадок духа и утрату воли к жизни. Не знаю, чувствует ли теперь себя какой-нибудь отец гарантированным от того, что и из его детей кто-либо не захочет отвергнуть жизнь и умереть. Я лично, мать взрослой дочери и юноши-сына, такой уверенности не испытываю и, тем более, не могу считать себя вправе «laisser faire, laisser passer». Для меня бесспорно, что при существующем позитивно-научном, глубоко антирелигиозном духе наших школ юношество поневоле проникается безверием и нигилизмом, а потому против этого надо начинать со школы. Полемизировать с нашими педагогами, стремиться переделать их было бы, конечно, напрасной затратой сил и времени. И вот я решила, что надо «действовать», т. е. подобрать группу солидарных учителей и воспитателей, людей искренно религиозных и серьезных, и открыть с ними школу. Прилагаю вам свою брошюру «Новая школа-семья и мотивы ее возникновения». Дело налаживается уже сейчас. Большое участие встретила я в московском религиозно-философском кружке, и несколько опытных и убежденных педагогов согласились взять на себя руководство гимназией, нами открытой.

Все это дело у меня и близких моих друзей возникает из самых глубоких побуждений сделать все посильное, чтобы предохранить детей и юношество от растлевающего духа современности».

Так пишет г-жа Г-чъ, написавшая в оправдание и для пропаганды своей мысли книжку «Новая школа-семья и мотивы ее возникновения». Эпиграфом к книжке взяты известные стихи Тютчева:

Не плоть, а дух растлился в наши дни,
И человек отчаянно тоскует

.....

Безверием палим и иссушен,
Невыносимое он днесь выносит...
И сознает свою погибель он,
И жаждет веры...

Стихи эти все объясняют; стихи эти написались пятьдесят лет назад, но именно сейчас чувствуется их особенная правда, их горячая приложимость ко времени и людям.

Дело это только требует великого труда, энергии и религиозных сил.

Дай Бог успеха этому новому, смелому начинанию, полагающему в основу школы религию. Все это очень идет, все это во времени и представляется мне очень даровитым русским делом, и вполне обещающим. Я думаю, не ошибется каждый, кто ему поможет.

В настоящий том Собрания сочинений В. В. Розанова вошли его статьи из газет, журналов и сборников 1913–1915 гг.

Сохраняются те же принципы публикации и комментирования текстов, что и в ранее вышедших томах.

Принятые сокращения: НВ – «Новое Время»; НВип. – Иллюстрированное приложение к «Новому Времени»; Б. п. – Без подписи.

В том не включены статьи Розанова этого периода, уже опубликованные в вышедших томах Собрания сочинений:

Т. 1. Среди художников (1994) – Дункан и ее танцы (НВ. 1913. 16 янв.); Великорусский оркестр В. В. Андреева (НВ. 1913. 25 янв.); Еще о В. В. Андрееве и его народном оркестре (НВ. 1913. 19 апр.; в книге – как «Post scriptum» к предыдущей статье); К пожару Троицкого собора (НВ. 1913. 9 февр.); У Айседоры Дункан (НВ. 1913. 19 февр.); О картине И. Е. Репина «17-е октября» (НВ. 1913. 12 марта); Библиотека А. В. Петрова (НВ. 1913. 20 апр.); Стенная живопись (НВ. 1913. 26 апр.); На концерте Шаляпина (НВ. 1913. 28 апр.); Ипполит Тэн. Путешествие по Италии (НВип. 1913. 2 мая); «Русский Библиофил» за 1913 г. V выпуск (НВ. 1913. 18 сент.); Памяти Ив. Влад. Цветаева (НВ. 1913. 19 сент.).

Т. 4. О писательстве и писателях (1995) – Густая книга (НВ. 1914. 12 и 22 февр.); Споры около имени Белинского (НВ. 1914. 27 июня); Белинский и Достоевский (НВ. 1914. 8 июля); К 50-летию кончины Ал. А. Григорьева (НВ. 1914. 26 сент.); Пушкин и Лермонтов (НВ. 1914. 9 окт.); Один из «стаи славной» (НВ. 1915. 27 февраля); Ломоносов (НВ. 1915. 4 апр.); Новое исследование о Фете (НВ. 1915. 24 сент.).

Т. 7. Легенда о Великом инквизиторе Ф. М. Достоевского (1996) – Не нужно давать амнистию эмигрантам (Богословский вестник. 1913. № 3. С. 644–650); А. С. Суворин и Д. С. Мережковский (НВ. 1914. 25 янв.); Саша Амфитеатров и его эпилог (НВ. 1915. 11 нояб.); К. Леонтьев об Аллополине Григорьеве (НВ. 1915. 9 дек.).

Т. 9. Сахарна (1998) – статьи из газет «Новое Время» и «Земщина», вошедшие в книгу В. Розанова «Обонятельное и осязательное отношение евреев к крови» (СПб., 1914).

Т. 11. Последние листья (2000) – девять статей (НВ. 1914. 19, 20 и 24 июля; 2, 3, 15, 17, 25 и 30 сент.), включенных Розановым в его книгу «Война 1914 года и русское возрождение» (Пг.: «Новое Время», 1915).

Т. 14. Возрождающийся Египет (2002) – Иудеи и иезуиты (НВ. 1913. 27 окт.); В преддверии 1914 года (НВ. 1914. 1 янв.).

В настоящий том также не включены 6 статей Розанова из «Нового Времени» (1914. 28 и 30 окт., 12 нояб., 3, 16, 25 дек.; 1915. 22 марта), опубликованных им затем в сборнике «В чадю войны» (СПб., 1916); этот сборник вошел в следующий том Собрания сочинений Розанова.

1913 год

К съезду по семейному воспитанию (с. 7)

НВ. 1913. 4 янв. № 13224.

...Приличьем стянутая маска... – М. Ю. Лермонтов. «Как часто, пестрою толпою окружен...» (1840).

...в «семейном пансионе» где-нибудь в Интерлакене или Люцерне... – Речь идет о популярных в среде русских курортных городах Швейцарии. В августе 1906 г. название Интерлакен получило широкий резонанс в прессе тех дней: здесь русскими террористами был убит путешественник-француз, ошибочно принятый ими за бывшего министра внутренних дел России П. Н. Дурново.

Приостановка издания «Сочинений К. Леонтьева» (с. 10)

НВ. 1913. 14 янв. № 13234.

План издания... был напечатан в предисловии к первому тому... – О начале и плане этого издания Розанов писал 13 июня 1912 г. в статье «К изданию полного собрания сочинений К. Леонтьева». Статью и комментарий к ней см. в предыдущем томе Собрания сочинений Розанова.

Обновляемый «Морской сборник» (с. 11)

НВ. 1913. 17 янв. № 13237. Подпись: В. Р.

Русский священник на войне (с. 12)

НВ. 1913. 22 янв. № 13242.

«Разрушение и восстановление ада» – Л. Н. Толстой. Разрушение ада и восстановление его (1907).

Остановите этот позор (с. 19)

НВ. 1913. 31 янв. № 13251.

Оправдание Прасолова (с. 22)

НВ. 1913. 1 февр. № 13252. Б. п.

Костромская старина (с. 23)

НВ. 1913. 5 февр. № 13256.

«Старые годы» – ежемесячный журнал «для любителей искусства и старины», выходивший в Петербурге в 1907–1916 годах. Редакторы В. А. Верещагин и П. П. Вейнер.

Любовь возвращается. Роман Н. Н. Русова (с. 25)

НВ. 1913. 10 февр. № 13261.

Взгляд одного попечителя округа на министерство просвещения (с. 26)

НВ. 1913. 12 февр. № 13263.

Впечатления мирянина. «Торжество Православия» в служении Антиохийского Патриарха (с. 30)

Богословский Вестник. 1913. Март. № 3. С. 641–644.

И это проклятие такое страшное. – К этим словам Розанова редакцией «Богословского Вестника» сделано подстрочное примечание: «Понимание церковного анафематствования только как «проклятия» узко и односторонне».

Россия и папство (с. 32)

НВ. 1913. 7 марта. № 13285.

«Истинно, истинно говорю вам: если не умалитесь и не станете, как это дитя, не внидите в Царство Небесное». – Мф. 18,3–4.

П. Я. Чаленко. Независимость христианского учения о нравственности от этики античных философов (с. 40)

НВ. 1913. 9 марта. № 13287.

Голос священника (с. 42)

НВ. 1913. 20 марта. № 13298.

...«...исходил, благословляя»... – Ф. И. Тютчев. «Эти бедные селенья...» (1855).

Там русский дух... там Русью пахнет! – А. С. Пушкин. Руслан и Людмила. Вступление (1825).

«Orientalia» Мариэтты Шагинян (с. 48)

НВ. 1913. 24 марта. № 13302.

Кто б ни был ты, мой друг случайный... – ср. М. Ю. Лермонтов. Сосед (1837). У Лермонтова: Кто б ни был ты, печальный мой сосед, / Люблю тебя, как друга юных лет, / Тебя, товарищ мой случайный...

Психиатры, судьи и «судебные фавориты».
(К «психиатрическому исследованию»
убийц г-жи Тиме) (с. 51)

НВ. 1913. 27 марта. № 13305.

...«влеченье, род недуга»... – А. С. Грибоедов. Горе от ума. Действ. 4, явл. 4 (1824).

Чаадаев и кн. Одоевский (с. 54)

НВ. 1913. 10 апр. № 13319.

Там упражняются в расколах и безверьи... – А. С. Грибоедов. Горе от ума. Д. 3, явл. 21.

Скука, холод и гранит... – А. С. Пушкин. «Город пышный, город бедный...» (1828).

Воскресение Христа – воскресение народов... (с. 62)

НВ. 1913. 14 апр. № 13321. Б. п.

К помощи в добром деле (с. 65)

НВ. 1913. 30 апр. № 13337.

Уголок Бессарабии (с. 67)

НВ. 1913. 21 и 31 мая; 20 июня; 4 июля. № 13358, 13368, 13387, 13401.

По приглашению хозяйки бессарабского имения Е. И. Апостолопуло лето 1913 г. Розанов с женой и дочерью Варей провел в бессарабском поселке Сахарна.

...река «Днестр, широкая до того, что птица не перелетит через него»... – Ср. у Н. В. Гоголя («Страшная месть», 1832): «Редкая птица долетит до середины Днепра».

Не хочу, чтобы и люлька доставалась проклятым ляхам!! – Н. В. Гоголь. Тарас Бульба (1839–1841).

...«в подполье», как назвал Достоевский... – Ф. М. Достоевский. Записки из подполья (1864).

...о первом марта 1881 года... – Имеется в виду убийство террористами русского императора Александра II.

«Бродит лев, рыкая и иский кого поглотить...» – ср. Ам. 3,4.

В очерках византийского монашества Вл. А. Кожевникова... – Кожевников В. А. О значении христианского подвижничества в прошлом и настоящем: В 2 ч. М., 1910 (Религиозно-философская библиотека. Вып. 22–23).

Возле хлебов (с. 87)

НВ. 1913. 16 июля. № 13413.

Очерк связан с поездкой Розанова летом 1913 г. в Бессарабию и продолжает серию «Уголок Бессарабии».

...«все мое, – сказала злато»... – А. С. Пушкин. Золото и булат (1827).

† урожая (с. 92)

НВ. 1913. 6 авг. № 13434.

Очерк является продолжением предыдущего – «Возле хлебов» (НВ. 1913. 16 июля).

Из монастыря домой (с. 98)

НВ. 1913. 3 сент. № 13462.

Завершающий очерк о поездке Розанова в Бессарабию.

«Чаю воскресения мертвых» – см. Символ веры.

Кто меня назвал... – Н. А. Некрасов. «Эй, Иван! (Тип недавнего прошлого)» (1867).

Помните Эпаминонда: «Не вынимайте из груди стрелы, пока воины сражаются»... – ср. Корнелий Непот. О знаменитых иноземных полководцах. М., 1992. С. 63.

Иван Федорович Романов («Рцы») (Некролог)

(с. 104)

НВ. 1913. 22 мая. № 13359.

«Бедный Иорик...» – У. Шекспир. Гамлет (1601).

«Летописец» – общественно-политический ежемесячный журнал, издававшийся И. Ф. Романовым в Петербурге в 1904 – начале 1905 г. (всего вышло 12 номеров). В 1907 – 1913 гг. И. Ф. Романов издавал неперидический (от одного до четырех номеров в год) литературный журнал-газету «Рцы». Розанов говорит обобщенно об обоих этих изданиях.

О важнейшей нужде церкви (с. 106)

НВ. 1913. 28 июня. № 13395.

«Свет Христов просвещает всех» – ср. Ин. 1, 9. Это изречение написано на фронте университетской церкви мученицы Татьяны при Московском университете.

«Даром получили – даром и давайте». – Мф. 10,8.

В нашем училищном мире (с. 110)

НВ. 1913. 1 июля. № 13398.

П. Соколов. История педагогических систем (с. 116)

НВ. 1913. 7 июля. № 13404.

Литературные олеографии (с. 118)

НВ. 1913. 13 и 21 авг. № 13441 и 13449.

«Громвал» – сказочно-богатырская поэма (1802) Г. П. Каменева, одно из первых произведений романтизма в русской литературе.

«Корделия», «Король Лир» – персонажи трагедии У. Шекспира «Король Лир» (1605 – 1606) – Лир, король и его любимая дочь Корделия.

Хорошо поет, собака... – Н. А. Некрасов. Осторожность (1865).

В зобу дыханье сперло... – И. А. Крылов. Ворона и Лисица (1808).

Левин из «Речи» о жестокостях русского суда (с. 130)
НВ. 1913. 28 авг. № 13456.

Гаршин в болезненной мечте о «красном цветке»... – В. М. Гаршин. Красный цветок (1883), рассказ.

Левин из «Речи»... – Розанов говорит о статьях Д. Левина «Наброски» (Речь. 1913. 22 и 24 авг.), в которых автор критически отозвался о предыдущей статье Розанова «Литературные олеографии».

К открытию памятника П. А. Столыпину (с. 134)
НВ. 1913. 5 сент. № 13464. Б. п.

«Цветок на гроб моего Агатона» (с. 137)
НВ. 1913. 6 сент. № 13465.

«Русские Ведомости» – политическая и литературная газета, издававшаяся в Москве в 1863–1918 гг. Тон газете задавали либеральные профессора и земские деятели. С 1905 г. – орган правых кадетов.

В полусвете ученых кафедр (с. 139)
НВ. 1913. 11 и 12 сент. № 13470, 13471.

П. А. Прокошев. Didascalia Apostolorum и первые шесть книг «Апостольских постановлений» (с. 148)
НВ. 1913. 20 сент. № 13479.

Великий наставник юношества (с. 149)
НВ. 1913. 11 окт. № 13500.

«Не трогать того, что покоится» – пословичное выражение, восходящее к Платону; встречается у римского историка Саллюстия («Катилина», XXI, 1).

Люди без лица в себе (с. 155)
Богословский Вестник. 1913. № 11. Ноябрь. С. 686–691.

«Заветы» – ежемесячный литературно-политический журнал, издававшийся в Петербурге в 1912–1914 гг. Издатель – С. А. Иванчина-Писарева.

...Философов в жалобном «Письме в редакцию» газеты «Речь»... – Философов Д. Письмо в редакцию // Речь. 1913. 6 (19) мая.

Он называет участников... Религиозно-философского общества «клопными шкурками»... – Иванов-Разумник Р. В. Литература и общественность. Клопные шкурки // Заветы. 1913. № 2. Февраль. С. 105–114.

В Академии наук... – А. С. Пушкин. На Дондукова-Корсакова (1835).

Памяти Илариона Васильевича Кривенко (с. 159)
НВ. 1913. 5 ноября. № 13525.

Важный исторический труд (с. 160)
НВ. 1913. 15 ноября. № 13535.

...облечены «в виссон и пурпур»... – ср. Исх. 28, 8; Есф. 8, 15.

Идейные споры Л. Н. Толстого и Н. Н. Страхова (с. 163)
НВ. 1913. 24, 25 нояб., 4 дек. № 13544, 13545, 13554.

Печатающаяся в «Современном Мире» переписка... – Л. Н. Толстой. Переписка с Н. Н. Страховым (1870 – 1894 гг.). С предисл. Б. Модзалевского // Современный мир. 1913. № 1–12.

...«Писем о нигилизме», напечатанных Страховым... – Страхов Н. Н. Письма о нигилизме // Русь. 1881. № 23 – 25, 27.

«1-е марта» – убийство террористами 1 марта 1881 г. Александра II.

...как бурса Помяловского. – Имеются в виду «Очерки бursы» (1863) Н. Г. Помяловского.

...«вы отцеживаете комара и поглощаете верблюда». – Мф. 23, 24.

...трехтомного своего труда... – Страхов Н. Н. Борьба с Западом в нашей литературе: Исторические и критические очерки. Кн. 1–3. СПб., 1882–1896; изд. 3-е – Киев, 1898.

...«Кит Китыч так хочет»... – Имеется в виду Тит Титыч Брусков, купец, персонаж пьесы А. Н. Островского «В чужом пиру похмелье» (1856).

Женщина-пылесос и ее лекция в зале Тенишевского училища (с. 172)
НВ. 1913. 8 дек. № 13558.

Новые труды по истории Византии (с. 175)
НВ. 1913. 11 дек. № 13561.

Наша ученая старина (с. 180)
НВ. 1913. 20 и 22 дек. № 13570, 13572.

С Рождеством Христовым!.. (с. 187)
НВ. 1913. 25 дек. № 13575. Б. п.

«Не греет ли солнце добрых и злым»... – ср. Мф. 5, 45.

Вечное Преображение (с. 189)

Статья при жизни Розанова не публиковалась. Написана в 1913 г. и предназначалась для альбома художника М. В. Нестерова. Альбом не был издан, статья сохранилась в архиве художника (Гос. Литературный музей. Фонд 361. Оп. 1, ед. хр. 29). Впервые опубликована в журнале «Советский музей» (М., 1989. № 5. Сентябрь – октябрь. С. 44–47). Печатается по этому тексту.

М. В. Нестеров писал 14 февраля 1924 г. об этой статье Э. Ф. Голлербаху: «Что же до статей В. В. Розанова, то у меня хранится нигде не напечатанная статья обо мне. <...> Статья эта, быть может, самая яркая и наиболее «розановская» из всего им обо мне написанного. Но статья эта едва ли сейчас пройдет в Петербурге, как не прошла она у нас в Москве» (*Нестеров М. В. Письма*. Л.: Искусство, 1988. С. 294).

...в «Явлении Христа Народу» («Молящаяся Русь») ... – Речь идет о картине М. В. Нестерова «Святая Русь» (1901–1906, Государственный Русский музей в Петербурге).

«И небо свилось, как свиток» ... – Откр. 6, 14.

1914 год

На фундаменте прошлого (с. 201)

Богословский Вестник. 1914. Янв. № 1. С. 174–181.

Вор со «Дна» Горького <...> и татарин, и барон, и Сатин, и актер, и проститутка. – Имеется в виду пьеса М. Горького «На дне» (1902) и основные действующие лица этой пьесы.

Я был это лето на юге... – Летом 1913 г. В. Розанов с женой и дочерью Варей отдыхал в Бессарабии, в имении Сахарна, – по приглашению хозяйки имения Е. И. Апостолопуло.

...слышанные из уст очень образованной (по-моему, гениальной) румынки... – Речь идет о хозяйке имения Сахарна Евгении Ивановне Апостолопуло, с которой Розанов был знаком со времен Религиозно-философских собраний в Петербурге (1901–1903). По ее смерти Розанов опубликовал некролог (Русский Библиофил. 1915. № 8).

«Анчар» – стихотворение А. С. Пушкина (1828).

В нашем учебном мире (с. 206).

Московские Ведомости. 1914. 3 янв. № 2. Подпись: М-ведь.

...две неумные и, увы, нисколько не «интересные» барыни в «Мертвых душах». – Имеются в виду персонажи поэмы Н. В. Гоголя «Мертвые души», т. 1, гл. 9 (1842) – «дама просто приятная» и «дама, приятная во всех отношениях».

Уголок Капитолия у Александра Свирского (с. 210).

НВ. 1914. 5 янв. № 13584.

На концерте В. В. Андреева (с. 213).

НВ. 1914. 9 янв. № 13588.

...он давно вышел из стадии нужных рецензий. – В начале 1913 г. Розанов уже дважды писал об Андрееве: «Великорусский оркестр В. В. Андреева» (НВ.

1913. 25 янв.) и «Еще о В. В. Андрееве и его народном оркестре» (НВ. 1913. 19 апр.). Обе эти статьи вошли в книгу Розанова «Среди художников» (СПб., 1914), вышедшую накануне нового, 1914 года.

Центробежные силы в России (К вопросу об инородчине) (с. 214).

НВ. 1914. 14 янв. № 13593.

Евреи – ученики наших школ (с. 218).

Московские Ведомости. 1914. 14 янв. № 10. Подпись: М-ведь.

Вставай, подымайся, /Рабочий народ!! – П. Л. Лавров. Новая песня (1875).

Описание городов (с. 225).

Московские Ведомости. 1914. 17 янв. № 13. Подпись: М-ведь.

Скука, холод и гранит... – А. С. Пушкин. «Город пышный, город бедный...» (1828).

Голос малоросса о неомалороссах (с. 226).

НВ. 1914. 19 янв. № 13598.

«Трудности» для инородцев (с. 230).

НВ. 1914. 24 янв. № 13603.

К Религиозно-философскому собранию 19 января (с. 231).

НВ. 1914. 26 янв. № 13605.

Я был уверен, что... вопрос об «исключении Розанова» пройдет гладко... – Первым пунктом повестки дня заседания петербургского Религиозно-философского общества 19 января 1914 г. был вопрос об исключении Розанова из числа действительных членов общества (в связи с рядом его публикаций о ритуальном отношении евреев к крови и проходившем в Киеве судебном процессе по делу Бейлиса). Розанов на заседании не присутствовал. Согласно § 26 Устава общества решение об исключении могло быть принято $\frac{2}{3}$ голосов всех действительных членов общества, находящихся в Петербурге. Однако при требуемом для кворума числе 83 на заседание пришло лишь 53 действительных члена общества.

Я безгранично благодарен... Вяч. Ив. Иванову и С. А. Алексееву (писатель «Аскольдов»), заговоривших в смысле «неладно»... – На проходившем 26 января 1914 г. очередном заседании Религиозно-философского общества Вяч. Иванов и С. А. Аскольдов вновь выступили против исключения Розанова, в его защиту. Собрание ограничилось принятием резолюции с «осуждением приемов

борьбы, к которым прибегает Розанов» (Записки С.-Петербургского Религиозно-философского общества. СПб., 1914. Вып. 4).

...былых собраний 1903–4 годов. – Розанов имеет в виду Религиозно-философские собрания, проходившие в Петербурге в 1902–1903 гг. (в том же помещении – в зале Географического общества в здании Министерства народного просвещения у Чернышева моста). Розанов был одним из членов-учредителей как Религиозно-философских собраний 1902–1903 гг., так и воссозданного (вместо этих «собраний») в 1907 г. Религиозно-философского общества.

Для берегов отчизны дальней... – из одноименного стихотворения А. С. Пушкина (1830).

«Сто русских литераторов» – издававшаяся петербургским книгопродавцом начала XIX в. А. Ф. Смирдиным серия сборников о писателях. Из 10 задуманных томов А. Смирдину удалось выпустить только три тома (СПб., 1839; 1841; 1845) – по десять литераторов в каждом томе. В начале XX в. появилось другое подобное издание: «Сто русских писателей. Портреты, биографические данные, образцы произведений». Сост. В. А. Никольский. СПб., 1904.

К выпушкам, петличкам, орденочкам – ср. реплику Скалозуба в комедии А. С. Грибоедова «Горе от ума», д. III, явл. 12 (1822–1824).

Но ближе к милому пределу... – А. С. Пушкин. «Брожу ли я вдоль улиц шумных...» (1829).

Таков, Фелица, я развратен. – Г. Р. Державин. Фелица (1782).

Во вчерашней статье... – Статья Розанова «А. С. Суворин и Д. С. Мережковский» (НВ. 1914. 25 янв. № 13604) в настоящем Собрании сочинений опубликована в томе: *Розанов В. В. Собр. соч.* [Т. 7]. Легенда о Великом инквизиторе Ф. М. Достоевского. М., 1996. С. 600–601.

Вал. Алекс. Серов на посмертной выставке (с. 236).
НВ. 1914. 31 янв., 2 февр. № 13610 и 13612. Вторая часть статьи имеет заглавие: Вал. Алекс. Серов на своей посмертной выставке.

Нет великого Патрокла... – В. А. Жуковский. Торжество победителей (1828). Перевод баллады И. К. Ф. Шиллера «Победный праздник» (1803).

...вся «гаагская конференция»... – серия проходивших в Гааге в 1899–1907 гг. международных мирных конференций, выработавших в виде «Гаагских конвенций» ряд важных положений международного права (о законах и обычаях войны, о правах нейтральных стран, о порядке мирного разрешения международных споров и т. п.).

Ежегодные 25 тысяч рублей на народную музыку (с. 241).

НВ. 1914. 5 февр. № 13615.

Старый поновленный спор (с. 243).

НВ. 1914. 9 февр. № 13619.

...заключительную речь г. Карташова, с большим подъемом сказанную... – Речь идет о заседании Религиозно-философского общества 26 января 1914 г.

Д. В. Философов ее печатает в «Русск. Слове»... – Философов Д. Вертоград многоцветный // Русское Слово. 1914. № 27. 2 февр.

В. Розанов в 1895 году... – Упоминаемая Розановым статья опубликована им в 1894 г.: Русский Вестник. СПб., 1894. № 7. С. 198–235.

Назад!! (с. 248).

НВ. 1914. 23 февр. № 13632.

Письмо в редакцию (с. 251).

НВ. 1914. 25 февр. № 13634.

Как поступят «День» и «Русские Ведомости»... – Объявления о книге Розанова в этих газетах не печатались.

Пимен Карпов и его «Говор зорь» (с. 252).

Прямой Путь. СПб., 1914. Март. № 3. С. 148–158.

Уважение к вековым правилам (По поводу письма Н. С. Таганцева) (с. 260).

НВ. 1914. 1 марта. № 13638.

Еще погребенный «социологами» (Из мартирола русской литературы) (с. 262).

НВ. 1914. 2, 16, 21, 25 марта, 4 апр. № 13639, 13653, 13658, 13662, 13672. II, III и V части статьи в газете опубликованы с изменением названия: Еще похороненный «социологами».

В начале этой зимы в «Русской Мысли» были помещены прекрасные очерки... – Ветринский Ч. [В. Е. Чешихин]. Глеб Успенский в 70-е и 80-е годы (Биографические заметки) // Русская Мысль. 1913. № 8. С. 23; № 9. С. 32.

...даже г. Антекман... в своей статье... – Антекман О. В. Страница из «скорбного листа» Г. И. Успенского (По личным воспоминаниям) // Русское Богатство. 1909. № 7. С. 92–124; № 9. С. 181–209.

Да разве «Влас»... не «рыцарь»? – Речь идет о герое стихотворения Н. А. Некрасова «Влас» (1855).

... «Дульциня Тобосская»... – персонаж романа Мигеля де Сервантеса «Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский» (1605–1615), идеальная возлюбленная, дама сердца Дон Кихота.

В параллель... нужно поставить «Бородинскую годовщину» Белинского... – Белинский В. Г. Бородинская годовщина В. Жуковского // Отечественные

Записки. СПб., 1839. № 10; *Белинский В. Г.* Очерки Бородинского сражения Ф. Глинки // Отечественные Записки. СПб., 1839. № 12.

... «*свиной Иваныч*»... – персонаж повести Г. И. Успенского «Наблюдения Михаила Ивановича» (1869).

Жизнью пользуюсь живущий... – В. А. Жуковский. Торжество победителей (1828).

Сорок медведей поддел на розатину... – Н. А. Некрасов. В деревне (1854).

И я там был, / Мед, пиво пил... – Ср. А. С. Пушкин. Руслан и Людмила. Поэма. Песнь первая (1820).

«Дон-Кихот» в Народном доме (с. 276).

НВ. 1914. 4 марта. № 13641.

На выставке картин А. А. Борисова (с. 278).

НВ. 1914. 9 марта. № 13646.

К помощи материнству (Концерт для увеличения средств «Капли молока») (с. 280).

НВ. 1914. 13 марта. № 13650.

«Где бы помолиться?» (с. 284).

НВ. 1914. 27 марта. № 13664.

...«*свет Христов – просвещает всех*». – Ср. Ин. 1,9 – 17. Надпись на фронтоне церкви Мученицы Татианы – домашней церкви Московского университета.

«Ступени». Веры Рудич (с. 287).

НВ. 1914. 31 марта. № 13668.

Еще о неотложной нужде строить в Петербурге храмы (Письмо в редакцию) (с. 290).

НВ. 1914. 5 апр. № 13673.

«*Где бы помолиться*» – статья В. Розанова в «Новом Времени», 1914, 27 марта. – См. выше в настоящем томе.

С Светлым Воскресением!.. (с. 292).

НВ. 1914. 6 апр. № 13674. Б. п.

Передовая статья пасхального номера газеты.

Вечные памятки (Ал. Ал-на Винницкая и Н. Г. Граммати) (с. 294).

НВ. 1914. 10 апр. № 13676.

Вдохновляющая старина (с. 296).

НВ. 1914. 12 апр. № 13678.

Когда бы все так чувствовали силу... – А. С. Пушкин. Моцарт и Сальери. Сцена II (1830).

На печальном остатке жизни (с. 299).

НВ. 1914. 15 апр. № 13681.

Александр Платонович Барсуков (с. 301).

НВ. 1914. 19 апр. № 13685.

Интересная книга (с. 302).

НВ. 1914. 20 апр. № 13686.

Из судеб русской литературы и общественности (с. 305).

НВ. 1914. 2 мая. № 13698.

...слова Пушкина о Чацком... – А. С. Пушкин в письме П. А. Вяземскому (28 января 1825 г.) передает свое впечатление от чтения комедии «Горе от ума»: «Чацкий совсем не умный человек – но Грибоедов очень умен».

Интересное знакомство... (с. 309).

НВ. 1914. 4 мая. № 13700.

По поводу письма Э. Л. Беренса (с. 312).

НВ. 1914. 9 мая. № 13705.

В «Речи» г. Левин уже назвал г. Беренса «евреем-рenegатом, каких было много»... – Левин Д. Нос г. Розанова и письмо г. Беренса // Речь. 1914. 5 мая. № 120; Он же. Сочинители // Речь. 1914. 8 мая. № 123.

Ученицы Дункан (с. 315).

НВ. 1914. 17 мая. № 13713.

Г. К. Лукомский. Старинные театры (с. 317).

НВ. 1914. 22 мая. № 13718.

Столетний юбилей И. Г. Фихте (с. 319).

НВ. 1914. 7 июня. № 13733.

Науки юношей питают... – М. В. Ломоносов. Ода... Елисавете Петровне (1747).

К вопросу о епископах «бельцах» и монахах (с. 321).
НВ. 1914. 13 июня. № 13739.

...шестой собор... – Имеется в виду 3-й Константинопольский (или 6-й Вселенский) собор христианских церквей, проходивший в 680–681 гг. в Константинополе.

Двое Беспятовых, критик и беллетрист (с. 326).
НВ. 1914. 18 июня. № 13744.

Георгий Чулков... написал... и озаглавил его «Сатана». – Роман Г. Чулкова опубликован в 5-й книге альманаха «Жатва» в мае 1914 г. (отд. изд. – 1915 г.).

...И. Игнатов... в «Русских Ведомостях»... – *Игнатов И.* Литературные отголоски: Георгий Чулков. «Сатана» // Русские Ведомости. М., 1914. 7 июня. № 130.

Трусливый маленький зверок... – Роберт Бернс. К полевой мыши, разоренной моим плугом (1785). Перевод М. Л. Михайлова (1856).

Наброски (с. 332).
НВ. 1914. 21 июня. № 13747.

...выпустив отдельным томом переписку Л. Н. Толстого с Н. Н. Страховым. – Переписка Л. Н. Толстого с Н. Н. Страховым. СПб.: Общество Толстовского музея, 1914 (Толстовский музей, т. 2). Предисл. и примеч. Б. Л. Модзалевского. 478 с.

**Н. Н. Глубоковский. Высокопреосвященный
Смарагд (с. 334).**
НВ. 1914. 23 июня. № 13749.

Что ты спишь, мужичок, – ведь весна на дворе... – из одноименного стихотворения А. В. Кольцова (1839).

Не извольте беспокоиться, ваше благородие (с. 337).
НВ. 1914. 3 июля. № 13759.

**Проф. Кузьмин-Караваев о суде над петербургскими
адвокатами (с. 339).**
НВ. 1914. 15 июля. № 13771.

«Вестник Европы» – ежемесячный журнал, издававшийся в Москве в 1866–1918 гг.

Лишь захочу – воздвигнутся чертоги... – А. С. Пушкин. Скупой рыцарь. Сцена II (1830).

«Балалайкин», – определял их Щедрин. – Тип продажного беспринципного адвоката – приспособленца Балалайкина выведен М. Е. Салтыковым-Щедри-

ным в серии сатирических очерков «В среде умеренности и аккуратности» (1873–1878) и «Современная идиллия» (1877–1883).

«Адвокат – купленная совесть», – формулировал Достоевский... – Ср.: Ф. М. Достоевский. Братья Карамазовы. Кн. 5. Гл. 4 (1880). У Достоевского: «аблакат – нанятая совесть».

Узнаю коней ретивых... – А. С. Пушкин. Из Анакреона (1835).

Песни прекрасного мальчика (с. 348).

НВ. 1914. 25 июля. № 13781.

... «тайны вечности и гроба», о которых говорит Пушкин. – Ср.: А. С. Пушкин. Евгений Онегин. Глава вторая, строфа XVI (1825).

Помощь семействам запасных и деятельность церковных приходов (с. 355).

НВ. 1914. 4 авг. № 13791.

... великое и нравственное значение начавшейся войны... – 19 июля (1 авг. нов. ст.) 1914 г. Германия объявила войну России, 21 июля (3 авг.) – Франции; 22 июля (4 авг.) в войну вступила Англия. Началась Первая мировая война (1914–1918).

Из истории «неудавшихся портретов»... (с. 356).

НВ. 1914. 8 авг. № 13795.

... «Из одного альбома»... – К книгам М. В. Безобразовой, имевшей степень доктора философии (Бернского университета), Розанов уже обращался, например, в «Людах лунного света» (1911).

Чем кумушек считать трудиться... – И. А. Крылов. Зеркало и Обезьяна (1816).

Пий X (с. 363).

НВ. 1914. 10 авг. № 13797.

... около «хлопот Марфы» о внешнем, об обстановке, доме, о пропитании. – Имеется в виду евангельская притча о посещении Иисусом дома Марфы и ее сестры Марии. – Лк. 10, 38–42.

Кто победит «зеленого змия» (с. 365).

НВ. 1914. 17 авг. № 13804.

Не нужно золота ему, / Когда сырой продукт имеет. – А. С. Пушкин. Евгений Онегин. Гл. 1, VII (1823). У Пушкина – ... Когда простой продукт имеет.

К 100-летию Московской духовной академии (с. 368).

НВ. 1914. 3 окт. № 13851.

Сегодняшний день (Сбор в пользу Польши) (с. 370).
НВ. 1914. 11 окт. № 13859.

... *«Лепта вдовицы»* – Мр. 12, 42–44; Лк. 21, 2–4.

Водка, пиво, вина (с. 371).
НВ. 1914. 15 окт. № 13863.

Владимир св. сказал: «Не можем без того быти...» – По свидетельству летописца Нестора, такими словами киевский князь Владимир Святославич (ум. 1015 г.) обосновал отказ от предложения магометанских проповедников принять их религию, когда узнал, что магометанство запрещает употребление вина.

Еще о «питии» (с. 373).
НВ. 1914. 17 окт. № 13865.

«Только на вынос» (с. 375).
НВ. 1914. 19 окт. № 13867. Б. п.

Из нужных советов и писем (с. 377).
НВ. 1914. 23 окт. № 13871.

Врач или больной? (с. 379).
НВ. 1914. 7 ноября. № 13886.

Он придирается к выражению моей статьи, что Россия «не будет царством зеленого змия». – Речь идет о статье Розанова «Голоса народные о водке, вине и пиве» (Новое Время. 1914, 28 и 30 окт.); включена автором в книгу «В чадую войны» (Пг., 1916).

Критические заметки (с. 383).
НВ. 1914. 18 нояб. № 13897.

«Вешние Воды» – студенческий научно-литературно-художественный журнал, выходивший в Петрограде в 1914–1918 гг. под редакцией М. М. Спасовского.

Записки Дьяконовой... – «Дневник...» Е. А. Дьяконовой, трагически погибшей, был издан ее братом в трех томах (СПб., 1904–1905) и выдержал несколько изданий.

Дружно гребите во имя Прекрасного... – А. К. Толстой. Против течения (1867).

«Все горе вылил на бумаге» (Письмо крестьянина о войне и немцах) (с. 386).
НВ. 1914. 20 нояб. № 13899.

«Поскобли русского – и увидишь татарина»... – это высказывание Наполеона из его бесед на острове Святой Елены Розанов, очевидно, цитирует по роману Ф. М. Достоевского «Подросток» (1875).

«Крепкие напитки» и пожары (с. 390).
НВ. 1914. 26 нояб. № 13905.

Крестьянство о вине и налогах (с. 392).
НВ. 1914. 5 дек. № 13914.

Через какие щели просачивается водка в население (с. 394).
НВ. 1914. 7 дек. № 13916.

Выздоровливающая Россия (с. 396).
НВ. 1914. 13 дек. № 13922.

На лекции кн. Е. Н. Трубецкого (с. 398).
НВ. 1914. 14 дек. № 13923.

Еще о неполучении теплых вещей, посылаемых в армию родными (с. 400).
НВ. 1914. 15 дек. № 13924.

Спешно... (с. 401).
НВ. 1914. 19 дек. № 13928.

<С. Н. Тройницкий. Фарфоровые табакерки...> (с. 403).
НВ. 1914. 21 дек. № 13930.

«Гербовник». – Имеется в виду ежемесячный журнал «Гербовед», выходивший в Петербурге в 1913–1914 гг.; редактор-издатель С. Н. Тройницкий. Вышло 24 номера.

...около Скотининых, Простаковых, около Фамусовых и Скалозубов... – Речь идет о персонажах комедий Д. И. Фонвизина «Недоросль» (1781) и А. С. Грибоедова «Горе от ума» (1824).

«Библиофил». – Имеется в виду историко-литературный и библиографический журнал «Русский Библиофил», выходивший в Петербурге в 1908–1916 гг. Редактор-издатель Н. В. Соловьев; с конца 1915 г. – В. А. Верещагин.

«Старые Годы» – журнал-ежемесячник «для любителей искусства и старины», выходивший в Петербурге в 1907–1916 гг. под редакцией В. А. Верещагина и П. П. Вейнера.

Евгений Иванов. В лесу и дома. Рассказы (с. 405).
НВ. 1914. 28 дек. № 13935.

«Иначе я поступить не мог» (с. 406).

Печатается по рукописи (газетные гранки снятой с набора статьи, с правой автором) (РГАЛИ. Фонд 419. Оп. 1. Ед. хр. 173, л. 14–20). На 1-й странице гранок сбоку, наискосок, – поясняющая надпись Розанова: «Айхенвальд». Датируется 1914 г., продолжает тему, начатую Розановым в статьях «Споры около имени Белинского» (НВ. 1914. 27 июня. № 13753) и «Белинский и Достоевский» (НВ. 1914. 8 июля. № 13764) – см.: *Розанов В. В. Собр. соч. [Т. 4]. О писательстве и писателях. М., 1995. С. 585–600.*

...читал г. Иванова-Разумника... – Иванов-Разумник Р. В. Правда или кривда? // Заветы. СПб., 1913. № 12. С. 75–84 (II пагинация).

...третий том «Силуэтов русских писателей», 2-е издание... – Айхенвальд Ю. И. Силуэты русских писателей. Вып. 2. 2-е изд. М.: «Мир», 1913.

...возмутивший проф. Сакулина, г. Ляцкого... «Силуэт Белинского»... – Сакулин П. Белинский – миф // Русские Ведомости. М., 1913. 4 окт. № 228; Сакулин П. Психология Белинского // Голос Минувшего. 1914. Апрель. № 4; Ляцкий Е. Господин Айхенвальд около Белинского // Современник. 1914. Январь. № 1. С. 111–118.

«Спор о Белинском...» – Айхенвальд Ю. И. Спор о Белинском. Ответ критикам. М.: «Мысль», 1914. 100 с.

Бежит зефир, / Струит эфир. – Ср.: А. С. Пушкин. «Ночной зефир струит эфир...» (1824).

Будешь умы уловлять, будешь помощник царям... – А. С. Пушкин. Отрок (1930).

...Елизавета Кускова года три назад на всю Россию расплакалась... – Кускова Е. Раненые // Русские Ведомости. М., 1911. 17 июля. № 164; Она же. Еще о «раненых» // Русские Ведомости. М., 1911. 17 декабря. № 290.

1915 год

В новолетие 1915 года... (с. 417).

НВ. 1915. 1 янв. № 13939. Б. п.

...уже с 19 июля мы вступили в какую-то небывало новую годину... – в этот день 1914 г. Германия объявила войну России.

Латинская и германская культуры (К заседанию в Сорбонне, посвященному латинской культуре) (с. 420).

НВ. 1915. 4 февр. № 13973.

Н. В. Соловьев. История одной жизни.

А. А. Воейкова – Светлана (с. 423).

НВ. 1915. 10 февр. № 13979.

К оживлению местной старины (с. 424).

НВ. 1915. 11 февр. № 13980.

Монополия аптечного дела и аптекарских товаров
(с. 426).

НВ. 1915. 18 февр. № 13987.

Памяти Федора Евгеньевича Корша (1843–1915 гг.)
(с. 428).

НВ. 1915. 26 февр. № 13995.

К съезду попечителей учебных округов (с. 430).

НВ. 1915. 1 марта. № 13998.

Ужасное 1 марта... – 1 марта 1881 г. бомбой, брошенной народовольцами, был убит император Александр II.

Механическая работа (с. 432).

НВ. 1915. 4 марта. № 14001.

Каким трудом трудятся в гимназиях (с. 434).

НВ. 1915. 8 марта. № 14005.

На бенефисе В. В. Андреева (с. 438).

НВ. 1915. 8 марта. № 14005. Подпись: В. Р-в.

50-й (юбилейный) патриотический концерт

М. И. Долиной (с. 438).

НВ. 1915. 13 марта. № 14010.

Как была выработана европейская интеллигенция
(с. 439).

НВ. 1915. 15 марта. № 14012.

Упрощение программ (с. 441).

НВ. 1915. 25 марта. № 14021.

...Реймский собор... – собор Нотр-Дам (XIII–XIV вв.) в городе Реймсе на северо-востоке Франции, шедевр французской готики. В начале Первой мировой войны получил серьезные повреждения от обстрела немецкой артиллерией; стал символом жестокости и варварства Германии в этой войне.

Сегодня мы похоронили «Эль-Эса» (с. 445).
НВ. 1915. 28 марта. № 14024.

Моего ль вы знали друга?.. – У. Шекспир. Гамлет (1601).

Труды М. В. Ломоносова (с. 446).
НВ. 1915. 4 апр. №14031. Подпись: В. Р-нов.

**О «вычетах за повышение» у вдов убитых
воинов (явное недоразумение и недосмотр) (с. 452).**
НВ. 1915. 15 апр. № 14042.

О баптистах Саратовской губ. (с. 453).
НВ. 1915. 18 апр. № 14045.

Дорогая книжная новинка (с. 454).
НВ. 1915. 23 апр. № 14050.

И погромче нас были витии. – Ср. Н. А. Некрасов. Убогая и нарядная (1859).
... «Гамлет» и «Дон-Кихот»... – имеется в виду статья И. С. Тургенева
«Гамлет и Дон-Кихот» (1860).

Задачи организации средней школы (с. 456).
НВ. 1915. 27 апр. № 14054.

...«по неотступности вашей дано будет вам»... – Ср. Мф. 7,7; Лк. 11, 8–9.

К организации гимназии (с. 459).
НВ. 1915. 4 мая. № 14061.

«Солдат» или «воин»? (с. 462).
НВ. 1915. 5 мая. № 14062.

Русские могилы в иноверных странах (с. 463).
НВ. 1915. 14 мая. № 14070.

**Д. И. Введенский... Патриарх Иосиф и Египет
(с. 465).**
НВ. 1915. 26 мая. № 14082.

Отпечатание... «Истории древнего Востока»... – Тураев Б. А. История
Древнего Востока. СПб., 1911–1912. Ч. 1–2.

**Проф. Вл. Ив. Герье и его «Философия истории
от Августина до Гегеля» (с. 467).**
НВип. 1915. 13 июня. №14100. С. 5–6.

Из писем с войны (с. 469).

НВ. 1915. 15 июня. №14102.

Задача истории (с. 470).

НВ. 1915. 1 июля. № 14118.

Отцы-воспитатели русского общества (с. 473).

НВ. 1915. 4 и 31 июля. № 14121 (части I–III) и № 14148 (части IV–VI).

«Все – суета сует»... – Екк. 1, 2.

Когда волнуется желтеющая нива... – из одноименного стихотворения М. Ю. Лермонтова (1837).

«Современник»... – имеется в виду журнал, издававшийся в Петербурге с 1847 по 1866 г. Н. А. Некрасовым и И. И. Панаевым.

Перед Государственной Думой (с. 485).

НВ. 1915. 12 июля. №14129. Б. п.

Идя в Государственную Думу... (с. 486).

НВ. 1915. 19 июля. №14136. Б. п.

В Государственной Думе 19 июля (с. 489).

Вешние Воды. Пг., 1915. Т. 11–12. Кн. II–III. С. 136–137.

...19 июля... – первое заседание очередной сессии Государственной Думы было приурочено к дню годовщины начала Первой мировой войны.

Все «те же», вечно «те же»... (с. 490).

Московские Ведомости. 1915. 28 июля, 13 авг., 3 и 10 окт. № 173, 186, 227 и 233. Подпись: Петроградский старожил.

«Русское Богатство» – литературный, научный и политический журнал, издававшийся в Петербурге в 1876–1918 гг.; с 1892 г. журнал приобрел народническое направление при идейном руководстве Н. К. Михайловского и В. Г. Короленко; с 1905–1907 гг. стал органом народных социалистов.

«Русские Записки» – журнал, выходивший в Петрограде с 1914 г. по март 1917 г. вместо «Русского Богатства» (приостановленного военной цензурой) – при том же составе редакции.

«Русские Ведомости» – политическая и литературная газета, издававшаяся в Москве в 1863–1918 гг.; с 1905 г. – орган кадетов.

«Отечественные Записки»... – ежемесячный журнал, издававшийся в Петербурге в 1839–1884 гг., с 1867 г. редактировался Н. А. Некрасовым, М. Е. Салтыковым-Щедриным и Г. З. Елисеевым; в 1877 г., после смерти Некрасова, в редакцию вошел Н. К. Михайловский.

...не эндимеоновская красота покоряет женщину... – В греческой мифологии Эндимион, прекрасный юноша, внук Эола, за свою красоту взятый Зевсом на небо.

... «Так говорит Заратустра» – книга Ф. Ницше (1884).

«Северные Записки» – литературно-политический ежемесячный журнал, издававшийся в Петрограде с января 1913 г. по январь 1917 г.; издатель – С. И. Чацкина.

...говорит Гурмыжская своей приживалке Улите. – Речь идет о персонажах сатирической комедии А.Н. Островского «Лес» (1870).

«Аз есмь благ». – Ср. Мк. 10, 18.

К. Чуковский. Поэзия грядущей демократии (с. 515).
НВ. 1915. 10 авг. № 14158.

... «Энеида наизнанку»... – Розанов, по-видимому, имеет в виду ироикомическую поэму Н. П. Осипова и А. Котельницкого «Вергилиева Энеида, вывороченная наизнанку» (1796, 1808). Известен и ряд других подобных переделок «Энеиды», как правило получивших театральное воплощение.

Еще о «демократии», Уитмене и Чуковском (с. 519).
НВ. 1915. 13 авг. № 14161.

Библейская флора... (с. 522).
НВ. 1915. 8 сент. № 14187.

Сборник памяти Анны Павловны Философовой (с. 523).
НВ. 1915. 13 сент. № 14192.

Около войны и воюющих (с. 525).
НВ. 1915. 26 сент. № 14205.

Письмо в редакцию (с. 526).
НВ. 1915. 26 сент. № 14205.

«Жало» – общественно-политический и юмористический еженедельник, выходивший в Харькове с 1906 по 1917 год; в отдельные периоды – под названием «Настоящее жало».

«Синий журнал» – иллюстрированный литературно-художественный и юмористический еженедельник, издававшийся в Петербурге с декабря 1910 г. М. Г. Корнфельдом.

Анатолий Федорович Кони (К 50-летию его общественной и государственной деятельности) (с. 526).
НВ. 1915. 1 окт. № 14210.

Гр. Анри де-Кастри. Ислам и христианство в эпоху завоеваний и владычества арабов (с. 529).
НВ. 1915. 5 окт. № 14215.

Книга памяти князя Олега (с. 531).
НВ. 1915. 8 окт. № 14217.

<И. С. Бердников (Некролог)> (с. 538).
НВ. 1915. 21 окт. № 14230.

Одна из дерзких книг (с. 539).
НВ. 1915. 29 окт. № 14238.

М. Б<еренсон>. Антоний, митрополит С.-Петербургский и Ладужский (с. 546).
НВ. 1915. 1 нояб. № 14241.

Не дремли, Русь... (с. 548).
НВ. 1915. 4 ноября. № 14244.

«Неси, Русь, всяк что может...» (с. 549).
НВ. 1915. 7 нояб. № 14247.

В литературных перспективах (с. 550).
НВ. 1915. 10 нояб. № 14250.

...новая пьеса Л. Андреева... – речь, очевидно, идет о психологической драме Л. Н. Андреева «Мысль» (1914).

П. Б. Струве о «Записках» С. М. Соловьева и о времени Александра III (с. 551).
НВ. 1915. 15 нояб. № 14255.

Н. Манасеина. Царевны. Историческая повесть (с. 553).
НВ. 1915. 19 нояб. № 14259.

Туркестанские произрастания (с. 555).
НВ. 1915. 29 нояб. № 14269.

Ив. Смольянинов. Серые шинели (с. 558).
НВ. 1915. 14 дек. № 14284. Подпись: В. Р-в.

К помощи слепым!!!! (с. 559).
НВ. 1915. 21 дек. № 14291.

Книга о старом и вечно новом (с. 560).
НВ. 1915. 22 дек. № 14292.

С Рождеством Христовым! (с. 563).
НВ. 1915. 25 дек. № 14295.

Открытое письмо к г-же Вере Воскресенской
(с. 566).
Вешние Воды. 1915. № 7. С. 182–184.

**Помощь сиротам, пострадавшим при взрыве
на Охтенском заводе** (с. 568).
Вешние Воды. 1915. № 7. С. 207.

Предисловие к студенческому сборнику (с. 568).
Студенческий сборник. Пг.: Изд. журнала «Вешние
Воды», 1915. С. 7–8.

В интеллигентном угаре (с. 569).
Студенческий сборник. Пг.: Изд. журнала «Вешние
Воды», 1915. С. 55–62.

«Вехи» – «Вехи. Сборник статей о русской интеллигенции», изданный в
Москве в 1909 г. Авторами сборника выступали: Н. А. Бердяев, С. Н. Булгаков,
М. О. Гершензон, Б. А. Кистяковский и др.

...закон 3 июня... – Императорским указом 3 июня 1907 г. была распущена
II Государственная дума и утвержден новый избирательный закон, создавший
заметные преимущества правым консервативным движениям.

«Европеец» – «журнал наук и словесности», издававшийся в 1832 г. в Моск-
ве И. В. Киреевским. Вышло всего два номера.

По мне уж лучше пей, да дело разумей! – И. А. Крылов. Музыканты (1808).
В долгу ночь на ветке дремлет... – А. С. Пушкин. Цыганы (1824).

**Кто и за что дерется в теперешней войне? (Опять
социалы)** (с. 576).
Студенческий сборник. Пг.: Изд. журнала «Вешние
Воды», 1915. С. 156–160.

ДОПОЛНЕНИЕ

Религиозное движение (Наша анкета) (с. 581).
Голос Москвы. 1913. 14 июня. № 136.

В. Н. Дядичев

- Аарон*, в Ветхом Завете первосвященник, брат Моисея – 312
- Аввакум* (Аввакум Петрович) (1620/1621–1682), протопоп, глава и идеолог русского церковного раскола, писатель, сожжен – 142
- Август* Гай Юлий Цезарь Октавиан (63 до н. э. – 14 н. э.), римский император (с 27 до н. э.) – 24, 37
- Августин* Аврелий (354–430), христианский церковный деятель, теолог, философ, писатель – 61, 157, 168, 467, 468, 560, 561
- Авенариус* Василий (Вильгельм) Петрович (1839–1923), писатель – 535
- Аверроэс* (Ибн Рушд) (1126–1198), арабский философ и врач – 51
- Авраам*, в Ветхом Завете старший из патриархов, прародитель еврейского народа – 311
- Аврелий* Марк (121–180), римский император (с 161), из династии Антонинов и философ-стоик – 168
- Агриппа* Марк Випсаний (ок. 63–12 до н. э.), римский полководец, сподвижник Августа – 24
- Адамович* В. И., профессор, деятель народного просвещения – 470
- Адриан* Публий Элий (76–138), римский император (с 117), из династии Антонинов – 81
- Азеф* Евгений Филиппович (Евно Фишелевич) (1869–1918), один из основателей и лидеров партии эсеров, секретный сотрудник Департамента полиции (с 1893), разоблачен (1908), умер за границей – 129, 131, 224, 568
- Айзман* Давид Яковлевич (1869–1922), прозаик и драматург – 576
- Айхенвальд* Юлий Исаевич (1872–1928), литературный критик – 406–414
- Аксаков* Иван Сергеевич (1823–1886), публицист, поэт, философ, историк, общественный деятель, издатель, один из идеологов славянофильства – 28, 137, 332, 339
- Аксаков* Константин Сергеевич (1817–1860), публицист, историк, лингвист, поэт, один из идеологов славянофильства – 28, 35, 137, 332, 339
- Аксаков* Николай Петрович (1848–1909), публицист, критик, философ, историк, богослов, чиновник Государственного контроля – 378
- Аларих I* (ок. 370–410), король германского племени вестготов (с 395) – 504
- Александр I* (1777–1825), российский император (с 1801) – 66, 183, 184, 369, 386, 463, 523, 582
- Александр II* (1818–1881), российский император (с 1855) – 63, 207, 270, 306, 322, 359, 369, 386, 474, 484, 524, 552
- Александр III* (1845–1894), российский император (с 1881) – 207, 369, 386, 484, 552
- Александр*, епископ Вологодский – 426
- Александр Македонский* (356–323 до н. э.), царь Македонии (с 336 до н. э.), полководец – 151, 309, 310, 472
- Александр Михайлович* (1866–1933), великий князь, сын великого князя Михаила Николаевича, муж сестры Николая II Ксении Александровны – 463
- Александр Свирский* (ум. 1533), основатель и игумен монастыря близ Олонца, названного его именем – 212, 284
- Александра Федоровна* (урожд. Алиса Виктория Елена Луиза Беатриса Гессен-Дармштатская) (1872–1918), российская императрица, жена Николая II (с 1894) – 239
- Алексеев* (псевд. Аскольдов) Сергей Алексеевич (1871–1945), философ – 231
- Алексей Михайлович* (1629–1676), царь (с 1645) – 257, 553, 554, 561
- Алкивиад* (ок. 450–404 до н. э.), афинский политический деятель и полководец – 572
- Амбровиш* Мошех, гимназист, исключенный из гимназии – 219
- Амвросий Медиоланский* (ок. 340–397), христианский церковный деятель, епископ Медиолана (ныне Милан), писатель, проповедник, автор гимнов, специфического церковного напева – 157
- Амфитеатров* Александр Валентинович (1862–1938), прозаик, драматург, публи-

- цист, фельетонист, критик – 156, 158, 163, 379
- Амьель* Анри Фредерик (1821–1881), швейцарский франкоязычный писатель и философ – 168
- Андерсон* В. М., историк и библиограф, принимал участие в составлении «Русского некрополя в чужих краях» – 464, 465
- Андреев* Василий Васильевич (1861–1918), музыкант, организатор и руководитель первого оркестра русских народных инструментов – 213, 214, 241–243, 282, 438
- Андреев* Леонид Николаевич (1871–1919), писатель – 413, 550, 576
- Андрей* (Первозванный), в Новом Завете апостол – 336
- Андромаха*, в греческой мифологии жена Гектора – 9
- Анна Иоанновна* (Анна Ивановна) (1693–1740), российская императрица (с 1730), дочь царя Ивана V – 446, 447, 582
- Анненков* Павел Васильевич (1813–1887), литературный критик и мемуарист – 479, 484, 485
- Антоний* (Александр Васильевич Вадковский) (1846–1912), митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский (с 1898) – 151, 546, 547
- Антоний* (Алексей Павлович Храповицкий) (1863–1936), церковный деятель и богослов, архиепископ Волынский и Житомирский (с 1902), архиепископ Харьковский (1914), с 1919 г. в эмиграции – 321
- Антонин Пий* (86–161), римский император (с 138), из династии Антонинов – 37, 289
- Антонов* Николай Родионович, священник, религиозный писатель – 231
- Антонович* Максим Алексеевич (1835–1918), литературный критик, сотрудник журнала «Современник» (1860–1866) – 164
- Антонский-Прокопович* Антон Антонович (ум. 1848), преподавал в благородном пансионе (гимназии) при Московском университете, затем в самом университете (профессор натуральной истории, минералогии), ректор университета (1816–1826), председатель Общества любителей российской словесности – 185, 186
- Аптекман* Осип Васильевич (1849–1926), народник, один из создателей организаций «Земля и воля» и «Черный передел», мемуарист – 264
- Апушкин*, военный историк и публицист – 378
- Аракчеев* Алексей Андреевич (1769–1834), политический и военный деятель, пользовался большим влиянием при Александре I – 205, 437
- Аристид* (ок. 540–467 до н. э.), афинский полководец и политический деятель – 356, 472
- Аристотель* (384–322 до н. э.), древнегреческий философ и ученый-энциклопедист – 215, 256
- Аркадий* (377–408), император Восточной Римской империи (с 395) – 178
- Арриан* Флавий (между 95 и 175), древнегреческий историк и писатель – 309
- Арсений*, архимандрит, настоятель монастыря – 150
- Арсений Грек* (ум. после 1666), церковный деятель, по поручению патриарха Никона руководил работой по исправлению богослужебных книг – 161
- Арсеньев* Константин Константинович (1837–1919), юрист, критик, публицист, политический и общественный деятель – 208, 209
- Архангельский* Александр Семенович (1854–1926), историк русской литературы, автор труда «К истории древнерусской литературы. Творения отцов церкви в древнерусской письменности» (1888) – 360
- Арцыбашев* Михаил Петрович (1878–1927), писатель – 30, 48
- Асклепий*, в греческой мифологии бог врачевания – 24
- Астафьев* Николай Александрович (1825–1906), историк, автор сочинения «Опыт истории Библии в России» (1888) – 360
- Атилла* (Аттила) (ум. 453), предводитель гуннов (с 434), при котором этот союз племен достиг наивысшего могущества – 171, 299, 504
- Багратион* Петр Иванович (1765–1812), генерал от инфантерии, командующий армией в Отечественную войну 1812 г. – 229
- Баженов* Василий Иванович (1737/1738–1799), архитектор – 226
- Байрон* Джордж Ноэл Гордон (1788–1824), английский поэт, член палаты лордов (1809) – 140, 206
- Бакст* (наст. фам. Розенберг) Лев Самойлович (1866–1924), живописец, график, театральный художник – 238

- Бакунин Михаил Александрович** (1814–1876), революционер, теоретик анархизма – 171, 172, 266, 274–276, 371, 512
- Балас Надежда Петровна**, общественная деятельница – 284
- Бальмонт Константин Дмитриевич** (1867–1942), поэт – 445, 511, 550, 551
- Баренс** (Баренц) **Виллем** (ок. 1550–1597), голландский мореплаватель – 451
- Барсуков Александр Платонович** (1844–1914), историк – 301, 302
- Барсуков Иван Платонович** (1841–1906), археограф, историк церкви – 301, 302
- Барсуков Николай Платонович** (1838–1906), историк литературы и общественной мысли, библиограф, археограф, историограф, издатель, мемуарист – 28, 301, 302
- Бартенев Петр Иванович** (1829–1912), историк, археограф, библиограф – 406
- Барятинский Александр Иванович**, генерал-поручик – 181
- Батюшков Константин Николаевич** (1787–1855), поэт – 182, 297
- Баур Фердинанд Кристиан** (1792–1860), немецкий протестантский теолог и историк – 163
- Бах Иоганн Себастьян** (1685–1750), немецкий композитор, органист, клавесинист – 300
- Башмаков Я.**, петербургский издатель – 206, 522
- Безобразова Мария Владимировна** (1857–1914), философ и историк философии – 356–363, 524
- Бейлис Мендель Тевье** (ок. 1874–1934), приказчик кирпичного завода в Киеве, обвиненный в ритуальном убийстве 13-летнего Андрея Ющинского и на судебном процессе (1913) признанный невиновным, после процесса уехал за границу – 232, 233, 247, 312, 313, 315, 344–346
- Бекет Фома** (Томас) (1118–1170), архиепископ Кентерберийский (с 1162), канцлер Англии (с 1155) – 177
- Белинский Виссарион Григорьевич** (1811–1848), литературный критик, публицист, мыслитель, общественный деятель – 274–276, 306, 406–414, 455, 476, 550
- Беллюстин Иван Степанович** (1820–1890), священник, публицист – 326
- Белов Евгений Александрович** (1826–1895), историк – 225
- Белый Андрей** (наст. имя и фам. Борис Николаевич Бугаев) (1880–1934), писа-
- тель, публицист, теоретик символизма – 511
- Беляев Юрий Дмитриевич** (1876–1917), драматург, театральный критик, сотрудник газеты «Новое время» – 371
- Бенкендорф Александр Христофорович** (1781, по др. данным 1783–1844), политический и военный деятель, шеф корпуса жандармов и начальник Третьего отделения – 55
- Бентам Иеремия** (Джереми) (1748–1832), английский философ, экономист, юрист, родоначальник этики утилитаризма – 58–60, 62
- Бенуа Александр Николаевич** (1870–1960), художник, историк искусства, художественный критик – 238, 239
- Бердников Илья Степанович** (1841–1915), богослов, занимался проблемами церковного (канонического) права – 538, 539
- Березкин Д. М.**, инспектор народных училищ – 522
- Беренс Эдуард Людвигович**, историк, востоковед, российский консул в Трапезунде (Малая Азия), почетный член Археологического института – 309–314
- Бёрне Людвиг** (1786–1837), немецкий публицист и литературный критик – 541, 543
- Борнс** (Бёрнс) **Роберт** (1759–1796), шотландский поэт – 329, 330, 520
- Бетховен Людвиг ван** (1770–1827), немецкий композитор, пианист, дирижер – 300, 471, 544
- Бикерман Иосиф Менассиевич** (1867–?), публицист, журналист, издатель – 347
- Бисмарк Отто фон Шёнхаузен** (1815–1898), первый рейхсканцлер Германской империи (1871–1890) – 320, 387, 388, 422, 423, 472, 487, 574
- Благосветлов Григорий Евлампиевич** (1824–1880), публицист, журналист, сотрудник, а затем и фактический издатель журнала «Русское слово» – 164, 447, 456
- Боборыкин Петр Дмитриевич** (1836–1921), писатель – 56
- Боголепов Николай Павлович** (1846–1901), министр народного просвещения (с 1898), смертельно ранен Карповичем – 125
- Богораз Владимир Германович** (наст. имя Натан Менделевич), псевдоним В. Г. Тан (1865–1936), этнограф и писатель – 61, 74

- Богров** Дмитрий Григорьевич (Мордко (Мордехай) Гершкович) (1887–1911), член террористического кружка анархистов-коммунистов, одновременно агент Киевского охранного отделения, смертельно ранил П. А. Столыпина, повешен по приговору военного суда – 221, 224
- Бодуэн де Куртенэ** Иван Александрович (1845–1929), языковед – 207, 441, 445
- Боккачио** (Боккаччо) Джованни (1313–1375), итальянский писатель – 86
- Бокль** Генри Томас (1821–1862), английский историк и социолог-позитивист – 46, 62, 211, 212
- Болотов** Василий Васильевич (1853/1854–1900), церковный историк, богослов, филолог – 149, 151–155, 161
- Болотова** (урожд. Вишнякова) Мария Ивановна (ум. 1899), мать В. В. Болотова – 150
- Бональд** Луи Габриель Амбруаз (1754–1840), французский философ, политический деятель, публицист – 570
- Бонифаций VIII** (Бенедетто Казтани) (1234–1303), папа римский (с 1294) – 561
- Борджиа** (Борджа) Родриго-Александр VI (1430, по др. данным 1431–1503), папа римский (с 1492) – 36, 38
- Борисов** Александр Алексеевич (1866–1934), живописец, график, путешественник – 278–280
- Борк** (Бёрк) Эдмунд (1729–1797), английский политический деятель, идеолог консерватизма – 572
- Боровиковский** Василий Иванович, отставной военный, внук В. Л. Боровиковского – 66, 67
- Боровиковский** Владимир Лукич (1757–1825), живописец – 65, 66
- Браун** Федор Александрович (1862–?), филолог-германист, профессор Высших женских (Бестужевских) курсов – 207
- Бреверн де Лагарди** Н. А., внук А. А. Воейковой, его мать Мария Александровна Воейкова (1826–1906), фрейлина, отец генерал-адъютант Александр Иванович Бреверн де Лагарди (1814–1890) – 424
- Бредихин** Федор Александрович (1831–1904), астроном – 450
- Брем** Альфред Эдмунд (1829–1884), немецкий зоолог – 527
- Бриллиантов** Александр Иванович (1867–1933), богослов, историк философии – 149, 150, 153–155, 161
- Бродский** Л. К., чиновник Синода – 522, 523
- Брюсов** Валерий Яковлевич (1873–1924), писатель, критик, переводчик, литературно-общественный деятель – 414, 511
- Будда** (букв. просветленный), имя, полученное основателем буддизма Сиддхартхой Гаутамой (623–544 до н. э.) – 332, 482
- Булгаков** Сергей Николаевич (1871–1944), философ, богослов, экономист, публицист – 10, 321
- Буренин** Виктор Петрович (1841–1926), публицист, поэт, литературный критик – 414
- Бурцев** Владимир Львович (1862–1942), публицист, участник революционного движения, издатель историко-революционного журнала (вначале сборник) «Былое», разоблачитель агентов охраны (Азефа и др.), в основном в эмиграции – 131, 365
- Буслаев** Федор Иванович (1818–1897), филолог, искусствовед, палеограф – 48, 140, 429, 437, 443, 455
- Бутлеров** Александр Михайлович (1828–1886), химик-органик – 150
- Бэкон** Фрэнсис (1561–1626), английский философ и политический деятель – 112, 360, 361
- Бюхнер** Людвиг (1824–1899), немецкий врач, естествоиспытатель, философ – 165, 166
- Вагнер** Рихард (1813–1883), немецкий композитор, дирижер, реформатор оперного искусства – 61, 300, 541
- Вальсамон** Феодор (ок. 1140 – после 1195), византийский канонист (толкователь церковного, канонического, права) – 154
- Ван Дейк** Антонис (1599–1641), фламандский живописец – 101
- Варсонофий**, настоятель монастыря – 79, 83, 84
- Василий Блаженный** (ок. 1469–1557), московский юродивый, обличал власть имущих – 198
- Василий Великий** (ок. 330–379), христианский церковный деятель, богослов, епископ Кесарийский (Малая Азия) – 105
- Васильев** Иосиф Васильевич (1821–1881), протоиерей, религиозный писатель – 522, 523
- Васнецов** Виктор Михайлович (1848–1926), живописец – 206

- Введенский** Дмитрий Иванович (1873–?), религиозный историк, профессор библейской истории в Московской духовной академии – 465, 466
- Веласкес** (Родригес де Сильва Веласкес) Диего (1599–1660), испанский живописец – 171
- Веллингтон** Артур Уэлсли (1769–1852), английский полководец, фельдмаршал – 216
- Вельяшева** Екатерина Павловна, подруга гимназических лет М. С. Шагинян – 48
- Венгеров** Семен Афанасьевич (1855–1920), историк литературы и общественной мысли, библиограф – 156, 207, 269, 274, 276
- Венявский** Генрик (1835–1880), польский скрипач и композитор – 224
- Вербицкая** (урожд. Зяблова) Анастасия Алексеевна (1861–1928), писательница – 41, 173, 412, 413, 433, 437, 454, 455
- Верди** Джузеппе (1813–1901), итальянский оперный композитор – 61
- Верещагин** Василий Андреевич, критик, историк, редактор, публицист – 296, 298, 299, 550
- Виардо** (Виардо-Гарсия) Полина (1821–1910), французская певица (меццо-сопрано), композитор – 479, 485
- Виклиф** (Уиклиф) Джон (1330–1384), английский религиозный реформатор – 177
- Вильгельм I** (1797–1888), прусский король (с 1861) и германский император (с 1871), из династии Гогенцоллернов – 472
- Вильгельм II** (1859–1941), германский император и прусский король (1888–1918) из династии Гогенцоллернов – 387, 470, 472, 487, 549, 577, 578
- Винавер** Максим Моисеевич (1863–1926), юрист, один из основателей партии кадетов, член ее ЦК, затем редактор и издатель – 229, 230, 409
- Винберг** Владимир Карлович (1836–?), депутат IV Государственной думы (кадеты) – 368
- Виницкая** (наст. фам. Будзианик) Александра Александровна (1847–1914) – писательница, мемуаристка – 221, 294, 295
- Виргилий** (Вергилий, Публий Вергилий Марон) (70–19 до н. э.), римский поэт – 444, 450
- Виталий**, архимандрит Почаевской лавры – 329, 330
- Витте** Сергей Юльевич (1849–1915), председатель Комитета министров (с 1903), Совета министров (1905–1906), под его руководством составлен Высочайший Манифест 17 октября 1905 г., мемуарист – 239, 373
- Владимир I** (Владимир Святый) (ум. 1015), князь Новгородский (с 969/970), великий князь Киевский, ввел на Руси в качестве обязательной религии христианство – 372
- Владимир II Мономах** (1053–1125), князь Смоленский (с 1067), Черниговский (с 1078), Переяславский (с 1094), великий князь Киевский (с 1113) – 145
- Воейкова** (урожд. Протасова) Александра Андреевна (1795–1828), жена поэта, переводчика, критика, издателя Александра Федоровича Воейкова, племянница В. А. Жуковского, который посвятил ей балладу «Светлана» в качестве свадебного подарка – 423, 424
- Войтинский** Владимир Савельевич (1885–1960), писатель, политический деятель, экономист – 118–130
- Волкова** Е. Н., председательница «Северного кружка любителей изящных искусств» (Вологда) – 426
- Волконская** Александра Николаевна (1756–1834), дочь генерал-фельдмаршала Н. В. Репнина – 181
- Вольнский** Аким Львович (наст. имя и фам. Хаим Лейбович Флексер) (1861–1926), критик, историк и теоретик искусства – 328
- Вольней** Константен Франсуа де Шасебёф (1757–1820), французский философ и писатель – 570
- Вольтер** (наст. имя и фам. Франсуа Мари Аруэ) (1694–1778), французский писатель и философ-просветитель – 32, 152, 570
- Вольф** Фридрих Август (1759–1824), немецкий филолог – 470, 472
- Воронихин** Андрей Никифорович (1759–1814), архитектор – 226
- Воронцовы**: Александр Романович (1741–1805), государственный деятель и дипломат, канцлер (1802–1804); Михаил Илларионович (1714–1767), государственный деятель и дипломат, участник дворцового переворота 1741 г., канцлер (1758–1762) – 205
- Воскресенская** Вера, курсистка, корреспондентка Розанова – 566

- Востоков* (наст. фам. Остенок) Александр Христофорович (1781–1864), филолог, палеограф, поэт – 227
- Врангель* Фердинанд Фердинандович (1844–1919), гидролог, автор жизнеописания С. О. Макарова, директор Александровского музея – 11, 157
- Вульфius* Александр Германович (1880–?), историк – 207
- Высоцкий* Николай Гаврилович (1876–?), церковный историк, автор книг о хлыстовстве и скопчестве – 522, 523
- Вяземский* Петр Андреевич (1792–1878), поэт, критик, мемуарист – 406
- Г-чъ*, корреспондентка Розанова – 583
- Гаврилов* А. М., автор поэмы «Антихрист» – 555, 557
- Гагарин* Иван Сергеевич (1814–1882), писатель, публицист, дипломат, уехав из России, перешел в католичество (1842) и вступил в орден иезуитов – 465
- Гайдебуров* Павел Александрович (1841–1893/1894), издатель, писатель, публицист – 270
- Галахов* Алексей Дмитриевич (1807–1892), историк литературы, автор выдержавшей десятки изданий «Русской хрестоматии» и других учебных пособий – 46
- Гален* (ок. 130 – ок. 200), римский врач и естествоиспытатель – 250
- Гальбе* Макс (1865–?), немецкий драматург – 471
- Гатон* Георгий Аполлонович (1870–1906), священник, организатор «Собрания русских фабрично-заводских рабочих Петербурга», инициатор шествия к Зимнему дворцу 9 января 1905 г., был разоблачен как агент охранки, повешен – 567, 568
- Гарнак* Адольф фон (1851–1930), немецкий протестантский теолог и историк – 177
- Гарт*, автор книги о России – 312
- Гаршин* Всеволод Михайлович (1855–1888), писатель – 131, 379, 494, 495
- Гваренги* (Кваренги) Джакомо (1744–1817), архитектор – 226
- Гегель* Георг Вильгельм Фридрих (1770–1831), немецкий философ – 306, 320, 467, 468
- Гейм* Иван Андреевич (1758–1821), статистик и географ, родом из Германии, в России с 1779 г., с 1804 г. преподавал в Московском университете, был деканом и ректором – 184
- Гейне* Генрих (1797–1856), немецкий поэт и публицист – 429, 541–544
- Гейнрих* Готфрид (XVIII в.), немецкий астроном – 449
- Гейсмар*, барон, обвиняемый в убийстве Тиме – 54
- Гейссер* Людвиг (1818–1867), немецкий историк – 208
- Гексли* (Хаксли) Томас Генри (1825–1895), английский биолог, соратник Дарвина и пропагандист его учения – 165
- Гектор*, в греческой мифологии троянский герой – 9
- Гелиогабал* (Элагабал) (Цезарь Марк Аврелий Антонин Август) (204–222), римский император (с 218) – 39
- Гельвег* (Гельвих) Николай Карлович (1867–?), филолог, специалист по римской словесности – 207
- Гельмгольц* Герман Людвиг Фердинанд (1821–1894), немецкий естествоиспытатель – 250
- Георгиевский* Григорий Петрович (1866–1948), хранитель рукописного отдела Румянцевского музея – 473, 475
- Георгий Михайлович* (1863–1919), сын великого князя Михаила Николаевича, нумизмат, коллекционер, управляющий Русским музеем, председатель Русского генеалогического общества, расстрелян в Петропавловской крепости – 463
- Гераклит Темный* (ок. 576 – ок. 480 до н. э.), древнегреческий философ – 499
- Гердер* Иоганн Готфрид (1744–1803), немецкий философ, писатель, критик, теолог – 468, 471
- Геродот* (490/480 – ок. 425 до н. э.), древнегреческий историк – 240
- Герцен* Александр Иванович (1812–1870), писатель, публицист, философ, общественный деятель – 169, 172, 266, 274–276, 306–309, 414, 429, 476
- Герцештейн* Михаил Яковлевич (1859–1906), экономист, один из основателей партии кадетов и авторов ее аграрной программы, депутат I Государственной думы, убит черносотенцами – 61, 74, 92, 580
- Гершензон* Михаил Осипович (1869–1925), историк русской литературы и общественной мысли, публицист, философ, переводчик – 55, 254, 546
- Гершуни* Григорий Андреевич (Герш Ицкович) (1870–1908), один из организаторов и лидеров партии эсеров, возглав-

- лял ее Боевую организацию, в 1904–1906 гг. на каторге, умер за границей – 129, 294, 465
- Герье Владимир Иванович* (1887–1919), историк, один из организаторов высшего женского образования – 49, 157, 429, 467, 468, 560, 562, 563
- Гессен Иосиф Владимирович* (1865, по др. данным 1866–1943), юрист, публицист, один из основателей и лидеров партии кадетов, депутат II Государственной думы, редактор газеты «Речь» – 339, 451
- Гёте Иоганн Вольфганг* (1749–1832), немецкий писатель, мыслитель, естествоиспытатель – 166, 167, 357, 471, 516, 542, 543
- Гильдебрант* (Гильдебранд) – Григорий VII (1015/1020 – 1085), папа римский (с 1073) – 61, 561
- Гиляров-Платонов Никита Петрович* (1824–1887), публицист, философ, историк, издатель – 35, 137, 322, 369
- Гиппиус Татьяна Николаевна* (1877–1957), художница, сестра З. Н. Гиппиус – 405
- Гиппократ* (ок. 460 – ок. 370 до н. э.), древнегреческий врач – 250
- Глубоковский Николай Никанорович* (1863–1937), богослов и историк церкви – 157, 161, 334, 335, 337, 369, 372
- Глюк Кристоф Виллибальд* (1714–1787), немецкий композитор – 300
- Говоруха-Отрок Юрий Николаевич* (1850–1896), литературный и театральный критик, писатель, публицист – 362
- Гогенцоллерны*, династия прусских королей (1701–1918) и германских императоров (1871–1918) – 418, 419, 549
- Гоголь Николай Васильевич* (1809–1852), писатель – 67, 217, 226, 229, 233, 236, 382, 409, 479, 525, 541
- Голенищев Владимир Семенович* (1856–1947), египтолог, с 1915 г. жил в Египте – 465
- Голицын Сергей Федорович* (1749–1810), генерал от инфантерии, член Государственного совета – 298
- Голицына* (урожд. Грузинская) Анна Александровна (1763–1842), жена генерала-лейтенанта Бориса Андреевича Голицына, участника Отечественной войны 1812 г. – 298
- Голицына* (урожд. Энгельгардт) Варвара Васильевна (1757–1815), племянница Г. А. Потемкина, жена С. Ф. Голицына – 298
- Голубев*, меценат – 294
- Голубинский* (наст. фам. Песков) Евгений Евстигнеевич (1834–1912), историк церкви – 161
- Голубинский Федор Александрович* (1797–1854), протоиерей, богослов и философ – 368
- Гольц Кольмар фон дер* (Гольц-паша) (1843–?), прусский генерал, военный теоретик и публицист, был адъютантом султана Абдель-Гамида, реорганизовал турецкую армию по прусскому образцу (1883–1895) – 422
- Годнев*, возможно, Иван Васильевич (1856–?), доктор медицины, приват-доцент Казанского университета, депутат III и IV Государственных дум, затем государственный контролер – 438
- Гомер*, полупоэтический древнегреческий эпический поэт – 83, 175, 316, 444, 470, 472, 559
- Гончаров Иван Александрович* (1812–1891), писатель – 474
- Гораций* (Квинт Гораций Флакк) (65–8 до н. э.), римский поэт – 429
- Горнфельд Аркадий Георгиевич* (1867–1941), литературовед, критик, переводчик – 129, 130, 491
- Горский Александр Васильевич* (1812–1875), доктор богословия, церковный историк, ректор Московской духовной академии (с 1864) – 369
- Горький Максим* (наст. имя и фам. Алексей Максимович Пешков) (1868–1936), писатель, публицист, общественный деятель – 202, 203, 239, 240, 328, 414, 517, 519
- Гофман Виктор Викторович* (Виктор Бальтазар Эмиль) (1884–1911), писатель, критик, переводчик – 410, 411, 414
- Гофман Людвиг* (1852–?), немецкий архитектор – 471
- Гофман Эрнст Теодор Амадей* (1776–1822), немецкий писатель, композитор, художник – 471, 545
- Гоц Михаил Рафаилович* (1866–1906), один из организаторов и руководителей партии эсеров, с 1900 г. в эмиграции, член Заграничного комитета, представитель ЦК партии за границей – 129, 224
- Граммати Н. Г.* (ум. 1914), сослуживец Розанова по Государственному контролю – 294, 296
- Грановский Тимофей Николаевич* (1813–1855), историк, публицист, общественный деятель – 205, 306, 429, 445, 468

- Гревс* Иван Михайлович (1860–1941), историк, профессор Высших женских (Бесстужевских) курсов – 207
- Грибоедов* Александр Сергеевич (1790, по др. данным 1795–1829), писатель и дипломат – 56, 182, 226, 233, 456, 474, 479, 525, 541
- Григорий I Великий* (ок. 540–604), папа римский (с 590) – 61
- Григорий VII* – см. Гильдебрандт (Гильдебранд)
- Григорий XIII* (Уго Бонкомпаньи) (1502–1583), папа римский (с 1572), провел реформу календаря – 152
- Григорович* Дмитрий Васильевич (1822–1899/1900), писатель – 410
- Григорьев* Аполлон Александрович (1822–1864), критик, поэт, переводчик, мемуарист – 362, 414, 455, 456
- Гримм* Эрвин Давидович (1870–?), историк, профессор Высших женских (Бесстужевских) курсов – 207
- Гриневицкий* Игнатий Иоахимович (ок. 1856–1881), член партии «Народной воли», главный исполнитель покушения на Александра II 1 марта 1881 г. – 362
- Грифцов* Борис Александрович (1885–1950), переводчик, критик, литературовед, искусствовед – 10
- Грот* Джордж (1794–1871), английский историк и политический деятель, автор «Истории Греции» – 576
- Грузенберг* Оскар Осипович (1866–1940), юрист (адвокат) и общественный деятель, защитник на процессе Бейлиса, с 1917 г. в эмиграции (на портрете В. А. Серова изображен с женой) – 277, 311, 314
- Гудсон* (Гудзон) Генри (ок. 1550–1611), английский мореплаватель – 451
- Гумбольдт* Александр фон (1769–1859), немецкий естествоиспытатель, географ – 34
- Гус* Ян (1371–1415), чешский религиозный реформатор – 177
- Гучков* Александр Иванович (1862–1936), лидер октябристов, предприниматель, председатель III Государственной думы (март 1910 – март 1911) – 277
- Давид*, царь Израильско-Иудейского государства (ок. 1004 – ок. 965 до н. э.) – 47, 203, 283
- Даль* Владимир Иванович (1801–1872), писатель, лексикограф, этнограф, врач – 227, 441
- Данилевский* Николай Яковлевич (1822–1885), социолог, философ, естествоиспытатель, публицист – 332, 384
- Данте Алигьери* (1265–1321), итальянский поэт и политический деятель – 33, 34, 39, 445
- Дарвин* Чарлз Роберт (1809–1882), английский естествоиспытатель – 165, 218, 566
- Дежнев* Семен Иванович (ок. 1605–1673), землепроходец, открыл пролив между Азией и Америкой – 451
- Дейтрих*, юрист, участник съезда криминалистов – 261
- Деянов* Иван Давыдович (1818–1897), министр народного просвещения (с 1882) – 28
- Демидов* Павел Григорьевич (1738–1821), основатель Демидовского лицея (или училища высших наук) в Ярославле, филантроп – 184
- Дервиз* фон (урожд. Симонович) Надежда Яковлевна, двоюродная сестра В. А. Серова и жена его близкого друга, соученика по Академии художеств Владимира Дмитриевича фон Дервиза (1859–1937) – 240
- Державин* Гавриил (Гаврила) Романович (1743–1816), поэт и политический деятель – 411, 519
- Де-Фое* (Дефо) Даниель (ок. 1660–1731), английский писатель – 535
- Дидро* Дени (1713–1784), французский философ и писатель – 570
- Диккенс* Чарлз (1812–1870), английский писатель – 443, 541, 572
- Димитриев* (Дмитриев) Иван Иванович (1760–1837), поэт – 297
- Дильтей* Вильгельм (1833–1911), немецкий философ и историк культуры – 359
- Диоген Синопский* (ок. 400 – ок. 325 до н. э.), древнегреческий философ-киник – 151
- Диоклетиан* Гай Аврелий Валерий (243–313/316), римский император (284–305) – 212, 264
- Дионео* (наст. имя и фам. Исаак Владимирович (Вульфович) Шкловский) (1864, по др. данным 1863 или 1865–1935), писатель, публицист, критик, переводчик – 491
- Дмитриева* Валентина Иововна (1859–1947), писательница – 490, 491, 493–496, 498–502, 504, 505, 507–509, 511, 513
- Дмитрий Константинович* (1860–1919), великий князь, сын великого князя Константина Николаевича, главноуправля-

- ющий государственным коннозаводством, генерал от кавалерии, расстрелян в Петропавловской крепости – 534
- Добролюбов Николай Александрович* (1836–1861), литературный критик, публицист, постоянный сотрудник журнала «Современник» – 156, 164, 165, 485
- Добролюбов Николай Павлович* (1861–?), протоиерей, религиозный писатель – 368
- Добровольский Петр Иванович* (1840–1908), писатель и публицист – 253
- Долгорукий (Долгоруков) Иван Михайлович* (1764–1823), поэт, мемуарист – 424
- Долгорукий (Долгоруков) Яков Федорович* (1639–1720), сподвижник Петра I, сенатор (с 1712) – 202, 486
- Долина (по мужу Горленко) Мария Ивановна* (1868–1919), певица (контральто) – 438, 439
- Долматов, обвиняемый в убийстве Тиме* – 54
- Домициан Тит Флавий* (51–96), римский император (с 81), из династии Флавиев – 212, 564
- Донателло* (наст. имя Донато ди Никколо ди Бетто Барди) (ок. 1386–1466) – итальянский скульптор – 300
- Достоевский Михаил Михайлович* (1820–1864), писатель, переводчик, издатель, брат Ф. М. Достоевского – 455
- Достоевский Федор Михайлович* (1821–1881), писатель и мыслитель – 56, 57, 71, 131, 155, 263, 275, 326–331, 342, 384–386, 406, 410, 455, 475, 476, 482
- Драгомиров Михаил Иванович* (1830–1905), командующий войсками Киевского военного округа, киевский генерал-губернатор (1898–1900) – 532
- Дризен (фон дер Остен-Дризен) Николай Васильевич* (1868–1935), театральный деятель, историк театра, мемуарист – 222
- Дрэнтер Джон Уильям* (1811–1882), американский естествоиспытатель и историк – 28
- Дункан Айседора* (1877–1927), американская танцовщица – 289, 301, 315–317, 319
- Дьяконова Елизавета Александровна* (1874–1902), публицист, автор «Дневника», погибла в горах Тироля – 383
- Дягилев Сергей Павлович* (1872–1928), театральный и художественный деятель, организатор «Русских сезонов» (с 1907) и группы «Русский балет» (с 1911) за границей – 238, 239
- Евсеев Иван Евсеевич* (1868–1921), филолог, библист – 109
- Екатерина I Алексеевна* (урожд. Марта Скаврнская) (1684–1727), российская императрица (с 1725), вторая жена Петра I (официально с 1712) – 582
- Екатерина II Алексеевна* (урожд. Софья Фредерика Августа Анхальт-Цербстская) (1729–1796), российская императрица (с 1762) – 202, 386, 446, 452, 544, 545, 582
- Елизавета Маврикиевна* (урожд. принцесса Елизавета Августа Мария Агнеса Саксен-Альтенбургская) (1865–1927), жена великого князя Константина Константиновича (с 1884) – 438, 568
- Елизавета Петровна* (1709–1761/1762), российская императрица (с 1741), дочь Петра I – 64, 180, 403, 446, 447, 452
- Елисеев Григорий Захарович* (1821–1891), публицист, сотрудник журналов «Современник» и «Отечественные записки» – 164
- Ельняевский Сергей Яковлевич* (1854–1933), писатель, публицист, общественный деятель, врач – 273
- Ермолов Алексей Петрович* (1772, по др. данным 1777–1861), начальник Главного штаба 1-й Западной армии в 1812 г., с 1816 г. командир Отдельного Грузинского (Кавказского) корпуса, главноуправляющий в Грузии – 490
- Ермолов, внук А. П. Ермолова*, выпускник Московского университета, офицер, георгиевский кавалер, контуженный на фронте – 490
- Ефименко* (урожд. Ставровская) Александра Яковлевна (1848–1918), историк и этнограф, профессор Высших женских (Бестужевских) курсов, погибла от рук бандитов – 206–209
- Ефремовский А. А.*, орловский дворянин – 107, 109
- Ешевский Степан Васильевич* (1829–1865), историк, профессор Московского и Казанского университетов – 429, 468
- Желябов Андрей Иванович* (1851–1881), один из руководителей «Народной воли», организатор убийства Александра II 1 марта 1881 г. – 209, 298
- Жиркевич Александр Владимирович* (1857–1927), писатель, военный юрист и историк, коллекционер – 42, 131–133
- Жорес Жан* (1859–1914), французский социалист, антимилитарист, убит в канун Первой мировой войны – 580

- Жуковский Василий Андреевич** (1783–1852), поэт, переводчик, литературный критик – 182, 183, 205, 326, 423, 424, 569
- Жуковский Юлий Галактионович** (1833–1907), публицист, экономист, историк общественной мысли – 58
- Зайцев Варфоломей Александрович** (1842–1882), публицист, критик, сотрудник радикального журнала «Русское слово» – 156, 447
- Зарин Сергей Михайлович** (1875–?), профессор Санкт-Петербургской духовной академии – 109
- Засулич Вера Ивановна** (1849–1919), участница революционного движения, критик, публицист – 132
- Захаров Андреян Дмитриевич** (1761–1811), архитектор – 226
- Захарьин Григорий Антонович** (1829–1897/1898), терапевт, основатель клинической школы, филантроп – 101
- Зубов Валентин Платонович** (1884–1969), профессор истории искусств в Петербургском университете, директор государственного музея в Гатчине – 319
- Иван (Иоанн) IV Грозный** (1530–1584), первый русский царь (с 1547), из династии Рюриковичей – 198, 204, 386
- Иванов Вячеслав Иванович** (1866–1949), поэт, публицист, филолог, переводчик, теоретик символизма – 231, 232, 244, 246
- Иванов Евгений Павлович** (1879–1942), публицист и детский писатель – 405, 406
- Иванов Иван Иванович** (ум. 1869), слушатель Петровской земледельческой академии, убит С. Г. Нецаевым и его соучастниками – 328
- Иванов Иван Иванович** (1862–1929), литературный и театральный критик, историк – 305, 306, 308
- Иванов И. И.** (ум. 1912), юный поэт – 348
- Иванов-Разумник** (наст. имя и фам. Разумник Васильевич Иванов) (1878–1946), критик, публицист, историк русской литературы и общественной мысли – 156–158, 406, 408
- Иванцов-Платонов Александр Михайлович** (1835–1894), протоиерей, церковный историк и писатель, профессор Московского университета – 369
- Иванчин-Писарев Александр Иванович** (1849–1916), публицист, деятель революционного движения, мемуарист – 264, 273
- Игнатов Илья Николаевич** (1856–1921), критик, публицист, один из редакторов (1907–1914) газеты «Русские ведомости» – 326–332
- Игнатович Вячеслав**, студент, один из издателей журнала «Вешние воды» – 385
- Изгоев** (наст. фам. Ланде) **Александр (Аарон) Соломонович** (1872–1935), публицист, журналист, член ЦК партии кадетов – 130, 254
- Иисус Христос** – 12, 13, 32, 35, 36, 38–40, 42, 43, 55, 62, 65, 148, 159, 170, 171, 177, 187, 188, 197, 257, 259, 292–295, 304, 305, 312, 322, 323, 326, 332, 333, 364, 370, 382, 420, 422, 423, 444, 454, 482, 494, 542, 544, 563–566
- Ильин Иван Александрович** (1882, по др. данным 1883–1954), философ, теоретик культуры, религии – 320
- Иннокентий**, настоятель монастыря – 79
- Иннокентий III** (Джованни Лотарио, граф де Сеньи) (1160–1216), папа римский (с 1198) – 560–563
- Иоаким и Анна**, согласно христианской легенде, родители Богоматери Марии – 24
- Иоанн (Владимир Соколов)** (1818–1869), епископ Смоленский, проповедник и канонист (специалист по церковному праву) – 322
- Иоанн Богослов**, в Новом Завете апостол – 105
- Иоанн Кронштадтский** (Иоанн Ильич Сергиев) (1829–1908), протоиерей, православный проповедник и писатель – 101, 325
- Иоанникий** (Иван Максимович Руднев) (1826–1900), митрополит Московский и Коломенский (1883–1891) – 162
- Иов**, ветхозаветный праведник – 336, 370, 446
- Иоллос Григорий Борисович** (1859–1907), публицист, один из редакторов газеты «Русские ведомости», депутат I Государственной думы, смертельно ранен по заказу черносотенцев – 139, 580
- Иосиф**, ветхозаветный патриарх – 465, 466
- Иосиф**, в Новом Завете плотник, обрученный с Богоматерью Марией – 564
- Исаак**, ветхозаветный патриарх – 311
- Исаия** (IX–VIII вв. до н. э.), ветхозаветный пророк – 516

- Каблиц Осип (Иосиф) Иванович* (1848–1893), публицист, народник – 296
- Казанский Петр Евгеньевич* (1866–?), юрист, педагог, декан юридического факультета Новороссийского университета в Одессе (с 1908) – 201, 203, 204
- Каиша Иосиф*, иудейский первосвященник (назначен римлянами в 18–37 гг.) согласно Новому Завету, при нем был распят Иисус Христос – 336, 556
- Калигула Гай Юлий Цезарь* (12–41), римский император (с 37), из династии Юлиев-Клавдиев – 39, 335
- Калита Иван (Иван I)* (до 1296–1340), великий князь Московский (с 1325) – 90, 91, 180
- Каллаш Владимир Владимирович* (1866–1919), историк русской литературы и театра, библиограф – 319
- Калмыкова (урожд. Чернова) Александра Михайловна* (1849/1850–1926), деятельница народного просвещения, участница революционного движения, публицист, библиограф, издательница – 247
- Каменев Гавриил Петрович* (1772–1803), писатель и переводчик – 118, 120, 124, 126
- Канкрин Егор Францевич (Георг Людвиг)* (1774–1845), министр финансов (1823–1844) – 474, 476, 477
- Кант Иммануил* (1724–1804), немецкий философ – 192, 320, 360, 361, 541, 542, 544
- Кантемир Антиох Дмитриевич* (1708–1744), поэт, дипломат, просветитель, один из основоположников классицизма в России – 196, 412, 474
- Капетинги*, династия французских королей (987–1328) – 91
- Каптерев Николай Федорович* (1847–1917), историк, депутат IV Государственной думы – 160–162
- Карамзин Николай Михайлович* (1766–1826), историк и писатель – 58, 60, 176, 182, 183, 228, 277, 297, 301, 413, 447, 451, 464, 551, 579
- Кареев Николай Иванович* (1850–1931), историк и публицист – 207–209
- Карл V* (1500–1556), император «Священной Римской империи» (с 1519), испанский король (Карлос I) (с 1516) из династии Габсбургов – 450
- Карл XII* (1682–1718), король Швеции (с 1697), из династии Пфальц-Цвайбрюккен, полководец – 64
- Карлейль Томас* (1795–1881), английский историк, философ, писатель, публицист – 208, 362, 507
- Карпентер Эдвард* (1844–1929), английский публицист, автор работ по проблемам цивилизации и культуры, социальному реформированию – 516
- Карпов Пимен Иванович* (1887–1963), писатель, автор книги «Говор зорь. Страницы о народе и «интеллигенции» (1909) – 252–259
- Карпович Петр Владимирович* (1874–1917), эсер, был осужден, бежал за границу – 125
- Карташов (Карташев) Антон Владимирович* (1875–1960), политический деятель, публицист, историк церкви – 156, 232, 233, 243–248
- Кассо Лев Аристидович* (1865–1914), министр народного просвещения – 443
- Кастри Анри де*, французский историк – 529, 530
- Катков Михаил Никифорович* (1818–1887), публицист, издатель, критик – 332, 362, 429
- Катулл Гай Валерий* (ок. 87 – ок. 54 до н. э.), римский поэт – 429
- Каутский Карл* (1854–1938), один из лидеров и теоретиков германской и международной социал-демократии – 433, 437
- Качаров*, египтолог – 466
- Квитка-Основьяненко* (наст. фам. Квитка) Григорий Федорович (1778–1843), украинский писатель – 229
- Керенский Александр Федорович* (1881–1970), юрист, депутат IV Государственной думы, лидер трудовиков, с 1917 г. министр, затем с июля 1917 г. глава Временного правительства – 247, 347, 507, 508
- Кетчер Николай Христофорович* (1806–1886), переводчик и литератор – 429
- Киммерман (Циммерман) Р. И.*, владелец пансиона в Москве – 429
- Кимон* (ок. 504–449 до н. э.), афинский полководец и политический деятель – 205, 472, 572
- Киреевский Иван Васильевич* (1806–1856), философ, литературный критик, публицист, один из основателей славянофильства – 28, 35, 137, 332, 339, 379, 571
- Киреевский Петр Васильевич* (1808–1856), фольклорист, археограф, публицист – 35, 137, 332, 339, 379

- Кладо Николай Лаврентьевич* (1862–1919), военно-морской теоретик и историк – 11
- Ключевский Василий Осипович* (1841–1911), историк – 150, 429, 445, 455, 503, 579
- Ковалевская Софья Васильевна* (1850–1891), математик – 356, 358, 360
- Ковалевский Максим Максимович* (1851–1916), юрист, историк, социолог, общественный деятель – 209, 309
- Коган Петр Семенович* (1872–1932), историк литературы, критик, переводчик, приват-доцент Петербургского университета (1911–1918) – 139–142, 144
- Кожеботкин (Кожебаткин) Александр Мелентьевич* (1884–1942), издатель, секретарь издательства «Мусaget», библиофил – 48
- Кожевников Владимир Александрович* (1852–1917), историк культуры и публицист, был близок к Н. Ф. Федорову – 85, 555
- Козлов Иван Иванович* (1779–1840), поэт и переводчик – 423
- Коковцов Владимир Николаевич* (1853–1943), министр финансов (1904–1914, с перерывом в 1905–1906), председатель Совета министров (1911–1914), мемуарист – 145, 147, 373
- Колемин Ю.*, чиновник министерства иностранных дел, автор богословских трудов, по своим взглядам последователь А. С. Хомякова – 32, 35, 37
- Колумб Христофор* (1451–1506), мореплаватель, родом из Генуи, руководил испанскими экспедициями, в результате которых были открыты земли Западного полушария – 46, 142, 144
- Колчанов А. М.*, председатель Днепровской земельной управы – 388
- Комб Эмиль* (1835–1921), французский политический деятель, премьер-министр (1902–1905), доктор теологии, при нем был принят закон об отделении церкви от государства – 363
- Кондурушкин Степан Семенович* (1874/1875–1919), писатель и публицист – 235
- Кони Анатолий Федорович* (1844–1927), юрист, судебный оратор – 54, 526–528
- Коновалов Н. А.*, профессор Санкт-Петербургской духовной академии – 109
- Конопницкая* (урожд. Васильовская) Мария (1846–1910), польская поэтесса – 465
- Константин I Великий Флавий Валерий* (ок. 285–337), римский император (с 306) – 178, 212, 363
- Константин Константинович* (1858–1915), великий князь, сын Константина Николаевича, главный начальник и генерал-инспектор военно-учебных заведений (с 1900), президент Петербургской Академии наук (с 1889), поэт, переводчик, драматург (псевд. «К. Р.»), в самом начале Первой мировой войны был интернирован в Германии – 375
- Константином Константиновичем* (Романов) (1890–1918), князь, сын великого князя Константина Константиновича, убит близ Алапаевска – 537
- Константин Николаевич* (1827–1892), великий князь, сын Николая I, генерал-адмирал, руководил морским министерством (1853–1881) – 11
- Конт Огюст* (1798–1857), французский философ и социолог, один из создателей позитивизма – 62, 205, 360, 361
- Конфуций* (Кун-цзы) (ок. 551–479 до н. э.), древнекитайский мыслитель, основатель философско-этического учения – конфуцианства – 332, 518
- Короленко Владимир Галактионович* (1853–1921), писатель, публицист, общественный деятель – 119, 129, 272, 273, 491, 497
- Корш Федор Евгеньевич* (1843–1914), филолог, переводчик, педагог, публицист – 428, 429
- Костомаров Николай Иванович* (1817–1885), историк и писатель – 579
- Костюшко Тадеуш* (1746–1817), руководитель восстания в Польше (1794) – 465
- Котляревский Иван Петрович* (1769–1838), украинский писатель – 229
- Котляревский Нестор Александрович* (1863–1925), критик, публицист, литературовед – 10
- Кранихфельд Владимир Павлович* (1865–1918), литературный критик и публицист – 130
- Кривенко Иларион* (Илларион) Васильевич (ум. 1913), литератор, журналист – 159, 160
- Кривенко Сергей Николаевич* (1847–1906), публицист, примыкал к народничеству, мемуарист – 270
- Кривошеин Александр Васильевич* (1857–1921), главноуправляющий землеустройством и земледелием (1908–1915) – 555

- Кромвель* Оливер (1599–1658), деятель Английской революции, лорд-протектор (военный диктатор) (с 1653) – 507, 582
- Кронеберг* Иван Яковлевич (1788–1838), филолог, философ, историк литературы, автор выдержавшего несколько изданий «Латинско-русского словаря» – 141
- Кропоткин* Петр Алексеевич (1842–1921), революционер, теоретик анархизма, философ, ученый, публицист – 132
- Крылов* Иван Андреевич (1769–1844), баснописец, драматург, журналист – 129, 227, 488
- Крым* Соломон Самойлович (1867–?), землевладелец, депутат I–IV Государственных дум – 388
- Кубицкий* Александр Владиславович (1880–?), историк философии и переводчик – 320
- Кугель* Иона Рафаилович (1873–?), журналист, редактор-издатель газеты «День» – 347, 451
- Кудрявцев* Петр Николаевич (1816–1858), историк, писатель, критик – 429, 468
- Кузьмин-Караваев* Владимир Дмитриевич (1859–1927), генерал-майор, публицист, юрист, профессор Военно-юридической академии (с 1905 в отставке), депутат I и II Государственных дум – 339, 340, 344–346
- Кулаковский* Юлиан Андреевич (1855–1919), философ и историк – 178, 179
- Курпин* Александр Иванович (1870–1938), писатель – 30, 48
- Кускова* Елизавета (наст. имя Екатерина Дмитриевна) (1869–1958), публицист, издательница, мемуаристка – 120, 412
- Кутузов* (Голенищев-Кутузов) Михаил Илларионович (1745–1813), полководец, генерал-фельдмаршал – 216, 488
- Кюнер* Рафаэль (1802–1878), немецкий филолог и педагог, автор учебников по греческому и латинскому языкам – 557
- Кюи* Цезарь Антонович (1835–1918), композитор и музыкальный критик – 438
- Лазарев* Михаил Петрович (1788–1851), флотоводец, мореплаватель, адмирал, командующий Черноморским флотом и портами Черного моря – 229
- Лазаревский* Борис Александрович (1871–1936), писатель – 384
- Лазарь*, в Новом Завете брат Марии и Марфы из Вифании, воскрешенный Христом – 62, 65
- Ламанский* Владимир Иванович (1833–1914), публицист, историк, ученый-славист, общественный деятель – 378
- Ламберт* (урожд. Канкрин) Елизавета Егоровна (1821–1883), знакомая И. С. Тургенева, его постоянная корреспондентка – 473–475, 477–479, 483–485
- Ламспус* Вильгельм, немецкий публицист – 378, 379
- Ланц* Генрих Эрнестович (1886–1945), философ и историк философии, после 1917 г. в эмиграции – 319, 320
- Лассаль* Фердинанд (1825–1864), немецкий политический деятель, социалист, публицист – 172, 266, 267, 500, 512
- Лассон* Адольф (1832–1917), немецкий философ – 471
- Лев XIII* (Винченцо Джоакино Печчи) (1810–1903), папа римский (с 1878) – 35, 363
- Лев* (Левий), в Ветхом Завете третий сын Иакова, основатель племени левитов – 311
- Левин* Давид Абрамович (1863–1930), публицист, сотрудник газеты «Речь» – 130, 131, 313, 314, 347, 385
- Левитан* Исаак Ильич (1860–1900), живописец – 224
- Левицкий* Феодосий Нестерович (1791–1845), священник-мистик из Балты (Украина), преподнес свои сочинения Александру I – 523
- Левченко* Н. А., певица – 438
- Легаты*, братья: Николай Густавович (1869–1937), танцовщик и хореограф, Сергей Густавович (1875–1905), танцовщик – 550
- Лейбниц* Готфрид Вильгельм (1646–1716), немецкий философ, математик, физик, языковед – 58
- Лемке* Михаил Константинович (1872–1923), историк, археограф, публицист – 234
- Леонтьев* Константин Николаевич (1831–1891), философ, писатель, публицист, литературный критик – 10, 11, 332, 362
- Лермонтов* Михаил Юрьевич (1814–1841), поэт и прозаик – 8, 176, 217, 451, 455, 456, 507
- Лернер* Николай Осипович (1877–1934), историк литературы – 546
- Лесков* Николай Семенович (1831–1895), писатель – 384, 385, 476, 477
- Либах* Юстус (1803–1873), немецкий химик – 34

- Ливий Тит* (59 до н. э. – 17 н. э.), римский историк – 211, 212
- Лизогуб Дмитрий Андреевич* (1849–1879), революционный народник, помещик, был повешен – 209
- Линев* (псевд. Далин) *Дмитрий Александрович* (1853–1920), писатель и публицист – 139
- Личкус Лазарь Григорьевич* (1858–?), врач-гинеколог – 249, 250, 262
- Ломоносов Михаил Васильевич* (1711–1765), естествоиспытатель, поэт, художник, историк, общественный деятель – 181, 183, 196, 325, 446–452
- Лопатин Лев Михайлович* (1855–1920), философ и психолог – 320, 321
- Лоран Франсуа* (1810–1887), бельгийский юрист и историк, автор «Очерков по истории человечества» – 576
- Лосский Николай Онуфриевич* (1870–1965), философ – 321
- Лукашевич* (Лукашевич-Хмызникова, урожд. Мирец-Имшенецкая) *Клавдия Владимировна* (1859–1931), детская писательница и педагог – 526
- Лукомский Владимир Крескентьевич* (1882–1946), историк – 225
- Лукомский Георгий Крескентьевич* (1884–1940, по др. данным 1952), художник и искусствовед, умер в эмиграции – 23, 24, 225, 317, 319, 425
- Лунц*, владелец аптеки в г. Белом – 427
- Льюис Джордж Генри* (1817–1878), английский философ – 359
- Лэярт* (Лейард) *Остин Генри* (1817–1894), английский археолог и дипломат – 404
- Любавский Матвей Кузьмич* (1860–1936), историк, ректор Московского университета (1911–1917) – 180, 181, 183, 185, 186
- Любош* (Любошиц) *Семен Борисович* (1853–1925, по др. данным 1926), журналист, критик – 347
- Людвиг XVI* (1754–1793), французский король (1774–1792), из династии Бурбонов – 552
- Лютер Мартин* (1483–1546), немецкий религиозный реформатор – 46, 177, 561, 562
- Ляцкий Евгений Александрович* (1868–1942), писатель, литературный критик, историк русской литературы, этнограф, фольклорист – 406
- М. И.*, возможно, Драгомиров *М. И.*
М. Н. С. – см. Стоюнина *М. Н.*
- Магницкий Леонтий Филиппович* (1669–1739), преподаватель Московской школы математических и навигационных наук, автор первого русского печатного руководства «Арифметика, сиречь наука числительная» (1703) – 448
- Мазини Анджело* (1844–1926), итальянский певец (тенор) – 105, 414
- Майков Аполлон Николаевич* (1821–1897), поэт – 283
- Макарий* (Михаил Петрович Булгаков) (1816–1882), митрополит Московский и Коломенский (1879–1882) – 522
- Макаров Степан Осипович* (1848/1849–1904), вице-адмирал, флотоводец, океанограф – 11
- Маколей Томас Бабингтон* (1800–1859), английский историк, публицист, политический деятель – 176
- Максимиан Марк Аврелий Валерий* (240–310), римский император (286–305), соправитель Диоклетиана (до 305) – 212
- Мальцев Алексей Петрович* (1855–1915), протоиерей, настоятель посольской церкви в Берлине – 325
- Мальцев* (Мальцов) *Сергей Иванович* (1810–1893), генерал-майор в отставке (с 1849), промышленник, предприниматель – 233, 234
- Манаскина Наталия Ивановна* (1869–1930), детская писательница, редактор-издатель – 405, 406, 553, 555
- Марголин Моисей Маркович* (1862–?), сотрудник русского Энциклопедического словаря Брокгауза и Ефрона, автор работ по истории еврейского народа и еврейского национального движения – 230
- Маркизон*, автор расхожих брошюр – 140, 141
- Марков Андрей Андреевич* (1856–1922), математик – 441
- Марков 2-й Николай Евгеньевич* (1866–1945), депутат III и IV Государственных дум, один из лидеров фракции правых, входил в руководство «Союза русского народа» – 489
- Маркс Карл* (1818–1883), немецкий мыслитель, основоположник коммунистической теории, названной его именем – 224, 225, 265, 267, 268, 393, 500, 512, 569
- Мартынов*, старообрядец, знакомый *А. И. Герцена* – 307
- Марфа*, в Новом Завете сестра Марии и Лазаря из Вифании (ныне эль-Азарийе под Иерусалимом) – 364

- Масперо* Гастон Камиль Шарль (1846–1916), французский египтолог – 174
- Массне* Жюль (1842–1912), французский композитор – 276
- Матвеев* Артамон Сергеевич (1625–1682), боярин, приближенный царя Алексея Михайловича, дипломат, убит стрельцами – 554
- Матэ* Василий Васильевич (1856–1917), гравер – 241
- Мезенцев* (Мезенцов) Николай Владимирович (1827–1878), шеф жандармов и начальник Третьего отделения (с 1876), убит Степняком-Кравчинским – 132
- Мейербер* Джакомо (наст. имя и фам. Якоб Либман Бер) (1791–1864), французский композитор, жил также в Германии и Италии – 61
- Мельников* (Мельников-Печерский, псевд. Печерский А.) Павел Иванович (1818–1883), писатель и историк – 561
- Менделеев* Дмитрий Иванович (1834–1907), ученый, педагог, общественный деятель – 57, 150, 443, 449, 450, 503
- Мендельсон* Моисе (1729–1786), немецкий философ-просветитель – 224
- Меньшиков* (Меншиков) Александр Данилович (1673–1729), сподвижник Петра I, генералиссимус (1727) – 202
- Меньшиков* Михаил Осипович (1859–1918), публицист, сотрудник газеты «Новое время» – 247
- Мережковский* Дмитрий Сергеевич (1865–1941), писатель, публицист, философ, общественный деятель – 156–158, 232–236, 247, 252, 330, 511
- Местр* Жозеф Мари де (1753–1821), французский публицист, пьемонтский политический деятель и дипломат, религиозный философ – 570
- Метерлинка* Морис (1862–1949), бельгийский драматург и поэт-символист – 409, 413
- Мехлин* Леопольд (Лео) Генрих Станислав (1839–1914), финский ученый-государствовед и политический деятель – 80
- Мецгал* Умат-Гирей, переводчик – 530
- Михлашевский* Константин Михайлович (1886–1944), театровед и драматург – 319
- Милль* Джон Стюарт (1806–1873), английский философ, экономист, общественный деятель – 60
- Мильтон* Джон (1608–1674), английский поэт, публицист, политический деятель – 33, 34, 39
- Миллюков* Павел Николаевич (1859–1943), историк, лидер и теоретик партии кадетов – 80, 202, 309, 339, 489
- Минин* Кузьма Минич (ум. 1616), нижегородский посадский, один из руководителей борьбы против иноземной интервенции – 301
- Минский* (наст. фам. Виленкин) Николай Максимович (1856–1937), поэт, драматург, философ, переводчик, публицист – 413, 511
- Миртов* О. (наст. имя и фам. Ольга Эммуиловна Негрескул) (1874–1939), прозаик и драматург, внучка П. Л. Лаврова – 576
- Михаил Николаевич* (1832–1909), великий князь, младший сын Николая I, наместник на Кавказе, командующий (главнокомандующий) Кавказской армией (1862–1881), затем председатель Государственного совета – 463
- Михаил Федорович* (1596–1645), первый царь из династии Романовых (с 1613) – 145
- Михайловский* Николай Константинович (1842–1904), социолог, публицист, литературный критик, идеолог легального (либерального) народничества – 125, 157, 165, 263–265, 268, 269, 271, 273, 276, 468, 569
- Мицкевич* Адам (1798–1855), польский поэт и деятель освободительного движения – 465
- Моисей*, в Ветхом Завете основатель иудаизма, пророк – 148, 311
- Мойер* Иоганн (Иван), дерптский врач, профессор, муж М. А. Протасовой – 424
- Мойер* (урожд. Протасова) Мария Андреевна (1793–1823), сестра А. А. Воейковой, племянница В. А. Жуковского – 424
- Молешиотт* Якоб (1822–1893), немецкий физиолог и философ – 165, 166
- Молтке* (Старший) Хельмут Карл (1800–1891), немецкий генерал-фельдмаршал (1871) и военный теоретик – 320
- Моммзен* Теодор (1817–1903), немецкий историк – 472, 473
- Монтескье* Шарль Луи (1689–1755), французский правовед, философ, просветитель – 421
- Морио* (Марियो) (наст. фам. Де Кандиа) Джованни (1810–1883), итальянский певец (тенор) – 105
- Морозова* (урожд. Мамонтова) Маргарита Кирилловна (1873–1958), мценатка,

- учредительница религиозно-философского издательства «Путь» в Москве – 54
- Моцарт* Вольфганг Амадей (1756–1791), австрийский композитор – 471
- Муйжель* Виктор Васильевич (1880–1924), писатель – 384
- Муравьев* Михаил Никитич (1757–1807), сенатор, попечитель Московского университета и Московского учебного округа (1803) – 184
- Мурильо* Бартоломе Эстебан (1618–1682), испанский живописец – 171
- Мухаммед* (Мохаммед) (ок. 570–632), основатель ислама, в котором почитается как пророк, глава теократического государства – 531
- Мякотин* Венедикт Александрович (1867–1937), историк, публицист, один из создателей и лидеров партии народных социалистов (энесов) – 88, 491, 497, 575
- Надеждин* Николай Иванович (1804–1856), критик, эстетик, издатель журнала «Телескоп» (1831–1836) – 55
- Наполеон I* (Наполеон Бонапарт) (1769–1821), французский император (1804–1814, март – июнь 1815) – 64, 140, 328, 488, 521, 534, 570, 582
- Наполеон III* (Луи Наполеон Бонапарт) (1808–1873), французский император (1852–1870) – 362
- Наталия*, сербская королева (1875–1888), жена князя (затем короля) Милана Обреновича; после развода с мужем и отречения последнего от престола она уехала за границу и приняла католичество (1902), королем стал ее сын Александр (1889–1903), был убит заговорщиками – 270, 271
- Не-Буква*, псевд. Ильи Марковича Василевского (1882/1883–1938), журналист, фельетонист, литературный критик – 384
- Некрасов* Николай Алексеевич (1821–1877/1878), поэт, прозаик, издатель – 99, 128, 276, 410, 485, 499, 524
- Неплюев* Николай Николаевич (1851–1908), помещик, религиозный публицист, сторонник переустройства крестьянской жизни на основе трудовых братств – 573
- Нерон* Клавдий Цезарь (37–68), римский император (с 54), из династии Юлиев-Клавдиев – 244, 247, 556, 557, 564
- Нестеров* А. А., губернский предводитель дворянства – 388
- Нестеров* Михаил Васильевич (1862–1942), живописец – 43, 190–195, 197, 198
- Нечаев* Сергей Геннадьевич (1847–1882), революционер, организатор тайного общества «Народная расправа» – 328
- Никитенко* Александр Васильевич (1804–1877), историк литературы, цензор, автор «Дневника» – 582
- Николай* (Иван Дмитриевич Касаткин) (1836–1912), глава Русской православной миссии в Японии, архиепископ Японский (с 1906) – 34, 157
- Николай I* (1796–1855), российский император (с 1825) – 369, 409, 484, 552
- Николай II* (1868–1918), российский император (1894–1917), расстрелян – 207, 239, 369
- Николай Михайлович* (1859–1919), великий князь, старший сын великого князя Михаила Николаевича, историк, расстрелян в Петропавловской крепости – 463
- Николай Николаевич* (младший) (1856–1929), великий князь, внук Николая I, верховный главнокомандующий всеми сухопутными и морскими силами (20 июля 1914 – 5 сентября 1915), умер за рубежом – 389, 438
- Николай Чудотворец* (предположительно IV в.), архиепископ Мирликийский, христианский святой, почитаемый и в Восточной, и в Западной церкви – 81
- Никон* (Никита Минов) (1605–1681), патриарх Московский и всея Руси (1652–1667), провел церковные реформы, вызвавшие раскол в Русской церкви – 113, 161, 162, 561
- Никон* (Николай Иванович Рождественский) (1851–1919), епископ Вологодский (с 1906), член Синода (с 1912), религиозный писатель и издатель – 321, 322
- Нил Столбенский* (ум. 1554), православный подвижник – 150, 152
- Ницше* Фридрих (1844–1900), немецкий философ – 224, 422, 423, 472, 541, 542
- Новиков* Николай Иванович (1744–1818), просветитель, писатель, философ, издатель – 185, 582
- Новодворский*, речь идет о Николае Петровиче Стародворском (1863–1918), который в декабре 1883 г. при участии В. П. Конашевича и С. П. Дегаева на квартире последнего убил Г. П. Судейкина, отбывал каторгу в Шлиссельбургской крепости до 1905 г. – 132
- Новоселов* Михаил Александрович (1864–1938), религиозный мыслитель, органи-

- затель «Кружка ищущих христианского просвещения», издатель «Религиозно-философской библиотеки» (1902–1917) – 85, 454
- Новоструев* К. И., богослов, филолог, библиограф, автор (вместе с А. В. Горским) труда «Описание славянских рукописей московской синодальной библиотеки» – 369
- Нордман* (Нордман-Северова) Наталья Борисовна (1863–1914), писательница, вторая жена И. Е. Репина – 172, 173, 175
- Носарь* (псевд. Хрусталева) Георгий Степанович (1877–1918), занимался адвокатской практикой, в 1906 г. был привлечен к суду по делу петербургского Совета рабочих депутатов, по дороге в ссылку бежал за границу, после революции 1917 г. начальник гайдамацкой полиции в Переяславле, расстрелян – 568
- Нума Помпилий*, согласно преданию второй царь Древнего Рима (715–673/672 до н. э.) – 141
- Ньютон* Исаак (1643–1727), английский математик, физик, астроном, создатель классической механики – 58
- Овидий* (Публий Овидий Назон) (43 до н. э. – ок. 18 н. э.), римский поэт – 450
- Овсянников* Николай Николаевич (1834–1912), педагог и историк – 452
- Одоевский* Владимир Федорович (1803/1804–1869), писатель, философ, музыкальный критик – 54, 56–62, 332
- Окснер*, свидетель на судебном процессе Прасолова – 19, 20
- Олег Константинович* (Романов) (1892–1914), князь, сын великого князя Константина Константиновича, погиб в Первую мировую войну – 531, 534–537
- Оль д'Ор*, псевдоним писателя и журналиста Осипа Львовича Оршера (1878/1879–1942) – 140–142, 144
- Оммулевский* (наст. фам. Федоров) Иннокентий Васильевич (1836, по др. данным 1837–1883/1884), писатель и переводчик – 508
- Опиц* Георг Эмануэль (1775–1841), немецкий живописец и гравер, в своих акварелях и гуашах изображал сцены из парижской жизни в период падения Наполеона I – 298
- Орловский* Александр Осипович (1777–1832), живописец и график – 550
- Орнатский* Л. Ф., протоиерей, настоятель Казанского собора в Петербурге – 287
- Орнатский* Философ Николаевич (1860–1918), протоиерей, общественный деятель, председатель Общества распространения религиозно-нравственного просвещения в духе православия – 18
- Орсини* Феличе (1819–1858), итальянский политический деятель, член патриотической тайной организации «Молодая Италия», покушался на Наполеона III, казнен – 362
- Освальд* (Оствальд) Вильгельм Фридрих (1853–1932), немецкий физикохимик – 471
- Остен-Сакен*, комендант здания Государственной думы – 490
- Островский* Александр Николаевич (1823–1886), драматург – 479, 504
- Остроумов* Николай Петрович (1846–?), историк и языковед, исламовед – 531
- Остроумова-Лебедева* Анна Петровна (1871–1955), график – 225
- Павел*, в Новом Завете апостол – 105, 157, 161, 322–324, 326, 335
- Павел Александрович* (1860–1919), великий князь, младший сын Александра II, генерал от кавалерии, расстрелян в Петропавловской крепости – 438
- Павел Петрович* (1754–1801), великий князь, российский император Павел I (с 1796) – 450
- Павлов* Алексей Степанович (1832–1898), богослов, профессор церковного (канонического) права Московского университета – 538, 539
- Павлова* Анна Павловна (Матвеевна) (1881–1931), балерина – 237
- Пальмиери* Аузелли, итальянский теолог, автор полемического труда, направленного против православного вероисповедания (1911) – 32, 35
- Панины*: Никита Иванович (1718–1783), государственный деятель, дипломат, участник дворцового переворота 1762 г., воспитатель Павла I; Никита Петрович (1770–1837), вице-канцлер, дипломат, один из организаторов заговора против Павла I – 205
- Папков* Александр Александрович (1855–1920), богослов, религиозный публицист – 321
- Парфений* (Петр Агеев) (Агтев) (1807–1878, по др. данным 1868), иеромонах, религиозный писатель, мемуарист – 484, 561

- Пастер* Луи (1822–1895), французский ученый, основоположник микробиологии и иммунологии – 144, 250
- Пентефрий* (Потифар), в Ветхом Завете начальник телохранителей фараона, которому был продан Иосиф – 466
- Перикл* (ок. 490–429 до н. э.), афинский стратег (главнокомандующий) и политический деятель – 203, 205, 572
- Перовская* Софья Львовна (1853–1881), организатор и участница покушения на Александра II 1 марта 1881 г. – 298
- Перцов* Петр Петрович (1868–1947), критик, публицист, искусствовед, поэт, издатель, мемуарист – 10, 308
- Песталоцци* Иоганн Генрих (1746–1827), швейцарский педагог – 117
- Петерсон* Николай Павлович (1844–1919), публицист, ученик и последователь Н. Ф. Федорова, редактор-издатель его труда «Философия общего дела» (вместе с В. А. Кожевниковым), с 1912 г. член окружного суда в Зарайске Рязанской губернии – 392, 555
- Петр*, в Новом Завете апостол – 36, 38, 177
- Петр I Великий* (1672–1725), царь (с 1682, правил самостоятельно с 1689), первый российский император (с 1721) – 63, 135, 195, 196, 201, 202, 222, 257, 355, 370, 386, 411–413, 447, 484, 486, 489, 552–554, 562, 582
- Петр Федорович* (1728–1762), великий князь, российский император Петр III (с 1761), внук Петра I – 446
- Петрицев* Афанасий Борисович (1872 – после 1942), публицист, сотрудник журнала «Русское богатство», один из лидеров трудовой народно-социалистической партии (энесов) – 575
- Петров* Андрей Николаевич (1837–1900), военный историк – 157
- Петров* Григорий Спиридонович (1866–1925), священник, публицист, проповедник, за критику православного духовенства был лишен сана (1908), умер за границей – 163
- Печерский* Андрей – см. Мельников П. И.
- Пешехонов* Алексей Васильевич (1867–1933), экономист, публицист, член редколлегии журнала «Русское богатство», один из основателей партии народных социалистов (энесов) – 131, 491, 497, 575
- Пий IX* (Джованни Мария граф Мاستаи-Ферретти) (1792–1878), папа римский (с 1846) – 36
- Пий X* (Джузеппе Сарто) (1835–1914), папа римский (с 1903) – 363, 364
- Пиндар* (ок. 518–442/438 до н. э.), древнегреческий поэт-лирик – 175, 316
- Пирогов* Николай Иванович (1810–1881), хирург, естествоиспытатель, педагог, общественный деятель – 117
- Писарев* Дмитрий Иванович (1840–1868), публицист, литературный критик, ведущий сотрудник радикального журнала «Русское слово» – 224, 379, 455
- Питт* Уильям Старший (1708–1778), английский политический деятель, премьер-министр (1766–1768) – 572
- Платон* (428/427–348/347 до н. э.), древнегреческий философ – 29, 31, 117, 162, 206, 256, 516, 544
- Платон* (Петр Егорович Лёвшин) (1737–1812), митрополит Московский, богослов и философ – 368, 369
- Платон* (1803–1891), митрополит Киевский – 108
- Платонов* Сергей Федорович (1860–1933), историк – 207, 208
- Плевако* Федор Никифорович (1842–1908/1909), юрист (адвокат), судебный оратор – 437
- Плеве* Вячеслав Константинович (1846–1904), министр внутренних дел и шеф корпуса жандармов (с 1902), убит эсерами – 570
- Плевицкая* Надежда Васильевна (1884–1940), эстрадная певица (меццо-сопрано) – 414
- Плеханов* Георгий Валентинович (1856–1918), деятель российской и международной социал-демократии, философ, публицист – 88, 132
- Плутарх* (ок. 45 – ок. 127), древнегреческий писатель и историк – 455
- Победоносцев* Константин Петрович (1827–1907), правовед, обер-прокурор Синода (1880–1905), член Государственного совета – 162, 163
- Погодин* Михаил Петрович (1800–1875), историк, писатель, издатель – 28, 183, 410
- Полонский* Яков Петрович (1819–1898), поэт – 479, 508
- Поляков* Лазарь Соломонович (1842–1914), основатель банкирского дома в Москве – 91, 92
- Помпадур* Жанна Антуанетта Пуассон, маркиза де (1721–1764), фаворитка французского короля Людовика XV – 298

- Помяловский Николай Герасимович* (1835–1863), писатель – 165
- Порембский В. К.*, врач – 262
- Потемкин Григорий Александрович* (1739–1791), генерал-фельдмаршал (1784), фаворит и ближайший помощник Екатерины II – 205
- Прасолов, женоубийца* – 19, 20, 22
- Прасолова Зинаида Ивановна*, жертва убийцы – 19, 20
- Преображенский Василий Петрович* (1864–1900), философ, литературный критик, соредактор журнала «Вопросы философии и психологии» – 321
- Прескотт Уильям Хиклинг* (1796–1859), американский историк и литературовед – 176
- Прокопович-Антонский А. А.* – см. Антонский-Прокопович А. А.
- Прокошев П. А.*, профессор Томского университета, автор историко-критического исследования по проблемам церковного права – 148
- Проперций Секст* (ок. 50 до н. э. – ок. 15 до н. э.), римский поэт – 429
- Прохоров Г. В.*, профессор Санкт-Петербургской духовной академии, религиозный писатель – 109, 157
- Прудон Пьер Жозеф* (1809–1865), французский экономист, социалист, теоретик анархизма – 172, 512
- Пугачев Емельян Иванович* (1740/1742–1775), донской казак, предводитель казачко-крестьянского восстания 1773–1775 гг. – 544, 545
- Пуришкевич Владимир Митрофанович* (1870–1920), один из лидеров «Союза русского народа», депутат II–IV Государственных дум – 245, 337, 338, 490
- Пушкин Александр Сергеевич* (1799–1837), поэт и прозаик – 9, 39, 45, 46, 56, 58, 61, 62, 72, 100, 140, 176, 196, 206, 217, 229, 235, 266, 299, 307, 319, 326, 331, 341, 350, 362, 366, 385, 409–411, 429, 437, 443, 445, 451, 456, 464, 479, 500, 508, 531, 535, 536, 541, 544–546, 550, 552, 575, 576
- Пушкин Иван Иванович* (1798–1859), декабрист, друг и однокашник А. С. Пушкина, автор сочинения «Записки о Пушкине» – 535
- Радлов Эрнест Леопольдович* (1854–1928), философ, некоторое время преподавал философию в Александровском (Царскосельском) лицее – 157, 532
- Разин Степан Тимофеевич* (ок. 1630–1671), донской казак, предводитель казачко-крестьянского восстания 1670–1671 гг. – 554
- Растрелли Варфоломей Варфоломеевич* (Бартоломео Франческо) (1700–1771), архитектор – 226
- Раулинсон* (Роулинсон) Генри Кресвик (1810–1895), английский востоковед и дипломат, один из основателей ассириологии – 404
- Рафаэль Санти* (1483–1520), итальянский живописец и архитектор – 171, 507
- Рахманинов Сергей Васильевич* (1873–1943), композитор, пианист, дирижер – 48
- Рачинская Варвара Александровна* (ум. 1910), сестра С. А. Рачинского – 76
- Рачинский Григорий Алексеевич* (1859–1939), философ, переводчик, литератор – 429
- Рачинский Сергей Александрович* (1833–1902), ученый-ботаник, деятель народного образования – 41, 76, 429
- Редерс, владелец фабрики в Зарайске* – 391
- Редько Александр Мефодиевич* (1866–1933), революционер, литератор, журналист – 491
- Реклю Жан Жак Элизе* (1830–1905), французский географ, социолог, политический деятель – 139
- Рембрандт Харменс ван Рейн* (1606–1669), нидерландский живописец, рисовальщик, офортист – 101, 105, 171
- Ренан Жозеф Эрнест* (1823–1892), французский писатель, филолог-востоковед, историк религии – 163, 177, 570
- Репин Илья Ефимович* (1844–1930), живописец – 54, 61, 515
- Рерин Петр Иванович* (ум. 1778), полномочный министр (посол) в Испании, генерал-аншеф – 181
- Реутский, писатель и этнограф* – 253
- Рикардо Давид* (1772–1823), английский экономист – 58
- Риттер Карл* (1779–1859), немецкий географ – 139
- Ричардсон Сэмюэл* (1689–1761), английский писатель – 120
- Робеспьер Максимилиен* (1758–1794), деятель Французской революции кон. XVIII в., один из руководителей якобинцев – 172, 562
- Родичев Федор Измаилович* (1854, по др. данным 1853–1932, по др. данным 1933), юрист, земский деятель, член ЦК

- партии кадетов, депутат I–IV Государственных дум – 309
- Розанов Василий Васильевич* (1856–1919) – 20, 66, 84, 87, 165, 168, 229, 231–233, 235, 243, 244, 246, 247, 264, 269, 270, 286, 291, 297, 308, 311, 314, 318, 322, 330, 345, 379–382, 384, 389–393, 408, 409, 437, 450, 452, 453, 457, 458, 469, 470, 476–478, 480, 516, 526, 579, 581
- Розанов Василий Васильевич (Вася)* (1899–1918), сын писателя – 206, 207, 209, 222
- Розанова Вера Васильевна* (1848–1867/1868), сестра писателя – 30
- Розанова Надя (Надюша)* (ум. 1893), дочь писателя, умершая семимесячным младенцем – 31
- Романов Иван Федорович* (псевд. Рцы) (1861–1913), писатель, публицист, друг Розанова – 104
- Ромул*, легендарный основатель г. Рима и первый его царь (VIII в. до н. э.) – 141
- Росси Карл Иванович* (1775–1849), архитектор – 226
- Ротшильды*, финансовая группа в Западной Европе, основатель банкирского дома – Майер Амшель Ротшильд (1744–1812) из Франкфурта-на-Майне – 92, 266–268, 312, 313
- Рубакин Николай Александрович* (1862–1946), книговед, библиограф, писатель – 41, 156, 412
- Рубинштейн Антон Григорьевич* (1829–1894), пианист, композитор, дирижер – 382
- Рудич Вера*, писательница – 287–290
- Русанов Николай Сергеевич* (1859–1939), публицист, в основном сотрудничал в журнале «Русское богатство» – 491
- Русов Николай Николаевич* (1883–1930–егг.), писатель – 25, 26
- Руссо Жан Жак* (1712–1778), французский писатель и философ – 114, 168, 271, 421
- Рутенберг Петр* (Пинхус) Моисеевич (1878–1942), деятель партии эсеров, сыгравший роль в разоблачении Гапона, эмигрировал в Палестину (1922) – 567
- Рутковский Александр Васильевич*, врач, общественный деятель – 403
- Рухлов Сергей Васильевич* (1852–1918), министр путей сообщения (1909–1915) – 113
- Рыбаков С. Г.*, переводчик – 531
- Рысаков Николай Иванович* (1861–1881), участник покушения на Александра II 1 марта 1881 г. – 209
- Рюрик* (ум. ок. 878), согласно летописному преданию, предводитель варяжских дружин, обосновавшихся в Новгороде, основатель династии Рюриковичей – 134, 417
- Саблер* (с 1915 Десятовский) Владимир Карлович (1845–1929), товарищ обер-прокурора Синода (1892–1905), обер-прокурор Синода (1911–1915) – 151, 538
- Саблин Владимир Михайлович* (1872–1916), книгоиздатель и переводчик – 10, 11
- Саблуков Гордей*, переводчик – 531
- Савенков* (Савинков) Борис Викторович (псевд. В. Ропшин) (1879–1925), писатель, публицист, с 1903 г. один из руководителей Боевой организации эсеров, в 1920–1924 гг. в эмиграции, затем арестован, по официальной версии покончил жизнь самоубийством – 132, 133, 263, 327, 328, 331, 332
- Саводник Владимир Федорович* (1874–1940), историк русской литературы и критик – 455, 456
- Савонарола Джироламо* (1452–1498), настоятель монастыря доминиканцев во Флоренции, выступал против тирании Медичи и обличал папство – 177
- Сазонов Сергей Дмитриевич* (1860–1927), министр иностранных дел (1910–1916) – 577
- Сайтов Владимир Иванович* (1849–1938), историк литературы, библиограф, составитель путеводителей по некрополям – 464, 536
- Сакулин Павел Никитич* (1868–1930), литературовед – 406
- Салтыков* (Салтыков-Щедрин) Михаил Евграфович (наст. фам. Салтыков, псевд. Н. Щедрин) (1826–1889), писатель-сатирик, публицист, редактор журнала «Отечественные записки» – 156, 233, 234, 342, 344, 451, 567
- Сафо* (Сапфо) (VII–VI вв. до н. э.), древнегреческая поэтесса – 429
- Свербеев А. Д.*, знакомый Е. Е. Ламберт, сын Дмитрия Николаевича Свербеева, автора воспоминаний об А. И. Герцене – 475
- Святослав I* (ум. 972), великий князь Киевский – 155
- Семирамида* (Шаммурама), царица Ассирии (кон. IX в. до н. э.) – 20

- Сен-Симон* Клод Анри де Рувруа (1760–1825), французский мыслитель, сторонник социалистического переустройства общества – 266
- Серафим Саровский* (Прохор Сидорович (Исидорович) Мошнин) (1754, по др. данным 1759–1833), православный подвижник – 80, 268, 324
- Сервантес Сааведра* Мигель де (1547–1616), испанский писатель – 277
- Сергей Александрович* (1857–1905), великий князь, сын Александра II, московский генерал-губернатор (с 1891), убит эсером И. П. Каляевым – 532
- Сергий Радонежский* (Варфоломей Кириллович) (1314/1321–1392), православный подвижник, основатель и игумен Троицкого монастыря (впоследствии Троице-Сергиева лавра) – 160, 268, 324
- Сергий* (Субботин), священник – 355
- Середонин* Сергей Михайлович (1860–1914), историк – 207, 208
- Серов* Валентин Александрович (1865–1911), живописец и график – 236–239, 241, 277
- Сильвестр* (ум. ок. 1566), священник московского Благовещенского собора (с кон. 1540-х), известен своей редакцией книги «Домострой» – 561
- Сильд-Сильдинский* Я., начинающий незрячий автор – 559
- Симеон Бекбулатович* (ум. 1616), касимовский хан, в 1575 г. наречен Иваном IV «великим князем всея Руси», а с 1576 г. «великим князем Тверским», в 1605 г. пострижен в монахи – 204, 205
- Синеус*, брат Рюрика, правивший, согласно преданию, в Белоозере – 417
- Сипягин* Дмитрий Сергеевич (1853–1902), министр внутренних дел (с 1900), убит эсерами – 570
- Скабичевский* Александр Михайлович (1838–1910), литературный критик, историк литературы, публицист – 404, 496
- Скворцов* Василий Михайлович (1859–1932), чиновник Синода, публицист, редактор-издатель ряда церковных изданий – 64
- Скобелев* Михаил Дмитриевич (1843–1882), генерал от инфантерии в русско-турецкую войну 1877–1878 гг., командовал отрядом под Плевной и дивизией в сражении при Шипке-Шейново – 378, 379, 387
- Сковорода* Григорий Саввич (1722–1794), украинский философ, поэт, музыкант – 321
- Смарагд* (Александр Крыжановский) (1796–1863), архиепископ Орловский, затем Рязанский и Зарайский – 334–337
- Слатина* Е. В., певица – 439
- Смирнов* С., историк церкви, профессор Московской духовной академии – 302, 305
- Смит* Адам (1723–1790), английский (шотландский) экономист и философ – 56, 58, 59, 366
- Смолин* А. И., хормейстер – 439
- Смолянинов* Иван, автор воспоминаний о войне – 558
- Смотрицкий* Мелетий (Мелетий Слутрицкий) (ок. 1578–1633), политический и церковный деятель, филолог, педагог, автор сочинения «Славянская грамматика» – 448
- Соболевский* Алексей Иванович (1856/1857–1929), филолог-славист – 265
- Соколов* Николай Дмитриевич (1870–1928), адвокат по политическим делам – 247, 347
- Соколов* П., автор книги «История педагогических систем» (1913) – 116
- Сократ* (ок. 470–399 до н. э.), древнегреческий философ – 256–258, 474, 487, 542, 568
- Соловьев* Владимир Сергеевич (1853–1900), философ, поэт, публицист – 10, 150, 157, 169, 243, 244, 246, 321, 382, 560
- Соловьев* Всеволод Сергеевич (1849–1903), писатель – 551
- Соловьев* Н. В., редактор-издатель журнала «Библиофил» – 404, 423, 424
- Соловьев* Сергей Михайлович (1820–1879), историк – 150, 157, 429, 468, 503, 551–553, 579
- Соловьев* Т. П., чиновник Государственного контроля, публицист – 296
- Соловьева* (псевд. Allegro) Поликсена Сергеевна (1867–1924), поэтесса, детская писательница, редактор-издатель, дочь С. М. Соловьева – 405, 406
- Сологуб* (наст. фам. Тетерников) Федор Кузьмич (1863–1927), писатель – 511
- Соломон*, царь Израильско-иудейского государства (ок. 965 – ок. 926 до н. э.) – 203, 271
- Сомов*, священник – 336, 337

- Спасович Владимир Данилович* (1829–1906), юрист, публицист, общественный деятель – 342
- Спасовская А.*, курсистка, соиздатель журнала «Вешние воды» – 385
- Спенсер Герберт* (1820–1903), английский философ и социолог – 62, 117
- Сперанский Михаил Михайлович* (1772, по др. данным 1771–1839), ближайший советник Александра I, затем генерал-губернатор Сибири (1819–1829), руководил работой по законодательству – 205
- Спиноза Бенедикт (Барух)* (1632–1677), нидерландский философ – 224, 409
- Станкевич Николай Владимирович* (1813–1840), философ, поэт, общественный деятель – 205, 306, 429, 467, 476
- Старов Иван Егорович* (1745–1808), архитектор – 226
- Стасов Василий Петрович* (1769–1848), архитектор – 226
- Стасов Владимир Васильевич* (1824–1906), художественный и музыкальный критик, историк искусства – 157
- Стасюлевич Михаил Матвеевич* (1826–1911), историк, издатель, общественный деятель – 352
- Степняк-Кравчинский* (наст. фам. Кравчинский, псевд. Степняк) Сергей Михайлович (1851–1895), народник, писатель – 132, 511
- Стессель Анатолий Михайлович* (1848–1915), генерал-лейтенант, в русско-японскую войну при обороне Порт-Артура сдал его противнику, был приговорен к смертной казни, но помилован Николаем II – 533
- Столыпин Петр Аркадьевич* (1862–1911), председатель Совета министров (с 1906), провозгласил курс на социально-политические реформы, проводил разрабатываемую им аграрную реформу – 134–137, 221
- Стоюнин Владимир Яковлевич* (1826–1888), педагог, автор трудов по теории и истории педагогики – 117, 433
- Стоюнина (урожд. Тихменева) Мария Николаевна* (1846–1940), директор основанной ею гимназии в Петербурге, жена В. Я. Стоюнина – 439
- Страбон* (64/63 до н. э. – 23/24 н. э.), древнегреческий географ и историк – 139–142
- Страдивариус* (Страдивари) (Антонио) (1644–1737), итальянский мастер смычковых инструментов – 101
- Страхов Николай Николаевич* (1828–1896), философ, публицист, литературный критик – 163–172, 243, 244, 247, 332–334, 361, 362, 414, 455
- Струве Петр Бернгардович* (1870–1944), экономист, философ, историк, публицист, один из лидеров партии кадетов – 10, 254, 503, 551, 552
- Суворин Алексей Сергеевич* (1834–1912), издатель, публицист, критик – 30, 236, 251, 536, 567
- Суворов Александр Васильевич* (1730–1800), полководец, генералиссимус (1799) – 196, 202
- Судейкин Георгий Порфирьевич* (1850–1883), жандармский офицер, заведующий агентурой петербургского охранного отделения, убит народолюбцами – 132, 133
- Сусанин Иван Осипович* (ум. 1613), крестьянин Костромского уезда, был убит интервентами, спасая царя – 142
- Суслов Владимир Васильевич* (1856/1859–1921), архитектор, церковный археолог, автор трудов по древнерусской архитектуре – 285
- Сухомлинов Владимир Александрович* (1848–1926), генерал от кавалерии, начальник Генштаба (1908–1909), военный министр (1909–1915), мемуарист – 429
- Сютеев Василий Кириллович* (1819–1892), крестьянин из Тверской губернии, самобытный религиозный мыслитель – 166–168, 333
- Таганцев Николай Степанович* (1843–1923), юрист, сенатор, член Государственного совета – 260, 261
- Тамберлик Энрико* (1820–1889), итальянский певец (тенор) – 105
- Татиана (Татьяна) Константиновна* (1890–1970, по др. данным 1979), княгиня, дочь великого князя Константина Константиновича, была замужем за флигель-адъютантом князем К. А. Багратионом-Мухранским (погиб в Первую мировую войну, в 1915 г.), эмигрировав, стала игуменьей в Иерусалиме – 537
- Тохтамыш (Тохтамыш)* (ум. 1406), хан Золотой Орды (с 1380), захватил и сжег Москву (в 1382) – 335
- Тацит* (ок. 58 – ок. 117), римский историк – 455, 557

- Тибулл Альбий* (ок. 50–19 до н. э.), римский поэт – 429
- Тиме*, жертва жестокого убийства – 51, 54
- Тираспольская Надежда Львовна* (1867–1962), актриса – 439
- Тихомиров Лев Александрович* (1852–1923), революционный народник, после 1888 г. монархист, редактор газеты «Московские ведомости» (1909–1913), мемуарист – 246
- Тихонравов Николай Саввич* (1832–1893), литературовед и археолог – 369, 429, 455
- Токвиль Алексис (Алекси)* (1805–1859), французский историк, социолог и политический деятель – 421
- Толстая Мария Николаевна* (1830–1912), сестра Л. Н. Толстого – 480
- Толстая* (урожд. Берс) *Софья Андреевна* (1844–1919), жена Л. Н. Толстого – 166, 332
- Толстой Дмитрий Андреевич* (1823–1889), министр народного просвещения (1866–1880) – 431–432
- Толстой Иван Иванович* (1858–1916), археолог, нумизмат, вице-президент Академии художеств (1893–1905), министр народного просвещения (1905–1906) – 178
- Толстой Константин Константинович*, публицист – 380, 382
- Толстой Лев Николаевич* (1828–1910), писатель и мыслитель – 10, 12, 13, 43, 44, 61, 89, 90, 124, 163, 164, 166–169, 172, 194, 196, 258, 264, 265, 267, 271, 327, 331–334, 361, 381, 454, 455, 475–479, 482, 483, 499, 540–542, 544, 546, 569, 572
- Траян Марк Ульпий* (53–117), римский император (с 98), из династии Антонинов – 37
- Трувер*, брат Рюрика, правивший, согласно преданию, в Изборске – 417
- Тройницкий Сергей Николаевич* (1882–1948), специалист по геральдике – 403–405
- Трубецкой Евгений Николаевич* (1863–1920), философ, правовед, публицист, общественный деятель – 157, 321, 378, 398–400
- Трубецкой Сергей Николаевич* (1862–1905), философ, публицист, общественный деятель, первый выборный ректор Московского университета – 321
- Тураев Борис Александрович* (1868–1920), востоковед – 154, 173–175, 465, 466
- Тургенев Иван Сергеевич* (1818–1883), писатель – 56, 128, 129, 305, 306, 308, 352, 362, 384, 385, 411, 455, 456, 473–485
- Тургенева* (в замужестве Брюэр) *Пелагея (Полина) Ивановна* (1842–1919), дочь И. С. Тургенева – 484
- Тыркова* (Тыркова-Вильямс) *Ариадна Владимировна* (1869–1962), писательница, публицист, член ЦК партии кадетов, после 1919 г. в эмиграции – 523
- Тьерри* (Тьерри) *Огюстен* (1795–1856), французский историк – 176
- Тэн Ипполит* (1828–1893), французский философ и социолог искусства, историк – 208, 468, 570
- Тютчев Федор Иванович* (1803–1873), поэт, дипломат, публицист – 43, 48, 227, 332, 339, 508, 583
- Уайльд Оскар* (1854–1900), английский писатель – 144, 511, 542
- Уварова* (урожд. Любомирская) *Мария Федоровна* (1773–1810), жена генерала от кавалерии и генерал-адъютанта Федора Петровича Уварова – 298
- Уитмен Уолт* (1819–1892), американский поэт и публицист – 515–521
- Успенский Глеб Иванович* (1843–1902), писатель – 262–265, 267, 268, 270–276, 287
- Успенский Федор Иванович* (1845–1928), историк, директор Русского археологического института в Константинополе (1894–1914) – 179
- Ушинский Константин Дмитриевич* (1824–1870/1871), педагог, теоретик педагогики – 116, 433
- Фаррар Фредерик Уильям* (1831–1903), английский писатель и теолог – 177
- Фаустина* (ум. 141), римская императрица, жена Антонина Пия – 289
- Федоров Николай Федорович* (1828–1903), религиозный мыслитель, выдвинул теорию о всеобщем воскрешении отцов и преодолении смерти – 169, 555, 557
- Фельтен Юрий Матвеевич* (1730/1732–1801), архитектор – 226
- Феодорит Курский* (ок. 391 – ок. 458), христианский богослов, аскет, епископ – 161
- Феодосий I Великий* (ок. 346–395), римский император (с 379) – 178

- Феофан Прокопович** (1681–1736), политический и церковный деятель, богослов, религиозный писатель – 412
- Фет** (наст. фам. Шеншин) **Афанасий Афанасьевич** (1820–1892), поэт – 508
- Фигнер** **Вера Николаевна** (1852–1942), участница революционного движения, мемуаристка – 125, 132, 133
- Филарет** (**Василий Михайлович Дроздов**) (1782–1867), архиепископ (с 1821), митрополит Московский, православный богослов, философ, историк, проповедник – 332, 369
- Филипп** (**Федор Степанович Колычев**) (1507–1569), митрополит Московский и всея Руси (1566–1568), за осуждение опричных казней **Ивана IV Грозного** был низложен, а затем убит – 336
- Филипп IV Красивый** (1268–1314), французский король (с 1285), из династии Капетингов – 561
- Филлипов** **Иван Максимович** (1824–1878), московский булочник – 90
- Философов** **Дмитрий Владимирович** (1872–1940), литературный критик, публицист – 156–159, 232, 234, 238, 243–248, 511, 523
- Филофова** (урожд. **Дягилева**) **Анна Павловна** (1837–1912), деятельница женского движения – 523, 524
- Фихте** **Иоганн Готтлиб** (1762–1814), немецкий философ и публицист – 117, 319, 320, 472, 543
- Флоренский** **Павел Александрович** (1882–1937), православный священник, философ, ученый, инженер – 378
- Фольмёлер** **Карл** (1878–1948), немецкий филолог и драматург – 471
- Фонвизин** **Денис Иванович** (1744/1745–1792), писатель – 474
- Фортунатов** **Филипп Федорович** (1848–1914), языковед, основоположник московской лингвистической школы – 429
- Фохт** **Карл** (1817–1895), немецкий философ и естествоиспытатель – 381
- Франк** **Семен Людвигович** (1877–1950), философ, читал лекции по социальной психологии на высших курсах при гимназии **М. Н. Стоюниной** – 207
- Франк**, друг и помощница **Айседоры Дункан** – 299, 317
- Франциск Ассизский** (наст. имя и фам. **Джованни Бернардоне**) (1181/1182 – 1226), итальянский проповедник и поэт, основатель францисканского ордена – 468, 560, 561
- Фридрих II Великий** (1712–1786), прусский король (с 1740), из династии Гогенцоллернов, полководец – 64
- Фробишер** **Мартин** (ок. 1539–1594), английский мореплаватель – 451
- Фукидид** (ок. 460–400 до н. э.), древнегреческий историк – 455
- Фулье** (**Фуйе**) **Альфред** (1838–1917), французский философ – 359
- Фурье** **Шарль** (1772–1837), французский социальный мыслитель, приверженец идеи социалистического переустройства общества – 88, 266
- Харченко** **Г.**, председатель Таврической земской управы – 368
- Херасков** **Михаил Матвеевич** (1733–1807), писатель – 182
- Хомяков** **Алексей Степанович** (1804–1860), философ, богослов, писатель, публицист, общественный деятель, один из основателей славянофильства – 28, 32, 35, 137, 332, 339, 378, 379
- Хомяков** **Николай Алексеевич** (1850–1925), политический деятель, депутат II и III Государственных дум, председатель III Государственной думы (ноябрь 1907 – март 1910) – 277
- Хомякова** **Наталья Александровна**, общественная деятельница – 283, 284
- Хрущев-Сокольников** **Гавриил Александрович** (1845–1890), поэт, переводчик, публицист – 378
- Цветаев** **Иван Владимирович** (1847–1913), историк античности, искусства, знаток эпиграфики, создатель и первый директор (с 1911) Музея изящных искусств в Москве (ныне Музей изобразительных искусств им. А. С. Пушкина) – 428
- Цветков** **П.**, исламовед – 531
- Цветков** **Сергей Алексеевич** (по др. данным **Александрович**) (1888–1964), историк литературы, друг **Розанова** и составитель его библиографии – 54, 61, 62
- Целиков** **Д. В.**, петербургский протоиерей, председатель общества вспомоществования выходцам из Костромской губернии – 24
- Ценский** (**Сергеев-Ценский**) **Сергей Николаевич** (1875–1958), писатель – 384
- Цицерон** **Марк Туллий** (106–43 до н. э.), римский политический деятель, оратор и писатель – 421, 422, 450

- Чаадаев** Петр Яковлевич (1794–1856), мыслитель и публицист – 54, 55, 57, 61
- Чайковский** Петр Ильич (1840–1893), композитор – 213
- Чаленко** П. Я., автор труда об особенностях христианского учения о нравственности – 40, 42
- Чарторыйский** Адам Ежи (Адам Адамович) (1770–1861), министр иностранных дел в России (1804–1806), с 1831 г. глава аристократического крыла польской эмиграции – 80
- Чельшев** Михаил Дмитриевич (1866–1915), городской голова (Самарская губерния), депутат III Государственной думы (октябрист) – 380
- Череванский** Владимир Павлович (1836–1914), сотрудник Государственного контроля (директор канцелярии, товарищ государственного контролера), сенатор, писатель и историк, публицист – 531
- Чернышевский** Николай Гаврилович (1828–1889), писатель, публицист, критик, философ, общественный деятель – 60, 156, 164, 165, 167, 508
- Чертков** Владимир Григорьевич (1854–1936), издатель, общественный деятель, друг Л. Н. Толстого – 333, 334, 573, 574
- Чехов** Антон Павлович (1860–1904), писатель – 144, 193, 455
- Чешихин-Ветринский** Василий Евграфович (1866–1923), критик, публицист, переводчик – 262–265, 270, 272, 273
- Чижов**, костромской предприниматель, промышленник – 234
- Чинизелли** Газтано (1815–1881), акробат, наездник, педагог, владелец Петербургского цирка – 438
- Чичагов** Василий Яковлевич (1726–1809), флотоводец и мореплаватель – 454
- Чичерин** Борис Николаевич (1828–1904), правовед, историк, философ, публицист – 165, 429, 468
- Чуковский** Корней Иванович (наст. имя и фам. Николай Васильевич Корнейчуков) (1882–1969), писатель, литературный критик – 515–521
- Чулков** Георгий Иванович (1879–1939), писатель, критик, литературовед – 326–332
- Шавельский** Георгий Иванович (1871–1951), протопресвитер (главное духовное лицо) армии и флота – 12, 13, 15–17, 19, 325
- Шагинян** Мариэтта Сергеевна (1888–1982), писательница, критик, литературовед – 48–50
- Шаляпин** Федор Иванович (1873–1938), певец (бас) – 276, 277, 382
- Шарапов** Сергей Федорович (1855–1911), экономист, издатель – 105
- Шашков** Серафим Серафимович (1841–1882), историк, публицист – 234
- Швеглер** Альберт (1819–1858), немецкий историк – 359
- Швидченко** Евфимий Созонтович, составитель хрестоматии о святочных праздниках – 189
- Шевченко** Тарас Григорьевич (1814–1861), украинский поэт и художник – 229
- Шекспир** Уильям (1564–1616), английский драматург и поэт – 166, 167, 332
- Шелгунов** Николай Васильевич (1824–1891), публицист, литературный критик, общественный деятель – 234, 404, 456
- Шелли** Перси Биш (1792–1822), английский поэт – 206
- Шеллинг** Фридрих Вильгельм Иозеф (1775–1854), немецкий философ – 206, 306, 320, 471
- Шереметев** Борис Петрович (1652–1719), военачальник и дипломат, генерал-фельдмаршал (с 1701) – 202
- Шереметев** Николай Петрович (1751–1809), обер-камергер и сенатор, знаток и любитель искусства, создал крепостной театр в своем имении Останкино под Москвой – 319
- Шестов**, свидетель на процессе Прасолова – 20
- Шиллер** Иоганн Фридрих (1759–1805), немецкий поэт, драматург, теоретик искусства – 23, 215, 216, 275, 277, 471
- Шилтов** П., родственник М. С. Шагинян со стороны матери – 48
- Шишкин** Иван Иванович (1832–1898), живописец и график – 280
- Шлиман** Генрих (1822–1890), немецкий археолог – 225
- Шмидт**, директор Мариинского родовспомогательного заведения – 250
- Шмидт**, немецкий полковник из Баварии, военный публицист – 578
- Шопенгауэр** Артур (1788–1860), немецкий философ – 332, 422, 423, 541–544
- Штраус** Давид Фридрих (1808–1874), немецкий теолог и философ – 177
- Шуваловы**: Александр Иванович (1710–1771), генерал-фельдмаршал; Петр Ива-

- нович (1710–1762), генерал-фельдмаршал, братья, участники дворцового переворота 1741 г.; Иван Иванович (1727–1797), генерал-адъютант, меценат, фаворит Елизаветы Петровны, двоюродный брат А. И. и П. И. Шуваловых – 205, 447
- Щегловитов* Иван Григорьевич (1861–1918), министр юстиции (1906–1915), председатель Государственного совета, расстрелян – 347
- Щедрин* – см. Салтыков М. Е.
- Щедрин* Феодосий Федорович (1751–1825), скульптор – 226
- Щукин* С., священник, религиозный писатель – 42–47
- Эль-Эс*, псевдоним Леонида Захаровича (Захарьевича) Соловьева (1868–1915), публициста, сотрудника газеты «Новое время» – 445, 446
- Эмерсон* Ралф Уолдо (1803–1882), американский философ, поэт, эссеист – 515
- Энгельгардт* Егор Антонович (Георг Рейнгольд Густав) (1775–1862), директор Царскосельского лицея и Педагогического института (1816–1822) – 536
- Энгельгардт* Николай Александрович (1867–1942), писатель, публицист, критик, историк литературы – 496
- Энгельс* Фридрих (1820–1895), немецкий мыслитель и политический деятель, соратник К. Маркса – 577
- Эпаминонд* (ок. 418 – 362 до н. э.), древнегреческий (фиванский) полководец – 102
- Эпиктет* (ок. 50 – ок. 140), древнегреческий философ-стоик – 168
- Эрн* Владимир Францевич (1882–1917), философ, историк философии, публицист – 321
- Юаньшикай* (Юань Шикай) (1859–1916), президент Китая (с 1912), установивший режим военной диктатуры – 271
- Юстин II* (ум. 578), византийский император (с 565), племянник Юстиниана I – 178
- Юстиниан I Великий* (482/483–565), византийский император (с 527), осуществил кодификацию римского права – 85, 178
- Юсупов* Николай Борисович (1750–1831), камергер, дипломат, любитель и знаток искусств – 464
- Юцинский* Андрей (ум. 1911), подросток, убийство которого стало причиной суда над Бейлисом – 310, 311, 315
- Яблоновский* (наст. фам. Потресов) Сергей Викторович (1870–1953), поэт, журналист, театральный критик – 550, 551
- Языков* Николай Михайлович (1803–1846/1847), поэт – 423
- Яковенко* Борис Валентинович (1884–1949), философ, историк философии, публицист – 320
- Янышев* Иоанн Леонтьевич (1826, по др. данным 1828–1910), протопресвитер придворного духовенства, ректор Санкт-Петербургской духовной академии (1866–1883), духовник Александра III и Николая II – 235
- Ярослав Мудрый* (ок. 978–1054), великий князь Киевский (с 1019) – 68, 111, 145, 580

Составитель В. М. Персонов

1913 год

К съезду по семейному воспитанию	7
Приостановка издания «Сочинений К. Леонтьева»	10
Обновляемый «Морской сборник»	11
Русский священник на войне	12
Остановите этот позор	19
Оправдание Прасолова	22
Костромская старина	23
Любовь возвращается. Роман Н. Н. Русова	25
Взгляд одного попечителя округа на министерство просвещения . . .	26
Впечатления мирянина. «Торжество Православия» в служении Ан- тиохийского Патриарха	30
Россия и папство	32
П. Я. Чаленко. Независимость христианского учения о нравственно- сти от этики античных философов	40
Голос священника	42
«Orientalia» Мариэтты Шагинян	48
Психиатры, судьи и «судебные фавориты» (К «психиатрическому ис- следованию» убийц г-жи Тиме)	51
Чаадаев и кн. Одоевский	54
Воскресение Христа – воскресение народов	62
К помощи в добром деле	65
Уголок Бессарабии	67
Возле хлебов	87
† урожая	92
Из монастыря домой.	98
Иван Федорович Романов («Рцы») (Некролог).	104
О важнейшей нужде церкви.	106
В нашем училищном мире.	110
П. Соколов. История педагогических систем.	116
Литературные олеографии.	118
Левин из «Речи» о жестокостях русского суда.	130
К открытию памятника П. А. Столыпину.	134
«Цветок на гроб моего Агатона».	137
В полусвете ученых кафедр.	139

П. А. Прокошев. Didascalia Apostolorum и первые шесть книг «Апостольских постановлений»	148
Великий наставник юношества	149
Люди без лица в себе	155
Памяти Илариона Васильевича Кривенко	159
Важный исторический труд	160
Идейные споры Л. Н. Толстого и Н. Н. Страхова	163
Женщина-пылесос и ее лекция в зале Тенишевского училища	172
Новые труды по истории Византии	175
Наша ученая старина	180
С Рождеством Христовым!..	187
Вечное Преображение	189

1914 год

На фундаменте прошлого	201
В нашем учебном мире	206
Уголок Капитолия у Александра Свирского	210
На концерте В. В. Андреева	213
Центробежные силы в России (К вопросу об инородчине)	214
Евреи – ученики наших школ	218
Описание городов	225
Голос малоросса о неомалороссах	226
«Трудности» для инородцев	230
К Религиозно-философскому собранию 19 января	231
Вал. Алекс. Серов на посмертной выставке	236
Ежегодные 25 тысяч рублей на народную музыку	241
Старый поновленный спор	243
Назад!!	248
Письмо в редакцию <О тенденциозности газеты «Речь»>	251
Пимен Карпов и его «Говор зорь»	252
Уважение к вековым правилам (По поводу письма Н. С. Таганцева)	260
Еще погребенный «социологами» (Из мартиролога русской литературы)	262
«Дон-Кихот» в Народном доме	276
На выставке картин А. А. Борисова	278
К помощи материнству (Концерт для увеличения средств «Капли молока»)	280
«Где бы помолиться?»	284
«Ступени» Веры Рудич	287
Еще о неотложной нужде строить в Петербурге храмы (Письмо в редакцию)	290
С Светлым Воскресением!..	292
Вечные памятки (Ал. Ал-на Веницкая и Н. Г. Граммати)	294

Вдохновляющая старина	296
На печальном остатке жизни	299
Александр Платонович Барсуков	301
Интересная книга	302
Из судеб русской литературы и общественности	305
Интересное знакомство...	309
По поводу письма Э. Л. Беренса	312
Ученицы Дункан	315
Г. К. Лукомский. Старинные театры	317
Столетний юбилей И. Г. Фихте	319
К вопросу о епископах «бельцах» и монахах	321
Двое Беспятовых, критик и беллетрист	326
Наброски	332
Н. Н. Глубоковский. Высокопреосвященный Смарагд	334
Не извольте беспокоиться, ваше благородие	337
Проф. Кузьмин-Караваев о суде над петербургскими адвокатами	339
Песни прекрасного мальчика	348
Помощь семействам запасных и деятельность церковных приходов	355
Из истории «неудавшихся портретов»...	356
Пий X	363
Кто победит «зеленого змия»	365
К 100-летию Московской духовной академии	368
Сегодняшний день (Сбор в пользу Польши)	370
Водка, пиво, вина	371
Еще о «питии»	373
«Только на вынос»	375
Из нужных советов и писем	377
Врач или больной?	379
Критические заметки	383
«Все горе вылил на бумаге» (Письмо крестьянина о войне и немцах)	386
«Крепкие напитки» и пожары	390
Крестьянство о вине и налогах	392
Через какие щели просачивается водка в население	394
Выздоровливающая Россия	396
На лекции кн. Е. Н. Трубецкого	398
Еще о неполучении теплых вещей, посылаемых в армию родными	400
Спешно...	401
<С. Н. Тройницкий. Фарфоровые табакерки...>	403
Евгений Иванов. В лесу и дома. Рассказы	405
«Иначе я поступить не мог»	406

В новолетие 1915 года...	417
Латинская и германская культуры	420
Н. В. Соловьев. История одной жизни. А. А. Воейкова – Светлана	423
К оживлению местной старины	424
Монополия аптечного дела и аптекарских товаров	426
Памяти Федора Евгеньевича Корша (1843–1915 гг.)	428
К съезду попечителей учебных округов	430
Механическая работа	432
Каким трудом трудятся в гимназиях	434
На бенефисе В. В. Андреева	438
50-й (юбилейный) патриотический концерт М. И. Долиной	438
Как была выработана европейская интеллигенция	439
Упрощение программ	441
Сегодня мы похоронили «Эль-Эса»	445
Труды М. В. Ломоносова	446
О «вычетах за повышение» у вдов убитых воинов	452
О баптистах Саратовской губ.	453
Дорогая книжная новинка	454
Задачи организации средней школы	456
К организации гимназии	459
«Солдат» или «воин»?	462
Русские могилы в иноверных странах	463
Д. И. Введенский... Патриарх Иосиф и Египет	465
Проф. Вл. Ив. Герье и его «Философия истории от Августина до Гегеля»	467
Из писем с войны	469
Задача истории	470
Отцы-воспитатели русского общества	473
Перед Государственной Думой	485
Идя в Государственную Думу	486
В Государственной Думе 19 июля	489
Все «те же», вечно «те же»...	490
К. Чуковский. Поэзия грядущей демократии. Уот Уитмен	515
Еще о «демократии», Уитмене и Чуковском	519
Библейская флора... – Парижские письма протоиерея Иосифа Васильевича Васильева... – Н. Г. Высоцкий. Первый скопческий процесс	522
Сборник памяти Анны Павловны Философовой	523
Около войны и воюющих	525
Письмо в редакцию <О газете «Жало»>	526
Анатолий Федорович Кони (К 50-летию его общественной и государственной деятельности)	526
Гр. Анри де-Кастри. Ислам и христианство в эпоху завоеваний и владычества арабов	529

Книга памяти князя Олега	531
<И. С. Бердников (Некролог)>	538
Одна из дерзких книг	539
М. Б<еренсон> Антоний, митрополит С.-Петербургский и Ладожский	546
Не дремли, Русь... ..	548
«Неси, Русь, всяк что может...»	549
В литературных перспективах	550
П. Б. Струве о «Записках» С. М. Соловьева и о времени Александра III	551
Н. Манасеина. Царевны. Историческая повесть	553
Туркестанские произрастания	555
Ив. Смольянинов. Серые шинели. Рассказы участника войны	558
К помощи слепым!!!... ..	559
Книга о старом и вечно новом	560
С Рождеством Христовым!	563
Открытое письмо к г-же Вере Воскресенской	566
Помощь сиротам, пострадавшим при взрыве на Охтенском заводе ...	568
Предисловие к студенческому сборнику	568
В интеллигентном угаре	569
Кто и за что дерется в теперешней войне? (Опять социалы)	576
<i>Дополнение. Религиозное движение (Наша анкета). Ответ В. В. Розанова</i>	<i>581</i>
Комментарии	584
Указатель имен	608

Научное издание

Василий
Васильевич
Розанов

Собрание сочинений

НА ФУНДАМЕНТЕ ПРОШЛОГО

Статьи и очерки 1913–1915 гг.

Ведущий редактор *П. П. Апрышко*
Художественный редактор *Е. А. Андрусенко*
Технический редактор *Т. А. Новикова*
Корректоры *Е. Н. Горбунова, Т. И. Андрианова,*
Т. Ю. Коновалова

Подписано в печать 13.01.06.
Формат 60×84¹/₁₆.
Бумага офсетная
Гарнитура «Таймс».
Печать офсетная.
Усл. печ. л. 40,0.
Тираж 1500 экз. Заказ № 4172

Оригинал-макет
подготовлен в издательстве «Республика».
ГП Издательство «Республика».
Ул. Пилота Нестерова, 5/7, Москва. А-167,
ГСП-3 125167.

Издательство «Росток»
E-mail: rostok_publish@front.ru
По вопросам оптовых закупок
обращаться по тел.: (812) 323-54-70

Отпечатано с готовых диапозитивов
в ГУП «Типография «Наука»
199034, Санкт-Петербург, 9 линия, 12

Выпускает
СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
В. В. РОЗАНОВА

В 1994—2007 гг.
вышли следующие тома:

- Т. 1 — Среди художников (1994)
- Т. 2 — Мимолетное (1994)
- Т. 3 — В темных религиозных лучах (1994)
- Т. 4 — О писательстве и писателях (1995)
- Т. 5 — Около церковных стен (1995)
- Т. 6 — В мире неясного и нерешенного (1995)
- Т. 7 — Легенда о Великом инквизиторе Ф. М. Достоевского (1996)
- Т. 8 — Когда начальство ушло... (1997, 2005)
- Т. 9 — Сахарна (1998, 2001)
- Т. 10 — Во дворе язычников (1999)
- Т. 11 — Последние листья (2000)
- Т. 12 — Апокалипсис нашего времени (2000)
- Т. 13 — Литературные изгнанники. Н. Н. Страхов. К. Н. Леонтьев (2001)
- Т. 14 — Возрождающийся Египет (2002)
- Т. 15 — Русская государственность и общество
(Статьи 1906—1907 гг.) (2003)
- Т. 16 — Около народной души (Статьи 1906—1908 гг.) (2003)
- Т. 17 — В нашей смуте (Статьи 1908 г.) (2004)
- Т. 18 — Семейный вопрос в России (2004)
- Т. 19 — Старая и молодая Россия (Статьи и очерки 1909 г.) (2004)
- Т. 20 — Загадки русской провокации (Статьи и очерки 1910 г.) (2005)
- Т. 21 — Террор против русского национализма (Статьи и очерки 1911 г.)
(2005)
- Т. 22 — Признаки времени (Статьи и очерки 1912 г.) (2007)
- Т. 23 — На фундаменте прошлого (Статьи и очерки 1913—1915 гг.) (2007)

Подготовлены к выпуску
следующие тома:

- Т. 24 — В чаду войны (Статьи и очерки 1916—1918 гг.)
- Т. 25 — Природа и история